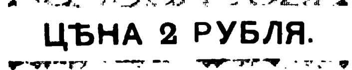
СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

Изданіе редакціи журнала «Русское Богатство».





С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія Б. М. Вольфа, Разъѣзжая ул., 15.
1897.

Оглавленіе шестого тома.

ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строчка.	Напечатано.	Надо читать.
9	7 сверху	вѣкѣ	вѣка
25	32 „	агеистомъ	атеистомъ
38	32 „	нъ	въ
42	18 „	безъ воспоминая	безъ воспоминанія
48	22 „	пецѣловать	поцѣловать
58	25 снизу	онѣ	они
65	7 сверху	и какъ какъ будто	какъ будто
83	27 „	цо	по
83	31 „	въ другія	въ другихъ
89	28 снизу	Въ послѣдное	въ послѣднее
100	28 „	nnd	und
101	29 „	придѣлы	предѣлы
108	13 „	ттобы	чтобы
111	18 „	которые	которыя
113	31 „	простые	простыя
114	18 сверху	вносить	вноситъ
127	17 „	установившаго	установившагося
131	32 „	огрениченный	ограниченный
„	24 снизу	неизмѣнная	низменная
146	11 сверху	пробылъ	пробилъ
158	21 „	комбинаци	комбинаціи
160	12 снизу	дѣло	дѣтство
162	22 сверху	касъ	какъ
„	1 снизу	понинуты	проникнуты
163	14 „	и съ каждымъ возрастала	и съ каждымъ разомъ возрастала
170	22 сверху	беллетрическомъ	беллетристическомъ
178	11 „	заигрываечъ	заигрываетъ
185	8 „	постолько	настолько
222	15 снизу	Спрашиваетъ	Спрашивается
235	26 сверху	писсимизма	пессимизма
238	11 снизу	придумывать	придумываетъ
242	3 сверху	стемятся	стремятся
269	11 снизу	передъ ними	передъ нимъ
273	17 „	порядру	порядку
281	23 сверху	къ 1873 г.	къ 1879 г.
291	11 „	забывать	забываютъ
„	3 снизу	за	въ
293	10 сверху	улицѣ	улицы
295	15 снизу	оффиціольною	оффиціальною
296	17 сверху	Книсамъ	Книстамъ
„	21 снизу	абстраціи	абстракціи
297	27 сверху	гипотеческое	гипотетическое
301	22 „	конкротномъ	конкретномъ
309	26 „	quesi	quasi
320	11 снизу	нопреодолимой	непреодолимой
321	1 „	рекрасной	прекрасной
327	26 сверху	видали	видала
339	18 „	Комѣ того	Кромѣ того
352	5 снизу	происхожденіи	происхожденія
353	6 сверху	м	и
356	3 снизу	мущества	существа
365	12 „	на	къ
366	11 сверху	основателеъ	основателемъ
369	26 снизу	украшащихъ	украшающихъ
380	25 сверху	Телстого	Толстого
425	30 снизу	его	ихъ
441	32 сверху	пропиками	тропиками
456	28 снизу	пробивалъ	пробивался
458	18 сверху	паеоса	паѳоса
466	8 „	ж	же
„	26 снизу	Як венко	Яковенко
„	15 „	Яковонко	Яковенко
474	28 сверху	почеркиваю	подчеркиваю
475	15 „	онъ	отъ

Стр.	Строчка.		Напечатано.	Надо читать.
483	7	„	всето	всего
„	18	„	яица	лица
491	26	снизу	правами	нравами
508	21	„	Базьзаку	Бальзаку
529	33	сверху	къ	въ
554	7	снизу	праву	правду
573	1	сверху	одереныя	одаренныя
„	35	„	противниками	противниками
583	6	„	выкотано	выкопано
605	3	„	вс	все
625	22	снизу	знакоменосцемъ	знаменоносцемъ
633	1	сверху	наордномъ	народномъ
„	7	„	уствоилась	устроилась
634	29	„	преимущество	преимущественно
641	24	„	ultima vatio	ultima ratio
650	3	„	побевеги	побереги
657	26	снизу	разнообразныи	разнообразныя
658	15	сверху	лѣтературнымъ	литературнымъ
660	16	„	гт	гг.
„	28	„	м	и
„	2	снизу	пойдтъ	пойдетъ
622	27	„	Чичникова	Чичикова
673	22	сверху	оказазываются	оказываются
693	4	снизу	Вильянъ	Вальянъ
698	22	„	Вопреки	Вопреки
702	5	сверху	станицы	страницы
710	8	снизу	ло	до
713	15	сверху	этото	этого
719	18	снизу	эрундицію	эрудицію
720	21	сверху	общестна	общества
724	13	снизу	свова	снова
732	28	„	налажденія	наслажденія
7 6	26	„	Миискій	Минскій
749	25	„	поку ателей	покупателей
768	28	„	прельсить	прельстить
770	27	сверху	не ненужно	не нужно
772	33	„	возращается	возвращается
773	8	снизу	иделы	идеалы
785	34	сверху	Сталтыковъ	Салтыковъ
789	29	„	тѣкъ	такъ
791	23	снизу	прогрезсомъ	прогрессомъ
799	27	„	дерзертировъ	дезертировъ
807	15	„	соотвѣтствующямъ	соотвѣтствующимъ
830	27	сверху	находить	находятъ
833	32	„	поизводимаго	производимаго
838	23	„	Fran	Fran
„	7	снизу	преспективы	перспективы
848	7	сверху	ассоаціаціи	ассоціаціи
863	26	„	протенденты	претенденты
869	13	„	розыскааніе	розысканіе
873	18	„	по сороку	по сорока
890	25	„	стастьѣ	статьѣ
918	5	„	дуетъ	даетъ
923	17	снизу	нъ	въ
939	15	„	плашъ	плащъ
946	10	„	къ нему	къ небу
956	10	„	дли	для
966	10	„	теперь	а теперь
980	2	„	Арсепія	Арсенія
981	20	„	изволнованность	взволнованность
993	4	сверху	msère	misère
1003	14	„	настроеній	построеній
1004	8	снизу	Карновичу	Карновича
1009	7	„	скарбезенъ	скабрезенъ
1024	16	сверху	„ироическими“	героическими

Вольтеръ-человѣкъ и Вольтеръ-мыслитель *).

Романы и повѣсти Ф. М. Вольтера. Переводъ Н. Н. Дмитріева. Спб. 1870 г.

Voltaire, Sechs Vorträge von David Strauss. Leipzig, 1870.

I.

Намъ кажется нѣсколько страннымъ, что издатель или переводчикъ повѣстей Вольтера не снабдилъ своей книги предисловіемъ. Въ этомъ отношеніи непремѣнно слѣдовало-бы руководствоваться благимъ примѣромъ г. Бибикова, трудолюбиваго издателя «классическихъ писателей конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка», который, между прочимъ, готовитъ къ изданію, какъ видно изъ объявленій, и собраніе сочиненій Вольтера и, безъ сомнѣнія, постарается при этомъ случаѣ объяснить историческое значеніе «царя мысли» XVIII вѣка. Относительно Вольтера это нужнѣе, чѣмъ относительно кого-либо, и его повѣсти и романы отнюдь не могутъ подлежать въ этомъ отношеніи исключенію. По своей живой, впечатлительной, отзывчивой натурѣ, Вольтеръ не могъ служить такъ называемому чистому искусству и запереться въ магическій кругъ «звуковъ сладкихъ и молитвъ». Въ формы повѣсти, философскаго трактата, трагедіи, полемической статьи онъ вливалъ всегда всего себя со всѣми волновавшими его въ данную минуту мыслями и чувствами, и потому его мнѣнія о различныхъ вопросахъ науки и жизни могутъ быть усмотрѣны изъ его беллетристическихъ произведеній столь же наглядно ясно, какъ изъ «Traité de Métaphysique», изъ «Essai sur les Mœurs» или изъ статей «Философскаго Словаря». Мало того, онъ часто, какъ, напримѣръ, въ «Исторіи Женни», въ разсказѣ «Уши графа Честерфильда» и проч., прямо вставляетъ цѣлые научные и философскіе трактаты въ формѣ діалога. Спеціально эстетическому суду повѣсти и романы Вольтера не подлежать. Въ этомъ отношеніи могутъ быть сдѣланы только кое-какія неважныя замѣчанія. Такъ, Штраусъ указываетъ, какъ на любимый пріемъ Вольтера, странствованія героевъ по самымъ разнообразнымъ государствамъ, народамъ («Свѣтъ, какъ онъ есть», «Исторія путешествій Скарментадо», «Похвальное слово разуму»), даже по разнымъ частямъ свѣта («Кандидъ», «Письма Амабеда», «Исторія Женни»), даже, наконецъ, по разнымъ мірамъ («Микромегасъ»). Но пріемъ этотъ, предоставляющій въ распоряженіе сатирика такую широкую канву, отнюдь не составляетъ какой-нибудь особенности Вольтера, потому что употреблялся и до него, и послѣ него, и особенно въ сатирѣ. Можно замѣтить, вмѣстѣ съ Геттнеромъ, что всѣ почти повѣсти Вольтера имѣютъ фантастическій характеръ, сюжетъ и краски заимствованы въ нихъ, большею частью, изъ восточныхъ сказокъ, вслѣдствіе чего нельзя искать въ нихъ характеровъ, типовъ. Исключеніе составляетъ только «Простодушный» (вѣрнѣе было-бы перевести французское Ingénu русскимъ «дитя природы»). Но все это не важно. Форма у Вольтера всегда отступаетъ на задній планъ; это видно уже изъ того, что не найдется ни одной литературной формы, за которую-бы онъ не брался, а, между тѣмъ, содержаніе онъ въ нихъ вкладывалъ всегда одно и то же. Не даромъ онъ самъ говорилъ, что въ литературѣ всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго, и онъ дѣйствительно всѣ, кромѣ скучнаго, и перепробовалъ. Важно то, что всѣ повѣсти и романы Вольтера, говоря нынѣшнимъ языкомъ, тенденціозны, и притомъ разрабатываютъ, преимущественно, вопросы философскіе и научные. Понятное дѣло, что эта тенденціозность не можетъ уже удовлетворить людей, переживших и передумавшихъ со времени Вольтера такъ много. Многіе изъ вопросовъ, занимавшихъ Вольтера, не занимаютъ насъ вовсе, многіе рѣшаются съ совсѣмъ иной точки зрѣнія. Словомъ, вообще говоря, беллетристическія произведенія, переведенныя г. Дмитріевымъ, имѣютъ для

---

*) 1870, сентябрь и октябрь.

насъ только историческое значеніе. А между тѣмъ они такъ остроумны, такъ ловко сдѣланы, что могутъ внести нѣкоторую путаницу въ головы иныхъ читателей. Вотъ почему мы думаемъ, что предисловіе къ книгѣ г. Дмитріева было-бы необходимо. Но оно было-бы нужно еще въ виду и другихъ причинъ.

Относительное значеніе такъ - называемой литературы просвѣщенія и ея отдѣльныхъ представителей далеко не установлено. Историки философіи обыкновенно относятся свысока къ этой блестящей плеядѣ талантовъ, укоряя ихъ въ поверхностности, легкомысліи и недостаткѣ оригинальности. Если эти упреки и справедливы до извѣстной степени, то историки дѣлаютъ, тѣмъ не менѣе, непростительную ошибку, удѣляя такъ мало вниманія литературѣ просвѣщенія. Одинъ уважаемый русскій писатель справедливо замѣчаетъ по этому поводу: «Послѣдній блестящій рядъ философскихъ системъ въ Германіи возникъ на профессорскихъ каѳедрахъ и, представляясь безусловнымъ идеаломъ философскаго движенія всѣмъ историкамъ философіи, заставляетъ ихъ смотрѣть съ пренебреженіемъ на всякое стремленіе къ цѣльному міросозерцанію и послѣдовательной практикѣ жизни, несходное съ построеніями Канта, Фихте, Шеллинга или Гегеля. Подобныя стремленія даже вовсе исключаются изъ исторіи философіи. Такъ, Куно Фишеръ отъ Лейбница перешелъ прямо къ Канту, едва коснувшись великаго движенія XVIII вѣка, охватившаго всю Европу, и даже для Френсиса Бэкона отвелъ *особое* мѣсто. Но исторія философіи очень суживаетъ свою область, ограничиваясь системами, созданными личностями, и скользя надъ міросозерцаніями, охватывающими цѣлые классы населенія, проявляющимися въ сотнѣ литературныхъ произведеній и проникающими въ самую жизнь общества (что далеко не всегда бываетъ съ личными системами философовъ)». (Очеркъ исторіи физико-математическихъ наукъ, составленный по лекціямъ, читаннымъ въ лабораторіи артиллерійской академіи, 90). Въ такомъ отношеніи къ литературѣ просвѣщенія грѣшна большая часть историковъ философіи, не исключая и знакомаго русской публикѣ Льюиса, стѣсненнаго, впрочемъ, планомъ своей *біографической* исторіи философіи. Историки литературы, какъ ближе соприкасающіеся съ живою дѣйствительностью, смотрятъ на дѣло иногда нѣсколько иначе, и у Геттнера читатель можетъ найти вполнѣ спокойный и безпристрастный очеркъ литературы и философіи XVIII вѣка. Но это все-таки явленіе рѣдкое и, вообще говоря, въ обществѣ не только русскомъ, а и европейскомъ, господствуютъ самыя странныя и сбивчивыя понятія о литературѣ просвѣщенія. Гораздо болѣе мальтретированія историковъ философіи этому обстоятельству способствуетъ историческое положеніе литературы просвѣщенія въ виду революціи 1789 г. Если историки философіи совершенно игнорируютъ значеніе просвѣтителей, то, съ другой стороны, весьма многими людьми исповѣдуется противоположное мнѣніе, будто-бы литература просвѣщенія породила революцію и повинна даже въ террорѣ.

XVIII вѣкъ представляетъ поразительное зрѣлище. То было время Екатерины, Фридриха Великаго, Тюрго, Леопольда Тосканскаго, Іосифа II, Аранды, Струэнзе, Помбаля, Густава III; время дружбы между государями и философами; время знаменитой «революціи сверху» и «просвѣщеннаго деспотизма»; удивительное время, когда каждый государь желалъ быть или казаться философомъ, а философы пользовались вліяніемъ, которому могли-бы позавидовать государи. За государями тянулись высшіе классы, не подозрѣвая результатовъ движенія, а только что начинавшая поднимать голову буржуазія привѣтствовала просвѣтителей, какъ плоть отъ плоти своей. «Даже въ Татаріи (?) —какъ разсказываютъ записки Дома (Dohm's Denkwürd. ч. 3, стр. 56)—хотѣли для пользы народнаго воспитанія перевести на татарскій языкъ французскую Энциклопедію» (Геттнеръ, «Исторія литературы XVIII вѣка», 423). Наше отечество не отставало въ этомъ отношеніи. Извѣстны дружескія сношенія и переписка императрицы Екатерины съ Вольтеромъ, Дидро, д'Аламберомъ. Сто лѣтъ тому назадъ большая часть романовъ и повѣстей Вольтера, нынѣ переведенныхъ г. Дмитріевымъ, была уже издана по-русски. И надо замѣтить, что предки наши переводили и читали эти повѣсти, повидимому, съ большимъ тактомъ, умѣньемъ и любовью; такъ, по нѣскольку изданій вытерпѣли переводы лучшихъ романовъ, каковы «Кандидъ», «Простодушный»; такъ, далѣе, напримѣръ, «Кривой носильщикъ», «Cosi Sancta, маленькое зло ради большого блага», разсказы неважные, хотя по обыкновенію остроумные, въ которыхъ фривольный, даже просто клубничный элементъ наиболѣе бросается въ глаза и не искупается, какъ въ другихъ повѣстяхъ, ни глубиною содержанія, ни мѣткостью сатиры—вовсе не были переведены нашими предками и являются нынѣ по-русски въ первый разъ. Никогда еще критическая мысль не завоевывала себѣ во всей исторіи человѣчества такого блистательнаго положенія. Никогда борьба съ рутиной теологической, политической, философской, научной не достигала такой живости и напря-

женности. Покровительствуемая сверху, поддерживаемая самымъ фактомъ шатанія оригинальной структуры средневѣкового механизма, она имѣла, сверхъ того, цѣлую массу необычайно талантливыхъ представителей, не создавшихъ никакой стройной, оригинальной философской системы, но взамѣнъ того сумѣвшихъ бросить на почву общественнаго сознанія огромное количество умственнаго фермента, незамедлившаго сдѣлать свое дѣло. Нелѣпо утверждать, что первая французская революція была порожденіемъ литературы просвѣщенія. Великія историческія событія не бываютъ результатомъ одной причины или даже одного ряда причинъ: Москва загорѣлась не отъ копѣечной свѣчки. Великія событія всегда оказываются лежащими въ точкѣ соприкосновенія равнодѣйствующихъ цѣлой системы параллелограмовъ соціальныхъ силъ. Революція была подготовлена рядомъ отрицательныхъ моментовъ, заключавшихся въ политическихъ и экономическихъ порядкахъ Франціи и Европы, и тѣми же моментами была вызвана и дѣятельность Вольтера, энциклопедистовъ и Руссо. Но несомнѣнно, что эта дѣятельность играла роль фермента и ускорила движеніе. Несомнѣнно также, что *принципы* революціи логически вытекаютъ изъ сѣмянъ, посѣянныхъ просвѣтителями. Этого было достаточно, чтобы реакція, вызванная ужасами революціи, наложила свою неумѣлую, неуклюжую лапу и на литературу просвѣщенія. Всякая крутая реакція необходимо слѣпа, нелогична и неразборчива, необходимо слишкомъ размашисто ворочаетъ переданной исторіею въ ея руки метлой и сметаетъ въ одну кучу вещи, неимѣющія между собой ничего общаго. Неопредѣленныя очертанія призрака «неблагонамѣренности» и «неблагонадежности» застилаютъ реакціонерамъ глаза, и сквозь этотъ туманъ они теряютъ всякую способность различать дѣйствительные размѣры и значеніе явленій. Само собою разумѣется, что рядомъ съ этою неспособностью видѣть, неизбѣжно фигурируетъ и нежеланіе смотрѣть. Такова была и реакція, вызванная французской революціей. Не только у всѣхъ Татарій внезапно отпала охота переводить Энциклопедію, но всѣ просвѣтители поголовно не замедлили превратиться въ атеистовъ и террористовъ, нарушителей и разрушителей. Вольтеръ и Анахарсисъ Клотцъ, Ла-Меттри и Робеспьеръ, Маратъ и Гольбахъ оказались заметенными въ одинъ уголъ, надъ которымъ высился ярлыкъ «неблагонамѣренности». Путаница дошла до того, что, напримѣръ, у насъ въ Россіи именно самый умѣренный, хоть можетъ быть и самый яркій, представитель литературы просвѣщенія—Вольтеръ обратился въ «чудище обло, озорно, огромно, стозѣвно и лаяй», чуть не въ поджигателя и, во всякомъ случаѣ, въ «вольтерьянца». А это слово было еще не такъ давно такъ же страшно и позорно, какъ теперь страшна и позорна кличка «нигилистъ», и, надо прибавить, такъ же безсмысленно. Быть можетъ, одни вольтеровскія кресла уцѣлѣли отъ этого погрома. Реакція, разумѣется, не хотѣла и не могла оцѣнить ясно совокупность фактовъ, изъ которыхъ вышли различныя стороны революціи. Она не давала себѣ труда припомнить, напримѣръ, указанія благороднаго Вобана или Буагильбера, задолго до лихорадочной дѣятельности просвѣтителей страшными красками обрисовавшихъ положеніе Франціи и почти предсказывавшихъ революцію. Реакціонеры не давали себѣ труда подумать о томъ, въ какихъ дѣйствительно отношеніяхъ стоитъ терроръ къ литературѣ просвѣщенія. Помимо изученія самыхъ произведеній литературы XVIII вѣка, рвеніе реакціонеровъ могло-бы быть, повидимому, остановлено множествомъ фактовъ, просто бьющихъ по глазамъ. Безъ всякаго сомнѣнія, гражданскій идеализмъ, такъ сильно сказавшійся въ періодъ революціи, и антропологическій и космологическій реализмъ, болѣе или менѣе послѣдовательно проводившійся французскими философами XVIII вѣка,—родные братья, такіе же братья, какими на противоположной сторонѣ являются философскій идеализмъ и гражданскій матеріализмъ. Но это родство исключительно логическое, принципіальное, и эмпирическія условія могутъ совершенно разорвать его въ данной личности. Французская литература просвѣщенія ничего оригинальнаго не создала; она питалась англійскою мыслью, Локкомъ и Ньютономъ, то не подвигаясь дальше ихъ ни на шагъ, то логически слѣдуя впередъ по пути, указанному англичанами. Вся задача просвѣтителей состояла въ томъ, чтобы популяризировать англійскія идеи, разсыпать ихъ по всей Европѣ, оживить ихъ и вывести изъ нихъ нѣкоторыя слѣдствія, передъ которыми остановились англійскіе философы. Почему же въ Англіи матеріализмъ и родственныя съ нимъ міросозерцанія были не только не революціонны въ области дѣйствія, но, напротивъ, въ большинствѣ случаевъ строго консервативны и даже прямо ретроградны? До Локка и Ньютона Англія выставила Гоббса—матеріалиста и вмѣстѣ рьянаго сторонника абсолютизма въ политикѣ. Послѣ нихъ явился Юмъ, отчасти, такъ сказать, отданный Англіи Франціей,—и этотъ крайній революціонеръ въ области мысли былъ политическій консерваторъ. Вотъ этого-то реакціонеры не видѣли или не хотѣли видѣть.

Скажутъ, можетъ быть, что дѣло именно въ логическомъ родствѣ между просвѣтителями и революціей. Но это родство не идетъ дальше принциповъ революціи 89 года и нисколько не касается ихъ фактическаго осуществленія, способовъ и формъ ихъ введенія въ жизнь. Спрашивается: кто же изъ людей, уважающихъ свое достоинство, рѣшится отказать въ уваженіи этимъ принципамъ въ ихъ абстрактной формѣ? Даже г. Скарятинъ любилъ излагать въ покойной «Вѣсти», что «будущее принадлежитъ демократіи, но» и проч. Далѣе реакціонеры представляли себѣ всю литературу просвѣщенія, какъ нѣчто совершенно однородное, сплошное, тогда какъ на самомъ дѣлѣ этой однородности должны быть указаны относительно очень тѣсные предѣлы: Вольтеръ презиралъ доктрины Ла-Меттри, Ла-Меттри не могъ не смѣяться надъ ученіями Руссо, Руссо съ ужасомъ сторонился отъ Гельвеціуса, Вольтеръ и Дидро расходились въ самыхъ существенныхъ вопросахъ и т. д. Защита свободы мысли, проповѣдь терпимости, борьба съ рутиной—вотъ единственное, правда очень широкое поле, общее всѣмъ безъ исключенія представителямъ литературы просвѣщенія, и затѣмъ литература эта представляетъ цѣлый арсеналъ доводовъ въ пользу самыхъ разнообразныхъ теологическихъ, политическихъ и философскихъ тезисовъ. Мало того, Дидро, напримѣръ, прошелъ нѣсколько ступеней развитія, существенно между собою различныхъ. И тѣмъ не менѣе именно съ реакціи начала нынѣшняго столѣтія невѣроятно усилилась мода огульнаго уличенія въ неблагонамѣренности и неблагонадежности вообще, тогда какъ прежде имѣлись болѣе спеціальныя и гораздо яснѣе очерченныя обвиненія. Есть вѣчный полемическій пріемъ, состоящій въ томъ, чтобы возвышать мнѣнія противника въ квадратъ, въ кубъ и т. д. Такъ, напримѣръ, если мой противникъ не признаетъ догмата папской непогрѣшимости, то я могу съ большимъ удобствомъ обозвать его атеистомъ; если онъ говоритъ о крестьянскомъ самоуправленіи, я могу рекомендовать его, какъ республиканца и т. п. Пріемъ этотъ существуетъ испоконъ-вѣку и можетъ быть еще Адамъ пустилъ его въ ходъ, обвиняя Еву предъ лицомъ Бога и тѣмъ прикрывая собственный грѣхъ. Но онъ получилъ особенную силу и значеніе съ начала нынѣшняго вѣка, когда всѣ расшатанные революціей общественные элементы, забывъ свою исконную вражду и несовмѣстимость, протянули другъ другу руки и заключили до поры до времени миръ. До революціи было ясно, что строго-монархическій принципъ враждебенъ феодализму и дворянскимъ привилегіямъ. Людовикъ XIV доказалъ это всѣмъ своимъ царствованіемъ; до революціи было ясно, что свѣтская и духовная власть уже вышли изъ равновѣсія средневѣковой доктрины двухъ мечей и стоятъ другъ противъ друга въ качествѣ враговъ. Реакція, вызванная революціей, сгладила эти шероховатости, прикрыла хворостомъ логическія пропасти. И вотъ мы видимъ, что революціонеръ и атеистъ, даже демократъ и атеистъ, республиканецъ и матеріалистъ, матеріалистъ и проповѣдникъ безнравственности отождествляются, свертываются въ какой-то безсмысленный, фантастическій клубокъ, въ которомъ сами свертыватели не разберутъ ни конца, ни начала. Обвиненія во всевозможныхъ *измахъ* сыплятся даже на людей, неповинныхъ ни въ одномъ изъ нихъ, сыплятся единственно по недоразумѣнію и невѣжеству, по легкости, съ которою дѣйствуетъ расходившаяся метла реакціи. Послѣдующія событія, выдвинувъ буржуазію на мѣсто дворянства, не выдавили, однако, окончательно послѣдняго; поставивъ фабриканта и купца на мѣсто, дотолѣ нераздѣльно занимаемое крупнымъ поземельнымъ собственникомъ, они сдѣлали элементъ воинствующій элементомъ торжествующимъ, и, такимъ образомъ, прибавили свою лепту къ фантастическому клубку. Къ ряду страшныхъ *измовъ* прибавились новые *измы*, и теперь обществу еще труднѣе оглянуться, вернуться къ источникамъ этой нелѣпой исторіи и по достоинству оцѣнить значеніе литературы просвѣщенія.

Даже мыслящіе люди, сознающіе тотъ несомнѣнный фактъ, что въ средѣ самой литературы просвѣщенія шла живая борьба, что здѣсь проходитъ нѣсколько существенно-различныхъ и сталкивающихся между собою теченій, не всегда умѣютъ опредѣлить истинное значеніе этихъ теченій. Такъ, недавно вышедшая книга г-жи Ройе (De l'origine de l'homme. Paris, 1870) занимается неблагодарнымъ дѣломъ полемики съ Руссо и восхваленія Вольтера, сводя ихъ ученія на очную ставку съ теоріей Дарвина. Дѣло ведется въ такомъ тонѣ, что вотъ, дескать, у насъ есть два знамени—Вольтеръ и Руссо, и далѣе доказывается, что первое несравненно важнѣе и плодотворнѣе второго. При этомъ совершенно упускается изъ виду, что знамена Вольтера и Руссо давно уже для насъ необязательны; что по нѣкоторымъ пунктамъ къ намъ ближе Вольтеръ, а по другимъ—Руссо; что, не говоря уже о томъ, что Вольтеръ осыпалъ градомъ насмѣшекъ одного изъ предшественниковъ Дарвина—Демалье, наиболѣе выдающіяся части его міросозерцанія отнюдь не совпадаютъ съ современною наукою и философіею. Съ

другой стороны, мы полагаемъ, что Руссо, нѣкоторыми своими сторонами, совершенно примыкаетъ къ правильно понятой теоріи Дарвина. Вообще, къ Вольтеру несправедливы. Одни видятъ именно въ немъ воплощеніе разрушительныхъ стремленій XVIII вѣкѣ, тогда какъ онъ былъ, напротивъ, человѣкомъ середины во всѣхъ вопросахъ, волновавшихъ его современниковъ. Другіе, напротивъ, преувеличиваютъ его значеніе, видя въ немъ дѣйствительно «царя мысли» XVIII вѣка, что также несправедливо. Вольтеръ былъ дольше и больше всѣхъ просвѣтителей на виду—вотъ, по нашему мнѣнію, причина этихъ незаслуженныхъ обвиненій и восхваленій. Онъ первый началъ борьбу или, лучше сказать, первый послѣ Бейля и англійскихъ мыслителей. Онъ прожилъ 85 лѣтъ, начавъ работать съ 20-ти. Онъ былъ въ сношеніяхъ чуть не со всѣми европейскими государями, благодаря своему богатству, могъ жить роскошно, быть, какъ онъ самъ себя называлъ, l'aubergiste de l'Europe, имѣть свой театръ, давать балы и проч. Это внѣшнія причины. Рядомъ съ ними стояли причины внутреннія. Его юркость, увертливость, его энергія, страшная полемическая сила и уничтожающее остроуміе, наконецъ, его умѣнье облекать свои мысли въ легкую, остроумную форму—въ этомъ онъ положительно не имѣлъ соперниковъ—дѣлали изъ него для Европы и всевидящее и всѣми видимое око. Не только тихая жизнь Дидро, а и мрачныя приключенія Руссо не могутъ идти ни въ какое сравненіе съ бурною, блестящею жизнью Вольтера. И физическія условія, въ родѣ продолжительности жизни, и счастливыя особенности ума, и даже несчастныя особенности характера—все способствовало славѣ Вольтера въ ущербъ извѣстности другихъ просвѣтителей. Теперь мало уже читаютъ писателей XVIII вѣка, и фигура Вольтера часто по преданію заслоняетъ собою главнымъ образомъ Дидро, который, съ неменьшимъ талантомъ, усердіемъ, многосторонностью и успѣхомъ, преслѣдуя общую задачу вѣка, былъ, однако, въ то же время гораздо смѣлѣе и послѣдовательнѣе въ развитіи своихъ основныхъ идей.

При имени Вольтера въ насъ невольно поднимается представленіе смѣлаго, неустрашимаго бойца. Но такое представленіе соотвѣтствуетъ истинѣ только при извѣстныхъ, весьма значительныхъ ограниченіяхъ. Вольтеру не трудно было быть смѣлымъ, когда онъ, благодаря своему вліянію въ высшихъ сферахъ, могъ, напримѣръ, по дѣлу Каласа или Сирвена, поднять на ноги цѣлую Европу. Но, съ другой стороны, онъ слишкомъ дорожилъ связанными съ этимъ вліяніемъ благами. Вольтеру ничего не стоило, когда ему, напримѣръ, захотѣлось попасть въ академію, льстить іезуитамъ, отрекаться отъ своихъ идей и т. д. (см. Штраусъ, стр. 108 и слѣд.). Нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ, при малѣйшей опасности, отпирался отъ своихъ книгъ, скрывалъ свое авторство и даже возвелъ этотъ образъ дѣйствія въ систему; онъ писалъ Гельвецiусу: «Не нужно никогда ставить своего имени, я не написалъ даже и Pucelle» (Геттнеръ). Но мы, главнымъ образомъ, имѣемъ въ виду не этого рода недостатокъ смѣлости, а недостатокъ смѣлости мысли. При этомъ мы вовсе не имѣемъ въ виду мѣрять міросозерцаніе Вольтера современной мѣркой и уличать его въ томъ, что онъ не дошелъ до выводовъ, сдѣланныхъ позднѣйшими поколѣніями, отчасти, благодаря его же дѣятельности. Нѣтъ, это было бы нелѣпо и несправедливо. Мы сравниваемъ Вольтера только съ его современниками, съ другими просвѣтителями. Вольтеръ разсуждаетъ почти всегда съ заднею мыслью, совершенно посторонною предмету изслѣдованія, и эта задняя мысль иногда совершенно неожиданно останавливаетъ его логическую нить и сворачиваетъ ее въ сторону. И если мы захотимъ искать причинъ такой непослѣдовательности и недостатка смѣлости, то найдемъ ихъ въ несчастномъ нравственномъ характерѣ Вольтера. Вопросъ о томъ, насколько пятна на нравственномъ характерѣ Вольтера отразились на его литературной дѣятельности, занималъ многихъ, что очень естественно; дѣятельность эта была такъ блестяща, характеръ этотъ былъ такъ тусклъ. Въ какомъ отношеніи они находятся другъ къ другу? Отвѣты получаются большею частію неудовлетворительные, потому что значеніе нравственнаго элемента то преувеличивается, то слишкомъ суживается, а иногда и совершенно отрицается. Штраусъ справедливо говоритъ, что нельзя разрубать человѣка на двое и, подобно Фридриху-Великому, предоставить весь свѣтъ Вольтера въ распоряженіе его таланта, а всю тьму взвалить на характеръ. Но Штраусъ ограничивается, къ сожалѣнію, неопредѣленнымъ указаніемъ, что и умственный элементъ въ Вольтерѣ небезупреченъ, да и нравственный—не сплошная тьма. Онъ не пытается опредѣлить точки соприкосновенія этихъ элементовъ, моменты ихъ границъ, не знаетъ ихъ взаимныхъ вторженій.

XVIII вѣкъ боролся за свободу мысли и терпимость противъ рутины, преданія и фанатизма. Ничто не должно ускользать отъ критики, отъ свободнаго изслѣдованія, ничто не должно отзываться неподсудностью разуму, ничто не должно быть принято на вѣру,—

таковъ общій девизъ всѣхъ просвѣтителей. Во имя его Руссо требовалъ отчета у всего величественнаго зданія цивилизаціи въ цѣломъ; во имя его Дидро и энциклопедисты допрашивали все, чѣмъ жила старая Европа; во имя его Вольтеръ боролся съ догматизмомъ религіи. Дружная, горячая борьба на этомъ общемъ полѣ составляетъ великую заслугу XVIII вѣка вообще и въ частности Вольтера. Его лихорадочное участіе въ дѣлахъ Каласа, Сирвена и проч. свидѣтельствуетъ, что онъ не ограничивался словесною борьбою и только проповѣдью терпимости. Очевидно, что онъ отдался этому дѣлу весь и работалъ не только словомъ, а и дѣломъ. Преслѣдуя въ общемъ одну и ту же широкую цѣль, просвѣтители по одиночкѣ болѣе или менѣе спеціализировали свои задачи. Вольтеръ избралъ борьбу съ религіознымъ догматизмомъ и фанатизмомъ. Здѣсь лежитъ центръ тяжести его дѣятельности, тотъ пунктъ, къ которому примыкаютъ всѣ другія стороны его міросозерцанія. Съ раннихъ лѣтъ Вольтеръ вышелъ на эту дорогу, и уже въ первыхъ его произведеніяхъ идетъ живая борьба противъ фанатизма и притязаній духовенства. Вольтеръ былъ неистощимъ въ формахъ этой борьбы: лирическое стихотвореніе, докладная записка, трагедія, памфлетъ—все шло въ дѣло. Но наиболѣе удавались Вольтеру тѣ маленькіе разсказы, которые вошли въ составъ книги г. Дмитріева. Никто лучше Вольтера не умѣлъ опошлить проявленія религіознаго фанатизма, никто не писалъ такихъ злыхъ и остроумныхъ карикатуръ. Прочтите, напримѣръ, хоть «Исторію путешествій Скарментадо» (Романы и повѣсти, 123). Молодой человѣкъ отправляется путешествовать. Въ Англіи онъ встрѣчаетъ слѣдующее: «Благочестивые католики рѣшились, для блага церкви, взорвать на воздухъ короля, королевское семейство и весь парламентъ и освободить Англію отъ еретиковъ. Мнѣ указали мѣсто, на которомъ, по повелѣнію, блаженной памяти, королевы Маріи, дочери Генриха VIII, было сожжено болѣе пятисотъ ея подданныхъ. Одинъ ирландскій священникъ увѣрялъ меня, что это былъ прекрасный поступокъ: во-первыхъ, потому, что убитые были англичане, а во-вторыхъ, потому, что они никогда не пили святой воды и не вѣрили въ вертепъ святого Патрика. Онъ крайне удивлялся тому, что королева Марія до сихъ поръ не причтена къ лику святыхъ; но онъ надѣялся, что это случится, какъ только у кардинала племянника будетъ побольше свободнаго времени». Скарментадо ѣдетъ въ Голландію, попадаетъ въ Гагѣ на казнь Барневельдта и спрашиваетъ, не измѣнилъ ли онъ отечеству. «Онъ сдѣлалъ гораздо хуже—отвѣчалъ мнѣ проповѣдникъ въ черной мантіи—онъ думалъ, что добрыми дѣлами можно спастись такъ же хорошо, какъ и вѣрою. Вы понимаете, что если подобныя мнѣнія утвердятся, то республика не можетъ существовать, а чтобы предупредить этотъ соблазнъ, необходимы строгіе законы». Одинъ глубокомысленный туземный политикъ замѣтилъ мнѣ со вздохомъ: «Ахъ, милостивый государь, хорошимъ временамъ придетъ когда-нибудь конецъ; усердіе этого народа—случайное; по существу своего характера, онъ склоненъ принять гнусный догматъ терпимости; одна мысль о томъ, что это когда-нибудь случится, приводитъ меня въ трепетъ». Отправляется Скарментадо въ Испанію и застаетъ въ Севильѣ праздникъ. На огромной площади, усыпанной народомъ, стоялъ высокій тронъ, предназначенный для короля и его семейства, а напротивъ его стоялъ другой, еще болѣе высокій. На него взошелъ великій инквизиторъ, благословляя короля и народъ. «Затѣмъ, покорно вошло цѣлое войско монаховъ, бѣлыхъ, черныхъ, сѣрыхъ, обутыхъ и босыхъ, бородатыхъ и безбородыхъ, съ остроконечными капюшонами и безъ нихъ; за монахами слѣдовалъ палачъ; наконецъ, полицейскіе чиновники и вельможи сопровождали около сорока человѣкъ, покрытыхъ мѣшками, разрисованными чертями и пламенемъ; то были іудеи, несоглашавшіеся отречься отъ Моисея, христіане, женившіеся на кумахъ, или непоклонившіеся образу Богородицы въ Атохѣ, или нежелавшіе отдать свои наличныя деньги въ пользу братьевъ-іеронимитовъ. Прежде всего набожно пропѣли нѣсколько прекрасныхъ молитвъ, затѣмъ, преступниковъ сожгли на медленномъ огнѣ, что, казалось, послужило къ великому назиданію всей королевской фамиліи». Затѣмъ, Скарментадо самъ попадаетъ за нѣсколько менѣе чѣмъ неосторожныхъ словъ въ тюрьму инквизиціи, платитъ штрафъ, узнаетъ, что «испанцы въ Америкѣ сожгли, зарѣзали и утопили до десяти милліоновъ туземцевъ, обращая ихъ въ христіанскую вѣру», и ѣдетъ въ Турцію. Тамъ онъ застаетъ грызню между латинскими и греческими христіанами, попадаетъ въ непріятныя исторіи, потому что латиняне подозрѣваютъ его въ сочувствіи къ грекамъ, и наоборотъ. Наконецъ, «утромъ явился имамъ, чтобы совершить надо мной обрядъ обрѣзанія, и такъ какъ я нѣсколько сопротивлялся, то кади той части города, въ которой я жилъ, будучи человѣкомъ добросовѣстнымъ, предложилъ мнѣ посадить меня на колъ». Дѣло окончилось штрафомъ. Скарментадо ѣдетъ въ Персію, гдѣ попадаетъ, какъ между двухъ огней, между партіями «чернаго и бѣлаго барана». Въ Китаѣ его

также съ двухъ сторонъ осадили «преподобные отцы іезуиты» и «преподобные отцы доминиканцы», враждующіе изъ-за уловленія китайскихъ душъ, и т. д. Въ «Письмахъ Амабеда» пускается въ ходъ другой пріемъ. Рядомъ съ разсказомъ о насиліяхъ и мерзостяхъ, совершенныхъ монахами надъ молодымъ индусомъ Амабедомъ и его невѣстой, осмѣивается историческая теорія Боссюета, по которой въ древности существовалъ только одинъ историческій народъ—еврейскій, какъ предтеча христіанства. Въ «Бѣломъ быкѣ» опять новый пріемъ. Пользуясь свободой, предоставляемой ему фантастичностью и восточнымъ колоритомъ разсказа, Вольтеръ, безъ всякой видимой надобности, приплетаетъ змѣя-соблазнителя и другія библейскія фигуры.

Это, впрочемъ, составляетъ единственный пунктъ, на которомъ Вольтеръ является крайнимъ радикаломъ. Мы сейчасъ увидимъ, что это обстоятельство не только не мѣшало, а и помогало ему быть весьма умѣреннымъ во всѣхъ другихъ вопросахъ, быть, что называется, человѣкомъ золотой середины. Онъ очень хорошо понималъ всю трудность предпринятой имъ борьбы и искалъ союзниковъ. Союзники были указаны и личными вкусами Вольтера, и его положеніемъ въ обществѣ, и, наконецъ, колоритомъ историческаго момента. Союзники эти были ни болѣе, ни менѣе, какъ европейскія правительства. «Революція сверху» и «просвѣщенный деспотизмъ» никогда не клали на исторію такой печати, какъ въ XVIII вѣкѣ; вмѣстѣ съ литературой просвѣщенія, съ философскимъ движеніемъ,—это наиболѣе характеристическая черта прошлаго столѣтія. Свободомыслящіе государи и министры, въ родѣ Тюрго, Помбаля, Аранды, очень тяготились тѣмъ, слишкомъ высокимъ, положеніемъ, которое занимало въ государствѣ духовенство. Будучи отчасти проникнуты тѣми же идеями, которыя разносили по свѣту просвѣтители, находясь даже отчасти подъ прямымъ вліяніемъ просвѣтителей, они опирались, кромѣ философскихъ соображеній, на государственныя нужды. Такимъ образомъ, философы и правительства, дѣйствительно, были союзниками, и, напримѣръ, уничтоженіе ордена іезуитовъ было дѣломъ ихъ обоюдныхъ усилій. Вольтеръ очень хорошо понималъ цѣну такого оборонительнаго и наступательнаго союза противъ общаго врага. «Не подумали о томъ—писалъ онъ въ 1765 году къ д'Аламберу,—что дѣло королей есть вмѣстѣ и дѣло философовъ; а между тѣмъ, ясно, что мудрецы, не признающіе двухъ властей, составляютъ хорошую опору королевской власти». Или въ 1768 году: «Философы воротятъ когда-нибудь государямъ все то, что у нихъ отняли папы, но государи, пожалуй, все-таки будутъ посылать философовъ въ Бастилію; такъ мы убиваемъ быковъ, обрабатывавшихъ наши поля» (Штраусъ, стр. 323). Опасеніе, выраженное въ послѣднихъ строкахъ, не особенно смущало Вольтера. Онъ былъ совершенно удовлетворенъ современными ему европейскими порядками. Это видно изъ нѣкоторыхъ его повѣстей (см. напримѣръ, «Вавилонскую принцессу», «Похвальное слово разуму») и изъ многихъ другихъ его собственноручныхъ показаній. Такъ, въ 1767 году онъ писалъ д'Аламберу: «Благословимъ революцію, совершившуюся въ умахъ за послѣднія 15—20 лѣтъ; она превзошла мои ожиданія». Или въ томъ же году и къ тому же: «Клянусь Богомъ, вѣкъ разума наступилъ. Вѣчная благодарность тебѣ, о природа!» (Штраусъ, стр. 321).

Просвѣщенный деспотизмъ и революція сверху имѣютъ въ себѣ нѣчто обаятельное и нѣчто дѣйствительно цѣнное. Недаромъ эта идея играетъ такую важную роль въ надеждахъ и планахъ общественныхъ реформаторовъ, желающихъ быстраго движенія впередъ. Реформаторы эти очень хорошо понимаютъ, что свобода есть понятіе отвлеченное и получаетъ практическое значеніе только сообразно тому реальному содержимому, которое вкладывается въ идею свободы; тогда какъ такъ-называемые либералы бьютъ тревогу при всякомъ разговорѣ о правительственномъ вмѣшательствѣ, какія бы цѣли оно ни имѣло, а съ другой стороны, благодаря отвлеченному характеру идеи свободы, связываютъ съ нею, помощью различныхъ діалектическихъ нитей, такія явленія, ни цѣли, ни результаты которыхъ отнюдь не служатъ дѣлу торжества свободы. Къ которой изъ этихъ политическихъ фракцій долженъ быть отнесенъ Вольтеръ? Безъ всякаго сомнѣнія, ни къ которой, потому что въ его время вопросъ о границахъ правительственнаго вмѣшательства не занималъ и не могъ занимать общество въ такой мѣрѣ, чтобы онъ могъ быть теоретизированъ. Физіократы только что обрисовывали «новую науку», то есть политическую экономію. Ни экономическая теорія laissez faire, ни соотвѣтственныя ей, якобы либеральныя, политическія теоріи, ни противоположныя имъ ученія еще не развертывались. Повидимому, Вольтеръ былъ ближе къ сторонникамъ правительственнаго вмѣшательства, чѣмъ къ чистокровнымъ либераламъ. Но всѣ подобныя сближенія, сводящіяся къ тому, что человѣка прошлаго столѣтія мѣрятъ мѣркою настоящаго, необходимо слишкомъ поверхностны. Притомъ-же, Вольтера вопросы политическіе и общественные занимали въ не-

сравненно меньшей степени, чѣмъ вопросы философскіе. Онъ занимался ими только изрѣдка и, между прочимъ, не углублялся въ нихъ такъ, какъ въ вопросы о конечныхъ цѣляхъ, о добрѣ и злѣ, о душѣ, и проч. Благодаря этому, съ одной стороны, и тому, что довлѣющій самому себѣ либерализмъ еще не обособился, какъ самостоятельное политическое направленіе, мы встрѣчаемъ въ сочиненіяхъ и перепискѣ Вольтера самыя противорѣчивыя вещи. Любопытнѣе всего отношенія Вольтера къ монархическому принципу. Историческая роль этого принципа очевидна. Пока онъ занятъ отрицательной работой, приниженіемъ феодальныхъ элементовъ, изъ которыхъ онъ самъ вышелъ и которыхъ ему слѣдуетъ опасаться,—онъ представляетъ собою принципъ, необходимо прогрессивный. Вольтеръ, важный баринъ, помѣщикъ, камергеръ и кавалеръ, но, тѣмъ не менѣе, вышедшій изъ средняго сословія и всегда принадлежавшій ему по общему складу своего ума, не могъ не понимать этого. И мы, дѣйствительно, видимъ въ Вольтерѣ, рядомъ съ уваженіемъ къ монархическому принципу, отрицательное отношеніе къ такимъ движеніямъ, какъ, напримѣръ, фронда, въ которыхъ теперь многіе публицисты увидѣли бы, можетъ быть, нѣчто либеральное, но которыя въ невинное время отсутствія либерализма были въ глазахъ всѣхъ просто дворянскими, феодальными движеніями. Позволяю себѣ сдѣлать небольшое отступленіе. Я пишу эти строки въ Германіи, въ началѣ августа. Кругомъ слышатся патріотическія рѣчи нѣмцевъ о единствѣ Германіи; южно-германскія государства, фактически проглоченныя Пруссіей еще въ 1866 г. и неизбѣжно имѣющія быть проглоченными и формально не въ 1871, такъ въ 1881, въ 1891 году, признали casus foederis и дерутся съ французами за единую Германію. Представляетъ ли эта въ сотый разъ всплывающая идея единства Германіи принципъ прогрессивный? Ходячій либерализмъ, если только онъ не руководится какими-нибудь сторонними, мѣстными соображеніями, необходимо отвѣчаетъ на этотъ вопросъ утвердительно. Но рѣшенія ходячаго либерализма, хотя бы онъ и не имѣлъ въ виду стороннихъ соображеній, и смотрѣлъ на событія съ высоты птичьяго полета, не заслуживаютъ никакого довѣрія. Глубокій и оригинальный умъ Прудона выставилъ діаметрально противоположное рѣшеніе вопроса. Онъ полагаетъ именно, что объединеніе Германіи и объединеніе Италіи, представляя теченіе, встрѣчное федеративному принципу, суть явленія регрессивныя. Но въ стотысячный разъ должно оказаться, что всѣ подобныя абсолютныя рѣшенія такъ же слабы въ политикѣ, какъ слабы они въ философіи и въ наукѣ. Въ стотысячный разъ должно оказаться, что всякій политическій фактъ, какъ и всякій другой фактъ, обставленъ многочисленными *если* и требуетъ оцѣнки относительной. Федерація для федераціи такъ же малоцѣнна, какъ и объединеніе для объединенія. Исчезновеніе Георговъ и Франсисковъ не составляетъ большой потери и съ точки зрѣнія правильно понятаго федеративнаго принципа. Если бы въ каждомъ швейцарскомъ кантонѣ сидѣло по Людовику или Франциску, то, какъ свидѣтельствуютъ всѣ историческія аналогіи, они (кантоны) необходимо подверглись бы нѣкоторому объединительному процессу и затѣмъ уже только могли бы принять свой теперешній видъ. Объединеніе составляетъ въ извѣстный моментъ необходимое и дѣйствительно прогрессивное явленіе, но опять-таки не безусловно прогрессивное, потому что тутъ же является вопросъ: можетъ ли Пруссія или Пьемонтъ, т.-е. вообще объединяющее начало вести объединенные элементы впередъ по пути развитія? Сообразно отвѣту на этотъ вопросъ, можно или желать немедленнаго объединенія, или желать, чтобы исторія отложила этотъ процессъ, пока объединяющій элементъ не выростетъ. Разъ объединеніе, помимо нашихъ желаній или нежеланій, произошло, мы должны смотрѣть, куда ведетъ объединенные народы Пруссія или Пьемонтъ. Роль монархическаго принципа совершенно аналогична роли объединяющаго государственнаго элемента и даже часто совершенно примыкаетъ къ ней. Представимъ себѣ, напримѣръ, обширную федерацію русскихъ помѣщиковъ, изъ которыхъ каждый чинитъ у себя дома судъ и расправу, чеканитъ монету, объявляетъ войну и заключаетъ миръ, издаетъ законы, и проч. Такая федерація несомнѣнно совершенно удовлетворила бы нашихъ либераловъ изъ партіи покойной «Вѣсти» и даже могла бы быть, съ точки зрѣнія чистокровнаго либерализма, не безъ успѣха поддерживаема. Однако, если бы одинъ изъ членовъ этой фантастической федераціи сталъ постепенно возвышаться и, наконецъ, поглотилъ бы своихъ соперниковъ, то это было бы явленіемъ не только очень естественнымъ, а и несомнѣнно прогрессивнымъ: инымъ путемъ развитіе страны и не могло бы совершаться. Такъ именно и выросъ монархическій принципъ на Западѣ. Но разъ отрицательная работа кончена, разъ феодальное дворянство унижено силою оружія или обращено въ служилое сословіе, прогрессивная задача монархическаго принципа усложняется. Онъ можетъ вести народъ впередъ, остановиться на мѣстѣ, идти назадъ, идти въ ту или другую сторону.

Монархамъ и вообще правительствамъ европейскимъ въ XVIII вѣкѣ не приходилось уже стоять къ остаткамъ феодализма въ такомъ отношеніи, въ какомъ стоялъ Людовикъ XIV, и всѣ свои силы направлять къ тому, чтобы, по выраженію Фридриха Вильгельма I, «gegen die Autorität der Junkers ihre Souveränität wie ein Rocher von Bronce zu stabiliren». Рядомъ съ этою отрицательною дѣятельностью правительствъ XVIII столѣтія, выступаетъ и дѣятельность творческая, которая всегда направляется, главнымъ образомъ, на низшіе слои общества, какъ на наиболѣе нуждающіеся въ обновленіи, и въ обновленіи которыхъ наиболѣе нуждается и само общество. Вольтеръ присутствовалъ при этомъ движеніи, видѣлъ его очень близко, но истиннаго его значенія во всемъ его объемѣ понять не могъ. Для этого онъ слишкомъ спеціализировалъ задачу своей жизни, сведя ее на борьбу съ догматизмомъ Правда, онъ говорилъ и о справедливомъ распредѣленіи налоговъ, и о язвѣ крѣпостного права, и о смягченіи уголовныхъ кодексовъ, но все это только слабыя струи въ бурной рѣкѣ его дѣятельности. Да и то, напримѣръ, относительно налоговъ его преимущественно бѣсили привиллегіи именно духовенства и монастырей. Вообще, если онъ и возлагалъ большія надежды на просвѣщенный деспотизмъ и революцію сверху, то, главнымъ образомъ, только въ виду религіозной терпимости и свободы мысли. Конечно, это было бы завоеваніе огромное, и преимущественно по тѣмъ послѣдствіямъ, которыя бы оно неизбѣжно имѣло. Но едвали Вольтеръ достаточно ясно видѣлъ и достаточно высоко цѣнилъ эти послѣдствія, потому что онъ ставилъ очень опредѣленныя границы тому «просвѣщенію», дѣлу котораго посвятилъ всю свою жизнь. «Мы—пишетъ онъ д'Аламберу — должны быть довольны тѣмъ презрительнымъ положеніемъ, которое l'infame занимаетъ теперь въ глазахъ всѣхъ порядочныхъ людей въ Европѣ. Больше ничего не требовалось. Мы не имѣли претензіи просвѣщать сапожниковъ и кухарокъ». Или въ 1768 году: «Скоро у насъ будетъ новое небо и новая земля. Я разумѣю порядочныхъ людей (honnêtes gens), потому что сволочи (canaille) нужны именно глупѣйшее небо и глупѣйшая земля». Или въ томъ-же году: «Народъ будетъ всегда глупъ и грубъ; это быки, которымъ нужны ярмо, погонщикъ и кормъ» (Штраусъ, стр. 321, 323). Въ 1767 онъ пишетъ Дамилавилю: «Я думаю, что, относительно народа, мы не понимаемъ другъ друга; я понимаю подъ народомъ populace, чернь, у которой есть только руки, чтобы жать. Я опасаюсь, что этотъ разрядъ людей никогда не будетъ имѣть времени и способности научиться; мнѣ кажется даже необходимымъ, чтобы существовали невѣжды. Еслибы вамъ пришлось воздѣлывать землю, какъ имъ, вы, конечно, согласились бы со мной; quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu» (Геттнеръ, стр. 163). Правда, мѣстами Вольтеръ высказываетъ мнѣнія, совершенно противоположныя. Такъ, напримѣръ, въ повѣсти «Вавилонская принцесса» отчасти, вѣроятно, чтобы польстить нѣкоторымъ изъ своихъ царственныхъ покровителей, онъ говоритъ: «Словомъ сказать, въ этихъ обширныхъ государствахъ люди осмѣлились сдѣлаться разумными, между тѣмъ, какъ вездѣ еще думали, что только до тѣхъ поръ можно управлять народомъ, пока онъ глупъ» (Романы и повѣсти, стр. 401). Такъ, въ «Похвальномъ словѣ Разуму» онъ замѣчаетъ, говоря о польскихъ порядкахъ: «Вотъ что значитъ постоянно подавлять самую полезную часть человѣческаго рода и обращаться съ земледѣльцами хуже, чѣмъ они обращаются съ рабочими животными» (Романы и повѣсти, стр. 513). Но обыкновенный тонъ его не оставляетъ никакихъ сомнѣній въ томъ, что для него лежитъ вѣчно непроходимая пропасть между «порядочными людьми» и «сволочью»,—пропасть, неуничтожимая даже союзомъ государей и философовъ. Достаточно замѣтить, что «Вавилонская принцесса», въ которой объясняется, что «сѣверные принцы» отбросили мнѣніе, что «только до тѣхъ поръ можно управлять народомъ, пока онъ глупъ». написана въ томъ же году, какъ и вышеприведенное мнѣніе о необходимости существованія невѣждъ. Разница только въ томъ, что первое мнѣніе высказано во всеуслышаніе передъ лицомъ всей читающей Европы, со включеніемъ «сѣверныхъ принцевъ», тогда какъ второе выражено въ частномъ дружескомъ письмѣ. Не трудно догадаться, въ которомъ случаѣ Вольтеръ былъ искреннѣе. Любопытна также обстановка второго изъ приведенныхъ нами заявленій либеральнаго свойства. Выразивъ свое негодованіе противъ дурного обращенія съ земледѣльцами, путешествующая Истина говоритъ своему отцу, Разуму: «Я жалѣю добродѣтельнаго, умнаго и человѣколюбиваго монарха (Станислава-Августа), и я смѣю надѣяться, что онъ будетъ счастливъ, потому что другіе короли начинаютъ быть счастливыми, и потому что свѣтъ вашъ распространяется все болѣе и болѣе» (Романы и повѣсти, стр. 513).

Какъ одинъ изъ «порядочныхъ людей», Вольтеръ ненавидѣлъ l'infame; современные ему государи, несомнѣнно принадлежавшіе къ «порядочнымъ людямъ», должны были съ

ней также бороться всѣми силами. Объ этомъ союзѣ Вольтеръ хлопоталъ постоянно; эту задачу правительствъ онъ никогда не упускалъ изъ виду. Но затѣмъ судьбы «сволочи» (canaille, populace) отступали, смотря по обстоятельствамъ, на второй, на третій планъ, а то такъ и совсѣмъ исчезали со сцены. Не будучи, такимъ образомъ, въ состояніи охватить всю сферу правительственной дѣятельности и оцѣнить по достоинству творческую половину роли монархическаго принципа; не видя, съ другой стороны, опять-таки ослѣпленный своею спеціальною задачею, нѣкоторыхъ слабыхъ сторонъ просвѣщеннаго деспотизма XVIII вѣка, именно его поверхностности и непрочности—что хорошо видѣли многіе изъ его современниковъ—Вольтеръ естественно долженъ былъ придать невѣрное освѣщеніе монархическому принципу и видѣть въ немъ не средство для достиженія извѣстныхъ цѣлей, а самую цѣль. Правда, онъ нигдѣ не формулировалъ такимъ образомъ своихъ политическихъ воззрѣній, но, какъ уже сказано, онъ сравнительно мало занимался политическими вопросами, и его политическія убѣжденія слагались изъ довольно противорѣчивыхъ и слабо продуманныхъ элементовъ. Но что таковы именно были воззрѣнія Вольтера, это очевидно. И очевидно, между прочимъ, изъ его отношенія къ Людовику XIV, этому монарху изъ монарховъ, блистательно совершившему свою отрицательную работу—съ этой стороны, онъ прямой предшественникъ революціи,—но затѣмъ совершенно отклонившемуся отъ своей творческой миссіи. Для Вольтера Людовикъ XIV, главнымъ образомъ, блестящій покровитель наукъ и искусствъ. Для него это солнце не безъ пятенъ, конечно, но пятна Вольтеръ намѣчиваетъ очень мягко, а если гдѣ и кладетъ густой слой мрачной краски, то только въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣятельность Людовика враждебно сталкивается съ спеціальною задачей жизни самого Вольтера. Вольтеръ прощаетъ многое, даже слишкомъ многое Людовику, не видитъ слишкомъ многихъ темныхъ сторонъ его царствованія, но онъ не можетъ не видѣть, не можетъ простить драгоннадъ и отмѣны нантскаго эдикта.

Изъ всего этого видно, что Вольтеръ далеко не былъ ни политическимъ радикаломъ, ни республиканцемъ, ни революціонеромъ, ни даже мирнымъ демократомъ; словомъ, ничѣмъ такимъ, что стояло бы въ какой-нибудь связи не только съ ужасами революціи, но даже съ тѣмъ неопредѣленнымъ пугаломъ, которому время отъ времени мѣняютъ клички и которое въ свое время входило и въ составъ «вольтерьянства». Многіе изъ знаменитыхъ современниковъ Вольтера далеко оставили его за собой въ этомъ отношеніи, и однако, и ихъ нѣтъ никакой логической возможности притянуть къ террору. Геттнеръ пытается объяснить слишкомъ уже либеральныя воззрѣнія Вольтера на «сволочь» тѣмъ, что онъ, «какъ значительный и опытный землевладѣлецъ, слишкомъ близокъ былъ къ суровой почвѣ дѣйствительности, чтобы безотчетно отдаваться тѣмъ сантиментальнымъ мечтаніямъ о настоящемъ положеніи народнаго образованія и народнаго характера, какимъ могли подчиняться его друзья въ парижской салонной жизни» (162). Но это значитъ до несправедливости мягко относиться къ человѣку не безсильному, къ человѣку, который можетъ постоять за себя. Отношенія къ народу и въ XVIII вѣкѣ не исчерпывались дилеммой: либо иллюзіи, либо презрѣніе. Здѣсь мы встрѣчаемся съ первымъ враждебнымъ столкновеніемъ нравственнаго уродства Вольтера съ его умственной мощью. Штраусъ говоритъ: «Въ посланіи Іуды говорится, что Архангелъ Михаилъ и дьяволъ вели изъ-за души Моисея споръ, которой скоро окончился въ пользу перваго; еслибы подобный споръ возникъ изъ-за души Вольтера, то онъ можетъ быть тянулся бы и до сихъ поръ» (339). Трудно поддерживать или опровергать подобную гипотезу. Несомнѣнно, конечно, что и Архангелу Михаилу было бы за что ухватиться въ душѣ Вольтера. Но вѣрно и то, что нравственный уровень царя мысли былъ очень и очень не высокъ. Его нравственное уродство, въ соединеніи съ нервозностью его натуры, вовлекало его въ жизни во множество самыхъ грязныхъ исторій. Мы не будемъ ихъ касаться, но что для насъ здѣсь важно, такъ это то, что низменность его нравственнаго уровня слишкомъ часто давала, употребляя школьное выраженіе, подножку его логикѣ. Именно эта низменность и не позволила ему гармонизировать и расширить задачу жизни и допустила его только сквозь туманъ и мимоходомъ взглядывать на явленія, лежавшія за предѣлами infame.

Чрезвычайно интересенъ узкій, но, тѣмъ не менѣе, очевидный мостъ, связывающій воззрѣнія Вольтера на нѣкоторыя явленія общественной жизни съ его теологическими воззрѣніями. Это, такъ-называемое (и очень неудачно называемое) нравственное доказательство бытія божія. Въ числѣ обвиненій противъ Вольтера и аттрибутовъ вольтерьянства очень часто фигурируютъ атеизмъ и матеріализмъ. Нѣтъ ничего несправедливѣе этихъ обвиненій, представляющихъ одинъ изъ безчисленныхъ примѣровъ воз-

вышенія мнѣній противника въ квадратъ. Враждебно относясь къ существующимъ религіямъ, Вольтеръ тѣмъ не менѣе былъ всю жизнь страстнымъ защитникомъ внѣміровой божіей личности и никогда не былъ послѣдовательнымъ матеріалистомъ. Недаромъ на построенной имъ въ Фернеѣ церкви онъ сдѣлалъ гордую надпись: Deo erexit Voltaire: недаромъ на памятникѣ его значится, что онъ combattit les athées et les fanatiques. Между двумя или тремя доказательствами бытія божія, выставляемыми Вольтеромъ, онъ придавалъ особенную цѣну нравственному или, вѣрнѣе, практическому доказательству, и къ тому же доказательству прибѣгалъ онъ иногда и относительно вопроса о безсмертіи души, который рѣшалъ, впрочемъ, въ различное время различно. Ланге (Geschichte des Materialismus, 164) очень мѣтко говоритъ, что Вольтеръ *не хотѣлъ* быть матеріалистомъ, и точно также можно сказать, что онъ *не хотѣлъ* быть и атеистомъ. Онъ полагалъ именно, что вѣра въ Бога, помимо своей истинности, *нужна* для поддержанія порядка въ обществѣ. Нѣкоторыя его выраженія въ этомъ смыслѣ сдѣлались классическими, какъ, напримѣръ: «Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer», то-есть, если бы Бога и не было, такъ надо бы было его изобрѣсти. Извѣстно также возраженіе Вольтера противъ предполагаемой Бейлемъ возможности существованія цѣлаго государства атеистовъ. Вольтеръ никакъ не рѣшался допустить такую возможность нравственности при атеизмѣ. Онъ допускалъ ее, правда, но только для философовъ, для «порядочныхъ людей», но масса народа, «сволочь», должна, по его мнѣнію, быть всегда сдерживаема вѣрою въ Бога. Онъ насмѣшливо говорилъ, что еслибы Бейлю пришлось управлять нѣсколькими сотнями крестьянъ (какъ приходилось это самому Вольтеру), то онъ не замедлилъ бы приняться за распространеніе идеи наказывающаго и награждающаго Бога. Такимъ образомъ, пропасть между «сволочью» и «порядочными людьми» даетъ себя знать и въ теологіи и существеннымъ образомъ вліяетъ на образъ мыслей Вольтера. Онъ часто развивалъ этотъ практическій доводъ и прямо говорилъ, что бытіе божіе должно быть утверждаемо не столько на метафизическихъ основаніяхъ, сколько на этомъ практическомъ доказательствѣ. Не имѣя сочиненій Вольтера, мы удовольствуемся слѣдующей цитатой изъ повѣсти «Исторія Жении или атеистъ и мудрецъ». Тенденція разсказа достаточно указывается уже этимъ противоположеніемъ атеиста и мудреца. Мудрецъ Фрейндъ ведетъ, въ присутствіи многочисленнаго общества, поучительную бесѣду съ атеистомъ Биртономъ. Фрейндъ очень краснорѣчивъ и дѣлаетъ нѣкоторымъ образомъ чудеса, обращая въ нѣсколько часовъ заблудшихъ людей на путь истины. Биртонъ играетъ роль болвана въ преферансѣ: карты его открыты и Фрейндъ выбираетъ изъ нихъ то, что ему нужно. Фрейндъ высказываетъ задушевныя мысли самого Вольтера и разбиваетъ Биртона, которому, впрочемъ, позволяется также до извѣстной степени представлять собою Вольтера; рядомъ съ атеистическими воззрѣніями, побѣдоносно опровергаемыми Фрейндомъ, Биртонъ высказываетъ нѣсколько намековъ противъ infame, о которыхъ разсказчикъ говоритъ: «Мы не мѣшали ему высказывать эти грубыя шутки, въ которыхъ, можетъ быть, и была часть истины, но недоставало ни аттической соли, ни римской вѣжливости». Перебравъ аргументы болѣе слабые и немогущіе окончательно убѣдить и поразить слушателей и, въ особенности, атеиста Биртона, мудрецъ Фрейндъ говоритъ, наконецъ: «И неужели же изъ-за этихъ вѣроятностей (атеистической доктрины) мы должны были бы отдаться на волю нашихъ пагубныхъ страстей, жить какъ живутъ дикія животныя, вмѣсто всякихъ законовъ признавать одни только свои желанія и сдерживать ихъ только изъ боязни другихъ людей, которые изъ-за этой боязни должны сдѣлаться вѣчными врагами другъ друга, такъ какъ мы всегда желаемъ гибели тѣхъ, кого боимся?.. Предположимъ, что вся Англія приняла атеистическіе принципы, отъ чего, впрочемъ, избави насъ Господи; тогда, я понимаю, конечно, нашлось бы не мало гражданъ, *съ спокойнымъ и кроткимъ характеромъ, довольно богатыхъ, чтобы имѣть выгоду въ несправедливости, руководимыхъ, однако, чувствомъ чести и, слѣдовательно, слѣдящихъ за своими поступками; они могли бы ужиться другъ съ другомъ;* занимаясь искусствами, которыя смягчаютъ нравы, они могли бы наслаждаться миромъ и невинными забавами честныхъ людей; *но буйный и бѣдный атеистъ, увѣренный въ безнаказанности, былъ бы глупцомъ, еслибы онъ не убилъ васъ, чтобы украсть у васъ деньги.* Тогда прервались бы всѣ общественныя связи, тайныя преступленія наводнили бы міръ, подобно саранчѣ, едва замѣтной вначалѣ, но потомъ опустошающей наши поля; чернь превратилась бы въ шайку разбойниковъ, въ родѣ нашихъ воровъ, десятую часть которыхъ приговаривали къ висѣлицѣ на нашихъ сессіяхъ. Они проводили бы свою несчастную жизнь въ тавернахъ съ погибшими женщинами. Колотя ихъ и дерясь между собою, они засыпали бы пьяные посреди свинцовыхъ кружекъ, которыми под-

часъ разбивали бы другъ другу головы, и, просыпаясь только для грабежа и убійства, каждый день снова предавались бы своимъ скотскимъ страстямъ. Кто удержалъ бы тогда сильныхъ міра сего и царей въ ихъ мести, въ ихъ честолюбіи, чего бы только не принесли они тогда имъ въ жертву? Король-атеистъ опаснѣе фанатика Равальяка. Въ XV вѣкѣ исторія кишѣла атеистами; что же изъ этого вышло? Отравить кого-нибудь было тогда такимъ же обыкновеннымъ дѣломъ, какъ и угостить кого-нибудь ужиномъ, и также охотно закалывали своихъ друзей, какъ и обнимали ихъ... Стало быть, нѣтъ ничего полезнѣе людямъ, какъ вѣра въ Бога, который награждаетъ за добрыя дѣла, наказываетъ за злыя и прощаетъ легкіе проступки; только онъ удерживаетъ сильныхъ міра сего отъ совершеія оффиціальныхъ преступленій; только онъ удерживаетъ маленькихъ людей отъ тайныхъ преступленій. Я вамъ не совѣтую, любезные друзья, примѣшивать къ этой необходимой вѣрѣ суевѣріе, которое ее унижаетъ и даже дѣлаетъ пагубной; атеистъ—это чудовище, пожирающее все для утоленія своего голода; суевѣръ—то же чудовище, но терзающее людей по чувству долга».

Эта рѣчь доканала Биртона и другихъ слушателей. Будучи только атеистомъ, а не мудрецомъ, Биртонъ бросился къ ногамъ Фрейнда и воскликнулъ: «Да, я вѣрю и въ Бога, и въ васъ». Человѣкъ, исполняющій роль болвана въ преферансѣ (кстати, Вольтеръ очень часто прибѣгаетъ къ такой игрѣ съ болваномъ), безъ всякаго сомнѣнія, такъ именно и долженъ былъ кончить. Но не надо быть большимъ мудрецомъ, чтобы видѣть до какой степени слабы и несостоятельны доводы мудреца Фрейнда. Во избѣжаніе какихъ-либо перетолкованій и возвышенія нашихъ мнѣній въ квадратъ, мы заявляемъ, что смотримъ на атеизмъ, какъ на систему совершенно не философскую. Всѣ подобныя вторженія въ область, недоступную для человѣческаго разума, по нашему искреннему и глубокому убѣжденію, не выдерживаютъ критики. Но это не мѣшаетъ намъ стараться по достоинству оцѣнить и тѣ доказательства и положенія, которыя выставляются противъ атеизма, и въ частности находить, что вышеприведенныя выраженія Вольтера не имѣютъ никакой цѣны. Для насъ они драгоцѣнны, но только какъ указаніе, до какой степени Вольтеромъ управляютъ иногда соображенія, совершенно постороннія предмету разсужденія, и до какой степени пагубное вліяніе на его умъ имѣетъ спеціализація задачи жизни, связанная съ непривлекательными чертами его нравственнаго характера. Просимъ читателя обратить вниманіе на подчеркнутыя нами въ тирадѣ мудреца Фрейнда фразы. Дѣло идетъ о томъ, чтобы доказать, что атеистъ не можетъ быть нравственнымъ человѣкомъ. Вольтеръ рѣшаетъ задачу, такимъ образомъ, что *богатый и кроткій* атеистъ можетъ вести нравственную жизнь, а атеистъ *бѣдный и буйный* будетъ непремѣнно воромъ и преступникомъ. Ясно, что Фрейнду, болвану Биртону и другимъ слушателямъ только кажется, что они рѣшаютъ задачу объ атеизмѣ; ясно, что x и y рѣшаемой задачи вовсе не атеизмъ, а богатство и кротость, съ одной стороны, и бѣдность и буйство, съ другой. Еслибы Биртонъ не исполнялъ назначенной ему роли болвана, онъ могъ бы сказать Фрейнду: «Мудрецъ, вы сворачиваете въ сторону. Вы, подобно страусу, прячете голову, воображая, что вы такимъ образомъ спасены, тогда какъ даете мнѣ въ руки новое оружіе. Вы мнѣ не доказали, что атеистъ непремѣнно человѣкъ безнравственный; напротивъ, вы поддержали Бейля, вы доказали, что вполнѣ нравственное общежитіе совершенно возможно для атеистовъ, если только они не бѣдны и не буйны. Такъ какъ атеистъ можетъ быть *добродѣтельнымъ*, если онъ, сохраняя свой атеизмъ, богатъ и притомъ руководится чувствомъ чести и слѣдитъ за своими поступками (т. е. если онъ *добродѣтеленъ*?); такъ какъ съ другой стороны, атеистъ непремѣнно преступникъ, если только онъ бѣденъ и имѣетъ дурной характеръ,—то мнѣ кажется, что атеизмъ тутъ совсѣмъ не при чемъ. Сокращая обѣ части уравненія на одну и ту же величину атеизма, я съ полнымъ правомъ вывожу его изъ круга нашихъ разсужденій и вижу, что человѣкъ, по вашему мнѣнію, добродѣтеленъ, если онъ добродѣтеленъ и богатъ, и безнравственъ, если онъ безнравственъ и бѣденъ. Я вычеркиваю плеоназмы, и у меня остается положеніе: человѣкъ добродѣтеленъ, если онъ богатъ, и преступенъ, если онъ бѣденъ. Это, разумѣется, несправедливо, но здѣсь есть доля истины, и меня удивляетъ, что вы, имѣя титулъ мудреца, проглядѣли эту долю истины и замаскировали ее для самого себя такой кучей ненужныхъ и слабыхъ укрѣпленій. Мудрецъ, меня удивляетъ ваша логика. Вы утверждаете, что еслибы въ Англіи утвердились атеистическіе принципы, то буйные люди стали бы проводить время въ тавернахъ съ погибшими женщинами и разбивать другъ другу головы оловянными кружками. Но, скажите, о, мудрецъ, развѣ всѣ оловянныя кружки въ нашей теперешней богоспасаемой Англіи совершенно невинны? развѣ и теперь буйные люди не проводятъ время въ тавернахъ? Не значитъ ли это придавать атеизму слишкомъ много значе-

нія, когда вы въ немъ одномъ ищете причину преступленій, совершенныхъ въ Италіи въ XV столѣтіи? Французскій философъ XVIII вѣка, Вольтеръ, остроумный авторъ нашего съ вами разговора, вѣрилъ въ Бога и вмѣстѣ съ тѣмъ надувалъ, клеветалъ, подделывалъ векселя. „Что вы скажете, если я буду на этомъ основаніи утверждать, что г. Вольтеръ продѣлывалъ все это именно потому, что вѣрилъ въ Бога? Вы, конечно, не назовете меня мудрецомъ, а г. Вольтеръ даетъ вамъ этотъ титулъ за подобную же аргументацію и даже заставляетъ меня бросаться къ вашимъ ногамъ, тогда какъ изъ дѣла видно, что вы именно, метафорически говоря, бросались къ моимъ ногамъ и просили пощады, хотя г. Вольтеръ обставилъ васъ гораздо лучше, чѣмъ меня. Припомните, что вы окончили свою бесѣду восклицаніемъ: «Пусть господинъ Биртонъ и его друзья отвѣтятъ мнѣ, какой вредъ можетъ имъ принести поклоненіе Богу и честная жизнь?»—Это уже значитъ просить пардону, хотя вы еще продолжаете коварно отождествлять поклоненіе Богу съ честною жизнью, тогда какъ ихъ взаимныя отношенія и составляютъ нашъ вопросъ, предметъ нашихъ дебатовъ».

Такъ долженъ бы былъ отвѣтить мудрецу Фрейнду Биртонъ, еслибы Вольтеръ не игралъ съ болваномъ. Очевидно, Вольтеръ дѣйствительно *не хотѣлъ* быть атеистомъ, если онъ считаетъ дѣло деизма достаточно защищеннымъ подобными бьющими совсѣмъ мимо цѣли выстрѣлами. Не то, чтобы онъ при этомъ совершалъ надъ собой какое-нибудь насиліе, заставлялъ себя убѣждаться доказательствами мудраго Фрейнда. Нѣтъ, это насиліе надъ собой никогда вѣроятно не обрисовывалось вполнѣ отчетливо въ душѣ Вольтера. Это *нежеланіе* быть атеистомъ и матеріалистомъ, ради соображеній совершенно постороннихъ, никогда не принимало, такъ сказать, остраго характера, но обратилось въ хроническую болѣзнь, сдѣлалось подкладкой всей философіи Вольтера, очень рѣдко, однако, выступая наружу въ отдѣльныхъ случаяхъ. Сосредоточивъ всѣ свои силы на одномъ пунктѣ, Вольтеръ велъ войну слишкомъ односторонне. Его атака противъ infame была до такой степени горяча и стремительна; его жажда побѣды на этомъ пунктѣ была до такой степени сильна, что для нея онъ готовъ былъ пожертвовать всѣмъ. Онъ поступалъ такъ, какъ поступили бы теперь нѣмцы, еслибы, имѣя въ виду только побѣду на Рейнѣ, не замѣтили высадки французовъ съ моря и взятія Берлина и продолжали трубить побѣду, тогда какъ въ сущности происходило отступленіе. Понятное дѣло, что это произошло потому, что Вольтеръ слишкомъ мало дорожилъ Берлиномъ, а это объясняется опять-таки недостаточною высотою его нравственнаго уровня. Вторженіе этого элемента въ развитіе приведеннаго практическаго аргумента очевидно до послѣдней степени. Какой нравственно развитой человѣкъ не то что рѣшится сказать, а какъ онъ сумѣетъ сказать, какъ это говорилъ Вольтеръ:

> ...Wird redlicher dein Pächter?
> Glaubt er an keinen Gott, zahlt er gewiss dir schlechter.

Это переводъ Штрауса (225), и по-русски значитъ: «если твой арендаторъ не вѣритъ въ Бога, такъ будетъ тебѣ плохо платить арендныя деньги». А Вольтеръ видѣлъ въ этомъ серьезный аргументъ. Какой нравственно развитой человѣкъ, говоря о томъ, что есть люди, достаточно хорошо обставленные для того, чтобы не нуждаться въ несправедливости, будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ валить вину преступленій на атеизмъ. Здѣсь низменность нравственнаго уровня Вольтера до такой степени отуманиваетъ его свѣтлую голову, что заставляетъ его говорить вещи не только отвратительныя, а и просто безсмысленныя. Никогда благородный Дидро не напиралъ на подобные аргументы въ періодъ своего увлеченія деизмомъ. Никогда Руссо не поднялъ бы такого жалкаго оружія противъ ненавистнаго ему, не менѣе чѣмъ Вольтеру, атеизма. Въ этомъ отношеніи самъ Вольтеръ отчасти приготовилъ тѣ безсмысленныя огульныя обвиненія, тотъ нелѣпый фантастическій клубокъ, о которомъ мы говорили выше и который захватилъ и Вольтера.

Читатель не могъ не замѣтить что Вольтеръ очень охотно допускаетъ возможность нравственной жизни, при атеизмѣ, для «философовъ», для «порядочныхъ людей» и напираетъ преимущественно на то; что на «сволочь» должна быть налагаема вѣра въ Бога въ видѣ узды. Самъ собою является вопросъ: насколько самъ Вольтеръ довѣрялъ своимъ доказательствамъ бытія Божія и не былъ ли его деизмъ только экзотерическимъ ученіемъ, которое онъ отнюдь не признавалъ для своей личности обязательнымъ? Однако, такое подозрѣніе неосновательно. Многочисленные факты изъ окружающей его среды показывали ему, что атеизмъ и высоко нравственная жизнь не несовмѣстимы. Онъ не могъ и не хотѣлъ это наблюденіе надъ жизнью «порядочныхъ людей» распространить на жизнь «буйныхъ и бѣдныхъ» атеистовъ, не могъ по складу своей натуры и потому, что симпатіи его лежали совершенно въ сторонѣ отъ этой жизни. Но самъ онъ никогда не былъ атеистомъ. Онъ искренно вѣрилъ въ бытіе Божіе, которое под-

держивалось для него не только практическимъ доводомъ, а и другими доказательствами. Объ нихъ ниже. Геттнеръ прекрасно характеризуетъ сантиментализмъ Руссо и раціонализмъ Вольтера, говоря, что для перваго бытіе Божіе есть потребность чувства, а для второго—потребность разума. Наше время, реагируя противъ стараго идеализма и поношенной, вывороченной, перекрашенной, аппретированной, всѣмъ надоѣвшей сантиментальности, слишкомъ пугливо сторонится всякаго вмѣшательства чувства въ вопросы науки и философіи и охотнѣе склоняется къ раціонализму, причемъ поднимается на пьедесталъ фигура Вольтера. Но эта реакція, надо надѣяться, скоро займетъ должныя границы, и мы убѣдимся, что голый сантиментализмъ Руссо односторонень въ такой же степени, какъ и голый раціонализмъ Вольтера; что здравое міросозерцаніе требуетъ гармоническаго отправленія всѣхъ функцій человѣка и взаимнаго ихъ контроля—что и въ XVIII вѣкѣ было отчасти достигнуто, и именно Дидро. Въ Руссо чувство играло активную роль и иногда слишкомъ перевѣшивало дѣятельность умственнаго элемента. Въ Вольтерѣ мы имѣемъ обратное явленіе, но не слѣдуетъ думать, чтобы его раціонализмъ былъ чистъ отъ всякой примѣси элемента сантиментальнаго. Отнюдь нѣтъ, но, не давая этому элементу свободнаго развитія, то кастрируя его, то вытягивая его за волосы, Вольтеръ не могъ усмотрѣть той роли, которую онъ дѣйствительно, а не на словахъ игралъ въ его міросозерцаніи. А онъ несомнѣнно игралъ роль важную и, совершенно безъ вѣдома Вольтера, рвался на волю, рвался неправильно, вкривь и вкось, и при этомъ сбивалъ съ логическаго пути и умственный элементъ. Вольтеръ сплошь и рядомъ убѣждается доводомъ не потому, чтобы онъ былъ дѣйствительно убѣдителенъ, а просто потому, что въ глубинѣ души его ему подсказываетъ какой-то невѣдомый для него голосъ: убѣдись, повѣрь. Еслибы Вольтеръ могъ доискаться, что это за голосъ, откуда онъ идетъ и куда зоветъ, словомъ, еслибы онъ привелъ себя себѣ въ ясность, онъ безъ сомнѣнія строже относился бы и къ своимъ силлогизмамъ, которые теперь слишкомъ часто оказываются совершенно прозрачными софизмами. Кромѣ того, руководясь въ своихъ изслѣдованіяхъ всегда какою-нибудь заднею мыслью, но не подвергая ее анализу и иногда даже вовсе не замѣчая ее, Вольтеръ часто путается и впадаетъ въ противорѣчія, потому что не обращаетъ вниманія на то, что пружины не приведены въ систему.

Богъ непостижимъ, по мнѣнію Вольтера, за исключеніемъ одной стороны, именно правосудія. Богъ награждаетъ и наказываетъ людей за ихъ добрыя и злыя дѣла,—въ этомъ Вольтеръ не сомнѣвается ни на минуту. И это совершенно понятно, потому что сомнѣніе въ правосудіи Бога подкапываетъ самое основаніе практическаго доказательства бытія божія. Но изъ этой неизбѣжности признанія Божія правосудія возникаютъ для Вольтера безчисленныя затрудненія, изъ которыхъ онъ не всегда удачно выпутывается. Быть можетъ, Богъ награждаетъ и наказываетъ людей уже здѣсь, на землѣ? Этотъ вопросъ тѣсно примыкаетъ къ весьма занимавшему Вольтера вопросу о существованіи и причинахъ зла на землѣ, а этотъ въ свою очередь вяжется съ телеологическимъ доказательствомъ бытія Божія и возрѣніями Вольтера на природу, какъ на искусство, которыя мы разсмотримъ ниже. Здѣсь замѣтимъ только, что Вольтеръ постоянно очень путался и, какъ говорится, вилялъ въ рѣшеніи этихъ вопросовъ. Такъ въ цитированной уже нами игрѣ Фрейнда - Вольтера съ болваномъ Биртономъ есть, напримѣръ, слѣдующій ходъ:

«Биртонъ.—...Если Богъ снизошелъ до созданія, или до устройства вселенной, то это только съ тою цѣлью, чтобы создать счастливыхъ людей. Предоставляю вамъ разсудить, выполнилъ ли онъ свое намѣреніе, единственное намѣреніе, достойное его божественной натуры?

«Фрейндъ.—Да, безъ сомнѣнія, это намѣреніе удалось Ему относительно всѣхъ честныхъ душъ: онѣ будутъ когда-нибудь счастливы, если и несчастливы теперь.

«Биртонъ. — Счастливы! Какая мечта! Это дѣтскія сказки! *Гдѣ? Когда? Какъ? Кто это вамъ сказалъ?*

«Фрейндъ.—*Его справедливость.*

«Биртонъ.—Не собираетесь ли вы мнѣ повторять вслѣдъ за безчисленными витіями, что мы будемъ жить вѣчно послѣ нашей смерти, что мы обладаемъ безсмертною душой или лучше — что она обладаетъ нами, повторять послѣ того, какъ вы признались, что сами евреи, преемниками которыхъ вы себя считаете, никогда даже и не подозрѣвали до времени Ирода, что душа безсмертна?.. и т. д... Этотъ интеллектуальный могущественный принципъ, одушевляющій всю природу, какъ и вы, я назову Богомъ; но доступенъ ли онъ нашему пониманію?

«Фрейндъ.—Да, мы Его познаемъ въ Его дѣйствіяхъ.

. . . .

«Фрейндъ.—...Все, что я вамъ могу сказать, это то, что если вы совершили преступленіе, злоупотребивъ своей свободой, то вы не можете доказать мнѣ, что Богъ не можетъ наказать васъ. Попробуйте, докажите!

«Биртонъ.—Постойте; вы думаете, я не могу вамъ доказать, что Высшее Существо не въ силахъ наказать меня! Ей-Богу, вы правы; я изъ всѣхъ силъ старался убѣдить себя въ противномъ, но это мнѣ никогда не удавалось. Признаюсь, я часто злоупотреблялъ своей свободой, и Богъ можетъ наказать меня, но, чортъ возьми, когда я умру, то ему нечего будетъ наказывать!

«Фрейндъ.—Всего лучше было бы для васъ, еслибы вы сдѣлались честнымъ человѣкомъ, пока вы еще живы» (Романы и повѣсти, 564).

Здѣсь Вольтеръ безпощадно эксплуатируетъ избранную имъ для изложенія своихъ воззрѣній діалогическую форму. Биртонъ спрашиваетъ: гдѣ? когда? и какъ? будутъ счастливы честные люди. Эти вопросы поставили бы Фрейнда-Вольтера въ немалое затрудненіе, и потому Биртону предписывается прибавить еще вопросъ: кто вамъ это сказалъ? На него Фрейндъ-Вольтеръ и отвѣчаетъ: его справедливость, пропуская мимо ушей предыдущіе и гораздо болѣе важные вопросы. Однако, и этотъ отвѣтъ Фрейнда не особенно удовлетворителенъ, опять-таки потому, что Вольтеръ забѣгаетъ впередъ и выставляетъ тезисъ, подлежащій обсужденію, уже какъ рѣшенный. Да и весь приведенный разговоръ совершенно ясно свидѣтельствуетъ, что воззрѣнія Вольтера на награды и наказанія въ земной жизни не отличаются отчетливостью. Впослѣдствіи мы убѣдимся въ этомъ окончательно.

Что на землѣ далеко не всегда порокъ наказывается, а добродѣтель торжествуетъ—это фактъ слишкомъ осязательный, чтобы его можно было отрицать. Различными діалектическими тонкостями можно только напустить туману на это явленіе, но дѣйствительно перетолковать его нѣтъ возможности. Поэтому не только откровенная христіанская религія, а и большинство существующихъ на земномъ шарѣ религій принимали и принимаютъ загробную жизнь, гдѣ добрыя и злыя дѣла должны получить свой разсчетъ, а для этого требуется признаніе безсмертія души. Для Вольтера здѣсь возникаетъ новое затрудненіе.

Вольтеръ въ психологіи прямой ученикъ Локка. Еще въ своихъ «Англійскихъ письмахъ» онъ возсталъ противъ господствовавшаго на материкѣ психологическаго ученія Декарта и вызвалъ цѣлую бурю своею критикою врожденныхъ идей и признаніемъ чувственнаго опыта, какъ источника нашихъ познаній. Въ «Микромегасѣ» онъ такимъ образомъ сопоставляетъ различныя психологическія доктрины. Микромегасъ, житель Сиріуса, соединившись съ однимъ жителемъ Сатурна, отправляется путешествовать и попадаетъ, между прочимъ, на землю, гдѣ заводитъ разговоръ съ людьми о разныхъ предметахъ и, наконецъ, спрашиваетъ у нихъ, что такое, по ихъ мнѣнію, душа и какъ слагаются ихъ идеи. «Философы, какъ и прежде, заговорили всѣ разомъ, но высказали мнѣнія самыя разнообразныя. Самый старый цитировалъ Аристотеля, другой произносилъ имя Декарта, третій—Мальбранша, четвертый— Лейбница, пятый—Локка» (Романы и повѣсти, 118). Перипатетикъ выразился такъ: «Душа есть энтелехія и та причина, по которой она можетъ быть такою, какова есть на самомъ дѣлѣ. Это именно говоритъ Аристотель, на 633-й страницѣ Луврскаго изданія». Онъ привелъ цитату. «Я не слишкомъ-то хорошо понимаю греческій языкъ», сказалъ великанъ. «Я точно также», отвѣчалъ клещъ-философъ. «Зачѣмъ же вы—возразилъ обитатель Сиріуса—цитируете вашего Аристотеля по-гречески?» «Затѣмъ, что то, чего не знаешь вовсе, всегда надо цитировать на томъ языкѣ, который знаешь всего хуже». Картезіанецъ сказалъ: «Душа есть чистый духъ, который получилъ еще во чревѣ матери всѣ метафизическія идеи и, по рожденіи, отправился въ школу учиться тому, что онъ зналъ уже такъ хорошо, и чего ему не суждено болѣе знать». «Такъ вашей душѣ—отвѣчало животное въ 8 лье—не стоило труда быть такой ученой во чревѣ матери, чтобы стать невѣждой, когда выростетъ борода. Но, что вы разумѣете подъ словомъ духъ?» «Что вы меня объ этомъ спрашиваете?—сказалъ резонеръ:—я не имѣю о немъ никакого понятія; говорятъ, что это не вещество». Послѣдователь Мальбранша на вопросъ Микромегаса, что такое душа и въ чемъ проявляется ея дѣятельность, отвѣчалъ: «Да ни въ чемъ, за меня все дѣлаетъ Богъ, я все вижу и все дѣлаю черезъ него, самъ же ни во что не мѣшаюсь». «Это все равно, что не существовать», возразилъ мудрецъ съ Сиріуса. Четвертый философъ, ученикъ Лейбница, опредѣлилъ душу, какъ «стрѣлку, указывающую часы въ то время, какъ мое тѣло бьетъ ихъ, или, если хотите, она бьетъ часы въ то время, какъ мое тѣло ихъ указываетъ, или иначе, моя душа—зеркало вселенной, а мое тѣло — рамка этого зеркала: все это очень ясно». Наконецъ послѣдній философъ, сторонникъ Локка, сказалъ: «я не знаю, какъ я мыслю, но знаю, что мыслю не иначе, какъ вслѣдствіе моихъ ощущеній; я не сомнѣваюсь въ томъ, что есть существа невещественныя и разумныя, но я сильно сомнѣваюсь въ томъ, чтобы Богу невозможно было вложить мысль въ вещество. Я почитаю Вѣчное Всемогущество, не смѣю его ограничивать, ничего не утверждаю и до-

вольствуюсь тѣмъ убѣжденіемъ, что на свѣтѣ гораздо болѣе возможныхъ вещей, нежели объ этомъ думаютъ». Оба гостя съ далекихъ планетъ были въ восторгѣ отъ разсужденія локкіанца. Но незамѣченный до тѣхъ поръ человѣкъ «въ четыреугольной шапочкѣ» внезапно объявилъ, что рѣшенія обсуждаемыхъ вопросовъ слѣдуетъ искать въ «сокращенномъ изданіи сочиненій св. Ѳомы» и затѣмъ пояснилъ, что все, со включеніемъ великановъ гостей, ихъ планетъ, ихъ горъ и пр., сотворено для человѣка. Жители Сиріуса и Сатурна расхохотались во все горло.

Въ «Исторіи о памяти» разсказывается о негодованіи музъ, когда Нонсобра (анаграмма Сорбонны; nonsobra—нетрезвая, невоздержная), лойолисты (іезуиты) и сеянисты (янсенисты) возстали противъ положенія Локка о происхожденіи нашихъ идей опытнымъ путемъ и несуществованіи врожденныхъ идей. Музы въ наказаніе людямъ отняли у нихъ память. Въ одинъ прекрасный день люди проснулись безъ памяти. Произошелъ рядъ забавныхъ и скандальныхъ qui pro quo, никто не понималъ другъ друга, появился голодъ, такъ что музы, наконецъ, сжалились надъ людьми и возвратили имъ память. Мнемозина, богиня памяти, сказала: «Безумные, я васъ прощаю; но помните, что безъ чувствъ нѣтъ памяти, а безъ памяти нѣтъ ума».

Словомъ, какъ изъ лежащихъ передъ нами повѣстей и романовъ, такъ и изъ множества другихъ сочиненій Вольтера совершенно ясно, что относительно вопроса о происхожденіи нашихъ знаній и понятій онъ сильно приближается къ матеріалистическому образу мыслей. Здѣсь у него нѣтъ колебаній. Они начинаются только тогда, когда дѣло идетъ о самой душѣ, о духовномъ началѣ человѣка. Правда, онъ и здѣсь, въ общемъ, близокъ къ матеріализму, и его деизмъ нисколько не препятствуетъ такому приближенію. Онъ очень охотно и часто пользовался извѣстнымъ аргументомъ Локка: Богъ, какъ существо всемогущее, могъ одарить мыслительною способностью и матерію. Вольтеръ ухитрялся даже повернуть это оружіе противъ нападающихъ дуалистовъ, признававшихъ два начала человѣка—тѣлесное и духовное; онъ говорилъ именно, что надо быть совершеннымъ безбожникомъ, чтобы до такой степени отрицать всемогущество божіе и не вѣрить въ возможность для Бога вложить мысль въ матерію. Аргументъ этотъ, однако, очевидно несостоятеленъ, потому что рѣчь не о томъ идетъ, *могъ* ли Богъ одарить матерію мыслительною способностью, а о томъ, одарена ли она этою способностью дѣйствительно, или же, рядомъ съ матеріею, надо признать въ человѣкѣ еще иное, отличное отъ матеріальнаго, начало. Противники Локка и Вольтера могли бы возразить имъ: Богъ могъ сдѣлать это, но могъ сдѣлать и иное. Какъ бы то ни было, но Вольтеръ, добросовѣстно доискиваясь истины, не считалъ себя въ правѣ признать душу особой субстанціей. Такъ, въ разговорѣ доктора Гудмана съ анатомомъ Сидракомъ (въ повѣсти «Уши графа Честерфильда и капелланъ Гудманъ») читаемъ, между прочимъ: «Я чувствую и знаю, что Богъ далъ мнѣ способность мыслить и говорить, но я не чувствую и не знаю, далъ ли онъ мнѣ то, что называютъ душою... Такъ какъ никто не видалъ этого дыханія, этого духа, то изъ него сдѣлали существо, котораго никто не можетъ ни видѣть, ни осязать; говорили, что оно пребываетъ въ нашемъ тѣлѣ, не занимая мѣста, двигаетъ нашими органами, не достигая ихъ: чего только не говорили?.. Каждый сознаетъ, что имѣетъ умъ, что онъ воспринимаетъ идеи, собираетъ и разбираетъ; но никто не сознаетъ, чтобы въ немъ было другое существо, которое доставляло бы ему движеніе, ощущенія и мысли. Въ сущности, смѣшно произносить слова, которыхъ никто не понимаетъ, и признавать существа, о которыхъ нельзя имѣть ни малѣйшаго понятія». Далѣе, Сидракъ, въ качествѣ медика «препарировавшаго мозги и видѣвшаго зародыши», объясняетъ, что при этихъ операціяхъ онъ не находилъ никакихъ признаковъ души и что онъ «никакъ не могъ понять, какимъ образомъ невещественное и безсмертное существо можетъ въ продолженіе девяти мѣсяцевъ безполезно оставаться скрытымъ. Мнѣ трудно было постигнуть, чтобы эта мнимая душа могла существовать до образованія своего тѣла, потому что къ чему служила бы она нѣсколько вѣковъ, не будучи человѣческою душою? И затѣмъ, какъ представить себѣ простое, метафизическое бытіе, которое цѣлую вѣчность ожидаетъ минуты оживить матерію на такое короткое время? Что дѣлается съ этимъ неизвѣстнымъ существомъ, если зародышъ, который оно должно оживить, умираетъ въ животѣ матери? Но что всего хуже, такъ это то, что говорятъ, будто Богъ вызываетъ изъ ничтожества эти безсмертныя души, чтобы подвергнуть ихъ вѣчнымъ и невѣроятнымъ мученіямъ. Какъ! сжигать простыя существа, которыя не имѣютъ ничего сгараемаго! Какимъ образомъ могли бы мы сжечь звукъ голоса или пронесшійся мимо насъ вѣтеръ! Еще этотъ звукъ, этотъ вѣтеръ были вещественны во время ихъ прохожденія; но чистый духъ, мысль, сомнѣніе? тутъ я теряюсь. Куда ни повернусь, встрѣчаю только тьму противорѣчія, невозможности мечты»... (Романы и повѣсти, 578).

Такимъ образомъ, логическимъ теченіемъ мысли, Вольтеръ принужденъ перейти отъ отрицанія особаго духовнаго начала въ человѣкѣ къ отрицанію безсмертія души. Но разъ душа не безсмертна, разъ вмѣстѣ со смертью человѣкъ кончается весь безъ остатка и, слѣдовательно, по ту сторону гроба нѣтъ для него ни наказанія, ни награды,— приходится для сохраненія такъ дорогого Вольтеру практическаго доказательства бытія божія и божественнаго правосудія признать, что награды и наказанія раздаются уже на землѣ. Иногда Вольтеръ и принималъ это положеніе, но иногда, отчаяваясь въ солидности тезиса «добродѣтель торжествуетъ, а порокъ наказанъ», готовъ былъ принять идею безсмертія души; ту самую идею, которая стояла въ прямомъ противорѣчіи съ основными началами его психологическаго ученія и которая въ приведенномъ разговорѣ Сидрака съ Гудманомъ и во множествѣ другихъ мѣстъ осыпается градомъ самыхъ злыхъ насмѣшекъ. Вольтеръ всю жизнь свою лавировалъ между этими подводными камнями, надъ которыми для него стояла только одна спасительная вѣха: практическое доказательство бытія божія и идея правосуднаго Бога. Только бы «бѣдные и буйные атеисты» были убѣждены, что ихъ непремѣнно ждетъ наказаніе, не мытьемъ, такъ катаньемъ, не на томъ, такъ на этомъ свѣтѣ; только бы нравственность была обезпечена, и ради этого обезпеченія Вольтеръ готовъ уступить все. Конечно, обезпеченіе нравственности есть дѣло великое, но и Александръ Македонскій былъ великій герой, изъ чего, однако, не слѣдуетъ, чтобы нужно было стулья ломать. Обезпеченіе нравственныхъ отношеній между людьми есть не только великое, а прямо величайшее дѣло, какое только можетъ представиться человѣческому уму. Но Вольтеръ хлопоталъ вовсе не о нравственности, онъ совершенно упускалъ изъ виду ея дѣйствительныя гарантіи, и если ему и случалось иногда мелькомъ взглянуть на нихъ, то онъ никогда не останавливался на нихъ достаточно долго. Ему, напримѣръ, очень хотѣлось, чтобы арендаторы исправно платили деньги «значительнымъ и опытнымъ землевладѣльцамъ», чтобы «бѣдные и буйные» люди не разбивали другъ другу головъ оловянными кружками, чтобы Александры Шестые не убивали и не отравляли людей. Но ему не приходитъ въ голову, что для исполненія этихъ желаній требуется измѣненіе условій существованія—матеріальнаго и духовнаго — арендаторовъ, бѣдныхъ и буйныхъ людей, Александровъ Шестыхъ. Онъ ихъ оставляетъ въ томъ же положеніи, въ какомъ и засталъ, и полагаетъ, что дѣло сдѣлано, если арендаторамъ, бѣднымъ и буйнымъ людямъ и Александрамъ Шестымъ будетъ внушено, что такъ или иначе, а отъ возмездія имъ не уйти. Это не значитъ искать гарантій нравственности, это значитъ подпирать ее гнилыми подпорками. И у Вольтера была въ запасѣ еще одна. Онъ сдѣлалъ одно, довольно важное, измѣненіе въ психологической теоріи своего учителя Локка. Будучи съ нимъ совершенно согласенъ относительно происхожденія нашихъ идей и знаній, онъ допускалъ, однако, существованіе врожденной нравственности, врожденныхъ нравственныхъ идей. Когда человѣкъ столько и такъ хлопочетъ о нравственности, такъ дрожитъ надъ ней, не видя, вмѣстѣ съ тѣмъ, ея дѣйствительныхъ условій—такому человѣку не слѣдуетъ класть пальца въ ротъ. Карты открыты, жизнь Вольтера извѣстна, но, кажется, можно бы и безъ того было сказать, что онъ былъ за человѣкъ, на основаніи его сочиненій. Мы здѣсь опять встрѣчаемся съ вторженіемъ нравственнаго элемента въ чисто теоретическую область. Очевидно, что именно этотъ элементъ обрѣзывалъ крылья Вольтеру, заставлялъ его впадать въ противорѣчія и дѣлать совершенно нелогическіе выводы, до такой степени нелогическіе, что трудно себѣ представить, что присутствуешь при умственной работѣ «царя мысли».

Можно съ большою вѣроятностью предположить, — хотя мы, къ сожалѣнію, не можемъ провѣрить это предположеніе хронологическими данными, — что шансы идеи безсмертія души поднимались именно въ тѣ времена, когда опускались шансы возмездія на землѣ, и наоборотъ; словомъ, что здѣсь происходило постоянное балансированіе. Понятно, что это балансированіе должно было оказывать воздѣйствіе и на психологическое ученіе: если душа безсмертна, то надо признать существованіе особой, самостоятельной нематеріальной субстанціи въ человѣкѣ. Вольтеру приходилось дѣлать и эту уступку. Такъ онъ говорилъ, напримѣръ, что «мы не знаемъ, что именно въ насъ мыслитъ, а потому не знаемъ и того—не переживаетъ ли это неизвѣстное существо наше тѣло; физически возможно, что въ насъ есть неразрушимая монада, скрытое пламя, частица божественнаго огня, вѣчно живущая подъ разными видами» (Штраусъ, 241). Или: «Вѣдь мысль не есть что-либо матеріальное; почему же нельзя думать, что Богъ вложилъ въ тебя нѣкоторое божественное начало, которое, будучи неразрушимымъ, безсмертно? Осмѣлишься ли ты сказать, что невозможно, чтобы ты имѣлъ душу? Конечно, нѣтъ. Но если это возможно, то слѣдовательно очень вѣроятно. Можешь ли ты отринуть систему,

столь прекрасную и *столь полезную человѣчеству?*» (Штраусъ, 242).

Что колебанія эти происходятъ единственно изъ-за дурно понятыхъ практическихъ требованій, это очевидно изъ общаго характера сочиненій Вольтера и изъ нѣкоторыхъ его нисколько недвусмысленныхъ показаній. Въ одномъ изъ діалоговъ представитель Вольтера говоритъ: «Долгое время я, подобно тебѣ, боялся опасныхъ выводовъ и потому удерживался отъ открытаго изложенія своихъ воззрѣній; но я думаю, что изъ этого лабиринта нетрудно выбраться» (Штраусъ, 243). Этотъ выходъ изъ лабиринта состоитъ въ томъ, что дурныя дѣла и на землѣ получаютъ воздаяніе въ угрызеніяхъ совѣсти и въ мщеніи со стороны обиженныхъ. Изъ этого можно даже заключить, что Вольтеръ дѣйствительно кривилъ душой въ вопросахъ о нравственности. И такое предположеніе будетъ настолько же вѣроятно, насколько невѣроятно, чтобы его деизмъ былъ только экзотерическимъ ученіемъ. Существованіе Бога доказывалось для Вольтера, какъ увидимъ, не одними практическими соображеніями; соображенія телеологическія играли здѣсь весьма важную роль, и потому онъ дѣйствительно вѣрилъ въ то, что говорилъ. Притомъ же въ деизмѣ телеологическія требованія шли почти въ унисонъ съ требованіями практическими и сталкивались съ ними враждебно только на одномъ пунктѣ—на фактѣ существованія зла на землѣ. И здѣсь мы опять встрѣтимъ колебанія, сбивчивость, противорѣчія и исканіе боковыхъ выходовъ изъ лабиринта. Не то съ практическими требованіями, введенными Вольтеромъ въ свое психологическое ученіе. Здѣсь практическія и теоретическія требованія отрицали другъ друга не на одномъ какомъ-нибудь пунктѣ, а на всемъ своемъ протяженіи.

Но Вольтеромъ иногда управляли соображенія еще болѣе побочныя и отдаленныя. Въ этомъ отношеніи любопытно слѣдующее остроумное и вполнѣ вѣроятное предположеніе Штрауса. Въ програмѣ борьбы съ infame очень видное мѣсто занималъ Ветхій Завѣтъ. Въ Библіи нигдѣ не говорится о безсмертіи души, и догматъ этотъ былъ, повидимому, совершенно неизвѣстенъ древнимъ евреямъ, тогда какъ существовалъ у индусовъ, халдеевъ, египтянъ, грековъ. Штраусъ полагаетъ, что Вольтеръ могъ быть иногда побуждаемъ къ принятію идеи безсмертія души и вѣчности личности желаніемъ унизить евреевъ и противопоставить имъ другіе народы и другія религіи, какъ болѣе древніе и болѣе высокіе. И дѣйствительно, читатель можетъ и въ романахъ, и повѣстяхъ Вольтера очень часто встрѣтить указанія на то обстоятельство, что «варварская орда, невѣжественные евреи» не знали безсмертія души, тогда какъ въ него вѣрили почти всѣ ихъ современники.

II.

Человѣкъ не можетъ не любить прекрасное, доброе, справедливое, такъ какъ онъ называетъ справедливымъ, добрымъ, прекраснымъ именно то, что производитъ на него пріятное впечатлѣніе, что вызываетъ въ немъ сочувствіе или одобреніе, словомъ то, что ему нравится, что онъ любитъ. Но въ пониманіи хорошаго, заслуживающаго одобренія или сочувствія, люди расходятся, потому что понятія справедливаго, добраго, прекраснаго, относительны и чисто субъективны. Одинъ предъявляетъ такія-то требованія, другой мирится на гораздо меньшемъ, требованія третьяго еще незначительнѣе и т. д. Изъ этихъ требованій слагается то, что называется идеаломъ, который, собственно говоря, есть для каждой личности не что иное, какъ отвѣтъ на вопросъ: при какихъ условіяхъ я могу чувствовать себя наилучше? какая комбинація впечатлѣній удовлетворитъ меня съ эстетической стороны, съ экономической, съ политической и т. д.? Надо идти очень далеко въ глубь исторіи, чтобы найти полное отсутствіе столкновенія требованій личности съ окружающей средою, въ которой личность встрѣчаетъ и различаетъ хорошее и дурное, правильное и неправильное, доброе и злое, прекрасное и уродливое, справедливое и несправедливое. А разъ это столкновеніе произошло, требованія личности стремятся придти въ равновѣсіе съ окружающей средой, и уравновѣшеніе это происходитъ двояко. Либо человѣкъ поднимаетъ или, по крайней мѣрѣ, стремится поднять окружающую среду до уровня своихъ требованій, словомъ, приспособляетъ среду къ себѣ, либо, напротивъ, самъ приспособляется къ ней, совершенно удовлетворяется дѣйствительностью и находитъ, что все окружающее прекрасно и добро есть.

Въ первомъ случаѣ мы имѣемъ бойцовъ, которые могутъ побѣдить или быть разбиты, но которые, во всякомъ случаѣ, представляютъ активный элементъ. Второй сортъ людей забитъ дѣйствительностью, забитъ фактомъ. Ихъ требованія стоятъ въ уровень съ дѣйствительностью, и потому они всю жизнь обрѣтаются въ радужномъ, имянинномъ настроеніи духа, вѣчно празднуютъ, по выраженію Манилова, имянины сердца. Одинъ нѣмецкій натуралистъ замѣчаетъ, что птицы и рыбы, животныя, окончательно приспособившіяся къ своей средѣ, суть

вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе веселые звѣри, насколько по крайней мѣрѣ, можно судить по внѣшности. Это настоящіе имянинники между звѣрями. Имянинники-люди тоже народъ безпардонно веселый и беззаботный; и того требуетъ самый принципъ забитости, самый фактъ приспособленія къ средѣ. Дана извѣстная фактическая обстановка. Въ ней есть свѣтъ и тѣнь, есть небесная лазурь, забрызганная кровью, лавровые вѣнки, измятые лошадиными копытами, пурпуровыя мантіи, закапанныя слезами, апельсиновыя рощи, въ которыхъ бродятъ стада свиней. Люди перваго сорта прямо, вплотную подходятъ къ этой картинѣ. Они разбиты, если пускаютъ въ ходъ невѣрныя средства, если предлагаемыми ими мѣрами не стираются кровяныя пятна съ небесной лазури и не изгоняются стада свиней изъ апельсиновыхъ рощъ; быть можетъ, даже средства ихъ таковы, что могутъ только новыя пятна наплодить и новыхъ свиней, но не въ томъ пока дѣло. Во всякомъ случаѣ, требованія бойцовъ, неудовлетворяемыя данною комбинаціею фактовъ, стремятся поднять ее до своего уровня. Если для бойцовъ невозможно прямое вмѣшательство въ ходъ событій, то они, по крайней мѣрѣ, не прописываютъ людямъ сонныхъ порошковъ, не закрываютъ себѣ и другимъ глазъ передъ больными сторонами окружающей среды. И оттого, не имѣя возможности и не желая приспособиться къ данной средѣ, какъ приспособилась къ водѣ рыба, они не могутъ обладать и рыбьей беззаботной игривостью. Совсѣмъ иное дѣло съ забитыми. Ихъ даже трудно себѣ представить безъ имяниннаго бокала въ рукѣ, безъ лакированной физіономіи и безъ заздравнаго тоста на устахъ. Вамъ, вѣроятно, знакома извѣстная литографія, на которой, если смотрѣть на нее вблизи, видны молодой человѣкъ и молодая дѣвушка въ самомъ веселомъ настроеніи духа; они любовно посматриваютъ другъ на друга и пьютъ вино. Если вы отойдете отъ картины на нѣкоторое разстояніе, то сводъ, подъ которымъ сидитъ веселая пара, превратится въ черепъ; головы молодыхъ людей изобразятъ собою пустыя глазныя впадины, а бутылки, рюмки и стаканы—провалившійся носъ и оскаленные зубы черепа. Забитые имянинники всегда норовятъ смотрѣть на подобныя картины съ такого разстоянія, съ котораго видны только любовь, счастіе, радость. Они никогда не рѣшатся настолько оторваться отъ среды, въ которой сами фигурируютъ въ качествѣ дѣйствующихъ лицъ, чтобы увидѣть въ ней отвратительный провалившійся носъ и оскаленные зубы. И потому имъ только и остается дѣлать, что провозглашать тосты, пѣть побѣдныя пѣсни, словомъ, праздновать имянины сердца. Если вы захотите справиться насчетъ идеала имянинниковъ и спросите ихъ, при какихъ условіяхъ они полагаютъ себя счастливами,—они хоромъ отвѣтятъ вамъ, съ лакированными физіономіями поднимая заздравный бокалъ: при сегодняшнихъ! Да здравствуетъ сегодня, да здравствуетъ минута, та безпрестанно передвигающаяся математическая точка во времени, которая лежитъ на границѣ необъятнаго прошедшаго и необъятнаго будущаго. Минута прошла —да здравствуетъ слѣдующая! Le roi est mort—vive le roi! Въ имянинникѣ есть всегда нѣчто приторное, слащавое, расплывающееся. Слушая его, вы испытываете ощущеніе вродѣ того, какъ будто сосете лакрицу или смотрите на тающій въ водѣ сахаръ. Яко таетъ воскъ отъ лица огня, такъ таетъ и имянинникъ отъ умиленія сердца, имянины котораго онъ празднуетъ.

Надо замѣтить, что имянинники всѣхъ странъ и народовъ и всѣхъ отраслей человѣческаго вѣдѣнія и невѣдѣнія поднимаютъ заздравный бокалъ только одной рукой, а другою устремляютъ въ пространство, указывая, при помощи ея, властямъ и обществу на тѣхъ, кто не находитъ возможнымъ праздновать имянины сердца. За это послѣдніе подвергаются отъ имянинниковъ цѣлому каскаду эпитетовъ въ родѣ: злонамѣренный, измѣнникъ, предатель и т. д. А между тѣмъ, настоящими предателями, конечно, незлонамѣренными, на дѣлѣ оказываются всегда именно имянинники, а не кто-либо другой.

Въ политикѣ и въ исторіи имянинный принципъ требуетъ, чтобы родная среда была увита лаврами и розами, лаврами и розами, и чтобы розы эти были безъ шиповъ. Не то, чтобы этого нужно было добиваться, нѣтъ, имянинники утверждаютъ, что лавры и розы безъ шиповъ цвѣтутъ на родной почвѣ въ каждую данную минуту. Наши историческіе и политическіе имянинники провозглашали передъ крымскою кампаніею тостъ: ура! шапками закидаемъ! ура! велика и обильна земля русская, и порядокъ въ ней есть!—Насъ побили. Но имянинники народъ нераскаянный: le roi est mort—vive le roi! Послѣ войны имянинники запѣли: ахъ, вы сѣни, сѣни новыя и т. д.

Въ политической экономіи имянинный принципъ требуетъ вѣры въ такъ-называемую гармонію интересовъ и поклоненія теоріи laisser faire. Все идетъ къ лучшему въ семъ наилучшемъ изъ міровъ, говорятъ имянинники-экономисты. Машина болѣе чѣмъ удовлетворительна, она превосходна, предоставте ее только самой себѣ, не нарушайте

поразительной правильности ея хода. А машина, между тѣмъ, пожираетъ сотни тысячъ людей въ качествѣ топлива и предоставляетъ имъ только право горѣть въ своей утробѣ, горѣть безъ мысли и безъ устали, чтобы не остановился поразительно правильный ходъ машины... Это ли не предательство?

Экономическія имянины разрастаются до имянинъ философскихъ, когда имянинники начинаютъ говорить о благихъ цѣляхъ благой природы, противъ которой прати и невозможно, и грѣшно.

Само собою разумѣется, что трудно быть имянинникомъ всестороннимъ, т.-е. праздновать и философскія, и историческія, и юридическія, и политическія, и экономическія, и всякія другія имянины сердца. Весьма часто случается, что боецъ и имянинникъ сочетаются въ одной и той же личности. Блистательный примѣръ такого сочетанія далъ міру Сервантесъ въ образѣ Донъ-Кихота. Требованія храбраго ламанчскаго рыцаря не удовлетворяются дѣйствительностью, онъ не приспособляется къ средѣ; съ энергіей, вполнѣ достойной избраннаго имъ дѣла, онъ стремится, напротивъ, приспособить среду къ себѣ, поднять ее на высоту своего идеала. Донъ-Кихотъ боецъ, но онъ разбитъ, разбитъ жизнью. Донъ-Кихотъ, мечтавшій внести въ міръ счастіе и любовь, миръ и справедливость, оплеванъ, и вотъ уже три вѣка его худая, блѣдная, битая фигура служитъ посмѣшищемъ для старыхъ и малыхъ. Донъ-Кихотъ разбитъ не потому, чтобы требованія его были чрезмѣрны и неисполнимы, а потому, что рыцарь избралъ невѣрные пути для достиженія своего идеала и затѣмъ принялъ средство за цѣль. Въ одномъ мѣстѣ онъ очень опредѣленно и ясно развиваетъ программу своей дѣятельности. Онъ говоритъ именно, что нѣкогда на землѣ царили любовь, довольство, счастіе, справедливость, но съ теченіемъ времени міръ развратился, явились сильные и слабые, сильные стали давить слабыхъ, понадобились судьи, судьи обратились во взяточниковъ и т. д. Наконецъ для прекращенія всѣхъ этихъ золъ явилось странствующее рыцарство, «къ которому и я имѣю честь принадлежать» заключаетъ Донъ-Кихотъ Въ этой программѣ очевидны двѣ ошибки: во-первыхъ, увѣренность въ томъ, что исторія человѣчества уже прошла фазисъ идеальнаго развитія, и, во-вторыхъ, вѣра въ странствующее рыцарство, какъ въ орудіе обновленія міра. Но Донъ-Кихотъ не только крѣпко вѣруетъ въ это орудіе, но, увлекаясь обстановкой рыцарства, мало-по-малу возвышаетъ его со ступени орудія, средства, на ступень самостоятельной цѣли. Первичная цѣль—обновленіе міра часто становится на второй планъ и даже совершенно стушевывается, уступая мѣсто преданіямъ и обстановкѣ странствующаго рыцарства. Такъ, ламанчскій герой избираетъ себѣ «даму сердца» единственно потому, что того требуютъ рыцарскіе уставы, а между тѣмъ, служеніе Дульцинеѣ поглощаетъ значительную долю его силъ и энергіи. Между Донъ-Кихотомъ и его первичною цѣлью выростаетъ цѣлая стѣна, первоначальное назначеніе которой было только помочь достиженію цѣли; но увлеченный самымъ процессомъ стѣны, Донъ-Кихотъ поднимаетъ ее такъ высоко, что изъ-за нея первичная цѣль только чуть-чуть видна. И въ тѣ минуты, когда дѣло идетъ объ оцѣнкѣ явленій, имѣющихъ спеціальную связь съ его idèe fixe—съ странствующимъ рыцарствомъ, смѣлый боецъ Донъ-Кихотъ оказывается чистокровнымъ имянинникомъ. Такъ, избитый, онъ находитъ въ себѣ достаточно рыбьей игривости, чтобы утверждать, что побои, нанесенные дубинами и другими не рыцарскими инструментами, не суть даже собственно побои. Такъ, избавивъ мальчика отъ побоевъ пастуха-хозяина, Донъ-Кихотъ гордо отъѣзжаетъ прочь въ полной увѣренности, что исполнилъ свою задачу странствующаго рыцаря и что испуганный пастухъ не посмѣетъ повторить свое насиліе. А между тѣмъ, едва Донъ-Кихотъ успѣлъ отъѣхать, произнося имянинный тостъ въ честь рыцарства, какъ пастухъ опять привязываетъ мальчика къ дереву и бьетъ его до полусмерти. «Такимъ образомъ Донъ-Кихотъ пересѣкъ уже одно зло на землѣ», тонко замѣчаетъ Сервантесъ. Вотъ въ чемъ лежитъ тайна вѣчной жизни образа Донъ-Кихота, вотъ въ чемъ заключается глубокій трагизмъ его комической фигуры, и вотъ чего, между прочимъ, не понималъ Вольтеръ, когда говорилъ: если вамъ грустно, прочтите Донъ-Кихота и смѣйтесь.

Намъ пора бы уже обратиться къ Вольтеру, но передо мной встаютъ еще два поэтическіе образа, достойные составить кадриль съ Донъ-Кихотомъ и Санчо Пансо. Они здѣсь не помѣшаютъ. Я говорю о мастерскихъ фигурахъ Фауста и Вагнера. Оба они горятъ одной и той же жаждой знанія, оба хотятъ знать «все». Но какая разница въ пониманіи этого «всего». Фаустъ, изучившій, по его словамъ, и философію, и медицину, и юриспруденцію, и теологію, остается съ горечью сознанія, что онъ ничего не знаетъ. Вагнеръ съ самодовольствомъ замѣчаетъ: Zwar weiss ich viel, doch möcht' ich alles wissen. Вагнеръ—эмпирикъ-буквоѣдъ. Онъ не знаетъ высшаго наслажденія, какъ переходить von Buch zu Buch,

von Blatt zu Blatt. Всѣ его силы и способности замерли, въ немъ говоритъ только жажда знанія, и притомъ знанія буквеннаго, эмпирическаго, исключительно фактическаго. Онъ совершенно счастливъ, потому что имѣетъ возможность пріобрѣтать знанія, а до осмысленія фактическаго матеріала ему нѣтъ никакого дѣла. До какой степени Вагнеръ далекъ отъ жизни, отъ человѣка, лучше всего видно изъ превосходной, высоко комической сцены приготовленія Гомункула. Вагнеръ съ жаромъ объясняетъ Мефистофелю, что если изъ нѣсколькихъ сотъ веществъ,

Durch Mischung—denn auf Mischung kommt es an—
Den Menschenstoff gemächlich componieren,
In einen Kolben verlutieren
Und ihn gehörig cohobieren,—

то получится человѣкъ. Вагнеръ твердо увѣренъ, что этотъ научный способъ приготовленія человѣка совершенно вытѣснитъ способъ вульгарный. Звѣри, говоритъ онъ конечно, не отстанутъ отъ первобытнаго способа дѣлать дѣтей и будутъ по прежнему искать въ немъ наслажденія, но человѣкъ будетъ на будущее время имѣть болѣе чистое и высокое происхожденіе. Такъ празднуетъ имянины сердца человѣкъ науки для науки. Съ этимъ комическимъ образомъ не можетъ идти въ сравненіе и знаменитый докторъ Акакія, предлагавшій, напримѣръ, построить латинскій городъ для облегченія изученія латинскаго языка. Но если Вагнеръ празднуетъ имянины сердца по поводу открытія научнаго способа приготовленія людей, то онъ тутъ же выростаетъ до положенія бойца, потому что отнынѣ уже не удовлетворяется дѣйствительностью, по крайней мѣрѣ, на пунктѣ фабрикаціи людей. Конечно, ему предстоитъ быть разбитымъ, какъ предстоитъ пораженіе проповѣдникамъ моральнаго воздержанія. Тѣ расходятся съ дѣйствительностью на томъ же самомъ пунктѣ. Имянинники-натуралисты, люди науки для науки, братски протягиваютъ руки имянинникамъ-экономистамъ, людямъ богатства для богатства. Знаменательное совпаденіе: и тѣ, и другіе готовы принести въ жертву своимъ идоламъ именно то, чего люди никогда не отдадутъ и не могутъ отдать, пока не перестанутъ быть людьми и не превратятся въ машины.

Вагнеръ забитъ, потому что оставляетъ въ своемъ существованіи множество пустыхъ пространствъ, не имѣя чѣмъ ихъ наполнить. Фаустъ, напротивъ, разбитъ, потому что рвется изъ границъ человѣческаго бытія и ставитъ дѣйствительности требованія невозможныя. Подъ знаніемъ «всего» онъ разумѣетъ не безцѣльное и безсвязное вагнеровское знаніе безчисленныхъ формъ бытія, но и не знаніе законовъ явленій—единственной доступной человѣку области знанія. Фаустъ хочетъ знать сущность вещей и приходитъ въ отчаяніе, видя, что этого рода знаніе ему не дается. Онъ обращается къ магіи, но и то неудачно! Тогда онъ рѣшается на самоубійство. Это глубоко вѣрная черта, оправданная исторически и психологически. Вотъ, какъ описываетъ свое состояніе человѣкъ, на себѣ испытавшій taedium vitae: «Я былъ молодъ, жилъ умѣренно, но душа моя была какъ будто скована тоской. Тяжелыя думы,—я не знаю, откуда онѣ взялись—занимали мой умъ: что будетъ со мною по смерти? буду я нѣчто или ничто? атомъ безъ воспоминая о прошедшей жизни? Быть можетъ, я буду существовать, не существуя, не зная тѣхъ, кто существуетъ, и не будучи самъ имъ извѣстенъ? Буду ли я тѣмъ же, чѣмъ былъ до рожденія? Былъ ли сотворенъ міръ? Что было до его сотворенія? Если онъ вѣченъ въ прошедшемъ, онъ вѣченъ и въ будущемъ. Если онъ имѣлъ начало, онъ долженъ имѣть и конецъ. Но что будетъ послѣ его разрушенія? Тишина, забвенье или что-нибудь такое, чего мысль человѣческая не въ состояніи себѣ представить?» (См. Brierre de Boismont: Du suicide et de la folie suicide, 246). На всѣ подобные вопросы для человѣка нѣтъ отвѣта. Человѣкъ разбитъ, если онъ, задавая ихъ природѣ, настолько смѣлъ, добросовѣстенъ и уменъ, чтобы убѣдиться, какъ убѣдился Фаустъ, въ своемъ безсиліи, но не можетъ разъ навсегда порѣшить съ этою областью непознаваемаго. Человѣкъ забитъ, если онъ полагаетъ, что рѣшилъ эти вопросы, и съ лакированной физіономіей поднимаетъ заздравный бокалъ въ честь той или другой метафизической системы. Эти страшные вопросительные знаки поднимаются въ тѣ моменты исторической жизни народовъ и жизни отдѣльныхъ недѣлимыхъ, когда прославленный принципъ раздѣленія труда, отрѣзавъ уже умственную дѣятельность отъ физическаго труда, дробитъ и самую умственную дѣятельность, возстановляетъ другъ противъ друга опытъ и размышленіе. Въ такіе моменты разбитый Фаустъ имѣетъ полное право называть забитаго Вагнера «жалчайшимъ изъ смертныхъ», который

Mit gier'ger Hand nach Schätzen gräbt,
Und froh ist, wenn er Regenwürmer findet!

Но Фаустъ не останавливается на этомъ презрѣніи къ неосмысленному эмпиризму. Онъ идетъ дальше и распространяетъ свое презрѣніе на опытъ и наблюденіе, недающіе ему того, чего онъ совершенно неза-

конно требуетъ. Но физическая сторона человѣка жестоко мститъ за себя. Фаустъ— живой человѣкъ; онъ не можетъ, напримѣръ, отказаться отъ вульгарнаго способа продолженія рода человѣческаго. Физическая сторона въ немъ не атрофирована, а только, такъ-сказать, отрѣзана отъ стороны духовной. Онъ самъ очень рельефно выражаетъ это, говоря:

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen;
Die eine hält, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt, mit klammernden Organen;
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen.

И вотъ физическая сторона, недопущенная къ участію въ высшихъ задачахъ жизни Фауста, прорывается въ похожденіяхъ съ Маргаритой, Еленой, рядомъ грубо чувственныхъ наслажденій и даже преступленій. И разбитый, раздвоенный человѣкъ глубоко несчастливъ и дѣлаетъ несчастными и окружающихъ. Гете рѣшаетъ, наконецъ, во второй части задачу такимъ образомъ, что заставляетъ Фауста отказаться отъ погони за безусловнымъ и безконечнымъ, и примириться съ дѣйствительностью на почвѣ непосредственной практической пользы, именно осушенія морского берега и проч. Если это рѣшеніе есть, какъ и вся вторая часть Фауста, рѣшеніе символическое, и подъ осушеніемъ морского берега слѣдуетъ разумѣть борьбу съ природой вообще, причемъ знаніе естественно должно занять мѣсто только средства, а не цѣли,—то это рѣшеніе прекрасное. Но аллегорія слишкомъ туманна, и главный вопросъ всетаки остается нерѣшеннымъ: исчерпывается ли теоретическая область разбитой метафизикой несчастнаго Фауста и забитымъ эмпиризмомъ имянинника Вагнера? Всякій знаетъ, что быть полезнымъ хорошо. Но критерій пользы такъ же неудовлетворителенъ и двусмысленъ, какъ и другіе спеціальные критеріи—красоты, справедливости и т. д. Критерій совершенства человѣческихъ дѣлъ есть цѣлостность, гармонія отправленій въ человѣкѣ и гармонія средствъ въ дѣятельности. Добытые такою дѣятельностью результаты будутъ не только удовлетворять критерію истинности, которому могутъ удовлетворять и безсмысленныя работы Вагнера; они будутъ не только полезны, какъ полезно шить сапоги и осушать болота; они будутъ гуманны, человѣчны, дадутъ счастіе и самому дѣятелю, и окружающимъ людямъ. Человѣкъ науки можетъ, и не осушая морского берега, бороться съ природой на теоретической почвѣ. Но для того, чтобы дѣйствительно съ успѣхомъ бороться съ природой, не быть ею ни разбитымъ, ни забитымъ, — надо вырывать у нея тайны не на манеръ Фауста и не на манеръ Вагнера. Гете и самъ понималъ неудовлетворительность конца Фауста. Онъ писалъ по поводу его одному пріятелю: «Не ждите рѣшенія: каждая рѣшенная задача заключаетъ въ себѣ нерѣшенную».

Любопытно, что такими же словами сомнѣнія Вольтеръ заключаетъ свой маленькій «Разсказъ о добромъ браминѣ», разрабатывающій почти ту же тему, что и Фаустъ.

Жилъ былъ добрый, умный, богатый браминъ. Но не смотря на, повидимому, счастливую обстановку, онъ былъ несчастливъ. «Вотъ уже цѣлыхъ сорокъ лѣтъ,—говоритъ онъ лицу, отъ имени котораго ведется разсказъ,—какъ я учусь, и въ эти сорокъ лѣтъ я ровно ничего не сдѣлалъ; уча другихъ, я ничего не знаю и самъ. Все это возбуждаетъ во мнѣ такое глубокое чувство униженія и такое отвращеніе ко всему окружающему, что самая жизнь дѣлается для меня невыносимою (Фаустъ: «Habe nun, ach! Philosophie, Juristerei und Medicin, und, leider! auch Theologie durchaus studirt, mit heissem Bemühn. Da steh' ich nun, ich armer Thor! und bin so klug, als wie zuvor; heisse Magister, heisse Doctor gar, und ziehe schon an die zehen Jahr, herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum, und sehe, dass wir nichts wissen können! Das will mir schier das Herz verbrennen). Я родился и живу во времени, а между тѣмъ, не знаю, что такое время; я нахожусь въ одной точкѣ между двумя вѣчностями, какъ говорятъ мудрецы, и, въ то же время, не имѣю никакого понятія о вѣчности; я состою изъ вещества, я мыслю, и не былъ въ состояніи выяснить себѣ, какимъ путемъ образуется мысль: я не знаю, представляетъ ли во мнѣ разумъ простую способность въ родѣ способности ходить и переваривать пищу, и точно такъ же ли я мыслю головою, какъ беру что-нибудь руками. Мнѣ не только неизвѣстно начало моей мысли, но отъ меня точно такъже скрыта причина моихъ движеній, я не знаю даже, зачѣмъ я существую. Еще того хуже, когда меня спрашиваютъ, былъ - ли Брама сотворенъ Вишну, или же они оба вѣчны. «Ахъ, преподобный отецъ,—говорятъ мнѣ,—скажите намъ, какимъ образомъ зло распространяется между людьми?» Я нахожусь въ такомъ же точно затрудненіи, какъ и тѣ, которые задаютъ мнѣ этотъ вопросъ; иногда я имъ говорю, что все на свѣтѣ прекрасно устроено; но нищіе и калѣки такъ же мало этому вѣрятъ, какъ и самъ я. Я отправляюсь домой, мучась любопытствомъ и сознавая свое невѣжество. Читаю ли я

наши древнія книги, онѣ только еще болѣе сбиваютъ меня съ толку».—Неподалеку отъ добраго, богатаго, умнаго брамина жила бѣдная и глупая старуха, которую разсказчикъ, заинтересованный состояніемъ духа брамина, спросилъ однажды: «не печалило-ли ее когда-нибудь то, что она не знаетъ, какъ сотворена ея душа? Она даже не поняла моего вопроса: во всю ея жизнь ей ни разу не пришлось задуматься надъ тѣми вопросами, которые мучили брамина; отъ искренняго сердца вѣря превращеніямъ Вишну, она считала себя счастливѣйшею изъ женщинъ, если могла порой достать себѣ воды изъ Ганга для омовеній». Разсказчикъ сообщилъ объ этомъ несчастному брамину; тотъ отвѣтилъ, что онъ очень хорошо знаетъ, что еслибы онъ, браминъ, былъ такъ же глупъ, какъ его сосѣдка, то былъ бы счастливъ, и, однако, онъ не взялъ бы такого счастія, не промѣнялъ бы своего несчастія на счастіе глупой старухи. Всѣ слышавшіе эту исторію сходились на томъ, что лучше бы вовсе не имѣть ума, чѣмъ имѣть его и быть несчастнымъ, и однако не нашлось никого, кто захотѣлъ бы промѣнять свой умъ на счастіе. «Но если разсудить хорошенько,—заключаетъ Вольтеръ,—то не безумно ли предпочитать разумъ счастію. Какъ же объяснить это противорѣчіе? Какъ и всѣ другія: тутъ есть о чемъ поговорить» (Романы и повѣсти, 213—215).

Но это, очевидно, не объясненіе, а уклоненіе отъ объясненія. «Самоѣденіе», какъ называетъ, кажется, Гамлетъ Щигровскаго уѣзда метафизическія Grübeleien, имѣетъ свою прелесть. Оно втягиваетъ человѣка, какъ втягиваетъ васъ, напримѣръ, процессъ чесанія: если у васъ чешется рука, что-ли, и вы начинаете ее чесать, то вамъ трудно отстать, хотя вы чувствуете, что раздраженіе, сначала пріятное, переходитъ въ явно болѣзненное. Кто-то замѣтилъ, что для того, чтобы отдѣлаться отъ самоѣденія, надо не любить его. Это замѣчаніе вѣрно въ томъ смыслѣ, что констатируетъ фактъ пріятности, хотя и болѣзненной, самоѣденія. Но легко сказать: не любить того-то или того-то. Подобные рецепты безсильны, пока силамъ, направленнымъ на самоѣденіе, нѣтъ другого исхода. Іоаннъ Златоустъ вѣрно понималъ, въ чемъ дѣло, когда совѣтовалъ одному молодому человѣку, одержимому метафизическими Grübeleien, обзавестись женой и дѣтьми. И разбитость брамина, и забитость его сосѣдки имѣютъ одинъ и тотъ же корень: оба они не люди, а органы общественнаго организма. Человѣкъ-ли Вагнеръ? Нѣтъ, ему чуждо все человѣческое. Это поршень, водокачальная машина, и въ общественномъ организмѣ онъ представляетъ собою не цѣлое, а часть, самъ онъ не недѣлимое, а органъ, и именно органъ добыванія фактическаго знанія. Ни къ какой другой функціи онъ неспособенъ и оттого презираетъ или игнорируетъ всякія другія отправленія и не можетъ понять чужихъ потребностей и горестей. На народномъ гуляньѣ онъ съ презрѣніемъ сторонится отъ веселыхъ людей, «точно одержимыхъ бѣсомъ», и рѣшительно не понимаетъ, органически не можетъ понять, чего этотъ людъ веселится. У себя дома онъ рѣшительно не можетъ понять, почему-бы людямъ—разъ открытъ научный способъ производства людей—не завести женамъ вмѣсто мужей, а мужьямъ вмѣсто женъ химическія лабораторіи. Конечно, это не человѣкъ. Не человѣкъ и старуха—сосѣдка брамина. Она принадлежитъ къ «сволочи», «у которой есть только руки, чтобы жать». Ея роль въ общественномъ организмѣ рѣзко обозначена: «работай, работай, работай». Это органъ производства богатствъ, и ея мыслительныя способности замерли. Въ Фаустѣ и въ добромъ браминѣ онѣ не замерли, но это всетаки не люди; Діогенъ не потушилъ бы передъ ними своего фонаря. Это всетаки только органы общественнаго организма, но органы больные; ихъ болѣзнь состоитъ въ гипертрофіи, въ чрезмѣрномъ усиленіи однѣхъ функцій насчетъ другихъ. Чтобы быть гуманнымъ, человѣчнымъ въ наукѣ, надо помнить границы человѣка и не оставлять въ этихъ границахъ пустотъ, какъ Вагнеръ, но и не рваться, изъ нихъ, какъ рвутся Фаустъ и браминъ. Чтобы быть гуманнымъ, человѣчнымъ въ практической жизни, надо умѣть переживать чужую жизнь, умѣть становиться въ чужое положеніе, что опять-таки возможно только тогда, когда границы человѣческаго бытія выполнены совершенно, но содержимое не пытается перелиться черезъ край. У Фауста и брамина оно переливается, хотя Фаустъ и говоритъ, что хотѣлъ-бы одинъ пережить все то, что переживаетъ человѣчество, но это для него невозможно, онъ для этого слишкомъ занятъ тѣмъ, что человѣчеству недоступно. Это не случайное совпаденіе, что Контъ, старательно отдѣляющій область непознаваемаго отъ познаваемаго, указывающій человѣку обязательныя границы его теоретической дѣятельности, противопоставилъ свой альтруизмъ узкому эгоизму; что Фейербахъ, совѣтующій «довольствоваться даннымъ міромъ», утверждаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, что *я*—ничто, если оно стоитъ отдѣльно отъ *ты*. Гуманность въ теоріи и гуманность практическая, какъ мы ихъ опредѣлили, состоятъ въ тѣснѣйшей зависимости между собой и другъ другу помогаютъ: гдѣ нѣтъ одной,

тамъ нѣтъ и другой; гдѣ явится одна, туда послѣдуетъ за ней и другая. Раздвиньте существованіе Фауста и добраго брамина, дайте имъ возможность и силу переживать чужую жизнь, разбудите въ нихъ контовскій альтруизмъ, фейербаховскій туизмъ, смитовскую симпатію,—и они выздоровѣютъ, ихъ будутъ мучить совсѣмъ иные вопросы, а эта мука можетъ повести ихъ не къ пораженію, а къ побѣдѣ. Фаустъ и Вагнеръ, браминъ и старуха, существующіе рядомъ и другъ друга незнающіе и почти незамѣчающіе,—это взаимно восполняющіяся противоположности, разныя стороны одной и той-же эксцентрической медали.

Вольтеръ сказалъ однажды прекрасное и глубокое слово. Именно, когда его спросили, почему онъ такъ интересуется Каласомъ, онъ отвѣтилъ: потому что я человѣкъ. Великое это слово *человѣкъ*, и какъ немногіе имѣютъ право на этотъ титулъ. Вольтеръ, конечно, не былъ изъ числа этихъ немногихъ. Онъ принялъ такъ близко къ сердцу дѣло Каласа не потому, чтобы онъ былъ человѣкъ, а потому, что Каласъ былъ жертва фанатизма, а Вольтеръ всѣми силами своей души ненавидѣлъ фанатизмъ. Борьба съ фанатизмомъ составляетъ великую заслугу Вольтера. Однако, нисколько не умаляя этой заслуги Вольтера, можно сказать, что и передъ нимъ, такъ рѣзко противопоставлявшимъ «порядочныхъ людей» «сволочи», такъ часто и грубо грѣшившимъ въ жизни,—Діогенъ не имѣлъ-бы возможности потушить фонарь. И мы видимъ, что ему часто приходилось быть и разбитымъ, и забитымъ. Мало того, если мы оставимъ безъ вниманія нѣкоторыя побочныя и почти случайныя стороны дѣятельности Вольтера, то увидимъ, что онъ былъ не забитымъ и не разбитымъ, а бойцомъ-побѣдителемъ исключительно только въ одной борьбѣ съ суевѣріемъ и фанатизмомъ. Во всемъ остальномъ неудержимо рвется наружу недостатокъ гуманности (въ выше разъясненномъ смыслѣ), теоретической и практической.

Въ повѣсти «Кандидъ или оптимизмъ» Вольтеръ жестоко осмѣиваетъ забитыхъ имянинниковъ. Фигуры Кандида и въ особенности доктора Панглосса сдѣлались притчею во языцѣхъ. Въ Вестфаліи существуетъ баронъ Тундеръ-Тенъ-Тронкъ. У него есть замокъ, баронесса-жена, баронъ-сынъ, баронесса-дочь и учитель Панглоссъ, да кромѣ того—въ замкѣ живетъ прекрасный молодой человѣкъ Кандидъ. Панглоссъ преподавалъ «метафизико-теолого-космологонигилеологію». Онъ доказывалъ, что «все есть такъ, какъ есть, и ничего иначе быть не можетъ, чѣмъ оно есть, ибо все создано для извѣстной цѣли, и, слѣдовательно, для самой лучшей цѣли. Такъ, носы созданы для того, чтобы носить очки, и вотъ почему мы носимъ очки; ноги, очевидно, существуютъ для штановъ, и, дѣйствительно, мы носимъ штаны. Камни созданы для тесанія и постройки замковъ, и вотъ у вашества прекрасный замокъ; оно и понятно—знатнѣйшему барону приличествуетъ лучшее помѣщеніе, а вотъ свиньи, такъ тѣ сотворены для того, чтобы ихъ ѣли, и мы круглый годъ ѣдимъ буженину. Значитъ, глупо говорятъ, будто все хорошо: надо говорить, что все превосходно». Кандидъ былъ прилежнымъ и почтительнымъ ученикомъ Панглосса и притомъ втайнѣ любилъ баронессу Кунигунду, дочь барона Тундеръ-Тенъ-Тронка. Поэтому онъ полагалъ, что на землѣ нѣтъ ничего выше, какъ быть барономъ Тундеръ-Тенъ-Тронкомъ; второе счастье—быть Кунигундой, третье—видѣть ее каждый день, а четвертое — слушать доктора Панглосса, «величайшаго философа всей провинціи и, слѣдовательно, всей вселенной». За невозможностью быть барономъ или Кунигундой, Кандидъ былъ вполнѣ счастливъ, созерцая Кунигунду и слушая Панглосса. Но однажды онъ осмѣлился поцѣловать Кунигунду и за это былъ выгнанъ пинками изъ замка. Онъ встрѣтился съ вербовщиками болгарскаго короля, пораженными его высокимъ ростомъ. Они предлагаютъ ему обѣдъ и деньги, объясняя, что «люди созданы, чтобы помогать другъ другу». «Вы правы, — отвѣчалъ Кандидъ,—господинъ Панглоссъ всегда говорилъ мнѣ это, и я вижу, что, дѣйствительно, все къ лучшему». Кандидъ попадаетъ въ солдаты, его учатъ маршировать, стрѣлять, бьютъ, и такъ какъ это ему не совсѣмъ нравилось, то онъ бѣжалъ. Его поймали и предложили на выборъ: прогуляться тридцать шесть разъ сквозь строй всего полка, или разомъ получить двѣнадцать пуль въ лобъ. «Тщетно увѣрялъ онъ, что воля свободна, что онъ не желаетъ ни того, ни другого; въ концѣ концовъ пришлось сдѣлать выборъ во имя божьяго дара, называемаго *свободой*». Далѣе Кандиду пришлось участвовать въ сраженіи между болгарскою и аварскою арміями. «Сначала пушки перебили тысячъ по шести человѣкъ съ каждой стороны, затѣмъ стрѣльба избавила лучшій изъ міровъ отъ девяти или десяти тысячъ портившихъ его негодяевъ. Штыки оказались удовлетворяющимъ доводомъ смерти нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ». Кандидъ удралъ съ поля сраженія и пробрался въ Голландію, просилъ тамъ милостыни, за что ему пригрозили исправительнымъ домомъ. Наконецъ, онъ обратился къ человѣку, который только что цѣлый часъ говорилъ въ большомъ собраніи о ми-

лосердіи. Ораторъ покосился на него и спросилъ: «чего вамъ? вы за правое дѣло?» «Всякое дѣло право, потому что все имѣетъ свои причины, и всякая причина имѣетъ свои слѣдствія,—скромно отвѣчалъ Кандидъ, —все связано между собою и все устроено къ лучшему. Видно, нужно было, чтобы меня выгнали отъ Кунигунды, прогнали сквозь строй, а теперь мнѣ нужно просить милостыни, пока не научусь, все это не могло быть иначе». Но метафизико-теолого-космолого-нигилеологія Панглосса вовсе не интересовала оратора, и когда онъ узналъ, что Кандида вовсе не волнуетъ вопросъ о томъ— не есть-ли папа антихристъ, онъ выругалъ его и выгналъ. Жена оратора, «выглянувъ изъ окна и услыхавъ, что человѣкъ сомнѣвается, что папа антихристъ, вылила ему на голову полный... О небо! до какихъ крайностей доходитъ у дамъ рвеніе къ религіи»! Одинъ присутствовавшій при этой сценѣ добрый анабаптистъ пожалѣлъ Кандида, накормилъ его, далъ денегъ и хотѣлъ выучить работать на своей фабрикѣ. Кандидъ былъ въ восторгѣ. «Учитель Панглоссъ, —воскликнулъ онъ,—говорилъ правду, что все къ лучшему въ этомъ мірѣ, потому что меня несравненно больше трогаетъ ваше великодушіе, чѣмъ черствость сердца этого господина въ черномъ плащѣ и его супруги». На слѣдующій день Кандидъ пошелъ прогуляться и встрѣтилъ жалкаго нищаго съ провалившимся носомъ, гнилыми зубами, съ лицомъ, покрытымъ язвами. Оказалось, что это ученый докторъ Панглоссъ, нѣсколько испорченный сифилисомъ, полученнымъ имъ отъ хорошенькой горничной лучшей изъ баронессъ. Несмотря на свои страданія, Панглоссъ объяснялъ, что сифилисъ есть «необходимое снадобье въ лучшемъ изъ міровъ; ибо, не схвати Колумбъ на одномъ изъ американскихъ острововъ этой болѣзни, которая отравляетъ источникъ произрожденія, часто даже совершенно уничтожаетъ его и очевидно противится великой цѣли природы, —мы не имѣли бы ни шоколаду, ни кошенили». Панглоссъ разсказывалъ еще, что болгары напали на замокъ Тундеръ-Тенъ-Тронкъ и перебили всѣхъ его обитателей, не исключая и прекрасной Кунигунды. Добрый анабаптистъ пріютилъ у себя и Панглосса и даже вылѣчилъ его, насколько это было возможно. Черезъ два мѣсяца анабаптистъ отправился по торговымъ дѣламъ въ Лиссабонъ, захвативъ съ собой обоихъ нашихъ философовъ. Дорогой Панглоссъ объяснялъ, что все такъ хорошо на свѣтѣ, что лучше и нельзя. Анабаптистъ приводилъ въ опроверженіе этого тезиса различныя очевидныя бѣдствія и страданія на землѣ, но Панглоссъ не унимался. «Все это необходимо,—говорилъ онъ,—изъ частныхъ несчастій составляется общее благо, такъ что чѣмъ болѣе частныхъ несчастій, тѣмъ выше общее благоденствіе». Между тѣмъ на морѣ, уже въ виду лиссабонской пристани, поднялась страшная буря, корабль трещалъ, мачты ломались, люди кричали, молились, плакали. Одинъ матросъ толкнулъ анабаптиста, вмѣшавшагося въ управленіе кораблемъ, анабаптистъ упалъ на палубу, но и матросъ отъ сильнаго удара потерялъ равновѣсіе и полетѣлъ въ море внизъ головой, но зацѣпился за изломанную мачту. Анабаптистъ помогъ ему взобраться; но отъ усилія самъ упалъ въ море, и матросъ и не подумалъ его спасти. Кандидъ бросился было за нимъ въ море, но Панглоссъ остановилъ его, доказывая, что «лиссабонскій рейдъ для того и существуетъ, чтобы этотъ анабаптистъ утонулъ въ немъ». Корабль, наконецъ, пошелъ ко дну, и на берегъ выплыли только Панглоссъ, Кандидъ и негодяй матросъ. Едва вошли они въ городъ, какъ началось землетрясеніе. «Любопытно, однако, знать, — замѣтилъ Панглоссъ,—какой такой удовлетворяющій доводъ можетъ имѣть это странное явленіе». Лиссабонъ разрушенъ, тридцать тысячъ человѣкъ погибло подъ его развалинами, но Панглоссъ не уставалъ праздновать именины сердца; «ибо,—говорилъ онъ,—ничего не можетъ быть лучше того, что есть; ибо если подъ Лиссабономъ есть вулканъ, слѣдовательно, онъ не могъ быть въ другомъ мѣстѣ, ибо вещи не могутъ быть иными, чѣмъ онѣ суть, ибо все прекрасно». За эти слова къ Панглоссу придирается чиновникъ инквизиціи, уличая философа въ томъ, что онъ не вѣритъ въ грѣхопаденіе. Панглоссъ пробуетъ увернуться, утверждая, что «грѣхопаденіе человѣка и его проклятіе были необходимы въ лучшемъ изъ міровъ», но, тѣмъ не менѣе, попадаетъ въ лапы инквизиціи. И т. д., и т. д.; оказывается, что Кунигунда и братъ ея живы, что Панглоссъ также какимъ-то чудомъ вырывается живъ и здоровъ отъ инквизиціи. Послѣ цѣлаго ряда самыхъ невѣроятныхъ, большею частью несчастныхъ приключеній въ различныхъ частяхъ свѣта, маленькое общество, состоящее изъ Кандида, Кунигунды, Панглосса и еще двухъ-трехъ лицъ, прихваченныхъ Кандидомъ во время своихъ странствованій, поселяется въ Турціи, заводитъ ферму, огородъ и работаетъ... «Панглоссъ сознавался, что всегда страшно страдалъ, но, разъ сказавъ, что все идетъ прекрасно, продолжалъ утверждать это, самъ себѣ не вѣря». Однако, старыя дрожжи все еще бродили, и общество отправилось однажды за разрѣшеніемъ своихъ сомнѣній къ одному знаменитому турецкому философу. «Учитель,—за-

говорилъ Панглоссъ,—мы пришли просить васъ объяснить намъ, зачѣмъ создано такое странное животное, какъ человѣкъ»? — «А тебѣ что?—отвѣчалъ дервишъ, — развѣ это твое дѣло»?—«Однако, преподобный отецъ, —возразилъ Кандидъ,—на свѣтѣ ужасно много зла».—«Такъ что же,—сказалъ дервишъ,—много-ли, мало-ли зла или добра, не все-ли равно? Когда его величество султанъ посылаетъ въ Египетъ корабль, развѣ онъ справляется, хорошо-ли будетъ живущимъ на кораблѣ мышамъ?»—«Что же дѣлать?» сказалъ Панглоссъ. — «Молчать», отвѣчалъ дервишъ.—«А я было собирался поговорить съ вами о причинахъ и слѣдствіяхъ, о лучшемъ изъ міровъ, о началѣ зла, о сущности души, о предвѣчной гармоніи»... При этихъ словахъ дервишъ захлопнулъ у нихъ подъ носомъ дверь. Съ этихъ поръ общимъ совѣтомъ рѣшено было, что надо работать, чтобы сдѣлать жизнь сносною, и что человѣкъ рожденъ не для бездѣйствія. Панглоссъ говорилъ еще иногда: «Все тѣсно связано въ этомъ лучшемъ изъ міровъ; еслибы васъ не выгнали изъ прекраснаго замка пинками за любовь Кунигунды, еслибы васъ не арестовала инквизиція, еслибы вы не побродили пѣшкомъ по Америкѣ, не ранили шпагой барона, не потеряли вашихъ барановъ изъ прекраснаго Эльдорадо, то теперь не ѣли бы цукатовъ и фисташекъ». «Это все прекрасно, — отвѣчалъ Кандидъ,—но пойдемъ-ка работать въ огородъ».

Этотъ утилитарный пошибъ напоминаетъ конецъ Фауста. И какъ тамъ, такъ и здѣсь главный вопросъ остается нерѣшеннымъ: какъ же относиться къ существованію зла на землѣ? Вѣдь совсѣмъ объ немъ не думать нельзя, когда оно напоминаетъ о себѣ на каждомъ шагу. Для этого надо бы было превратиться въ глупую сосѣдку добраго брамина, и до этого легко можетъ довести одно обработываніе огорода, если человѣкъ при этомъ совсѣмъ отказывается отъ мысли.

Вольтеръ не всегда былъ такимъ злымъ гонителемъ имянинъ сердца по поводу прекраснаго устройства вселенной. Напротивъ, онъ былъ самъ сильно грѣшенъ этимъ грѣхомъ и до конца жизни не могъ отдѣлаться отъ него окончательно. Мы уже имѣли случай въ другомъ мѣстѣ говорить объ отношеніи Вольтера къ телеологіи. Мы упоминали, что, будучи совершенно непричастенъ той нелѣпѣйшей формѣ имянинъ сердца въ философіи, которая считаетъ человѣка центромъ вселенной, Вольтеръ, однако, очень усердно праздновалъ имянины сердца по поводу цѣлесообразности и совершенства явленій природы.

Кромѣ практическаго доказательства, о которомъ мы говорили выше, бытіе божіе опиралось для Вольтера еще на двухъ основаніяхъ. Одно состоитъ въ такъ-называемомъ космологическомъ доказательствѣ. Мы видимъ, что одно явленіе производитъ другое и само производится третьимъ, это послѣднее производится четвертымъ и т. д. А отсюда Вольтеръ заключаетъ, что долженъ же быть конецъ у этой цѣпи, и этотъ конецъ или вѣрнѣе начало и есть Богъ.

Для насъ гораздо любопытнѣе третье, именно телеологическое доказательство бытія божія. Вольтеръ считалъ очевидными правильность и цѣлесообразность устройства вселенной вообще и отдѣльныхъ явленій природы въ частности, а отсюда заключалъ, что міръ обязанъ своимъ происхожденіемъ нѣкоторой высшей разумной личности, стоящей внѣ міра. Какъ при взглядѣ на всякое произведеніе рукъ человѣческихъ въ насъ поднимается представленіе о мастерѣ, работникѣ, художникѣ, такъ и любое произведеніе природы напоминаетъ намъ своею цѣлесообразностью о «Вѣчномъ мастерѣ», «Вѣчномъ художникѣ», «Вѣчномъ разумѣ», «Вѣчномъ геометрѣ». Къ этой параллели Вольтеръ прибѣгалъ очень часто, точно такъ же, какъ къ доказательству, что природа есть вовсе не природа, а искусство. Это одна изъ любимѣйшихъ мыслей Вольтера. Такъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ разсказа «Уши графа Честерфильда» говоритъ: «Надъ нами смѣются, нѣтъ никакой природы, все — одно искусство; съ какимъ чуднымъ искусствомъ отплясываютъ всѣ планеты вокругъ солнца, между тѣмъ, какъ солнце вертится вокругъ самого себя; надо обладать ученостью лондонскаго королевскаго общества, чтобы устроить такъ, чтобы квадраты обращеній планеты относились между собой, какъ кубическіе корни ихъ разстояній отъ солнца» и т. д. (Ром. и пов., 573). Въ «Исторіи Женни» мудрецъ Фрейндъ говоритъ: «Природы вовсе нѣтъ; около насъ самихъ и на 100,000 милліоновъ миль отъ насъ—не что иное, какъ одно только искусство. Почти никто не замѣчаетъ этого, но это истина. Скажу вамъ опять: откройте глаза и вы увидите Бога и станете ему поклоняться. Подумайте только, что всѣ эти громадные міры, вращающіеся по своимъ громаднымъ небеснымъ путямъ, слѣдуютъ глубокимъ математическимъ законамъ; есть же, слѣдовательно, глубокій математикъ, котораго Платонъ называлъ вѣчнымъ геометромъ... Посмотрите на самихъ себя, посмотрите, съ какимъ удивительнымъ искусствомъ, которое мы никогда не постигнемъ вполнѣ, всѣ ваши наружныя и внутреннія части приспособлены къ вашимъ потребностямъ. Я вовсе не хочу читать вамъ теперь лекцію анатоміи, но вы

очень хорошо знаете и безъ меня, что нѣтъ ни одного органа, который былъ бы для васъ лишнимъ и которому не помогали бы въ случаѣ нужды сосѣдніе органы... вездѣ — искусство, вездѣ — подготовка, средства и цѣль. Ну, какъ же послѣ этого не чувствовать негодованія противъ тѣхъ, кто отрицаетъ конечныя причины и кто настолько глупъ или недобросовѣстенъ, чтобы утверждать, что ротъ не устроенъ для того, чтобы ѣсть и говорить, глаза не приспособлены удивительнѣйшимъ образомъ для зрѣнія и половые органы для размноженія. Подобная дерзость такъ нелѣпа, что ее трудно понять».

Мы не намѣрены трактовать здѣсь о несостоятельности телеологическаго воззрѣнія на природу. Вѣру въ цѣлесообразность явленій природы можно считать совершенно ниспровергнутою новѣйшею наукою. Но она и во времена Вольтера не была неуязвима, и многіе изъ его современниковъ, даже низшаго калибра, чѣмъ онъ, не раздѣляли на этотъ счетъ его заблужденій и смотрѣли на природу не съ имянинной точки зрѣнія. Что и здѣсь мысль Вольтера соскакивала съ рельсовъ, по крайней мѣрѣ, отчасти, вслѣдствіе столкновенія съ изгибами его нравственнаго характера—въ этомъ для насъ нѣтъ никакого сомнѣнія, хотя доказать это трудно. Трудно въ особенности потому, что пріемы психологической критики еще совершенно не выработаны, хотя въ будущемъ ей несомнѣнно предстоитъ важная роль. И даже на самыя основанія психологической критики, на зависимость умственной дѣятельности отъ нравственнаго характера, существуютъ вообще воззрѣнія очень слабыя и сбивчивыя. Такъ, напримѣръ, Милль признаетъ, что «склонность заставляетъ пугаться досаднаго труда строгаго наведенія, когда родилось опасеніе, что результатъ будетъ непріятенъ, а въ предпринятомъ изслѣдованіи заставляетъ исправлять не надлежащимъ образомъ то, что въ нѣкоторой степени произвольно, именно, вниманіе, удѣляя большую долю его доказательству, которое, повидимому, благопріятно желаемому заключенію, и меньшую долю — доказательству, которое, повидимому, неблагопріятно. Склонность дѣйствуетъ также, заставляя человѣка ревностно искать доводовъ или мнимыхъ доводовъ въ подтвержденіе мнѣній, сообразныхъ его выгодамъ или чувствамъ, и противиться неблагопріятнымъ». Тѣмъ не менѣе Милль считаетъ возможнымъ поставить умственную дисциплину въ совершенную независимость отъ дисциплины чувствъ и склонностей. Онъ находитъ, что «кто остерегался всякаго рода неосновательныхъ доказательствъ, которыя могутъ быть приняты за убѣдительныя, тотъ не подвергается опасности быть вовлеченнымъ въ ошибку и самою сильною склонностью» (Логика, II, 291). Съ другой стороны, мы видимъ часто слишкомъ поспѣшныя заключенія отъ отдѣльныхъ психологическихъ фактовъ изъ жизни того или другого писателя или мыслителя къ характеру его умственной дѣятельности. Этого рода заключенія отличаются обыкновенно крайнею топорностью. Такъ Куно-Фишеръ, напримѣръ, усматриваетъ прямую, непосредственную связь между взяточничествомъ и предательствомъ Бэкона, съ одной стороны, и его философіей—съ другой, и увері ждаетъ почти, что еслибы знаменитый лордъ не былъ взяточникомъ, то не сдѣлалъ бы для индуктивнаго метода того, что сдѣлалъ. Мы держимся того утѣшительнаго мнѣнія, что нравственное уродство можетъ только парализировать дѣятельность мысли и никогда не вяжется, какъ причина со слѣдствіемъ, съ умственною мощью. Мы держимся этого мнѣнія не потому, что оно утѣшительно, а на основаніи вышеприведенныхъ соображеній о границахъ человѣка. Мы не касались и не будемъ касаться такихъ крупныхъ грѣховъ Вольтера, какъ его ненасытная алчность или знаменитая исторія съ евреемъ Гиршемъ, потому что не въ нихъ совсѣмъ дѣло. Подобные случаи могутъ, правда, служить нѣкоторыми указаніями, но важны не они, а общій тонъ нравственнаго характера, степень альтруизма, туизма, симпатіи—дѣло не въ названіи—словомъ, степень легкости, съ какою человѣкъ можетъ слить свое *я* съ *ты*, и обширность круга возможнаго для него сочувствія. Только эта, такъ сказать, подставка нравственнаго характера и можетъ оказать положительное или отрицательное вліяніе на направленіе, принимаемое мыслью. Только за этимъ вліяніемъ у Вольтера мы и слѣдимъ. Мы отнюдь не имѣемъ въ виду разсказывать его жизнь и представить полную оцѣнку его дѣятельности. Претензіи наши не идутъ дальше желанія дать руководящую нить читателямъ повѣстей и романовъ, переведенныхъ г. Дмитріевымъ, противорѣчивость которыхъ какъ между собою, такъ и съ ходячими мнѣніями о Вольтерѣ можетъ произвести путаницу. Затѣмъ, явилась необходимость опредѣлить пункты столкновенія нравственныхъ элементовъ Вольтера съ его логикою. Дидро сравнивалъ скептицизмъ съ Буридановымъ осломъ, который голодаетъ, потому что не рѣшается выбрать между положенными передъ нимъ связками сѣна. Скептицизмъ Вольтера совершенно иного сорта. Онъ, напротивъ, то признаетъ безсмертіе души, то отрицаетъ его, то признаетъ существованіе зла на землѣ, то не признаетъ и т. д. И всѣ эти колебанія, оче-

видныя и въ повѣстяхъ, изданныхъ нынѣ по-русски, не могутъ быть объяснены иначе, какъ принимая въ соображеніе вторженіе нравственнаго элемента. Само собою разумѣется, что при этомъ мы не можемъ читать похвальной рѣчи Вольтеру и, по самому плану статьи, принуждены оставить въ тѣни дѣйствительныя заслуги Вольтера. Надѣемся, что это намъ не поставится въ вину, потому что заслугъ этихъ мы не думаемъ отрицать.

Г. Страховъ вѣритъ въ конечныя причины и цѣлесообразность явленій природы. Я этому не удивляюсь, потому что, когда я читалъ статью г. Страхова о глупости (подъ заглавіемъ «Женскій вопросъ»)... впрочемъ, я вѣжливъ и потому не скажу, что я думалъ о глупости, читая статью г. Страхова. Во всякомъ случаѣ, очевидно, что если человѣкъ мыслящій находитъ возможнымъ праздновать имянины сердца по поводу всего того, что онъ видитъ и слышитъ, то это должно быть приписано либо слабости мысли, либо спеціализаціи ея, либо недостатку нравственнаго развитія. Вольтеръ человѣкъ настолько сильный умственно, а его доводы въ пользу цѣлесообразности явленій природы въ цѣломъ и въ частностяхъ до такой степени бѣдны, что нѣтъ возможности выйти изъ этого кажущагося противорѣчія, если мы не поищемъ въ другомъ мѣстѣ причинъ имяниннаго міросозерцанія Вольтера. Цѣлесообразность движенія и расположенія небесныхъ свѣтилъ и устройства человѣческаго организма—два пункта, на которые Вольтеръ напиралъ особенно часто и съ особенною энергіею—могли еще въ XVIII вѣкѣ быть защищаемы. Въ виду недостатка фактическихъ знаній не трудно было бы увлечься пресловутою гармоніею между органами и ихъ отправленіями, если имѣть въ виду только одну группу фактовъ. И нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что узкіе спеціалисты, будучи даже людьми замѣчательно-умными, отстаивали и отстаиваютъ присутствіе конечныхъ цѣлей въ небольшомъ кругѣ изучаемыхъ ими явленій. Но Вольтеръ былъ человѣкъ многосторонній, онъ жилъ полною жизнью и не могъ не видѣть, что если и допустить, что нѣтъ безполезныхъ или вредныхъ органовъ, органовъ нефункціонирующихъ или функціонирующихъ во вредъ организму, то всетаки есть на свѣтѣ необозримая масса фактовъ, неоспоримо свидѣтельствующихъ, что не все на землѣ хорошо. Онъ не могъ не видѣть важности замѣчанія болвана Биртона насчетъ «пауковъ, созданныхъ для того, чтобы они высасывали мухъ». Вольтеръ видѣлъ, что зло на землѣ есть; фактъ этотъ не можетъ подлежать сомнѣнію, потому что помимо всего прочаго, онъ записанъ въ исторіи человѣческими слезами, потомъ и кровью. Но значеніе этого факта сильно ослаблялось для Вольтера его невысокимъ нравственнымъ уровнемъ. Недостатокъ сочувственнаго элемента въ его гибкой, увертливой натурѣ позволилъ ему смотрѣть на потоки крови и слезъ сквозь пальцы. «Они, конечно, существуютъ, разсуждалъ Вольтеръ, но это не мѣшаетъ праздновать имянины сердца». «Зачѣмъ дѣлать изъ нашего существованія цѣпь горя и бѣдствій?» часто говорилъ онъ, прекрасно обрисовывая этой фразой суть имяниннаго міросозерцанія. Имянинникъ, пожалуй, согласенъ, что есть на данномъ предметѣ кое-какія пятна и прорѣхи, но не только не думаетъ о возможности затереть эти пятна и починить эти прорѣхи, а, напротивъ, старательно отгоняетъ отъ себя всякую мысль о нихъ, дабы тѣмъ не нарушить имянинъ сердца, а потому утверждаетъ, что пятенъ и прорѣхъ нѣтъ, что все прекрасно. И это имянинники называютъ на своемъ языкѣ патріотизмомъ, благонамѣренностью, любовью къ людямъ, восторгомъ передъ природой и т. д. Смайльсъ приводитъ въ своей извѣстной книгѣ чье-то, помнится, довольно обширное и очень плоское развитіе той имянинной идеи, что всякій трудъ есть наслажденіе. Это, по крайней мѣрѣ, весело. Но если вы осмѣлитесь выразить мнѣніе, что всякій трудъ долженъ быть наслажденіемъ — послушайте только, какой гвалтъ поднимутъ имянинники, обвиняя васъ въ утопическихъ мечтаніяхъ или даже въ прямомъ подрываніи приснопамятныхъ «основъ».

Но возвратимся къ Вольтеру. Вопросъ о существованіи зла на землѣ всегда интересовалъ его, но до 1755 года онъ, вмѣстѣ съ англійскими деистами, рѣшалъ его такимъ образомъ: если зло и существуетъ, то въ общемъ результатѣ оно влечетъ за собою благо, то-есть, собственно говоря, зла на землѣ нѣтъ, и все идетъ къ лучшему въ семъ наилучшемъ изъ міровъ. Изъ повѣстей, затрогивающихъ вопросъ о существованіи зла, къ этому періоду относится, напримѣръ, «Свѣтъ, какъ онъ есть. Видѣніе Бабука, описанное имъ самимъ» (написано въ 1746 году). Скиѳъ Бабукъ получаетъ отъ Итуріеля, духа-властителя Верхней Азіи, приказаніе отправиться въ Персеполь (Парижъ) и убѣдиться, насколько грѣшны его обитатели, такъ какъ собраніе духовъ рѣшило или наказать ихъ, или совсѣмъ разрушить Персеполь. Бабукъ видитъ то добродѣтели, то преступленія, переходитъ отъ негодованія къ восторгу и обратно, но въ концѣ концовъ мирится со всѣмъ и находитъ, напри-

мѣръ, что продажа и покупка судебныхъ должностей имѣетъ свои прекрасныя стороны; впрочемъ, примиреніе происходитъ даже и не такъ, а просто Бабукъ убѣждается, что судьямъ, купившимъ себѣ «право судить», «ничто не мѣшаетъ» быть хорошими судьями. Въ концѣ концовъ Бабукъ представилъ свой отчетъ Итуріелю такимъ образомъ: заказалъ статую изъ разныхъ благородныхъ и неблагородыхъ металловъ и драгоцѣнныхъ и никуда негодныхъ камней и подалъ ее духу, сказавъ: «Разобьешь ли ты эту *хорошенькую* статую, потому что не все въ ней золото и алмазы». Итуріель понялъ загадку и рѣшился «даже не исправлять Персеполь и оставить свѣтъ, какъ онъ есть; потому что сказалъ онъ, если не все хорошо, то все сносно».

Та же идея развивается довольно скабрезнымъ и легкомысленнымъ манеромъ въ разсказѣ «Cosi Sancta». Одинъ священникъ предсказалъ молодой дѣвушкѣ, что ея добродѣтель причинитъ ей много несчастій, но что современемъ она будетъ причтена къ лику святыхъ за троекратную измѣну мужу. Все сбывается, какъ по писанному. Cosi Sancta не хочетъ обманывать мужа, и потому тотъ велѣлъ до полусмерти избить молодого человѣка, ухаживавшаго за его женою; за это мужа приговорили къ висѣлицѣ. Все это надѣлала добродѣтель Cosi Sancta. Но, затѣмъ, она троекратно измѣняетъ мужу: въ первый разъ, чтобы избавить его самого отъ висѣлицы, во второй—чтобы спасти жизнь брата, и въ третій, чтобы спасти жизнь сына. За это ее причислили послѣ смерти къ лику святыхъ и вырѣзали на гробницѣ ея надпись: «Маленькое зло ради большого блага».

Въ повѣсти «Задигъ или судьба» (1747 года). Задигъ послѣ разныхъ приключеній и долгихъ странствованій встрѣчаетъ, наконецъ, мудраго отшельника, обѣщающаго ему исцѣлить его больную душу, если Задигъ поклянется не отставать впродолженіе нѣсколькихъ дней отъ него, отшельника, какъ бы поведеніе послѣдняго ни казалось страннымъ. Задигъ поклялся,—и они отправились вмѣстѣ. Вечеромъ они подошли къ великолѣпному замку и попросили гостепріимства. Привратникъ впустилъ ихъ съ видомъ снисходительнаго презрѣнія, передалъ дворецкому, который, показавъ путешественникамъ зàмокъ, повелъ ихъ ужинать. Ихъ посадили въ конецъ стола, и хозяинъ даже не взглянулъ на нихъ, но имъ прислуживали съ почтеніемъ, подали послѣ ужина для умыванія золотой тазъ, украшенный драгоцѣнными камнями, отвели для ночлега въ прекрасную комнату, а на другой день дали по золотой монетѣ и отпустили съ миромъ. Задигъ былъ очень доволенъ этимъ гостепріимствомъ и съ негодованіемъ увидѣлъ оттопыренный карманъ отшельника, откуда торчалъ край золотого таза, но не посмѣлъ выразить отшельнику своего удивленія. Пошли дальше, и въ полдень постучались въ дверь небольшого дома, въ которомъ жилъ богатый скряга. Ихъ помѣстили въ конюшнѣ, дали гнилыхъ оливокъ и прокислаго пива и, вдобавокъ, все время смотрѣли, какъ бы они чего-нибудь не украли. Несмотря на то, отшельникъ отдалъ брюзгливому слугѣ обѣ полученныя ими утромъ золотыя монеты, а скупцу-хозяину подарилъ въ благодарность за «благородное гостепріимство» украденный у вельможи золотой тазъ. Задигъ попросилъ отшельника объяснить свое непонятное поведеніе. «Сынъ мой—отвѣчалъ старикъ—этотъ богачъ, принимающій странниковъ изъ тщеславія и желанія похвастать своими богатствами, станетъ благоразумнѣе, а скряга научится оказывать гостепріимство. Не удивляйтесь ничему и слѣдуйте за мной». Вечеромъ наши странники добрались до дому одного благороднаго и умнаго философа, Здѣсь все дышало привѣтливостью, простотой, изяществомъ. За ужиномъ зашла, между прочимъ, рѣчь о томъ, что «ходъ событій въ этомъ мірѣ не всегда согласуется съ желаніями мудрѣйшихъ людей. Отшельникъ утверждалъ, однако, что никто не знаетъ путей Провидѣнія, и что люди неправы, когда судятъ о цѣломъ по какимъ-нибудь ничтожнымъ частичкамъ, доступнымъ ихъ наблюденію». Потомъ заговорили о страстяхъ, и Задигъ выразилъ мнѣніе, что онѣ пагубны. Отшельникъ возразилъ: «Страсти—вѣтры, раздувающіе паруса корабля; иногда онѣ причиняютъ его погибель, но безъ нихъ онъ не могъ бы плыть. Желчь дѣлаетъ человѣка раздражительнымъ и больнымъ, но безъ желчи человѣкъ не могъ бы жить. Все на свѣтѣ опасно и все вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо». Время провели очень пріятно, но надо было, наконецъ, разстаться. Передъ уходомъ отшельникъ въ «доказательство своего уваженія и любви» къ благородному хозяину, поджегъ его домъ и радовался, глядя на пожаръ. Задигъ былъ въ ужасѣ, но не могъ освободиться отъ вліянія отшельника и пошелъ съ нимъ дальше. Однако, негодованіе его достигло, наконецъ, послѣднихъ предѣловъ, когда на слѣдующей стоянкѣ отшельникъ утопилъ четырнадцатилѣтняго племянника и единственную надежду пріютившей ихъ у себя добродѣтельной вдовы. Тогда отшельникъ объяснилъ, наконецъ, тайну своего поведенія. Онъ сообщилъ Задигу, что подъ развалинами дома, сгорѣвшаго «по волѣ Провидѣнія», благородный хозяинъ нашелъ несмѣтныя богатства, а

«юноша—прибавилъ отшельникъ — который погибъ по волѣ того же Провидѣнія, черезъ годъ убилъ бы свою тетку». Это объясненіе не удовлетворило бы, однако, возмущеннаго Задига, еслибы онъ не увидѣлъ, что старикъ-отшельникъ превратился вмѣстѣ съ тѣмъ въ прекраснаго, свѣтоноснаго, крылатаго ангела Іезрода. Задигъ попросилъ его объяснить ему одно сомнѣніе: «не лучше ли было бы исправить это дитя и сдѣлать его добродѣтельнымъ, вмѣсто того, чтобы его топить?» Іезродъ возразилъ: «Еслибы онъ былъ добродѣтеленъ и остался жить, то судьба опредѣлила ему быть убитымъ вмѣстѣ съ женой, на которой онъ бы женился, и съ ребенкомъ, который бы родился отъ нея». Что же это такое—сказалъ Задигъ,—развѣ необходимо, чтобы въ мірѣ существовали несчастія и преступленія и *чтобы первыя составляли удѣлъ лучшихъ людей?*»—«*Злые*,—отвѣчалъ Іезродъ—*всегда несчастливы*, они существуютъ для испытанія тѣхъ немногихъ справедливыхъ людей, которые разсѣяны по землѣ, и нѣтъ такого зла, которое не дѣлало бы добра». (Замѣтимъ, между прочимъ, что въ подчеркнутыхъ нами словахъ Іезродъ не только не отвѣчаетъ на вопросъ Задига, а выворачиваетъ его на изнанку: одинъ спрашиваетъ, почему хорошіе люди несчастливы, а другой, вмѣсто отвѣта, говоритъ: злые всегда несчастны; это опять уже отмѣченная нами безцеремонная эксплуатація разговорной формы). «Но — сказалъ Задигъ— еслибы совсѣмъ не было зла и было одно только благо?»—«Тогда этотъ міръ былъ бы другимъ міромъ, событія происходили бы въ другомъ премудромъ порядкѣ, который былъ бы совершененъ. Но такой совершенный порядокъ можетъ существовать только въ жилищѣ высшаго существа, къ которому зло не можетъ приблизиться. Оно создало милліоны міровъ, изъ которыхъ ни одинъ не можетъ походить на другой. Это безконечное разнообразіе составляетъ свойство его неизмѣримаго могущества. Люди думаютъ, что это дитя упало случайно, что случайно также сгорѣлъ тотъ домъ, но случая не существуетъ—*все на этомъ свѣтѣ или испытаніе, или наказаніе, или награда, или предусмотрѣніе*. Слабый смертный, перестань бороться противъ того, предъ чѣмъ ты долженъ благоговѣть!».

Здѣсь проскакиваетъ даже тотъ объективно-антропоцентрическій пошибъ, тотъ догматъ центральности положенія человѣка, надъ которымъ Вольтеръ такъ много и часто смѣялся. Вѣдь нельзя же допустить, что пауки существуютъ для испытанія или наказанія мухъ; очевидно, что эти испытанія, наказанія, награды и предусмотрѣнія имѣютъ въ виду исключительно человѣка. Но поразительнѣе всего въ «Задигѣ» его рѣшительно фаталистическій тонъ, такъ гармонирующій съ восточнымъ колоритомъ повѣсти. Выраженныя тутъ Вольтеромъ мысли нисколько не отстаютъ отъ осмѣиваемыхъ имъ одно время ученій Лейбница о судьбѣ и предуставленной гармоніи. Имянины празднуются самымъ роскошнымъ образомъ, и въ «метафизико-космолого - теолого - нигилеологической» формулѣ Панглосса: все идетъ къ лучшему въ семъ наилучшемъ изъ міровъ—Вольтеръ дѣлаетъ только одну поправку, правда, очень важную: нашъ міръ не лучшій, но въ немъ все устроено наилучше. И здѣсь опять вѣетъ Лейбницемъ. Лейбницъ поддерживалъ гипотезу существованія множества міровъ, расположенныхъ во вселенной въ порядкѣ ихъ относительнаго совершенства. Для Вольтера эта мысль была настоящей находкой, и читатель можетъ встрѣтить развитіе ея съ разныхъ сторонъ въ повѣстяхъ «Мемнонъ или человѣческая мудрость», «Микромегасъ», «Сонъ Платона». Послѣдній разсказъ, впрочемъ, относится къ 1756 году, то есть къ тому времени, когда въ возрѣніяхъ Вольтера на происхожденіе и распространеніе зла на землѣ произошелъ важный переворотъ, и здѣсь скептическая улыбка уже явно кривитъ насмѣшливыя губы Вольтера.

Платону снился такой сонъ: «Вѣчный геометръ» Деміургъ роздалъ подначальнымъ ему геніямъ по куску вещества, приказавъ каждому построить изъ него міръ. На долю Демогоргона досталось устроить землю. Онъ сдѣлалъ свое дѣло, какъ ему казалось, превосходно, но товарищи его были иного мнѣнія. Они осыпали его насмѣшками, указывая на различныя несовершенства устроенной имъ планеты, на неудачное расположеніе морей и материковъ, на полярный холодъ и тропическій зной, на ядовитыя растенія, болѣзни, вѣчныя ссоры и битвы между жителями земли и т. д. Демогоргонъ нѣсколько сконфузился, но при ближайшемъ разсмотрѣніи оказалось, что устройство и Марса, и Сатурна, и Юпитера и проч. дѣлаетъ мало чести ихъ творцамъ. Поднялись ссоры и распри между геніями, пока, наконецъ, Деміургъ не велѣлъ имъ всѣмъ молчать и не произнесъ слѣдующаго: «Вы создали много хорошаго и дурного, потому, что вы очень разумны, но не совершенны; произведенія ваши будутъ существовать только нѣсколько сотъ милліоновъ лѣтъ, послѣ чего вы, узнавши больше, сдѣлаете лучше; все-же совершенное и безсмертное создать могу только я одинъ». Такъ разсказывалъ Платонъ ученикамъ свой сонъ. Когда онъ кончилъ, одинъ изъ учениковъ спросилъ: *И затѣмъ вы проснулись?* На этомъ разсказъ обрывается, и Вольтеръ подчеркиваетъ это

многозначительное: и затѣмъ вы проснулись?

Вольтеръ и самъ проснулся только за годъ до «Сна Платона». Его разбудилъ, какъ мы уже упоминали, громъ лиссабонскаго землетрясенія, и въ 1759 г. появился Кандидъ. Вольтеръ могъ находить, что если Cosi Sancta троекратно измѣняетъ мужу, то это еще небольшое зло; онъ могъ не особенно близко принимать къ сердцу то мелкое зло, за которое Итуріель хотѣлъ разрушить Персеполь; онъ могъ не тревожить своего имянниннаго настроенія духа по поводу утопленія невиннаго мальчика или пожара и быть увѣреннымъ, что эти бѣдствія искупаются непремѣнно какими-нибудь благами. Но разрушеніе города, надъ которымъ цѣлые вѣка работали ряды поколѣній, тридцать тысячъ смертей въ нѣсколько минутъ—это уже не Cosi Sancta. Фигура Панглосса, любопытствующаго знать, какой «удовлетворяющій доводъ» (или достаточное основаніе—терминъ Лейбница) можетъ имѣть «это любопытное явленіе», т. е. лиссабонское землетрясеніе, изображаетъ самого Вольтера. Дѣйствительно, Вольтеръ, утверждавшій устами Іезрода, что нѣтъ такого зла, результатомъ котораго не было бы добро, долженъ былъ стать въ тупикъ передъ грознымъ явленіемъ природы. Какой удовлетворяющій доводъ можетъ оно имѣть? Какое благо можетъ проистечь изъ этого зла? Развѣ только одно то, что люди, обогативъ свою натуру такимъ крупнымъ сочувственнымъ опытомъ, умѣрятъ—какъ это и случилось съ Вольтеромъ—свой имянинный энтузіазмъ и убѣдятся, что не все на свѣтѣ либо награда, либо наказаніе, либо испытаніе, либо предусмотрѣніе; что присутствіе цѣлей въ природѣ есть миѳъ, которымъ люди тѣшатъ свой эгоизмъ.

Но лиссабонское землетрясеніе поражаетъ, главнымъ образомъ, своею громадностью: въ немъ нѣтъ какихъ-нибудь особенныхъ элементовъ, которые не встрѣчались-бы на каждомъ шагу. И если эта громадность должна была раздавить своею тяжестью оптимизмъ Вольтера, то представляется вопросъ: какова-же должна быть чуткость къ чужимъ страданіямъ у человѣка, котораго могло потрясти только такое скопленіе смертей и бѣдствій? До шестидесяти лѣтъ Вольтеръ, человѣкъ мыслящій и видавшій на своемъ вѣку всякіе виды, упорно отрицалъ существованіе зла. У него хватало имянинной забитости и легкомыслія, хватало безнравственности, — это выраженіе здѣсь совершенно умѣстно;—утверждать, что все идетъ къ лучшему и что слабые смертные должны перестать бороться съ тѣмъ, передъ чѣмъ они должны благоговѣть. И это впродолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ бурной и разнообразной жизни, а не замкнутаго сидѣнья въ кабинетѣ, изъ оконъ котораго виденъ такой малый уголокъ міра, что забитость спеціалистовъ объясняется очень легко. Но Вольтеръ исколесилъ всю Европу, имѣлъ сношенія съ людьми самыхъ разнообразныхъ сортовъ, жилъ наканунѣ великаго общественнаго переворота, которымъ уже пахло въ воздухѣ, не оставилъ незатронутою почти ни одной области знанія. При такихъ условіяхъ нужна была именно глубокая безнравственность Вольтера, чтобы утверждать, что все въ природѣ отъ роста былинки до человѣческой исторіи говоритъ о присутствіи разума и цѣлей въ природѣ, и не видѣть, что, напротивъ, все въ природѣ, даже камни вопіютъ объ отсутствіи конечныхъ цѣлей. Допустимъ, что отсутствіе предуставленной гармоніи въ человѣческомъ и всякомъ другомъ организмѣ не могло быть доказано современною Вольтеру наукою; допустимъ, что, вообще, прочно установленные факты науки о природѣ были не противъ, а за конечныя цѣли,—мы уступаемъ слишкомъ много, потому что факты существованія ядовъ, болѣзней достаточно элементарны, но положимъ, что этого рода факты допускали различныя объясненія. Но каждая страница исторіи человѣчества безповоротно рѣшаетъ вопросъ о томъ, существуетъ-ли зло на землѣ, а Вольтеръ былъ исторіографъ Франціи, что не особенно важно, и положилъ основаніе своимъ Essai sur les mœurs новѣйшему историческому методу, что очень важно. Были, конечно, у Вольтера свѣтлыя минуты и въ этомъ отношеніи. Когда передъ нимъ вставала Варѳоломеевская ночь, когда онъ выбивался изъ силъ, хлопоча по дѣламъ Каласа или Сирвена, онъ долженъ былъ понимать, что Іезродъ несетъ такую-же нигилеологію, какъ и Панглоссъ. Но эти свѣтлыя минуты порождались спеціальной враждой съ суевѣріемъ и фанатизмомъ, и вся энергія мысли Вольтера направлялась въ такихъ случаяхъ на борьбу съ этими врагами, ей некогда было идти впередъ по строго логическому пути и побѣдоносно войти черезъ случайно проломанную брешь въ укрѣпленныя мѣста оптимизма.

Съ 1755 года Вольтеръ перестаетъ набрасывать на міръ праздничное освѣщеніе. И всетаки переворотъ этотъ не столь радикаленъ, какъ можно-бы было ожидать. Повидимому, практическія соображенія Вольтера должны были-бы разсыпаться прахомъ, и у человѣка, болѣе чуткаго нравственно, они разсыпались-бы непремѣнно. Но Вольтеръ, по недовѣрію къ «сволочи» и къ «буйнымъ и бѣднымъ атеистамъ»,

слишкомъ дорожилъ этими соображеніями и потому ухитрился сохранить въ значительной степени и свою телеологію. Лиссабонское землетрясеніе съ ужасающею ясностью показало ему, что не все на землѣ идетъ къ лучшему. Онъ убѣдился, что зло на землѣ существуетъ и что нѣтъ возможности прикрыть этотъ фактъ какими-бы то ни было заздравными бокалами. Но вмѣсто того, чтобы вывести изъ этого факта цѣлую цѣпь слѣдствій, діаметрально противоположныхъ тому, что проповѣдывалъ Вольтеръ цѣлую жизнь, мысль его, скованная различными побочными соображеніями, ограничивалась оправданіемъ существующаго зла. И какимъ оправданіемъ! Это жалкіе, сшитые на скорую руку силлогизмы, холодные, напыщенные, натянутые, въ которыхъ бѣлыя нитки очевидны всякому. И это совершенно понятно, потому что Вольтеръ желалъ удержать свое прежнее міросозерцаніе, хотя и былъ вынужденъ признать, что главная опора его—отсутствіе зла—не существуетъ. Мы видѣли, что космологическій дуализмъ Вольтера не мѣшалъ ему быть послѣдовательнымъ матеріалистомъ въ психологіи, благодаря аргументу Локка: всемогущій Богъ могъ и матерію одарить мыслительною способностью, и потому нѣтъ надобности признавать существованіе особой духовной субстанціи. Но, разъ зло существуетъ, Вольтеръ выбитъ и изъ этой позиціи. Онъ вынужденъ признать, что «матеріальная сторона каждаго преступнаго дѣла представляетъ слѣдствіе вѣчныхъ законовъ, которымъ Богъ подчинилъ матерію; духовная-же сторона его представляетъ слѣдствіе свободы, которою человѣкъ злоупотребилъ» (Романы и повѣсти, 562). Это уже открытый дуализмъ. Но онъ былъ необходимъ Вольтеру, чтобы вывести идею благого провидѣнія. Идя по этому пути далѣе, Вольтеръ раздѣляетъ бѣдствія на два рода. Въ однихъ люди виноваты сами, потому что неразумно пользуются дарованною имъ свободою; другія отъ нихъ, дѣйствительно, независимы, но Вольтеръ всѣми силами старается сократить ихъ число и значеніе. Становится положительно жалко Вольтера, когда начинаешь прислушиваться къ скудной логикѣ мудреца Фрейнда въ «Исторіи Женни»: «Я, милостивые государи, откровенно признаюсь вамъ, что въ мірѣ встрѣчается много физическаго зла, и я вовсе не думаю скрывать его существованіе. Но г. Биртонъ слишкомъ преувеличиваетъ. Я ссылаюсь на васъ, любезный Паруба. Вашъ климатъ созданъ для васъ, и онъ вовсе не такъ дуренъ, потому что ни вы, ни ваши соотечественники никогда не желали перемѣнить его. Эскимосы, исландцы, лапландцы, остяки, самоѣды никогда не имѣли желанія покинуть свою родину. Сѣверные олени, которыхъ Богъ далъ имъ для ихъ пищи, одежды и ѣды, умираютъ, когда ихъ перевозятъ въ другой поясъ. Даже лапландцы умираютъ въ болѣе умѣренныхъ странахъ: климатъ Сибири уже слишкомъ теплъ для нихъ. Они задохлись бы отъ жару въ той странѣ, гдѣ мы съ вами находимся. Ясно, что Богъ создалъ отдѣльные роды животныхъ и растеній для тѣхъ мѣстностей, въ которыхъ они размножаются... Обратимся къ бѣдствіямъ, причиняемымъ намъ наводненіями, вулканами и землетрясеніями. Если вы будете обращать вниманіе только на эти бѣдствія, если вы будете заниматься только однимъ ужаснымъ перечнемъ всѣхъ случаевъ, которые причиняютъ вредъ нѣсколькимъ колесамъ міровой машины, то Богъ представится вамъ тираномъ: но если вы обратите вниманіе на его безчисленныя благодѣянія, то увидите въ немъ отца... Истина состоитъ въ томъ, что изъ ста тысячъ селеній каждое столѣтіе всего какое-нибудь одно селеніе погибаетъ отъ огня, необходимаго для производительности этой планеты» (Ром. и пов., 555). «Исторія Женни» написана въ 1775 году, и въ двадцать лѣтъ впечатлѣніе, произведенное на Вольтера лиссабонскимъ землетрясеніемъ, очевидно, сильно поистерлось. Въ «Кандидѣ» онъ набрасывается на Панглосса съ яростью ренегата, которая всегда тѣмъ сильнѣе, что ренегатъ въ лицѣ своихъ новыхъ противниковъ бичуетъ самого себя, свое прошлое. Однако, и здѣсь смѣлость не идетъ дальше отрицаній нигилеологіи; когда отъ отрицаній приходится перейти къ положительному рѣшенію задачи жизни, Вольтеръ, еще не успѣвшій осмотрѣться въ своемъ новомъ положеніи, смиряется, притихаетъ и трусливо указываетъ одною рукой на огородъ, какъ на якорь спасенія, а между тѣмъ, другой рукой этотъ же огородъ казнится въ лицѣ глупой сосѣдки добраго брамина (Разсказъ о добромъ браминѣ написанъ въ томъ же году, какъ и Кандидъ). Проходитъ нѣсколько времени и въ силу правила «толцыте и отверзется» Вольтеру удается кое-какъ собрать остатки своей разбитой арміи и придать ей нѣкоторый видъ единства и цѣлостности. Но какою цѣною покупается этотъ *видъ*, какія жертвы приноситъ для него Вольтеръ! Вся логика мудреца Фрейнда состоитъ въ томъ, что онъ на каждомъ шагу проситъ,, умоляетъ болвана - Биртона уступить ему хоть полъ-землетрясенія: «на свѣтѣ много ужасныхъ золъ, не будемъ же увеличивать ихъ количества»; «если земля производитъ яды, точно такъ же, какъ и здоровую пищу, то неужели вы хотите питаться

однимъ ядомъ?» и т. п. Вся діалектическая тактика Фрейнда основывается на томъ, что онъ старается отвлечь вниманіе Биртона отъ несчастій, бѣдствій, болѣзней, преступленій и показать, что есть на свѣтѣ и счастіе, и здоровье, и добродѣтель, какъ-будто въ этомъ кто-нибудь сомнѣвался, и какъ какъ будто это подвигаетъ насъ къ рѣшенію вопроса. Фрейндъ, повторяемъ, не мудрецъ, а просто страусъ, воображающій, что онъ силенъ, если онъ не видитъ бѣды. Весь разговоръ Фрейнда съ Биртономъ былъ бы не только не поучителенъ, а просто комиченъ, если бы въ немъ не сквозило безсиліе замѣчательнаго ума, безсиліе, причины котораго мы, какъ могли, старались разъяснить выше. Безсиліе это заводитъ Вольтера, провѣдника терпимости и свободы мысли, во всѣ закоулки имянинной теоріи и практики. Онъ не избѣжалъ даже того закона, по которому имянинники, поднимая одною рукою заздравный бокалъ, другую принуждены устремлять въ пространство для инсинуацій. Онъ устраиваетъ дуэль между Фрейндомъ и Биртономъ, но при этомъ не только не старается уравновѣсить шансы обоихъ противниковъ, а напротивъ, навязываетъ Фрейнду всякое благородство, а Биртона присуждаетъ къ отрицанію нравственности и къ участію въ разныхъ гадостяхъ и преступленіяхъ, давая тѣмъ понять, что теоріи, исповѣдуемыя Биртономъ, необходимо влекутъ за собою преступную практику. Этотъ суздальскій пріемъ не разъ уже обрушивался на память самого Вольтера, и еще недавно подъ покровомъ такого суздальства была совершена французскими клерикалами, со знаменитымъ Вейльо во главѣ, самая недостойная вылазка противъ остроумнаго и непримиримаго врага infame. Франко-прусская война была уже въ полномъ разгарѣ, когда наступило время давно уже задуманнаго открытія памятника Вольтеру. Клерикалы не постыдились затронуть народныя страсти, напирая на дружескія отношенія француза-Вольтера съ прусскимъ королемъ Фридрихомъ Великимъ. Это мерзость. Но и самъ Вольтеръ чуть не окунулся въ нее влекомый имянинною идеей.

Истощивъ всевозможныя уловки, наигравшись словами, Вольтеръ хватается, наконецъ, какъ утопающій за соломенку, за идею безсмертія души и загробной жизни, гдѣ за недостаткомъ наградъ и наказаній на землѣ, добрые и злые получатъ должное по дѣламъ своимъ. «Зачѣмъ же вы хотите,— говоритъ Фрейндъ—чтобы Богъ уничтожилъ то начало, которое заставляетъ насъ дѣйствовать и мыслить? Избави меня Богъ создавать какую-нибудь теорію, но все-таки въ насъ есть что-то такое, что мыслитъ и желаетъ; это нѣчто, называвшееся прежде монадой, неосязаемо. Богъ далъ намъ его или, вѣрнѣе, Богъ отдалъ насъ ему. Можете ли вы быть увѣрены, что онъ не можетъ сохранить его?»

Въ качествѣ христіанъ, всѣ мы вѣруемъ въ безсмертіе души и загробную жизнь, и добрые христіане должны радоваться такой перемѣнѣ въ воззрѣніяхъ Вольтера. Но дѣло въ томъ, что эта и другія подобныя перемѣны и колебанія въ воззрѣніяхъ Вольтера коренятся въ причинахъ отдаленныхъ и совершенно побочныхъ. Указать и разъяснить ихъ читателямъ «Романовъ и повѣстей» Вольтера была нашей задачей.

Мы не претендуемъ на полный очеркъ дѣятельности Вольтера, но и изъ того, что мы привели, достаточно, кажется, ясно, до какой степени несостоятельны ходячія мнѣнія объ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ. Очевидно, что онъ отнюдь не можетъ служить представителемъ ни политическаго, ни философскаго, ни религіознаго радикализма XVIII вѣка. Онъ былъ человѣкомъ золотой середины и оказывается радикаломъ въ борьбѣ съ infame. Этого слишкомъ мало, чтобы служить особенною, преимущественною мишенью для обвиненій въ «вольтерьянствѣ», и точно также мало для того, чтобы стоять выше всѣхъ современниковъ. Было бы чрезвычайно любопытно сравнить міросозерцаніе Вольтера съ воззрѣніями наиболѣе выдающихся его современниковъ, каковы Дидро и Руссо, или даже второстепенныхъ въ родѣ Ла-Меттри, Гельвеція, Гольбаха. Но мы не отважимся на такія параллели, которыя завели бы насъ слишкомъ далеко. Въ замѣнъ того, мы представимъ, по Штраусу, очеркъ идей одного, во всякомъ случаѣ замѣчательнаго и у насъ совершенно неизвѣстнаго человѣка. Мы и тутъ воздержимся отъ подробныхъ сравненій между этимъ человѣкомъ и Вольтеромъ, но крайности и рѣзкости перваго оттѣняютъ сами собой золотую середину Вольтера. Если бы можно было выразить міросозерцанія различныхъ писателей XVIII вѣка графически, то кривая, выражающая міросозерцаніе человѣка, о которомъ мы говоримъ, оказалась бы наиболѣе простою и почти прямою линіею, вслѣдствіе чего она можетъ лучше всякой другой показать, какъ нелѣпо видѣть въ Вольтерѣ какого-то Аримана XVIII вѣка, воплощеніе его разрушительныхъ стремленій.

Около 1664 года у ткача Мелье, въ деревнѣ Мацерни, въ Шампаньи, родился сынъ Жанъ. Сосѣдній священникъ принялъ почему-то участіе въ ребенкѣ, взялся его учить, послѣ чего онъ былъ отправленъ въ семинарію, въ Шалонъ-на-Марнѣ. Тамъ Жанъ Мелье, наряду со своими богословскими занятіями, особенно усердно изучалъ карте-

зіанскую философію. Въ 1690 году онъ былъ назначенъ священникомъ въ мѣстечко Этрепиньи, находившееся во владѣніи нѣкоего господина де-Клери. Жанъ Мелье велъ очень строгій образъ жизни, мало бывалъ въ обществѣ, отличался безкорыстіемъ и благотворительностью. Большую часть времени онъ проводилъ въ библіотекѣ, состоявшей изъ отцовъ церкви, опытовъ Монтеня и нѣкоторыхъ сочиненій Фенелона и Мальбранша. Однажды Клери какъ-то обидѣлъ крестьянъ, и Мелье въ ближайшее воскресенье обличилъ его публично въ церкви. Клери пожаловался архіепископу Реймскому, и тотъ принялъ свои мѣры. Въ отвѣтъ на это, Мелье опять-таки публично сталъ молиться о томъ, чтобы Богъ просвѣтилъ помѣщика и научилъ его не обижать бѣдныхъ и сиротъ. Такая молитва не удовлетворила, разумѣется, ни архіепископа, ни Клери, и среди борьбы съ ними Мелье умеръ около 1729 года.

Мелье оставилъ рукопись подъ заглавіемъ: «Мое завѣщаніе» въ трехъ экземплярахъ, въ 366 листовъ каждый, тщательно переписанныхъ его рукой, изъ которыхъ одинъ еще при жизни отдалъ на сохраненіе въ одно правительственное учрежденіе. Списки этой рукописи ходили по рукамъ, возбуждая всеобщее удивленіе, но окончательно остановилъ на «Завѣщаніи» Мелье общественное вниманіе Вольтеръ. Другъ его, Тьеріо, сообщилъ ему въ 1735 году свѣдѣнія объ этомъ завѣщаніи и живо заинтересовалъ Вольтера. Фернейскій патріархъ писалъ къ Тьеріо изъ Сирея: «Кто же этотъ деревенскій священникъ, о которомъ вы пишете? Какъ! Священникъ и французъ—и философствуетъ, какъ Локкъ?! Не можете ли вы прислать мнѣ рукопись?» Неизвѣстно, почему затянулось это дѣло и какъ шли дальнѣйшіе переговоры, но только въ 1762 году издалъ Вольтеръ извлеченіе изъ «Завѣщанія» Жана Мелье подъ заглавіемъ «Sentiments du curé Meslier». Вскорѣ послѣ того онъ выпустилъ новое изданіе въ количествѣ 5,000 экземпляровъ и распространялъ ихъ съ необыкновеннымъ усердіемъ. Вольтеръ придавалъ огромное значеніе этому «Завѣщанію», и оно несомнѣнно имѣло большое вліяніе на него самого. Штраусъ справедливо замѣчаетъ, что хотя Вольтеръ не почерпнулъ у Мелье ничего такого, чего бы онъ уже не зналъ изъ Бейля и англійскихъ деистовъ, но Мелье послужилъ для него сильнымъ возбудительнымъ средствомъ. И, дѣйствительно, было нѣчто поразительное въ этомъ явленіи, нѣчто способное заставить призадуматься людей, наиболѣе вѣрующихъ, а тѣмъ болѣе подлить масла въ огонь людямъ въ родѣ Вольтера. Сельскій священникъ, безупречной нравственности, ни на шагъ не отступающій отъ обязанностей своего званія, умираетъ и оставляетъ завѣщаніе, въ которомъ съ необыкновенною страстностью и горечью выкладываетъ свою наболѣвшую душу, возстаетъ противъ церкви, христіанства, современныхъ ему общественныхъ и политическихъ учрежденій и высказываетъ самыя крайнія мнѣнія по всѣмъ важнѣйшимъ вопросамъ жизни и мысли,—мнѣнія до такой степени крайнія, что ни одинъ изъ самыхъ смѣлыхъ писателей XVIII вѣка не высказывалъ ничего подобнаго, по крайней мѣрѣ, въ цѣломъ. «Я не осмѣлился говорить при жизни — писалъ Мелье—но пусть люди прочтутъ истину послѣ моей смерти». Вольтеръ справедливо придавалъ важное значеніе именно посмертности этого произведенія темнаго священника. Сравнивая въ письмѣ къ д'Аламберу «Завѣщаніе» Мелье съ «Исповѣданіемъ вѣры савойскаго викарія» Руссо, Вольтеръ пишетъ: «Мелье говоритъ въ минуту смерти, въ такую минуту, когда и лжецы говорятъ правду; это сильнѣйшее изъ его доказательствъ. Жанъ Мелье обратитъ міръ на путь истины». Въ письмѣ къ Дамилавилю Вольтеръ говоритъ, что «Завѣщаніе» Мелье слишкомъ многословно, обширно и тяжело и что въ сдѣланномъ имъ, Вольтеромъ, извлеченіи находится все дѣйствительно достойное вниманія. Извлеченіе это, однако, отнюдь не давало полнаго понятія о характерѣ «Завѣщанія», потому что Вольтеръ извлекъ исключительно только антихристіанскія сужденія Мелье и совершенно умолчалъ о несимпатичныхъ ему атеистическихъ, матеріалистическихъ и революціонныхъ взглядахъ священника. Десять лѣтъ спустя Гольбахъ, авторъ «Systeme de la nature», выпустилъ болѣе полное извлеченіе, подъ заглавіемъ «Bon sens du curé Meslier». Въ 1793 году Анахарсисъ Клотцъ внесъ въ конвентъ предложеніе—поставить памятникъ Мелье, какъ первому священнику, возставшему противъ «религіозныхъ заблужденій»; однако, дѣло это не состоялось. Затѣмъ время отъ времени появлялись новыя извлеченія изъ «Завѣщанія» Жана Мелье, пока, наконецъ, оно не было издано въ 1864 году цѣликомъ (Le testament de Jean Meslier, curé d'Etrépigny et de But en Champagne etc. Ouvrage inédit précédé d'une préface, d'une étude biographique, etc. par Rudolf Charles. Amsterdam, à la librairie etrangére. 1864. III Tom).

Какъ уже сказано, Вольтеръ сдѣлалъ очень одностороннее извлеченіе изъ завѣщанія Мелье: выбралъ только противохристіанскія мнѣнія несчастнаго священника и глухо говорилъ, что все остальное не заслуживаетъ вниманія. Дѣло въ томъ, что остальныя воззрѣнія, смущавшія тихую

жизнь Мелье, діаметрально расходились съ воззрѣніями Вольтера, и вражда съ догматами положительной, откровенной, христіанской религіи и съ ветхозавѣтнымъ юдаизмомъ составляетъ одинъ изъ очень немногихъ пунктовъ, общихъ и фернейскому патріарху, и деревенскому священнику. Однако, самая эта вражда получаетъ у того и другого, вслѣдствіе индивидуальныхъ особенностей, имѣющихъ, однако, важное значеніе, совершенно различный характеръ. Относительно положительныхъ религій Вольтеръ является дерзкимъ насмѣшникомъ, тонкимъ, ловкимъ, увертливымъ, остроумнымъ. Дерзость его, повидимому, не знаетъ границъ, но онъ и въ этомъ отсталъ отъ Мелье. Въ завѣщаніи нѣтъ ироніи Вольтера, нѣтъ его полемической увертливости; Мелье рубитъ, какъ топоромъ, страстно и вмѣстѣ мрачно, и не останавливается ни на минуту и ни надъ чѣмъ въ страшномъ потокѣ своей хулы. Вольтеръ, отрицая божественный характеръ Іисуса Христа, тѣмъ не менѣе относится съ почтеніемъ къ его человѣческой личности. Мелье не знаетъ и этой простой справедливости: онъ осыпаетъ личность Христа жестокою бранью и не признаетъ за нею никакихъ достоинствъ. Мы, разумѣется, не посмѣемъ выписывать эту брань, которая возмутительна и будетъ казаться еще возмутительнѣе, если мы не подойдемъ къ факту ближе. Простимъ Мелье, какъ ученики Учившаго прощать, и оцѣнимъ его положеніе, какъ разумные люди. Штраусъ справедливо замѣчаетъ, что несчастному священнику приходилось выносить страшную муку: разъ усомнившись въ божественной природѣ Іисуса Христа, онъ долженъ былъ, однако, каждый день насиловать себя и публично, по обязанности, приносить молитвы Богу, въ Котораго не вѣрилъ. Конечно, онъ несъ наказаніе за свое невѣріе. Положеніе Вольтера совершенно иное: онъ въ большинствѣ случаевъ шутилъ, а не мучился. Въ качествѣ богатаго помѣщика и знатнаго барина, онъ, несмотря на свою вражду къ infame, заботился совершенно добровольно о доходахъ и благосостояніи построеннаго имъ въ своемъ имѣніи храма, охотно оказывалъ гостепріимство захожимъ монахамъ и даже двѣнадцать лѣтъ держалъ при себѣ одного іезуита, надъ которымъ, разумѣется, трунилъ жестоко, тѣмъ болѣе, что іезуита звали Адамомъ.

Этою разницею въ положеніяхъ Вольтера и Мелье опредѣляется и разница ихъ всѣхъ остальныхъ воззрѣній. Вольтеръ, могъ любоваться Людовикомъ XIV, но Мелье смотрѣлъ на это блестящее царствованіе съ точки зрѣнія раззореннаго имъ и близко знакомаго Мелье народа, а не съ точки зрѣнія придворнаго поэта. Вольтеръ. стоявшій чуть не рядомъ съ коронованными головами, могъ дѣлить людей на «порядочныхъ» и «сволочь». У Мелье мы встрѣчаемъ совершенно другое дѣленіе, и, дѣйствительно, какъ замѣчаетъ Штраусъ, крестьянскими войнами со всѣми ихъ ужасами вѣетъ, напримѣръ, отъ слѣдующей тирады мирнаго попа: «Вамъ, мои друзья, толкуютъ о дьяволѣ, васъ пугаютъ именемъ дьявола, заставляя видѣть въ немъ не только врага вашего счастья, а и отвратительнѣйшее созданіе, какое только можно себѣ представить. Но художники ошибаются, когда изображаютъ на своихъ картинахъ дьявола въ видѣ безобразнаго чудовища. Они заблуждаются и вводятъ въ заблужденіе и васъ, точно такъ-же, какъ и священники, когда одни въ картинахъ, а другіе въ проповѣдяхъ рисуютъ чертей отвратительными уродами. Они должны бы были изображать ихъ въ видѣ прекрасныхъ господъ-дворянъ и ихъ дамъ, разодѣтыхъ, завитыхъ, напудренныхъ, благоухающихъ, блистающихъ золотомъ, серебромъ и драгоцѣнными камнями. Черти живописцевъ и священниковъ суть черти воображаемые, которыми пугаютъ дѣтей и незнающихъ, и тѣмъ, кто этихъ безобразныхъ чертей боится, они могутъ принести только воображаемый вредъ. Тѣ же черти и чертовки, тѣ кавалеры и дамы, о которыхъ я говорю, дѣйствительно, существуютъ, точно такъ же, какъ и зло, наносимое ими бѣднымъ народамъ, зло слишкомъ дѣйствительное и осязательное».

Вотъ языкъ террора. Вольтеръ не зналъ этого языка.

Вольтеръ находилъ, что государи и философы суть естественные союзники въ борьбѣ съ духовенствомъ. Мелье, напротивъ, говоритъ, что государи и духовенство другъ другу помогаютъ и другъ на друга опираются.

Затѣмъ, Вольтеръ и Мелье на мгновеніе сходятся на аргументѣ, поставленномъ еще Бейлемъ: оба они изъ факта множественности религій, изъ которыхъ каждая приписываетъ себѣ божественное происхожденіе, заключаютъ о ихъ земномъ, человѣческомъ началѣ. Вольтеръ весьма часто говорилъ, что догматическая сторона всѣхъ религій и культъ суть дѣло рукъ человѣческихъ, и только мораль, которая одна и та же у всѣхъ народовъ и во всѣ времена (въ этомъ онъ расходится съ Локкомъ), имѣетъ происхожденіе божественное. Но фернейскій патріархъ и деревенскій священникъ сходятся только для того, чтобы немедленно же разойтись въ противоположныя стороны.

Мелье былъ далекъ отъ деистическаго образа мыслей Вольтера и строго критикуетъ космологическія и телеологическія положенія деистовъ. Относительно такъ-называемаго космологическаго аргумента любопытны слѣдующія соображенія Мелье. Если, разсуждаетъ онъ, матерія получила движеніе извнѣ, то это нѣчто, давшее первый толчокъ, должно быть существомъ нематеріальнымъ, потому что, въ противномъ случаѣ, матерія значитъ получила движеніе отъ самой себя, а не извнѣ. Но нематеріальное не можетъ дать движеніе матеріи, ибо оно само не имѣетъ движенія: движеніе предполагаетъ протяженность, тѣлесность, точно такъ-же, какъ толчокъ—твердость, непроницаемость, а это все аттрибуты матеріи. Прежде всего, очевидно, должны бы были быть созданы время, пространство и матерія. Но время не можетъ быть создано, потому что существо, создавшее время, должно бы было ему предшествовать, а это предшествованіе всетаки требуетъ времени. Точно также не можетъ быть создано и пространство. Не менѣе рѣшительно отрицаетъ Мелье и телеологическій аргументъ и рѣзко расходится съ Вольтеромъ, не отождествляя, а противополагая другъ другу произведенія искусства и произведенія природы. Равнымъ образомъ, въ противоположность Вольтеру, онъ въ вопросѣ о добрѣ и злѣ утверждаетъ, что и ложка дегтю портитъ кадку меду. Онъ не старается скрыть зло, а напротивъ, сознательно выставляетъ его на показъ.

Въ психологіи Мелье оказывается отъявленнымъ и послѣдовательнымъ матеріалистомъ, безъ колебаній Вольтера, и потому рѣшительно отрицаетъ будущую жизнь. Духовенство, говоритъ онъ, «подъ предлогомъ введенія васъ на небо для достиженія тамъ вѣчнаго блаженства, мѣшаетъ вамъ пользоваться дѣйствительнымъ счастьемъ на землѣ». И, затѣмъ идетъ страстное воззваніе къ насильственному низверженію духовныхъ и свѣтскихъ властей.

Завѣщаніе Мелье оканчивается отрицаніемъ частной собственности и нерасторжимости брака.

Пора и намъ кончить.

Графъ Бисмаркъ *).

> On n'admettait plus, en fait de société et de gouvernement, ni religion, ni droit, ni science; on croyait à l'art. Et les masses y inclinaient; elles y ont, au fond, toujours incliné. Produit d'une haute ambition, mélange d'habilité et d'audace, voilà ce qu'est pour elles le génie politique. Insensiblement le pouvoir s'était fait artiste; encore un peu, il tombait dans la boheme.
>
> *Proudhon. Contradictions politiques.*

29-го іюля 1866 года, когда въ Берлинъ пришли первыя извѣстія о прусскихъ побѣдахъ, ликующіе берлинцы сдѣлали между прочимъ оваціи и передъ домомъ Бисмарка. Будущій канцлеръ Сѣверо-германскаго союза сказалъ народу изъ окна рѣчь, прерванную громовымъ ударомъ. «Небо салютуетъ!» вскричалъ Бисмаркъ, и этотъ не совсѣмъ скромный возгласъ покрылся рукоплесканіями и виватами толпы.

Неизвѣстно, происходило ли на небѣ какое-нибудь экстраординарное знаменіе въ этомъ родѣ 1-го апрѣля 1815 года. Небо, принимающее, какъ извѣстно, столь дѣятельное участіе во всемъ, что касается Пруссіи, во всякомъ случаѣ не исполнило своей обязанности, если не салютовало въ этотъ день; оно можетъ даже подлежать обвиненію въ партикуляризмѣ. Ибо въ этотъ день явилось на свѣтъ божій яйцо, изъ котораго вылупился цыпленокъ—Сѣверо-германскій союзъ, уже превращающійся нынѣ въ курицу—прусско-германскую имперію, каковая курица, какъ гласятъ всѣ предсказанія, окончательно свернетъ голову назойливому вѣстнику утра—галльскому пѣтуху. Въ этотъ день родился Отто-Эдуардъ-Леопольдъ фонъ-Бисмаркъ-Шёнгаузенъ.

Говорятъ, что его мать прочила его въ дипломаты еще въ ту пору, когда онъ лежалъ въ пеленкахъ. Но графъ Бисмаркъ недаромъ родился 1-го апрѣля, въ день, когда благочестивые христіане имѣютъ обычай надувать другъ друга. Онъ долго обманывалъ

*) 1871, февраль.

ожиданія матери, такъ что она даже не дожила до дней его величія и славы. Въ университетѣ будущій союзный канцлеръ велъ настоящую старо-нѣмецкую студенческую жизнь: занимался плохо, дрался на дуэляхъ, кутилъ. Ходитъ много разсказовъ о его дикихъ буршикозныхъ выходкахъ. Пройтись въ халатѣ и въ цилиндрической шляпѣ по улицѣ, натравить собаку на «филистера», подраться на дуэли, — на все это молодой фонъ-Бисмаркъ-Шёнгаузенъ былъ мастеръ. По выходѣ изъ университета онъ служилъ и въ статской службѣ, и въ военной, путешествовалъ, пробовалъ заниматься хозяйствомъ, но все это было въ сущности только продолженіемъ развеселой студентской жизни. Въ своемъ имѣніи графъ Бисмаркъ пилъ портеръ пополамъ съ шампанскимъ (знатоки говорятъ—штука убійственная), пугалъ спящихъ гостей выстрѣлами въ потолокъ, такъ что штукатурка валилась прямо въ лицо соннымъ собутыльникамъ, славился какъ ѣздокъ, пловецъ и охотникъ, и заслужилъ прозвище «бѣшенаго Бисмарка». Въ Ахенѣ съ нимъ случилась какая-то исторія, изъ которой онъ, по словамъ его холопствующаго біографа Георга Іезекіиля, выпутался только благодаря вмѣшательству одного друга, но послѣдствія которой сказывались еще долго. Служа въ уланахъ, Бисмаркъ забавлялся между прочимъ тѣмъ, что приходилъ курить на крыльцо бургомистра, который терпѣть не могъ табаку. Около этого же времени онъ получилъ первый знакъ отличія, и это была медаль за спасеніе погибающихъ,—онъ вытащилъ изъ воды своего деньщика. Вообще молодой Бисмаркъ представлялъ собою смѣсь того, что нѣмцы называютъ Krautjunker (сельскій дворянчикъ), безпардоннаго бурша и удалого гусарскаго корнета. Его холопствующій біографъ пытается объяснить этотъ бурный періодъ жизни своего героя тѣмъ, что его томила жажда дѣятельности, искали себѣ выхода его молодыя, но не дюжинныя силы. Однако, не отрицая въ графѣ Бисмаркѣ ни жажды дѣятельности, ни энергіи, нельзя не замѣтить, что исторія его молодости есть очень обыкновенная исторія. Нѣмецкая молодежь вообще ухлопываетъ свои золотые годы зря, на безшабашное житье, если только не увлекается какими-нибудь идиллически-романтическими мечтами. Лѣтъ подъ тридцать нѣмецъ обыкновенно рѣзко преобразуется. Индивидуальная практическая струнка вдругъ выскакиваетъ изъ-за временного тумана безшабашнаго житья или мечтательности, и забіяка-студентъ превращается въ смирнѣйшаго профессора, мечтатель—въ подрядчика, кутила-дворянчикъ становится важнымъ, солиднымъ бариномъ или домовитымъ помѣщикомъ, удалой корнетъ застегиваетъ душу на всѣ пуговицы и т. д. Если годы молодости иногда и отрыгаются, то въ общемъ практическій путь намѣченъ, и приспособившійся къ нему нѣмецъ идетъ себѣ своей прямой и узенькой дорогой ohne Hast, ohne Rast. Съ графомъ Бисмаркомъ произошло то же самое, съ тою разницею, что дорога ему выпала на долю пошире, большому кораблю—большое и плаванье. А впрочемъ насчетъ широты дороги графа Бисмарка могутъ быть различныя мнѣнія. Впослѣдствіи, вспоминая свою разухабистую молодость, Бисмаркъ писалъ женѣ (3-го іюля 1851 г.): «Какъ измѣнилось мое міросозерцаніе въ эти четырнадцать лѣтъ, какъ многое изъ того, что̀ мнѣ казалось тогда великимъ, я считаю теперь ничтожнымъ, какъ многое я уважаю изъ того, что тогда осмѣивалъ! И сколько разъ еще обмѣнится листва на нашемъ внутреннемъ я въ теченіе слѣдующихъ четырнадцати лѣтъ, если мы доживемъ до 1865 года. Я не понимаю, какъ человѣкъ, думающій о себѣ и въ то же время не знающій и не хотящій знать Бога, какъ онъ не умретъ со скуки. Еслибы мнѣ теперь пришлось повторить такую жизнь безъ Бога, безъ тебя, безъ дѣтей, я бы скинулъ эту жизнь, какъ грязную рубашку».

Бисмаркъ, наконецъ, перебѣсился. Онъ женился и выступилъ на политическое поприще почти единовременно. Изъ куколки-бурша развернулась бабочка-юнкеръ. 17-го мая 1847 года въ залѣ засѣданій соединеннаго ландтага раздался звонъ чистѣйшаго юнкерства 96-й пробы, когда на трибуну вошелъ депутатъ фонъ-Бисмаркъ-Шёнгаузенъ. Въ этотъ день онъ говорилъ свою первую политическую рѣчь.

Политическая программа юнкерской партіи есть программа строжайшаго консерватизма, общая всѣмъ послѣдовательнымъ консерваторамъ въ Европѣ. Недавно еще юнкеры ставили своимъ девизомъ изрѣченіе: «Mit der Regierung voll Muth, ohne die Regierung voll Wehmuth, wenn's sein muss, gegen die Regierung in Demuth». Но едва ли часто приходилось юнкерамъ доводить служеніе этому девизу до конца и оказываться plus royalistes que le roi. Самый блестящій и свободномыслящій изъ Гогенцоллерновъ, «просвѣщенный деспотъ» Фридрихъ II былъ далекъ отъ тѣхъ нивеллирующихъ наклонностей, какія всегда и вездѣ сопровождали извѣстный моментъ развитія абсолютизма. Консервативная партія всегда была въ Пруссіи партіей правительственной, и нѣтъ въ Европѣ обломковъ поземельнаго феодализма, болѣе прусскихъ юнкеровъ, вѣрующихъ въ обязанность неба салютовать успѣхамъ королевскаго дома. Тѣмъ не ме-

нѣе до 1866 года политическая программа прусскихъ юнкеровъ заключала въ себѣ любопытное противорѣчіе. Рядомъ съ благоговѣніемъ къ прусскому королевскому дому, юнкеры глубоко сочувствовали Австріи, не смотря на стародавнюю борьбу Пруссіи и Австріи за первенство въ Германіи. На Пруссію возлагали свои надежды всѣ нѣмецкіе либералы разныхъ оттѣнковъ, надежды, аккуратнѣйшимъ образомъ разбиваемыя Гогенцоллернами. Католическая же Австрія, представительница средневѣковой императорской власти, которой въ силу ея международнаго положенія и преданій приходилось чаще, чѣмъ Пруссіи давить свободу и отстаивать дѣло порядка, влекла къ себѣ всѣ симпатіи прусскихъ юнкеровъ. Теперь это все измѣнилось. Еще въ 1852 году австрійскій министръ народнаго просвѣщенія предписалъ очистить, для школьнаго употребленія, древнихъ классиковъ отъ республиканскихъ выраженій, «дабы юношество не заражалось возмутительными идеями». А въ 1868 году прогрессистъ Вирховъ рекомендовалъ въ палатѣ депутатовъ прусскому правительству руководиться австрійскими порядками, какъ образцомъ либерализма. Графъ Бисмаркъ, конечно, отклонилъ эту рекомендацію и заявилъ, что новый австрійскій либерализмъ нравится только потому, что онъ молодъ—какъ молодая дама нравится больше старой, пояснилъ шутникъ канцлеръ—а что въ сущности Пруссія гораздо либеральнѣе. Наконецъ, въ нынѣшнемъ году въ австрійскомъ рейхсратѣ нѣкоторые ораторы доказывали, что при очевидной выгодѣ дружественныхъ отношеній къ возобновленной Германской имперіи, слишкомъ тѣсное сближеніе съ нею Австро-Венгріи нежелательно, ибо сближеніе это можетъ дурно отозваться на внутреннихъ австрійскихъ дѣлахъ, именно повести къ реакціи. Біографъ графа Бисмарка, Георгъ Іезекіиль, мнѣнія котораго интересны потому, что канцлеръ оказалъ ему большое довѣріе, передавъ ему свою политическую и интимную переписку, такъ характеризуетъ теперешнее настроеніе юнкерской партіи: «Враги Пруссіи суть либерализмъ, демократизмъ, враждебная зависть Австріи, зависть другихъ государствъ, парламентаризмъ, партикуляризмъ». Но это программа уже исправленная и дополненная графомъ Бисмаркомъ. Въ сороковыхъ годахъ, когда Бисмаркъ выступилъ на политическое поприще, юнкеры видѣли именно въ союзѣ Австріи съ Пруссіей оружіе противъ демократизма, либерализма и партикуляризма. Мало того, они предназначали въ этомъ крестовомъ походѣ первое, самое видное мѣсто Австріи, а Пруссія должна была стоять возлѣ нея въ положеніи меньшаго брата. Тѣмъ не менѣе, эти австрійскія симпатіи совершенно мирно уживались въ головахъ юнкеровъ съ вѣрою въ прусскій абсолютизмъ и съ любовью къ нему. Что касается партикуляризма, то онъ также понимался тогда не такъ, какъ теперь, и особеннаго негодованія противъ него юнкеры не могли питать уже вслѣдствіе своего австро-прусскаго дуализма.

Обѣ характеристическія особенности юнкерской партіи какъ нельзя болѣе ярко и отчетливо обрисовались въ рѣчахъ только-что выступившаго на политическое поприще, перебѣсившагося Бисмарка. Свистъ періодическаго революціоннаго самума уже слышался изъ Франціи. Фридрихъ-Вильгельмъ IV задумалъ исполнить обѣщанія, данныя народу въ минуту опасности его отцомъ. Это совершилось, однако, въ очень скромной формѣ извѣстныхъ февральскихъ патентовъ. Либераламъ казалось, что этого мало, они заявили свое неудовольствіе; закоренѣлымъ юнкерамъ казалось, что дано слишкомъ много; умѣренные находили, что дано какъ разъ въ пору. Бисмаркъ, запинаясь и лазая чуть не за каждымъ словомъ въ карманъ, тѣмъ не менѣе смѣло и рѣшительно объявилъ либеральному большинству, что власть прусскихъ королей получена ими отъ Бога, а не отъ народа, что никто не имѣетъ права не только требовать, а и просить чего-либо у прусскаго короля. Онъ просилъ не вырывать «изъ почвы права цвѣтокъ довѣрія къ королю и не бросать его какъ, сорную траву». Въ этомъ родѣ были всѣ его рѣчи и по другимъ предметамъ; Бисмаркъ былъ замѣченъ. Не мало было людей, раздѣлявшихъ его образъ мыслей, но все это былъ не такой народъ, чтобы постоять за свои идеи. Бисмаркъ же, хотя и не обнаружилъ особенныхъ талантовъ—онъ былъ, очевидно, далекъ отъ предчувствія послѣдующихъ грозныхъ событій и, слѣдовательно, не обнаружилъ особенной политической проницательности, а какъ ораторъ онъ и до сихъ поръ плохъ—но энергично стоялъ за свои убѣжденія. Онъ смѣло противопоставилъ свои неуклюжія рѣчи блестящимъ риторамъ либеральнаго большинства. Онъ былъ не изъ тѣхъ ораторовъ, которые увлекаютъ цѣлую аудиторію своими блестящими импровизаціями, но онъ производилъ впечатлѣніе. Съ холодною дерзостью замѣчалъ онъ, когда рѣчи его были покрываемы шиканьемъ, что онъ не можетъ видѣть возраженій въ «нечленораздѣльныхъ звукахъ». А между тѣмъ самъ онъ почти никогда не дѣлалъ возраженій, хотя объяснялся всегда членораздѣльными звуками. Онъ просто ставилъ одинъ за другимъ догматы юнкерскаго политическаго катехизиса, безъ всякихъ прикрасъ. Подобно всѣмъ рѣ-

шительнымъ и вмѣстѣ нетерпѣливымъ людямъ, онъ не упускалъ случая выразить презрѣніе къ своимъ противникамъ и не только не отстранялъ отъ себя и отъ своей партіи разныхъ насмѣшливыхъ прозвищъ, но находилъ особенное удовольствіе въ поддразниваніи ими противниковъ. Когда его уличали въ предразсудкахъ, въ отсталости, въ средневѣковыхъ взглядахъ, онъ не пытался опровергать обвинителей, не пробовалъ доказывать современность своихъ убѣжденій. Онъ съ задоромъ говорилъ: да, я съ молокомъ матери всосалъ этотъ мрачный духъ средневѣковья; да, я юнкеръ, и горжусь этимъ. Вся его высокая, плечистая фигура дышала самоувѣренностью и онъ никогда не сходилъ до опроверженій, разбора мнѣній противниковъ, доказательствъ и т. п. Онъ только говорилъ: я вѣрю въ то-то и порицаю то-то. На эту фигуру нельзя было не обратить вниманія. Но либералы, конечно, и не подозрѣвали, чѣмъ будетъ впослѣдствіи этотъ смѣлый юнкеръ, и только смѣялись надъ нимъ. Однако, король, столкнувшись съ нимъ въ томъ же году въ Венеціи, пригласилъ его къ себѣ, и они бесѣдовали о прусскихъ и нѣмецкихъ дѣлахъ. Юнкеры рукоплескали своему собрату.

Разразилась революція и быстро поднялась до самыхъ вершинъ государственнаго тѣла Пруссіи. Юнкерамъ пришлось припомнить послѣднюю часть своего девиза: wenn's sein muss, gegen die Regierung mit Demuth. Бисмаркъ открыто выразилъ свое сожалѣніе, что «сама корона бросила комъ земли на гробъ прошедшаго». Въ 1848 году онъ не принималъ участія въ дѣлахъ. Онъ ограничился только тѣмъ, что тотчасъ послѣ мартовскихъ дней написалъ королю сочувственное письмо. Въ письмѣ не было никакихъ совѣтовъ или предложеній, это было просто изліяніе болѣющей юнкерской души. И король оцѣнилъ это. Въ 1849 г., въ качествѣ депутата, Бисмаркъ съ прежнею почти наивною смѣлостью и послѣдовательностью продолжалъ развивать юнкерскую програму и хлопотать о томъ, чтобы корона воскресила прошедшее. Когда франкфуртскій парламентъ поднесъ Фридриху-Вильгельму IV императорскую корону, Бисмаркъ энергично возсталъ противъ помѣси этой имперіи съ революціей, власти «Божіею милостью» съ властью «избраніемъ народнымъ». Онъ находилъ, что «хотя франкфуртская корона и очень блестяща, но въ ея золотѣ должна растопиться корона прусская». Онъ преслѣдовалъ революціонное трехцвѣтное знамя, принятое франкфуртскимъ парламентомъ и самимъ королемъ. Планы Радовица, мечтавшаго основать единство Германіи на гегеmоніи Пруссіи и съ исключеніемъ Австріи изъ Союза, встрѣтили въ Бисмаркѣ, конечно, не сильнаго, но энергическаго противника. Вотъ отрывокъ изъ рѣчи, сказанной имъ 6-го сентября и прекрасно характеризующей его тогдашнее политическое настроеніе: «Я того мнѣнія, что движущіе принципы 1848 года были скорѣе соціальнаго, чѣмъ національнаго характера. Національное движеніе ограничилось бы небольшимъ кругомъ выдающихся личностей, если бы почва не задрожала подъ нашими ногами отъ вторженія соціальнаго элемента; если бы не разыгрались страсти и зависть бѣднаго къ богатому; если-бы многолѣтнее и покровительствуемое сверху свободомысліе не расшатало въ сердцахъ людей нравственныя основы. Я не думаю, чтобы можно было помочь бѣдѣ сдѣлками съ демократизмомъ или проектами нѣмецкаго единства. Болѣзнь лежитъ глубже. Я утверждаю, что прусскій народъ не чувствуетъ потребности національнаго обновленія по франкфуртскимъ теоріямъ. Здѣсь часто говорилось о политикѣ Фридриха-Великаго; она отождествлялась съ политикой проекта слія-нія (т. е. проекта Радовица). Я скорѣе думаю, что Фридрихъ оперся бы на выдающуюся черту прусской національности. на военный элементъ—и не безъ успѣха. Онъ зналъ бы, что и нынѣ, какъ во дни нашихъ отцовъ, звукъ трубы, призывающей народъ подъ знамена короля, не утратилъ своего обаянія, шло ли бы дѣло о защитѣ нашихъ границъ, или о славѣ и величіи Пруссіи. Онъ могъ бы сблизиться съ старымъ боевымъ товарищемъ Австріей и взять на себя блестящую роль, которую сыгралъ русскій императоръ—раздавить въ союзѣ съ Австріей революцію. Или же онъ могъ бы съ такимъ же правомъ, съ какимъ онъ завоевалъ Силезію, отклонивъ франкфуртскую императорскую корону, съ мечомъ въ рукѣ рѣшить судьбу Германіи. Такова была бы національная прусская политика. Она указала бы Пруссіи и Австріи надлежащее мѣсто для поднятія Германіи на степень соотвѣтствующаго ей въ Европѣ могущества. Что же касается проекта объединенія, то онъ уничтожаетъ Пруссію». По поводу дебатовъ о правѣ представителей народа назначать налоги, Бисмаркъ говорилъ: «Это право перенесетъ центръ тяжести власти на палаты или на парламентское большинство. Конечно, правительство можетъ распустить палату и назначить новые выборы, но и новая палата можетъ пойти по старому пути. Такимъ образомъ столкновеніе окажется безъисходнымъ, и прусское государственное право будетъ потрясено, можетъ быть, сильнѣе, чѣмъ мартовской революціей!!» Любопытно это предчувствіе знаменитаго столкновенія прус-

скаго правительства съ палатой 1862—1866 годовъ. Но это едва ли не единственный примѣръ проницательности Бисмарка.

Въ эрфуртскомъ парламентѣ Бисмаркъ тоже не уступалъ ни йоты изъ юнкерской программы. Онъ рукоплескалъ паденію Радовица, паденію министерства Мантейфеля и не видѣлъ никакого униженія для Пруссіи въ ольмюцскомъ договорѣ. Австрія не измѣнила себѣ и не обманула надеждъ прусскихъ юнкеровъ. Засуетившійся Фридрихъ-Вильгельмъ IV протянулъ-было руку мятежнымъ гессенцамъ, изгнавшимъ своего курфюрста и Гассенфлуга, и голштинцамъ, возставшимъ противъ Даніи. Но въ Ольмюцѣ Шварценбергъ обратилъ Пруссію на путь порядка и законности,—и Бисмаркъ ликовалъ. Еще по поводу требованія амнистіи Бисмаркъ говорилъ между прочимъ: «Принципіальный споръ, расшатавшій Европу до основанія, не допускаетъ никакихъ сдѣлокъ. Принципы покоятся на противоположныхъ и взаимно исключающихся основаніяхъ. Одинъ видитъ источникъ права, повидимому, въ народной волѣ, а въ сущности въ баррикадахъ; другой исходитъ изъ Богомъ установленной власти, изъ власти Божіей милостью, и органически связанъ съ существующимъ правовымъ порядкомъ. Съ точки зрѣнія перваго принципа всякаго рода агитаторы суть герои, бойцы за истину, свободу и право, съ точки зрѣнія второго они—мятежники. Парламентскіе дебаты здѣсь безсильны. Рано или поздно Богъ брани рѣшитъ споръ желѣзомъ!»

Такъ-то не терпѣлось Бисмарку въ рамкахъ теоретизированія и аргументированія; такъ то рвался онъ на эту чисто практическую, незамысловатую «почву желѣза и крови», на которой онъ впослѣдствіи стяжалъ свои лавры. Онъ рукоплескалъ реакціи, наступившей за 1848 годомъ, но самъ онъ не могъ принять въ ней никакого дѣйствительнаго участія и долженъ былъ ограничиваться парламентскими дебатами о такихъ двусмысленныхъ вещахъ, какъ право и свобода. Онъ рвался изъ этихъ теоретическихъ путъ на просторъ практики, и этими порываніями и оканчивается второй періодъ его жизни. Но листва на его внутреннемъ *я* должна была обмѣниться еще разъ.

Въ 1852 году Бисмаркъ былъ назначенъ представителемъ Пруссіи въ возобновленный франкфуртскій сеймъ. Затѣмъ онъ былъ посланникомъ въ Петербургѣ и въ Парижѣ. Уѣзжая изъ Парижа, онъ сказалъ полушутя, полусерьезно одной русской дамѣ, что скоро онъ будетъ Кавуромъ Германіи. Въ 1862 году онъ сдѣланъ прусскимъ министромъ. Въ то время нѣмецкіе либералы все еще возлагали свои надежды на Пруссію. Бисмаркъ засталъ двѣ партіи. Девизомъ одной было: durch Einheit zur Freiheit, другой: durch Freiheit zur Einheit. Бисмаркъ принесъ свой собственный девизъ: durch Eisen und Blut, объясняя, что этимъ именно путемъ будутъ получены и Freiheit und Einheit, и даже германская имперія. Еще въ 1859 году Бисмаркъ писалъ изъ Петербурга: «Положеніе Пруссіи въ союзѣ ненормально, и рано или поздно намъ придется лѣчить этотъ недугъ ferro et igni». Только-что вступивъ въ министерство, онъ подтвердилъ, что «великіе вопросы времени рѣшаются не рѣчами и не голосованіемъ, —это ошибка 1848 и 1849 годовъ,—а желѣзомъ и кровью». На этомъ пунктѣ Бисмаркъ остался вѣренъ своимъ взглядамъ 1847 и 1849 годовъ. Но какая разница въ остальныхъ частяхъ программы! Дикій вульгарный юнкеръ исчезъ, листва на внутреннемъ *я* обмѣнилась. Человѣкъ, въ 1850 году завидовавшій роли императора Николая въ подавленіи венгерскаго возстанія, въ 1861 находитъ уже, что «система солидарности консервативныхъ интересовъ всѣхъ странъ есть опасная фикція, донъ-кихотство». Человѣкъ, возмущавшійся въ принципѣ противъ всякихъ, самыхъ ничтожныхъ конституціонныхъ попытокъ, къ 1861 году уразумѣлъ, что «народнаго представительства бояться нечего», что «можно создать совершенно консервативное народное представительство и всетаки заслужить благодарность даже у либераловъ». Человѣкъ, осуждавшій въ 1849 году войну съ Даніей изъ-за голштинскихъ мятежниковъ, «какъ самое несправедливое, пустое и вредное предпріятіе въ видахъ поддержанія революціи»,—протягиваетъ руку не только революціонной Италіи, которая всетаки прикрыта королевской мантіей, а даже возстанію въ венгерскихъ и славянскихъ земляхъ «стараго боевого товарища»—Австріи.

Во Франкфуртѣ съ Бисмаркомъ произошло нѣчто очень важное: онъ растерялъ свои политическіе принципы, у него ихъ теперь нѣтъ. Во Франкфуртъ онъ поѣхалъ такимъ же простоватымъ юнкеромъ, какимъ былъ въ 1847 году, съ боязнью революціи, съ ненавистью къ парламентаризму и глубочайшимъ уваженіемъ къ Австріи и системѣ Священнаго Союза. Онъ не замедлилъ съѣздить къ творцу этой системы Меттерниху въ Іоганисбергъ, дабы почерпнуть изъ этого развалившагося кладезя мудрости. Однако, чуть ли не это именно путешествіе въ Мекку консерватизма сильно повліяло на переворотъ въ воззрѣніяхъ Бисмарка. Конечно тутъ могли дѣйствовать и второстепенныя причины въ родѣ личныхъ неудовольствій съ австрійскимъ уполномочен-

нымъ на сеймѣ и т. п. Но во всякомъ случаѣ должно думать, что видъ Магометова гроба въ Меккѣ, видъ развалины Меттерниха въ Іоганисбергѣ немало повліялъ на выработку презрѣнія къ принципамъ и того чисто практическаго, безъ всякой теоретической подкладки, направленія, которое приняла съ этихъ поръ дѣятельность Бисмарка. Изъ Франкфурта онъ уѣхалъ облегченнымъ, онъ былъ свободенъ, какъ птица. Новыми политическими принципами онъ обзавестись не могъ, потому что онъ всетаки оставался юнкеромъ по наклонностямъ, по складу ума и характера, а старые оказались никуда негодными: они умирали заживо въ замкѣ Меттерниха. Другой толчокъ въ томъ же направленіи, хотя и съ противоположной стороны, Бисмаркъ долженъ былъ получить въ Парижѣ. Тамъ онъ окончательно убѣдился, что время теоретиковъ-политиковъ въ родѣ Меттерниха прошло и что на смѣну имъ идутъ политики-практики, болѣе смѣлые и менѣе брезгливые.

Чтобы читатель видѣлъ, въ какомъ смыслѣ мы называемъ Меттерниховъ теоретиками, а Наполеоновъ и Бисмарковъ практиками, мы возьмемъ нѣсколько примѣровъ.

Прусско-германская имперія, при образованіи которой мы присутствуемъ, не есть что-либо новое, какъ идея. Уже при великомъ курфюрстѣ обнаружилась борьба Пруссіи и Австріи, а Фридрихъ II прямо мѣтилъ на императорскую корону, но не успѣлъ. Въ началѣ нынѣшняго вѣка надъ Европою пронесся грозный ураганъ революціи, а затѣмъ первой имперіи. Германія претерпѣла многія измѣненія и въ географическомъ, и въ политическомъ отношеніи. При этомъ случаѣ на поверхность общественнаго сознанія всплыла и идея единства Германіи. Общественное мнѣніе понуждало прусскаго короля Фридриха-Вильгельма III къ дѣйствію, понуждалъ его и самъ владыка судебъ Европы, Наполеонъ. Еще будучи первымъ консуломъ, онъ далъ прусскому королю знать, что не будетъ препятствовать облеченію бранденбургскаго дома въ императорскую порфиру. Фридрихъ-Вильгельмъ разсыпался въ любезностяхъ передъ властелиномъ Франціи, но заявилъ, что онъ «доволенъ своимъ жребіемъ и желаетъ только сохранить положеніе, предоставленное ему Провидѣніемъ». Однако, въ то же время онъ, повидимому, не оставался глухимъ къ проекту тогдашняго руководителя прусской политики Штейна подѣлить Германію между Австріей и Пруссіей. Между тѣмъ образовался Рейнскій союзъ подъ протекторатомъ Наполеона, исчезла древняя германская имперія, Францъ II сталъ императоромъ австрійскимъ. Наполеонъ возобновилъ свои искушенія. Въ іюлѣ 1806 года онъ опять предложилъ Фридриху-Вильгельму III на выборъ либо соединить въ имперію всѣ еще числившіяся за Германіей земли, либо сдѣлаться, по крайней мѣрѣ, сѣверо-германскимъ императоромъ. Со стороны короля послѣдовали прежнія любезности и прежній отказъ. А между тѣмъ предложенія Наполеона по своей сущности были вовсе не противны Фридриху-Вильгельму. Отказываясь отъ нихъ, онъ въ то же время велъ переговоры съ курфюрстами саксонскимъ и гессенскимъ именно о своемъ сѣверо-германскомъ императорствѣ. Переговоры эти, однако, ничѣмъ не кончились, потому что Пруссія была разгромлена Наполеономъ. Наступилъ 1813 годъ. Короля понуждали смотрѣть на мелкихъ германскихъ государей, пристроившихся подъ знаменами Наполеона, какъ на враговъ отечества и, не церемонясь съ ними, дать, наконецъ, Германіи единство цѣною нѣсколькихъ коронованныхъ головъ. Но проникнутый идеями Меттерниха король не посмѣлъ прикоснуться къ германскимъ коронамъ. Либералы возлагали большія надежды на его преемника, Фридриха-Вильгельма IV. Они ждали отъ него осуществленія единства Германіи и дарованія той свободы, которою надулъ ихъ Фридрихъ-Вильгельмъ III. Надежды либераловъ начали, повидимому, сбываться, благодаря если не личной инціативѣ короля, то, по крайней мѣрѣ, революціи. Король проѣхалъ по Берлину съ трехцвѣтнымъ знаменемъ, за нимъ несли императорскую корону, онъ обѣщалъ быть «щитомъ единства и свободы Германіи», обѣщалъ водрузить знамя свободы у себя, въ Пруссіи и въ остальной Германіи. Но когда нѣсколько мѣсяцевъ спустя депутація отъ франкфуртскаго парламента поднесла королю императорскую корону, — онъ оттолкнулъ ее. Онъ заявилъ, что Гогенцоллернъ можетъ принять и носить только корону, отмѣченную перстомъ божіимъ, а не скованную революціонерами, что онъ не хочетъ уподобиться «баррикадному королю» Луи-Филиппу. Онъ объяснилъ, наконецъ, что gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Опустились руки у нѣмецкихъ либераловъ, и стали они опять ждать единства и свободы.

Вотъ краткая исторія прецедентовъ прусско-германской имперіи. Повидимому, это исторія сомнѣній, колебаній и шатаній; но замѣтьте, какая твердость политическихъ и соціальныхъ принциповъ проходитъ красною нитью чрезъ всѣ эти шатанія. Короли прусскіе суть представители божественнаго права и ни на минуту не упускаютъ его изъ виду. Если имъ и случается изъ общечеловѣческой

слабости измѣнить временно своимъ принципамъ, если обстоятельства и загоняютъ ихъ въ такія положенія, что имъ приходится фигурировать во главѣ революціонной процессіи, то при первой возможности они отрясаютъ прахъ отъ ногъ своихъ и даже не пользуются выгодами своего положенія. Такъ было съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ IV. Конечно, на его отказъ отъ франкфуртской короны немало вліялъ страхъ Россіи и Австріи, но вѣрно и то, что онъ не принялъ короны потому, что не хотѣлъ брататься съ революціей. То же самое видимъ мы и во Фридрихѣ-Вильгельмѣ III. Онъ не прочь стать императоромъ, но хочетъ достигнуть этого законными по его убѣжденію путями; онъ согласенъ получить корону изъ рукъ законныхъ германскихъ государей, но отстраняетъ руку, протянутую ему исчадіемъ революціи и врагомъ легитимизма, Наполеономъ. Точно также не смѣетъ онъ поднять руки и на святыя, по его мнѣнію, короны нѣмецкихъ князьковъ, равныхъ ему по царственному достоинству, запечатлѣнному перстомъ божіимъ.

Сравните съ этою чистоплотностью (чистоплотностью, конечно, одностороннею, неисключающею нечистоплотности въ другія отношеніяхъ), съ этимъ педантизмомъ, со всѣмъ этимъ «zierlich-manierlich» любое изъ дѣяній графа Бисмарка. Въ Іоганисбергѣ и въ Парижѣ Бисмаркъ двустороннимъ наблюденіемъ убѣдился, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чѣмъ привести къ побѣдѣ колесницу Пруссіи, отягченную принципами. Онъ сбросилъ балластъ, и корабль прусской монархіи поплылъ гораздо быстрѣе. Въ прусской нотѣ къ итальянскому кабинету, относящейся къ 1866 году, но сохранявшейся въ тайнѣ до 1868, читаемъ между прочимъ: «Прусское правительство въ послѣднее время тщательно изучало венгерскій вопросъ. Оно убѣдилось, что Венгрія, поддерживаемая одновременно Италіей и Пруссіей, можетъ съ своей стороны служить имъ сборнымъ и стратегическимъ пунктомъ опоры. Къ восточному берегу Адріатическаго моря можетъ быть выслана сильная экспедиція, которая ничѣмъ не ослабитъ главной арміи, ибо ее можно составить преимущественно изъ волонтеровъ и отдать подъ начальство генерала Гарибальди. По всѣмъ имѣющимся у прусскаго правительства свѣдѣніямъ экспедиція эта встрѣтитъ у славянъ и венгровъ самый лучшій пріемъ; она прикрыла бы флангъ арміи, идущей на Вѣну, и задержала бы войска, расположенныя въ венгерскихъ земляхъ. Кроатскіе и венгерскіе полки несомнѣнно откажутся драться съ войскомъ, принятымъ въ ихъ собственныхъ земляхъ въ качествѣ друзей. Съ сѣвера и съ границы прусской Силезіи могутъ быть направлены въ Венгрію летучіе отряды, составленные по возможности изъ національныхъ элементовъ, которые соединятся съ итальянскими войсками и съ возставшимъ мѣстнымъ населеніемъ». Кости покойныхъ прусскихъ королей должны были бы перевернуться въ гробахъ, еслибы они могли внимать этому проекту, въ неисполненіи котораго Пруссія нисколько не виновата. Какъ! Прусская монархія вступаетъ въ союзъ съ революціей! Королевско-прусскіе генералы отъ инфантеріи, кавалеріи и артиллеріи пойдутъ рука объ руку съ генераломъ отъ революціи Гарибальди, которому нынѣ подносятъ шпагу съ эфесомъ, изображающимъ республику, поражающимъ символы монархизма! Есть отъ чего затрепетать тѣнямъ прусскихъ королей. Только одна изъ нихъ—тѣнь вольнодумца Фридриха II, друга Вольтера и Ла-Меттри, отнеслась бы сочувственно, до извѣстной степени, къ приведенному проекту. Есть извѣстія, что онъ и самъ задумывалъ поднять возстаніе въ Венгріи. И вообще теперешняя политика Пруссіи представляетъ значительное сходство съ политикой Фридриха даже въ мелочахъ. Такъ напримѣръ, идея военныхъ союзовъ съ южно-германскими государствами взята цѣликомъ у Фридриха.

Нѣмецкіе либералы, столько разъ обманутые и до Бисмарка и Бисмаркомъ, по необходимости ищутъ какого-нибудь утѣшенія и, разумѣется, находятъ, потому что на ловца и звѣрь бѣжитъ. Утѣшенія они теперь ищутъ въ самой личности Бисмарка. Какъ ни какъ, разсуждаютъ они, единство онъ намъ дастъ. А единство Германіи есть для нѣмецкихъ либераловъ нѣчто до такой степени цѣнное, что за него они готовы простить все. Далѣе, нѣмецкіе либералы указываютъ на перемѣны, совершающіяся въ самомъ Бисмаркѣ. Смотрите, говорятъ они, это уже не юнкеръ, это революціонеръ; онъ отбросилъ рутину, руководившую старыхъ сторонниковъ идеи «нѣмецкаго призванія Пруссіи», онъ не сторонится отъ либерализма и конституціонализма и не робѣетъ; если и теперь онъ не гнушается стать рядомъ съ Гарибальди, то подождите еще, что будетъ дальше. Такого рода надеждами проникнутъ, напримѣръ, довольно впрочемъ безпристрастный біографическій этюдъ о Бисмаркѣ нѣмецкаго либерала Бамбергера. Впрочемъ, этюдъ этотъ написанъ еще въ 1868 году, а съ тѣхъ поръ утекло столько всякой жидкости, воды, крови, чернилъ, что Бамбергеръ можетъ быть уже и разстался съ своимъ оптимизмомъ. Но Бамбергеръ могъ бы уже и въ 1868 году принять въ соображеніе слѣдующее обстоятель-

ство. Приведенный проектъ союза Пруссіи съ Гарибальди и венгерскою и славянскою революціею относится къ іюню 1866 года. А за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ, именно въ январѣ того же года, Бисмаркъ писалъ къ прусскому посланнику въ Вѣнѣ, Вертеру, по поводу голштинскихъ дѣлъ: «въ Гаштейнѣ и Зальцбургѣ я былъ склоненъ думать, что императоръ австрійскій и его министры согласились съ нами въ необходимости бороться противъ общаго врага обѣихъ державъ—революціи. Не больно ли нашему милостивому королю видѣть, что революціонныя тенденціи, разрушительныя для каждаго трона, поощряются австрійскимъ двуглавымъ орломъ? Не должны ли подобныя впечатлѣнія ослабить то убѣжденіе, которое его величество питаетъ такъ давно и такъ ревностно о необходимомъ согласіи обѣихъ державъ?» Очевидно, что графъ Бисмаркъ не колеблется въ выборѣ средствъ, идутъ ли они отъ чорта, или отъ Бога.

Вглядываясь въ общіе контуры нравственной и умственной физіономіи графа Бисмарка, невольно поражаешься прежде всего удивительною цѣльностью психическаго типа, полнымъ отсутствіемъ разлада между мыслью и чувствомъ, между желаніемъ и исполненіемъ. Томительный процессъ сомнѣнія въ своихъ догматахъ, недовѣрія къ своимъ силамъ, колебанія въ выборѣ средствъ, раздумья, навѣрно, не провелъ ни одной лишней морщины на майорскомъ лбу Бисмарка и не посеребрилъ ни одного волоса на его головѣ. Чѣмъ-то первобытнымъ несетъ отъ его силы. Каждый шагъ его запечатлѣнъ рѣшительностью, онъ никогда не развязываетъ узловъ, но никогда не задумается разрубить любой. Разъ въ 1850 году онъ сидѣлъ въ портерной. Кто-то изъ посѣтителей дурно отозвался объ одномъ изъ членовъ королевскаго дома. Бисмаркъ безъ всякаго нервнаго взрыва, спокойно объявилъ дерзкому пивопійцѣ, что если онъ не уйдетъ изъ портерной, пока онъ, Бисмаркъ, допьетъ свою кружку, то эта кружка будетъ разбита объ его лобъ. Пивопійца не ушелъ, кружка была разбита объ его лобъ, и Бисмаркъ спокойно спросилъ кельнера, сколько онъ долженъ заплатить за это «битіе стеклянной посуды». Таковъ Бисмаркъ во всемъ. Онъ никогда не разсуждаетъ, никогда не доказываетъ, никогда не сомнѣвается, никогда не колеблется. Онъ просто беретъ на себя отвѣтственность. Въ началѣ прошлаго года въ прусской палатѣ депутатовъ шла рѣчь объ отмѣнѣ или сохраненіи смертной казни. Графъ Бисмаркъ говорилъ, между прочимъ: «одна изъ болѣзней нашего времени состоитъ въ боязни взять на себя отвѣтственность въ дѣлѣ смертной казни. Присяжные боятся произнести такой вердиктъ, который по закону ведетъ за собой смерть преступника. Эта боязнь отвѣтственности вообще есть болѣзнь, пронизывающая все наше время. Я понимаю, что сословіе судей старается сложить съ себя эту отвѣтственность уничтоженіемъ самой смертной казни. Я понимаю, что имъ это желательно, особенно въ наше время, когда всякій расположенъ къ критикѣ. Но я не могу назвать эту черту нашего почтеннаго и благороднаго судейскаго сословія иначе, какъ слабостью... какъ болѣзненною сантиментальностью нашего времени». Критика и боязнь отвѣтственности,—вотъ двѣ вещи, совершенно незнакомыя графу Бисмарку. Онъ никогда не хворалъ этими болѣзнями вѣка. Бисмаркъ представляетъ до такой степени цѣльный типъ, всѣ политическія черты его умственной и нравственной физіономіи, всѣ факторы его психическаго существованія до такой степени связаны между собой, что ихъ очень трудно отдѣлить другъ отъ друга и разобрать въ этой отдѣльности. Въ этомъ отношеніи Ренанъ правъ, утверждая, что Бисмаркъ трудно поддается анализу, т. е. разложенію на простые элементы. Еслибы можно было изображать психическую сторону человѣка графически, то большинство цивилизованныхъ людей пришлось бы выразить кривыми, болѣе или менѣе неправильными и незамкнутыми. Но найдется нѣсколько и такихъ людей, духъ которыхъ выразится правильнымъ кругомъ и во всякомъ случаѣ замкнутою кривой, въ которой нѣтъ возможности указать начало и конецъ. Такіе круглые люди приносятъ собой въ міръ добро или зло, но всегда являются нѣкотораго рода лавинами, съ ужасающею силою давящими на своемъ пути всѣхъ и все. Ихъ отношеніе ко всему, лежащему за предѣлами ихъ собственной замкнутой линіи, трудно опредѣлимо. Отношеніе это во всякомъ случаѣ отрицательно, но это не презрѣніе, потому что презрѣніе предполагаетъ пониманіе, а круглые люди не понимаютъ ничего, лежащаго внѣ ихъ круга; это и не ненависть и не боязнь, потому что круглые люди ничего не боятся. Они *топчутъ* все, неогороженное ихъ собственнымъ кругомъ,—иначе нельзя охарактеризовать ихъ дѣятельность.

Таковы многіе фанатики, таковъ и Бисмаркъ, хотя его нельзя назвать вполнѣ фанатикомъ Почему графъ Бисмаркъ топчетъ критику, боязнь отвѣтственности, всякіе принципы? На этотъ вопросъ хоромъ отвѣчаютъ всѣ фибры Бисмарка, но именно потому, что онѣ отвѣчаютъ хоромъ, ихъ трудно выслушать въ отдѣльности.

Графъ Бисмаркъ человѣкъ ощущеній. Ему нужна дѣятельность, дающая сильныя ощущенія. Онъ страстный охотникъ, и письма его наполнены разсказами о томъ, сколько и какой именно дичи онъ застрѣлилъ; въ Петербургѣ онъ занимался прирученіемъ медвѣдей. Онъ не прочь и отъ болѣе мягкихъ ощущеній низшаго сорта,—отъ хорошаго обѣда, отъ бутылки добраго вина, отъ остроумной бесѣды. Но прежде всего ему нужна борьба. И этого человѣка, занимающагося прирученіемъ медвѣдей и разбивающаго пивныя кружки объ лобъ своихъ противниковъ, не проведешь обстановкой и формами дѣятельности. Какъ только въ политикѣ наступаетъ затишье, и ему приходится довольствоваться «режимомъ парадныхъ выходовъ, трюфелей и орденовъ», какъ онъ однажды выразился, онъ уже тяготится своимъ положеніемъ, онъ хочетъ бросить дѣла, его тянетъ въ его помѣстья, in's Grüne, на охоту. Но въ бурю онъ счастливъ. Его подмываетъ самый процессъ борьбы, и не мало можно найти въ его интимной перепискѣ мѣстъ, гдѣ онъ по поводу нависающей надъ Европою грозы потираетъ себѣ руки. Напримѣръ, въ 1858 г. онъ писалъ: «Бамбергскій дипломатъ (Бейстъ?) толкуетъ о континентальномъ союзѣ противъ прусской агитаціи, о союзѣ трехъ императоровъ противъ насъ и о новомъ Ольмюцѣ. Словомъ, въ политическомъ мірѣ становится веселѣе». Когда жажда дѣятельности достигаетъ такого предѣла, критика и боязнь отвѣтственности дожны остаться за штатомъ. Это тормазы, и графъ Бисмаркъ топчетъ ихъ.

Конечно, одной жажды дѣятельности мало для объясненія всетоптанія, какому на глазахъ оторопѣлой Европы предается Бисмаркъ. Жажда дѣятельности сама по себѣ не исключаетъ ни критики, ни теоретическихъ основъ. Но и всѣ остальные элементы психической физіономіи Бисмарка гонятъ его въ тотъ же уголъ, къ тому же всетоптанію, причемъ жажда дѣятельности является могущественнымъ ферментомъ. Бисмаркъ топчетъ критику и принципы не только потому, что они стѣсняютъ свободу его движенія, а и потому, что онъ неспособенъ къ критикѣ. А неспособенъ онъ къ ней опять-таки по многимъ причинамъ, съ разныхъ сторонъ ведущимъ къ одному и тому же результату. Онъ неспособенъ къ ней, во-первыхъ, по своему темпераменту, по своей крайней нетерпѣливости, по врожденной привычкѣ либо повелѣвать, либо повиноваться, привычкѣ, воспитанной въ цѣломъ ряду поколѣній его предковъ — прусскихъ юнкеровъ, т. е. крупныхъ землевладѣльцевъ и офицеровъ прусской арміи. Далѣе, Бисмаркъ неспособенъ къ критикѣ, и вообще къ умственной, теоретической дѣятельности по складу своего ума. Это умъ крайне тяжелый, неповоротливый, догматическій по преимуществу, умъ крайне близорукій. На этотъ счетъ читатель потребуетъ у насъ, пожалуй, объясненія, и мы весьма охотно дадимъ его. Что Бисмаркъ не есть, собственно, человѣкъ мысли,—этого никто не оспариваетъ. Георгъ Іезекіиль, который охотно раздавилъ бы своего героя подъ вавилонской башней физическихъ, нравственныхъ и умственныхъ блистательныхъ качествъ, утверждаетъ, что «его взоръ не есть взоръ мыслителя, но взоръ человѣка дѣйствія».

Въ 1847—50 годахъ Бисмаркъ нѣсколько потоптался на теоретической почвѣ; но потоптался, какъ чистѣйшій догматикъ: «я вѣрю, что власть короля прусскаго получена имъ отъ Бога», «я вѣрю, что еврей не долженъ занимать высокаго положенія въ христіанскомъ государствѣ», «это столкновеніе можетъ быть рѣшено только желѣзомъ»,—вотъ все, что могъ выжать изъ себя Бисмаркъ въ качествѣ депутата. Если мы взглянемъ на его рѣчи, депеши, письма позднѣйшаго времени, то увидимъ, что онъ здѣсь уже и не пытается стать на теоретическую почву, а или довольствуется чисто практическими доводами: то-то выгодно, а то-то невыгодно, или же обращается исключительно къ чувству своихъ слушателей и корреспондентовъ. Онъ вездѣ приказываетъ, проситъ, но нигдѣ не доказываетъ. Но если никто не признаетъ графа Бисмарка человѣкомъ спекулятивной мысли, то, тѣмъ не менѣе, самая низкая оцѣнка его умственныхъ качествъ сводится къ характернымъ русскимъ выраженіямъ; «умная бестія» и «ловкая шельма». Это самое малое. Большинство же писавшихъ о графѣ Бисмаркѣ склонны находить въ немъ умъ «сильный», «необыкновенный», «обширный», «проницательный» и т. п. Эпитеты эти прилагаются, впрочемъ, къ личности канцлера Сѣверо-Германскаго союза довольно неопредѣленно, т. е. сами употребляющіе ихъ не отдаютъ себѣ яснаго отчета въ своихъ словахъ. Большинство нѣмцевъ, и преимущественно изъ партіи національныхъ либераловъ, идутъ еще дальше. Вышеупомянутый Людвигъ Бамбергеръ говоритъ: «великія дѣла—дѣла устойчивыя,—а устойчиво дѣло только тогда, когда оно соотвѣтствуетъ общей потребности, высшей необходимости: здѣсь лежитъ разница между государственнымъ чоловѣкомъ и искателемъ приключеній. Одинъ руководится въ своихъ предпріятіяхъ общимъ ходомъ идей и событій, другой хватается за преходящій фактъ;

одинъ принимаетъ въ соображеніе вѣчные законы бытія, другой—благопріятную минуту. Въ этомъ смыслѣ графъ Бисмаркъ имѣетъ полное право называться государственнымъ человѣкомъ, каковы бы ни были его ошибки и заблужденія. Прошелъ съ небольшимъ годъ (Бамбергеръ пишетъ въ 1868 году) съ тѣхъ поръ, какъ Германія, благодаря его иніацитивѣ, вступила на новый путь развитія, а ужъ устойчивость сдѣланнаго не составляетъ ни для кого вопроса». Какъ! Такъ и въ самомъ дѣлѣ «вѣчные законы бытія» требовали той возмутительной рѣзни и грабежа, какіе совершаются теперь на западѣ? И въ самомъ дѣлѣ прусская цивилизація, вызванная къ жизни графомъ Бисмаркомъ,—да проститъ Богъ глупцамъ, радующимся ей,—летитъ на насъ по вѣчнымъ законамъ бытія? И въ самомъ дѣлѣ тотъ милитаризмъ, который уже охватилъ всю Европу отъ верхняго края до нижняго, соотвѣтствуетъ «общей потребности», «высшей необходимости»? Надо замѣтить, что Бамбергеръ писалъ свой очеркъ дѣятельности современнаго героя современной Германіи для французовъ (онъ былъ сначала напечатанъ по французски). Но какъ истый нѣмецъ онъ не задумался преподнести чужому народу Бисмарковское объединеніе Германіи подъ соусомъ вѣчныхъ законовъ бытія и высшей необходимости. Такое ослѣпленіе личностью Бисмарка обнаруживается впрочемъ преимущественно въ средѣ національныхъ либераловъ. Въ послѣдное время Бисмарку приходится иногда выслушивать со стороны другихъ партій далеко не столь лестные отзывы о своей дѣятельности. 11-го января нынѣшняго года въ баварской палатѣ депутатовъ обсуждались союзные договоры между Баваріей и Сѣверо-Германскимъ союзомъ. Одинъ изъ ораторовъ, Іергъ, сказалъ между прочимъ: «было время, когда стѣны этой залы дрожали отъ проклятій политикѣ желѣза и крови, когда нѣкоторые ораторы не хотѣли произносить имени Бисмарка, чтобы не марать своихъ устъ. Что касается меня, то я считаю его отчаяннымъ, но счастливымъ игрокомъ и желаю, чтобы счастье служило ему до конца, потому что въ противномъ случаѣ пришлось бы поплатиться за него народу, судьбою котораго онъ руководитъ». Страшный приговоръ!

Что же такое графъ Бисмаркъ,—отчаянный игрокъ, или государственный человѣкъ, руководящійся общимъ ходомъ идей и событій, вѣчными законами бытія? Мнѣніе Іерга есть ересь, и всякій нѣмецъ, у котораго былъ еще недавно свой король въ Швабіи, безъ сомнѣнія горячо вступится за своего объединителя и опруссителя. За графомъ Бисмаркомъ, повидимому, окончательно установилась репутація тонкаго и проницательнаго политика. Всѣ полагаютъ, что онъ очень хорошо знаетъ, куда онъ идетъ и куда ведетъ за собой Германію. Онъ идетъ такъ твердо, такъ рѣшительно, такъ безъ оглядки, съ такимъ, наконецъ, успѣхомъ. А между тѣмъ Іергъ правъ: графъ Бисмаркъ отчаянный, но счастливый игрокъ. Изо всѣхъ вещей, надъ которыми веселый канцлеръ на своемъ вѣку посмѣялся, смѣшнѣе всего должны ему казаться толки фельетонистовъ и авторовъ газетныхъ передовыхъ статей о его политической проницательности. Этому своему дарованію онъ очень хорошо знаетъ цѣну. Однажды онъ писалъ женѣ: «я дѣлаю удивительные успѣхи въ искусствѣ нагораживать кучи словъ, пишу отчеты въ нѣсколько листовъ, которые читаются легко, какъ передовая статья; но если, прочитавъ ихъ, Мантейфель можетъ сказать, что онъ прочиталъ, то онъ знаетъ больше меня. Каждый изъ насъ думаетъ о другомъ, что онъ биткомъ набитъ проектами и идеями, и всетаки никто изъ насъ ничего не знаетъ. Самый злобный скептикъ изъ демократовъ не можетъ себѣ представить, что за шарлатанская штука эта дипломатія». Драгоцѣнное признаніе и полезный урокъ для тѣхъ, кто полагаетъ, что графъ Бисмаркъ есть нѣчто большее, чѣмъ печальная съ боку припека къ общему ходу идей и событій и къ вѣчнымъ законамъ бытія. Политикъ безъ политическихъ принциповъ и дипломатъ, признающій дипломатію шарлатанствомъ,—вотъ чтò такое графъ Бисмаркъ. Его политика есть политика инстинкта или, пожалуй, вдохновенія. Бамбергеръ самъ говоритъ: «Дипломатическое теченіе увлекало его иногда въ такія противорѣчія съ самимъ собой, что его можно было бы обвинить въ слишкомъ большой довѣрчивости къ своему импровизаціонному таланту. Его способъ пользоваться обстоятельствами напоминаетъ иногда выраженіе того романиста, который, характеризуя свое вдохновеніе, говорилъ: когда стучатся въ дверь моего героя, я еще самъ не знаю, кто войдетъ въ комнату». Можно бы было сказать, что графъ Бисмаркъ движется ощупью, еслибы онъ дѣйствовалъ менѣе рѣшительно и болѣе боялся отвѣтственности. Все его искусство состоитъ именно въ умѣньѣ ухватываться за шероховатости почвы. Ухватившись за что-нибудь сегодня, онъ вовсе не думаетъ о томъ, въ какое положеніе это обстоятельство его поставитъ завтра. Онъ знаетъ, что и завтра онъ останется тѣмъ же ловкимъ и наглымъ Бисмаркомъ, который сумѣетъ выпутаться; не пецытеся убо объ утрѣ,—довлѣетъ дневи злоба его. Посмотрите на его рѣчи: это образцы фехтовальнаго искусства, требующаго, какъ извѣстно, ин-

стинктивной находчивости и быстроты безъ всякаго признака мысли и обдумыванія. Обдумываніе здѣсь даже вредитъ. Неопытные фехтовальщики грѣшатъ обыкновенно тѣмъ, что смотрятъ на рапиру или на эспадронъ противника и разсчитываютъ, что вотъ онъ ударитъ вправо, я отпарирую и т. д. Опытный фехтмейстеръ не обращаетъ никакого вниманія на рапиру партнера, онъ смотритъ ему въ глаза и тамъ читаетъ враждебныя намѣренія, но читаетъ какъ-то совершенно безсознательно и потому быстро: задумайся онъ на одну секунду и онъ пропалъ. Бисмаркъ именно такимъ образомъ ведетъ свои дѣла. Въ рѣчахъ своихъ онъ просто фехтуетъ многочисленными двусмысленностями созданной имъ сѣверо-германской конституціи. Соединеніе въ одномъ лицѣ такихъ трехъ концентрически входящихъ другъ въ друга званій, какъ прусскій король, президентъ Сѣверо-Германскаго союза и главнокомандующій войсками сѣверной и южной Германіи, или союзный канцлеръ, представитель Пруссіи въ верхней палатѣ и прусскій министръ иностранныхъ дѣлъ, три парламента и т. п.,—всѣ эти безсмысленности, двусмысленности и трехсмысленности идутъ въ ходъ, чтобы довлѣла дневи злоба его, и притомъ *дневи* почти въ буквальномъ смыслѣ слова. Событіями графъ Бисмаркъ фехтуетъ точно такъ-же, какъ и статьями сѣверо-германской конституціи. Думалъ ли онъ о всѣхъ возможныхъ послѣдствіяхъ затѣваемой имъ въ 1866 году игры въ славянскихъ и венгерскихъ земляхъ? Конечно, нѣтъ. Онъ видѣлъ только ближайшее слѣдствіе—конечный разгромъ Австріи, а дальше сложилась бы новая комбинація фактовъ, которой онъ не хотѣлъ и не могъ предвидѣть, но среди которой онъ несомнѣнно продолжалъ бы болѣе или менѣе удачно фехтовать. Когда графъ Бисмаркъ обнародовалъ писаный рукою Бенедетти проектъ раздѣла Европы между Пруссіей и Франціей, онъ обвинялъ передъ цѣлымъ міромъ этого барана-дипломата и его правительство. Но онъ не провелъ никого. Да онъ и не хотѣлъ никого провести. Это былъ просто одинъ изъ «выпадовъ» (техническій терминъ фехтовальнаго искусства), и притомъ выпадъ неудачный. Имѣлось въ виду произвести неблагопріятное для Франціи впечатлѣніе, а между тѣмъ, обнародывая такой компрометирующій его документъ, Бисмаркъ выказалъ гораздо болѣе наглости, презрѣнія къ международному праву и общественному мнѣнію Европы, чѣмъ Бенедетти и его правительство, хотя бы даже иниціатива проекта дѣйствительно принадлежала имъ. Ошибка произошла оттого, что графъ Бисмаркъ, вѣроятно, призадумался не настолько, чтобы бросить фехтовку совсѣмъ, но ровно настолько, сколько нужно, чтобы сдѣлать невѣрный выпадъ: фехтмейстеру думать не полагается. Точно такъ-же неудаченъ былъ выпадъ, когда Бисмаркъ развернулъ передъ изумленной Европой потрясающую картину голода двухмилліоннаго населенія Парижа и полумилліона облегающихъ его нѣмецкихъ войскъ. Кого провелъ онъ, сваливая отвѣтственность за возможность такого ужаснаго событія, достойнаго начать собою эпоху новой цивилизаціи, на правительство народной обороны? Быть можетъ, Бисмаркъ думалъ повліять на мягкія сердца членовъ временнаго правительства, завѣдомо страдающихъ болѣзнями вѣка. Конечно, лучше бы было ему вовсе не думать: наглость не достигла бы тогда, по крайней мѣрѣ, высоты наивности. Мы не можемъ, разумѣется, назвать Бисмарка бездарностью. Напротивъ, это въ своемъ родѣ человѣкъ чрезвычайно талантливый. Но именно родъ то его талантливости таковъ, что исключаетъ собою всѣ высшія умственныя и нравственныя силы. Фехтовальщикъ Бисмаркъ безспорно удивительный, но для фехтованія требуется только безсознательность и самоувѣренность. Пчела дѣлаетъ удивительныя вещи. Она строитъ такія ячейки, какихъ человѣку никогда не сдѣлать, и она дѣлаетъ ихъ такъ блистательно потому, что дѣйствуетъ совершенно безсознательно, по унаслѣдованному инстинкту. Есть сферы дѣятельности,—безспорно низшія,—въ которыхъ рефлексія, критика могутъ только вредить, такъ какъ онѣ парализируютъ до извѣстной степени быстроту и увѣренность дѣятеля. Конечно, управленіе судьбами народовъ не можетъ быть отнесено къ числу низшихъ сферъ человѣческой дѣятельности, но Бисмаркъ входитъ въ эту область съ такой стороны, которая принижаетъ ее; онъ спускаетъ ее до своего собственнаго уровня, потому что самъ не можетъ подняться въ ней до надлежащей высоты. Если разсказъ Бенедетти о происхожденіи написаннаго его рукою проекта справедливъ, если Бисмаркъ, дѣйствительно, фокусническимъ образомъ заставилъ французскаго дипломата такъ глупо провалиться, то это, конечно, очень ловкая штука. Но это—жонглерство, а такъ какъ Бисмаркъ и самъ считаетъ дипломатію шарлатанствомъ, то мы, больные болѣзнями вѣка, не чуждые сантиментальныхъ слабостей, критики и боязни отвѣтственности, можемъ сказать: «мы люди маленькіе, мы люди невидные, мы по малой мѣрѣ не ниже этого маіора, держащаго въ своихъ рукахъ судьбы Европы. Мы по малой мѣрѣ не ниже его ни въ нравственномъ, ни въ умственномъ отношеніи». И это будетъ очень скромно...

Повторяемъ, графъ Бисмаркъ — цѣльный типъ. Всѣ факторы его психическаго существованія—его фехтовальная ловкость, безпримѣрная наглость, отсутствіе охоты и способности къ критикѣ и къ мышленію вообще—находятся въ полной гармоніи и постоянно напрягаются совершенно равномѣрно. Почему графъ Бисмаркъ такъ дерзокъ и нагль? Потому что онъ презираетъ всякіе политическіе принципы. Почему онъ ихъ презираетъ? Потому что ему нужна практическая дѣятельность, притомъ такая, которой принципы только мѣшаютъ. Почему ему нужна такая дѣятельность? Потому что онъ неспособенъ къ критикѣ, неспособенъ какъ по своему умственному складу, такъ и по особенностямъ нравственнаго характера. Все здѣсь связано въ одинъ клубокъ, въ которомъ нельзя разобрать ни конца, ни начала. Графъ Бисмаркъ, какъ уже сказано, человѣкъ круглый. Именно, эта закругленность, простота, несложность и, вмѣстѣ съ тѣмъ, компактность, законченность составляетъ силу графа Бисмарка. Именно, она даетъ ему возможность быть такимъ несравненнымъ политическимъ фехтмейстеромъ, далеко превосходящимъ въ своемъ искусствѣ Наполеона III, кругъ идей котораго гораздо шире, и которому, поэтому, независимо отъ разницы между Франціей и Пруссіей, фехтовать несравненно труднѣе. Но въ той же закругленности лежитъ и слабость графа Бисмарка. Именно, благодаря ей, онъ не можетъ идти въ уровень съ «общимъ ходомъ идей и событій», и до конца дней своихъ останется только фехтмейстеромъ. А такъ какъ жизнь ие въ примѣръ сложнѣе личныхъ силъ графа Бисмарка, то рано или поздно онъ сорвется, быть можетъ, столь же позорно, какъ седанскій герой, быть можетъ, это время недалеко.

На графа Бисмарка устремлены глаза всего міра, всѣ стараются заглянуть въ его голову и разгадать, что тамъ творится. Одни отступаютъ съ негодованіемъ, другіе отходятъ съ надеждой; третьи, какъ американскій посланникъ въ Берлинѣ, Банкрофтъ, спокойно рѣшаютъ, что графъ «занятъ труднымъ дѣломъ обновленія Европы»; четвертые, какъ Ренанъ, приходятъ къ тому заключенію, что онъ еще не поддается анализу, да, можетъ быть, и никогда ему и не поддастся. Но Господь Богъ, снабдившій въ экстренномъ случаѣ даромъ слова даже ослицу Валаамову, вложилъ истину въ уста убогаго Георга Іезекіиля. Сочинитель этотъ—едва-ли снисходительное солнце Германіи когда-либо освѣщало собою болѣе холопскую литературную физіономію—утверждаетъ, что графъ Бисмаркъ былъ и есть не что иное, какъ вѣрный вассалъ прусскаго короля, что въ дѣйствіяхъ своихъ онъ не руководится ничѣмъ, кромѣ личной преданности къ прусскому королевскому дому. Это—сама истина. Надо замѣтить, что Бисмаркъ очень часто въ разговорахъ и перепискѣ говоритъ о своей личной преданности къ королю и о фамильныхъ преданіяхъ, которыми эта преданность отчасти обусловливается. Дѣйствительно, очень старинный родъ Бисмарковъ всегда вѣрою и правдою служилъ въ качествѣ вассаловъ бургграфамъ нюренбергскимъ, маркграфамъ и курфюрстамъ бранденбургскимъ, нынѣ королямъ прусскимъ и императорамъ германскимъ. Бисмаркамъ не впервой оказывать своимъ сюзеренамъ существенныя услуги. (Кстати, для насъ, русскихъ, небезъинтересно, что при Фридрихѣ-Вильгельмѣ I одинъ изъ Бисмарковъ, убивъ лакея, бѣжалъ въ Россію, породнился съ Бирономъ и при паденіи временщика былъ сосланъ въ Сибирь, откуда впрочемъ, кажется, былъ скоро возвращенъ. Другой Бисмаркъ служилъ въ Россіи при императорѣ Николаѣ Павловичѣ). Графъ Отто Бисмаркъ строго слѣдуетъ фамильнымъ преданіямъ. Собственно говоря, Бисмаркъ равно далекъ отъ юнкеровъ и соціальныхъ демократовъ, національныхъ либераловъ и прогрессистовъ. И это вовсе не потому, что онъ не укладывается въ рамки наличныхъ прусскихъ партій, не потому, что онъ слишкомъ широкъ для нихъ. Указывая на это отношеніе къ прусскимъ политическимъ партіямъ, мы отнюдь не думаемъ проповѣдывать

Недоумѣніе нулей
Къ какой пристать имъ единицѣ.

Всякая партія исповѣдуетъ извѣстную теорію, извѣстные принципы, и еслибы графъ Бисмаркъ имѣлъ нѣчто подобное, то не было бы ничего удивительнаго, еслибы онъ расходился хотя бы и со всѣми наличными партіями. Это говорило бы только о его силѣ и оригинальности. Но графъ Бисмаркъ не имѣетъ и не можетъ имѣть никакихъ принциповъ. Онъ дышетъ одною личною преданностью къ прусскому королевскому дому. Принципы монархизма, консерватизма, національности, либерализма, демократизма и проч. ему одинаково чужды. Изо всего этого онъ можетъ въ случаѣ надобности съ спокойною совѣстью сварить какую угодно кашу. Его кирасирская рука въ бѣломъ рукавѣ съ желтыми отворотами одинаково свободно сниметъ корону у короля ганноверскаго и надѣнетъ кандалы на какого-нибудь Либкнехта или Бебеля. Въ этомъ именно состоитъ его отличіе отъ политиковъ-теоретиковъ. У тѣхъ есть нѣкоторая святая святыхъ, независимая отъ ихъ личныхъ привязанностей и, какъ мы видѣли, даже отъ ихъ личныхъ выгодъ. Въ бесѣдѣ съ однимъ

французскимъ журналистомъ союзный канцлеръ выразился, между прочимъ, такъ: «По своей фамиліи, по своему воспитанію, я прежде всего человѣкъ короля» (въ нѣмецкомъ переводѣ: bin ich vor allem der Mann des Königs). И далѣе: «Палата упрямится съ одной стороны, правительство съ другой. Въ этомъ столкновеніи я слѣдовалъ за королемъ. Меня обязывали къ тому мое уваженіе къ нему, все мое прошедшее, всѣ преданія моей фамиліи». Конечно, всякій ошибся бы, еслибы вывелъ изъ этихъ словъ заключеніе, что Бисмаркъ во всемъ слѣпо слѣдуетъ за королемъ Вильгельмомъ, да этого Бисмаркъ и не хотѣлъ и не могъ сказать. Не имѣя подъ рукой такого искуснаго фехтмейстера, король Вильгельмъ самъ по себѣ безъ сомнѣнія слѣдовалъ бы политикѣ своего брата и отца. Извѣстно, что король былъ противъ войны съ Австріей, и графъ Бисмаркъ для полученія отъ него согласія прибѣгалъ чуть не къ фальсификаціи документовъ и, во всякомъ случаѣ, къ передержкамъ: онъ возбуждалъ полемику между офиціозными прусскими и австрійскими газетами и показывалъ королю оскорбительныя для Пруссіи выходки австрійской журналистики, умалчивая о вызвавшихъ эти выходки прусскихъ статьяхъ. Но хотя въ большинствѣ случаевъ Бисмаркъ не только не слѣдуетъ за королемъ, а напротивъ, его ведетъ за собою, обстоятельство это нисколько разумѣется не мѣшаетъ быть ему Mann des Königs. Георгъ Іезекіиль справедливо замѣчаетъ, что здѣсь именно лежитъ ключъ разгадки кажущихся противорѣчій дѣятельности Бисмарка и что въ основаніяхъ своихъ Бисмаркъ и нынѣ остается такимъ, какимъ былъ въ 1847—49 годахъ. Въ этомъ отношеніи нападки на убогаго Іезекіиля, напримѣръ, анонимнаго англійскаго біографа графа Бисмарка совершенно неосновательны. Графъ Бисмаркъ не проповѣдуетъ нынѣ, какъ въ 1847—49 годахъ, ни принципіальной вражды къ парламентаризму, ни вотчиннаго суда и полиціи, ни политической неправоспособности евреевъ. Онъ однимъ словомъ не можетъ съ прежнею искренностью и смѣлостью сказать, что онъ съ молокомъ матери всосалъ мрачный духъ средневѣковья, что онъ юнкеръ и гордится этимъ. Свое старое вульгарное юнкерство, котораго отчасти и до сихъ поръ держатся его былые товарищи, онъ бросилъ. Дикій юнкеръ теперь такъ-же смѣшонъ Бисмарку, какъ смѣшонъ Жюль Фавръ, мечтавшій тронуть его, Бисмарково, сердце разсужденіями о правѣ и цивилизаціи. «Мало существуетъ вещей или людей, надъ которыми графъ Бисмаркъ не рѣшился бы посмѣяться», говоритъ упомянутый англійскій біографъ союзнаго канцлера. Есть, однако, одна вещь, надъ которою графъ Бисмаркъ никогда не смѣялся и никогда не засмѣется, — это слава и величіе короля прусскаго. На этотъ алтарь онъ принесетъ какія угодно кровавыя жертвы. Какъ Mann des Königs онъ и теперь все тотъ же, какимъ былъ въ 1847 году. Тенденція книги Іезекіиля, говоритъ тотъ же англійскій біографъ, состоитъ въ томъ, чтобы «показать, что графъ Бисмаркъ даже въ своихъ недавнихъ перемѣнахъ оставался вѣренъ своимъ прежнимъ феодальнымъ ученіямъ». Это вѣрно, но въ мнѣніи Іезекіиля есть значительная доля правды, а «недавнимъ перемѣнамъ» придается обыкновенно совершенно фальшивое освѣщеніе. Нѣмцы вѣрятъ, что ихъ герой съ 1851 года внезапно вдохновился идеей національности и германскаго единства. Смѣшнѣе всего, когда тѣ же нѣмцы указываютъ на сходство политики Бисмарка съ политикой Фридриха II-го и предаются при этомъ совершенно фантастическимъ надеждамъ. Не говоря уже о томъ, какъ мало рекомендуетъ политику XIX вѣка слишкомъ большое сходство съ политикой прошлаго столѣтія, сходство политики Бисмарка съ политикой Фридриха можетъ служить косвеннымъ свидѣтельствомъ близорукости національныхъ либераловъ и тщетности ихъ надеждъ. Фридрихъ уже разумѣется не руководился идеею національности, онъ, такъ глубоко презиравшій все нѣмецкое, и если онъ и не прочь былъ объединить Германію, то въ такой же мѣрѣ, въ какой не отказался бы объединить и всю Европу. Онъ тутъ просто держался правила Людовика XIV: «увеличивать предѣлы государства есть самое пріятное и достойное занятіе государей». При всей своей умственной чуткости Фридрихъ не держался иныхъ принциповъ въ политикѣ. Онъ дѣйствовалъ исключительно какъ König, точно такъ-же, какъ графъ Бисмаркъ дѣйствуетъ исключительно какъ Mann des Königs. При всѣхъ своихъ реформаторскихъ наклонностяхъ Фридрихъ былъ въ этомъ отношеніи далеко ниже своихъ современниковъ, Екатерины II и Іосифа II, ниже именно по отсутствію того, что мы называемъ святая святыхъ. Лессингъ въ письмѣ къ Николаи такъ характеризировалъ правленіе Фридриха: «Въ офранцуженномъ Берлинѣ свобода думать и писать сводится на свободу высказывать какія угодно глупости насчетъ религіи. Пусть кто-нибудь попробуетъ въ Берлинѣ писать о чемъ нибудь другомъ такъ же свободно, какъ писалъ въ Вѣнѣ Зоненфельсъ; пусть здѣсь кто нибудь попробуетъ проповѣдовать чванной придворной толпѣ тѣ истины, которыя онъ высказывалъ; пусть кто-нибудь въ Берлинѣ осмѣлится поднять голосъ въ защиту правъ подданныхъ противъ деспотизма и эксплуатаціи, хоть такъ, какъ

это дѣлается теперь во Франціи и въ Даніи—и вы увидите тогда, какое государство до сихъ поръ еще наиболѣе рабское въ Европѣ». Фридрихъ былъ насквозь пропитанъ военно-аристократическими предразсудками. Онъ не допускалъ мысли, чтобы офицеромъ могъ быть не дворянинъ *), или даже, чтобы офицеръ могъ жениться на мѣщанкѣ. Одному *тайному совѣтнику* онъ въ видѣ особой милости далъ чинъ *поручика*. И при этомъ не надо забывать, что Фридрихъ II былъ всетаки вольнодумецъ, другъ и почитатель Вольтера, чего о графѣ Бисмаркѣ ни въ какомъ случаѣ сказать нельзя.

Весьма характерно для графа Бисмарка то обстоятельство, что, какъ онъ самъ говорилъ, онъ «не чувствуетъ призванія къ веденію внутреннихъ дѣлъ», что онъ чувствуетъ себя хорошо только въ области дѣлъ иностранныхъ. Это зависитъ отъ многихъ причинъ. Во-первыхъ, какъ ни много оставляютъ желать существующія въ Европѣ гарантіи частныхъ правъ, но настоящая война показала, что международное право далеко не можетъ съ ними сравниться, что въ цѣломъ это возмутительно-потѣшное право представляетъ только безпорядочную кучу оскорбительныхъ для человѣческаго достоинства фикцій. Хотя графъ Бисмаркъ и во внутреннихъ дѣлахъ остается самимъ собой, но внутреннія дѣла по самой сущности своей не даютъ столько простора, какъ иностранныя, для борьбы во вкусѣ союзнаго канцлера. Признаніе Бисмарка въ нерасположеніи къ внутреннимъ дѣламъ, помимо своей характерности для него, весьма важно, какъ указаніе, чего вправѣ ждать Европа отъ Пруссіи, пока во главѣ ея стоитъ этотъ человѣкъ. Король-императоръ прусско-германскій выразилъ, правда, пожеланіе, чтобы преуспѣяніе Германіи шло на будущее время путемъ не завоеваній, а мирнаго прогресса. Но если графъ Бисмаркъ не чувствуетъ расположенія къ веденію мирнаго прогресса, если онъ дышетъ только иностранною политикою, которую, впрочемъ, признаетъ шарлатанствомъ, то надежды и обѣщанія короля Вильгельма сводятся къ наполеоновскому: «имперія—это миръ». Будемъ надѣяться, что прочный миръ надолго, навсегда посѣтитъ гордую своею наукою и промышленностью Европу. Но къ сожалѣнію это надежда крайне шаткая, пока Германіей руководитъ графъ Бисмаркъ. Не одно его бреттерство—онъ слишкомъ фехтмейстеръ, чтобы не быть бреттеромъ—ручается за новыя бури и грозы въ ближайшемъ будущемъ. За это ручается самая суть его политики: онъ вѣритъ, что «распространеніе предѣловъ государства есть самое пріятное и достойное занятіе государей», онъ Mann des Königs. Замѣтимъ, что прусское дворянство испоконъ вѣку, какъ никакое другое дворянство, предано королю. Англійскій посланникъ лордъ Мальмсбюри писалъ въ 1726 году: «Въ тщеславіи своемъ они (прусскіе дворяне) воображаютъ видѣть собственное величіе въ величіи своего монарха. Невѣжество заглушаетъ въ нихъ всякое понятіе о свободѣ и о возможности сопротивленія насилію. Отсутствіе нравственности дѣлаетъ ихъ готовыми орудіями для исполненія какихъ бы то ни было приказаній. Они никогда не размышляютъ насколько справедливы эти приказанія». Пятьдесятъ лѣтъ спустя, то же самое замѣчаетъ Георгъ Форстеръ, но его приговоръ нѣсколько мягче, или, пожалуй, нѣсколько жестче. Форстеръ удивлялся не тому, что эта особенность существуетъ у людей невѣжественныхъ, а тому, что ей причастны самые образованные и умные прусскіе люди. Прусскіе юнкеры и нынѣ склонны видѣть собственное величіе въ величіи своего монарха. Но это личное чувство сопрягается въ нихъ съ цѣлымъ кругомъ понятій о правѣ и справедливости. Они имѣютъ свое древо познанія добра и зла. Подъ сѣнью этого древа сидѣлъ нѣкогда и графъ Бисмаркъ, и тогда онъ былъ чистымъ феодаломъ. Но онъ не высидѣлъ, потому что, какъ ни жидка сѣнь юнкерскаго древа познанія добра и зла, она всетаки давала столько работы мысли, сколько Бисмаркъ вмѣстить въ себѣ не можетъ. Опять-таки мы не думаемъ говорить, что Бисмаръ глупъ или что онъ глупѣе всякаго заскорузлаго юнкера. Напротивъ, именно потому, что онъ умнѣе многихъ юнкеровъ, онъ долженъ былъ рано или поздно увидѣть несостоятельность юнкерскаго катехизиса. Но онъ сорвался съ теоретической цѣпи не только поэтому, а и по всестороннему инстинктивному отвращенію ко всякаго рода теоріямъ и принципамъ. Притомъ же, эманципировавшись отъ юнкерскихъ принциповъ, Бисмаркъ и въ глубинѣ души, и практически всетаки остается юнкеромъ, но юнкеромъ разнузданнымъ. Графъ Бисмаркъ не знаетъ и знать не хочетъ ни феодальныхъ, ни нефеодальныхъ принциповъ; но именно поэтому руководящее имъ личное чувство носитъ на себѣ очевидную печать феодализма. Предан-

*) Въ «Зарѣ» была недавно напечатана статья «Прусская армія въ 1869 году». Авторъ описываетъ между прочимъ свое свиданіе съ Мольтке. Тотъ ему сказалъ, что приказъ нашего военнаго министра, въ силу котораго всякій рядовой, какого бы онъ ни былъ происхожденія, имѣетъ возможность черезъ восемь лѣтъ сдѣлаться офицеромъ,—«произвелъ сильное впечатлѣніе въ прусской арміи». Несмотря на всю справедливость и разумность этой мѣры, говорилъ Мольтке, мы *даже* для своей арміи считаемъ ее преждевременною». Это *даже* въ устахъ пруссака весьма странно.

ность вассала своему сюзерену была чисто личнымъ чувствомъ, безъ всякихъ теоретическихъ основъ. Обязанность службы съ одной стороны и обязанность покровительства съ другой (не даромъ Бисмаркъ говоритъ, что германская цивилизація несетъ съ собой «систему обязанностей» на смѣну французской «системы правъ», низвергнувшей феодализмъ), связывавшія леннаго владѣльца съ его сюзереномъ, стояли внѣ всякихъ теорій, внѣ всякихъ понятій о благѣ народа, о справедливости, о національности и т. п. И эту черту феодализма графъ Бисмаркъ воскрешаетъ своею особой. Но собственно формы феодализма онъ воскрешаетъ, конечно, въ значительно измѣненномъ видѣ. Въ западной Европѣ вездѣ не только феодализмъ палъ подъ ударами абсолютизма, но и самый абсолютизмъ успѣлъ и расцвѣсть и отцвѣсть. Въ этомъ отношеніи Германія далеко отстала отъ своихъ западныхъ сосѣдей, которые успѣли объединиться въ такую пору, когда кровь и желѣзо были самыми естественными продуктами цивилизаціи. Но и въ Германіи, и въ самой Пруссіи, и въ Мекленбургѣ, въ странахъ, гдѣ феодализмъ сохранился въ относительно нетронутомъ видѣ, — существуютъ уже другія историческія силы, сломившія въ другихъ мѣстахъ абсолютизмъ. Эти силы растутъ, за ними тянутся уже другія. Изо всего этого получается такая сложная комбинація, среди которой трудно бы было оріентироваться и не такому круглому человѣку, какъ Бисмаркъ, но въ которой въ то же время фехтовать онъ можетъ. Единственная свѣтлая и различимая для Бисмарка точка въ этомъ густомъ и темномъ лѣсу есть король прусскій. И вотъ король прусскій дѣлается императоромъ германскимъ. Но это не феодальная имперія. Германскій феодализмъ всетаки имѣлъ нѣкоторое подобіе теоріи въ избирательности императора. Германскій феодализмъ не зналъ наслѣдственной имперіи, и если de facto имперія и стала наслѣдственною въ домѣ Габсбурговъ, то de jure она всетаки была избирательною. Нынѣшняя Германская имперія есть имперія позднѣйшей формаціи, формаціи Людовиковъ XIV. Разница только въ томъ, что Людовики XIV боролись съ феодализмомъ, а нынѣшній абсолютизмъ идетъ съ нимъ рука объ руку, но за то у него есь другіе враги, которыхъ не было у Людовиковъ.

Политическая атмосфера, такъ сказать, полна Бисмаркомъ, и не только политическая. Портной рекомендуетъ вамъ сукно цвѣта Бисмаркъ. Садовникъ предлагаетъ Бисмаркъ-розу и Бисмаркъ-землянику. Вы можете выпить бутылку шампанскаго «Бисмаркъ-Шенгаузенъ», выкурить сигару «Comte de Bismarck» и провальсировать съ миссъ Вильгельминой - Бисмаркъ - Садовой (къ сожалѣнію мнѣ неизвѣстна фамилія этой дѣвицы), ибо существуютъ и такія сигары, и такое шампанское, и такая молодая англичанка. Въ Познани вамъ покажутъ четыре мѣстечка, пожелавшія и получившія разрѣшеніе соединиться въ одинъ «Бисмарксдорфъ». Есть городъ Бисмаркъ въ Техасѣ, есть такой же городъ въ Миссури. Есть ножи à la Bismark и коробки спичекъ съ его портретомъ. Въ Венецуэлѣ, какъ разсказываетъ нѣмецкій путешественникъ, Герштеккеръ, изображенія канцлера Сѣверо-Германскаго союза раскупаются нарасхватъ. Объ Европѣ и говорить нечего. Въ Берлинѣ вамъ покажутъ надпись надъ дверью одного ткача:

Als Wilhelm wirkt' und Bismarck spann,
Gott hatte seine Freude dran. 1866.

Тайный совѣтникъ Dr. фонъ-Арнимъ не отстаетъ и пишетъ у себя надъ дверью:

Lang lebe und blühe König Wilhelm mein Held,
Mit ihm soll behalten Graf Bismarck das Feld!

Король Вильгельмъ упоминается здѣсь больше изъ приличія. Въ сущности, на него смотрятъ, какъ и на Мольтке и на фонъ-Роона, какъ на луну при солнцѣ-Бисмаркѣ. Одинъ нѣмецкій поэтъ прямо выражаетъ это, обращаясь къ союзному канцлеру съ такими словами:

Mit Stolz und Freude rühmt das Preussenvolk
Das Heer, den König, der es zum Sieg geführt,
  Die tapfere Helden; doch vor allen
  Klinget Dein Lob in dem Mund nnd Herzen!

Поэты воспѣваютъ графа Бисмарка во всѣхъ размѣрахъ, Нѣкій Dr. Шветчке пишетъ даже цѣлую «Бисмаркіаду»...

Очевидно великій человѣкъ готовъ. Раздвиньтесь вы, тѣни великихъ служителей человѣчества, дайте мѣсто, иначе этотъ человѣкъ въ заломленной на затылокъ каскѣ и съ классической физіономіей «добраго малаго» самъ раздвинетъ ваши ряды своей кирасирской рукой...

Въ нашемъ журналѣ неоднократно говорилось, что исторія, какъ и всякій другой процессъ природы, управляется извѣстными общими постоянными законами. Что же значитъ жалкая индивидуальная воля, хотя бы и графа Бисмарка, передъ этими общими могучими причинами? Что значитъ она въ особенности съ точки зрѣнія вышеизложеннаго мнѣнія о графѣ Бисмаркѣ? Не должны ли мы и, въ самомъ дѣлѣ, преклониться передъ фактомъ и смиренно сказать: это случилось по законамъ исторіи; эта страшная рѣзня, какой давно не видѣлъ свѣтъ, должна была произойти; эти рѣки крови и слезъ текутъ по вѣчнымъ законамъ бытія, за нихъ неотвѣтственъ графъ Бисмаркъ, онъ только орудіе судебъ человѣчества. Это старый во-

просъ о свободѣ воли и необходимости, котораго мы здѣсь, разумѣется, разбирать не станемъ. Мы ограничимся только нѣсколькими замѣчаніями.

Нѣтъ дѣйствія безъ причины. Не безъ причины и человѣческія дѣйствія. Исторія управляется общими постоянными законами, но не они составляютъ прямую, непосредственную причину человѣческихъ дѣйствій. Человѣкъ дѣйствуетъ подъ напоромъ той сѣти условій, среди которыхъ ему приходится жить, а эта сложная, постоянно въ извѣстныхъ предѣлахъ колеблющаяся, постоянно измѣняющаяся, то отливающая, то приливающая сѣть подчинена общимъ, простымъ и постояннымъ законамъ. И независимость человѣка отъ общихъ законовъ исторіи, и его зависимость отъ ближайшаго сочетанія причинъ—относительны. Съ одной стороны есть въ исторіи теченія, съ которыми человѣку, будь онъ семи пядей во лбу, бороться невозможно. Съ другой—человѣкъ, получивъ причинный толчокъ отъ данной комбинаціи фактовъ, становится къ ней самъ въ отношенія причиннаго дѣятеля и можетъ вліять на нее болѣе или менѣе сильно. Сознательная дѣятельность человѣка есть такой же факторъ исторіи, какъ стихійная сила почвы или климата. Общіе, простые и постоянные историческіе законы намѣчаютъ предѣлы, за которые дѣятельность личности ни въ какомъ случаѣ переступить не можетъ. Но эти придѣлы еще довольно широки, и внутри ихъ могутъ происходить колебанія, приливы и отливы, отзывающіеся весьма чувствительно на долгое время. Въ этихъ предѣлахъ энергическая личность, двигаясь и двигая направо или налѣво, впередъ или назадъ, можетъ при извѣстныхъ обстоятельствахъ придать свой цвѣтъ и запахъ цѣлому народу и цѣлому вѣку, хотя, конечно, существуютъ извѣстныя причины, въ силу которыхъ эта личность могла явиться и имѣть такое вліяніе. Но эти специальныя причины могутъ стоять совершенно въ сторонѣ отъ общихъ законовъ исторіи, онѣ могутъ корениться, напримѣръ, въ случайныхъ особенностяхъ организаціи личности, и тѣмъ не менѣе оказывать сильное вліяніе и на ходъ историческихъ событій. Изъ этого кажущагося противорѣчія выйти не столь трудно, какъ можно думать съ перваго взгляда. Общими законами исторіи опредѣляется тотъ порядокъ, въ которомъ историческіе фазисы неизбѣжно слѣдуютъ другъ за другомъ. Въ этомъ отношеніи всѣ тянущія въ разныя стороны усилія отдѣльныхъ личностей въ среднемъ выводѣ и въ окончательномъ результатѣ нейтрализуются. Но не то мы видимъ въ отношеніи скорости, съ какою историческіе фазисы идутъ другъ другу на смѣну. Здѣсь-то главнымъ образомъ и сказывается значеніе индивидуальной дѣятельности. Безсильная вырыть новое русло для исторіи, личность можетъ однако при извѣстныхъ условіяхъ временно запрудить историческое теченіе или ускорить его быстроту. Если-бы мы могли взглянуть на исторію съ высоты нѣсколькихъ сотъ тысячъ лѣтъ, то при этомъ всѣ отдѣльныя личности оказались бы почти одинаково ничтожными. Но мы живемъ такъ мало, а любимъ и ненавидимъ такъ много, что не можемъ не относиться съ исключительнымъ вниманіемъ къ скорости, съ какою наши надежды и опасенія осѣдаютъ въ область дѣйствительности, а слѣдовательно и къ тѣмъ людямъ, личными усиліями которыхъ эти надежды и опасенія реализируются. Мы отводимъ мѣсто въ Пантеонѣ тѣмъ великимъ людямъ, которые, по вышеприведенному выраженію Бамбергера, «руководятся въ своихъ предпріятіяхъ общимъ ходомъ идей и событій и принимаютъ въ соображеніе вѣчные законы бытія». Мы гонимъ изъ Пантеона тѣхъ проходимцевъ, которые ломятся туда только потому, что они наложили свою индивидуальную печать на рядѣ событій, хотя печать эта плоска, а сами они только «хватались за переходящій фактъ и благопріятную минуту». И замѣчательно, что мы инстинктивно очень разборчивы въ наименованіи людей великими. Льстецы и холопы готовы честить этимъ именемъ всякаго, но незаслуженное прозвище само не приклеивается. Вы часто назовете нашего Петра великимъ, вы очень рѣдко назовете великимъ Людовика XIV или Фридриха II; вы, смѣю думать, никогда не назовете великимъ графа Бисмарка, а между тѣмъ первыя три личности въ равной степени занимали вниманіе современниковъ, а мы едва ли меньше вниманія удѣляемъ графу Бисмарку.

Итакъ, то обстоятельство, что въ исторіи время отъ времени являются личности, накладывающія свою индивидуальную печать, вовсе не противорѣчитъ законосообразности исторіи: общіе законы завѣдуютъ порядкомъ историческаго движенія, личности вліяютъ на его скорость. Извѣстной правильности подлежитъ и самое появленіе выдающихся, властныхъ личностей. Онѣ выступаютъ всегда на границѣ двухъ фазисовъ историческаго развитія, на точкѣ перелома. Для того, чтобы личность могла давать тонъ исторіи, набросить свой личный колоритъ на эпоху, требуется разумѣется, чтобы она сама попала въ тонъ, чтобы было нѣчто общее между ея задачами и средой, въ которой ей приходится дѣйствовать. Но это «нѣчто», за которое энергическая личность должна ухватиться, чтобы затѣмъ быть въ состояніи затоптать и вырвать изъ почвы все, что въ

данной средѣ не гармонируетъ съ ея нравственной и умственной физіономіей, это нѣчто можетъ быть очень различно и по объему, и по своему достоинству. Это общее должно существовать непремѣнно, иначе личность израсходуется безъ остатка на донъкихотство. Но тѣмъ не менѣе великій человѣкъ долженъ быть въ значительной степени чужимъ окружающей средѣ. Людское величіе состоитъ именно въ той борьбѣ, которую человѣку приходится вынести на своихъ плечахъ. И чѣмъ сильнѣе и ожесточеннѣе идетъ борьба, тѣмъ величественнѣе встаетъ передъ нами вынесшая ее личность. Величіе въ концѣ-концовъ сводится на трудъ, не на тотъ тупой и неосмысленный трудъ, подъ тяжестью котораго изнываетъ большинство человѣчества, а на трудъ, освященный яркою мыслью. Дѣйствительно, великіе люди изъ фактически ничтожнаго зерна принципіально важныхъ и плодотворныхъ элементовъ строятъ вѣковѣчное зданіе. Своимъ геніальнымъ умомъ они провидятъ и вызываютъ это родственное зерно изъ-подъ толстой коры враждебной и чуждой имъ нечисти,—и зерно подъ ихъ могучимъ вліяніемъ растетъ, нечистая кора сохнетъ и отваливается. Въ такихъ случаяхъ въ началѣ дѣятельности личности ее связываетъ со средой фактически ничтожный перешеекъ, но въ немъ сплочено все, что есть въ средѣ лучшаго, способнаго къ развитію, способнаго составить изъ себя фундаментъ новаго историческаго фазиса. Великіе люди—люди будущаго. Но давать тонъ исторіи могутъ и люди прошедшаго. Еслибы личность могла дѣйствовать только на почвѣ лучшихъ силъ среды, то въ исторіи не было бы никакихъ зигзаговъ, никакихъ попятныхъ движеній. Исторія копитъ въ нѣдрахъ общества массу самыхъ разнообразныхъ инстинктовъ, интересовъ, стремленій, идей, расположенныхъ въ весьма сложномъ, запутанномъ порядкѣ, такъ что въ данную минуту на поверхность могутъ всплыть элементы и побочные, и отнюдь не представляющіе собой лучшихъ силъ среды, отнюдь не соотвѣтствующіе тому, что мы называемъ «требованіями времени». И однако ловкая личность можетъ, ухватившись за нихъ, имѣть успѣхъ, окрасить своимъ цвѣтомъ извѣстный, болѣе или менѣе продолжительный періодъ времени. Такая роль можетъ иногда придтись по плечу даже совсѣмъ дюжинной личности. Такъ Наполеонъ III опирался у себя дома на невѣжество крестьянъ, на воспоминанія первой имперіи, продажность отребьевъ французскаго общества, а въ Европѣ—на сочувствіе представителей покойнаго священнаго союза, которые изъ боязни революціи рѣшились допустить на французскій престолъ Бонапарта, въ противность договорамъ 1815 года. Кто посмѣетъ сказать, что исторія не оставила Франціи и Европѣ ничего, кромѣ этихъ элементовъ? А опираясь на нихъ, Наполеонъ могъ давать тонъ исторіи не только Франціи, а и всей Европы.

Великіе люди, люди будущаго являются въ такіе моменты исторіи, когда въ обществѣ есть элементы, способные къ развитію, но ихъ немного—если ихъ много, то нѣтъ мѣста величію личности. Вдохнувъ жизнь въ эти плодотворные элементы, давъ имъ толчокъ, люди будущаго тѣмъ самымъ кладутъ основаніе новому историческому фазису. Но эта грань можетъ быть обозначена другими явленіями и другими людьми. Наканунѣ неизбѣжнаго перелома отживающіе элементы, какъ бы предчувствуя свою смерть, выдвигаютъ людей, иногда очень даровитыхъ и энергическихъ, которымъ удается сплотить все ветхое, придать ему страшную силу и, пустивъ въ изумленный міръ этою ужасающею глыбой, запрудить на время теченіе исторіи. Эти люди прошедшаго просто пьянѣютъ отъ своего успѣха, ихъ дерзость не знаетъ границъ, и чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Но это предсмертныя усилія отживающихъ элементовъ среды. Мухи осенью, передъ смертью, какъ извѣстно, особенно кусливы. Незадолго до паденія римской имперіи императоры стали называть себя богами. Метафизика наканунѣ своей смерти выставила Гегеля. Наканунѣ революціи абсолютизмъ во Франціи выросъ до Людовика XIV. Папская непогрѣшимость и нынѣшняя война—какіе это признаки?

Когда намъ указываютъ на какую-нибудь энергическую, вліятельную личность, какъ на кандидата въ великіе люди, надлежитъ разсмотрѣть во-первыхъ, какіе элементы въ окружающей средѣ дали личности точку опоры, съ которой она получила возможность вліять на ходъ событій? во-вторыхъ, что можетъ принести съ собой вліяніе этой личности на такія стороны жизни, которыя въ настоящую минуту отступаютъ почему-нибудь на задній планъ, но составляютъ, быть можетъ, стороны наиболѣе существенныя? въ-третьихъ, каковы цѣли и средства личности? Понятно какіе отвѣты должны получиться, если личность имѣетъ право на мѣсто въ Пантеонѣ. Мы снимемъ передъ ней шапки и за разлитую ею массу свѣта простимъ тѣ слабости, частныя ошибки, увлеченія, пятна на личномъ характерѣ, безъ которыхъ не обходятся и великіе люди. Трудно судить Манлія въ виду Капитолія, какъ выразился Маколей, говоря о Бэконѣ.

Гдѣ Капитолій графа Бисмарка?

Въ единствѣ Германіи, хоромъ отвѣчаютъ нѣмцы.

Когда наши славянофилы толкуютъ о гніеніи Запада, о его насильственности или другомъ какъ либо непохвальномъ качествѣ, общемъ всей западной Европѣ за все время ея существованія, то они сами не знаютъ, что говорятъ. Европа прошла нѣсколько ступеней развитія, пережила не одинъ историческій фазисъ, изъ которыхъ каждый оставилъ по себѣ болѣе или менѣе глубокій слѣдъ и до сихъ поръ имѣетъ своихъ представителей. Такъ что неомраченному взгляду историка Европа представляетъ чрезвычайно пеструю картину, въ которой каждый можетъ найти себѣ что-нибудь по сердцу и что-нибудь такое, отъ чего его, какъ говорится, съ души воротитъ. Въ этой картинѣ можно усмотрѣть три главныя историческія напластованія, представляющіяся намъ въ такомъ видѣ: 1) абсолютизмъ, теологія, война, владычество крупнаго землевладѣнія; 2) конституціонная монархія, метафизика и цеховая эрудиція, биржа, владычество капитала; 3) наука и право и обязанность труда. Мы ставимъ эту схему афористически, не имѣя возможности предаться здѣсь развитію доказательствъ, которыя отвлекли бы насъ отъ графа Бисмарка за тридевять земель въ тридесятое царство. Читателю придется повѣрить намъ пока на слово. Было время, когда первая историческая формація представляла не только господствующій, а и почти единственный слой. Тогда все въ ней было тѣсно сплочено, она представляла нѣчто чрезвычайно плотное и устойчивое. Война составляла жизнь народовъ, она была средствомъ существованія, лежала въ нравахъ, соотвѣтствовала вѣрованіямъ. Неограниченная власть вождя, вызванная потребностями времени, сама питала этотъ военный духъ, и католическая церковь благословляла воиновъ на брань. Вслѣдствіе этой компактности и однородности соціальной системы, дѣйствовать въ духѣ времени было легко: личные интересы людей, управлявшихъ машиною, не раздваивались, не шли въ разрѣзъ съ какими бы то ни было достаточно сильными соціальными элементами. Но вотъ мало-по-малу процессъ исторіи сталъ вырабатывать новыя силы, уже не укладывавшіяся въ рамки первой формаціи. Историческія волны тамъ расшатали чувства, которыми держалась эта формація, здѣсь подмыли ея теоретическія основы, въ третьемъ мѣстѣ пробили брешь въ сферѣ интересовъ. Цѣльная ткань средневѣковой жизни разорвалась. Машинистамъ пришлось поступаться то этою, то другою составною частью машины, чтобы удержать остальное. Положеніе стало гораздо труднѣе. Оно стало еще труднѣе, когда началъ осѣдать третій историческій слой, когда пришлось бороться не только съ парламентаризмомъ, съ биржей, съ капиталомъ, съ метафизикой, но еще принимать въ соображеніе науку и народный трудъ и ихъ распрю съ предыдущей формаціей. Роль политическаго дѣятеля, желающаго идти, такъ сказать, нога въ ногу съ исторіей, соображаться съ общимъ ходомъ идей и событій, очевидна: онъ долженъ всемѣрно расчищать дорогу правильной организаціи народнаго труда и торжеству науки. Но не говоря уже о практическихъ трудностяхъ этой задачи, ее можетъ себѣ поставить только человѣкъ, понимающій смыслъ исторіи и не отвлекаемый отъ задачи своимъ личнымъ положеніемъ или своими личными симпатіями и антипатіями. Во всякомъ случаѣ движеніе исторіи въ такой мѣрѣ сильно, что большинство европейскихъ правительствъ давно уже сдѣлало извѣстныя уступки вторичной формаціи—формаціи либерализма и биржи. Каковы бы ни были результаты всеобщей подачи голосовъ во Франціи, но, какъ принципъ, она представляетъ большую уступку, точно такъ-же какъ и французскій и прусскій парламентаризмъ, хотя они составляютъ фактически только очень прозрачную модную одежду, сквозь которую просвѣчиваютъ формы абсолютизма. Правительства большинства европейскихъ государствъ давно увлечены роковымъ ходомъ исторіи и замѣнили свои старыя военныя задачи мирными: развитіемъ промышленности и науки, поскольку онѣ не выходятъ изъ предѣловъ вторичной формаціи. Существенный интересъ этой формаціи есть миръ, миръ во что бы то ни стало, хотя бы и позорный, за вычетомъ тѣхъ исключительныхъ случаевъ, когда война служитъ интересамъ рынка. Войны ведутся и нынѣ—теперь указывать на этотъ фактъ даже нѣсколько смѣшно—но во-первыхъ, и императоръ Наполеонъ, и императоръ Вильгельмъ одинаково торопятся заявлять, что «имперія—это миръ»; во-вторыхъ, ни одна война не предпринимается ради славы и величія монарха, то есть война предпринимается и нынѣ въ большинствѣ случаевъ ради этой цѣли, но она не смѣетъ явиться въ такомъ голомъ видѣ: она драпируется разными національными мотивами. Изыскивать ихъ составляетъ существенную задачу людей, желающихъ и надѣющихся если не реставрировать древнѣйшую историческую формацію во всемъ ея объемѣ—задача невозможная,—то, по крайней мѣрѣ, отчасти раздуть тлѣющіе подъ пепломъ угли. Вошло почти въ поговорку, что Наполеонъ III затѣвалъ войны для отвлеченія вниманія общества отъ внутреннихъ дѣлъ. Но это относится не къ одному Наполеону, и графъ Бисмаркъ, какъ замѣчательный фехтмейстеръ, инстинктивно чувствуетъ, что центръ тяжести его дѣятельно-

сти долженъ лежать въ иностранной политикѣ. Поразительная законченность его психической физіономіи, полная приспособленность къ принятой имъ на себя роли сказывается въ томъ отвращеніи, которое онъ питаетъ къ внутреннимъ дѣламъ. Онъ ищетъ дѣятельности исключительно въ иностранной политикѣ по такому же инстинкту, по какому паукъ никогда не ошибется въ направленіяхъ и точкахъ пересѣченія своихъ тенетъ. Паукъ дѣйствуетъ безсознательно, инстинктивно и потому никогда не пытается расширить сферу своей дѣятельности, но за то и не рискуетъ залѣзть выше своей сферы. Такъ и Бисмаркъ. Онъ сторонится отъ внутреннихъ дѣлъ всѣмъ существомъ своимъ: онъ и не хочетъ, и не можетъ ими заниматься, и не долженъ, если хочетъ добиться своей цѣли. Дѣйствительно, въ Пруссіи, какъ и во всѣхъ другихъ европейскихъ государствахъ, служить дѣлу абсолютизма непосредственно, дома—трудно. Когда палата депутатовъ отказалась вотировать военный бюджетъ и ссылалась на свои конституціонныя права, Бисмаркъ собственно ничего не нашелся возразить, кромѣ своей старинной и очень нехитрой пѣсни: «Этого рода вопросы права—говорилъ онъ—рѣшаются не теоріями, а постепенною государственно-правовою практикою». Это былъ очень скудный, очень жалкій аргументъ, это не былъ даже аргументъ. Но ничего иного Бисмаркъ, какъ ловкій фехтмейстеръ, не могъ сказать. Поддержать требованія правительства какими-нибудь теоретическими доводами Бисмаркъ не могъ, какъ по своей неспособности къ нимъ, такъ и по ихъ неумѣстности. Требованія правительства были таковы, что подъ нихъ нынѣ уже и невозможно подвести какой-нибудь правовой фундаментъ. Время, когда это было возможно, когда первичная формація представляла собою нѣчто цѣльное, когда она имѣла свои теоріи—прошло безвозвратно. Нынѣ она можетъ жить исключительно практикою, насиліемъ. Бисмаркъ не задумался обойтись безъ согласія палаты, но долго тянуть такое открытое нарушеніе конституціи было неудобно. Конституція, если не какъ сила, то какъ декорумъ, была нужна ему самому. Постоянныя столкновенія съ палатой, ссоры, взаимное раздраженіе—изо всего этого составляется до такой степени непріятная перспектива, что Бисмаркъ долженъ былъ практически убѣдиться въ трудности непосредственнаго служенія абсолютизму. Онъ не отказывался отъ парламентской борьбы, говорилъ дерзости депутатамъ, безъ сомнѣнія, принималъ участіе въ правительственныхъ мѣрахъ 1863 года противъ свободы печати, но онъ долженъ былъ видѣть, что этотъ путь не давалъ кому слѣдовало ни славы, ни величія. Совсѣмъ иной результатъ получился, когда Бисмаркъ, слѣдуя вѣрному чутью политическаго фехтмейстера, обратился къ косвенному пути. Какъ только Австрія была побѣждена, и нѣмцы увидѣли приближеніе единства Германіи, котораго они такъ долго и тщетно ждали, все было забыто и прощено; бюджетъ былъ одобренъ заднимъ числомъ, и все пошло, какъ по маслу: первичная формація высунулась впередъ. Нынѣ ея дѣла идутъ еще лучше. Небывалая война потрясаетъ Европу; изъ архивной пыли выкапывается германская императорская корона; слава и величіе короля прусскаго достигаютъ своего зенита; реакція открыто поднимаетъ голову; почтенные нѣмецкіе ученые въ родѣ Дюбуа-Реймона, Зибеля, Штрауса дурѣютъ, Европа превращается въ ежа со стальными щетинами, такое мирное государство, какъ Швеція, вытягиваетъ свой военный бюджетъ; такія столицы, какъ Римъ, обращаются въ крѣпости; такое человѣколюбивое правительство, какъ русское, принуждено, скрѣпя сердце, говорить, что «для установленія необходимаго равновѣсія силъ мы должны достигнуть, чтобы своевременное подкрѣпленіе полевыхъ войскъ и возмѣщеніе въ нихъ потерь (которыя, при нынѣшнихъ способахъ веденія войны, могутъ быстро достигать весьма большихъ размѣровъ), были надежнымъ образомъ обезпечены» (всеподданнѣйшій докладъ военнаго министра о преобразованіи военной повинности).

И все это сдѣлалъ одинъ человѣкъ? Нѣтъ, но онъ далъ всему этому толчокъ, и въ этомъ смыслѣ молва права, называя австрійскую войну войною одного человѣка, а сѣверо-германскую конституцію конституціей, созданной однимъ человѣкомъ для одного человѣка.

Первичной формаціи не жить. Это говорятъ законы исторіи, опредѣляющіе *порядокъ* историческихъ напластованій. Но *скорость*, съ какою извѣстные историческіе элементы выходятъ на сцену и сходятъ съ нея, обусловливается личными усиліями дѣятелей. Иногда одного человѣка бываетъ достаточно, чтобы вдохнуть на болѣе или менѣе продолжительное время жизнь въ издыхающія силы. Въ новѣйшее время два человѣка взялись за эту неблагодарную задачу: Наполеонъ III во Франціи и Бисмаркъ въ Германіи. Оба они одного поля ягоды, хотя одинъ молчаливъ, а другой болтливъ, одинъ писалъ много объ «идеяхъ», которыхъ не имѣетъ, другой не написалъ объ нихъ ни строчки, но тоже ихъ не имѣетъ. Оба они политическіе фехтмейстеры, т. е. люди, не руководящіеся въ своихъ дѣйствіяхъ «ни религіей, ни пра-

вомъ, ни наукой и вѣрящіе только въ искусство» (см. эпиграфъ); люди, не имѣющіе никакихъ принциповъ и теорій, неспособные къ критикѣ и неимѣющіе понятія о требованіяхъ времени и завтрашнемъ днѣ; люди, занятые исключительно своимъ личнымъ дѣломъ. Одинъ изъ нихъ палъ, палъ позорно и навсегда, хоть, можетъ быть, и попытается еще опереться на руку своего торжествующаго коллеги. Другой находится на вершинѣ славы, съ которой, однако, рано или поздно слетитъ. Отчего такая разница въ судьбахъ этихъ фехтмейстеровъ?

Во-первыхъ оттого, что Наполеонъ III слабѣе, какъ фехтмейстеръ; ему недостаетъ ни рѣшительности, ни ограниченности кругозора Бисмарка. Во-вторыхъ оттого, что одному пришлось дѣйствовать во Франціи, а другому въ Германіи. Вслѣдствіе особенной быстроты, съ какою сравнительно съ другими странами живетъ Франція, въ ней труднѣе чѣмъ гдѣ-нибудь надолго вызвать къ жизни первичную формацію. Тамъ колеблется уже и формація биржи и либерализма, и поистинѣ удивительно то ослѣпленіе, съ которымъ Наполеонъ надѣялся укрѣпить свою династію. Въ этомъ отношеніи положеніе Бисмарка несравненно выгоднѣе. Въ то время, какъ Наполеону приходилось ссылать десятки тысячъ народу въ Кайенну и держать административную машину въ постоянномъ напряженіи, Бисмаркъ могъ спокойно говорить въ вышеупомянутой бесѣдѣ съ французскимъ журналистомъ: «правительство не боится неудовольствія. Наши революціонеры не такъ страшны. Ихъ враждебность разрѣшается, главнымъ образомъ, руганью на министровъ, а къ королю они чувствуютъ почтеніе... Пруссакъ, получившій рану на баррикадѣ, будетъ изображать изъ себя очень печальную фигуру, и жена обзоветъ его дома сумасшедшимъ; но солдатъ онъ превосходный и дерется какъ левъ за честь страны». Однажды кто-то изъ депутатовъ пригрозилъ министерству возстаніемъ. Товарищъ Бисмарка, военный министръ фонъ-Роонъ спокойно обвелъ глазами оппозиціонныя скамьи и сказалъ: «я вижу здѣсь много честныхъ и почтенныхъ лицъ, но ни одно изъ нихъ не внушаетъ мнѣ страха». И Наполеонъ, и Бисмаркъ одинаково нуждаются въ отдушинахъ иностранной политики, одинаково должны искать предлоговъ для войны. Но никакая военная задача, представляющая какую-нибудь тѣнь практичности, не лежитъ передъ Франціей. Такихъ задачъ приходилось искать въ Мексикѣ, въ Китаѣ, и только итальянская кампанія пользовалась дѣйствительнымъ сочувствіемъ Франціи, но вести цѣлый рядъ подобныхъ войнъ было невозможно. Бисмарку предстояла, напротивъ, задача очевидная: объединеніе Германіи. Вопросъ это сложный, и мы его разбирать не будемъ. Замѣтимъ только одно. Нѣмцы любятъ сравнивать свое объединеніе съ объединеніемъ Италіи, тогда какъ о степени различія этихъ двухъ явленій можно судить уже по разницѣ между людьми, которые выдвинуты ими на первый планъ; тамъ Гарибальди и Кавуръ, здѣсь Бисмаркъ и Вильгельмъ. Нѣмцы вызываютъ также охотниковъ провести параллель между Кавуромъ и Бисмаркомъ. Это была бы, дѣйствительно, параллель любопытная, но не между дипломатами только, а между чистокровнымъ итальянскимъ буржуа и прусскимъ юнкеромъ. Объединяясь, Италія ссадила Бурбоновъ и сбросила чужеземное австрійское иго. Что подобнаго можетъ выставить объединяющаяся Германія? Эльзасъ и Лотарингію? Итальянское объединеніе имѣло передъ собой практическую, народную цѣль— свободу, а не славу и величіе савойскаго дома. Такую же практическую роль имѣли и нѣмцы въ 1848 году, когда рѣшили разъ навсегда покончить съ распрями и притязаніями своихъ князей и князьковъ: когда паны дерутся, у хохловъ чубы болятъ. Но Бисмарку удалось извратить эту цѣль, обратить ее въ фиктивную, не имѣющую ничего общаго съ интересами народа. Звукъ тотъ же, но смыслъ его совсѣмъ иной. Однако, возбудивъ невымершіе еще въ нѣмцахъ военные и всѣ другіе сродные съ ними инстинкты, заглушивъ противоположныя мысли и чувства, Бисмаркъ устроилъ дѣло такъ, что его соотечественники не нарадуются своему единству, между тѣмъ какъ оно сводится къ политическому и военному могуществу Германіи, т. е. германскаго императора. Въ то время, какъ Наполеону III приходилось довольствоваться въ тиши вождѣленіями чисто-литературнаго свойства и въ книгахъ производить себя въ Юліи Цезари, въ Германіи элементы первичной формаціи оказались настолько живучими, что дали цезарству фактическую почву. Идея германской имперіи есть идея всемірной монархіи. Не только австрійскія земли, не только остзейскія провинціи, не только нѣмецкіе кантоны Швейцаріи, которые находятся совершенно въ такомъ же положеніи, какъ Эльзасъ и Лотарингія, но вся Европа можетъ уложиться въ германскую имперію, ея власть признавали надъ собой иногда и англійскіе короли. Пища войнѣ и, слѣдовательно, славѣ и величію обезпечена надолго. Европа еще наглядится на кровь, наслышится стоновъ и пушечной пальбы. Уже прусскіе прогрессисты до такой степени увлеклись успѣхомъ, что проек-

тирують союзъ съ Австріей противъ славянства; уже Мольтке, какъ увѣряетъ одна англійская газета, составилъ планъ вторженія въ Англію. Что-то будетъ? Вѣрно то, что на нѣсколько десятковъ лѣтъ «прусская цивилизація», столь прельстившая нѣкоторыхъ нашихъ публицистовъ, окраситъ собою міръ. Однако, въ концѣ концовъ паденіе этой цивилизаціи есть вопросъ времени. Еще Талейранъ замѣтилъ, что штыками можно сдѣлать многое, но невозможно на нихъ сидѣть. Вопросъ только въ томъ, какъ и когда провалится дѣло Бисмарка. Быть можетъ, эту задачу исполнитъ коалиція европейскихъ государствъ; быть можетъ, съ Бисмаркомъ помѣряется презираемая имъ критика и другія болѣзни времени; быть можетъ, наконецъ, самого графа Бисмарка осѣнитъ какая-нибудь идея, какой-нибудь принципъ, какая-нибудь теорія. Разъ это случится,— фехтованью конецъ, а графъ Бисмаркъ только фехтмейстеръ.



Предисловіе къ книгѣ объ Иванѣ Грозномъ *).

Изъ всѣхъ несообразностей спиритическаго ученія самое, можетъ быть, поразительное, самое наглядное даже для любого профана состоитъ въ томъ, что медіумы заставляютъ вызванныхъ или матеріализованныхъ духовъ заниматься сущими пустяками. Вторгаться на ту сторону Стикса, тревожить тѣни великихъ или лично близкихъ и дорогихъ намъ покойниковъ, изводить ихъ изъ мѣстъ, идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе,—и для чего? Для того, чтобы они побарахтались въ какой нибудь грязной столешницѣ и простукали оттуда отвѣты на наши маленькіе или даже прямо глупые вопросы! Стоитъ того! Нѣтъ, уже если нарушать покой обитателей той страны, откуда никто не приходитъ, такъ пусть бы они повѣдали намъ что нибудь въ самомъ дѣлѣ цѣнное и значительное. Пусть они отвѣтятъ на тѣ *verdammte Fragen*, которые оказываются не по силамъ намъ, обремененнымъ плотью и кровью, ограниченнымъ условіями нашей тѣлесности. Скажутъ, можетъ быть, что тѣ же условія тѣлесности помѣшаютъ намъ и воспринять отвѣты на вопросы о коренныхъ тайнахъ бытія. Ну, пусть бы въ такомъ случаѣ вызванные духи раскрыли какую-нибудь неразгаданную, но вполнѣ доступную нашему пониманію историческую тайну; пусть явятъ образцы прекраснаго и высокаго въ искусствѣ, научатъ насъ, какъ жить, что дѣлать. Этого нѣтъ, однако. Всѣ до сихъ поръ вызванные духи, не смотря на свое всезнаніе, ничего не вложили въ сокровищницу нашей науки, искусства, политики морали, техники. Они откликаются съ того свѣта плохой и часто даже грамматически плохой прозой и еще болѣе плохими стихами и отвѣчаютъ господамъ спиритамъ на такіе вопросы, которые съ неменьшимъ удобствомъ могли бы быть разрѣшены при помощи гадальныхъ картъ или кофейной гущи. Нарушая для подобнаго вздора спокойствіе тѣхъ, кто честно заплатилъ свой оболъ Харону, убѣжденные спириты должны были бы испытывать жестокія угрызенія совѣсти, и я рѣшительно не понимаю того гордаго, почти наглаго спокойствія, съ которымъ совершаются эти преступленія. Въ самомъ дѣлѣ, допустите только на минуту возможность медіумическихъ явленій и представьте себѣ, что васъ самихъ послѣ вашей смерти заставятъ облечься во весь сброшенный вами тѣлесный покровъ *pour les beaux yeux* какихъ-то любопытствующихъ незнакомцевъ, дабы вы съиграли передъ ними на тамбуринѣ, повертѣли или приподняли столъ, развязали узелъ на веревкѣ, схватили за носъ г. А., отвѣтили на вопросы о количествѣ дѣтей у г-жи В., о возрастѣ г. С. и т. п. Что можетъ быть унизительнѣе для вызванныхъ умершихъ? что можетъ быть не только кощунственнѣе, но безсмысленнѣе со стороны вызывающихъ живыхъ?

Мы не спириты. Не медіумическимъ путемъ собираемся мы вызвать тѣнь историческаго лица, ярко и шумно отмѣтившаго собой важный моментъ въ исторіи своей страны. Грозный царь не явится передъ нами воочію, матеріализованный, и ничего намъ не простукаетъ. Но мы не возьмемъ на свою душу грѣха празднаго любопытства и не потревожимъ его памяти только для того, чтобы посмотрѣть, какой онъ такой былъ. Конечно, ему самому отъ этого ни

*) 1888 г.

тепло, ни холодно. Но, во-первыхъ, имѣя дѣло съ историческимъ лицомъ или фактомъ, поневолѣ вспоминаешь, что вѣдь и мы когда нибудь обратимся въ историческій матеріалъ и что, слѣдовательно, и намъ можетъ быть отмѣрено тою же мѣрою, которою мы другимъ мѣряемъ. А быть предметомъ празднаго любопытства совсѣмъ не весело. На то есть саженные великаны, аршинные карлики, двухголовые соловьи, сіамскіе близнецы, волосатыя «чуда костромскихъ лѣсовъ» и разные другіе, которые тѣмъ и живутъ, что на нихъ смотрятъ. Во-вторыхъ, если спириты кощунствуютъ, требуя, чтобы духъ какого-нибудь почтеннаго человѣка хваталъ участниковъ сеанса за носы или вертѣлъ передъ ними столъ, то они вмѣстѣ съ тѣмъ и себя унижаютъ: неужто же они такъ-таки и не могутъ предложить вызваннымъ духамъ ничего болѣе интереснаго и значительнаго?

Іоаннъ Грозный былъ предметомъ многихъ историческихъ изслѣдованій и поэтическихъ произведеній. Мы пересмотримъ все выдающееся въ этой обширной литературѣ, но прежде всего постараемся уяснить и оправдать свою задачу, опредѣлить наши цѣли и взвѣсить ихъ значеніе.

Психологія и особенно соціологія еще очень далеки отъ законченности. Низшія науки, вѣдающія болѣе простые вещи, чѣмъ психическая и общественная жизнь, имѣютъ въ своемъ распоряженіи цѣлый рядъ законовъ, то есть формулъ для постоянныхъ сочетаній явленій, находящихся въ предполагаемой причинной зависимости другъ отъ друга. Психологія и соціологія крайне бѣдны въ этомъ отношеніи. Фактовъ накоплено и ежедневно копится много, но ихъ взаимная связь и отношенія. на которыхъ должны быть построены законы ихъ сосуществованія и послѣдовательности, въ огромномъ большинствѣ случаевъ проблематичны и составляютъ предметъ горячихъ споровъ. Тѣмъ не менѣе, и непосредственныя наблюденія, и общій поступательный ходъ науки, научнаго міросозерцанія, убѣждаютъ насъ, что и здѣсь причины и слѣдствія идутъ другъ за другомъ съ тою же неизбѣжною послѣдовательностью, какъ и въ области, напримѣръ, астрономическихъ или химическихъ явленій. Пусть мы не знаемъ самыхъ законовъ, то есть не умѣемъ формулировать сосуществованіе и послѣдовательность въ той или другой группѣ явленій, но мы навѣрное знаемъ, что законосообразность господствуетъ и здѣсь, что и здѣсь никакая внѣшняя сила не въ состояніи отмѣнить или измѣнить извѣстное слѣдствіе, разъ дана соотвѣтственная причина. Это общее убѣжденіе—быть можетъ, драгоцѣннѣйшее изъ пріобрѣтеній человѣческаго разума — распространилось съ замѣчательною послѣдовательностью (которая сама подлежитъ, такъ сказать, кодификаціи и уже кодифицирована), начиная съ наиболѣе общихъ и простыхъ явленій, математическихъ, гдѣ уже очень рано обозначились такъ-называемыя аксіомы, и кончая наиболѣе сложными—психологическими и соціологическими, въ которыхъ мы и до сихъ поръ слишкомъ часто бродимъ въ совершенныхъ потемкахъ. Эта запоздалость психологіи и особенно соціологіи зависитъ, во-первыхъ, отъ крайней сложности явленій, съ которыми эти науки имѣютъ дѣло, а во-вторыхъ, отъ того, что изучающій субъектъ является здѣсь вмѣстѣ съ тѣмъ объектомъ изученія и потому вноситъ въ свою работу субъективный элементъ любви и ненависти, надежды и отчаянія, вообще страсти. Каковы бы однако ни были причины поздняго выхода высшихъ наукъ на истинно-научный путь, въ принципѣ выходъ этотъ не подлежитъ уже никакому сомнѣнію.

Примѣняя эту точку зрѣнія къ нашей темѣ, надо разсуждать слѣдующимъ образомъ: Іоаннъ Грозный былъ продуктомъ такихъ-то условій его личной жизни и такихъ-то соціологическихъ условій выдвинувшаго его историческаго момента,—органическихъ особенностей, полученныхъ наслѣдственно и пріобрѣтенныхъ съ момента зачатія, далѣе—вліяній воспитанія, среды, общественнаго положенія и проч. Все это связалось въ одну цѣпь или, лучше сказать, въ одну многосложную сѣть, каждая петля которой неразрывно связана съ сосѣдними. Каждый поступокъ Іоанна, каждое его побужденіе есть неизбѣжное слѣдствіе предыдущихъ явленій и неизбѣжная причина послѣдующихъ. Съ этой точки зрѣнія нѣтъ мѣста ни хвалѣ, ни порицанію. Надлежитъ, по выраженію Спинозы, не плакать и не смѣяться, а понимать. Историкъ сдѣлаетъ свое дѣло, если будетъ работать подобно пушкинскому Пимену, какъ эта работа представляется Григорію Отрепьеву:

Спокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва.

Понятно, что историкъ долженъ усвоить только психологическій характеръ лѣтописца-отшельника, его безстрастный, спокойный тонъ, оплодотворивъ его всею доступною въ наше время эрудиціей и съ помощью этой эрудиціи «изслѣдуя всѣхъ вещей дѣйства и причины». И это будетъ идеальное историческое изслѣдованіе: жизнь Грознаго встанетъ передъ нами во всѣхъ своихъ подробностяхъ и во всей неизбѣжности каждой, даже мельчай-

шей изъ этихъ подробностей,—онъ будетъ понятъ, объясненъ.

Таковъ блестящій результатъ историческаго изслѣдованія съ точки зрѣнія, которую мы здѣсь для краткости будемъ называть точкою зрѣнія чистаго разума. Какъ ни соблазнителенъ этотъ результатъ, мы за нимъ однако, не погонимся. Не погонимся прежде всего потому, что онъ недостижимъ, и по разнымъ причинамъ недостижимъ.

Напрасно стали бы мы искать историка, который не то что до конца довелъ бы эту задачу, а хотя бы выдержалъ только самый приступъ къ ней. Даже Пименъ не былъ такъ безстрастно спокоенъ, какъ это казалось сначала Григорію Отрепьеву. Онъ писалъ, по его собственнымъ словамъ,—

Да вѣдаютъ потомки православныхъ
Земли родной минувшую судьбу,
Своихъ царей великихъ поминаютъ
За ихъ труды, за славу, за добро.
А за грѣхи, за темныя дѣянья
Спасителя смиренно умоляютъ.

Смиренный инокъ и не можетъ, разумѣется, иначе разсуждать, но это во всякомъ случаѣ не «равнодушное вниманіе добру и злу». А когда смиренный инокъ отнюдь не безстрастнымъ языкомъ разсказалъ будущему самозванцу про углицкую драму, тотъ понялъ, наконецъ, характеръ и значеніе лѣтописи Пимена, понялъ, что «жалость и гнѣвъ» очень доступны лѣтописцу и еще болѣе доступны его читателямъ:

Борисъ, Борисъ! все предъ тобой трепещетъ,
Никто тебѣ не смѣетъ и напомнить
О жребіи несчастнаго младенца,
А между тѣмъ отшельникъ въ темной кельѣ
Здѣсь на тебя доносъ ужасный пишетъ,
И не уйдешь ты отъ суда мірского,
Какъ не уйдешь отъ Божьяго суда.

Если таковъ результатъ простыхъ мемуаровъ монаха, отрекшагося отъ жизни со всѣми ея треволненіями, то тѣмъ паче слѣдуетъ его ожидать отъ историческаго труда какого нибудь мірского человѣка. И дѣйствительно, нравственный судъ съ положительнымъ или отрицательнымъ вердиктомъ, т. е. съ хвалою или порицаніемъ, фактически является спутникомъ всѣхъ историческихъ изслѣдованій, въ томъ числѣ, разумѣется, и тѣхъ, которыя занимаются Иваномъ Грознымъ. Конечно, это еще не рѣшаетъ вопроса въ принципѣ. Изъ того, что до сихъ поръ чего-нибудь не было и нѣтъ, еще не слѣдуетъ, что и напредки этого не будетъ и быть не можетъ. Вторженіе субъективнаго элемента хвалы и порицанія есть можетъ быть показатель недостаточной дисциплины человѣческаго ума, временной, преходящей слабости, которая по мѣрѣ расширенія научнаго горизонта и укрѣпленія точки зрѣнія чистаго разума исчезнетъ. На это разсчитывали и разсчитываютъ цѣлыя школы. Таковъ въ области науки позитивизмъ, который, по словамъ его великаго основателя, «не восхищаясь политическими фактами и не осуждая ихъ, видитъ въ нихъ только простые предметы наблюденія и разсматриваетъ каждое явленіе съ двоякой точки зрѣнія — его гармоніи съ сосуществующими фактами и его связи съ предшествующими и послѣдующими состояніями человѣческаго развитія». Таковъ въ области искусства прошумѣвшій не такъ давно «золаизмъ», мечтавшій или болтавшій о томъ, что искусство не должно «ни одобрять, ни негодовать», а надлежитъ ему писать «протоколы», собирать «человѣческіе документы», заниматься «научнымъ анализомъ» и «экспериментальнымъ методомъ». Мы не будемъ, однако, останавливаться на этомъ забавномъ явленіи, которое уже отцвѣло, не успѣвши расцвѣсть. Роль чувства—хотя бы даже только эстетическаго—слишкомъ ярка въ искусствѣ, чтобы стоило доказывать невозможность для него утвердиться на точкѣ зрѣнія чистаго разума. Въ совершенно иномъ, повидимому, положеніи находится позитивизмъ и другія философскія и научныя доктрины, пытающіяся обосновать точку зрѣнія чистаго разума. Здѣсь недоразумѣніе отнюдь не столь явно бьетъ въ глаза. Для его выясненія надо или доказать, что въ самой доктринѣ заключается коренное внутреннее противорѣчіе, подтачивающее все зданіе, или убѣдиться въ томъ, что въ самой природѣ человѣка есть нѣчто, противящееся послѣдовательно, до конца проведенному безстрастному объективизму. И то, и другое не представляетъ, кажется, особенныхъ трудностей.

По преходящей ли слабости мало дисциплинированнаго ума, или по какому-нибудь основному требованію человѣческой природы, а наши историки во всякомъ случаѣ не только изучаютъ, а кромѣ того еще хвалятъ, порицаютъ, вообще судятъ. Съ точки зрѣнія чистаго разума, этотъ судъ есть нѣчто неправильное, незаконное, потому что какъ же хвалить или порицать неизбѣжное слѣдствіе столь же неизбѣжныхъ въ свою очередь причинъ? Сдѣлавъ въ этомъ направленіи еще нѣсколько логическихъ шаговъ, можно, пожалуй, дойти до образа дѣйствія Ксеркса, который высѣкъ море, помѣшавшее его предпріятію. Съ другой стороны, однако, нравственный судъ, произносимый историкомъ, есть такой же фактъ, какъ и всѣ другіе,— онъ есть въ каждомъ данномъ случаѣ неизбѣжное слѣдствіе неизбѣжныхъ причинъ; онъ существуетъ, потому что долженъ существовать, не можетъ не существовать. Какъ же

его порицать? И наоборотъ, если вполнѣ объективныхъ, безстрастныхъ, скажемъ—безсудныхъ изслѣдованій нѣтъ, такъ значитъ ихъ, по крайней мѣрѣ при данныхъ обстоятельствахъ, и не могло быть. Призывая къ нравственному суду, ну хоть напримѣръ Ивана Грознаго, изслѣдователь неправъ съ точки зрѣнія чистаго разума. Но вѣдь и сама эта точка зрѣнія очевидно неправа, очевидно впадаетъ въ противорѣчіе, осуждая за это изслѣдователя. Ошибается ли онъ, или излагаетъ истину, или съ злостными цѣлями извращаетъ ее, клевещетъ ли на историческое лицо, или воздаетъ ему заслуженную и незаслуженную хвалу, онъ столь же мало подлежитъ за это одобренію или хулѣ, какъ и самъ Иванъ Грозный за свои дѣянія. Ибо вѣдь онъ, этотъ изслѣдователь, есть, говоря словами Конта, «предметъ наблюденія», и разсматривать его надо только «съ двоякой точки зрѣнія—его гармоніи съ сосуществующими фактами и его связи съ предшествующими и послѣдующими». Самый страстный и самый заблуждающійся изслѣдователь находится несомнѣнно въ гармоніи съ сосуществующими фактами и въ связи съ предшествующими и послѣдующими. Иначе и быть не можетъ; это утверждаетъ сама доктрина. И ясно, что доктрина, страдающая такимъ присущимъ ей внутреннимъ противорѣчіемъ, не можетъ быть надежной руководительницей. Неудивительно поэтому, что люди, если можно такъ выразиться, замахивающіеся занять вполнѣ объективную позицію, приличествующую точкѣ зрѣнія чистаго разума, на дѣлѣ постоянно отъ нея уклоняются въ разныя стороны.

Полемизируя противъ одного художественнаго воспроизведенія личности Грознаго, г. Бестужевъ-Рюминъ говоритъ:

«Лицо Ивана Васильевича Грознаго весьма сложно, и судить о немъ можно только перенесясь съ достаточною ясностью въ ту эпоху, въ которой онъ жилъ; представляя себѣ извѣстное историческое лицо, мы должны его окружить условіями и понятіями его времени, а не переносить въ наше время, нашу эпоху... Безъ сомнѣнія легко вывести на сцену мелодраматическаго героя, заставить его совершать страшныя злодѣянія, поражать вниманіе зрителей, но трудно, очень трудно взглянуть въ глубину психологическаго состоянія лица, понять трагедію, совершающуюся въ немъ и *неизбѣжно являющуюся результатомъ его психическаго настроенія и окружающей среды*. Вотъ что, мнѣ кажется, упущено совершенно изъ вниманія при представленіи характера царя Ивана Васильевича и его эпохи» («Нѣсколько словъ по поводу поэтическихъ воспроизведеній характера Іоанна Грознаго». «Заря» 1871 года, № 2).

Костомаровъ, въ рѣчи «О значеніи критическихъ трудовъ Константина Аксакова по русской исторіи» (Спб., 1861), лучшія страницы которой (рѣчи) посвящены Грозному, замѣчаетъ, что:

«для историка не должно существовать въ прошедшемъ «хорошо» или «худо», по современнымъ понятіямъ. Ничто такъ не вредитъ уразумѣнію исторической истины, какъ то, когда историкъ, изслѣдуя или описывая прошедшее, увлекается сочувствіемъ къ тому, что происходитъ вокругъ него, или съ намѣреніемъ думаетъ, что прошедшее наведетъ читателя на что нибудь современное. Объективность взгляда — первое условіе къ достиженію исторической истины. *Одна истина, безотносительная, неподкупная никакими побужденіями, отыскиваемая безъ всякой другой цѣли, кромѣ ея созерцанія, должна занимать его*, и если ему скажутъ то, что говоритъ чернь поэту въ извѣстномъ стихотвореніи Пушкина: «давай намъ смѣлые уроки, а мы послушаемъ тебя»,—онъ не долженъ внимать этому соблазнительному голосу».

Въ обѣихъ этихъ тирадахъ смѣшаны очень различныя вещи. Обратимъ сначала вниманіе на слѣдующій выразительный фактъ. Г. Бестужевъ-Рюминъ и Костомаровъ не мимоходомъ какъ-нибудь останавливаются на Грозномъ, а, напротивъ того, особенно интересуются его личностью и не разъ возвращаются къ ней въ разныхъ своихъ сочиненіяхъ. Оба они—люди компетентные, добросовѣстные; оба пользуются одними и тѣми же источниками; оба ищутъ истины и только истины. Однако, эта истина не дается имъ, по крайней мѣрѣ, одному изъ нихъ не дается, потому что, какъ увидимъ въ свое время, болѣе рѣзкаго контраста, чѣмъ какой представляютъ собою сужденія Костомарова и Бестужева-Рюмина о Грозномъ,—нельзя и выдумать. Если сужденіе Костомарова приближается къ истинѣ, то сужденіе г. Бестужева-Рюмина должно быть признано грубымъ заблужденіемъ, и наоборотъ. Контрастъ этотъ такъ великъ, что его никоимъ образомъ нельзя приписать разницѣ въ степени проницательности или, вообще, въ природныхъ дарованіяхъ двухъ историковъ. Тѣмъ болѣе, что обоимъ имъ были извѣстны мнѣнія противника, между ними происходили даже легкія полемическія схватки, и однако никому изъ нихъ не удалось убѣдить противника въ *своей* истинѣ. Значитъ ища объективной истины и только ея, можно всетаки просмотрѣть ее, Значитъ, далѣе, можно совершенно добросовѣстно утверждать, что я, дескать, ищу «безотносительной истины безъ всякой другой цѣли, кромѣ ея созерцанія», или изслѣдую только «неизбѣжные результаты психическаго настроенія и окружающей среды», и въ то же время на дѣлѣ вводить въ свое изслѣдованіе нѣкоторый субъективный элементъ. Потому что объективная истина одна, а пониманіе добра и зла, къ сожалѣнію, многообразно, и только разностью этого пониманія и можетъ быть объяснена разница въ сужденіяхъ нашихъ историковъ о Грозномъ.

Оба цитированные ученые, несмотря на свои разговоры объ неизбѣжности и объективности и даже въ прямое противорѣчіе съ этими разговорами, допускаютъ нравственный судъ надъ историческимъ лицомъ. Они требуютъ только, чтобы этотъ судъ принималъ во вниманіе обстоятельства времени и мѣста и не произносилъ своего вердикта съ точки зрѣнія нашихъ нынѣшнихъ понятій о добрѣ и злѣ. Это—совершенно справедливое требованіе. Если житейская практика выработала основное правило, въ силу котораго никакой законъ не имѣетъ обратнаго дѣйствія, то тѣмъ паче не приличествуетъ человѣку науки, теоріи судить прошедшее съ точки зрѣнія принциповъ, народившихся позже! Но изъ этого еще отнюдь не слѣдуютъ тѣ дальнѣйшіе выводы, къ которымъ пришли наши историки. На картинной фигурѣ Ивана Грознаго въ этомъ убѣдиться, можетъ быть, легче, чѣмъ на какомъ-бы то ни было другомъ историческомъ матеріалѣ.

Извѣстно, что Грозный царь время отъ времени предавался глубокому раскаянію въ своихъ поступкахъ. Пусть это раскаяніе, часто принимавшее выразительныя формы публичнаго покаянія и аскетической практики, было скоропреходяще, пусть оно осложнялось нѣкоторою театральностью, актерствомъ, но несомнѣнно, что совѣсть грызла царя. Спрашивается, какъ надо отнестись къ этому факту съ точки зрѣнія чистаго разума? Конечно, такъ-же, какъ и ко всякому другому, то-есть надо опредѣлить отношеніе угрызеній совѣсти къ фактамъ существующимъ, предшествующимъ и послѣдующимъ, формулировать неизбѣжность этого факта въ ряду другихъ. Но угрызенія совѣсти представляютъ собою не что иное, какъ мучительное сознаніе, что угрызающійся могъ бы поступать не такъ, какъ онъ въ дѣйствительности поступалъ, то-есть, что извѣстный поступокъ былъ не неизбѣженъ. Пусть это иллюзія и правъ Спиноза, говоря, что еслибы камень обладалъ сознаніемъ, то, падая по непреложному закону тяжести на землю, тоже думалъ бы, что онъ свободно избралъ это направленіе. Это вѣрно. Но именно потому, что это вѣрно, историкъ, переносясь, какъ справедливо требуютъ цитированные ученые, мысленно въ эпоху Грознаго, переживая, такъ сказать, шагъ за шагомъ его жизнь, долженъ будетъ пережить и состояніе ущемленной совѣсти, а, слѣдовательно, и сознаніе, что тотъ или другой поступокъ былъ отнюдь не неизбѣженъ. Убійство, положимъ, царевича Ивана было съ точки зрѣнія чистаго разума неизбѣжно, какъ и все когда-либо и гдѣ-либо совершившееся. Этотъ страшный фактъ имѣлъ свои причины и находился въ полномъ соотвѣтствіи съ фактами единовременными и предшествовавшими. Грознаго царя мучила, однако, совѣсть за это убійство, онъ не могъ признать его неизбѣжность, не прощалъ его себѣ, и если мы, стремясь понять, только понять, но непремѣнно понять Грознаго, оставимъ его безъ нравственнаго суда, то это будетъ яснымъ свидѣтельствомъ, что мы именно не поняли его. Онъ самъ уличилъ бы насъ въ этомъ, если бы могъ явиться передъ нами.

Таковы подводные камни логическихъ противорѣчій, которые встрѣчаетъ точка зрѣнія чистаго разума при своемъ примѣненіи къ людскимъ дѣламъ. Трудности эти увеличиваются еще тѣмъ обстоятельствомъ, что, какъ бы далеко ни ушла впередъ наука, мы никогда не будемъ въ состояніи возстановить нѣкоторыя существенно важныя черты вліяній, обусловившихъ характеръ того или другого историческаго лица. Напримѣръ, все, что касается момента зачатія и утробной жизни Ивана Грознаго, конечно, всегда останется тайной для насъ, хотя бы наука овладѣла въ будущемъ даже могущественнѣйшими средствами влiять на утробную жизнь младенца. А между тѣмъ, кто знаетъ, можетъ быть та или другая подробность этого періода жизни играла столь важную роль во всей исторіи Іоанна, что безъ нея всѣ попытки внести начало закономѣрности въ его біографію должны уподобиться зданію, построенному на песцѣ.

Все это отнюдь не колеблетъ основныхъ положеній, на которыхъ покоится точка зрѣнія чистаго разума, да они и не могутъ быть поколеблены, потому что составляютъ фундаментъ науки вообще. Но рядомъ съ задачами разума и потребностью знанія стоятъ задачи чувства и потребность нравственнаго суда. Человѣческая природа такъ устроена, что самый процессъ удовлетворенія какой-нибудь потребности вызываетъ новую потребность, столь же настоятельно требующую насыщенія. Самый процессъ дыханія, т. е. удовлетворенія первой и элементарнѣйшей потребности, вызываетъ потребность питанія. Точно также, едва возникаютъ передъ нами изъ дали временъ еще блѣдныя, слабыя очертанія историческаго лица, едва мы начинаемъ узнавать его, какъ уже вторгается потребность нравственной оцѣнки и властно требуетъ своего удовлетворенія. Происходящій при этомъ конфликтъ есть не что иное, какъ одна изъ формъ установленной еще Кантомъ антиноміи началъ необходимости и свободы воли. Человѣкъ всегда жилъ, живетъ и будетъ жить подъ давленіемъ желѣзныхъ законовъ, безъ которыхъ ни одинъ волосъ не упадетъ

съ головы его и самъ онъ не сдѣлаетъ ни единаго шага. Но ему всегда казалось, кажется и будетъ казаться, что онъ до извѣстной степени свободно выбираетъ жизненные пути. Въ высшей инстанціи отвлеченной мысли эта антиномія неразрѣшима,—свобода выбора есть иллюзія, но неизбѣжная. Какъ бы прочно ни установилась въ общемъ сознаніи законность точки зрѣнія чистаго разума и какъ бы далеко не подвинулась впередъ объективная наука, «изслѣдуя всѣхъ вещей дѣйства и причины», чувство отвѣтственности и потребность нравственнаго суда исчезнуть не могутъ.

Tout comprendre, c'est tout pardonner—гласитъ великодушная формула не французскаго происхожденія, но получившая популярность на французскомъ языкѣ. Не говоря однако о томъ, что прощать не значитъ отказываться отъ различенія добра и зла и отъ усвоенія вещи ея имени, *tout comprendre* есть дѣло невозможное. И не только потому, что невозможно вполнѣ точное, детальное знаніе обстоятельствъ чьей бы то ни было жизни: этого рода пробѣлы мысль наша еще въ состояніи, можетъ быть, пополнить или перескочить черезъ нихъ. Но можно съ увѣренностью сказать, что для человѣка обширнаго ума и высокой души злодѣйскіе поступки, низкій характеръ, презрѣнное поведеніе менѣе понятны и, слѣдовательно, менѣе простительны, чѣмъ для натуры, родственной этимъ злодѣйствамъ и низости, хотя бы одаренной мозгомъ идіота. Въ извѣстной сказкѣ Щедрина Христосъ отпускаетъ всѣмъ встрѣчнымъ всѣ ихъ грѣхи, но Іуда Искаріотъ отходитъ безъ прощенія: по мысли сатирика, этой низости, этого злодѣйства даже божественный разумъ понять не можетъ. А между тѣмъ, еслибы Іуда Искаріотъ не носилъ на себѣ позорнаго клейма, поддерживаемаго вѣковымъ преданіемъ, то конечно нашлось бы много людей, вполнѣ глупыхъ, но достаточно презрѣнныхъ, чтобы поставить себя на мѣсто Іуды и понять его, и простить. Потому что, мы знаемъ,

Много Понтійскихъ Пилатовъ
И много лукавыхъ Іудъ
Христа своего распинаютъ,
Отчизну свою продаютъ.

Житейскія, да и литературныя драмы сплошь и рядомъ коренятся именно въ этой неспособности обширнаго ума, соединеннаго съ благородствомъ души, понять низость, вполнѣ доступную пониманію иного круглаго дурака. Только тяжелые удары житейскаго опыта могутъ до извѣстной степени восполнить эту природную неспособность, и избитый жизнью, истрадавшійся человѣкъ получаетъ возможность не непосредственно, а по бывшимъ примѣрамъ понять низость и злодѣйство.

Понять, но всетаки, не «созерцать» добытую истину, то есть съ подлинникомъ вѣрную картину низости и злодѣйства. Ибо созерцаніе въ этомъ случаѣ находится въ прямомъ противорѣчіи не только съ основными требованіями человѣческой природы, но и съ самыми задачами пониманія. Когда намъ рекомендуютъ «не плакать и не смѣяться, а понимать», то, собственно говоря, намъ рекомендуютъ именно не понимать, потому что не смѣяться надъ смѣшнымъ, значитъ, не понимать смѣшного. Если въ большомъ обществѣ всѣ, за исключеніемъ одного когонибудь, смѣются услышанной остротѣ, такъ вѣдь это, именно, и значитъ, что этотъ одинъ не понялъ остроты. Можетъ быть, онъ выше ея и справедливо не находитъ въ ней ничего остроумнаго, можетъ быть—ниже ея и неспособенъ понять ея тонкости, но, во всякомъ случаѣ, онъ не понялъ. Съ этой стороны, значитъ, является еще вопросъ, кто собственно лучше понимаетъ, положимъ, того же Іуду: тотъ-ли, кто въ состояніи пережить его жизнь шагъ за шагомъ и, переходя отъ причинъ къ ихъ неизбѣжнымъ слѣдствіямъ, усмотрѣть неизбѣжность предательства за тридцать сребренниковъ, гармонію этого преступленія съ фактами единовременными и предшествовавшими, и не запнуться возмущеннымъ чувствомъ ни за одно изъ звеньевъ этой неизбѣжной цѣпи, или тотъ, кто отказывается простить предателя? Самъ Іуда не простилъ себѣ,—удавился.

Итакъ, не для созерцанія объективной истины вызываемъ мы изъ мрака временъ тѣнь Грознаго. Мы и безъ того знаемъ, что онъ былъ таковъ, какимъ только и могъ быть по обстоятельствамъ времени и мѣста. Мы можемъ, конечно, съ большимъ интересомъ слѣдить за детальнымъ фактическимъ подтвержденіемъ этой для насъ давно уже апріорной истины, но этого намъ мало. Удовлетворяя потребности знанія, мы будемъ вмѣстѣ съ тѣмъ искать насыщенія потребности нравственной оцѣнки, нравственнаго суда. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы мы хотѣли выработать нѣкоторый аттестатъ Грозному, что-нибудь въ родѣ тѣхъ аттестатовъ, въ которыхъ выставляются ученикамъ отмѣтки по успѣхамъ въ наукахъ, поведенію, прилежанію, вниманію. Грозный царь не ученикъ нашъ, а, напротивъ того, какъ и все придавленное могильной плитой, — учитель. Въ томъ смыслѣ учитель, что итоги, подведенные его жизни и дѣятельности, могутъ и должны стать однимъ изъ руководящихъ источниковъ для нашей жизни и дѣятельности. Могильная плита не кончаетъ

счетовъ съ жизнью, а въ извѣстномъ смыслѣ даже кладеть основаніе новымъ счетамъ. Какъ бы безотрадна ни была наша личная жизнь, какія бы мрачныя сомнѣнія о цѣли существованія насъ ни одолѣвали, наша жизнь протечетъ недаромъ, если потомство извлечетъ для себя уроки изъ нашихъ страданій и сомнѣній. Тѣмъ паче не проходитъ безслѣдно жизнь громкая, яркая. Человѣчество на всемъ своемъ протяженіи во времени и пространствѣ связано, если не прямою преемственностью идей и чувствъ, то возможностью пользованія чужимъ опытомъ. Одинъ знаменитый русскій писатель, слыша разсказы о какомъ-нибудь негодяѣ, не разъ спрашивалъ при мнѣ: «да что, у него есть дѣти?» и съ свойственнымъ ему своеобразнымъ краснорѣчіемъ развивалъ этотъ вопросъ въ томъ направленіи, что неужели же этому негодяю ничто не напоминаетъ о судѣ потомства! Да, судъ потомства — страшный судъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и утѣшительный. Онъ воздастъ коемуждо по дѣламъ его, заклеймитъ позоромъ позорное, но не остановится на этомъ. Пусть историки, въ своемъ платоническомъ тяготѣніи къ точкѣ зрѣнія чистаго разума, отрицательно отвѣчаютъ на требованіе «черни»: «давай намъ смѣлые уроки». Это именно только платоническое тяготѣніе,—историки все равно даютъ намъ уроки, хоть и не всегда «смѣлые». А еслибы и въ самомъ дѣлѣ не давали, такъ мы, «чернь», мы сами извлечемъ уроки изъ прошлаго. Поэтъ утѣшалъ себя мыслью, что

Тотъ, чья жизнь безполезно разбилася,
Можетъ смертью еще доказать,
Что въ немъ сердце не робкое билося,
Что умѣлъ онъ любить.

Есть утѣшеніе выше этого. Даже тотъ, кто и смертью ничего не искупилъ, кто такъ и умеръ весь покрытый струпьями нравственной проказы, даже онъ, претерпѣвъ строгій судъ потомства, можетъ войти всѣми своими помыслами, чувствами и дѣяніями въ составъ того факела, который освѣщаетъ путь будущаго.

И здѣсь находятъ себѣ примиреніе всѣ тѣ противорѣчія между началами необходимости и свободы воли, потребностью знанія и потребностью нравственнаго суда, задачами разума и задачами чувства, въ туманѣ которыхъ мы до сихъ поръ бродили. Человѣкъ есть существо не только мыслящее, но и чувствующее, и не только мыслящее и чувствующее, а и дѣйствующее, такъ что гордая видовая кличка homo sapiens, подчеркивающая только одну сторону, пожалуй что и ниже человѣческаго достоинства. Вѣнецъ жизни есть цѣлесообразная дѣятельность, трудъ. Развѣнчанный или самъ себя развѣнчавшій, то-есть такъ или иначе лишенный цѣлесообразной дѣятельности, человѣкъ безпомощно путается въ неразрѣшимыхъ вопросахъ и потому истачивается безпредметной и безъисходной тоской. Но только та дѣятельность даетъ удовлетвореніе, которая удѣляетъ должное мѣсто разуму и чувству въ гармоническомъ, скажу — религіозномъ сочетаніи. Подъ религіей я разумѣю здѣсь не тѣ или другія догматическія вѣрованія, а только именно ту неразрывную *связь* понятій о сущемъ (наука) и долженствующемъ быть (мораль и политика въ обширномъ смыслѣ), которая властно и неуклонно направляетъ дѣятельность человѣка. Можно имѣть вѣрныя и многостороннія понятія о фактическомъ ходѣ вещей, стоять на высотѣ знаній современнаго уровня, и въ то же время не имѣть руководящихъ принциповъ дѣятельности. Можно, наоборотъ, обладать высокими руководящими принципами, но или содержать ихъ внѣ всякой связи съ объективной наукой, или же только знать ихъ, но не руководиться ими въ дѣйствительности, принимать ихъ только къ свѣдѣнію, а не къ исполненію. Эта «разсыпанная храмина», эти membra disjecta жизни духа должны быть приведены къ гармоническому единству. Плохо дѣло моралиста или политическаго дѣятеля, фыркающаго на знаніе и не пытающагося привести свои принципы въ связь съ данными науки. Какъ бы ни былъ иногда шуменъ его успѣхъ, его зданіе построено на песцѣ, потому что наука все равно свое возьметъ, и, отваживаясь на враждебное столкновеніе съ ея истинами, мы можемъ только компрометтировать свое нравственное или политическое ученіе. Враждебное столкновеніе морали и политики съ наукой не можетъ ограничиваться заоблачными высотами теоріи,—оно отражается и въ мелочахъ текущей практической жизни неизбѣжнымъ раздвоеніемъ. Такъ, техническія приложенія науки всегда будутъ встрѣчаться съ распростертыми объятіями даже въ такомъ обществѣ, которое, во имя якобы высокой морали, захотѣло бы отвернуться отъ теоретическихъ источниковъ этой техники. Допустимъ, напримѣръ, что въ русскомъ обществѣ торжествуетъ презрительное воззрѣніе гр. Л. Толстаго на умственный трудъ. Торжество это можетъ повести лишь къ тому, что русло вліянія науки отклонится отъ общей задачи просвѣщенія умовъ и цѣликомъ направится въ сторону техники, ибо отъ медиковъ, механиковъ, химиковъ, вообще, техниковъ, общество ни въ какомъ случаѣ не откажется. Если, однако, мы, несмотря на это, такъ часто встрѣчаемъ моралистовъ и вообще провозвѣстниковъ нравственно-политическихъ теорій, отворачивающихся отъ науки и проповѣдующихъ презрѣніе

къ ней, такъ въ этомъ значительно виноваты люди объективнаго знанія, люди науки, не дѣлающіе никакихъ шаговъ навстрѣчу жизни съ ея запросами, или ограничивающіе эти шаги лишь направленіемъ узко-практическихъ приложеній. Основныя положенія и фактическія данныя объективной науки должны быть приведены въ прочную связь съ правилами личнаго поведенія и общественными задачами,—въ связь до такой степени прочную, чтобы человѣкъ не только зналъ эти правила но и *не могъ* поступать не согласно съ ними. Это не будетъ результатомъ внѣшняго принужденнія, это—«благое иго» и «легкое бремя» собственнаго рѣшенія. Это и не утопія какая-нибудь. Такъ всегда было, когда понятія (хотя бы и ошибочныя съ нашей теперешней точки зрѣнія) о сущемъ, бывшемъ и будущемъ находились въ полной гармоніи съ понятіями о долженствующемъ быть. Конечно, по мѣрѣ развитія знанія и усложненія жизни, дѣло ихъ объединенія тоже становится сложнѣе и въ этомъ смыслѣ труднѣе. Но трудность не есть невозможность.

Мы уклонились отъ нашей ближайшей цѣли, но только для того, чтобы къ ней вернуться. Мы имѣемъ свои цѣли въ жизни, свои идеалы. Эти цѣли, эти идеалы не съ неба свалились, а выросли на общей всему сущему почвѣ причинной зависимости, но мы сознаемъ ихъ, какъ свободно избранные. Работая во имя ихъ, мы становимся въ ряды другихъ дѣятелей, живыхъ и мертвыхъ, опять же подчиненныхъ верховному закону необходимости, но принимаемъ на себя нравственную отвѣтственность въ мѣру сознанія свободы нашего выбора. Мы возлагаемъ ее въ ту же мѣру и на другихъ. Обращаясь къ прошлому, къ тому или другому дѣятелю, ставшему уже достояніемъ исторіи, мы должны поэтому выяснить его идеалы и цѣли. Затѣмъ его жизнь и дѣятельность можетъ находиться въ болѣе или менѣе полномъ согласіи, въ болѣе или менѣе полномъ противорѣчіи съ его цѣлями и идеалами. Надлежитъ опредѣлить, что здѣсь было дѣломъ необходимости и что — дѣломъ свободнаго выбора по сознанію самого дѣятеля и частью его современниковъ. Говорю «частью», потому что современники могутъ быть ослѣплены чисто личною симпатіей и антипатіей, личной обидой или услугой, каковыя, разумѣется, не могутъ быть принимаемы во вниманіе. Но если мы видимъ, напримѣръ что рядомъ съ интересующимъ насъ историческимъ лицомъ жили и дѣйствовали носители болѣе высокихъ идеаловъ, чѣмъ какіе одушевляли его, или выбиравшіе лучшія, чѣмъ онъ, средства для достиженія своихъ цѣлей, то, значитъ, не общія обстоятельства времени и мѣста держали его на низменномъ уровнѣ; онъ былъ, значитъ, низменъ и для своего времени, чему, конечно, были опять-таки свои причины. Мы пойдемъ, такимъ образомъ, за изслѣдующимъ причины и ихъ неизбѣжныя слѣдствія разумомъ до той точки, гдѣ наше собственное сознаніе, слитое во-едино съ нравственнымъ сознаніемъ современниковъ и голосомъ совѣсти самого героя нашего, откажется понимать неизбѣжность его поступковъ. Мы можемъ, конечно, впасть въ ошибки при установленіи этой предѣльной точки. И ошибки эти имѣли бы огромное значеніе, если бы мы держались точки зрѣнія чистаго разума или столь же односторонне изолированнаго чувства. Конечно, ежели созерцать объективную истину, такъ пусть же она будетъ самая истинная истина, такъ чтобы всѣ могли ее признать и созерцать вмѣстѣ съ нами; даже самая малая ошибка можетъ оказаться здѣсь ложкой дегтя въ кадкѣ меда. Точно также, если судить кого-нибудь чувствомъ для самого суда, для выдачи аттестата, такъ всякая ошибка является вмѣстѣ съ тѣмъ величайшею несправедливостью.

Но мы находимся въ иномъ положеніи. Мы не ищемъ ничего такого, что отзывалось бы претензіей удовлетворить всѣхъ и каждаго, какъ математическая аксіома или даже только какъ вердиктъ присяжныхъ, послѣдовавшій за рѣчами прокурора, адвоката и предсѣдателя суда. Мы хотимъ извлечь изъ прошлаго уроки для нашей дѣятельности въ настоящемъ, дабы все передуманное, пережитое, перечувствованное нами за время общенія съ вызванной тѣнью Грознаго, укрѣпило въ жизни идеалы и цѣли *нашей* дѣятельности. Встрѣчаясь при этомъ съ добромъ, встрѣчаясь со зломъ, какъ *мы* понимаемъ то и другое, мы будемъ руководимы главнымъ образомъ желаніемъ—научиться, по мѣрѣ нашихъ силъ и способностей, комбинировать условія окружающей жизни въ направленіи къ торжеству добра. Ошибки, въ которыя мы можемъ впасть на этомъ пути, будутъ чисто личнаго свойства, въ зависимости отъ нашего незнанія, невниманія и т. д., какія возможны во всякой человѣческой работѣ. Но мы не возстаемъ ни противъ верховнаго закона необходимости, ни противъ требованій нравственнаго суда, и самый конфликтъ между этими двумя антиномическими началами отступаетъ для насъ на задній планъ. Безрезультатная борьба принциповъ прекращается, спускаясь съ высотъ отвлеченія на почву жизни. «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать» (то есть чувствовать), сказалъ поэтъ. Мы не этого хотимъ. Мы хотимъ жить, чтобы дѣйствовать, при чемъ мысль и чув-

ство найдутъ свое законное удовлетвореніе въ качествѣ подчиненныхъ функцій, которымъ не приходится ссориться за первенство. Въ этихъ именно видахъ мы и хотимъ, между прочимъ, вызвать тѣнь Грознаго. Мы отнюдь не заражены при этомъ гордою мыслью примирить разногласія историковъ. Совсѣмъ даже напротивъ. Но объ Иванѣ Грозномъ писано такъ много, и между писавшими были люди такихъ обширныхъ знаній и такихъ достоинствъ, что съ нашей стороны было бы по малой мѣрѣ неосторожно не пересмотрѣть всю эту литературу.



Иванъ Грозный въ русской литературѣ *).

I.

12 сентября 1890 г. происходило засѣданіе Петербургскаго «Историческаго Общества». Е. А. Бѣловъ читалъ свой рефератъ, озаглавленный «Вопросъ о значеніи царствованія Іоанна IV Васильевича Грознаго въ русской исторической литературѣ». Г. Бѣловъ выставилъ слѣдующіе пять тезисовъ.

1) Отсутствіе въ литературѣ опредѣленнаго, то есть прочно установившагося мнѣнія о значеніи царствованія Грознаго зависитъ болѣе всего отъ того, что не выяснены стремленія боярства, съ которымъ у него шла борьба.

2) Приписываніе боярству защиты земскихъ началъ никакими существенными доказательствами не подтверждается.

3) Одна безпристрастная оцѣнка отношеній удѣльныхъ князей и дружинниковъ къ городскимъ общинамъ и къ народу можетъ дать твердую опору къ выясненію событій царствованія Грознаго.

4) Замѣчаніе Кавелина, что событія царствованія Грознаго иллюстрируются событіями смутнаго времени, глубоко важно.

5) При оцѣнкѣ личности Грознаго смѣшеніе элементовъ этическаго и политическаго только запутываетъ объясненіе событій царствованія Грознаго, не принося ни малѣйшей пользы нравственности.

Я былъ на этомъ засѣданіи Историческаго Общества и хотѣлъ бы сказать нѣсколько словъ о рефератѣ г. Бѣлова и довольно много словъ по поводу его. Сообщеніе г. Бѣлова затянулось очень долго. А такъ какъ манера изложенія г. Бѣлова не отличается, къ сожалѣнію, увлекательностью, да и самая, такъ сказать, архитектура реферата страдала трудною для пониманія слушателей непропорціональностью частей, то подъ конецъ публика видимо утомилась. Оживленныя и внимательныя въ началѣ чтенія молодыя лица слушателей (большинство слушателей состояло изъ молодежи) какъ-то потускнѣли, руки то и дѣло тянулись къ жилетнымъ карманамъ, чтобы взглянуть, который часъ. Я дождался лишь первыхъ словъ перваго оппонента (если не ошибаюсь, г. Шмурло). Оппонентъ началъ съ того, что, дескать, вѣроятно, по недостатку времени, первый тезисъ г. Бѣлова оказался недостаточно обоснованнымъ. Очень вѣроятно, что это замѣчаніе оппонентъ приложилъ потомъ и къ остальнымъ четыремъ тезисамъ.

Времени было вполнѣ достаточно, но г. Бѣловъ имъ дурно распорядился. Онъ читалъ, очевидно, не рефератъ, спеціально для сообщенія въ Историческомъ Обществѣ написанный, а отрывки изъ довольно большой работы, имѣющей, вѣроятно, появиться въ печати отдѣльной книгой или въ какомъ-нибудь журналѣ. Это бы не бѣда, конечно, но г. Бѣловъ выбралъ отрывки безъ всякой системы, или, по крайней мѣрѣ, система эта и ея отношеніе къ выставленнымъ г. Бѣловымъ тезисамъ остались для слушателей совершенно неясными. Неизвѣстно почему, напримѣръ, онъ утомительно много говорилъ о безпорядкахъ въ отрядѣ Курбскаго подъ Казанью, о томъ, что Курбскій велъ себя тамъ, какъ храбрый «кавалерійскій поручикъ», а не какъ «серьезный полководецъ», и т. д. Эта военно-критическая экскурсія имѣетъ, можетъ быть, большую цѣнность сама по себѣ (я человѣкъ штатскій и не знаю), но она стоитъ внѣ всякой связи съ тезисами г. Бѣлова и съ вопросомъ о значеніи царствованія Іоанна Грознаго. Окажись Курбскій даже не храбрымъ, а трусливымъ кавалерійскимъ поручикомъ, этимъ не поддержится ни одинъ изъ тезисовъ г. Бѣлова. Точно также неизвѣстно, зачѣмъ потратилъ г. Бѣловъ такъ много вре-

*) 1891 г.

мени на разговоръ о старой и, по признанію самого референта, плохой книжкѣ нѣкоего Горскаго «Жизнь и историческое значеніе князя Андрея Михайловича Курбскаго» (Казань, 1858 года). Въ общемъ и подробномъ обзорѣ всей литературы объ Иванѣ Грозномъ умѣстенъ, конечно, разговоръ и объ этой курьезной книжкѣ, но въ обзорѣ сокращенномъ и отрывочномъ, каковъ рефератъ г. Бѣлова, смѣло можно было поступиться Горскимъ хотя бы для того, чтобы сказать что нибудь о дѣйствительно интересныхъ взглядахъ на Грознаго такихъ писателей, какъ Хомяковъ и Константинъ Аксаковъ. А объ нихъ г. Бѣловъ не сказалъ ни слова, даже имени ихъ не упомянулъ, что и само по себѣ составляетъ удивительный пропускъ, а кромѣ того отозвалось и на другихъ частяхъ реферата. Такъ, говоря о мнѣніяхъ о Грозномъ Костомарова, референтъ отмѣтилъ ихъ связь со взглядами Карамзина, но умолчалъ о вліяніи К. Аксакова на Костомарова. И это совершенно непонятно. Съ извѣстной точки зрѣнія болѣе понятно непропорціонально большое мѣсто, удѣленное г. Бѣловымъ бесѣдѣ о недавней книгѣ Ясинскаго «Сочиненія князя Курбскаго, какъ историческій матеріалъ».

Какъ было видно изъ реферата,—г. Ясинскій подвергъ, между прочимъ, довольно рѣзкой критикѣ сочиненіе г. Бѣлова «Объ историческомъ значеніи русскаго боярства до конца XVII-го вѣка» (1886 г.) и г. Бѣловъ счелъ нужнымъ не безъ ядовитости парировать эту критику. Если, однако, это очень понятно съ точки зрѣнія интересовъ самозащиты, то интересы слушателей отъ ядовитости г. Бѣлова выиграли немного. По всей вѣроятности, всѣ эти и многіе другіе пробѣлы и излишества реферата г. Бѣлова выровнены въ томъ сочиненіи, отрывки изъ котораго онъ читалъ намъ, и каждое литературное, какъ и каждое историческое явленіе занимаютъ тамъ именно то самое мѣсто, которое имъ довлѣетъ. Но намъ, слушателямъ, отъ этого не легче. Мы провели вечеръ во всякомъ случаѣ безъ той пользы, которую надѣялись извлечь.

Между прочимъ меня поразила одна странность. Говоря о статьѣ Кавелина, «Взглядъ на юридическій бытъ древней Руси» и о возраженіяхъ на нее, напечатанныхъ въ «Москвитянинѣ» 1847 года за подписью «М. З. К.», г. Бѣловъ простодушно замѣтилъ: «Я и до сихъ поръ не знаю, кто этотъ М. З. К.». Не знаетъ, такъ не знаетъ, гдѣ же всѣ псевдонимы знать. Это вѣдь не мѣшаетъ г. Бѣлову знать статью, о которой идетъ рѣчь, и имѣть объ ней свое собственное, совершенно самостоятельное мнѣніе. Въ данномъ случаѣ, однако, дѣло не такъ просто. М. З. К., есть Юрій Самаринъ; статья «Москвитянина» (она называется «О мнѣніяхъ Современника, историческихъ и литературныхъ») перепечатана уже безъ всякихъ псевдонимовъ въ первомъ томѣ сочиненій Самарина, вышедшемъ въ 1877 году. Ясно, что г. Бѣловъ не удосужился заглянуть въ сочиненія Самарина и либо даетъ себѣ напрасный трудъ рыться въ журналахъ 40-хъ годовъ для прочтенія того, что можно найти гораздо ближе, либо вовсе не читалъ статьи Самарина, а говоритъ о ней съ чужихъ словъ, что не гарантируетъ безпристрастія и самостоятельности. Такъ или иначе, но не зная, что М. З. К. есть Самаринъ, г. Бѣловъ лишилъ себя возможности сопоставить нѣкоторыя мнѣнія объ Иванѣ Грозномъ, изложенныя въ упомянутой статьѣ, съ мнѣніями того же Самарина о томъ же Грозномъ, высказанными въ диссертаціи «Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ». А это сопоставленіе любопытно.

Г. Бѣловъ есть послѣдній, по времени, изъ историковъ-апологетовъ Грознаго. Это апологетическое направленіе нынѣ уже изсякаетъ, но когда-то оно имѣло чрезвычайно талантливыхъ представителей. Не было, однако, недостатка во мнѣніяхъ, крайне не лестныхъ для Грознаго царя, и тоже талантливо обставленныхъ. Были, наконецъ, попытки стать выше обѣихъ крайностей. Вообще русскіе историки чрезвычайно усердно занимались Грознымъ, и нѣкоторые изъ нихъ (Погодинъ, Костомаровъ и г. Бестужевъ-Рюминъ) по нѣскольку разъ возвращались къ его характеристикѣ. Костомаровъ, кромѣ обыкновенныхъ средствъ историка, прибѣгъ для этого и къ беллетристической формѣ («Кудеяръ»). Беллетристы написали множество романовъ, драмъ, поэмъ, лирическихъ стихотвореній, въ которыхъ такъ или иначе фигурируетъ Грозный. Въ томъ числѣ есть, разумѣется, много вещей, стоящихъ ниже всякой критики, но есть и такое замѣчательное произведеніе, какъ «Василиса Мелентьева» Островскаго, и такая красивая вещь, какъ «Псковитянка» Мея, и такая не красивая, какъ «Слобода Неволя» г. Аверкіева. Одинъ графъ А. Толстой написалъ романъ, драму и нѣсколько стихотвореній, посвященныхъ такъ или иначе воспоминанію о Грозномъ. Если историки, какъ Костомаровъ, превращались ради Грознаго въ беллетристовъ, то и поэты, какъ г. Майковъ, превращались ради него въ историковъ и приводили въ восторгъ настоящихъ историковъ (г. Бестужева-Рюмина). Личностью Грознаго интересовались и увлекались и критики-публицисты, какъ Бѣлинскій.

И страннымъ образомъ, мало интересо-

вались ею психологи. Правда, г. Викторовъ въ книгѣ «Ученіе о личности, какъ нервно-психическомъ организмѣ» утверждаетъ, что «есть положительныя указанія и даже психіатрическіе разборы, что Іоаннъ страдалъ одной изъ формъ moral insanty» («однако противъ этого можно спорить» — прибавляетъ г. Викторовъ). Но разборы эти во всякомъ случаѣ крайне малочисленны.

Однако, и изъ того, что мнѣ удалось прочитать о Грозномъ, выходитъ такая длинная галлерея его портретовъ, что прогулка по ней въ концѣ концовъ утомляетъ. Утомленіе тѣмъ болѣе понятное, что хотя со всѣхъ сторонъ галлереи на васъ смотрятъ изображенія одного и того-же историческаго лица, но вмѣстѣ съ тѣмъ лицо это «въ толь разныхъ видахъ представляется, что часто не единымъ человѣкомъ является». Этотъ приговоръ стараго историка (Щербатова) оказывается справедливымъ, если не по отношенію къ личности самого Грознаго царя, къ живому оригиналу, то по крайней мѣрѣ по отношенію къ его портретамъ. Совершенно независимо отъ большей или меньшей степени мастерства, съ которою они написаны, вы поражаетесь ихъ разнообразіемъ! Однѣ и тѣ же внѣшніе черты, однѣ и тѣ же рамки, и при всемъ томъ совершенно-таки разныя лица,—то «падшій ангелъ» то просто злодѣй, то возвышенный и проницательный умъ, то огреничениый человѣкъ, то самостоятельный дѣятель, сознательно и систематически преслѣдующій великія цѣли, то какая-то утлая ладья «безъ руля и безъ вѣтрилъ», то личность, недосягаемо высоко стоящая надъ всей Русью, то напротивъ неизмѣнная натура, чуждая лучшимъ стремленіямъ своего времени. Каждый новый портретъ вызываетъ въ васъ нѣкоторую надежду, что вотъ это, наконецъ, изображеніе съ подлиннымъ вѣрное, несомнѣнно схожее, и каждый слѣдующій разбиваетъ это ожиданіе; настороженная мысль пробуетъ оріентироваться и получаетъ все разныя освѣщенія все однихъ и тѣхъ-же фактовъ.

Найдутся безъ сомнѣнія и другія историческія фигуры, сужденія о которыхъ, пожалуй, не менѣе разнообразны. Таковъ, напримѣръ, для французовъ Наполеонъ I. Одни писатели рисуютъ его узкимъ и безсовѣстнымъ честолюбцемъ, другіе—геніемъ, охватывавшимъ мыслью весь міръ, одни—бичомъ божіимъ, ниспосланнымъ въ міръ для наказанія Франціи за ея тяжкіе грѣхи, другіе—ея спасителемъ и т. д. Но какъ ни разнородны сужденія объ этомъ человѣкѣ, они могутъ быть сгруппированы въ нѣсколько отдѣловъ, изъ которыхъ каждый будетъ представителемъ цѣлой особой политической или иной какой партіи. Самая принадлежность къ партіи бонапартистовъ, легитимистовъ разныхъ оттѣнковъ, республиканцевъ обязываетъ извѣстнымъ образомъ относиться къ Наполеону, обязываетъ не формально только, не голымъ только фактомъ стоянія въ рядахъ той или другой партіи, а внутреннею обязательностью убѣжденія и политической вѣры. Если здѣсь и возможны разногласія, то они во всякомъ случаѣ не идутъ дальше какихъ нибудь второстепенныхъ или третьестепенныхъ подробностей. Не можетъ, напримѣръ, бонапартистъ думать, что Наполеонъ былъ злостнымъ узурпаторомъ, вовлекшимъ Францію въ бездну гибели и позора, хотя можетъ находить ту или другую частную ошибку въ дѣятельности Наполеона, ту или другую непривлекательную черту въ немъ. Избравъ его предметомъ научнаго изслѣдованія или иного вида литературной обработки, бонапартистъ воспользуется этимъ случаемъ для пропаганды своихъ идей. То же самое сдѣлаютъ съ своей точки зрѣнія и легитимистъ, и республиканецъ. Возможны, разумѣется. и вполнѣ независимыя мнѣнія, не укладывающіяся въ рамки наличныхъ партій; но во-первыхъ, ихъ навѣрное будетъ немного, а во-вторыхъ, и въ ихъ подкладкѣ навѣрное окажется нѣкоторая связь съ живою жизнью, въ видѣ политическихъ вѣрованій или политическаго невѣрія ихъ авторовъ. На первый взглядъ, для посторонняго человѣка, желающаго за свой личный страхъ и счетъ составить собственное понятіе о Наполеонѣ, обстоятельство это представляетъ только неудобство. И въ самомъ дѣлѣ, мы встрѣчаемъ здѣсь рядъ завѣдомо пристрастныхъ или, по крайней мѣрѣ, не вполнѣ безпристрастныхъ мнѣній, настолько, однако, искусно обставленныхъ фактами и разсужденіями, что человѣку, несвѣдущему въ дѣлахъ французскихъ партій, запутаться очень легко. Это, конечно, большое неудобство, но разъ уже такъ есть, надо искать выхода, и онъ довольно простъ. Если Наполеонъ не можетъ быть поданъ всякому желающему на манеръ готоваго жаренаго рябчика, то для составленія правильнаго сужденія о немъ надо самому поработать и, между прочимъ, познакомиться съ дѣлами и отношеніями французскихъ политическихъ партій. А преодолѣвъ эту трудность и зная, съ кѣмъ вы имѣете дѣло вь лицѣ автора того или другого сочиненія о Наполеонѣ, вы уже не рискуете запутаться въ одностороннихъ и противорѣчивыхъ сужденіяхъ, ибо можете сдѣлать необходимыя «личныя поправки». Во всякомъ случаѣ вся обширная и пестрая литература о Наполеонѣ уподобляется въ концѣ концовъ нѣкоторой колодѣ картъ, которую долго-ли, коротко-ли, но возможно

разобрать по мастямъ, причемъ выяснятся не только теоретическіе принципы каждой масти, но и ихъ связь съ текущей дѣйствительностью, съ жизнью.

Ничего подобнаго нельзя сдѣлать съ нашей литературой объ Иванѣ Грозномъ. Она не поддается разверсткѣ по группамъ, стоящимъ подъ какими нибудь опредѣленными знаменами. Не то, чтобы здѣсь не было повтореній или мнѣній болѣе или менѣе схожихъ, но ихъ трудно группировать и приводить въ связь съ какими нибудь опредѣленными, объединяющими принципами. Трудно сообразить и тѣ житейскія условія, которыя въ данномъ случаѣ оказали свое давленіе на мысль историка или публициста. Стремленіе русскихъ портретистовъ Грознаго къ чистой истинѣ, независимой отъ какихъ бы то ни было стороннихъ соображеній, поистинѣ поразительно. Принимая въ соображеніе человѣческія слабости, естественно было бы ожидать, напримѣръ, что довольно мрачная русская дѣйствительность 30-хъ, 40-хъ годовъ подскажетъ историкамъ и публицистамъ того времени болѣе или менѣе суровое отношеніе къ Грозному; что они даже воспользуются этимъ случаемъ для замаскированнаго осужденія тѣхъ условій, среди которыхъ имъ приходилось жить и, надо прямо сказать, терпѣть, даже больше терпѣть, чѣмъ жить. Это вѣдь самый обыкновенный пріемъ въ литературѣ, когда она стѣснена внѣшними условіями, и хотя онъ представляетъ собою нѣкоторую измѣну чистой наукѣ, но простить его можно: слабъ человѣкъ. Но русскіе историки и публицисты оказались выше этой слабости. Какъ разъ на 30-е и 40-е годы выпадаютъ наиболѣе восторженные отзывы о Грозномъ, и въ восторгахъ этихъ сходятся люди самыхъ разнородныхъ, въ другихъ отношеніяхъ, взглядовъ. Но увы! это безпристрастіе, эта преданность чистой истинѣ не приводитъ насъ къ истинѣ, потому что въ результатѣ мы имѣемъ всетаки цѣлую коллекцію портретовъ Грознаго, одинъ на другой не похожихъ, а вѣдь истина-то одна. Истина одна, а послѣ цѣлаго ряда трудолюбивыхъ и талантливыхъ изслѣдованій мы всетаки идемъ въ Историческое Общество послушать, не скажетъ-ли намъ, наконецъ, хоть г. Бѣловъ настоящей истины о Грозномъ, и уходимъ всетаки безъ истины, съ той же галлереей другъ на друга непохожихъ портретовъ. Нѣтъ, право уже лучше коллекція завѣдомо пристрастныхъ французскихъ сочиненій о Наполеонѣ, въ которой мнѣ всетаки легче разобраться, потому что я ее хоть по мастямъ могу разложить. А у насъ, возьмемъ, напримѣръ, славянофиловъ. Славянофилы, въ лицѣ Хомякова и потомъ К. Аксакова, повидимому, опредѣленно, искусно и съ своей точки зрѣнія правдиво воспользовались загадочной фигурой Ивана IV для предъявленія своихъ излюбленныхъ теорій. Но во-первыхъ, блестящая хомяковско-аксаковская характеристика Грознаго не пустила корней собственно въ славянофильскомъ лагерѣ и послужила исходной точкой для рѣзкихъ отзывовъ о Грозномъ Костомарова, а во-вторыхъ, одинъ изъ самыхъ видныхъ славянофиловъ, Ю. Самаринъ, для построенія возвышеннаго пьедестала Грозному совершенно смѣшалъ съ грязью всю старую Русь, что, конечно, не вяжется съ славянофильскою доктриной. Правда, онъ потомъ за это самое уличалъ Кавелина въ «исторической клеветѣ», но это не облегчаетъ положенія читателя, ищущаго истины. Можетъ быть все это свидѣтельствуетъ о безпристрастіи, о готовности признать истину даже вопреки излюбленной теоріи, хотя я въ этомъ сомнѣваюсь, но это во всякомъ случаѣ не очень удобно. Надо еще замѣтить, что поразительное безпристрастіе нашихъ историковъ какъ-то чудно уживается съ необыкновенною страстностью. Если, напримѣръ, г. Бѣловъ, спустя три съ половиной вѣка, горячится по поводу безпорядковъ въ отрядѣ Курбскаго и обзываетъ его «кавалерійскимъ поручикомъ», такъ это онъ мститъ Курбскому за Грознаго... Страшная месть и бѣдный Курбскій!

По Соловьеву, разногласія относительно личности и историческаго значенія Ивана Грознаго объясняется «незрѣлостью науки, непривычкою обращать вниманіе на связь, преемство явленій. Іоаннъ IV не былъ понятъ, потому что былъ отдѣленъ отъ отца, дѣда и прадѣда своихъ» (Исторія Россіи, VI). Соловьевъ исполнилъ эту задачу, привелъ дѣятельность Ивана въ связь съ дѣятельностью его отца, дѣда, прадѣда и провелъ эту связь даже дальше въ глубь временъ. Съ тѣхъ поръ русская наука стала, надо надѣяться, еще зрѣлѣе, но разногласіе не прекратилось,

По поводу характеристики личности и значенія Грознаго, сдѣланной Соловьевымъ въ VI томѣ «Исторіи Россіи», г. Бестужевъ-Рюминъ писалъ въ 1856 г. въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ»: Соловьевъ «окончательно рѣшилъ вопросъ объ этомъ загадочномъ лицѣ. Теперь могутъ открываться новые матеріалы, но взглядъ останется тотъ-же». Предсказаніе г. Бестужева-Рюмина блистательно не оправдалось, потому что тотъ же VI томъ «Исторіи Россіи» въ томъ же 1856 г. вызвалъ со стороны К. Аксакова совершенно оригинальную и отнюдь не схожую съ соловьевской характеристику Грознаго.

Костомаровъ въ 1861 г. говорилъ: «Иванъ

Грозный могъ быть загадкою для историковъ и былъ до тѣхъ поръ, пока К. Аксаковъ не указалъ намъ его существа въ настоящемъ свѣтѣ». Отнынѣ конецъ разногласіямъ въ оцѣнкѣ личности и дѣятельности Грознаго: «Иванъ понятъ какъ нельзя болѣе, и первая честь этого принадлежитъ Аксакову». На дѣлѣ, однако, разногласія не прекратились, и самъ Костомаровъ, восторгаясь характеристикой Грознаго у Аксакова, отказывается принять другіе выводы и соображенія автора этой характеристики. Костомарову кажется, что своимъ мастерскимъ портретомъ Грознаго Аксаковъ «подписалъ приговоръ всѣмъ возможнѣйшимъ попыткамъ отыскать у Ивана какія-либо опредѣленныя идеи, какія нибудь преднамѣренныя, неизбѣжныя цѣли». А такъ какъ Аксаковъ усвоиваетъ Грозному опредѣленныя идеи и преднамѣренныя цѣли, то Костомаровъ полезимируетъ и съ нимъ. Мало того. Въ позднѣйшихъ своихъ писаніяхъ Костомаровъ, все пользуясь одною изъ чертъ аксаковской характеристики, уже не поминаетъ однако Аксакова, а приглашаетъ историковъ вернуться, по вопросу о Грозномъ, къ Карамзину.

Г. Бѣловъ приписываетъ всѣ эти разногласія тому, что «не выяснены стремленія бояръ, съ которыми у Грознаго шла борьба». Но, не говоря о другихъ изслѣдователяхъ роли боярства, самъ г. Бѣловъ сдѣлалъ въ этомъ отношеніи все, что могъ, своею книгою, вышедшею въ 1886 г., а разногласія всетаки не прекратились. Боюсь, что они не прекратятся и послѣ новаго труда г. Бѣлова, выдержки изъ котораго онъ намъ читалъ въ Историческомъ Обществѣ. Г. Бѣловъ видитъ еще бѣду въ «смѣшеніи элементовъ этическаго и политическаго», каковое смѣшеніе «запутываетъ объясненіе событій царствованія Грознаго, не принося ни малѣйшей пользы нравственности». Я не совсѣмъ понимаю, что хочетъ сказать г. Бѣловъ послѣдними словами, но знаю, что строгое отдѣленіе этическаго и политическаго элементовъ—дѣло тоже пробованное, что нѣкоторые апологеты Грознаго приносили этому отдѣленію, можно сказать, чудовищныя жертвы, но дѣло, всетаки не пошло на ладъ.

Такъ-то рушатся одна за другою всѣ надежды на прочно установившееся опредѣленное сужденіе о Грозномъ и событіяхъ его царствованія. Принимая въ соображеніе, что въ стараніяхъ выработать это опредѣленное сужденіе участвовали лучшія силы русской науки, блиставшіе талантами и эрудиціей, можно, пожалуй, придти къ заключенію, что самая задача устранить въ данномъ случаѣ разногласія есть нѣчто фантастическое. Въ самомъ дѣлѣ, если столько умныхъ, талантливыхъ, добросовѣстныхъ и ученыхъ людей не могутъ сговориться, то не значитъ-ли это, что сговориться и невозможно? Если бы мы еще могли заподозрить нашихъ почтенныхъ изслѣдователей въ какихъ нибудь своекорыстныхъ цѣляхъ, но вѣдь этого, очевидно, нѣтъ и быть не можетъ. И самъ Грозный, и люди имъ загубленные, и люди, имъ облагодѣтельствованные, отдѣлены отъ насъ чуть не четырьмя столѣтіями, и за уклоненіе отъ правды о томъ времени никто никакой выгоды себѣ не получитъ. Нѣтъ, повидимому, и никакихъ мотивовъ для того, чтобы слишкомъ близко принять къ сердцу событія того времени. Допустимъ, что въ отрядѣ Курбскаго подъ Казанью происходили непростительнѣйшіе безпорядки, но вѣдь эти безпорядки происходили въ 1552 г., да и тогда не помѣшали русскимъ взять Казань, такъ что и тогда утонули въ благополучномъ окончаніи дѣла. Самъ царь простилъ тогда грѣхи Курбскаго (если еще таковые были) и осыпалъ его милостями. Тѣмъ паче, казалось бы, нечего горячиться по поводу военныхъ дѣйствій Курбскаго г. Бѣлову въ 1890 г. Однако онъ горячится и распекаетъ Курбскаго, точно тотъ передъ нимъ живой стоитъ: вы, говоритъ, милостивый государь, не серьезный полководецъ, а кавалерійскій поручикъ!..

Мнѣ кажется, что устраненіе разногласій о Грозномъ есть, дѣйствительно, неосуществимая и праздная мечта, по крайней мѣрѣ, для настоящаго времени и для ближайшаго, да и довольно отдаленнаго будущаго. Очевидно, существуютъ какія-то непреодолимыя трудности для того, чтобы которое нибудь изъ многочисленныхъ и разнообразныхъ мнѣній нашихъ историковъ стало общепризнаннымъ. Я не говорю о трудностяхъ объективнаго, чисто фактическаго изслѣдованія. Онѣ, конечно, до извѣстной, количественно весьма значительной степени, вполнѣ преодолимы. Однако всетаки только до извѣстной степени. Установленію, напримѣръ, точной хронологіи событій можетъ помѣшать только недостатокъ матеріаловъ, а не какіе нибудь субъективные элементы. Но вотъ маленькій образчикъ того, какъ легко убѣждаются иногда историки въ своемъ предвзятомъ мнѣніи, не останавливаясь и предъ извращеніемъ хронологическихъ данныхъ.

Во второмъ томѣ «Сборника государственныхъ знаній» г. Замысловскій, историкъ не безъ имени, напечаталъ разборъ изслѣдованія Голохвастова и архимандрита Леонида «Благовѣщенскій іерей Сильвестръ и его писанія». Между прочимъ, по мнѣнію архимандрита Леонида, торжественная покаянная и вмѣстѣ обвинительная противъ бояръ рѣчь Грознаго на лобномъ мѣстѣ внушена

царю и «вложена въ его уста» Сильвестромъ. Сильвестръ хотѣлъ сдѣлать «благое намѣреніе (Іоанна) къ исправленію себя, черезъ торжественное заявленіе народу, болѣе твердымъ и рѣшительнымъ, не дать ему остынуть и остановиться на одномъ безплодномъ обѣщаніи» и т. д. Это мнѣніе не имѣетъ за себя прямого документальнаго подтвержденія, но въ немъ, по малой мѣрѣ, нѣтъ ничего невѣроятнаго. Иначе думаетъ г. Замысловскій. Онъ говоритъ: «Это не подкрѣпленное никакими доказательствами предположеніе не имѣетъ ни малѣйшаго вѣроятія. Напротивъ, созваніе выборныхъ было самостоятельнымъ дѣяніемъ Іоанна». И далѣе: «Въ созваніи выборныхъ Іоанномъ выразилось то идеальное представленіе Іоанна о царской власти, которое сложилось не случайно, а подъ вліяніемъ историческихъ условій жизни, и существовало у него еще *до того времени, какъ началось, по указанію Курбскаго, вліяніе Сильвестра. Это видно изъ того, что Іоаннъ принялъ царскій титулъ до этого вліянія*». Не касаясь логической стороны этой аргументаціи, отмѣтимъ только, что передъ этимъ г. Замысловскій, соглашаясь съ доводами Соловьева, доказывалъ, что вліяніе Сильвестра началось гораздо раньше, чѣмъ указано у Курбскаго (по неправильному толкованію Карамзина), именно, по крайней мѣрѣ, съ 1541 г.; слѣдовательно, царскій титулъ принятъ (1546 г.) отнюдь не до этого вліянія. Но г. Замысловскій готовъ забыть собственные свои аргументы и принять имъ самимъ отрицаемую хронологію, когда эта завѣдомо ложная хронологія можетъ повести къ возвеличенію Грознаго, какъ самостоятельнаго дѣятеля.

Скажутъ: да развѣ нельзя избѣжать подобныхъ вольныхъ или невольныхъ промаховъ? Вѣдь это дѣло простой внимательности или добросовѣстности, которыя обязательны для всякаго историка. Я и не говорю, что такіе промахи неизбѣжны, и, безъ сомнѣнія, если бы причины разногласій въ мнѣніяхъ о царствованіи Грознаго сводились къ ошибкамъ, такъ-же легко вскрываемымъ, какъ хронологическая ошибка г. Замысловскаго, то разногласія давно прекратились бы. Но неизбѣжна та субъективная подкладка, которая заставляетъ г. Бѣлова горячиться по адресу Курбскаго, а г. Замысловскаго забывать, изъ почтенія къ Грозному, свои собственные аргументы. Нужно думать не объ устраненіи этой подкладки, которая все равно такъ или иначе дастъ себя знать, а объ урегулированіи ея. У всѣхъ у насъ есть свои любимые и нелюбимые среди историческихъ образовъ, какъ и среди просто знакомыхъ людей. Больно, обидно видѣть изъяны въ нравственной физіономіи любимаго человѣка; непріятно, тяжело признать достоинства въ нелюбимомъ. Это уже общечеловѣческая слабость, а такъ какъ человѣку свойственно избѣгать боли и непріятности, то мы обыкновенно сознательно или безсознательно закрываемъ глаза на недостатки своихъ любимцевъ и на достоинства нелюбимыхъ или даже разными изворотами послушнаго ума обращаемъ недостатки въ достоинства и наоборотъ. Есть, конечно, люди съ умомъ, достаточно дѣятельнымъ, и чувствомъ справедливости, достаточно сильнымъ, чтобы разыскать жемчужное зерно въ навозной кучѣ и не закрыть глазъ передъ позорнымъ пятномъ на характерѣ любимаго человѣка. Но и они избѣгнутъ соблазновъ несправедливости лишь въ томъ случаѣ, если дадутъ себѣ ясный отчетъ въ своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ и пріурочатъ ихъ не къ личностямъ, а къ принципамъ, которымъ тѣ личности послужили или приблизительнымъ воплощеніемъ которыхъ они были въ исторіи. Разногласія отъ этого не исчезнутъ, но, во-первыхъ, сократятся въ числѣ, а, во-вторыхъ, получатъ болѣе ясный, болѣе осязательный характеръ. Симпатіи и антипатіи не исчезнутъ, но изъ безотчетныхъ онѣ обратятся въ сознательныя; полнаго единства мнѣній не будетъ, но единоличныя мнѣнія сольются въ нѣсколько группъ, сообразно числу возможныхъ въ данномъ случаѣ политическихъ идеаловъ. Мнѣ кажется, что это предѣльный пунктъ, до котораго мы можемъ достигнуть въ стараніяхъ устранять разногласія объ Иванѣ Грозномъ и значеніи его царствованія.

Я предполагаю сдѣлать небольшой обзоръ главныхъ мнѣній о Грозномъ, а теперь, для нѣкоторой иллюстраціи вышесказаннаго, вернемся на минуту къ г. Бѣлову.

Г. Бѣловъ, какъ видно изъ его книги «Объ историческомъ значеніи русскаго боярства» и изъ выставленныхъ имъ въ Историческомъ Обществѣ тезисовъ (собственно изъ реферата ничего не видно), считаетъ главнымъ нервомъ Іоаннова царствованія и его главною заслугою его борьбу съ олигархическими аппетитами бояръ. Что же касается средствъ, которыми велась эта борьба, то г. Бѣловъ частію старается смягчить ихъ крутость и жестокость, а частію уклоняется отъ сужденія о нихъ на томъ основаніи, что «смѣшеніе этическаго и политическаго элементовъ» только запутываетъ дѣло. Допустимъ, что все это доказано съ такою убѣдительностью, что комаръ носа не подточитъ. Слѣдуетъ-ли изъ этого, что тотчасъ же и прекратятся всѣ разногласія и явится искомое г. Бѣловымъ «опредѣленное, то-есть прочно установившееся мнѣніе о

значеніи царствованія Грознаго»? Отнюдь нѣтъ.

Въ романѣ «Князь Серебряный» гр. А. Толстой изображаетъ, между прочимъ, Грознаго молящимся: «Молился онъ о тишинѣ на святой Руси, молился о томъ, чтобы далъ ему Господь побороть измѣну и непокорство, чтобы благословилъ его окончить дѣло великаго поту, сравнять сильныхъ со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы всѣ были въ равенствѣ, а онъ бы стоялъ одинъ надо всѣмъ, аки дубъ въ чистомъ полѣ». Молится Грозный, а въ окошко на него звѣзды смотрятъ и думаютъ: «Ахъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ! Ты затѣялъ дѣло не въ добрый часъ, ты затѣялъ, насъ не спрошаючи: не рости двумъ колосьямъ въ уровень, не сравнять крутыхъ горъ съ пригорками, не бывать на землѣ безбоярщинѣ!» А о средствахъ, которыми Іоаннъ водворялъ свой идеалъ, гр. Толстой говоритъ уже не отъ лица звѣздъ, а отъ своего собственнаго имени, хотя и въ третьемъ лицѣ, въ предисловіи: «Въ отношеніи къ ужасамъ того времени, авторъ оставался постоянно ниже исторіи. Изъ уваженія къ искусству и къ нравственному чувству читателя, онъ набросилъ на нихъ тѣнь и показалъ ихъ, по возможности, въ отдаленіи. Тѣмъ не менѣе, онъ сознается, что при чтеніи источниковъ книга не разъ выпадала у него изъ рукъ, и онъ бросалъ перо въ негодованіи, не столько отъ мысли, что могъ существовать Іоаннъ IV, сколько отъ той, что могло существовать такое общество, которое смотрѣло на него безъ негодованія».

Да проститъ мнѣ г. Бѣловъ, что я его, ученаго историка, сопоставляю съ поэтомъ. Ученые люди часто считаютъ себя въ высшемъ рангѣ сравнительно съ художниками, но, вѣдь, и художники съ своей стороны иногда гордо претендуютъ на высшій рангъ. Притомъ же въ вопросѣ о Грозномъ, какъ уже было замѣчено выше, форма беллетристическая и форма историческаго изслѣдованія часто замѣщаютъ другъ друга. Я взялъ гр. Толстого, потому что онъ показался мнѣ наиболѣе подходящимъ для моей цѣли. Въ его поэтическихъ оборотахъ царской молитвы и звѣздной рѣчи сквозитъ представленіе о царствованіи Грознаго, объективно болѣе или менѣе совпадающее съ представленіемъ г. Бѣлова; не вполнѣ, конечно, но и тамъ и тутъ главный нервъ дѣятельности Грознаго полагается въ борьбѣ съ боярствомъ. Однако, то самое, въ чемъ г. Бѣловъ видитъ заслугу Грознаго, представляется гр. А. Толстому по малой мѣрѣ ошибкой, и этого разногласія не сотрешь никакимъ объективнымъ изслѣдованіемъ. Далѣе г. Бѣловъ не отрицаетъ нѣкоторой крутости Грознаго царя, но находитъ ее частью не особенно значительною, а частью нестоющей историческаго вниманія, а гр. Толстой «бросалъ перо въ негодованіи», и тутъ тоже ничего не подѣлаешь.

Я надѣюсь, что все это еще выяснится ниже. А въ заключеніе этой главы позвольте маленькую фантазію. Представимъ себѣ, что издатель «Гражданина», кн. Мещерскій, что-нибудь знаетъ изъ русской исторіи и желаетъ сказать свое слово о Грозномъ. Если онъ, кн. Мещерскій, наканунѣ XX вѣка (fin de siècle!) находитъ розги хорошимъ нравственно-политическимъ воздѣйствіемъ, то для XVI вѣка онъ, надо думать, съ одобреніемъ отнесется къ мѣрамъ гораздо болѣе крутымъ. Но, конечно, онъ не одобритъ ихъ примѣненія къ боярамъ. И съ этой позиціи его, разумѣется, не собьешь никакой объективно-исторической критикой.

II.

По мнѣнію Щербатова, Іоаннъ Грозный, «именитый въ земныхъ владыкахъ—его разумомъ, узаконеніями, честолюбіемъ, завоеваніями, потерями, гордостью, низкостью и суровствомъ, въ толь разныхъ видахъ представляется, что часто не единымъ человѣкомъ является» (Исторія россійская, т. V, ч. III). Затѣмъ Щербатовъ пытается психологически связать эти «толь разные виды». Щербатовъ признаетъ за Грознымъ «проницательный и дальновидный разумъ», но отмѣчаетъ и «низость его сердца». Блестящее начало и мрачный конецъ царствованія Грознаго Щербатовъ связываетъ тѣмъ, что «расположеніе его сердца было таково же, но чувствуя себя недовольно утвержденна на престолѣ, а къ тому имѣвъ мудрую и добродѣтельную супругу царицу Анастасію Романовну, сдерживалъ суровый свой обычай». А потомъ обстоятельства измѣнились.

Мы, впрочемъ, не войдемъ въ подробности щербатовской характеристики Грознаго, хотя для своего времени она обладала большими достоинствами. Она есть въ самомъ дѣлѣ характеристика. Худо-ли, хорошо-ли, но различныя стороны нравственной физіономіи Ивана IV и различные періоды его жизни связаны здѣсь въ одно цѣлое. Скачковъ и пробѣловъ нѣтъ, какъ ихъ нѣтъ и не можетъ быть въ жизни живого человѣка. Конечно, пробѣлы пополнены довольно искусственно и произвольно. Было бы нетрудно доказать, что цѣпь умозаключеній, при помощи которой Щербатовъ переходитъ отъ одной психологической черты къ другой, виситъ совершенно на воздухѣ и что съ такимъ же точно правомъ можно совсѣмъ иначе расположить и связать звенья этой цѣпи. Но мы цѣнимъ, главнымъ образомъ, по-

пытку многосторонняго, цѣльнаго взгляда и тѣмъ менѣе имѣемъ резоновъ распространяться о недостаткахъ характеристики Щербатова, что она не оказала никакого вліянія на труды и взгляды позднѣйшихъ историковъ.

До такой степени не оказала вліянія, что у Карамзина мы уже не встрѣчаемъ даже и попытки цѣльнаго взгляда на Грознаго. Пораженный противорѣчіями въ характерѣ Ивана IV, Карамзинъ только разводитъ передъ ними руками. «Несмотря на всѣ умозрительныя изъясненія,—говоритъ онъ,—характеръ Іоанна, героя добродѣтели въ юности, неистоваго кровопійцы въ лѣтахъ мужества и старости, есть для ума загадка». Щербатову «сей государь въ толь разныхъ видахъ представляется, что часто не единымъ человѣкомъ является», но онъ понимаетъ, что можно и должно привести эти «толь разные виды» къ нѣкоторому единству, хотя бы при помощи чисто «умозрительныхъ изъясненій», по выраженію Карамзина. Карамзинъ желаетъ воздать должное свѣту и тѣни въ характерѣ Грознаго, но приходитъ къ заключенію, что это неразрѣшимая загадка. Отдѣльныя черты нравственной физіономіи Грознаго стоятъ передъ нимъ какъ бы торчкомъ въ разныя стороны, какъ иглы у ежа, свернувшагося въ клубокъ, такъ что къ нему и приступиться нельзя. Точно также различныя эпохи жизни и царствованія Іоанна являются у Карамзина очень плохо связанными, и вся исторія идетъ скачками, иногда принимающими прямо чудесный характеръ. Намъ нужно припомнить главныя дѣленія карамзинской исторіи Іоанна.

«Рожденный съ пылкою душою, рѣдкимъ умомъ, особенною силою воли», онъ не имѣлъ «мудраго пѣстуна». Въ немъ «возникли» вслѣдствіе этого пороки, встрѣчавшіе со стороны окружающихъ только поощреніе. Приближенные бояре, обдѣлывая свои личныя дѣла и грызясь изъ-за нихъ между собою, предоставляли царственному отроку всякія грубыя потѣхи и даже одобряли его жестокости. Такъ росъ и выросъ Иванъ и женитьба на Анастасіи не измѣнила его характера. Произошелъ знаменитый московскій пожаръ 1547 г. и затѣмъ бунтъ черни, окончившійся погромомъ Глинскихъ. «Въ сіе ужасное время, когда юный царь трепеталъ въ Воробьевскомъ дворцѣ своемъ, а добродѣтельная Анастасія молилась, явился тамъ какой-то удивительный мужъ, именемъ Сильвестръ, саномъ іерей, родомъ изъ Новгорода» и т. д. Слѣдуетъ знаменитая яко бы первая бесѣда Сильвестра съ Іоаномъ, много разъ воспроизведенная учебниками, беллетристикой и живописью, но совершенно устраненная позднѣйшею исторической критикой. Сильвестръ «потрясъ душу и сердце, овладѣлъ воображеніемъ юноши и произвелъ чудо: Іоаннъ сдѣлался инымъ человѣкомъ». Съ этого «чуднаго исправленія Іоанна» началось вліяніе Сильвестра и Адашева, миръ въ душѣ Іоанна, миръ вокругъ него и цѣлый рядъ блестящихъ дѣлъ по управленію государствомъ: знаменитая рѣчь царя на Лобномъ мѣстѣ, изданіе Судебника, мѣры противъ мѣстничества, Стоглавъ, устройство мѣстнаго управленія, завоеваніе Казани и другіе военные успѣхи. Такъ продолжалось въ теченіе тринадцати лѣтъ, тяжело омраченныхъ только однажды—болѣзнью Іоанна, во время которой многіе бояре отказались присягать малолѣтнему сыну его, полагая, въ случаѣ его смерти, возвести на престолъ его двоюроднаго брата, удѣльнаго князя Владиміра Андреевича. Это обстоятельство влило много горечи въ душу Іоанна, но, выздоровѣвъ, онъ не мстилъ ослушникамъ. Все это измѣнилось со смертью, въ 1560 г., Анастасіи. «Здѣсь конецъ счастливыхъ дней Іоанна и Россіи, ибо онъ лишился не только супруги, но и добродѣтели». На всѣ остальные двадцать четыре года своей жизни «государь любимый, обожаемый, съ высоты блага, счастія, славы низвергнулся въ бездну ужасовъ тиранства». Сильвестръ и Адашевъ были отодвинуты, а затѣмъ быстро сложилась вся та картина ужасовъ, кровавыхъ потѣхъ и возмутительныхъ злодѣйствъ, которыя навѣки такъ и приросли къ имени Грознаго. Разсказавъ объ убійствѣ Іоанномъ старшаго сына, Карамзинъ замѣчаетъ, что «такъ правосудіе Всевышняго мстителя и въ семъ мірѣ караетъ иногда исполиновъ безчеловѣчія, болѣе для примѣра, нежели для исправленія», потому что Грозный уже не могъ исправиться. А описывая послѣдніе дни Іоанна, Карамзинъ окончательно теряется и на двухъ-трехъ страницахъ то возмущается нераскаянностью мучителя, то восторгается его душевнымъ просіяніемъ, то опять возмущается.

Неразрѣшимая психологическая задача, вставленная въ оправу изъ чудесъ и таинственностей,—таковъ Иванъ IV у Карамзина. Любопытно отношеніе позднѣйшихъ изслѣдователей къ VIII и IX томамъ «Исторіи государства россійскаго», посвященнымъ царствованію Грознаго. Если Кавелинъ поражается «неестественностью» характера Іоанна у Карамзина и находитъ, что «восьмой и девятый томы — одна изъ самыхъ слабыхъ частей сочиненія исторіографа» (Сочиненія, II, 117), то, наоборотъ, Костомаровъ съ такою же рѣшительностью утверждаетъ, что Карамзинъ «именно на этой части русской исторіи показалъ всю силу своего таланта, болѣе чѣмъ на всякой

другой, и съ замѣчательною вѣрностью угадалъ характеръ этой личности» («Личность царя Ивана Васильевича Грознаго»). Это объясняется, въ связи съ коренными разногласіями позднѣйшихъ историковъ относительно самой личности Ивана Грознаго, еще тѣмъ обстоятельствомъ, что для Костомарова, напримѣръ, имѣетъ интересъ и цѣну не вся карамзинская характеристика въ цѣломъ, а лишь нѣкоторыя ея стороны. Безъ сомнѣнія, и Костомаровъ не могъ удовлетвориться расплывчатымъ, разорваннымъ образомъ Грознаго, какимъ онъ является у Карамзина; не даромъ онъ находилъ, что необходимо «сообщить ему (карамзинскому портрету Грознаго) болѣе тѣлесности, красокъ и жизни». Но онъ высоко цѣнилъ мысль Карамзина о недостаткѣ самостоятельности въ Грозномъ, о значеніи посторонних вліяній на него. Ради этой черты Костомаровъ принималъ и вышеприведенное карамзинское дѣленіе царствованія Іоанна на три главные періода, хотя, конечно, былъ далекъ отъ баснословія Карамзина. Вообще взглядъ Карамзина до такой степени мозаиченъ, что сколько-нибудь самостоятельно мыслящіе и пытливые умы не могли принять его во всей цѣлости. Одинъ наивный писатель, нѣкто Ярославцевъ, издавшій въ концѣ пятидесятыхъ годовъ очень плохую трагедію «Князь Владиміръ Андреевичъ Старицкій» и посвятившій ее «памяти Николая Михайловича Карамзина», этотъ Ярославцевъ хорошо выразилъ общій характеръ того вліянія, которое могла имѣть карамзинская характеристика на людей, малымъ довольныхъ. Онъ говоритъ въ предисловіи къ трагедіи, что при чтеніи VIII и IX томовъ «Исторіи государства россійскаго», «воображеніе его тревожилось изумительными поступками царя и восхищалось преданностью лучшихъ изъ его подданныхъ».

Первымъ, еще въ двадцатыхъ годахъ, поднялъ руку на карамзинскій портретъ Погодинъ. И это не лишено нѣкотораго особеннаго интереса въ виду общихъ взглядовъ Погодина. Не менѣе Карамзина восхищаясь преданностью подданныхъ, Погодинъ подвергаетъ анализу изумительность поступковъ Ивана, доводя при этомъ мысль исторіографа о значеніи посторонних вліяній до такой точки, на которую самъ Карамзинъ никогда не рѣшился бы встать. Погодинъ отрицаетъ чудесно свѣтлый періодъ отъ обращенія Іоанна подъ вліяніемъ Сильвестра до смерти царицы Анастасіи. По его мнѣнію, «Іоаннъ никогда не былъ великъ», онъ былъ «ничтоженъ во всѣ періоды своей жизни». Сильвестръ овладѣлъ душой Іоанна, «какъ магнетизеръ намагнетизированнымъ лицомъ», и въ блестящихъ дѣлахъ первыхъ тринадцати лѣтъ своего царствованія Иванъ игралъ чисто страдательную роль.

Мы еще встрѣтимся со взглядами Погодина, такъ какъ онъ не одинъ разъ возвращался къ Грозному, и постоянно въ одномъ и томъ же тонѣ, а теперь замѣтимъ только, что, независимо отъ вѣрности или невѣрности его взгляда по существу, онъ во всякомъ случаѣ, устранялъ противорѣчія Карамзина. Всякая «изумительность» исчезаетъ, если признать, что въ первыя тринадцать лѣтъ своего царствованія Грозный совсѣмъ не царствовалъ. Но доводы Погодина оказались недостаточно убѣдительными. Впрочемъ, слѣдующій, въ хронологическомъ порядкѣ, историкъ съ оригинальной физіономіей взглянулъ на Ивана съ точки зрѣнія, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ очень близкой къ взглядамъ Погодина. Это былъ Полевой.

Въ шестой части своей «Исторіи русскаго народа» (1830 г.), Полевой, хотя и говоритъ о внезапномъ обращеніи Іоанна Сильвестромъ («внезапу явился передъ нимъ сѣдовласый служитель Божій»), но ни въ этомъ эпизодѣ, ни во «внезапной нравственной гибели» Іоанна не видитъ чего-нибудь чудеснаго. Характеръ Грознаго объясняется для Полевого комбинаціей вліяній наслѣдственности и воспитанія, что для тридцатыхъ годовъ было, конечно, большою оригинальностью. «Соображая жизнь, дѣла, слова Іоанна,—говоритъ Полевой, — видимъ, что сынъ Василія и внукъ Іоанна III имѣлъ всѣ недостатки отца и дѣда, уступая послѣднему въ самобытности характера и обширномъ умѣ, не имѣя лѣности душевной, свойственной Василію. Вспомнимъ суровость, жестокость Іоанна III, склонность къ забавамъ и нѣголюбіе Василія. Въ Іоаннѣ IV соединялось и то, и другое. И такой характеръ былъ испорченъ несчастнымъ воспитаніемъ, пріучившимъ его къ двумъ противоположностямъ: своеволію и самовластію, и въ то же время къ послушанію людямъ, превосходившимъ его умомъ, дарованіями или хитростью, умѣвшимъ искусно завладѣть имъ. Такъ въ юности своей Іоаннъ подчинялся Глинскимъ, казня Шуйскихъ; покорствовалъ впослѣдствіи клевретамъ своимъ, казня доблестныхъ совѣтниковъ; унижался передъ Баторіемъ, терзая Магнуса и Ливонію. Привыкая повиноваться, онъ готовъ былъ страшно мстить своему повелителю, когда *сознавалъ* свою зависимость: горделивое самолюбіе напоминало ему въ то время все величіе званія его на землѣ. Самая любовь его къ Анастасіи не походила ли болѣе на привычку повиноваться волѣ человѣка, котораго достоинства умѣлъ онъ оцѣнить». Указавъ затѣмъ на значеніе того вліянія, которымъ пользовались Сильвестръ и Ада-

шевъ, и на значеніе разрыва съ ними, Полевой продолжаетъ: «Все соображенное нами ясно показываетъ, что погибель Іоанна, смерть его добродѣтели такъ-же не были внезапнымъ чудомъ, какъ и рожденіе его добродѣтельнаго житія». Послѣ поѣздки Іоанна въ Кирилловъ монастырь и свиданія съ бывшимъ коломенскимъ епископомъ Вассіаномъ Топорковымъ, который рекомендовалъ ему «не держать совѣтниковъ умнѣе себя», потому что, дескать, ихъ поневолѣ слушаться будешь,—«поступки Іоанна постепенно становились самовластительнѣе; мало-по-малу *отвыкалъ* онъ отъ послушанія совѣтамъ другихъ, противился предпріятію правителей противъ Крыма и вопреки всѣмъ увѣщаніямъ началъ ливонскую войну. Успѣхъ сей войны былъ пагубенъ для царя и правителей; онъ увѣрился въ себѣ, пересталъ вѣрить имъ. Оставалось ударить роковому часу перелома и душой Іоанна овладѣть пороку и страстямъ. Насталъ сей часъ, и тогда все погибло въ одно мгновеніе: счастіе, слава Іоанна, Адашевъ и Сильвестръ. Но слѣды сего находимъ далеко прежде».

Какъ видитъ читатель, взглядъ Полевого, во всякомъ случаѣ, заслуживаетъ вниманія по своей стройности, оригинальности и трезвости, хотя съ фактической стороны Полевой не внесъ ничего новаго.

До сихъ поръ мы видѣли людей, или въ недоумѣніи останавливающихся передъ Иваномъ IV, какъ передъ неразрѣшимой загадкой, или пытающихся такъ или иначе разрѣшить эту загадку, но, во всякомъ случаѣ, возмущенныхъ въ своемъ непосредственномъ чувствѣ кровавыми ужасами Іоаннова царствованія. Признавая огромное историческое значеніе за нѣкоторыми эпизодами этого царствованія, они съ колебаніями или даже совсѣмъ не распространяютъ своего почтительнаго удивленія на самую личность Грознаго. Первымъ, кто рѣшился совсѣмъ отвлечься отъ непосредственнаго чувства и создать нѣкоторый апотеозъ Грозному, былъ совсѣмъ не историкъ и притомъ, страннымъ образомъ, именно человѣкъ страстнаго чувства, человѣкъ, который не только говорилъ, но и писалъ и жилъ, «упорствуя, волнуясь и спѣша»,—какъ выразился про него Некрасовъ,—«неистовый Виссаріонъ», какъ его называли друзья, словомъ—Бѣлинскій. «Русская исторія для первоначальнаго чтенія» Полевого вызвала въ 1836 году рецензію знаменитаго критика, въ которой читаемъ: «Есть два рода людей съ добрыми наклонностями: люди обыкновенные и люди великіе. Первые, сбившись съ прямого пути, дѣлаются мелкими негодяями, слабодушниками; вторые—злодѣями. И чѣмъ душа человѣка огромнѣе, чѣмъ она способнѣе къ впечатлѣніямъ добра, тѣмъ глубже падаетъ она въ бездну преступленія, тѣмъ болѣе закаляется во злѣ. Таковъ Іоаннъ: это была душа энергическая, глубокая, гигантская. Стоитъ только пробѣжать въ умѣ жизнь его, чтобы убѣдиться въ этомъ». Остановившись на эпизодѣ болѣзни Грознаго, Бѣлинскій продолжаетъ: «Трепещите, буйные крамольные бояре! Вашъ часъ пробилъ, вы сами накликали кару на свою голову, вы оскорбили льва, а левъ не забываетъ оскорбленій и страшно мститъ за нихъ... Мщеніе можетъ-быть сладкій, но ядовитый напитокъ; это скорпіонъ, самъ себя уязвляющій... Кровь тоже напитокъ опасный и ужасный: она, что морская вода, чѣмъ больше пьешь, тѣмъ жажда сильнѣе, она тушитъ месть, какъ масло огонь. Для Іоанна мало было виновныхъ, мало было бояръ,—онъ сталъ казнить цѣлые города; онъ былъ боленъ, онъ опьянѣлъ отъ ужаснаго потока крови... Все это вѣрно и прекрасно изображено у г. Полевого, и въ его изображеніи намъ понятно это безуміе, эта звѣрская кровожадность, эти неслыханныя злодѣйства, эта гордыня и, вмѣстѣ съ ними, это мучительное раскаяніе и это униженіе, въ которыхъ проявлялась вся жизнь Грознаго; намъ понятно также и то, что только ангелы могутъ изъ духовъ свѣта превращаться въ духовъ тьмы. Іоаннъ поучителенъ въ своемъ безуміи, это не тиранъ классической трагедіи, это не тиранъ Римской имперіи, гдѣ тираны были выраженіемъ своего народа и духа времени: это былъ падшій ангелъ, который и въ паденіи своемъ обнаруживаетъ по временамъ и силу характера желѣзнаго, и силу ума высокаго». (Сочиненія, II).

Мнѣ неизвѣстна «Русская исторія для первоначальнаго чтенія», но если планъ ея не очень отдаляется отъ плана «Исторіи русскаго народа» того же автора, то можно удивляться, что Бѣлинскій не замѣтилъ вышеприведенныхъ особенностей взгляда Полевого на Грознаго. Очевидно, во всякомъ случаѣ, что Бѣлинскій не приложилъ большихъ стараній къ изученію Грознаго и его эпохи и, съ свойственною ему пылкостью, увлекшись собственною фантазіей, нарисовалъ портретъ Грознаго «нѣтовыми цвѣтами по пустому полю», какъ говоритъ кто-то у Островскаго. Мудрено, конечно, думать, чтобы эта пламенная лирика въ прозѣ оказала какое-нибудь вліяніе на отношенія русской литературы къ Грозному царю. Но всетаки именно съ этихъ поръ мы встрѣчаемъ рядъ величаній Грознаго.

Началось съ Кавелина, именно съ его

замѣчательной статьи «Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи» (1846 г.). Между прочимъ, если не ошибаюсь, Кавелинъ первый провелъ параллель между Грознымъ и Петромъ I, каковая параллель потомъ часто повторялась, повторяется и теперь г. Бѣловымъ. Ничего нельзя было бы возразить противъ самой попытки указать черты сходства между этими двумя историческими образами, если изслѣдователь такое сходство находитъ. Но Кавелинъ идетъ дальше, онъ утверждаетъ, что «Петръ Великій глубоко уважалъ Іоанна IV, называлъ его своимъ образцомъ и ставилъ выше себя». На чемъ основывается это увѣреніе, я не знаю, хотя оно тоже повторялось въ нашей исторической литературѣ. Г. Бестужевъ-Рюминъ, сторонникъ указанной параллели, говоритъ: «Недаромъ, *какъ увѣряетъ преданіе*, Петръ считалъ Грознаго своимъ предшественникомъ» (Русская исторія, II).

Кавелинъ, сравнивая Ивана съ Петромъ, пишетъ: «Оба равно живо сознавали идею государства и были благороднѣйшими, достойнѣйшими ея представителями; но Іоаннъ сознавалъ ее, какъ поэтъ, Петръ, какъ человѣкъ по преимуществу практическій. У перваго преобладаетъ воображеніе, у второго—воля. Время и условія, при которыхъ они дѣйствовали, положили еще большее различіе между этими двумя великими государями. Одаренный натурой энергической, страстной, поэтической, менѣе реальной, нежели преемникъ его мыслей, Іоаннъ изнемогъ, наконецъ, подъ бременемъ тупой, полупатріархальной, тогда уже безсмысленной среды, въ которой суждено было ему жить и дѣйствовать. Борясь съ ней на смерть много лѣтъ и не видя результатовъ, не находя отзыва, онъ потерялъ вѣру въ возможность осуществить свои великіе замыслы. Тогда жизнь стала для него несносной ношей, непрерывнымъ мученіемъ: онъ сдѣлался ханжей, тираномъ и трусомъ. Іоаннъ IV такъ глубоко палъ именно потому, что былъ великъ». «Равнодушіе, безучастіе, отсутствіе всякихъ духовныхъ интересовъ, вотъ что встрѣчалъ онъ на каждомъ шагу», и въ этомъ, по Кавелину, лежитъ ключъ къ уразумѣнію ужасовъ Іоаннова царствованія. «Великіе замыслы» Іоанна состояли въ торжествѣ личности при посредствѣ государства, а главнымъ выраженіемъ стремленія къ этому торжеству была борьба съ вельможествомъ. Съ этой точки зрѣнія должны получить свое освѣщеніе всѣ мѣропріятія Іоанна, въ томъ числѣ и учрежденіе опричнины. «Это учрежденіе, оклеветанное современниками и непонятое потомствомъ, не внушено Іоанну, какъ думаютъ нѣкоторые, желаніемъ отдѣлиться отъ русской земли, противопоставить себя ей: кто знаетъ любовь Іоанна къ простому народу, угнетенному и раздавленному въ его время вельможами, кому извѣстна заботливость, съ которой онъ старался облегчить его участь, тотъ этого не скажетъ. Опричнина была первой попыткой создать служебное дворянство и замѣнить имъ родовое вельможество, на мѣсто рода, кровнаго начала, поставить въ государственномъ управленіи начало личнаго достоинства». Попытка оказалась неудачною, но не Грозный въ этомъ виноватъ, а все та же мертвая, низменная среда тогдашняго общества. Іоаннъ искалъ органовъ для осуществленія своихъ мыслей и не нашелъ; ихъ не откуда было взять. Растерзанный, измученный безплодною борьбой, Іоаннъ могъ только мстить за свои неудачи, подъ которыми похоронилъ онъ всѣ свои надежды, всю вѣру, все, что было въ немъ великаго и благодарнаго,—и мстилъ страшно».

Я сказалъ выше, что дѣло апологіи Ивана Грознаго началось въ литературѣ (съ легкой руки Бѣлинскаго) Кавелинымъ. Это такъ и есть. Но Юрій Самаринъ могъ бы оспаривать у Кавелина пальму первенства въ этомъ отношеніи. Могъ бы, еслибы его магистерская диссертація «Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ», вышедшая въ 1844 г., явилась тогда же въ полномъ видѣ. Но по тогдашнимъ цензурнымъ условіямъ, была допущена къ защитѣ и напечатана только часть ея, такъ что лишь въ 1880 г. диссертація появилась вполнѣ, въ видѣ пятаго тома сочиненій Самарина.

Имѣя, главнымъ образомъ, въ виду церковныя реформы царствованія Грознаго, Самаринъ со смѣсью восторга и недоумѣнія останавливается передъ его личностью. «Мы видѣли,—говоритъ онъ, — лучшую сторону царствованія Іоаннова, его дѣятельность, какъ законодателя и правителя; другая, темная сторона, къ несчастію закрывшая первую, представляетъ необузданный произволъ его личныхъ страстей и нарушеніе законовъ, имъ же признанныхъ и утвержденныхъ... Это страшное противорѣчіе въ характерѣ Іоанновомъ—явленіе до сихъ поръ неразгаданное. Напрасно стараются объяснить его вліяніемъ постороннихъ лицъ, будто-бы управлявшихъ Іоанномъ. Тайна лежитъ въ его собственномъ духѣ. Чудно совмѣщались въ немъ живое сознаніе всѣхъ недостатковъ, пороковъ и порчи того вѣка съ какимъ-то безсиліемъ и непостоянствомъ воли. Поэтому его умственное превосходство выражалось отрицательно, разрушеніемъ, ненавистью къ настоящему, ядовитою ироніей и безсмысленнымъ, слѣпымъ злодѣйствомъ. Этотъ разладъ съ современною жизнью, его не удовле-

творявшею, повторялся въ немъ, какъ лицѣ; ибо въ самомъ себѣ сознавалъ Іоаннъ всю темную сторону своего времени и ненавидѣлъ, презиралъ себя. Никто изъ его современниковъ не понималъ его, никто не страдалъ вмѣстѣ съ нимъ отъ глубокаго неудовлетворенія; ему одному были ясны первые признаки внутренняго гніенія, тогда какъ вся Россія пребывала въ самодовольномъ успокоеніи» («Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ» 1844 г. Сочиненія Самарина, т. V).

Апологеты Ивана Грознаго стремятся, какъ видимъ, поднять его на недосягаемую высоту надъ всею современною ему Россіей и даже надъ грядущими вѣками. Для Бѣлинскаго онъ прямо какой то небожитель и, во всякомъ случаѣ, въ противоположность римскимъ тиранамъ, не былъ «выраженіемъ своего народа и духа времени», а стоялъ неизмѣримо выше ихъ. У Кавелина Иванъ гибнетъ въ борьбѣ съ «тупой и безсмысленной средой», неспособной понять его. По Самарину, никто изъ современниковъ не понималъ его и «ему одному были ясны первые признаки внутренняго гніенія, тогда какъ вся Россія пребывала въ самодовольномъ успокоеніи». Надо, однако, замѣтить, что всѣ эти отзывы, столь рѣшительные и категорическіе висѣли, такъ сказать, на воздухѣ. Поворотъ мнѣній объ Иванѣ Грозномъ, начинающійся съ Бѣлинскаго, отнюдь не основывается на какомъ-нибудь новомъ тщательномъ пересмотрѣ источниковъ. Апологеты даже не пытаются полемизировать со старыми историками на почвѣ фактическихъ деталей. Они просто говорятъ: «Кто знаетъ любовь Грознаго къ простому народу, тотъ» и т. д.; или: «Напрасно стараются объяснить загадку вліяніемъ постороннихъ лицъ». Они не доказываютъ, а какъ бы декретируютъ свои мнѣнія о Грозномъ въ блестящемъ, правда, литературномъ изложеніи, которое, однако, можетъ только увлекать, а не убѣждать. Это относится и къ Кавелину, статья котораго была въ другихъ отношеніяхъ явленіемъ высоко замѣчательнымъ для своего времени.

Можетъ быть, въ связи именно съ этою увлекательностью, но не убѣдительностью, съ этимъ воздушнымъ характеромъ портретовъ Грознаго, находится слѣдующее, достойное примѣчанія, обстоятельство. Категорическій тонъ апологій не мѣшаетъ иногда апологетамъ рѣзко противорѣчить самимъ себѣ. Если Самаринъ въ 1844 году превозвысилъ Іоанна надъ всей русской землей, то въ 1847 г. въ статьѣ «О мнѣніяхъ Современника, историческихъ и литературныхъ» онъ горячо и рѣзко нападаетъ вообще на цитированную выше статью Кавелина и въ частности на заключающуюся въ ней идеализацію Грознаго. Онъ видитъ здѣсь «мысль, оскорбительную для человѣческаго достоинства; ту мысль, что бываютъ времена, когда геніальный человѣкъ не можетъ не сдѣлаться извергомъ, когда испорченность современниковъ, большею частью безсознательная, разрѣшаетъ того, кто сознаетъ ее отъ обязательности нравственнаго закона; по крайней мѣрѣ, до того умаляетъ вину его, что потомкамъ остается соболѣзновать о немъ, а тяжкую ношу отвѣтственности за его преступленія свалить на головы его мучениковъ». Напомнивъ затѣмъ имена Сильвестра, Адашева, Рѣпнина, митрополита Филиппа и другихъ, Самаринъ продолжаетъ: «Ходатайство за невинныхъ, за честь Россіи, не умолкало, на каждомъ шагу встрѣчалъ Іоаннъ безстрашныхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, беззлобныхъ обличителей изъ всѣхъ сословій тогдашняго общества. Вы властны не питать къ нимъ сочувствія, властны даже считать ихъ подвиги безплодными, пропадшими для Россіи, *но подводить ихъ подъ обвиненіе въ равнодушіи, въ безучастіи, въ отсутствіи всякихъ духовныхъ интересовъ, извините: это историческая клевета* (Сочиненія, I). Если это дѣйствительно историческая клевета, то раньше Кавелина въ ней провинился самъ Самаринъ въ диссертаціи о Стефанѣ Яворскомъ и Ѳеофанѣ Прокоповичѣ.

Что касается Кавелина, то въ другомъ мѣстѣ онъ негодуетъ на Карамзина за то, что «съ его легкой руки Іоаннъ сталъ извѣстенъ, какъ страшное исключеніе изъ русской исторіи» (Сочиненія, II, 599). Естественною реакціей противъ такого приговора Кавелинъ объясняетъ другую крайность, въ которую и самъ впадаетъ. «Въ настоящее время,—говоритъ онъ,—изъ двухъ крайностей послѣдняя, въ пользу Іоанна, кажется намъ ближе къ истинѣ, потому что искореняетъ въ новыхъ поколѣніяхъ предразсудокъ, успѣвшій пустить корни, и раскрываетъ тѣ стороны Іоаннова царствованія и характера, которыя, къ сожалѣнію, слишкомъ долго оставались въ тѣни, почти незамѣченными». Такимъ образомъ, окружая Ивана IV сплошнымъ непроходимымъ болотомъ «тупой и безсмысленной среды», Кавелинъ самъ понимаетъ, что это несправедливо, что не такъ собственно должны отражаться вещи въ правдивомъ зеркалѣ исторіи. Но ему кажется, что это уклоненіе отъ истины полезно, какъ реакція, и должно имѣть результатомъ «успѣхи народнаго самосознанія, путь къ болѣе дѣйствительной, вѣрной оцѣнкѣ насъ самихъ». Во второй половинѣ своего царствованія, — говоритъ Кавелинъ,—Иванъ IV «выходитъ у Карамзина «бичомъ Божіимъ», разслабившимъ и унизившимъ Россію, а послѣдняя—невинной

страдалицей, смиренно принимающей кару, ниспосланную на нее съ небесъ. Изъ этого мы, *разумѣется*, составляемъ себѣ о Россіи самое выгодное понятіе, льстящее нашей народной гордости». Почему это *разумѣется*—понять довольно трудно, но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что, по мнѣнію Кавелина, «Іоанна IV есть цѣлая эпоха русской исторіи, полное и вѣрное выраженіе нравственной физіономіи народа въ данное время»; онъ былъ «вполнѣ народнымъ дѣятелемъ въ Россіи». Спрашивается, какъ же связать это воззрѣніе съ мнѣніемъ того же Кавелина о недосягаемой выси, на которой стоялъ Іоаннъ по отношенію къ тупой и безсмысленной средѣ, о злосчастной судьбѣ его великихъ начинаній, разбивавшихся объ низменность и косность тогдашней Россіи? Никакъ нельзя связать: нельзя и ненужно. Мысль о недосягаемой особенности Іоанна выражена Кавелинымъ въ статьѣ «Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи», написанной въ 1846 г., а мысль объ Іоаннѣ, какъ о полномъ и вѣрномъ выраженіи нравственной физіономіи народа, изложена въ разборѣ диссертаціи Соловьева «Исторія отношеній между русскими князьями Рюрикова рода», появившейся въ 1847 году. Въ трудахъ Соловьева мы имѣемъ впервые послѣ Карамзина новый систематическій пересмотръ фактовъ русской исторія на всемъ ея протяженіи, и нѣтъ ничего удивительнаго, если они оказали вліяніе, между прочимъ, и на сужденія объ Иванѣ Грозномъ. Къ Соловьеву мы теперь и обратимся.

Но прежде запишемъ одинъ любопытный, хотя и не крупный эпизодъ изъ исторіи литературы объ Иванѣ Грозномъ.

Въ 1845 году въ Валуевской «Библіотекѣ для воспитанія» была напечатана небольшая статья Хомякова «Тринадцать лѣтъ царствованія Ивана Васильевича» *). Назначеніе этой статьи—для дѣтскаго чтенія—не мѣшаетъ ей заключать въ себѣ мысли, достойныя вниманія и игравшія, кажется, впослѣдствіи, въ болѣе развитомъ видѣ, немалую роль и въ общей исторической литературѣ.

По Хомякову, Грозный—«душа страстная но развращенная съ дѣтства; умъ необычайный, но къ несчастью не освѣщенный знаніемъ обязанностей человѣческихъ». Несмотря на высокія умственныя качества царя Ивана Васильевича, первыя тринадцать лѣтъ его царствованія обязаны всѣмъ своимъ блескомъ добрымъ совѣтамъ людей, окружавшихъ за это время царя, и его готовности считаться съ «народнымъ смысломъ», какъ онъ выражался въ соборахъ. Если спросятъ, говоритъ Хомяковъ,—чѣмъ отличается первый періодъ царствованія Іоанна, 1547—1560 гг., отъ второго, 1560—1584, то «историческая правда отвѣчаетъ однимъ: это время было временемъ добраго совѣта». Что же касается лично Іоанна, то «чувство любви человѣческой, любви христіанской было ему незнакомо; его страсти были злы». Но онъ могъ понять все великое, могъ плѣняться и плѣнился великимъ образомъ царя благодѣтеля, который представился для него въ словахъ Сильвестра, въ совѣтахъ Адашева; онъ покаялся, но не запросто, не какъ христіанинъ; не какъ грѣшникъ, убитый своей совѣстью и плачущій передъ Богомъ въ чувствѣ своего духовнаго униженія, нѣтъ—самое его покаяніе, пышное и всенародное, было окружено блескомъ торжества. Такъ и въ продолженіе 13-ти лѣтъ благодѣтельствовалъ онъ Россіи не потому, что любилъ добро, но потому, что понималъ славу и, такъ сказать, художественную красоту добра на престолѣ. Онъ былъ, по его же словамъ, *плѣнникомъ* не насилія, котораго даже и предполагать нельзя, не обмана, который былъ невозможенъ при его великомъ умѣ, но плѣнникомъ понятія о великомъ христіанскомъ вѣнценосцѣ, которое ему представляли Сильвестръ и Адашевъ и отъ котораго долго онъ не могъ освободиться. А между тѣмъ кипѣли его злыя страсти, подавленныя, но не искорененныя; кипѣла злость, которая стыдилась самой себя, а все просилась на волю,—а совѣтники, не злые, но неразумные, не понимавшіе его души и завидовавшіе Сильвестру и Адашеву, наговаривали ему слова лести и недовѣрчивости къ этимъ двумъ хранителямъ народнаго счастія».

Съ разницей между любовью къ добру съ одной стороны и пониманіемъ художественной красоты добра, съ другой — мы еще встрѣтимся ниже, у Константина Аксакова и Костомарова.

III.

Взглядъ Соловьева на Ивана Грознаго тѣсно связанъ съ его теоріей родового быта, въ судьбахъ котораго историкъ видѣлъ центральный пунктъ всей русской исторіи.

Иванъ Грозный былъ, по Соловьеву, представителемъ государственнаго начала и во имя его боролся съ отживающимъ началомъ родовымъ, каковая борьба возникла, однако, уже давно, съ тѣхъ поръ, какъ центръ тяжести русской исторіи перемѣстился

*) Въ «Сочиненіяхъ» Хомякова (т. I изд. 2-е) статья эта вездѣ—и въ предисловіи, и въ заголовкѣ, и въ оглавленіи — ошибочно названа «*Тридцать* лѣтъ царствованія Ивана Васильевича».

съ юга на сѣверъ, и, въ особенности, когда московскіе князья явились собирателями русской земли. Въ противоположность южнымъ князьямъ-героямъ, отважнымъ и непосѣднымъ предводителямъ воинственныхъ дружинъ, московскіе владыки въ цѣломъ ряду поколѣній съ упорною осторожностью распространяли свои владѣнія, избѣгая при этомъ, по возможности, всякаго риска, но затѣмъ не стѣсняясь никакими средствами. Это были князья-собственники, скопидомы, князья-«хозяева». Они не проявляли удали и не гонялись за блескомъ, а упорно шли къ своей цѣли, глядя по обстоятельствамъ, гдѣ ползкомъ, гдѣ скачкомъ, гдѣ хитростью и обманомъ, гдѣ открытымъ насиліемъ. Эта фамильная черта, не особенно симпатичная сама по себѣ, оказалась чрезвычайно благопріятною для всего дальнѣйшаго хода русской исторіи. Благодаря ей, московскіе князья постепенно стянули къ Москвѣ удѣлы, перевели въ нее митрополію, измѣнили порядокъ престолонаслѣдія, сократили боярское право отъѣзда и совѣта, стали великими князьями всея Руси, а затѣмъ и царями. Иванъ Грозный былъ только послѣднимъ, хотя и самымъ яркимъ представителемъ вѣковой московской политики, замѣнившей безпорядокъ порядкомъ, родовой бытъ—государственнымъ. Въ царствованіе Ивана IV родовой и государственный бытъ «дали другъ другу послѣднюю отчаянную битву».

«Великіе князья,—говоритъ Соловьевъ,—въ своихъ государственныхъ стремленіяхъ должны были встрѣтить сопротивленіе не со стороны однихъ князей-родичей, но со стороны всего, что получало свое бытіе или, по крайней мѣрѣ, поддерживалось родовыми княжескими отношеніями. Здѣсь первое мѣсто занимаетъ возможность вольнаго, безнаказаннаго перехода отъ одного князя къ другому, существовавшая для городовъ, для членовъ дружины, для людей изъ остальнаго даже народонаселенія при господствѣ родовыхъ княжескихъ отношеній и прекратившаяся при смѣненіи ихъ государственными». «Если справедливо, что, какъ говорятъ, Иванъ IV былъ помѣшанъ на измѣнѣ, то вмѣстѣ съ этимъ должно допустить, что старое общество было помѣшано на переходѣ или отъѣздѣ... Несправедливо видѣть въ строгихъ мѣрахъ Грознаго исключительно противоборство какимъ-то аристократическимъ, боярскимъ стремленіямъ; факты противорѣчатъ этому: Иванъ IV вооружился не противъ однихъ бояръ, ибо не одни бояре были заражены закоренѣлою болѣзнью стараго русскаго общества—страстью къ переходу или отъѣзду».

Очень любопытно замѣтить, что о борьбѣ съ «движущейся почвой» вообще, какъ выражается Соловьевъ, а не съ удѣльными и боярскими только стремленіями, говорится лишь въ диссертаціи объ «Исторіи отношеній между русскими князьями Рюрикова рода»; да и тамъ эта мысль не получаетъ надлежащаго развитія. А въ «Исторіи Россіи» все сводится къ борьбѣ съ притязаніями удѣльныхъ князей и бояръ, или, по крайней мѣрѣ, эта борьба составляетъ ту красную нить, которая, проходя сквозь все царствованіе Ивана IV, даетъ ему цвѣтъ и смыслъ. Равнымъ образомъ, и послѣдующіе историки, часто ссылаясь или опираясь на Соловьева, обыкновенно упускаютъ изъ вида вскользь брошенное имъ отрицаніе: «несправедливо видѣть въ строгихъ мѣрахъ Грознаго исключительно противоборство какимъ-то аристократическимъ, боярскимъ стремленіямъ».

Сѣверо-восточная Русь объединилась, образовалось государство, благодаря дѣятельности московскихъ князей. Но около этихъ князей собрались въ видѣ слугъ новаго государства потомки великихъ и удѣльныхъ князей, лишенныхъ своихъ отчинъ потомками Калиты; они примкнули къ московской дружинѣ, къ боярству, члены котораго должны были теперь, по требованію новаго порядка вещей, измѣнить свои отношенія къ главѣ государства. Но все напоминало этимъ людямъ недавнее прошлое, въ которомъ они или ихъ предки занимали иное, болѣе высокое положеніе; все тянуло ихъ къ старинѣ, а между тѣмъ государственное начало естественно клонилось къ своему дальнѣйшему развитію. Но князья и бояре, эти представители старины, не поняли новаго порядка и не съумѣли къ нему приспособиться. Все время малолѣтства Ивана IV они провели въ личныхъ интригахъ и смутахъ, не возвысившись даже до сословнаго интереса, а не то что государственнаго. Оставшись сиротой, Иванъ былъ свидѣтелемъ и безпомощною жертвою боярскихъ смутъ. Даровитый и можетъ быть уже отъ природы раздражительный ребенокъ былъ окруженъ повидимому покорными слугами, которые, однако, дѣлали, что хотѣли, и на глазахъ молодого князя оскорбляли, били, убивали близкихъ ему людей, кого онъ любилъ. «Голова ребенка была постоянно занята мыслью объ этой борьбѣ, о своихъ правахъ, о безправіи враговъ, о томъ, какъ дать силу своимъ правамъ, доказать безправіе противниковъ, обвинить ихъ. Пытливый умъ ребенка требовалъ пищи: онъ съ жадностью прочелъ все, что могъ прочесть, изучивъ священную, церковную, римскую исторію, русскія лѣтописи, творенія св. отцовъ; но во всемъ, что ни читалъ, онъ искалъ доказательствъ въ свою пользу; занятый постоянно борьбой, искалъ средствъ

выйти побѣдителемъ изъ этой борьбы, искалъ вездѣ, преимущественно въ священномъ писаніи, доказательствъ въ пользу своей власти и противъ беззаконныхъ слугъ, отнимавшихъ ее у него». Немудрено, что первымъ самостоятельнымъ шагомъ заброшеннаго, предоставленнаго самому себѣ и развѣ только въ дурныхъ инстинктахъ поощряемаго мальчика (13 лѣтъ) была звѣрская расправа съ первымъ вельможей въ государствѣ, Андреемъ Шуйскимъ, за которою послѣдовали другія казни и опалы. Немудрено также, что на 17 году Іоаннъ уже пожелалъ «поискать прародительскихъ чиновъ», вѣнчаться на царство. Отсюда беретъ начало и вся дальнѣйшая исторія Ивана IV. Отсюда ревниво подозрительное обереганіе своей власти, какъ безчисленными казнями, такъ и внѣшнимъ подъемомъ этой власти при помощи титуловъ и вымышленныхъ родословій. Крайности, до которыхъ дошелъ Иванъ въ своемъ стремленіи подняться на недосягаемую высоту надъ всей Русью, должны быть поставлены на счетъ ему лично, но общій тонъ этого стремленія вполнѣ совпадалъ и съ вѣковою политикою московскихъ князей, и съ дѣйствительными потребностями государства.

На восемнадцатомъ году Іоаннъ вѣнчался на царство и женился. Вслѣдъ затѣмъ произошли извѣстные московскіе пожары. Группа бояръ распространила слухъ, что Москву подожгли царскіе родичи Глинскіе; произошло возмущеніе черни. «До сихъ поръ Иванъ былъ занятъ только отношеніями къ боярамъ; но теперь бояре вздумали осоюзиться съ народомъ, употребить народъ для достиженія своихъ цѣлей. Царь увидалъ опасность и хотѣлъ прервать этотъ союзъ. Послѣ похода на Казань, продолжать который помѣшала оттепель, Иванъ въ 1549 г. велѣлъ «собрати свое государство изъ городовъ всякаго чину».

Надо опять-таки замѣтить, что мысль о сознательномъ противодѣйствіи Ивана какому-то союзу бояръ съ народомъ находиться только въ «Исторіи отношеній между русскими князьями Рюрикова рода», и опять-таки здѣсь она брошена мимоходомъ, а въ «Исторіи Россіи» ея совсѣмъ нѣтъ.

Вслѣдъ за пожарами выдвинулся на первый планъ знаменитый Сильвестръ, а съ нимъ Адашевъ и другіе. Вліяніе Сильвестра было несомнѣнно очень велико, но не слѣдуетъ преувеличивать его значеніе. Политическій горизонтъ царя былъ шире Сильвестрова, Иванъ былъ проницательнѣе, выше своего ментора, хотя тотъ благотворно сдерживалъ порывы страстной души Грознаго. Нравственный переворотъ въ Іоаннѣ, приписываемый цѣликомъ Сильвестру, подготовлялся, кромѣ этого вліянія, рядомъ моментовъ, въ числѣ которыхъ фигурируетъ и «сильная по лѣтамъ степень развитія ума и воли, обнаружившаяся въ Іоаннѣ намѣреніемъ вѣнчаться и принять титулъ царскій». Все это вмѣстѣ побуждало Іоанна «окончательно порѣшить съ боярами и князьями, искать опоры въ лицахъ другого происхожденія и въ лицахъ испытанной нравственности». Наконецъ, послѣдовалъ созывъ выборныхъ отъ всей земли и рѣчь царя на Лобномъ мѣстѣ. «Такъ кончилось правленіе боярское»,—говоритъ Соловьевъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ открываются блестящіе страницы Іоаннова царствованія. «Вѣкъ задавалъ важные вопросы, а во главѣ государства стоялъ человѣкъ, по характеру своему способный приступить немедленно къ ихъ рѣшенію». Внутри государства гражданскія дѣла упорядочились изданіемъ новаго судебника, церковныя — постановленіями Стоглаваго собора; были приняты мѣры противъ мѣстничества и предоставленъ доступъ въ служилое сословіе людямъ низшаго происхожденія; дьяки заняли новое положеніе относительно воеводъ; города и села были ограждены благами самоуправленія отъ самовластія и насилій намѣстниковъ и волостелей. Во внѣшнихъ дѣлахъ послѣдовало завоеваніе Казани,—событіе, всю огромную важность котораго мы теперь не въ состояніи себѣ съ полною ясностью представить, но блескъ котораго былъ для современниковъ ослѣпителенъ; завоеваніе Астрахани, удача въ крымскихъ дѣлахъ; затѣмъ намѣченъ былъ путь къ морю и въ Европу черезъ Ливонію.

Ливонскія и крымскія дѣла послужили первымъ поводомъ для крупнаго разногласія между царемъ и его совѣтниками. Соловьевъ удѣляетъ этому обстоятельству много вниманія; онъ утверждаетъ, что Сильвестръ, Адашевъ, Курбскій и другіе, требуя, чтобы царь послѣ покоренія Казани и Астрахани, направилъ всѣ силы на послѣдній остатокъ Золотой орды—Крымъ, не понимали великихъ плановъ Грознаго, предвосхитившаго идею Петра I,—идею сближенія съ Европой путемъ завоеванія Ливоніи. Но это разногласіе само по себѣ еще не отдалило бы царя отъ совѣтниковъ «избранной рады», если бы въ немъ сохранилась увѣренность въ преданности ихъ его особѣ и интересамъ его семьи. Но увѣренность эта пошатнулась во время болѣзни Грознаго въ 1553 г., когда многіе бояре отказались присягать его сыну. Въ 1560 г. умерла царица Анастасія, и душа Грознаго окончательно омрачилась. Начались казни. Курбскій бѣжалъ въ Литву. Это было событіемъ большой важности для самого Іоанна и для русской исторіографіи, если не для русской исторіи. Въ

полемической перепискѣ, возникшей между Курбскимъ, потомкомъ князей смоленскихъ и ярославскихъ, и царемъ—потомкомъ московскихъ князей, Соловьевъ справедливо видитъ драгоцѣнный матеріалъ не только для фактическаго возсозданія нѣкоторыхъ моментовъ царствованія Грознаго, но и для сужденія о тогдашнихъ отношеніяхъ. Соловьевъ подвергаетъ эту переписку тщательному анализу, и понятно съ какой точки зрѣнія: для него это одно изъ выраженій борьбы между старымъ родовымъ бытомъ, представителемъ и защитникомъ котораго является Курбскій, и бытомъ государственнымъ, представляемымъ Грознымъ. Эта литературная схватка дорого стоила Ивану. Помимо той боли и обиды, которую онъ, при своей страстности и раздражительности, ощущалъ, вслѣдствіе невозможности покарать бѣглеца, Курбскій былъ не простымъ отъѣздчикомъ, оставившимъ отечество изъ страха личной опалы. Онъ былъ представителемъ цѣлой партіи, онъ упрекалъ Ивана не за одного себя, а за многихъ. Иванъ уже и прежде подозрительно осматривался кругомъ, бралъ у бояръ клятвенныя записи и поручительства въ томъ, что тотъ или другой изъ недовольныхъ не отъѣдетъ изъ Россіи. Но вотъ Курбскій отъѣхалъ же и бранится изъ-за литовской границы и грозитъ небесною карою отъ лица многихъ. Мысль: «враговъ много, я не въ безопасности, нужно принять мѣры для спасенія себя и своего семейства, въ случаѣ неудачи нужно приготовить убѣжище на чужбинѣ»,—эта мысль стала теперь господствующей въ головѣ Іоанна. Ближайшимъ образомъ она выразилась учрежденіемъ опричнины: не имѣя возможности прогнать всѣхъ бояръ, царь самъ отъ нихъ удалился.

Нужно отдать справедливость Соловьеву: онъ ни единымъ словомъ не обмолвился въ защиту опричнины и довольствуется только психологическимъ объясненіемъ ея учрежденія, не пытаясь дать ей нравственное оправданіе, а тѣмъ болѣе политически возвеличить ее. Вообще Соловьевъ, высоко цѣня политическую мудрость Грознаго и отыскивая въ его жизни слѣды государственной программы вездѣ, гдѣ можно и гдѣ даже нельзя ихъ найти, не скрываетъ многочисленныхъ пятенъ на его нравственной физіономіи. Самое большее, что онъ дѣлаетъ въ защиту личности Грознаго, это—объясненіе пятенъ общимъ уровнемъ тогдашней нравственности и наслѣдственными свойствами рода Калиты. Онъ говоритъ, напримѣръ, «Относительно Іоанна IV мы не должны забывать, что это былъ внукъ Іоанна III, потомокъ Всеволода III; если нѣкоторые историки заблагоразсудили представить его въ началѣ героемъ, покорителемъ царствъ, а потомъ человѣкомъ постыдно робкимъ, то онъ нисколько въ этомъ не виноватъ». Такъ, казанскій походъ онъ предпринялъ по убѣжденію въ его необходимости, но на мѣстѣ «вовсе не велъ себя Ахиллесомъ», является здѣсь вовсе не героемъ». Такъ и въ другихъ случаяхъ. Это фамильная черта московскихъ князей,—«таковы были всѣ эти московскіе или вообще сѣверные князья-хозяева, собиратели земли».

Со взглядами Соловьева на Грознаго случилось то, что обыкновенно случается съ крупными вкладами въ литературу. Вызвавъ нѣкоторыя болѣе или менѣе цѣнныя критическія замѣчанія и поправки, они вызвали также подражателей, компрометтирующихъ учителя пересоломъ и, подобно эхо, повторяющихъ лишь нѣкоторые, послѣдніе слоги или слова, сказанныя самостоятельнымъ человѣкомъ, результатомъ чего являются иногда совершенно неожиданныя комбиаціи. Образчикомъ этого рода произведеній можетъ служить та книга Горскаго, которою г. Бѣловъ такъ долго занималъ своихъ слушателей въ Историческомъ Обществѣ («Жизнь и историческое значеніе князя Андрея Михайловича Курбскаго»). Впрочемъ, кромѣ Соловьева, Горскій руководствовался еще Кавелинымъ, на что самъ указываетъ въ предисловіи. Но главнымъ образомъ все сочиненіе Горскаго представляетъ собою не что иное, какъ утрированное развитіе замѣчаній Соловьева о значеніи и характерѣ литературной сшибки Грознаго съ Курбскимъ. По Соловьеву, какъ мы уже видѣли, въ перепискѣ Курбскаго и Ивана IV выразилась борьба обветшалаго стараго съ животворящимъ новымъ, родового быта съ государственнымъ. Развивая эту мысль далеко за предѣлы, намѣченные Соловьевымъ, Горскій пишетъ настоящій обвинительный актъ противъ Курбскаго и апологію Грознаго.

Возражая на упреки Грознаго въ замыслахъ возвести на престолъ двоюроднаго брата царя, князя Владиміра Андреевича Старицкаго (во время болѣзни Іоанна), Курбскій между прочимъ пишетъ: «А о Владимірѣ братѣ вспоминаешь, аки бы мы есть хотѣли его на царство: воистину о семъ не мыслихъ, понеже и недостоинъ былъ того». Горскій толкуетъ это мѣсто въ томъ смыслѣ, что Курбскій прикидывается скромникомъ, смиренникомъ, признавая себя недостойнымъ думать о такомъ важномъ дѣлѣ; но, говоритъ, это смиреніе неискреннее, фальшивое,—и строитъ на этой фальшивости цѣлое обвиненіе не только противъ Курбскаго, но и противъ всей партіи Сильвестра и Адашева. Ясно, однако, что Курбскій говоритъ здѣсь не о своемъ недостоинствѣ, а о томъ, что князь Владиміръ, по его, Курбскаго, мнѣ-

нію, былъ недостоинъ престола. Любопытно, что это мѣсто приводится между прочимъ и у Соловьева, который, однако, переводитъ его какъ слѣдуетъ. Но Горскій ничѣмъ не стѣсняется, чтобы сгустить мрачныя краски на сторонѣ «старины», представителемъ которой является для него Курбскій съ единомышленниками. Тѣмъ большимъ ореоломъ окружается личность Грознаго, который оказывается единственнымъ носителемъ новыхъ идеаловъ. Соловьевъ не отрицаетъ вліянія Сильвестра и только старается установить его предѣлы; для Горскаго же «такія сильныя, энергическія личности, какъ Грозный, не терпятъ чужого вліянія». Соловьевъ довольно неопредѣленными чертами рисуетъ тяготѣніе Іоанна къ Европѣ черезъ Ливонію; по Горскому же, онъ прямо «постигалъ, что Россія можетъ возвыситься надъ сосѣдями, сдѣлаться государствомъ истинно могущественнымъ только тогда, когда ознакомится съ европейскимъ образованіемъ, усвоитъ себѣ европейскую цивилизацію, европейскія науки и искусства. Эта мысль была задушевною мыслью Іоанна, это былъ его идеалъ, осуществить который онъ старался во все время своей жизни». Соловьевъ говоритъ и о религіозныхъ, и о чисто житейскихъ мотивахъ, по которымъ Курбскій и другіе старались направить вниманіе царя, вмѣсто Ливоніи, на Крымъ, не дававшій покоя южнымъ границамъ Россіи и даже до самой Москвы. У Горскаго все это выходитъ гораздо проще: «по мнѣнію Курбскаго, всетаки востокъ былъ болѣе достоинъ вниманія Россіи *потому*, что отцы и дѣды обращали вниманіе *только* на него». Соловьевъ старается только объяснить учрежденіе опричнины, но отнюдь не пытается идеализировать его; по Горскому же, это—«самое мудрое учрежденіе Іоанна, обличающее въ немъ дальновиднаго, предусмотрительнаго государя». Іоаннъ началъ заводить новые порядки на Руси мѣрами кротости, но, «видя, что кротость и милость ни къ чему не повели, пришелъ, наконецъ, къ заключенію, что однимъ страхомъ смерти можетъ обуздать крамольниковъ». Для всѣхъ казней, совершенныхъ Иваномъ, Горскій находитъ не только объясненіе, но и оправданіе въ томъ, что казненные крамольничали или *могли* или *должны* были крамольничать во имя старины; Іоаннъ же только и думалъ о томъ, чтобы двинуть Русь впередъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ руководился исключительно любовью къ родинѣ.

Само собою разумѣется, что русская историческая литература не могла ограничиться подобными рабскими преувеличеніями взглядовъ Соловьева. Напротивъ, они вызвали цѣлый рядъ возраженій и поправокъ, между которыми есть въ высокой степени замѣчательныя.

Мы уже отчасти знакомы съ мнѣніями Погодина, выраженными еще въ двадцатыхъ годахъ («Историко-критическіе отрывки»). Затѣмъ онъ вновь возвратился къ нашей темѣ и съ рѣшительностью повторилъ свое мнѣніе о ничтожествѣ Ивана IV, какъ личности и какъ государственнаго дѣятеля. Что же касается его возраженій Соловьеву, то они сводятся къ слѣдующему. Во-первыхъ, Погодинъ отказывается признать новизну, оригинальность за государственною дѣятельностью Іоанна (что, впрочемъ, не составляетъ, собственно говоря, возраженія Соловьеву): его дѣдъ, Іоаннъ III, сдѣлалъ въ этомъ отношеніи гораздо больше. Боярское право перехода было уже давно почти номинальнымъ, и вліяніе его на государственныя дѣла было очень незначительно. Далѣе, Соловьевъ говоритъ о *борьбѣ* стараго съ новымъ. Но мы нигдѣ не видимъ политическихъ замысловъ бояръ, никакихъ союзовъ, притязаній, никакихъ жалобъ собственно на возведеніе государственнаго зданія, никакой борьбы. Недовольство лично Іоанномъ, конечно, было, но «видѣть прогрессъ въ этомъ чудовищномъ развитіи не разумной монархической власти, а личнаго, слѣпого произвола—это совершенная аномалія». По мнѣнію Соловьева, къ новому порядку относится также приближеніе къ престолу людей незнатныхъ. Бояре, дескать, хотѣли заключить союзъ съ народомъ и возстановить его противъ царя, но Іоаннъ понялъ ихъ замыслы и рѣшился искать опоры въ лицахъ низшаго происхожденія. Это невѣрно: союзъ бояръ съ народомъ высказался только въ томъ, что они распустили слухи о поджогѣ Москвы, но это такъ и осталось единичнымъ явленіемъ, не вызвавшимъ подражанія. Созваніе же выборныхъ и покаяніе царя не имѣли никакой связи съ пожарами. Лица низшаго происхожденія участвовали въ правленіи и до Іоанна, о чемъ говоритъ самъ Соловьевъ, такъ что и здѣсь нѣтъ ничего новаго. Въ царствованіе Грознаго безспорно совершено много великаго; но,— спрашиваетъ Погодинъ, — могъ ли такой человѣкъ, какъ Іоаннъ, проведшій свое дѣло и отрочество такъ, какъ онъ, никогда ничѣмъ серьезно не занимавшійся, могъ ли онъ въ 17—20 лѣтъ вдругъ превратиться въ просвѣщеннаго законодателя? «Онъ могъ оставить прежній буйный образъ жизни, могъ утихнуть, остепениться, заняться дѣломъ, могъ охотно соглашаться на предлагаемыя мѣры, утверждать ихъ,—вотъ и все; но чтобы онъ могъ вдругъ понять необходимость въ единствѣ богослуженія, отгадать нужды и потребности народныя, узнать

мѣстныя злоупотребленія, найти противодѣйствующія мѣры, дать нужныя правила касательно суда, напримѣръ, объ избраніи цѣловальниковъ и старость въ городахъ и т. д.,—это ни съ чѣмъ не сообразно». Іоаннъ былъ вполнѣ въ рукахъ своихъ совѣтниковъ, Сильвестра и Адашева, и ихъ партіи, что подтверждается и свидѣтельствомъ современниковъ, и собственнымъ негодующимъ признаніемъ Грознаго въ письмахъ къ Курбскому. А затѣмъ, когда вліяніе этой партіи было парализовано, въ послѣднія двадцать пять лѣтъ жизни Іоанна нельзя указать никакихъ законовъ, постановленій, распоряженій, вообще никакихъ дѣйствій, изъ которыхъ былъ бы виденъ его государственный умъ и то пониманіе требованій народной жизни, какое проявлялось въ первой половинѣ его царствованія. Впродолженіе всего этого времени «нѣтъ ничего, кромѣ казней, пытокъ, опалъ, дѣйствій разъяреннаго гнѣва, взволнованной крови, необузданной страсти». Всѣ поступки Грознаго за это время свидѣтельствуютъ лишь именно объ отсутствіи государственнаго взгляда и всякихъ цѣлей: раздѣленіе государства на опричнину и земщину, порученіе управленія всѣми земскими дѣлами татарину Симеону Бекбулатовичу, лишенныя всякаго политическаго смысла казни и т. д. «Что есть въ нихъ высокаго, благороднаго, прозорливаго, государственнаго? Злодѣй, звѣрь, говорунъ-начетчикъ съ подъяческимъ умомъ,—и только. Надо же вѣдь, чтобы такое существо, потерявшее даже образъ человѣческій, не только высокій ликъ царскій, нашло себѣ прославителей!» Въ исторіи Соловьева, по мнѣнію Погодина, Іоаннъ «поставленъ вверхъ ногами».

Кавелинъ встрѣтилъ изслѣдованіе Соловьева «Объ отношеніяхъ между русскими князьями Рюрикова рода» съ восторгомъ (если не ошибаюсь, Кавелинъ отозвался и на VI и VII томы «Исторіи Россіи», но мнѣ этотъ отзывъ неизвѣстенъ). И не мудрено. Что касается Ивана Грознаго, Кавелинъ нашелъ въ этомъ сочиненіи какъ бы подтвержденіе своему, болѣе чѣмъ почтительному отношенію къ личности и дѣятельности московскаго царя, самостоятельно выраженному имъ за годъ передъ тѣмъ въ статьѣ «Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи». Мы видѣли, что изслѣдованіе Соловьева значительно повліяло на взгляды Кавелина, по крайней мѣрѣ, въ томъ смыслѣ, что изъ лица, недосягаемо парящаго надъ сплошь косною и тупою средою, какимъ былъ Грозный въ «Юридическомъ бытѣ», онъ сталъ въ разборѣ диссертаціи Соловьева «полнымъ и вѣрнымъ выраженіемъ нравственной физіономіи своего народа въ данное время». Несмотря, однако, на очевидное собственное пристрастіе къ Ивану, выразившееся даже въ этомъ быстромъ переходѣ отъ одной крайности къ другой, но тоже благопріятной для царя, Кавелинъ и у Соловьева отмѣтилъ «нѣкоторое пристрастіе въ пользу московскихъ князей и Іоанна Грознаго»; пристрастіе и «идеализацію». Въ общемъ онъ, впрочемъ, вполнѣ примыкаетъ къ характеристикѣ Грознаго, сдѣланной Соловьевымъ, и самыя ея преувеличенія ставитъ ему въ заслугу. Онъ дѣлаетъ, однако, нѣсколько замѣчаній, на которыхъ и мы должны остановиться, поскольку они касаются нашей темы.

Кавелинъ замѣчаетъ, что родовой бытъ древней Руси былъ подточенъ и сломанъ не однимъ государственнымъ началомъ и его представителемъ—московскимъ княжествомъ, но также и семейнымъ, или вотчиннымъ, и общиннымъ. Оставляя въ сторонѣ послѣднее, какъ насъ здѣсь не касающееся, увидимъ слѣдующее. Семья, какъ и родъ, основана на кровномъ родствѣ, но она гораздо тѣснѣе его и находится въ постоянномъ враждебномъ отношеніи къ нему, являясь разлагающимъ факторомъ. Въ родовомъ бытѣ братья считались между собою старшинствомъ и такимъ образомъ даже по смерти отца составляли одно цѣлое, но дѣти каждаго изъ нихъ имѣли ближайшее отношеніе къ отцу и только второстепенное, посредственное къ роду. Для нихъ семейные интересы были главное и первое; родъ уже былъ гораздо дальше и не могъ такъ живо, всецѣло поглощать ихъ вниманіе и любовь. Въ слѣдующемъ поколѣніи родъ отодвигался еще дальше назадъ. Вотчинное, семейное начало разрывало родъ на самостоятельныя, независимыя другъ отъ друга части. Этотъ процессъ повторялся нѣсколько разъ: изъ вѣтвей развивались роды, которые въ свою очередь разлагались семейнымъ началомъ и т. д., пока родовое начало не износилось совершенно. Постепенно нисходящіе родственники стали значительнѣе, старше боковыхъ, сыновья старше своихъ дядьевъ, вмѣстѣ съ чѣмъ когда-то общее владѣніе рода раздробилось на отдѣльныя частныя собственности. Въ личныхъ своихъ интересахъ и для обезпеченія дѣтей, частный собственникъ натурально заботится о расширеніи, приращеніи, укрѣпленіи своей собственности, и такимъ именно образомъ слагается типъ московскихъ князей. «Родъ князей-помѣщиковъ,—говоритъ Кавелинъ,—или «хозяевъ», какъ ихъ остроумно называетъ Соловьевъ, не только тянется черезъ всю московскую исторію до Іоанна III, но даже всѣ послѣдующіе цари, до самаго Петра Великаго, проникуты тѣмъ

же характеромъ, удерживаютъ еще тѣ же самыя формы, хотя и съ измѣненіями. Но рядомъ съ этимъ типомъ еще въ концѣ XIV вѣка возникаетъ, сначала смутно, едва замѣтно, мысль о государствѣ. Развиваясь медленно, она мало-по-малу вытѣсняетъ типъ владѣльца, вотчинника и, наконецъ, одерживаетъ надъ нимъ первую блистательную побѣду въ лицѣ и реформѣ Петра Великаго».

Замѣчаніе это Кавелинъ дѣлаетъ, говоря не объ Іоаннѣ Грозномъ, а о теоріи родового быта. Но приведенными соображеніями, очевидно, нѣсколько подрывается величавость образа Іоанна IV, къ возвеличенію котораго приложили столько стараній Соловьевъ и самъ Кавелинъ. Изъ ходячаго воплощенія государственной идеи, сознательно усвоенной и развитой, Грозный обращается въ одного изъ вотчинниковъ, прибавляющихъ домъ къ дому и поле къ полю для расширенія своей собственности. Мысль о государствѣ мелькаетъ въ его время еще смутно и одерживаетъ свою первую побѣду только при Петрѣ. Немножко мудрено связать этотъ выводъ съ другими разсужденіями Кавелина объ Иванѣ Грозномъ. Возвращаясь къ этимъ другимъ разсужденіямъ, отмѣтимъ одну черту, въ свое время нами пропущенную.

Мы уже говорили о статьѣ Юрія Самарина (М. З. К.), направленной противъ «Юридическаго быта». Возражая Самарину, Кавелинъ аргументируетъ, между прочимъ, такъ: «Все то, что защищали современники Іоанна, уничтожилось, исчезло; все то, что защищалъ Іоаннъ IV, развилось и осуществлено; его мысль такъ была живуча, что пережила не только его самого, но вѣка, и съ каждымъ возрастала и захватывала больше и больше мѣста. Какъ же прикажете судить этого преобразователя? Неужели онъ былъ не правъ?.. Отъ ужасовъ того времени намъ осталось дѣло Іоанна; оно-то показываетъ, насколько онъ былъ выше своихъ противниковъ».

Эта любопытная аргументація намъ вѣроятно еще пригодится, а теперь пока только спросимъ себя: если окружавшая Кавелина въ 1846 г. дѣйствительность вела свое начало отъ Ивана Грознаго, то чѣмъ же онъ былъ въ этой дѣйствительности, въ этомъ «дѣлѣ Іоанна», такъ доволенъ?

IV.

Шестой томъ «Исторіи Россіи» Соловьева вызвалъ замѣчательную статью Константина Аксакова (*Русская Бесѣда*, 1856, IV; перепечатана въ сочиненіяхъ). Въ статьѣ этой Аксаковъ повторилъ и дополнилъ свои, уже раньше имъ изложенныя возраженія противъ родовой теоріи, которую онъ не отрицалъ совершенно, но полагалъ, что на Руси, и вообще у славянъ, родовой бытъ очень рано уступилъ мѣсто общинно-вѣчевому. Понятно, что при этой перспективѣ измѣняется и смыслъ борьбы Ивана Грознаго съ боярствомъ. Но прежде всего Аксаковъ отказывается признать здѣсь умѣстнымъ самое слово «борьба». Бояре, собственно, даже и не боролись съ царемъ и противопоставляли ему одно терпѣніе. Заговоры и замыслы противъ Ивана существовали только въ его воображеніи. Рюриковичи, окружавшіе престолъ Іоанна во время его малолѣтства, очевидно, нисколько не думали о возвращеніи своихъ удѣльныхъ правъ, несмотря на то, что время для этого было очень удобное. Если удѣльныя воспоминанія и вливали нѣкоторую горечь въ души бояръ, то боярство все-таки не вело никакой дѣйствительной борьбы. «Одна *идея* дружины, отвлеченная и молчаливая, стояла передъ царскимъ трономъ, и она-то безпокоила его». Не въ малолѣтство Іоанна, а развѣ въ эпоху Сильвестра и Адашева дружина или совѣтъ боярскій получилъ значеніе, вслѣдствіе нравственнаго преобладанія надъ Іоанномъ. Но какъ только онъ двинулся на иной путь, онъ не встрѣтилъ никакихъ препятствій, никакого сопротивленія; онъ рубилъ и терзалъ бояръ сколько хотѣлъ, а они покорно шли на казнь и лишь нѣкоторые позволяли себѣ бѣгство.

Въ дальнѣйшихъ соображеніяхъ Аксакова выступаетъ извѣстное противоположеніе земли и государства. Во время удѣльнаго періода Русь была едина, какъ земля, соединенная вѣрою, языкомъ, бытомъ, и самая возможность переходовъ князей съ одного престола на другой свидѣтельствуетъ объ этомъ единствѣ; но, какъ государство, Русь цѣльности не представляла. Народъ выносилъ всѣ княжескія междоусобія, потому что условія его жизни отъ этого не мѣнялись; отношенія князей къ народу оставались тѣ же самыя, несмотря на ихъ постоянныя перемѣщенія. Татарское нашествіе и византійскія вліянія обусловливаютъ появленіе единой царской власти. «Изъ подъ двухъ разрушенныхъ, хотя и различныхъ царствъ является новое, цѣльное, единое царство—царство русское». Эта перемѣна рѣшительнымъ образомъ отразилась и на дружинѣ. Прежде, для постоянно перемѣщавшихся князей, дружина была нужна; но она не только не нужна, а и вредна для единаго царя и всей земли. Становясь между царемъ и народомъ, она стѣсняла обоихъ. И вотъ Иванъ III и его сынъ начали ослаблять и уничтожать дружину, получившую передъ этимъ новую силу отъ прилива въ нее рюриковичей, лишенныхъ удѣловъ. «Наконецъ, возникъ царь ІоаннъIV,

царь съ идеальнымъ понятіемъ царской власти, религіозно проникнутый уваженіемъ къ своему царскому достоинству. При такомъ царѣ борьба должна быть рѣшена. Старой дружинѣ нѣтъ уже мѣста въ русскомъ государствѣ. Требованіе исторіи совершается: царь сокрушаетъ дружину, а народъ молча присутствуетъ при ея сокрушеніи». Если, однако, Иванъ Грозный былъ выразителемъ «требованія исторіи», то это ни мало не оправдываетъ его образа дѣйствія. «Если историческая необходимость вызываетъ ту или другую идею, то эта необходимость никогда не простирается на способы и средства, съ помощью которыхъ проявляется идея. Преемство идей по существу своему должно совершаться въ духѣ человѣческомъ; тамъ должна идея бороться и побѣждать, въ области свободнаго убѣжденія, и только несовершенство человѣчества вообще или личный грѣхъ человѣка заставляютъ сопровождаться ужасами то или другое начало».

Но задача Грознаго не исчерпывалась продолженіемъ начатаго его дѣдомъ упраздненія дружины. Какъ скоро Государство стало единымъ надъ единою Землей, такъ тотчасъ же первое обратилось къ послѣдней и созвало ее всю на совѣтъ. «Первый царь созываетъ первый земскій соборъ. На этомъ соборѣ встрѣчаются Земля и Государство и между ними учреждается свободный союзъ. Отношенія царя и народа опредѣляются: правительству—сила власти, землѣ—сила мнѣнія. На земскомъ соборѣ торжественно признаются эти двѣ силы, согласно движущія Россію: власть государственная и мысль народная». Въ связи съ этимъ общимъ положеніемъ находится у Аксакова и объясненіе опричнины. Іоаннъ ясно сознавалъ два соединенныя союзомъ, но не смѣшанныя начала въ Россіи—Землю и Государство. Съ теченіемъ времени онъ пришелъ къ мысли разрознить эти два начала, съ тою цѣлью, чтобы отвлечь государство и вполнѣ подчинить его себѣ, чтобы не было въ немъ никакихъ побужденій, кромѣ исполненія воли его, главы государства, никакихъ связей съ землей, никакихъ преданій. «Явилась опричнина, государство, вполнѣ отъ земли отдѣленное, не имѣвшее никакой связи съ народомъ, никакихъ убѣжденій, кромѣ воли государя, никакими нравственными требованіями нестѣсняемое и потому необузданное. Это для Іоанна былъ идеалъ государства». «На землю Іоаннъ не гнѣвался. Съ его стороны опричнина была только его попытка, его осуществленная фантазія, имъ начертанный идеалъ государства, возведенный до крайнихъ предѣловъ, идеалъ, который носился передъ нимъ, исключительно проникнутымъ благоговѣйнымъ, религіознымъ понятіемъ о земномъ самовластіи. Потому именно, что это была мечта его, Іоаннъ, осуществляя ее въ однихъ государственныхъ предѣлахъ, особенно въ отношеніи къ боярамъ, — въ дѣйствительности признавалъ землю и, въ 1565 г. учредивъ опричнину, въ 1566 г. призывалъ землю на совѣтъ, выходя, когда желалъ, изъ этой отвлеченности и опять удаляясь въ нее».

Это своеобразно идеализированное объясненіе опричнины находится въ полной гармоніи съ предложенной Аксаковымъ остроумной и блестящей характеристикой Грознаго, въ которой однако читатель безъ труда усмотритъ лишь развитіе мысли Хомякова, уже приведенной нами. «Іоаннъ IV былъ природа художественная, художественная въ жизни. Образы являлись ему и увлекали его своею внѣшнею красотою; онъ художественно понималъ добро, красоту его, понималъ красоту раскаянія, красоту доблести, и, наконецъ, самые ужасы влекли его къ себѣ своею страшною картинностью. Одно чувство художественности, не утвержденное на строгомъ и суровомъ нравственномъ чувствѣ, есть одна изъ величайшихъ опасностей для души человѣка. Съ одной стороны оно не допускаетъ человѣка испытать ни одного чувства правдиво, ибо человѣкъ, наслаждаясь красотою чувства, имъ испытываемаго, или дѣла, имъ совершаемаго, не относится къ нимъ цѣльно и непосредственно: онъ любуется ими, онъ любитъ красоту, а не самое дѣло. Вотъ отчего и въ исторіи, и въ частной жизни встрѣчаемъ мы такія явленія, что человѣкъ, напримѣръ, плачетъ умиленными слезами, слыша разсказъ о кротости и великодушіи, а въ то же время мучитъ и терзаетъ ближняго; и онъ не обманываетъ: эти слезы непритворны; но онъ тронутъ какъ художникъ, съ художественной стороны, а одно это еще ничего не значитъ, на дѣйствительность это не имѣетъ вліянія. Человѣкъ довольствуется здѣсь однимъ благоуханіемъ добра, а добро само по себѣ—вещь для него слишкомъ грубая, тяжелая и черствая. Это человѣкъ безнравственный на дѣлѣ, но понимающій красоту добра и приходящій отъ нея въ умиленіе. Дѣло, самое добро ему не нужно и не подъ силу; онъ чувствуетъ только, какъ оно изящно, хорошо, и довольствуется этимъ. Такое состояніе почти безнадежно. Ибо тотъ, кто не понимаетъ добра и не чувствуетъ его, можетъ понять, почувствовать и преобразиться нравствено. Тотъ же, кто чувствуетъ добро но только художественно, кто наслаждается его благоуханіемъ, а дѣло самое откидываетъ, тотъ едва-ли можетъ исправиться... Но есть другая сторона художественаго чувства, въ свою очередь губящая человѣка. Художественное чувство можетъ отыскать красоту и

въ самомъ дикомъ, и въ самомъ низкомъ явленіи».

У Ивана IV были именно такая художественная натура, не основанная на нравственномъ чувствѣ. Въ его воображеніи постоянно носились разныя картины, которыя онъ стремился немедленно осуществлять. То ему представлялась площадь, полная присланныхъ всей землей представителей, и онъ, царь, стоитъ въ средоточіи этой толпы и въ торжественной обстановкѣ говоритъ рѣчь. То та же площадь рисовалась уставленная орудіями пытки и казни, и опять же—царь, но гнѣвный и страшный въ своемъ всемогущемъ гнѣвѣ. И ту, и другую картину Грозный торопится осуществить въ жизни. А то ему представляется монастырь, черныя одежды, покаянныя молитвы, земныя поклоны, и, увлеченный этою картиной, онъ обращаетъ себя и опричниковъ въ монаховъ.

Аксаковъ оговаривается, что, конечно, не одна эта художественность опредѣляла поступки Ивана IV, что были въ его душѣ и другіе двигатели; но художественность играла всетаки значительную роль. Жестокій уже въ дѣтствѣ, Иванъ подавлялъ свою страшную натуру при Сильвестрѣ и Адашевѣ, хотя никогда не былъ слѣпымъ орудіемъ въ ихъ рукахъ, а затѣмъ онъ «избавился отъ своихъ совѣтниковъ, сбросилъ съ себя нравственную узду стыда, значеніе царя слилось въ его понятіи съ произволомъ, и этотъ произволъ явилъ полное отсутствіе воли въ человѣкѣ, ибо отсутствіе воли и необузданная воля—это все равно». Отсюда же его подозрительность и трусость. «Правда, Іоаннъ никогда не велъ себя Геркулесомъ, но робость его, которую мы видимъ во второй половинѣ его царствованія, изумительна».

Аксаковская характеристика Грознаго, дѣйствительно, подкупающая своимъ блескомъ и оригинальностью (хотя, повторяю, грѣшно забывать Хомякова), соблазнила въ особенности Костомарова («О значеніи критическихъ трудовъ Константина Аксакова по русской исторіи» 1861, «Личность царя Ивана Васильевича Грознаго» 1871, «Русская исторія въ жизнеописаніяхъ ея главнѣйшихъ дѣятелей»). Мы уже говорили о надеждахъ, которыя Костомаровъ возлагалъ на эту характеристику въ смыслѣ прекращенія всякихъ споровъ о Грозномъ, а также о томъ, что Костомаровъ, опираясь на Аксакова, долженъ былъ однако полемизировать и съ нимъ. Въ позднѣйшихъ своихъ писаніяхъ, все пользуясь мыслью о художественности натуры Грознаго, Костомаровъ уже не упоминаетъ объ Аксаковѣ, а приглашаетъ историковъ вернуться къ Карамзину, именно обратиться къ болѣе тщательной обработкѣ карамзинской схемы исторіи Іоанна: сперва, испорченный въ дѣтствѣ, Іоаннъ является съ признаками своевольства, жестокости и разврата; потомъ онъ подпадаетъ подъ вліяніе Сильвестра, Адашева и кружка умныхъ бояръ, и въ это время совершаются дѣйствительно великія дѣла на Руси; но затѣмъ Іоаннъ свергаетъ съ себя власть опекуновъ и является необузданнымъ, кровожаднымъ и развратнымъ тираномъ. Вообще Костомаровъ становится все суровѣе въ своихъ сужденіяхъ о Грозномъ, такъ-что подъ конецъ, тонкая струйка аксаковской идеализаціи совсѣмъ замираетъ. Но уже и въ рѣчи о значеніи критическихъ трудовъ Аксакова, признавая нарисованный Аксаковымъ портретъ вѣрнымъ съ подлинникомъ, Костомаровъ подчеркиваетъ въ немъ преимущественно унизительныя для Іоанна черты и находитъ, что подобныя натуры, «родившись въ кругу обыкновенныхъ смертныхъ, поступаютъ въ одинъ изъ многочисленныхъ разрядовъ обширной массы пустыхъ людей». Эти пустые простые смертные бываютъ обыкновенно безвредны; но горе окружающимъ, если судьба вручаетъ имъ сколько-нибудь власти. Видѣть въ Иванѣ какую-то олицетворенную идею всеобщей потребности времени—нелѣпость: это просто пустой человѣкъ.

Статья «Личность царя Ивана Васильевича Грознаго» мотивирована новой, позднѣйшей попыткой идеализаціи Грознаго, а именно рѣчью г. Бестужева въ одномъ изъ засѣданій Славянскаго благотворительнаго Общества («Нѣсколько словъ по поводу поэтическихъ воспроизведеній Іоанна Грознаго»). Взглядъ г. Бестужева-Рюмина не отличается оригинальностью и въ главномъ повторяетъ Соловьева, вслѣдствіе чего Костомаровъ, говоря о г. Бестужевѣ-Рюминѣ, обращается часто по адресу «новыхъ историковъ» вообще. И дѣйствительно, не къ одному г. Бестужеву-Рюмину могутъ относиться главныя возраженія Костомарова. Прежде всего онъ возмущается параллелями между Иваномъ Грознымъ и Петромъ Великимъ (Кавелинъ, Соловьевъ, Аксаковъ, Бестужевъ-Рюминъ). Параллели эти въ значительной части основаны на тяготѣніи обоихъ государей къ Ливоніи, и Костомаровъ подробно разбираетъ этотъ вопросъ. Онъ приходитъ къ тому заключенію, что если Иванъ настаивалъ и настоялъ на ливонскомъ походѣ, вмѣсто крымскаго, который ему рекомендовали его совѣтники, то это вовсе не свидѣтельствуетъ объ его государственной мудрости и объ отсутствіи таковой у совѣтниковъ. Собственно у Ивана не было при этомъ никакого плана, ни умнаго, ни глупаго: онъ дѣйствовалъ просто изъ каприза, только, чтобы не слушаться совѣтниковъ.

Что же касается другихъ сторонъ параллели между Иваномъ и Петромъ, то, спрашиваетъ Костомаровъ,—«было ли у Ивана что-нибудь въ головѣ подобное тому, что было у Петра? Думалъ ли Иванъ о заведеніи флота, о введеніи въ государство образовательныхъ началъ, о сближеніи съ Европой? Думалъ ли онъ объ этомъ, хотя настолько различно отъ Петра, насколько XVI вѣкъ отличался отъ XVIII-го? Наши историки говорятъ—да; но историческіе факты не даютъ намъ ни малѣйшаго права согласиться съ этимъ». Случаи, бывавшіе и до Іоанна IV, сношеній съ Европой были именно только случаи, т. е. нисколько не зависѣли отъ воли Іоанна, или же они ничѣмъ не отзывались и не могли отозваться на народномъ благосостояніи и образованіи. Такъ, напримѣръ, «вся англійская торговля въ Москвѣ направлена была, главнымъ образомъ, къ тому, чтобы служить выгодамъ царя и двора его. Никто не могъ покупать товаровъ прежде, чѣмъ лучшіе изъ нихъ возьмутся для царя; другимъ смертнымъ дозволялось покупать то, что царю уже не годилось».

По этому образчику можно судить объ отношеніи Костомарова къ Грозному вообще. «Ставятъ въ заслугу царю Ивану Васильевичу, что онъ утвердилъ монархическое начало, но будетъ гораздо точнѣе, прямѣе и справедливѣе сказать, что онъ утвердилъ начала деспотическаго произвола и рабскаго, безсмысленнаго страха и терпѣнія». Въ казанскомъ походѣ онъ «игралъ жалкую, глупую и комическую роль». Онъ—«чудовище, которое лжетъ на каждомъ словѣ». Онъ «обладалъ недальнимъ умомъ или, по крайней мѣрѣ, умственныя способности его были подавлены черезъ-чуръ воображеніемъ и необузданными порывами истерическаго самолюбія». «Въ политическихъ понятіяхъ Иванъ Васильевичъ вовсе не представляется умомъ, достигшимъ до уразумѣнія самобытности государства въ его недѣлимости и неподлежанія его состава временнымъ перемѣнамъ правительства. Для царя Ивана государство не больше, какъ вотчина». Никакой борьбы съ боярами не было и не могло быть, потому что никто Іоанну не противоборствовалъ, а было съ его стороны только жестокое и безсмысленное надругательство надъ всеобщею покорностью. Никакого плана государственнаго у Іоанна тоже не было: онъ какъ бы носился изъ стороны въ сторону капризными волнами своего богатаго воображенія, и если что въ его царствованіе было сдѣлано хорошаго, такъ это было дѣломъ Сильвестра, Адашева и ихъ кружка, безъ совѣщанія съ которыми, какъ выразился Костомаровъ въ «Русской исторіи», «Иванъ не только ничего не устраивалъ, но даже не смѣлъ мыслить».

Костомаровъ считаетъ все это защитой и дальнѣйшимъ развитіемъ взглядовъ Карамзина, но здѣсь не трудно усмотрѣть и вліяніе характеристики К. Аксакова. Глава «Царь Иванъ Васильевичъ Грозный» въ «Русской исторіи» начинается слѣдующими словами: «Иванъ Васильевичъ, одаренный въ высшей степени нервнымъ темпераментомъ и съ дѣтства нравственно испорченный, уже въ юности началъ привыкать ко злу и, такъ сказать, находить удовольствіе въ *картинности* зла». И далѣе: «Мучительныя казни доставляли ему удовольствіе: у Ивана онѣ часто имѣли значеніе *театральныхъ зрѣлищъ*». Та же мысль встрѣчается и въ статьѣ «Личность царя Ивана Васильевича Грознаго», между прочимъ въ видѣ параллели между Иваномъ и Нерономъ.

Костомаровъ и еще разъ обратился къ Грозному въ беллетрическомъ произведеніи «Кудеяръ». Грозный является здѣсь, конечно, такимъ же, какъ и въ ученыхъ трудахъ нашего автора: слабымъ, трусливымъ, постоянно колеблющимся, изобрѣтательнымъ на жестокости тираномъ, лишеннымъ всякой политической идеи. Характерна противоположность его умственной и нравственной скудости, когда онъ колеблется между планами войны съ Ливоніей и войны съ Крымомъ, причемъ, несмотря на его подозрительность, на немъ играютъ, какъ на скрипкѣ, всѣ, кому не лѣнь взять смычекъ въ руки; характерна, говорю, противоположность этой скудости съ богатствомъ его фантазіи, когда онъ изобрѣтаетъ «искусы» для Кудеяра и всякія другія мучительства. Какъ художественное произведеніе, «Кудеяръ» не дорого стоитъ, но холодная грубость его письма мѣстами хорошо соотвѣтствуетъ грубости изображаемой имъ дѣйствительности.

Подобно Погодину и Костомарову, неоднократно обращался къ Ивану Грозному и г. Бестужевъ-Рюминъ. Впервые онъ это сдѣлалъ, какъ уже было сказано, въ 1856 г. въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*. Здѣсь онъ вполнѣ примкнулъ къ Соловьеву. Соловьевъ, кажется г. Бестужеву-Рюмину, правильно оцѣнилъ государственный умъ и заслуги Грознаго и правильно предложилъ нравственную оцѣнку личности перваго московскаго царя не съ точки зрѣнія нашей нынѣшней нравственности, а съ точки зрѣнія XVI вѣка. На этомъ же собственно стоитъ г. Бестужевъ-Рюминъ и въ статьѣ «Нѣсколько словъ по поводу поэтическихъ воспроизведеній Іоанна Грознаго» (1871 г). Во второмъ, до сихъ поръ не оконченномъ, томѣ своей «Русской исторіи» г. Бестужевъ-Рю-

минъ, продолжая, въ сущности, развивать взгляды Соловьева, находитъ, что «едва ли не самою вѣрною характеристикою Грознаго можно считать замѣчательныя слова Ю. Ѳ. Самарина», уже приведенныя нами выше.

Г. Бѣлова, напротивъ, эта характеристика не удовлетворяетъ. Ему мало хвалы, которую воздаетъ Грозному Самаринъ, и, возражая ему, онъ, между прочимъ, пишетъ: «Слова «отрицательное разрушеніе» трудно понять; надобно было бы разъяснить, чѣмъ отрицательное разрушеніе отличается отъ положительнаго. Разрушеніе, какъ на него не смотри, все разрушеніе» («Объ историческомъ значеніе русскаго боярства до конца XVII вѣка»). Чтобы вполнѣ оцѣнить это замѣчаніе г. Бѣлова, надо имѣть въ виду, что словъ «отрицательное разрушеніе» у Самарина совсѣмъ нѣтъ, а сказано такъ: «его (Іоанна) умственное превосходство выражалось *отрицательно*, *разрушеніемъ*, ненавистью къ настоящему» и т. д. Этотъ эпизодъ хорошо характеризуетъ многословную и нѣсколько безтолковую горячность г. Бѣлова. Задача же г. Бѣлова двойственная, какъ, впрочемъ, и всѣхъ апологетовъ Грознаго. Онъ, во-первыхъ, хочетъ доказать, что Грозный былъ сознательнымъ и послѣдовательнымъ врагомъ боярскихъ притязаній, «стремился выдвинуть заслугу на мѣсто породы, дабы обезпечить дальнѣйшее развитіе народу». А вторая половина задачи состоитъ въ нравственномъ обѣленіи личности Грознаго.

Гг. Бестужевымъ-Рюминымъ и Бѣловымъ мы могли бы кончить обзоръ, какъ сочиненій, обнимающихъ всю русскую исторію, и въ томъ числѣ эпоху Грознаго, такъ и трактатовъ, ему спеціально посвященныхъ. Въ 1888 г. вышла, правда, въ двухъ томикахъ книжка г. Тихомирова «Первый царь московскій Іоаннъ IV Васильевичъ Грозный», но это не болѣе, какъ плохо составленная и лишенная всякой оригинальности компиляція. Есть однако нѣсколько сочиненій, въ которыхъ Грозный или его эпоха трактуются мимоходомъ, но въ которыя намъ здѣсь, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ, заглянуть не мѣшаетъ.

Въ книгѣ «О вліяніи общества на организацію государства въ царскій періодъ русской исторіи», (1869), Хлѣбниковъ замѣчаетъ, что въ XVI вѣкѣ на Руси шла борьба церковныхъ идеаловъ съ грубою распущенностью варварскаго общества. Борьба эта такъ или иначе отражалась на всѣхъ и въ крайностяхъ своихъ вырабатывала противоположные типы — подвижника-пустынножителя и безшабашнаго, удалого разбойника. Въ Грозномъ эти двѣ противоположности совмѣщались, онъ былъ полнымъ выраженіемъ вѣка въ его хорошихъ и дурныхъ сторонахъ: въ немъ происходила общая всему вѣку борьба дикихъ, необлагороженныхъ умственнымъ развитіемъ страстей съ идеалами совершенства, выработанными церковью. Человѣкъ выдающихся умственныхъ способностей, Грозный отнюдь не былъ, однако, такой глубокой, геніальной натурой, въ которой отразились бы лучшія стремленія времени. Такъ, «хотя Іоаннъ явился на Стоглавомъ соборѣ, какъ человѣкъ реформы, но, въ сущности, онъ былъ человѣкъ стараго закала, для котораго даже борода и однорядка были принадлежностью религіи. Если онъ и глубоко возмущался церковными безпорядками, то всетаки мысль его была направлена болѣе на безпорядки внѣшніе, на безпорядки въ монастыряхъ и въ церковномъ управленіи; но онъ не касался характера самой религіозности, потому что въ этомъ отношеніи онъ самъ былъ полнѣйшимъ выразителемъ не новыхъ идей, но грубѣйшихъ предразсудковъ своего времени». Послѣ московскихъ пожаровъ молодой, дурно воспитанный, впечатлительный царь подчиняется духовнымъ властямъ. «Духовенство овладѣваетъ государственною властью и пытается устроить теократію». Но отъ Сильвестра съ товарищами царь, кромѣ внѣшней обрядности, принялъ, въ сущности, только ту идею, которая соотвѣтствовала потребностямъ его натуры,—идею великаго значенія царской власти. Какъ скоро для царя рушилось то обаяніе, которое внѣшнимъ образомъ сдерживало его страсти, такъ оказалось, что тринадцать лѣтъ правленія духовенства не передѣлали его натуры, не дали ему жажды и способности къ болѣе духовнымъ наслажденіямъ. Въ остальной его жизни мы видимъ ту же борьбу двухъ началъ,—то безумный разгулъ, то страстное покаяніе и земные поклоны до кровавыхъ знаковъ на лбу. Доводя до послѣднихъ крайностей понятіе о неограниченности своей власти, Іоаннъ видѣлъ преступленіе въ самыхъ скромныхъ притязаніяхъ бояръ, изъ которыхъ наиболѣе смѣлые мечтали лишь о совѣщательномъ правѣ. Но кромѣ потребности собственной природы Іоанна и внушеній духовенства, Хлѣбниковъ указываетъ еще третій источникъ высокаго понятія Грознаго о неограниченности своей власти. Указавъ, что власть Грознаго нисколько не ослаблялась соправительствомъ боярской Думы, и что все дѣйствительное управленіе государствомъ сосредоточивалось въ приказахъ, которые были концеляріями государя, занятыми всѣми отраслями управленія по его порученію и подъ его личнымъ контролемъ, Хлѣбниковъ

прибавляетъ: «Это положеніе вещей естественно развилось изъ вотчиннаго принципа, по которому хозяинъ-вотчинникъ есть естественный распорядитель всего, и въ его вотчинное управленіе никто не можетъ вмѣшиваться».

Г. Ключевскій («Боярская дума древней Руси»), не распространяясь о личности Грознаго, видитъ въ его такъ-называемой борьбѣ съ боярствомъ нѣкоторое недоразумѣніе. По мнѣнію г. Ключевскаго, неоднократно имъ выражаемому, «московскій государь имѣлъ обширную власть надъ лицами, но не надъ порядкомъ, не потому, что у него не было матеріальныхъ средствъ владѣть и порядкомъ, а потому, что въ кругу его политическихъ понятій не было самой идеи о возможности и надобности распоряжаться порядкомъ, какъ лицами». Не было этой идеи, въ частности, и у Грознаго. Подъ первымъ впечатлѣніемъ переписки Грознаго съ Курбскимъ, «въ которой каждая страница кипитъ и пѣнится, читатель готовъ признать у царя самыя широкія и возвышенныя политическія воззрѣнія. Но, снявъ эту пѣну, находимъ подъ нею скудный запасъ идей и довольно много противорѣчій». Иванъ много и горячо толкуетъ о самодержавіи, но это для него «не политическій порядокъ, а простая личная власть или голая отвлеченная идея». Вся его философія самодержавія сводится къ одному престому заключенію: «жаловать своихъ холопей мы вольны, а и казнить ихъ вольны же». Но это заключеніе вовсе не ново. Оно выработано еще удѣльнымъ порядкомъ, «который зналъ не государя-правителя съ его подданными, а хозяина-вотчинника съ его холопами, въ которомъ вольные люди были политическою случайностью, временными обывателями на наемной землѣ или службѣ. На такомъ основаніи можно было построить не государственный порядокъ въ объединенной Великой Руси, а запоздалую пародію удѣла, чѣмъ и была опричнина царя Ивана». Отмѣтивъ одно любопытное теченіе въ средѣ боярства XVI вѣка, о которомъ у насъ еще будетъ рѣчь, г. Ключевскій не совсѣмъ послѣдовательно полагаетъ, что и у бояръ не было опредѣленнаго государственнаго плана и никакихъ покушеній противъ самодержавія. «За что ты бьешь насъ, вѣрныхъ слугъ твоихъ?— спрашиваетъ Ивана Курбскій.—Нѣтъ,— отвѣчаетъ Иванъ Курбскому,—русскіе самодержцы изначала сами владѣютъ своими царствами, а не бояре и вельможи.—Такимъ короткимъ діалогомъ можно выразить сущность знаменитой переписки». Подъ конецъ Иванъ совсѣмъ запутался. «Достаточно просмотрѣть его знаменитые синодики опальныхъ, чтобы видѣть, что во время опричнины Иванъ дѣйствовалъ, какъ не въ мѣру испугавшійся человѣкъ, который, закрывъ глаза, билъ на-право и на-лѣво, не разбирая своихъ и чужихъ. Шла борьба съ измѣнническимъ боярствомъ, а въ поминаніе заносились перебитые десятками по разнымъ городамъ и селамъ боярскіе люди, подъячіе, псари, монахи, мастеровые».

Г. Владимірскій-Будановъ находитъ, что «идеалъ Грознаго безсодержателенъ: «жаловати есмы своихъ холопей вольны, а и казнити вольны есмы» («Обзоръ исторіи русскаго права»).

По г. Дьяконову, «мнѣнія Грознаго о царскомъ достоинствѣ, о правахъ и обязанностяхъ государя слагались уже по готовымъ образцамъ, и ему не пришлось прибавить ничего новаго къ готовымъ теоріямъ. Онъ только примѣнилъ ихъ въ полномъ объемѣ на практикѣ и принужденъ былъ защищать эту практику противъ литературныхъ нападокъ оппозиціи». Приведя затѣмъ все то же знаменитое изреченіе: жаловати своихъ холопей вольны, а и казнити вольны жъ есмы», и другія подобныя же, г. Дьяконовъ замѣчаетъ: «дальше этихъ положеній не шли представленія Грознаго о своей власти, но ни одно изъ этихъ положеній не создано имъ» («Власть московскихъ государей», 1889 г.).

Г. Латкинъ («Земскіе соборы древней Руси», 1885; «Лекціи по внѣшней исторіи русскаго права», 1888 г.), вообще неблагосклонно относясь къ Грозному, безъ всякихъ колебаній утверждаетъ, что созывъ перваго земскаго собора, равно какъ реформы первыхъ лѣтъ царствованія Ивана IV, были дѣломъ окружавшихъ его въ это время совѣтниковъ; самъ же онъ былъ лишь исполнителемъ ихъ предначертаній.

Въ заключеніе нашего, можетъ быть уже надоѣвшаго читателю и всетаки неполнаго обзора литературы объ Иванѣ Грозномъ, не излишне будетъ привести показаніе одного спеціалиста по исторіи крестьянства, освѣщающее ту демократическую струю, которую многіе усвоиваютъ Иванову царствованію: «Царь Иванъ Васильевичъ, давая огромныя права общинамъ, не вводилъ новостей, а только пользовался старымъ исконнымъ учрежденіемъ на Руси... Но рядомъ съ обширнымъ развитіемъ и законнымъ признаніемъ крестьянской полноправности, XVI вѣкъ представляетъ постепенное стѣсненіе матеріальныхъ средствъ въ крестьянствѣ. Земля, этотъ основной капиталъ земледѣльца, незамѣтно, но быстро ускользаетъ изъ крестьянскихъ рукъ. Государи московскіе Іоаннъ III и Іоаннъ IV, такъ много сдѣлавшіе для развитія крестьянской полноправности, едва

ли не въ большихъ размѣрахъ способствовали къ постепенному переходу земли изъ крестьянскихъ рукъ въ руки служилыхъ людей или въ непосредственное распоряженіе правительства... Въ царствованіе царя Ивана Васильевича особенно была развита раздача земель въ помѣстья и вотчины служилымъ людямъ». (Бѣляевъ, «Крестьяне на Руси»).

V.

Есть извѣстіе, что въ 1573 г. Іоаннъ женился на Марьѣ Долгорукой и на другой же день велѣлъ варварски утопить ее, имѣя основаніе думать или только подозрѣвая, что она любила кого-то раньше. Этотъ случай положенъ въ основаніе нѣсколькихъ беллетрическихъ произведеній, авторы которыхъ однако пріурочиваютъ его къ разнымъ женамъ Грознаго. Василиса Мелентьева (шестая жена) въ драмѣ Островскаго любитъ до брака съ царемъ Андрея Колычева; его же, какъ видно, любила еще въ дѣвушкахъ царица Анна Васильчикова, которую смѣнила въ милостяхъ царя Василиса Мелентьева; когда дѣло открывается, Колычевъ убиваетъ Василису на глазахъ царя. Въ повѣсти Милюкова «Царская свадьба», третья жена Грознаго, Маѳа Собакина, любитъ до брака съ царемъ кн. Краснаго. Въ драмѣ Мея «Царская невѣста», въ которой самъ Грозный не является и дѣйствуетъ за кулисами, та же Маѳа Собакина оказывается невѣстой Лыкова и кромѣ того ее любитъ Грязной. Въ драмѣ г. Аверкіева «Слобода Неволя» жертвой подозрительности Грознаго является нѣкая Груня изъ рода бояръ Зажитныхъ, а соперникомъ его—Угаръ, по прозванью Бѣсъ, молодой опричникъ и частію шутъ, «веселый человѣкъ».

Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что эта фабула привлекла къ себѣ столько вниманія со стороны нашихъ беллетристовъ: Грозный—герой любовнаго романа, Грозный, обуреваемый ревностью, представляетъ собою фигуру, крайне благодарную для художественной эксплоатаціи, какъ въ смыслѣ грубыхъ кричащихъ эффектовъ, кому они нравятся, такъ и въ смыслѣ тонкой и сложной психологической разработки.

Лучшее изъ всего перечисленнаго есть безспорно драма Островскаго. Ей только вредитъ чрезмѣрная торопливость въ ходѣ дѣйствія. Прежде всего авторъ торопится показать намъ Грознаго, какъ носителя извѣстныхъ политическихъ идеаловъ, какъ царя, проникнутаго своимъ достоинствомъ и памятующаго оскорбленія, полученныя отъ бояръ въ дѣтствѣ. Мимоходомъ сказать, въ виду своей спеціальной задачи, авторъ могъ бы и совсѣмъ обойти эту сторону. Какъ-бы самъ чувствуя это, онъ комкаетъ всю «политику» почти въ одной сценѣ. Во второй сценѣ перваго дѣйствія (первый выходъ Грознаго) царь говоритъ боярамъ длинную рѣчь по поводу пріѣзда польскихъ пословъ и приглашенія царевича Ѳеодора на польскій престолъ. Между прочимъ, онъ говоритъ «съ сердцемъ»:

Сказать панамъ, что я хочу быть избранъ,
А если выберутъ они другого,
То я надъ ними буду промышлять!
Они меня злодѣемъ называютъ,
Мучителемъ. Я каюсь передъ всѣми:
Я золъ, гнѣвливъ! Да на кого я золъ?
Я золъ на злыхъ,—для добраго не жаль
И цѣпь отдать съ себя, и это платье.

Это частію подлинныя слова Іоанна, но сказаны они были непосредственно самимъ польскимъ посламъ и не «съ сердцемъ», а напротивъ того льстиво, съ прибавленіемъ, что поляки умѣютъ своихъ царей любить и цѣнить, а мои, дескать, русскіе,—такіе-сякіе. Островскій не подорожилъ этой характерной чертой и наскоро сунулъ подлинныя слова Грознаго куда попало. Въ ту же рѣчь авторъ втискиваетъ и другія подлинныя слова Іоанна:

На свѣтѣ нѣтъ славнѣе насъ владыкъ,
Отъ Августа мы родъ ведемъ. Извѣчный
Я Государь—произволеньемъ Божьимъ,
Не человѣческой, мятежной волей!

Въ той же сценѣ читаемъ:

Я съ дѣтскихъ лѣтъ у васъ въ долгу, и долго
Не расплачусь! Моей не станетъ жизни.
Я понесу Всевышнему Владыкѣ
Долги мои и счеты съ вами... Помню,
Какъ Шуйскіе съ ногами на постелю
Отцовскую садились. Помню
И Кубенскихъ, и Курбскихъ!

О Шуйскомъ, какъ онъ клалъ при немъ ноги на постель, Іоаннъ вспоминалъ въ одномъ изъ писемъ къ Курбскому. Такимъ образомъ, Островскій какъ бы связываетъ букетъ изъ разныхъ подлинныхъ словъ и реченій Грознаго, срѣзывая для этого букета цвѣты съ ихъ корня, отрывая слова отъ тѣхъ особенныхъ обстоятельствъ, при которыхъ они были сказаны, лишь бы поскорѣе дать Іоанну изложить свою политическую profession de foi. Покончивъ со всѣмъ этимъ, Островскій переходитъ къ своей настоящей задачѣ, къ любовной исторіи, начало которой тоже развертывается съ непомѣрной быстротой. Все въ той же сценѣ появляется царица Анна (Васильчикова) проситъ за опальнаго князя Воротынскаго; съ ней Василиса и другія женщины. Царь прогоняетъ царицу, «пристально смотритъ» на Василису и спрашиваетъ вполголоса Малюту-Скуратова: «красивая та баба, кто такая въ царициной прислугѣ?» Малюта отвѣчаетъ, что

такая-то вдова Мелентьева,—«какъ померъ мужъ у ней, такъ и взяла ее къ себѣ царица». Грозный: «Ну, счастливъ онъ, что умеръ—догадался! Красавица, не то, что Анна плакса: отъ слезъ ея я сталъ скучать, Малюта». Во второмъ дѣйствіи царица Анна, въ разговорахъ сама съ собой, съ мамкой, съ Василисой, жалуется на свою судьбу, и здѣсь есть нѣсколько чрезвычайно тонкихъ штриховъ. Такъ, Анна говоритъ:

Мнѣ страшно здѣсь, мнѣ душно, непривѣтно
Душѣ моей; и царь со мной неласковъ,
И слуги смотрятъ изъ-подлобья. Слышны
Издалека мнѣ царскія потѣхи,
Веселья шумъ; на мигъ дворецъ унылый
И пѣснями, и смѣхомъ огласится;
Потомъ опять глухая тишь, какъ будто
Все вымерло, лишь только по угламъ,
По терему о казняхъ шепчутъ. Нечѣмъ
Души согрѣть. Жена царю по плоти,
По сердцу я чужая. Онъ мнѣ страшенъ!
Онъ страшенъ мнѣ и гнѣвный, и веселый,
Въ кругу своихъ потѣшниковъ развратныхъ,
За срамными рѣчами и дѣлами.
Любви его не знаю я, ни разу
Не подарилъ онъ часомъ дорогимъ
Жену свою; про горе или радость
Ни разу онъ не спрашивалъ. Какъ звѣрь
Ласкается ко мнѣ безъ словъ любовныхъ,
А что въ душѣ моей, того не спроситъ...

И дальше: «Намедни зашелъ ко мнѣ угрюмый, не надолго; прощаясь, мнѣ сказалъ: «ты съ тѣла спала, я не люблю худыхъ». Моя-ль вина! Не потолстѣешь съ горя. Мнѣ завидно на полноту твою (Василисы) глядѣть».

Въ этихъ жалобахъ—вся жизнь постылой жены Грознаго царя. Изъ своего терема она слышитъ только зловѣщую смѣну мертваго затишья и шумнаго разгула и можетъ, какъ ей угодно, разрисовать воображеніемъ тѣ страшныя картины, которыя знаменуются и этой мрачной тишиной, и этимъ не менѣе мрачнымъ шумомъ. А когда царь зайдетъ къ ней, ей приходится или получать звѣриныя ласки «безъ словъ любовныхъ», или выслушивать грубыя замѣчанія прямо о ея тѣлѣ. Эта грубость однако даже не оскорбляетъ ее, она только завидуетъ тѣлу Василисы. Будь у нея такое, можетъ быть, она дождалась бы «словъ любовныхъ», конечно, не перваго сорта словъ, а всетаки. Но дѣло не въ томъ только, что мужъ у нея «звѣрь». Онъ «что въ душѣ ея, того не спроситъ», да и ей не позволитъ въ свою душу заглянуть и «слова любовныя» побоится сказать, даже если бы они сами просились на уста его. Недовѣрчивый и подозрительный, привыкшій думать, что все кругомъ него дышетъ измѣной, онъ именно долженъ «какъ звѣрь ласкаться, безъ словъ любовныхъ», хотя бы и не былъ звѣремъ по инстиктамъ и склонностямъ. А вдругъ и тутъ измѣна, обманъ? Вдругъ онъ попадетъ въ просакъ неумѣстнымъ метаніемъ бисера и сыграетъ глупую и постыдную роль? Въ драмѣ Островскаго обстоятельства складываются такъ, что подозрительность Грознаго находитъ себѣ фактическое оправданіе. Но это вовсе не характерная случайность, и драгоцѣнна здѣсь, собственно, только та черта, которая рисуетъ намъ Іоанна не тольно мучителемъ, но и мученикомъ своей подозрительности.

Встрѣтившись съ Василисой одинъ на одинъ, Грозный заигрываечъ съ ней: «Поди ко мнѣ поближе, я не звѣрь—я человѣкъ, я рабъ грѣха и плоти. Ты, грѣшница съ лукавыми глазами, съ манящимъ смѣхомъ на устахъ открытыхъ, чего боишься? Я тебя не на духъ зову къ себѣ! За блудное житье не положу эпитемьи тяжелой. Не постникъ я!» И потомъ признается Малютѣ: «Ошибся я въ самомъ себѣ, я думалъ: пора моихъ грѣховныхъ помышленій совсѣмъ прошла, что старческое око не соблазнитъ моей грѣховной плоти, что время мнѣ въ постѣ и покаяньи замаливать грѣхи минувшихъ лѣтъ и въ черной рясѣ постника, въ молитвѣ и день и ночь стоять на послушаньи и слезы лить. Ошибся я, Малюта; еще грѣховъ во мнѣ гнѣздится много, къ духовной скорби сердце не готово. Я увидалъ Мелентьеву и вновь былымъ грѣхомъ мечта моя смутилась, былая страсть зажглась въ моей груди!» Въ послѣднемъ дѣйствіи Василиса, одолѣваемая призракомъ отравленной Анны Васильчиковой, ищетъ успокоенія у своего грознаго мужа. Начало этой сцены слишкомъ напоминаетъ Шекспира: галлюцинирующая Василиса есть сколокъ съ леди Макбетъ. Но за то дальнѣйшій разговоръ очнувшейся Василисы съ Іоанномъ превосходенъ и въ высшей степени оригиналенъ. Бойкой ласкской, безстрашной и дерзкой шаловливостью, Василиса заставляетъ царя сидѣть съ собой «до свѣту», покрыть ей ноги кафтаномъ съ своего плеча, звать «царицей». Грозный сначала все упрямится и говоритъ разныя гнѣвныя слова, но Василиса Мелентьева—«женище», какъ ее называетъ лѣтописецъ—знаетъ, съ кѣмъ она имѣетъ дѣло, знаетъ, что этого грознаго царя очень легко обойти, только не надо напрямикъ лѣзть. Она требуетъ, чтобы царь съ ней посидѣлъ до свѣту, потому что ей страшно. Царь негодуетъ: «Я для тебя не мальчикъ, сидѣть съ тобой и забавлять тебя». Василиса настаиваетъ, доводитъ Грознаго до того, что онъ даже за ножъ хватается, но это не только не пугаетъ «женище», а вызываетъ съ ея стороны новое требованіе, — чтобы царь снялъ съ себя кафтанъ и покрылъ ей ноги. Царь удивляется: «да ты въ умѣ ли?» и однако исполняетъ. Василисѣ и этого мало: зови ее царицей. Царь говоритъ: «Ка-

кая ты царица! Невѣнчанной царицы не бываетъ! И не жена ты мнѣ: жена шестая— полужена. Да развѣ мало чести тебѣ, рабѣ моей, что царской волей ты выбрана изъ тысячи, что взглядъ мой властительскій тебя изъ низкой доли достойной сдѣлалъ ложа моего; что вмѣсто рабской службы царскимъ женамъ, ты самому царю забавой служишь». Василиса безстрашно говоритъ въ лицо Іоанну всякія дерзости, но, кромѣ того, что она облекаетъ ихъ въ бойко-шаловливую форму, обезоруживающую царя, она съ нимъ не споритъ, не пытается его убѣдить, не выходитъ изъ предѣловъ повелительнаго наклоненія: «И что тебѣ, царю и государю, терять слова, трудить себя напрасно! Не сговоришь ты съ бабой безтолковой. Плюнь на нее и сдѣлай по ея. Потѣшь жену, что малаго ребенка! Потѣшишь что-ль?» Царь смѣется и соглашается. Василиса засыпаетъ, Грозный любуется ею, и только тутъ, въ полномъ одиночествѣ, даетъ волю «словамъ любовнымъ»: «Съ тобой узнаю я покой души и ласку. Люби меня и лаской молодою напомни мнѣ жену мою Настасью. Люби меня, и въ сердцѣ оскотѣломъ, Богъ дастъ, опять откликнется былое, забытое и изжитое счастье». Никогда не осмѣлился бы несчастный сказать это въ лицо Василисѣ или какой другой женщинѣ. Онъ знаетъ любовныя слова, хочетъ сказать ихъ, потому что не безсловесное же онъ животное, но языкъ прилипаетъ къ гортани его. Онъ смѣетъ сдѣлать все, ни передъ чѣмъ не дрогнетъ его рука, но сказать простое любовное слово не смѣетъ. Вдругъ и тутъ обманъ?!

Какъ ни слаба въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ драма «Василиса Мелентьева» (она написана Островскимъ вдвоемъ съ неизвѣстнымъ г.***), но въ ней съ чрезвычайною тонкостью схвачены отдѣльныя черты Іоаннова характера, не имѣющія впрочемъ большого значенія, когда рѣчь идетъ о политическомъ дѣятелѣ. И это значительнѣйшее, оригинальнѣйшее изъ всего, что даетъ наша художественная литература о Грозномъ. Все остальное, независимо отъ литературныхъ достоинствъ и недостатковъ, такъ или иначе примыкаетъ къ одному изъ приведенныхъ уже нами взглядовъ на Грознаго царя. Поэтому краткости ради откажемся отъ соблазнительной задачи пересмотрѣть всю художественную литературу, относящуюся къ нашей темѣ. Однако къ слову, мимоходомъ, намъ можетъ быть не разъ придется (какъ уже и приходилось) помянуть то или другое произведеніе. Мы даже сдѣлаемъ это теперь же, сейчасъ.

Въ сороковыхъ годахъ появился романъ довольно извѣстнаго въ свое время писателя Бориса Ѳедорова «Князь Курбскій». Черезъ 40 лѣтъ (въ 1883) этотъ романъ дождался почему-то второго изданія. Романъ, какъ и большинство старыхъ, да пожалуй и нынѣшнихъ русскихъ историческихъ романовъ: съ трескучими эффектами, напыщенными рѣчами, неизреченнымъ благородствомъ благородныхъ и столь же неизреченною подлостью подлыхъ. Но среди этого мусора въ романѣ Ѳедорова попадаются черточки оригинальнаго творчества, хотя и лишеннаго соотвѣтственной собственно изобразительной способности. Вотъ какъ разсказываетъ Ѳедоровъ объ отвѣтѣ Грознаго на первое посланіе Курбскаго: «Много было въ чертогахъ Іоанна толковъ, заботъ и труда при составленіи этого отвѣтнаго посланія. Здѣсь придуманы были всѣ укоризны и обличенія, какія только казались Іоанну и царедворцамъ его выразительными. Велерѣчивые дьяки перечитывали, дополняли, исправляли посланіе, каждый прибавлялъ что нибудь отъ себя къ изощренію словеснаго оружія для уязвленія предательскаго сердца». Приведя затѣмъ отрывокъ изъ царскаго отвѣта, Ѳедоровъ продолжаетъ: «Пространно было посланіе, но еще мало казалось Іоанну: онъ дополнилъ его выписками изъ поученій св. отцовъ, указаніями на св. писаніе, древнюю исторію и даже на баснословіе, превращая письмо въ цѣлую книгу».

У Ѳедорова не хватило силы изобразить сцену, чрезвычайно оригнально задуманную, и онъ разсказалъ ее, что называется, своими словами. Большой художникъ не то сдѣлалъ бы изъ этой сцены, но оригинальность мысли, оригинальность представленія о Грозномъ, во всякомъ случаѣ, остается за заурядным романистомъ сороковыхъ годовъ. Ни одинъ изъ перечисленныхъ нами историковъ, какъ благосклонныхъ, такъ и неблагосклонныхъ къ Ивану IV, не дѣлаетъ даже намека на то, что знаменитыя письма къ Курбскому были коллективнымъ произведеніемъ Іоанна и его «царедворцевъ». Всѣ говорятъ по этому поводу лишь о начитанности и литературномъ талантѣ царя-полемиста, разноглася только насчетъ степени и характера этой эрудиціи и этого таланта. Я не знаю, откуда Ѳедоровъ почерпнулъ свою сцену или, вѣрнѣе, свой планъ сцены писанія царскаго отвѣта, есть ли это чисто художественный вымыселъ, оправдываемый лишь общимъ представленіемъ художника о Грозномъ, или онъ основанъ на какомъ-нибудь современномъ свидѣтельствѣ, ускользавшемъ отъ вниманія историковъ. Но сцена, правильно или неправильно, удовлетворяетъ наше естественное любопытство. Что это въ самомъ дѣлѣ значитъ:

«Царь, волнуемый гнѣвомъ и внутреннимъ безпокойствомъ совѣсти, немедленно отвѣчалъ Курбскому» (Карамзинъ). Или: «Царь рѣшился отмстить какъ могъ и написалъ отвѣтъ, весьма пространный, цѣлую книгу. Призвавъ на помощь все свое остроуміе, все велерѣчіе, и древнюю исторію, и книги св. Писанія, и творенія св. отцовъ, Іоаннъ на каждое почти слово Курбскаго давалъ объясненія» (Устряловъ «Сказанія князя Курбскаго»). Или еще: «Царь писалъ Курбскому длинные отвѣты, и хотя называлъ въ нихъ Курбскаго «собакою», но старался оправдать передъ нимъ свои поступки» (Костомаровъ) и т. д., и т. д. Все вѣдь это, собственно говоря, мертвыя слова, особенно въ виду того, что какъ разъ передъ этимъ многіе историки рисуютъ эффектную сцену подачи Шибановымъ письма Курбскаго царю. Конечно, не дѣло историковъ пополнять образною живостью пробѣлы лѣтописей и свидѣтельствъ современниковъ, но художникъ можетъ и долженъ это сдѣлать. И если здѣсь, безспорно, является много произвольнаго, попадающаго или непопадающаго въ точку, смотря по силѣ художественной проницательности автора, то, надо правду сказать, что и самая, повидимому, точная передача сухого лѣтописнаго матеріала еще не гарантируетъ насъ отъ личнаго произвола историка.

Оставимъ въ сторонѣ вопросъ объ авторскихъ правахъ Ивана Грознаго, да здѣсь собственно и вопроса нѣтъ; единство стиля и пріемовъ во всѣхъ произведеніяхъ царственнаго литератора несомнѣнно, хотя Ѳедоровъ, вѣроятно, правъ въ своемъ предположеніи, что Иванъ не просто взялъ да и написалъ цѣлую книгу въ отвѣтъ Курбскому, а читалъ ее отрывками кое-кому изъ приближенныхъ и выслушивалъ холопски одобрительные совѣты и замѣчанія. Но историки, по крайней мѣрѣ, тѣ, которые усвоиваютъ Іоанну чрезвычайную самостоятельность, и въ другихъ случаяхъ обыкновенно говорятъ: Іоаннъ захотѣлъ, Іоаннъ созвалъ, Іоаннъ велѣлъ и т. д. Они подкрѣпляютъ свой разсказъ то подлинными словами лѣтописца, то отрывками изъ переписки царя съ Курбскимъ, то свидѣтельствами какого-нибудь иностранца. Однако, эти ссылки и цитаты часто только маскируютъ невѣроятность разсказа. Трудно нашему брату, профану, разобраться въ многочисленныхъ и противорѣчивыхъ мнѣніяхъ историковъ о Грозномъ. Мы бы и рады положиться ну, хоть, напримѣръ, на г. Бѣлова и признать себя его учениками, потому—magister dixit! Но если совершенно такой же magister говоритъ нѣчто діаметрально противоположное, такъ намъ приходится довольствоваться своими собственными скудными средствами. Средства эти, впрочемъ, не такъ уже скудны, если распорядиться ими съ должнымъ уваженіемъ къ трудамъ ученыхъ спеціалистовъ.

Ученые спеціалисты, своими разногласіями, ставятъ передъ нами прежде всего вопросъ о самостоятельности Грознаго, вопросъ о томъ, въ какой мѣрѣ все доброе и злое, совершавшееся въ его царствованіе, обязано своимъ происхожденіемъ ему лично, и въ какой мѣрѣ тутъ дѣйствовали постороннія вліянія и внушенія. Не намъ, профанамъ, открывать новые факты, которые могли бы освѣтить этотъ вопросъ съ какой-нибудь неожиданной стороны; не намъ мечтать и объ новой, самостоятельной перегруппировкѣ фактовъ, уже дознанныхъ. Не намъ, наконецъ, провѣрять мнѣніе одного спеціалиста мнѣніемъ другого. Но внимательно читать каждаго изъ нихъ мы не только можемъ, а даже обязаны.

Ростъ самостоятельности Іоанна обрисовывается Соловьевымъ такъ. Разсказывая о томъ, какъ въ младенчество Іоанна Шуйскіе расправлялись на его глазахъ съ Бѣльскимъ, съ митрополитомъ Іосафомъ, лѣтописецъ говоритъ о маленькомъ великомъ князѣ только, что онъ очень испугался. Когда потомъ Шуйскіе накинулись на любимца Іоаннова, Воронцова, царственный мальчикъ уже ходатайствовалъ за него передъ боярами. А 13-ти лѣтъ Грозный уже «началъ свою дѣятельность» и началъ тѣмъ, что велѣлъ псарямъ схватить Андрея Шуйскаго и убить, такъ что поступокъ Шуйскихъ съ Воронцовымъ былъ «послѣднимъ боярскимъ самовольствомъ». Первый самостоятельный шагъ Іоанна, то есть убійство Андрея Шуйскаго, Соловьевъ обставляетъ такими словами: «Неизвѣстно какъ, вслѣдствіе особенно чьихъ внушеній и ободреній, вслѣдствіе какихъ приготовленій, 13-лѣтній Іоаннъ рѣшился напасть на Шуйскаго». Говоря о послѣдующихъ казняхъ и опалахъ, Соловьевъ замѣчаетъ, между прочимъ, по поводу опалы, постигшей бывшаго любимца Воронцова: «Самъ-ли Іоаннъ замѣтилъ (притязанія Воронцова) или другіе, которымъ тѣсно было съ Воронцовымъ, напримѣръ, князья Глинскіе, дядья государевы, указали ему въ Воронцовѣ новаго Шуйскаго,—только Воронцовъ подвергся опалѣ вмѣстѣ съ прежними своими врагами». Что касается партіи Шуйскихъ, то Соловьевъ замѣчаетъ: «Кто боролся съ нею именемъ Іоанна?—Лѣтописи молчатъ», и можно только догадываться, и то съ малою вѣроятностью, кто именно дѣйствовалъ изъ-за спины Іоанна.

До сихъ поръ, какъ видимъ, Соловьевъ хотя и говоритъ о «послѣднемъ боярскомъ самовольствѣ» и о «началѣ дѣятельности

Іоанна», но, въ сущности, вовсе не признаетъ за нимъ самостоятельности и только недоумѣваетъ, кто именно дѣйствовалъ отъ его лица. Оно и понятно. Странно было бы говорить о политической самостоятельности 12—13-лѣтняго мальчика, до такой степени странно, что можетъ быть неумѣстны слова «послѣднее боярское самовольство» и «начало дѣятельности Іоанна». Но вотъ наступаетъ Іоанну 17-й годъ, и Соловьевъ разсказываетъ уже другимъ тономъ, безъ всякихъ оговорокъ: «13-го декабря 1546 г. Іоаннъ позвалъ къ себѣ митрополита и объявилъ, что хочетъ жениться; на другой день митрополитъ отслужилъ молебенъ въ Успенскомъ соборѣ, пригласилъ къ себѣ всѣхъ бояръ, даже и опальныхъ, и со всѣми отправился къ великому князю», который сказалъ имъ рѣчь съ изложеніемъ намѣренія жениться. «Митрополитъ и бояре,—говоритъ лѣтописецъ,—заплакали отъ радости, видя, что государь такъ молодъ, а между тѣмъ ни съ кѣмъ не совѣтуется». Но молодой великій князь тутъ же удивилъ ихъ еще другою рѣчью, въ которой изложилъ свое намѣреніе вѣнчаться на царство. Этихъ фактовъ (?) для Соловьева совершенно достаточно, чтобы вслѣдъ затѣмъ категорически и вполнѣ опредѣленно говорить о «сильной не по лѣтамъ степени развитія ума и воли, обнаружившейся въ Іоаннѣ намѣреніемъ вѣнчаться на царство и принять титулъ царскій».

«Іоаннъ позвалъ», «Іоаннъ объявилъ», «Іоаннъ удивилъ»... Говоря объ этихъ *фактахъ*, я поставилъ послѣ этого слова вопросительный знакъ и имѣлъ на это, кажется, полное право на основаніи фактовъ же, сообщаемыхъ Соловьевымъ же, и взглядовъ, имъ же развиваемыхъ. Не выходя изъ того же VI тома «Исторіи Россіи», мы находимъ слѣдующій фактъ: еще въ 1542 г. русскій посолъ въ Литву, Сукинъ, долженъ былъ, по данной ему инструкціи, говорить тамъ, что «съ Божьей волей великій князь уже помышляетъ принять брачный законъ; мы слышали, что государь не въ одно мѣсто послалъ искать себѣ невѣсты; и откуда къ государю нашему будетъ присылка, и будетъ его воля, то онъ хочетъ это свое дѣло дѣлать». Это происходило за четыре года до рѣчи Іоанна, такъ будто бы удивившей и обрадовавшей митрополита и бояръ, и за годъ до расправы съ Андреемъ Шуйскимъ, которую Соловьевъ считаетъ «началомъ дѣятельности» Іоанна. Неизвѣстно, кому и зачѣмъ нужно было доводить до свѣдѣнія литовскаго правительства намѣреніе, тогда еще несуществовавшее, великаго князя жениться (ему было тогда 12 лѣтъ). Но, очевидно, что кто-то изъ членовъ московскаго правительства, изъ приближенныхъ великаго князя, давно уже думалъ объ его женитьбѣ; кто-то распоряжался его именемъ въ этомъ направленіи, и, слѣдовательно, по крайней мѣрѣ, не для всѣхъ бояръ была радостною неожиданностью рѣчь 16-лѣтняго великаго князя. Это, мнѣ кажется, до послѣдней степени очевидно. Далѣе, лѣтописецъ можетъ, конечно, разсказывать, что «митрополитъ и бояре заплакали отъ радости, видя, что государь такъ молодъ, а между тѣмъ ни съ кѣмъ не совѣтуется». Но не странно-ли, что это повторяетъ историкъ? тѣмъ болѣе, такой историкъ, какъ Соловьевъ, который всю драму жизни и царствованія Ивана IV строитъ на неудовольствіи бояръ за несоблюденіе древняго обычая ничего не дѣлать безъ совѣта съ дружиною? Съ той точки зрѣнія, на которой стоитъ Соловьевъ, боярамъ естественно было бы заплакать не отъ радости, а развѣ съ горя.

Достойно также вниманія замѣчаніе, которымъ сопровождаетъ разсказъ объ этомъ событіи другой ученый защитникъ самостоятельности Ивана Грознаго, г. Бестужевъ-Рюминъ. Въ рѣчи о женитьбѣ Іоаннъ упомянулъ, между прочимъ, что сначала хотѣлъ поискать себѣ невѣсты заграницей, какой-нибудь царской или королевской дочери, но потомъ раздумалъ: «привести мнѣ за себя жену изъ иного государства, и у насъ норовы будутъ разные, ино между нами тщета будетъ». «Это объясненіе, — замѣчаетъ г. Бестужевъ-Рюминъ, — напоминаетъ постоянныя нареканія боярской партіи, видѣвшей все зло въ томъ, что жены иноземки производятъ въ странѣ перемѣну нравовъ» (Русская исторія, II, 211). Это совпаденіе рѣшенія Іоанна, будто бы ни съ кѣмъ не совѣтовавшагося, съ нареканіями бояръ, помнившихъ Софію Палеологъ и Елену Глинскую, кладетъ, въ связи со всѣмъ прочимъ, подозрительную тѣнь на самостоятельность Іоаннова рѣшенія. А разъ усомнившись въ самостоятельности первой рѣчи Іоанна, насчетъ женитьбы, естественно распространить это сомнѣніе и на вторую, вслѣдъ за ней произнесенную, — насчетъ вѣнчанія на царство. Во всякомъ случаѣ, гдѣ основанія для заключенія о «сильной не по лѣтамъ степени развитія ума и воли»? Ихъ рѣшительно нѣтъ, этихъ основаній, какъ можетъ видѣть всякій «имѣющій очи видѣти», и заключеніе свое Соловьевъ построилъ отнюдь не на фактахъ, а на нѣкоторомъ произвольномъ и непровѣренномъ представленіи о Грозномъ.

Надо замѣтить, что и дѣдъ, и отецъ Ивана IV очень часто величали себя и были величаемы, какъ во внутреннихъ, такъ и во внѣшнихъ сношеніяхъ, «царями всея

Руси», такъ что и съ этой стороны чего-нибудь ужъ очень поразительнаго и неожиданнаго для бояръ не могло быть. Самый обрядъ царскаго вѣнчанія не былъ новостью: вѣнчаніе Грознаго происходило такимъ порядкомъ, какимъ Іоаннъ III вѣнчалъ своего внука Дмитрія. Мы не знаемъ, кто именно былъ въ это время настолько близокъ къ юному великому князю и вліятеленъ, чтобы руководить имъ, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы такихъ руководителей не было. Мы и относительно гораздо болѣе позднихъ временъ не имѣемъ свѣдѣній о многомъ, что могло бы пролить свѣтъ на вопросъ о самостоятельности Ивана IV. Когда, напримѣръ, началось вліяніе Сильвестра? О степени этого вліянія историки разногласятъ, но всѣ признаютъ всетаки, что вліяніе, и сильное, было. Когда же оно началось? По краснорѣчивому, но весьма мало вѣроятному разсказу Карамзина, основанному на дурно понятыхъ словахъ Курбскаго, Сильвестръ явился къ Ивану внезапно во время пожара 1547 г. Разсказа этого держатся и нѣкоторые болѣе поздніе историки. Затѣмъ существуетъ мнѣніе, что Сильвестръ былъ вызванъ изъ Новгорода митрополитомъ Макаріемъ, который прибылъ въ Москву и былъ посвященъ въ митрополиты въ 1543 г. Соловьевъ же, на основаніи очень справедливыхъ соображеній, полагаетъ, что Сильвестръ былъ въ Москвѣ уже въ 1541 году и уже тогда пользовался вліяніемъ, потому что, благодаря ему, былъ тогда освобожденъ изъ заключенія князь Владиміръ Андреевичъ. «По всѣмъ вѣроятностямъ,— говоритъ Соловьевъ,—Сильвестръ уже давно переселился изъ Новгорода въ Москву и былъ однимъ изъ священниковъ придворнаго Благовѣщенскаго собора, по этому самому былъ давно на глазахъ Іоанна, обратилъ на себя его вниманіе своими достоинствами: но теперь (со времени пожара) его внушенія, его вліяніе получили большую силу». А если такъ, то нѣтъ ничего невѣроятнаго и въ томъ, что столь будто бы поразившее митрополита и бояръ поведеніе Іоанна въ декабрѣ 1546 года имѣло мѣсто не безъ совѣщаній съ Сильвестромъ или его единомышленниками. Насчетъ Макарія сомнѣній собственно нѣтъ, только историки предпочитаютъ маскирующія выраженія: Іоаннъ «позвалъ» Макарія и т. п. Г. Замысловскій, также горячо отстаивающій самостоятельность Іоанна, въ упомянутой уже статьѣ «Сборникѣ государственныхъ знаній» справедливо говоритъ: «Ведя горячій споръ о вліяніи Сильвестра на царя, ученые, какъ намъ кажется, мало обращали вниманія на значеніе митр. Макарія. Его поученія и посланія къ царю наводятъ на вѣроятное предположеніе, что не одинъ Сильвестръ съ своими единомышленниками имѣлъ вліяніе на царя». Г. Бестужевъ-Рюминъ также говоритъ, что къ вліянію Сильвестра «быть можетъ слѣдуетъ прибавить и Макарія, если даже вліяніе Макарія не было сильнѣе». Если, однако, даже объ Макаріи мы можемъ только догадываться. то тѣмъ паче нечего удивляться скудости или прямому отсутствію указаній памятниковъ на другихъ лицъ, которые могли быть руководителями Ивана. Прикрываясь произвольно выхваченными цитатами изъ наивныхъ или лицемѣрныхъ свидѣтельствъ лѣтописцевъ, можно разсказывать какъ угодно, но желая возстановить полную, живую картину прошлаго, мудрено довольствоваться фразами: Іоаннъ заявилъ, Іоаннъ созвалъ и т. п. А. Н. Майковъ, котораго нельзя заподозрить въ непочтительномъ отношеніи къ Грозному и котораго г. Бестужевъ-Рюминъ ставитъ въ этомъ смыслѣ въ примѣръ другому поэту, гр. А. Толстому, — руководимый на этотъ разъ простымъ здравымъ смысломъ и можетъ быть художественнымъ чутьемъ, разсказываетъ дѣло такъ: «Рядомъ съ безнравственными свирѣпыми боярами, очевидно, подлѣ юноши-царя находился кто-то, старавшійся насадить въ душѣ его страхъ божій и просвѣтить его разумъ наукою: царь зналъ отлично св. писаніе, исторію церковную, римскую и русскую и творенія отцовъ церкви; мастеръ былъ писать и говорить рѣчи... Былъ подлѣ него кто-то, внушавшій ему великое понятіе о долгѣ христіанскаго царя передъ Богомъ, значеніе русскаго государя для всего православія. По всей вѣроятности этотъ невѣдомый сѣятель добра въ юной и пламенной душѣ Іоанна былъ митрополитъ Макарій. Онъ же, вѣроятно, внушилъ царю, когда ему исполнилось 17 лѣтъ, мысль вѣнчаться торжественно на царство и вступить въ бракъ». («Разсказы изъ русской исторіи для дѣтей и народа»). Въ этомъ родѣ идетъ и дальнѣйшее изложеніе, хотя о земскомъ соборѣ г. Майковъ всетаки выражается такъ, что Іоаннъ «объявилъ по всѣмъ городамъ» и т. д.

VI.

Наша литература объ Иванѣ Грозномъ представляетъ иногда удивительные курьезы. Солидные историки, отличающіеся въ другихъ случаяхъ чрезвычайною осмотрительностью, на этомъ пунктѣ дѣлаютъ смѣлые и рѣшительные выводы, не только не справляясь съ фактами, имъ самимъ хорошо извѣстными, а, какъ мы видѣли, даже прямо вопреки имъ; умные, богатые знаніемъ и опытомъ люди вступаютъ въ открытое про-

тиворѣчіе съ самыми элементарными показаніями здраваго смысла; люди, привыкшіе обращаться съ историческими документами, видятъ въ памятникахъ то, чего тамъ днемъ съ огнемъ найти нельзя, и отрицаютъ то, что явственно прописано черными буквами по бѣлому полю.

Всѣмъ этимъ, подчасъ даже просто непонятнымъ странностямъ подвергается и драгоцѣннѣйшій матеріалъ для исторіи Грознаго—его переписка съ Курбскимъ. Полемика эта представляетъ для исторической критики свои удобства и неудобства, именно потому, что даетъ освѣщеніе однимъ и тѣмъ же событіямъ съ двухъ противоположныхъ сторонъ. Но если обѣ враждующія стороны одинаково точно констатируютъ одинъ и тотъ же фактъ, хотя бы называя его разными именами и разно относясь къ нему, то ясно, кажется, что фактъ, значитъ, дѣйствительно, былъ. По крайней мѣрѣ всѣ вѣроятности за это. А между тѣмъ что же мы видимъ? Иванъ съ горечью и раздраженіемъ пишетъ Курбскому, что онъ, царь, находился въ малолѣтствѣ своемъ во власти мятежныхъ и своекорыстныхъ бояръ, а потомъ перешелъ подъ опеку «невѣжи попа» Сильвестра, который, вмѣстѣ съ «собакой» Адашевымъ, измѣнникомъ княземъ Курлятевымъ и другими, дѣлалъ, что хотѣлъ, и правилъ царствомъ помимо царя. И такъ продолжалось примѣрно до смерти царицы Настасьи. Этому собственному показанію Ивана Соловьевъ, г. Бестужевъ-Рюминъ и нѣкоторые другіе историки не хотятъ вѣрить. Они утверждаютъ, что Иванъ, увлекаемый страстью и полемическимъ задоромъ, извращаетъ истину, что онъ хочетъ навалить какъ можно больше преступленій на Курбскаго и его партію и съ этою цѣлью готовъ даже умалить свою личную долю участія въ великихъ дѣлахъ первыхъ тринадцати лѣтъ его царствованія. Изъ словъ Ивана слѣдуетъ заключить, что созывъ земскаго собора, составленіе Судебника, мѣры къ ограниченію произвола администраціи и проч., что все это было дѣломъ «собакъ», измѣнниковъ и т. д. Историкамъ не хочется признать это, хотя они не могутъ привести ни единаго факта въ доказательство, что дѣла эти были плодами личной иниціативы царя. И вотъ они полемизируютъ съ самимъ Иваномъ: это, дескать, онъ въ полемическомъ увлеченіи говоритъ. Но вѣдь то же самое говоритъ и противоположная сторона — Курбскій. Только онъ называетъ «собакъ» и измѣнниковъ добрыми совѣтниками и «избранной радой». Въ чемъ же дѣло? Историки могутъ склоняться мнѣніемъ на ту или другую сторону; могутъ подробнымъ анализомъ фактовъ выяснить цѣли, намѣренія и личныя свойства совѣтниковъ Ивана, могутъ, наконецъ, съ особеннымъ тщаніемъ останавливаться на тѣхъ отдѣльныхъ случаяхъ, когда Іоаннъ выбивался изъ-подъ вліянія «избранной рады» или «собакъ»,—такіе отдѣльные случаи указываютъ и Курбскій, и Иванъ. Но если обѣ враждующія стороны, готовыя чуть не съѣсть другъ друга и во всякомъ случаѣ не жалѣющія красокъ для уличенія противника во лжи, сходятся на одномъ чисто фактическомъ показаніи, то, казалось бы, историческому скептику тутъ уже нечего дѣлать. Тѣмъ болѣе, что достовѣрныхъ фактовъ, которые противорѣчили бы этому положенію, нѣтъ. За неимѣніемъ таковыхъ, историки довольствуются восклицательными знаками. Такъ и Соловьевъ восклицаетъ: «Всего страннѣе предполагать, что человѣка съ такимъ характеромъ, какой былъ у Іоанна, можно было держать въ удаленіи отъ дѣлъ!» Но вѣдь въ этомъ-то и вопросъ,—какой былъ характеръ у Іоанна? И потомъ, рѣчь не о томъ, что онъ былъ въ удаленіи отъ дѣлъ, а о томъ, что онъ былъ исполнителемъ чужихъ замысловъ. Мимоходомъ сказать, съ этими восклицательными знаками, опирающимися, для доказательства чего-либо, на соображенія, именно подлежащія доказательству (въ курсахъ логики это называется petitio principii или круговое заключеніе), въ литературѣ объ Иванѣ Грозномъ приходится наталкиваться очень часто. Вотъ, напримѣръ, и Кавелинъ, идеализируя дикое учрежденіе опричнины, говоритъ: «кто знаетъ любовь Іоанна къ простому народу, тотъ не скажетъ» того-то и того-то худого про опричнину. А кто же знаетъ любовь Іоанна къ простому народу? Не тѣ ли «всенародные человѣки», какъ говоритъ Курбскій, или «христіане», по выраженію псковскаго лѣтописца, которыхъ Іоаннъ въ молодости, играючи, билъ и топталъ конскими копытами? Или тѣ псковскіе депутаты, которые явились къ нему, уже женатому и вѣнчанному на царство, съ жалобой на намѣстника и которыхъ онъ мучительски истязалъ, рвалъ и жегъ имъ бороды и проч.? Или тысячи простыхъ людей, зарѣзанныхъ и утопленныхъ въ Новгородѣ?

Но возвратимся къ вопросу о самостоятельности Іоанна Грознаго.

Во время своей болѣзни 1553 г. Іоаннъ далъ обѣтъ съѣздить на богомолье въ Кирилловъ Бѣлозерскій монастырь, куда, выздоровѣвъ, и отправился вмѣстѣ съ женой и малюткой-сыномъ. По дорогѣ онъ видѣлся въ Троицкомъ монастырѣ съ знаменитымъ Максимомъ Грекомъ, который всячески отговаривалъ его отъ столь дальней придприиятой имъ поѣздки. Максимъ Грекъ говоритъ царю, что обѣтъ его былъ неразуменъ, что

онъ можетъ и дома подвигнуть св. Кирилла на предстательство за него передъ Богомъ, а чѣмъ ѣхать съ женой и новорожденнымъ ребенкомъ, пусть лучше царь сдѣлаетъ богоугодное дѣло: пусть соберетъ въ Москву вдовъ и сиротъ воиновъ, погибшихъ подъ Казанью, и утѣшитъ и устроитъ ихъ. Иванъ оставался, однако, при своемъ намѣреніи. Тогда Максимъ Грекъ черезъ приближенныхъ къ царю людей, въ томъ числѣ черезъ Адашева и Курбскаго, велѣлъ ему сказать: если забудешь кровь мучениковъ, побитыхъ погаными за христіанство, и поѣдешь съ упрямствомъ, то сынъ твой умретъ въ дорогѣ (малютка, дѣйствительно, умеръ). Царь всетаки не послушался и въ Пѣсношскомъ монастырѣ видѣлся съ другимъ инокомъ, Вассіаномъ Топорковымъ. Вассіанъ сказалъ ему въ разговорѣ слѣдующее: «Если хочешь быть самодержцемъ, не держи при себѣ совѣтниковъ умнѣе тебя, потому что ты всѣхъ лучше; если же будешь имѣть при себѣ людей умнѣе тебя, то поневолѣ будешь имъ послушенъ». Царю эти слова по душѣ пришлись; онъ поцѣловалъ руку Вассіана и сказалъ: «если бы и отецъ мой былъ живъ, то не могъ бы подать болѣе полезнаго совѣта». Такъ разсказываетъ Курбскій. Вполнѣ ли вѣренъ дѣйствительности этотъ разсказъ или нѣтъ, но, по справедливому замѣчанію Соловьева, онъ драгоцѣненъ для историка, какъ выраженіе сознанія современниковъ о живой связи между событіями и лицами. И въ самомъ дѣлѣ, это эпизодъ чрезвычайно характерный, но, мнѣ кажется, совсѣмъ не съ той точки зрѣнія, съ которой его освѣщаетъ Соловьевъ. Для него это одинъ изъ эпизодовъ борьбы между крѣпнущимъ самодержавіемъ, сторонникомъ котораго является въ данномъ случаѣ любимецъ отца Іоаннова— старецъ Вассіанъ, и отживающими боярскими принципами, защищаемыми Максимомъ Грекомъ. Бояре, дескать, боялись и, какъ видимъ, имѣли полное основаніе бояться встрѣчи Грознаго царя съ Вассіаномъ Топорковымъ, образъ мыслей котораго былъ хорошо извѣстенъ, и вотъ другъ и единомышленникъ бояръ, Максимъ Грекъ, всячески удерживаетъ царя. Пусть такъ. Но какъ же освѣщается этимъ эпизодомъ самостоятельность Грознаго? Очевидно, люди, близко знавшіе царя, видѣли въ немъ натуру именно не самостоятельную, легко поддающуюся всякимъ вліяніямъ. Вопросъ былъ только въ томъ—чья возьметъ, удастся или не удастся Вассіану «шептати царю во ухо» (выраженіе Курбскаго; Соловьевъ, по очевидному недоразумѣнію, толкуетъ его буквально: сказалъ на ухо). Кромѣ того, самое содержаніе совѣта Вассіанова такъ понравившагося царю, свидѣтельствуетъ, что и у сторонниковъ безусловно неограниченной власти Грознаго не было надежды на его самостоятельность, вслѣдствіе чего они и рекомендовали такое удивительное средство, какъ устраненіе умныхъ совѣтниковъ. Этотъ въ сущности глубоко оскорбительный совѣтъ напоминаетъ слова свахи Бальзаминову: «ты глупый человѣкъ, значитъ, тебѣ умнѣй себя искать невѣсту нельзя».

Умнѣе ли Іоанна были послѣдующіе его совѣтники или нѣтъ, но они были, и онъ ихъ слушалъ Чрезвычайно любопытенъ разсказъ Курбскаго о причинахъ заочности суда надъ Сильвестромъ и Адашевымъ. Митрополитъ настаивалъ на присутствіи обвиняемыхъ: «губительнѣйшіе же ласкатели вкупѣ съ царемъ возопиша: не подобаетъ, о епископе! Понеже вѣдомые сіи злодѣи и чаровницы велицы очаруютъ царя и насъ погубятъ, аще пріидутъ». Мы видимъ и здѣсь все тѣ же опасенія, какъ бы не поколебалось настроеніе грознаго царя, и вмѣстѣ съ тѣмъ давленіе на него, приводящее къ ожидаемому результату.

Не довѣрять Курбскому въ этомъ отношеніи нѣтъ никакихъ основаній. Во-первыхъ потому, что, какъ мы видѣли, показанія Курбскаго, изъ которыхъ явствуетъ отсутствіе въ Іоаннѣ самостоятельности и духа иниціативы, подтверждаются встрѣчнымъ свидѣтельствомъ самого царя. Во-вторыхъ потому, что вопросъ о самостоятельности или несамостоятельности Грознаго самъ по себѣ вовсе не занимаетъ Курбскаго. Группировать или какъ нибудь подтасовывать факты въ направленіи самостоятельности царя онъ не думаетъ и болѣе всего обвиняетъ его въ гордости и самовластіи. Съ точки зрѣнія Курбскаго, Иванъ былъ, пожалуй, даже слишкомъ самостоятеленъ; но иное говорятъ факты, имъ приводимые.

И помимо Курбскаго и самого Ивана есть довольно выразительныя указанія. Есть извѣстія, что даже такое учрежденіе, какъ опричнина, въ которой мы привыкли видѣть личную печать духа Грознаго, явилось «по злыхъ людей совѣту, Василья Юрьева да Алексѣя Басманова и иныхъ такихъ же». Соловьевъ какъ бы смягчаетъ это показаніе, а въ сущности даже усиливаетъ. Онъ говоритъ: «страшному состоянію души Іоанновой соотвѣтствовало и средство, имъ придуманное или имъ принятое, ибо по нѣкоторымъ извѣстіямъ планъ опричнины принадлежалъ Василью Юрьеву и Алексѣю Басманову съ нѣкоторыми другими». И это весьма вѣроятно. Извѣстно, что Грозный неоднократно отпирался отъ опричнины. Съ литовскимъ гонцомъ Юрагою приставу велѣно было говорить такъ: «если спроситъ: что это теперь

у государя вашего слыветъ опричнина?— отвѣчать: у государя никакой опричнины нѣтъ, живетъ государь въ своемъ царскомъ дворѣ, и которые дворяне служатъ ему правдою, тѣ при государѣ и живутъ близко, а которые дѣлали неправды, тѣ живутъ отъ государя подальше; а что мужичье, не зная, зоветъ опричниной, то мужичьимъ рѣчамъ вѣрить нечего; воленъ государь, гдѣ хочетъ дворы и хоромы ставить, тамъ и ставитъ; отъ кого государю отдѣляться?» То же самое долженъ былъ говорить и русскій посолъ въ Литвѣ, бояринъ Умный-Колычевъ. Это отреченіе отъ опричнины не можетъ, конечно, служить прямымъ доказательствомъ, что самая мысль о ней не принадлежала Грозному, но невольно всетаки думается, что отъ родного дѣтища, выношеннаго самостоятельнымъ процессомъ мышленія, не отрекаются, пока оно живо. Если же правда, что планъ опричнины не былъ созданіемъ Іоанна, а былъ подсказанъ ему другими, то понятно, что ему ничего не стоило отъ нея отпереться.

А затѣмъ является такое соображеніе. Нѣкоторые историки хотятъ насъ увѣрить, что при учрежденіи опричнины Іоаннъ руководился великою мыслью; другіе, признавая эту мысль пагубною, находятъ, что Іоаннъ дошелъ до нея, однако, какимъ-то логическимъ путемъ, которымъ, по крайней мѣрѣ, въ его собственныхъ глазахъ, учрежденіе опричнины оправдывалось. Если бы это было такъ, если бы Іоаннъ былъ, дѣйствительно, глубоко убѣжденъ въ необходимости, полезности, цѣлесообразности опричнины, онъ, конечно, не сталъ бы стыдиться ея и облыжно отрицать самый фактъ ея существованія. Любопытно, что въ упомянутомъ въ прошломъ письмѣ старинномъ романѣ «Князь Курбскій» планъ опричнины зарождается на одной изъ тѣхъ жестоко веселыхъ пирушекъ, которыя такъ любилъ Грозный, въ компаніи Малюты Скуратова, Чудовскаго архимандрита Левкія, Басманова, шута Грознаго и т. п. И можетъ быть картина эта гораздо ближе къ дѣйствительности, чѣмъ представленія тѣхъ историковъ, которые видятъ въ опричнинѣ плодъ уединенной государственной мудрости Іоанна IV.

Но оставимъ догадки и посмотримъ, на чемъ основываются догадки апологетовъ Грознаго, потому что ничего, кромѣ догадокъ, у нихъ, собственно говоря, нѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, не правъ-ли Погодинъ, задавая свой вопросъ: откуда могла взяться государственная мудрость и знаніе потребностей народа у юноши, проводившаго дотолѣ время такъ несчастно и безпутно, какъ это было съ Іоанномъ? Историки, обличающіе чудесный характеръ карамзинской исторіи Іоанна, очевидно, сами впадаютъ въ чудесное, только съ другого конца. Образъ впечатлительнаго и вдумчиваго мальчика, мучащагося вопросомъ о предѣлахъ своей власти и ищущаго разрѣшенія этого вопроса въ книгахъ, этотъ нарисованный Соловьевымъ образъ есть одна сплошная догадка историка, не имѣющая за себя ни единаго прямого свидѣтельства. Она основана исключительно на начитанности Іоанна, обнаружившейся гораздо позже. Не будемъ говорить объ этой начитанности и замѣтимъ только, что даже г. Бестужевъ-Рюминъ, чрезвычайно высоко ставящій Грознаго вообще и въ этомъ отношеніи въ частности, говоря о знаменитомъ препирательствѣ съ Антоніемъ Поссевиномъ, вынужденъ признать, что царь «оказался въ спорѣ неглубокимъ богословомъ». Еще бы! И, во всякомъ случаѣ, изъ чтенія св. писанія, изъ изученія церковной и римской исторій, твореній св. отцовъ, хотя бы это изученіе было гораздо глубже и пристальнѣе, чѣмъ какое мы видимъ у Іоанна, нельзя было извлечь свѣдѣній о нуждахъ русской земли. Житейскій опытъ юнаго великаго князя былъ тоже не великъ. Какія онъ книги читалъ и читалъ-ли ихъ вообще,—объ этомъ мы никакихъ прямыхъ свѣдѣній не имѣемъ, а какъ онъ проводилъ время, это мы знаемъ, и знаемъ не отъ Курбскаго только: царь присутствовалъ при раздорахъ и интригахъ бояръ, разъѣзжалъ по монастырямъ и на охоту, предавался разгулу съ товарищами, — вотъ и все. Какъ онъ прислушивался къ нуждамъ народа, тоже знаемъ. Во время своихъ путешествій, по словамъ лѣтописца, «князь великій все гонялъ на мскахъ (ишакахъ), а христіанамъ много протора учинилъ». Когда въ 1546 г. новгородскіе пищальники остановили его на охотѣ съ какимъ-то ходатайствомъ, онъ ихъ не сталъ слушать и велѣлъ разогнать, такъ что произошла драка. Когда въ слѣдующемъ году къ нему явились съ ходатайствами же псковичи, онъ ихъ опять таки не слушалъ, а мучительски истязалъ. Откуда же онъ узналъ о необходимости реформъ въ области законодательства и администраціи? Откуда, послѣ этого неистоваго отношенія къ новгородцамъ и псковичамъ, желаніе созвать представителей всей русской земли?

Намъ говорятъ о великой государственной идеѣ Грознаго царя, выразившейся въ сознательной борьбѣ съ удѣльными преданіями и олигархическими претензіями бояръ, замѣнѣ родового начала началомъ государственнымъ, въ поставленіи личной заслуги на мѣсто породы. Таково было то великое «новое», къ чему Иванъ IV стремился всѣми силами своей великой души и чего не могла

воспринять слишкомъ неподготовленная Русь. Отсюда драма, въ центрѣ которой стоитъ мучительскій (съ этимъ никто не споритъ), но и измученный борьбой образъ Грознаго царя.

Остановимся на одномъ изъ крупнѣйшихъ эпизодовъ этой борьбы, не оскверненномъ ничьей невинною кровью и, значитъ, съ этой стороны не бросающемъ никакой тѣни на царя. Этимъ устраняется вопросъ о средствахъ, которыя Иванъ пускалъ въ ходъ въ своей борьбѣ, и остается передъ нами только самая борьба, ея идея и цѣль. Въ 1553 г., еще будучи въ наилучшихъ отношеніяхъ съ тѣми, кого онъ впослѣдствіи звалъ измѣнниками и собаками, царь опасно заболѣлъ. Онъ составилъ духовное завѣщаніе и предложилъ своему двоюродному брату Владиміру Андреевичу Старицкому и боярамъ присягнуть малолѣтнему царевичу Дмитрію. Владиміръ самъ мѣтилъ на престолъ и потому отказался присягать, а съ нимъ и многіе бояре. Сильвестръ и Адашевъ были, повидимому, тоже на сторонѣ Владиміра, но, сколько можно судить, это предпріятіе не было дѣломъ ихъ партіи (Курбскій, напримѣръ, впослѣдствіи прямо говорилъ, что не считалъ Владиміра достойнымъ престола) и голоса приближенныхъ къ Ивану людей распредѣлялись въ этомъ дѣлѣ сообразно личнымъ убѣжденіямъ каждаго, а не по какимъ-нибудь группамъ. Какъ бы то ни было, произошли во дворцѣ большія смуты, и, выздоровѣвъ, Иванъ никогда уже не могъ забыть измѣнническаго, по его мнѣнію, поведенія бояръ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ немъ зародилась первая искра недовѣрія къ Сильвестру и Адашеву. Соловьевъ и другіе хотятъ видѣть въ этомъ эпизодѣ все то-же столкновеніе государственной идеи Грознаго съ олигархическими стремленіями бояръ. И когда читаешь это, напримѣръ, у Соловьева въ мастерскомъ освѣщеніи съ точки зрѣнія родовой теоріи, проведенной сквозь всю нашу старую исторію, то сразу, пожалуй, и не замѣтишь, что все толкованіе смуты во время болѣзни Ивана рѣшительно ни на чемъ не основано. Моментъ для заявленія боярами какихъ-нибудь политическихъ претензій былъ необыкновенно удобный: царь при смерти, сынъ его—младенецъ, родной братъ (Юрій) — слабоумный, двоюродный братъ предъявляетъ свои права на престолъ, но права эти шатки, и потому у него легко было бы выговорить какія-нибудь обязательства общаго политическаго характера. Ничего подобнаго мы, однако, не видимъ. Соловьевъ говоритъ объ отжившемъ порядкѣ престолонаслѣдія, держась котораго во имя старины, бояре хотѣли посадить на престолъ старшаго бокового родича, Владиміра, вмѣсто младшаго прямого, Дмитрія. Но Владиміръ былъ только двоюродный братъ, а Юрій—родной, и, однако, объ его правахъ на престолъ нѣтъ рѣчи. Объ немъ вспомнилъ только его тесть, князь Палецкій, и выпрашивалъ для него у предполагаемаго будущаго царя Владиміра удѣлъ. Скажутъ, Юрій былъ завѣдомо слабоуменъ; но при такомъ-то царѣ и удобно было-бы разростись плевеламъ олигархіи. Удобенъ былъ въ этомъ отношеніи и младенецъ Дмитрій; однако, «мятежные» бояре не хотѣли его. Безъ сомнѣнія, въ средѣ московскаго боярства было много своекорыстныхъ и даже прямо нечистыхъ на-руку и въ другихъ отношеніяхъ негодныхъ элементовъ, но, во-первыхъ, еще вопросъ, гдѣ ихъ было больше—на сторонѣ ли Владиміра, или на сторонѣ Дмитрія, а во-вторыхъ, каковы бы ни были ихъ качества, а противъ московскаго самодержавія они, очевидно, ничего не замышляли. Характеренъ въ этомъ отношеніи разговоръ князя Пронскаго съ княземъ Воротынскимъ. Пронскій былъ изъ числа отказывающихся присягать Дмитрію. Наконецъ, согласился и, вымещая досаду на Воротынскомъ, который приводилъ къ присягѣ, сказалъ ему: «твой отецъ, да и ты самъ послѣ великаго князя Василія первый измѣнникъ, а теперь къ кресту приводишь!» Воротынскій отвѣчалъ: «я измѣнникъ, а тебя привожу къ крестному цѣлованію, чтобы ты служилъ государю нашему и сыну его, царевичу Димитрію; ты прямой человѣкъ, а государю и сыну его креста не цѣлуешь и служить имъ не хочешь». Эта реплика сразила Пронскаго,—онъ молча присягнулъ. Можно было бы, конечно, многое сказать по поводу этого препирательства двухъ потомковъ удѣльныхъ князей, но ужъ никакъ нельзя сказать, чтобы они не хотѣли быть холопами московскихъ князей. Не только тогдашніе Рюриковичи не мечтали уже о какой-нибудь удѣльной самостоятельности, но весь смыслъ ихъ жизни сводился къ тому, чтобы занять мѣсто повыгоднѣе и попочетнѣе при московскомъ дворѣ, въ рядахъ холоповъ московскихъ государей. Много низостей они при этомъ совершали, но гдѣ же противоборство московскому единодержавію? Что касается самодержавія, то, можетъ быть, и даже навѣрное, существовала партія, мечтавшая о представительствѣ народа въ управленіи дѣлами государства, но олигархическаго въ ней ничего не было. Отецъ царскаго любимца, а впослѣдствіи «собаки» Алексѣя Адашева, Ѳедоръ Адашевъ, говорилъ больному царю: «тебѣ и сыну твоему крестъ цѣлуемъ; но Захарьинымъ, Данилѣ съ братьей, служить не хотимъ; сынъ твой еще въ пеленкахъ, а владѣть нами Захарьинымъ. Мы же

отъ бояръ до возраста твоего бѣды видѣли многія». Какъ думалъ Адашевъ устроить дѣло, неизвѣстно, но не онъ одинъ мотивировалъ свой отказъ именно опасеніемъ олигархіи Захарьиныхъ и возврата печальныхъ дней малолѣтства Іоанна. То-же самое говорили князья Щенятевъ-Патрикѣевъ, Ростовскій, Турунтай-Пронскій, Нѣмой. Положеніе было, дѣйствительно, трудное, и, можетъ быть, наиболѣе затруднительно было оно для искреннѣйшихъ сторонниковъ московскаго самодержавія. Что было бы въ случаѣ воцаренія Владиміра, мы, конечно, знать не можемъ, но если бы царемъ былъ объявленъ младенецъ Дмитрій, то весьма легко могли бы повториться первые годы царствованія ребенка Іоанна, и, во всякомъ случаѣ, опасеніе это могло смущать именно враговъ олигархіи. Указаніе на это вполнѣ естественное, при тогдашнихъ условіяхъ, именно съ государственной точки зрѣнія опасеніе мы только и знаемъ; а какихъ-нибудь ссылокъ на родовые счеты вродѣ преимущества правъ дяди передъ правами племянника мы не встрѣчаемъ ни одной, кромѣ, можетъ быть, претензіи самого Владиміра. Это опять-таки ни на чемъ не основанная догадка историка: въ этомъ направленіи, по его мнѣнію, *должны были* думать и дѣйствовать противники малолѣтняго Дмитрія.

Теперь посмотримъ, какъ относится къ этому дѣлу Грозный. Историки и здѣсь много разсуждаютъ о томъ, какъ *долженъ былъ* думать Иванъ, но я не помню, чтобы хоть одинъ изъ нихъ привелъ слѣдующія чрезвычайно выразительныя подлинныя слова Грознаго во второмъ письмѣ къ Курбскому: «А князя Володиміра на царство для чего есте хотѣли посадити, а меня и съ дѣтьми извести? А азъ восхищеніемъ-ли, или ратью, или кровью, сѣлъ на государство? Народился есми Божіимъ изволеніемъ на царствѣ; и не помню того, какъ меня батюшка пожаловалъ, благословилъ государствомъ и взросъ есми на государствѣ. А князю Володиміру почему было быти на государствѣ? *Отъ четвертаго удѣльнаго родился* (т. е. отъ послѣдняго сына Ивана III, пятаго или, если не считать старшаго, великаго князя, то отъ четвертаго). Что его достоинство къ государству? *которое его поколѣніе?*»

Кто же, спрашивается, велъ родовые счеты по поводу обстоятельства, которое поставило или могло поставить государство въ трудное положеніе? И почему историки видятъ родовые счеты тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, и не видятъ тамъ, гдѣ они есть? Вообще представленіе о Грозномъ, какъ о противникѣ родового начала, родовыхъ счетовъ, принадлежитъ къ числу самыхъ странныхъ историческихъ фантазій. Извѣстно, какъ, производя себя отъ кесаря Августа или его брата Прусса, Грозный презрительно третировалъ другихъ государей, не столь, по его мнѣнію, породистыхъ. Шведскому королю онъ объяснилъ, что тотъ «мужичьяго рода». «И ты скажи,—писалъ онъ королю,—отецъ твой Густавъ чей сынъ, и какъ дѣда твоего звали и гдѣ на государствѣ сидѣлъ, и съ которыми государями былъ въ братствѣ, и котораго ты роду государскаго? Пришли родству своему письмо и мы потому разсудимъ». Стефанъ Баторій тоже много колкостей отъ Ивана получалъ по поводу той «низости», изъ которой онъ вышелъ, «не отъ государскаго приреженья, а отъ рыцарскаго чину». Сигизмунда-Августа, какъ прирожденнаго польскаго короля, Грозный попрекаетъ такъ: «что братъ нашъ не бережетъ своей чести, пишется шведскому братомъ равнымъ, то это его дѣло, хотя бы водовозу своему назвался братомъ». Однако, и Сигизмундъ-Августъ не могъ бы мѣриться родовымъ достоинствомъ съ московскимъ царемъ: «Кромѣ насъ да турецкаго султана ни въ одномъ государствѣ нѣтъ государя, котораго бы родъ царствовалъ непрерывно черезъ двѣсти лѣтъ; а мы отъ государства господари, начавши отъ Августа Кесаря изъ начала вѣковъ, и всѣмъ людямъ это вѣдомо». Можно бы было привести еще много образчиковъ этого своеобразнаго мѣстничества, достигавшаго иногда даже комическихъ эффектовъ, но довольно съ насъ и приведеннаго. Что касается боярскаго мѣстничества, то въ началѣ царствованія Грознаго (въ 1550 г.) были, дѣйствительно, приняты нѣкоторыя мѣры, если не для прекращенія, то для ограниченія этого зла. Но это сдѣлано было не лично Иваномъ, а «избранной радой» или «собаками». А затѣмъ, какъ мѣра противъ мѣстничества, указывается нѣкоторыми историками лишь опричнина, но, конечно, она въ этомъ отношеніи непричемъ. Мѣстничество шло своимъ чередомъ, и если Иванъ разрѣшалъ лично себѣ топтать чью бы то ни было родословную гордость, то онъ же очень охотно самъ разбиралъ мѣстническіе счеты и составлялъ поколѣнныя росписи тяжущихся сторонъ. Но всего яснѣе уваженіе Ивана къ «породѣ» и его пристрастіе къ родовымъ счетамъ видны изъ его во многихъ отношеніяхъ любопытнѣйшаго письма къ Василію Грязнову. Грязновъ, одинъ изъ ближайшихъ къ Ивану людей, опричникъ, попалъ въ плѣнъ къ крымскимъ татарамъ и просилъ царя выручить его, дать за него выкупъ. Въ отвѣтѣ своемъ Иванъ, осыпавъ опричника градомъ ядовитыхъ насмѣшекъ по тому поводу, что онъ попался въ плѣнъ, продол-

жаетъ: «правда, что грѣха таить, отца нашего и наши бояре стали намъ измѣнять, и мы васъ, мужиковъ, къ себѣ приблизили, надѣясь отъ васъ службы и правды. А помянулъ бы свое и отцовское величество въ Алексинѣ: такіе и въ станицахъ ѣзжали; ты самъ въ станицѣ у Пенинскаго былъ мало что не въ охотникахъ съ собаками, а предки твои у ростовскихъ владыкъ служили; мы не запираемся, что ты у насъ въ приближеньи былъ, и мы для твоего приближенья тысячи двѣ рублей за тебя дадимъ, а до этихъ поръ такіе, какъ ты, по 50 рублей бывали».

Это чрезвычайно замѣчательное посланіе. Царь, обремененный дѣлами всей Руси, находитъ нужнымъ удѣлить часть своего времени на ядовитое письмо къ мизинному человѣку Васюшкѣ Грязному, на котораго онъ вовсе не гнѣвается, но не можетъ отказать себѣ въ жестокомъ удовольствіи попрекнуть этого мизиннаго человѣка его несчастіемъ и низкимъ происхожденіемъ. Царь, презирающій, какъ насъ увѣряютъ, родовые счеты, роется въ родословной Васюшки Грязнова и всаживаетъ при помощи ея шпильку человѣку, конечно, достоинствомъ не блистающему, но во всякомъ случаѣ несчастному, изнывающему въ тяжеломъ татарскомъ плѣну и съ надеждой устремляющему взоры на сѣверъ, къ своему царственному покровителю...

VII.

Кромѣ времени малолѣтства Ивана Грознаго, кромѣ затѣмъ времени его тяжкой болѣзни 1553 г., былъ еще удобный случай выразиться боярскимъ притязаніямъ. Курбскій, котораго большинство историковъ изображаетъ носителемъ боярской идеи и представителемъ удѣльной старины, могъ, не стѣсняясь, излагать въ письмахъ къ Іоанну самыя задушевныя свои мысли, чувства, желанія. Онъ и дѣйствительно не стѣснялся, ибо зналъ, что корабли его все равно сожжены, а у Грознаго царя коротки руки достать его въ Литвѣ. Какія же такія несовмѣстимыя съ «новымъ» порядкомъ вещей требованія выставилъ онъ? Смѣшно сказать, но Соловьевъ, наболѣе пристально разработавшій переписку Ивана съ Курбскимъ и толкующій ее въ смыслѣ отчаянной схватки стараго съ новымъ, указываетъ, собственно говоря, лишь на одно фактическое доказательство притязаній, и это единственное доказательство такъ ничтожно, что историкъ даже не рѣшается ввести его въ текстъ, а относитъ въ примѣчанія. Вотъ оно: «Что Курбскій имѣлъ, дѣйствительно, притязаніе, по крайней мѣрѣ на титулъ князя Ярославскаго, доказываетъ его переписка со многими лицами въ Литвѣ, гдѣ онъ величаетъ себя княземъ Андреемъ Ярославскимъ». Эта ничтожная черта вдохновила одного поэта (г. Майкова), который влагаетъ Грозному въ уста такія слова:

...А Курбскій? Онъ ушелъ!
„Не мыслю на удѣлъ!"—клянется мнѣ и Богу,
А пишется въ Литвѣ, съ панами не таясь,
Въ облыжныхъ грамотахъ, какъ „Ярославскій князь"!

Въ «грамотахъ», вовсе, однако, не «облыжныхъ», Курбскій, дѣйствительно, писался Ярославскимъ княземъ, и больное воображеніе Іоанна, дѣйствительно, построило на этомъ обстоятельствѣ нѣкоторую клевету; онъ прямо адресовался въ своемъ первомъ письмѣ къ «князю Андрею Михайловичу Курбскому, восхотѣвшему своимъ измѣннымъ обычаемъ быти Ярославскимъ владыкой». Но если бы титулъ князя Ярославскаго не былъ для Курбскаго чисто платоническимъ величаніемъ, то онъ, конечно, проявилъ бы соотвѣтственныя притязанія и какимъ-нибудь другимъ, менѣе невиннымъ способомъ. Онъ имѣлъ для этого полную возможность, во-первыхъ, какъ бѣглецъ, недоступный возмездію со стороны царя, а потомъ, какъ человѣкъ, открыто стоявшій въ рядахъ враговъ Россіи и воевавшій съ нею. Ничего подобнаго мы, однако, не видимъ. Жизнь Курбскаго въ Литвѣ хорошо извѣстна, даже до мелкихъ подробностей семейнаго характера. Образъ его мыслей тоже вполнѣ ясенъ изъ его сочиненій. И при самомъ тщательномъ, самомъ придирчивомъ пересмотрѣ этой жизни и этихъ сочиненій нельзя найти не только какихъ-нибудь дѣятельныхъ шаговъ въ направленіи къ Ярославскому княженію, но даже мечтаній объ немъ. Именно по отсутствію какихъ бы то ни было данныхъ въ этомъ родѣ Соловьевъ и вынужденъ ссылаться на *титулъ* Ярославскаго князя, употреблявшійся Курбскимъ въ перепискѣ. Г. Бестужевъ-Рюминъ придумалъ другую улику: Курбскій «сохраняетъ съ духовникомъ сношенія; у него духовникъ въ Ярославлѣ». Изъ ссылки, которою сопровождается это уличеніе, видно, однако, только то, что въ «Описи царскаго архива» поминаются «Рѣчи старца отъ Спаса изъ Ярославля, попа Германа, отца духовнаго Курбскаго». Но какія были у Курбскаго сношенія съ духовникомъ, когда они происходили и даже были ли какія-нибудь сношенія,—этого не видно. Ну, а изъ этого факта, что у Курбскаго былъ духовникъ въ Ярославлѣ, мудрено заключить о претензіи на Ярославское княжество. Правда, въ письмахъ своихъ Курбскій неоднократно говоритъ о своемъ происхожденіи отъ Ярославскихъ князей, доблести которыхъ охотно

противопоставляетъ «кровопійственному», какъ онъ говоритъ, роду князей московскихъ. Но, не смотря на горечь, сквозящую въ этихъ родословныхъ и удѣльныхъ воспоминаніяхъ, Курбскій былъ до своего бѣгства вѣрнымъ слугой Іоанна, какъ потомъ такимъ же слугой Сигизмунда-Августа и Стефана Баторія. Г. Ключевскій справедливо говоритъ, что вся суть писемъ Курбскаго къ Грозному исчерпывается горькимъ вопросомъ: «за что ты бьешь насъ, вѣрныхъ слугъ своихъ?» Курбскій, вѣроятно, желалъ имѣть вліяніе на дѣла государства и во всякомъ случаѣ негодовалъ на то, что царь не слушаетъ совѣтниковъ, которыхъ онъ, Курбскій, считаетъ людьми мудрыми и благонамѣренными; но всетаки рѣчь идетъ о дѣлахъ единаго московскаго государства и о совѣтникахъ царя всея Руси, а не объ удѣльныхъ князьяхъ Ярославскихъ или какихъ другихъ. Курбскій прямо хвалится тѣмъ, что онъ былъ усерднымъ слугой Іоанна и проливалъ за него кровь.

Говорятъ, что Курбскій былъ противникомъ «новаго» въ томъ смыслѣ, что царь сталъ приближать къ себѣ дьяковъ и вообще худородныхъ людей, отстраняя потомковъ древнихъ славныхъ родовъ. И это неправда. Курбскій бранилъ новыхъ приближенныхъ царя, поминая при случаѣ и ихъ худородность, но не за эту собственно худородность, а за то, что они были, по его мнѣнію, людьми дурными и дурно вліявшими. Сильвестра и Адашева, тоже не блиставшихъ родословными, Курбскій не бранилъ, а напротивъ воздавалъ имъ, можетъ быть, даже преувеличенную хвалу. Не смотря на нѣкоторую аристократическую жилку, Курбскій аргументировалъ въ вопросѣ о царскихъ совѣтникахъ отнюдь не съ точки зрѣнія какой-нибудь «старины», а опирался на простые доводы отъ разума и отъ опыта: «Царь добрыми совѣтники яко градъ претвердыми столпы утвержденъ, и любяй совѣтъ, любитъ душу свою, а не любяй совѣтъ исчезнетъ, понеже яко безсловеснымъ надлежитъ чувствомъ по естеству управлятися, сице всѣмъ словеснымъ совѣтомъ и разсужденіемъ». Или: «Царю достоитъ быти аки главѣ и любити мудрыхъ совѣтниковъ, яко свои уды». Или еще: «Царь же аще и почтенъ царствомъ, а дарованій которыхъ отъ Бога не получилъ, долженъ искати добраго и полезнаго совѣта не токмо у синклитовъ, но и у *всенародныхъ человѣкъ*: понеже даръ духа дается не по богатству внѣшнему и по силѣ царства, но по правости душевной». Такими же общечеловѣческими соображеніями, одинаково правильными или одинаково неправильными во всѣ времена, Курбскій оправдываетъ и свое бѣгство въ Литву. А о старинномъ правѣ боярскаго отъѣзда, на которомъ онъ будто бы стоитъ, онъ даже не упоминаетъ. Это опять-таки фантазія историковъ.

Напоминаю, что Курбскій былъ въ такомъ положеніи, что ему нечего было бояться высказывать всѣ самыя смѣлыя свои пожеланія и претензіи. Ничто не мѣшало бы ему даже прямо сказать: отдай мнѣ мое ярославское княжество,—и вообще заявить открыто какую-нибудь программу политическаго переустройства.

Чрезвычайно любопытно замѣчаніе Курбскаго о совѣтѣ «всенародныхъ человѣкъ». Это какъ будто не вяжется съ понятіемъ о гордомъ потомкѣ удѣльныхъ князей, какимъ часто рисуютъ Курбскаго; не вяжется и съ обычнымъ представленіемъ о московскихъ боярахъ того времени, противниковъ демократическихъ замысловъ Грознаго. Вообще, хотя апологеты Грознаго постоянно говорятъ, что ихъ герой оклеветанъ исторіей, но въ сущности въ обществѣ наиболѣе распространено именно то мнѣніе, что Грозный, хотя и чрезмѣрно жестокими средствами, но всетаки ко благу Россіи боролся съ своекорыстной олигархіей бояръ. Мы уже слышали это мнѣніе изъ устъ представителей науки и теперь приведемъ его еще въ одной редакціи, а именно г. Бѣлова. Вотъ въ чемъ состоитъ заслуга Грознаго. «Іоаннъ Грозный далъ окончательный перевѣсъ тому элементу, представителями котораго были его отецъ и дѣдъ. Противоположный элементъ, то-есть боярскій, былъ приниженъ при его отцѣ и дѣдѣ, но еще настолько былъ силенъ, что въ торжествѣ своемъ отчаяваться не могъ, особенно когда фамиліи князей-бояръ стали сливаться съ потомствомъ старыхъ дружинниковъ. Этотъ важный государственный элементъ того времени, то есть боярство, могло еще найти союзниковъ или въ тѣхъ городахъ, въ которыхъ еще жили вѣчевыя преданія, или въ тѣхъ городахъ, изъ которыхъ вышли представители княжескихъ фамилій. Поэтому шелъ весьма важный вопросъ, касавшійся будущаго Россіи: который элементъ восторжествуетъ—великокняжескій или боярскій? Въ послѣднемъ случаѣ Россія превратилась бы во вторую Польшу, со всѣми послѣдствіями господства сотни фамилій надъ остальнымъ народонаселеніемъ. Грозный отвратилъ отъ Россіи опасность господства олигархіи». Что, вообще говоря, бояре, правившіе Россіей въ малолѣтство Ивана Грознаго, всячески притѣсняли народъ, насильничали, занимались интригами, даже до прямыхъ дракъ во дворцѣ,—это несомнѣнно. Но, во-первыхъ, это были дикіе личные инстинкты и своекорыстное личное поведеніе, а не политическая программа, до которой бояре не до-

росли; а во-вторыхъ, всѣ ли перекрещивающіяся и интригующія теченія въ боярствѣ были таковы? Въ первое время малолѣтства Іоанна мы видимъ борьбу, съ перемѣннымъ счастіемъ, главнымъ образомъ двухъ княжескихъ фамилій—Шуйскихъ и Бѣльскихъ. И вотъ что говоритъ, между прочимъ, тотъ же г. Бѣловъ: «Сторона Бѣльскихъ стала господствовать благоразумнѣе; тогда освободили Псковъ отъ Андрея Шуйскаго, предоставивъ гражданамъ право самосуда; уголовныя дѣла стали судить не намѣстники, а цѣловальники, избиравшіеся изъ гражданъ. Благоразумная и дальновидная система правленія Бѣльскихъ, стремленіе ихъ освободить города отъ произвола намѣстниковъ, задѣвали своекорыстные разсчеты и эгоистическія привычки потомковъ и старшихъ, и младшихъ дружинниковъ, потомковъ и мужей, и отроковъ съ гриднями, задѣвали интересы и бояръ великихъ, и дѣтей боярскихъ, ибо трудно было разстаться съ привычкой, усвоенною ихъ предками въ продолженіе столѣтій, жить на счетъ смердовъ. Противъ кн. Ивана Бѣльскаго и митрополита Іосафа составился страшный заговоръ. Лѣтописецъ, съ свойственною лѣтописцамъ наивностью, объясняетъ этотъ заговоръ тѣмъ, что государь Бѣльскаго и Іосафа держалъ въ приближеніи; но Іоаннъ въ это время былъ отрокъ, именемъ котораго пользовалась партія для своихъ цѣлей».

Итакъ, по собственному изложенію г. Бѣлова, среди боярскихъ партій, боровшихся за власть въ малолѣтство Грознаго, была одна, страшная и ненавистная боярамъ, какъ боярамъ, а не по личнымъ счетамъ. Значитъ, нельзя такъ просто, огуломъ говорить, что будущее Россіи зависѣло отъ того, какой элементъ одолѣетъ, великокняжескій или боярскій. Тѣмъ болѣе нельзя, что, по дальнѣйшему изложенію самого г. Бѣлова, «Іоаннъ Грозный впослѣдствіи возобновилъ мѣры въ пользу народа, за которыя погибли Бѣльскій и его немногочисленная партія». Далѣе читаемъ у г. Бѣлова, что «Сильвестръ имѣлъ связи съ той боярской партіей, во главѣ которой стоялъ Бѣльскій», и что «уваженіе къ памяти Бѣльскаго было главною причиною приближенія Сильвестра». А если припомнить, что благія дѣла царствованія Іоанна во время отъ московскаго пожара до смерти царицы Настасьи несомнѣнно совершались подъ сильнымъ вліяніемъ Сильвестра и Адашева, то надо, кажется, признать существованіе преемственнаго благого теченія, отнюдь не «боярскаго», то есть аристократическаго или олигархическаго характера, хотя въ немъ участвовали и бояре. Бояръ же Иванъ уличалъ въ потворствѣ Сильвестру и Адашеву. Принявъ все это во вниманіе, пожалуй, и нечего удивляться тому, что Курбскій, горячій почитатель худородныхъ Сильвестра и Адашева, памятуя свое высокое происхожденіе, въ то же время рекомендовалъ царю совѣтъ «всенародныхъ человѣкъ».

Отъ XVI вѣка сохранился любопытнѣйшій литературный памятникъ, озаглавленный «Бесѣда Валаамскихъ чудотворцевъ» (см. Павлова «Земское направленіе русской духовной письменности въ XVI в.» въ «Православномъ Собесѣдникѣ» 1863 г., № 1). Неизвѣстный авторъ влагаетъ разныя свои мысли въ уста преподобныхъ Сергія и Германа. Въ этомъ произведеніи, несомнѣнно боярскаго происхожденія, читаемъ между прочимъ, что «царемъ и княземъ достоитъ изъ міру всякіе доходы съ пощадою сбирати и всякія дѣла милосердно дѣлати». Но самое для насъ любопытное мѣсто «Бесѣды» слѣдующее. Авторъ выражаетъ желаніе, чтобы духовныя власти «благословили царей и великихъ князей на единомысленный вселенскій совѣтъ, и съ радостію царю воздвигнути и отъ всѣхъ градовъ своихъ и отъ уѣздовъ градовъ тѣхъ безъ величества и безъ высокоумныя гордости со христоподобною смиренною мудростью безпрестанно всегда держати погодно при себѣ ото всякихъ мѣръ всякихъ людей и на всякъ день ихъ добрѣ распросити царю самому».

Разумѣя именно это мѣсто, г. Ключевскій (въ «Боярской Думѣ») говоритъ: «Если бы доказано было, что публицистъ боярскаго направленія, съ такимъ одушевленіемъ и талантомъ составившій валаамскую «Бесѣду», писалъ до 1550 г., когда созванъ былъ первый земскій соборъ, высокій историческій интересъ получили бы его слова о земскомъ совѣтѣ, и можно было бы думать, что самая мысль объ этомъ учрежденіи вышла изъ круга людей, къ которому по своимъ взглядамъ принадлежали князь Василій Патрикѣевъ, въ иночествѣ Вассіанъ, и потомъ князь А. Курбскій. Во всякомъ случаѣ, люди этого круга не желали, чтобы боярству принадлежала монополія власти, и ихъ планъ земскаго совѣта шелъ даже дальше дѣйствительности: они хотѣли, чтобы этотъ совѣтъ былъ постояннымъ собраніемъ, ежегодно обновляемымъ новыми выборами, а не созывался только въ особыхъ экстренныхъ случаяхъ».

Мнѣ кажется, что даже при отсутствіи доказательствъ, что «Бесѣда Валаамскихъ чудотворцевъ» написана до 1550 г., приведенное мѣсто всетаки представляетъ высокій историческій интересъ. Интересъ этотъ тѣмъ значительнѣе, что Іоаннъ Грозный, созвавшій будто бы первый соборъ по соб-

ственному почину, нигдѣ въ своихъ «широковѣщательныхъ и многошумящихъ», по выраженію Курбскаго, посланіяхъ не говоритъ ни единаго слова о совѣтѣ «всенародныхъ человѣкъ» или собраніи «ото всякихъ мѣръ всякихъ людей». Это вноситъ какую-то значительную поправку въ теорію борьбы великокняжеско-демократическаго и боярско-аристократическаго теченій. И во всякомъ случаѣ по малой мѣрѣ вполнѣ гадательны тѣ соображенія историковъ о причинахъ и цѣляхъ созыва перваго собора, которыя отправляются отъ мысли о самостоятельномъ починѣ Ивана въ этомъ дѣлѣ. Свѣдѣнія наши о первомъ земскомъ соборѣ чрезвычайно скудны. Мы знаемъ только, что царь предварительно совѣтовался съ митрополитомъ Макаріемъ; знаемъ, что въ Москву были созваны со всего государства люди «всякаго чина»; знаемъ вступительную рѣчь Іоанна на Лобномъ мѣстѣ и обращеніе его къ Адашеву, какъ бы приглашающее послѣдняго къ сотрудничеству по управленію государствомъ. Дѣянія собора намъ совершенно неизвѣстны, и можно только догадываться, что изъ совѣщаній, на этомъ соборѣ происходившихъ, возникли всѣ послѣдующія государственныя реформы. Вопросъ о происхожденіи собора, вопросъ о томъ, выросъ-ли онъ изъ вѣчевыхъ преданій, какъ думаютъ нѣкоторые, или изъ издревле существовавшихъ на Руси церковныхъ соборовъ, или наконецъ зародился самопроизвольно,—есть вопросъ спорный. Но такъ или иначе, а, какъ видно изъ предыдущаго, мысль о соборѣ бродила въ средѣ нѣкоторой части боярства и гдѣ-то по близости отъ царскаго трона, изъ чего не слѣдуетъ однако, чтобы это была спеціально боярская мысль. Свѣдѣнія наши о людяхъ, окружавшихъ Іоанна, и объ ихъ отношеніяхъ къ нему опять-таки крайне скудны. Мы вѣдь даже о роли Адашева мало что знаемъ, кромѣ того, что она была вообще значительна, а между тѣмъ въ своемъ знаменитомъ обращеніи къ Адашеву, Грозный поминаетъ еще какихъ-то другихъ людей, которыхъ онъ приблизилъ къ себѣ вмѣстѣ съ Адашевымъ; но объ этихъ другихъ мы уже ровно ничего не знаемъ, кромѣ общаго указанія Курбскаго на существованіе «избранной рады». По всѣмъ вѣроятностямъ около Іоанна была цѣлая группа благомыслящихъ и опытныхъ людей, вліявшихъ на него или даже прямо дѣйствовавшихъ его именемъ. Очень вѣроятно, что люди эти, близко зная характеръ Іоанна, или по инымъ какимъ нибудь соображеніямъ, сами держались въ тѣни, выдвигая впередъ духовенство—Макарія, Сильвестра, Максима Грека, а тѣ уже оказывали непосредственное давленіе на Іоанна разными крайними средствами: Сильвестръ и Максимъ Грекъ пугали его робкое и вмѣстѣ съ тѣмъ пылкое воображеніе, какъ онъ самъ потомъ выражался, «дѣтскими страшилами», то есть разными знаменіями, а Макарій, повидимому, стараніемъ насадить въ немъ то высокое понятіе о власти, которое потомъ достигло столь крайней напыщенности.

Надо сказать, что тогдашнее духовенство, при всей грубости и невѣжественности его вообще, выставило нѣсколько образцовъ высокаго характера. Что касается собственно Сильвестра, то защитники самостоятельности Іоанна совершенно напрасно тратятъ время, бумагу, чернила на доказательство благонамѣренной узкости и мелочности автора «Домостроя», которыя, дескать, не позволяютъ придавать очень большое значеніе его, впрочемъ, несомнѣнному вліянію. Во-первыхъ, дѣло было далеко не въ одномъ Сильвестрѣ, который былъ, можетъ быть, только казовымъ концомъ, точкою приложенія коллективной силы, давившей на Іоанна примѣрно до смерти царицы Настасьи. Во-вторыхъ, достоинства и недостатки Сильвестра совершенно меркнутъ передъ его умѣніемъ пользоваться своимъ духовнымъ авторитетомъ и управлять душой царя при помощи «дѣтскихъ страшилъ». Затѣмъ, если, напримѣръ, г. Бестужевъ-Рюминъ называетъ Максима Грека «другомъ бояръ»; если онъ-же подчеркиваетъ то обстоятельство, что митрополитъ Филиппъ «принадлежалъ къ роду боярскому, да еще заподозрѣнному въ смутѣ временъ малолѣтства Грознаго царя»,—то можно бы было одно сказать: хвала той партіи, къ числу друзей которой принадлежатъ люди вродѣ Максима, и позоръ тѣмъ, кто нуждается въ убійствѣ людей вродѣ митрополита Филиппа. Но что собственно значитъ слово: Максимъ Грекъ—«другъ бояръ»? Въ числѣ сочиненій Максима есть «Слово, пространне излагающее, съ жалостію, нестроенія и безчинія царей и властей послѣдняго житія». Слово это написано во время малолѣтства Іоанна Грознаго, то есть боярскаго правленія. Въ немъ Россія изображена въ видѣ женщины, одѣтой въ черныя одежды, плачущей и окруженной множествомъ звѣрей—львовъ, медвѣдей и волковъ. «Слово» направлено прямо противъ бояръ, и, значитъ, не всегда и не со всѣми боярами дружилъ Максимъ. По одному этому историкъ, употребляющій выраженіе «другъ бояръ», ничего этими словами собственно не говоритъ, а только бросаетъ лишній, ни на чемъ не основанный намекъ въ пользу теоріи борьбы великокняжеско-демократическаго и боярско-аристократическаго теченій.

Можно, кажется, съ рѣшительностью утверждать, что въ царствованіе Грознаго не существовало такого политическаго направленія, которое заслуживало бы названія боярскаго. Во времена малолѣтства Грознаго бояре насильничали, грабили, мѣстничали, не радѣли о пользѣ общественной. Все это требовало обузданія, и задачи этой, конечно, хватило бы на вѣкъ Іоанна. Какъ онъ съ ней справлялся, это другой вопросъ. Но, во всякомъ случаѣ, ему оказалось либо слишкомъ много, либо слишкомъ мало этого живого, реальнаго дѣла, которое онъ въ рѣчи на Лобномъ мѣстѣ объявилъ своимъ царскимъ дѣломъ, но которое въ дѣйствительности едва ли когда-нибудь принималъ уже очень близко къ сердцу. Не говоря о томъ, что насиліямъ и грабежу бояръ онъ противопоставилъ насилія и грабежи опричниковъ, онъ навязалъ боярамъ, какъ боярамъ, политическую программу, которой у нихъ не было. Бояре-грабители и насильники не обнаружили не только государственнаго смысла, благого или злого, но не поднимались даже до пониманія узко-сословныхъ своихъ интересовъ. Они просто насильничали и грабили, гдѣ было можно, и рвали другъ у друга куски и подставляли другъ другу ноги; объ упроченіи же политическаго преобладанія боярства, какъ сословія, они не думали даже въ такое время, какъ малолѣтство Іоанна, когда задача эта была вполнѣ легко достижима. Не обзавелись они политической программой и впослѣдствіи, когда Іоаннъ расправилъ крылья. Приведенныя въ прошлой главѣ пререканія бояръ у одра болѣзни Грознаго ясно свидѣтельствуютъ, что оппозиціи московскому единодержавію и самодержавію среди боярства не было. Позднѣйшія попытки бѣгства изъ Россіи или измѣны сами по себѣ опять-таки не имѣли характера политической оппозиціи, — это просто люди свою шкуру спасали, пусть даже такіе, которые готовы были сами содрать шкуру съ ближняго и дальняго своего. Я говорю о боярствѣ вообще. Но, какъ мы видѣли, среди боярства существовало нѣкоторое особое теченіе, выразившееся уже въ малолѣтство Грознаго дѣятельностью партіи Бѣльскихъ, а затѣмъ въ писаніяхъ Курбскаго, въ случайно сохранившейся валаамской «Бесѣдѣ» и можетъ быть еще въ какихъ-нибудь произведеніяхъ, до насъ не дошедшихъ. Нельзя, однако, назвать это теченіе спеціально боярскимъ, во-первыхъ, потому, что оно принимало къ сердцу интересы «всенародныхъ человѣкъ», во-вторыхъ, потому, что оно охотно принимало въ себя худородные элементы вродѣ Сильвестра, Адашева и другихъ неизвѣстныхъ намъ, или даже само растворялось въ этихъ элементахъ. Это общеніе съ худородными безъ сомнѣнія должно было облегчить роды мысли о земскомъ соборѣ. Неопытное политическое мышленіе того времени едва ли ясно предвидѣло всѣ послѣдствія «погоднаго собранія ото всякихъ мѣръ всякихъ людей». Но по всѣмъ видимостямъ здѣсь не было и помина о какомъ-нибудь конфликтѣ съ царскою властью. Предполагалось не расширеніе политическихъ прерогативъ, издревле существовавшей боярской Думы, а совѣтъ, и именно только совѣтъ «всенародныхъ человѣкъ». Опытъ перваго собора былъ удаченъ, потому что, безъ сомнѣнія, именно на немъ зародились послѣдующія реформы. Но первымъ же опытомъ дѣло и кончилось. Второй соборъ, созванный при совершенно иныхъ обстоятельствахъ, черезъ шестнадцать лѣтъ послѣ перваго, имѣлъ чисто спеціальную и даже почти техническую задачу,—обсужденіе условій мира, предложенныхъ королемъ литовскимъ.

Если земскій соборъ не сталъ постояннымъ учрежденіемъ, какъ мечтали нѣкоторые, если онъ даже, собственно говоря, не повторялся, то «избранная рада» всетаки существовала еще нѣсколько лѣтъ, и не зачѣмъ говорить о какой-то перемѣнѣ въ характерѣ Іоанна во вторую половину его царствованія, когда ясно, что дѣло въ перемѣнѣ совѣтниковъ. Безъ совѣтниковъ этотъ человѣкъ никогда не обходился. Если Бѣлинскій говоритъ о «желѣзной волѣ» Іоанна или Соловьевъ—о высокой, не по лѣтамъ степени развитія его воли и т. п., то они отдаютъ невольную дань очень распространенному заблужденію, которое смѣшиваетъ капризную волю съ сильной волей. К. Аксаковъ совершенно правъ, утверждая, что «необузданная воля и отсутствіе воли—одно и то же». Правъ въ значительной степени и Полевой, строющій все объясненіе характера Іоанна на слабости его воли, вслѣдствіе которой онъ легко подчинялся самымъ разнообразнымъ вліяніямъ, легко «повиновался», но грозно возмущался противъ всякаго нравственнаго давленія, когда какой нибудь случай открывалъ ему глаза и онъ доходилъ до сознанія своей подчиненной роли. Наставленіе Вассіана Топоркова не держать совѣтниковъ умнѣе или вообще сильнѣе себя непремѣнно должно было придтись по душѣ Грозному, потому что оно и безъ того блѣдными штрихами безсознательнаго чувства было начертано въ самой душѣ Іоанна. Всякій могъ хозяйничать въ этой душѣ, но подъ условіемъ, чтобы Іоаннъ не замѣчалъ этого, чтобы, слѣдовательно, хозяйничающій былъ достаточно уменъ или

просто ловокъ, хитеръ, пронырливъ. Достойно вниманія, что эту слабость воли такъ или иначе вынуждены признать даже тѣ изъ историковъ, которые наиболѣе настаиваютъ на самостоятельности Грознаго. Такъ Самаринъ совершенно голословно отрицаетъ «постороннія вліянія, будто бы управлявшія Іоанномъ», но тутъ же говоритъ о «какомъ-то безсиліи и непостоянствѣ его воли». Соловьевъ, пользующійся каждымъ случаемъ подчеркнуть самостоятельное и сознательное служеніе Іоанна идеѣ государства, но уже по обилію фактовъ, съ которыми ему приходится имѣть дѣло, не могущій вовсе отрицать постороннія вліянія, говоритъ между прочимъ, о «женственности» характера Іоанна. Выраженіе это не понравилось Погодину,—дескать, вся жизнь Грознаго свидѣтельствуетъ, что женственности въ его характерѣ никакой не было. Конечно, если разумѣть подъ женственностью нѣжность сердца и мягкость пріемовъ, такъ ее не найдешь въ Грозномъ. Но не это разумѣлъ Соловьевъ. Слабость воли Грознаго маскировалась тѣми взрывами бурнаго и жестокаго негодованія, которымъ онъ предавался, когда замѣчалъ, что на него хотятъ имѣть вліяніе. Ему можно было до поры до времени и съ соблюденіемъ извѣстныхъ предосторожностей «шептати во ухо» все, что угодно: можно было нашептать и земскій соборъ, и опричнину, и составленіе Судебника, и полную безсудность всея Руси. Но чѣмъ слабѣе былъ Іоаннъ внутренно, тѣмъ важнѣе былъ для него внѣшній ореолъ власти. Безъ сомнѣнія, очень угодилъ ему и надолго обезпечилъ себѣ вліяніе на него тотъ, кто вывелъ его родословную отъ римскихъ цезарей (можетъ быть, это былъ Макарій). А Филиппъ, желавшій сначала только «печаловаться» предъ царемъ за невинныхъ, погибъ, и не спасли его ни высокій санъ митрополита, ни святость, жизни, ни высокое благородство характера. «Печаловаться»—это уже казалось Іоанну покушеніемъ на его власть. Онъ зналъ одно: жаловать своихъ холопей мы вольны, и казнить тоже вольны. И когда намъ говорятъ, что Іоаннъ спасъ Россію отъ какой-то страшной будущности, то одной невинной крови Филиппа достаточно для того, чтобы забрызгать эту страницу русской исторіи до невозможности прочитать на ней что нибудь свѣтлое и радостное. Но не одного Филиппа раздавилъ Грозный.

Вы помните аргументацію Кавелина: «Все то, что защищали современники Іоанна, уничтожилось, исчезло; все то, что защищалъ Іоаннъ IV, развилось и осуществлено». Изъ этого Кавелинъ заключаетъ о живучести мысли и дѣла Іоанна, а живучесть свидѣтельствуетъ о правотѣ дѣла... Какъ будто живуча только правда! И какъ будто въ слѣдующей русской исторіи не было ни кроваваго сумбура смутнаго времени, ни всего прочаго! Допустимъ, что Иванъ IV истребилъ плевелы, хотя это, по малой мѣрѣ, сомнительно, но достовѣрно, что онъ истребилъ также и пшеницу.

VIII.

Трудное время переживала Русь въ XV и XVI столѣтіяхъ. Необыкновенно сложныя и запутанныя остоятельства историческаго момента вызывали вообще броженіе, равное которому, по глубинѣ и обширности, рѣдко выпадало на долю человѣчоскихъ обществъ.

Важнѣйшимъ политическимъ фактомъ XV—XVI столѣтій было окончательное объединеніе Руси подъ крыломъ Москвы. Никто, конечно, не представляетъ себѣ этого процесса совершенно мирнымъ, безъ сучка и задоринки. Но едва ли все-таки большинству вполнѣ ясно рисуется трудная, болѣзненная сторона процесса объединенія, сложенія государства. Не только сѣверныя республики и не только удѣльные князья противились преобладанію Москвы, этого «многокрылаго орла, у котораго крылья исполнены львовыхъ когтей»; не для однихъ псковичей «правда взлетѣла на небо, а кривда начала ходить по землѣ» въ моментъ торжества Москвы. Но процессъ настолько уже назрѣлъ, что все шло на пользу,—и покорность и сопротивленіе, и доблесть и низость, и событія не имѣвшія на первый взглядъ никакого отношенія къ спеціально московскимъ политическимъ дѣламъ. Къ числу такихъ событій относятся въ XV вѣкѣ Флорентійскій соборъ и завоеваніе турками Константинополя. Неудача флорентійской уніи и паденіе Царьграда наводили русскую религіозную и патріотическую мысль на то соображеніе, что только на Руси сохранилась истинная вѣра, истинное православіе во всей полнотѣ, чистотѣ и независимости. Естественнымъ охранителемъ этой единоспасающей вѣры является глава возникающаго русскаго государства. Въ этомъ направленіи ореола московскихъ владыкъ эксплоатировало общественное настроеніе духовенство, издревле благоволившее къ Москвѣ. Въ XVI вѣкѣ ореолъ этотъ получилъ новый блескъ отъ принятія ими титула царскаго и отъ побѣдъ надъ Казанью и Астраханью, каковыя побѣды должны были произвести сильнѣйшее впечатлѣніе на умы современниковъ: къ подножію Москвы падали остатки грозной, чудовищной силы, долго державшей всю Русь подъ своей басурманской пятой. Восторжен-

ное настроеніе выразилось характернымъ мистическимъ пророчествомъ: «два Рима пали, третій стоитъ, а четвертому не быть». Такимъ образомъ, Москвѣ пророчилась та всемірно-историческая роль, которую играли Римъ и Византія.

Въ то же время сложилось и другое пророчество: «Писано въ апокалипсисѣ: пять царей минуло, а шестой есть, но еще не пришелъ: шестымъ же царемъ именуютъ царя Руси; онъ-то и есть шестой, потомъ еще седьмой, а восьмой антихристъ». Поставленныя рядомъ, эти два пророчества хорошо характеризуютъ тревожное состояніе тогдашнихъ русскихъ людей. Съ одной стороны, первые проблески объединеннаго національнаго сознанія горделиво тѣшились всякимъ возвышеніемъ чести представителя и главы молодого государства. Титулъ царя и самодержца былъ выраженіемъ единства, величія, независимости націи, какъ бы чуднымъ зеркаломъ, въ которое она могла на себя любоваться, ибо оно не отражало ея экономической, гражданской и культурной убогости. Съ другой стороны, именно этотъ самый ростъ центральной власти, невиданный, небывалый, пугалъ воображеніе. Всякіе виды видали русскіе люди—и междоусобія князей, и татарское иго, и всяческую домашнюю тѣсноту, но того, что зачиналось и крѣпло въ Москвѣ, они еще не видали. Такъ, по глубоко-вѣрному замѣчанію К. Аксакова, возникло новое царство изъ-подъ развалинъ двухъ разрушенныхъ царствъ—татарскаго и византійскаго. Совокупленные воедино, аттрибуты этихъ двухъ царствъ казались чѣмъ-то нечеловѣческимъ, сверхестественнымъ, однимъ изъ яркихъ знаменій «послѣднихъ дней». Неопытной мысли представлялось, что только развѣ передъ концомъ міра могла сложиться такая страшная власть.

Надо замѣтить, что вѣрованіе въ приближающійся конецъ міра было вообще очень распространено въ XV—XVI столѣтіяхъ, и не только въ невѣжественныхъ массахъ: ему не чужды были и церковные сановники, и образованнѣйшіе люди своего времени, какъ Максимъ Грекъ и Курбскій. Князь-инокъ Вассіанъ Патрикѣевъ отсовѣтывалъ отцу Грознаго, великому князю Василію, разводиться съ женой на томъ основаніи, что не стоитъ жениться — близокъ послѣдній день земли. Въ массахъ же чуть не каждая стихійная бѣда и разныя крутыя мѣры правительства вызывали трепетное ожиданіе конца міра. Какъ на грѣхъ, XV — XVI вѣка были необыкновенно богаты физическими бѣдами, каковы повальныя болѣзни, истреблявшія народъ десятками тысячъ, засухи, неурожаи. Далѣе, не смотря на сверженіе татарскаго ига и на позднѣйшее завоеваніе Казани и Астрахани, Русь далеко не разъ знакомилась съ татарами. Крымцы не разъ доходили до самой Москвы, все раззоряя и выжигая на своемъ губительномъ пути. Существовалъ даже спеціальный налогъ на выкупъ плѣнныхъ, тысячами уводившихся въ Крымъ. На западѣ происходили постоянныя столкновенія съ Литвой и Ливоніей. Русскій человѣкъ не зналъ, можно сказать, дня спокойнаго, потому что долженъ былъ постоянно быть настороже. Своимъ чередомъ шли обычныя житейскія неправды, развратъ, притѣсненія всякаго слабаго всякимъ сильнымъ. Экономическое положеніе народа было ужасно. Военная организація была построена на раздачѣ земель въ помѣстья съ обязанностью выходить въ поле съ соотвѣтственнымъ числомъ ратниковъ, и съ этою цѣлью Иванъ III принимаетъ первыя мѣры противъ свободнаго перехода крестьянъ. Мужикъ, отдувавшійся за весь государственный блескъ и всѣ государственныя бѣды, шелъ въ холопы, то есть продавалъ свою свободу при Иванѣ III за рубль, при Грозномъ—за три рубля. Для многихъ пребываніе въ мірѣ, переполненномъ ежечасными тревогами и бѣдствіями, было въ своемъ родѣ не менѣе страшно, чѣмъ конецъ міра. Кто былъ поудалѣе, да погрубѣе, тотъ шелъ на большую дорогу, кто былъ посмирнѣе, да потоньше—въ монастырь.

Волненіе умовъ, выражавшееся преимущественно въ религіозной формѣ, было необыкновенно. Не говоря уже о томъ, что въ огромной массѣ населенія еще не вполнѣ завершилась борьба христіанства съ язычествомъ, о чемъ свидѣтельствуютъ обличенія Стоглава и проповѣдниковъ, мы видимъ всевозможныя сомнѣнія и колебанія въ средѣ людей, наиболѣе удалившихся отъ язычества. Іосифъ Волоколамскій писалъ: «Иже преже ниже слухомъ слышася въ нашей землѣ ересь, отнели же возсія православія солнце, нынѣ же и въ домѣхъ, и на путѣхъ, и на торжищахъ, иноціи и мірстіи и вси сонмятся, вси о вѣрѣ пытаютъ». Кромѣ этого болѣе или менѣе общаго броженія, одно за другимъ слѣдуютъ опредѣленныя, законченныя еретическія ученія, проникая иногда даже до самыхъ вершинъ общества—до царскаго дворца и митрополичьяго престола. Необыкновенно трогательная форма, въ которой жаждущіе правды обращаются къ людямъ, обѣщающимъ имъ разрѣшеніе ихъ сомнѣній, свидѣтельствуетъ о глубокой взволнованности душъ. Такъ, еретикъ Башкинъ проситъ своего духовника: «Бога ради пользуй мя душевно». Такъ, смущаемые ученіемъ Ѳеодосія Косого молятъ Зиновія: «Бога ради не отрини отъ себя, не скрый

пользы, рцы како спастися»; «Бога ради скажи намъ истину, новое ученіе, какъ ты мниши, есть-ли божественно?» Съ такою же мольбою о духовной помощи приступали и къ пріѣзжему ученому человѣку, Максиму Греку.

Конечно, огромное большинство погрязало въ полуязыческой обрядности или жило изо-дня въ день, не поднимая глазъ къ небу. Но всѣ, сколько-нибудь затронутые духовными интересами, такъ или иначе, въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ, сталкивались съ взбаломученнымъ моремъ сомнѣній. Одни, пастыри и учители церкви, старались по мѣрѣ силъ утихомирить это море, другіе смѣло бросались въ его волны. Но и между представителями церкви отнюдь не было единомыслія. Такъ, задолго до Стоглава возгорѣлась знаменитая борьба изъ-за вотчинныхъ правъ монастырей, въ которой ломали полемическія копья такіе верхи тогдашняго православія, какъ Іосифъ Волоцкій, Нилъ Сорскій, Вассіанъ Патрикѣевъ. Столь же горячая полемика вызывалась вопросомъ объ отношеніяхъ къ еретикамъ. Объемъ царской власти также не былъ вполнѣ установленъ съ религіозной точки зрѣнія. Надо еще замѣтить, что въ XV—XVI столѣтіи вопросы вѣры представляли единственное убѣжище для пытливыхъ умовъ, вслѣдствіе чего, всѣ сомнѣнія, даже чисто житейскаго, практическаго характера по необходимости склонны были облекаться въ формы сомнѣній религіозныхъ. Мы не можемъ, конечно, знать, чѣмъ именно былъ натолкнутъ Башкинъ на свой религіозный скептицизмъ, но, во всякомъ случаѣ, его волновали общественно-нравственные вопросы. Въ первой же своей исповѣди попу Симеону онъ говоритъ: «сказано—возлюби ближняго своего, какъ самого себя, а мы Христовыхъ рабовъ у себя держимъ; Христосъ всѣхъ братіей нарицаетъ, а у насъ на иныхъ и кабалы». Ученіе бѣглаго раба Ѳеодосія Косого отрицало не только догматъ Троицы, безсмертіе души, воплощеніе Христа, поклоненіе иконамъ и проч., но и повиновеніе свѣтскимъ властямъ, налоги, самую надобность во властяхъ. Такимъ образомъ, ересь Косого, имѣвшая, повидимому, не мало сторонниковъ, колебала все православное ученіе и весь современный политическій строй. Читатель не заподозритъ меня въ смѣшной претензіи исчерпать, хотя бы бѣгло, всѣ стороны русскаго быта XV—XVI столѣтій. Приведеннаго съ насъ достаточно, чтобы вполнѣ признать справедливость словъ Соловьева: «вѣкъ задавалъ важные вопросы». Но едва ли можно согласиться со второй половиной предложенія: «а во главѣ государства стоялъ человѣкъ, по характеру ему способный немедленно приступить къ ихъ (важныхъ вопросовъ) рѣшенію».

Существуетъ историко-политическая схема, по которой центральная монархическая власть является естественнымъ союзникомъ низшихъ классовъ, такъ что совокупнымъ давленіемъ вершины и основанія общественнаго строя сдерживается чрезмѣрное развитіе промежуточныхъ слоевъ. Этимъ промежуточнымъ слоемъ является въ однихъ случаяхъ—аристократія, въ другихъ—буржуазія, во всякомъ случаѣ общественный элементъ, обладающій корпоративнымъ сознаніемъ, экономически или политически-сильный, свободолюбивый, но вмѣстѣ съ тѣмъ своекорыстный, то есть эксплоатирующій принципъ свободы въ свою исключительную пользу. Отсюда двойственность: аристократія, стремясь ограничить монархическую власть во имя свободы, въ то же самое время изо всѣхъ силъ держится за рабство или крѣпостное право; буржуазія, требуя, во имя той же свободы, невмѣшательства государства въ экономическія отношенія, въ то же время держитъ рабочаго въ замаскированномъ рабствѣ; монархическая же власть стремится, въ виду собственныхъ интересовъ, къ демократическому равенству всѣхъ подданныхъ.

Схема эта безъ сомнѣнія имѣетъ за себя фактическое оправданіе въ нѣкоторые моменты исторіи. За нее, повидимому, и самая логика вещей, такъ какъ всякому среднему политическому термину естественно бороться съ обѣими прилегающими сторонами, а имъ въ свою очередь естественно вступать, по крайней мѣрѣ, время отъ времени, въ коалицію. На дѣлѣ, однако, далеко не всегда такъ бываетъ, и въ каждомъ частномъ случаѣ надлежитъ очень и очень вглядываться во взаимное отношеніе политическихъ элементовъ, прежде, чѣмъ располагать ихъ въ означенную схему. Мнѣ кажется, что передъ большинствомъ историковъ, славословящихъ Грознаго, носится или носилась эта красивая, ясная, простая схема и носилась вполнѣ отвлеченно, въ видѣ именно красиваго логическаго построенія, свободнаго отъ всякаго живого политическаго смысла. Образчикомъ можетъ служить Кавелинъ. Увлекшись отвлеченнымъ теоретическимъ построеніемъ, очень остроумнымъ, въ общихъ чертахъ вѣрнымъ и очень близкимъ къ вышеприведенной схемѣ, Кавелинъ утверждалъ, напр., что Иванъ IV поставилъ личную заслугу на мѣсто начала породы. Въ дѣйствительности, какъ мы видѣли, Иванъ былъ, напротивъ, большимъ почитателемъ начала породы, а если онъ окружалъ себя, рядомъ съ родовитыми князьями Вяземскимъ, Гвоздевымъ и т. п., худородными людьми, какъ Басмановы,

Грязные, то вѣдь смѣшно же говорить о личныхъ заслугахъ этихъ извергов, шпіоновъ и шутовъ. Если Иванъ и подавилъ людей породы, то на мѣсто ихъ водворилъ, во всякомъ случаѣ, не личную заслугу, а развѣ безличность. И живой политическій смыслъ несомнѣнно подсказалъ бы это историку. А кромѣ того, огромная личность Грознаго, огромная отнюдь не внутренними достоинствами, а въ качествѣ центра событій великихъ и позорныхъ, давитъ воображеніе историковъ и лишаетъ ихъ мысль возможности свободно и логически двигаться. Я думаю, что, въ концѣ концовъ, къ этимъ двумъ источникамъ сводятся всѣ, поистинѣ странныя ошибки апологетовъ Грознаго, но распространяться объ этомъ не буду.

Не буду распространяться и о вышеприведенной схемѣ по существу. Замѣчу только, что ко времени Грознаго на Руси не существовало аристократіи въ европейскомъ смыслѣ слова. Существовало боярство, и солоно отъ него приходилось народу, но бояре дѣйствовали каждый самъ за себя, будучи совершенно лишены корпоративнаго сознанія. Ни о какихъ свободахъ бояре и не помышляли, тѣснились около трона въ качествѣ холоповъ и представляя собою полное ничтожество въ государственномъ смыслѣ. Бояре же, какъ Курбскій, способные думать о чемъ нибудь, кромѣ своего кармана и завтрашняго дня, не противопоставляли себя «всенароднымъ человѣкамъ» и охотно сливались съ благомыслящими худородными элементами. Бояре были, но боярскаго принципа при Грозномъ не было. Онъ явился, когда неслыханныя несчастія русской земли, въ значительной степени обусловленныя дѣятельностью Грознаго, заставили бояръ сплотиться, когда явились цари изъ среды бояръ и когда бояре стали брать съ царей обязательства не править безъ ихъ, боярскаго, участія. Этому торжеству боярскаго принципа Грозный не помѣшалъ, онъ подготовилъ его.

Насъ увѣряютъ, что Грозный сознательно шелъ къ извѣстнымъ государственнымъ цѣлямъ и если не достигъ ихъ, то не по своей винѣ, а по винѣ Россіи, не готовой воспринять его великія идеи: одинъ Грозный высится надъ тупой и косной средой тогдашней Руси. Справедливо, однако, замѣчаетъ даже такой почитатель государственнаго ума Грознаго, какъ Соловьевъ, что одного митрополита Филиппа было бы достаточно, чтобы снять эту клевету съ Россіи. Среда, выставившая такого человѣка, не заслуживаетъ огульнаго упрека въ тупости и косности. Но не въ одномъ Филиппѣ дѣло.

Мы видѣли, какъ глубоко волновалась религіозная мысль тогдашней Руси, какъ жадно, страстно и смѣло искала эта мысль истину. Какъ же относился къ этимъ вопросамъ Грозный, блиставшій кстати и не кстати своею богословскою начитанностью? Никакъ не относился, они для него не существовали. Степень его религіознаго пониманія хорошо характеризуется его знаменитою бесѣдою съ Поссевиномъ. Понимая, что ему не совладать съ ученымъ іезуитомъ, и вовсе не интересуясь сущностью дѣла, Иванъ ограничилъ свою полемику замѣчаніями въ родѣ того, что Поссевинъ, будучи «римской вѣры попомъ», брѣетъ бороду и что папа носитъ крестъ «ниже пояса—на сапогѣ», и что это свидѣтельствуетъ противъ латинской вѣры. Въ спорѣ съ протестантомъ Рогитою онъ также уклонялся отъ существа дѣла подъ тѣмъ предлогомъ, что не подобаетъ «метать бисеръ передъ свиньями», и лишь щеголялъ остротами, что «Лютеръ—лютъ». Какъ это безконечно далеко отъ сомнѣній и волненій, слегка намѣченныхъ въ началѣ этой главы! Человѣкъ голой обрядности, аккуратно справлявшій церковныя службы и набивавшій себѣ подтеки на лбу на молитвѣ, Иванъ никогда не поднимался до живого религіознаго чувства и истинно религіозныхъ вѣрованій и сомнѣній, которыя, однако, были хорошо знакомы многимъ изъ его современниковъ.

Въ томъ же разговорѣ съ Поссевиномъ Грозный блеснулъ и своею ученостью, а именно, процитировавъ пророчество: «отъ Ееіопіи предваритися рука ея къ Богу», объяснилъ, вѣроятно, къ немалому увеселенію іезуита, что Ееіопія все равно, что Византія. Въ писаніяхъ своихъ Грозный постоянно съ такою же смѣлостью шагаетъ черезъ представляющіяся ему препятствія. Нельзя не признать въ этихъ писаніяхъ извѣстной талантливости, но это талантъ чисто внѣшній, талантъ виртуоза-стилиста, прикрывающій крайнюю скудость мысли. Грозный озабоченъ главнымъ образомъ не тѣмъ, чтобы дѣйствительно убѣдить своего противника, а чисто словесной, риторской побѣдой. Онъ придирается къ словамъ, отвѣчаетъ на мысль словами, имѣющими къ ней чисто внѣшнее, грамматическое отношеніе, играетъ словами, словами срываетъ зло сердца своего. Это производитъ иногда просто эстетически непріятное впечатлѣніе, въ особенности, когда царь ругается «собаками» и т. п., а иногда создаетъ даже комическіе эффекты, надъ которыми нельзя не улыбнуться, хотя отъ нихъ сплошь и рядомъ отдаетъ человѣческою кровью. Такъ, въ первомъ же письмѣ своемъ къ Курбскому онъ задаетъ бѣглецу удивительный вопросъ: если ты праведенъ и добродѣтеленъ, такъ отчего же ты не хотѣлъ умереть отъ моей руки смертью мученика,

«еже нѣсть смерть, но пріобрѣтеніе»? «Почто не изволилъ еси отъ мене, строптиваго владыки, страдати и вѣнецъ жизни наслѣдити?» И приводитъ Курбскому въ примѣръ поведеніе вѣрнаго слуги его Василія Шибанова, котораго онъ же, Иванъ, и замучилъ! Въ томъ же письмѣ, отвѣчая на разные упреки Курбскаго, Иванъ пишетъ: ты грозишь мнѣ судомъ Божіимъ на томъ свѣтѣ; это—манихейская ересь: Господь владычествуетъ на небеси и на землѣ. Ты говоришь, что убитые мною стоятъ у престола Всевышняго и жалуются на меня: опять ересь, потому что, какъ говоритъ апостолъ, Бога никто видѣть не можетъ. Любопытно, что, исписавъ подобнымъ празднословіемъ и многословіемъ цѣлую книгу, Иванъ кончаетъ такъ: умолкаю, потому что Соломонъ не велитъ много говорить съ безумцами. Поверхностная виртуозность натуры Грознаго, можетъ быть, лучше всего сказывается въ этомъ празднословіи. Не могъ же онъ не понимать, что предложеніе Курбскому «вѣнецъ жизни наслѣдити» совершенно безцѣльно и ни въ чемъ Курбскаго не убѣдитъ; что вездѣсущіе Божіе и слова апостола о невозможности видѣть Бога не суть возраженія на упреки Курбскаго въ жестокости и убійствахъ. Но онъ не могъ отказать себѣ въ удовольствіи придраться къ слову, всадить по этому поводу своему противнику словесную шпильку, не имѣющую никакого отношенія къ предмету бесѣды, и при этомъ щегольнуть своею, весьма впрочемъ сомнительною, богословскою начитанностью. Читатель благоволитъ кстати припомнить виртуозную безцѣльность жестокаго издѣвательства въ письмѣ Грознаго къ Василію Грязному.

Благородный тонъ писемъ Курбскаго, ихъ истинное краснорѣчіе, то скорбное, то негодующее, оттѣняютъ «широковѣщательныя и многошумящія» посланія Грознаго съ особенною для послѣднихъ невыгодою. Что же касается содержанія писемъ Грознаго, то, какъ уже замѣтили безпристрастные историки, все оно исчерпывается однимъ положеніемъ, которое Иванъ лишь переворачиваетъ на разные лады, «сѣмо и овамо», да уснащаетъ различными риторическими украшеніями: «жаловать своихъ холопей мы вольны, а и казнить вольны же». Это, если не единственная государственная идея Грознаго, то во всякомъ случаѣ центральная, къ которой примыкаютъ всѣ его другіе взгляды какъ на внѣшнія, такъ и на внутреннія дѣла. Одинъ изъ предковъ Ивана IV, великій князь Василій Дмитріевичъ, хорошо выразилъ программу всѣхъ московскихъ владыкъ въ словахъ, сказанныхъ имъ митрополиту Кипріану: «вы поставлены къ миру и любве учити, мнѣ же имѣніе собирати и возноситися». Иванъ IV лишь придалъ особенную, кроваво-безумную цвѣтистость этой программѣ. Въ немъ, дѣйствительно, билась, отмѣченная К. Аксаковымъ, художественная жилка, отвлеченно-художественная, лишенная всякой нравственной основы, и просто «имѣніе собирати и возноситися» ему было мало. Нуженъ былъ еще блескъ, картинность, художественное упоеніе властью. Но главнымъ опредѣляющимъ факторомъ жизни и дѣятельности Грознаго была всетаки не художественность натуры, а несчастное сочетаніе крайней слабости воли и сознанія съ непомѣрною властью, не даромъ пугавшею современниковъ.

Я уже упоминалъ о показаніи г. Викторова («Ученіе о личности, какъ нервно-психическомъ организмѣ»), что «есть положительныя указанія и даже психіатрическіе разборы, что Іоаннъ страдалъ одною изъ формъ moral insanity». Я не нашелъ этихъ психіатрическихъ разборовъ, до такой степени на нашелъ, что склоненъ думать, что г. Викторовъ ошибся, увлекшись вполнѣ естественною мыслью, что такіе разборы непремѣнно должны бы были быть *). И, дѣйствительно, удивительно, что ихъ нѣтъ. Нѣкоторые историки (Карамзинъ, Костомаровъ) отмѣчали мимоходомъ сходство Грознаго съ римскими цезарями Тиверіемъ, Калигулой, Клавдіемъ Нерономъ, а объ этихъ послѣднихъ имѣется въ Европѣ цѣлая психіатрическая литература. Русскій психіатръ, который пожелалъ бы заняться Грознымъ, нашелъ бы прежде всего въ его, повидимому, врожденной кровожадности (еще ребенкомъ онъ забавлялся мучительствомъ животныхъ), въ несомнѣнномъ слабоуміи его брата Юрія, въ жестокости его старшаго, убитаго имъ сына Ивана, въ скудоуміи его другого сына Ѳеодора,—намеки на отягченную психопатическую наслѣдственность. Затѣмъ, хотя историки-апологеты ищутъ и находятъ оправданіе подозрительности Іоанна въ поведеніи и настроеніи бояръ, но нѣкоторыя его выходки въ этомъ направленіи отмѣчены уже несомнѣнною печатью болѣзни. Таково, напримѣръ, его намѣреніе бѣжать въ Англію, для чего онъ даже вступалъ въ спеціальные переговоры съ королевою Елизаветою, жалуясь на измѣны и заговоры, не дающіе ему спокойно жить въ Россіи. Таково его завѣщаніе 1572 г. Только что разгромивъ Новгородъ и Псковъ и совершивъ потомъ казни въ Москвѣ, причемъ погибли и его любимцы Басмановъ и Вяземскій, Грозный пишетъ въ завѣщаніи: «изгнанъ я

*) Писано до появленія книжки г. Ковалевскаго.

отъ бояръ, ради ихъ самовольства, отъ своего достоянія и скитаюсь по странамъ»... Это не простая ложь, это явная манія преслѣдованія. Вообще въ цѣломъ рядѣ поступковъ Ивана IV, въ которыхъ историки-апологеты старательно разыскиваютъ слѣды великихъ государственныхъ плановъ, спеціалистъ-психіатръ, я увѣренъ, найдетъ лишь слѣды разстроеннаго духа. Для этого, впрочемъ, пожалуй, и не надо быть спеціалистомъ-психіатромъ.

Въ нѣмецкой литературѣ, для обозначенія особенностей душевнаго состоянія вышеупомянутыхъ римскихъ цезарей, существовалъ спеціальный терминъ «Cäsarenwahnsinn». Какъ спеціально психіатрическій терминъ, это выраженіе, если не ошибаюсь, нынѣ совсѣмъ оставлено, да и едва ли есть надобность въ установленіи столь частнаго вида мономаніи. Но этотъ терминъ есть, можетъ быть, лишь простой переводъ соотвѣтственнаго французскаго выраженія, употребленнаго безъ научно-психіатрическихъ претензій еще въ началѣ сороковыхъ годовъ историкомъ Шампаньи («Les césars»). Говоря о Калигулѣ и отмѣтивъ его эпилепсію, страданіе безсонницей, явно безумные поступки, Шампаньи указываетъ на чудовищную обширность власти, доставшейся знаменитому римскому тирану, какъ на одно изъ условій его душевнаго разстройства. Слабая голова Калигулы не выдержала положенія всемірнаго владыки, не знавшаго ни географическихъ границъ своимъ владѣніямъ, ни какихъ бы то ни было границъ своей власти надъ имуществомъ, жизнью и честью жителей всего не-варварскаго міра. Онъ былъ правъ, когда говорилъ, что ему «позволено все относительно всѣхъ» и, войдя во вкусъ, объявилъ, наконецъ, себя богомъ, и его таковымъ признали. Г. Якоби («Etudes sur la sélection») остроумно развиваетъ, углубляетъ и обставляетъ научнымъ аппаратомъ мысль Шампаньи. Въ примѣненіи къ тѣмъ же римскимъ цезарямъ онъ доказываетъ, что столь исключительная въ исторіи человѣчества власть уже сама по себѣ составляла условіе психопатическаго развитія, ибо, пріучая къ мгновенному исполненію каждаго желанія, каждаго каприза, каждой фантазіи, атрофировала дѣятельность задерживающихъ центровъ и, такъ сказать, развинчивала, разслабляла цезарское *я*. Якоби говоритъ, между прочимъ, о новости и невыработанности идеи государства, какъ объ одномъ изъ условій, благопріятствовавшихъ психическому разстройству римскихъ цезарей. Шампаньи въ томъ же смыслѣ говоритъ о сравнительной новости, во время Калигулы, положенія цезарей. Ново было и положеніе Грознаго. Это не былъ, конечно, цезаризмъ, хотя любопытно все-таки отмѣтить, что Грозный производитъ себя отъ римскихъ цезарей и считаетъ себя даже какъ бы преемникомъ Августа (онъ имъ и былъ по духу,—замѣчаетъ Соловьевъ). Во всякомъ случаѣ московское царство при Грозномъ отнюдь не было монархіей въ томъ смыслѣ, какой выработала позднѣйшая исторія. Мы видѣли, что, крайне надменно обращаясь съ королями шведскимъ и польскимъ, Грозный лишь турецкаго султана признавалъ равнымъ себѣ по достоинству. Не одного, впрочемъ, султана. Упорно и долго отказываясь величать Стефана Баторія въ грамотахъ «братомъ» и настаивая на титулѣ «сосѣдъ», онъ въ то же время величалъ татарскихъ хановъ «братьями» и, значитъ, признавалъ ихъ равными ему царями. Вообще типъ азіатскаго владыки представлялся ему выше, значительнѣе, чѣмъ типъ европейскаго государя. Въ особенности презиралъ онъ Баторія. Быстрые успѣхи Баторія привели Іоанна къ столь же крайней униженности. Посламъ своимъ, отправленнымъ для переговоровъ о мирѣ, Іоаннъ далъ наказъ уступить почти всю Ливонію, терпѣть отъ Баторія и поляковъ всякую невѣжливость, брань, *даже побои*. Но и въ эту минуту страшнаго униженія Руси, Грозный не забывалъ своихъ преимуществъ передъ Баторіемъ. Посламъ была преподана забавная хитрость: «Если паны станутъ говорить, чтобы государя царемъ не писать, и за этимъ дѣло остановится, то посламъ отвѣчать: государю нашему царское имя Богъ далъ, и кто у него отниметъ его? Государи наши не со вчерашняго дня государи, извѣчные государи. Если же станутъ спрашивать: кто же это со вчерашняго дня государь?—отвѣчать: мы говоримъ про то, что нашъ государь не со вчерашняго дня государь, а кто со вчерашняго дня государь, тотъ самъ себя знаетъ». Такимъ образомъ, испрашивая унизительнаго мира, Иванъ всетаки хотѣлъ кольнуть Баторія его «со вчерашняго дня государствомъ», но кольнуть такъ, чтобы можно было, если бы Баторій разсердился, по простонародному выраженію, въ кусты юркнуть. Но дѣло въ томъ, что Иванъ IV именно и былъ «со вчерашняго дня государемъ», въ томъ смыслѣ, что онъ первымъ изъ московскихъ великихъ князей вѣнчался на царство. Идеи царя и царства еще только нарождались, воспринимая въ себя и аттрибуты азіатскихъ владыкъ, падавшихъ къ ногамъ новаго царя, и аттрибуты византійскихъ императоровъ, блюстителей истинной вѣры и преемниковъ всемірнаго римскаго владычества. Все это еще только складывалось, опредѣлялось; открывались новые, еще смутные, но огромные и пугающіе своею огромностью горизонты. И не даромъ русскіе

люди со страхомъ ждали «послѣднихъ дней»: горизонты вскружили голову Ивану IV.

Сравнивая начало и конецъ царствованія Грознаго, Карамзинъ говоритъ, что «мы усомнились бы въ истинѣ самыхъ достовѣрныхъ о немъ извѣстій, еслибы лѣтописи другихъ народовъ не являли намъ столь же удивительныхъ примѣровъ». Приэтомъ исторіографъ замѣчаетъ, что «Калигула 8 мѣсяцевъ, а Неронъ 4 или 5 лѣтъ были, какъ извѣстно, примѣрными вѣнценосцами». Можно бы было думать, что во всѣхъ этихъ случаяхъ недосягаемая для смертныхъ, помрачающая умъ высота всемірныхъ владыкъ или смутныя аспираціи на такую высоту лишь съ теченіемъ времени дѣлали свое разлагающее дѣло. Оно, конечно, такъ и есть. Но относительно Грознаго дѣло осложняется еще тѣмъ, что онъ былъ великимъ княземъ, хотя и номинальнымъ, съ трехъ лѣтъ. Бояре, правда, дѣлали, что хотѣли, но и ему предоставляли дѣлать, что онъ хочетъ, поощряя его, повидимому, отъ природы дурныя наклонности и тѣмъ окончательно разслабляли его и безъ того слабую волю. Митрополиту Макарію, Сильвестру, «избранной радѣ» удалось погнуть эту слабую волю въ добрую сторону, внушивъ Ивану высокое понятіе объ обязанностяхъ христіанскаго государя и предоставивъ его несомнѣннымъ ораторскимъ дарованіямъ блестящее поприще на Лобномъ мѣстѣ, передъ боярами, на Стоглавомъ соборѣ, въ лагерѣ подъ Казанью. Иванъ тѣшился этою ролью, Русь крѣпла, росла, но вмѣстѣ съ тѣмъ росла и непомѣрная гордость Ивана. Вознесенный удачами, лестью и собственными аппетитами превыше всѣхъ земнородныхъ, сравниваемый то съ Августомъ, то съ Константиномъ Великимъ, Иванъ въ одинъ несчастный для Россіи день понялъ, что не онъ былъ иниціаторомъ совершившихся великихъ дѣлъ, что онъ совершилъ ихъ по указкѣ попа Сильвестра да «собаки» Адашева съ братіей. Понятны страшные взрывы его гнѣва. Конечно, онъ тотчасъ же попалъ подъ другія вліянія; эти вліянія уже не звали его къ великимъ дѣламъ, но не мѣшали ему лично «возноситися» надъ несчастною Русью. Въ его развинченной душѣ не осталось ничего, кромѣ идеи и даже не идеи, а ощущенія всемогущества, которому онъ приносилъ все въ жертву. Каждая мелькнувшая въ его головѣ или внушенная какимъ-нибудь Грязнымъ или Басмановымъ мысль немедленно превращалась въ дѣйствіе, минуя всякія задерживающіе центры. Гнѣвъ на сына въ ту же минуту разрѣшается убійственнымъ ударомъ костыля. Дикая фантазія посадить на престолъ всея Руси татарина Симеона Бекбулатовича тотчасъ же осуществляется. Взглядъ на красивую женщину,—и она становится его второю, третьей, пятой, седьмой женой. Пользы и нужды молодого объединеннаго государства не существуютъ. Девлетъ-Гирей выжигаетъ Москву. Баторій наноситъ русскимъ войскамъ пораженіе за пораженіемъ, а царь хлопочетъ только о томъ, что бы уколоть Баторія его малымъ королевскимъ достоинствомъ, да добиваетъ недобитыхъ воеводъ и совѣтниковъ, замѣняя ихъ шпіонами, грабителями и кровопійцами. Добиваетъ же онъ воеводъ и совѣтниковъ не потому, что они измѣнники, даже не по той причинѣ, по которой онъ велѣлъ изрубить присланнаго ему персидскимъ шахомъ слона. Слонъ пострадалъ за то, что заупрямился стать передъ царемъ на колѣна, а бояре и весь русскій народъ дѣлали это охотно. Доставалось отъ Грознаго и сѣрому народу, но боярамъ доставалось, дѣйствительно, больше, единственно однако потому, что они были виднѣе, цвѣтнѣе, все равно какъ Калигула ненавидѣлъ высокихъ людей: просто они бросались въ глаза. Если же Грозный создалъ легенду о принципіальной борьбѣ съ боярствомъ, то извѣстно, что маніаки иногда подъискиваютъ чрезвычайно замысловатыя объясненія для своихъ совершенно безсмысленныхъ поступковъ. Но кто же принимаетъ эти объясненія въ серьезъ? Изрѣченіе Калигулы: «мнѣ позволено все относительно всѣхъ» и любимая мысль Грознаго: «жаловать своихъ холоповъ мы вольны, а и казнить вольны же»—тождественны.

Есть, однако, важное различіе между римскими тиранами и Иваномъ IV. Исторія не оставила намъ никакихъ слѣдовъ того, чтобы Калигула или Неронъ угрызались когда-нибудь совѣстью; Грознаго же эта страшная гостья посѣщала. Наглотавшись крови и чувственныхъ наслажденій, Грозный временами каялся, надѣвалъ смиренную одежду, молился за убіенныхъ. Можетъ быть здѣсь была извѣстная доля лицемѣрія или все той же душевной развинченности; можетъ быть, дѣло объясняется разницей въ положеніи римскихъ цезарей и Ивана Грознаго: Иванъ всетаки не былъ всемірнымъ владыкой, и Курбскій легко нашелъ убѣжище въ Литвѣ, тогда какъ римскому Курбскому некуда было дѣваться. Какъ бы то ни было, но Грозный шатался изъ стороны въ сторону, отъ грѣха къ покаянію. По недостатку мѣста я не могу, къ сожалѣнію, говорить объ этой любопытной сторонѣ личной трагедіи Грознаго. Скажу одно: если самого Грознаго посѣщали муки совѣсти за совершенныя имъ злодѣйства и безумства, то почему же историки-апологеты не прислушались къ этому голосу совѣсти ихъ героя, почему они не вѣрятъ въ этомъ случаѣ ему самому?

Палка о двухъ концахъ *).

Захеръ-Мазохъ. «Завѣщаніе Каина». — Галицкіе разсказы. Переводъ съ нѣмецкаго *С. А. Котельниковой.* М. 1877.—*Захеръ-Мазохъ.* «Идеалы нашего времени». Романъ въ 4-хъ частяхъ. Переводъ съ нѣмецкаго *С. А. Котельниковой.* М. 1877.

I.

«Не одинъ только чисто-литературный интересъ представляютъ намъ произведенія Захеръ-Мазоха; если французская и нѣмецкая критика восхваляютъ его ради новизны, ради того невѣдомаго для нихъ и широко раскрывшагося новаго міросозерцанія, ради той мощной реальности, которою дышатъ всѣ выводимые авторомъ типы, наконецъ, ради того энергичнаго изложенія и блестящаго юмора, которымъ пропитана каждая страница его труда, то все это вдвойнѣ дорого для насъ, ибо невѣдомый западу и интересующій его новый кругозоръ—*нашъ* славянскій кругозоръ; выводимые Захеръ-Мазохомъ типы—*наши*, хотя и съ мѣстною окраской, но все же родные намъ, русскіе типы; сцена дѣйствія во всѣхъ лучшихъ разсказахъ автора—русская Галиція: хотя дѣйствующія здѣсь лица и австрійцы по своему государственному положенію, но по вѣрѣ и языку, по своему нравственному и интеллектуальному складу—всѣ они русскіе, весьма мало отличающіеся отъ русскихъ нашей Малороссіи. Хотя всѣ произведенія автора написаны имъ на нѣмецкомъ языкѣ, но тѣмъ не менѣе онъ всецѣло можетъ назваться національнымъ писателемъ Галицкой Руси, какъ Гоголь или Тургеневъ, которыхъ взялъ онъ себѣ за образцы—національные писатели Великороссіи, или какъ Шевченко—народный малороссійскій поэтъ. Отсюда понятна та особая, кровная связь, которая, помимо общеевропейскаго литературнаго значенія Захеръ-Мазоха, дѣлаетъ его особенно близкимъ и интереснымъ для русской публики».

Такъ говорится въ предисловіи къ русскому переводу «Завѣщанія Каина». Кажется, это—не простая издательская реклама и не исключительно личное мнѣніе автора предисловія: высокая оцѣнка таланта Захеръ-Мазоха и мнѣніе о «кровной» его связи съ нами, русскими читателями, чуть не цѣликомъ заимствованы у французскихъ и нѣмецкихъ критиковъ, какъ видно изъ «Голоса критики», приложеннаго къ «Идеаламъ нашего времени». (Мимоходомъ сказать, если и вообще переводъ Захера-Мазоха не блещетъ достоинствами, то эти отрывки изъ французскихъ и нѣмецкихъ рецензій переведены просто безбожно). Передъ нами, значитъ, во всякомъ случаѣ—чрезвычайно любопытное литературное явленіе. Благодаря многочисленнымъ переводамъ, мы довольно хорошо знакомы съ главными европейскими литературными теченіями, по крайней мѣрѣ, въ самыхъ видныхъ ихъ представителяхъ. Но вотъ намъ указываютъ на европейскаго писателя, намъ совершенно незнакомаго, оригинальность котораго состоитъ, между прочимъ, именно въ его славянскомъ или даже прямо русскомъ «кругозорѣ» и который, вдобавокъ, высоко талантливъ. Французскіе критики часто поминаютъ рядомъ Тургенева и Захеръ-Мазоха, какъ двухъ яркихъ и равносильныхъ представителей русской національности, духа русскаго народа и проч...

Теперь, когда оба главныя произведенія Захеръ-Мазоха переведены, русскій читатель можетъ составить себѣ вполнѣ удовлетворительное понятіе объ этомъ любопытномъ литературномъ явленіи. И съ перваго же раза онъ наткнется на слѣдующій фактъ. «Завѣщаніе Каина» представляетъ рядъ разсказовъ, связанныхъ одною общею идеею. Мѣсто дѣйствія этихъ разсказовъ—Галиція. Авторъ постоянно говоритъ о «нашей народности», «нашей пѣснѣ» и т. п., вездѣ разумѣя Галицкую Русь, которая притомъ вяжется для него съ Русью Русскою. Онъ и родомъ—галичанинъ, и говоритъ иногда: «мы, русскіе». А въ «Идеалахъ нашего времени» столь же часто повторяются выраженія: «мы, нѣмцы», «наше общество», «наши писатели» и т. д., причемъ разумѣется Германія, новая, объединенная Германія Бисмарка и Круппа. Захеръ-Мазохъ относится къ ней сатирически, и страстный тонъ его сатиры не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что онъ имѣетъ дѣло, дѣйствительно, со «своимъ», близко къ сердцу лежащимъ. Спрашиваетъ, къ какой же, въ концѣ концовъ, націи причисляетъ себя Захеръ-Мазохъ, гдѣ онъ на самомъ дѣлѣ *свой*—въ Германіи, или въ Галицкой Руси? Какъ слѣдуетъ отвѣчать на этотъ вопросъ—мы увидимъ ниже. Ясно, однако, что отвѣтъ не такъ простъ, какъ думаетъ авторъ предисловія къ «Завѣщанію Каина». Мало того: смыслъ самого вопроса становится подозрительнымъ.

Но сперва — нѣсколько словъ о художественной сторонѣ произведеній Захеръ-Мазоха. «Мощная реальность типовъ» изобрѣтена переводчикомъ. У Захеръ-Мазоха ея нѣтъ. Есть художники мелкаго письма, ста-

*) 1877 г. августъ.

рательно выслѣживающіе мельчайшія подробности какого-нибудь психологическаго процесса или какого-нибудь образа, картины, подбирающіе свой матеріалъ, какъ въ мозаичной работѣ, изъ мелкихъ, болѣе или менѣе вѣрно подражающихъ краскамъ природы, камешковъ. Захеръ-Мазохъ не принадлежитъ къ ихъ числу. Онъ склоненъ къ широкимъ размахамъ кисти; тщательная разработка подробностей, въ видахъ вѣрно или невѣрно понятой художественной правды, попадается у него очень рѣдко. Но его нельзя причислить и къ тѣмъ художникамъ крупнаго письма, которые, жертвуя подробностями и фотографической правдой, нѣсколькими штрихами создаютъ глубоко потрясающіе образы. Если подойти къ этимъ образамъ съ аршиномъ, вѣсовою гирей и другими измѣрительными инструментами (какъ это недавно сдѣлалъ Зола съ Жоржъ Зандъ и Викторомъ Гюго), то можно найти много мелкихъ неточностей, неправильностей; но дѣло въ томъ, что подобные образы производятъ такое впечатлѣніе, какое почти никогда не удастся производить даже самымъ талантливымъ художникамъ мелкаго письма. Возможно, конечно, и соединеніе тщательной детальной разработки съ яркостью и потрясающимъ впечатлѣніемъ цѣлаго. Впрочемъ, это для насъ здѣсь—постороннее дѣло, потому что съ высоко талантливыми представителями крупнаго письма Захеръ-Мазохъ имѣетъ общаго только размахъ, но отнюдь не силу удара. Его изображенія не говорятъ сами за себя: они нуждаются въ обстоятельной рекомендаціи со стороны автора, доходящей иногда чуть не до плоскости знаменитой подписи: «се левъ, а не собака». Не обладая большой творческой силой, Захеръ-Мазохъ прибѣгаетъ къ обыкновеннымъ ея суррогатамъ, какіе пускаются въ ходъ второстепенными и третьестепенными талантами: или пересаливаетъ, или влагаетъ въ уста своихъ героевъ длинные, длинные монологи сатирическаго, описательнаго, нравоучительнаго, философскаго и т. д. характера, не говоря о подобныхъ же тирадахъ, которыя онъ вставляетъ время отъ времени уже прямо отъ собственнаго лица.—Онъ большею частью умно, хотя иногда слишкомъ эксцентрично, придумываетъ положенія для своихъ дѣйствующихъ лицъ; но, приводя свой планъ въ исполненіе, вдругъ заставитъ, напримѣръ, юношу, объясняющагося въ любви, проговорить цѣлую диссертацію о предметѣ, можетъ быть, и очень важномъ, но въ данномъ случаѣ напоминающемъ «чиновника совсѣмъ посторонняго вѣдомства». И въ предисловіи къ «Идеаламъ нашего времени», и диссертаціями, вложенными въ уста героевъ, Захеръ-Мазохъ требуетъ правды отъ романа и громитъ ходульную идеализацію. Но когда самъ онъ принимается рисовать положительные типы, то передъ читателемъ встаютъ люди, добродѣтельные до глупости и, притомъ, столь обширнаго ума, сколько только его имѣется въ распоряженіи самого автора.

Этотъ недостатокъ творческой силы, оставаясь, разумѣется, недостаткомъ, не играетъ однако большой роли въ произведеніяхъ Захеръ-Мазоха. Онъ—романистъ-философъ, романистъ-публицистъ. Онъ говоритъ, что нельзя «воспретить поэзіи строгое и серьезное изученіе соціальныхъ вопросовъ», и прямо объявляетъ себя однимъ изъ представителей этого рода поэзіи. А одинъ изъ его любимыхъ героевъ (въ «Идеалахъ нашего времени») говоритъ:

„Вольтеръ превосходно выразился, замѣтивъ, что задача писателя—срывать съ глазъ публики повязку заблужденій. Но наши писатели задались иною задачей: они нарочно завязываютъ публикѣ глаза еще плотнѣе, и потому я называю ихъ идеализмъ безнравственнымъ. Кто въ мірѣ, полномъ несчастій, пороковъ и глупостей, не заботясь объ участи своихъ братьевъ, воспѣваетъ луну или разсказываетъ чувствительныя сказочки, того нельзя назвать нравственнымъ писателемъ".

При такомъ пониманіи задачи романиста, Захеръ-Мазохъ не можетъ не только подлежать чисто эстетической критикѣ, но даже желать ея. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы онъ оказался художественнымъ дарованіемъ первой величины, но на нѣтъ и суда нѣтъ. Судить, значитъ, надо не столько художника, сколько философа и публициста, склоннаго облекать свои идеи въ художественную форму. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что недостатокъ творческой силы иногда шутитъ дурныя шутки и съ внѣпоэтическими цѣлями Захеръ-Мазоха. Намъ, вѣроятно, не разъ придется указывать мимоходомъ на художественные промахи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, отмѣчать ихъ вредное вліяніе на выполненіе нравственныхъ или философскихъ задачъ автора.

«Завѣщаніе Каина» задумано по очень широкой программѣ. Его основная идея выражается въ прологѣ, который почему-то не переведенъ, а только разсказанъ въ предисловіи. Мы его въ такомъ видѣ и приведемъ.

«Съ ружьемъ на плечѣ, разсказываетъ авторъ,—бродилъ онъ въ сопровожденіи стараго егеря по густой чащѣ дѣвственнаго лѣса, какъ вдругъ спутникъ его остановился, указывая на высоко парившаго надъ ними орла; егерь прицѣлился, и убитая птица упала къ ногамъ охотниковъ.—«Каинъ! Каинъ!»—послышался вдругъ чей-то мощный голосъ, и изъ-за раздвинувшихся кустовъ выступила странная фигура старца съ длинной сѣдой бородой и съ такими же длин-

выми, развѣвающимися на вѣтрѣ сѣдыми волосами; ветхій костюмъ и тыквенная фляжка на боку изобличали въ незнакомцѣ человѣка, чуждаго людской средѣ, бѣжавшаго отъ всѣхъ удобствъ и наслажденій жизни.—«Какая была вамъ польза въ убійствѣ невинной твари, дѣти Каина?»—началъ старецъ, и между нимъ и авторомъ завязалась оживленная бесѣда. Старецъ оказался *странникомъ*, т. е. принадлежащимъ къ *страннической* сектѣ, довольно распространенной среди православнаго населенія Галиціи. Основные принципы странниковъ таковы: міръ есть царство сатаны, почему странники бѣгутъ отъ него, бѣгутъ отъ человѣчества и отъ всего, что только составляетъ интересъ и рычагъ его жизни и дѣятельности, ибо надъ всѣмъ этимъ тяготѣетъ проклятіе; любовь, стремленіе къ богатству и власти, все, что радуетъ и двигаетъ человѣка въ его общественной и индивидуальной жизни, все это—завѣтъ Каина потомству, все это вещи, отъ которыхъ—все зло, все несчастіе и вся гибель человѣчества; одна смерть можетъ вырвать изъ рукъ человѣка проклятое наслѣдіе, отравляющее его; одна смерть можетъ вполнѣ возстановить въ человѣкѣ тотъ міръ, которымъ нѣкогда пользовался онъ въ лонѣ природы, только одна смерть опять возвратитъ его въ это лоно; отсюда смерть есть желанный предѣлъ, къ которому съ упованіемъ стремится странникъ, а въ ожиданіи ея онъ долженъ вести такой образъ жизни, который болѣе приближалъ бы живого человѣка къ мертвецу: отсюда самоотреченіе, страданіе и терпѣніе".

Такова прелюдія. Затѣмъ идетъ самая драма. рядъ разсказовъ, въ которыхъ долженъ послѣдовательно развернуться весь ужасъ составныхъ частей проклятаго наслѣдія Каина: «любви, стремленія къ богатству и власти, всего, что радуетъ и двигаетъ человѣка въ его общественной и индивидуальной дѣятельности». До сихъ поръ мы имѣемъ, однако, дѣло только съ любовью. Правда, авторъ предисловія упоминаетъ о второй серіи «Завѣщанія Каина», о разсказахъ: «Правосудіе крестьянъ», «Гайдамакъ», «Газара-Раба», въ которыхъ рисуется «та неустанная, вѣчная борьба, какая всюду ведется между неимущими и богатыми классами человѣчества; проклятіе, тяготѣвшее надъ любовью, переносится здѣсь на корыстолюбивые и алчные инстикты человѣческой природы; на каждомъ шагу мы встрѣчаемъ сцены самой ожесточенной рѣзни и кровавой мести». Но, во-первыхъ, эти разсказы, къ большому сожалѣнію, не переведены, а, во-вторыхъ, и въ нихъ мы «встрѣчаемъ опять ту надменную, но торжествующую Далилу, этого вампира съ золотыми кудрями, высасывающаго кровь изъ сердца мужчины, поверженнаго въ прахъ передъ нею и обезоруженнаго волшебными чарами ея поцѣлуевъ».

Читатель согласится, конечно, — каково бы то ни было нравственое и философское значеніе идеи «Завѣщанія Каина», — что планъ задуманъ широко и удачно, даже если бы онъ ограничивался только однимъ параграфомъ каинова завѣщанія—истрепанною безчисленнымъ множествомъ романистовъ, драматурговъ и лирическихъ поэтовъ любовью. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» было недавно замѣчено, что истасканность этой темы грозитъ очень неблагопріятными для литературы послѣдствіями. Въ самомъ дѣлѣ, въ старые годы графиня Ростопчина распѣвала; «Въ горахъ я встрѣтила черкеса и предалась любви съ тѣхъ поръ». «Черкесъ»—это всетаки—идея, въ которую входитъ представленіе чего-то мужественнаго, вольнолюбиваго, цѣльнаго, гордаго. А нынѣ г-жа Га—рини объявляетъ, съ благословенія г. Тургенева, что она около Турина встрѣтила «бѣлыя ноги» красиваго итальянца и предалась любви съ тѣхъ поръ. Здѣсь уже нѣтъ ничего, кромѣ бѣлыхъ ногъ и другихъ частей тѣла мужчины. Дальше въ лѣсъ—больше дровъ. Для поддержанія интереса къ истасканной темѣ придется все больше и больше обнажать бѣлыя ноги, а потомъ перейти къ изображенію противоестественныхъ пороковъ, какъ оно уже и практикуется во французской литературѣ. Мать дочери велитъ на эту книгу плюнуть, но дочь, разумѣется, ее прочтетъ, а мать—и подавно. Пріемъ Захеръ-Мазоха можетъ спасти тему отъ такого нравственнаго и художественнаго паденія, потому что переноситъ интересъ съ пикантныхъ подробностей любовныхъ исторьетокъ на развитіе и воплощеніе нѣкоторой общей мысли. Если испорченный современнымъ романомъ читатель и отсюда извлечетъ только извѣстное эротическое возбужденіе и сантиментальное участіе къ судьбамъ Альфонса и Луизы, Надины и Фіоріо, то и иного сорта читатель можетъ получить нѣкоторую умственную пищу.

Первый разсказъ называется «Коломейскій Донъ-Жуанъ». Случайность задерживаетъ автора на нѣкоторое время въ жидовской корчмѣ. Та же самая случайность заводитъ въ корчму коломейскаго Донъ-Жуана—сосѣдняго помѣщика. Что се левъ, а не собака, Донъ-Жуанъ, а не обыкновенный смертный, — это, благодаря мало художественной торопливости автора, обнаруживается при самомъ его появленіи въ корчмѣ. Жена корчмаря, какъ увидѣла его, такъ и растаяла:

„Она нагнулась надъ прилавкомъ и, вертя жестяную мѣрку въ своихъ прозрачныхъ рукахъ, вперила свои глаза въ пріѣзжаго. Пылкая, жаждущая душа засвѣтилась въ ея большихъ страстныхъ глазахъ, черныхъ, какъ ночь; то былъ вампиръ, выползшій изъ могилы истлѣвшаго трупа и впившійся въ прекрасное лицо незнакомца".

А когда еврей - корчмарь прогналъ ее прочь, «она какъ будто еще больше сгор-

билась и съ полузакрытыми глазами, *шатаясь, какъ во снѣ*, отошла отъ прилавка». До такой степени неотразимъ коломейскій Донъ-Жуанъ! До такой степени онъ—Донъ-Жуанъ: пришелъ, увидѣлъ и побѣдилъ, какъ не удавалось побѣждать и байроновскому Донъ-Жуану! Но такъ какъ онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, очень разговорчивъ, то немедленно принимается бесѣдовать съ авторомъ и, разумѣется, о своихъ любовныхъ похожденіяхъ. Онъ — человѣкъ семейный и когда-то безумно любилъ свою жену, она его тоже любила, они были счастливы. Но все это счастіе разлетѣлось, какъ дымъ, послѣ перваго ребенка. Коломейскій Донъ-Жуанъ имѣетъ кое-какое литературное образованіе, хотя обнаруживаетъ такъ мало вкуса, что цитируетъ пошлѣйшее стихотвореніе Карамзина: «измѣнилъ, иной прельстился, виноватъ передъ тобой; но не надолго влюбился, измѣнилъ уже и той» и т. д. (это же стихотвореніе Захеръ-Мазохъ выбралъ эпиграфомъ своему разсказу); онъ склоненъ къ философствованію, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ—человѣкъ слишкомъ «веселый», чтобы умѣть выразить отвлеченный итогъ множества отдѣльныхъ конкретныхъ непріятностей, причиненныхъ ему первымъ ребенкомъ, первымъ «залогомъ любви». Онъ очень хорошо знаетъ этотъ итогъ, еще того лучше чувствуетъ, но не можетъ его выразить словами. Онъ можетъ разсказать только нѣкоторые отдѣльные случаи того, какъ «залогъ любви» становился между нимъ и безумно любимой женой. По своей грубоватой и чувственной натурѣ, онъ напираетъ преимущественно на тѣ случаи, когда залогъ любви нарушаетъ его право «хорошей постели». А «что называете вы, напримѣръ, «хорошей постелью?—спрашиваетъ онъ,—не правда-ли — хорошій матрацъ, мягкія подушки, теплое одѣяло и красивая жена?» Вотъ этотъ-то послѣдній элементъ хорошей постели и отвлекается постепенно ребенкомъ, который то ѣсть хочетъ, то пугается, то такъ, ни съ того, ни съ сего кричитъ. Такъ или иначе, но будущій коломейскій Донъ-Жуанъ начинаетъ сильно ревновать жену къ ребенку. Хотя, надо замѣтить, «когда у насъ гости, разсказываетъ онъ съ горечью,—тогда ребенокъ можетъ и покричать; тогда она вбѣжитъ къ нему на минуту и спокойно потомъ разливаетъ чай, смѣется и болтаетъ,—вѣдь, что не дѣлается для гостей?» Бѣдный кандидатъ въ Донъ-Жуаны, поноснвшись съ своимъ горемъ, начинаетъ искать утѣшенія на сторонѣ, а утѣшеніе ему нужно очень скромное, очень дешевое; онъ его находитъ поэтому очень скоро, сначала въ полудикой крестьянкѣ, потомъ — въ сосѣдкѣ-помѣщицѣ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, любовь къ женѣ не совсѣмъ изсякаетъ. Въ женѣ, между тѣмъ, амурныя похожденія мужа порождаютъ какую то странную смѣсь «любви и ненависти», какую-то «неистовую нѣжность». Она начинаетъ кокетничать съ другими, отчасти, кажется, по прямому внутреннему влеченію, а отчасти—чтобы насолить мужу, но увлекается этой игрой до того, что, наконецъ, мужъ застаетъ ее въ объятіяхъ одного своего пріятеля. Съ этихъ поръ, Донъ-Жуанъ «сталъ смотрѣть на женщинъ, какъ на особую породу дичи, охота за которой труднѣе, но за то благодарнѣе». Съ этихъ поръ онъ сталъ грозой мужей всей коломейской округи. Но среди всего веселья, которое даетъ такое препровожденіе времени, ему приходятъ, однако, въ голову мрачныя мысли; онъ ихъ гонитъ, разумѣется, и можетъ гнать, благодаря силѣ, здоровью, темпераменту; но веселый разсказъ его, всетаки звучитъ чѣмъ-то натянутымъ и внутренней болью.

Коломейскій Донъ-Жуанъ разсказываетъ преимущественно факты. Только разъ пытается онъ сдѣлать болѣе или менѣе опредѣленный отвлеченный выводъ, который гласитъ такъ:

„Дѣти связываютъ насъ на-вѣки и неразлучно, гонятъ насъ въ самый шквалъ, какъ окаянныхъ въ дантовомъ аду. Вообще, не случалось-ли вамъ поразсмыслить: какую ловушку намъ ставитъ природа въ любви? Не допускаете-ли вы... ахъ! что бишь я хотѣлъ сказать?—да, съ самаго начала мужчина и женщина созданы собственно для обоюдной вражды. Надѣюсь, вы поняли меня? Природа поставила себѣ задачей продолжать человѣческій родъ, а по свойственному намъ тщеславію и легковѣрію, мы воображаемъ себѣ, что она только заботится о нашемъ счастіи. Какъ бы не такъ! Едва появится на свѣтъ Божій ребенокъ, какъ конецъ счастію, конецъ и любви. Мужъ и жена начинаютъ смотрѣть другъ на друга, какъ люди, сдѣлавшіе между собой плохую сдѣлку; оба обмануты, а, между тѣмъ, ни тотъ, ни другой не обманывалъ. Но они все еще думаютъ, что рѣчь идетъ объ одномъ ихъ счастіи—они враждуютъ между собой, вмѣсто того, чтобы винить природу, присоединившую другое чувство къ ихъ непостоянной любви, чувство непреходящее—любовь къ дѣтямъ".

Мысли это не столько принадлежатъ самому коломейскому Донъ-Жуану, сколько навѣяны ему другомъ, Львомъ Бодошканомъ, который «слишкомъ много читалъ и думалъ, оттого и захворалъ». Донъ-Жуанъ постоянно носитъ на груди рукопись Льва Бодошкана и охотно читаетъ автору отрывки изъ нея. «Что называется жизнью?.. размышляетъ ученый Бодошканъ: — страданіе, сомнѣніе, страхъ и отчаяніе. Откуда пришелъ ты? кто ты? куда идешь?—И не имѣть ни малѣйшей власти надъ природой, не слышать отвѣта на эти жалкіе, отчаянные вопросы! Вся людская премудрость, въ концѣ концовъ—

самоубійство. Но природа создала намъ муку, которая хуже жизни. Эта мука—любовь. Люди называютъ ее радостью, наслажденіемъ» и т. д. Продолжать не стоитъ, потому что и мысли Льва Бодошкана не столько принадлежатъ ему, сколько заимствованы имъ у Артура Шопенгауера.

Да и вообще все «Завѣщаніе Каина» есть не что иное какъ попытка художественнаго комментарія, иллюстраціи къ мрачной философіи Шопенгауера,—попытка, заслуживающая вниманія въ двухъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, пессимизмъ Шопенгауера нынѣ въ лицѣ Гартмана возродился и добился успѣха, какого отнюдь не имѣлъ при своемъ оригинальномъ творцѣ. Во-вторыхъ, философія Шопенгауера сплетается у Захеръ-Мазоха съ нѣкоторыми чисто народными воззрѣніями, и это-то сплетеніе составляетъ едва ли не самую любопытную сторону его сочиненій. Въ немъ, между прочимъ, слѣдуетъ искать отвѣта на вопросъ о томъ, гдѣ Захеръ-Мазохъ *свой* — въ Галицкой Руси, или въ Германіи? Извѣстная родственность философія Шопенгауера съ нѣкоторыми воззрѣніями русскаго (можетъ быть, слѣдуетъ сказать галицко-русскаго) народа стоитъ для Захеръ-Мазоха внѣ всякаго сомнѣнія.

„Какая замѣчательная пѣсня! перебиваетъ себя въ одномъ мѣстѣ коломейскій Донъ-Жуанъ, прислушиваясь къ пѣснѣ ночного сторожа.—И въ ней этотъ вѣчный напѣвъ... Вотъ у нѣмцевъ есть Фаустъ; вѣрно, и у англичанъ есть своя книга. У насъ же каждый мужикъ это знаетъ безъ книги. Онъ какъ будто по предчувствію понимаетъ, въ чемъ заключается жизнь. Отчего народъ нашъ имѣетъ наклонность къ меланхоліи?—Отъ равнины. Она разливается, какъ необозримое море, и волнуется, когда въ ней бушуетъ ничѣмъ не сдерживаемый вѣтеръ. Небо окунается въ нее, какъ и въ море; она молчалива, какъ вѣчность, и неизвѣстна, какъ природа. Со всѣхъ сторонъ окружаетъ она человѣка. Ему хотѣлось бы побесѣдовать съ нею и получить отвѣтъ на то, что его тревожитъ. Пѣснь его похожа на болѣзненный стонъ, который вырывается изъ груди, и, ничѣмъ не утѣшенный, замираетъ какъ вздохъ. Тогда человѣку становится жутко“.

Въ разсказѣ «Фринко Балабанъ» авторъ уже отъ собственнаго лица говоритъ:

„Мнѣ стало любопытно послушать старика, такъ какъ наши крестьяне, никогда не заглядывающіе въ книгу, не владѣющіе перомъ,—врожденные политики и философы. Въ нихъ та же восточная мудрость, что въ бѣдныхъ рыбакахъ, пастухахъ и нищихъ „Тысячи и одной ночи“, къ которымъ заходилъ знаменитый Гарунъ-аль-Рашидъ. Я ожидалъ услышать нѣчто такое, чего не приходится слышать ежедневно и чего не найдешь ни въ Гегелѣ, ни въ Молешотѣ“.

Но что найдешь, пожалуй, у Шопенгауера—можетъ сказать читатель,—что думаетъ заинтересовавшій Захеръ-Мазоха старикъ. И, дѣйствительно, старикъ-крестьянинъ Коланко разсуждаетъ о суетѣ суетъ, о мукахъ и ничтожествѣ бытія совершенно такъ же, какъ ученый Левъ Бодошканъ, какъ отставной солдатъ Фринко-Балабанъ, какъ веселый коломейскій Донъ-Жуанъ, какъ многія другія дѣйствующія лица Захеръ-Мазоха, наконецъ, какъ самъ Захеръ-Мазохъ. Всѣ они какъ-бы развиваютъ и собственною своею судьбою подтверждаютъ различныя части пессимистскаго ученія Шопенгауера вообще и его теоріи любви въ частности. Только этимъ и замѣчательны разсказы «Фринко-Балабанъ» и «Лунная ночь», въ художественномъ отношеніи очень натянутые и вообще плохіе. Мы ихъ совсѣмъ обойдемъ, отмѣтивъ только упомянутое совпаденіе шопенгауеровскихъ идей съ идеями народными.

Не стоило бы останавливаться и на «Любви Платона», если бы не крайняя эксцентричность постройки этого разсказа. Жилъ былъ, изволите ли видѣть, юный философъ, графъ Гендрикъ Тарновскій, который боялся любви и женщинъ. «Я смотрю на женщину, какъ на что-то непріязненное, пишетъ онъ своей матери.—Существо ея вполнѣ чувственное». Задача женщины, по его мнѣнію, состоитъ въ томъ, чтобы притянуть къ себѣ мужчину, произвести новыя существа «и затѣмъ обречь меня на смерть». Настоящая любовь, такая, которой юный философъ хотѣлъ бы отдаться, состоитъ въ «духовной преданности другой личности»; но такую любовь невозможно встрѣтить въ женщинѣ или по отношенію къ ней, потому что тутъ примѣшивается чувственность, сбивающая человѣка съ настоящаго пути. Тутъ возможенъ только рядъ очарованій и разочарованій, а въ результатѣ—утомленіе и отвращеніе отъ жизни. Настоящая любовь возможна только между двумя мужчинами. Прочитавъ «Пиршество» Платона, Тарновскій пришелъ отъ него въ восторгъ. Въ особенности ему понравились банальный афоризмъ насчетъ преимущества духовной красоты надъ тѣлесною и глубокая мысль о происхожденіи половыхъ различій. По мнѣнію одного изъ участниковъ «Пиршества», Аристофана, какъ извѣстно, мужчина и женщина составляли нѣкогда одно цѣлое, но богъ боговъ раздѣлилъ ихъ и съ тѣхъ поръ они ищутъ каждый свою половину. «И я—такая же жалкая половина!» восклицаетъ Тарновскій. Но это нисколько не колеблетъ его страха къ любви и къ женщинамъ. Онъ готовъ любоваться красотою послѣднихъ, но избѣгаетъ сближенія съ ними. До какой степени онъ, по мысли автора, добродѣтеленъ и благороденъ и до какой степени онъ, въ сущности, глупъ, видно изъ слѣдующаго

эпизода. Товарищи завели его въ пріютъ веселыхъ дамъ. Онъ не понимаетъ, гдѣ онъ. Одна веселая дама увлекаетъ его въ свою комнату.

„Ахъ, какой очаровательный и поэтичный будуаръ, замѣтилъ я (это самъ юный мизогинъ пишетъ матери),—настоящее обиталище фей; здѣсь нельзя не придти въ прекрасное настроеніе и не поддаться чистѣйшимъ ощущеніямъ!"—Малютка съ улыбкой взглянула на меня.—„Сядемте въ бесѣдку", сказала она.—„Если вы позволяете", отвѣчалъ я.—„О! я все позволю вамъ, вскричала она, и опять та же улыбка показалась на ея устахъ.—„Любите ли вы розаны?" спросила она, немного погодя.—„Я брежу розами", отвѣтилъ я,—„но еще болѣе розовыми бутонами, которые такъ дѣвственны и такъ нѣжны".

Бесѣда эта, между прочимъ, даетъ вамъ нѣкоторое понятіе о «мощной реальности типовъ» Захеръ-Мазоха. Какъ бы то ни было, но такого олуха, какъ графъ Гендрикъ Тарновскій, провести, разумѣется, не трудно. И вотъ находится женщина (наша соотечественница, княгиня Барагрева), которая переодѣвается мужчиной и въ такомъ видѣ проводитъ время съ нашимъ женоненавестникомъ, выслушивая его кисло-сладкіе разговоры, густо усыпанные сентиментально-философскимъ миндалемъ и изюмомъ. Но когда, наконецъ, обманъ открывается, Тарновскій приходитъ въ ярость и сразу обрываетъ знакомство, доставившее ему столько наслажденій духовной любви, сопровождавшейся, впрочемъ, и нѣкоторыми вещественными знаками вродѣ цѣлованія рукъ и объятій. Проходитъ нѣсколько лѣтъ, Тарновскій снова встрѣчаетъ Барагреву, женится на ней, но черезъ годъ разводится (у нея оказался любовникъ) и поселяется въ деревнѣ вмѣстѣ съ другомъ своимъ, Шустеромъ, который одинаково съ нимъ смотритъ на женщинъ и на любовь. Онъ выражается объ этихъ вещахъ такъ:

„Мужу лучше безъ жены, говоритъ самъ апостолъ Павелъ; ты страдаешь только пока обладаешь ею, но какъ скоро потеряешь ее, ты сейчасъ же почувствуешь облегченіе. Что касается до меня, то я предпочитаю добровольное иночество браку и даже вашимъ связямъ съ разведенными и неразведенными женщинами. Не говоря уже о тѣхъ страданіяхъ, которымъ подвергаешься, имѣя жену, я считаю безсовѣстнымъ оставлять послѣ себя дѣтей, которыя будутъ страдать не менѣе меня и, какъ и я, сдѣлаются добычею смерти".

Такое истинно нелѣпое произведеніе, какъ «Любовь Платона» (обладай авторъ нѣсколько большимъ талантомъ, онъ бы могъ, разумѣется, сдѣлать хоть что-нибудь даже изъ этакой эксцентричной темы), нужно было Захеръ-Мазоху въ качествѣ лишней иллюстраціи къ шопенгауеровскому тезису горя отъ любви. А этотъ тезисъ составляетъ лишь частный случай общаго положенія о горѣ отъ существованія—положенія, усердно развиваемаго Захеръ-Мазохомъ.

II.

Не въ первый и, вѣроятно, не въ последній разъ возвѣщается міру, что жизнь есть тяжелое бремя, что ея минутныя и обманчивыя радости не выкупаютъ продолжительныхъ и дѣйствительныхъ страданій существованія. Не въ первый разъ это мрачное недовѣріе къ жизни пріобрѣтаетъ многочисленныхъ сторонниковъ. Шопенгауеръ самъ отмѣтилъ сходство своего ученія со взглядами буддистовъ и аскетовъ всѣхъ временъ. Мы имѣемъ цѣлую коллекцію этихъ мрачныхъ воззрѣній, очень разнообразно формулированныхъ, въ различной степени разработанныхъ, очень разнообразно осуществляемыхъ практически. Тутъ есть и тонкое кружево индійской метафизики, и грубая, но плотная ткань русскихъ «вредныхъ» сектъ, и плетево, якобы, «индуктивно-естественно-научнаго» метода Гартмана, и истерзанныя покаянныя одежды средневѣковья, и бѣлыя хламиды ессеевъ и проч., и проч. Обширность этой коллекціи представляетъ множество данныхъ для сравненія и выводовъ. Сравненіе тутъ важно не столько для непосредственной критической оцѣнки пессимизма, какъ доктрины (хотя и въ этомъ отношеніи оно можетъ дать цѣнныя указанія), сколько для выясненія источниковъ пессимизма, причины его возникновенія и распространенія. Само собою разумѣется, что причины эти должны быть очень общи и очень важны. Личность проповѣдника какими бы выдающимися качествами она ни обладала, значитъ здѣсь меньше, чѣмъ въ какомъ бы то ни было другомъ ученіи. Допустимъ, что жизнь есть, въ самомъ дѣлѣ, нѣчто мрачное, тяжкое, безпросвѣтное. Убѣдиться въ этомъ, во всякомъ случаѣ, не легко. Разочарованіе можетъ послѣдовать только за очарованіемъ. Жизнь, какъ признаютъ всѣ пессимисты-теоретики и практики-аскеты, представляетъ столько соблазновъ, что для признанія міра безъисходною юдолью плача и скрежета зубовнаго мало пламенныхъ рѣчей проповѣдника, мало и холодныхъ доводовъ разума: надо почувствовать бремя жизни, надо изнемочь подъ нимъ. Если, какъ гласитъ преданіе, греческій философъ Гегезій публичнымъ прославленіемъ смерти, какъ избавительницы отъ мукъ существованія, вызвалъ настоящую манію самоубійства, такъ ужъ, конечно, его краснорѣчіе играло тутъ только второстепенную, подчиненную роль. Элементы для маніи были уже всѣ на лицо въ

самой жизни учениковъ Гегезія, да и самъ онъ былъ только выразителемъ извѣстнаго общественнаго настроенія. Не рѣчи проповѣдниковъ и не отвлеченныя разсужденія о горѣ отъ существованія побуждаютъ индійскаго аскета въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ стоять вверхъ ногами, зарывшись головой въ муравьиную кучу; жизнь его, значитъ, дойствительно настолько горька, что горечь ея перевѣшиваетъ боль отъ приливовъ крови и укусовъ муравьевъ. Проповѣди, воззванія и доводы отъ разума могутъ, конечно, раздувать огонь костровъ, на которыхъ горѣли наши фанатики-самосожигатели; но они безсильны зажечь его, безсильны и потушить; потушить и зажечь его можетъ только сама жизнь, изъ которой бѣгутъ фанатики. Вообще, никогда и нигдѣ люди не принимали ученія, несоотвѣтствующаго условіямъ ихъ жизни.

Приглядываясь къ исторіи пессимистскихъ доктринъ, моментовъ учащеннаго самоубійства, аскетическихъ взглядовъ, мы безъ труда увидимъ, что всѣ эти явленія имѣютъ двоякое происхожденіе.

Одинъ нѣмецкій писатель (Dühring, «Der Werth des Lebens») очень остроумно и наглядно поясняетъ одно изъ теченій, завершающихся полнымъ разочарованіемъ въ жизни, примѣромъ объѣвшагося человѣка. Умѣренное насыщеніе, т. е. нормальное удовлетвореніе потребности питанія, ведетъ къ пріятному ощущенію равновѣсія и покоя. Напротивъ, пресыщеніе сопровождается тяжелымъ чувствомъ, и объѣвшемуся человѣку въ особенности непріятно вспоминать ѣду, видѣть обѣдающихъ, кушанья, напитки: все это вызываетъ въ немъ отвращеніе. Пресыщеніе же, такъ сказать, хроническое, т. е. постоянное злоупотребленіе органовъ питанія, вызываетъ усиленное требованіе все новыхъ и болѣе сильныхъ возбужденій, оканчивающееся притупленіемъ нервовъ и крайнимъ затрудненіемъ всей функціи питанія. Такому человѣку естественно разочароваться въ жизни, такъ какъ богъ, которому онъ молился, отступился отъ него. Обладая, при разстроенномъ желудкѣ и развинченныхъ нервахъ, нѣкоторымъ образованіемъ и діалектикой, онъ можетъ обратиться въ философа-пессимиста, болѣе или менѣе логически оправдывающаго свой мрачный взглядъ на жизнь. Можетъ онъ и самоубійствомъ кончить. Таково именно происхожденіе значительной доли пессимистскихъ взглядовъ въ высшихъ, болѣе состоятельныхъ и образованныхъ классахъ общества. Далеко переступая, въ погонѣ за разнаго рода наслажденіями, предѣлы нормальныхъ потребностей человѣка, эти люди не въ состояніи уравнять ростъ ощущеній съ ростомъ раздраженій и часто изнываютъ отъ тоски среди такой обстановки, въ которой, кажется, чего хочешь, того просишь. Затѣмъ является мыслитель, составляющій плоть отъ плоти и кость отъ кости пресыщеннаго общества, и облекаетъ это мрачное настроеніе въ философскія формулы. Онъ объявляетъ, что жизнь есть цѣпь страданій, что лучшее, что можно съ нея взять, это—покой, отсутствіе или, по крайней мѣрѣ, сокращеніе желаній, такъ какъ они все равно не дадутъ ничего, кромѣ горя, а еще лучше оборвать жизнь, умереть, не быть. Онъ не говоритъ, въ сущности, ничего новаго, невѣдомаго слушающему его люду; онъ только подводитъ философскій итогъ множеству отдѣльныхъ, разбросанныхъ жизненныхъ фактовъ. Нѣтъ никакой надобности, чтобы самъ мыслитель былъ пресыщенъ на подобіе своихъ согражданъ, чтобы онъ утопалъ въ наслажденіяхъ. Напротивъ, онъ можетъ быть бѣденъ, какъ Іовъ, и вести самую умѣренную жизнь, не прельщаясь ни одною изъ цѣлей, которыя волнуютъ окружающихъ его. Онъ долженъ только быть съ ними въ общеніи, наблюдать ихъ бѣшеную и напрасную погоню за все далѣе убѣгающимъ счастіемъ, видѣть ихъ скучающія лица, трупы самоубійцъ, слышать періодическую смѣну ихъ рѣчей въ мажорномъ и минорномъ тонѣ. Есть, однако, одна сторона во всей этой печальной исторіи, которая захватываетъ непосредственно лично его. Обыкновенно, онъ — мыслитель и ничего больше, притомъ мыслитель, ищущій въ себѣ самомъ, въ своемъ «духѣ» отвѣтовъ на загадки жизни. Такъ было, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ, да такъ оно и должно быть. Но «духъ» мыслителя, подобно духу самаго обыкновеннаго смертнаго, не заключаетъ въ себѣ ничего такого, что не было бы въ него предварительно вложено, въ видѣ сознательнаго или безсознательнаго опыта. А такъ какъ сфера опыта человѣка, который—мыслитель и ничего больше, крайне узка, а его жажда знанія очень велика и требуетъ все новой и новой пищи, каковой взять неоткуда, то возникаетъ внутреннее противорѣчіе, разрѣшающееся пессимизмомъ. Достойно, въ самомъ дѣлѣ, вниманія, что всѣ выдающіеся нѣмецкіе философы болѣе или менѣе отдали дань пессимизму, окончательно восторжествовавшему въ ученіяхъ Шопенгауера и Гартмана. Захеръ-Мазохъ не знаетъ этого параграфа «завѣщанія Каина», хотя не разъ восторгается «Фаустомъ» Гёте, который представляетъ превосходный примѣръ жизни, разбитой жаждой знанія, несоотвѣтствующей ни силамъ человѣка вообще, ни жизненному опыту ея носителя въ частности. Съ какой, впрочемъ, стороны «Фаустъ» интересуетъ

Захеръ-Мазоха,—это понять довольно трудно, такъ какъ онъ, не обинуясь, дѣлаетъ такія, напримѣръ, сопоставленія: «когда, говоритъ, читаешь «Фауста» или «Дворянское гнѣздо», то» и т. д...

Есть, однако, и другой источникъ недовѣрія и презрѣнія къ жизни, источникъ совершенно противоположный—невольное воздержаніе всякаго рода. Что жизнь не мила голодному человѣку—это очень естественно и не требуетъ ни объясненій, ни доказательствъ: замедленіе процесса обмѣна веществъ въ организмѣ понижаетъ энергію всѣхъ отправленій и, слѣдовательно, въ корень подрываетъ возможность жизнерадостнаго взгляда на міръ. Понятны эффекты голоданія хроническаго. Вообще, всякаго рода лишенія, дойдя до извѣстнаго предѣла, низводятъ энергію жизненныхъ отправленій до такого minimum'а, дорожить которымъ, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ не стоитъ. Представляется просто выгоднымъ—искусственно подавить этотъ малый остатокъ жизнедѣятельности, дабы, дойдя до полной нечувствительности къ внѣшнему міру, избѣжать страданій. Таково происхожденіе писсимизма въ низшихъ классахъ общества, среди которыхъ всякое экстренное крупное бѣдствіе—война, голодовка, эпидемія, усиленіе гнета—вызываетъ цѣлыя толпы людей, готовыхъ идти въ дѣлѣ отреченія отъ жизни до послѣднихъ предѣловъ. И здѣсь, въ свою очередь, являются люди, способные охватить это настроеніе общею формулою, дать ему знамя. Но это—не философы, не спеціалисты мысли, гордо черпающіе рѣшеніе занимающихъ ихъ вопросовъ изъ своего разума. Удаляясь въ пустыни, зарываясь въ пещеры, терпя голодъ и жажду, воздерживаясь отъ полового акта, словомъ, до послѣдней степени сокращая свои сношенія со всѣмъ, дѣйствующимъ на внѣшнія чувства, подвижники приходятъ въ состояніе экстаза. Они видятъ видѣнія, слышатъ голоса, сообщающіе имъ тайны прошедшаго и грядущаго, они пророчествуютъ, и пророчествамъ ихъ внимаютъ тѣмъ охотнѣе, что справедливо видятъ въ нихъ только концентрацію своихъ собственныхъ горькихъ чувствъ и думъ. Притомъ же, экстатическое состояніе сопровождается высокою степенью нечувствительности къ страданію. Экстатика можно рѣзать, колоть, жечь, не вызывая или почти не вызывая въ немъ ощущенія боли. Окружающимъ это, естественно, представляется, во-первыхъ, чудомъ, а во-вторыхъ—вполнѣ желаннымъ состояніемъ, потому что они, изстрадавшіеся, ищутъ именно выхода изъ цѣпи страданій. Все это вмѣстѣ высоко поднимаетъ значеніе экстаза; является надобность вывести его изъ-подъ власти случайности, пріискиваются средства для искусственнаго его достиженія—«радѣнія», посты, наркотическія вещества и проч.

Какъ ни много существенныхъ чертъ упущено нами въ этомъ болѣе чѣмъ бѣгломъ очеркѣ происхожденія мрачныхъ взглядовъ на жизнь, но ясно, во всякомъ случаѣ, что именно этими двумя путями, а не какими нибудь другими, внѣдряется пессимизмъ. Ясно далѣе, что мы имѣемъ здѣсь палку о двухъ концахъ, которая бьетъ «однимъ концомъ по барину, другимъ по мужику». Поэтому, Захеръ-Мазохъ, во всякомъ случаѣ, до извѣстной степени правъ, заставляя крестьянина Коланко и оставного солдата Балабана высказывать тѣ же шопенгауеровскія мысли, которыми проникнуты ученый Бодошканъ, коломейскій помѣщикъ, философствующій графъ Тарновскій и, наконецъ, самъ Захеръ-Мазохъ. Если имѣть въ виду только окончательный результатъ, къ которому приходятъ объѣвшіеся и голодные, отправляясь отъ противоположныхъ точекъ, то мы найдемъ, дѣйствительно, значительное сходство между обоими концами палки. Пѣсня полудикаго фанатика: «нѣсть спасенья въ мірѣ, нѣсть; смертъ одна спасти насъ можетъ, смерть», развѣ это—не шопенгауеровскій мотивъ? и развѣ не то же самое говорилъ одолѣваемый сплиномъ англійскій лордъ, утверждая, что въ его роскошномъ саду нѣтъ ни одного дерева, которое не внушало бы ему страстнаго желанія повѣситься? Но, во первыхъ, Захеръ-Мазохъ безконечно далекъ отъ мысли, что это, дѣйствительно—два конца одной и той же палки. Каинъ, по его мнѣнію, завѣщалъ свое проклятое наслѣдство всѣмъ людямъ безъ исключенія и совершенно независимо отъ какого бы ни было различія въ ихъ положеніи. Вѣруя и исповѣдуя, что пессимизмъ есть истина, и Шопенгауеръ—пророкъ ея, Захеръ-Мазохъ, какъ это часто бываетъ съ вѣрующими людьми, даже не задаетъ себѣ вопроса объ общественно-историческихъ корняхъ истины: это—единая, безотносительная истина, въ чемъ можно убѣдиться, прослѣдивъ личную судьбу каждаго, наугадъ выхваченнаго изъ толпы. Его герои приходятъ къ пессимизму, къ убѣжденію, что все скверно въ этомъ сквернѣйшемъ изъ міровъ, не потому, что одни изъ нихъ хронически объѣдались, а другіе хронически голодали, а потому, что пессимизмъ есть истина, соотвѣтствующая міровому порядку. Страдать должны всѣ вообще и каждый въ особенности; такъ было, такъ и будетъ, потому что таковъ міровой законъ; не въ тѣхъ или другихъ историческихъ случайностяхъ лежитъ причина зла, а въ самой жизни. Вы можете устраивать и пытаться устран-

вать эту жизнь, какъ вамъ угодно, но, въ концѣ концовъ, на верхъ, всетаки, всплыветъ единая, безотносительная истина анти-Панглосса: все скверно въ этомъ сквернѣйшемъ изъ міровъ. Значитъ, какъ въ безконечности теряется всякое различіе между правымъ и лѣвымъ, переднимъ и заднимъ, такъ и въ омутѣ жизни теряютъ всякое значеніе особенности обоихъ концовъ палки, бьющей по барину и по мужику: не барина и не мужика она бьетъ, а человѣка, существо, по самой природѣ своей несчастное, отъ вѣка и до вѣка обреченное на горе и страданіе. Можетъ быть, въ непереведенныхъ разсказахъ Захеръ-Мазоха — «Гайдамаки», «Судъ (кажется, «месть») крестьянъ»—побѣдоносные концы палки получаютъ свое логическое оправданіе съ пессимистской точки зрѣнія и включаются въ «завѣщаніе Каина», въ качествѣ самостоятельнаго параграфа, но въ томъ, что мы до сихъ поръ имѣемъ, объ ней даже и помину нѣтъ. Но мы знаемъ, какъ разсуждаютъ объ этомъ нѣкоторые другіе пессимисты. Они могли бы сказать, что, прослѣдивъ общественно-историческіе корни пессимизма, мы указали только пути его торжества, но что пути эти фатальны, неизбѣжны, а потому и вопросъ о нихъ есть вопросъ второстепенный: это значитъ только, что въ числѣ золъ, на которыя обреченъ человѣкъ самою природою, есть палка о двухъ концахъ. Мы приводимъ, отъ лица пессимистовъ, это замѣчаніе только для полноты бесѣды, а, въ сущности, намъ въ настоящей статьѣ заниматься имъ не приходится. Защищать жизнь отъ ея искреннихъ и неискреннихъ враговъ мы здѣсь не намѣрены. Скажемъ только одно. Природа, какъ цѣлое, дѣйствительно, не особенно милостива къ своимъ созданіямъ, и Шопенгауеръ правъ, говоря, что страданія пожираемаго животнаго далеко превышаютъ наслажденіе пожирающаго, а между тѣмъ пожираніе это—законъ природы. Но собственно въ дѣлѣ о побѣдоносной палкѣ велѣнія природы несравненно мягче, благопріятнѣе. Англійскій лордъ, одолѣваемый сплиномъ; коломейскій Донъ-Жуанъ, усталый въ погонѣ за женскимъ сердцемъ; обжора, которому тошно смотрѣть на бѣлый свѣтъ, и проч.—всѣ эти объѣвшіеся люди разбиты въ погонѣ за наслажденіями: они ихъ получаютъ безъ труда и, притомъ, въ такомъ количествѣ, которое рѣшительно не соотвѣтствуетъ обыкновеннымъ человѣческимъ силамъ. Полуднкому фанатику, воспѣвающему смерть, какъ спасительницу, галицкимъ крестьянамъ Коланкѣ и Балабану и проч. выпало, напротивъ, на долю слишкомъ много труда и слишкомъ мало наслажденій. Говорятъ: таковъ законъ природы. Но природа издала законъ совершенно другого рода. Тутъ есть напряженіе извѣстной системы органовъ съ цѣлью произвести то или другое измѣненіе во внѣшнемъ мірѣ. Всякое наслажденіе, кромѣ наслажденія отдыха, есть точно также напряженіе извѣстной органической системы, только завершающееся не во внѣшнемъ мірѣ, а въ сознаніи наслаждающагося. И, по природѣ вещей, рѣшительно ничего не мѣшаетъ совпаденію этихъ двухъ теченій. Мы знаемъ, напротивъ, даже и теперь такіе виды и степени труда, которые сопровождаются высокимъ наслажденіемъ. Сами по себѣ, трудъ и наслажденіе составляютъ только двѣ стороны одного и того же процесса. Разлучаютъ ихъ не коренныя тробованія природы, а вторичныя условія.

Это, впрочемъ, мимоходомъ. Вернемся къ Захеръ-Мазоху.

Какъ ни велико сходство жизненныхъ итоговъ объѣвшихся и голодныхъ, но это всетаки—не полное совпаденіе. Разница въ формулированіи итоговъ—дѣло, разумѣется, пустое: необразованный человѣкъ выразитъ свою мысль грубо и не разовьетъ ея, человѣкъ образованный пуститъ въ ходъ тончайшую діалектику или яркія поэтическія картины, но результатъ—тотъ же. Главная разница—въ отношеніяхъ тѣхъ и другихъ къ печальному нулю, стоящему въ итогѣ. Голодные пессимисты страшно логичны. Если они признаютъ, напримѣръ, любовь зломъ, источникомъ страданій,—они отказываются отъ нея, а если замѣчаютъ, что воля ослабѣваетъ,—они прямо и просто скопятъ себя. Коломейскій Донъ-Жуанъ поступаетъ иначе. Онъ кокетничаетъ горемъ отъ любви и съ нѣкоторымъ своеобразнымъ удовольствіемъ ворочаетъ пессимистскій ножъ въ своихъ ранахъ. Онъ лично вовсе не намѣренъ измѣнять свой образъ жизни, отказываться или даже мало-мальски стѣсняться въ дѣлѣ любви, хотя она и представляется ему въ видѣ какого-то чудовища. Онъ только развиваетъ первому встрѣчному въ корчмѣ свои идеи, а бѣжать отъ чудовища у него просто нравственныхъ силъ нѣтъ. Онъ фокусничаетъ. Графъ Гендрикъ Тарновскій придумывать еще болѣе замысловатый фокусъ—влюбляется въ мужчину. Ошибка Захеръ-Мазоха состоитъ въ томъ, что онъ сдѣлалъ изъ Тарновскаго идеально чистаго юношу. Весь жизненный опытъ этого двадцатилѣтняго мизогина состоитъ въ томъ, что онъ видѣлъ, какъ несчастна была его мать. Это немножко маловато для обращенія на противоестественный путь любви къ мужчинѣ, которое было бы, однако, совершенно понятно въ объѣвшемся старикѣ. Старый

развратникъ (можетъ быть, и молодой годами), которому, дѣйствительно, надоѣла жизнь вообще и любовь въ особенности, но у котораго не хватаетъ силы покончить ни съ той, ни съ другой, можетъ прибѣгнуть, какъ къ послѣднему рессурсу, послѣднему раздражающему отупѣлые нервы средству— къ такой пакости. Если у Захеръ-Мазоха вся эта исторія вышла не пакостна, а глупо смѣшна, такъ единственно потому, что онъ далъ идеально-чистому юношѣ совсѣмъ неподходящую роль. И такъ во всемъ и всегда. Объѣвшійся можетъ очень обстоятельно, съ большою эрудиціей и діалектикой и, притомъ, вполнѣ искренно громить всѣ параграфы завѣщанія Каина и, въ то-же время, цѣпляться за каждый изъ нихъ скрюченными отъ истощенія, изможденными пальцами. Голодный же пессимистъ, если его пальцы инстинктивно, помимо его воли, тянутся къ какому-нибудь клочку каинова наслѣдства, просто отрубаетъ ихъ. На одномъ только практическомъ пунктѣ могутъ сойтись объѣвшіеся и голодные — на самоубійствѣ. Здѣсь объѣвшіеся даже, повидимому, много рѣшительнѣе, чѣмъ голодные, потому что сравнительно чаще лишаютъ себя жизни. Но это зависитъ отъ другихъ различій между ними.

Въ упомянутомъ сочиненіи, Дюрингъ сводитъ происхожденіе пессимизма въ общемъ къ тѣмъ же двумъ источникамъ, хотя нѣсколько иначе развиваетъ вопросъ. Между прочимъ, онъ справедливо говоритъ, что то небытіе, та нирвана, къ которой такъ рвутся объѣвшіеся пессимисты, не есть собственно ни бытіе, ни небытіе, ни жизнь, ни смерть, а нѣчто совершенно двусмысленное, особенно если его поставить рядомъ съ твердыми, опредѣленными чертами загробной жизни, какъ она представляется уму пессимистовъ голодныхъ. Не трудно объяснить причины такой разницы. Въ погонѣ за наслажденіемъ объѣвшійся изнемогаетъ, готовъ проклинать жизнь, которая, дѣйствительно,—едва выносимое бремя для него, но въ силу основнаго психо-физическаго закона Фехнера (ощущеніе ростетъ медленнѣе раздраженія, именно—какъ логариѳмъ его), не можетъ остановиться и разными способами все еще пытается щекотать свои нервы. Онъ и по ту сторону гроба вытягиваетъ эту мучительно дорогую для него нить и боится совершеннаго уничтоженія своей личности, но, въ то-же время, онъ—болѣе или менѣе вольнодумный философъ, съ презрѣніемъ смотрящій на понятія простыхъ людей о загробной жизни. Онъ лавируетъ между тѣмъ и другимъ, и создаетъ какую-то туманную, двусмысленную сферу ни жизни, ни смерти, ни бытія, ни небытія. Голодный пессимистъ находится въ совершенно иномъ положеніи, потому что и болѣзнь его совсѣмъ другая. Источникъ его мрачнаго взгляда на жизнь—чрезмѣрный трудъ при ничтожномъ количествѣ наслажденій, страшное напряженіе творчества при отсутствіи пользованія плодами его. На его долю досталась только та сторона единаго по природѣ вещей процесса труда-наслажденія, которая завершается во внѣшнемъ мірѣ. Какъ бы ни была велика проистекающая отсюда исковерканность человѣческой природы, взросшій на этой почвѣ труда пессимизмъ сохраняетъ въ себѣ нѣкоторое зерно животворнаго начала. Въ девяносто девяти случаяхъ на сто, голодные пессимисты увѣрены, что рано, или поздно, на землѣ или на небѣ наступитъ конецъ мукамъ, и воцарятся правда и добро. Они, какъ наши бѣгуны, настоящаго града не имутъ, но грядущаго взыскуютъ. Многое въ этомъ случаѣ должно быть поставлено на счетъ степени умственнаго развитія голоднаго пессимиста, но многое также составляетъ продуктъ чисто нравственныхъ его требованій. Достойно вниманія, что объѣвшіеся пессимисты страдаютъ, мыслятъ, живутъ въ одиночку, каждый въ берлогѣ своей. Только въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ изъ нихъ слагаются кружки и общины, непремѣнно, надо замѣтить, принимающія фанатически-піэтистическую, мракобѣсную окраску, взятую напрокатъ у голодныхъ пессимистовъ, но совершенно извращенную. Намъ извѣстенъ только одинъ случай оригинальной, своеобразной группировки объѣвшихся пессимистовъ, именно—клубъ самоубійцъ, существовавшій въ первой четверти нынѣшняго столѣтія, члены котораго, по уставу, ежегодно накладывали на себя руки поочередно, по одному въ годъ. Наоборотъ: голодные пессимисты въ большинствѣ случаевъ группируются въ общины, толки, «корабли», живутъ и даже умираютъ, какъ самосожигатели, сообща. Это, конечно, такъ и быть должно, потому что подавляющее большинство жизненныхъ процессовъ объѣвшихся завершается въ нихъ самихъ, въ одинокой личности, тогда какъ значительнѣйшая доля жизненной энергіи голодныхъ направлена, въ видѣ творчества, труда, на внѣшній міръ, на созданіе предметовъ общей пользы и необходимости. Подвергая себя ужаснѣйшимъ мученіямъ, «убивая плоть» самыми варварскими способами, голодные пессимисты почти всегда увѣрены, что они дѣлаютъ не личное свое, а общее дѣло водворенія или приближенія взыскуемаго ими «грядущаго града», въ которомъ всѣмъ мѣсто будетъ. Такимъ же характеромъ искупленія отличаются и ихъ сравнительно рѣдкія, но

за то, такъ сказать, общественныя и, притомъ, болѣе или менѣе мучительныя самоубійства. Простое: взялъ да зарѣзался— почти не практикуется. Для объѣвшихся, напротивъ, это—единственный исходъ, когда весь запасъ возможныхъ фокусовъ истощился, или когда какой-нибудь крупный, рѣзкій переворотъ въ жизни моментально обрываетъ источники новыхъ возбужденій.

Впрочемъ, область пессимистскаго фокусничества можетъ быть, при нѣкоторомъ искусствѣ и доброй волѣ, чрезвычайно расширена, причемъ отличіе отъ требованій голодныхъ пессимистовъ станетъ, разумѣется, обозначаться все рѣзче и яснѣе.

Представимъ себѣ невозможное: голоднаго пессимиста, читающаго «Философію Безсознательнаго «Гартмана. Читатель этотъ—человѣкъ съ изболѣвшимъ сердцемъ, мало образованный, но крайне серьезно, строго, относящійся къ себѣ и ко всему, что доступно его понятію. Онъ не безъ интереса читаетъ первыя главы книги Гартмана, многаго не понимаетъ, многое пропускаетъ, многаго не одобряетъ—потому слишкомъ вольнодумно. Но вотъ онъ приходитъ въ XII главѣ: «Неразумность хотѣнія и муки существованія». Онъ сильно заинтересованъ. «Первая стадія иллюзіи, читаетъ онъ: счастіе предполагается достижимымъ на настоящей ступени міровото развитія, т. е. теперь же доступнымъ для всякаго». Затѣмъ идетъ пессимистская оцѣнка здоровья, молодости, свободы, дружбы, любви, богатства, славы и проч. Всѣ эти вещи оказываются обманчивыми, эфемерными, отовсюду торчатъ змѣиныя жала, слабо прикрытыя розами и золотомъ. Читатель не удовлетворенъ, но интересъ его все ростетъ, онъ видитъ что-то какъ будто родственное себѣ; многое сказано чуть не прямо тѣми самыми словами, которыя онъ и прежде, въ своемъ кругу слыхалъ. «Вторая стадія иллюзіи: счастіе предполагается достижимымъ въ вѣчной, посмертной жизни». Этимъ параграфомъ нашъ читатель совершенно недоволенъ, даже возмущенъ имъ... «Третья стадія иллюзіи: счастіе предполагается лежащимъ въ будущемъ естественнаго мірового процесса». Читатель хмурится все сильнѣе и сильнѣе, но нѣсколько успокаивается, увидя заглавіе XIII главы: «Цѣль мірового процесса и значеніе сознанія (переходъ къ практической философіи)». А, онъ не даромъ прочиталъ толстую книгу: вотъ, наконецъ—«переходъ къ практической философіи», то, что ему особенно нужно! Онъ, вольно или невольно привыкшій къ труду, сростившій съ нимъ свое нравственное существо, онъ дѣйствующій, дѣлающій, всего ближе къ сердцу принимаетъ вопросъ: что же ему дѣлать, какъ ему вести себя въ этой юдоли плача и скрежета зубовнаго, горя и страданій?—«Всѣ стемятся къ счастію, читаетъ онъ,—въ этомъ именно и состоитъ ищущая удовлетворенія воля». Но мы видѣли, что это стремленіе— просто глупость, что надежда на его осуществленіе—иллюзія, что конецъ его—горе разочарованія. Такимъ образомъ, возникаетъ непримиримое противорѣчіе между волей, жаждующей удовлетворенія и счастія, и разумомъ. Противорѣчіе все ростетъ и оканчивается побѣдой сознанія: всякое хотѣніе оказывается вздоромъ; только отреченіе ведетъ къ лучшему изъ возможныхъ состоянію—отсутствію страданія.—Очень одобряетъ это знакомое вступленіе нашъ читатель и, тяжко и сочувственно вздохнувъ, идетъ дальше. Тамъ опять нѣчто знакомое, интересное, за душу хватающее: маленькое разсужденіе о томъ, цѣлесообразно-ли самоубійство вообще и въ особенности добровольная смерть отъ голода, при которой неразумная воля, въ конецъ побѣжденная сознаніемъ, проволакивается за его тріумфальной колесницей по всему долгому процессу мучительной агоніи? «Нѣтъ, говоритъ Гартманъ,—медленно или внезапно вымрутъ люди—бѣдный міръ отъ этого не перестанетъ существовать. Мало того: великое метафизическое начало Безсознательнаго воспользуется первымъ удобнымъ случаемъ для созданія новаго человѣка или другого подобнаго типа, и рогъ изобилія страданія наполнится вновь. Всѣ попытки индивидуальнаго отреченія отъ воли основаны на узкомъ и безнравственномъ себялюбіи: надо не себя только освободить, а способствовать освобожденію всего бѣлаго свѣта».— Есть тутъ вещи неясныя и непріятныя для нашего воображаемаго читателя, но конецъ онъ встрѣчаетъ, какъ манну небесную голодный еврей въ пустынѣ, тѣмъ болѣе, что авторъ дѣлаетъ ссылку на посланіе къ римлянамъ. Да, это—именно то, что ему нужно: не себя только спасти—велика штука повѣситься!—а весь божій міръ; правда, онъ до сихъ поръ подъ міромъ больше людей разумѣлъ, но если господинъ Эдуардъ фонъ-Гартманъ научитъ, какъ спасти «всякую тварь», такъ чего лучше? Но непродолжительны, однако, надежды читателя— недаромъ г. Эдуардъ фонъ-Гартманъ убѣждалъ его никогда не надѣяться! Конецъ страданіямъ,—гласитъ толстая книга— можетъ наступить только въ моментъ окончанія мірового процесса. Поэтому каждый долженъ отдаться теченію мірового процесса, сдѣлать цѣли Безсознательнаго цѣлями своего сознанія. Такимъ путемъ «инстинктъ снова водворится въ своихъ правахъ, и обращеніе воли къ жизни провозгласится еди-

ною предварительною истиною*); потому что, только вполнѣ отдавшись жизни и ея страданіямъ, а не путемъ жалкаго личнаго отреченія и самоустраненія, можно совершить нѣчто для мірового процесса». «Мыслящій читатель пойметъ, прибавляетъ Гартманъ,— что построенная такимъ образомъ практическая философія заключаетъ въ себѣ полное примиреніе съ жизнью». Можетъ быть, все это очень хорошо, но, увы! нашъ читатель не имѣетъ права титуловаться «мыслящимъ». Поэтому, онъ съ негодованіемъ швыряетъ объ полъ толстую книгу, которая обѣщала ему такъ много и дала такъ мало, которая такъ старалась поссорить его съ жизнью, полною страданій, только для того, чтобы потомъ стараться примирить его съ тою же жизнью, полною тѣхъ же страданій. А это, опять-таки, нужно только для того, чтобы не задерживать мірового процесса съ его концомъ—опустѣлымъ, охладѣлымъ міромъ... «Дрянной, возмутительный фокусъ! возмутительная насмѣшка надъ страданіемъ!» думаетъ нашъ грубоватый читатель. И хорошо еще, что не дочиталъ конца книги, гдѣ излагается въ общихъ чертахъ проектъ превращенія воли и существованія во всемъ мірѣ единовременнымъ рѣшеніемъ людского сознанія, людского или же сознанія другихъ, высшихъ существъ, которыя замѣнятъ къ тому времени людей на землѣ; потому что это еще не очень скоро будетъ. Хорошо также, что онъ не прочиталъ нѣкоторыхъ другихъ сочиненій Гартмана и, между прочимъ, его любезно сообщенной человѣчеству автобіографіи. Онъ узналъ бы тогда, что господинъ Эдуардъ фонъ-Гартманъ, такъ краснорѣчиво описывающій муки бытія, такъ рѣшительно разбивающій надежды на любовь, дружбу, семейное счастіе и проч., нанимаетъ въ Берлинѣ очень миленькій домъ, гдѣ проводитъ время, свободное отъ философскихъ занятій, въ кругу горячо любимой и горячо любящей супруги, прелестныхъ малютокъ-дѣтей и добрыхъ друзей, которые часто «приходятъ повеселиться къ пессимисту». Хорошо, что всего этого не узналъ нашъ голодный пессимистъ, потому что, при его необразованности и склонности къ фанатизму, можно бы было ждать большихъ непріятностей для господина Эдуарда фонъ-Гартмана и подобныхъ ему объѣвшихся пессимистовъ... Это вполнѣ натурально, впрочемъ: пока палка не сломана, концы ея сблизить нельзя.

Захеръ-Мазохъ до такой степени далекъ отъ пониманія того, что произошло бы въ дѣйствительности при встрѣчѣ объѣвшихся и голодныхъ пессимистовъ, что заставляетъ ихъ дружественно бесѣдовать между собой и, притомъ, такъ, что не знаешь, гдѣ кончается рѣчь одного, и гдѣ начинается рѣчь другого. Образчикомъ можетъ служить бесѣда самого автора съ солдатомъ Балабаномъ и столѣтнимъ старикомъ-крестьяниномъ Коланко въ разсказѣ «Фринко Балабанъ». Не въ томъ бѣда, что всѣ собесѣдники говорятъ одно и то-же, развивая на разные лады мысль древняго объѣвшагося пессимиста насчетъ суеты суетъ и всяческой суеты. Мы видѣли, что до извѣстной степени такое совпаденіе мыслей и даже чуть не словъ—совершенно въ порядкѣ вещей. Но отношеніе къ предмету у голодныхъ и объѣвшихся непремѣнно различное, чего Захеръ-Мазохъ не досмотрѣлъ или, по малой мѣрѣ, не сумѣлъ выразить. Нельзя допустить, чтобы галицкіе голодные пессимисты, галицкіе «странники» рѣзко отличались отъ другихъ людей того же рода. Пусть Австрія—имъ мать (какъ это даетъ понять Балабанъ въ разсказѣ о своихъ солдатскихъ похожденіяхъ), а голодъ—даже не тетка, а такъ, какая-то седьмая вода на киселѣ; но голодные люди всѣхъ странъ и временъ всетаки какъ то удивительно другъ на друга похожи. Въ непереведенной второй серіи разсказовъ, входящихъ въ составъ «Завѣщанія Каина», должно быть не мало картинъ изъ собственно народнаго галицкаго быта. Но изъ того, что имѣется у насъ въ рукахъ теперь, можно выудить, кажется, только одну характерную въ этомъ отношеніи черту. Коломейскій Донъ-Жуанъ, чтобы показать, какъ счастливъ былъ онъ первое время съ женой, разсказываетъ, между прочимъ, слѣдующее: «Однажды казачекъ роняетъ дюжину тарелокъ: онъ положилъ гору тарелокъ и несъ ее, придерживая подбородкомъ, какъ вдругъ все летитъ на полъ. Жена хватаетъ кнутъ съ гвоздя. «Ну, если госпожа меня постегаетъ, говоритъ онъ— такъ я всякій день буду ронять по дюжинѣ тарелокъ!» понимаете ли вы?—и оба смѣются». Это одна идиллія, а вотъ другая. Героиня повѣсти «Сказка о счастіи» (о которой сейчасъ скажемъ нѣсколько словъ), прелестнѣйшая, умнѣйшая, образованнѣйшая, добрѣйшая, словомъ, идеальнѣйшая Марцелла пишетъ мужу: «Я не могла побѣдить своего гнѣва и начала хлестать своимъ кнутикомъ этого негодяя (работника Вальтера), и хлестала его до тѣхъ поръ, пока кровь не выступила на его лицѣ; те-

*) Сомнѣваясь въ удовлетворительности своего перевода этой фразы, напечатанной у Гартмана крупнымъ шрифтомъ, приводимъ ее въ подлинникѣ: «...wird auf diesem Standpuncte der Instinct... wieder in seine Rechte eingesetzt und die Bejahung des Willens zum Leben als das vorläufig allein Richtige proclamirt».

перь онъ своимъ видомъ похожъ на тигра, но за то совершенно присмирѣлъ». Преступленіе же Вальтера состояло въ томъ, что онъ накормилъ своего ястреба воробьями, находившимися подъ покровительствомъ барыни. Можетъ быть, слѣдуетъ видѣть нѣчто національно галицко-русское или государственно-австрійское въ обычаѣ галицкихъ изящныхъ дамъ (читающихъ, между прочимъ, «Фауста» и «Дворянское гнѣздо») — собственноручно расправляться «кнутиками» (маленькіе они такіе, дамскіе). Но что касается казачка и Вальтера, такъ они могли сыграть свою роль во всякой даже совершенно чужестранной идилліи, въ свое время, разумѣется. Теперь можетъ быть, и галицко-русскія изящныя дамы не дерутся.

Итакъ, и галицкіе «странники», и Балабанъ, и Коланко, едва ли рѣзко отличаются отъ голодныхъ пессимистовъ всѣхъ вѣковъ и странъ. А между тѣмъ Захеръ-Мазохъ влагаетъ имъ въ уста совершенно несоотвѣтственныя рѣчи. Извольте, напримѣръ, понять, что нижеслѣдующая рѣчь ведетъ не bel-esprit какой-нибудь, а галицкій мужикъ:

Видите ли, баринъ, я такъ думаю про себя: ты, братъ, довольно поскучалъ въ свою столѣтнюю жизнь, но будетъ же этому конецъ, а тутъ вдругъ о вѣчной жизни вспомнишь. Положимъ, господа, что оно все такъ и есть, какъ говорится о будущемъ блаженствѣ. Хорошо. Сперва могло бы показаться, что и тамъ не скучно, что и тамъ нѣтъ недостатка въ забавныхъ разговорахъ. Вотъ напримѣръ, св. Севастьянъ разскажетъ мнѣ, какъ турки пускали въ него свои стрѣлы, какъ пригвоздили его, подобно совѣ, и какъ онъ всетаки пошелъ навстрѣчу къ государю-язычнику и сказалъ ему: «въ тебѣ собачья кровь»! Разскажетъ онъ, какъ послѣ того его окончательно убили. Затѣмъ епископъ Поликарпъ повѣдаетъ мнѣ, какіе дѣльные отвѣты давалъ онъ какому-то фельдмаршалу-язычнику и какъ за то его изжарили на кострѣ. Но, наконецъ, св. Севастьянъ тысячу разъ будетъ разсказывать о стрѣлахъ и св. Винцентъ объ острыхъ стеклянныхъ осколкахъ; но вѣдь это что-же? А вдобавокъ—не спать, вовсе не знать благодатнаго сна! Вѣдь когда спишь, то въ волю позѣваешь, а кто знаетъ, могутъ ли даже зѣвать блаженныя души?»

Не беремся судить объ остроуміи этихъ игривостей, но что онѣ вполнѣ неумѣстны— въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Для голоднаго пессимиста затронутый вопросъ слишкомъ серьезенъ и задушевенъ, чтобы онъ могъ трактовать его *съ такимъ* юморомъ. Оцѣнка настоящаго и будущаго съ точки зрѣнія скуки приличествуетъ только объѣвшемуся пессимисту.

Такъ-же неумѣстны и размышленія Балабана, котораго Захеръ-Мазохъ хотѣлъ одѣлить всѣми возможными и невозможными достоинствами и обвалялъ въ мелко истолченной добродѣтели, какъ котлету въ сухарахъ. Вообще надо замѣтить, что лучшій изъ мелкихъ переведенныхъ разсказовъ Захеръ-Мазоха — «Коломейскій Донъ-Жуанъ». Это—дѣйствительно типичная фигура, но за то это—единственный герой, котораго авторъ откровенно изображаетъ объѣвшимся. Всѣ остальные или совсѣмъ ничтожны, или на ходуляхъ стоятъ, или говорятъ совсѣмъ не тѣ рѣчи, которыя по ходу дѣла могутъ и должны говорить. Зависитъ это отчасти отъ необширныхъ размѣровъ таланта Захеръ-Мазоха, а отчасти оттого, что онъ самъ фокусничаетъ, а не серьезно и строго относится къ своему дѣлу. Получивъ «просіяніе своего ума» отъ Шопенгауера, онъ безъ разбора тычетъ всѣмъ и каждому ученіе нѣмецкаго пессимиста, даже не пытаясь прослѣдить, какимъ путемъ могло оно привиться тому, другому, пятому, десятому лицу. Но верхъ его фокусничества, это—послѣдній разсказъ: «Марцелла или сказка о счастьи», изъ котораго можно пожалуй вывести заключеніе, что авторъ, въ дѣйствительности—вовсе не такой ужъ отчаянный пессимистъ, какимъ желалъ бы казаться.

Извѣстно, какъ смотритъ на любовь Шопенгауеръ: природа сводитъ мужчину и женщину подъ предлогомъ будто бы ихъ личнаго счастія, а въ сущности единственно для того, чтобы продолжить родъ человѣческій; когда дѣло сдѣлано,—повязка падаетъ съ глазъ, и лучезарное счастіе, такъ обольстительно манившее, оказывается ничѣмъ не лучше пламени свѣчи, на которое летитъ и обжигаетъ себѣ крылья ночная бабочка. До сихъ поръ въ повѣстяхъ Захеръ-Мазоха мы и видѣли разные случаи горя отъ любви. Авторъ предисловія къ русскому переводу «Завѣщанія Каина» разсказываетъ, что повѣсти эти своей тенденціей произвели неблагопріятное впечатлѣніе на нѣкоторыхъ нѣмецкихъ критиковъ; автора обвинили, какъ это и въ другихъ странахъ бываетъ, въ разныхъ злокозненныхъ «измахъ». «Какъ бы въ отвѣтъ на эти обвиненія, пишетъ авторъ предисловія,—Захеръ-Мазохъ написалъ свою «Марцеллу», названную имъ «сказкой о счастіи»; здѣсь любовь и семейный очагъ находятъ себѣ полное уваженіе, а душевная гармонія любящихъ сердецъ и вся обстановка окрашены такими цвѣтами, которые никакъ не могли сойти съ палитры художника-матеріалиста». Въ отвѣтъ-ли не въ отвѣтъ-ли на упреки написалъ Захеръ-Мазохъ «Марцеллу», во всякомъ случаѣ, онъ напустилъ въ нее столько «цвѣтовъ», столько цвѣтовъ, что не одинъ Калхасъ сказалъ бы: «слишкомъ много цвѣтовъ!» Не слѣдуетъ думать, что заглавіе «сказка о счастіи» намекаетъ на какія-нибудь тайныя намѣренія автора перенести счастіе въ область сказки и тѣмъ рѣшительнѣе протестовать противъ

возможности его въ дѣйствительности, какъ этого можно бы было ожидать отъ послѣдовательнаго пессимиста. Нѣтъ, въ повѣсти фигурируетъ настоящая сказка о счастіи, разсказанная сначала въ видѣ аллегорическаго вступленія, а потомъ чуть-чуть припутанная къ фабулѣ. Мораль этой незамысловатой сказки состоитъ въ томъ, что счастія надо искать на родинѣ и въ любви. Въ повѣсти, по обыкновенію нашего автора, дѣйствующія лица излагаютъ, не переводя духа, цѣлыя диссертаціи объ условіяхъ любви, и необыкновенно только то, что идутъ разсужденія объ условіяхъ *счастливой* любви. Все это мало любопытно, скучно и, наконецъ, къ дѣлу не идетъ. А дѣло-то въ томъ, что графъ Александръ Комаровъ обладаетъ необыкновенными и многоразличными достоинствами. Онъ—«со всѣхъ точекъ зрѣнія человѣкъ, подобнаго которому найти не легко»: богатъ, красивъ, образованъ, уменъ, силенъ, здоровъ, добродѣтеленъ, одаренъ всепокоряющей силой воли. За то же и пара ему досталась: «она была такъ хороша, что мнѣ не случалось и никогда не случится увидѣть такую женщину. Всѣ прелести дѣвицы и женщины, все очарованіе естественности, простодушія и силы соединялись въ ней съ пикантнымъ благородствомъ, граціозной эластичностью и умственной возвышенностью, такъ что все вмѣстѣ взятое вѣяло такою обольстительностью, что я совершенно пришелъ втупикъ — трудно бы найти равное ей существо». Вдобавокъ, она такъ хорошо дерется «кнутикомъ» и такъ понимаетъ Тургенева, что мужъ отзывается о ней въ тонѣ, достойномъ коломейскаго Донъ-Жуана: «днемъ—самая красивая и умная изъ Сивиллъ, а ночью—Венера». Вы ждете, что пессимистъ-авторъ такъ густо нарумянилъ и набѣлилъ графа Комарова и Марцеллу съ тою злостною, но естественною въ авторѣ «Завѣщанія Каина» цѣлью, чтобы показать, что вотъ-молъ—на что ужъ, кажется, ангелы, а и то въ концѣ-концовъ передрались и разбѣжались въ разныя стороны. Ничуть не бывало. Графъ Комаровъ и Марцелла, не смотря на дѣтей, не смотря на всѣ обманы природы, не смотря на Шопенгауэра и завѣщаніе Каина, до такой степени счастливы, что описаніе ихъ счастья можетъ произвести тошноту въ читателѣ съ мало-мальски развитымъ эстетическимъ чутьемъ. Причемъ же тутъ завѣщаніе Каина? И не есть ли это—повтореніе фокуса Гартмана, который на протяженіи толстой книги ссоритъ читателя съ жизнью, чтобы мирить его съ тою же жизнью на одной изъ послѣднихъ страницъ?

III.

Въ чемъ же состоитъ славянскій или даже «русскій» кругозоръ, открывшійся Европѣ чрезъ посредство произведеній Захеръ-Мазоха? Прежде всего, тутъ есть нѣкоторыя недоразумѣнія, отчасти серьезныя, отчасти забавныя. Одинъ изъ французскихъ рецензентовъ, мнѣнія которыхъ приложены къ «Идеаламъ нашего времени», говоритъ:

«На славянскомъ востокѣ мы замѣчаемъ возникновеніе реалистической школы. Тутъ реализмъ является съ совершенно своеобразнымъ, новымъ взглядомъ и неразлученъ съ тѣмъ пессимизмомъ, который лежитъ въ основѣ нравственной философіи этихъ пастушескихъ народовъ, именно—съ покорностью судьбѣ и слѣпымъ подчиненіемъ закону. Самымъ замѣчательнымъ и значительнымъ представителемъ этой школы является Захеръ-Мазохъ, малороссіянинъ изъ Галиціи... Онъ—доктринеръ и ярый послѣдователь Шопенгауера, чего онъ и не скрываетъ. И дѣйствительно, онъ имѣетъ право ссылаться на него. Смѣло можно назвать Захеръ-Мазоха, послѣ Шопенгауера, величайшимъ изъ славянскихъ философовъ. Во всякомъ случаѣ, ни одинъ изъ нихъ не сумѣлъ, подобно ему возвести пессимизмъ па степень нравственнаго закона и основать метафизику на природномъ побужденіи».

Французскіе критики отличаются часто такимъ невѣжествомъ, а русскіе переводчики столь же часто такою безграмотностью, что мы не беремся рѣшить, кто въ данномъ случаѣ обратилъ Шопенгауера въ славянина, и на чьей вообще душѣ лежитъ грѣхъ приведенной сплошной нелѣпости. По всей вѣроятности, надо раздѣлить грѣхъ пополамъ: французъ сболтнулъ, русскій повторилъ и немножко еще перевралъ. Но и болѣе, вообще говоря, свѣдущіе нѣмецкіе критики называютъ Захеръ-Мазоха «народнымъ, славянскимъ и современнымъ намъ Шопенгауеромъ» и т. п. И самъ Захеръ-Мазохъ считаетъ себя національнымъ «русскимъ» писателемъ, хотя и пишетъ по-нѣмецки и ищетъ, какъ мы упоминали, «нашихъ» и «нашего» въ Германіи. Останавливаясь на внѣшней сторонѣ дѣла, можно замѣтить, что Захеръ-Мазохъ раздѣляетъ судьбу многихъ австрійскихъ славянъ: славянинъ родомъ, онъ впутывается въ государственный организмъ Австріи, а черезъ борьбу ея съ Пруссіей изъ за преобладанія въ Германіи, въ нѣмецкія дѣла вообще, такъ что онъ и тамъ, и тутъ—«свой». (Кстати: авторъ предисловія къ «Завѣщанію Каина» утверждаетъ, что, послѣ Садовой, «основавъ оппозиціонную «Пруссіи» газету, Захеръ-Мазохъ открыто заявилъ себя представителемъ галиційской русской партіи, которая торжественно отдала себя подъ его покровительство». Отнюдь не хвастаясь знакомствомъ съ взаимными отно-

шеніями галицкихъ партій, мы беремъ на себя, всетаки, смѣлость сказать, что это—пустяки. (Но дѣло не въ этомъ, а въ «славянскомъ кругозорѣ» Захеръ-Мазоха. Славянскій кругозоръ, имѣющій въ діаметрѣ нѣмца Шопенгауера, это—нѣчто очень странное. Да и какой же національности можетъ быть поставленъ въ счетъ кругозоръ, возникающій, при извѣстныхъ условіяхъ, во всѣ времена и во всякой странѣ? Индусы и евреи, малороссы и греки, великороссы и нѣмцы, римляне и болгаре—всѣ попробовали этого меда и именно въ тѣхъ двухъ направленіяхъ, которыя мы пытались обозначить. Вся разница въ томъ, что въ какой-то странѣ и въ какое-то время одно изъ этихъ направленій выразилось ярче, чѣмъ другое, а въ другой странѣ и въ другое время—наоборотъ. Если писатель избираетъ театромъ дѣйствія для своихъ произведеній свою родину, то изъ этого еще вовсе не слѣдуетъ, что онъ—національный писатель, тѣмъ паче когда онъ, какъ Захеръ-Мазохъ, пишетъ на чужомъ языкѣ. Вотъ еслибы онъ уловилъ ту мѣстную пропорцію голодныхъ и объѣвшихся пессимистовъ, какая имѣется на его родинѣ, еслибы онъ прослѣдилъ эту пропорцію до самыхъ ея корней въ мѣстной жизни—тогда былъ бы другой разговоръ. Тогда онъ былъ бы писатель національный по колориту и, въ то-же время, общечеловѣческій, какъ пѣвецъ объѣвшихся или голодныхъ, смотря по тому, чье горе и чье отношеніе къ жизни ближе принялъ бы къ сердцу. Теперь же, въ виду произведеній Захеръ-Мазоха, даже и не приходится говорить о національномъ и общечеловѣческомъ элементахъ въ поэзіи: нѣтъ поводовъ для такого разговора. Онъ—просто неразборчивый и мало талантливый художественный комментаторъ Шопенгауера. Для пессимистской теоріи онъ сдѣлалъ, какъ мы видѣли, очень немного, для своей родины—еще меньше, потому что, если, напримѣръ, олухи, въ родѣ графа Гендрика Тарновскаго, или изящныя дамы, въ родѣ Марцеллы, вообще возможны, то они одинаково могутъ рождаться и въ Галиціи, и въ Китаѣ.

Для своей второй родины, Германіи, онъ сдѣлалъ больше. Это не значитъ, однако, чтобы онъ сдѣлалъ много.

«Идеалы нашего времени» посвящены Германіи, — новой, побѣдоносной Германіи. Для послѣдовательнаго пессимиста трудно найти болѣе благодарную тему. Это водвореніе грубаго милитаризма и самохвальства, эта пятимилліардная контрибуція, сыгравшая чуть не роль троянскаго деревяннаго коня; эта страшная горячка спекуляціи, породившая въ два года чуть не тысячу акціонерныхъ компаній, наполовину дутыхъ; эти банкротства, крахи и биржевые скандалы — какая тема выгоднѣе для романиста-пессимиста? Осмѣявъ старую Германію, русокудрую дѣву, съ голубыми очами, воздѣтыми горѣ, съ вѣнкомъ изъ незабудокъ на головѣ, съ кружкой пива въ одной и Вертеромъ въ другой рукѣ; разбивъ старыя иллюзіи сантиментальной любви, самодовлѣющей учености, мѣщанскаго счастія и проч., романистъ-пессимистъ могъ бы перейти къ новымъ иллюзіямъ власти, богатства, славы. Но Захеръ-Мазохъ оказался художникомъ, недоросшимъ до своей темы, и довольно дешевымъ моралистомъ. И самъ онъ, и его излюбленные, благороднѣйшіе до глупости герои громятъ иногда «наше время» за такіе пустяки, о которыхъ, во-первыхъ, и говорить не стоитъ и которые, во-вторыхъ, вовсе не составляютъ исключительнаго достоянія нашего времени. Мужчина надѣваетъ дѣвушкѣ коньки. Авторъ морализируетъ по этому случаю такъ: «Лицемѣріе, столь же слѣпое, какъ и самъ богъ Амуръ, такъ вкралось въ нашу общественную жизнь и изгнало изъ нея столько невинныхъ удовольствій, что теперь люди принуждены закрывать глаза на гораздо худшія вещи. Что можетъ, напримѣръ, болѣе возбудить фантазію, пробудить чувственность и прогнѣвить моралиста, какъ не близость красивой дамы, которая ставитъ ножку на колѣни къ лежащему (?) возлѣ нея мужчинѣ?» Нѣкто Плантъ, оказывающійся впослѣдствіи отъявленнымъ мерзавцемъ (около этого мерзавца группируются, впрочемъ, лучшія и, дѣйствительно, хорошія мѣста романа), занялъ у своего благороднѣйшаго пріятеля Андора фракъ, чтобы сходить на экзаменъ, да и заложилъ его. Событіе довольно обыкновенное въ студенческомъ быту и нашего, и стараго времени. Но авторъ освѣщаетъ его слѣдующимъ полупатетическимъ, полусаркастическимъ замѣчаніемъ: «Такова была его благодарность за всѣ благодѣянія, которыми до сихъ поръ осыпало его старомодное семейство, а такъ какъ оно по-прежнему продолжало принимать его привѣтливо, то не имѣлъ ли онъ права осмѣивать всѣхъ его членовъ?» Такая стрѣльба изъ пушекъ по воробьямъ раздается чуть не на каждой страницѣ, что утомляетъ читателя и сглаживаетъ впечатлѣніе болѣе сильныхъ мѣстъ романа. Они есть. Захеръ Мазохъ не церемонится со своей побѣдоносной второй родиной, и намъ, готовящимся нынѣ побѣдить Турцію, не мѣшаетъ познакомиться съ «Идеалами нашего времени». Тѣмъ болѣе, что Захеръ-Мазохъ дѣлаетъ намъ въ одномъ мѣстѣ любезность, утверждая, что насъ — въ противоположность нѣмцамъ—военные успѣхи не склоняютъ къ заносчивости, къ презиранію другихъ націй, вообще не портятъ...

Читатель, разумѣется, избавитъ насъ отъ пересказа «Идеаловъ нашего времени», и мы покончимъ двумя-тремя замѣчаніями.

«Идеалы нашего времени»—скорѣе обличительный романъ, чѣмъ философскій. Даже любимая пессимистская идея Захеръ-Мазоха хотя и тянется кое-гдѣ, но очень слабо, неполно, небрежно. «Идеаламъ нашего времени» противопоставляются идеалы такъ называемаго добраго стараго времени и, между прочимъ, старая нѣмецкая любовь и старое нѣмецкое семейное счастіе. Оборотъ—немножко странный для пессимиста, такъ настойчиво твердящаго, что любовь есть бичъ, оставленный человѣчеству Каиномъ, и что семейное счастіе есть иллюзія, быстро разлетающаяся. Далѣе, Захеръ-Мазохъ и не замѣчаетъ, что всѣ обличаемые имъ идеалы нашего времени—погоня за славой, за наживой, за наслажденіями—ведутъ къ разочарованіямъ и нравственнымъ банкротствамъ, которыя, въ свою очередь, какъ это можно доказать логически и исторически, завершаются пессимизмомъ и самоубійствами. Слѣдовательно, съ точки зрѣнія пессимиста, Германія просто вкусила плодовъ древа познанія добра и зла.



Романическая исторія *).

„Идеалисты и реалисты“. Историческій романъ Д. Л. Мордовцева. Спб. 1878.

Романъ г. Мордовцева вводитъ насъ въ ту бурную эпоху, которая еще не такъ давно служила яблокомъ раздора между мыслящими русскими людьми—въ эпоху петровскихъ реформъ, изъ-за которой преломили столько копій западники и славянофилы.

Въ Днѣпрѣ купается прекрасная Оксана Хмара, купается, тонетъ и, какъ это обыкновенно случается съ прекрасными дѣвицами, вытаскивается изъ воды руками гренадерскаго капитана Левина. Стрѣлы амура, испоконъ вѣка выслѣживающаго прекрасныхъ дѣвъ и мужественныхъ гренадеровъ, исправно служатъ свою службу и одновременно уязвляютъ сердца спасенной и спасителя. Но суровый и взбалмошный великанъ, Петръ, безжалостно разорвалъ нѣжную цѣпь любви: онъ пожелалъ отдать Оксану замужъ за своего деньщика, Орлова, и хотя Оксана предпочла монастырь измѣнѣ своему гренадеру, но Левинъ всетаки остался съ раной въ сердцѣ. Суровый великанъ, растоптавшій его счастье, даже не подозрѣвая его существованія, точно также безжалостно топчетъ и старую Русь, не жалѣя даже своего сына, благодушнаго царевича Алексѣя. Левинъ видитъ все это, и рана его сердца все больше и больше растравляется. Онъ рѣшаетъ уйти въ монастырь, но и тутъ ему становится поперекъ дороги всемогущая воля державнаго великана: царь велѣлъ давать въ подобныхъ случаяхъ офицерамъ отставку только по болѣзни и послѣ строгаго медицинскаго изслѣдованія. Одержимый несомнѣнною нервною болѣзнію, Левинъ терпитъ варварское изслѣдованіе и получаетъ свободу. Въ монастырь, однако, онъ не поступаетъ, потому что узнаетъ, что даже въ славной Соловецкой обители монахи ѣдятъ мясо — такъ глубоко распространился ядъ «реализма!» Левинъ отправляется въ муромскій раскольничій скитъ въ сопровожденіи нѣкоего старца, Варсанофія или Никитушки Паломника, недаромъ прозваннаго «Агасферіемъ»: какъ вѣчный жидъ, онъ ходитъ, ходитъ, ходитъ... Въ скиту амуръ опять пронзилъ любвеобильное сердце бывшаго гренадерскаго капитана. Его увидѣла хорошенькая Евдокѣюшка «и предалась любви съ тѣхъ поръ». Бывшій гренадеръ не остался въ долгу; «бѣлая рожица» Евдокѣюшки полонила его сердце. Но и на этотъ разъ воля суроваго царя, хотя и не столь непосредственно, какъ въ исторіи Оксаны Хмары, разбила счастье Левина. Пришли царскіе солдаты раззорять раскольничій скитъ. Раскольники не пожелали ни покориться, ни выдать своего учителя. Они собрались въ молельнѣ, подожгли ее и всѣ сгорѣли. Погибла и Евдокѣюшка, насильно удержанная въ огнѣ однимъ фанатикомъ. Левинъ видѣлъ все это и остался цѣлъ—онъ случайно находился внѣ скита, когда пришли солдаты. Рана въ сердцѣ Левина растетъ и растетъ. Въ немъ развивается жажда борьбы и подвига, мучительная и непреодолимая жажда

*) 1878 г. октябрь.

помѣряться съ окружающимъ его міромъ зла. Онъ постригается въ монахи и затѣмъ разражается фанатическою проповѣдью противъ царя-«антихриста». Его арестуютъ, пытаютъ, казнятъ... Въ числѣ зрителей находится монахиня. Это — Оксана Хмара. Левинъ узнаетъ ее въ толпѣ за минуту передъ тѣмъ, какъ топоръ палача навѣки успокоиваетъ его...

Таковъ голый остовъ романа г. Мордовцева, его интрига. Затѣмъ въ романѣ фигурируютъ и Петръ, и царевичъ Алексѣй, и его возлюбленная, и «птенцы гнѣзда Петрова», и Стефанъ Яворскій, и раскольники, юродивые, монахи, солдаты и проч.

Какъ романъ, произведеніе г. Мордовцева совсѣмъ слабо, да и едва ли справедливо, едва-ли даже возможно судить его, какъ поэтическое произведеніе, хотя оно и называется историческимъ романомъ. Ни одного истинно художественнаго образа въ романѣ нѣтъ, и самыя потрясающія сцены не производятъ подъ перомъ нашего автора и сотой доли того впечатлѣнія, на какое онѣ сами по себѣ способны. Петръ, присутствующій при казни красавицы Гамильтонъ, царевичъ Алексѣй, бѣгущій въ Вѣну и обезумѣвшій отъ страха, сцена самосожженія фанатиковъ-раскольниковъ, сцены казней и пытокъ, допросъ Стефана Яворскаго, оговореннаго Левинымъ—все это такіе сюжеты, которые требуютъ большого таланта, чтобы въ ихъ воображеніи не вышло недосола или пересола, но которые за то для крупнаго таланта въ высокой степени благодарны. Одно время ходили слухи, что графъ Левъ Толстой пишетъ романъ изъ петровскихъ временъ. Чего бы онъ ни сдѣлалъ изъ сюжетовъ, наскоро обработанныхъ г. Мордовцевымъ!..

Да и не въ беллетристикѣ тутъ дѣло, хотя, конечно, и не въ исторіи. Дѣло — въ «реалистахъ» и «идеалистахъ».

Слабый историческій романъ не можетъ, разумѣется, быть удовлетворительнымъ зеркаломъ изображаемой имъ эпохи—иначе онъ не былъ бы слабъ—но онъ можетъ иногда очень хорошо отражать состояніе умовъ эпохи современной. И еслибы меня спросили, какія книги могутъ служить руководствомъ для уразумѣнія переживаемаго нами времени, то я бы непремѣнно указалъ, между прочимъ, на романъ г. Мордовцева, хотя рѣчь въ немъ идетъ о дѣлахъ давно минувшихъ дней и преданьяхъ старины глубокой. Никому не придетъ въ голову изучать эпоху Петра по роману г. Мордовцева, но, какъ матеріалъ для изученія нашего времени, онъ очень пригоденъ. Само собою разумѣется, что не вся русская земля съ ея разнообразными интересами, чувствами и помышленіями отразилась въ зеркалѣ романа г. Мордовцева, а только извѣстная группа интересовъ, чувствъ и помышленій, но это не лишаетъ «Идеалистовъ и реалистовъ» чисто современнаго значенія.

Идеалисты г. Мордовцева—противники петровской реформы, реалисты—ея сторонники. Самъ авторъ видимо сочувствуетъ идеалистамъ, то есть противникамъ реформы, остаткамъ старой, допетровской Руси. Удивительнаго тутъ ничего нѣтъ. Удивительно, напротивъ, что романъ г. Мордовцева есть до сихъ поръ единственное въ своемъ родѣ произведеніе. По нынѣшнему времени, когда мы такъ проникнуты мыслію о гнилости Европы; когда профессоръ Бестужевъ-Рюминъ заявляетъ въ оффиціальномъ изданіи, по поводу книги Рамбо, что «наступаетъ время европейской цивилизаціи уступить свое мѣсто»; когда газеты изо-дня въ день поютъ за упокой Европы—по нынѣшнему времени, надо бы было ждать десятковъ романовъ съ тенденціей «Идеалистовъ и реалистовъ». Они, впрочемъ, по всей вѣроятности, не заставятъ себя ждать съ легкой руки г. Мордовцева, хотя надо замѣтить, дорога передъ ними растилается не такою уже гладкою скатертью, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Есть тутъ одинъ коварный подводный камень, который не легко благополучно миновать.

Въ романѣ г. Мордовцева нѣтъ народа, хотя есть люди изъ народа. Мы видимъ обитателей скитовъ, слушателей проповѣдей объ антихристѣ, зрителей смертной казни, но не имѣемъ ни одной картины изъ обыденной, сѣрой народной жизни. Этой жизни авторъ намъ воочію не показываетъ, а только разсказываетъ объ ней своими словами и словами своихъ дѣйствующихъ лицъ. При этомъ мы узнаемъ слѣдующее: «Аки рыба распуганная, разбѣжались такъ россійскіе люди отъ указовъ немилостивыхъ, отъ поборовъ тяжкихъ, отъ некрутства ежелѣтняго, непрестаннаго. Кровавыми слезами плачется русская земля» («Идеалисты и реалисты», стр. 95). «И это все тѣ сѣрые зипуны съ сѣрыми лицами, съ продыравленными локтями, съ истоптавшимися грязными лаптями—все это они, вѣчно живущіе впроголодь и впоколоть, питающіеся чернымъ, какъ комья засохшей грязи, и жесткимъ, какъ эти же комья, хлѣбомъ, нагромоздившіе сотни и тысячи бѣдныхъ, грязныхъ городовъ и налѣпившіе словно стрижовыхъ гнѣздъ милліоны жалкихъ плетеныхъ, рубленныхъ, мазаныхъ, соломенныхъ, камышевыхъ, кизяковыхъ и иныхъ избушекъ—все это они успѣли наворотить такую громадину гранитныхъ глыбъ, цѣлыхъ скалъ, камией, мусору, домовъ, палатъ, дворцовъ, церквей,

остроговъ, мостовъ... Столько сдѣлали, построили всю Россію, завоевали цѣлыя государства, отвоевали Сибирь, побили шведовъ, захватили новыя моря, настроили кораблей, столько сдѣлали, столько, кажется, могли заработать—и все бѣдны, все голодны, все не обезпечены. Сотни и тысячи судовъ ходятъ по рѣкамъ съ хлѣбомъ, съ товарами, съ казной, съ желѣзомъ, съ ядрами: все это опять-таки они же сдѣлали—и суда построили... (сокращаю повтореніе)... и желѣза натаскали горы, чтобы надѣлать изъ него горы ядеръ и завоевать ими новыя земли— и всетаки сами голодны, бѣдны» (159). Нельзя сказать, чтобы это изображеніе положенія народа въ петровскія времена было очень ярко или вообще очень удачно, но въ общихъ чертахъ оно несомнѣнно справедливо. Петръ потребовалъ отъ Россіи такого страшнаго напряженія силъ, что, какъ выражается въ одномъ мѣстѣ г. Мордовцевъ, «экономическое состояніе государства» было дѣйствительно близко къ «самозадушенію». Но это не есть исключительная особенность петровскихъ временъ. Россіи не разъ приходилось переживать такую или подобную экономическую непогоду и, между прочимъ, современный романистъ, съ тенденціей «Идеалистовъ и реалистовъ», находится по отношенію къ этому пункту въ нѣсколько щекотливомъ положеніи. Конечно, нынѣшнее «экономическое состояніе государства» не подлежитъ изображенію тѣми красками, которыя г. Мордовцевъ употребляетъ для картины начала прошлаго столѣтія. Но если бы осуществились мечты нашихъ крикливыхъ псевдо-патріотовъ, еслибы война въ Европѣ и Азіи продолжалась, осложнившись еще индійскимъ походомъ, то мы были бы не очень далеки отъ «самозадушенія». Представимъ себѣ—чего Боже сохрани—что это печальное время наступило, что опять «аки рыба распуганная, разбѣгаются россійскіе люди», опять «кровавыми слезами плачется русская земля», опять сѣрые зипуны «завоевали цѣлыя государства, захватили новыя моря, настроили кораблей, а сами всетаки голодны». По всей вѣроятности, этотъ порядокъ вещей, если только его можно назвать порядкомъ, вызоветъ и протестъ, и жажду подвига и борьбы, хотя выразятся они, надо думать, не въ тѣхъ формахъ, какія преобладаютъ въ романѣ г. Мордовцева. Спрашивается, какъ должны будутъ отнестись ко всему этому патріоты нынѣшняго пошиба? Ясно, что они выворотятъ «идеалистовъ и реалистовъ» г. Мордовцева на изнанку: они не найдутъ достаточно сильныхъ ругательныхъ словъ для «идеалистовъ» и достаточно энергичныхъ призывовъ къ захвату новыхъ морей и завоеванію новыхъ земель. Мы вѣдь это и теперь видимъ. А между тѣмъ въ самомъ теченіи событій вся разница будетъ состоять въ томъ, что въ петровскія времена силы государства донельзя напрягались во имя Европы, а въ нашемъ гипотетическомъ случаѣ они будутъ напрягаться въ пику Европѣ. Поэтому романистъ во вкусѣ нынѣшнихъ газетъ долженъ, рисуя эпоху Петра, инстинктивно обѣгать экономическую и политическую ея стороны, а вслѣдствіе этого вся картина должна оказаться висящею на воздухѣ. Съ г. Мордовцевымъ такъ именно и случилось, какъ мы сейчасъ увидимъ. Но прежде посмотримъ, что это за птицы—«идеалисты и реалисты».

«Въ толпѣ, наэлектризованной безумною проповѣдью Левина и въ ужасѣ разбѣжавшейся, нашелся одинъ реалистъ, который не испугался, не принялъ словъ фанатика на вѣру и если вмѣстѣ съ прочими бѣжалъ съ базарной площади, то не отъ призрака грядущаго антихриста, бѣжалъ не прятаться, не спасаться, а съ тѣмъ, чтобы извлечь изъ этого происшествія выгоду — поживиться, выслужиться передъ властями: онъ бѣжалъ прямо въ пензенскую земскую контору съ доносомъ—объявить государево «слово и дѣло». Этотъ съ реальнымъ мозгомъ человѣкъ былъ пензенскій мѣщанинъ или обыватель Ѳедоръ Каменьщиковъ» (стр. 321).

Г. Мордовцевъ считаетъ, повидимому, этотъ случай чрезвычайно характернымъ для «реалистовъ» или, какъ онъ иногда говоритъ, для «новыхъ людей» петровскаго времени. На самомъ дѣлѣ, однако, тутъ ничего характернаго нѣтъ, потому что мерзавцы существовали и много раньше даже Іуды Искаріота и много позже Ѳедора Каменьщикова. Безъ нихъ не обходились наши допетровскіе предки, не обходимся и мы. Спеціально къ петровскому времени никакимъ образомъ не относится начало доносовъ и предательства на святой Руси, и г. Мордовцеву, не мало занимавшемуся русской исторіей, это, конечно, очень хорошо извѣстно. Но для нашего времени приведенный разсказъ о Ѳедорѣ Каменьщиковѣ, дѣйствительно, очень характеренъ: всегда и вездѣ такихъ людей называли просто мерзавцами, а вотъ въ наше время оказывается возможнымъ величать ихъ реалистами. При извѣстной снисходительности, можно, пожалуй, сказать, что имя вещи не мѣняетъ, что имя звукъ пустой и что такъ какъ слово «реалистъ» много благозвучнѣе слова «мерзавецъ», то нововведеніе г. Мордовцева можетъ даже способствовать смягченію нравовъ. Но нуженъ же вѣдь всетаки какой-нибудь резонъ. Недавно въ газетахъ разсказывали объ одномъ сельскомъ священникѣ, который давалъ новорожден-

нымъ крестьянскимъ дѣтямъ очень хитрыя имена и по очень хитрымъ соображеніямъ. «Ты, говорилъ онъ одному крестьянину:— долго манилъ меня жеребенкомъ, за то и будетъ твой сынъ Манилъ, а ты человѣкъ гордый и будетъ сыну твоему имя Гордій». Какъ ни оригинальны резоны этого сельскаго батюшки, но онъ ихъ всетаки приводитъ, тогда какъ мерзавцы, получающіе отъ г. Мордовцева наименованіе реалистовъ, остаются въ полномъ невѣдѣніи относительно причины поднесенія имъ такого титула. Опять и то взять: какъ ни странны причины, по которымъ Манилъ сталъ Манилломъ, а Гордій—Гордіемъ, никакой путаницы изъ этого произойти не можетъ; всякій будетъ знать, что вотъ это—Манилъ, а это—Гордій. Не то съ нововведеніемъ г. Мордовцева, а оно, это нововведеніе, на провозглашеніи доносчиковъ реалистами не останавливается.

Знаменитый палачъ Ушаковъ, допросивъ Левина, замѣчаетъ: «Вотъ оно что значитъ книгъ-то зачитываться: отъ нихъ и мысли пойдутъ, а мысли никогда до добра не доводятъ. Нѣтъ ничего хуже мыслей. А жили бы тихо, по нашему — держали бы синицу въ рукахъ, ну, и лучше было бы». Эту диссертацію начальника тайной канцеляріи г. Мордовцевъ съ своей стороны сопровождаетъ такимъ камментаріемъ: «Андрей Ивановичъ былъ реалистъ до мозга костей».

Царскій денщикъ Орловъ «былъ мастеръ выслуживаться передъ царемъ, мастеръ сочинять доносы, въ которыхъ, не смотря на свою молодость, очень набилъ руку, а чрезъ это и карманъ; но нравственной жертвы не понималъ. Онъ понималъ только, и понималъ вполнѣ реально — что выгодно и что непріятно; но дальше этого не шелъ ни его реальный мозгъ, ни его реальное сердце».

Такимъ образомъ, реализмъ есть, по г. Мордовцеву, понятіе чрезвычайно обширное: онъ обнимаетъ собою всякаго рода подлость со включеніемъ ненависти къ просвѣщенію, къ «книгѣ» и къ «мыслямъ». Г. Мордовцеву не приходитъ въ голову, что отсутствіе нравственнаго идеала еще никому не даетъ права называться реалистомъ, и что путаница понятій и отношеній есть одинъ изъ тягчайшихъ грѣховъ, какіе только можетъ совершать писатель. Это безстрашіе передъ путаницей опять-таки ни мало не проливаетъ свѣта на петровскія времена, но очень характерно для нашего времени.

Наиболѣе общая характеристика реализма прошлаго столѣтія, представленная самимъ г. Мордовцевымъ, нѣсколько мягче, чѣмъ приведенныя отдѣльныя слагаемыя, дающія въ суммѣ всякаго рода подлость. У реалистовъ—«не идеалы, а осязательныя реальности, за которыя можно было ухватиться и подняться высоко до верха мачты. Это дѣльцы, взбиравшіеся на мачту и часто ломавшіе себѣ шею» (127). Болѣе опредѣленнаго мы ничего не находимъ. Можетъ быть, насъ приведетъ къ чему-нибудь ясному характеристика «идеалистовъ». Это совсѣмъ иного сорта люди. «Противъ реализма начала XVIII вѣка, реализма, въ фокусѣ котораго стоялъ Петръ I, боролся такой же могущественный и едва ли не болѣе реализма устойчивый идеализмъ, который пріютился въ поклонникахъ старины, въ расколѣ, ушедшемъ въ лѣса, дебри и пустыни, и умиравшихъ безстрастно, геройски, на кострахъ, на плахѣ, на кольяхъ и отъ самосожженія; идеализмъ, который господствовалъ и въ мягкой, поэтической душѣ царевича Алексѣя Петровича, хотѣвшаго лучше отказаться отъ могущественнаго трона всероссійскаго, чѣмъ отъ своего «друга сердешнова Афрасиньюшки» и отъ своихъ демократическихъ симпатій. Къ этому разряду людей, къ идеалистамъ начала XVIII вѣка принадлежалъ и Левинъ. Только это была едва ли не самая энергическая личность изъ всѣхъ тогдашнихъ противниковъ грубаго, прямолинейнаго, аристократическаго реализма, которому должно было служить все, какъ падишаху, не разсуждая, не чувствуя, даже не понимая его... Левина не прельщали ни карьера, ни власть, ни нажива, ни блескъ; и, между тѣмъ, все это происходило не отъ апатичности природы Левина, не отъ природной инерціи духа, а отъ глубокой поэтичности природы, отъ лиризма, который не могъ найти исхода потому только, что Левинъ почерпалъ свою школьную мудрость у дьячка своего села» (33).

Итакъ, подъ реалистами слѣдуетъ, кажется, разумѣть вообще людей, думающихъ лишь о своей карьерѣ, о наживѣ, о власти, о блескѣ. Антиподы же ихъ, идеалисты, все это презираютъ и хотятъ—чего? въ точности неизвѣстно ни читателямъ романа г. Мордовцева, ни, кажется, самому автору, ни, наконецъ, самимъ идеалистамъ. Эти люди живутъ какими-то темными, «лирическими», но высоко благородными порывами и позывами, неопредѣленность которыхъ г. Мордовцевъ объясняетъ, главнымъ образомъ, узостью умственнаго кругозора идеалистовъ прошлаго столѣтія. Мракъ невѣжества застилаетъ ихъ умственныя очи, но души ихъ чисты, нравственныя силы велики, и этимъ то сочетаніемъ душевной чистоты съ умственнымъ мракомъ должны объясняться многія нелѣпыя и даже изувѣрскія черты ихъ борьбы съ «реализмомъ». Что таковъ именно былъ во многихъ случаяхъ народный протестъ противъ петровской реформы,

въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Замѣчательно, однако, что если мы, не довольствуясь словесной характеристикой «идеалистовъ», которую даетъ нашъ авторъ, обратимся къ самимъ идеалистамъ, къ ихъ faits et gestes, какъ они изображены въ романѣ, то насъ неоднократно постигнетъ разочарованіе. Напримѣръ, несчастнаго царевича Алексѣя Петровича и его возлюбленную Ефросинью г. Мордовцевъ рѣшительно причисляетъ къ «идеалистамъ». Онъ говоритъ о «мягкой поэтической душѣ» царевича, о его «демократическихъ тенденціяхъ», о томъ, что онъ готовъ былъ отказаться «отъ могущественнаго трона всероссійскаго». Онъ говоритъ. что въ душѣ царевича господствовалъ тотъ самый идеализмъ, который давалъ людямъ силу безстрашно умирать на кострахъ, на плахѣ, на кольяхъ. Но все это только въ словесной рекомендаціи автора. Образъ царевича говоритъ совсѣмъ другое. Вотъ онъ, этотъ идеалистъ, въ Вѣнѣ, въ кабинетѣ императорскаго вице-канцлера Шенборна. Онъ дрожитъ отъ страха. «съ ужасомъ озирается по сторонамъ». Ему чудится «голосъ ужаснаго Ушакова... застѣнокъ—пытка—дыба... фигура отца—исполинская... лицо, это страшное родительское лицо — оно искажено яростью... глаза безпощадны... вотъ протягивается исполинская рука отца—со всѣхъ сторонъ руки—изъ Пирмонта, изъ Петербурга». Таково психическое состояніе царевича въ Вѣнѣ, гдѣ онъ, по крайней мѣрѣ, временно, въ совершенной безопасности, какъ его и вице-канцлеръ Шенборнъ успокаиваетъ. Психическое состояніе очень понятное, объяснимое, извинительное, которое, однако, довольно трудно установить на одну линію съ безстрашною смертью на кострахъ и плахахъ. Конечно, это дѣло темперамента и нервовъ. Идеалистъ царевичъ могъ оставаться идеалистомъ и при ничтожныхъ силахъ духа. Но чего же хочетъ этотъ трусливый идеалистъ? зачѣмъ онъ пріѣхалъ въ Вѣну и чего проситъ? Вотъ чего: «Я пришелъ просить цезаря, моего свояка, о протекціи. Пусть цезарь спасетъ мнѣ жизнь. Меня хотятъ погубить, *хотятъ и у меня, и у моихъ бѣдныхъ дѣтей отнять корону*... Отецъ говоритъ, что я не гожусь ни къ войнѣ, ни къ правленію. Нѣтъ, нѣтъ! *у меня ума довольно, чтобы управлять*. Одинъ Богъ—владыка всего, и онъ раздаетъ *наслѣдства*, а меня хотятъ постричь и засадить въ монастырь, чтобы лишить жизни и *сукцессіи*» (103). И ни объ чемъ больше идеалистъ царевичъ не говоритъ: наслѣдство, сукцессія, хотятъ отнять корону, у меня ума довольно, чтобы управлять. Спрашивается, почему же несчастный царевичъ Алексѣй—идеалистъ, когда у него нѣтъ ни мужества идеалистовъ, ни ихъ презрѣнія къ карьерѣ, власти и блеску? Что касается царевичева «друга сердешнова Афросиньюшки», то она является въ романѣ больше со стороны своей безпредѣльной любви къ царевичу. Да еще любитъ она слушать разсказы странниковъ о «гробахъ угодниковъ божіихъ», о прелестяхъ скитанія по бѣлу свѣту, по «травушкѣ-муравушкѣ», среди «криновъ сельныхъ» и т. п. По временамъ, однако, эти ея склонности осложняются помыслами иного сорта. «Лежитъ она, разсказываетъ своимъ вычурнымъ языкомъ нашъ романистъ: — лежитъ она, разметавшись среди бѣлыхъ, какъ снѣгъ, подушекъ, и сама она такая бѣлая, нѣжная. И видится ей чудный сонъ. Видится ей, что летитъ она надъ землей, подъ теплымъ, ласковымъ солнцемъ, и такъ легко летится, такъ легко ея тѣло. И видится, и слышится ей то, что она недавно съ такимъ умиленіемъ слышала отъ странничка божія, отъ Никитушки Паломника, и птички-то божьи въ зеленыхъ дубровушкахъ и по рощицамъ поютъ, и цвѣточки-то въ поляхъ, крины сельные, цвѣтутъ... (и т. д., и т. д. разныя чувствительныя разности)... И пролетаетъ она надъ Москвой бѣлокаменной, надъ церквами златоверхими... (и т. д., и т. д., разныя торжественныя разности)... И вѣютъ по аеру тысячи хоругвей, тысячи крестовъ и иконъ, блестятъ и горятъ аки жаръ золотыми окладами, да узорочью всякою. И видитъ она на Красной площади сонмъ святителей, владыка патріархъ и митрополиты, архіепископы, епископы, іереи и весь освященный соборъ, златыми ризами блистающъ. И посреди сонма святителей на царскомъ возвышеніи, въ царскихъ ризахъ и въ царскомъ вѣнцѣ стоитъ ея другъ сердечный Алешенька царевичъ младъ, а около него стоитъ млада Афросиньюшка... И отъ умиленія заплакала она сладкими, сладкими слезами, а заплакамши млада—проснулася» (110).

Очень все это трогательно. Млада Афросиньюшка «съ умиленіемъ» пролетаетъ надъ травушкой-муравушкой, дубравушкой, рощицами и цвѣточками и «съ умиленіемъ» же видитъ себя въ царскомъ вѣнцѣ. Очень, очень трогательно. Но вѣдь млада Афросиньюшка надъ травушкой-муравушкой только пролетѣла, а на Красной площади съ «аера» на землю спустилась. Пожалуй, что вѣдь это мечты о карьерѣ, власти и блескѣ, мечты только черствымъ реалистамъ приличествующія. Пожалуй, что, отпустивъ достаточное количество травушки-муравушки, рощицъ и цвѣточковъ, можно и царскаго деньщика Орлова въ идеалисты превратить. Почему, въ самомъ дѣлѣ, не окружить мечты Орлова о

богатствѣ, о блескѣ, о карьерѣ такими же травушками и дубравушками, какъ мечты Алексѣя и Ефросиньи? Почему изъ этого звѣря лютаго не сдѣлать ангела свѣтлаго? Допустимъ, что это можно сдѣлать только на перекоръ и въ ущербъ исторической правдѣ. Но дѣло въ томъ, что даже изъ подъ той отдѣлки «золотыми окладами и узорочью всякою», которою украшаетъ г. Мордовцевъ царевича Алексѣя и Ефросинью, ихъ личности выглядываютъ всетаки не «идеалистами» въ томъ не совсѣмъ опредѣленномъ смыслѣ этого слова, какой придаетъ ему самъ г. Мордовцевъ.

Но крѣпчайшій оплотъ нашего автора и наилучшій экземпляръ идеалистовъ прошлаго столѣтія составляетъ герой романа—Левинъ. Это человѣкъ столь великій, что г. Мордовцевъ, разсказывая, на какихъ лошадяхъ онъ ѣхалъ, будучи арестованъ, замѣчаетъ: «У Марка-королевича, югославянскаго героя, былъ «кудрявый» конь, «шарацъ», съ барашковой шерстью; у Александра Македонскаго былъ буцефалъ-конь; у Левина—каурый и гнѣдо-пѣгій» (324). Простому смертному, прочитавшему это, вѣроятно, очень важное и глубокомысленное замѣчаніе, остается только спросить: ну такъ что-жъ? Но Левинъ во всякомъ случаѣ, повидимому, не заурядный человѣкъ. Онъ дѣйствительно не дѣлаетъ на всемъ протяженіи романа ни одного шага для своей карьеры, для наживы, для власти, для блеска. Онъ дѣйствительно умѣетъ страдать за то, что считаетъ правымъ дѣломъ, и умираетъ безстрашно. Впрочемъ, не совсѣмъ безстрашно. Левинъ не безъ слабостей, какъ и всякій смертный. Такова ужъ людская доля, и быть въ этомъ отношеніи слишкомъ строгимъ никому не подобаетъ. Но есть у Левина одна особенная слабость, которая весь его «идеализмъ» освѣщаетъ особеннымъ и нѣсколько двусмысленнымъ свѣтомъ. Онъ очень на счетъ любви слабъ. Это само по себѣ еще не бѣда, тѣмъ болѣе, что любовь его и къ Оксанѣ Хмарѣ, и къ рыженькой Евдокѣюшкѣ такая чистая, такая высокая. Но для идеалиста чистѣйшей воды, мотивы его борьбы съ «реализмомъ» немножко низменны. Правда, въ романѣ говорится, что Левинъ былъ, «какъ губка, напоенъ» разсказами крестьянъ о томъ, какія бѣды терпятъ они отъ затѣй Петра. Но это опять-таки только говорится, словами говорится. На дѣлѣ романъ ничѣмъ этого не обнаруживаетъ, и мотивы протеста Левина коренятся въ томъ, что царь разбилъ его собственное счастіе, отнялъ у него сначала одну, а потомъ и другую невѣсту. Около этого психическаго ядра осѣдаютъ и кристализуются въ ту же форму протеста и другія чувства и побужденія, но главное дѣло всетаки въ немъ. Это первый и основной толчекъ къ борьбѣ «къ подвигу». Подъ вліяніемъ его Левинъ идетъ все дальше и дальше, наконецъ, радостно принимаетъ страданіе и радостно же готовъ встрѣтить смерть. Но онъ встрѣчаетъ ее нерадостно. Онъ узнаетъ въ толпѣ, собравшейся посмотрѣть на его казнь, Оксану.

«Ксенія! Ксенія!» кричитъ онъ, протягивая руки съ высоты костра и намѣреваясь ринуться оттуда. Но палачи схватываютъ его и бросаютъ на помостъ эшафота... «Оксана! Боже! я жить хочу...»

Онъ жить хочетъ, онъ хочетъ вернуть, вычеркнуть изъ своего прошлаго весь путь, который привелъ его къ эшафоту, чтобы вновь испробовать личнаго счастія съ любимой дѣвушкой. Кто первый посмѣетъ бросить въ него камнемъ? Кто посмѣетъ попрекнуть несчастнаго и мужественнаго человѣка этой предсмертной слабостію? Но во всякомъ случаѣ, «гражданскіе мотивы», какъ говорилось у насъ въ старину, играютъ тутъ роль послѣдней спицы въ колесницѣ или, по крайней мѣрѣ, они составляютъ уже вторичное и второстепенное наслоеніе въ душѣ Левина. Не вздумай Петръ выдать Оксану за Орлова, гренадерскій капитанъ остался бы гренадерскимъ капитаномъ, и его протестъ получилъ бы, можетъ быть, то же направленіе и ту же форму, какъ у его товарищей Кропотова и Суромилова. «Эхъ, ты, охота, охотушка, охота дворянская! вздыхаетъ Кропотовъ:—извели тебя люди службой царскою... Заростаютъ въ полѣ тропочки, по которомъ мы рыскивали, сиротѣютъ наши собаченки голосистыя, овдовѣла мать сыра-земля безъ охотниковъ... Какая наша жизнь? холопская! не смѣй и потѣшиться по своему, по-русски, а изволь нѣмецкую канитель тянуть—дьяволы!»—«Да, подтверждаетъ Суромиловъ:—при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, сказываютъ, не то было. Онъ самъ любилъ охотой тѣшиться, а особливо соколиною. Мнѣ дѣдъ разсказывалъ. Тогда дворянамъ хорошо было жить: хочешь—служи, не хочешь—дома охотой забавляйся. Хорошо было, тихо» (212). Не знаю, къ которому лагерю, къ идеалистамъ или къ реалистамъ, должны быть причислены Кропотовъ и Суромиловъ (а вѣдь имя имъ было легіонъ), вѣроятно, къ идеалистамъ, потому что они вѣдь тоже противники петровской реформы. Но несомнѣнно, что въ Левинѣ есть нѣчто съ ними общее. Правда, неизвѣстно, вздыхалъ ли онъ по «собаченькамъ голосистымъ». Но не смотря на весь свой демократизмъ, о которомъ мы, впрочемъ, только изъ рекомендаціи г. Мордовцева узнаемъ, онъ очень хорошо помнилъ свое дворянство. Явившись къ Стефану Яворскому,

онъ гордо объясняетъ: «родила меня дворянка, и отецъ мой роду дворянскаго, и я самъ отъ сѣмени дворянскаго—не отъ плоти и похоти хамской». Онъ прибавляетъ, что и бывшая невѣста его Оксана — «изъ хорошаго малороссійскаго роду». Онъ радуется, впрочемъ, что родъ его, хотя и не хамскій, но и не изъ самыхъ знатныхъ: «не посылалъ меня царь за море учиться—Богъ помиловалъ,—не изъ такого я знатнаго рода былъ, чтобы онѣмечиться».—Все это и Кропотову и Суромилову впору. Занятый поэтическими эпизодами, дважды оскорбленной и разбитой любви Левина, авторъ весьма неопредѣленно рисуетъ своего героя со стороны его «демократизма», о которомъ, какъ и о многомъ другомъ, только словами говоритъ. На сколько можно судить по скуднымъ въ этомъ отношеніи даннымъ романа, это тотъ самый патріархальный демократизмъ, который ни мало не мѣшаетъ демократкѣ Афросиньюшкѣ видѣть себя на Красной Площади, окруженною «богатымъ и бѣднымъ, попами и боярами, посадскими людьми и гостями»; тотъ самый демократизмъ, который не мѣшаетъ демократу и, повидимому, прямому представителю демоса, страннику Варсонофію съ умиленіемъ разсказывать: «Когда-де, говорятъ, ей сказали, что ее отдадутъ замужъ за простонароднаго человѣка, она, матушка, молвила: послѣ-де царевича никто при моемъ боку лежать не будетъ». Левинъ, что называется, «добрый баринъ», человѣкъ хорошо обращающійся съ своими крестьянами и вообще съ простымъ, «подлымъ» людомъ, и за то имъ любимый, но никогда не забывающій, что онъ баринъ, а людъ этотъ—«подлый». Такого рода патріархальныя отношенія существовали не то что въ допетровскую старину, а и на нашей памяти, существуютъ кое-гдѣ и до сихъ поръ, и мы ихъ очень хорошо знаемъ. Слова нѣтъ, они очень удобны, имѣютъ даже своего рода идиллическую прелесть, но не имѣютъ рѣшительно ничего общаго съ демократизмомъ. По своей полной безсознательности, они, впрочемъ, не могутъ имѣть ничего общаго и ни съ какимъ другимъ «измомъ», ни съ какою опредѣленною системою взглядовъ. Какъ все безсознательное, они могутъ при случаѣ сыграть важную положительную, хотя и служебную роль, но могутъ также наплодить бездну недоразумѣній. Демократизмъ царевича Алексѣя, Ефросиньи, Левина и, вѣроятно, Кропотова, Суромилова—есть чистое недоразумѣніе, основанное на томъ, что у нихъ есть нѣкоторыя общія съ народомъ вѣрованія, нѣкоторые общіе національные и религіозные элементы, оскорбленные петровскимъ «онѣмечиваніемъ». Въ виду этого одинаково имъ враждебнаго начала, народъ и подобные «идеалисты» могли временно прижиматься другъ къ другу и въ особенности такое сближеніе должно было имѣть мѣсто на почвѣ патріархальныхъ отношеній, то есть тамъ, гдѣ «подлый» людъ имѣлъ дѣло съ «добрыми господами». Но каково было бы положеніе подлаго люда, еслибы царевичу Алексѣю какая-нибудь сила обезпечила «жизнь и сукцессію», это еще неизвѣстно. Ибо въ до-петровской Руси, на которую вздыхаючи смотрятъ «идеалисты» г. Мордовцева, не все было тишь, гладь и божья благодать, и довольно даже мудрено отыскать въ ней «того ангела свѣтлаго, нашу нужду народную крыломъ своимъ осѣняющаго, утѣшеньицемъ по землѣ русской тихо летающаго, въ бѣленькую рубашечку русскаго мужичка одѣвающаго». Нѣтъ, въ исторіи записано совсѣмъ не то. Но дѣло именно въ томъ, что исторія особь статья, а романъ г. Мордовцева особь-статья, хотя онъ и называется историческимъ романомъ.

Замѣчательно отношеніе нашего автора къ мотивамъ дѣйствія и къ идеаламъ своихъ героевъ. Мы видѣли, что весь романъ построенъ на любовныхъ отношеніяхъ Левина. Эти отношенія расписываются такими поэтическими красками, что едва ли не ради нихъ Левинъ и въ идеалисты попалъ. О Петрѣ же въ одномъ мѣстѣ сухо и даже съ нѣкоторымъ презрѣніемъ говорится: «изъ любви къ Аннѣ Монсъ Петръ особенно усердно поворачивалъ старую Русь лицомъ къ западу и поворачивалъ такъ круто, что она доселѣ остается немножко кривошейкой» (129). Что любовь къ Аннѣ Монсъ играла свою роль въ дѣятельности Петра, это дѣло возможное. Но что Петръ именно изъ этой любви особенно усердно поворачивалъ старую Русь лицомъ къ западу, это новѣйшее историческое открытіе и притомъ мало правдоподобное. Во всякомъ случаѣ, были же у Петра и какіе-нибудь другіе мотивы. Были, надо думать, и идеалы какіе-нибудь, не столь грандіозные, конечно, какъ у Левина и другихъ идеалистовъ, но кое-какіе идеалишки всетаки были. Историки говорятъ, напримѣръ, что Петръ очень уважалъ просвѣщеніе. Можетъ быть, и тутъ Анна Монсъ какъ-нибудь замѣшалась, но въ концѣ-концовъ идеалъ просвѣщеннаго человѣка, просвѣщеннаго народа могъ получить совершенно самостоятельное значеніе. Но изъ романа г. Мордовцева ничего подобнаго усмотрѣть нельзя: Петръ — «реалистъ», а у реалистовъ мѣсто идеаловъ занимають какія-то «осязательныя реальности», изъ-за которыхъ только подлости совершаются. Вотъ Левинъ, тотъ другое дѣло, тотъ—идеалистъ. Какіе же у него идеалы? Да никакихъ. Это самъ авторъ говоритъ. Онъ

говоритъ, что «собственное воображеніе подавляло его, а ухватиться было не за что — ни идеаловъ, ни вѣры въ нихъ, которые бы, какъ чортъ (?), горами ворочали *Да и какіе идеалы могли быть въ то время?*» (161). Нѣсколько страницъ спустя, оказывается, впрочемъ, что идеалъ у Левина есть или, вѣрнѣе, былъ. Попалъ онъ на кухню Невскаго монастыря и увидѣлъ, что тамъ мясное готовятъ. Онъ ужаснулся: «Гдѣ же правда? Гдѣ конецъ этой мировой, вселенной лжи?.. Міръ шатается... земля пошатнулась на оси... *Былъ одинъ идеалъ—и тотъ поглотили звѣри—люди*» (226). И хотя въ концѣ-концевъ у Левина оказывается идеалъ въ видѣ «подвига» и «страданія», но передъ нами довольно долго фигурируетъ идеалистъ безъ идеала. Мало того, авторъ категорически говоритъ, что «въ то время» и не могло быть никакихъ идеаловъ.

Мы не станемъ, разумѣется, распутывать всю эту путаницу и обратимъ вниманіе читателя только на слѣдующее обстоятельство. Ужасъ Левина, поскольку онъ выразился словами: «былъ одинъ идеалъ (постная пища!) и тотъ поглотили звѣри люди», совершенно неоснователенъ, хотя для его разстроенной головы и простителенъ. Мясная пища на монастырской кухнѣ есть не болѣе, какъ «осязательная реальность», которая можетъ оскорбить религіозное чувство человѣка въ родѣ Левина, но уничтожить въ головѣ его идеалъ не въ силахъ. Вотъ другое дѣло, еслибы Левинъ самъ какъ-нибудь пришелъ къ употребленію мясной пищи въ монастырѣ; тогда онъ, дѣйствительно, разстался бы съ своимъ идеаломъ. Но помимо этой логической несостоятельности вопля Левина, онъ несостоятеленъ и исторически. Левинъ очень запоздалъ съ своимъ протестомъ. Уже Стоглавый соборъ оффиціально призналъ не монашеское времяпровожденіе монаховъ, и вообще все, что мы знаемъ о русскихъ монастыряхъ въ XV и XVI вѣкахъ, показываетъ, что разладъ между дѣйствительностью и идеалами иноческаго житья начался за долго до Петра. Петровскій «реализмъ» тутъ рѣшительно не причемъ. Конечно, Левинъ могъ не понимать этого. Современникамъ часто кажется, что то или другое зло народилось со вчерашняго дня, но историческій романъ на то и историческій романъ, чтобы вносить поправки въ этотъ естественный недостатокъ исторической перспективы у современниковъ. Иначе поправки требуются отъ самого читателя, что, разумѣется, неудобно и не всякому доступно. Читатель найдетъ, напримѣръ, въ «Идеалистахъ и реалистахъ» мелькомъ брошенную фигуру «Дёмки-чернеца», который, на вопросъ, отчего у него ноги трясутся, отвѣчаетъ: «по дьявольскому навожденію, отъ винопитія необычнаго—водку жралъ шибко въ монастырѣ, за что и ангельскаго чина обнаженъ—разстригли». Входя въ подробности, Дёмка-чернецъ объясняетъ свое положеніе такъ: «Трясеніе веліе отъ велія дерзновенія ручнаго—дѣвокъ щупалъ... Все отъ бѣса. Отъ ногамъ скаканія, отъ хребтомъ вихлянія, отъ очамъ намизанія: съ бабами плясалъ, дѣвкамъ подмигивалъ». И т. д. Имѣя въ виду вопль Левина, читатель можетъ подумать, что Дёмка-чернецъ есть прямой или косвенный продукъ петровскихъ реформъ, что онъ можетъ быть даже есть одинъ изъ «реалистовъ». На дѣлѣ ничего подобнаго нѣтъ и, чтобы недалеко ходить, читатель можетъ найти въ «Русскомъ Архивѣ» 1873 г. (кн. IX) любопытную «челобитную Колязина монастыря», относящуюся къ семидесятымъ годамъ XVII вѣка. Въ челобитной этой предвосхищается не только содержаніе рѣчей Дёмки-чернеца (прямыя свидѣтельства о недобропорядочномъ поведеніи монаховъ можно найти гораздо раньше), а и ихъ своеобразная, юмористически циническая форма. Тамъ говорится, напримѣръ: «Да по его-жъ архимандритову приказу, у монастырскихъ воротъ поставленъ съ шелепомъ кривой Фалалей, насъ, богомольцевъ твоихъ, за ворота не пускаетъ, въ слободы ходить не велитъ, скотья двора посмотрѣть, чтобъ телятъ въ степь загнать, куръ въ подполъ посажать, коровницамъ благословенья подать. Да онъ же архимандритъ пріѣхалъ въ Колязинъ монастырь, началъ монастырскій чинъ раззорять, старыхъ пьяныхъ всѣхъ разогналъ: некому стало впредь заводу заводить, чтобъ пива наварить, да медомъ подсластить, а на деньги вина прикупить, помянуть умершихъ старыхъ пьяныхъ». И т. д.

Грязный и цинически откровенный развратъ монаховъ отвратителенъ не только съ точки зрѣнія Левина, но въ жизни страны и народа онъ составляетъ только одинъ изъ симптомовъ глубокаго внутренняго разстройства или неустройства, притомъ симптомъ сравнительно не особенно важный. Есть черты народной жизни прошлаго столѣтія гораздо болѣе важныя, относительно которыхъ, однако, правила исторической перспективы точно также не соблюдены въ романѣ г. Мордовцева. Такъ, на основаніи его, иной можетъ подумать, что фанатическая проповѣдь о царѣ-антихристѣ и о близкой кончинѣ міра началась съ Петра. Въ дѣйствительности же она началась съ XV вѣка, въ концѣ котораго кончины міра, переполненнаго зломъ, ждали чуть не съ году на годъ. Эти страшныя ожиданія сложились

подъ вліяніемъ историческаго процесса собиранія земли русской подъ державой Москвы и параллельно ему возроставшаго крѣпостного права. Были въ тѣ поры разговоры о томъ, что «прилетѣлъ многокрылый орелъ (московскій царь), у котораго крылья исполнены львовыхъ когтей, и взялъ у насъ (псковичей) три кедра ливановы, и красоту мою, и богатство, и чадъ моихъ похитилъ». Были и «реалисты» много почище Ѳедора Каменьщикова, если судить по слѣдующимъ словамъ Максима Грека: іудейское сребролюбіе и страсть къ лихоимству такъ овладѣли судьями благовѣрнаго царя, что они заставляютъ своихъ слугъ дѣлать самые вопіющіе доносы и явно, и тайно подкапываются подъ имѣнія богатыхъ. Они подкидываютъ въ ихъ дома краденыя вещи, и, о ужасъ нечестія!.. слуги ихъ подбрасываютъ мертвыхъ среди города и, какъ праведные мстители за убитаго, идутъ съ доносомъ не только на цѣлую улицу, но нерѣдко на цѣлую часть города, наживая такимъ способомъ большія деньги». Спору нѣтъ, Ѳедоръ Каменьщиковъ большой руки мерзавецъ и, если всякой подлости дѣйствительно приличествуетъ наименованіе реализма, то онъ реалистъ. Но онъ «мальчишка и щенокъ» съ своимъ доносомъ на безумнаго человѣка, который, вдобавокъ, не скрывался и самъ искалъ страданія; мальчишка и щенокъ по сравненію съ тѣми виртуозами въ дѣлѣ «реализма», о которыхъ разсказываетъ Максимъ Грекъ. Были въ тѣ поры и идеалисты—не въ конецъ оскудѣла русская земля. И притомъ такіе идеалисты, до которыхъ идеалисту безъ идеаловъ, Левину, какъ до звѣзды небесной далеко. Таковъ былъ, напримѣръ, благородный Башкинъ, который, правда, не смотрѣлъ на постную и скоромную пищу глазами Левина, но который за то говорилъ такія вещи, объ которыхъ Левинъ, повидимому, и понятія не имѣетъ. «Вотъ мы христовыхъ рабовъ держимъ своими рабами; Христосъ называетъ всѣхъ братіей, а у насъ на иныхъ кабалы нарядныя, на иныхъ полныя, а иные бѣглыхъ держатъ. Благодарю Бога моего: у меня были кабалы полныя, всѣ изодралъ».

Несомнѣнно, что толки объ антихристѣ и о кончинѣ міра при Петрѣ сильно обострились. Но несомнѣнно также, что они существовали въ XV и XVI вѣкахъ, и приведенныя жалобы псковскаго лѣтописца и исповѣдь Башкина очень хорошо характеризуютъ реальныя причины страшныхъ ожиданій: расширеніе Москвы и утвержденіе крѣпостного права. Обѣ эти причины разрѣшились, наконецъ, возстаніемъ Стеньки Разина. Такимъ образомъ, до-петровская Русь отнюдь не представляла чего-то цѣльнаго, какъ можно бы было заключить изъ романа г. Мордовцева, въ которомъ она представлена дружескими объятіями всякаго чина людей: царевича и бродяги Варсонофія, помѣщика Левина и крестьянъ. Мы видимъ только два лагеря: Петра и «реалистовъ» съ одной стороны, старую Русь и «идеалистовъ» съ другой. Реалисты, карабкаясь «на верхъ мачты», интригуютъ другъ противъ друга, подставляютъ другъ другу ногу; идеалисты же думаютъ и дѣйствуютъ, какъ одинъ человѣкъ, противъ одного человѣка, Петра, и всѣ за одно и то-же: за пристрастіе къ нѣмецкимъ порядкамъ и пренебреженіе къ русскимъ, главнымъ образомъ, религіознымъ порядкомъ. Только на второмъ уже планѣ и въ большомъ туманѣ являются поборы и рекрутчина, какъ мотивы протеста низшихъ классовъ. Но, во-первыхъ, старая Русь вовсе не была такъ единодушна, и крестьянамъ не было ровно никакого дѣла до того, что «голосистыя собаченки» Кропотовыхъ и Суромиловыхъ сиротѣютъ. Точно также Кропотовымъ и Суромиловымъ, да и царевичу Алексѣю съ Левинымъ вовсе не такъ уже близки къ сердцу невзгоды плодовъ «похоти хамовой», какъ презрительно выражается Левинъ. И вотъ почему г. Мордовцевъ, при всемъ стараніи выставить на видъ «демократизмъ» своихъ идеалистовъ, не усвоиваетъ имъ никакихъ соотвѣтственныхъ дѣяній и даже словъ, а ограничивается собственною авторскою рекомендаціею, требуя, чтобы читатель ему на слово вѣрилъ. Мы не видимъ въ романѣ ни единой, самомалѣйшей черты изъ тѣхъ, которыя вызвали слова Петра: «есть нѣкоторые непотребные люди, которые своимъ деревнямъ сами безпутные раззорители суть, что ради пьянства или иного какого непостояннаго житья вотчины свои не токмо не снабдѣваютъ и ни защищаютъ ни въ чемъ, но раззоряютъ, налагая на крестьянъ всякія несносныя тягости и въ томъ ихъ бьютъ и мучатъ, и оттого крестьяне, покинувъ тягла свои, бѣгаютъ». Нѣтъ, у г. Мордовцева крестьяне бѣгутъ въ лѣса, пустыни и скиты единственно отъ «многихъ затѣйныхъ капризовъ» Петра и чуть ли не изъ-за того только, что ему полюбилась Анна Монсъ! Культъ героевъ и всякихъ людей — дѣло отжившее и нельзя бы было ничего сказать противъ попытки изобразить Петра со всѣми его слабостями и подчасъ болѣе чѣмъ непривлекательными сторонами его характера. Но такой художественный «реализмъ» (вовсе не въ ругательномъ, конечно, смыслѣ) есть требованіе правды, а правды-то и нѣтъ въ романѣ г. Мордовцева. Самая мысль противопоставить Петру Левина и устроить

нѣчто въ родѣ единоборства между ними—крайне неудачна. Какъ бы ни былъ «однобокъ» Петръ, и какъ бы однобоко ни изображалъ его романистъ, онъ всетаки не Левинъ, не полоумный человѣкъ, пришедшій къ ученію объ антихристѣ изъ за того, что его любовь разбита, и что въ монастыряхъ мясное ѣдятъ. Левина судить трудно, потому что онъ, какъ завѣдомо психически больной, находится въ состояніи невмѣняемости. Но, какъ олицетвореніе идеализма прошлаго столѣтія, онъ никуда не годится. Онъ для этого слишкомъ мелочная личность, слишкомъ безсознательны и стихійны тѣ «лирическіе» порывы, которыми онъ только и живетъ. Высовывать такія фигуры изъ толпы нѣтъ никакого основанія, потому что онѣ, какъ личности, ничѣмъ не выдѣляются. Другое дѣло, еслибы романисту удалось какъ-нибудь противопоставить Петру сѣрую массу народа. Тогда безсознательность и стихійность были бы умѣстны и могли бы потягаться съ царемъ-великаномъ. Личность сильна и интересна только своею сознательностью, массовыя же движенія могутъ представлять глубокій интересъ и при полной безсознательности. Г. Мордовцевъ, повидимому, и не подозрѣваетъ, какимъ великовозрастнымъ мальчишкой является его возлюбленный герой, котораго онъ, ничтоже сумняшеся, ставитъ рядомъ съ Марко-Кралевичемъ и Александромъ Македонскимъ; какимъ мальчишкой является этотъ великій идеалистъ, слушая поученіе Стефана Яворскаго: «Молись за царя. И я когда-то думалъ, что не сумѣю молиться за него, а теперь молюсь. Не меня обидѣлъ онъ, не невѣсту отнялъ онъ у меня, а обидѣлъ церковь Божію, обидѣлъ народъ свой многотерпѣливый, обидѣлъ кровно, надругался надъ нимъ, тростію своею по главѣ билъ онъ народъ свой, по ланитамъ билъ онъ его дланію своею, оплеваніемъ оплевалъ образъ его смиренный. И я всетаки молюсь за него—не вѣдаетъ бо, что творитъ... Подъ самое сердце ударилъ онъ родину мою, матерь мою, вдовицу убогую—Малороссію, и кровію подтекло великое сердце матери моея... Не встать ей съ орда болѣзни... Душу мою отнялъ... На колѣняхъ я стоялъ передъ ними, я, старецъ ветхій деньми и святитель, и молилъ отпустить меня на покой. Нѣтъ, не отпустилъ. Онъ повелѣлъ мнѣ блюсти патріаршій престолъ... Разумѣешь ли, сынъ мой, всю глубину позора моего? (Левинъ отвѣчаетъ, что не разумѣетъ, да и гдѣ же ему!). Я—блюститель престола патріарховъ всероссійскихъ. Я—песъ, прикованный къ подножію патріаршаго престола. Я повиненъ лаять на всякаго, кто бы дерзнулъ помыслить о семъ престолѣ, возсѣсть на оный. Я—песъ, лежащій на сѣнѣ... И я молюсь за него. Онъ великій государь. Славы и величія хочетъ онъ царству своему и народу своему. Свѣтомъ просвѣщенія озаряетъ онъ землю свою. Аки волъ гнетъ онъ выю свою царскую надъ черной работою. Но онъ—человѣкъ, плоть отъ плоти народа своего и кость отъ костей его. Какъ человѣкъ, онъ ошибается, слѣпотствуетъ».

Замѣчательно, что это наиболѣе ясно выраженный и наиболѣе глубокій протестъ противъ Петра во всемъ романѣ. А между тѣмъ, и Стефанъ Яворскій отдѣлывается крайне неопредѣленными мотивами. Его можно бы было спросить: одинъ ли Петръ билъ тростію и десницею и оплевывалъ смиренный образъ народа, или въ этомъ грѣшны и Кропотовы, Суромиловы, князья Прозоровскіе и проч.? народъ ли онъ только билъ или и Алексѣевъ, и Кропотовыхъ, которымъ до народа и до которыхъ народу не было никакого дѣла? Левинъ этого не разбираетъ и даже «не разумѣетъ». На то онъ и Левинъ. Но именно по этому онъ не можетъ занимать центральное положеніе въ историческомъ романѣ. А между тѣмъ г. Мордовцевъ, изъ почтенія къ нему, равно унижаетъ какъ Петра, такъ и народъ. Петра—рисуя его въ видѣ «капризнаго затѣйщика» и только въ этомъ видѣ; народъ—дѣлая его представителемъ полоумнаго изувѣра, презирающаго «плоть и похоть хамову». Если народъ долженъ выслать своего представителя въ историческій романъ, такъ пусть же это будетъ дѣйствительно его представитель, человѣкъ, сознающій причины горя народнаго. А нѣтъ такого человѣка, такъ народъ долженъ явиться самъ. А то, посмотрите, что выходитъ. Освѣщеніе, брошенное авторомъ на Левина, естественно отражается и на народѣ, и мы видимъ только людей, повторяющихъ нелѣпыя росказни о жидовскомъ царѣ, о клеймахъ антихриста и т. п. Спору нѣтъ, все это было, но въ дѣйствительности все это не было такъ нелѣпо, потому что имѣло соотвѣтственную реальную подкладку, а въ романѣ она еле-еле видна изъ подъ поэтической ткани разбитой любви гренадерскаго капитана. Самъ по себѣ, оторванный отъ той исторической почвы, на которой онъ выросъ или вѣрнѣе, къ которой присосался, какой нибудь стихъ объ «аллилуевой женѣ» есть колоссальная глупость, оскорбительная для человѣческаго достоинства. Но онъ получаетъ глубокій смыслъ и великій интересъ, если имѣть въ виду его широкій, вѣками складывавшійся фундаментъ. Для самаго народа всѣ его бѣды могли концентрироваться въ личности Петра, но историкъ, хотя бы и романистъ, долженъ показать, что ихъ источникъ гораздо древнѣе и много-

стороннѣе. Г. Мордовцевъ этой задачи не исполнилъ.

Почему онъ ея не исполнилъ? Отчасти, вѣроятно, по недостатку поэтическаго таланта, за который никто не отвѣтственъ. Но были, вѣроятно, и другія причины. Онѣ не лично въ г. Мордовцевѣ лежатъ, а въ воздухѣ, въ общественной атмосферѣ носятся. Достаточно напомнить, что «Идеалисты и реалисты», прежде отдѣльнаго изданія, печатались въ «Новомъ Времени», газетѣ, что называется, патріотической. А патріотизмъ по нынѣшнему времени состоитъ, какъ извѣстно, въ сосредоточеніи всѣхъ чувствъ и помышленій на расширеніи своего отечества и на народной гордости, въ силу которой наши національныя особенности, именно потому, что онѣ національныя, подлежатъ превознесенію выше лѣса стоячаго и даже облака ходячаго. Съ этой точки зрѣнія, прямое, не двусмысленное отношеніе къ петровскому времени довольно затруднительно хотя бы уже потому, что Петръ единовременно энергически расширялъ предѣлы отечества и безжалостно гнулъ и ломалъ старую Русь. Петръ, ставшій у насъ козломъ отпущенія за полуевропейскій обликъ, принятый Россіей и русской исторіей, и при жизни вызывалъ противъ себя множество нареканій и протестовъ. Хотя собственно народныя противуправительственныя вспышки достигали высшаго развитія не при Петрѣ (Стенька Разинъ и Пугачевъ), хотя не при немъ и расколъ возникъ, но несомнѣнно, что народъ такъ или иначе, и активно, и пассивно, протестовалъ противъ его дѣятельности. Народъ былъ недоволенъ. Недовольно было и значительное число представителей высшихъ классовъ, которыхъ Петръ отрывалъ отъ «собаченокъ голосистыхъ» и тому подобныхъ прелестей старо-русскаго деревенскаго житья. Вообще причинъ недовольства было очень много, и были онѣ очень разнообразны, подчасъ даже прямо одна другой противоположны. Въ какой мѣрѣ всѣ онѣ были резонны—это другой вопросъ. Но современному патріоту, стоящему на той точкѣ зрѣнія, что, благодаря стараніямъ Петра повернуть Россію лицомъ къ западу, она стала «кривошейкой», естественно стараться пріискать себѣ союзниковъ въ прошломъ, приспособиться къ тому протесту противъ реформъ Петра, который давалъ себя знать уже при немъ. Не велика штука, отойдя отъ историческаго дѣятеля или историческаго момента на двѣсти лѣтъ, произнести надъ нимъ судъ, примѣнительно къ умственной размѣнной монетѣ сегодняшняго дня. Но это ужъ очень легкомысленно выйдетъ. Недовольство современнаго патріотизма станетъ много солиднѣе, если онъ обопрется на тѣхъ, кто прямо былъ Петромъ обиженъ; если онъ, эффектно приподнявъ завѣсу исторіи, живьемъ покажетъ намъ тѣхъ людей, которыхъ Петръ неправедно мучилъ, оскорблялъ и которые уже тогда словомъ, дѣломъ и помышленіемъ отворачивались отъ Европы. Пріемъ, если хотите, очень цѣлесообразный, но для послѣдовательнаго его проведенія наше нео-славянофильство не имѣетъ средствъ.

Вотъ два достопамятные, не смотря на свою мелочность, анекдота, хорошо характеризующіе нашихъ нео-славянофиловъ и достойные сохраненія для потомства, отъ вниманія котораго они могутъ ускользнуть въ ворохѣ газетныхъ листовъ.

Г. Боборыкинъ какъ-то къ слову замѣтилъ мимоходомъ, что папа слафянофильства, г. Аксаковъ, издавая свои грозныя энциклики, въ то же время не брезгаетъ хорошими окладами, получаемыми имъ въ качествѣ служащаго въ кредитныхъ учрежденіяхъ, устроенныхъ, однако, на чисто-европейскій ладъ. «Новое Время» вскипѣло за папу и рипостировало г. Боборыкину примѣрно такъ: а вы сами-то что дѣлаете? по парижскимъ бульварамъ шляетесь и проч. «Новое Время» имѣло при этомъ столь побѣдоносный видъ, какъ будто оно дѣйствительно одержало побѣду. На дѣлѣ же оно бѣжало съ поля сраженія; ибо вопросъ былъ не въ образѣ жизни г. Боборыкина и даже не въ большихъ окладахъ г. Аксакова, а въ томъ, какимъ образомъ примиряетъ г. Аксаковъ свои славянофильскія убѣжденія въ гнилости европейской цивилизаціи своею практическою дѣятельностью на манеръ этой самой гнилой цивилизаціи. Вопросъ, дѣйствительно, не безъинтересный и притомъ вовсе не личнаго характера, на почву котораго его перенесло «Новое Время». «Новое Время» очень разсердилось, но не сумѣло, да и не имѣло ничего сказать. У него охота смертная, да участь горькая.

Г. Полетика, живя лѣтомъ въ деревнѣ и воочію видя нищету народа, напечаталъ въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» небольшую замѣтку въ такомъ смыслѣ: вотъ, дескать, говорятъ, что надо воевать, что того требуютъ честь и интересы Россіи; пусть эти воинственные люди сходятъ въ деревню, пусть посмотрятъ, какъ уже теперь народъ нищъ, нагъ и босъ, а вѣдь война-то на счетъ народа ведется. Положенія свои г. Полетика счелъ нужнымъ иллюстрировать, между прочимъ, такимъ примѣромъ. Въ деревню, гдѣ онъ жилъ, почта не ходитъ; за корреспонденціей и газетами надо было посылать на почтовую станцію за нѣсколько верстъ. И за гривенникъ, ассигнованный на это г. По-

летикою, крестьяне наперерывъ предлагали сбѣгать нѣсколько верстъ туда и нѣсколько верстъ назадъ. Мало того, ночи просиживали у воротъ, чтобы на утро получить вожделѣнный гривенникъ. «Новое Время» очень разсердилось на г. Полетику. Почерпая смѣлость въ увѣренности, что г. Суворинъ платилъ бы при подобныхъ обстоятельствахъ не меньше пятіалтыннаго, «Новое Время» съ благороднымъ негодованіемъ обрушилось на г. Полетику за гривенникъ. И опять чрезвычайно побѣдоносный видъ, и опять сраженіе не принято, ибо дѣло было вовсе не въ щедрости г. Полетики. Конечно, г. Полетика могъ бы выбрать иллюстрацію поярче. Въ самомъ «Новомъ Времени» была какъ-то напечатана любопытная корреспонденція изъ Сольвычегодска, изъ которой видно, что въ этой благословенной мѣстности рабочій день оплачивается правомъ помочить корку хлѣба въ сельдяномъ разсолѣ, а весь боченокъ сельдей со всѣмъ разсоломъ стоитъ 20—30 копеекъ. Для вычисленія рабочей платы, тутъ, пожалуй, не обойдешься безъ дифференціальнаго исчисленія. А вятскій и казанскій голодъ? а татарка, съѣвшая своего ребенка? И «Новое Время» всетаки находитъ нужнымъ, когда рѣчь заходитъ о войнѣ, въ связи съ нашей домашней нищетой, сворачивать на путь разсужденій о щедрости г. Полетики. Оно очень сердится, но не умѣетъ и не имѣетъ ничего сказать. Охота у него смертная, да участь горькая.

Г. Мордовцевъ—не «Новое Время». Но въ своемъ романѣ онъ не поднялся надъ уровнемъ «Новаго Времени» И двухъ приведенныхъ анекдотовъ совершенно достаточно для уясненія того положенія, которое нео-славянофильство должно занять въ историческомъ романѣ по отношенію къ петровскимъ временамъ. Охота у него опять-таки смертная, а участь опять-таки горькая. Оно очень сердится, когда указываютъ на славянофила Аксакова, служащаго буржуазноевропейскому порядру, но само не можетъ стать въ какое-нибудь опредѣленное отношеніе къ этому маленькому житейскому противорѣчію. Оно очень сердится, когда говорятъ о войнѣ на счетъ нищаго народа, но само ни нищеты отрицать не смѣетъ, ни отъ воинственной похоти отказаться не хочетъ. Такъ и съ Петромъ. Положимъ, что опереться на протестантовъ, на обиженныхъ того времени, выгодно. Но обиженныхъ было столько, и мотивы ихъ обидъ были такъ разнохарактерны, что надо выбирать. Будемъ выбирать.

Обижены были тѣ, кого Петръ силой сажалъ за книгу. Ну, на этихъ опираться зазорно, совсѣмъ неприлично. Г. Мордовцевъ устраиваетъ, какъ мы видѣли, дѣло даже такъ, что «реалистъ» Ушаковъ, одинъ изъ «птенцовъ гнѣзда Петрова», возстаетъ противъ книгъ, а любителемъ просвѣщенія является идеалистъ и ярый врагъ реформы Левинъ. Скажутъ, дѣло не просто въ книгѣ, а въ «нѣмецкой», иноземной книгѣ и въ нѣмецкомъ просвѣщеніи вообще. Старые славянофилы такъ и понимали дѣло. Они находили, что начавшая со временъ Петра прививаться къ намъ европейская наука грѣшитъ въ самомъ корнѣ, и что ей должна быть противопоставлена русская наука, основанная на православіи .Я не сомнѣваюсь въ православіи гг. Сувориныхъ, Скальковскихъ, Буренинныхъ и другихъ патріотовъ своего отечества, украшающихъ собою «Новое Время», но дѣло въ томъ, что Кирѣевскіе и Хомяковы были по-своему люди очень ученые и, хотя никакой русской науки они не изобрѣли, но претензіи ихъ все-таки до извѣстной степени оправдывались ихъ большими богословскими познаніями и нѣкоторою тонкостью философской мысли. Что же касается помянутыхъ господъ, то «смѣшались шашки, и полѣзли изъ щелей мошки да букашки»: будучи не особенно щедро осыпаны дарами природы, они не особенно культивируютъ данный имъ скромный талантъ. Между прочимъ, и опредѣленной мысли о томъ, чѣмъ надлежитъ замѣнить для русскаго употребленія европейскую науку, они не имѣютъ. Не имѣютъ ея и вообще всѣ новые славянофилы, а потому вся просвѣтительная сторона дѣятельности Петра должна остаться въ туманѣ. Такъ оно и есть въ «Идеалистахъ и реалистахъ».

Были еще обижены Петромъ Кропотовы, Суромиловы, князья Прозоровскіе (также одно изъ дѣствующихъ лицъ «Идеалистовъ и реалистовъ»), отрываемые отъ деревенскихъ забавъ на службу въ Россіи и для науки за границу. На этихъ опереться можно, но осторожно. Надо кое-что скрыть, а кое-что подрисовать, потому что въ натуральномъ видѣ это все большею частью очень некрасивые люди были, лѣнтяи, самодуры, развратники, пьяницы. Поэтому надо ограничиться поэтической стороной тоски по роднне или любви къ простору деревенскаго житья и къ голосистымъ собаченкамъ. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, опереться на людей, о которыхъ Кононъ Зотовъ докладывалъ царю: «Маршалъ д'Этре призывалъ меня къ себѣ и выговаривалъ мнѣ о срамотныхъ поступкахъ нашихъ гардемариновъ въ Тулонѣ: дерутся между собой и бранятся такою бранью, что послѣдній человѣкъ здѣсь того не сдѣлаетъ; того ради обобрали у нихъ шпаги». И вотъ почему фигурирующіе въ романѣ г. Мордовцева молодые люди, отправленные за границу для «навигацкой» науки, отличаются

поэтическими наклонностями и благородствомъ души, а одинъ изъ нихъ, князь Прозоровскій, безъ малаго святой человѣкъ.

Были обижены многіе, очень многіе, слишкомъ многіе непреклонною волею Петра и его жестокостью. Эти годятся. И Петръ въ романѣ г. Мордовцева представленъ съ этой стороны вполнѣ.

Но обратимся къ самымъ важнымъ и интереснымъ обиженнымъ, къ народу. Очень лестно опереться на эту милліонную сѣрую массу согнутыхъ спинъ, лестно и удобно, потому что дорожка давно проторена. Даже Щербина сумѣлъ сказать:

Нѣтъ, не змія всадникъ мѣдный
Растопталъ, стремясь впередъ;
Растопталъ народъ нашъ бѣдный,
Растопталъ простой народъ.

А еще Щербина говорилъ: «я слишкомъ русскій человѣкъ, чтобъ быть славянофиломъ». Настоящіе же славянофилы облюбовали этотъ предметъ давно. Нѣтъ надобности трогать все, къ этому дѣлу относящееся. Замѣтимъ только слѣдующее. Славянофилы вѣрили (именно вѣрили), что до Петра розы росли безъ шиповъ, что на Москвѣ безсословная земля и царь сложились въ одно любовью и довѣріемъ скованное цѣлое, что Петръ разорвалъ эту цѣпь любви. Это вѣрованіе, не будучи поддержано наукой, нынѣ испарилось. Но современному патріоту своего отечества всетаки предстоитъ не совсѣмъ благодарная задача, по возможности, затушевать положеніе народа въ московской Руси, чтобы съ тѣмъ большею яркостью выставить его бѣды при Петрѣ. Въ «Идеалистахъ и реалистахъ» всѣ сторонники старой Руси—демократы, въ томъ двусмысленномъ значеніи этого слова, о которомъ было говорено выше. Тамъ, въ этомъ отрогѣ старой Руси, розы безъ шиповъ растутъ; тамъ свѣтъ-Варсонофьюшка умиляется передъ свѣтъ-Афросиньюшкой и обратно; тамъ Маниловъ себѣ гнѣздо свилъ; тамъ «добрые господа» живутъ. Добрые! Небодливая корова тоже добрая. А еслибы мечты свѣтъ-Афросиньюшки исполнились, такъ она бы, можетъ быть, и бодливая была. Потому что вѣдь, надо правду сказать, бодливые быки и коровы не составляли большой рѣдкости въ старой Руси. Есть, правда, хорошее средство скрасить ихъ жесткіе образы—это пустить ихъ гулять по травушкѣ-муравушкѣ, по цвѣточкамъ и кринамъ сельнымъ, по дубровушкамъ и разнымъ другимъ уменьшительнымъ и ласкательнымъ именамъ существительнымъ. Но какъ бы усердно ни выгонялся старо-русскій скотъ на поэтическое пастбище, это только полъ-дѣла. Надо вѣдь на обиженный народъ опереться, а обида народная состояла не только въ насильственномъ навязываніи ему европейскаго обличья. Велика была и эта обида, но она питалась другими обидами — наборами и рекрутчиной на завоеваніе «новыхъ земель». А какъ же, спрашивается, опереться на эту сторону народнаго протеста, когда походъ въ Индію и война съ Австріей еще не объявлены, а рабочій день въ Сольвычегодскѣ уже равняется безконечно-малой величинѣ? и когда г. Полетика платитъ гривенникъ за то, что г. Суворинъ оплатилъ бы въ своемъ великодушіи цѣлымъ пятіалтыннымъ, а, можетъ быть, даже двугривеннымъ? Ясно, что умственная размѣнная монета сегодняшняго дня должна себѣ выбрать такую позицію, съ которой не было бы видно ни государственной дѣятельности Петра, ни народнаго протеста противъ этой дѣятельности. Такъ оно и есть въ романѣ г. Мордовцева. Не говоря о прочемъ, въ романѣ нѣтъ ни одного здравомыслящаго протестанта: все юродивые, блаженные, полоумные. Великіе это все можетъ быть люди, какъ ихъ рекомендуетъ г. Мордовцевъ, но на нихъ Русь не клиномъ сошлась. Сомнѣніе въ полнотѣ и правдивости картины, нарисованной г. Мордовцевымъ, позволительно, и не только позволительно, а заключаетъ въ себѣ несравненно большее уваженіе къ народу, чѣмъ увеселительныя прогулки по именамъ существительнымъ, уменьшительнымъ и ласкательнымъ.

Если, такимъ образомъ, въ «Идеалистахъ и реалистахъ» многія стороны петровскаго времени совсѣмъ отсутствуютъ, другія искажены, третьи урѣзаны, иныя преувеличены, то что же остается въ «историческомъ романѣ»? Остается историческая канва и романическая исторія. Романическая исторія о томъ, какъ одинъ гигантъ, Петръ, тянулъ колесницу русской исторіи изъ любви къ Аннѣ Монсъ въ одну сторону, а другой гигантъ, Левинъ, пытался тянуть ее изъ любви къ Оксанѣ Хмарѣ и рыженькой Евдокѣюшкѣ—въ другую. Отсюда событія чрезвычайной важности.

«Три мушкатера» тоже историческій романъ. Онъ, впрочемъ, имѣетъ то немаловажное преимущество, что не называетъ подлецовъ реалистами и юродивыхъ идеалистами. Я склоненъ, однако, пріискать для этихъ нелѣпыхъ переименованій нѣкоторое «реальное» основаніе. Современному русскому писателю отведенъ столь малый районъ идей и фактовъ, что его поневолѣ тянетъ къ подобнымъ нововведеніямъ. Кругъ, имѣющій полторы сажени въ діаметрѣ, весь изрытъ; за кругъ выйдти нельзя; остается переставлять мебель съ мѣста на мѣсто внутри круга. И до чего мы наконецъ въ этомъ направленіи дойдемъ, я не знаю... Знаю только, что тяжело жить тамъ, гдѣ,

по какимъ бы то ни было обстоятельствамъ, мерзавцы называются реалистами, юродивые—идеалистами, романическая исторія—историческимъ романомъ.



Политическая экономія и общественная наука*).

Нашъ вѣкъ гордится своей наукой. И совершенно справедливо гордится: тайна за тайной вырываются у природы, въ чащѣ неизвѣстнаго по всѣмъ направленіямъ пробиваются широкія просѣки, открывающія новые горизонты и далекія перспективы. Тѣмъ не менѣе, вся громадная масса идей и фактовъ, которыми и надъ которыми оперируетъ современная наука во всѣхъ своихъ развѣтвленіяхъ, представляетъ нѣкоторый гигантскій хаосъ, гдѣ небо не отдѣлено отъ земли и суша отъ воды. Иначе и быть не можетъ, если принять въ соображеніе, что задача современной науки не исключительно творческая, что на ея долю выпала большая чисто отрицательная работа, состоящая въ ликвидаціи многихъ установившихся взглядовъ, еще недавно признававшихся научными, многихъ привычекъ мысли, наконецъ, даже цѣлыхъ отраслей знанія. И, что̀ особенно характерно, ликвидація эта происходитъ по частямъ, почти, можно сказать, по клочкамъ. Не то, чтобы явился какой-нибудь новый, всеобъемлющій принципъ, который оказалъ бы одновременное и одинаковое давленіе на все дальнѣйшее достояніе науки. Еслибы это было такъ, то мы не имѣли бы хаоса. Напротивъ, произошла бы сравнительно быстрая и одновременная перемѣна декорацій, новое освѣщеніе равномѣрно пало бы на все пространство, отвоеванное наукой, и новыя идеи и новые факты заняли бы свои мѣста безъ всякой толкотни. Конечно, и въ этомъ случаѣ не было бы полнаго мира въ области науки. Можно даже думать, что борьба происходила бы въ ней гораздо дѣятельнѣе и, если можно такъ выразиться, жесточе, чѣмъ она идетъ теперь. Но она происходила бы равномѣрно по всей линіи науки; было бы только два врага: отживающее, старое и народившееся, новое, и не было бы того, что мы видимъ сплошь и рядомъ теперь, когда своя своихъ не познаютъ, а завѣдомые враги лѣзутъ другъ другу въ объятія по недоразумѣнію. Но такого единаго, всеобъемлющаго принципа нѣтъ, а многіе убѣждены даже, что и быть его не можетъ. Попытки найти его терпятъ жестокое фіаско даже въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣютъ, на первый взглядъ, огромный успѣхъ.

Лучшимъ примѣромъ такого двусмысленнаго успѣха можетъ служить исторія «философіи безсознательнаго» Гартмана. Шуму она надѣлала такого, какого давно уже философская литература не слыхала. Книга Гартмана въ самое короткое время выдержала чуть не десять изданій, породила цѣлую литературу за и противъ себя, и самъ Гартманъ внезапно прогремѣлъ на весь цивилизованный міръ. Словомъ, внѣшній успѣхъ небывалый. Какъ, однако, далекъ онъ по своему внутреннему значенію отъ успѣха хотя бы, напримѣръ, гегелевской философіи, которая, хотя и на короткое время, дѣйствительно заполонила различныя отрасли знанія и притянула къ себѣ самыя разнообразныя интеллектуальныя силы. Мы не видимъ въ самомъ дѣлѣ, чтобы предложенный Гартманомъ общій принципъ, худо ли, хорошо ли, объединялъ различныя спеціальныя отрасли знанія, не видимъ, чтобы онъ давалъ цвѣтъ и тонъ наукѣ права и біологіи, политической экономіи и химіи, исторіи и физикѣ. «Философія безсознательнаго», не смотря на весь произведенный ею шумъ, остается явленіемъ одинокимъ, неимѣющимъ силы оказать давленіе на все пространство, занятое наукой. Мало того. Даже внѣшній ея успѣхъ оказался очень скоропреходящимъ. Мелкія сочиненія Гартмана, примыкающія съ той или другой стороны къ его крупному философскому первенцу, еще имѣли нѣкоторый успѣхъ, благодаря отчасти кое-какимъ шарлатанскимъ пріемамъ автора, а отчасти тому, что обычная тема ихъ соприкасалась съ движеніемъ дарвинизма, всѣхъ интересовавшаго. Но когда онъ въ нынѣшнемъ году выступилъ съ объемистымъ томомъ «Феноменологіи нравственнаго сознанія», то, не смотря ни на прославленное имя автора, ни на гордое подзаглавіе книги «Prolegomena zu jeder künftigen Ethik»—шуму уже никакого не произошло. Могутъ основательно замѣтить, что «философія безсознательнаго» слишкомъ расходится съ нѣкоторыми изъ

*) 1879, октябрь.

элементарныхъ требованій современной научной мысли, чтобы имѣть замѣтное вліяніе на науку. Но это-то и характерно для нашего времени, что общее ученіе съ такими большими претензіями, какъ философія безсознательнаго, по самому своему духу, не можетъ быть принято въ руководство спеціальными отраслями знанія.

Если же мы будемъ искать такого общаго принципа, который оказываетъ наибольшее— въ ширь и въ глубь—вліяніе на современную науку, то наткнемся на такъ-называемый принципъ развитія, эволюціи. Судьба этого принципа очень отлична отъ судьбы «безсознательнаго». Во-первыхъ, онъ выдвинутъ отчасти непосредственно научными силами. Во-вторыхъ, онъ безспорно оказываетъ большое давленіе на науку; онъ не только произвелъ переворотъ въ біологіи, но вторгся въ области психологіи и языкознанія, получилъ поддержку въ физикѣ, породилъ новую отрасль знанія въ лицѣ сравнительной исторіи культуры и самымъ настойчивымъ образомъ стучится въ двери всѣхъ общественныхъ наукъ. Въ какой мѣрѣ, однако, это послѣднее ему удается, видно изъ слѣдующаго любопытнаго полемическаго эпизода.

Вирховъ, далеко не симпатизирующій ученію Дарвина, выразилъ мнѣніе, что на это ученіе можетъ съ успѣхомъ опереться соціально-демократическая партія, надѣлавшая въ послѣднее время столько тревогъ германскому правительству. Съ своей стороны, и соціалъ-демократы неоднократно старались пріурочить дарвинизмъ къ своей политической программѣ. Страсбургскій профессоръ зоологіи Оскаръ Шмидтъ предпринялъ разорвать эту предполагаемую связь между дарвинизмомъ и соціализмомъ, что и исполнилъ въ рефератѣ, читанномъ въ собраніи нѣмецкихъ естествоиспытателей и врачей въ Касселѣ. Рефератъ этотъ вышелъ потомъ отдѣльнымъ изданіемъ и лежитъ передъ нами. («Darwinismus und Socialdemocratie»).

Шмидтъ полемизируетъ, главнымъ образомъ, съ нѣкоторыми соціалистическими газетами и книгой Якоби «Идея развитія» (Die Idee der Entwicklung, 1874), въ которыхъ утверждается, что Марксъ и Дарвинъ едино суть; что идея развитія, лежащая въ основаніи дарвинизма, получила блестящее подтвержденіе и поддержку въ книгѣ Маркса, что принципы теоріи Дарвина, въ свою очередь, наилучше поддерживаютъ программу и надежды соціально-демократической партіи, ибо толкуемое въ смыслѣ этихъ принциповъ развитіе равнозначительно усовершенствованію и т. п. Оскаръ Шмидтъ—очень почтенный ученый спеціалистъ, но довольно плохой мыслитель, что онъ еще недавно доказалъ своей схваткой съ Гартманомъ, схваткой, въ которой не Шмидтъ оказался побѣдителемъ. Тѣмъ не менѣе, должно сказать, что въ настоящемъ случаѣ, побѣда достигается не какими-нибудь логическими ухищреніями, а единственно, можно сказать, откровенностью. Оскаръ Шмидтъ прямо заявляетъ, что, хотя подборомъ и борьбой за существованіе обусловливается нѣкоторое медленное и частное усовершенствованіе, но что оно необходимо сопровождается гибелью или пониженіемъ развитія менѣе одаренныхъ индивидовъ и видовъ. Притомъ самое «усовершенствованіе» или «одаренность» надо разумѣть въ чисто спеціальномъ смыслѣ приспособленія къ обстоятельствамъ. И «безконечно часто» повторяется тотъ случай, что это прилаживаніе къ обстоятельствамъ благопріятствуетъ физіологически низшимъ и вызываетъ гибель физіологически высшихъ. «Непрактическій мечтатель» можетъ думать какъ ему угодно, но дарвинистъ «будетъ всегда стоять на томъ, что понятіе естественной борьбы за существованіе отнюдь не требуетъ побѣды физіологически или, въ человѣческомъ обществѣ, нравственно высшаго». Одинъ соціалистическій органъ (Volksstaat) говоритъ: «Теорія Дарвина даетъ важную опору соціализму! она представляетъ, такъ сказать, безсознательную санкцію его со стороны естествовѣдѣнія, ибо наиважнѣйшее ея завоеваніе, въ которомъ лежитъ все ея практическое значеніе, есть рѣшительное признаніе равенства всѣхъ людей... каждый отдѣльный человѣкъ есть продуктъ природы и, въ качествѣ таковаго, можетъ предъявить природѣ равныя со всѣми требованія». Нѣтъ, резонно возражаетъ Оскаръ Шмидтъ, теорія Дарвина, напротивъ, разбиваетъ иллюзію равенства, она есть научное обоснованіе неравенства: и въ самомъ дѣлѣ основные принципы дарвинизма до тѣхъ только поръ и дѣйствуютъ, покуда есть изъ чего «выбирать», покуда есть кому «побѣждать въ борьбѣ», слѣдовательно, покуда существуетъ неравенство.

Искусно-ли подобралъ Оскаръ Шмидтъ цитаты, или авторамъ, съ которыми онъ полемизируетъ, и въ самомъ дѣлѣ нечего больше сказать въ защиту родственности соціализма и дарвинизма, но онъ, во всякомъ случаѣ, правъ въ качествѣ коментатора теоріи Дарвина. Правъ и откровененъ. До сихъ поръ ни одинъ дарвинистъ не высказывался съ такою рѣшительностью насчетъ невеселыхъ сторонъ ученія Дарвина. Благодаря откровенности постановки вопроса, онъ дѣлается такъ ясенъ, что не подлежитъ уже никакимъ пререканіямъ. Онъ можетъ быть только перенесенъ въ высшую

инстанцію, что и давно, впрочемъ, слѣдовало сдѣлать. Можно именно, признавъ коментаріи къ ученію Дарвина исчерпанными, обратить судью въ подсудимаго, то есть, отложить на время судбище надъ той или другой теоріей съ точки зрѣнія ученія Дарвина и подвергнуть критическому досмотру самый дарвинизмъ. Оно, конечно, и до сихъ поръ дѣлалось, но въ большинствѣ случаевъ далеко не со стороны тѣхъ людей, съ которыми полемизируетъ Оскаръ Шмидтъ: за малыми исключеніями они дѣйствительно норовили до сихъ поръ оказать дарвинизму всяческій почетъ, и потому вполнѣ заслужили урокъ, данный имъ ученымъ спеціалистомъ и правовѣрнымъ коментаторомъ Дарвина. До насъ, впрочемъ, это теперь не касается. Но вотъ, что очень любопытно: почему Оскаръ Шмидтъ такъ поздно вздумалъ дать свой урокъ соціалистамъ? Книга Якоби издана въ 1874 г., цитаты изъ Volksstaat'а, приводимыя Шмидтомъ, относятся къ 1873 г. Значитъ Оскаръ Шмидтъ слишкомъ пять лѣтъ держалъ про себя секретъ дѣйствительныхъ отношеній между дарвинизмомъ и соціализмомъ и молча присутствовалъ при злонамѣренномъ или наивномъ извращеніи этихъ отношеній. Обстоятельствс это тѣмъ любопытнѣе, что въ недоразумѣніи относительно нѣкоторыхъ сторонъ дарвинизма повинны отнюдь не одни соціалисты, да и самыя идеи развитія, какъ «усовершенствованія», и «равенства» вовсе не составляютъ исключительнаго достоянія соціалистовъ. Въ самомъ дѣлѣ, какая же политическая партія, какой общественный или государственный дѣятель не помышляетъ объ усовершенствованіяхъ и, въ этомъ смыслѣ, о развитіи? Разумѣется, каждая партія и каждый дѣятель вкладываютъ въ эти слова свои особенныя понятія. Иначе и быть не можетъ, потому что слово «развитіе», въ качествѣ существительнаго, требующаго дополненія по вопросу «чего», представляетъ собою, собственно говоря, только скобки, которыя надлежитъ чѣмъ-нибудь наполнить. Что касается идеи «равенства», то хотя она и не пользуется такимъ всеобщимъ фаворомъ, однако, опять-таки кто же нынѣ не считаетъ, напримѣръ, равенства всѣхъ передъ закономъ необходимымъ условіемъ общежитія? Мы, впрочемъ, оставимъ равенство въ сторонѣ и остановимся только на развитіи и усовершенствованіи. Не только идеи эти не составляютъ исключительнаго достоянія соціалистовъ, но даже не одни послѣдніе прибѣгаютъ для обоснованія ихъ къ теоріи Дарвина. Можно бы было привести длинный списокъ именъ людей, не имѣющихъ ничего общаго съ соціализмомъ, которые, однако, столь же наивно, какъ и Якоби и Volksstaat, возлагали надежды на основные принципы дарвинизма. Мы встрѣтили бы въ этомъ спискѣ и физіолога Прейера, и писателя по политической экономіи и государственному праву Шеффле, и диллетантовъ въ родѣ г-жи Ройе, и Геккеля, и полусумасшедшаго доктора Браубаха, и, что особенно любопытно, самого Дарвина. Этотъ глава школы, особливо съ первоначалу, утѣшалъ благодарное ему человѣчество тѣмъ, что ужасы описанной имъ съ такимъ искусствомъ борьбы чреваты благодѣяніями. Онъ говорилъ чуть не то же самое, за что теперь Оскаръ Шмидтъ бьетъ школьной указкой Якоби и его единомышленниковъ. Онъ говорилъ, что въ общемъ счетѣ всегда побѣждаетъ лучшій, достойнѣйшій, что это справедливо и въ примѣненіи къ общественному быту, въ которомъ торжествуютъ люди и общества, преимущественно отличающіеся достоинствами ума и сердца. Онъ развивалъ эту тему даже съ наивностью, мало идущею къ его почтенной сѣдой бородѣ, и только исподволь, подъ вліяніемъ разныхъ спеціальныхъ изслѣдованій, сталъ снимать розовыя очки. А Геккель еще недавно оправдывалъ смертную казнь съ точки зрѣнія теоріи Дарвина, утверждая, что это просто одинъ изъ способовъ, къ которымъ прибѣгаетъ природа, а вслѣдъ за нею и общество, для устраненія худшихъ, недостойныхъ. Безъ сомнѣнія, ни Якоби, ни Volksstaat ничего подобнаго не скажутъ. Но мы имѣемъ въ виду не подробности, а общую постановку правовыхъ и нравственныхъ вопросовъ на почву принциповъ теоріи Дарвина. Эта-то постановка практиковалась и практикуется отнюдь не одними соціалистами, а людьми самыхъ разнообразныхъ политическихъ мнѣній и самыхъ разнообразныхъ умственныхъ достоинствъ. Всѣмъ этимъ людямъ обще одно: всѣ они принимаютъ теорію Дарвина, какъ нѣчто не подлежащее сомнѣнію и вполнѣ пригодное для постройки на ней нравственно-политическаго зданія. А такъ какъ зданіе это немыслимо безъ различенія добра и зла, нравственно худшаго и нравственно лучшаго, то въ самыхъ общихъ терминахъ весь этотъ разнообразный людъ вполнѣ сходится. И только затѣмъ уже каждый вышиваетъ по этой канвѣ тѣ узоры, которые ему лично нравятся и вовсе не нравятся его сосѣду. Почему же Оскаръ Шмидтъ такъ спеціализировалъ свою полемическую задачу и такъ поздно сказалъ прямую, откровенную правду? Отвѣта надо искать въ текущихъ политическихъ событіяхъ, въ томъ рѣшительномъ переломѣ внутренней жизни Германіи, который отмѣченъ крутыми мѣрами противъ соціалъ-демократовъ. Только подъ вліяніемъ этихъ событій,

дарвинизмъ, въ лицѣ Оскара Шмидта, рѣшился твердо и во всеуслышаніе заявить, что не имѣетъ ничего общаго съ нравственностью. Этимъ спеціальнымъ побужденіемъ объясняется и спеціализація полемической задачи Оскара Шмидта: поразивъ Якоби и Volksstaat, онъ пальцемъ не тронулъ другія попытки связать нравственно-политическую теорію съ дарвинизмомъ, какъ будто ихъ не было или какъ будто онѣ были правильны. На самомъ дѣлѣ, эти попытки были, и были онѣ неправильны, но авторы ихъ или остаются совсѣмъ въ сторонѣ отъ новѣйшихъ явленій внутренней жизни Германіи, или затрогиваются ими только косвенно. И въ этомъ все дѣло.

Читатель согласится, надѣемся, что мы не напрасно назвали приведенный полемическій эпизодъ чрезвычайно любопытнымъ. Онъ, между прочимъ, наглядно показываетъ, какъ еще мало разработанъ принципъ развитія, часто выдвигаемый съ совсѣмъ неподходящею помпой, и какъ еще ему далеко до положенія всеобъемлющаго принципа, способнаго оказать давленіе на всѣ отрасли знанія. Если подъ знаменемъ этого принципа мирно устроиваются лагеремъ люди, понимающіе вещи въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ какъ разъ наоборотъ другъ другу, если затѣмъ это мирное настроеніе превращается совершенно внезапно въ драку, единственно подъ вліяніемъ преходящихъ политическихъ событій — такъ какая ужъ тутъ всеобъемлемость, и какая ужъ возможность объединить разсыпанную храмину науки! Разсказанный полемическій эпизодъ уясняетъ не только недостаточную разработанность и относительную слабость принципа развитія, эволюціи, но и необычайную трудность положенія вещей. Еще недавно ученый могъ спокойно сидѣть подъ смоковницей своей спеціальной науки и, какъ бы ни была скромна листва этой смоковницы, довольствоваться ея навѣсомъ въ жаръ и непогоду, не помышляя о смоковницѣ сосѣда. Еще недавно можно было быть, напримѣръ, даже очень выдающимся политическимъ теоретикомъ, не только не имѣя понятія о естествознаніи, но не интересуясь даже ближайшими сосѣдями изъ круга наукъ политическихъ; можно было быть юристомъ, оставаясь въ полномъ невѣжествѣ относительно психологіи и біологіи, плохо зная сравнительную исторію права и держась въ почтительномъ отдаленіи отъ экономической науки. Теперь это почти немыслимо. Не говоря о внутреннемъ движеніи самихъ научныхъ дисциплинъ, стирающемъ схоластически установленныя взаимныя ихъ границы, практическая политическая жизнь бьетъ такимъ бурнымъ ключомъ, что вотъ, напримѣръ, Якоби и Оскару Шмидту приходится искать общей почвы для собесѣдованія. А въ прежнія времена какое бы имъ дѣло было другъ до друга? Невозможно, разумѣется, быть спеціалистомъ по всѣмъ отраслямъ человѣческаго вѣдѣнія, невозможно по условіямъ устройства человѣческой головы, но по современному состоянію науки нельзя также сидѣть подъ смоковницей своей; тѣмъ болѣе, что бываютъ такія смоковницы, которыя, какъ въ евангельскомъ сказаніи, будучи прокляты, засохли и не даютъ ни тѣни въ жару, ни прикрытія въ дождь.

Что положеніе вещей дѣйствительно таково, это очень хорошо сознаютъ сами дѣятели науки, разумѣется, мало-мальски мыслящіе, а не просто справляющіе службу. Они понимаютъ, что по теперешнему времени нельзя довольствоваться тѣми рамками, которыя исторически отведены для той или другой вѣтви знанія, что границы, для своего времени вполнѣ удовлетворительныя, теперь уже не годятся и должны быть, смотря по обстоятельствамъ, или раздвинуты, или передвинуты, или рѣзче обозначены. Образчикомъ такого отношенія къ дѣлу можетъ служить рѣчь Джона Ингрэма о «необходимости реформы въ политической экономіи». Рѣчь эта сказана Ингрэмомъ въ прошломъ году, въ качествѣ президента статистико-экономическаго отдѣла «Британскаго общества для споспѣшествованія наукамъ». Рѣчь произвела большое впечатлѣніе, вытерпѣла два или три изданія по англійски и теперь переведена на нѣмецкій языкъ. Она дѣйствительно во многихъ отношеніяхъ заслуживаетъ вниманія.

Ингрэмъ начинаетъ съ указанія на тотъ несомнѣнный фактъ, что политическая экономія быстро теряетъ свой научный авторитетъ и кредитъ: за ней признаютъ извѣстныя заслуги въ прошедшемъ, но думаютъ, что въ настоящемъ и въ будущемъ ея пѣсенка спѣта, ея научная и практическая роль сыграна. Не одинъ Ингрэмъ замѣтилъ этотъ фактъ. Онъ приводитъ, напримѣръ, слѣдующія слова профессора Кернса, сказанныя еще въ 1870 г.: «Прислушиваясь къ голосу литературы и общественнаго мнѣнія, я думаю, что въ политическую экономію, какъ въ плодотворную отрасль знанія, нынѣ перестали вѣрить; я долженъ даже, скрѣпя сердце, сказать, что болѣе рѣшительные голоса не только отрицаютъ плодотворность нашей науки, но видятъ въ ней даже препятствіе дальнѣйшему слѣдованію по пути полезныхъ реформъ». Миссъ Мартино, говоря въ своей автобіографіи о томъ времени, когда она съ такимъ громкимъ успѣхомъ популяризировала истины политической экономіи, замѣчаетъ, что теперь это

уже для нея не истины; что большая часть содержанія науки подлежитъ такой коренной переработкѣ, что изъ всего ея нынѣшняго багажа будущимъ поколѣніямъ достанется развѣ только общая истина о закономѣрности хозяйственныхъ явленій. Въ какой мѣрѣ рабочіе классы отрицаютъ научное значеніе нынѣшней экономіи — это всѣмъ извѣстно. Нѣкоторые ученые, какъ, напримѣръ, профессоръ Джевонсъ, находятъ, что это не бѣда, что тѣмъ хуже для профановъ, потому что, дескать, нынѣшніе пріемы экономическаго изслѣдованія сами по себѣ прекрасны. За то другіе, какъ оксфордскій профессоръ Бонами Прайсъ, приходятъ къ отчаянному убѣжденію, что научная обработка хозяйственныхъ явленій есть не болѣе, какъ недоразумѣніе; что практическаго здраваго смысла вполнѣ достаточно для рѣшенія экономическихъ вопросовъ.

Ингрэмъ могъ бы, разумѣется, привести еще много другихъ примѣровъ недовольства нынѣшнимъ состояніемъ экономической науки, примѣровъ, гораздо болѣе рѣзкихъ и вѣскихъ, но онъ ограничивается этими. Ограничимся и мы. Самъ Ингрэмъ рѣшительно не согласенъ ни съ оригинальнымъ мнѣніемъ Бонами Прайса о невозможности научной систематизаціи экономическихъ явленій, ни съ презрительнымъ отзывомъ Джевонса о профанахъ, единственно по своему невѣжеству отрицающихъ нынѣшніе пріемы изслѣдованія и добытые ими результаты. Онъ находитъ, что хозяйственныя явленія повинуются извѣстнымъ законамъ, но что наука, до сихъ поръ занимавшаяся этими законами, подлежитъ радикальной реформѣ. Онъ находитъ далѣе, что характеръ этой реформы уже намѣченъ трудами-такъ называемой «этической» школы въ Германіи и соотвѣтственнымъ, хотя и менѣе плодовитымъ, движеніемъ въ Италіи, Бельгіи, Англіи, Даніи. Только Франція какъ будто отстала въ этомъ научномъ движеніи, но именно въ ней, уже больше сорока лѣтъ тому назадъ, послышался первый справедливый протестъ противъ господствующей экономической школы и ея пріемовъ. Протестъ этотъ принадлежитъ Огюсту Конту.

Читатель можетъ быть ожидалъ другихъ именъ и нѣсколько удивленъ роли, которая отводится французскому мыслителю Ингрэмомъ. И дѣйствительно странно, что Ингрэмъ, подбирая голоса недовольныхъ политическою экономіей, систематически игнорируетъ цѣлую широко развѣтвленную школу и въ то же время выдвигаетъ на первый планъ такое двусмысленное, ни рыбное, ни мясное, хотя и заслуживающее вниманія явленіе, какъ нѣмецкая этическая школа и нѣсколько замѣчаній о политической экономіи, вскользь брошенныхъ Контомъ въ IV томѣ «Курса положительной философіи». Какъ бы то ни было, но на этихъ именно бѣглыхъ замѣчаніяхъ Ингрэмъ строитъ и свою обвинительную рѣчь, и свой планъ реформы науки. Контовскія замѣчанія Ингрэмъ схематизируетъ такъ: 1) изслѣдованіе экономическихъ явленій не должно выдѣляться изъ общей совокупности явленій соціальныхъ, 2) долженъ быть устраненъ метафизическій или слишкомъ отвлеченный характеръ многихъ политико-экономическихъ понятій, 3) должна быть сокращена роль дедукціи въ экономическихъ изслѣдованіяхъ, 4) наука должна воздерживаться отъ слишкомъ абсолютныхъ заключеній. Развитіе этихъ четырехъ пунктовъ и составляетъ главное содержаніе рѣчи Ингрэма.

Итакъ, первый упрекъ состоитъ въ томъ, что политическая экономія стремится выдѣлить хозяйственную сторону общественныхъ явленій и трактовать ее независимо отъ остальныхъ сторонъ—духовной, нравственной, политической. Упрекъ этотъ не новъ. Парируется онъ обыкновенно огульнымъ заявленіемъ, что, дескать, выставлять его способны только или нелѣпая сантиментальность, отрицающая самостоятельную науку о богатствѣ лишь потому, что есть вещи выше и лучше богатства, или умственная слабость, смѣшивающая совершенно различные предметы. Ингрэмъ думаетъ, что эти возраженія никуда не годятся, ибо нельзя отрицать законности извѣстнаго вмѣшательства нравственнаго чувства въ науку, а главное, въ упомянутомъ упрекѣ вовсе нѣтъ признаковъ умственной слабости. Безъ сомнѣнія, нельзя изучать и знать все, но тѣмъ не менѣе, различныя отрасли обществознанія суть части нѣкотораго цѣлаго и, можетъ быть, важнѣйшая изъ задачъ именно въ томъ и состоитъ, чтобы опредѣлить взаимныя отношенія этихъ частей и ихъ отношеніе къ цѣлому. Общественная жизнь представляетъ такое связанное цѣлое, что если мы будемъ изучать отдѣльныя ея проявленія независимо другъ отъ друга, то, навѣрное, впадемъ въ теоретическія и практическія ошибки. Есть или должна быть *одна* общественная наука, соціологія; ея отдѣлы занимаются различными сторонами общественной жизни; *одна* изъ этихъ сторонъ есть матеріальное благосостояніе общества; изученіе относящихся сюда явленій составляетъ одну изъ отраслей обществознанія, которая не должна разрывать естественной тѣснѣйшей связи съ цѣлымъ. Это становится особенно яснымъ, если имѣть въ виду и статическую, и динамическую, или, проще говоря, историческую сторону соціологіи. Возьмемъ для примѣра экономическое положеніе лю-

бого европейскаго народа. Ясно, что положеніе это есть продуктъ чрезвычайно многоразличныхъ условій, добрая половина которыхъ вовсе не имѣетъ экономическаго характера: тутъ вліяли и научные, и нравственные, и религіозные, и политическіе взгляды, отношенія и учрежденія. Такъ было въ прошедшемъ, такъ идетъ дѣло и нынѣ, а потому совершенно немыслимо понять и объяснить экономическое положеніе общества, не принимая въ соображеніе другихъ соціальныхъ факторовъ. Свѣтлый умъ Адама Смита понималъ это. Наука о «богатствѣ народовъ» была для него лишь частью обширнаго плана, который онъ не успѣлъ привести въ исполненіе, но который отразился, однако, и на его экономическихъ воззрѣніяхъ. Эпигоны Смита понимали дѣло иначе. Они старались и стараются держаться исключительно экономической точки зрѣнія, оставляя безъ изслѣдованія множество факторовъ, оказывающихъ не малое давленіе и на матеріальное благосостояніе. Напримѣръ, Сеніоръ, говоря о двусмысленности выгоды, получаемой рабочимъ семействомъ отъ женскаго и дѣтскаго труда внѣ дома, считаетъ нужнымъ извиняться, потому что, дескать, такого рода замѣчанія, строго говоря, выходятъ изъ области политической экономіи. Подобную же якобы научную строгость обнаруживаетъ онъ, наталкиваясь на вопросъ о значеніи длины рабочаго дня. Дж. Ст. Милль, лучше другихъ усвоившій духъ «Опыта о богатствѣ народовъ», смотрѣлъ шире. Въ предисловіи къ своимъ «Основаніямъ политической экономіи» онъ говоритъ: «Въ практическихъ примѣненіяхъ политическая экономія неразрывно переплетается съ разными другими отраслями общественной науки. Едва ли найдется такой практическій вопросъ, хотя бы самый близкій къ характеру чисто экономическаго вопроса, который могъ бы быть рѣшаемъ по однимъ экономическимъ принципамъ, такое рѣшеніе допускаютъ развѣ только вещи неважныя». Но это всетаки недостаточно рѣшительно. Слѣдовало бы сказать, что и для теоретическихъ, какъ для практическихъ цѣлей связь различныхъ отраслей общественной науки неразрывна. Самъ Милль объясняетъ это очень хорошо въ одномъ мѣстѣ «Системы логики». Но, въ концѣ-концовъ, онъ довольно двусмысленно относится къ вопросу о мѣстѣ политической экономіи: она для него то часть общественной науки, то отдѣльная научная дисциплина, какъ бы подготовительная или служебная по отношенію къ соціологіи.

Иногда политико-экономы объясняютъ, что односторонность ихъ точки зрѣнія намѣренная, сознательная, и что для полнаго разрѣшенія того или другого вопроса, какъ они и сами понимаютъ, нужно осмотрѣть его и со всѣхъ другихъ сторонъ. Кернсъ говоритъ, что политическая экономія относится совершенно нейтрально къ различнымъ формамъ общественной жизни: она даетъ нѣчто для правильнаго разумѣнія, но окончательнаго рѣшенія о какомъ-нибудь соціальномъ явленіи на себя не беретъ. Но тогда, значитъ, политическая экономія уклоняется отъ всякаго прямого вмѣшательства въ общественныя дѣла и отъ всякаго вліянія на воззрѣнія, касающіяся самыхъ существенныхъ интересовъ. И какъ же, спрашивается, добиться окончательнаго рѣшенія того или другого соціальнаго вопроса? Какъ получить сумму одностороннихъ взглядовъ и какъ вообще добыть истину относительно общественныхъ дѣлъ? Ясно, что нужно цѣльное общественно-научное изслѣдованіе, въ которомъ изслѣдованіе спеціально-экономическое должно раствориться. Даже въ вопросахъ экономическихъ рѣшеніе не должно ограничиваться экономической точкой зрѣнія. А слѣдовательно и политическая экономія только тогда возстановитъ свой кредитъ и авторитетъ, когда распустится въ общественной наукѣ.

Вторая ошибка послѣдователей Адама Смита состоитъ въ томъ, что они, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ Рикардо, усвоили экономической наукѣ слишкомъ абстрактный методъ изслѣдованія. Безъ абстракціи, отвлеченія, не можетъ обойтись ни одна наука, но если мы доведемъ абстракцію до того, что создадимъ особый міръ, совершенно несходный съ реальнымъ, то неизбѣжно придемъ къ теоретически ложнымъ и практически непригоднымъ заключеніямъ. Поразительная запутанность и неточность экономической терминологіи показываютъ, что конкретные факты не покрываются соотвѣтственными понятіями. Образчикъ такой неправильной абстракціи мы встрѣчаемъ на самомъ порогѣ зданія экономической науки. Зданіе это основывается на томъ предположеніи, что жажда богатства есть единственный двигатель хозяйственной жизни. Цѣль политической экономіи, говоритъ Милль: «показать, каковъ будетъ образъ дѣйствій, къ которому пришли бы люди, живя въ обществѣ, еслибы этотъ мотивъ, за исключеніемъ той степени, въ которой онъ задерживается двумя вышеупомянутыми мотивами (желаніе насладиться дорогими удовольствіями въ настоящемъ и отвращеніе къ труду), былъ абсолютнымъ двигателемъ человѣческихъ дѣйствій». Но что же такое стремленіе къ богатству? Лесли справедливо замѣчаетъ, что это—собирательное имя для многихъ потребностей, желаній, чувствъ, эко-

номическое значеніе и вліяніе которыхъ весьма различно и постоянно измѣняется. Моралисты, имѣя дѣло съ тѣмъ же понятіемъ, но видя въ немъ не условіе благосостоянія, а источникъ зла, предали проклятію подъ именемъ жажды богатства не только чувственность и алчность, но и любовь къ жизни, стремленіе къ здоровой и вообще удовлетворительной обстановкѣ и даже эстетическое чутье. Экономисты, точно также сваливъ въ кучу разнообразныя вещи, которыя можно разумѣть подъ словомъ «благосостояніе», создали единый мотивъ человѣческой природы, который выдаютъ за источникъ труда и движущую силу хозяйственной жизни. На самомъ дѣлѣ, однако, тутъ можно усмотрѣть мотивы, весьма различные у различныхъ индивидовъ, сословій и народовъ. Конечно, стремленіе къ накопленію богатства есть *одинъ* изъ элементовъ общественнаго прогресса, но и онъ измѣняетъ свой характеръ въ теченіи исторіи. Поэтому факторы, прикрытые общимъ, не подходящимъ именемъ жажды богатства, должны быть выдѣлены и всесторонне изучены каждый въ отдѣльности, а это возможно опять-таки только при условіи изученія общества со всѣхъ сторонъ.

Другимъ примѣромъ неправильной абстракціи можетъ служить отношеніе политической экономіи къ труду, отношеніе, особенно способствовавшее дискредитированію науки въ глазахъ рабочихъ классовъ. «Трудъ» изслѣдуется безо всякаго вниманія къ конкретному носителю рабочей силы, къ личности работника, вслѣдствіе чего оставляются въ сторонѣ многіе моменты, существенно вліяющіе на положеніе рабочаго класса. Работникъ трактуется исключительно, какъ орудіе производства. При этомъ слишкомъ часто забывается, что онъ прежде всего человѣкъ и членъ общества, что онъ имѣетъ свои семейныя и гражданскія обязанности, для разумнаго отправленіи которыхъ онъ долженъ имѣть извѣстный досугъ и извѣстный уровень образованія. Нынѣ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда, повидимому, серьезно заботятся объ образованіи рабочаго, имѣется въ виду, главнымъ образомъ, техническое образованіе и, слѣдовательно, рабочему всетаки усвоивается только роль производителя, между тѣмъ какъ ему въ этомъ отношеніи приличествуетъ то же самое, что и всѣмъ намъ. Далѣе, трудъ трактуется, какъ товаръ, подобно всему, что можетъ быть куплено и продано. Ясно, однако, что даже въ тѣхъ случаяхъ, когда трудъ въ самомъ дѣлѣ можно назвать товаромъ, онъ во многихъ отношеніяхъ всетаки не товаръ и товаромъ быть не можетъ, хотя бы уже потому, что онъ для этого недостаточно подвиженъ и не можетъ долго ждать на рынкѣ.

Не мало можно найти и еще подобныхъ образчиковъ чрезмѣрной и незаконной абстраціи. Такова, напримѣръ, фикція заработнаго фонда, предполагающая существованіе строго опредѣленной для всякой данной минуты суммы цѣнностей, изъ которой выплачивается заработная плата. Всѣ подобныя иллюзіи, устраненіе которыхъ важно и, въ гуманномъ, и въ чисто научномъ смыслѣ, обязаны своимъ происхожденіемъ метафизическимъ привычкамъ мысли, какъ сказалъ бы Огюстъ Контъ; созданіямъ спекулятивнаго разума они придаютъ характеръ реальнаго существованія.

Третье изъ господствующихъ въ политической экономіи заблужденій состоитъ въ излишнемъ уваженіи къ дедуктивному методу. Ингрэмъ не отрицаетъ значенія вывода въ наукахъ общественныхъ. Онъ полагаетъ, что этимъ методомъ можетъ быть многое уяснено и что ему естественно принадлежитъ весьма важная роль въ изслѣдованіи. Но онъ отрицаетъ, чтобы, какъ думаютъ нѣкоторые, все содержаніе политической экономіи могло быть выведено изъ нѣсколькихъ простыхъ положеній. Для этого общественныя явленія слишкомъ сложны и слишкомъ еще мало разработаны, такъ что чисто дедуктивное, выводное построеніе науки не можетъ внушать довѣрія. Еслибы въ самомъ дѣлѣ наука могла быть выведена изъ нѣсколькихъ общихъ и простыхъ положеній, извлеченныхъ изъ природы человѣка, то мы должны были бы предположить, что въ дѣйствительности существуетъ и можетъ существовать только *одинъ* видъ экономическихъ отношеній, къ которому неизбѣжно приводитъ сама логика вещей. Мы знаемъ, однако, что хозяйственная организація принимаетъ въ теченіе исторіи весьма разнообразныя формы. Говорятъ, что политическая экономія имѣетъ въ природѣ и склонностяхъ человѣка неизмѣнное основаніе и что слѣдовательно дедуктивно найденныя ею законы всегда подтверждаются фактически существующими и существовавшими отношеніями. Но исходную точку всей дедукціи составляютъ, однако, нынѣшнія экономическія явленія, а мы знаемъ такіе историческіе періоды, въ которыхъ экономическій порядокъ до такой степени отличался отъ нынѣшняго, что не было и помину о частной собственности. Сравнительно недавнее открытіе повсюднаго въ древности существованія общинной собственности, которой отнюдь не имѣли въ виду экономисты, когда ставили свои устои для дедукціи, показываетъ, какую важную роль въ общественной наукѣ долженъ играть индук-

тивный и именно историческій методъ. И вообще, надо замѣтить, что любой предметъ только тогда можетъ считаться вполнѣ изученнымъ и понятымъ, когда приведена въ извѣстность его исторія, вся та цѣпь последовательныхъ измѣненій, которую онъ прошелъ прежде, чѣмъ стать тѣмъ, что онъ есть въ данную минуту. Благодаря своей исключительной склонности къ дедуктивному методу, экономисты слишкомъ часто забывать это столь же важное, сколько и простое правило.

Наконецъ послѣдній слабый пунктъ господствующей школы политической экономіи состоитъ въ абсолютности ея теоретическихъ и практическихъ заключеній. Этотъ недостатокъ есть прямое слѣдствіе всѣхъ предыдущихъ. Не обращая вниманія на историческую смѣну экономическихъ отношеній въ связи съ измѣненіемъ всѣхъ другихъ общественныхъ элементовъ и имѣя въ виду только наличныя явленія, экономисты, естественно, склонны давать безусловныя рѣшенія, якобы всегда и вездѣ пригодныя. Экономистъ скажетъ, напримѣръ, не обинуясь, что машины улучшили положеніе рабочихъ классовъ, или что устраненіе покровительственной торговой политики не повредитъ сѣверо-американской промышленности; а между тѣмъ оба эти положенія, выраженныя столь безусловно, очевидно ошибочны. Но лучшимъ примѣромъ такой безусловности рѣшеній экономистовъ можетъ служить знаменитая формула «laisser faire». Первоначально эта теорія сослужила свою службу, какъ орудіе борьбы противъ неразумнаго правительственнаго вмѣшательства въ промышленную жизнь. Но затѣмъ, получивъ абсолютный характеръ, теорія возстала противъ всякаго правительственнаго вмѣшательства, хотя бы оно не наносило никакого ущерба экономическому развитію страны и направлялось единственно къ устраненію несправедливостей и неудобствъ, порождаемыхъ разнузданностью конкуррирующихъ интересовъ.

Въ заключеніе Ингрэмъ предлагаетъ преобразовать статистико-экономическій отдѣлъ «Британскаго общества для споспѣшествованія наукамъ» въ отдѣлъ соціологическій, причемъ въ него должно войти многое изъ того, что нынѣ окрещивается неудачно выбраннымъ собирательнымъ именемъ «антропологіи», а также и преобразованная политическая экономія.

Мы довольно подробно изложили содержаніе рѣчи Ингрэма не потому, чтобы въ ней было что-нибудь по существу новое. Напротивъ, кто слѣдилъ за последнее время за экономической литературой, тотъ знаетъ, что Ингрэмъ, собственно говоря, ничего новаго не сказалъ, и что кое-что въ его рѣчи стало въ нѣмецкой литературѣ уже общимъ мѣстомъ, со всѣми достоинствами и недостатками, какіе свойственны общимъ мѣстамъ. Общія мѣста хороши, какъ признакъ, что извѣстное требованіе или положеніе стало достояніемъ, такъ сказать, улицы и площади, а это обыкновенно случается уже съ зрѣлымъ и, во всякомъ случаѣ, скорѣе перезрѣлымъ, чѣмъ незрѣлымъ плодомъ мысли. Не хороши же они тѣмъ, что, успокоивая мысль, заставляютъ людей думать, что они получили очень многое, даже все, что въ данномъ случаѣ можно получить, тогда какъ на самомъ дѣлѣ они получили только очень немногое. Въ такомъ именно двойственномъ положеніи находятся нѣкоторыя стороны представленной Ингрэмомъ критики политической экономіи.

Еще недавно совокупность понятій и обобщеній, носившая громкій титулъ политической экономіи, считалась чѣмъ-то вполнѣ неприкосновеннымъ. Это была отрасль знанія «изъ молодыхъ, да ранняя». Не смотря на свою относительную молодость, она гордо и ловко носила титулъ законченной науки и пользовалась довѣріемъ, даже несравненно большимъ, чѣмъ многія гораздо болѣе несомнѣнныя и гораздо болѣе старыя науки. Она проникла въ сферу практической, государственной дѣятельности, заполонила школы и журналистику, и даже для людей, сознательно невѣжественныхъ, считалось признакомъ хорошаго тона блеснуть время отъ времени экономической истиной или якобы истиной. Правда, съ давнихъ уже временъ разныя соціалистическія школы подкапывались подъ зданіе молодой науки, но въ такъ называемой большой публикѣ, не говоря уже о самихъ жрецахъ науки, эти нападки встрѣчались презрительно, какъ продукты невѣжества или злонамѣренности. Много было причинъ такого успѣха. Во-первыхъ, политическая экономія, даже при самомъ зарожденіи своемъ, имѣла дѣйствительно нѣкоторый научный характеръ. Она дѣйствительно объясняла извѣстный кругъ фактовъ общественной жизни, и это тѣмъ больше бросалось въ глаза, что всѣ остальныя отрасли изученія общества далеко отъ нея въ этомъ отношеніи отстали. Политическая экономія систематизировала хозяйственныя явленія въ томъ направленіи и съ тою вѣрою, что этотъ кругъ фактовъ управляется извѣстными законами, объ чемъ въ другихъ отрасляхъ обществознанія не было и помину. Далѣе, практическая подкладка экономическихъ теорій пришлась какъ разъ въ тонъ духу времени, если подъ духомъ времени разумѣть требованія и интересы тѣхъ, кого волна времени выноситъ наверхъ. Нѣтъ

поэтому ничего удивительнаго въ необычайномъ, по быстротѣ, силѣ и распространенію, успѣхѣ экономической науки. Но вотъ мало-по-малу авторитетъ ея расшатывается, какъ новыми теоретическими работами, такъ и ходомъ практической жизни, и, наконецъ, Ингрэмъ, предлагая ей нѣкоторымъ образомъ уничтожиться, выражаетъ, можно сказать, мнѣніе или, по крайней мѣрѣ, настроеніе улицѣ и площади. Подъ улицей и площадью надо тутъ разумѣть совсѣмъ не только плохо образованную толпу «большой публики», но, кромѣ нея, цѣлый рядъ ученыхъ, профессоровъ и писателей, между которыми есть и умные, и знающіе, и добропорядочные люди, но вовсе нѣтъ людей, блещущихъ яркою оригинальностью мысли. Настроеніе этихъ лишенныхъ оригинальности умовъ представляетъ фактъ чрезвычайной важности: они никогда не начинаютъ борьбы, потому что вообще неспособны къ умственной инициативѣ, но разъ они приняли участіе въ борьбѣ, это можетъ служить несомнѣннымъ признакомъ, что борьба близка къ развязкѣ. Въ свое время, такая же улица и такая же площадь горой стояла за ходячія экономическія доктрины и пріемы, и если теперь они ополчились противъ нихъ, то это можетъ быть знаменательнѣйшій признакъ времени и во всякомъ случаѣ признакъ утраты политическою экономіей кредита. Даже не признакъ, а прямое выраженіе этого паденія авторитета. Всѣ эти Шмоллеры, Гельды, Книсты, Шеели, Вагнеры, мнѣнія которыхъ выразилъ для англичанъ Ингрэмъ, отличаются не только отсутствіемъ оригинальной мысли, но также трудолюбіемъ и усердіемъ, которыя ручаются за распространеніе новыхъ взглядовъ на задачи, границы и пріемы экономической науки. На сколько всѣ эти господа вѣрно и глубоко понимаютъ дѣло, это особь статья. Но разъ они взялись за работу, мы несомнѣнно присутствуемъ при важномъ поворотѣ направленія науки. Надо, однако, помнить, что улица и площадь довольствуются малымъ, иногда даже слишкомъ малымъ.

Остановимся на первомъ пунктѣ критики Ингрэма.

Причины успѣха до нынѣ господствовавшей экономической науки уже предопредѣляли причины ея паденія. Если успѣхъ этого ученія обусловливался совпаденіемъ его практической подкладки съ духомъ времени, на сколько онъ выражался требованіями и интересами буржуазіи, то вѣдь духъ времени постоянно измѣняется. И дѣйствительно въ настоящее время интересы и требованія рабочихъ классовъ выдвигаются настолько осязательно, что нельзя не принимать ихъ въ соображеніе. А кромѣ того, мы присутствуемъ при необычайномъ развитіи милитаризма и соотвѣтственномъ усиленія государственной власти. Между двумя этими теченіями буржуазія осуждена играть роль слабую и двусмысленную, а потому и соотвѣтственныя теоретическія доктрины неизбѣжно должны съежиться. Если далѣе политическая экономія сформировалась раньше другихъ отраслей обществознанія и рано выдѣлилась относительно свѣтлымъ пятномъ на ихъ тускломъ фонѣ, то это же самое обстоятельство должно было впослѣдствіи послужить ей во вредъ. Выкроивъ изо всего соціологическаго матеріала хозяйственныя явленія и подвергнувъ ихъ тщательной, но односторонней разработкѣ, политическая экономія быстро сложилась въ науку, но столь же быстро окостенѣла. Она не получала никакого добавочнаго питательнаго матеріала отъ сосѣднихъ наукъ, сначала потому, что, пожалуй, и нечего было получать, а затѣмъ потому, что не могла воспринимать: si jeunesse savait, si vieillesse pouvait! Другія отрасли обществознанія, исторія, наука права, этика, развиваясь гораздо медленнѣе, неуклюжѣе, не достигнувъ, собственно говоря, даже до сихъ поръ настоящаго образа и подобія науки, тѣмъ не менѣе добрались до такихъ фактовъ несомнѣнно экономическаго характера, которые были трудно объяснимы съ точки зрѣнія скороспѣлыхъ и затѣмъ окостенѣвшихъ экономическихъ доктринъ. Ингрэмъ привелъ одинъ примѣръ такого рода—изслѣдованія Мэна о древнемъ правѣ и объ общинной собственности. На почвѣ этого рода фактовъ ходячія экономическія доктрины потерпѣли фіаско не только въ теоретическомъ столкновеніи съ изысканіями другихъ отраслей знанія, но и въ практическомъ столкновеніи съ самою жизнью, какъ это вышло, напримѣръ, съ колоніальной англійской политикой въ Индіи. Вовсе не было надобности въ такихъ печальныхъ опытахъ для того, чтобы убѣдиться въ той простой истинѣ, что экономическія доктрины построены слишкомъ односторонне. Эта истина могла бы быть добыта чисто логическимъ путемъ. И дѣйствительно давно уже раздавались оригинальные, иногда, конечно, слабые, иногда сильные голоса, требовавшіе отъ экономической науки большей широты взгляда. А теперь цѣлый хоръ ни мало не оригинальныхъ эхо твердитъ: политическая экономія должна осложниться, оплодотвориться сочетаніемъ съ другими отраслями знанія. Такъ и Ингрэмъ говоритъ. Прекрасно. Но, спрашивается, какъ же должно произойти это желанное сочетаніе? Какъ именно вдвинуть политическую экономію въ рядъ другихъ общественныхъ наукъ и какъ установить ея зависимость

отъ группы истинъ высшаго порядка, которую можно бы было назвать соціологіей? Если имѣть въ виду практическую цѣль переименованія статистико-экономическаго отдѣла «Британскаго общества для споспѣшествованія наукамъ» въ отдѣлъ соціологическій, то можно, пожалуй, сказать, что Ингрэмъ сдѣлалъ все нужное для достиженія этой цѣли. Онъ произвелъ эффектъ, сказалъ много вѣрнаго и хорошаго, и преобразованному статистико-экономическому отдѣлу «Британскаго общества» ничто не мѣшаетъ раскрыть двери трудамъ Мэна или Леббока и Тайлора, какъ хочетъ Ингрэмъ. Но отсюда еще очень далеко до преобразованія политической экономіи, до «раствореніи» ея въ соціологіи. Это только маленькая реформа «Британскаго общества», а отнюдь не большая реформа науки, и было бы напраснымъ трудомъ искать у Ингрэма точныхъ, опредѣленныхъ указаній на характеръ этой реформы. Не найдемъ мы ихъ и въ многочисленныхъ работахъ нѣмецкихъ «катедеръ-соціалистовъ» или «этической» школы. Мы найдемъ у нихъ недурную разработку нѣкоторыхъ частныхъ вопросовъ, найдемъ рядъ очень полезныхъ историко-экономическихъ монографій, найдемъ, наконецъ, нѣкоторыя достойныя вниманія критическія замѣчанія. И на всемъ этомъ лежатъ несомнѣнные слѣды требованія широкой и всесторонней точки зрѣнія. Такъ, напримѣръ, изслѣдуя какой-нибудь практическій вопросъ, «этики» стараются рѣшить его не на основаніи однихъ экономическихъ принциповъ, но, худо ли хорошо ли, вводятъ въ рѣшеніе нравственный и политическій элементы. Такая постановка вопроса иногда значительно и притомъ выгодно отличается отъ той, какая ему можетъ быть дана на основаніи старыхъ школьныхъ экономическихъ доктринъ. И хотя «этики» далеко не всегда удачно справляются съ рѣшеніями частныхъ практическихъ вопросовъ, но всегда стараются ввести въ эти рѣшенія моменты, доселѣ оффиціональною наукою не принимавшіеся въ соображеніе. Та же тенденція видна и въ историко-экономическихъ монографіяхъ, въ которыхъ на почвѣ исторіи сводятся на очную ставку экономическій порядокъ съ правовымъ. Характеренъ и самый выборъ предметовъ для этихъ монографій: большею частью они касаются такихъ формъ общежитія и такихъ моментовъ историческаго развитія экономическимъ отношеній, которыми наука доселѣ мало занималась. Но каково бы ни было значеніе этихъ работъ въ другихъ отношеніяхъ, онѣ ни мало не подвигаютъ впередъ теоретическаго вопроса о мѣстѣ политической экономіи въ ряду другихъ общественныхъ наукъ и объ ея отношеніи къ соціологіи. Люди довольствуются голымъ заявленіемъ о необходимости «растворенія» политической экономіи въ соціологіи, о необходимости сближенія съ другими отраслями обществознанія, но для осуществленія этого грандіознаго намѣренія не дѣлаютъ, собственно говоря, ни шагу. Объясненія этому можно, пожалуй, искать именно въ грандіозности намѣренія. Въ самомъ дѣлѣ, рѣчь вѣдь идетъ ни больше, ни меньше, какъ объ созданіи цѣлой новой науки, вѣдающей наиболѣе сложныя изъ доступныхъ человѣку явленій и по отношенію къ которой политическая экономія должна занять нѣкоторое подчиненное мѣсто. Понятно, что не Книсамъ, Шмоллерамъ и Гельдамъ, признавая всѣ ихъ достоинства, совершить такое дѣло. И не мудрено, что единственная въ этомъ родѣ современная нѣмецкая попытка Шеффле представляетъ нѣчто многотомное, многословное, но очень мало цѣнное. Вовсе не имѣя въ виду подробной характеристики «професорскаго соціализма», мы замѣтимъ только, что вторженія, этики, исторіи, политики въ область политической экономіи до сихъ поръ ни мало не способствуютъ созданію соціологіи, а даже препятствуютъ ему, ибо имѣютъ чисто случайный характеръ, лишены строго критическаго взгляда и не опираются на какой-нибудь общій принципъ. Въ этомъ отношеніи упрекъ Ингрэма Миллю въ неопредѣленности несравненно болѣе приложимъ къ нему самому и къ его нѣмецкимъ единомышленникамъ.

Это станетъ очевиднымъ, если мы обратимся ко второму пункту ингрэмовой критики политической экономіи.

Любопытно, что, приводя примѣры неправильной абстраціи, практикуемой экономической наукой, Ингрэмъ не счелъ нужнымъ остановиться на двухъ, наиболѣе выдающихся примѣрахъ, изъ которыхъ одинъ указывается чрезвычайно часто нынѣшними критиками, то есть тѣми, къ которымъ тяготѣетъ самъ Ингрэмъ, а другой не указывается ими почти никогда.

Политическая экономія, по опредѣленію Милля, приводимому Ингрэмомъ, разсматриваетъ человѣчество, какъ будто оно занято только пріобрѣтеніемъ и потребленіемъ богатства, какъ будто это единственный стимулъ человѣческой дѣятельности. Исходя изъ этого опредѣленія, Ингрэмъ напираетъ на слишкомъ абстрактный (вѣрнѣе было бы сказать, слишкомъ суммарный) характеръ понятія богатства, подъ которымъ, дескать, кроются разнообразные элементы, подлежащіе выдѣленію и всестороннему изслѣдованію. Обыкновенно критики, стоящіе на од-

ной почвѣ съ Ингрэмомъ, направляютъ свои замѣчанія иначе. Они обращаютъ главное вниманіе на то, что люди, какъ объектъ политической экономіи, суть не дѣйствительные, не реальные, а отвлеченные люди, такъ какъ экономисты сознательно или безсознательно отвлекаютъ одну сторону человѣческой природы и на ней одной строятъ зданіе науки. Отсюда критики выводятъ или полную несостоятельность, или, по крайней мѣрѣ, условность многихъ теоретическихъ положеній и практическихъ заключеній классической экономіи. Не трудно видѣть, что, занявъ такую позицію, Ингрэмъ имѣлъ бы въ рукахъ цементъ, которымъ могъ бы связать воедино свои довольно запутанно сгруппированные четыре пункта. Въ самомъ дѣлѣ, именно абстрактное построеніе науки на одной только сторонѣ человѣческой природы, кладетъ рѣзкую, до сихъ поръ не переходимую демаркаціонную линію между политической экономіей и другими отраслями обществознанія; оно же ведетъ къ злоупотребленію дедуктивнымъ методомъ и къ безусловности рѣшенія, когда экономисты забываютъ, что человѣкъ ихъ науки есть не реальное, а гипотеческое существо. Выводной методъ, въ качествѣ исключительно логической машины, не нуждающейся ни въ опытѣ, ни въ наблюденіи и только вытягивающей, звено за звеномъ, цѣпь послѣдовательныхъ умозаключеній, даетъ результаты, сообразные взятой за исходную точку посылкѣ. Это все равно, что насосъ, который, будучи приложенъ къ болоту, накачиваетъ болотную воду, изъ минеральнаго источника—минеральную, изъ рѣки—рѣчную и т. д. Значитъ, и въ политической экономіи правильность результатовъ выводного метода существенно опредѣляется качествами, такъ сказать, пункта примычки дедукціонной машины. Что касается безусловности рѣшеній, то незаконная всегда, въ силу общихъ свойствъ человѣческаго мышленія, она, само собою разумѣется, еще неумѣстнѣе, когда безусловныя рѣшенія даются въ результатѣ чисто логическихъ операцій, отправляющихся отъ такой условной, гипотетической исходной точки, каково основаніе политической экономіи.

Такова именно безусловность теоріи laisser faire или промышленной свободы. Критическое отношеніе къ этой теоріи отнюдь не составляетъ новости, какъ читателю извѣстно. Напротивъ, если не считать вопроса о народонаселеніи, то на этой именно почвѣ произошли первые и важнѣйшіе споры въ области экономіи. И Ингрэмъ обнаруживаетъ непростительную неблагодарность, ни единымъ словомъ не поминая первыхъ и до нынѣ не замолкшихъ борцовъ противъ этой, такъ называемой, «свободы». Какъ бы то ни было, критика теоріи промышленной свободы составляетъ одну изъ излюбленныхъ темъ «профессорскаго соціализма». Такъ какъ вопросъ съ полною ясностью разработанъ уже давно, то можно было ожидать, что новые критики поднимутъ его въ какую-нибудь высшую сферу, дадутъ ему болѣе широкое освѣщеніе, сдѣлаютъ новые выводы и т. п. Ничего подобнаго, однако, не случилось. Улица и площадь заговорили—это прекрасно, какъ рѣшительный симптомъ паденія «либеральной» экономіи. Но улица и площадь неспособны къ самостоятельной, вполнѣ творческой работѣ мысли. Вопросъ стоитъ такимъ образомъ: если принципъ промышленной свободы оказывается несостоятельнымъ, если онъ не даетъ и не можетъ дать тѣхъ благихъ результатовъ, какіе были обѣщаны, а отчасти и теперь еще обѣщаются его провозвѣстниками; если не гармонія интересовъ, не равновѣсіе хозяйственныхъ силъ выростаютъ на почвѣ промышленной свободы, а напротивъ, дикая, безъисходная борьба и гнетъ экономически слабыхъ экономически сильными—то гдѣ же искать регулятора хозяйственной жизни? Какой принципъ долженъ встать на мѣсто такъ жестоко обманувшаго людей принципа свободы? Свободѣ логически можно противопоставить только принужденіе. Но, хотя и нетрудно натолкнуться въ текущей жизни на такія положенія и отношенія вещей, для противовѣса которымъ даже наирадикальнѣйшій либералъ подастъ свой голосъ за принужденіе, однако, сдѣлать изъ принужденія верховный принципъ экономической науки и практики было бы по нынѣшнему времени слишкомъ зазорно. По крайней мѣрѣ, новые критики политической экономіи подобное знамя не рѣшаются водрузить. Вслѣдствіе этого они очутились бы въ весьма затруднительномъ положеніи, еслибы ихъ не выручила одна старая логическая, а пожалуй и историческая ошибка, къ которой они подошли съ разныхъ сторонъ. Одни, ища въ исторіи и въ текущей дѣйствительности такихъ формъ организаціи экономическихъ отношеній, которыя гарантировали бы существованіе экономически слабымъ силамъ, нашли, что такія формы были и есть. Государство, собственно говоря, никогда вполнѣ не отказывалось отъ роли экономическаго регулятора. Иногда оно въ этомъ отношеніи пересаливало, иногда недосаливало, но въ принципѣ всегда считало вмѣшательство въ хозяйственную жизнь своимъ правомъ. Нерѣдко случалось при этомъ, что государство, влекомое своими собственными, спеціальными интересами и задачами, оказывало, однако, дѣйствительное покровитель-

ство тѣмъ, кто въ немъ дѣйствительно нуждался. Случалось это и съ церковью. А кромѣ того, въ средніе вѣка существовали общины, гильдіи, цехи, братства подмастерьевъ и нынѣ существуютъ всякаго рода рабочіе союзы, и цѣль всѣхъ этихъ учрежденій заключалась и заключается именно въ противодѣйствіи свободѣ сильныхъ душить слабыхъ, въ ограниченіи сильныхъ единицъ при помощи группировки слабыхъ силъ въ нѣкоторую коллективную единицу. Вотъ, значитъ, и новый принципъ, долженствующій замѣнить собой принципъ промышленной свободы. Найти его было тѣмъ легче, что онъ уже давнымъ давно найденъ. Но надо же этого найденыша извѣстнымъ образомъ обработать и прежде всего надо дать себѣ ясный и точный отчетъ, почему именно онъ является на смѣну принципу промышленной свободы, въ чемъ именно заключается его спасительная противоположность этому принципу. И государство, и церковь, и община, и гильдія, и цехъ, и братство подмастерьевъ, и современный рабочій союзъ несомнѣнно прибѣгаютъ въ той или другой формѣ къ принужденію, часто очень тяжелому. Съ этой стороны противоположность найденыша принципу промышленной свободы не подлежитъ никакому сомнѣнію. Но, какъ мы видѣли, принужденіе нельзя поставить во главу угла науки. Значитъ, надо искать въ найденышѣ другого опредѣляющаго момента, а этотъ моментъ есть соединеніе, общеніе силъ, и, слѣдовательно, новый принципъ есть принципъ существенно соціальный. Но, такъ какъ онъ долженъ быть противоположенъ принципу промышленной свободы, то послѣдній долженъ быть принципомъ существенно индивидуальнымъ, личнымъ, эгоистическимъ. Къ тому же результату можно, конечно, придти гораздо прямѣе, усматривая въ теоріи промышленной свободы непосредственное требованіе, чтобы отдѣльныя экономическія силы вращались совершенно свободно, безъ какой бы то ни было чужой помощи со стороны. Можно, наконецъ, даже никуда не ходить за этой связью теоріи laisser faire съ личнымъ началомъ, а просто получить ее по наслѣдству, ибо всѣ экономисты и всѣ старые соціалисты насчетъ этой связи согласны; только одни видятъ въ ней благо, а другіе—зло.

Такъ или иначе, дойдя до принципа общенія, соединенія силъ, критики политической экономіи весьма приблизились къ уразумѣнію отношеній экономической науки къ соціологіи. Или эта великая наука никогда не будетъ существовать, или предметъ ея будутъ составлять законы взаимныхъ отношеній между различными формами общежитія и отношеній этихъ формъ къ человѣческой личности. Предметъ политической экономіи, законы хозяйственнаго общенія займутъ въ ней свое, строго опредѣленное мѣсто, но не будутъ уже выпячиваться ребромъ, потому что соціологъ опредѣлитъ ихъ отношеніе къ законамъ политическаго общенія, каково государство, религіознаго, какова церковь, національнаго, сословнаго и т. п. И, слѣдовательно, профессорскій соціализмъ, приведенный вопросомъ о промышленной свободѣ къ изученію воздѣйствія различныхъ типовъ общежитія на характеръ экономическихъ отношеній, всталъ на очень твердую и плодотворную почву. Но стать на твердую почву еще не значитъ воздѣлать ее и посѣять зерно. Пока «профессора» довольствуются историческими или живыми наблюденіями, то есть пока они разсказываютъ, какъ въ старые годы слабыя экономическія силы укрывались подъ защиту той или другой коллективной единицы, и какъ это тамъ и сямъ дѣлается теперь, мы узнаемъ нѣчто новое, полезное и, пожалуй, подготовляющее грядущую соціологію. Но когда отъ исторіи и описанія дѣйствительности они переходятъ къ теоретическимъ разсужденіямъ и практическимъ заключеніямъ, мы уже потому ничего путнаго не узнаемъ, что намъ не даютъ никакой опредѣленной руководящей нити. Какая коллективная единица возьметъ на себя задачу охраны слабыхъ? государство, церковь, семья, нація, рабочій союзъ, международная ассоціація, государство унитарное или федеральное, рабочій союзъ съ правительственною или безъ правительственной помощи? Мы услышимъ резоны за и противъ каждаго изъ этихъ рѣшеній и еще многихъ другихъ и не найдемъ ни одного указанія на такую высшую и общую точку зрѣнія, съ которой былъ бы возможенъ систематическій обзоръ всѣхъ этихъ разномастныхъ формъ общенія. Дайте намъ, по крайней мѣрѣ, возможность такого обзора, и тогда вопросъ экономическій станетъ простою частностью. Конечно, это требованіе нѣсколько напоминаетъ архимедовское: дайте мнѣ точку въ пространствѣ, и я переверну землю. А опять-таки Шмоллеры и Ингрэмы сдѣланы не изъ того матерьяла, какой нуженъ для того, чтобы дать точку въ пространствѣ. Но они не только не даютъ ее, а даже удаляютъ или, по крайней мѣрѣ, сами отъ нея удаляются, ибо отворачиваются, изъ-за философскихъ, политическихъ и иныхъ предразсудковъ, отъ того единственнаго принципа, который можетъ служить единицею мѣры при опредѣленіи относительнаго значенія различныхъ формъ общежитія. Ясно, что такою единицей мѣры можетъ быть или человѣческая личность, или

одна какая-нибудь изъ ступеней сложной и широко развѣтвленной градаціи формъ общежитія. Но въ послѣднемъ случаѣ, выборъ будетъ всегда произволенъ вслѣдствіе embarras de richesses. Нынѣшній патріотическій великогерманецъ предложитъ единую и нераздѣльную имперію, федералистъ—союзъ государствъ, католикъ—церковь и т. д., и т. д. Каждый изъ этихъ людей будетъ утверждать, что излюбленная имъ форма общежитія представляетъ тотъ именно самодовлѣющій принципъ, которымъ должно мѣрять достоинство всѣхъ другихъ формъ общенія и соотвѣтственныхъ имъ принциповъ. Каждый, съ своей точки зрѣнія, будетъ правъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ будутъ неправы. Но есть еще принципъ, стоящій внѣ этой безъисходной конкурренціи и потому самому можетъ быть наиболѣе въ данномъ случаѣ пригодный—принципъ личности. Посмотримъ, какъ отнесся бы къ нему Ингрэмъ.

Посмотримъ это на конкротномъ примѣрѣ: возьмемъ безконечные споры о нашей крестьянской общинѣ. Одни утверждаютъ, что община, насильственно держа мужика у земли, тѣмъ самымъ мѣшаетъ росту народнаго русскаго богатства, ибо мѣшаетъ составленію большаго контингента рабочихъ, которые, за отсутствіемъ собственнаго хозяйства, были бы прочно привязаны къ крупнымъ предпріятіямъ по сельской и обрабатывающей промышленности. Какъ можетъ развиваться народное богатство, какъ могутъ примѣняться en grand улучшенные способы производства, когда мужикъ держится своего клочка земли? Сгоните его съ этого клочка и онъ волей неволей станетъ хорошимъ работникомъ на фабрикѣ или у крупного землевладѣльца, а эти послѣдніе, обладая обширными средствами, быстро оживятъ русское производство и вызовутъ изъ нѣдръ нашего обширнаго отечества нынѣ втунѣ лежащія тамъ богатства. Защитники обширнаго землевладѣнія возражаютъ, что оживить втунѣ лежащія богатства можно и при общинномъ землевладѣніи: для этого нужно только дальнѣйшее цѣлесообразное развитіе общиннаго принципа. Но, говорятъ они, кромѣ богатства, на свѣтѣ существуютъ еще живые, конкретные избиратели и потребители, люди, человѣческія личности; ихъ-то нельзя отдавать на жертву Молоху «народнаго богатства», еслибы даже въ самомъ дѣлѣ народное богатство требовало превращенія самостоятельныхъ хозяевъ въ служебныя подробности производственной механики. И въ этомъ все дѣло. Община дорога не сама по себѣ, какъ идолъ какой-нибудь. Подумайте и осуществите что-нибудь лучшее въ смыслѣ огражденія личности мужика отъ бурь промышленной конкурренціи, и кто же бы сталъ тогда требовать ея сохраненія?

Само собою разумѣется, что это только очень сокращенная схема споровъ объ общинѣ. Но съ насъ довольно и этого. Обращаясь къ Ингрэму, мы найдемъ въ его рѣчи только одно мѣсто, непосредственно относящееся къ этому предмету. А именно, говоря о злоупотребленіи дедуктивнымъ методомъ, онъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что тѣ будто-бы основныя свойства человѣческой природы, изъ которыхъ экономисты дедуцируютъ, взяты изъ современной экономической жизни, и что, ставя эти устои для своей дедукціи, экономисты не принимали въ соображеніе той общинной организаціи, которая, однако, существовала повсемѣстно и долго. «Изъ этой повсемѣстности общинной собственности въ ранніе историческіе періоды, продолжаетъ Ингрэмъ:—нѣкоторые заключаютъ, что она представляетъ естественный порядокъ; но историческій методъ учитъ, что онъ естественъ ровно настолько, чтобы на слѣдующей ступени развитія исчезнуть. Полезная въ ранній періодъ, община становится потомъ препятствіемъ, ибо задерживаетъ развитіе сельскаго хозяйства и не даетъ простора предпріимчивости единицъ, составляющей неизбѣжное условіе прогресса. Учрежденія въ родѣ швейцарскаго «альменда», русскаго «міра», и другія формы общиннаго хозяйства исчезнутъ; это можно предсказать съ увѣренностью. Конечно, общественныя обязанности поземельной собственности, равно какъ и всѣхъ формъ владѣнія, въ будущемъ возрастутъ, но это достигнется не законодательнымъ путемъ, а ростомъ нравственнаго сознанія, моральнымъ облагороженіемъ, которое вызоветъ, можетъ быть, и новые правовые порядки».

Это разсужденіе можетъ служить хорошимъ образчикомъ и сильныхъ, и слабыхъ сторонъ экономической школы, къ которой принадлежитъ Ингрэмъ. Хорошо воспользовавшись общиной, какъ орудіемъ критики выводного метода у старыхъ экономистовъ, Ингрэмъ оставляетъ, однако, насъ въ полномъ туманѣ относительно теоретическаго и практическаго значенія общины. Даже допустивъ неизбѣжность разложенія общины тамъ, гдѣ она до сихъ поръ сохранилась, мы все-таки не знаемъ наступилъ или не наступилъ, напримѣръ у насъ, тотъ моментъ, когда община становится поперекъ дороги промышленнаго прогресса: рѣшеніе предоставляется историческому ходу вещей, какъ будто ходъ этотъ рѣшаетъ что-нибудь самъ по себѣ, а не черезъ посредство живыхъ людей. И, что особенно замѣчательно, Ингрэмъ, ратующій противъ абстрактной односторонне-экономической постановки даже

чисто экономическихъ вопросовъ, стоитъ именно на этой забракованной имъ точкѣ зрѣнія. Рѣшающимъ судьбу общины моментомъ являются у него всетаки интересы «народнаго богатства». И не даромъ, приводя примѣры неправильной абстракціи, онъ ни слова не сказалъ о томъ, что идея народнаго богатства есть тоже абстракція и абстракція совершенно неправильная. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ въ дѣйствительности народы, націи бываютъ и могутъ быть богаты или бѣдны? Богаты и бѣдны люди и только люди. Фигурально выражаясь, можно, конечно, сказать, что англійская нація очень богата, но, когда мы знаемъ, что двѣ трети этой богатой націи нищенствуютъ или почти нищенствуютъ, то «народное богатство» должно быть признано фикціей, абстракціей, страдающей хроническимъ внутреннимъ противорѣчіемъ. Раскрыть это противорѣчіе можно только съ точки зрѣнія самостоятельной личности и ея судебъ. А на эту именно точку зрѣнія Ингремъ и его нѣмецкіе единомышленники боятся встать, полагая, что тѣмъ самымъ они подадутъ руку критикуемой имъ «индивидуалистической», «эгоистической», «либеральной» экономіи и соотвѣтственнымъ формамъ практики.

Ничего не можетъ быть ошибочнѣе такого взгляда, и ничего не можетъ быть прискорбнѣе такой ошибки. Еслибы «этики» имѣли мужество рѣзать ножомъ анализа всѣ формы общенія во имя верховенства личнаго начала, они имѣли бы руководящую нить не только для удовлетворительнаго рѣшенія частныхъ экономическихъ вопросовъ, но и для правильной постановки вопроса объ отношеніи политической экономіи къ соціологіи. Въ свое время ратовать противъ индивидуалистической подкладки либеральной экономіи было признакомъ большого ума и горячаго чувства. Но tempora mutantur et nos mutamur in illis. Нынѣ только жидкій, разслабленный сантиментализмъ можетъ твердить эту сказку про бѣлаго быка. Надлежитъ, напротивъ, показать, что принципъ индивидуализма никогда не былъ доведенъ либеральною экономіей до своего логическаго конца, ибо, какъ Юпитеръ скрывался въ олимпійскихъ облакахъ, когда совершалъ свое божественное грѣхопаденіе, такъ либеральная экономія пряталась въ туманъ «народнаго богатства», когда совершала грѣхъ насилія надъ личностью. Ингрэмъ желаетъ покончить съ фикціей заработнаго фонда. Фикція эта уподобляетъ общество чиновнику, получающему отъ правительства содержаніе подъ разными наименованіями и, между прочимъ, скажемъ, 500 р. «квартирныхъ»; чиновникъ можетъ быть произведенъ въ слѣдующій чинъ и тогда будетъ получать больше, но на всякой данной ступени іерархической лѣстницы онъ, по существующимъ штатамъ, получаетъ строго опредѣленныя «квартирныя», независимо отъ того большое или малое у него семейство и, слѣдовательно, большое или малое ему нужно помѣщеніе. Точно также вся совокупность рабочихъ получаетъ, по непреложнымъ законамъ экономическаго естества, всегда строго опредѣленную долю находящихся въ обществѣ цѣнностей, независимо отъ того, много или мало рабочихъ и, слѣдовательно, много или мало придется на долю каждаго изъ нихъ изъ опредѣленнаго заработнаго фонда. Ингрэмъ не замѣчаетъ, что эта фикція есть только частное выраженіе основной идеи «народнаго богатства», предполагающей существованіе какого-то цѣлаго, столь же однороднаго во всемъ своемъ составѣ, столь же единаго въ своихъ интересахъ и проявленіяхъ, какъ единъ чиновникъ. И эта фикція имѣетъ извѣстное основаніе. Существующій механизмъ производства и распредѣленія есть дѣйствительно нѣкоторое цѣлое, внутри котораго личность двигается совсѣмъ не свободно, а подчиняясь непреложнымъ законамъ, хотя и не экономическаго естества, а законамъ этого обнимающаго ее цѣлаго. Только это цѣлое вовсе не однородно въ своемъ составѣ, ибо самый поверхностный взглядъ усмотритъ въ немъ взаимно борющіеся интересы. Значитъ ближайшая задача критики политической экономіи состоитъ именно въ томъ, чтобы, выдѣливъ эти враждебно сталкивающіеся интересы, вмѣстѣ съ тѣмъ показать полное отсутствіе свободы и личнаго начала въ томъ порядкѣ вещей, котораго апологіей занимается такъ называемая либеральная экономія.

Отказываясь встать на единственно плодотворную точку зрѣнія личнаго начала, мы запутаемся въ противорѣчіяхъ нищенскаго богатства или богатой нищеты и рабской свободы или свободнаго рабства, ибо въ механизмѣ производства и распредѣленія «народнаго богатства» есть дѣйствительно элементы богатства и нищеты, свободы и рабства. А слѣдовательно, только разложеніемъ этого механизма на его атомы могутъ вскрыться его внутреннія противорѣчія. Для этого, понятное дѣло, надо отрѣшиться отъ предвзятаго пристрастія къ какой бы то ни было формѣ общенія, какія бы пышныя названія она ни носила и какъ бы ни было велико традиціонное къ ней уваженіе. Это и будетъ истинно соціологическая точка зрѣнія, которая не только внесетъ свѣтъ въ трущобы экономической науки, но и выяснитъ отношенія ея къ сопредѣльнымъ отраслямъ знанія. Нетрудно, въ самомъ дѣлѣ,

видѣть, что механизмъ производства и распредѣленія народнаго богатства самъ по себѣ никогда не имѣлъ бы такой губительной для личности силы, еслибы не осложнялся извѣстнаго рода политическими и юридическими придатками. Чисто экономическая борьба, собственно говоря, никогда не существовала, да еслибы когда нибудь и гдѣ-нибудь и имѣла мѣсто, то результаты ея, можно сказать, моментально обращаются въ юридическую норму и входятъ въ составъ политическихъ отношеній. А эти юридическія и политическія отношенія въ свою очередь даютъ перевѣсъ той или другой изъ сторонъ въ борьбѣ экономической. Соціологія выяснитъ этотъ сложный и запутанный процессъ взаимодѣйствія различныхъ типовъ общенія, въ числѣ которыхъ экономическое общеніе занимаетъ мѣсто на ряду съ другими. А потому естественно, что политическая экономія станетъ при этомъ въ подчиненное положеніе по отношенію къ наукѣ общественной. Но можно навѣрное сказать, что ни Ингрэмъ, ни его единомышленники ничего для этого не сдѣлаютъ, если, разумѣется, останутся тѣмъ, что они теперь есть.



Дневникъ читателя.

I.

О Всеволодѣ Гаршинѣ *).

Въ одномъ изъ своихъ писемъ, относящихся къ 1868 году, Тургеневъ мимоходомъ говоритъ о нѣкоторыхъ, въ то время еще молодыхъ, нашихъ беллетристахъ. Онъ не отрицаетъ ихъ талантливости, но съ укоромъ и сожалѣніемъ спрашиваетъ: «гдѣ же вымыселъ, сила, воображеніе, *выдумка* гдѣ? Они ничего выдумать не могутъ и, пожалуй, даже радуются тому: этакъ мы, полагаютъ они, ближе къ правдѣ».

Да, съ выдумкой было слабо въ ту пору, когда Тургеневъ писалъ эти слова, а съ той поры стало еще слабѣе. Около того времени молодые беллетристы еще пробовали себя въ «выдумкѣ». Г. Гирсъ замахнулся «Старой и Юной Россіей», но, впрочемъ, такъ и остался съ замахнувшейся рукой, не кончилъ романа, не довелъ своей выдумки до конца. Покойный Кущевскій написалъ «Николая Негорева», но больше ужъ ничего не выдумалъ. Г-жа Смирнова напечатала нѣсколько романовъ. А теперь...

Облетѣли цвѣты,
Догорѣли огни...

Будто, однако, въ самомъ дѣлѣ цвѣты облетѣли и огни догорѣли? «Отжившимъ и не жившимъ» не трудно признать этотъ печальный фактъ, даже примириться съ нимъ, даже пожалуй, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, не безъ нѣкотораго злораднаго торжества къ нему относиться, или, по крайней мѣрѣ, подыскивать ему безъапелляціонныя объясненія. Въ другомъ письмѣ, позднѣйшемъ (1874 г.), Тургеневъ писалъ одной дамѣ: «Для предстоящей общественной дѣятельности не нужно ни особенныхъ талантовъ, ни даже особеннаго ума, ничего крупнаго, выдающагося, слишкомъ индивидуальнаго; нужно трудолюбіе, терпѣніе... Теперь смѣшно толковать о *герояхъ* или *художникахъ* труда. Блестящихъ натуръ въ литературѣ вѣроятно не проявится». Когда Тургеневъ писалъ эти пессимистическія строки, онъ несомнѣнно уже «отживалъ» и самъ понималъ это, но понималъ также и тутъ же прибавлялъ, что «примириться съ этимъ фактомъ, съ этой сѣренькой средой, съ этой скромною рѣшительностью многіе не могутъ сразу». Еще бы! Если и въ маленькихъ житейскихъ дѣлишкахъ надо семь разъ примѣрить прежде, чѣмъ одинъ разъ отрѣзать, такъ какъ же возможно въ такомъ огромномъ дѣлѣ отрѣзать «сразу»! Конечно, подумаешь, да и подумаешь прежде, чѣмъ признать обязательность такого сѣренькаго мрака впереди. И пусть бы еще въ другихъ областяхъ дѣятельности, а какъ же въ беллестристикѣ, въ поэзіи-то безъ «цвѣтовъ и огней»? Вѣдь это значитъ, что ея совсѣмъ не будетъ или уже теперь нѣтъ. Конечно, если фактъ будетъ безповоротно доказанъ, то придется его признать, хотя бы съ болью въ сердцѣ. Но надо помнить, что подлежащій доказательству фактъ не только обиденъ, но и чрезвычайно сложенъ и обширенъ, такъ что справиться съ нимъ при

*) 1885, декабрь.

помощи однихъ голословныхъ утвержденій или прорицаній довольно мудрено.

Несомнѣнно то, что съ выдумкой стало слабо. Слово «выдумка» имѣетъ здѣсь, конечно, чисто условное, почти техническое значеніе. Выдумка, въ данномъ случаѣ не значитъ ложь,—объ отутствіи лжи Тургеневъ не сѣтовалъ бы. Подъ выдумкой онъ разумѣетъ созданіе фабулы, внѣшнихъ событій, и, дѣйствительно, именно по этой части слаба нынѣшняя беллетристика. Но, спрашивается, развѣ выдумка такое ужъ трудное дѣло? Бываютъ писатели, совершенно исключительные спеціалисты по этой части, за которыми не угоняется никакой талантъ, никакой геній. Таковъ былъ, напримѣръ, Дюма - отецъ. У него «вымыселъ», «выдумка» достигали колоссальныхъ размѣровъ. Но, за вычетомъ подобныхъ исключительныхъ способностей, выдумка есть вещь довольно общедоступная. Мы и въ теперешней нашей беллетристикѣ имѣемъ писателей далеко не крупной художественной силы, которые, однако, очень горазды на выдумку. Недавно было заявлено въ газетахъ о предстоящемъ выходѣ въ свѣтъ *двѣнадцати* томовъ сочиненій покойнаго Болеслава Маркевича. Этотъ человѣкъ съ успѣхомъ выдумывалъ до самой той роковой минуты, когда легъ въ могилу. Г. Авсѣенко соперничалъ съ нимъ въ дѣлѣ выдумки до тѣхъ поръ, пока не улегся въ «С.-Петербургскія Вѣдомости». Г. Боборыкинъ и по сейчасъ выдумываетъ сверхъ всякой мѣры. Значитъ, выдумка не такое уже хитрое дѣло; значитъ, если цѣлый рядъ писателей, между которыми есть таланты, далеко превосходящіе гг. Маркевича, Авсѣенку, Боборыкина, уклоняющіеся отъ выдумки, то надо думать, что эти люди дѣйствительно уклоняются, а не то, что «ничего выдумать *не могутъ*». Или, если ужъ непремѣнно нужно это выраженіе, такъ не въ томъ смыслѣ, что у нихъ не хватаетъ «силы», — потому что никакой особенной силы тутъ и не требуется, — а надо понимать дѣло такъ, что нѣчто, въ нихъ самихъ или внѣ ихъ лежащее, отодвигаетъ отъ нихъ выдумку, заставляетъ ихъ *не хотѣть* выдумывать. Это опять же самъ Тургеневъ какъ будто отчасти понималъ, потому что, заявивъ, что «они ничего выдумать не могутъ», онъ прибавляетъ: «и, пожалуй, даже радуются тому». Безсилію своему никто не радуется.

Беллетристы наши мнѣ ни сватья, ни братья; самъ я тоже не беллетристъ, и никакое личное чувство мною въ данномъ случаѣ не руководитъ. Я просто въ качествѣ читателя говорю. Правда, у насъ, читателей, есть свои любимцы между писателями, но вѣдь мы ихъ любимъ не тою личною любовью, которая сама себѣ довлѣетъ и не даетъ и не можетъ давать никому отчета. *Онъ* любитъ *ее*, *она* любитъ *его* и никому, ни же имъ самимъ, неизвѣстно за что. Тутъ даже самый вопросъ «за что» не имѣетъ смысла, потому что сатана можетъ полюбиться пуще ясна сокола. Но писателя, общественнаго дѣятеля вообще любятъ иначе, и именно непремѣнно за что-нибудь. Безотчетное личное чувство играетъ тутъ ничтожную роль, если только играетъ какую-нибудь.

Одинъ изъ нашихъ любимцевъ, г. Гаршинъ, собралъ недавно все, имъ написанное, и издалъ въ двухъ маленькихъ «книжкахъ разсказовъ». Воспользуемся этимъ случаемъ и постараемся дать себѣ отчетъ, за что мы его полюбили.

До какой степени г. Гаршинъ бываетъ иногда слабъ по части выдумки, видно изъ слѣдующаго мелкаго, но характернаго обстоятельства. Герой перваго его разсказа «Четыре дня» носитъ фамилію Ивановъ. Герой разсказа «Изъ воспоминаній рядового» тоже Ивановъ. Въ разсказѣ «Деньщикъ и офицеръ» деньщика зовутъ Никитой Ивановымъ. Герой «Происшествія» называется Иванъ Ивановичъ Никитинъ. Довольно-таки неизобрѣтателенъ г. Гаршинъ на имена! Точно та пренебрегающая кулинарной «выдумкой» хозяйка, которая заказываетъ обѣдъ на цѣлую недѣлю заразъ: чтобы всю, молъ, недѣлю были щи и котлеты. Именно щи и котлеты: Никита Ивановъ да Иванъ Никитинъ. Правда, попадаются у г. Гаршина и другія имена. Есть еще, напримѣръ, Стебельковъ, но фамилія эта повторяется въ двухъ разсказахъ («Деньщикъ и офицеръ», «Изъ воспоминаній рядового Иванова»). Имя «Василій Петровичъ» (довольно тоже, кажется, нехитрое имя) фигурируетъ тоже въ двухъ разсказахъ,—«Трусъ» и «Встрѣча»; «Надежда Николаевна» тоже является два раза, — въ «Происшествіи» и въ большомъ разсказѣ, для котораго авторъ и заглавія не могъ придумать иного, какъ «Надежда Николаевна». Очень, очень неизобрѣтательно. То-ли дѣло г. Боборыкинъ, напримѣръ, который въ одну даже какую-нибудь свою повѣсть можетъ вдвинуть цѣлые святцы отъ Аввакума до Ѳомы, и отъ Агапіи до Ѳоманды. Г. Гаршинъ не заглядываетъ должно быть въ святцы.

Но «что имя? звукъ пустой!» Посмотримъ на содержаніе произведеній г. Гаршина. Впрочемъ, отмѣтимъ сначала еще одну внѣшнюю черту его писаній, а именно нѣкоторый художественный пріемъ, не то, чтобы ему одному свойственный, но я не помню, чтобы кто-нибудь другой прибѣгалъ къ нему

такъ часто. И любопытно, что въ пріемѣ этомъ г. Гаршинъ все утверждается, какъ бы постепенно, но рѣшительно приходя къ убѣжденію въ его правильности и цѣлесообразности, и достигаетъ въ немъ все большей опредѣленности и силы.

Разсказъ «Происшествіе» написанъ въ формѣ двухъ чередующихся дневниковъ или записокъ нѣкоей Надежды Николаевны и влюбленнаго въ нее Ивана Ивановича. Надежда Николаевна записываетъ въ дневникъ разныя свои мысли и впечатлѣнія и главнымъ образомъ обстоятельства встрѣчъ съ Иваномъ Ивановичемъ, а тотъ въ свою очередь ведетъ дневникъ своихъ отношеній къ Надеждѣ Николаевнѣ. Выходитъ нѣчто въ родѣ діалога, съ тою разницей, что собесѣдники не непосредственно обмѣниваются мыслями и наблюденіями, а записываютъ все, ими пережитое, въ тетрадки. Но въ «Происшествіи» пріемъ этотъ далеко не выдержанъ во всей своей чистотѣ, авторъ постоянно вынужденъ дополнять собственнымъ разсказомъ показанія дѣйствующихъ лицъ. Разсказъ «Художники» появившійся позже, написанъ въ той-же quesi-діалогической формѣ двухъ дневниковъ Рябинина и Дѣдова, но отъ себя авторъ прибавляетъ уже гораздо меньше. Наконецъ, въ «Надеждѣ Николаевнѣ» авторъ самолично нигдѣ не показывается, и весь разсказъ (можетъ быть, слишкомъ большой и сложный для того, чтобы называться разсказомъ) ведется исключительно при помощи параллельныхъ, чередующихся дневниковъ Лопатина и Безсонова. Пріемъ этотъ, самъ по себѣ вовсе не удобный, искусственный и довольно скучный, г. Гаршину удается, и если «Надежда Николаевна» не можетъ быть названа удачнымъ произведеніемъ, такъ отнюдь не потому, что написана въ формѣ двухъ чередующихся дневниковъ. Но почему г. Гаршину такъ полюбился этотъ неудобный пріемъ? Я думаю, что дѣло здѣсь опять-таки въ томъ же уклоненіи отъ выдумки. Правда, «Надежда Николаевна», въ которой упомянутый пріемъ проведенъ всего послѣдовательнѣе и опредѣленнѣе, вмѣстѣ съ тѣмъ есть наиболѣе «выдуманное» изъ произведеній г. Гаршина, но выдумки потребовалось бы еще больше, еслибы не эта форма параллельныхъ дневниковъ. Представьте себѣ, что вы хотите разсказать, ну, хоть «Происшествіе» г. Гаршина, то есть то происшествіе, которое составляетъ фабулу этого разсказа,—столкновеніе падшей женщины и маленькаго чиновника, оканчивающееся самоубійствомъ послѣдняго. Вы хотите передать происшествіе во всѣхъ его существенныхъ подробностяхъ, обнять фактъ со всѣхъ сторонъ или, по крайней мѣрѣ, съ тѣхъ двухъ сторонъ, представителями которыхъ являются герой и героиня. И понятно, что, распредѣляя изложеніе по дневникамъ или запискамъ этихъ двухъ сторонъ, вы облегчаете себѣ, по крайней мѣрѣ, изложеніе выдумки, избѣгаете всей той доли вымысла или выдумки, которая потребовалась бы, еслибы вы объектировали взаимныя отношенія героя и героини, еслибы вы ихъ непосредственно передъ глазами заставили сталкиваться. Пусть вы вложили нѣкоторую выдумку въ эти дневники, но это всетаки только дневники, полусырой матеріалъ, и нужна бы еще высшая выдумка для окончательной художественной обработки этого матеріала, но вы для этого, можетъ быть, слишкомъ робки, можетъ быть, просто не любите выдумки. Для сравненія возьмите опять хоть г. Боборыкина. Можетъ быть и ему случалось прибѣгать къ дневникамъ (я не помню), но въ огромномъ большинствѣ случаевъ онъ поступаетъ съ дѣйствующими лицами, какъ хорошій маркеръ съ бильярдными шарами: отвернетъ рукавъ, помѣлитъ руку, поерзаетъ кіемъ и бацъ!—шаръ шаромъ желтаго въ среднюю лузу! Онъ именно такъ-же у себя въ области выдумки, какъ маркеръ на бильярдѣ. Сценарій, завязка, интрига, развязка до такой степени всегда къ его услугамъ, что ему нѣтъ никакой надобности прибѣгать къ окольнымъ путямъ и къ робкому предъявленію полусырого матеріала. Хорошо ли онъ его претворитъ въ высшую форму творческой выдумки, это другой вопросъ, но претворитъ навѣрное и желтаго въ среднюю сдѣлаетъ...

Но не за то же мы полюбили г. Гаршина, что онъ подчуетъ насъ полу сырьемъ и въ изобрѣтательности своей съ трудомъ поднимается выше Никиты Иванова и Ивана Никитина; не за то же, что онъ хуже гг. Боборыкина, Авсѣенки, Маркевича. Конечно, не за это, а, должно быть, за то, что онъ лучше этихъ господъ. Надо замѣтить, что г. Гаршинъ не всегда обходится безъ «выдумки», то есть безъ изобрѣтенія болѣе или менѣе сложной фабулы, болѣе или менѣе сложной сѣти событій, въ которыхъ приходится принимать участіе его дѣйствующимъ лицамъ. Напротивъ, онъ въ этомъ направленіи обнаружилъ недюжинную силу воображенія, но достойно вниманія, что лучшія его вещи тѣ, въ которыхъ выдумки совсѣмъ нѣтъ или почти нѣтъ.

Мы полюбили г. Гаршина сразу, за первый же его разсказъ «Четыре дня», напечатанный въ «Отечественныхъ Запискахъ», въ 1877 году. Помните, съ какимъ огромнымъ интересомъ прочли мы этотъ маленькій разсказъ, въ которомъ раненый

человѣкъ лежитъ въ полѣ четыре дня, пока его не нашли санитары, и въ которомъ съ раненымъ за всѣ четыре дня буквально ничего не случается; онъ даже никого не видалъ за все это время, кромѣ трупа турка, имъ же убитаго. И не смотря на эту скудость и даже просто отсутствіе фабулы, авторъ сумѣлъ привлечь къ себѣ всѣ симпатіи читателей. Наоборотъ, въ послѣднемъ произведеніи г. Гаршина, въ «Надеждѣ Николаевнѣ», фабула чрезвычайно сложна: тутъ и неожиданныя встрѣчи, и возрожденіе падшей женщины, и образъ Шарлотты Корде, и два убійства и проч. А между тѣмъ мы съ нѣкоторымъ, не совсѣмъ пріятнымъ недоумѣніемъ остановились передъ этою повѣстью, не смотря на то, что въ ней есть прекрасно написанныя фигуры второстепенныхъ дѣйствующихъ лицъ (художникъ Гельфрейхъ, рисующій только кошекъ, но достигшій въ этомъ родѣ совершенства, капитанъ Грумъ-Скребицкій, выдающій себя за «бойца Мѣхова и Опатова»). Нельзя назвать удачными и другія вторженія г. Гаршина въ область выдумки, не смотря на ихъ оригинальность. Таковы его сказки, кромѣ «Краснаго цвѣтка», о которомъ будетъ рѣчь особо. Однимъ словомъ, уже никакъ не за выдумку полюбился намъ г. Гаршинъ.

Не разъ уже было отмѣчено вліяніе гр. Л Н. Толстаго на всю нынѣшнюю военную беллетристику. Не избѣгъ, да и не могъ избѣгнуть этого вліянія и г. Гаршинъ. Въ его трехъ-четырехъ военныхъ разсказахъ, можно найти прямыя, непосредственныя отраженія отдѣльныхъ сценъ и фигуръ изъ «Войны и мира» и севастопольскихъ и кавказскихъ разсказовъ. Такова, напримѣръ, въ «Воспоминаніяхъ рядового» сцена прохожденія войскъ передъ государемъ, весьма близкая къ подобной же сценѣ въ «Войнѣ и мирѣ». Такова также фигура звѣрски жестокаго офицера Венцеля, неожиданно заливающагося слезами, какъ-будто вовсе къ нему неидущими; фигура, несомнѣнно навѣянная образомъ наглаго и жестокаго Долохова, тоже совсѣмъ неожиданно плачущаго. Подобныя невольныя подражанія неизбѣжны, когда передъ глазами стоитъ такой образецъ, какъ Толстой, и можно навѣрное сказать, что они будутъ встрѣчаться у всякаго нравоописателя военнаго быта. Тѣ или другія сцены, тѣ или другія фигуры Толстаго невольно, такъ сказать, всасываются творческимъ аппаратомъ всякаго, кого коснулся духъ простоты и правдивости, установленный для военной беллетристики камертономъ автора «Войны и мира». Но это нисколько не мѣшаетъ индивидуальности г. Гаршина. Онъ вноситъ нѣчто свое въ свои военные разсказы и это свое намъ, можетъ быть, особенно дорого.

Вещи познаются сравненіемъ.

Недавно вышла книга А. В. Верещагина «Дома и на войнѣ», большую часть которой занимаютъ военныя воспоминанія. Г. Верещагинъ простъ и правдивъ на рѣдкость. Онъ не пытается скрыть ни одного своего ощущенія, ни одной мысли, ни одного поступка, хотя бы они завѣдомо не заслуживали Монтіоновской преміи за добродѣтель. Случится-ли ему струсить или прихвастнуть, мелькнетъ-ли у него мелочно-честолюбивая мысль о «крестишкѣ иль мѣстечкѣ», случится-ли ему просто на просто взять въ мирномъ турецко-болгарскомъ селеніи лучшихъ лошадей и потомъ которую подарить, которую продать — все это онъ разсказываетъ съ величайшею, почти наивною простотою и правдивостью. Но этимъ не ограничивается цѣнность его военныхъ воспоминаній. Онъ необыкновенный живописецъ и, читая его книгу, поневолѣ часто вспоминаешь его знаменитаго брата. Краски у г. Верещагина чрезвычайно яркія, кисть широкая, смѣлая. Это по истинѣ «блестящій» писатель. И тѣмъ не менѣе, если я сейчасъ сдѣлаю кое-какія параллельныя выписки изъ гг. Верещагина и Гаршина, такъ единственно затѣмъ, чтобы лучше оттѣнить, путемъ контраста, то именно, чѣмъ намъ, читателямъ, г. Гаршинъ любъ.

Г. Верещагинъ отправляется на войну. Онъ разсказываетъ объ этомъ такъ:

«Въ ту минуту я какъ-то не сознавалъ того страшно-тяжелаго чувства, которое причинялъ отцу своимъ отъѣздомъ, хотя желаніе мое участвовать въ военныхъ дѣйствіяхъ было совершенно естественно. Въ то время я и не могъ очень грустить: новый синій бешметъ, черная черкеска съ серебряными газырями, кинжалъ, шашка, надѣтые на мнѣ и такъ сильно обращавшіе на себя вниманіе публики, кромѣ того, рисовавшіяся въ воображеніи моемъ военныя отличія, все это сильно развлекало меня и уменьшало горечь разлуки. Прижался я въ уголъ вагона и собралъ всѣ силы, чтобы не расплакаться. Слезъ я стыдился въ эту минуту больше всего. «Какъ! — казакъ, съ виду такой воинственный, въ такой страшной шапкѣ, и вдругъ расплачется? Что подумаютъ обо мнѣ сосѣди? Всѣ они такъ удивленно на меня смотрятъ и съ любопытствомъ разглядываютъ мою форму!» Невольно отвернулся я къ окошку и задумался. Но вотъ первый свистокъ, подъѣзжаемъ къ станціи, выхожу, — и грусть начинаетъ понемногу разсѣиваться. Жандармъ на платформѣ вытягивается передо мной, барыни и барышни съ интере-

сомъ смотрятъ на меня, все это легонько щекотитъ мое самолюбіе, на сердцѣ становится легче».

Не мѣшаетъ замѣтить, что, отправляясь на войну, г. Верещагинъ не былъ зеленымъ юношей, только что соскочившимъ со школьной скамейки и радующимся мундиру, какъ красивой штукѣ, во-первыхъ, и какъ символу новой, самостоятельной жизни, во-вторыхъ. Нѣтъ, онъ уже служилъ передъ тѣмъ, былъ въ отставкѣ и уже отставнымъ поручикомъ вновь поступилъ на службу.

На ту же самую войну отправляется одинъ изъ героевъ г. Гаршина.

«Вотъ наконецъ и прощанье. Завтра утромъ, чуть свѣтъ, наша партія отправляется по желѣзной дорогѣ. Мнѣ позволили провести послѣднюю ночь дома и я сижу въ своей комнатѣ одинъ въ послѣдній разъ. Въ послѣдній разъ! Знаетъ ли кто нибудь, не испытавшій такого послѣдняго раза, всю горечь этихъ двухъ словъ? Въ послѣдній разъ разошлась семья, въ послѣдній разъ я пришелъ въ эту маленькую комнату и сѣлъ къ столу, освѣщенному знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и бумагой. Цѣлый мѣсяцъ я не прикасался къ нимъ. Въ послѣдній разъ я беру въ руки и разсматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежитъ мертвая, недоношенная, безсмысленная. Вмѣсто того, чтобы кончить ее, ты идешь, съ тысячами тебѣ подобныхъ, на край свѣта, потому что исторіи понадобились твои физическія силы. Объ умственныхъ забудь: онѣ никому не нужны. Что до того, что многіе годы ты воспитывалъ ихъ, готовился куда-то примѣнить ихъ? Огромному, невѣдомому тебѣ организму, котораго ты составляешь ничтожную часть, захотѣлось отрѣзать тебя и бросить. И что можешь сдѣлать противъ такого желанія ты,

... ты, палецъ отъ ноги!?»

Разсказъ, изъ котораго я выписываю эти строки, называется «Трусъ», Но это названіе ироническое; человѣкъ, такъ не охотно идущій на войну, оказывается вовсе не трусомъ и умираетъ на полѣ битвы въ числѣ прочихъ храбрецовъ.

Разъ человѣкъ волей или неволей попалъ на войну, ему приходится не только щеголять синимъ бешметомъ и не только умирать. Приходится и другихъ убивать. Случилось это и съ г. Верещагинымъ, и вотъ какъ онъ разсказываетъ о своемъ первомъ убійствѣ:

«Увидавъ турка, въ первое мгновеніе я какъ будто оцѣпенѣлъ отъ неожиданности и до того забылся, что какъ сумасшедшій началъ кричать: «здѣсь, здѣсь, вотъ онъ гдѣ!» Въ то же время замахиваюсь на него плетью, вмѣсто шашки. Затѣмъ, когда уже опомнился, вынулъ шашку и нанесъ ударъ по плечу. А такъ какъ рубить человѣка мнѣ пришлось въ первый разъ въ жизни, къ тому же вѣтви дерева не давали размахнуться, то и ударъ мой вышелъ слабый, неумѣлый, и едва-едва прорубилъ на непріятелѣ толстую синюю куртку. Турокъ продолжалъ тяжело дышать и цѣлиться изъ пистолета, который вѣроятно уже былъ разряженъ. Странное чувство испытывалъ я, когда наносилъ ударъ. Совѣсть шептала мнѣ: «брось, оставь, не руби, возьми лучше въ плѣнъ, срамъ рубить лежачаго». Но другое чувство, болѣе черствое, старалось заглушить первое. Пока я рубилъ турка, слышу позади себя крики: «ваше благородіе, пожалуйте впередъ, мы съ нимъ ужъ тутъ раздѣлаемся!».Смотрю, подскакиваютъ донцы. Я предоставилъ имъ распорядиться съ туркомъ, а самъ поскакалъ дальше».

Принималъ г. Верещагинъ участіе и въ текинской экспедиціи Скобелева. Передъ самымъ штурмомъ Геокъ-Тепэ онъ получилъ временно самостоятельное назначеніе—начальника небольшого укрѣпленія, «калы». Вдругъ показались текинцы, всего-то впрочемъ пять человѣкъ. Поднялась тревога. Дальше пусть разсказываетъ самъ г. Верещагинъ: «Когда я прибѣжалъ на свое мѣсто, то уже текинцы скакали въ разныя стороны; тотъ же, что былъ на сѣрой лошади, карьеромъ несся мимо калы, пригнувшись къ сѣдлу. Я высовываюсь изъ за стѣны, цѣлю ему въ спину, стрѣляю,—текинецъ свертывается на бокъ, но затѣмъ по немногу опять взбирается на сѣдло и, испуганно озираясь въ нашу сторону, продолжаетъ скакать въ такомъ положеніи пока не скрылся за дальними деревьями сада. Лицо этого текинца, какъ сейчасъ у меня передъ глазами: бронзоваго цвѣта, съ черной бородой и блестящими черными глазами. Очень хорошо помню, что когда увидѣлъ я приближающихся текинцевъ, въ особенности когда они подъѣхали къ ручью и стали поить лошадей, сердце мое такъ сильно запрыгало, такъ застучало отъ радости, что я невольно схватился за бокъ, боясь, что оно выскочитъ; когда же они у насъ ускакали изъ подъ носу, то мною овладѣла такая тоска, апатія, что я пошелъ къ себѣ въ шалашникъ, устроенный подъ фургономъ, легъ и съ горя заснулъ». Между тѣмъ Скобелевъ возвращался изъ рекогносцировки, на время которой г. Верещагинъ назначенъ былъ защитникомъ укрѣпленьица, и дорогой говорилъ: «Ну, ежели у Верещагина есть убитые или раненые, то его надо немедленно представить къ георгіевскому кресту». Когда я услышалъ это,—разсказываетъ г. Верещагинъ,—мнѣ еще болѣе стало досадно за тѣхъ пятерыхъ текинцевъ, которые ускакали у насъ изъ подъ носу»...

Еще одна выписка изъ г. Верещагина, послѣдняя, pour la bonne bouche. Встрѣчается г. Верещагину фельдфебель охотничьей команды и разсказываетъ, что онъ сейчасъ застрѣлилъ текинца. «При этихъ словахъ, фельдфебель, очень довольный, улыбается, лѣзетъ къ себѣ въ правый карманъ шинели и вытаскиваетъ *отрубленное ухо текинца* (курсивъ мой: у г. Верещагина это напечатано тѣмъ-же шрифтомъ, какъ и все прочее). Оно было еще совсѣмъ мягкое, но уже блѣдное, холодное. Я никакъ не ожидалъ такого нагляднаго доказательства: *взялъ въ руки ухо*, *осмотрѣлъ его*, *возвратилъ назадъ*, *похвалилъ фельдфебеля* (опять же мой курсивъ) и обѣщалъ при первой встрѣчѣ съ генераломъ доложить о немъ. Фельдфебель, радостный, пошелъ къ себѣ въ землянку»...

По приведеннымъ выпискамъ вы не должны судить о той яркости красокъ и искусной живописи г. Верещагина, о которой я говорилъ выше. На этотъ счетъ повѣрьте мнѣ на слово или сами посмотрите. Я выбиралъ цитаты съ другою цѣлью, затѣмъ именно, чтобы показать ту наивно грубую точность, съ которою г. Верещагинъ разсказываетъ вещи по истинѣ ужасныя и возмутительныя. Конечно, назвался груздемъ, такъ и полѣзай въ кузовъ, пошелъ на войну, такъ дерись и убивай. Но рубить непріятельскія уши, это ужъ, кажется, роскошь; это, сколько я понимаю, даже съ спеціально военной точки зрѣнія есть дѣйствіе постыдное и ненужно жестокое, такъ что фельдфебеля рѣшительно не за что было хвалить. Внутренній смыслъ этого возмутительнаго дѣянія очевидно совершенно исчезаетъ для г. Верещагина; за то обратите вниманіе на холодную точность съ которою онъ описысываетъ внѣшнюю сторону этого эпизода: солдатъ вынулъ ухо изъ *праваго* кармана... ухо было еще мягкое, но уже блѣдное и холодное... я взялъ его въ руки, осмотрѣлъ, отдалъ назадъ...

Полюбуйтесь еще немножко на это страшное, мягкое, но холодное и блѣдное текинское ухо, вынутое изъ праваго кармана, а потомъ постарайтесь отодвинуть его отъ своего воображенія настолько, чтобы оно не заслоняло того турка, котораго г. Верещагинъ рубилъ подъ деревомъ. Въ изображеніи этого эпизода г. Верещагинъ тоже не вдается въ анализъ внутренней, духовной стороны дѣла, только отмѣчаетъ борьбу совѣсти съ другимъ, «болѣе черствымъ голосомъ», но за то какая опять удивительная точность внѣшняго описанія: такъ какъ я рубилъ человѣка въ первый разъ въ жизни... притомъ-же вѣтви мѣшали ...ударъ пришелся по плечу...

Одинъ изъ героевъ г. Гаршина («Четыре дня») тоже убилъ турка. Это не блестящій братъ своего еще болѣе блестящаго брата, имѣющій золотую саблю за храбрость и состоящій въ короткихъ отношеніяхъ со Скобелевымъ. Это просто какой то Ивановъ, «баринъ Ивановъ», какъ его называютъ солдаты. Но, подобно г. Верещагину, и онъ вдругъ увидалъ турка.

«Онъ былъ огромный, толстый турокъ, но я бѣжалъ прямо на него, хотя я слабъ и худъ. Что-то хлопнуло, что-то, какъ мнѣ позалось огромное, пролетѣло мимо; въ ушахъ зазвенѣло. «Это онъ въ меня выстрѣлилъ», подумалъ я. А онъ съ воплемъ ужаса прижался спиною къ густому кусту боярышника. Можно было обойти кустъ, но отъ страха онъ не помнилъ ничего и лѣзъ на колючія вѣтви. Однимъ ударомъ я вышибъ у него ружье, другимъ воткнулъ куда-то свой штыкъ. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потомъ я побѣжалъ дальше»... Но недалеко побѣжалъ Ивановъ. Онъ сейчасъ-же и упалъ, онъ былъ раненъ. А передъ нимъ лежалъ убитый имъ турокъ. «За что я его убилъ?—размышляетъ раненый. Онъ лежитъ здѣсь, мертвый, окровавленный: Зачѣмъ судьба пригнала его сюда? Кто онъ? Быть можетъ, и у него, какъ у меня, есть старая мать. Долго она будетъ по вечерамъ сидѣть у дверей своей мазанки, да поглядывать на далекій сѣверъ: не идетъ ли ея ненаглядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ. А я? И я также... Я-бы даже помѣнялся съ нимъ: онъ не слышитъ ничего, не чувствуетъ ни боли отъ раны, ни смертельной тоски, ни жажды. Штыкъ вошелъ ему прямо въ сердце... Вотъ на мундирѣ большая черная дыра: вокругъ нея кровь. *Это сдѣлалъ* я (курсивъ г. Гаршина), я не хотѣлъ этого. Я не хотѣлъ зла никому, когда шелъ драться. Мысль о томъ, что и мнѣ придется убивать людей, какъ-то уходила отъ меня. Я представлялъ себѣ только, какъ я буду подставлять *свою* грудь подъ пули. И я пошелъ и подставилъ».

Довольно слагаемыхъ, надо подводить итоги. Вы, впрочемъ, я думаю, и сами уже ихъ подвели. Я обнаружилъ-бы слишкомъ дурное объ васъ мнѣніе, да и самъ унизился-бы въ собственныхъ глазахъ, если-бы долго распространялся о разницѣ между г. Верещагинымъ и Гаршинымъ, При томъ-же, если г. Гаршинъ (пусть ужъ онъ, удобства ради, самолично отвѣчаетъ за всѣхъ своихъ «Ивановыхъ») не жалѣетъ, что у него «нѣтъ убитыхъ и раненыхъ», потому что иначе онъ получилъ-бы георгіевскій крестъ, если не ощупываетъ текинскаго уха, такъ это еще не Богъ знаетъ какая заслуга и не Богъ знаетъ какое право на нашу симпа-

тію, Г. Верещагинъ хорошо оттѣняетъ г. Гаршина, но, получивъ отъ него, что намъ требуется, мы можемъ оставить его въ покоѣ и остаться на единѣ съ г. Гаршинымъ.

Можетъ показаться, что г. Гаршинъ, то есть сумма разныхъ Ивановыхъ, есть просто слезливый человѣкъ, который не видитъ ничего дальше своего маленькаго, спокойнаго семейнаго уголка, гдѣ старушка мать сидитъ и маленькая лампа на маленькомъ столикѣ горитъ, и неспособенъ подняться на высоту общественныхъ, пожалуй, міровыхъ событій, какова война. Это, конечно, не такъ. Одинъ изъ Ивановыхъ не хочетъ идти на войну, вслѣдствіе чего неосновательно заподозрѣвается, да и самъ себя заподозрѣваетъ въ трусости. Но другой Ивановъ («Четыре дня») идетъ на войну по собственной охотѣ, у него связывается съ этой войной «идея» и тѣмъ не менѣе, убивъ турка, онъ съ испуганнымъ недоумѣніемъ спрашиваетъ себя: «за что я его убилъ?» Третій Ивановъ («Изъ воспоминаній рядового») разсказываетъ о походѣ: «Насъ влекла невидимая тайная сила: нѣтъ силы большей въ человѣческой жизни. Каждый отдѣльно ушелъ-бы домой, но вся масса шла, повинуясь не дисциплинѣ, не сознанію правоты дѣла, не чувству ненависти къ неизвѣстному врагу, не страху наказанія, а тому невидимому и безсознательному, что долго еще будетъ водить человѣчество на кровавую бойню, самую крупную причину всевозможныхъ людскихъ бѣдъ и страданій». Но тотъ-же Ивановъ свидѣтельствуетъ: «Никогда не было во мнѣ такого полнаго душевнаго спокойствія, мира съ самимъ собой и кроткаго отношенія къ жизни, какъ тогда, когда я испытывалъ эти невзгоды (невзгоды похода) и шелъ подъ пули убивать людей. Дико и странно можетъ показаться все это, но я пишу одну правду».

Изо всего этого слѣдують, мнѣ кажется, такіе выводы. Война дѣло всегда страшное, но пока неизбѣжное. Какъ всякое страшное, но неизбѣжное дѣло, оно чревато противорѣчіями. Люди могутъ съ чистою совѣстью идти на войну во имя идеи, разбуженной войной или возбудившей войну. Но если они не деревянные люди или пока они не одеревенѣли отъ практики и зрѣлища убійства, они всетаки не могутъ видѣть убитаго человѣка безъ упрека совѣсти. Однако, въ огромномъ большинствѣ случаевъ люди идутъ подъ пули, убиваютъ людей просто потому, что они «пальцы отъ ноги», части нѣкотораго огромнаго цѣлаго, которому захотѣлось «отрѣзать ихъ и бросить». Тогда страшный вопросъ: «за что я его убилъ?» становится еще страшнѣе, потому что вѣдь и этотъ убитый «непріятель», котораго я въ глаза никогда не видалъ, и которому до меня никакого дѣла нѣтъ, есть тоже «палецъ отъ ноги», его также вышвырнуло огромное цѣлое и съ непреодолимою силою втянуло въ общій потокъ.

Мы сейчасъ увидимъ, какое большое значеніе для характеристики писаній г. Гаршина имѣетъ цитируемое однимъ изъ Ивановыхъ шекспировское выраженіе «ты — палецъ отъ ноги». Я прошу васъ запомнить его.

Всѣ военные разсказы г. Гаршина кончаются печально: увѣчьемъ или смертью, не украшенною ни георгіевскими крестами, ни золотымъ оружіемъ, ни даже просто какимъ нибудь очень большимъ подвигомъ. Въ этомъ еще нѣтъ ничего удивительнаго. Не всѣмъ-же подвиги совершать, не всѣмъ георгіевскіе кресты получать, а что касается увѣчья, печали, воздыханія, равно какъ и переселенія въ ту страну, идѣ-же ничего этого нѣтъ, то à la guerre comme à la guerre и опять-же, коли назвался груздемъ, такъ полѣзай въ кузовъ. Но и всѣ другія произведенія г. Гаршина оканчиваются болѣе или менѣе глубоко скорбно; если не смертью, то, по крайней мѣрѣ, воздыханіемъ. Правда, нынѣшняя беллетристика и вообще не склонна къ украшенію финала розами и лазурью. Благополучное соединеніе двухъ любящихъ сердецъ, достиженіе долго преслѣдуемой цѣли, торжество добродѣтели и казнь порока, лавры славному и позоръ безславному, — все это довольно рѣдкіе мотивы въ теперешней русской беллетристикѣ и (это стоитъ отмѣтить) мы встрѣчаемся съ ними почти исключительно въ переводныхъ романахъ и повѣстяхъ. И не то, чтобы непремѣнно какой нибудь злобный духъ, летающій надъ нашей грѣшною землей, диктовалъ нашимъ писателямъ печальные финалы. Еслибы понадобилось разительное опроверженіе такого предположенія, то оно можетъ быть почерпнуто въ произведеніяхъ того-же г. Гаршина. Это писатель необыкновенно мягкій, беззлобный, преисполненный добрыхъ чувствъ и только съ печальнымъ раздумьемъ, а отнюдь не съ бурнымъ негодованіемъ останавливающійся передъ зломъ. Мало того, по мягкости своей онъ стремится и, благодаря его таланту, ему удается призывать иногда симпатію читателей къ несчастіямъ и горестямъ такого рода, которыя едва-ли заслуживаютъ столько теплаго участія. Таковъ его разсказъ «Медвѣди». Фабула разсказа очень проста, ея даже, можно сказать нѣтъ. Вышло извѣстное распоряженіе, которымъ воспрещалось водить такъ называемыхъ «ученыхъ» медвѣдей, которые показываютъ, какъ старыя бабы ходятъ, какъ мальчишки горохъ воруютъ и проч.

Черезъ пять лѣтъ послѣ изданія этого закона, поводыри медвѣдей, преимущественно цыгане, должны были явиться въ опредѣленные сборные пункты вмѣстѣ со своими звѣрями и собственноручно перебить ихъ. Этотъ-то день разстрѣлянія медвѣдей и занимаетъ г. Гаршина. По его мнѣнію, сквозящему во всемъ разсказѣ, цыгане, лишившіеся вмѣстѣ съ своими медвѣдями хорошаго привычнаго заработка, должны обратиться, для возмѣщенія этой прорѣхи въ бюджетѣ, къ конокрадству. Можно сомнѣваться, чтобы это было соображеніе вполнѣ основательное, но мнѣніе мнѣніемъ, а дѣло въ томъ, что г. Гаршинъ пустилъ уже слишкомъ поэтическое и слишкомъ жалостное освѣщеніе на цыганъ, на медвѣдей и на весь этотъ промыселъ. Разсказъ такъ хорошъ въ художественномъ отношеніи и такъ много вложено въ него авторомъ добрыхъ чувствъ, что увлеченный читатель можетъ, пожалуй, забыть, что ученые медвѣди представляли грубѣйшую и жестокую забаву и что въ сей юдоли плача есть вещи, несравненно болѣе достойныя слезъ, чѣмъ разстрѣляніе медвѣдей.

Мнѣ вообще иногда кажется, что г. Гаршинъ не стальнымъ перомъ пишетъ, а какимъ-то другимъ, мягкимъ, нѣжнымъ, ласкающимъ,—сталь слишкомъ грубый и твердый матеріалъ. Но тѣмъ интереснѣе, что такое мягкое, нѣжное, ласкающее перо каждый разсказъ неизмѣнно заканчиваетъ горемъ, скорбью, смертью или цѣлою философскою перспективою безнадежности. Послѣднее особенно любопытно и вѣско. Если съ Иваномъ Никитинымъ или Никитой Ивановымъ случилось даже величайшее изъ несчастій, такъ вѣдь это можетъ быть именно только *случилось* въ томъ смыслѣ, что это нѣчто единичное, обставленное такими и такими-то частными условіями. Другое дѣло философская перспектива безнадежности. Г. Гаршинъ, мягкій и беззлобный, почему то не находитъ ничего такого, на чемъ можно было бы отдохнуть душой. Давайте, пересмотримъ эти не то что мрачные,—къ писаніямъ г. Гаршина это слово не идетъ,—а безнадежно печальные, безъисходно грустные разсказы. Военные оставимъ въ сторонѣ, мы ихъ уже видѣли.

«Происшествіе»,—разсказъ объ томъ, какъ влюбился и самоубился Иванъ Ивановичъ. Влюбился онъ въ Надежду Николаевну, уличную женщину, когда-то знавшую лучшія времена, учившуюся, державшую экзамены, помнящую Пушкина и Лермонтова и проч. Несчастіе толкнуло ее на грязную дорогу, и она завязла въ грязи. Иванъ Ивановичъ предлагаетъ ей свою любовь, свой домъ, свою жизнь, но она боится наложить на себя эти правильныя узы, ей кажется, что Иванъ Ивановичъ, не смотря на всю свою любовь, не забудетъ ея страшнаго прошлаго, и что ей нѣтъ возврата. Иванъ Ивановичъ, послѣ нѣкоторыхъ, слишкомъ однако слабыхъ попытокъ разубѣдить ее, какъ будто соглашается съ нею, потому что застрѣливается.

Этотъ же самый мотивъ, только въ гораздо болѣе сложной и запутанной фабулѣ, повторяется въ «Надеждѣ Николаевнѣ». Эта Надежда Николаевна, какъ и первая, что фигурируетъ въ «Происшествіи», есть кокотка. Ей тоже встрѣчается свѣжая, искренняя любовь, ее одолѣваютъ тѣ же сомнѣнія и колебанія, но она уже склоняется къ полному возрожденію, когда пуля ревниваго бывшаго любовника и какое-то особенное оружіе того, кто зоветъ ее къ новой жизни, обрываютъ весь этотъ романъ двумя смертями.

«Встрѣча». Старые товарищи Василій Петровичъ и Николай Константиновичъ, давно упустившіе другъ друга изъ виду, неожиданно встрѣчаются. Василій Петровичъ когда-то мечталъ «о профессурѣ, о публицистикѣ, о громкомъ имени», но на все это его не хватило, и онъ мирится съ ролью учителя гимназіи. Мирится, но относится къ предстоящему ему новому амплуа, какъ безукоризненно честный человѣкъ: онъ будетъ образцовымъ учителемъ, будетъ сѣять сѣмена добра и правды, въ надеждѣ, что когда-нибудь подъ старость увидитъ въ своихъ ученикахъ воплощеніе собственныхъ юношескихъ мечтаній. Но тутъ онъ встрѣчается съ старымъ товарищемъ Николаемъ Константиновичемъ. Это совсѣмъ другого полета птица. Онъ строитъ какой-то молъ и около этой постройки такъ искусно грѣетъ руки, что, при пустомъ жалованьи, живетъ въ роскоши, даже мало вѣроятной (у него въ квартирѣ есть акваріумъ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ соперничающій съ берлинскимъ). Онъ нисколько не скрываетъ своей гадости. Напротивъ, открываетъ всѣ свои карты и съ наглостью человѣка, теоретически убѣжденнаго въ правомѣрности свинства, старается и Василія Петровича обратить въ свою вѣру. Нельзя сказать, чтобы его аргументація отличалась непреодолимой силой, но Василій Петровичъ парируетъ его доводы еще слабѣе. Такъ что въ концѣ концовъ, хотя и вполнѣ обнаруживается свинство Николая Константиновича, но въ сознаніи читателя въ то-же время твердо запечатлѣвается его безстыдное и безотрадное пророчество: «Три четверти изъ твоихъ воспитанниковъ выйдутъ такими, же, какъ я, а одна четверть такими, какъ ты, то есть благонамѣренной размазней».

«Художники». Художникъ Дѣдовъ есть представитель чистаго искусства. Онъ любитъ искусство ради него самого и думаетъ, что вводить въ него жгучіе житейскіе мотивы, нарушающіе спокойствіе духа, значитъ волочить искусство по грязи. Онъ думаетъ (странная мысль!), что какъ въ музыкѣ непозволительны диссонансы, рѣжущіе ухо, непріятные звуки, такъ и въ живописи, въ искусствѣ вообще, нѣтъ мѣста непріятнымъ сюжетамъ. Но онъ даровитъ и идетъ благополучно къ дверямъ, ведущимъ въ храмъ славы, заказовъ и олимпійскаго душевнаго равновѣсія. Художникъ Рябининъ не таковъ. Онъ, повидимому, даровитѣе Дѣдова, но онъ не сотворилъ себѣ кумира изъ чистаго искусства, его занимаютъ и другія вещи. Натолкнувшись почти случайно на одну сцену изъ быта заводскихъ рабочихъ или вѣрнѣе даже на одну фигуру только, онъ сталъ ее писать и такъ много пережилъ во время этой работы, такъ вошелъ въ положеніе своего сюжета, что пересталъ заниматься живописью, кончилъ картину. Его куда-то въ другія мѣста, на другую работу потянуло съ непреодолимою силою. На первый разъ онъ поступилъ въ учительскую семинарію. Что съ нимъ дальше было, неизвѣстно, но авторъ удостовѣряетъ, что Рябининъ «не преуспѣлъ»...

Какъ видите, цѣлый рядъ несчастій и цѣлыхъ перспективъ безнадежности: добрыя намѣренія, остаются намѣреніями и то, чему авторъ по всѣмъ видимостямъ симпатизируетъ, остается за флагомъ:

Нѣтъ великаго Патрокла,
Живъ презрительный Терситъ!

«Великаго», впрочемъ, г. Гаршинъ не касается, онъ беретъ людей средняго, а иногда даже малаго роста,—Ивановъ Ивановичей и Василіевъ Петровичей, и тѣмъ еще разъ любопытнѣе его пессимистическое настроеніе. «Великому» бываетъ довольно часто тѣсно въ жизни, и жизнь кладетъ его на Прокустово ложе и рубитъ ему ноги въ мѣру длины этого ложа. «Великое» hat man von je gekreuzigt und verbrannt, хотя, конечно, великому случается и побѣждать. Но средняго роста хорошіе люди, — отчего бы имъ-то, съ ихъ сравнительно малымъ размахомъ и малыми требованіями, не жить, ну хоть не въ полное свое удовольствіе, но съ вѣрою и надеждою? Г. Гаршинъ не допускаетъ этого или, по крайней мѣрѣ, не интересуется случаями благополучнаго устройства судьбы хорошихъ людей и ихъ побѣды надъ зломъ. Даже поднимаясь въ сферы сказочнаго творчества, онъ не можетъ или не хочетъ дать своей фантазіи волю работать въ эту лазурно-розовую сторону. Въ сказкѣ «Attalea princeps» гордой и прекрасной пальмѣ удается ея честолюбивая и вольнолюбивая мечта пробить своей собственной вершиной крышу оранжереи, но за то она замерзла, и ее срубили и выкинули. Въ сказкѣ «То, чего не было» (единственный опытъ, такъ сказать, ироническаго творчества г. Гаршина) собесѣдники гибнутъ подъ сапожищемъ кучера Антона. Въ «Сказкѣ о жабѣ и розѣ» роза спасается отъ злобной и безобразной жабы, но спасается тѣмъ, что ее срѣзываютъ для утѣшенія умирающаго мальчика, а когда мальчикъ умеръ, то ее поцѣловала молодая дѣвушка, сестра мальчика; «маленькая слезинка упала съ ея щеки на цвѣтокъ, и это было самымъ лучшимъ происшествіемъ въ жизни розы»...

Но вѣдь это ужасно! Лучшимъ происшествіемъ въ жизни розы оказывается всетаки то, что ее срѣзали, хотя бы руками прекрасной дѣвушки для бѣднаго умирающаго мальчика! Да, вѣдь, жила же роза сама для себя, за свой собственный счетъ, вѣдь цвѣла же она, вѣдь пѣлъ же ей, какъ гласитъ маловѣроятное старинное поэтическое преданіе, свои пѣсни соловей? И замѣтьте, что въ сказкахъ г. Гаршинъ покушается уже на «великое»: роза прекрасна, она «царица цвѣтовъ»; Attalea princeps была сильна и величава. И всетаки скорбь, смерть, конецъ...

Еще ярче этотъ пессимизмъ въ сказкѣ «Красный цвѣтокъ». По формѣ это, собственно говоря, не сказка, а вполнѣ реальный и даже поражающій своею реальною правдивостью разсказъ,—разсказъ объ томъ, какъ одинъ душевно-больной рвалъ цвѣты мака; онъ думалъ, что въ этомъ «красномъ цвѣткѣ» сконцентрировалось все зло, какое только есть въ мірѣ, что его непремѣнно надо сорвать и уничтожить, но при этомъ самому насытиться его ядовитымъ дыханіемъ и тоже умереть: «онъ погибнетъ, умретъ, но умретъ, какъ честный боецъ и какъ первый боецъ человѣчества, потому что до сихъ поръ никто не осмѣливался бороться разомъ со всѣмъ зломъ міра». Онъ сорвалъ цвѣтокъ и умеръ. «Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цвѣтокъ, но рука закоченѣла, и онъ унесъ свой трофей въ могилу».

Съ этимъ удивительнымъ разсказомъ вышло не совсѣмъ обыкновенное въ нашей литературѣ происшествіе: на него обратили вниманіе спеціалисты науки. Въ «Вѣстникѣ клинической и судебной психіатріи и невропатологіи» профессора Мержеевскаго г. Сикорскій напечаталъ замѣтку, въ которой призналъ «Красный цвѣтокъ» образцовымъ произведеніемъ въ смыслѣ необыкновенной точности и вѣрности изображенія развитія душевной болѣзни. Мы, читатели, были, конечно, обрадованы и даже какъ будто поль-

щены такимъ отзывомъ спеціалиста объ одномъ изъ нашихъ любимцевъ, тѣмъ болѣе, что и до него, то есть до отзыва г. Сикорскаго, чувствовали глубокую правдивость разсказа. Но мы не спеціалисты, для насъ «Красный цвѣтокъ» не только психіатрическій этюдъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ всетаки беллетристика и именно сказка, то есть нѣчто такое, въ чемъ надо искать аллегоріи, подкладки чего-то большого, общежитейскаго, не вмѣщающагося въ рамки той или другой спеціальной науки. Ну и каковъ же житейскій субстратъ «Краснаго цвѣтка»? Здѣсь опять г. Гаршинъ покусился на «великое». Правда, онъ вставилъ его въ рамку безумной мечты, но на это была его добрая воля и мы опять отброшены къ своей исходной точкѣ: отчего такъ печально, такъ безнадежно и безотрадно заканчиваются произведенія г. Гаршина?

Вы понимаете истинный смыслъ и объемъ этого вопроса. Мы не вправѣ требовать отъ художника насилія надъ своей природой. Пусть онъ выбираетъ для поэтическаго воспроизведенія тѣ полосы жизни, которыя его больше занимаютъ, потому ли, что онѣ въ его глазахъ значительнѣе другихъ, или потому, что онѣ какъ-нибудь родственны самому характеру его творчества. Но если мы заинтересовались самимъ художникомъ, а тѣмъ паче, если мы его полюбили, какъ полюбили г. Гаршина, то съ нашей стороны весьма естественно желаніе добраться до той характерной, лично ему принадлежащей черты его творчества, которая сосредоточиваетъ его художественное вниманіе на такой-то именно полосѣ жизни, а не на другой какой нибудь. И вотъ, я думаю, мы теперь подошли очень близко къ разрѣшенію этого вопроса относительно г. Гаршина. Намъ остается перечитать только одинъ еще его разсказъ—«Ночь».

Это очень недолгая исторія,—всего одна «ночь», гораздо даже, значитъ, меньше, чѣмъ «четыре дня», но это ночь самоубійства. Какой-то Алексѣй Петровичъ, рѣшившись покончить съ жизнью, полною лжи и притворства, цѣлую ночь терзаетъ себя мучительнымъ раскапываніемъ своей души, ища и подчеркивая въ ней ложь даже въ страшный канунъ самоубійства. Вдругъ раздаются звуки колокола, звонятъ къ заутрени. Ассоціація идей навела на воспоминаніе объ одной сценѣ изъ дѣтства. И—«Колоколъ сдѣлалъ свое дѣло: онъ напомнилъ запутавшемуся человѣку, что есть еще что-то, кромѣ своего собственнаго узкаго мірка, который его измучилъ и довелъ до самоубійства. Неудержимой волной нахлынули на него воспоминанія, отрывочныя, безсвязныя, и всѣ какъ будто совершенно новыя для него. Въ эту ночь онъ многое уже передумалъ и многое вспомнилъ, и воображалъ, что вспомнилъ всю свою жизнь, что ясно видѣлъ самого себя. Теперь онъ почувствовалъ, что въ немъ есть другая сторона». Ему «захотѣлось той чистой и простой любви, которую знаютъ только дѣти, да развѣ очень ужъ чистыя, нетронутыя натуры изъ взрослыхъ... Господи! хоть бы какого-нибудь настоящаго, неподдѣльнаго чувства, неумирающаго внутри моего я! Вѣдь есть же міръ»!.. Надо «вырвать изъ сердца этого сквернаго божка, уродца съ огромнымъ брюхомъ; это отвратительное Я, которое какъ глистъ сосетъ душу и требуетъ себѣ все новой пищи. Да откуда же я ее возьму? Ты уже все съѣлъ. Всѣ силы, все время были посвящены на служеніе тебѣ. То я кормилъ тебя, то поклонялся тебѣ; хоть ненавидѣлъ тебя, а всетаки поклонялся, принося тебѣ въ жертву все хорошее. что мнѣ было дано». «Онъ почувствовалъ теперь, что не все еще пожрано идоломъ, которому онъ столько лѣтъ поклонялся, что осталась еще любовь и даже самоотверженіе, что стоитъ жить для того, чтобы излить этотъ остатокъ. Куда, на какое дѣло—онъ не зналъ, да въ ту минуту ему и ненужно было знать, куда снести свою повинную голову. Онъ вспомнилъ горе и страданіе, какое довелось ему видѣть въ жизни, настоящее, житейское горе, передъ которымъ всѣ его мученія въ одиночку ничего не значили, и понялъ, что ему нужно идти туда, въ это горе, взять на свою долю часть его, и только тогда въ душѣ его настанетъ миръ».

Но недологъ былъ этотъ переворотъ въ Алексѣѣ Петровичѣ: еще одинъ психическій толчокъ и онъ всетаки покончилъ съ собой...

Проповѣдь любви къ ближнему и презрѣнія къ узкому эгоизму есть проповѣдь очень старая по времени и хотя не старѣющая по результатамъ, то есть по слабости результатовъ, но всетаки очень элементарная. Не ради нея сдѣлалъ я выписку изъ «Ночи», а ради нѣкотораго оттѣнка ея, несовсѣмъ зауряднаго. Алексѣй Петровичъ сознаетъ не только свой грѣхъ, мелочность и дрянность своей жизни, ея грѣховную мерзость. Этого было бы слишкомъ мало, ибо это азбучно. Онъ сознаетъ свое *несчастіе*; онъ сознаетъ что его «узкій міръ» его измучилъ, что, говоря вульгарнымъ языкомъ, *выгоднѣе* мучиться общимъ горемъ, чѣмъ «въ одиночку». Это уже нѣсколько оригинальнѣе, чѣмъ простая мораль любви къ ближнему. Но героямъ г. Гаршина доступна и еще высшая оригинальность. Что это такое значитъ «въ одиночку»? Развѣ у каждаго изъ насъ нѣтъ

или не можетъ быть близкихъ людей, чьи интересы близки нашимъ, нѣтъ семьи, товарищей по профессіи, соотечественниковъ и проч.? Все это есть, вѣроятно, и у Алексѣя Петровича, и, однако, онъ находитъ, что онъ никого настояще, неподдѣльно не любитъ, что тѣ узы, которыя его связываютъ съ людьми, ничего не стоятъ, они ложь, фальшь, онъ одинокъ. Художникъ Рябининъ тоже говоритъ о себѣ, что онъ «ходитъ одинокій среди толпы», что и искусство не налагаетъ никакихъ такихъ узъ, которыя онъ призналъ бы правильными. Узы искусства, повидимому, долженствующія связывать художника со всѣмъ міромъ, оставляютъ его одинокимъ, мало того, «одинокимъ въ толпѣ», и ложатся на него только тяжкимъ, ненавистнымъ бременемъ. Онъ говоритъ: «Какъ локомотиву съ открытою паропроводною трубой предстоитъ одно изъ двухъ: катиться по рельсамъ, пока не истощится паръ, или, соскочивъ съ нихъ, превратиться изъ стройнаго желѣзномѣднаго чудовища въ груду обломковъ, такъ и мнѣ... Я на рельсахъ; они плотно обхватываютъ мои колеса, и если я сойду съ нихъ, что тогда? Я долженъ во чтобы то ни стало докатиться до станціи, не смотря на то, что она, эта станція, представляется мнѣ какой-то черной дырой, въ которой ничего не разберешь».

Такой взглядъ на художественную дѣятельность уже и самъ по себѣ можетъ показаться страннымъ, а, тѣмъ болѣе, когда высказывается художникомъ или даже двумя художниками: самимъ Рябининымъ и его поэтическимъ отцомъ, г. Гаршинымъ. Мы такъ привыкли смотрѣть на работу художника, какъ на дѣятельность свободную по преимуществу. А между тѣмъ въ словахъ Рябинина заключается глубокій смыслъ. Антитеза Рябинина, художникъ Дѣдовъ, не чувствуетъ себя одинокимъ въ толпѣ и совершенно удовлетворенъ своею дѣятельностью. Онъ, какъ говорится, приспособился; онъ рисуетъ ходкій товаръ, такія именно картины, которыя въ спросѣ; онъ—машина для изготовленія живописныхъ произведеній; онъ какъ будто служитъ «чистому искусству» и можетъ быть и самъ этому искренно вѣритъ, на томъ основаніи, что ему нравятся красивыя сочетанія линій и красокъ. Но на самомъ-то дѣлѣ онъ служитъ какому-то огромному цѣлому, въ составъ котораго входятъ люди, дѣлающіе ему выраженные или невыраженные заказы. Употребляя метафору Рябинина, можно сказать, что Дѣдовъ дѣйствительно локомотивъ съ открытой паропроводной трубой и катится по рельсамъ и докатится по этому не имъ сдѣланному, прямолинейному, узкому, желѣзному пути до станціи, то есть до храма славы и вящихъ заказовъ. Рябинину эта самая станція представляется «какой-то черной дырой, въ которой ничего не разберешь». Для него жизнь шире и выше искусства. Онъ не однѣ красивыя комбинаціи красокъ и линій любитъ и потому натурально не можетъ сообразоваться въ своей дѣятельности съ заказами; ему не все равно какъ, на какую тему комбинировать линіи и краски; для него оскорбительна и ужасна мысль оказаться во власти того подавляющаго своей громадностью и сложностью цѣлаго, которое осыпаетъ или осыплетъ его товарища Дѣдова славой и деньгами, лишь бы онъ служилъ ему. Рябининъ готовъ служить, то есть работать, но не этой сложной громадѣ, въ которой «глухарь» (сюжетъ послѣдней картины Рябинина) долженъ надрываться и разбивать себѣ грудь, чтобы надѣлать чудовищныхъ котловъ, а котлы эти создадутъ средства, на которыя, между прочимъ, будутъ покупаться картины на «невинные сюжеты»: «полдни», «закаты», «дѣвочка съ кошкой» и проч. Рябининъ съ ужасомъ отступаетъ передъ этимъ сложнымъ клубкомъ отношеній и интересовъ, разъ запутавшись въ которой, онъ долженъ оказаться безвольнымъ исполнителемъ заказовъ. Та спеціальная форма общенія съ людьми, въ которой Дѣдовъ чувствуетъ себя, какъ рыба въ водѣ, претитъ Рябинину, онъ «одинокъ въ толпѣ». Онъ перестаетъ писать. И вотъ «облетѣли цвѣты, догорѣли огни», поскольку это зависитъ отъ Рябинина...

Не кажется-ли вамъ, что въ маленькій разсказъ «Художники» вложено отраженіе мыслей и чувствъ не только самого г. Гаршина, но и другихъ нашихъ молодыхъ беллетристовъ! Вѣдь и у Рябинина пропала охота къ «выдумкѣ», а вотъ Дѣдовъ, такъ тотъ, подобно гг. Авсѣенкѣ, Боборыкину, Маркевичу, фабрикуетъ, фабрикуетъ и опять фабрикуетъ, «что прикажете». И если такова дѣйствительно причина ослабленія выдумки, то не кажется-ли вамъ, что надо говорить: «зацвѣтутъ цвѣты, загорятся огни»?

Мысль объ «одинокомъ въ толпѣ», о безвольномъ орудіи нѣкотораго огромнаго сложнаго цѣлаго, постоянно преслѣдуетъ г. Гаршина и несомнѣнно составляетъ источникъ всего его пессимизма. Несчастье и скорби его героевъ зависятъ отъ того, что всѣ они ищутъ ближняго, жаждутъ любви, ищутъ такой формы общенія съ людьми, къ которой они могли бы прилѣпиться всей душой безъ остатка, *всей* душой, а не одной только какой нибудь стороной души вродѣ художественнаго творчества; *всей* душой и, значитъ, не въ качествѣ спеціальнаго орудія или инструмента, а въ качествѣ человѣка, съ сохраненіемъ всего человѣческаго до-

стоинства. Всѣ они не находятъ этихъ узъ и оказываются въ положеніи «пальцевъ отъ ноги». Я просилъ васъ запомнить эту метафору шекспировскаго Мененія Агриппы, влагаемую г. Гаршинымъ въ уста «Труса». Она очень характерна. Вы помните, что «Трусъ» вовсе не трусъ. Онъ не опасности или смерти боится, его гнететъ мысль, что онъ «палецъ отъ ноги», что нѣчто, внѣ его лежащее, намѣтило ему цѣль, дало ему сосѣда справа, сосѣда слѣва, и вдвинуло въ огромный, чуждый ему потокъ.

Для выраженія всей основной мысли г. Гаршинъ прибѣгаетъ еще къ одной, очень характерной тоже метафорѣ. Героиня «Происшествія», Надежда Николаевна, публичная женщина, знавшая когда-то лучшіе дни, вспоминаетъ въ своемъ дневникѣ одного изъ «гостей». Это былъ болтливый юноша, который прочиталъ ей наизусть страницу изъ какой-то философской книжки; тамъ говорилось, что она и ей подобныя несчастныя созданія суть «клапаны общественныхъ страстей». Надежда Николаевна, въ качествѣ уличной женщины, конечно, всякіе виды видали, но «клапанами» она оскорбилась: «слова гадкія, — говоритъ она,—и философъ должно быть скверный, а хуже всего былъ этотъ мальчишка, повторявшій эти «клапаны». Но она тутъ-же должна признаться сама себѣ, что гадкія слова фактически справедливы, что скверный философъ и сквернѣйшій мальчишка совершенно правы,—она, «общественное животное», какъ назвалъ человѣка еще Аристотель, есть только «клапанъ общественныхъ страстей», орудіе, инструментъ. Иванъ Ивановичъ предлагаетъ ей выйти изъ этого положенія, но она уже такъ плотно обхвачена, что не видитъ выхода. Та-же исторія, только въ болѣе сложномъ видѣ, повторяется съ другой «Надеждой Николаевной».

Доставте себѣ удовольствіе, перечтите всѣ разсказы Гаршина, и вездѣ или почти вездѣ вы найдете, можетъ быть, не такъ ясно подчеркнутое, но все одно и то-же: лучи все той-же скорби о томъ спеціальномъ и высшемъ оскорбленіи, которое наносится человѣческому достоинству превращеніемъ человѣка въ тѣ или другіе клапаны, въ «пальцы отъ ноги». Вотъ за эту-то память о человѣческомъ достоинствѣ и за эту оригинальную, лично Гаршину принадлежащую скорбь мы его и полюбили. Мы хотѣли-бы только видѣть его болѣе бодрымъ, хотѣли-бы устранить преслѣдующія его безнадежныя перспективы. И наша, читательская любовь чего нибудь да стоитъ въ этомъ отношеніи. Мы вѣдь не безотчетною личною любовью любимъ: изъ нашей любви г. Гаршинъ долженъ почерпнуть вѣру и надежду...

II.

Еще о Гаршинѣ и другихъ*).

Я долженъ вернуться на минуту къ г. Гаршину. Онъ обратилъ мое вниманіе на одну ошибку, въ которую я впалъ въ прошломъ (декабрьскомъ) дневникѣ, говоря о его разсказѣ «Ночь». Передавая содержаніе этого маленькаго разсказа, я писалъ, что герой, рѣшившійся на самоубійство, но остановленный на нѣкоторое время напоромъ жизнерадостныхъ чувствъ, въ концѣ концовъ, однако, всетаки застрѣлился. В. М. Гаршинъ пояснилъ мнѣ, что я ошибся: Алексѣй Петровичъ (герой «Ночи») не застрѣлился; онъ умеръ отъ бурнаго прилива новаго чувства, физически выразившагося разрывомъ сердца. Разница, конечно, большая. Я думаю, однако, что не одинъ я ошибался на этотъ счетъ и потому вдвойнѣ спѣшу поправить свою ошибку. Но постараюсь также нѣсколько оправдаться.

Алексѣй Петровичъ, измученный ложью, не только окружающею его со всѣхъ сторонъ, но и въ его собственной душѣ, какъ онъ думаетъ, свившею себѣ прочное пожизненное гнѣздо, рѣшаетъ покончить съ собой и дѣлаетъ всѣ нужныя приготовленія: достаетъ у пріятеля обманнымъ образомъ револьверъ, заряжаетъ его, взводитъ курокъ. Передъ смертью онъ оглядывается назадъ, на свое прошлое, и вспоминаетъ дѣтскіе годы, когда лжи въ его жизни не было. Отчего же не было, и чѣмъ положительнымъ выражалось это отсутствіе лжи? Алексѣй Петровичъ добирается до отвѣта на этотъ вопросъ: была настоящая, подлинная связь съ людьми, хоть бы съ нищими. И потомъ опять отрицательные результаты: не было «одиночества въ толпѣ», не сложился еще тотъ узкій личный мірокъ, то всепожирающее и въ то же время сиротливое «Я», въ которомъ онъ потомъ погрязъ. Но не можетъ ли онъ и теперь расширить свое личное существованіе, связать себя съ общею жизнью, установить прочныя и настоящія, не лживыя связи съ людьми? Два голоса борятся въ душѣ Алексѣя Петровича. Одинъ говоритъ, что это не нужно и невозможно, другой обнадеживаетъ и зоветъ къ жизни. Алексѣй Петровичъ раздумываетъ:

Нужно «отвергнуть себя», убить свое *я*, бросить на дорогу...

— Какая же польза тебѣ, безумный? шепталъ голосъ.

Но другой, когда-то робкій и неслышный, прогремѣлъ ему въ отвѣтъ:

— Молчи! Какая же польза будетъ ему, если онъ растерзаетъ себя?

---

*) 1886 г., февраль.

Алексѣй Петровичъ вскочилъ на ноги и выпрямился во весь ростъ. Этотъ доводъ привелъ его въ восторгъ. Такого восторга онъ никогда еще не испыталъ ни отъ жизненнаго успѣха, ни отъ женской любви. Восторгъ этотъ родился въ сердцѣ, вырвался изъ него, хлынулъ горячей, широкой волной, разлился по всѣмъ членамъ, на мгновеніе согрѣлъ и оживилъ закоченѣвшее несчастное существо. Тысячи колоколовъ торжественно зазвонили. Солнце ослѣпительно вспыхнуло, освѣтило весь міръ и исчезло . . .

. . . .

Лампа, выгорѣвшая въ долгую ночь, свѣтила все тусклѣе и тусклѣе и наконецъ совсѣмъ погасла. Но въ комнатѣ уже не было темно; начинался день. Его спокойный сѣрый свѣтъ понемногу вливался въ комнату и скудно освѣщалъ заряженное оружіе и письмо съ безумными проклятіями, лежавшее на столѣ, а посреди комнаты—человѣческій трупъ съ мирнымъ и счастливымъ выраженіемъ на блѣдномъ лицѣ».

Я сдѣлалъ полную и точную выписку конца «Ночи»: строка точекъ имѣется и въ подлинникѣ, и въ ней-то я и прочелъ новый психическій толчокъ и затѣмъ трескъ и блескъ револьвера, моментъ выстрѣла. Правда, сѣрый свѣтъ утра освѣщаетъ «заряженное» оружіе, но этотъ единственный намекъ на то, что выстрѣла не было, я, каюсь, просмотрѣлъ, какъ, смѣю думать, большинство читателей г. Гаршина.

Смѣю думать также, что ошибка моя ни сколько не колеблетъ тѣхъ выводовъ, къ которымъ я пришелъ относительно писаній г. Гаршина вообще.

Алексѣй Петровичъ могъ бы сказать о себѣ, какъ Фаустъ: Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust. Два голоса явственно полемизируютъ въ немъ. Одинъ, не только ласковый и любящій, но и разумный, удостовѣряетъ, что не все потеряно, что возможна новая жизнь, свѣтлая, широкая, не изъ подъ палки какой-нибудь, а свободно сливающаяся съ жизнью другихъ людей. Это потому голосъ, не только любящій, а и разумный, что удостовѣряетъ, что и «пользы», выгоды нѣтъ жить такъ, какъ жилъ Алексѣй Петровичъ до сихъ поръ. Другой голосъ, злой и глупый, утверждаетъ, что все это вздоръ. Это злой голосъ, потому что, соблазняя человѣка, онъ обрекаетъ его на муки, которыхъ тотъ и безъ того принялъ сверхъ всякой мѣры; но вмѣстѣ съ тѣмъ это и глупый голосъ, потому что для Алексѣя Петровича все равно нѣтъ возврата на ту дорогу себялюбиваго и сиротливаго существованія, которую онъ пробѣжалъ всю, вплоть до ея естественнаго конца—самоубійства. Побѣда злого и глупаго голоса только и могла выразиться самоубійствомъ, и я прочиталъ эту побѣду въ строкѣ точекъ г. Гаршина. Оказывается, что я ошибся, побѣдилъ голосъ жизни и любви. Казалось-бы, тѣмъ лучше. Но какою цѣною одержана эта побѣда? Такъ сильно охваченъ Алексѣй Петровичъ порывомъ жизнерадостнаго чувства, что не выдерживаетъ и умираетъ. Значитъ, въ концѣ концовъ всетаки смерть, и съ извѣстной точки зрѣнія такой финалъ еще безотраднѣе простого самоубійства.

Всѣ или почти всѣ произведенія г. Гаршина представляютъ художественный комментарій къ великому въ своей простотѣ: «не добро быть человѣку едину». Я бы не сказалъ, что это корень его пессимизма, но это почва, изъ которой корень беретъ нужные ему элементы. Не вообще страданіями занятъ нашъ авторъ; съ его точки зрѣнія отчего-бы и не пострадать, но на людяхъ и съ людьми, а не въ одиночку. Однако, и не буквально одинокихъ ставитъ передъ нами г. Гаршинъ. Напротивъ, его одинокіе окружены толпой и всетаки они одиноки, потому что узы, связывающія ихъ съ людьми, насильственны, лживы, и они вполнѣ сознаютъ эту лживость и оттого мучатся. Они ищутъ выхода, то есть такихъ формъ общенія съ людьми, которыя не налагали бы на нихъ ненавистнаго ярма, не дѣлали бы ихъ «пальцами отъ ноги», «клапанами», безвольными орудіями сложнаго цѣлаго, все большему дифференцированію котораго такъ радуются разныя Спенсеровы дѣти. Въ этомъ процессѣ дифференцированія или, что тоже, превращенія человѣка въ органъ, орудіе, многіе чувствуютъ себя прекрасно. Ихъ не смущаетъ то униженное положеніе, въ которомъ они находятся, ихъ не тревожитъ лживость отношеній къ «ближнимъ», они не чувствуютъ своего уродства. Г. Гаршинъ представилъ нѣсколько экземпляровъ и этой породы «приспособившихся», живущихъ въ полное свое удовольствіе, для своего «я», но это «я» не человѣка, а «клапана». Таковъ Дѣдовъ въ «Художникахъ», таковъ инженеръ Кудряшевъ во «Встрѣчѣ». Но положеніе другихъ героевъ г. Гаршина совсѣмъ иное. Они понимаютъ, въ какую пропасть влечетъ или уже вовлекъ ихъ стихійный процессъ, но всѣ либо безпомощно бьются въ той клѣткѣ, въ которую ихъ загнала судьба, и въ концѣ концовъ погибаютъ; либо-же, какъ и Надежда Николаевна (въ повѣсти, озаглавленной этимъ именемъ), и Алексѣй Петровичъ, герой «Ночи», видятъ исходъ, рвутся къ нему, стоятъ уже на самомъ корнѣ новой жизни и счастья и всетаки погибаютъ, хотя и отъ постороннихъ причинъ; одна подъ выстрѣломъ ревнивца, другой отъ разрыва сердца. Мало того, значитъ, что люди изнемогаютъ, стоя лицомъ къ лицу съ давящею ихъ силою; мало того, что они, безсильно топорщась, всетаки втягиваются зубцами и колесами огромной машины и въ ней перемалываются; нѣтъ, даже въ тѣхъ случаяхъ

когда голосъ крови и разума заглушаетъ собою голосъ глупый и злой, когда человѣческое достоинство готово праздновать побѣду, постороннія дѣлу обстоятельства точно заговоръ устраиваютъ, и побѣды всетаки нѣтъ.

Я надѣюсь, что г. Гаршинъ когда нибудь разрушитъ эту коалицію стихійнаго процесса, выражаемаго глупыми и злыми голосами, и постороннихъ дѣлу обстоятельствъ; что онъ предъявитъ намъ наконецъ побѣду истинно человѣческаго достоинства, хотя бы въ возможности, въ перспективѣ. Не потому мнѣ этого хочется, что человѣческое достоинство часто торжествуетъ въ сей юдоли плача и беззаконія, вслѣдствіе чего торжество это должно найти себѣ отраженіе и въ искусствѣ. Нѣтъ, вообще говоря, это торжество пока слишкомъ рѣдкое, но пусть же эта рѣдкость блеснетъ въ творческой фантазіи г. Гаршина, хотя бы только какъ возможность, и разгонитъ мрачныя тучи безнадежности, заволакивающія его горизонтъ.

Мы вправѣ ожидать отъ г. Гаршина многаго, потому что въ томъ немногомъ, что онъ до сихъ поръ написалъ, онъ, какъ говорятъ нѣмцы, хватаетъ быка за рога, сознательно выбираетъ центромъ своихъ картинъ и образовъ дѣйствительный центръ дѣйствительной жизни. Отъ преслѣдующей его скорби объ человѣкѣ, превращенномъ въ «палецъ отъ ноги» или въ «клапанъ», могутъ быть проведены радіусы рѣшительно во всѣ сферы въ жизни. И если это необыкновенно выгодное и въ то же время смѣлое положеніе, занятое г. Гаршинымъ, осталось до сихъ поръ неоцѣненнымъ по достоинству, такъ на это есть двѣ причины. Во-первыхъ, слишкомъ тонкая, я бы сказалъ, кружевная работа г. Гаршина. Я своевременно читалъ все, что г. Гаршинъ печаталъ, а принимаясь въ прошлый разъ писать объ немъ, все вновь перечиталъ съ особенною, спеціальною тщательностью, и однако впалъ въ выше приведенную ошибку, потому что просмотрѣлъ буквально *одно* слово. Что же мудренаго, если читатели, не обязанные читать съ такою спеціальною внимательностью, чувствуютъ себя охваченными чѣмъ-то необыкновенно симпатично-скорбнымъ, но не могутъ разобраться въ произведеніяхъ г. Гаршина, какъ слѣдуетъ.

Другая причина нѣкоторой неясности положенія г. Гаршина въ литературѣ заключается въ обширности руководящей имъ идеи. Не въ томъ только дѣло, что онъ сознательно приложилъ ее къ такимъ разнообразнымъ и, повидимому, трудно суммируемымъ общественнымъ положеніямъ, каковы положенія солдата, художника, публичной женщины и проч. Нѣтъ, такъ неотступно преслѣдующій его вопросъ — кто побѣдитъ: человѣческое достоинство или стихійный процессъ, превращающій человѣка въ клапанъ — это всѣмъ вопросамъ вопросъ. Всѣ наши маленькія житейскія драмы, а, пожалуй, и водевили, всѣ крупнѣйшія историческія событія укладываются въ рамки этого огромного и рокового вопроса. Но именно потому, что этотъ вопросъ до такой степени всеобъемлющъ, онъ, будучи заключенъ въ абстрактную формулу, кажется чѣмъ-то холоднымъ и далекимъ: пролившіяся изъ-за него въ теченіе вѣковъ и теперь льющіяся на сѣверѣ, югѣ, востокѣ и западѣ слезы и кровь абстрагируются, совлекаются, и въ сферѣ мысли остается только своего рода «красный цвѣтокъ», который, помните, тоже впиталъ въ себя всю скорбь человѣчества. Но «красный цвѣтокъ» — яркій бредъ безумца, а передъ нами краткая, ясная, сухая формула. Воплощаясь въ жизни, наряжаясь въ разнообразнѣйшія сложныя одежды, отражаясь въ близкихъ намъ житейскихъ дѣлахъ и дѣлишкахъ, она бываетъ подчасъ трудно узнаваема. И вотъ почему, между прочимъ, г. Гаршинъ рѣдко причисляется къ беллетристикѣ съ рѣзко опредѣленной тенденціей, къ «направленцамъ», какъ выразился недавно нѣкто, не имѣющій царя въ головѣ. Съ другой стороны, однако, старательные классификаторы не относятъ г. Гаршина и къ представителямъ чистаго искусства, которые singen wie der Vogel singt, кто соловьемъ, а кто сорокой, кого какимъ Богъ голосомъ надѣлилъ. Еще бы!

Я очень благодаренъ г. Гаршину за то, что, указавъ мнѣ мою ошибку, онъ далъ вмѣстѣ съ тѣмъ поводъ написать эти слова, хотя я все равно написалъ бы ихъ по другому поводу. Я отнюдь не хочу преувеличивать значеніе г. Гаршина.—передъ нимъ все еще впереди. Я говорю лишь о величіи и обширности идеи, на которую намекалъ въ первой же тетради этого дневника, говоря о жалкой породѣ Спенсеровыхъ дѣтей. Если моему скромному дневнику суждено будетъ продолжаться, мы увидимъ, что къ этой идеѣ въ концѣ концовъ, какъ къ высшей инстанціи, сводятся всѣ занимающіе насъ житейскіе вопросы.

Въ качествѣ «читателя», я могу вѣдь читать съ вами великую книгу жизни, по крайней мѣрѣ, по скольку она отражается хоть въ газетахъ, и слѣдовательно взять подлинное происшествіе драматическаго характера, какими русская, да и всякая другая жизнь изобилуетъ въ совершенно достаточной степени. Я и не отказываюсь отъ по-

добнаго чтенія на будущее время, но пока останемся въ предѣлахъ литературы. Въ извѣстномъ смыслѣ беллетристика, поэзія (разумѣется та, которая заслуживаетъ этого имени) болѣе дѣйствительна, чѣмъ сама дѣйствительность, все равно, какъ, напримѣръ, желѣзная кочерга болѣе желѣзо, чѣмъ желѣзная руда, въ которой много постороннихъ примѣсей. Въ конкретной дѣйствительности факты запутаны, осложнены разными затемняющими дѣло случайными подробностями. Беллетристика беретъ или должна брать наиболѣе типическія черты фактовъ и группировать ихъ такъ, чтобы важное стояло впереди, а неважное уходило бы назадъ и даже совсѣмъ изъ рамокъ картины.

Изъ многихъ лежащихъ передо мною на столѣ, прочитанныхъ или еще подлежащихъ прочтенію книгъ, выбираю отнюдь не самую значительную, чтобы разговоръ объ ней не отнялъ у насъ слишкомъ много времени и мѣста, которыя пригодятся намъ на другое. Да я, собственно говоря, даже не выбираю, а беру почти первое, что попалось подъ руку. Попалась комедія г. Ѳедотова, «Рубль». О художественной сторонѣ этого произведенія я ничего не имѣю сказать, тѣмъ болѣе, что оно писано для сцены, а сцена имѣетъ свои требованія, не всегда совпадающія съ требованіями литературными.

Петръ Степановичъ Викентьевъ и Вѣра Ивановна Жукова вступаютъ въ законный бракъ. Мы застаемъ ихъ не только въ медовомъ мѣсяцѣ, а въ медовомъ часѣ, въ медовой минутѣ,—прямо изъ подъ вѣнца. Молодые такъ и сверкаютъ счастьемъ. Они молоды, любятъ другъ друга и ничего, кромѣ розъ и еще розъ, не виднѣется на ихъ жизненномъ пути. Виднѣются еще, правда, «рубли», но для молодой, по крайней мѣрѣ, рубли въ эту минуту тоже идутъ въ счетъ розъ. Что же касается молодого, то онъ лучше понимаетъ цѣну вещей. Розы розами, онъ ихъ беретъ и счастливъ ими, но счастливъ также и тѣмъ, что какъ разъ въ день свадьбы получаетъ мѣсто секретаря правленія Вятско-Динабургской дороги, съ жалованьемъ въ шесть тысячъ рублей. Правда, въ этотъ же день появляется маленькое облачко на лазурномъ небѣ супруговъ Викентьевыхъ, а именно поздравительное письмо отца Викентьева, котораго Викентьевъ-сынъ стыдится, держитъ въ черномъ тѣлѣ и о которомъ много вретъ. Но молодой предъявляетъ объясненіе, которымъ молодая удовлетворяется, и на сей разъ все кончается благополучно... Ахъ! первыя дѣйствія часто кончаются благополучно... Черезъ шесть мѣсяцевъ картина мѣняется: розы увядаютъ, а «рубли» съ свойственною имъ властною наглостью лѣзутъ все впередъ и впередъ, и не только рубли, а даже копѣйки. Въ первомъ же явленіи второго дѣйствія Вѣра съ негодованіемъ говоритъ Викентьеву: «Нельзя-же наконецъ, во всемъ видѣть только сорокъ, тридцать, пятьдесятъ копѣекъ и ужъ ничего, кромѣ этого, не видѣть на свѣтѣ». Этимъ негодующимъ восклицаніемъ достаточно характеризуется обычная, ежедневная жизнь супруговъ Викентьевыхъ. Но кромѣ этой, такъ сказать, хронической мелкой дрянности, господинъ Викентьевъ не чуждъ и острой крупной мерзости. Такъ, со старикомъ отцомъ онъ ведетъ себя, какъ предпослѣдній негодяй; потому предпослѣдній, а не послѣдній, что еще большую подлость совершаетъ онъ относительно своего пріятеля и, можно сказать, благотворителя, стремясь подняться съ шеститысячнаго оклада на двѣнадцатитысячный. Въ концѣ концовъ братъ его жены дѣлаетъ ему слѣдующую характеристику: «тутъ ни Бога, ни совѣсти, тутъ одинъ серебряный рубль воцарился». Когда Вѣра въ свою очередь въ этомъ окончательно убѣждается, наступаетъ моментъ разрыва: такъ или иначе, надо кончать.

Вотъ, можно сказать, вполнѣ обыкновенная исторія. Супругъ съ супругою сошлись такъ, какъ сходятся тысячи другихъ супружескихъ паръ: даже не задумываясь объ томъ, есть-ли что нибудь общее между ними. По прошествіи нѣкотораго, очень недолгаго времени мужъ оказывается негодяемъ. Негодяй этотъ удался автору. Господинъ Викентьевъ не какой нибудь мелодраматическій злодѣй и даже не модный воръ-кассиръ. Онъ негодяй наивный, безсознательный. Онъ искренно говоритъ, что *ему* «тяжело послѣ шести мѣсяцевъ полнаго счастія разочароваться въ женѣ, которую такъ безгранично любилъ». Онъ опять-же вполнѣ искренно удивляется, съ чего взбѣленилась жена, когда онъ для нея-же, для ихъ общаго семейнаго счастія раздавилъ по дорогѣ отъ шеститысячнаго къ двѣнадцатитысячному жалованью, «совершенно чужого, посторонняго ей человѣка». Онъ, сидя у себя въ комнатѣ одинъ одинехонекъ и, значитъ, не имѣя ни малѣйшаго повода притворяться, со слезами на глазахъ раздумываетъ: «для кого я живу, для кого я добываю, работаю? вѣдь не для чужого, для нашего счастья». Но, имѣя столь броненосную совѣсть и столь мѣдный лобъ, Викентьевъ натурально требуетъ отъ жены соучастія. «Не ребенокъ-же она,—говоритъ онъ: должна-же она понимать, что, выходя за меня, она тѣмъ самымъ, такъ сказать, обязалась жить и понимать жизнь по моему! Это и законъ предусматриваетъ. Обратите вниманіе на 167-ю статью»... Въ другомъ мѣстѣ онъ иронически.

но вполнѣ опять-таки чистосердечно замѣчаетъ, что «равноправности ваши... не спорю, можетъ быть онѣ для акушерокъ умѣстны, для какихъ нибудь нигилистокъ, а ужъ никакъ не для жены человѣка порядочнаго». Словомъ, это натура грубая и низменная, но аккуратно покрытая лакомъ приличія. Въ качествѣ низменной натуры, Викентьевъ рѣшительно не въ состояніи понять причинъ возмущенія жены: онъ ничего дурного не сдѣлалъ! онъ хлопочетъ объ увеличеніи средствъ, онъ желаетъ, чтобы не только ему, а и ей, его дѣйствительно любимой Вѣрѣ жилось хорошо! Она «фразерка», «фантазерка»! Викентьевъ до такой степени приспособился къ даннымъ формамъ общественной и семейной жизни, что все, чуть-чуть поднимающееся надъ этою дѣйствительностью, есть уже для него фантазія и фраза. Онъ дѣйствительно не человѣкъ, а «рубль», орудіе нѣкотораго цѣлаго, которому рубли нужны, или, по крайней мѣрѣ, своего рода «клапанъ» машины добыванія рублей и, не смотря на всю глубину своего эгоизма и на всю невозмутимость своей совѣсти, онъ беретъ отъ жизни въ сущности очень мало,— даже любви любимой женщины не можетъ удержать. Викентьевъ и женѣ своей предлагаетъ стать «клапаномъ» или «пальцемъ отъ ноги», занять въ семьѣ положеніе, опредѣляемое статьей такой-то, и молча смотрѣть на тѣ подлости, которыя онъ будетъ, ради семьи-же, дѣлать въ будущемъ. Вѣра возмущается въ своемъ человѣческомъ достоинствѣ, и возникаетъ вопросъ: что побѣдитъ?

Я не знаю, какъ отвѣтилъ-бы на этотъ вопросъ авторъ комедіи, г. Ѳедотовъ, ибо конецъ комедіи не есть отвѣтъ. Вѣра рѣшаетъ было сначала уйти отъ мужа, и братъ ея находитъ уже для нея занятіе, которое можетъ поставить ее въ независимое положеніе. Но она вдругъ перерѣшаетъ и остается. Остается не потому, что любитъ мужа,— она прямо объявляетъ, что любовь уже совсѣмъ вытравлена изъ ея сердца; и не ради религіознаго уваженія къ семейному началу,— объ этомъ нѣтъ и рѣчи. Она мотивируетъ свое рѣшеніе такъ: «жертва нужна», не ему жертва, не мужу, а «тому, что я люблю, во что вѣрю... Пусть ко онъ теперь подъ одной кровлей со мной поживетъ, со мной, правой!.. Вѣрь, онъ будетъ, будетъ другимъ... или ужъ и меня, и его... такого не будетъ совсѣмъ!» Старикъ отецъ Викентьева вспоминаетъ по этому поводу слѣдующій случай. Былъ у него знакомый помѣщикъ, а у того былъ крѣпостной псарь, и помѣщикъ страшно его притѣснялъ. И сталъ псарь хвалиться: «я, говоритъ, вгоню его въ совѣсть, онъ, говоритъ, у меня Господа вспомнитъ!» Угрозу эту псарь привелъ въ исполненіе такимъ способомъ, что въ одинъ прекрасный день повѣсился на березѣ, передъ окномъ помѣщика...

Исторія псаря, такъ точно повторяющая Некрасовскаго «Якова вѣрнаго, холопа примѣрнаго», приведена устами старика Викентьева только для иллюстраціи. Дѣло не въ ней, а въ Вѣрѣ. Поэтъ удостовѣряетъ, что и баринъ вернулся домой, причитая: «грѣшенъ я, грѣшенъ! Казните меня!» «Будешь ты, баринъ, холопа примѣрнаго, Якова вѣрнаго, помнить до суднаго дня!» Такъ-ли будетъ съ экспериментомъ Вѣры Викентьевой—неизвѣстно потому что на этомъ ея рѣшеніи занавѣсъ опускается. Странное, дикое рѣшеніе, но оно всетаки оставляетъ нѣкоторый просвѣтъ въ будущее: можетъ быть вѣдь рубль будетъ въ самомъ дѣлѣ посрамленъ, а человѣческое достоинство засіяетъ славою побѣды...

Простите эту маленькую экскурсію въ сторону комедіи г. Ѳедотова, которую, сознаюсь, смѣло можно-бы было оставить въ покоѣ. Это я по адресу все того-же г. Гаршина. А кромѣ того, удивительное рѣшеніе Вѣры Викентьевой заинтересовало меня вотъ съ какой стороны.

Если предпріятіе Вѣры удастся, если она сама не разобьется о твердую, блестящую, чеканенную поверхность серебрянаго рубля, а напротивъ того въ немъ разбудитъ человѣческій духъ, то она будетъ имѣть полное право повторить гордыя слова: hast du nicht alles selbst vollendet, du, heilig glühendes Herz?! Это большая рѣдкость по нынѣшнему времени и большое достоинство. Никогда, можетъ быть, въ русскомъ обществѣ не происходило столько, какъ теперь, разговоровъ о морали, горячихъ призывовъ къ любви, пропаганды служенія ближнему. Въ гостиной и въ желѣзнодорожномъ вагонѣ, въ ресторанѣ и на публичномъ вечерѣ, при встрѣчѣ съ знакомыми и незнакомыми людьми, вы безпрестанно наталкиваетесь на подобные разговоры, видите подходящія книги, статьи, рукописи. Положимъ, что мы слышимъ много разговоровъ и читаемъ много статей, но слишкомъ мало видимъ соотвѣтственнаго дѣла, дѣла любви, однако очевидно всетаки, что «всѣ мы жаждемъ любви», не въ опереточномъ смыслѣ, а въ высшемъ. Спросу отвѣчаетъ предложеніе, и находятся люди, стремящіеся утолить нашу жажду.... проповѣдью любви. Прекрасно и это. Но въ числѣ нѣкоторыхъ странностей, сопровождающихъ эту проповѣдь, меня особенно поражаетъ одна. Вѣра Викентьева совершаетъ свой, можетъ быть, и ненужный, можетъ быть, нецѣлесообразный, но, во всякомъ случаѣ, самоотверженный подвигъ, не справляясь ни съ какой высшей или вообще посторонней санкціей: ея собственное сердце, ея heilig glühendes Herz рѣшаетъ все само. Это, повто-

ряю, по нынѣшнему времени большая рѣдкость. То есть въ жизни-то можетъ быть все идетъ своимъ чередомъ, и люди любятъ и самоотвергаются просто потому, что это ихъ самихъ удовлетворяетъ. Вѣроятно такъ. Но въ разговорахъ о жизни и въ проповѣдяхъ любви вы постоянно наталкиваетесь на странную ноту: такой-то проповѣдникъ или такой-то учитель велѣлъ или велитъ любить. Эта погоня за санкціей персонифицированнаго авторитета ведетъ къ разнымъ недоразумѣніямъ въ тереотической сферѣ разумѣнія міра и къ двусмысленнымъ попыткамъ связать несвязуемое. Но, кромѣ того, она и сама по себѣ чрезвычайно странна: всѣ мы жаждемъ любви и въ тоже время нуждаемся въ авторитетномъ приказаніи любить! Точно внутренней санкціи собственной совѣсти мало для такого простого и хорошаго дѣла, какъ любовь къ людямъ! На дѣлѣ вся суть въ этой внутренней санкціи; и если нѣтъ ея, такъ никакія приказанія не выручатъ, отъ какихъ-бы высокихъ авторитетовъ они ни исходили.

Дѣло, впрочемъ, теперь не въ этомъ, а въ томъ, что, повидимому, всѣ мы жаждемъ любви, но въ то же время любить намъ чрезвычайно трудно, какъ надо полагать, во-первыхъ, потому, что наши разговоры о прелести любви обязываютъ какъ-бы только къ новымъ, дальнѣйшимъ разговорамъ, а не къ дѣлу любви; во-вторыхъ, потому, что мы все ищемъ авторитета, который уже вполнѣ властно и непререкаемо приказалъ-бы намъ любить ближнихъ. Происходитъ нѣкоторое удивительное коловращеніе на мѣстѣ безъ сколько-нибудь значительнаго движенія въ какую-бы то ни было сторону, или, по выраженію одного моего остроумнаго друга, восемьдесятъ тысячъ верстъ вокругъ самого себя.

Постараемся поискать въ литературѣ, если не объясненія причинъ, то хоть отраженія этого страннаго явленія. Кстати познакомимся поближе съ однимъ писателемъ, о которомъ до сихъ поръ было говорено въ печати и слишкомъ мало, и слишкомъ много,—какъ посмотрѣть на дѣло.

Между беллетристами, обратившими на себя вниманіе въ самое послѣднее время, совершенно особенное положеніе занимаетъ г. Муравлинъ, авторъ очерковъ «Убогіе и нарядные» и романовъ «Теноръ», «Баба», «Мракъ». Своеобразно содержаніе его произведеній, своеобразны художественные пріемы, своеобразны даже чисто внѣшніе способы появленія его романовъ: въ противность почти общему у насъ правилу, произведенія г. Муравлина появляются прямо отдѣльными изданіями, минуя журналы. Что г. Муравлинъ человѣкъ талантливый, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Но несомнѣнно также, что есть въ его талантѣ, какъ и въ его умственномъ кругозорѣ, какой-то не то природный крупный изъянъ, который не даетъ ему подняться выше того, что онъ далъ въ первомъ же своемъ произведеніи, не то болѣзненный наростъ, который съ теченіемъ времени можетъ быть удаленъ. Я не знаю. Во всякомъ случаѣ писанія г. Муравлина представляютъ собою литературное явленіе въ высшей степени любопытное и характерное для нашего времени, достойное всякаго вниманія. Я не буду однако говорить теперь о всѣхъ его произведеніяхъ и остановлюсь только на послѣднемъ романѣ «Мракъ». Выводы, къ которымъ мы придемъ, могли бы быть только подкрѣплены, а не измѣнены анализомъ «Тенора», «Бабы», «Убогихъ и нарядныхъ».

«Мракъ», какъ и другіе романы г. Муравлина, построенъ по всѣмъ правиламъ европейскаго романа, которымъ такъ трудно подчиняются или даже совсѣмъ не подчиняются наши нынѣшніе беллетристы: въ немъ есть завязка, интрига, развязка и нѣтъ лирическихъ или философскихъ отступленій отъ хода дѣйствія. Тѣмъ не менѣе, въ немъ есть фигуры, сцены, цѣлыя драматическія коллизіи, совершенно ненужныя. Ихъ можно удалить, снять, какъ какія нибудь бородавки, не только безъ вреда для романа, а даже съ большою для него выгодою. И замѣчательно, что всѣ эти ненужности проникнуты однимъ и тѣмъ же характеромъ какой-то вычурной монстрюозности, чудовищнаго уродства.

Въ самомъ началѣ романа мы попадаемъ на холостую пирушку; нѣсколько молодыхъ и не очень молодыхъ чиновниковъ собрались встрѣтить новый годъ. Хозяинъ, нѣкто Нарѣзовъ, приготовилъ гостямъ сюрпризъ: позвалъ одного «ужасно смѣшного идіота», настоящаго сумасшедшаго, и тотъ, безобразный, грязный и оборванный, пляшетъ, поетъ, мелетъ вздоръ; наконецъ его выгоняютъ. Сцена эта отвратительна и совершенно ненужна. «Ужасно смѣшной идіотъ» болѣе нигдѣ въ романѣ не показывается. Его безобразная фигура только подчеркиваетъ собою пошлость и пустоту собравшагося на вечеринку общества, которое способно тѣшиться кривляньями идіота, лишеннаго человѣческаго образа и подобія Но пошлость и пустота этого общества ни мало не нуждаются въ такомъ подчеркиваніи,—онѣ и безъ того слишкомъ очевидны.

Въ числѣ безобразныхъ рѣчей, произносимыхъ шутомъ-идіотомъ, особенно возмутительна одна. Онъ продаетъ одному изъ

пирующихъ кусокъ мыла (за двугривенный), заявляя при этомъ: «мнѣ денегъ надо, у меня есть любовь». У этого несчастнаго «есть любовь»! И трудно даже представить себѣ всю ту животную грязь, въ которой эта любовь купается... На изображеніе такой любви, г. Муравлинъ не рискнулъ, но онъ предъявилъ всетаки образчикъ любви, въ своемъ родѣ не менѣе чудовищный и опять-таки совершенно ненужный. Амфитріонъ пирушки, Нарѣзовъ, очень некрасивъ собой, феноменально некрасивъ, такъ что безобразіе его служитъ притчей во языцѣхъ, надъ нимъ издѣваются въ этомъ направленіи, и самъ онъ горько скорбитъ объ томъ, что, по чрезвычайной скверности его физіономіи, ни одна женщина его полюбить не можетъ. Комѣ того онъ, по собственному сознанію, «дуракъ и подлецъ». И однако у этого энциклопедическаго чудовища, настоящее мѣсто которому въ кунсткамерѣ, въ собраніи «монстровъ и раритетовъ», тоже «есть любовь». Онъ живетъ въ адюльтерѣ съ женой одного своего товарища по службѣ. Дама эта, при страшномъ тоже физическомъ безобразіи, есть и въ другихъ отношеніяхъ подобная Нарѣзову энциклопедія мерзости. Г. Муравлинъ предъявляетъ читателю два свиданія этихъ нелюдей. Вотъ образчикъ ихъ бесѣды:

«— Какъ ты глупъ!—сказала она.—Что за чепуху говоришь! Ты, кажется, думаешь, что я сентиментальная барыня или влюблена въ тебя. Говоришь вздутыя фразы, подготовляешь меня.., Болванъ, болванъ, одно слово самый патентованный балванъ. Мнѣ, братъ, наплевать въ высокой степени. Никогда мы другъ друга не любили, никогда! Развѣ тебя можно любить! Развѣ меня можно любить! Смѣшно слышать! Я, братъ, не лицемѣрю и говорю, что думаю. Какъ у насъ началось, такъ и кончается, и никакого трагизма въ этомъ нѣтъ, а ты въ лирику хочешь пуститься...

«— Какую лирику! — Нарѣзовъ повелъ плечами.

«— Да, ты толкуешь о совѣсти, какъ будто у тебя есть совѣсть. Самъ ты первѣйшій подлецъ. Я это не со злости говорю, не подумай, а отъ чистаго сердца. Чего мы другъ въ другѣ искали? Поэзіи? Возвышенныхъ чувствъ? Отстань, пожалуйста! Сто разъ я тебѣ говорила, всѣ люди скоты, а коль я что говорю, такъ-же и думаю, а не фигурничаю, будь покоенъ».

Это отрывокъ изъ сцены разрыва, прощанія, и я, кажется, сдѣлалъ ошибку, приведя именно его, потому что жаргонъ и идея г-жи Жериковой (такъ зовутъ любовницу Нарѣзова) вы можете объяснить исключительностью момента и проистекающею изъ него раздражительностью. Но вотъ сцена изъ другого свиданія, мирнаго. Жерикова приходитъ въ гости къ Нарѣзову.

«— Немного рискованно,—замѣтилъ Клеоникъ (Нарѣзовъ),—могли тебя увидѣть при входѣ и могутъ увидѣть при выходѣ.

«— Ну, такъ что-же! пожала она плечами,—подумаешь, мы цвѣтущіе юноши, которыхъ нельзя увидѣть вмѣстѣ безъ подозрѣнія! Будь покоенъ, такихъ, какъ мы съ тобой, никогда ни въ чемъ подозрѣвать не будутъ.

Сказавъ это, она искренно улыбнулась.

«— Однако,—злобно замѣтилъ Нарѣзовъ.

«— Однако мы... и такъ далѣе! — перебила Зинаида Алексѣевна съ грубымъ хохотомъ,—ну такъ что-же? Всѣ люди скоты и мы за ними. Ты еще не думаешь ли за лирику взяться? Не похоже на тебя. Должно быть ты одурѣлъ отъ своихъ департаментскихъ занятій. Впрочемъ, ничего, оно къ тебѣ идетъ. Я очень люблю тебя злить и твой гнѣвъ меня мало пугаетъ».

Надо замѣтить, что госпожа Жерикова появляется въ романѣ только на этихъ двухъ свиданіяхъ съ Нарѣзовымъ. Затѣмъ, самыя эти свиданія ни малѣйшей роли въ развитіи ядра романа не играютъ; ничего бы не измѣнилось, если бы ихъ совсѣмъ не было, и ничто не уясняется ихъ наличностью.

Фигурируетъ еще въ романѣ г. Муравлина нѣкая Клавдія Николаевна, старая дѣва «лѣтъ пятидесяти девяти», выжившая изъ ума и оканчивающая настоящимъ сумасшествіемъ: она ходитъ на четвереолькахъ и лаетъ по собачьи: — «Амъ! амъ! амъ!» И опять таки фигура этой безумной совершенно лишняя, хотя проходитъ по всему роману. Единственное ея значеніе состоитъ въ томъ, что добродушно-пошлыя насмѣшки надъ нею одного изъ дѣйствующихъ лицъ, *между прочимъ*, отталкиваютъ отъ него другое дѣйствующее лицо.

Произведеніе г. Муравлина оканчивается очень эффектно и патетически:

«На дворѣ было темно, какъ въ могилѣ, а дождь сгущалъ темноту. Онъ сердито колотилъ мокрую землю, наполняя воздухъ безпрерывнымъ шипѣньемъ. Отъ горизонта до горизонта стлался непроглядный мракъ, изрѣдка поддающійся молніямъ, нагоняя страхъ. Громъ злобно раскатывался по небу, точно всезаглушающій возгласъ невидимаго Существа, разгнѣваннаго на людей. Клавдія лаяла: «амъ! амъ! амъ!»

Но на кого же и за что гнѣвается невидимое Существо? Не на безумную же, жалкую, скотоподобную, но невмѣняемую Клавдію и не на того «ужасно смѣшного идіота», которому нуженъ двугривенный, потому что у него «любовь есть». На такихъ несчаст-

ныхъ субъектовъ не гнѣваются. И не на чудовищную любовь двухъ уродовъ—Нарѣзова и Жериковой. Пусть эта связь отвратительна, какъ взаимныя отношенія какихънибудь гадовъ, самца и самки, копошащихся въ болотной тинѣ, или пауковъ, пожирающихъ другъ друга чуть не въ кульминаціонный моментъ страсти. Но съ чего же за это гнѣваться на «людей»? Это не люди, а экземпляры; ихъ мѣсто, повторяю, въ кунсткамерѣ; никакому обобщенію ихъ безобразіе не подлежитъ, въ нихъ нѣтъ ничего типическаго, родового, и вполнѣ вѣроятно, что они, по крайней мѣрѣ въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ, просто выдуманы господиномъ авторомъ, и выдуманы нехорошо, потому что каррикатурно-преувеличенно. Но пусть они даже фотографически вѣрно списаны съ дѣйствительности. Чтожъ изъ этого слѣдуетъ? Неужели былъ бы разуменъ и справедливъ человѣкъ, который, увидавъ точный фотографическій портретъ «двухголоваго соловья» или другого физическаго урода, возопилъ-бы о безобразіи «людей» съ эстетической точки зрѣнія? Такъ и съ нравственными уродами. Изъ за нихъ гнѣваться на людей, такъ просмотришь и то, за что на людей дѣйствительно гнѣваться стоитъ. Есть такое, достойное гнѣва, и въ «Мракѣ» г. Муравлина, но оно выступило бы гораздо ярче и рельефнѣе, еслибы авторъ оставилъ въ сторонѣ героевъ кунсткамеры и музея рѣдкостей, этихъ, всѣмъ обдѣленныхъ пасынковъ природы, которые могли быть и были во всѣ времена, во всѣхъ странахъ, и которые частью уже тѣмъ самымъ оправданы, что они пасынки. Замѣтимъ однако, что Нарѣзовъ самъ по себѣ, помимо эпизода съ Жериковой, фигура преувеличенная, но въ романѣ не лишняя.

А романъ состоитъ вотъ въ чемъ.

Іоасафъ Николаевичъ Варжинъ—важный чиновникъ, статскій генералъ и вдобавокъ богачъ. У него есть молодая жена, Александра Дмитріевна, дамочка пріятная рѣшительно во всѣхъ отношеніяхъ: собой красива, добра, добродѣтельна, не глупа, любитъ и уважаетъ мужа, даже нѣсколько преувеличивая его достоинства. Достоинствъ этихъ не много и, собственно говоря, всѣ они сводятся къ нѣкоторому добродушію, качеству, не особенно цѣнному въ человѣкѣ, которому и не съ чего быть не добродушнымъ, который можетъ быть и родился то въ сорочкѣ и во всякомъ случаѣ проходитъ свой жизненный путь при самыхъ многоразличныхъ удобствахъ. Около Александры Дмитріевны авторъ размѣщаетъ трехъ поклонниковъ: двухъ молодыхъ чиновниковъ, служащихъ подъ начальствомъ ея мужа, а именно вышеупомянутаго урода Нарѣзова и нѣкоего Раховскаго, да еще ея кузена, студента Зяблова. Никого изъ нихъ, однако, Александра Дмитріевна не любитъ, даже долго не замѣчаетъ ихъ поклоненія и ухаживаній. Она, вообще, чувства любви не знаетъ и мужа собственно не любитъ и никогда не любила, а только чрезвычайно уважаетъ его, какъ умнаго, дѣльнаго, хорошаго человѣка. Притомъ же она «честная женщина» и очень гордится этимъ. Мало по малу, однако, въ этомъ тихомъ болотѣ заводятся черти и дѣло кончается тѣмъ, что Александра Дмитріевна становитси любовницей Раховскаго, предварительно сдѣлавъ попытку отравить мужа, попытку, оканчивающуюся комически-благополучно, ибо вмѣсто мышьяку, она подноситъ мужу сахару.

Таковъ скелетъ романа. Что касается плоти и крови, облекающихъ этотъ скелетъ, и въ особенности того духа, который вложенъ въ него авторомъ, то я назвалъ бы г. Муравлина художникомъ погребной психологіи. Производу «погребной» отъ погреба, отъ того мрачнаго, запертаго, непровѣтриваемаго помѣщенія, куда не проникаютъ ни солнечные лучи, ни струи свѣжаго воздуха, гдѣ полъ, потолокъ, стѣны, углы покрыты плѣсенью и затянуты паутиной, гдѣ во всѣхъ направленіяхъ ползаютъ, добываютъ себѣ пищу, посягаютъ, плодятся и множатся разныя безобразныя твари съ атрофированными зрительными и дыхательными органами. Погребная психологія—спеціальность г. Муравлина, какъ видно не только изъ «Мрака», но и изъ другихъ его произведеній. И какъ часто случается съ спеціальностями, въ погребной психологіи заключается и сила, и слабость нашего автора. Сила спеціалиста состоитъ въ точномъ изученіи своего спеціальнаго предмета, а слабость обыкновенно въ томъ страстномъ отношеніи къ этому предмету, которое заставляетъ его смотрѣть на весь божій міръ подъ угломъ зрѣнія своей спеціальности и въ стремленіи расширить ея компетенцію далеко за законные предѣлы. Такъ и г. Муравлинъ. Изображаемый имъ міръ погребной психологіи онъ видимо внимательно изучилъ и знаетъ. Но дѣло его въ значительной степени портится страстнымъ отношеніемъ спеціалиста къ своей спеціальности. Во-первыхъ, онъ такъ торопится повѣдать міру изслѣдуемыя имъ тайны погреба, что пишетъ романы чисто въ родѣ, какъ блины печетъ, и это натурально отзывается на нихъ скороспѣлостью и недодѣланностью. Во-вторыхъ, въ своемъ стремленіи расширить предѣлы погребной психологіи, онъ, на ряду съ типичными людьми и отношеніями, ставитъ не имѣющіе никакой цѣны и, можетъ быть, просто выдуманные экземпляры, курьезы,

уники, въ родѣ шута-идіота, Клавдіи или любви двухъ чудовищъ. Въ-третьихъ, наоборотъ, то же стремленіе къ расширенію предѣловъ компетенціи своей спеціальности приводитъ его къ неправильнымъ обобщеніямъ, возможнымъ только при спеціальной узкости точки зрѣнія.

Въ томъ погребѣ, куда насъ вводитъ «Мракъ» г. Муравлина, нѣтъ никакого живого человѣческаго дѣла, нѣтъ ни одного дѣльнаго чувства, ни единой сколько-нибудь продолженной здравой мысли. Все скомкано, изломано, сдѣлано. Психологическій интересъ романа вертится около того, что Александра Дмитріевна Варжина, или Саша, какъ ее зовутъ близкіе люди, и будемъ звать для краткости мы,—«честная женщина». И вотъ какіе радіусы идутъ къ этому центру.

Максъ Зябловъ, кузенъ Саши, добрый и пустой мальчикъ, бредящій оперой, играющій роль шута и ровно ничего не дѣлающій, любитъ кузину. Такъ онъ говоритъ и ей, и другимъ, и самому себѣ. Но на бѣду она «честная женщина»... Однако, для Макса Зяблова, въ сущности, нѣтъ ничего огорчительнаго въ этомъ обстоятельствѣ, никакой бѣды. Напротивъ, Максъ оказался бы въ очень затруднительномъ положеніи, еслибы было иначе, потому что онъ вовсе не любитъ кузину обыкновеннымъ человѣческимъ образомъ. Его переполненный оперой умъ занятъ поэтической, оперной обстановкой любви. Ему хочется, то какъ Зибелю бѣгать около цвѣточныхъ клумбъ и пѣть: «разскажите вы ей, цвѣты мои»; то ему пріятно думать, что онъ, какъ герой другой оперы, мрачно страдаетъ вслѣдствіе отверженной любви и проч. Поэтому объяснившись въ любви и получивъ въ отвѣтъ добродушно насмѣшливый хохотъ, онъ занимаетъ у пламенно любимой кузины десять цѣлковыхъ и бѣжитъ за уличной веселой дамой, напѣвая изъ Фауста: «позвольте предложить, прелестная дѣвица». Объяснившись съ такимъ же успѣхомъ вторично, Максъ отправляется къ прачкѣ Акулинѣ, стараясь и ее втиснуть въ рамки какой-нибудь оперы.

Нарѣзовъ, обиженный природой и людьми или, по крайней мѣрѣ, г. Муравлинымъ, Нарѣзовъ тоже любитъ Сашу. Но это любовь тяжелая, мрачная, почти злобная и притомъ не мѣшающая ему обворовывать Варжиныхъ, въ качествѣ управляющаго ихъ имѣніемъ. Нарѣзовъ, подобно своей достойной дамѣ сердца Жериковой, твердо вѣритъ и исповѣдуетъ, что всѣ люди скоты, онъ это по себѣ знаетъ и отлично въ этомъ самому себѣ сознается. Но Саша почему-то составляетъ для него исключеніе,—она «честная женщина». Казалось бы, объ сознаніе этого факта должны были разбиться всѣ надежды и поползновенія Нарѣзова. Совершенно наоборотъ. Именно потому, что Саша честная женщина, а не кокотка и не «модная финтифлюшка», Нарѣзовъ надѣется, что она не побрезгуетъ и его отвратительной физіономіей и отдастся ему. . Любовь его началась собственно съ зависти. Ему показалось, что Раховской слишкомъ заглядывается на Сашу, а Раховского, красиваго и удачливаго, онъ ненавидѣлъ за то, что онъ всегда, и въ школѣ, и по службѣ, становился ему поперегъ дороги и кололъ ему глаза своими успѣхами. Но скоро ему стало казаться, что Раховской не опасенъ, а опасенъ мужъ, Варжинъ, котораго, дескать, Саша любитъ. И вотъ онъ искуснымъ образомъ, все хваля Варжина, разъясняетъ Сашѣ, что генералъ вовсе не дѣловой человѣкъ, а, напротивъ, бездѣльникъ, выѣзжающій на чужихъ плечахъ; что онъ вовсе не остроуменъ, а пошлъ и жестокъ въ своихъ добродушныхъ насмѣшкахъ надъ юродивыми и другими несчастными; что онъ тщеславенъ, мелоченъ, глупъ... Саша принимаетъ все это къ свѣдѣнію и къ сердцу, но Нарѣзовъ работаетъ не на себя, а на Раховского

И Раховской любитъ Сашу. То есть, не то, что бы дѣйствительно любитъ, а такъ, порывами. Притомъ же онъ «смотрѣлъ на любовь съ утилитарной точки зрѣнія; она спасаетъ, наполняетъ жизнь: чувствуешь, по крайней мѣрѣ, что ни картъ, ни вина не нужно». «Утилитарность» его идетъ и дальше, потому что даже въ самые патетическіе моменты любви онъ помнитъ о шести тысячахъ, получаемыхъ имъ въ качествѣ личнаго секретаря Варжина. Однако, Саша ему всетаки нравится, очень нравится, какъ ни нравилась до сихъ поръ ни одна женщина. Но вотъ бѣда: Саша «честная женщина»...

Да, она честная женщина и ясно сознаетъ это и часто съ гордостью останавливается на этой мысли. Раховского она держала въ почтительномъ, хотя и дружескомъ отдаленіи. И все бы шло превосходно, еслибы не одинъ маленькій случай. Отправилась она разъ съ Раховскимъ и сумасшедшей Клавдіей на балаганы. Тамъ Раховской, охраняя ее отъ натиска толпы, прижалъ ее къ себѣ. И вотъ это-то «прижатіе» и порѣшило все дѣло; съ тѣхъ поръ Саша какъ съ горы покатилась и докатилась до Геркулесовыхъ столбовъ погребной психологіи. Тутъ подоспѣли разоблаченія Нарѣзова насчетъ пошлости и глупости мужа. Потомъ переѣздъ на лѣто въ деревню, прогулка въ паркѣ, разговоры, поцѣлуи... Но Саша не сдѣлается любовницей Раховского при жизни мужа,—она всетаки «честная женщина». Можно бы было бѣжать, но этотъ планъ отвергается по «утилитарнымъ» соображеніямъ. А вотъ

что можетъ сдѣлать «честная женщина»: убить, отравить мужа и потомъ уже съ чистою совѣстью отдаться счастью и упиться имъ. Къ счастью генерала Варжина, Раховской, которому Саша уже нѣсколько надоѣла своею, какъ онъ справедливо выражался, «искалѣченной добродѣтелью» и который вовсе не хочетъ играть роль въ трагедіи, могущей окончиться каторжной работой, даетъ ей, вмѣсто мышьяку, сахару. Саша исполняетъ свой замыслъ честной женщины, но какъ же она потомъ радуется, когда узнаетъ, что любимый человѣкъ обманулъ ее, что она не совершила преступленія! Ну, а съ радости и становится любовницей Раховского... Тутъ то «невидимое Существо» и мечетъ громы, сумасшедшая Клавдія лаетъ, а трепещущая отъ счастья Саша размышляетъ: «глупо быть честной одной, среди нечестныхъ людей».

Въ моемъ бѣгломъ пересказѣ все это выходитъ, разумѣется, блѣдно, неполно, обрывочно, произвольно. Но перечтите самого г. Муравлина и вы увидите, что это жизненно, связано, правдиво, что такъ и должны идти дѣла въ погребѣ. Однако, именно только въ погребѣ, гдѣ нѣтъ ни солнца, ни воздуха, а есть плѣсень, сырость и паутина. Сашѣ можно бы было сказать: бѣдная вы, бѣдная, хотя и рѣшительно во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дамочка! Половину своего романа вы продѣлали въ Петербургѣ и тамъ никого и ничего, кромѣ театральной залы и департаментскихъ чиновниковъ, не видали; уѣхали въ деревню, и ни одного, но буквально ни одного даже мужика г. Муравлинъ вамъ не показалъ, а ужъ, кажется, чего-чего, а мужика въ деревнѣ довольно и чтобы онъ не попался на глаза, для этого надо намѣренно избѣгать его; вашъ любовникъ Раховской, отъ котораго вы отстранили своей красотой опасности картъ и вина, ни одного слова не сказалъ, да и не могъ сказать вамъ объ томъ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ, за воротами вашего дома и за заборомъ вашего парка; не сказалъ и не могъ сказать, потому что самъ проживаетъ въ томъ же погребѣ, онъ вѣдь васъ только «прижалъ». И какъ же, значитъ, скороспѣло ваше обобщеніе: «глупо быть честной одной, среди нечестныхъ людей»! Пожалуйте на вольный воздухъ, себя показать и людей посмотрѣть, Не только свѣта, что въ окошкѣ, есть солнце на небѣ. Заинтересуйтесь хоть чѣмъ нибудь, кругомъ люди живутъ,—живутъ и думаютъ, и чувствуютъ, и страдаютъ, и умираютъ, и любятъ, и радуются...

Мнѣ кажется, что эту примѣрную кратную рѣчь не мѣшало бы принять къ свѣдѣнію и самому г. Муравлину...

Надо, однако, правду сказать, что изображенный г. Муравлинымъ погребъ не составляетъ исключенія въ наше невеселое время. За отсутствіемъ какого бы то ни было большого общаго дѣла или интереса, погреба образуются въ разныхъ мѣстахъ нашего обширнаго отечества и въ разныхъ слояхъ нашего несчастнаго общества. Многія темныя дѣла, многія страницы уголовной лѣтописи иначе и объяснить нельзя, какъ законами погребной психологіи. Представьте же теперь себѣ, что въ такой погребъ спускается проповѣдникъ со свѣтильникомъ въ рукахъ и съ наставленіемъ любить ближняго на устахъ. Населеніе погреба, отвыкшее отъ свѣта, частію замечется въ негодованіи на причиняемое ему безпокойство, но частію обрадуется, хотя бы даже только по «утилитарнымъ» соображеніямъ à la Раховской: если любовь къ женщинѣ спасаетъ отъ картъ, вина и скуки, то любовь къ ближнему тоже вѣдь отъ чего нибудь спасти можетъ. Но какой же въ погребѣ ближній? гдѣ они? Трудно любить атрофированному въ погребной атмосферѣ сердцу... И вотъ, проповѣдникъ, видя эту трудность, можетъ быть, на самомъ себѣ и частью, отдаленнымъ образомъ, испытывая, зоветъ на помощь тотъ или другой авторитетъ: такой-то, дескать, велитъ любить! Понятное дѣло, что изъ этого ничего, кромѣ копошенья на мѣстѣ, выдти не можетъ, а надо прежде всего людей изъ погребовъ вывести, заинтересовать ихъ тѣмъ, что на бѣломъ свѣтѣ дѣлается. Тѣ изъ проповѣдниковъ, которые этимъ занимаются, дѣлаютъ благое дѣло, ибо, если мы еще нѣкоторое время въ погребахъ проживемъ, то надѣлаемъ по истинѣ страшныхъ дѣлъ, и все безъ цѣли, безъ смысла, даже безъ наслажденія, а единственно по неизвѣданнымъ доселѣ стихійнымъ законамъ погребной психологіи...

III.

Нѣчто о морали.—О гр. Л. Н. Толстомъ *).

Въ вышедшей недавно вторымъ изданіемъ книгѣ покойнаго Кавелина «Задачи этики» находятся, между прочимъ, нѣкоторыя странныя мысли, облеченныя однако въ такую форму, что не всякій сразу замѣтитъ ихъ странность и неправильность.

Въ самомъ началѣ книги, во вступленіи, читаемъ:

«Лѣтъ двадцать—тридцать тому назадъ объ этикѣ и нравственной личности, каза-

*) 1886 г., май.

лось, совсѣмъ забыли; теперь интересъ къ нимъ недуманно-негаданно вдругъ возникъ снова, точно выросъ изъ подъ земли.. Въ европейской литературѣ вопросъ нравственности снова поднятъ, поставленъ на очередь и тщательно разрабатывается, какъ предметъ теоретическаго изслѣдованія и научнаго интереса; у насъ же онъ вызванъ практическими соображеніями, злобою дня и, можно сказать безъ преувеличенія, живо затрогиваетъ всѣхъ и каждаго, отъ палатъ до крестьянской избы, отъ безбородыхъ юношей до старцевъ,—всякаго, разумѣется, по своему, съ свойственной ему точки зрѣнія и въ границахъ его знаній и пониманія. Отчего такая разница—объяснить не трудно. Въ Европѣ условія общественной жизни—мы не говоримъ, хороша она или дурна—выработаны и опредѣлены до малѣйшихъ подробностей и самымъ точнымъ образомъ очерчиваютъ кругъ дѣятельности каждаго; никто не можетъ безнаказанно изъ него выступать. Твердый, ясный и строгій законъ, поддержанный превосходною администраціей, судами, сословіемъ ученыхъ юристовъ и вполнѣ сложившимися нравами общества, ставитъ точныя границы дѣятельности всѣхъ и каждаго, стягиваетъ все общество, если можно такъ выразиться, желѣзнымъ обручемъ, который всякому даетъ надежную точку опоры и обращаетъ сожительство людей въ единый, сочлененный и стройный механизмъ, дѣйствующій съ точностью заведенныхъ часовъ. Въ средѣ, организованной такимъ образомъ, между людьми, выдрессированными подобными образцовыми общественными порядками, практическая потребность въ личной нравственности естественно должна чувствоваться слабѣе, и вопросы этики могутъ интересовать только какъ предметъ любознательности или научнаго знанія и теоріи... Иначе стоитъ дѣло у насъ. Выработкой и совершенствомъ общественныхъ формъ мы не можемъ похвалиться. Люди, не находя прочнаго устоя въ объективныхъ условіяхъ общественнаго быта, естественно ищутъ его въ индивидуальныхъ нравственныхъ качествахъ. Чѣмъ болѣе у насъ развивается индивидуализмъ, тѣмъ, при нашей обстановкѣ, потребность въ нравственныхъ идеалахъ должна чувствоваться сильнѣе; она дѣйствительно растетъ и высказывается во всѣхъ слояхъ русскаго общества».

Едва ли все это справедливо. Фактически невѣрно, что двадцать—тридцать лѣтъ тому назадъ объ этикѣ совсѣмъ забыли. Достаточно вспомнить, что какъ разъ около этого времени прогремѣлъ дарвинизмъ, немедленно отразившійся, между прочимъ, и въ области этики, придавъ новую опору для извѣстной точки зрѣнія на вопросъ о происхожденія нравственности и своеобразно окрасивъ и ожививъ гаснувшій къ тому времени утилитаризмъ. Что касается въ частности Россіи, то это были приснопамятные шестидесятые годы, когда мысль объ освобожденіи крѣпостныхъ, давая толчекъ цѣлому ряду общественныхъ реформъ, въ то же время естественно должна была вызвать и дѣйствительно вызвала пристальный и страстный пересмотръ идеаловъ личной нравственности. Мало того, къ концу шестидесятыхъ годовъ въ извѣстной части русскаго общества, притомъ свѣжей и молодой части, чашка вѣсовъ, на которой лежали вопросы личной нравственности, несообразно съ истиной и справедливостью перевѣсила ту, на которой находились вопросы общественные. Я не назову этого момента русскаго развитія сномъ фараона, въ которомъ тощія коровы пожрали тучныхъ, потому что не могу признать образъ тощей коровы подходящимъ для иллюстраціи вопросовъ личной нравственности. Но во всякомъ случаѣ нѣкоторое неправильное поглощеніе этими вопросами вопросовъ общественныхъ было, и «кающійся дворянинъ» слишкомъ часто замыкался въ сферу личныхъ нравственныхъ идеаловъ, оторванныхъ отъ исторической и общественной почвы. Именно объ этомъ времени можно бы было дѣйствительно безъ преувеличенія сказать, что вопросъ о нравственности интересовалъ всѣхъ и каждаго «отъ палатъ до крестьянской избы, отъ безбородыхъ юношей до старцевъ». Да иначе и быть не могло, хотя, конечно, и можно, и должно бы было избѣжать неравновѣсія чашекъ вѣсовъ. Когда «порвалась цѣпь великая, порвалась—разскочилася: однимъ концомъ по барину, другимъ по мужику»;—тогда естественно было призадуматься: какъ же мнѣ теперь жить? А такъ какъ моментъ это былъ хорошій, моментъ хорошаго возбужденія, благороднаго, хотя и нѣсколько преждевременнаго ликованія и покаянія въ застарѣломъ историческомъ грѣхѣ, то вопросъ—какъ жить—не могъ имѣть и не имѣлъ исключительно хозяйственнаго значенія.

Далѣе, фактически невѣрно уподобленіе европейскихъ общественныхъ порядковъ механизму заведенныхъ часовъ.

Не часы бьютъ теперь хоть бы въ Ирландіи...

Наконецъ, фактически невѣрно утвержденіе, будто нравственные вопросы волнуютъ и занимаютъ теперь у насъ «всѣхъ и каждаго, отъ палатъ до крестьянской избы, отъ безбородыхъ юношей до старцевъ». Мы знаемъ, что графъ Л. Н. Толстой нѣкоторыми своими сочиненіями, съ трудомъ и

урѣзками проникающими въ печать или вовсе туда не проникающими, возбудилъ въ извѣстной части общества интересъ къ вопросамъ морали. Но, во-первыхъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ слышимъ постоянныя сожалѣнія о томъ, что гр. Толстой увлекся въ эту сторону и лишилъ общество своей несравненно болѣе цѣнной художественной дѣятельности. Во-вторыхъ, часть душъ, волнуемыхъ Толстымъ, черпаетъ въ его поученіяхъ собственно не правила личной морали, а критику общественныхъ условій. Въ третьихъ, какъ-бы ни былъ великъ кругъ лицъ, захваченныхъ этимъ теченіемъ или волненіемъ, онъ, во всякомъ случаѣ, представляетъ собою каплю въ морѣ русской жизни отъ палатъ до крестьянской избы. Посмотрѣвъ любую газету за недѣлю, за двѣ, всякій убѣдится, что отнюдь не духъ морали летаетъ надъ нашей грѣшною землей и что не вопросы личной нравственности составляютъ нашу «злобу дня». Мы слышимъ въ печати вопли людей, злобствующихъ на всѣхъ и на все и стремящихся замѣнить всякій идеалъ, личный или общественный, полицейскимъ свидѣтельствомъ. Видимъ усилія другихъ людей, пробующихъ отстоять нѣкоторыя, законно существующія общественныя учрежденія и съ этой странной позиціи напомнить, что не о единомъ паспортѣ живъ бываетъ человѣкъ. Читаемъ мы затѣмъ корреспонденціи изъ провинціи, судебныя хроники, дневники столичныхъ происшествій, видимъ, какъ пронесется вдругъ волна восторженнаго интереса къ Рубинштейну, или къ мейнингенской труппѣ, или къ опытамъ Бишопа и Фельдмана, проскользнетъ пожалуй фельетонъ о проповѣди гр. Толстого или объ его личности, о томъ, напримѣръ, какъ онъ сапоги шьетъ. Гдѣ же при всемъ этомъ этическіе вопросы, какъ «злоба дня», какъ нѣчто, «живо затрогивающее всѣхъ и каждаго?»

Возможно и даже очень вѣроятно, что въ разныхъ уголкахъ Россіи есть свои маленькіе Толстые. Пусть ихъ даже очень много (хотя ихъ навѣрное немного), но въ иную темную ночь свѣтляковъ бываетъ много, а ночь всетаки остается ночью, и свѣтоносные аппараты бѣдныхъ Ивановыхъ червячковъ не разгоняютъ тьмы. Единственное *дѣло*, состоящее въ нѣкоторой (отнюдь впрочемъ не логически неизбѣжной) связи съ проповѣдью гр. Толстого, есть изданіе книжекъ для народа фирмою «Посредникъ». Дѣло, что и говорить, хорошее, но одна ласточка весны не дѣлаетъ. А затѣмъ и въ литературѣ, то есть въ области словъ, мы не видимъ особеннаго обилія или особенно горячихъ «затрогивающихъ» книгъ, статей по вопросамъ этическимъ.

Тезисъ Кавелина, такъ рѣзко противорѣчащій дѣйствительному положенію вещей, получаетъ особенный интересъ въ связи съ другимъ его тезисомъ—будто въ Европѣ вопросы этики «могутъ интересовать только какъ предметъ любознательности или научнаго знанія и теоріи», и будто такъ оно и есть на самомъ дѣлѣ, будто «въ европейской литературѣ вопросъ о нравственности снова поднятъ и тщательно разрабатывается, какъ предметъ теоретическаго изслѣдованія и научнаго интереса». А у насъ, дескать, это, наоборотъ, живое практическое дѣло, злоба дня.

Противопоставленіе Европы и Россіи далеко не новость въ нашей литературѣ. Зерно истины, заключающееся въ этихъ противопоставленіяхъ, чрезвычайно просто и удобопонятно. Россія выступила на историческую арену много позже, чѣмъ западная Европа, и потому можетъ, а слѣдовательно и должна воспользоваться тѣмъ готовымъ многовѣковымъ опытомъ, который продѣлала Европа. Это такъ-же просто, естественно, наконецъ обязательно, какъ просто, естественно и обязательно, напримѣръ, путешественнику воспользоваться записками или воспоминаніями тѣхъ, кто раньше его бывалъ въ странѣ, куда лежитъ его путь. Мы находимся въ этомъ отношеніи въ положеніи чрезвычайно выгодномъ. Для насъ по крайней мѣрѣ логически возможно, позаимствовавъ у европейской цивилизаціи все хорошее, въ то же время избѣжать тѣхъ крупныхъ и трудно поправимыхъ ошибокъ, которыя пришлось сдѣлать на своемъ историческомъ пути старой Европѣ. Хотя, однако, такое свободное отношеніе къ европейской и русской жизни теоретически чрезвычайно просто, но на дѣлѣ оно оказывается далеко не столь легко достижимымъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ та огромная литература полемики между славянофилами и западниками, которая даже до сихъ поръ, когда, кажется, самыя эти клички давнымъ давно должны быть сданы въ архивъ, все еще находитъ иногда новыхъ представителей.

Надо отдать справедливость Кавелину: онъ всегда, по крайней мѣрѣ, старался стать на такую точку зрѣнія, съ высоты которой мысль могла-бы свободно и широко обнять европейскія и русскія дѣла. Тѣмъ не менѣе въ вышеприведенномъ его противопоставленіи Европы и Россіи непріятно звучитъ не вѣрная нота. Это, конечно, не бахвальство невѣжества, кричащаго, на погибель своей родины, что мы всѣхъ шапками закидаемъ,—для этого Кавелинъ слишкомъ хорошо зналъ цѣну тѣхъ безспорныхъ благъ европейской цивилизаціи, которыхъ намъ не хватаетъ. Это и не узкость догматическаго фанатизма,—

для этого Кавелинъ былъ просто слишкомъ просвѣщенный человѣкъ и слишкомъ критическій умъ. Это, вѣрнѣе всего, самообманъ искренняго человѣка, искренняго патріота, сказалъ бы я, если-бы это многосмысленное слово не было у насъ такъ захватано нечистыми руками. Бумага все терпитъ и написать на ней можно что угодно. Но дѣйствительно убѣдить кого нибудь въ томъ, что для насъ этика живое дѣло, а для европейцевъ лишь дѣло одного теоретическаго интереса, можно только въ томъ случаѣ, если этотъ кто-нибудь самъ очень хочетъ убѣдиться. Такъ, очевидно, было и съ самимъ Кавелинымъ: онъ убѣдился только потому, что хотѣлъ убѣдиться. Удрученный многими печальными сторонами русской жизни, онъ хватался за утѣшительную мысль, что эти печальныя стороны всетаки гарантируютъ намъ нѣчто хорошее. Пусть,—разсуждаетъ онъ,—«мы не можемъ похвалиться выработкой и совершенствомъ общественныхъ формъ», но, благодаря вытекающимъ отсюда изъянамъ, «люди, не находя прочнаго устоя въ объективныхъ условіяхъ общественнаго быта, естественно ищутъ его въ индивидуальныхъ нравственныхъ качествахъ».

Одна изъ статей гр. Л. Н. Толстого, напечатанныхъ въ двѣнадцатомъ томѣ его сочиненій, кончается такъ: «Пускай механики придумываютъ машину, какъ приподнять тяжесть, давящую насъ—это хорошее дѣло; но пока они не выдумали, давайте мы по дурацки, по мужицки, по крестьянски, по христіански налягнемъ народомъ, не поднимемъ-ли. Дружнѣй, братцы, разомъ»! Этотъ призывъ относится къ нѣкоторымъ планамъ гр. Толстого, вызваннымъ московскою переписью. Призывъ, увы! не привелъ ни къ какому результату. Но дѣло теперь не въ этомъ. Гр. Толстой, повидимому, относится съ полнымъ уваженіемъ къ «механикамъ, придумывающимъ машину», но для него лично и подъ его перомъ выходитъ гораздо симпатичнѣе тотъ образъ дѣйствій, который онъ характеризуетъ ласково ругательными словами «по дурацки, по мужицки». Это довольно обыкновенный пріемъ чисто формальнаго якобы униженія, изъ подъ котораго сквозитъ вящшее возвеличеніе. Такъ и у Кавелина. Воздавая должное Европѣ и европейскимъ порядкамъ, онъ въ то же время такъ характеризуетъ наши изъяны, что мы выходимъ много великолѣпнѣе европейцевъ. Въ самомъ дѣлѣ, мораль можно изучать на ряду съ другими предметами теоретическаго изслѣдованія, каковы «и гадъ морскихъ подводный ходъ, и дольней лозы прозябанье» и проч. и проч.; можно и практиковать ее. Эти два отношенія къ морали нисколько не мѣшаютъ другъ другу и могутъ отлично уживаться рядомъ. Но если ужъ нужно почему нибудь разрывать ихъ и цѣнить каждое въ отдѣльности, то, конечно, по самому существу задачи, практической по преимуществу, мораль, какъ живое дѣло, выше, привлекательнѣе морали, какъ теоретическаго изслѣдованія или «предмета любознательности». И, значитъ, мы превосходнѣе европейцевъ... Я вполнѣ понимаю и высоко цѣню психическій мотивъ, который привелъ Кавелина къ такому самообману, прикрытому вуалью логическаго разсужденія, но это всетаки самообманъ. Любя свою родину и вѣря въ ея будущность, такъ естественно не останавливаться на созерцаніи ея язвъ и на печали объ этихъ язвахъ, а искать въ ней и свѣтлыхъ сторонъ, искать ихъ даже въ самыхъ этихъ язвахъ. Это не только естественно, какъ естественно утопающему хвататься за соломенку или умирающему даже за самую несбыточную надежду на выздоровленіе и долгую, счастливую жизнь. Нѣтъ, какъ бы ни были велики наши скорби и изъяны, но мы во всякомъ случаѣ не утопающіе и не умирающіе. Мало того, какъ замѣчено выше, мы можемъ, благодаря особенностямъ нашей исторіи, воспользоваться европейскимъ опытомъ и, синтезируя блага, еще нами не утраченныя, съ благами, выработанными Европой, предъявить міру нѣчто высокое. Мы *можемъ* это сдѣлать, но для этого надо работать, дѣйствовать, а не сидѣть у моря и ждать погоды въ разсчетѣ на такую или иную нашу красоту. Понятно поэтому, что, ища свѣтлыхъ сторонъ въ томъ смѣшеніи добра и зла, которое составляетъ нашу жизнь, мы должны быть очень строги къ себѣ; строги и правдивы...

Кавелинъ сдѣлалъ неправильное обобщеніе. Доказывать это мудрено, хотя бы потому, что утвержденіе самого Кавелина совершенно голословно: вопросы этики, онъ говоритъ, интересуютъ у насъ всѣхъ и каждаго, какъ живое практическое дѣло, а европейцы — тѣ только любознательны; и баста! Я предложу вамъ сравнить, по отношенію къ этому обобщенію, двѣ книги—русскую и европейскую. Русской книгой пусть будутъ «Задачи этики» того-же Кавелина, причемъ однако я вовсе не беру на себя разборъ книги, я только отмѣчу нѣкоторыя черты ея. Относительно европейской книги надо тоже оговориться. Она собственно не европейскаго, а американскаго происхожденія, хотя пользоваться ею я буду въ нѣмецкомъ переводѣ; но европейская и американская цивилизаціи едино суть. Это книга Сальтера—Die Religion der Moral (vom Verfasser genehmigte Uebersetzung

von Georg von Gizycky, Leipzig - Berlin 1885).

Разумѣется, мы воздержимся отъ чрезмѣрнаго обобщенія результатовъ, къ какимъ приведетъ насъ маленькая параллель между Кавелинымъ и Сальтеромъ, но увидимъ, по крайней мѣрѣ, въ чемъ состоитъ разница между моралью, какъ живымъ, практическимъ дѣломъ, и моралью, какъ предметомъ любознательности. Однако Кавелинъ и Сальтеръ выбраны нами не совсѣмъ случайно, это не первые попавшіеся подъ руку писатели по этикѣ. Кавелинъ любопытенъ для насъ въ данномъ случаѣ тѣмъ, что именно онъ такъ рѣшительно ставитъ тезисъ о разницѣ между русскимъ и европейскимъ отношеніемъ къ вопросамъ морали. Сальтеръ интересенъ въ другомъ отношеніи. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Нью-Іоркѣ образовалось «общество для нравственной культуры» (Society for Ethical Culture), имѣвшее значительный успѣхъ. По прошествіи нѣкотораго времени открылось отдѣленіе этого общества въ Чикаго, однимъ изъ членовъ котораго и состоитъ Сальтеръ. Подробности объ этомъ движеніи можно найти въ книгѣ L'évolution religieuse contemporaine chez les anglais, les américains et les hindous, par le comte Goblet d'Alviella, а съ принципами общества мы отчасти познакомимся ниже. Такимъ образомъ книга Сальтера не есть одиночное, исключительное явленіе, и авторъ есть не болѣе, какъ одинъ изъ цѣлаго ряда единомыслящихъ дѣятелей.

Почти въ любомъ трактатѣ по предмету этики можно найти болѣе или менѣе пространныя разсужденія о свободѣ воли. Есть они и въ «Задачахъ этики» Кавелина. Ихъ нельзя назвать удачными и разрѣшающими вопросъ, хотя Кавелинъ и думаетъ, что онъ «устранилъ спекуляціи отвлеченной логики», и что его соображенія на этотъ счетъ «пополняютъ нѣкоторые существенные пробѣлы въ современномъ научномъ міросозерцаніи». Для нашей ближайшей цѣли нѣтъ впрочемъ никакой надобности входить въ оцѣнку мыслей Кавелина. Съ насъ достаточно отмѣтить, что онъ посвящаетъ цѣлую главу разсужденіямъ о знаменитой антиноміи свободы воли и необходимости. Въ книгѣ Сальтера напротивъ того мы найдемъ всего нѣсколько строкъ по этому теоретическому вопросу. А именно, говоря о томъ, что нравственнымъ поступкомъ, то есть подлежащимъ нравственному суду, можетъ быть только поступокъ свободный. Сальтеръ замѣчаетъ: «понятно, что я употребляю слово «свобода» не въ какомъ нибудь спорномъ, метафизическомъ смыслѣ, а только въ томъ, въ какомъ мы всѣ ежедневно его употребляемъ: свобода отъ внѣшняго давленія». Эту оговорку нашъ американецъ считаетъ совершенно достаточною для того, чтобы были устранены всякія возможныя недоразумѣнія. И въ самомъ дѣлѣ, вопросъ о свободѣ воли есть одинъ изъ коренныхъ вопросовъ философіи, психологіи и этики, и недаромъ объ немъ цѣлые вѣка препирались лучшіе умы. Но важенъ онъ главнымъ образомъ, какъ предметъ теоретическаго изслѣдованія, пожалуй, какъ предметъ любознательности, а для житейскаго обихода, для практическихъ «злобъ дня», пожалуй, дѣйствительно совершенно достаточно ссылки на общеупотребительный смыслъ слова: свобода. Горячій проповѣдникъ моральной истины или искатель ея, вообще человѣкъ злобы дня, *какъ практическій дѣятель*, не станетъ погружаться въ волны вѣковѣчныхъ дебатовъ о свободѣ воли и необходимости. (Я подчеркиваю слова «какъ практическій дѣятель», дабы напомнить, что, разсматривая отдѣльно мораль, какъ теорію, и мораль, какъ практику, я лишь слѣдую пріему Кавелина). Признавая свободу воли, вы проповѣдуете, положимъ, что человѣкъ долженъ возлюбить ближняго, какъ самого себя, и надѣетесь этою проповѣдью убѣдить людей распорядиться своею свободою именно въ этомъ направленіи. Отрицая свободу воли, вы можете проповѣдовать ту же самую моральную истину, въ разсчетѣ на то, что убѣдительность вашей проповѣди или вашего примѣра займетъ свое мѣсто въ цѣпи причинъ и слѣдствій, гнущихъ несвободную волю въ извѣстную сторону. Такимъ образомъ, ни содержаніе моральной истины, ни пріемы ея пропаганды не измѣняются оттого, что вы рѣшаете вопросъ о свободѣ воли на два противоположные манера. Безъ сомнѣнія, то или другое рѣшеніе этого вопроса можетъ повліять и на характеръ вашихъ нравственныхъ идеаловъ, но не непосредственно, а такъ, что войдя въ составъ вашего міросозерцанія вообще, такъ или иначе на него повліяетъ. И Сальтеръ, вѣроятно, имѣетъ на этотъ счетъ свое мнѣніе, имъ самимъ выработанное или примыкающее къ какому нибудь готовому рѣшенію, но, охваченный злобой дня, онъ торопится перешагнуть черезъ спорный теоретическій вопросъ. Такъ поступаетъ европеецъ (американецъ), который, по схемѣ Кавелина, долженъ былъ бы относиться къ этикѣ, какъ къ предмету теоретическаго интереса и любознательности. Наоборотъ, самъ Кавелинъ, долженствующій, въ качествѣ русскаго человѣка, «непосредственнѣе и ярче» искать «нравственнаго обновленія», не отказывается вложить свою лепту въ вопросъ о свободѣ воли и необходимости. Кажется, что въ этомъ случаѣ именно европейскій, а не русскій

человѣкъ поступаетъ, выражаясь словами гр. Толстого, «по дурацки, по мужицки»...

Весьма любопытно сравнить взгляды Кавелина и Сальтера на отношенія морали и религіи, и морали и права.

По Кавелину, цѣль религіи и морали одна и та же: «нравственное развитіе и совершенствованіе каждаго человѣка: но къ этой общей задачѣ вѣроученіе и этика идутъ совершенно различными путями». А именно: «съ точки зрѣнія религіи, ученіе нравственности есть систематическое изложеніе того, чему учитъ откровеніе, священныя преданія и ихъ святые истолкователи о нравственной жизни и нравственномъ совершенствованіи человѣка. Иными путями идетъ научная этика, составляющая особую отрасль знанія». Въ виду этого Кавелинъ всячески (хотя и безъ большого успѣха) старается разграничить области религіи и морали, отвести той и другой особое мѣсто, дабы онѣ не мѣшали другъ другу и не враждовали между собой. Сальтеръ исходитъ изъ совершенно противоположной точки зрѣнія и приходитъ къ противоположному результату. Для него не только нѣтъ надобности въ скрупулезномъ разграниченіи областей религіи и морали, но, какъ показываетъ, и характерное заглавіе его книги, религія и мораль связаны неразрывными узами. Правда, онъ употребляетъ слово «религія» въ не совсѣмъ обыкновенномъ смыслѣ. Ссылаясь на употребительныя, впрочемъ, выраженія «религіозная преданность идеѣ, отечеству, наукѣ» и т. п., —онъ говоритъ, что въ этомъ смыслѣ религія есть духовная нить, связывающая человѣка съ чѣмъ нибудь, выше, лучше, дороже чего для него нѣтъ. Онъ, Сальтеръ, и лично, и какъ представитель «общества нравственной культуры», признаетъ этимъ высшимъ, лучшимъ, дражайшимъ — нравственность, источникъ которой лежитъ въ человѣческой совѣсти.

На эту тему единенія религіи и морали Сальтеръ пишетъ краснорѣчивыя страницы, отъ которыхъ вѣетъ бодрымъ духомъ и мужественною вѣрою въ человѣческую совѣсть. Я не приведу этихъ блестящихъ страницъ. Пусть читатель повѣритъ мнѣ на слово, что въ нихъ несравненно больше живого, дѣйственнаго начала, чѣмъ въ пухлыхъ, фальшивыхъ, двусмысленныхъ разсужденіяхъ Кавелина о необходимости разграничить сферы религіи и морали.

Точно также старательно разграничивается Кавелинымъ право и мораль, идеалы общественные и личные. Оно говоритъ: »Этическая точка зрѣнія не знаетъ объективной стороны жизни и не заботится о ней; она касается исключительно только отношеній дѣйствующаго лица къ его собственной дѣятельности. Общественное и правовое положеніе въ этическомъ смыслѣ безразличны». «Безразличны, съ этической точки зрѣнія, общественные и политическіе порядки, составляющіе одно изъ внѣшнихъ, объективныхъ условій существованія индивидуальныхъ личностей. Оцѣнка этихъ порядковъ, ихъ измѣненіе и улучшеніе, входятъ въ кругъ объективной дѣятельности, происходятъ по объективнымъ идеаламъ и не имѣютъ никакого отношенія къ нравственности, которая одинаково уживается съ самыми противоположными гражданскими и политическими организаціями».

А вотъ какъ относится къ этому вопросу Сальтеръ: «Какой смыслъ въ выдѣленіи индивидуальной души изъ общества? Я спрашиваю, не всякая-ли мораль предполагаетъ общественныя отношенія? Возможно-ли какое-нибудь нравственное благо по отношенію къ единичному существу? Остановимся на минуту на значеніи нѣкоторыхъ, всѣми признанныхъ добродѣтелей. Что такое справедливость, какъ не извѣстный родъ отношеній человѣка къ человѣку? Что такое любовь, доброта, великодушіе, благородство, если нѣтъ предметовъ, на которые эти чувства направлены? Что такое правдивость, если нѣтъ никого, по отношенію къ которому мы можемъ быть правдивы? Что такое честность и вѣрность, какъ не идеальные типы соціальныхъ отношеній? О патріотизмѣ и духѣ товарищества нечего пожалуй и упоминать, до такой степени очевиденъ ихъ общественный характеръ. Говорятъ, правда, о личныхъ добродѣтеляхъ, но это еще вопросъ, насколько онѣ личныя. Такъ называютъ личнымъ нравственнымъ долгомъ цѣломудріе, но цѣломудріе есть не отрицаніе половыхъ отношеній, а чистота ихъ. Умѣренность есть личный долгъ, но за то умѣренность не есть цѣль, а лишь средство для достиженія цѣли, состоящей въ господствѣ въ насъ разумнаго и нравственнаго. Умѣренный человѣкъ есть человѣкъ по преимуществу могущій, благодаря своей умѣренности, занять надлежащее мѣсто въ человѣчествѣ. Я думаю, что всѣ наши обязанности, посредственно или непосредственно, имѣютъ соціальное значеніе. Когда мы одни,—въ кабинетѣ, въ больницѣ, въ отдаленной части свѣта, — значеніе нашихъ нравственныхъ обязанностей состоитъ въ томъ, чтобы силою мысли отвлечь это одиночество и симпатіями нашими и цѣлями жить съ ближними и для ближнихъ». «Соціальный идеалъ есть нѣчто, къ чему, самою природою нашею, мы призваны, какъ нравственыя мущества».

Я не могу слѣдить за примѣненіями этой точки зрѣнія къ различнымъ сторонамъ лич-

ной, общественной, государственной, международной жизни, которыя дѣлаетъ Сальтеръ. Да это и не нужно для нашей цѣли. Для насъ теперь безразлично, на чьей сторонѣ правда въ тѣхъ трехъ пунктахъ ученія о морали, которые мы намѣтили для сопоставленія мнѣній Кавелина и Сальтера. Мы подчеркнемъ только одно: Кавелинъ, провозглашающій особенную жизненность нашихъ отношеній къ этическимъ вопросамъ, въ противоположность европейцамъ, видящимъ въ нихъ лишь предметъ любознательности, на дѣлѣ самъ оказывается, можетъ быть, и болѣе любознательнымъ, но уже навѣрное менѣе жизненнымъ, чѣмъ одинъ изъ членовъ цѣлаго «общества для нравственной культуры». Къ этому прибавить надо, что Кавелинъ, по его собственнымъ словамъ, обдумывалъ свою книгу двѣнадцать лѣтъ. Очевидно, какъ говорится, надъ нами не каплетъ, а книга Сальтера состоитъ собственно изъ рѣчей, можетъ быть, и не импровизированныхъ, но, во всякомъ случаѣ, не высиженныхъ въ тиши кабинета, а торопленныхъ самымъ ходомъ жизни... Повторяю, изъ представленной маленькой параллели нельзя прямо вывести общее заключеніе, которое опровергали бы завѣдомо, впрочемъ, ложное обобщеніе, сдѣланное Кавелинымъ. Но она всетаки поучительна...

Нѣкто иллюстрировалъ исторію Европы и Россіи извѣстною сказкой о трехъ братьяхъ, изъ которыхъ младшій былъ Иванушка-дурачокъ; этотъ-то Иванушка-дурачокъ и про образуетъ, дескать, Россію. Конечно, титулъ дурачка надо здѣсь понимать въ томъ же ласкательно-ругательномъ смыслѣ, въ которомъ гр. Толстой употребляетъ слова—«по-мужицки, по дурацки». Такъ его, собственно говоря, и сама сказка разумѣетъ: сказка иронизируетъ надъ якобы «умными» братьями, а якобы «дурачокъ» и жаръ-птицу добываетъ, и царь-дѣвицѣ золотую звѣзду въ лобъ вставляетъ и т. д. Онъ, молъ, по просту, по дурацки... Эта штука стара, ее бросить пора. Кто любитъ свою родину, мало того,—кто любитъ человѣка и людей вообще и питаетъ гордую, но хорошую надежду сдѣлать собственными усиліями на родной почвѣ нѣчто для всего человѣчества, тотъ долженъ, конечно, искать точекъ опоры въ особенностяхъ родной дѣйствительности; но дѣйствительность эта должна быть дѣйствительною дѣйствительностью, а не фантастическою.

Не малаго труда стоило мнѣ раздобыть двѣнадцатый томъ новаго изданія сочиненій гр. Толстого. Книгопродавецъ, съ которымъ я обыкновенно имѣю дѣло, объяснилъ мнѣ, что двѣнадцатаго тома, содержащаго въ себѣ послѣднія произведенія, отдѣльно купить нельзя,—не продается. Приходилось, значитъ, платить 18 рублей за «Смерть Ивана Ильича», да еще за напечатанный въ третьемъ томѣ разсказъ «Холстомѣръ», потому что старое изданіе сочиненій Толстого у меня уже раньше было, равно какъ и «Анна Каренина», и сказки, изданныя фирмою «Посредникъ». Это показалось мнѣ (я думаю, не мнѣ одному) немного дорого, но дѣлать нечего,—давайте, говорю. Книгопродавецъ отвѣтилъ, что сейчасъ онъ не можетъ мнѣ дать требуемое, а въ скоромъ времени пришлетъ, потому что, пояснилъ онъ, сочиненія гр. Толстого получаются нами, книгопродавцами, не иначе, какъ на наличныя деньги, и лишь съ 10 проц. уступки, и мы, при этихъ условіяхъ, можемъ держать у себя только небольшое число экземпляровъ.

Всему этому я подивился и, признаюсь, огорчился. Гр. Толстой такой большой писатель, что желательно было бы наивозможно большее распространеніе его произведеній. А тутъ вдругъ приходится всѣмъ, имѣющимъ прежнее изданіе (у меня—*третье*, а было и четвертое), платить 18 рублей собственно за нѣсколько печатныхъ листовъ. Да еще и другія препятствія и осложненія. Останавливаясь на этихъ обстоятельствахъ дольше, я пришелъ къ цѣлому ряду недоразумѣній. Въ самомъ дѣлѣ, полныя собранія сочиненій давно умершихъ писателей, Жуковскаго, Пушкина, Гоголя—не продаются отдѣльными томами, но за то послѣдующія ихъ изданія почти никогда не пополняются чѣмъ-нибудь существеннымъ новымъ, не бывшимъ въ изданіяхъ предыдущихъ. Многотомныя же изданія нынѣ дѣйствующихъ писателей, напримѣръ, г. Полонскаго, Глѣба Успенскаго, даже покойнаго Достоевскаго можно купить томъ за томомъ и, слѣдовательно, не платить цѣны всего изданія за одинъ какой-нибудь разсказъ или романъ. Я уже не говорю о Щедринѣ, который никогда и не выпускалъ собранія своихъ сочиненій. Почему же гр. Л. Н. Толстой составляетъ исключеніе и подвергаетъ своихъ читателей, кажется, безпримѣрному налогу? именно онъ, проповѣдникъ высокой нравственности и въ частности презрѣнія къ деньгамъ?

Я знаю, что это щекотливый вопросъ, но рѣшаюсь задать себѣ его вслухъ потому, что гр. Толстой и самъ во всеуслышаніе говоритъ о себѣ, и другихъ допускаетъ печатно бесѣдовать о томъ, что онъ дѣлаетъ, какъ живетъ, какъ думаетъ, какъ сапоги шьетъ и дрова рубитъ и т. д. Читатели посвящены во многія подробности его жизни, знаютъ, напримѣръ, отъ него самого, что состояніе его равняется 600,000 рублей, что у него есть разнаго возраста дѣти, воспитывающіяся такъ-то и такъ-то и проч., а нѣкото-

рыми произведеніями онъ вводитъ читателей въ самые глубокіе тайники своего сердца. При такихъ условіяхъ не будетъ, я думаю, нескромностью задать вышепоставленный вопросъ. А имъ, къ сожалѣнію, не исчерпываются тѣ недоумѣнія и вопросительные знаки, которые во мнѣ, по крайней мѣрѣ, возбуждаетъ новое изданіе сочиненій гр. Толстого. Да, цѣлая цѣпь недоумѣній и вопросительныхъ знаковъ, такъ что я затрудняюсь даже съ чего начать...

Самый фактъ новаго изданія сочиненій... какъ на него смотритъ гр. Толстой? На стр. 329 двѣнадцатаго тома напечатаны такія, повидимому, глубоко искреннія и самобичующія строки: «Я такой же человѣкъ, какъ всѣ, и если отличаюсь чѣмъ нибудь отъ средняго человѣка нашего круга, то главное тѣмъ, что я больше средняго человѣка служилъ и потворствовалъ ложному ученію нашего міра, больше получалъ одобреній отъ людей царствующаго ученія и потому больше другихъ развратился и сбился съ пути». Это самобичеваніе, въ связи съ разными другими соображеніями гр. Толстого, относится, конечно, главнымъ образомъ къ его литературной дѣятельности. Зачѣмъ-же онъ даритъ (или продаетъ) публикѣ новое повтореніе своихъ старыхъ грѣховъ, своей «службы и потворства ложному ученію нашего міра»? Я лично радуюсь факту пятаго изданія сочиненій гр. Толстого и не только надѣюсь, а увѣренъ, что будетъ и шестое и десятое и двадцатое. Но вѣдь я за то и не думаю, чтобы гр. Толстой служилъ своими прежними сочиненіями злу. Только становясь на точку зрѣнія самого гр. Толстого, я недоумѣваю и спрашиваю: зачѣмъ новое изданіе, да еще дополненное такими старыми грѣхами, которые прежде авторъ держалъ въ своемъ письменномъ столѣ? («Холстомѣръ» написанъ въ 1861 г., «Смерть Ивана Ильича» начата въ 1884 и окончена въ 1886 г.). Одно изъ двухъ: или прежнія произведенія гр. Толстого не заслуживаютъ бичеванія, которому онъ ихъ предаетъ, или, если они ложь и зло, не слѣдуетъ распространять эту ложь и это зло, не только за 18 рублей, а и даромъ.

Гр. Толстой скорбитъ о томъ времени, когда онъ получалъ много одобреній отъ людей «царствующаго ученія». Одобренія онъ получалъ въ качествѣ несравненнаго художника, за свою изъ ряда вонъ выходящую творческую силу и правдивость. Получалъ совершенно заслуженно, и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Можетъ быть тѣ одобренія, которыя онъ теперь получаетъ съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ, и гораздо менѣе заслуженны, и гораздо болѣе удивительны. Я не удивляюсь, что сердца кое-кого изъ алчущихъ и жаждущихъ правды и нравственнаго обновленія раскрываются передъ проповѣдью гр. Толстого,—какова бы ни была ея цѣнность вообще, но она направлена, между прочимъ, и на то, чтобы будить совѣсть. Но этимъ персоналомъ поклонники гр. Толстого не исчерпываются. Онъ сталъ почти всероссійскимъ фаворитомъ и при томъ не въ качествѣ художника только, а главнымъ образомъ въ качествѣ мыслителя и представителя нравственной доктрины, повидимому, столь опредѣленной, что всѣмъ угодить она, казалось бы, не должна. Еще недавно, по поводу двѣнадцатаго тома, я прочиталъ въ одной газетѣ восторженныя похвалы и даже, можно сказать, куреніе фиміама передъ гр. Толстымъ, именно, какъ передъ мыслителемъ. Газета эта ведется очень живо и разнообразно, въ ней есть и передовыя статьи по иностраннымъ дѣламъ и внутренней политикѣ, есть фельетоны беллетристическіе, научныя обозрѣнія, литературныя обозрѣнія, отчеты о театрѣ, причемъ большое вниманіе удѣляется балету, и проч., и проч. Такъ вотъ эта самая газета и превозноситъ гр. Толстого. Между тѣмъ въ двѣнадцатомъ томѣ говорится, напримѣръ (такихъ примѣровъ я могъ-бы привести десятки) слѣдующее: «намъ кажется, что если мы какое нибудь гадкое дѣло, какъ пляcаніе обнаженныхъ женщинъ, назовемъ греческимъ словомъ хореграфія и скажемъ, что это искусство, то оно и будетъ искусство». Такимъ образомъ балетъ есть для гр. Толстаго просто «гадкое дѣло», и онъ съ полнѣйшимъ презрѣніемъ относится къ тѣмъ, кто считаетъ хореграфію искусствомъ. Съ другой стороны ни одинъ русскій печатный органъ не занимается такъ много балетомъ и не стоитъ такъ твердо на томъ, что хореграфія есть искусство, какъ упомянутая газета. И однако, эта газета находитъ возможнымъ восхвалять гр. Толстого, какъ мыслителя, и видѣть въ двѣнадцатомъ томѣ его сочиненій вмѣстилище истины. Конечно, тутъ не было-бы ничего поразительнаго, если-бы газета, проникшись проповѣдью гр. Толстого, перестала зазывать своихъ читателей въ балетъ и рекомендовать ихъ вниманію разныя тонкости «гадкаго дѣла». Но ничего подобнаго нѣтъ,—газета попрежнему занимается «гадкимъ дѣломъ» и нисколько не измѣняетъ своего взгляда на него. Балетъ въ этомъ случаѣ не составляетъ какого нибудь исключенія. Вся газета, отъ верхняго края до нижняго, съ своими передовыми статьями, фельетонами, научными и иными обозрѣніями, есть, съ точки зрѣнія принциповъ, выраженныхъ въ двѣнадцатомъ томѣ очень ярко, вздоръ, празднословіе, зло, «ложное

ученіе нашего міра». Почему же, однако, эти «люди царствующаго ученія» не только не ополчаются на гр. Толстого, но горой стоятъ за него, продолжая въ то же время дѣлать свое дѣло, какъ будто гр. Толстой вовсе и не возвѣщалъ истины?

Я думаю, каждому изъ васъ случалось наталкиваться въ литературѣ и въ жизни на это странное недоразумѣніе, на этотъ удивительный и, конечно, обидный для гр. Толстого и его искреннихъ почитателей варіантъ на тему «гласа вопіющаго въ пустынѣ». Гр. Толстой, какъ Самсонъ, потрясаетъ мощными руками колонны зданія, а ликующіе филистимляне, продолжая поклонятся Дагону и Астартѣ, не гонятъ его, не бранятъ, а даже похваливаютъ: молодецъ Самсонъ! Должно быть, не страшна имъ мощь Самсона, должно быть, они увѣрены, что не расшатать ему колоннъ и не согнать Дагона и Астарты съ ихъ пьедесталовъ...

Самсонъ, тотъ, настоящій Самсонъ, который развалилъ храмъ Дагона, самъ погибъ подъ развалинами. И гр. Толстой, повидимому, готовъ погибнуть, фигурально, разумѣется, выражаясь. Громя другихъ, онъ не щадитъ и себя. Онъ публично кается въ грѣхахъ, «исповѣдуется», бьетъ себя по всѣмъ своимъ прежнимъ гордынямъ безъ всякой, повидимому, пощады. Онъ и логическими разсужденіями, и притчами, и разсказами учитъ насъ смиренію и самъ являетъ образецъ его.

Да, все это такъ. Однако меня и въ этомъ случаѣ одолѣваютъ разныя недоумѣнія.

Случилось такъ, что знаменитую «исповѣдь» гр. Толстого я читалъ единовременно съ посмертными записками Пирогова. Я не думаю сравнивать эти два произведенія, эти двѣ, если хотите, исповѣди по отношенію къ содержащимся въ нихъ общимъ идеямъ. Я говорю только объ исповѣди, какъ объ исповѣди, очищеніи совѣсти правдивымъ показаніемъ о себѣ. Между прочимъ, Пироговъ вспоминаетъ одинъ случай, когда онъ, будучи уже студентомъ, укралъ у своего товарища нѣсколько кусковъ сахару,—своего не было. Не смотря на крайнюю мелкость этого факта, признаться въ немъ довольно трудно, ибо въ томъ обществѣ, къ которому обращается Пироговъ съ своими воспоминаніями, воровство этого рода считается дѣломъ зазорнымъ. А между тѣмъ Пироговъ вовсе не имѣлъ спеціальною цѣлью «исповѣдаться». Просто подвернулся фактъ, очевидно, его мучившій, такъ какъ воспоминаніе объ такой старинной мелочи онъ пронесъ до самой смерти,— и онъ, во имя правды и настоящей искренности, записалъ его всѣми буквами,—укралъ. Гр-же Толстой, во всеуслышаніе заявившій, что онъ хочетъ исповѣдываться, ни въ единой строкѣ не поднимается до такого подлиннаго покаянія. Онъ, повидимому, кается въ грѣхахъ, гораздо болѣе крупныхъ, говоритъ, напримѣръ: «я убивалъ людей». Но это только страшныя слова, а означаютъ они лишь то, что гр. Толстой служилъ въ военной службѣ и, по долгу службы, принималъ участіе въ сраженіяхъ. Пусть гр. Толстой самъ считаетъ этого рода дѣйствія простымъ убійствомъ, но огромное, подавляющее большинство читателей, то есть тѣхъ людей, передъ которыми онъ исповѣдуется, не только не бросятъ въ него по поводу этого признанія камнемъ позора или презрѣнія, а подумаютъ: молодецъ! храбрый человѣкъ, вполнѣ заслужившій тѣ чины и ордена, которые онъ получилъ. И таковы всѣ грѣхи, въ которыхъ кается гр. Толстой. Если онъ, напримѣръ, говоритъ, (тоже какими то страшными словами, которыхъ не помню), что онъ имѣлъ крѣпостныхъ крестьянъ, такъ вѣдь это было общее явленіе того времени; ни у кого не повернется языкъ попрекнуть этимъ лично гр. Толстого. И, конечно, если бы въ его жизни была и память его сохранила хотя бы маленькую черточку изъ области тѣхъ же крѣпостныхъ отношеній, но болѣе опредѣленнаго, болѣе осязательнаго и болѣе индивидуальнаго характера,—скажемъ къ примѣру: барская пощечина старому слугѣ,—то признаніе въ этой частности, въ смыслѣ исповѣди, имѣло бы несравненно большую цѣну, чѣмъ страшныя, но слишкомъ общія слова: я владѣлъ человѣческими душами.

Мнѣ могутъ сказать, что слово «исповѣдь» нельзя въ этомъ случаѣ понимать буквально, ибо, дескать, гр. Толстой имѣлъ въ виду не свои личные грѣхи, а общественные, историческіе. Пусть такъ, но это всетаки былъ поводъ предъявить свое смиреніе, и во всякомъ случаѣ будемъ твердо знать, что въ «Исповѣди» гр. Толстой вовсе не исповѣдуется, является намъ не въ одеждѣ кающагося грѣшника, а либо въ такомъ костюмѣ, который въ свое время былъ моднымъ, либо въ мантіи проповѣдника, громящаго грѣхи общества. Я не говорю, что это худое дѣло, я только не вижу здѣсь смиренія и подлиннаго самобичеванія...

А гр. Толстой и на другіе манеры проповѣдуетъ смиреніе. Есть у него сказка «Два старика». Пошли два старика въ Іерусалимъ, поклониться гробу Господню. Одинъ дошелъ до мѣста назначенія и сдѣлалъ все, что въ Іерусалимѣ дѣлать слѣдуетъ. Но Богъ не благословилъ этого подвига,— пошли у старика дома разные нелады... Другой старикъ не дошелъ до Іерусалима, а застрялъ по дорогѣ у бѣдныхъ и боль-

ныхъ людей, которымъ помогъ и трудомъ, и душевнымъ участіемъ, и деньгами, припасенными на путешествіе къ святому мѣсту; помогъ, израсходовался и вернулся домой и засталъ тамъ тишь, гладь и божью благодать. Общій смыслъ сказки тотъ, что добрыя дѣла угоднѣе Богу, чѣмъ формальная молитва хотя бы даже въ самыхъ святыхъ мѣстахъ. Но любопытна слѣдующая подробность: угодившій Богу старикъ ни кому не сказалъ о своихъ добрыхъ дѣлахъ: ни тѣмъ людямъ, которымъ помогъ (они даже не знаютъ «человѣкъ ли онъ былъ или ангелъ»), ни дома своимъ, ни другому старику, который уже изъ иныхъ источниковъ узналъ, какъ дѣло было. Словомъ, богоугодный старикъ, предъявляемый намъ въ качествѣ образца, достойнаго подражанія, утонулъ въ неизвѣстности. Мало того, совравъ изъ смиренія, что онъ потому не дошелъ до Іерусалима, что растерялъ деньги, онъ навлекъ на себя нареканіе въ «глупости»...

Вотъ какъ надо вести себя!—поучаетъ насъ гр. Толстой. Но отчего же онъ самъ, проповѣдникъ, не тонетъ въ неизвѣстности? Отчего, напротивъ того, его слава гремитъ по всему цивилизованному міру? Отчего каждое благородное движеніе души его и каждый сшитый имъ сапогъ становятся немедленно предметомъ горячихъ разсужденій въ печати? И какая странная слава! Какъ страненъ и двусмысленъ въ особенности процессъ наростанія славы гр. Толстого! Былъ гр. Толстой беллетристъ первой величины, и всѣ признали его гигантскій талантъ и безстрашную правдивость его изображеній, и поклонились ему, даже въ дальнихъ краяхъ, гдѣ не привыкли еще пока съ почтеніемъ относиться къ русскому слову. По прошествіи извѣстнаго времени гр. Толстой объявилъ, между прочимъ, что вся его доселѣшняя беллетристика — пустяки, празднословіе и потворство лжи. И опять ему поклонились, на этотъ разъ за искренность и мудрость, и новая слава осіяла его. Но, страннымъ образомъ, эта новая слава не похерила предыдущей славы, хотя идетъ въ разрѣзъ съ ней: забракованныя, объявленныя лживыми прежнія сочиненія вновь издаются, вновь разносятъ славу писателя, который, въ искренности и мудрости своей, объявилъ ихъ негодными... И за плюсъ— слава, и за минусъ— слава, и плюсъ на минусъ не сокращаются, а въ противность всякой логикѣ и ариѳметикѣ,—выходятъ двѣ славы... Какая поразительная разница въ судьбахъ богоугоднаго старика сказки и самаго автора этой сказки, гр. Толстого! Но я думаю, что +1 и —1 никакимъ образомъ не могутъ, въ продолженіе долгаго времени, давать въ результатѣ 2. А такъ какъ слава гр. Толстого, конечно, не прейдетъ, то которая нибудь изъ этихъ единицъ съ противоположными знаками должна просто отвалиться, какъ только пройдетъ наше нынѣшнее общественное затмѣніе, на тускломъ фонѣ котораго такъ красиво блистаетъ обаятельная и нѣсколько кокетливая личность гр. Толстого. Мнѣ кажется, не надо быть пророкомъ, чтобы съ полною увѣренностью предсказать, которая изъ единицъ отвалится...

Или другой примѣръ наростанія славы гр. Толстого. Много лѣтъ тому назадъ въ нашей литературѣ и въ обществѣ зародилась и постепенно окрѣпла, хотя вслѣдъ затѣмъ позатерялась, какъ ручей въ пескахъ степей, особенная струя мысли и соотвѣтственнаго настроенія. Это теорія долга народу. Предполагалось, что мы, воспитавшіеся на счетъ народнаго труда, получившіе изъ этого фонда свои знанія, пониманіе и досугъ, обязаны уплатить долгъ, направляя свою дѣятельность на благо народу. Не такъ все это было просто, какъ можетъ быть теперь инымъ кажется. Дѣло представлялось отнюдь не въ такомъ видѣ, чтобы прекратить процессъ накопленія знаній и уясненія пониманія,—это было бы, конечно, не хитро, но за то и не повело бы къ уплатѣ долга. Я сейчасъ скажу о положеніи, которое занималъ когда то въ этомъ отношеніи гр. Толстой. Теперь это для него пройденная ступень. Стяжавъ въ свое время на этой ступени извѣстные лавры, которые такъ за нимъ, конечно, и останутся, онъ теперь утверждаетъ, что это пустяки и гордыня. Онъ разсуждаетъ такъ: вопросъ—«какъ отплатить образованіемъ и талантами за то, что я бралъ и беру у народа»—вопросъ этотъ, который онъ, гр. Толстой, тоже нѣкогда себѣ задавалъ, есть вопросъ гордый и неразумный. Теперь онъ «покаялся во всемъ значеніи этого слова, т. е. измѣнилъ совершенно оцѣнку своего положенія и своей дѣятельности». Уплата народу долга при помощи образованія и талантовъ, развитыхъ на его счетъ, предполагаетъ признаніе этого образованія и талантовъ, признаніе извѣстной высоты. А надо быть смиреннымъ, надо «вмѣсто полезности и серьезности своей дѣятельности признать ея вредъ и пустячность; вмѣсто своего образованія признать свое невѣжество; вмѣсто своей доброты и нравственности, признать свою безнравственность и жестокость; вмѣсто своей высоты, признать свою низость».

Да здравствуетъ смиреніе гр. Толстого! А такъ какъ это кромѣ того и мудрость и искренность и истина, и такъ какъ ничто изъ прежняго «жестокаго и невѣжествен-

наго» періода дѣятельности графа не отвергнуто обществомъ и не исключено изъ его сочиненій, то—слава жестокому, слава невѣжественному!..

Очевидно, все это какія то недоразумѣнія, недостойныя большого имени гр. Льва Толстого. Очевидно, графъ не дѣло говоритъ и никогда искренно не считалъ себя жестокимъ, невѣжественнымъ, низкимъ человѣкомъ. И въ самомъ дѣлѣ, какое ужъ смиреніе и какое ужъ сознаніе въ собственномъ невѣжествѣ можно найти, напримѣръ, въ статьѣ «О назначеніи наукъ и искусствъ»?

Любопытная эта статья. Въ ней есть очень вѣрныя мысли, хотя многія изъ нихъ выражены отнюдь не умѣстно и не своевременно, и хотя рядомъ съ ними не мало и ошибокъ. Но любопытна она, между прочимъ, и своимъ совсѣмъ ужъ не смиреннымъ тономъ.

Такъ, напримѣръ, графъ рѣшительно заявляетъ, что «*всѣ ученые* проглядѣли бездоказательность, неправильность и совершенную произвольность выводовъ» Мальтуса, а вотъ графъ пришелъ и открылъ Америку... Ну, и что-жъ, вы, творящіе себѣ кумира,— всетаки будемъ пѣть славу смиренному графу? Что-жъ, забудемъ, вмѣстѣ съ его смиренствомъ, тѣхъ людей,—а между ними есть и наши, русскіе люди,—которые когда-то служили вамъ свѣточами и много раньше и, конечно, безъ сравненія лучше графа учили васъ, между прочимъ, и правильному отношенію къ выводамъ Мальтуса? Правда, они сапоговъ не шили, но они искали свѣта и васъ къ нему звали, и не все розы были на ихъ пути, о! далеко нѣтъ... Хорошо, забудемъ, но да будетъ-же намъ по крайней мѣрѣ стыдно!

Удивительная статья графа «Женщинамъ» (я не знаю, успѣю ли я сказать, чѣмъ именно она удивительна) начинается ссылкой на библію, по которой мужчинѣ данъ законъ труда, а женщинѣ—законъ рожденія. Ссылка эта совсѣмъ чужая графу Толстому, который строитъ свое зданіе на Новомъ, а не на Ветхомъ Завѣтѣ, на евангеліи, а не на библіи. Эта ссылка, равно какъ и непосредственно примыкающія на ней размышленія о неизмѣнности обоихъ законовъ, принадлежитъ нѣкоему минусинскому крестьянину, съ логически стройнымъ ученіемъ котораго читатели могли познакомиться изъ одной статьи Глѣба Успенскаго въ «Русской Мысли», («Сѣверный Вѣстникъ» надѣется скоро представить своимъ читателямъ болѣе подробное изложеніе этого ученія и свѣдѣнія о его авторѣ). Но гр. Толстой умалчиваетъ объ этомъ и съ христіанскимъ чувствомъ предоставляетъ минусинскому крестьянину счастіе неизвѣстности, какъ богоугодному старику сказки...

Это частности, конечно. Но вся статья «о назначеніи наукъ и искусствъ» пронизана этими частностями, и вездѣ гр. Толстой съ странною помѣсью великолѣпія и смиренія открываетъ давно открытыя Америки, причемъ, однако, очевидно далеко не всегда знакомъ изъ первыхъ рукъ съ предметами, о которыхъ говоритъ. Иначе онъ, напримѣръ, не назвалъ-бы основателемъ органической теоріи общества Конта; это просто неправда.

Человѣкъ величаво говоритъ: никто до сихъ поръ Америки не показывалъ,—вотъ вамъ Америка! И въ то же самое время, тотъ же самый человѣкъ смиренно объявляетъ себя невѣжественнымъ. Чтѣ это такое? Скажутъ, можетъ быть, что гр. Толстой смиряется только передъ народомъ, только передъ нимъ признаетъ свои знанія и таланты ничтожными, а съ такъ называемыми образованными людьми или даже учеными онъ помѣряться можетъ, ибо обладаетъ совершенно достаточными знаніями, чтобы нѣсколькими презрительными словами покончить съ заблужденіями ученыхъ. Конечно, и это уже порядочная брешь въ смиреніи, такъ что, можетъ быть, незачѣмъ было и смиренный огородъ про свою «невѣжественность» городить. Но пусть такъ. Мы сейчасъ увидимъ, что несетъ графъ народу...

Я знаю, многіе изъ почитателей гр. Толстого съ негодованіемъ читали все вышенаписанное. Знаю, что и въ печати на эту тетрадь дневника посыплется всяческая брань: въ средѣ идолопоклонниковъ нельзя безнаказанно посягать на кумиры. Но я долженъ былъ и имѣлъ право написать написанное. Слишкомъ десять лѣтъ тому назадъ, по поводу статьи гр. Толстого «О народномъ образованіи» (вошедшей въ двѣнадцатый томъ) поднялась полемическая буря, въ которой и я, пишущій эти строки, принялъ участіе статьями «Десница и шуйца гр. Толстого». Я горячо принялъ сторону графа, что не мѣшало мнѣ видѣть его шуйцу, и пристально изучивъ всѣ его сочиненія, представилъ читателямъ результаты изученія. Съ тѣхъ поръ я имѣлъ честь лично познакомиться съ гр. Толстымъ, имѣлъ съ нимъ долгія бесѣды и на себѣ испыталъ свойственное ему обаяніе. Это личное впечатлѣніе только утвердило во мнѣ то отношеніе къ нему, которое я вынесъ изъ изученія его сочиненій. И тамъ, и тутъ, и въ книгѣ, и въ устной бесѣдѣ, я видѣлъ человѣка, духъ котораго находится въ неустанной работѣ надъ вопросами, одинаково затрогивающими и умъ, и сердце. Эта неустанность многосторонней внутренней работы, присутствіе ко-

торой невольно чувствовалось и въ Толстомъ-писателѣ, и въ Толстомъ-собесѣдникѣ; эта живая жизнь съ возвращеніями назадъ, къ пройденному, и съ перспективами въ будущее, именно и составляли прелесть общенія съ сѣдымъ, морщинистымъ, длиннобородымъ и всетаки молодымъ Толстымъ. Такъ было тогда, когда я имѣлъ честь бывать у него и когда онъ еще только становился на линію пророка, все разрѣшившаго и лишь вѣщающаго... Я не знаю, какое впечатлѣніе произвелъ бы онъ на меня теперь лично, но двѣнадцатый томъ его сочиненій я прочиталъ, волнуемый многими обидными и горькими думами и чувствами.

Ни въ этомъ двѣнадцатомъ томѣ, ни въ другихъ новыхъ произведеніяхъ гр. Толстого, какія мнѣ удавалось читать, я не нашелъ, собственно говоря, ничего новаго, ничего такого, что не заключалось бы, иногда только въ зачаточномъ, а иногда и въ очень развитомъ видѣ, въ его прежнихъ, даже самыхъ раннихъ, даже беллетристическихъ сочиненіяхъ. Это можетъ показаться страннымъ, потому что вѣдь гр. Толстой все совлекаетъ съ себя ветхаго человѣка, все установляетъ новыя грани своей жизни, все восклицаетъ: то старое, что я думалъ и говорилъ прежде, — пустяки, а вотъ теперь ужъ я нашелъ истину! Не смотря на это періодическое отрицаніе стараго, я утверждаю всетаки, что онъ давно уже не предъявляетъ намъ ничего, по существу новаго, чего бы онъ же не предъявлялъ прежде. Если бы я могъ надѣяться, что читатели помнятъ мои статьи о «шуйцѣ и десницѣ гр. Толстого» или соблаговолятъ просмотрѣть ихъ теперь, то, я увѣренъ, они согласились бы со мной. Дѣло именно въ наличности шуйцы и десницы гр. Толстого, двухъ теченій, всю жизнь борящихся въ немъ съ перемѣннымъ счастіемъ, причемъ, какъ бы во исполненіе евангельской заповѣди, шуйца не всегда знаетъ, что дѣлаетъ десница и наоборотъ. За послѣднее время шуйца заняла, къ сожалѣнію, несообразно превалирующее положеніе. А, между тѣмъ, насколько жизненна десница Толстого, настолько же мертвенна и мертвяща его шуйца...

Толстой и мертвенность,—какое еретическое сопоставленіе! Но, увы, это такъ, и вы не замедлите въ этомъ убѣдиться, прочитавъ внимательно и безъ преднамѣреннаго поклоненія хотя бы главу XI въ статьѣ «Мысли, вызванныя переписью». Въ статьѣ этой разсказывается, какъ гр. Толстой не зналъ куда дѣвать оставшіеся у него на рукахъ 37 руб. Надо замѣтить, что эпизодъ этотъ относится къ тому времени, когда графъ уже окончательно разочаровался въ своей затѣѣ, вязавшейся у него въ головѣ съ переписью, и когда, значитъ, о какомъ-нибудь послѣдовательномъ проведеніи принципа не могло быть и рѣчи. Мы въ «Ржановомъ домѣ», въ самомъ центрѣ нищеты; она хоть и пьяная и безобразная, но подлинная и несомнѣнная, кругомъ кишмя кишитъ. Гр. Толстому нужно отдѣлаться отъ 37 рублей, то есть раздать ихъ. И посмотрите, какъ это оказывается трудно. Графъ и самъ раздумываетъ, и трактирщика Ивана Ѳедотыча на совѣтъ зоветъ, причемъ этотъ Иванъ Ѳедотычъ, эта піявица, сосущая и спаивающая нищету, оказывается и «добродушнымъ» и «добросовѣстнымъ». На совѣтъ приглашается еще трактирный половой и вотъ начинаются размышленія: куда дѣвать 37 руб.? Лакей предлагаетъ дать Парамоновнѣ, которая «*бываетъ и не ѣмши*», но Иванъ Ѳедотычъ отвергаетъ Парамоновну, потому —«загуливаетъ». Можно бы Спиридону Иванычу помочь, но и тутъ трактирщикъ находитъ препятствіе. Акулинѣ можно бы, да она «получаетъ». «Слѣпому», такъ тому самъ графъ не хочетъ: онъ его видѣлъ и слышалъ, какими онъ скверными словами ругается и т. д. Согласитесь, что это сцена поразительная и характерная: среди кишащей кругомъ нищеты, графъ не знаетъ какъ «отдѣлаться», отъ 37 рублей и все резонируетъ и резонируетъ, къ каковому занятію даже еще и трактирщика и полового привлекаетъ. Неужели это живое чувство? Пусть всякій, дѣйствительно простой сердцемъ человѣкъ пойдетъ, съ 37 рублями въ карманѣ и съ рѣшимостью отъ нихъ отдѣлаться, въ Ржановъ домъ, да посмотритъ хоть на Парамоновну, которая «бываетъ и не ѣмши»... А тутъ, помилуйте, «верстъ на тысячу въ окружности повѣстивъ свой добрый нравъ» и порѣшивъ важнѣйшіе вопросы наигуманнѣйшимъ образомъ, такъ безпокоятся объ 37 рубляхъ и такъ стараются, чтобы они достались, пожалуй, и такой, которая не ѣмши, но чтобы «не загуливала», а добродѣтелью сіяла. Это за тридцать-то семь рублей еще и добродѣтель имъ подавай... Нѣтъ, какъ хотите, а живого непосредственнаго чувства тутъ маловато.

Маловато его и въ самыхъ коренныхъ чертахъ публицистики гр. Толстого, какъ онѣ выражаются въ статьяхъ «О назначеніи наукъ и искусствъ» и «Женщинамъ».

Нѣкоторыя изъ мыслей, содержащихся въ статьѣ «О назначеніи наукъ и искусствъ», были изложены слишкомъ десять лѣтъ тому назадъ въ статьѣ «О народномъ образованіи». Но тамъ, совершенно независимо отъ степени ихъ вѣрности, онѣ были умѣстны и своевременны, а теперь объ нихъ этого отнюдь нельзя сказать. Десять лѣтъ тому назадъ мы много носились съ «просвѣщеніемъ»,

«образованіемъ»; конечно больше на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ, но всетаки и школы заводились, и книжки выходили, и журналовъ было много, и знанія передавались и пріобрѣтались, и вообще вѣрилось, что ученье свѣтъ, а неученье тьма. Была даже нѣкоторая заносчивость въ направленіи надеждъ, возлагаемыхъ на школу и знаніе, и проистекающая отсюда самоувѣренность. При такихъ условіяхъ, въ публицистѣ совершенно законно желаніе, по старинному выраженію, выпрямить лукъ, перегнувъ его въ другую сторону. Таковы-ли наши теперешнія условія? Можно-ли теперь, по совѣсти, повторить вслѣдъ, за гр. Толстымъ, что «наши наука и искусство обезпечены, дипломированы, и *только и заботы у всѣхъ, какъ бы еще лучше ихъ обезпечить*»? Эта безтактность, это отсутствіе живого чутья особенно наглядно сказалось въ статьѣ «Женщинамъ». Статья эта, направленная противъ высшаго женскаго образованія, явилась какъ разъ въ то время, когда высшее женское образованіе прекратилось. Публицистъ, обладающій живымъ чувствомъ, никогда не станетъ стучаться въ отворенную дверь и бить лежачаго. Да и дѣйствительно, помимо щекотливаго чувства собственнаго достоинства, какая цѣль, какой практическій смыслъ бить лежачаго? Зачѣмъ съ грохотомъ стучаться въ дверь, которая отворена? Только развѣ затѣмъ, чтобы грохотъ былъ услышанъ и чтобы труба славы гр. Толстого разнесла этотъ грохотъ, какъ эхо, по всему міру. Незавидная эта слава, и можетъ быть нѣкоторые изъ лавровъ, украшащихъ чело графа, завяли при этомъ отъ стыда...

Обратите, пожалуйста, вниманіе на характеръ дѣятельности гр. Толстого: онъ съ величайшимъ трудомъ «отдѣлывается» отъ 37-ми рублей, когда около него есть «не ѣмшіе», и съ чрезвычайною стремительностью ломится въ дверь, которая отворена. И то и другое зависитъ отъ того, что онъ относится къ вещамъ, на которыя его наталкиваетъ судьба, не какъ къ живымъ явленіямъ, а по резонерски. Онъ такъ занятъ происходящимъ въ немъ самомъ душевнымъ процессомъ, такъ прислушивается къ шуму въ своихъ собственныхъ ушахъ, что внѣшніе предметы теряютъ для него свое самостоятельное, живое значеніе. Положимъ, что Парамоновна голодна, но дѣло не въ Парамоновнѣ, а въ графѣ Львѣ Николаевичѣ Толстомъ, который долженъ распредѣлить 37 рублей вполнѣ безукоризненно. Положимъ, что образованіе вообще, женское въ частности идетъ у насъ и безъ того на убыль, но дѣло не въ судьбахъ женскаго или иного какого образованія, а опять же въ графѣ Львѣ Николаевичѣ Толстомъ, который долженъ высказать свое мнѣніе, хотя бы въ пустомъ пространствѣ. Дѣло именно въ томъ, чтобы графъ Левъ Николаевичъ Толстой могъ и въ сознаніи своемъ, и на бумагѣ писать смиренно гордыя слова: «Всѣ сложныя, разрозненныя, запутанныя и безсмысленныя явленія жизни, окружавшія меня, вдругъ стали ясны, и мое, прежде странное и тяжелое, положеніе среди этихъ явленій вдругъ стало естественно и легко. И въ новомъ положеніи этомъ совершенно точно опредѣлилась моя дѣятельность, совсѣмъ не та, какая представлялась мнѣ прежде, но дѣятельность новая, гораздо болѣе спокойная, любовная и радостная».

Завидна участь гр. Толстого. Завидны это спокойствіе сердца, приставшаго къ странѣ, гдѣ рѣки въ кисельныхъ берегахъ молокомъ текутъ; эта чистота совѣсти передъ любовной и радостной дѣятельностью; эта ясность разума, который говоритъ: я все понялъ! Да, это завидно. Но мы, мятущіеся, мы, ищущіе, мы, не сумѣвшіе выскочить изъ водоворота жизни ни на кисельный берегъ молочной рѣки, ни на облака, вѣнчающія вершины Олимпа, мы не вѣримъ гр. Толстому! Онъ, конечно, говоритъ правду: онъ спокоенъ, счастливъ, онъ достигъ того душевнаго состоянія, которое даже не всѣмъ угодникамъ усвоиваютъ житія святыхъ. Но это только потому, что графъ прислушивается къ шуму въ собственныхъ ушахъ. Отверзи онъ ихъ на минуту для воспріятія живыхъ внѣшнихъ впечатлѣній, и онъ долженъ ужаснуться того страннаго, противорѣчиваго положенія, въ которомъ онъ находится.

Какъ! гр. Толстой знаетъ и исповѣдуетъ прелесть неизвѣстности, въ коей утонулъ богоугодный старикъ сказки, а самъ гремитъ по всему міру съ каждымъ маленькимъ движеніемъ души, и спокоенъ? Гр. Толстой считаетъ свои прежнія сочиненія ложью и съ чистою совѣстью смотритъ, какъ эта ложь въ три дорога распространяется и уловляетъ въ свои сѣти все новыя и новыя сердца? Гр. Толстой проповѣдуетъ мерзость балета и слышитъ аплодисменты балетомановъ «любовно и радостно?» Даетъ пинка холодѣющему уже трупу высшаго женскаго образованія и думаетъ, что сразилъ зло въ благородной борьбѣ?

Не можетъ этого быть. Я слишкомъ высоко цѣню гр. Толстого, чтобы этому повѣрить. Мнѣ остается теперь слишкомъ мало мѣста и времени и слишкомъ много предметовъ для разговора съ гр. Толстымъ,—договорю въ слѣдующій разъ, и мы тогда увидимъ, въ чемъ именно состоитъ та новая, любовная и радостная дѣятельность, которой онъ отдался нынѣ; увидимъ, что именно несетъ онъ намъ и народу. Теперь скажу пока въ

заключеніе одно. Пусть всѣ, негодующіе на вышенаписанныя строки, помнятъ, что гр. Толстой—большой человѣкъ, сила, которая, какъ и всякая сила, можетъ приносить большую пользу и большой вредъ, можетъ однимъ и тѣмъ же напряженіемъ легкихъ раздуть уголь и погасить свѣтильникъ. Никому не уступлю я въ глубокомъ уваженіи къ десницѣ Толстого, въ уваженіи и любви, почти личной. Но именно по этому шуйца его, такъ непомѣрно вытянувшаяся въ послѣднее время, вызываетъ во мнѣ особенно горькія чувства.

IV.

А. Н. Островскій.—Еще о гр. Л. Н. Толстомъ *).

2 іюня умеръ Александръ Николаевичъ Островскій...

Есть писатели, подводить итоги литературной дѣятельности которыхъ трудно не потому, чтобы дѣятельность эта давала поводъ къ какимъ-нибудь недоразумѣніямъ, которыя надлежало бы распутывать, разъяснять, а, напротивъ, потому, что здѣсь все ясно, все какъ на ладони. Таковъ именно покойный драматургъ.

Было время, когда наши старинныя партіи славянофиловъ и западниковъ пробовали, такъ сказать, рвать его каждая въ свою сторону, или судить съ своей исключительной узкой точки зрѣнія. Время это было недолгое и прошло оно уже давно. Много лѣтъ подъ-рядъ Островскій помѣщалъ свои комедіи въ періодическомъ изданіи, одна изъ главныхъ заслугъ котораго въ исторіи русской литературы состоитъ, конечно, въ выработкѣ точки зрѣнія, одинаково отрицательной, какъ по отношенію къ слафянофильству, такъ и по отношенію къ западничеству, но вмѣщающей въ себѣ здоровыя стороны того и другого. Объ Островскомъ было писано не мало, но, независимо отъ того, что освѣтилось этими критическими писаніями (нѣкоторыя изъ нихъ навсегда останутся образцами критики), какъ-то и само собою выяснилось, что Островскому нѣтъ мѣста въ тѣхъ двухъ литературно-политическихъ партіяхъ, которыя имѣли вліяніе и обладали жизненностью лишь до тѣхъ поръ, пока витали въ отвлеченныхъ отъ дѣйствительной практической жизни сферахъ. Надъ его могилою не слышалось разногласій, проистекающихъ изъ этого отжившаго дѣленія. Не слышалось и никакихъ другихъ разногласій, и, чтобы оцѣнить это обстоятельство по достоинству, полезно припомнить разнообразную полемику, происходившую въ виду могилъ другихъ, недавно умершихъ, большихъ нашихъ писателей,—Достоевскаго, Тургенева. Передъ гробомъ Островскаго всѣ одинаково почтительно преклонились, безъ оговорокъ, безъ споровъ. Правда, одна газетка («С.-Петербургскія Вѣдомости») попробовала пискнуть что-то на ту тему, что, дескать, только высшіе «культурные» классы способны дать настоящій матеріалъ для драмы, а творчество Островскаго всегда вращалось въ низменныхъ общественныхъ сферахъ. Но этотъ пискъ якобы аристократической души г. Авсѣенки такъ и заглохъ среди презрительныхъ насмѣшекъ и, такимъ образомъ, въ счетъ идти не можетъ. Это даже не исключеніе. Это — такъ, соринка...

Такимъ образомъ, не только всѣми одинаково признана тяжелая утрата, понесенная русской литературой, но и скорбь объ ней и мотивы скорби изложены въ самыхъ разнообразныхъ органахъ чуть не одними и тѣми же словами. Все это показываетъ, до какой степени Островскій былъ ясенъ, до какой степени въ немъ разъяснять нечего. Всѣ, вызванныя его внезапною смертью, статьи, замѣтки, некрологи почти дословно повторяютъ другъ друга. Это зависитъ, конечно, не отъ безспорности огромнаго таланта покойника: изъ ряда вонъ выходящіе таланты другихъ недавнихъ покойниковъ, Тургенева и Достоевскаго, столь же несомнѣнны, и, однако, копій изъ-за нихъ переломано было не мало. Не о степени ихъ талантливости препирались, а объ чемъ-то другомъ,—о нѣкоторыхъ чертахъ ихъ писательской индивидуальности вообще.

Въ чемъ же состоятъ главныя черты писательской индивидуальности Островскаго и почему она не вызываетъ страстныхъ споровъ и рѣзкихъ разногласій?

Возстановляя въ своей памяти длинный—длинный рядъ героевъ и героинь Островскаго, невольно представляешь ихъ себѣ снабженными либо волчьимъ ртомъ, либо лисьимъ хвостомъ, либо тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. Психологія насилія и обмана въ ихъ бытовой русской формѣ,—этимъ исчерпывается содержаніе чуть не всѣхъ произведеній Островскаго и, во всякомъ случаѣ, всѣхъ тѣхъ, которыя еще долго, долго будутъ намъ напоминать его, которыя для него наиболѣе характерны и въ то же время составляютъ по истинѣ драгоцѣнный вкладъ въ русскую литературу и сценическое искусство. Историческія драмы или «драматическія хроники» Островскаго, равно какъ и фантастически - поэтическая «Снѣгурочка», обладая большими достоинствами, не оригинальны и не характерны для литературной

*) 1886, іюнь.

физіономіи покойника. Это просто экскурсіи въ сторону отъ прямого пути, навѣянныя готовыми образцами. Вся сила Островскаго заключается именно въ психологіи насилія и обмана въ ихъ русской формѣ, и надо удивляться той неистощимости творчества и той тонкости анализа, съ которыми онъ строилъ свои чуть не безчисленныя художественныя комбинаціи волчьяго рта и лисьяго хвоста. Говорю «чуть не безчисленныя», потому что, сосчитавъ даже всѣхъ дѣйствующихъ лицъ произведеній Островскаго, мы получимъ цифру, далеко не выражающую количества отмѣченныхъ имъ комбинацій насилія и обмана. Есть, правда, въ его обширной портретной галлереѣ люди, которые всю жизнь почти исключительно только насильничаютъ, есть и такіе, въ жизни которыхъ столь же преобладающую черту составляетъ обманъ. Но такихъ сравнительно немного. Островскій понималъ, что насиліе не есть признакъ или выраженіе настоящей внутренней силы, которой нѣтъ надобности прибѣгать къ подлому обману, иной разъ, дескать, невольному, естественному, невмѣняемому оружію слабости. Напротивъ того, волчья пасть, разъ уже она обезобразила ликъ человѣческій, пополняется лисьимъ хвостомъ, какъ своимъ логически необходимымъ спутникомъ. Для уразумѣнія всей безконечной перспективы вытекающихъ отсюда психологическихъ комбинацій, надо понимать дѣло такъ-же тонко, какъ его понималъ или чуялъ Островскій. Насильникъ опирается не на себя, а на случайныя внѣшнія условія, дающія ему извѣстныя преимущества. Самый элементарный случай этого рода представляютъ экономическія условія. Но ими далеко не исчерпывается поприще насилія. Насильничать можно и на совсѣмъ иной почвѣ, напримѣръ, на почвѣ сложныхъ семейныхъ отношеній, куда входятъ такіе сильные мотивы, какъ родительская любовь, сыновняя преданность, любовь къ женщинѣ и т. п. Дѣло, впрочемъ, не въ этомъ, а въ томъ, что, каковы бы ни были внѣшнія условія, на которыя опирается насильникъ, разъ эти условія почему нибудь отпадаютъ или колеблятся, — на мѣсто волчьяго рта является лисій хвостъ. Точно также и наоборотъ, униженный представитель обмана, какъ только ему представляется случай, превращается въ наглаго насильника, причемъ формы насилія оказываются чрезвычайно разнообразными. Вотъ плутъ и мошенникъ, который прямо-таки кулакомъ гонитъ свою жертву, куда хочетъ, да еще издѣвается надъ ней. Вотъ пустая бабенка, не кулакомъ, а пиленіемъ и подлою игрою на слабости и деликатности мужа загоняющая его на ненавистную ему службу. Вотъ насильникъ, которому наплевать на душу жертвы и который требуетъ только внѣшняго почитанія и покорности, — люби не люби, да почаще взглядывай; не уважай, да кланяйся; при людяхъ примѣръ покажи. Вотъ другой, можетъ быть, еще болѣе возмутительный, потому что онъ, какъ есть въ сапогахъ, въ душу жертвы лѣзетъ и распоряжается тамъ, какъ у себя дома: люби, да не меня еще одного люби, а и тѣхъ, кого я прикажу любить, хоть бы они тебѣ жизнь отравили... И вдругъ опять перемѣна: опять слѣды крови сердца, пролитой волчьей пастью, заметаются лукаво виляющимъ лисьимъ хвостомъ...

Высокій комическій талантъ Островскаго и тонкое пониманіе психологіи обмана и насилія давали ему возможность съ необыкновенною жизненностью рисовать эти переходы, которые у всякаго другого, даже большого писателя, рисковали бы оказаться фальшивыми, дѣланными. Но ему не чужда была и глубоко-трагическая струя. Въ числѣ его героевъ и героинь есть не мало такихъ, которые изнемогаютъ отъ плаванія въ безбрежномъ морѣ наглаго издѣвательства и подлой лжи, изнемогаютъ и — тонутъ въ пьяномъ разгулѣ, какъ Любимъ Торцовъ («Бѣдность не порокъ»), въ сумасшествіи, какъ Кисельниковъ («Пучина»), прямо въ рѣкѣ, какъ Катерина («Гроза»). Иныхъ вывозитъ слѣпой случай. Такъ Аннушкѣ («На бойкомъ мѣстѣ») не удается отравиться...

Въ послѣднее время талантъ Островскаго какъ бы нѣсколько поблекъ. Съ этимъ соглашались самые горячіе его почитатели и часто находили возможнымъ хвалить только его удивительный языкъ. Дѣйствительно, языкъ Островскаго до конца дней его оставался образцовымъ русскимъ языкомъ, сильнымъ, мѣткимъ, образнымъ, и едва-ли кто нибудь изъ самыхъ крупныхъ нашихъ писателей можетъ съ нимъ въ этомъ отношеніи помѣряться. Но я не думаю, чтобы талантъ Островскаго подъ конецъ жизни въ самомъ дѣлѣ ослабѣлъ, по крайней мѣрѣ, въ такой степени, какъ это принято думать. Дѣло въ томъ, что литературная дѣятельность Островскаго, главнымъ образомъ, захватываетъ дореформенную Россію. Я говорю, конечно, не о времени, въ которое написаны его произведенія, а о его дѣйствующихъ лицахъ, не затронутыхъ или почти незатронутыхъ разнообразными, сложными вѣяніями—хорошими и дурными, подлинными и фальшивыми, крупными и мелочными, — которыя мы пережили въ послѣднюю четверть вѣка. Островскій понималъ, что къ концу этой четверти вѣка семейная драма, не осложненная всѣми этими вѣяніями, не отразив-

шая ихъ на себѣ, какъ бы она ни была высока и многознаменательна въ общемъ смыслѣ, не можетъ уже представить столь полную картину русской жизни. Но оріентироваться въ этой сложной, запутанной сѣти онъ не могъ (отнюдь, я думаю, не вслѣдствіе ослабленія таланта). Онъ пробовалъ, искалъ,—гдѣ же теперь интересныя и характерныя формы насилія и обмана,— и было бы очень любопытно прослѣдить эти поиски въ его позднѣйшихъ произведеніяхъ, но это заняло бы у насъ слишкомъ много времени, а смерть Островскаго наступила такъ внезапно, что заранѣе приготовиться къ такому изслѣдованію не было возможности. Во всякомъ случаѣ, поиски не удались, и спеціальность комедіи Островскаго— волчій ротъ и лисій хвостъ осталась въ его позднѣйшихъ произведеніяхъ всетаки въ рамкахъ старой семейной драмы, въ формѣ, отвлеченной отъ злобы дня. Въ этомъ, безъ сомнѣнія, и заключается причина отсутствія какихъ-бы то ни было разногласій на его могилѣ. Изображеніе отвлеченнаго насилія и отвлеченной лжи не можетъ возбуждать страсти и споры, ибо даже завѣдомый насильникъ и лжецъ устыдится предъявить публично свою душу въ обнаженномъ состояніи. Другое дѣло, если представляется возможность закутать ее въ какую-нибудь нравственно-политическую доктрину, пользующуюся въ данную минуту кредитомъ

Какъ-бы то ни было, но Островскій десятки лѣтъ неустанно творилъ, неустанно дѣлалъ великое, доброе дѣло; и, помимо высокой художественной цѣны его произведеній, всякій, испытавшій на себѣ, что значатъ волчій ротъ и лисій хвостъ,—а мало-ли такихъ, испытавшихъ?!—скажетъ: миръ праху твоему, борецъ за оскорбленную, попранную насиліемъ и обманомъ душу человѣческую!

Когда я писалъ давеча объ языкѣ Островскаго, я тогда же подумалъ о гр. Толстомъ; собственно не объ немъ, а по поводу его, объ удивительной, до отвращенія съ одной стороны и до комизма съ другой, чертѣ холопства, можетъ быть и всему человѣчеству свойственной, а, можетъ быть, особенно условіями русской жизни воспитанной. Дѣло въ томъ, что языкъ Толстого чрезвычайно небреженъ, тяжелъ, даже просто неправиленъ; это скрадывается для читателя силою и яркостью художественныхъ образовъ Толстого, но изъ этого великаго достоинства не слѣдуетъ всетаки, чтобы надо было восхищаться тѣмъ, что никакого восхищенія не заслуживаетъ. А, между тѣмъ, вовсе не рѣдкость услышать шаблонно-восторженную похвалу и языку Толстого, потому—нельзя: Толстой!

Мнѣ разсказывали забавный эпизодъ, вѣрность котораго самъ я, къ сожалѣнію, не удосужился провѣрить, хоть это вовсе не трудно. Въ нѣкоторой рецензіи была приведена выписка изъ разбираемой книги; выписка состояла изъ военно-бытовой сцены и сопровождалась такимъ, приблизительно, замѣчаніемъ рецензента: «можно-ли писать такія грубыя, не художественныя сцены, послѣ того, какъ гр. Толстой въ «Войнѣ и мирѣ» далъ намъ такіе высокіе образцы для этого жанра?» Оказалось, однако, впослѣдствіи, что обруганная сцена взята именно у Толстого, объ чемъ авторъ или составитель разбираемой книги не упомянулъ, ибо книга его есть не болѣе, какъ христоматія или сборникъ отрывковъ изъ разныхъ писателей. Столь велика сила холопства!

Давно-ли мы носились съ Достоевскимъ? Давно-ли величали его «пророкомъ божіимъ», «духовнымъ вождемъ русскаго народа», «великимъ учителемъ»? Давно-ли казалось неслыханною дерзостью сказать объ немъ трезвое слово? А теперь и помину нѣтъ объ «учителѣ», и право, кажется, еслибы не отраженіе интереса, возбужденнаго Достоевскимъ во Франціи, такъ мы его совсѣмъ забыли бы, не только, какъ учителя, а и какъ высоко даровитаго романиста. Во всякомъ случаѣ, слѣдовъ учительства Достоевскаго не осталось никакихъ. Le roi est mort! Поплакали, поболтали, ну и будетъ. Vive le roi—Толстой! И вотъ мы стучимъ лбомъ передъ Толстымъ, хотя между его проповѣдью и проповѣдью Достоевскаго весьма мало общаго.

На этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ стоитъ немножко остановиться. Часто можно услышать мысль, что вотъ, дескать, какъ одинаково кончаютъ великіе русскіе писатели: Гоголь, Достоевскій, Толстой. Говорится это иногда съ прискорбіемъ, иногда съ какимъ-то страннымъ торжествомъ, иногда, что называется, объективно, то есть какъ бы просто указывается несомнѣнный фактъ. Между тѣмъ, дѣйствительно фактическая общая скобка, за которую могутъ быть поставлены три упомянутые писателя, заслуживаетъ не голословнаго утвержденія, съ сочувствіемъ или прискорбіемъ выраженнаго, а въ самомъ дѣлѣ вниманія. И Гоголь, и Достоевскій, и Толстой, достигнувъ апогея своей художественной славы, почувствовали потребность учительства. Однако, содержаніе ихъ поученій одинаково только въ самомъ общемъ, расплывающемся смыслѣ словъ. Всѣ они учатъ любви къ ближнему, —но кто же этому не учитъ? Всѣ они опираются на христіанство, но какъ различно, какъ неизмѣримо различно и произвольно толкуетъ каждый изъ нихъ по своему это ученіе! Толстой, напримѣръ, вычиталъ въ

евангеліи для себя обязанность отказаться отъ участія въ судѣ и дѣйствительно какъ описывалось въ газетахъ, публично отказался отъ обязанности присяжнаго засѣдателя, хотя на самомъ дѣлѣ ничего подобнаго въ евангеліи нѣтъ. Это вяжется и съ общимъ ученіемъ Толстого о непротивленіи злу, тоже будто бы коренящемся въ христіанствѣ, причемъ Толстой натурально избѣгаетъ упоминать объ эпизодѣ изгнанія торгующихъ изъ храма. Достоевскій, напротивъ того, будучи тоже горячимъ, на словахъ по крайней мѣрѣ, проповѣдникомъ евангельскаго ученія, не только не отговаривалъ людей отъ принятія на себя роли судей, но требовалъ, чтобы они судили строже, какъ можно строже, ссылали бы преступниковъ на каторгу, ибо, дескать, только каторга можетъ очистить ихъ грѣшныя души. Это вѣдь все почти подлинныя слова Достоевскаго. Толстой ратуетъ противъ войны и даже ношенія оружія. Достоевскій требовалъ завоеванія Константинополя силою оружія. Это не мелкія частности, это мысли, находящіяся въ самыхъ центрахъ поученій Достоевскаго и Толстого, которыя не только не одинаковы, но радикально противоположны другъ другу, и ужъ если разбивать себѣ лобъ передъ учителемъ, такъ надо выбирать либо того, либо другого хоть на сколько-нибудь продолжительное время, а не такъ, чтобы не успѣть еще сапоги износить, въ которыхъ шелъ за гробомъ одного...

Я думаю, это битье лбомъ играетъ значительную роль въ томъ печальномъ концѣ, къ которому пришли и Гоголь, и Достоевскій, и Толстой, а конецъ этотъ, разумѣется, очень печаленъ. Оставимъ въ покоѣ Гоголя, относительно котораго сомнѣній, кажется, нѣтъ. Но вотъ Достоевскій. Подъ конецъ его жизни онъ, какъ учитель, былъ превознесенъ не ниже облака ходячаго и, во всякомъ случаѣ, выше лѣса стоячаго. Дѣлалось это частью изъ искренняго холопства, хотя и скоропреходящаго, какъ всякое холопство, частью по разнымъ стороннимъ соображеніямъ, ради, напримѣръ, нехорошаго полемическаго пріема и т. п. Все это продолжалось и нѣкоторое время послѣ смерти Достоевскаго. Но вотъ теперь, когда напускная волна схлынула и успѣлъ объявиться уже новый кумиръ, спокойно выплываетъ наружу истина, которая, конечно, и въ свое время многимъ была извѣстна. Недавно г. Лѣсковъ напечаталъ въ «Новостяхъ» исторію кухоннаго мужика (или «куфельнаго мужика», какъ съ обычною своею вычурностью предпочитаетъ выражаться г. Лѣсковъ), фигурирующаго въ «Смерти Ивана Ильича». Намъ все равно, справедливы ли предположенія г. Лѣскова, по которымъ онъ идею и даже образъ этого мужика приписываетъ Достоевскому. Но любопытно, что онъ, въ качествѣ очевидца и ссылаясь на другихъ очевидцевъ, разсказываетъ какую роль Достоевскій съ своимъ пророчески-учительскимъ видомъ игралъ въ великосвѣтскихъ салонахъ. Обидно и больно читать про это униженіе одного изъ крупнѣйшихъ представителей русскаго печатнаго слова, серьезно увѣровавшаго, что онъ пророкъ и учитель...

Кстати о «Смерти Ивана Ильича». Вслѣдствіе все той же, можетъ быть и всему человѣчеству свойственной, а можетъ быть особенными условіями русской жизни воспитанной черты, можно было такъ и ожидать, что все, вышедшее теперь изъ подъ пера Толстого, будетъ встрѣчено восторгами неумѣренными. Но дѣйствительность превзошла всякія ожиданія. «Смерть Ивана Ильича» объявлена чѣмъ то небывалымъ въ русской литературѣ, чѣмъ то такимъ, послѣ чего всѣмъ беллетристамъ надо бросить писать, а на словахъ я слышалъ даже такой отзывъ: «прочитавъ эту вещь, жить нельзя». И, однако, говорящіе это продолжаютъ жить, а пишущіе продолжаютъ писать. Оно и понятно, потому что все это напускной вздоръ, надъ которымъ будущій историкъ русской литературы отъ души посмѣется. «Смерть Ивана Ильича» безъ сомнѣнія прекрасный разсказъ, но сказать, что это нѣчто въ родѣ знаменитаго Коинура среди брильянтовъ русской литературы, въ числѣ которыхъ есть и Толстовскіе, можно только въ нѣкоторомъ одурѣніи чувствъ, въ томъ одурѣніи, когда человѣкъ, желая молиться, разбиваетъ себѣ лобъ. Суживая поле сравненія до произведеній самого гр. Толстого и выбирая и изъ нихъ только описанія смерти съ перспективами въ прошлую жизнь умирающаго; припоминая смерть барыни, мужика и дерева въ «Трехъ смертяхъ», смерть старика Безухова, старшаго и младшаго Болконскаго, Каратаева въ «Войнѣ и мирѣ», смерть барина и лошади въ «Холстомѣрѣ»; припоминая все это, всякій непредубѣжденный человѣкъ скажетъ, что и въ этихъ предѣлахъ «Смерть Ивана Ильича» не есть первый номеръ, ни по художественной красотѣ, ни по силѣ и ясности мысли, ни наконецъ по безстрашному реализму письма, хотя Иванъ Ильичъ и совершаетъ въ разсказѣ нѣкоторыя неудобоназываемыя отправленія.

Вернемся къ положенію великаго учителя. Гр. Толстому не грозитъ, конечно, нелестная роль профета великосвѣтскихъ салоновъ,—онъ ихъ достаточно хорошо знаетъ, чтобы умѣть себя тамъ держать. Не грозитъ, надо надѣяться, и многое другое, что

подъяли и Гоголь, и Достоевскій, начавъ смиреніемъ и приглашеніемъ другихъ къ смиренію и окончивъ ханжескимъ самодовольствомъ богозванцевъ. И однако, къ несчастію, всетаки именно около этого мѣста надо искать той общей скобки, за которую могутъ быть поставлены Гоголь, Достоевскій и гр. Толстой. Не какъ представитель извѣстной доктрины родственъ гр. Толстой Гоголю и Достоевскому, а какъ психологическій типъ,—типъ, сотканный изъ противорѣчій смиренія и гордости, разговоровъ объ огромномъ журавлѣ въ небѣ и спокойнаго обладанія жалкой синицей въ рукахъ, теоретическихъ объятій, раскрываемыхъ всему человѣчеству, и практическаго резонерства въ видахъ собственнаго самодовольства.

Затѣмъ общее у Гоголя, Достоевскаго и Толстого—огромность ихъ именъ, набирающая имъ слушателей и послѣдователей, совсѣмъ независимо отъ характера или содержанія ихъ проповѣди.

Я не теряю надежды, что борьба, издавна происходящая между шуйцей и десницей гр. Толстого, еще не кончена, что онъ опять предстанетъ намъ дѣйствительно въ мѣру своей огромной силы, но пока солнце взойдетъ, роса очи выѣстъ. Богъ его знаетъ, когда еще онъ отречется отъ своего теперешняго, какъ отрекался не одинъ разъ, какъ отрекается и теперь отъ своего прошлаго, а тѣмъ временемъ люди слушаютъ, поучаются. За что же ихъ на соблазнъ оставлять?

Уже послѣ того, какъ былъ написанъ прошлый дневникъ, я имѣлъ удовольствіе прочитать одно, до тѣхъ поръ неизвѣстное мнѣ, произведеніе Л. Н. Толстого. Говорю «имѣлъ удовольствіе» не потому, чтобы былъ согласенъ съ изложенными въ томъ произведеніи идеями, а потому, что тамъ есть хорошая страничка, лично касающаяся Толстого. Онъ задаетъ самъ себѣ вопросъ: «Ну, а вы, Л. Н., проповѣдывать вы проповѣдуете, а какъ исполняете?» И отвѣчаетъ, между прочимъ, такъ: «Я не проповѣдую и не могу проповѣдывать, хотя страстно желаю этого. Проповѣдывать я могу дѣломъ, а дѣла мои скверны... Я виноватъ и гадокъ и достоинъ презрѣнія за то, что не исполняю, но притомъ, не столько въ оправданіе, сколько въ объясненіе непослѣдовательности своей, говорю: посмотрите на мою жизнь прежнюю и теперешнюю, и вы увидите, что я пытаюсь исполнять. Я не исполнилъ и $^1/_{10\cdot000}$, это правда, и я виноватъ въ этомъ, но я не исполнилъ не потому, что не хотѣлъ, а потому, что не умѣлъ. Научите меня какъ выпутаться изъ сѣти соблазиовъ, охватившихъ меня, помогите, и я исполню, но и безъ помощи я хочу и надѣюсь исполнить».

Эти прекрасныя по несомнѣнно-искреннему самообличенію слова были написаны гр. Толстымъ пожалуй не особенно давно, но въ то-же время — боже! какъ давно!.. Это писано тогда, когда графъ Толстой еще только становился на стезю великаго учителя. Теперь, какъ мы видѣли, онъ уже не такъ говоритъ: и содержаніе не то, и пріемъ, манера говорить не та. Теперь онъ заявляетъ: «Всѣ сложныя, разрозненныя, запутанныя и безсмысленныя явленія жизни, окружавшія меня, вдругъ стали ясны, и мое, прежде странное и тяжелое, положеніе среди этихъ явленій вдругъ стало естественно и легко. И въ новомъ положеніи этомъ опредѣлилась совершенно точно моя новая дѣятельность, совсѣмъ не та, какая представлялась мнѣ прежде, но дѣятельность новая, гораздо болѣе спокойная, любовная и радостная».

Кончены. значитъ, многолѣтнія и многосложныя душевныя страданія гр. Л. Н. Толстого. Онъ нашелъ тихую пристань, гдѣ все добро зѣло, гдѣ онъ безъ угрызеній совѣсти любуется плодами рукъ своихъ. Ему не у кого просить помощи въ дѣлѣ «выпутыванія изъ сѣти соблазновъ, охватившихъ его». Онъ самъ всякому поможетъ, всякаго научитъ. Онъ доволенъ собой. Онъ заявляетъ это на всю Россію, и кому же лучше знать это, какъ не ему самому!

Посмотримъ же, чѣмъ именно самодоволенъ гр. Толстой, въ чемъ состоитъ та новая, спокойная, любовная и радостная дѣятельность, которая низводитъ миръ въ его душу. Напомню предварительно читателю сказанное въ прошломъ дневникѣ, а именно: выйдя на новый путь, графъ до такой степени проникся его правильностью и высшею справедливостью, что спокойно смотритъ на распространеніе тысячами экземпляровъ въ новомъ изданіи его прежнихъ заблужденій, тѣхъ произведеній, которыя нынѣ представляются ему переполненными лжи. Ложь отъ его имени распространяется, но это ничего, онъ всетаки своей правдой доволенъ.

Обзоръ новой дѣятельности гр. Толстого начнемъ съ пункта, который самъ онъ не считаетъ, можетъ быть, наиболѣе важнымъ. А впрочемъ не знаю. Во всякомъ случаѣ, онъ не хочетъ больше писать романы и повѣсти для насъ, онъ пишетъ теперь для народа; это больше удовлетворяетъ его совѣсть и, конечно, составляетъ одну изъ подробностей его новаго пути. По старой памяти о гр. Толстомъ, какъ всетаки главнымъ образомъ о писателѣ и именно беллетристѣ, съ новыхъ, народныхъ разсказовъ

мы и начнемъ. Я не знаю, нужно ли оговаривать, что сама по себѣ роль писателя для народа велика, благородна и благодарна, что мы можемъ жалѣть объ томъ, что гр. Толстой не находитъ времени или не чувствуетъ желанія продолжать свою прежнюю поэтическую дѣятельность, но за народъ можемъ только радоваться. Такъ въ принципѣ, а затѣмъ дѣло въ исполненіи. Сравнивать толстовскіе разсказы съ манухинскими и леухинскими изданіями мы, разумѣется, не будемъ. Тутъ совсѣмъ различныя мѣрки нужны.

Прежде всего надо отмѣтить элементъ чудеснаго. господствующій въ большинствѣ народныхъ разсказовъ гр. Толстого. Въ разсказѣ «Чѣмъ люди живы» дѣйствующимъ лицомъ является ангелъ. Въ «Свѣчкѣ» не гаснетъ на вѣтру и отъ сотрясенія восковая свѣча. Въ «Двухъ старикахъ» одинъ изъ стариковъ чудеснымъ образомъ является другому старику, притомъ въ такомъ видѣ, что «руки развелъ, какъ священникъ у алтаря»; кромѣ того у него «вокругъ головы золотыя пчелки въ вѣнецъ свились, вьются, а не жалятъ его». Въ разсказѣ «Гдѣ любовь, тамъ и Богъ» фигурируютъ видѣнія. Въ разсказѣ «Три старца» старцы по водѣ ходятъ. Съ другой стороны въ одномъ изъ «текстовъ къ лубочнымъ картинамъ» («Вражье лѣпко, а Божье крѣпко») дѣйствуетъ дьяволъ, а въ «Сказкѣ объ Иванѣ дурачкѣ» и проч. черти играютъ чрезвычайно даже большую роль, причемъ они являются во всей чертовской формѣ, съ хвостами, лапами и проч.

Всѣ эти фантастическіе образы вызываются изъ царства небытія въ качествѣ аксессуаровъ для иллюстрацій извѣстныхъ моральныхъ положеній. Блюстители чистой эстетики натурально недовольны всѣмъ этимъ. Вотъ, напримѣръ, какъ выражается Ѳ. И. Буслаевъ: «Гр. Толстой въ теченіе послѣднихъ годовъ безжалостно размѣнивалъ свое великое поэтическое дарованіе на грошовую мелочь азбучной морали, схоластическихъ толкованій и разныхъ назидательныхъ опытовъ и попытокъ... А эти побасенки объ ангелѣ въ подмастерьяхъ у сапожника, о лучезарномъ русскомъ мужичкѣ въ іерусалимскомъ храмѣ передъ гробомъ Господнемъ, и вся эта промзглая елейность напускной тенденціозной морали? Развѣ это та высокая, глубоко захватывающая душу правда жизни, которую съ такою безпримѣрною искренностью открывалъ передъ нами нашъ любимый поэтъ въ своихъ превосходныхъ романахъ? Эта-то ненамѣренная безсознательная фальшь и есть то роковое возмездіе, которое караетъ поэта за его самоотреченіе». Я цитирую по одной статьѣ «Новостей», которая вполнѣ сочувственно относится къ словамъ Буслаева. Мы не раздѣляемъ этого сочувствія, не раздѣляемъ того мнѣнія, будто выбирать поэтическую форму для распространенія истины, значитъ размѣнивать талантъ на грошовую мелочь азбучной морали. Мы думаемъ также, что въ старыхъ, по истинѣ прекрасныхъ произведеніяхъ графа Толстого поэтическая форма отнюдь не была чѣмъ-нибудь самодовлѣющимъ, а служила лишь именно формой для извѣстнаго содержанія. Теперь графъ Толстой намѣтилъ себѣ другую аудиторію, болѣе обширную, иными людьми посѣщаемую, и это натурально должно отразиться какими нибудь измѣненіями на его поэтическихъ пріемахъ. Но любопытно было бы знать, чѣмъ эти измѣненія оправдываются. Почему гр. Толстой, пиша для насъ, для «общества», для такъ называемыхъ цивилизованныхъ и образованныхъ людей, щеголяетъ самымъ крайнимъ реализмомъ, а народу несетъ всякую чертовщину и всякія таинственности, какихъ въ дѣйствительной жизни не бываетъ. Чѣмъ это лучше? Почему это нужно? Плохъ что-ли ужь очень народъ, что ему внушить какую нибудь идею или вызвать въ немъ какое нибудь чувство нельзя простымъ изображеніемъ жизни, какъ она есть, и какъ намъ, людямъ образованнымъ, рисуетъ ее тотъ же графъ Толстой? Я бы ничего, конечно, не сказалъ, еслибы въ народныхъ разсказахъ Толстого разъ-другой проскользнулъ элементъ сверхъестественной таинственности. Не обрушиваться же, напримѣръ, на Шекспира за тѣнь отца Гамлета и за вѣдьмъ, пророчествующихъ Макбету, или на Гете за Мефистофеля. Эти образы изъ міра небытія сами по себѣ не мѣшаютъ глубокой правдѣ поэтическаго изображенія жизни, въ особенности, когда мы можемъ отлично истолковать появленіе тѣней и вѣдьмъ галлюцинаціями, а въ Мефистофелѣ усмотрѣть фантастическое воплощеніе отвлеченнаго начала. Но гр. Толстому, художнику, конечно, давно вполнѣ опредѣлившемуся, этотъ пріемъ, вообще говоря, совсѣмъ не свойственъ. Ни въ одномъ изъ его произведеній, написанныхъ для насъ (со включеніемъ новѣйшаго—«Смерти Ивана Ильича») нѣтъ никакихъ аллегорическихъ фигуръ, видѣній, чудесныхъ явленій и совпаденій. Наоборотъ, изъ разсказовъ для народа найдется всего два-три, въ которыхъ всего этого добра нѣтъ. Гр. Толстой даетъ, повидимому, и другимъ толчокъ въ этомъ направленіи, какъ можно судить по книжкамъ для народа, издаваемымъ фирмою «Посредникъ». Это уже выходитъ цѣлая система, обдуманный планъ дѣйствія, а не случай-

ность и не внутренняя потребность или особенность таланта.

Такимъ образомъ, намъ, «обществу», которое слышитъ отъ гр. Толстого столько горькихъ истинъ, рядомъ съ упреками даже несправедливыми,—правда самая обнаженная, а народу, теоретически возвеличиваемому,—неправда самая фантастическая. Неправда эта не ограничивается нагроможденіемъ чудесъ, равно какъ и даруемая намъ правда не ограничивается строгою реальностью образовъ. Намъ, «обществу», предлагается жизнь, какъ она есть, во всей ея сложности, со всѣмъ тѣмъ переплетомъ добра и зла, въ которомъ одолѣваетъ то тьма, то свѣтъ, то полутѣни, тогда какъ народу дается картина жизни въ такомъ освѣщеніи, будто добродѣтель всегда торжествуетъ, а порокъ всегда наказывается. Любопытно однако, что этотъ утѣшительный результатъ достигается, главнымъ образомъ, именно при помощи фантастическихъ существъ, вызываемыхъ изъ области небытія какъ будто именно для этой цѣли, такъ что, не будь ихъ, добродѣтель пожалуй что и не восторжествовала бы, а порокъ, пожалуй, остался бы безъ наказанія.

Могутъ замѣтить, что Толстой, смотря на народъ отнюдь не сверху внизъ (онъ такъ часто заявляетъ это), этими чертами своей народной беллетристики имѣетъ въ виду лишь приноровиться къ существующему уже складу народныхъ понятій. Не въ томъ, дескать, дѣло, что понятія эти въ томъ или другомъ отношеніи выше или ниже нашихъ понятій, а въ томъ, что они существуютъ и съ ними надо, значитъ, считаться, если мы хотимъ говорить съ народомъ. Вообще говоря, это соображеніе, конечно, справедливо, но я полагаю, что оно, во-первыхъ, одностороннее, а во-вторыхъ, не вполнѣ къ данному случаю приложимо.

Фирма «Посредникъ», издающая, между прочимъ, народные разсказы Толстого, печатаетъ въ послѣднее время объявленія, изъ которыхъ видно, что на будущее время она не желаетъ ограничиваться «отдѣлами беллетристическимъ и духовно-нравственнымъ», а думаетъ издать рядъ брошюръ съ «практическими и элементарно-научными свѣдѣніями». «Посредникъ» обращается за помощью ко «всѣмъ лицамъ, стоящимъ близко къ народу», и проситъ ихъ отвѣтить на три вопроса, изъ которыхъ второй гласитъ слѣдующее: «Въ окружающей васъ мѣстности—какіе изъ самыхъ грубыхъ предразсудковъ или суевѣрій требуютъ настоятельнаго и немедленнаго разъясненія и возможно ли разъясненіе ихъ или, по крайней мѣрѣ, помощь въ разъясненіи ихъ, путемъ литературы?»—Я полагаю, что вѣра во всякаго рода фантомы составляетъ повсемѣстно одинъ изъ главныхъ видовъ предразсудка и суевѣрія, съ которымъ придется бороться «Посреднику», тому самому «Посреднику», который, издавая фантастическіе разсказы гр. Толстого и другихъ въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ, самъ сѣетъ суевѣрія и предразсудки.

Спрашивается, можетъ ли суевѣріе и предразсудокъ составлять ту почву, на которую необходимо встать для собесѣдованія съ народомъ? Я ничего не говорю о чисто сказочной формѣ, къ которой прибѣгаетъ Толстой, напримѣръ, въ «Сказкѣ объ Иванѣ-дуракѣ и его двухъ братьяхъ». Тамъ все содержаніе равномѣрно фантастическое, какъ и въ чисто народныхъ сказкахъ, и никого въ недоразумѣніе ввести не можетъ. Но совсѣмъ другое дѣло, когда намъ разсказываютъ дѣйствительное происшествіе или, по крайней мѣрѣ, со всѣми признаками дѣйствительности, притомъ разсказываютъ такъ, какъ умѣетъ дѣлать это Толстой, такъ что люди передъ нами, какъ живые стоятъ, и въ то же время пускаютъ въ эту реальную картину рѣзкую струю фантома.

Возьмемъ какой нибудь изъ разсказовъ Толстого, напримѣръ, «Свѣчку». И хотя вы навѣрное уже читали эту «Свѣчку», такъ какъ она сначала, кажется, въ приложеніяхъ къ «Недѣлѣ» была напечатана, потомъ отдѣльно издана «Посредникомъ» и теперь въ XII томъ вошла, но всетаки не полѣнитесь прочитать ее еще разъ вмѣстѣ со мной.

Жилъ былъ въ крѣпостное время жестокій управляющій господскимъ имѣніемъ. Гр. Толстой (и это не безъинтересно замѣтить) настаиваетъ на томъ, что этотъ жестокій человѣкъ былъ не «господинъ», а только управляющій, и притомъ самъ изъ крѣпостныхъ. Тиранилъ онъ крестьянъ сверхъ всякой мѣры, такъ что они одинъ разъ даже сговорились было убить его, но струсили, а онъ еще пуще сталъ тиранствовать и придумалъ, наконецъ, послать ихъ на второй день святой недѣли на барщину, подъ овесъ землю пахать. Опять мужики заговорили, что убить управляющаго надо. Но тутъ вступился «смирный мужикъ» Петръ Михѣевъ. Сталъ отговаривать: «Грѣхъ вы, братцы, великій задумали... Терпѣть, братцы, надо... Человѣка убить—душу себѣ окровянить. Ты думаешь — худого человѣка убилъ, думаешь—худо извелъ, анъ глядь, ты въ себѣ худо злѣе того завелъ. Покорись бѣдѣ, и бѣда покорится».—Такъ ни на чемъ мужики и не порѣшили, а на второй день свѣтлаго праздника ихъ на работу всетаки выгнали. Самъ управляющій напился, наѣлся, сидитъ дома, благодушествуетъ и шлетъ старосту посмотрѣть

хорошо ли мужики работаютъ, да послушать, что они про него, управляющаго, говорятъ. Докладываетъ староста, что работать работаютъ, а только шибко ругаются. Такъ, между прочимъ, выразили пожеланіе, *«чтобъ у него* (управляющаго) *пузо лопнуло и утроба вытекла»*. На это управляющій только захохоталъ: «посмотримъ говоритъ, у кого прежде вытекетъ». Всѣ ругаются, кромѣ смирнаго мужика, Петра Михѣева. Тотъ чудное дѣлаетъ: прилѣпилъ къ сохѣ пятикопѣечную свѣчку и пашетъ, а самъ воскресные стихи поетъ; вѣтеръ дуетъ—свѣчку не задуваетъ, Петръ соху заворачиваетъ и отряхаетъ—свѣчкѣ ничего не дѣлается, все горитъ. Подошли мужики, *смѣются* надъ Петромъ, что, дескать, не замолить ему такого грѣха,—въ свѣтлый праздникъ пашетъ, а Михѣичъ только и сказалъ: «на землѣ миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе» и опять сталъ пахать и пѣть, а свѣчка все не гаснетъ.—Выслушавъ этотъ разсказъ старосты, жестокій управляющій призадумался; веселое времяпровожденіе бросилъ, легъ въ постель, стонетъ, вздыхаетъ, говоритъ: «Побѣдилъ онъ меня, побѣдилъ, пропалъ я». Наконецъ, по совѣту жены, рѣшилъ ѣхать самъ въ поле отпустить мужиковъ. Но тутъ и случилась съ нимъ бѣда. Поѣхалъ онъ верхомъ, лошадь свиньи испугалась, онъ и «перевалился пузомъ на частоколъ. *Одинъ былъ только въ частоколѣ колъ заостренный сверху, да и повыше другихъ. И попади онъ пузомъ прямо на этотъ колъ. И пропоролъ себѣ брюхо,* свалился на земь. Пріѣхали мужики съ пахоты, фыркаютъ, не идутъ лошади въ ворота. Поглядѣли мужики, лежитъ навзничь Михаилъ Семенычъ, руки раскинуты, и глаза остановились, и *нутро все на землю вытекло*, и кровь лужей стоитъ». Ну, «смирный мужикъ», у котораго свѣчка не гаснетъ, конечно, свезъ покойника домой; добрый баринъ, узнавъ про эти дѣла, великодушіе свое оказалъ,—на оброкъ крестьянъ отпустилъ, (какъ у Пушкина: «яремъ онъ барщины старинный оброкомъ легкимъ замѣнилъ»), а мужики поняли, что «не въ грѣхѣ, а въ добрѣ сила Божія».

Коли гр. Толстой удостовѣряетъ, что тѣ мужики, объ которыхъ онъ разсказываетъ, поняли, такъ, значитъ, оно такъ и было,—гр. Толстой правдивый разсказчикъ. Но я очень сомнѣваюсь, чтобы именно такъ была понята мораль разсказа тѣми мужиками, которые будутъ читать «Свѣчку».

Совершилось чудо, великое чудо,—свѣчка не покоряется физическимъ законамъ, дѣйствіе которыхъ наблюдается ежеминутно. Но какъ удивительно непропорціальна огромность этого чуда съ эффектами, которые она вызываетъ! Я уже не говорю о добромъ баринѣ, котораго столь великое знаменіе подвигло только на замѣну барщины оброкомъ. Но вотъ сами мужики: видятъ они воочію великое чудо и *смѣются* надъ Петромъ Михѣевымъ! Что это за жестоковыйный, броненосный народъ! Что же ихъ послѣ этого пронять можетъ? Ужасная смерть жестокаго управляющаго? Правда, эта смерть тоже обставлена чудесными подробностями, но подробности эти совсѣмъ не такого свойства, чтобы привести читателей къ желаемому авторомъ выводу. Носитель или виновникъ чуда съ негаснущей свѣчкой, смирный мужикъ Петръ Михѣичъ, выражаетъ доброе желаніе, чтобы былъ «на землѣ миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе». Это доброе желаніе, однако, не исполняется, потому что какой же миръ, какое благоволеніе въ человѣцѣхъ, когда человѣкъ, въ минуту раскаянія, просвѣтленнаго сознанія своего грѣха, попадаетъ роковымъ образомъ пузомъ на заостренный колъ! А попадаетъ онъ именно роковымъ образомъ: *всего только одинъ заостренный колъ и былъ* и какъ разъ на него попалъ пузомъ раскаявшійся управляющій и «пропоролъ себѣ пузо и нутро все на землю вытекло». Этимъ въ точности, какъ по писаному, исполняется не доброе желаніе смирнаго мужика, а напротивъ того злое желаніе другого мужика, который сказалъ: «чтобъ у него пузо лопнуло и утроба вытекла». Мнѣ кажется, изъ всего этого можетъ быть сдѣланъ выводъ, діаметрально противоположный тому, который дѣлаетъ гр. Толстой, а именно: не въ добрѣ, а въ грѣхѣ сила. Добро поднялось до чуда и всетаки не достигло желаемаго, а грѣхъ только слово сказалъ, и по этому слову исполнилось съ поразительною точностью.

Надо думать, крестьяне, которые будутъ читать «Свѣчку», не придутъ къ столь неожиданному выводу во всей его опредѣленности. Они, вѣроятно, просто растеряются въ этой по истинѣ странной исторіи. Но очень также вѣроятно, что они вынесутъ изъ «Свѣчки» подкрѣпленіе того общераспространеннаго предразсудка, въ силу котораго мужикъ такъ часто говоритъ: «отъ слова не станется», «сухо дерево, завтра пятница», «дай Богъ не сглазить», «дай Богъ въ добрый часъ сказать» и т. п. И больше, я думаю, ничего не вынесутъ...

Въ XII томѣ сочиненій гр. Толстого много говорится о нелѣпости и незаконности такъ называемыхъ «науки для науки» и «искусства для искусства». Не мы, конечно, будемъ защищать эти старые манекены, на которые каждый навѣшиваетъ какой ему угодно костюмъ. Гр. Толстой говоритъ въ

этомъ смыслѣ много вѣрнаго, и, по отношенію къ области искусства, это въ высшей степени значительно въ устахъ первокласснаго художника. Но если искусство должно служить жизни и въ дѣйствительности всегда ей служитъ, хотя бы въ замаскированномъ видѣ, хотя бы тому маленькому уголку жизни, который называется праздной забавой; если въ произведеніи искусства такъ называемая тенденція есть и должна быть, то многое натурально зависитъ въ немъ отъ самой этой тенденціи. Будучи одолѣваемъ тенденціей узкой, художникъ, даже огромнаго роста и силы, рискуетъ оказаться въ положеніи,—простите за сравненіе, — лошади съ наглазниками: онъ не будетъ знать, что дѣлается по сторонамъ и не замѣтитъ, какъ изъ его собственнаго произведенія выскочатъ такія удивительныя вещи, что только руками разведи. Такъ, къ сожалѣнію, не рѣдко случается и съ гр. Толстымъ въ его разсказахъ, написанныхъ для народа.

Существеннѣйшую тенденцію этихъ разсказовъ, главную точку, въ которую почти всѣ они бьютъ, составляетъ знаменитое непротивленіе злу. Въ сочиненія гр. Толстого не вошли главные матеріалы, необходимые для сужденія объ этой теоріи, и говорить объ ней поэтому трудно. Мы имѣемъ теперь дѣло только съ художественными иллюстраціями къ теоріи непротивленія злу, и притомъ съ иллюстраціями, написанными для народа. Вотъ образчикъ («Вражье лѣпко, а божье крѣпко», изъ текстовъ къ лубочнымъ картинкамъ):

«Жилъ въ старинныя времена добрый хозяинъ. Всего у него было много, и много рабовъ служило ему. И рабы хвалились господиномъ своимъ», потому что, какъ сказано, добрый онъ былъ. Дьяволу это не понравилось, позавидовалъ онъ согласію и миру, господствующимъ между добрымъ господиномъ и преданными рабами. И соблазнилъ дьяволъ одного изъ рабовъ, Алеба, ходившаго за дорогими племенными баранами. Дьяволъ научилъ его разсердить добраго господина. Однажды господинъ пошелъ, въ сопровожденіи гостей, въ овчарню, показать имъ своихъ овецъ и ягнятъ. Особенно хотѣлось ему похвалиться однимъ «безцѣннымъ бараномъ съ крутыми рогами». Господинъ и говоритъ съ кротостью Алебу: «Алебъ, другъ любезный, потрудись ты, поймай осторожно лучшаго барана съ крутыми рогами и подержи его». Алебъ бросился въ середину стада, ухватилъ безцѣннаго барана за волну, потомъ перехватилъ за ногу и сломалъ ему ногу. Ахнули гости и рабы всѣ, и зарадовался дьяволъ, когда увидѣлъ, какъ умно сдѣлалъ свое дѣло Алебъ. Сталъ чернѣе ночи хозяинъ, нахмурился, опустилъ голову и не сказалъ ни слова. Молчали и гости, и рабы... Ждали, что будетъ. Помолчалъ хозяинъ, потомъ отряхнулся, какъ будто съ себя скинуть что хочетъ, и поднялъ голову и уставилъ на небо. Недолго смотрѣлъ онъ, и морщины разошлись на лицѣ, и онъ улыбнулся и опустилъ глаза на Алеба. И сказалъ: «о Алебъ, Алебъ! твой хозяинъ велѣлъ тебѣ меня разсердить. Да мой хозяинъ сильнѣе твоего и ты не разсердилъ меня, а разсержу же я твоего хозяина. Ты боялся, что я накажу тебя, и ты хотѣлъ быть вольнымъ, Алебъ; такъ знай же, что не будетъ тебѣ отъ меня наказанія, а хотѣлъ ты быть вольнымъ, такъ вотъ при гостяхъ моихъ отпускаю тебя на волю. Ступай на всѣ четыре стороны и возьми свою праздничную одежду». И пошелъ добрый господинъ съ гостями своими домой. А дьяволъ заскрежеталъ зубами, свалился съ дерева и провалился сквозь землю».

Туда ему и дорога, конечно. Чортъ съ нимъ! Но если вдуматься въ дѣло попристальнѣе, такъ дьяволъ пожалуй что и поторопился скрежетать зубами и проваливаться сквозь землю. Если добрые остались въ рабствѣ, а злой получилъ волю, такъ дьяволу еще не отъ чего очень огорчаться. Рабство учрежденіе угодное дьяволу, а свобода ему ненавистна, и онъ могъ бы даже съ дьявольскимъ веселіемъ захохотать при видѣ такого удивительнаго результата, хотя ждалъ онъ и не того. Есть же у него способность къ ариѳметическому разсчету: душа добраго барина, конечно, дорогого стоитъ, это своего рода единственный «безцѣнный баранъ», но, упустивъ эту драгоцѣнность, дьяволъ можетъ записать въ свой активъ страшную самодурную несправедливость, совершенную добрымъ господиномъ. Такъ, я увѣренъ, и мужички, которые будутъ читать про Алеба, поймутъ въ простотѣ своей: только головой покрутятъ, да скажутъ, что, конечно молъ, хорошо, когда у барина совѣсть легкая...

Крѣпостного права нѣтъ, и, конечно, гр. Толстой не имѣетъ намѣренія заднимъ числомъ пропагандировать его прелести. Но спрашивается, что, кромѣ смутной путаницы, можетъ произвести эта сказка въ умахъ народа, въ составѣ котораго есть еще и теперь сравнительно молодые люди, помнящіе времена рабства? Зачѣмъ эта проповѣдь? Зачѣмъ эта форма? Кому и для чего все это нужно?

Крѣпостное право не существуетъ, но возможны и существуютъ другія формы зависимости, которыя гр. Толстой тоже вводитъ въ свои народные разсказы съ ярлыкомъ добра, въ чемъ, конечно, тоже рѣзко расхо-

дится съ мнѣніемъ самого народа. Есть у него въ этомъ отношенiи чрезвычайно поучительная сказочка «Ильясъ» (тоже текстъ къ лубочной картинѣ). Это разсказъ о томъ, какъ богатый и добрый башкирецъ Ильясъ отъ разныхъ несчастiй обѣднѣлъ и пошелъ къ сосѣду въ работники. Тутъ онъ и нашелъ свое счастiе. Жена его разсказываетъ объ этомъ такъ: «Теперь встанемъ мы со старикомъ, поговоримъ всегда по любви въ согласiи; спорить намъ не о чемъ,—только намъ и заботы, что хозяину служить. Работаемъ по силамъ, работаемъ съ охотой, такъ, чтобы хозяину не убытокъ, а барышъ былъ. Придемъ,—обѣдъ есть, ужинъ есть, кумысъ есть. Холодно,—кизякъ есть погрѣться и шуба есть. И есть, когда поговорить, и о душѣ подумать, и Богу помолиться. Пятьдесятъ лѣтъ счастья искали, теперь только нашли».—Вѣдь это же прямая идеализацiя батрачества! И гр. Толстой торопится закрѣпить ее авторитетомъ «писанiя», правда, мусульманскаго. Присутствующiй при исповѣди Ильяса и его жены мулла удостовѣряетъ, что «это умная рѣчь», что «это и въ писанiи такъ написано».

Я не знаю мусульманскаго писанiя, но очень сомнѣваюсь, чтобы тамъ было написано что нибудь подобное; а пишется это очень часто въ писанiяхъ разныхъ либерально-буржуазныхъ ученыхъ и публицистовъ, которымъ очень желательно ссадить мужика съ его собственнаго хозяйства и водворить батракомъ у чужого хозяйства. Оно такъ и должно быть по идиллическому плану либеральныхъ экономистовъ. Но простонародный читатель разсказовъ гр. Толстого, въ закоснѣлости своей, едва ли соблазнится этой идиллiей, едва ли согласится бросить по доброй волѣ свое, хотя бы самое убогое хозяйство и стать въ положенiе, при которомъ есть и обѣдъ, и ужинъ, но въ то же время «только и заботы, что хозяину служить».

Я не произвольные выводы дѣлаю изъ народныхъ разсказовъ гр. Толстого, я привожу подлинныя слова, и всякiй можетъ ихъ провѣрить. Очень вѣроятно, что для многихъ почитателей «великаго писателя земли русской», какъ вѣрно и красиво назвалъ Толстого Тургеневъ въ своемъ последнемъ, предсмертномъ письмѣ, все это неожиданность, которой не хочется и непрiятно вѣрить. Я это очень хорошо понимаю. Мнѣ и самому было больно и странно читать эти сказки, но пришлось уступить очевидности, а затѣмъ пришлось искать объясненiя такому удивительному, такому печальному явленiю. Если же многiе изъ почитателей Толстого, несклонныхъ, напримѣръ, къ идеализацiи батрачества, не замѣчали до сихъ поръ этой стороны его разсказовъ, то это зависитъ только отъ ихъ невнимательности. А къ гр. Толстому, какъ это ни страннымъ можетъ на первый взглядъ показаться, конечно, невнимательны. Повидимому, только и разговоровъ, что объ немъ, каждая его строчка жадно читается, но отсутствiе критическаго взгляда, вслѣдствiе поклоненiя, такъ-же способно помѣшать внимательному чтенiю, какъ и недостаточное уваженiе или предвзятая готовность искать однихъ недостатковъ.

Мы сейчасъ увидимъ, въ чемъ, по моему мнѣнiю, слѣдуетъ искать причинъ происхожденiя вышеприведенныхъ странностей въ народныхъ разсказахъ гр. Толстого. А теперь подведемъ нѣкоторые итоги.

Въ своихъ народныхъ разсказахъ, гр. Толстой, желая стать на общую съ народомъ почву, (желанiе само по себѣ очень естественное и законное), поддакиваетъ нѣкоторымъ, вовсе не желательнымъ, суевѣрiямъ и фантастическимъ представленiямъ мужика и въ то же время, по отношенiю къ дѣламъ житейскимъ, самымъ рѣзкимъ образомъ топчетъ нѣкоторые идеалы народа, заслуживающiе совсѣмъ иного трактованiя (воля, какъ наказанiе за злое дѣло; батрачество, какъ идеальное состоянiе). Примѣры этому мы увидимъ, можетъ быть, и еще. А для заключенiя этой главы остановимся на одномъ пунктѣ, повидимому, крайне удаленномъ отъ мужика. Мы попробуемъ, однако, взглянуть на него именно съ точки зрѣнiя мужика, а кстати покончимъ съ однимъ частнымъ взглядомъ гр. Толстого, надѣлавшимъ въ послѣднее время много шуму.

Въ № 5—6 «Русскаго Богатства» напечатана выдержка изъ письма гр. Толстого «по поводу возраженiй на главу о женщинахъ» (напечатанную въ XII томѣ). Письмо озаглавлено: «Трудъ мужчинъ и женщинъ». Гр. Толстой развиваетъ въ немъ свою прежнюю мысль. Всякiй человѣкъ, — онъ говоритъ,—какъ мужчина, такъ и женщина, долженъ служить людямъ, но каждый по своему. Рѣшительный противникъ раздѣленiя труда въ принципѣ, гр. Толстой въ этомъ случаѣ является столь же рѣшительнымъ его сторонникомъ. Женщинѣ предоставляется въ силу этого трудъ дѣторожденiя и кормленiя. Все это мы уже слышали, но вотъ гдѣ оригинальность письма:

«Идеальная женщина, по мнѣ, будетъ та, которая, усвоивъ высшее мiросозерцанiе того времени, въ которомъ она живетъ, отдается своему женскому, непреодолимо вложенному въ нее призванiю,—родитъ, выкормитъ и воспитаетъ наибольшее количество дѣтей, способныхъ работать для людей, по усвоенному ею мiросозерцанiю». Кажет-

ся, и прекрасно бы. Но гр. Толстой торопится прибавить: «для того же, чтобы усвоить себѣ высшее міросозерцаніе (подразумѣвается, «того времени, въ которомъ мы живемъ»), мнѣ кажется, нѣтъ надобности посѣщать курсы, а нужно только прочесть евангеліе и не закрывать глазъ, ушей и, главное, сердца».

Обратите вниманіе на конструкцію этого разсужденія. Она очень характерна для теперешняго гр. Толстого (потому что не всегда онъ былъ и, надѣюсь, не всегда будетъ такимъ). Размахнется человѣкъ такъ, что, кажется, камня на камнѣ не оставитъ, анъ смотришь,—все на своемъ мѣстѣ стоитъ. Онъ, напримѣръ, рѣшительно отрицаетъ обмогущественнѣйшіе союзы, членами которыхъ всѣ мы состоимъ отъ рожденія, ибо насъ записываютъ въ церковныя метрики, въ списки по сословіямъ и т. д. Все это графъ отметаетъ, какъ основанное на насиліи, но это нисколько не помѣшаетъ ему при случаѣ идеализаціей батрачества или опозореніемъ свободы свести «на нѣтъ» всѣ свои пышныя, но не имѣющія никакой практической цѣны отрицанія. Такъ и тутъ. Еслибы не гр. Толстой говорилъ вышеприведенное, то можно бы было подумать, что онъ кощунствуетъ, играетъ евангеліемъ. Евангеліе—великая книга, но оно уже по той простой причинѣ не можетъ заключать въ себѣ «высшаго міросозерцанія того времени, въ которомъ мы живемъ», что существуетъ полторы тысячи лѣтъ. Мимоходомъ сказать, даже утвержденіе въ пропагандируемомъ графомъ Толстымъ раздѣленіи мужского и женскаго труда, женщина не могла бы почерпнуть изъ евангелія, ибо ничего подобнаго тамъ нѣтъ. Христосъ, правда, не посылалъ женщинъ на курсы, но и не запрещалъ имъ посѣщать ихъ, тѣмъ болѣе, что курсовъ тогда не было. Самъ графъ почерпнулъ свой взглядъ не изъ новаго, а изъ ветхаго завѣта, хотя въ томъ же ветхомъ завѣтѣ дѣйствуютъ не только въ болѣзняхъ рождающія, а и пророчицы, и лѣкарки, и героини въ родѣ Юдифи. «Русское Богатство», напечатавъ письмо гр. Толстого, въ томъ же номерѣ возражаетъ ему, между прочимъ: удивительно, что «Л. Н. не видитъ противорѣчія всей своей настоящей дѣятельности съ своими словами: если для воспитанія достаточно прочесть евангеліе, зачѣмъ же онъ написалъ столько статей о религіи, морали, столько толкованій, объясненій, проповѣдей и проч. и проч.». Почтенный журналъ напоминаетъ далѣе, что евангеліе не учитъ, какъ пеленать ребенка, чѣмъ кормить, какъ ходить за нимъ, какъ и чему учить его и т. д. Все это надо почерпнуть гдѣ нибудь въ другихъ мѣстахъ. Но оставимъ эти соображенія, дальнѣйшее развитіе которыхъ понятно само собой, и посмотримъ на дѣло вотъ съ какой стороны, посмотримъ «по мужицки, по дурацки». Вся женская половина многомилліоннаго русскаго (да и всякаго другого) крестьянства работаетъ, какъ извѣстно, отнюдь не исключительно въ сферѣ дѣторожденія и кормленія. Любая деревенская баба будетъ удивлена, а впрочемъ и любой мужикъ удивится, узнавъ, что «трудъ пріобрѣтенія средствъ пропитанія»—не женское дѣло. Мужикъ, правда, сортируетъ мужскую и женскую работу, но чтобы баба только рожала и дѣтей кормила,—этого онъ не одобритъ! А вѣдь бабы въ иныхъ мѣстахъ и въ «общественный трудъ» суются, въ трудъ «установленія отношеній между людьми», въ общественно-экономическія и административно-политическія дѣла деревни. Что касается труда умственнаго, то его въ деревнѣ вообще мало, но любопытно, однако, отмѣтить, что въ деревняхъ на десятки знахарокъ, костоправокъ, лѣкарокъ и т. п. приходятся единицы знахарей. Выражающійся въ этомъ общеизвѣстномъ фактѣ мужицкій взглядъ переносится и на «господъ»: весьма вѣроятно, что когда гр. Толстой живетъ съ семействомъ въ деревнѣ, то окрестные крестьяне обращаются за медицинскими совѣтами и снадобьями не къ нему, а къ его супругѣ или къ другой женщинѣ, живущей въ домѣ.

Все это очень не хитро и все это я говорю не для опроверженія мнѣній гр. Толстого о женскихъ курсахъ и женскомъ образованіи вообще (что ужъ тутъ опровергать!), а въ родѣ какъ матеріалы для оцѣнки отношеній гр. Толстого къ народу.

Существуетъ неосновательная мысль, что истинно демократическое («народническое») ученіе не должно останавливаться на *интересахъ* народа или, что тоже, интересахъ трудящихся классовъ общества, какъ на верховномъ критеріѣ; а что нужно, дескать, соглашаться съ *мнѣніями* народа, въ чемъ бы они ни состояли. Многіе утверждаютъ, что такъ именно думаетъ и гр. Толстой. Вы видите, что это неправда. Гр. Толстой не раздѣляетъ упомянутой неосновательной мысли, по крайней мѣрѣ, не практикуетъ ея, если можно такъ выразиться (я думаю, впрочемъ, что на самомъ дѣлѣ ея и никто не практикуетъ). Изъ этого не слѣдуетъ однако, чтобы, отклоняясь отъ тѣхъ или другихъ мнѣній народа, онъ непремѣнно поступалъ основательно. Это дѣло точки зрѣнія въ каждомъ данномъ случаѣ. Съ моей, напримѣръ, точки зрѣнія гр. Толстой неправъ, когда потворствуетъ народнымъ суевѣріямъ и предразсудкамъ, но столь же

неправъ и тогда, когда топчетъ народныя понятія о рабствѣ, о батрачествѣ, о женскомъ трудѣ.

Взаимныя отношенія народа и «общества» давно занимаютъ гр. Толстого. Мало того, они занимали его прежде гораздо больше, чѣмъ теперь. Во многихъ старыхъ своихъ беллетристическихъ вещахъ, каковы «Утро помѣщика», «Казаки»; на многихъ страницахъ военныхъ разсказовъ со включеніемъ «Войны и мира»; въ педагогическихъ статьяхъ и статьяхъ о народномъ образованіи, вошедшихъ въ IV-й томъ; наконецъ, въ послѣдній разъ въ «Аннѣ Карениной», въ душевной исторіи Константина Левина,—гр. Толстой далъ намъ рядъ отраженій драмы, которую онъ когда-то сильно и глубоко переживалъ и которая теперь благополучно кончилась. Мнѣ жаль, что она кончилась. Конечно, дай Богъ гр. Толстому всяческій душевный миръ, но на большихъ людяхъ большая отвѣтственность лежитъ, большіе люди большія муки принимаютъ. Это жестоко, это несправедливо, но такъ ужъ самой природою вещей устроено, и, можетъ быть, въ этомъ-то именно и состоитъ то большое плаваніе, котораго пословица требуетъ для большихъ кораблей. Конечно, если бы гр. Толстой вывелъ насъ, утомленныхъ странствіемъ въ пустынѣ, въ обѣтованную землю, — о, тогда иное дѣло! Но вѣдь мы не въ обѣтованной землѣ, да и самъ гр. Толстой не тамъ, онъ просто ушелъ на необитаемый островъ собственнаго самодовольства. Оттого, что онъ сошелъ со сцены,—драма не кончилась, только сцена лишилась одного изъ героевъ, и притомъ героя, который такъ хорошо умѣлъ передавать перипетіи драмы...

Существуетъ «народъ», существуетъ «общество». Подъ народомъ здѣсь разумѣется отнюдь не нація, а масса трудящагося люда, который въ концѣ концовъ, прямо или косвенно, поитъ, кормитъ, одѣваетъ, оберегаетъ насъ, самъ въ то же время оставаясь въ нищетѣ, въ грязи, въ невѣжествѣ. Было время, когда мы принимали такой порядокъ вещей «безъ размышленій, безъ борьбы, безъ думы роковой». Это время аркадской невинности и наивности прошло, по крайней мѣрѣ для многихъ, для нѣкоторыхъ, и притомъ не худшихъ. Многіе чисто житейскіе, практическіе толчки способствовали прекращенію Аркадіи, кое-какіе и душевные моменты тутъ участвовали. Въ числѣ прочихъ начала свою сверлящую, неотвязную работу совѣсть. Она говорила: ты долженъ,—расплачивайся. А какъ расплачиваться? Разумѣется, служеніемъ народу, пріобщеніемъ его къ тѣмъ благамъ просвѣщенія и цивилизаціи вообще, которыми мы пользуемся. Но это только общее указаніе, и осуществленіе его встрѣчало на практикѣ многочисленныя и разнообразныя препятствія. А тѣмъ временемъ объявилось и новое усложненіе въ этомъ и безъ того сложномъ положеніи. Мы сами усомнились въ кое-какихъ благахъ цивилизаціи, а мужикъ, подернутый цивилизаціей по фабрикамъ, трактирамъ и проч., сплошь и рядомъ оказывался и совсѣмъ дрянью. Рядомъ съ нимъ настоящій, коренной, неподернутый мужикъ былъ много лучше. Да не лучше-ли онъ насъ и самихъ-то? Онъ работаетъ, какъ работали его отцы, дѣды, прадѣды, а вотъ мы только собираемся расплачиваться за свое и отцовъ нашихъ тунеядство. Мы не можемъ никакого дѣла сообща сдѣлать, а у мужика міръ есть, артель есть, дѣйствующіе для всѣхъ безобидно и притомъ регулярно изъ года въ годъ. Насъ совѣсть мучитъ, о долгомъ, историческомъ грѣхѣ намъ твердитъ, а у мужика совѣсть чистая,—онъ никогда на чужой счетъ не жилъ. И т. д., и т. д. Оказалось много такихъ вещей, относительно которыхъ мы не то что просвѣтить мужика, а поучиться у него должны, не то что благодѣтельствовать, а завидовать. Но зависть эта, конечно, не могла быть той злобной завистью, которая частью въ самой себѣ, въ болѣзненномъ самощекотаніи находитъ удовлетвореніе, а частью норовитъ ограбить. Тутъ и грабить нечего: мужикъ всетаки нищъ, грязенъ, невѣжественъ, грубъ...

Изъ этого ряда противорѣчій разные люди разные выводы дѣлали и разно ихъ формулировали. Въ числѣ другихъ и гр. Толстой. Я долженъ отослать читателей къ моимъ старымъ статьямъ о «шуйцѣ и десницѣ гр. Толстого» («Сочиненія», Т. III), потому что подробное изложеніе тогдашняго настроенія и тогдашнихъ мыслей гр. Толстого заняло бы здѣсь слишкомъ много мѣста. Я приведу только одну его мысль, можетъ быть наиболѣе рѣзко и рельефно рисующую его за то время.

Графъ Толстой писалъ: «Страшно сказать: я пришелъ къ убѣжденію, что все, что мы сдѣлали по этимъ двумъ отраслямъ (по музыкѣ и поэзіи), все сдѣлано по ложному, исключительному пути, не имѣющему значенія, не имѣющему будущности и ничтожному въ сравненіи съ тѣми требованіями и даже произведеніями тѣхъ же искусствъ, образчики которыхъ мы находимъ въ народѣ. Я убѣдился, что лирическое стихотвореніе, какъ напримѣръ, «Я помню чудное мгновенье», произведеніе музыки, какъ послѣдняя симфонія Бехтовена,—не такъ безусловно и всемірно хороши, какъ пѣсня о «Ванькѣ-клюшничкѣ» и напѣвъ «Внизъ по

матушкѣ по Волгѣ»; что Пушкинъ и Бетховенъ нравятся намъ не потому, что въ нихъ есть абсолютная красота, но потому, что мы такъ же испорчены, какъ Пушкинъ и Бетховенъ, потому что Пушкинъ и Бетховенъ одинаково льстятъ нашей уродливой раздражительности и слабости».

Сильнѣе, рѣзче, смѣлѣе едва-ли было когда-нибудь въ этомъ направленіи что нибудь сказано, и немудрено, что гр. Толстому было *«страшно сказать»* это, ему, который всосалъ Пушкина и Бетховена. Взятая отдѣльно, приведенная мысль можетъ показаться просто забавнымъ парадоксомъ, но, въ связи со всѣмъ остальнымъ міровоззрѣніемъ Толстого, она не поражаетъ. Я слишкомъ плохой знатокъ въ области искусства, чтобы поддерживать или опровергать параллель между симфоніей Бетховена и напѣвомъ «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ». Но теоретически, отвлеченно я понимаю возможность подобной параллели, опираясь при этомъ на теорію типовъ и степеней развитія. Наглядно скажемъ такъ: вотъ прекраснѣйшая взрослая собака, лучшій, идеальнѣйшій экземпляръ собачьей породы, а вотъ только что родившійся младенецъ-человѣкъ, кто изъ нихъ выше? По *степени* развитія, собака, конечно, выше: она многое понимаетъ, умѣетъ по своему, по собачьи, выражать свои мысли и чувства; она содержитъ себя въ чистотѣ, ей знакомы сложныя волненія и чувства дружбы, преданности, великодушія. Ничего этого у новорожденнаго младенца нѣтъ,—онъ безобразенъ, грязенъ, ничего не понимаетъ, ничего не чувствуетъ, кромѣ элементарныхъ позывовъ, но въ его мозгу, гортани, нервной системѣ заложены задатки такого величія, какого собака никогда не достигнетъ и потому, по *типу* развитія, онъ выше.

Я не могу теперь объ этомъ распространяться и только прошу васъ не брезгать приведеннымъ взглядомъ, а подумать надъ нимъ; онъ того стоитъ. Правиленъ онъ или неправиленъ,—это для насъ въ настоящую минуту, пожалуй, даже безразлично, а важно то, что Толстой его раздѣлялъ. Но въ то же время онъ отлично понималъ, что мужикъ грубъ, пьянъ, невѣжественъ; чувствовалъ также потребность и обязанность что-то принести этому пьяному, грубому, невѣжественному мужику, чѣмъ-то помочь ему и отплатить за всѣ удобства своего существованія, ибо отказаться отъ этихъ удобствъ, по крайней мѣрѣ отъ нѣкоторыхъ, напримѣръ, отъ удобства просвѣщенія,—не представлялось возможности. Эта-то сложная коллизія противорѣчивыхъ мыслей, чувствъ, потребностей, обязанностей и составляетъ ту глубокую драму, которую переживали Нехлюдовъ («Утро помѣщика»), Оленинъ («Казаки»), Безуховъ («Война и миръ», эпизодъ съ Каратаевымъ), Левинъ («Анна Каренина»). Переживалъ и самъ Толстой, конечно, объ чемъ онъ и разсказалъ въ статьяхъ о народномъ образованіи уже прямо отъ себя.

Сочиненія Толстого (старыя, печатныя), я, разумѣется, читалъ не одинъ разъ. Но осмыслилась для меня его литературная физіономія далеко не при первомъ чтеніи. И когда, какъ мнѣ показалось, я понялъ ту красную нить, которая проходитъ почти сквозь всѣ его произведенія, я не могъ не любоваться этою богатою, яркою жизнью, понимающею свою задачу такъ сложно и не скрывающею отъ себя этой сложности, пожалуй, даже преувеличивающею ее и въ то же время жаждущею дѣятельности, борьбы. Я былъ влюбленъ въ него и, какъ это часто случается съ влюбленными, мнѣ были почти милы и недостатки его, которые я очень хорошо видѣлъ. Иногда эта энергическая, смѣлая, дѣятельная натура вдругъ опуститъ руки и заявитъ, что нельзя, молъ, прати противу рожна, хотя въ другихъ случаяхъ никакіе рожны ему не страшны. То, напримѣръ, въ собственныхъ своихъ идеалахъ настолько усомнится, что скажетъ: какъ же я ихъ въ люди понесу, какъ другимъ навязывать стану, когда это можетъ быть вздоръ? То пространно и многоразлично,—образами и длинными разсужденіями,—станетъ доказывать, что путь французовъ въ 1812 году до Москвы и обратно былъ предопредѣленъ свыше и что Кутузовъ тѣмъ и великъ, что понялъ это и не пралъ противъ рожна и сдалъ Москву безъ боя. И т. п. Это я называлъ шуйцей графа Толстого. Я не любилъ ея, конечно, но и она имѣла свою цѣну,—ужь очень она хорошо десницу оттѣняла.

А теперь... Теперь десница гр. Толстого совсѣмъ атрофировалась, а шуйца вытянулась до уродства. «Великій писатель земли русской» совсѣмъ лѣвша сталъ. Остатокъ десницы, остатокъ прежней жажды дѣятельности и вмѣшательства въ жизнь ближняго сказывается только въ энергіи пропаганды и начинаній въ родѣ изданія книжекъ для народа и устройства народнаго театра. Но что пропагандируется, что въ книжкахъ проповѣдуется народу,—это ужь... отъ лукаваго, хотѣлъ я сказать; нѣтъ, только отъ шуйцы...

Надо любить ближняго, надо помогать ему. Прекрасно. Какъ помогать, чѣмъ? Деньгами можно? Отнюдь нельзя! На этотъ счетъ у гр. Толстого и особыя диссертаціи есть, есть и художественная иллюстрація къ нимъ въ видѣ разсказа «Два брата и золото».

Оба брата жили въ благочестивомъ уединеніи, но ходили каждый день помогать бѣднымъ—работой, совѣтомъ, уходомъ за больными. Однажды одинъ изъ братьевъ нашелъ кучу золота и съ ужасомъ убѣжалъ, а другой соблазнился и поднялъ золото ушелъ съ нимъ въ городъ и тамъ на эти деньги устроилъ пріютъ для вдовъ и сиротъ, больницу и страннопріимный домъ На себя онъ ни копѣйки не истратилъ, даже одежды новой не купилъ, и, окончивши благотворительныя дѣла въ городѣ, вернулся въ свою пустыню къ брату. Но по дорогѣ его остановилъ ангелъ и разъяснилъ ему, что это его дьяволъ соблазнилъ, ибо золотомъ нельзя служить, ни Богу, ни людямъ.—Мораль: пусть деньги лежатъ тамъ, гдѣ ихъ застанетъ проповѣдь гр. Толстого.—на дорогѣ, такъ на дорогѣ, въ государственномъ банкѣ, такъ въ государственномъ, въ частномъ, такъ въ частномъ, въ кубышкѣ, такъ въ кубышкѣ. Вонъ у самого гр. Толстого 600.000 есть, но онъ ими людямъ помогать не будетъ, не соблазнитъ его дьяволъ, а пусть себѣ лежатъ, гдѣ лежатъ. Завелись у него было 37 рублей, которые онъ *долженъ* былъ раздать, такъ и то намучился: все боялся дьяволу угодить...

Нельзя ли помогать людямъ знаніями, сообщеніемъ той доли познаній, какая у кого есть? Нѣкогда гр. Толстой отвѣчалъ на этотъ вопросъ утвердительно и школы заводилъ, и учительствовалъ, но теперь горько кается въ своемъ заблужденіи и объявляетъ, что всѣ должны прежде всего признать свое невѣжество. Правда, объявивъ себя невѣжественнымъ, онъ тутъ же даетъ понять, что отлично знаетъ все, о чемъ ученые люди спорятъ, но это только такъ, «въ критику», а помогать ближнему при помощи знаній онъ не можетъ, да и другимъ не совѣтуетъ.

Нельзя-ли помогать людямъ, заступаясь за правыхъ и наказывая виновныхъ? Боже сохрани! Это хуже всего, какъ обстоятельно доказывается въ разсказѣ «Крестникъ». Крестникъ этотъ совершилъ три злодѣйскихъ дѣла, изъ которыхъ я приведу только одно. Увидалъ крестникъ, что разбойникъ залѣзъ къ его матери, къ сонной, и ужъ поднялъ топоръ, чтобы убить ее; заступился, да съ горяча и убилъ разбойника. Впослѣдствіи нѣкоторый мудрый человѣкъ открылъ ему, какое онъ зло сдѣлалъ. Видишь, говоритъ, свою мать: «плачетъ она о своихъ грѣхахъ, кается, говоритъ: лучше бы меня тогда разбойникъ убилъ, не надѣлала бы я столько грѣховъ». А вотъ и разбойникъ: «этотъ человѣкъ девять душъ загубилъ. Ему бы надо самому свои грѣхи выкупать, а ты его убилъ, всѣ грѣхи его на себя снялъ. Теперь тебѣ за всѣ его грѣхи отвѣчать. Вотъ, что ты самъ себѣ сдѣлалъ».—Вы видите, какъ трудно помогать ближнимъ, заступаясь за обиженныхъ: думаете поправить зло, а выходитъ еще хуже. Само по себѣ зло еще не очень большая бѣда: еслибы разбойнику удалось убить женщину, такъ она бы грѣховъ такъ много не натворила и зла на землѣ было бы меньше, а вотъ противленіе злу,—это совсѣмъ не хорошо: повидимому, спасъ человѣкъ мать свою, что можетъ быть проще, законнѣе, естественнѣе? Анъ нѣтъ,—онъ погубилъ ее, ибо предоставилъ ей возможность грѣшить...

Какая, однако, все это удивительная путаница! Какое возмутительное презрѣніе къ жизни, къ самымъ элементарнымъ и неизбѣжнымъ движеніямъ человѣческой души! Какое холодное, резонерское отношеніе къ людскимъ чувствамъ и поступкамъ! И этому съ сочувствіемъ внимаютъ, говорятъ, молодые люди, у которыхъ естественно «кровь кипитъ» и «силъ избытокъ»... Я не понимаю этого. Эта какое то колоссальное недоразумѣніе, возможное только въ такія мрачныя, тусклыя времена, какія переживаемъ мы. Пусть ломятся къ вамъ въ домъ, пусть бьютъ отцовъ и дѣтей вашихъ,—такъ надо, убійцы спасаютъ вашихъ близкихъ и кровныхъ отъ вящшихъ грѣховъ, но горе вамъ, если вы сами пальцемъ коснетесь убійцъ! Увы, гр. Толстой является въ этомъ случаѣ даже не учителемъ, онъ съ улицы поднялъ свое поученіе, ибо вся улица поступаетъ именно такъ, какъ желательно гр. Толстому. Но зачѣмъ-же онъ иронизируетъ надъ «философіей духа», «по которой выходило, что все, что существуетъ, то разумно, что нѣтъ ни зла, ни добра и что бороться со зломъ человѣку не нужно». Зачѣмъ издѣвается онъ надъ Спенсеромъ, который, въ другихъ только терминахъ, тоже требуетъ невмѣшательства и непротивленія злу и въ «Соціальной статикѣ» рекомендуетъ отнюдь не критиковать божій міръ «съ точки зрѣнія своего кусочка мозга», ибо, дескать, вы думаете поправить зло, а выходитъ еще хуже...

Итакъ, слѣдуетъ помогать ближнимъ, но не деньгами, не знаніями, не активнымъ вмѣшательствомъ на защиту обиженныхъ. Чѣмъ-же, какъ же помогать? Объ этомъ разговоръ надо ужъ до слѣдующаго раза отложить. Теперь я хотѣлъ бы только отвѣтить на одинъ вопросъ, мною самимъ выше поставленный. Какъ могло случиться, что демократическій, «народническій» писатель, какимъ принято считать гр. Толстого, какъ-бы проповѣдуетъ народу прелести рабства и батрачества? Безъ сомнѣнія, онъ намѣ-

ренно такой проповѣди не ведетъ. Онъ просто презираетъ жизнь со всѣми ея сложными формами. Онъ выстроилъ себѣ «келью подъ елью», куда разрѣшается ходить всѣмъ на поклоненіе и откуда самъ онъ презрительно выглядываетъ на весь Божій міръ: рабы и свободные, батраки и самостоятельные хозяева,—какіе это все пустяки! Все—все равно, все—трынъ-трава, лишь бы старца въ кельѣ подъ елью слушали, да злу не противились... Ужъ онъ, старецъ-то, лучше знаетъ, чѣмъ самъ рабъ или батракъ, чѣмъ сынъ убитой, братъ замученнаго. Куда-жъ имъ въ самомъ дѣлѣ знать? Они только въ батракахъ живутъ («только и заботы, что хозяину служить»); у нихъ только мать убили, брата замучили, а онъ... онъ въ кельѣ подъ елью сидитъ!..

V.

Опять о Толстомъ *).

Намъ нужно остановиться еще на одной сказкѣ гр. Толстого, точнѣе говоря, на одномъ эпизодѣ сказки «объ Иванѣ-Дуракѣ и его двухъ братьяхъ». Описывается, между прочимъ, въ этой сказкѣ счастливое царство Ивана-Дурака, которому дьяволъ все норовитъ какую-нибудь пакость сдѣлать, но не можетъ. Надумалъ, наконецъ, дьяволъ нагнать на Дураково царство «тараканскаго царя» войной, а у Ивана-Дурака, надо замѣтить, солдатъ нѣтъ.

«Перешелъ тараканскій царь съ войскомъ границу, послалъ передовыхъ разыскивать Иваново войско. Искали, искали—нѣтъ войска. Ждать, пождать—не окажется-ли гдѣ? И слуха нѣтъ про войско, не съ кѣмъ воевать. Послалъ тараканскій царь захватить деревни. Пришли солдаты въ одну деревню, выскочили дураки, дуры, смотрятъ на солдатъ—дивятся. Стали солдаты *отбирать у дураковъ хлѣбъ, скотину*,—дураки отдаютъ и никто не обороняется. Пошли солдаты въ другую деревню—все то же. Походили солдаты день, походили другой,—вездѣ все то же: все отдаютъ, никто не обороняется и зовутъ къ себѣ жить: коли вамъ, сердешные, говорятъ, на вашей сторонѣ житье плохое, приходите къ намъ совсѣмъ жить. Походили, походили солдаты,—нѣтъ войска; а все народъ живетъ, кормится и людей кормитъ, и не обороняется, и зоветъ къ себѣ жить. Скучно стало солдатамъ, пришли къ своему тараканскому царю.—Не можемъ мы, говорятъ, воевать, отведи насъ въ другое мѣсто: добро бы война была, а это что—какъ кисель рѣзать. Не можемъ больше тутъ воевать.—Разсердился тараканскій царь, велѣлъ солдатамъ по всему царству пройти, раззорить деревни, дома, хлѣбъ сжечь, скотину перебить.—Не послушаете, говоритъ, моего приказа, всѣхъ, говоритъ, васъ разсказню. — Испугались солдаты, начали по царскому указу дѣлать. Стали *дома, хлѣбъ жечь, скотину бить*. Все не обороняются дураки, только плачутъ. *Плачутъ старики, плачутъ старухи, плачутъ малые ребята*.—За что, говорятъ, вы насъ обижаете? Зачѣмъ, говорятъ, вы добро дурно губите; коли вамъ нужно, вы лучше себѣ берите.—Гнусно стало солдатамъ. Не пошли дальше, и все войско разбѣжалось».

Одолѣли, значитъ, въ концѣ-концовъ дураки, и одолѣли ничѣмъ инымъ, какъ непротивленіемъ злу. Я уже упоминалъ, что для сужденія объ теоріи непротивленія злу намъ приходится довольствоваться лишь художественными иллюстраціями къ ней, такъ какъ самое изложеніе теоріи не вошло въ сочиненія гр. Толстого. Это, конечно, большое неудобство, однако, переносное всетаки. Какъ бы тамъ ни было, а художественная форма изложенія несравненно роднѣе и свойственнѣе гр. Толстому, чѣмъ форма логическаго развитія мысли; поэтому, хотя бы въ одномъ приведенномъ эпизодѣ изъ сказки объ Иванѣ-Дуракѣ теорія непротивленія злу выражена съ полною ясностью. Мало того, она выражена здѣсь въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, можетъ быть, лучше, чѣмъ въ ненапечатанной диссертаціи объ ней. Достойно, напримѣръ, вниманія, что картина насилій солдатъ тараканскаго царя ограничивается отбираніемъ у дураковъ хлѣба и скотины и потомъ, по новому приказу царя, сожженіемъ домовъ и истребленіемъ скотины. Всякій, хотя бы только читавшій «Войну и миръ», напримѣръ, знаетъ, что нашествіе иноплеменниковъ этими чертами насилія не исчерпывается: иноплеменники обрушиваются не только на хлѣбъ, дома и скотину, они, кромѣ того, оскорбляютъ, бьютъ и убиваютъ людей, насилуютъ женщинъ, надругаются надъ святынями. Въ теоретическомъ разсужденіи о несопротивленіи злу можно бы было всѣ эти детали укрыть, закутать въ какую-нибудь общую фразу, такъ что прорѣхи теоріи не сразу, можетъ быть, бросились бы въ глаза. Иное дѣло художественная картина. Тутъ воочію видите, что изображеніе нашествія иноплеменниковъ не полно и тотчасъ понимаете, почему оно не полно. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ было вставить въ картину такую подробность: «тараканцы» насилуютъ «дуръ», а тѣ, къ удовольствію гр. Толстого, не противятся этому злу, а «дураки» только смотрятъ, да приговариваютъ: «оставайтесь, сердешные, со-

*) 1886, іюль.

всѣмъ у насъ». *Такъ* солгать на жизнь, на человѣческое чувство не могъ бы не только Толстой, а и самый мелкотравчатый художникъ. Точно также Толстой разсказываетъ, что «не обороняются дураки, только плачутъ». Но художественный тактъ тотчасъ подсказалъ ему, что это картина безобразная, что это ложь и клевета на человѣчество, и онъ немедленно прибавляетъ: «плачутъ старики, плачутъ старухи, плачутъ малые ребята». Еще бы *всѣ* только плакали при такихъ обстоятельствахъ! всѣ, то есть и молодые, и средняго возраста люди...

Вы понимаете теперь, что я хочу сказать, говоря, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ сказка объ Иванѣ-Дуракѣ лучше передаетъ теорію непротивленія злу, чѣмъ самое изложеніе этой теоріи. Художественная картина должна отражать жизнь, какъ она есть или можетъ или должна быть, по взгляду автора; во всякомъ случаѣ, жизнь въ ея цѣльности, съ плотью и кровью, а не абстракцію какую-нибудь. Развивая свои взгляды въ формѣ теоретическаго изложенія, художникъ можетъ съ успѣхомъ прибѣгать къ разнымъ сознательнымъ и безсознательнымъ уверткамъ мысли, тогда какъ въ художественной картинѣ, этотъ успѣхъ увертокъ почти невозможенъ, если только авторъ дѣйствительно большой художникъ. Скажемъ такъ: теоретическое изложеніе идеи непротивленія злу есть какъ бы адвокатъ идеи,—оно старается предъявить ее съ наилучшей, съ казовой стороны, выдвинуть впередъ ея достоинства и скрыть ея недостатки. Я не говорю, разумѣется, чтобы гр. Толстой, излагая свою теорію, злонамѣренно вводилъ читателей въ заблужденіе. Нѣтъ, и съ заправскимъ адвокатомъ случается, что, защищая неправое дѣло, онъ искренно увлекается, потокомъ-ли своего краснорѣчія, предвзятою-ли точкою зрѣнія, и самъ плохо видитъ отрицательныя стороны защищаемаго дѣла. Продолжая эту аналогію, можно сказать, что жизнь есть прокуроръ, обвинитель теоріи непротивленія злу, а художественное произведеніе, сказка объ Иванѣ-Дуракѣ, уподобляется резюме предсѣдателя суда. Я, конечно, не буду настаивать на этой аналогіи, которая какъ и всякая аналогія, только наводитъ на мысль, но ровно ничего не доказываетъ. Суть въ томъ, что иллюстрируя свою теорію сказкой, Толстой сводитъ на очную ставку теорію и жизнь и, въ силу своего художественнаго такта, не можетъ не обнаружить изъяны теоріи. Почему, въ самомъ дѣлѣ, въ картинѣ тараканскаго нашествія упущены такія черты, какъ оскорбленія и убійства людей, изнасилованіе женщинъ, поруганіе храмовъ и другихъ святынь? Гр. Толстой *не посмѣлъ* ихъ ввести и тѣмъ самымъ осудилъ свою теорію сильнѣе всякой критики, ибо тѣмъ самымъ призналъ, что есть такія черты насилія, къ которымъ нельзя отнестись съ афоризмомъ: «покорись бѣдѣ, и бѣда тебѣ покорится».

Указанные пропуски въ картинѣ тараканскаго нашествія тѣмъ любопытнѣе, что въ сказкѣ объ Иванѣ-Дуракѣ гр. Толстой, повидимому, особенно смѣлъ. Онъ безбоязненно беретъ самое крайнее выраженіе насилія—нашествіе иноплеменниковъ — и удостовѣряетъ, что оно должно прекратиться, если несопротивленіе этому страшному злу будетъ полное. Отчего же, спрашивается, Толстой такъ робко прячетъ, скрадываетъ цѣлый рядъ возмутительныхъ видовъ насилія и тутъ же рядомъ съ такою смѣлостью доводитъ свою излюбленную мысль до ея логическаго конца, ибо, если теорія справедлива, то дѣйствительно такъ и должно быть; иноплеменники понасильничаютъ, пожгутъ, пограбятъ и, не встрѣчая сопротивленія, уйдутъ. Я думаю вотъ отчего Толстой заразъ такъ робокъ и такъ смѣлъ. Нашествія иноплеменниковъ случались въ исторіи нерѣдко и сопровождались они всякаго рода насиліями. Это несомнѣнный житейскій фактъ, и предъ лицомъ самой жизни гр. Толстой, въ качествѣ большого и слѣдовательно правдиваго художника, *не смѣетъ*. Благополучнаго же окончанія нашествія иноплеменниковъ никогда не бывало, и потому здѣсь у теоретика своя рука владыка, онъ можетъ фантазировать, какъ ему угодно и сколько угодно, то есть, можетъ у него не дрогнуть рука написать неправду.

Это не мѣшаетъ однако намъ, постороннимъ людямъ, видѣть, что намъ предъявляютъ самую вопіющую неправду. Мы очень хорошо знаемъ, что при всякомъ нашествіи иноплеменниковъ извѣстная часть побѣжденнаго населенія не противится злу, правда, не съ такою любезною предупредительностью, какъ желательно гр. Толстому, но всетаки не противится. И, однако, никогда еще не бывало, чтобы тараканцы, монголы или какіе другіе побѣдители оставляли въ покоѣ не противящихся потому, что имъ «гнусно стало». Въ самомъ благопріятномъ случаѣ, когда тараканцы даже въ самомъ дѣлѣ удалялись, они устраивали у побѣжденныхъ свои порядки и налагали на нихъ дань. И, разумѣется, никогда не отказывались отъ дани, пока имъ ее соглашались платить. Вообще едва-ли не самое фантастическое въ фантастической картинѣ нашествія тараканцевъ есть именно то, что они ушли, потому что имъ «гнусно стало». И еслибы нужно было пріискать, не говорю опроверженіе, а опять таки иллюстрацію къ опроверженію теоріи непротивленія злу,

такъ лучшей, пожалуй, и не найдешь. Гр. Толстой смѣло выбралъ такую позицію, съ которой, на основаніи многовѣковаго историческаго опыта и самыхъ элементарныхъ соображеній «отъ разума», особенно ясно видно, что непротивленіе злу до добра не доводитъ.

А впрочемъ, что такое добро, что такое зло? Гр. Толстой въ сущности нигдѣ не только не отвѣчаетъ на этотъ вопросъ, но даже не задаетъ его себѣ. Онъ полагается, повидимому, на непосредственное чувство читателя, умѣющее безъ долгихъ теоретическихъ разсужденій различить добро и зло. Съ другой стороны, однако, гр. Толстой такъ жестоко резонерски расправляется именно съ живымъ непосредственнымъ чувствомъ, что его собственныя понятія о древѣ познанія добра и зла остаются въ совершенномъ туманѣ. Не будетъ, кажется, ошибкой сказать, что для гр. Толстого «миръ» есть добро уже потому, что онъ миръ, а «война» есть зло уже потому, что она война, совершенно независимо оттого, во имя чего ведется война, и въ чемъ состоятъ отношенія, освящаемыя миромъ. Съ этой точки зрѣнія можно бы было придѣлать къ тараканскому нашествію конецъ, удовлетворяющій теоріи непротивленія злу и въ то же время всетаки гораздо болѣе житейски вѣроятный, чѣмъ тотъ, который мы видимъ въ сказкѣ объ Иванѣ-Дуракѣ. А именно: тараканцамъ нисколько не «гнусно» и они спокойно остаются въ Дураковомъ царствѣ, но прекращаютъ свои, такъ сказать, острыя насилія, обращая ихъ въ хроническое, спокойное владычество: «дураки» работаютъ на тараканцевъ, кормятъ, поятъ, одѣваютъ ихъ, платятъ дани и оброки. Добро это или зло, по мнѣнію гр. Толстого? Я рѣшительно не знаю. Съ одной стороны добро уже то, что дураки не сопротивляются злу, а что они рабы—это ровно ничего не значитъ; ибо вотъ и въ разсказѣ «Вражье лѣпко, а божье крѣпко», какъ вы помните, все добро зѣло въ рабскихъ отношеніяхъ, такъ что даже злой рабъ наказывается вольностью; тоже и въ разсказѣ «Ильясъ» добро устанавливается тѣмъ, что герой поступаетъ въ батраки и только объ томъ и думаетъ, какъ бы услужить хозяину. Такимъ образомъ, предположенный мною конецъ нашествія тараканцевъ могъ бы, повидимому, вполнѣ удовлетворить гр. Толстого. Эта идиллія не хуже тѣхъ, которыя онъ самъ нарисовалъ. Съ другой стороны, однако, что же дѣлаютъ въ этомъ идиллическомъ царствѣ тараканцы, свалившіе съ себя всю работу на дураковъ? что дѣлаютъ хозяева Алеба и Ильяса, имѣющіе такихъ прекрасныхъ рабовъ и батраковъ?

Въ сказкахъ и разсказахъ ихъ дѣятельность остается въ туманѣ, ибо нельзя же назвать дѣятельностью то, что хозяинъ Алебъ принимаетъ гостей и показываетъ имъ свои стада; а хозяинъ Ильяса опять же принимаетъ гостей и сидитъ съ ними «на пуховыхъ подушкахъ, на коврахъ». Правда, они еще кромѣ того душеспасительные разговоры ведутъ, но всетаки они только «велятъ» дѣлать, то или другое,—поймать «безцѣннаго барана», зарѣзать барана къ обѣду и проч.,—а сами дѣлаютъ неизвѣстно что. Извѣстно только, что они хорошіе, прекраснѣйшіе и даже частью богоугодные люди. Притомъ же, если они потомки «тараканцевъ», которымъ не сопротивлялись «дураки», то они составляютъ необходимую составную часть идилліи непротивленія злу. Словомъ, все прекрасно. Съ другой стороны, однако, это какъ разъ именно тотъ общественный слой, который гр. Толстой въ своихъ теоретическихъ статьяхъ громитъ за тунеядство, за житье на счетъ народнаго труда, труда «дураковъ»; тотъ общественный слой, въ которомъ онъ старается будить совѣсть... Съ точки зрѣнія нѣкоторыхъ теоретическихъ статей гр. Толстого (по поводу московской переписи, о назначеніи наукъ и искусствъ, о народномъ образованіи, о счастіи), онъ долженъ былъ бы разгромить тунеядствующихъ хозяевъ Алеба и Ильяса или осмѣять ихъ хуже того «чистаго господина», который въ сказкѣ объ Иванѣ-Дуракѣ такъ смѣшно (?) «работаетъ головой» (мимоходомъ сказать, какія это грубыя, даже въ чисто художественномъ отношеніи, страницы!). Съ точки же зрѣнія теоріи непротивленія злу эти тунеядцы составляютъ логически неизбѣжный и необходимый элементъ идиллической картины.

Очевидно, гр. Толстой не совсѣмъ свелъ концы съ концами своихъ теорій; онъ попалъ въ ложный кругъ, въ которомъ вертится, какъ бѣлка въ колесѣ, а слѣдомъ за нимъ лѣзутъ въ это колесо и его почитатели и—натурально не подвигаются ни на шагъ впередъ, а только пробѣгаютъ 80.000 верстъ вокругъ самихъ себя..

Хорошее дѣло будить совѣсть «тараканцевъ» (не мѣшало бы только помнить, что хозяева Алеба и Ильяса тоже тараканцы или потомки тараканцевъ), и гр. Толстой всегда это хорошее дѣло дѣлалъ; но нынѣ онъ припутываетъ къ нему много совсѣмъ постороннихъ и притомъ до уродливости неправильныхъ соображеній, въ которыхъ и самъ запутывается. Многое припутываетъ и многое забываетъ. Забываетъ напримѣръ, что совѣсть не единственный столпъ, на которомъ покоится нравственный міръ. Кромѣ голоса совѣсти, который опредѣляетъ или

долженъ опредѣлять отношенія «тараканцевъ» къ «дуракамъ», есть еще голосъ чести, который опредѣляетъ отношенія «дураковъ» къ «тараканцамъ». Когда то гр. Толстой хорошо понималъ это. Даже въ его философско-историческихъ комментаріяхъ къ «Войнѣ и миру», въ которыхъ такъ много зародышей теоріи непротивленія злу, можно прочитать слѣдующія, напримѣръ, строки:

«Благо тому народу, который не какъ французы въ 1813 году, отсалютовавъ по всѣмъ правиламъ искусства и перевернувъ шпагу эфесомъ, граціозно и учтиво передаетъ ее великодушному побѣдителю, а благо тому народу, который въ минуту испытанія, не спрашивая о томъ, какъ по правиламъ поступали другіе въ подобныхъ случаяхъ, съ простотою и легкостью поднимаетъ первую попавшуюся дубину и гвоздитъ ею до тѣхъ поръ, пока въ душѣ его чувство оскорбленія и мести не замѣнится презрѣніемъ и жалостью».

Это очень хорошія слова вообще и въ частности потому, что ими хорошо характеризуется начало чести. Это не тѣ условныя, часто красивыя, «граціозныя» формы взаимныхъ отношеній между людьми, которыя выращиваются искусственно, какъ тепличныя растенія, или сохраняются, какъ бы въ замаринованномъ видѣ, отъ далекаго прошлаго и не имѣютъ въ настоящемъ никакого живого, подлиннаго смысла. Нѣтъ, голосъ чести требуетъ признанія человѣческаго достоинства по существу и, повинуясь ему, «дураки» должны были бы не плакать передъ тараканскими звѣрствами, а именно, какъ съ похвалою разсказываетъ гр. Толстой о русскихъ въ 1812 году, «поднять первую попавшуюся дубину и гвоздить ею». У «дураковъ» гр. Толстого совершенно атрофировано чувство чести и потому они совсѣмъ невѣрно поняли свое положеніе. Не въ томъ дѣло, что «сердешнымъ» тараканцамъ ѣсть нечего,—это по истинѣ «дурацкое» разумѣніе. Голоднаго накормить слѣдуетъ, но переносить наглыя оскорбленія отнюдь не слѣдуетъ, тѣмъ болѣе, что въ огромномъ большинствѣ случаевъ наглыми оскорбителями являются не нуждающіеся и обремененные, не голодные, а сытые...

Мнѣ становится чрезвычайно непріятно и тяжело писать о гр. Толстомъ. И не только тою непріятностью и тяжестью, которыя поневолѣ испытываешь при видѣ, фигурально выражаясь, опрокинутаго факела, коптящаго вмѣсто того, чтобы свѣтить. Тяжело, разумѣется, видѣть высоко даровитаго писателя, составляющаго славу и гордость родной земли, который самъ, добровольно сходитъ съ своего пьедестала, полагая напротивъ того, что онъ на пьедесталъ поднимается. Но въ этомъ случаѣ тяжесть и непріятность работы критика облегчается самымъ процессомъ борьбы, сознаніемъ надобности того дѣла, которое дѣлаешь. Богъ его знаетъ, сколько душъ увлекъ гр. Толстой величіемъ своего имени, обаятельностью своей литературной физіономіи, дѣйствительно симпатичными сторонами своихъ поученій. Во всякомъ случаѣ люди за нимъ валомъ валятъ или—теперь будетъ, можетъ быть, вѣрнѣе сказать—валили. Сказать этимъ людямъ, по мѣрѣ силъ и умѣнья, отрезвляющее слово было обязательно, а сознаніе исполненной или исполняемой обязанности въ значительной степени скрашиваетъ самое даже непріятное и тяжелое дѣло. Къ большому моему сожалѣнію, мои разговоры о Толстомъ растянулись на три тетради дневника, значитъ, на три мѣсяца, и за это время много воды утекло. Появилось нѣсколько статей о Толстомъ, въ которыхъ говорилось много вѣрнаго, и я этому порадовался, разумѣется. Значитъ, каковы бы ни были печальныя видимости, но всетаки живъ Богъ, жива душа литературы: проповѣдь общественной анестезіи и квіетизма, не смотря на высокое имя проповѣдника и на общераспространенное холопство передъ этимъ именемъ, встрѣчаетъ въ литературѣ съ разныхъ сторонъ отпоръ, какъ только является къ тому возможность, какъ только мало извѣстныя сочиненія Толстого являются въ печати. Значитъ,—думалось мнѣ,—измѣнись нѣсколько обстоятельства вообще, и наша литература перестанетъ быть свѣтильникомъ, поставленнымъ подъ столъ. Я и теперь надѣюсь, что все это такъ и будетъ. Но затѣмъ, протестъ противъ поученій Толстого сталъ принимать дикій, безобразный характеръ, наличности котораго ни въ какомъ смыслѣ и ни съ какой точки зрѣнія радоваться нельзя. Такъ въ «Современныхъ Извѣстіяхъ» какой-то бывшій сотрудникъ «Руси» вздумалъ приравнять Л. Н. Толстого извѣстному московскому юродивому Ивану Яковлевичу Корейшѣ; а газета, давшая на своихъ столбцахъ пріютъ этимъ соображеніямъ бывшаго сотрудника «Руси», въ серьезъ снабдила ихъ своими собственными примѣчаніями на тему объ юродивыхъ и юродствѣ. Какая-то дама въ «Русскомъ Курьерѣ» пошла еще дальше. Возражая Л. Н. Толстому по поводу «женскаго вопроса», она, между прочимъ, пишетъ: «Когда женщинѣ скажутъ: «сударыня, вы—драгоцѣнный черноземъ», то, по моему, она «отрожавшись, и если у нея еще есть силы», должна размахнуться и закатить звонкую пощечину тому, кто этими словами смѣлъ оскорбить ея

человѣческое достоинство»... Мнѣ стыдно выписывать эти строки, но я счелъ нужнымъ привести ихъ, потому что онѣ очень хорошо характеризуютъ все то же наше холопство. Полная формула холопства гласитъ: «либо въ зубы, либо ручку пожалуйте». Я нисколько не удивился бы, еслибы узналъ, что дама, написавшая эту мерзость, передъ тѣмъ была самою слѣпою изъ слѣпыхъ почитателей Толстого и даже не метафорически только, а прямо таки настоящимъ образомъ цѣловала его руки, какъ теперь прямо грозитъ «въ зубы». Это вполнѣ возможно. И Богъ-бы съ ней, съ неизвѣстной дамой «Русскаго Курьера». Въ семьѣ не безъ урода, и волноваться по поводу какого нибудь, хотя бы вполнѣ возмутительнаго поведенія или мнѣнія Ивана или Марьи, Петра или Дарьи, — значитъ гоняться за мухой съ обухомъ. Но литература не Иванъ или Дарья. Даже по чисто только техническимъ условіямъ своего существованія, литература не можетъ не быть выразительницей хотя нѣкоторой, хотя бы очень малой доли общественнаго мнѣнія. Дикіе люди всегда были и всегда говорили дикія слова или совершали дикіе поступки. Это не любопытно. Но вотъ что дѣйствительно достойно вниманія: еще недавно литература почти сплошь только кадила Толстому, а теперь вдругъ дошла до такихъ вещей, какія напечатаны въ «Современныхъ Извѣстіяхъ» и «Русскомъ Курьерѣ». Этимъ, безъ сомнѣнія, выражаются извѣстныя колебанія общественнаго мнѣнія, ибо подъ его давленіемъ прежде должны же были молчать тѣ самые Иваны и Дарьи, которые нынѣ столь развязны. Объяснить все дѣло тѣмъ, что гр. Толстой только нынѣ вполнѣ обнаружился,—отнюдь нельзя. Во-первыхъ, его мнѣнія и прежде были болѣе или менѣе извѣстны. Во-вторыхъ, какимъ-бы ни обнаружился Толстой, какой-бы страстной и рѣзкой критикѣ онъ ни подлежалъ,—мерзость вышеприведеннаго остается мерзостью. И возможна эта мерзость только тамъ, гдѣ общественное мнѣніе рыхло и невоспитанно. Тамъ создаютъ себѣ кумира, бьютъ лобъ передъ нимъ и съ такою же легкостью низвергаютъ этого кумира и топчутъ его, и издѣваются надъ нимъ, какъ никогда не посмѣли бы издѣваться надъ совершеннымъ даже ничтожествомъ. Какой-нибудь князь Мещерскій, напримѣръ, излагалъ по «женскому вопросу» мысли по истинѣ отвратительныя, но дама «Русскаго Курьера» не печатала по его адресу такихъ словъ, какія съ дикою развязностью пишетъ о вчерашнемъ кумирѣ Толстомъ...

И вотъ почему мнѣ непріятно дописывать о Толстомъ. Участвовать въ хорѣ никому не стыдно, но не тогда, когда въ этомъ хорѣ слышатся визгливые, рѣжущіе всякое мало-мальски чуткое ухо, звуки. Тогда становится стыдно, неловко, оскорбительно. Но дѣлать уже нечего: вино откупорено,—надо его допивать. Читатель проститъ мнѣ, надѣюсь, краткость нижеслѣдующаго. Что-жъ дѣлать, коли не пишется? Я запишу все, что думаю, но сдѣлаю это безъ того интереса, съ которымъ началъ свою бесѣду о Толстомъ.

До сихъ поръ мы видѣли только отрицательныя стороны поученій гр. Толстого:

Не помогай ближнему деньгами.

Не помогай ближнему знаніемъ.

Не помогай ближнему дѣятельнымъ вмѣшательствомъ, направленнымъ противъ зла.

Не противься злу вообще.

Положительное же предписаніе мы знаемъ до сихъ поръ только одно: люби ближняго, помогай ему. Какъ бы усердно ни повторялъ гр. Толстой это повелительное наклоненіе, какъ бы ни обставлялъ онъ его художественными иллюстраціями, оно во всякомъ случаѣ слишкомъ обще и нуждается въ детальной разработкѣ; въ особенности, когда предписаніями отрицательными отклоняются самые распространенные и удобные виды помощи ближнему. Натурально, что гр. Толстому пришлось предъявить и положительную программу. Къ ней мы теперь и обратимся. Но сначала посмотримъ на нѣкоторыя чисто теоретическія положенія гр. Толстого.

Статья «О назначеніи науки и искусства» (въ XII томѣ) заключаетъ въ себѣ чрезвычайно вѣрное замѣчаніе, что почти всѣ философскія теоріи, пользовавшіяся успѣхомъ и распространеніемъ, стремились «оправдать праздность и жестокость людей», «оправдать всѣхъ людей, освободившихъ себя отъ труда». Къ сожалѣнію, обзоръ этихъ «оправданій», дѣлаемый гр. Толстымъ, очень кратокъ и поверхностенъ. Онъ упоминаетъ только гегелевскую философію, теорію Мальтуса и органическую теорію въ соціологіи. Не говоря о томъ, что этими тремя ученіями отнюдь не исчерпываются тѣ увертки мысли и подтасовки фактовъ, цѣль (можетъ быть въ иныхъ случаяхъ даже безсознательная) которыхъ состоитъ въ оправданіи того, что оправданію не подлежитъ; не говоря объ этомъ, даже намѣченнымъ тремъ пунктамъ гр. Толстой удѣлилъ слишкомъ мало вниманія. Справедливо, что одни изъ представителей «философіи духа» дѣлали изъ нея выводы, направленные къ оправданію существующаго, какъ оно существуетъ; но изъ той же философіи духа произо-

шли такъ называемые крайніе лѣвые гегеліянцы, представителями которыхъ могутъ служить, напримѣръ, Фейербахъ и Карлъ Марксъ. Притомъ же, если, какъ упрекаетъ философію духа гр. Толстой, она учила, что «бороться со зломъ человѣку не нужно», такъ вѣдь это и есть одинъ изъ основныхъ тезисовъ самого графа Толстого. Справедливо далѣе мнѣніе гр. Толстого о теоріи Мальтуса, но гр. Толстой забываетъ, что теорія эта есть лишь одинъ эпизодъ, одинъ моментъ ученія буржуазной политической экономіи, построенной на принципѣ laissez faire, что можно бы было перевести по русски словами: «не сопротивляйся злу» или «покорись бѣдѣ, и она тебѣ покорится».

Что касается органической теоріи въ соціологіи, то къ ней гр. Толстой относится, повидимому, съ большею внимательностью. Но это только повидимому, а на самомъ дѣлѣ онъ третируетъ этотъ вопросъ еще болѣе cavalièrement. Органическая теорія, какъ извѣстно, основывается на аналогіи между индивидуальнымъ организмомъ и обществомъ, причемъ главнымъ пунктомъ аналогіи является принципъ раздѣленія труда. Гр. Толстой совершенно правъ, отрицая органическую теорію, но совершенно неправъ, утверждая, что «главнымъ основателемъ этого вѣроученія былъ французскій ученый—Контъ». Гр. Толстой идетъ такъ далеко, что говоритъ, будто вся философія Конта имѣетъ своимъ основаніемъ «произвольное и неправильное утвержденіе о томъ, что человѣчество есть организмъ», Уже одного этого достаточно, чтобы видѣть, что гр. Толстой съ философіей Конта знакомъ весьма мало, а нѣкоторыя подробности его изложенія, на которыхъ останавливаться не стоитъ, убѣждаютъ въ этомъ окончательно. Мало того, можно даже съ большою вѣроятностью указать, какъ сложились у гр. Толстого столь невѣрныя представленія о позитивной философіи. Дѣло въ томъ, что философія Конта основывается отнюдь не на аналогіи между обществомъ и организмомъ, хотя мысль эта и встрѣчается у него, какъ и у множества писателей, писавшихъ гораздо раньше его. Далѣе, извѣстно, что дѣятельность Конта раздѣляется на двѣ половины, выразившіяся, главнымъ образомъ, одна въ «Cours de philosophie positive», а другая—въ «Système de politique positive», Ученики Конта распались, сообразно этимъ половинамъ работы учителя, на двѣ группы. Одни признаютъ только «Курсъ», отвергая «Систему», «Религію человѣчества» и календарь Конта. Другіе, напротивъ того (ихъ часто называютъ, въ отличіе отъ первой группы, контистами), исповѣдуютъ религію человѣчества, имѣютъ свой «позитивный» культъ, свою «позитивную» церковь и т. д. Одинъ изъ новѣйшихъ контистовъ, нѣкто Фрей, американецъ, бывшій не такъ давно и у насъ въ Петербургѣ, и въ Москвѣ (мимоходомъ сказать, «Новое Время» неизвѣстно почему отождествило его съ г. Мачтетомъ, молодымъ нашимъ беллетристомъ), попробовалъ сочетать религію человѣчества съ ученіемъ Герберта Спенсера. Попытка эта обратила на себя вниманіе, но, кажется, большого успѣха и распространенія не получила. Едва-ли не отсюда почерпнулъ свои свѣдѣнія гр. Толстой.

Вообще изложеніе органической теоріи и критика ея сдѣланы у гр. Толстого, хотя и съ большимъ апломбомъ, но до такой степени поверхностно, неправильно и неполно, что заключающіяся въ нихъ вѣрныя и хорошія мысли даже нѣсколько компрометируются. Для насъ, впрочемъ, это большого значенія не имѣетъ. Гр. Толстой цѣнится его почитателями, главнымъ образомъ, какъ моралистъ, и намъ нужно теперь добраться де положительной стороны его ученія или программы.

Весь ужасъ, вся глубокая и возмутительная несправедливость общественнаго раздѣленія труда (его слѣдуетъ отличать отъ раздѣленія труда техническаго съ одной стороны и органическаго съ другой) состоитъ въ томъ, что при немъ человѣкъ превращается въ «палецъ отъ ноги», въ безвольный органъ нѣкотораго высшаго организма—общества; рабочій только работаетъ, землепашецъ только землю пашетъ, мыслитель только мыслитъ и т. д., все равно, какъ въ индивидуальномъ организмѣ желудокъ только пищу перевариваетъ, мозгъ только высшими духовными отправленіями завѣдуетъ, мускулы только двигательную функцію выполняютъ и проч. При этомъ только мыслящій мыслитель и только землю пашущій землепашецъ не живутъ всею тою полнотою жизни, къ какой способенъ человѣкъ. Установившійся общественный порядокъ какъ-бы обкрадываетъ ихъ, лишая каждаго изъ нихъ извѣстной доли радостей и труда, распредѣленныхъ по разнымъ общественнымъ группамъ, не говоря уже объ томъ, что однимъ достается много радостей и мало труда, а другимъ много труда и мало радостей. Такъ понимаетъ дѣло и гр. Толстой. Понимаетъ онъ также, что это не есть порядокъ необходимый, неизбѣжный, неотмѣнный. Желудокъ напрасно возмущался-бы противъ своего положенія, напрасно требовалъ бы онъ для себя такой полноты жизни, чтобы не только пищу переваривать, а и вкусными ощущеніями наслаждаться, и видѣть, и мыслить, и самопроизвольно дви-

гаться, и любить и проч. Но человѣкъ, все-таки обладающій способностью жить всесторонне, имѣющій очи видѣти и уши слышати, имѣющій и мозгъ и сердце, вправѣ домогаться иного порядка вещей. Какъ-же этого добиться? Гр. Толстой отрицаетъ, чтобы бѣдѣ могли помочь сами по себѣ техническій прогрессъ и прогрессъ знаній. Какъ-же быть? «Что дѣлать? Что именно дѣлать? спрашиваютъ всѣ, и спрашивалъ и я»,— говоритъ гр. Толстой. Теперь ужь онъ не спрашиваетъ: онъ знаетъ, что дѣлать.

Ясно, что къ разрѣшенію задачи можно подойти съ двухъ сторонъ, въ принципѣ нисколько другъ другу не противорѣчащихъ, а напротивъ того другъ другу необходимо помогающихъ,— со стороны общественной реформы и со стороны личнаго самоусовершенствованія. Для краткости и наглядности представимъ себѣ, что мы живемъ во времена общественнаго раздѣленія труда, рѣзко опредѣленнаго и юридически оформленнаго, напримѣръ, во времена крѣпостного права. Трудъ подѣленъ между двумя классами общества: высшему классу предоставленъ трудъ умственный въ разнообразныхъ его видахъ,—трудъ управленія, воздѣлываніе наукъ и искусствъ и, за остающимся досугомъ, соотвѣтственныя наслажденія; низшему классу предоставленъ трудъ физическій. Представитель высшаго класса, человѣкъ большого ума и благородной души, положимъ, гр. Л. Н. Толстой, возмущенный такимъ порядкомъ вещей, можетъ направить свою дѣятельность непосредственно на отмѣну крѣпостного права, съ паденіемъ котораго раздѣленіе труда должно, если не исчезнуть, то по крайней мѣрѣ ослабѣть. Но онъ можетъ поступить и иначе. Онъ можетъ выработать какъ для помѣщиковъ, такъ и для крестьянъ такую программу личной жизни, которая, расширяя формулу жизни тѣхъ и другихъ, повлечетъ за собой фактическое уничтоженіе даннаго общественнаго раздѣленія труда. Онъ можетъ обращаться къ совѣсти помѣщиковъ и къ ихъ разуму, доказывая имъ, что, сбросивъ съ себя весь физическій трудъ, они лишаютъ себя многихъ наслажденій, здоровья, душевнаго спокойствія, а въ крестьянахъ онъ можетъ будить интересъ къ умственнымъ занятіямъ. И такимъ образомъ дѣло придетъ къ благополучному концу или по крайней мѣрѣ встанетъ на путь, ведущій ко всеобщему благополучію.

Гр. Толстой рѣшительно выбираетъ этотъ второй путь личнаго самоусовершенствованія, и нѣкоторыя подробности его признаній и разсужденій на эту тему въ высшей степени любопытны. Онъ говоритъ:

«На вопросъ, что нужно дѣлать—явился самый несомнѣнный отвѣтъ: прежде всего, что мнѣ самому нужно—мой самоваръ, моя печка, моя вода, моя одежда, все, что я самъ могу сдѣлать. На вопросъ нужно ли организовать этотъ физическій трудъ, устроить сообщество въ деревнѣ на землѣ, *оказалось, что все это не нужно...* человѣкъ трудящійся самъ собой, естественно примыкаетъ къ существующему сообществу людей трудящихся. На вопросъ о томъ, не поглотитъ ли этотъ трудъ всего моего времени и не лишитъ ли меня возможности той умственной дѣятельности, которую я люблю, къ которой привыкъ и которую въ минуты самомнѣнія считаю небезполезною другимъ, отвѣтъ получился самый неожиданный. Энергія умственной дѣятельности усилилась и равномѣрно усиливалась, освобождаясь отъ всего излишняго, по мѣрѣ напряженія тѣлеснаго. Оказалось, что, отдавъ на физическій трудъ восемь часовъ, ту половину дня, которую я прежде проводилъ въ тяжелыхъ усиліяхъ борьбы со скукой, у меня оставалось еще восемь часовъ, изъ которыхъ мнѣ нужно было по моимъ условіямъ только пять...» И т. д., и т. д. Словомъ графъ устроился прекрасно: здоровѣе сталъ, лучше и больше пишетъ, на душѣ у него спокойнѣе. Остальныя подробности еще любопытнѣе.

«День всякаго человѣка самой пищей раздѣляется на 4 части или 4 упряжки, какъ называютъ это мужики: 1) до завтрака; 2) отъ завтрака до обѣда; 3) отъ обѣда до полдника и 4) отъ полдника до вечера. Дѣятельность человѣка, въ которой онъ по самому существу своему чувствуетъ потребность, тоже раздѣляется на четыре рода: 1) дѣятельность мускульной силы, работа рукъ, ногъ, плечъ, спины—тяжелый трудъ, отъ котораго вспотѣешь; 2) дѣятельность пальцевъ и кисти рукъ—дѣятельность ловкости мастерства; 3) дѣятельность ума и воображенія; 4) дѣятельность общенія съ другими людьми. Блага, которыми пользуется человѣкъ, тоже раздѣляются на 4 рода: всякій человѣкъ пользуется, во-первыхъ, произведеніями тяжелаго труда, хлѣбомъ, скотиной, постройками, колодцами, прудами и т. п., во-вторыхъ, дѣятельностью ремесленнаго труда: одежей, сапогами, утварью и т. п.; въ третьихъ, произведеніями умственной дѣятельности наукъ, искусства; и въ четвертыхъ, установленнымъ общеніемъ съ людьми, И мнѣ представилось, что лучше всего бы было чередовать занятія дня, такъ чтобы упражнять всѣ четыре способности человѣка и самому производить всѣ тѣ четыре рода благъ, которыми пользуются люди, такъ чтобы одна часть дня—первая упряжка была посвящена тяжелому труду,

другая—умственному, третья—ремесленному и четвертая—общенію съ людьми. Мнѣ представилось, что тогда только уничтожится то ложное раздѣленіе труда, которое существуетъ въ нашемъ обществѣ и установится то справедливое раздѣленіе труда, которое не нарушаетъ счастія человѣка».

Нѣсколько далѣе, гр. Толстой оговаривается, что онъ не стоитъ за эти четыре «упряжки», что раздѣливъ такимъ образомъ свой день и чувствуя себя при этомъ во всѣхъ отношеніяхъ прекрасно, онъ допускаетъ возможность еще лучшаго распредѣленія труда и времени. И совершенно напрасно оговаривается, ибо лучшаго, пожалуй, что и не выдумаешь. Программа выходитъ соблазнительно стройная, красивая и чрезвычайно опредѣленная—часъ въ часъ разсчитанъ. Одна бѣда... Впрочемъ, нѣтъ, полторы бѣды...

Первая бѣда, пожалуй, только полбѣды. Она въ томъ, что при существующихъ условіяхъ это программа дня не человѣколюбца, какъ можно бы было ожидать, судя по основному требованію любви къ ближнему, которое постоянно предъявляетъ гр. Толстой, а себялюбца. Человѣкъ, который выполнитъ эту программу, будетъ навѣрное очень здоровъ, испытаетъ много цѣнныхъ наслажденій, даваемыхъ разнообразіемъ дѣятельности, которымъ позавидовалъ бы самъ Эпикуръ, но когда же онъ будетъ помогать ближнему? Правда, помощь ближнему можетъ войти въ составъ вечернихъ занятій, то есть четвертой упряжки, посвященной «установленному общенію съ людьми». Но, во первыхъ, что это за *установленное* общеніе, а, во вторыхъ, какъ быть, если помощь ближнему понадобится не вечеромъ, а утромъ, въ тотъ часъ, когда по росписанію полагается заниматься «тяжелымъ трудомъ, отъ котораго вспотѣешь?» или если эта помощь потребуетъ не одной упряжки, а цѣлаго дня?

Всѣ эти смущающіе вопросы устраняются однако однимъ соображеніемъ, объ которомъ впрочемъ гр. Толстой не говоритъ. Насколько можно судить по отрывочнымъ замѣчаніямъ въ статьяхъ теоретическаго характера и по нѣкоторымъ сказкамъ и разсказамъ, помощь ближнему можетъ быть оказываема, по мнѣнію гр. Толстого, исключительно трудомъ. Помогите вдовой бабѣ или больному мужику вспахать полосу, приставьте къ плотничьей артели, строющей домъ, помогите пильщикамъ распилить дрова, натаскайте, кому нужно, воды и т. п., и не берите за свою работу денегъ, а ждите, что и вамъ, когда понадобится, помогутъ работой же. Вотъ въ чемъ состоитъ истинная и единственно плодотворная и безупречная помощь ближнему. Можно поэтому думать, что день въ четыре упряжки вполнѣ приложимъ и для человѣколюбца, а именно въ первую упряжку онъ поможетъ Ивану, напримѣръ, вспахать полосу, во вторую—починитъ Петру замокъ, въ третью—напишетъ сказку для народа или статью для насъ, въ четвертую—займется поучительной бесѣдой. И такимъ образомъ весь день, не выходя изъ упряжки, посвятитъ на помощь ближнимъ, которые въ свою очередь тѣмъ же способомъ при случаѣ помогутъ ему.

Положимъ, что нѣкоторыя неудобства упряжки этимъ не устраняются, но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что тутъ-то и начинается настоящая и уже непоправимая бѣда программы гр. Толстого, особенно если принять въ соображеніе его взглядъ на назначеніе женщинъ. Кто можетъ выполнить программу упряжки, даже при искреннѣйшемъ желаніи? Доступна ли она, ну хоть тому наборщику, который набиралъ программу гр. Толстого и можетъ быть соблазнился ея красивою и заманчивою опредѣленностью, и который наконецъ необходимъ именно, какъ наборщикъ, ради пропаганды ученія Толстого? Задать этотъ вопросъ значитъ отвѣтить на него, да гр. Толстой не особенно и интересуется наборщикомъ, какъ городскимъ жителемъ. Ну, а деревенскій человѣкъ, мужикъ можетъ жить въ упряжкѣ, предлагаемый Толстымъ? Объ этомъ смѣшно даже и говорить, ибо программа эта должна изломать всю жизнь мужика, всю ее вывернуть на изнанку, тѣмъ болѣе, что и жена мужика должна, по Толстому, только дѣтей рожать и вскармливать, а отнюдь не работать. Вообще человѣкъ, имѣющій какое нибудь свое дѣло, настоящее, а не игрушечное дѣло, которымъ онъ кормится и семью кормитъ, можетъ только улыбнуться на предложеніе жить въ упряжкѣ и отрываться отъ своего дѣла для того, чтобы наколоть дровъ или натаскать воды, дабы тѣмъ выразить свою любовь къ ближнему. Благо, конечно, тому, кто, по обстоятельствамъ, можетъ дѣлать эти веселыя, пріятныя, здоровыя экскурсіи отъ своего собственнаго дѣла къ чужому, но такихъ счастливцевъ не много найдется. Гр. Толстой ратуетъ противъ роскоши и за трудъ. Это превосходно и за это можно бы было ему только спасибо сказать, но практически онъ рекомендуетъ не трудъ, а именно роскошь, доступную ему самому, но совершенно недоступную огромному большинству. До такой степени недоступную, что ужъ, конечно, не этимъ путемъ будетъ поколеблено зданіе, вѣками строившееся на раздѣленіи труда. Секту, кружокъ, нѣчто въ родѣ монашескаго ордена

гр. Толстой можетъ образовать, а всѣ остальные его почитатели и поклонники обречены либо на чисто словесное сочувствіе къ его ученіямъ, сочувствіе, которое ни въ чемъ не измѣнитъ ихъ жизни, развѣ прибавитъ къ ней лицемѣрія; либо на успокоительное утвержденіе въ отрицаніяхъ: не помогай ближнему деньгами, не помогай знаніемъ, не помогай заступничествомъ, не противься злу... Эта часть программы гр. Толстого такъ удобоисполнима, что за нее, конечно, схватятся многіе, дабы совершенно одеревенѣть и спокойно жуировать подъ прикрытіемъ великаго имени. И въ этихъ печальныхъ результатахъ утонетъ все доброе, что есть въ проповѣди Толстого, весь его призывъ къ правдѣ и труду...

VI.

О г. Буренинѣ *).

Г. Буренинъ есть безспорно одна изъ самыхъ замѣтныхъ фигуръ въ нашей текущей литературѣ, и едва-ли кто-нибудь удивится, если я посвящу ему цѣлую главу своего дневника. Удивительно, можетъ быть, наоборотъ то, что до сихъ поръ никто не предложилъ читателямъ взглянуть съ нѣкоторою серьезностью на этого писателя. Г. Буренинъ пишетъ очень давно и притомъ въ такихъ распространенныхъ изданіяхъ, какимъ были въ свое время «С.-Петербургскія Вѣдомости» редакціи Корша и каково теперь «Новое Время», не говоря объ томъ, что случайно онъ печатался и въ разныхъ другихъ мѣстахъ. Г. Буренинъ, что называется, «бойкое перо». Г. Буренинъ чрезвычайно разнообразенъ: онъ и критикъ, и беллетристъ, и поэтъ. Какъ поэтъ, онъ опять таки разнообразенъ: переводитъ Барбье, Гюго, Аріосто и проч. и самъ пишетъ «пѣсни и шаржи». Все это даетъ ему право на вниманіе гораздо большее, чѣмъ какое до сихъ поръ оказывала ему литература, а вниманіе читателей гарантировано уже тѣмъ, что г. Буренинъ слишкомъ двадцать лѣтъ, а, можетъ быть, и гораздо больше, еженедѣльно предъявляетъ имъ себя въ томъ или другомъ видѣ. Нѣкоторые изъ его фельетоновъ, напримѣръ, затѣянная имъ недавно безконечная путаница подъ заглавіемъ, помнится, «Бобо» — скучны и, какъ я могу засвидѣтельствовать по собственному опыту и по наслышкѣ отъ другихъ, читаются съ зѣвотой и даже не дочитываются. Знаю я также людей, которые не читаютъ произведеній г. Буренина по нѣкоторой брезгливости. Но, вообще говоря, г. Буренинъ писатель изъ очень читаемыхъ. И надо же, наконецъ, подвести какіе-нибудь итоги этому слишкомъ двадцатилѣтнему еженедѣльному чтенію.

Что же мы, читатели, вынесли изъ этого чтенія? Въ чемъ насъ г. Буренинъ убѣдилъ или разубѣдилъ, что освѣтилъ критическимъ взглядомъ, что далъ, какъ поэтъ, съ чѣмъ и во имя чего боролся? Все это вопросы, вполнѣ естественные относительно писателя, работающаго многіе годы. И, однако, никто, я думаю, не отвѣтитъ на нихъ сразу. Иные, можетъ быть, даже усомнятся въ законности этихъ вопросовъ именно по отношенію къ г. Буренину. Мы увидимъ ниже почему это такъ выходитъ. А теперь попробуемъ установить нѣкоторыя черты писательской физіономіи г. Буренина.

Г. Буренинъ издалъ нѣкоторыя свои произведенія—стихотворенія, разсказы, фельетоны — отдѣльными книжками. Первое по времени такое изданіе есть сборникъ стихотвореній «Былое» (1880 г.). Составъ этой книги въ двадцать слишкомъ листовъ слѣдующій. Во-первыхъ, идутъ переводы: изъ Барбье, изъ Томаса Гуда, изъ Виктора Гюго, изъ Байрона, Аріосто, Альфреда де-Мюссе, Чаттертона. Переводы занимаютъ почти половину книги. Затѣмъ мы имѣемъ группу стихотвореній подъ общимъ заглавіемъ «Военно-поэтическіе отголоски». Всѣ они относятся ко времени франко-прусской войны и направлены къ осмѣянію прусскаго милитаризма, а достигается этотъ результатъ слѣдующимъ версификаторскимъ кунстштюкомъ. Беретъ, напримѣръ, г. Буренинъ Жуковскаго переводъ баллады Шиллера «Графъ Габсбургскій». Позвольте напомнить начало этой баллады, которую едва-ли не всѣ мы въ дѣтствѣ чуть не наизусть учили:

Торжественнымъ Ахенъ весельемъ шумѣлъ;
 Въ старинныхъ чертогахъ, на пирѣ
Рудольфъ, императоръ избранный, сидѣлъ
 Въ сіяньи вѣнца и въ порфирѣ.
Тамъ кушанья рейнскій пфальцграфъ разносилъ,
Богемецъ напитки въ бокалы цѣдилъ,
 И семь избирателей, чиномъ
Устроенный древле свершая обрядъ,
Блистали, какъ звѣзды предъ солнцемъ блестятъ,
 Предъ новымъ своимъ властелиномъ.

Г. Буренинъ озаглавливаетъ свое стихотвореніе «Графъ Шёнгаузенскій» и начинаетъ такъ:

Торжественный праздникъ весельемъ шумѣлъ
 Въ Версали, при главной квартирѣ;
Хозяинъ графъ Отто фонъ-Бисмаркъ сидѣлъ
 Въ блестящемъ маіорскомъ мундирѣ.
Фонъ-Мольтке безмолвно сигару курилъ;
 Подбѣльскій напитки въ бокалы цѣдилъ:
 И штабные, младшіе чиномъ,
Стояли поодаль начальниковъ въ рядъ,
На вытяжкѣ, будто свершали парадъ
 Они на плацу подъ Берлиномъ.

*) 1886, сентябрь.

Дальше идетъ столь же точная, подстрочная передѣлка всей баллады Шиллера—Жуковскаго: вмѣсто графа Габсбургскаго подставленъ графъ Шёнгаузенскій, а вмѣсто священника, которому Рудольфъ помогъ перевести черезъ рѣчку св. дары,—«демократъ», которому Бисмаркъ пустилъ когда-то пивную кружку въ лобъ. Въ этомъ же родѣ передѣланы Лермонтова «Вѣтка Палестины» («Прусская каска»: «Скажи мнѣ, каска пѣхотинца, чье украшала ты чело? Въ какомъ полку, какого принца, твой мѣдный верхъ сіялъ свѣтло?» и т. д.), «Дары Терека», Пушкина «Будрысъ и его сыновья» и проч.

За «Военно-поэтическими отголосками» слѣдуетъ еще группа стихотвореній, озаглавленная «Пѣсни дня». О содержаніи ихъ намъ, вѣроятно, еще придется говорить, а по формѣ это опять-таки, главнымъ образомъ, подражанія. Читая «пѣсни дня», вы постоянно слышите что-то знакомое, и опять, именно, такое знакомое, что въ свое время чуть не наизусть училось. Напримѣръ, «Славный бой при гостинницѣ «эрцгерцогъ Стефанъ»: «Скажи-ка, геръ камрадъ, не даромъ, воинственнымъ пылая жаромъ, австрійцы міръ дивятъ?» и т. д.

Слѣдующій отдѣлъ книги уже прямо и откровенно озаглавленъ: «Подражанія», а затѣмъ остаются еще двѣ довольно большія пьесы «Дорожная фантазія» и «Прерванныя главы», якобы оригинальныя, но очевидно копирующія манеру Гейне.

Такимъ образомъ, переводы, копіи, пародіи, подражанія,—вотъ чѣмъ исчерпывается содержаніе сборника «Былое», въ который вошли стихотворенія, написанныя г. Буренинымъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Я не говорю объ томъ, какъ все это сдѣлано (г. Буренинъ владѣетъ стихомъ очень легко), не говорю пока и объ томъ, что составляетъ, такъ сказать, душу всѣхъ этихъ стихотвореній, которую г. Буренинъ считалъ уже въ 1880 г. чѣмъ-то «былымъ», пройденнымъ. Я теперь обращаю ваше вниманіе только на подражательный характеръ всего, что г. Буренинъ счелъ возможнымъ перепечатать въ 1880 г. отдѣльнымъ изданіемъ.

Не говоря уже о переводахъ,—пародіи, передѣлки, подражанія, «перепѣвы» имѣютъ свое законное мѣсто въ литературѣ, но они имѣютъ также или по крайней мѣрѣ должны имѣть свою опредѣленную задачу, опредѣленную цѣль. Цѣль, напримѣръ, «Военно-поэтическихъ отголосковъ», повидимому, совершенно опредѣленна: насмѣяться надъ прусскимъ милитаризмомъ какъ разъ въ то время, когда онъ наступалъ на горло Франціи, а вмѣстѣ съ ней, можно сказать, и всему человѣчеству. Цѣль дѣйствительно опредѣленная, почтенная, и до извѣстной степени она была достигнута: «военно-поэтическіе отголоски», въ самомъ дѣлѣ, болѣе или менѣе забавны. Но, спрашивается, почему эта насмѣшка облечена въ форму пародіи на произведенія русскихъ поэтовъ, и не такихъ только, которые заслуживаютъ пародіи, а, напримѣръ, и Пушкина, и Лермонтова? Пародія имѣетъ всегда самостоятельную цѣль—осмѣять, опошлить, низвести съ незаслуженнаго пьедестала пародируемую вещь. Возьмемъ, напримѣръ, изъ «Военно-поэтическихъ отголосковъ» «Гимнъ лиро-эпическій на полученіе его сіятельствомъ графомъ Бисмаркомъ генералъ-лейтенантскаго чина и на побѣды прусскія». Это насмѣшка болѣе надъ Державинымъ, чѣмъ надъ Бисмаркомъ и прусскими побѣдами. «Гимнъ» сопровожденъ примѣчаніями такого рода: «Въ семъ гимнѣ поэтъ задался цѣлью возлетѣть на высоту піитическаго паренія нашего сѣвернаго барда Гавр. Ром. Державина. Усиліе сравняться съ Гавріиломъ Романовичемъ привело поэта къ тому, что многія мѣста его гимна оказались темными не только для читателя, но и для него самого». Или: «Атропа—парка или смерть. Хотя представляется въ женскомъ образѣ, но поэтъ предпочелъ представить ее мужчиной, руководствуясь примѣромъ Гавр. Ром., который сказалъ про Наполеона I: «Всю почти Европу далъ страшному Атропу» и т. д Что Державинъ съ своимъ «пареніемъ» подчасъ смѣшонъ, это правда, но—«мертвый въ гробѣ мирно спи, жизнью пользуйся живущій». А Державинъ до такой степени мертвъ и мирно спитъ въ гробу, что осмѣивать его при помощи пародіи рѣшительно не имѣетъ никакого смысла. Если возможно, то еще менѣе смысла имѣетъ пародировать «Орлеанскую дѣву» стихами: «Ахъ, почто за мечъ воинственный отданъ мной, на склонѣ лѣтъ, другъ имперіи единственный—полицейскаго кастетъ». Г. Буренинъ мѣтилъ въ Наполеона III, но, благодаря формѣ пародіи, прихватилъ и Орлеанскую дѣву, и Шиллера, и Жуковскаго. Точно также, избравъ цѣлью насмѣшки Бисмарка и нѣмцевъ вообще, онъ прихватываетъ и Пушкина, и Лермонтова. За что? для чего? Странная, конечно, цѣль осмѣять въ наши времена Державина, никому не мѣшающаго, не имѣющаго никакого значенія, но тутъ, по крайней мѣрѣ, есть цѣль, и самъ авторъ пародіи указываетъ ее въ примѣчаніяхъ. Ну, кажется г. Буренину, что это нужно, вѣрно, полезно, что Державинъ еще живетъ въ сердцахъ современниковъ и имѣетъ вредное вліяніе своею напыщенностью, и прекрасно. То есть ничего тутъ прекраснаго нѣтъ, потому что это совершенно ошибочно и рѣшительно не

стоитъ ломать себѣ и читателямъ языкъ разными «горорытствами» и «борееобразными Воонергесами». Но во всякомъ случаѣ это только ошибка, а опошленіе и низведеніе съ пьедестала Пушкина или Лермонтова, очевидно, вовсе не входило въ намѣренія г. Буренина. Это вышло какъ-то само собой, нечаянно, помимо воли и сознанія автора, единственно по непреодолимой его склонности къ подражанію, почти автоматическому. Г. Буренинъ, повидимому, иногда и самъ понимаетъ эту коренную черту своей литературной физіономіи. Въ вышедшемъ недавно новомъ сборникѣ его стихотвореній «Пѣсни и шаржи» есть, между прочимъ, длинный и скучный «романъ въ стихахъ»—«Иванъ Овѣринъ». Первая строчка его гласитъ: «Начну слегка на пушкинскій манеръ». А потомъ, сообщивъ читателямъ, что героя романа зовутъ Овѣринъ, г. Буренинъ прибавляетъ въ скобкахъ:

(Онѣгинъ—я не вымолвилъ едва:
Привычка подражанья такова).

Въ большомъ стихотвореніи «Весталка» (въ «Быломъ») г. Буренинъ представляетъ себя бесѣдующимъ съ гг. Майковымъ, Полонскимъ, Фетомъ, которые одинъ за другимъ даютъ ему, г. Буренину, очень характерное названіе: «поэтовъ пересмѣшникъ». Впрочемъ, г. Майковъ будто бы даетъ ему болѣе пространный титулъ, а именно: «поэтовъ пересмѣшникъ, буйный гаэръ, провозвѣстникъ отрицанія въ искусствѣ». О «гаэрѣ» я ничего не скажу, потому что это ругательное слово, а я не хочу ругаться. «Провозвѣстникомъ отрицанія въ искусствѣ» г. Буренинъ, если когда нибудь и былъ, то пересталъ быть и, отрекшись отъ заблужденій молодости, обращается нынѣ къ гг. Майкову, Полонскому и Фету съ почтительнѣйшими поклонами. А вотъ «пересмѣшникомъ», и притомъ не однихъ поэтовъ, онъ дѣйствительно всегда былъ и, надо думать, пересмѣшникомъ и умретъ. Надо только понимать это слово въ его настоящемъ смыслѣ: не насмѣшникъ, а именно пересмѣшникъ. Такъ называется одна птица, ужъ конечно не въ насмѣшку и вообще не намѣренно, но съ большимъ искусствомъ подражающая голосу другихъ птицъ. Г. Буренину случается, разумѣется, и очень часто случается, писать пародіи и всякаго рода перепѣвы съ совершенно опредѣленнымъ намѣреніемъ,—не птица же онъ въ самомъ дѣлѣ,—и пародіи эти часто очень удаются ему. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ мы уже и теперь видѣли изъ «Военно-поэтическихъ отголосковъ», онъ впадаетъ въ пародію почти мимовольно, вовсе не желая «насмѣшничать» надъ Лермонтовымъ или Пушкинымъ, а только потому, что не можетъ не «пересмѣшничать». Сильные, звучные, яркіе, содержательные стихи дѣйствуютъ на него угнетающимъ образомъ. Онъ совершенно невольно пародируетъ эти строки именно потому, что онѣ сильны, звучны, ярки, содержательны, то есть именно потому, что они пародіи не заслуживаютъ. Отсюда и эта легкость и точность версификаторскаго фокуса — подстрочной передѣлки, образчикъ которой мы видѣли выше въ «Графѣ Габсбургскомъ» — «Графѣ Шёнгаузенскомъ». Извѣстно, что многія безсознательныя и мимовольныя дѣйствія отличаются необыкновенною точностью.

Я знаю, что на первый взглядъ все это можетъ показаться парадоксальнымъ, но думаю, что, дочитавъ эту главу дневника до конца, вы со мной вполнѣ согласитесь.

Въ настоящее время разговоры о «чтеніи мысли» и «внушеніи», вызванные опытами Бишопа и потомъ г. Фельдмана, у насъ позатихли. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы предметъ тѣхъ разговоровъ былъ исчерпанъ и сданъ въ архивъ. Напротивъ того. Кой-кто изъ людей науки продолжаетъ имъ пристально заниматься. И можно смѣло предсказать, что въ весьма недалекомъ будущемъ вопросъ, затрогиваемый упомянутыми опытами или, если хотите, фокусами, станетъ однимъ изъ тѣхъ центральныхъ пунктовъ науки, изъ которыхъ разливается свѣтъ во всѣ стороны, на самыя разнообразныя сферы знанія и пониманія. Еще Жанъ-Поль Рихтеръ говорилъ, что животный магнитизмъ, какъ въ его время называлась эта группа явленій, есть величайшее изъ открытій прошлаго вѣка, но что пройдутъ вѣка прежде, чѣмъ это «чудесное дитя» (Wunderkind) станетъ «чудотворцемъ» (Wunderthäter). Довольно однако, кажется, и одного столѣтія, чтобы вопросъ высокой важности, со времени Месмера не одинъ разъ утопленный невѣжествомъ и шарлатанствомъ съ одной стороны и педантически узкимъ скептицизмомъ съ другой, омылся, очистился и сталъ наконецъ достояніемъ науки во всей своей глубинѣ и обширности. Мы очевидно вступаемъ уже въ этотъ окончательный періодъ исторіи злосчастнаго вопроса, хотя и шарлатанство, и самыя фантастическія, противонаучныя объясненія, и узкій скептицизмъ находятся на лицо и продолжаютъ дѣлать свое злое дѣло, заслоняя свѣтъ истины.

Явленія, о которыхъ идетъ рѣчь, представляютъ собою образчики вліянія одного человѣка на другого, при несомнѣнно патологическомъ состояніи этого другого. Вліяніе это выражается слѣпымъ повиновеніемъ, автоматическимъ подражаніемъ или тѣмъ особымъ видомъ подчиненія, которому усвое-

но, не совсѣмъ удачное и порождающее недоразумѣнія, названіе «чтенія мыслей», (названіе не удачно въ особенности потому, что оно какъ бы намекаетъ на активную роль «чтеца», что совершенно не соотвѣтствуетъ дѣйствительнымъ отношеніямъ между чтецомъ и другими участниками опытовъ). Все это однако только частные случаи подражательности и подчиненія вообще, чрезвычайно распространенныхъ какъ въ человѣческомъ обществѣ, такъ и въ органической природѣ. Въ статьѣ «Герои и толпа» и затѣмъ въ оборванныхъ обстоятельствами «Научныхъ письмахъ» я пробовалъ очертить весь обширный и на первый взглядъ пестрый, не однородный кругъ относящихся сюда явленій. Начало подражательности и подчиненія воплощается то въ формѣ «мимичности» или такъ называемой покровительственной окраски; то въ видѣ «стигматизаціи» и сродныхъ ей феноменовъ; то въ видѣ «нравственной заразы», подъ которою опять разумѣются чрезвычайно разнообразныя явленія; то, наконецъ, въ видѣ рабскихъ инстинктовъ и страстнаго, неудержимаго желанія отдать свою волю въ чужія руки. Активнымъ, властнымъ элементомъ во всѣхъ этихъ комбинаціяхъ можетъ быть совершенно опредѣленное живое лицо, «герой», который, однако, можетъ не имѣть въ себѣ ничего героическаго въ ходячемъ смыслѣ этого слова, ничего возвышеннаго или великаго,— такъ цѣлыя толпы идутъ сплошь и рядомъ на доброе или злое дѣло вслѣдъ за человѣкомъ, можетъ быть и обладающимъ большими достоинствами, а можетъ быть и не обладающимъ, но во всякомъ случаѣ умѣющимъ употреблять повелительное наклоненіе. Въ другихъ случаяхъ властный, активный элементъ представляется созданіемъ воображенія,—такъ Францискъ Ассизскій, Луиза Лато и другіе стигматики, постоянно лелѣя мыслью образъ распятаго Христа, доходили до того, что «язвы гвоздиныя» появлялись на ихъ ладоняхъ и ступняхъ. Въ области «мимичности» активнымъ элементомъ являются иногда опредѣленные, индивидуализированные организмы, а иногда просто окружающая мертвая обстановка,— такъ нашъ заяцъ-русакъ бѣлѣетъ зимой подъ вліяніемъ снѣжной пелены, а заяцъ полярный, видящій передъ собой эту пелену круглый годъ, никогда не мѣняетъ своей бѣлой одежды. Что касается элемента пассивнаго, подчиняющагося, то представитель его можетъ находиться въ состояніи завѣдомо патологическомъ, какъ напримѣръ, гипнотикъ, исполняющій самыя нелѣпыя приказанія или автоматически подражающій «магнитизору», но это отнюдь не составляетъ условія необходимаго. Изслѣдованія гипнотизма привели къ тому заключенію, что все дѣло здѣсь въ относительной подавленности дѣятельности корковаго слоя полушарій, сѣдалища высшихъ способностей духа, а слабость этихъ способностей,—воли, сознанія, критической мысли, — слишкомъ часто встрѣчается и въ субъектахъ вполнѣ здоровыхъ.

Здѣсь не мѣсто распространяться о подробностяхъ, за которыми читатель можетъ обратиться къ вышеупомянутымъ статьямъ «Герои и толпа» и «Научныя письма». Достаточно сказать, что принципъ подражательности и подчиненія, такъ рѣзко выражающійся въ опытахъ «внушенія» и «чтенія мыслей», даетъ ключъ къ объясненію самыхъ разнообразныхъ, на первый взглядъ очень загадочныхъ явленій, какъ органической, такъ и исторической жизни и наконецъ жизни, такъ сказать, текущей, окружающей насъ сейчасъ. Полагаю, что многое можетъ онъ уяснить и историкамъ литературы, и критикамъ.

Я не буду распространяться о томъ, что бываютъ въ литературѣ цѣлыя большія теченія, опредѣляемыя подражаніемъ какому нибудь оригинальному художнику, какъ это было, напримѣръ, съ Байрономъ. Я прямо перейду къ непосредственному предмету нашей бесѣды, къ г. Буренину, представляющему чрезвычайно яркій и характерный образчикъ тѣхъ слабыхъ, лишенныхъ самоуправленія натуръ, вся литературная дѣятельность которыхъ объясняется принципомъ безсознательной подражательности или—будемъ такъ говорить для краткости—мимичности.

Надо замѣтить, что г. Буренинъ—человѣкъ чрезвычайно впечатлительный и отзывчивый. Дерутся-ли нѣмцы съ французами, шевелятся-ли греки или болгары, идетъ-ли въ судѣ какой нибудь грандіозный или пикантный процессъ, пойдетъ-ли усиленный разговоръ о женскомъ образованіи, обращаетъ ли на себя вниманіе какое нибудь литературное явленіе, и проч., и проч., г. Буренинъ непремѣнно поднесетъ своимъ читателямъ по этому случаю «пѣсню», «шаржъ», «стрѣлу», «фельетонный разсказъ» или «критическій этюдъ», вообще скажетъ свое слово. Замѣчательно однако, что это слово никогда не бываетъ въ самомъ дѣлѣ «своимъ словомъ». Вы, безъ сомнѣнія, очень затруднитесь припомнить хотя бы одну единственную оригинальную мысль г. Буренина, не смотря на то, что онъ пишетъ давно и много. Мало того. Г. Буренинъ можетъ написать бойкіе стихи, не лишенный остроумія фельетонъ, и т. п., но даже и форму изложенія онъ въ большинствѣ случаевъ заимствуетъ у кого нибудь. Дѣлаетъ онъ это совершенно безсоз-

нательно, единственно потому, что, будучи лишенъ способности самоуправленія, не можетъ противодѣйствовать постороннему вліянію. Образчики этого мы видѣли выше, въ «Военно-поэтическихъ отголоскахъ». Г. Буренинъ вовсе не думаетъ осмѣивать Шиллера-Жуковскаго или Пушкина или Лермонтова, онъ направляетъ свои «стрѣлы» въ желѣзнаго канцлера, но при этомъ звучные стихи «Торжественнымъ Ахенъ весельемъ шумѣлъ», приходя ему на память, такъ овладѣваютъ имъ, что онъ *не можетъ* не подражать имъ, какъ *не можетъ* не побѣлѣть зимой заяцъ, какъ не можетъ не повторить того или другого жеста загипнотизированный человѣкъ. И вотъ г. Буренинъ, помимо воли и сознанія, единственно въ силу мимичности, пародируетъ балладу Шиллера-Жуковскаго, хотя въ этомъ нѣтъ ни надобности, ни смысла, съ точки зрѣнія задачи самого г. Буренина. Я уже упоминалъ о томъ, что, заимствуя у Жуковскаго, Пушкина, Лермонтова размѣръ, рифмы и цѣлыя строки и вдвигая въ нихъ совершенно неподходящее содержаніе, г. Буренинъ обнаруживаетъ большую версификаторскую ловкость и съ чрезвычайною точностью воспроизводитъ въ своихъ неосмысленныхъ пародіяхъ довольно большія стихотворенія строка въ строку. Это также имѣетъ свое объясненіе въ мимичности. Естествоиспытатели съ удивленіемъ говорятъ о той точности, съ которою нѣкоторыя насѣкомыя воспроизводятъ каждую полоску, каждое пятнышко того вида, которому они подражаютъ. Столь же поразительна точность подражанія у гипнотиковъ. Достигается это съ одной стороны подавленностью высшихъ способностей духа, а съ другой—необыкновенною изощренностью внѣшнихъ чувствъ. Совершенно лишенный воли и критической мысли, гипнотикъ далеко превосходитъ нормальнаго человѣка изощренностью слуха, осязанія, обонянія, мускульнаго чувства. Всѣмъ извѣстны увѣренность и точность, съ которыми сомнамбулы, въ своихъ лишенныхъ смысла похожденіяхъ, избѣгаютъ опасностей, совершенно непреодолимыхъ для людей, находящихся «въ здравомъ умѣ и твердой памяти». Г. Буренинъ находится, разумѣется, въ здравомъ умѣ, но по отношенію къ версификаціи и поэзіи, онъ представляетъ собою низшую, болѣе слабую степень того же гипнотическаго или сомнамбулическаго типа. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній онъ хвалится, что «мнѣ только бъ овладѣть сюжетомъ и тотчасъ выведу я строй стиховъ размѣренныхъ». Это почти справедливая похвальба. Только не г. Буренинъ овладѣваетъ сюжетомъ, а наоборотъ, сюжетъ овладѣваетъ имъ, и часто даже не сюжетъ, а форма — готовыя риѳмы, готовый размѣръ, готовыя строки. Эта готовая, чужая форма овладѣваетъ имъ до такой степени, что совершенно подавляетъ его волю и критическую мысль, взамѣнъ которыхъ выступаетъ на первый планъ низшая — версификаторская способность, способность ловить слухомъ ритмическіе и риѳмованные звуки и группировать ихъ по готовымъ образцамъ съ чрезвычайною точностью. Очень можетъ быть, что и большой, настоящій поэтъ сумѣетъ продѣлать съ «Графомъ Габсбургскимъ» то, что продѣлалъ г. Буренинъ, то есть подставить вмѣсто императора Рудольфа—Бисмарка, а вмѣсто священника—посѣтителя портерной лавки, и затѣмъ строфа въ строфу, строка въ строку передѣлать соотвѣтственнымъ образомъ всю балладу, ничего не прибавивъ, ничего не убавивъ. Но большой поэтъ сдѣлаетъ это (если еще сдѣлаетъ) съ большимъ трудомъ, во-первыхъ, потому, что онъ оригиналенъ и не можетъ такъ легко войти въ роль подражателя, а во-вторыхъ, потому, что его будутъ смущать вопросы о цѣли и смыслѣ этой операціи. Г-на же Буренина эти вопросы никогда не смущаютъ.

Безъ сомнѣнія, и большимъ настоящимъ поэтамъ случается писать пародіи и другого рода подражанія, но у нихъ это именно только случается и притомъ ихъ пародіи и подражанія имѣютъ совершенно опредѣленную, сознательно выбранную цѣль. Тогда какъ въ г. Буренинѣ мимичность составляетъ преобладающую, характернѣйшую черту, и пародируетъ и копируетъ, и подражаетъ онъ даже тогда, когда это вовсе не входитъ въ его собственные планы.

Г. Буренинъ не только поэтъ, а и беллетристъ. Еще въ 1879 г. онъ издалъ сборникъ «Фельетонныхъ разсказовъ» подъ общимъ заглавіемъ «Изъ современной жизни», а недавно выпустилъ отдѣльнымъ изданіемъ фельетонные же разсказы «Мертвая нога» и «Романъ въ Кисловодскѣ». Фельетоннымъ разсказамъ нельзя ставить большихъ требованій, но такъ какъ весь багажъ г. Буренина состоитъ изъ фельетоновъ, то слѣдуетъ всетаки отмѣтить, что никакого, хотя бы и слабаго творчества г. Буренинъ и здѣсь не предъявляетъ. Въ беллетристикѣ своей, также, какъ и въ стихахъ, онъ является впечатлительнымъ человѣкомъ, вдохновляющимся то громкимъ судебнымъ процессомъ, то движеніемъ добровольцевъ въ Сербію, то видами Кавказа, и на томъ фонѣ, который опредѣляется этими толчками извнѣ, рисуетъ свои узоры опять-таки чисто подражательнаго, мимическаго характера. О созданіи типовъ здѣсь не можетъ быть, разумѣется, и рѣчи, равно какъ и о созданіи фабулы, коллизіи обстоятельствъ, среди которыхъ живутъ, любятъ, убиваютъ, умираютъ дѣй-

ствующія лица разсказовъ. Фабулу г. Буренинъ беретъ большею частью готовую, изъ текущей жизни, списываетъ ее, копируетъ, иногда въ преувеличенно каррикатурномъ видѣ, а вмѣсто типовъ рисуетъ каррикатуры же. Такъ весь разсказъ «Мертвая нога» есть каррикатура, мѣстами удачная, мѣстами неопрятная, на дѣло убійцъ Сары Беккеръ. Такъ Антрекотовъ въ «Романѣ въ Кисловодскѣ» есть каррикатура на одного извѣстнаго писателя, котораго г. Буренинъ «передразнивалъ» въ своихъ фельетонахъ много разъ. Именно передразнивалъ. Стоитъ остановиться на усердіи, съ которымъ г. Буренинъ и въ стихахъ, и въ прозѣ рисуетъ эту фигуру, давая ей клички Скоробрыкина, Пьера Бобо и проч. Изъ самой живописи г. Буренина видно, что фигура эта не заключаетъ въ себѣ ничего особенно зловреднаго ничего такого, что заслуживало бы, съ какой бы то ни было точки зрѣнія, столь неустаннаго преслѣдованія. Но дѣло въ томъ, что это и не есть сознательное преслѣдованіе, осмѣиваніе во имя тѣхъ или другихъ дорогихъ автору идей или чувствъ. Это просто особый видъ мимичности, передразниваніе. Такъ малыя дѣти, какъ извѣстно, очень склонныя къ безсознательному подражанію, не могутъ видѣть, напримѣръ, сильно жестикулирующаго человѣка, безъ того, чтобы не передразнить его, не повторить поразившихъ его жестовъ. Иначе нельзя объяснить и гоненія, воздвигнутаго г. Буренинымъ на Пьера Бобо, ибо смѣшныя стороны этого образа только смѣшны. Отчего же, пожалуй, и не посмѣяться надъ ними, но систематически, неустанно преслѣдовать ихъ не представляется рѣшительно никакой надобности. Но для мимичности и не нужны никакіе резоны: г. Буренинъ передразниваетъ просто потому, что не можетъ не передразнивать, не можетъ не нарисовать поразившаго его вниманіе Пьера Бобо десять, сто разъ, какъ только этотъ образъ возникнетъ въ его памяти. Г: Буренинъ самъ въ себѣ не властенъ, какъ не властны въ себѣ передразнивающія дѣти. Мимоходомъ сказать, въ стремленіи къ передразниванію онъ и вообще доходитъ до поистинѣ дѣтскихъ пріемовъ, въ родѣ передѣлки фамиліи г. Стасюлевича въ Стасюлаки или князя Урусова въ графа Турусова. Вспомните свои школьные годы, читатель...

Это неудержимое стремленіе къ подражанію, эта мимичность естественно исключаетъ самостоятельное творчество и свидѣтельствуетъ о скудости вообще, о скудости фантазіи въ частности. И вотъ почему г. Буренинъ такъ часто повторяется. Но тутъ надо оговориться. Пожалуй, и Рафаэль повторялся, рисуя цѣлую коллекцію мадоннъ; и Тургеневъ повторялся, изображая столкновеніе слабаго мужчины съ сильной женщиной; и Левъ Толстой повторялся, рисуя моменты внутренняго разлада въ цивилизованномъ человѣкѣ. Но во всѣхъ этихъ повтореніяхъ мы видимъ не копіи, а одну и ту же мысль, очевидно мучающую художника и требующую отъ него все новаго, лучшаго воплощенія. Повторенія г. Буренина, конечно, не таковы. Проводить параллель между нимъ и Рафаэлемъ, Тургеневымъ, Львомъ Толстымъ, я, разумѣется, не буду. Я просто приведу нѣсколько образчиковъ его повтореній, и этого будетъ совершенно достаточно, даже безъ всякихъ комментаріевъ.

Вотъ небольшая книжка «Изъ современной жизни», содержащая въ себѣ шесть разсказовъ. На стр. 24 читаемъ: «Она свѣсила по бокамъ свои красивыя руки и ловкимъ, особеннымъ движеніемъ вдругъ какъ то стянула ими прозрачный тюникъ широкаго утренняго пеплума, такъ что ея полная грудь, ноги, переплетенныя одна съ другой, однимъ словомъ всѣ очертанія роскошнаго тѣла обрисовались подъ тонкимъ бѣлымъ батистомъ, точно она вышла сейчасъ изъ воды». Это изъ перваго разсказа, озаглавленнаго «Эпизодъ изъ романа», а вотъ нѣсколько строкъ изъ второго разсказа «Вчерашняя быль»: «Стоя прямо передъ нимъ и отбросивъ руки по бедрамъ, она судорожно сжимала бѣлыя складки капота на бокахъ, такъ что онѣ вытягивались и обрисовывали весь изгибъ пышной груди, двигавшейся подъ полотномъ» (стр. 141). Въ третьемъ разсказѣ «Семейная драма» встрѣчаемъ такое описаніе: «Подъ батистомъ роскошнаго утренняго наряда обрисовывались плечи и грудь, начинавшія пріобрѣтать излишнюю пышность. Изъ широкихъ рукавовъ блузы, обшитыхъ кружевами, выказывались бѣлыя, полныя, надушенныя руки въ дорогихъ браслетахъ и кольцахъ, съ розовыми, тщательно выхоленными и отточенными ногтями. Блуза на бедрахъ была стянута перевязью съ бантами назадъ, такъ что форма живота округлялась» (стр. 212). Героиня четвертаго разсказа «Отдѣлались» продѣлываетъ тотъ же, недающій г. Буренину покоя жестъ: «А вѣдь очень не дурна дѣвочка, а? воскликнула она, кокетливо дурачась и, прижавъ обѣ руки по бокамъ назадъ, потянулась всѣмъ своимъ роскошнымъ станомъ и грудью къ Рыдванову» (стр. 239).

Я не буду слѣдить за дальнѣйшими копіями г. Буренина съ самого себя или, пожалуй, копіями съ одной и той же женской фигуры, движеніемъ рукъ стягивающей платье у бедръ, такъ что ея «пышная грудь» или «роскошный станъ» подаются

впередъ. Замѣчу еще только, что и въ стихахъ г. Буренинъ, будучи безспорно ловкимъ версификаторомъ, склоненъ къ постоянному, до надоѣдливости, повторенію однихъ и тѣхъ же оборотовъ, на первый взглядъ чрезвычайно свободныхъ и даже какъ будто оригинальныхъ. Вотъ, напримѣръ, маленькая коллекція изъ сборника «Былое»:

На страницѣ 212:

Нѣтъ я туда не потеку
И тутъ же прекращу когда вы
Позволите—свои октавы.

На страницѣ 224:

...Благосклонно
Меня, читатель, извини;
Я вновь, отбросивши забавы,
Введу политику въ октавы.

На страницѣ 229:

...Твой досугъ
Щадя, по размышленьи строгомъ,
Стихи оставлю, написавъ
Изрядное число октавъ.

На страницѣ 260:

Мнѣ только-бъ овладѣть сюжетомъ
И тотчасъ выведу я строй
Стиховъ размѣренныхъ, въ октавы
Ихъ группируя для забавы.

На страницѣ 264:

...Спѣшу унять
Я строкъ риѳмованныхъ теченье
И ставлю точку, написавъ,
Десятка полтора октавъ.

Скучно рыться въ фельетонахъ и стихахъ, единственное назначеніе которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы занять вниманіе читателей газетъ на нѣсколько минутъ и потомъ утонуть въ безбрежномъ морѣ забвенія. Но версификаторская ловкость г. Буренина, его мелкое, но безспорное остроуміе, его «бойкое перо» вообще создали ему въ литературѣ извѣстное положеніе и надо же его, наконецъ, когда нибудь оцѣнить спокойно, безпристрастно, безъ того полемическаго увлеченія, къ которому г. Буренинъ даетъ такъ часто поводъ.

Я долженъ, однако, признаться, что мною руководитъ и другой, чисто теоретическій интересъ. Если принципъ мимичности объясняетъ всю литературную дѣятельность г. Буренина, то въ свою очередь дѣятельность эта можетъ служить неожиданно яркимъ подтвержденіемъ силы и распространенности безсознательнаго подражанія. А этимъ вопросомъ я интересуюсь давно и много работалъ и доселѣ работаю надъ нимъ, считая его вопросомъ огромной важности. Поэтому г. Буренинъ интересуетъ меня не только, какъ литературное явленіе, но и какъ иллюстрація къ великому вопросу о «героахъ и толпѣ».

Характерная черта «толпы» состоитъ въ томъ, что примѣръ или приказаніе, не доходя до сѣдалища высшихъ способностей духа, минуя сферы сознанія и воли, разрѣшаются въ ней точнымъ подражаніемъ примѣру или исполненіемъ приказанія. Это коренное свойство толпы можетъ болѣе или менѣе характеризовать и отдѣльную личность. Брэдъ, такъ давно уже установившій основныя истины ученія о гипнотизмѣ, называетъ такое поглощеніе вниманія примѣромъ или приказаніемъ—«моноидеизмомъ», а соотвѣтственную безсознательную, непроизвольную и даже противовольную дѣятельность—«моноидео-динамическою». Онъ объясняетъ такою одностороннею концентраціей вниманія не только обычныя явленія гипнотизма, но и, напримѣръ, очарованіе, производимое нѣкоторыми змѣями на мелкихъ животныхъ: животное такъ поражается видомъ разинутой пасти и неподвижныхъ глазъ змѣи, что, нѣсколько пометавшись въ безпокойствѣ, исполняетъ мимически выраженное желаніе змѣи и падаетъ въ пасть. Бываетъ и съ людьми нѣчто въ этомъ родѣ и для всѣхъ подобныхъ случаевъ надо, чтобы по какимъ бы то ни было причинамъ,—по природному ли недостатку, по условіямъ ли воспитанія, образованія или дѣятельности,—моноидеизмъ затуманивалъ волю и критическую мысль.

Г. Буренинъ—литературный критикъ по профессіи и потому можетъ показаться страннымъ и парадоксальнымъ мнѣніе, что именно отсутствіе критической мысли составляетъ его Ахиллесову пятку. Г. Буренинъ—рьяный полемистъ, онъ полемизируетъ направо и налѣво, полемизируетъ изъ недѣли въ недѣлю, а это предполагаетъ извѣстную активность, и потому сказать, что это человѣкъ, лишенный воли и самоуправленія, значитъ, повидимому, опять таки сказать парадоксъ. Однако, это только повидимому и на первый взглядъ. Заниматься литературной критикой еще не значитъ обладать критическою мыслью, а быть «буйнымъ гаэромъ», какъ называетъ г. Буренинъ самого себя, не значитъ проявлять волю. Если даже предположить, что критика есть призваніе г. Буренина, то вѣдь, какъ извѣстно, много званныхъ, но мало избранныхъ. Но мы не будемъ вдаваться въ общія разсужденія о задачахъ критики, не совсѣмъ умѣстныя по поводу г. Буренина, да притомъ же они отвлекли бы насъ далеко въ сторону отъ того единственнаго принципа, которымъ вполнѣ объясняется вся литературная дѣятельность г. Буренина,—отъ принципа мимичности. Посмотримъ на обычные критическіе пріемы г. Буренина.

Здѣсь прежде всего надо отмѣтить опять таки пародію. Г. Буренинъ очень часто прибѣгаетъ къ ней, вмѣсто прямой крити-

ки, и дѣлаетъ это иногда очень удачно. Такъ, я помню нѣсколько его остроумныхъ пародій на произведенія гг. Авсѣенки, Максима Бѣлинскаго, Маркевича. Характерныя черты писаній этихъ беллетристовъ были схвачены съ большою точностью, и выходило дѣйствительно остроумно и смѣшно. Конечно, не всегда г. Буренинъ справляется съ своей задачей одинаково успѣшно, но всетаки пародія есть его настоящій конекъ въ критикѣ. У насъ мало кто на этомъ конькѣ ѣздитъ, а г. Буренинъ часто сѣдлаетъ его и подчасъ дѣйствительно ловко копируетъ въ каррикатурномъ видѣ, смѣшныя и фальшивыя стороны якобы разбираемыхъ произведеній; *якобы* разбираемыхъ потому что, даже въ случаѣ чрезвычайной удачности пародіи, она всетаки не можетъ замѣнить собою критическій разборъ, если, разумѣется, произведеніе, о которомъ идетъ рѣчь, заслуживаетъ какого нибудь вниманія. Пародія сама по себѣ ничего не доказываетъ, ни даже того, чтобы трактуемое произведеніе, дѣйствительно, заслуживало пародіи.

Склонность г. Буренина къ пародіи не только въ поэзіи и беллетристикѣ, а и въ критикѣ, во всякомъ случаѣ заслуживаетъ вниманія. Но ею не исчерпываются виды подражанія и вообще подчиненія, къ которымъ онъ и въ критикѣ прибѣгаетъ вольно и невольно.

Есть разсказъ объ танцорѣ, который не иначе могъ начать танцовать, какъ «отъ печки». Хорошо ли или дурно танцовалъ онъ, —объ этомъ разсказъ умалчиваетъ. Извѣстно только, что онъ былъ въ большомъ затрудненіи всякій разъ, когда печки не оказывалось или судьба помѣщала его вдали отъ нея, ну а начнетъ отъ печки, такъ ужъ съ большою бойкостью продѣлываетъ надлежащія па. Нѣчто подобное представляетъ собою г. Буренинъ, какъ критикъ. Онъ почти всегда начинаетъ свои «критическіе этюды» съ опроверженія или напротивъ того съ подтвержденія чужихъ мнѣній о данномъ писателѣ или литературномъ произведеніи. Очень часто, впрочемъ онъ этимъ и оканчиваетъ (не отходитъ отъ печки), такъ что въ концѣ концовъ вы рѣшительно не знаете, въ чемъ же состоитъ собственное мнѣніе г. Буренина и даже существуетъ ли оно, это собственное мнѣніе. Дѣлается это не только въ такихъ случаяхъ, когда, по какимъ нибудь опредѣленнымъ соображеніямъ критика, правильнымъ или неправильнымъ, нужно опроверженіе или подтвержденіе чужого мнѣнія; нѣтъ, г. Буренина просто безсознательно тянетъ на чужіе слѣды, это только одно изъ проявленій его мимичности. Взять хоть бы недавній полемическій эпизодъ по поводу гр. Л. Н. Толстого. Г. Буренинъ «защищалъ» гр. Толстого отъ разныхъ нападокъ, самъ усердно нападалъ на нападающихъ, но собственнаго мнѣнія о существенныхъ вопросахъ полемики, — о теоріи непротивленія злу, о характерѣ народныхъ разсказовъ Толстого, о странныхъ и печальныхъ противорѣчіяхъ, въ которыя всталъ «великій писатель русской земли»,—такъ и не высказалъ.

Скажутъ, можетъ быть, что это въ г. Буренинѣ полемическая жилка говоритъ, что въ жару полемики онъ просто не успѣваетъ сказать свое мнѣніе. На счетъ полемической жилки я не спорю, она несомнѣнно есть, но столь же несомнѣнно, что собственнаго мнѣнія у него просто нѣтъ, а вся его полемика имѣетъ чисто мимическій, подражательный характеръ. Это въ высшей степени любопытная черта.

Дѣло въ томъ, что, полемизируя съ большимъ жаромъ, даже со злостью, доводящею его до совершенно непристойныхъ выходокъ, г. Буренинъ въ то же время безсознательно усвоиваетъ тонъ противника и характеръ его аргументаціи, онъ подражаетъ противнику, копируетъ его, подчиняется ему. Я даже думаю, что въ этомъ заключается секретъ его злобы, часто, повидимому, совершенно безпричинной. Въ самомъ дѣлѣ, подчиняться другому человѣку не во имя общности принциповъ или личнаго уваженія, а единственно потому, что не можешь не подчиниться,—это оскорбительно, даже не при такомъ самолюбіи, какимъ надѣленъ г. Буренинъ.

Я могъ бы привести много примѣровъ такого курьезнаго, но несомнѣннаго безсознательнаго подчиненія въ полемикѣ г. Буренина. Но для этого надо рыться въ старыхъ номерахъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» и «Новаго Времени», а это и долго, и скучно, и неинтересно пожалуй будетъ для читателей, потому что пришлось бы перетряхивать старый, давно забытый соръ. Я остановлюсь только на полемикѣ о гр. Толстомъ, которая, вѣроятно, еще у многихъ въ памяти. Правда, г. Буренинъ полемизировалъ по этому поводу и со мной, но, я надѣюсь, изъ дальнѣйшаго вы убѣдитесь, что я ни мало не уязвленъ его выходками и сохраняю полное безпристрастіе.

Я писалъ, между прочимъ, о противорѣчіяхъ между словомъ и дѣломъ гр. Толстого. Г. Буренинъ, взявъ на себя защиту гр. Толстого, указанныхъ мною фактовъ не отрицалъ, но собственнаго мнѣнія объ нихъ не выразилъ, а рипостировалъ въ томъ смыслѣ, что и я не свободенъ отъ противорѣчій между словомъ и дѣломъ, между теоріей и жизнью. Такимъ образомъ, онъ просто повторилъ мой

упрекъ Толстому, скопировавъ его у меня, но скопировалъ совершенно автоматически, безъ участія сознанія. Слова мои оказали на г. Буренина такое непреодолимое давленіе, что, воспринявъ ихъ, онъ не довелъ этого воспріятія до «порога сознанія» и повторилъ тѣ слова чисто рефлекторно. О критической мысли тутъ не можетъ быть и рѣчи. Еслибы она присутствовала, г. Буренинъ сообразилъ бы, во-первыхъ, что еще до выхода двѣнадцатаго тома сочиненій Толстого, то есть раньше, чѣмъ толстовскія противорѣчія могли подлежать публичному обсужденію, онъ самъ, г. Буренинъ, писалъ объ этихъ противорѣчіяхъ и не безъ остроумія назвалъ «великаго писателя русской земли» — «о Христѣ барствующимъ». Далѣе, критическая мысль, если-бы она присутствовала, подсказала бы г. Буренину, что мой упрекъ Толстому никоимъ образомъ не можетъ быть обращенъ ко мнѣ. Гр. Толстой самъ, публично разсказалъ многія подробности своей жизни и eo ipso подвергъ эти подробности публичному обсужденію, а я ничего подобнаго не дѣлалъ. Гр. Толстой опять таки во всеуслышаніе заявилъ, что онъ не понимаетъ и не принимаетъ оправданій для розни между теоріей и практикой и что онъ, Толстой, достигъ настоящаго удовлетворенія и душевнаго равновѣсія; я же такихъ вещей никогда не говорилъ, и ни самъ я, ни кто либо другой не предъявляли читающему люду мою личную жизнь и мое личное поведеніе, въ качествѣ достойныхъ подражанія. Такимъ образомъ требованія, которыя совершенно правомѣрно могутъ быть поставлены гр. Толстому, не могутъ быть обращены ни ко мнѣ, ни вообще къ кому бы то ни было, кто самъ не вышелъ на публичный судъ, не похвалился, что достигъ тихой пристани душевнаго спокойствія и никѣмъ не рекомендуется въ качествѣ примѣра. Не хитрое это соображеніе, но и оно не появилось въ сознаніи г. Буренина, и оно оказалось безсильнымъ удержать его отъ безсознательнаго копированія словъ противника.

Я отмѣтилъ тотъ печальный и противорѣчащій доктринамъ Толстого фактъ, что онъ есть единственный, изъ находящихся въ живыхъ, писатель, сочиненія котораго не продаются отдѣльными томами и который поэтому обязываетъ своихъ многочисленныхъ читателей и почитателей покупать все новое изданіе ради одного XII тòма *). Г. Буренинъ пожелалъ и изъ этого замѣчанія сдѣлать argumentum ad hominem: а вы сами то, говоритъ, развѣ не продаете своихъ сочиненій, не берете за нихъ денегъ? Совершенно справедливо; продаю, деньги беру. Но каждый томъ моихъ сочиненій продается отдѣльно и потому попытка скопировать мой упрекъ лишена всякаго смысла.

Такова всегда полемика г. Буренина. Повидимому, не могъ же онъ не понимать, что пишетъ пустяки, что я про Ѳому, а онъ про Ерему, но такъ уже для извѣстнаго рода натуръ непреодолима сила подражанія, что онѣ, такъ или иначе, даже оспаривая васъ съ большою яростью, не могутъ не ударить вашимъ добромъ вамъ же челомъ. Ярый задоръ г. Буренина и крѣпкія слова, которыми онъ уснащаетъ свою полемику, означаютъ отнюдь не какую нибудь самостоятельность его (да и когда же ругательства означали ее?), а только то, что его беретъ зло на свою несамостоятельность. Есть опредѣленныя, явно болѣзненныя формы, въ которыхъ эта странная черта достигаетъ изумительной яркости (одна изъ этихъ формъ была не такъ давно описана въ газетѣ «Врачъ»). Можно, напримѣръ, женщину, больную этой формой, заставить, силою примѣра или приказанія, раздѣваться, причемъ она осыпаетъ своего мучителя самою отборною бранью и всетаки не можетъ ему не подчиняться. Такъ и г. Буренинъ; не только въ приведенныхъ случаяхъ, а и обыкновенно онъ безсознательно подражаетъ своему противнику и, попадая такимъ образомъ къ нему, врагу, въ подчиненіе, изъ котораго никакъ не можетъ выбиться, натурально очень сердится. Это не негодованіе человѣка, оскорбленнаго въ своихъ вѣрованіяхъ или идеалахъ, не «ненавидящая любовь», не страстное желаніе расчистить жизненный путь отъ тѣхъ или другихъ вредныхъ съ извѣстной точки зрѣнія явленій. Это просто злоба, повидимому, самодовлѣющая и какъ бы безпричинная, почти истерическая. На самомъ дѣлѣ причины у нея, конечно, есть и, вѣроятно, очень сложныя. Тутъ, надо думать, и уязвленное самолюбіе играетъ роль, и другія житейскія мелочи, но въ числѣ прочаго несомнѣнно фигурируетъ и обида безсознательнаго подчиненія.

Во всякомъ случаѣ, высшія способности духа,—воля, сознаніе, критическая мысль—отсутствуютъ въ злобныхъ выходкахъ и систематическихъ преслѣдованіяхъ г. Буренина. Я уже приводилъ, какъ образчикъ, безцѣльное въ своей неустанности преслѣдованіе, которому онъ подвергаетъ образъ Пьера Бобо—Скоробрыкина—Антрекотова. Приведу еще отношеніе г. Буренина ко мнѣ, и тутъ-то, я надѣюсь, читатели особенно убѣдятся въ моемъ безпристрастіи и хладно-

*) Отъ души радъ, что, хотя и поздно, но XII томъ явился наконецъ теперь и въ отдѣльной продажѣ, какъ видно изъ газетныхъ объявленій.

кровіи. Можетъ быть, я и очень вреденъ съ обѣихъ тѣхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія, на одной изъ которыхъ г. Буренинъ стоялъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», а на другой стоитъ нынѣ въ «Новомъ Времени». Я лично готовъ этому вѣрить и даже радоваться, ибо не высоко чту, какъ «либерализмъ» «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», такъ и «откровенность» «Новаго Времени». Тѣмъ не менѣе г. Буренинъ ни разу не потрудился сказать, въ чемъ собственно моя вредоносность состоитъ и чѣмъ я заслужилъ съ его стороны такое вниманіе, что бывали и въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», и въ «Новомъ Времени» такіе мѣсяцы, даже цѣлые годы, когда не проходило недѣли, чтобы г. Буренинъ, по крайней мѣрѣ разъ, а то и больше, не помянулъ мое имя всуе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда и я касался, въ числѣ прочихъ литературныхъ явленій, г. Буренина, онъ возражалъ мнѣ, иногда просто съ комическою точностью, копируя мои аргументы, тонъ, пріемы, только стараясь «перекричать». Но вводилъ онъ въ «полемику», разумѣется, и собственные элементы. Вырветъ у меня, напримѣръ, какое нибудь слово, обработаетъ по своему и гвоздитъ его, иной разъ цѣлые годы, и къ селу и къ городу, и ни къ селу, ни къ городу. Въ полемикѣ о Толстомъ онъ опять ухватился за одинъ такой стародавній крючокъ. Говоря о противорѣчіяхъ между жизнью и ученіемъ, отъ которыхъ, дескать, и я не свободенъ, г. Буренинъ замѣчаетъ, между прочимъ, что вѣдь вотъ г. Н. М. выражалъ когда-то желаніе подвергнуться, во имя равенства съ народомъ, сѣченію, а на дѣлѣ небось не очень то согласится на эту операцію. Я не говорю объ томъ, какъ забавно это замѣчаніе само по себѣ, но любопытно вотъ что. Штуку съ «сѣченіемъ» г. Буренинъ выдумалъ въ 1880 году и съ тѣхъ поръ, т. е. въ теченіе *шести* лѣтъ, гвоздитъ ее въ стихахъ и прозѣ, полагая меня посрамить ею. Дѣлалъ онъ это всегда злобно, подчасъ кромѣ того и грязно (вы можете себѣ представить, какъ способна разыграться на тему о сѣченіи развинченная фантазія человѣка, лишеннаго самоуправленія). Между тѣмъ, русская жизнь сложилась такъ странно, что вопросъ о сѣченіи привиллегированныхъ сословій въ видахъ равенства съ народомъ можетъ казаться не только не празднымъ или достойнымъ насмѣшки, а вполнѣ серьезнымъ для людей большого умственнаго роста, какимъ былъ, напримѣръ, Константинъ Аксаковъ, а также для людей совершенно иного теоретическаго пошиба, но не менѣе К. Аксакова искреннихъ и преданныхъ благу родины. Что касается меня, то вотъ тѣ мои слова, которыя подали г. Буренину поводъ для цѣлаго ряда грубыхъ и непристойныхъ выходокъ въ стихахъ и прозѣ:

«Скептически настроенные по отношенію къ принципу свободы, *мы* готовы были не домогаться никакихъ правъ для себя; не привиллегій только, объ этомъ говорить нечего, а самыхъ даже элементарныхъ параграфовъ того, что въ старину называлось естественнымъ правомъ. *Мы* были совершенно согласны довольствоваться въ юридическомъ смыслѣ акридами и дикимъ медомъ и лично претерпѣвать всякія невзгоды. Конечно, это отреченіе было, такъ сказать, платоническое, потому что намъ, кромѣ акридъ и дикаго меда, никто ничего и не предлагалъ, но я говорю *о настроеніи*, а оно именно таково было и доходило до предѣловъ, *даже мало вѣроятныхъ*, объ чемъ въ свое время скажетъ исторія. «Пусть сѣкутъ, мужика сѣкутъ же»,—вотъ какъ примѣрно можно выразить это *настроеніе въ его крайнемъ проявленіи*» (О. З. 1880, № 9. «Литературныя замѣтки»).

Эти-то слова г. Буренинъ и истолковалъ въ томъ смыслѣ, что я выражаю желаніе быть высѣченнымъ и на эту-то благодарную тему писалъ и «критическіе этюды», и «пѣсни и шаржи». Если я шесть лѣтъ безмолвно присутствовалъ при этихъ упражненіяхъ и заговорилъ объ нихъ теперь только къ слову, изслѣдуя физіономію г. Буренина вообще, то тѣмъ самымъ, кажется, достаточно засвидѣтельствовалъ свое презрѣніе къ его выходкамъ лично противъ меня и могу съ чистою совѣстью спросить читателя, какъ онъ думаетъ: отъ непониманія-ли злобствуетъ г. Буренинъ или напротивъ того отъ злобы не понимаетъ?

Изъ критическихъ упражненій г. Буренина можно нѣсколько выдѣлить «критическій этюдъ» «Литературная дѣятельность Тургенева», имѣющійся въ отдѣльномъ изданіи. Здѣсь есть и злобныя выходки, и «танцы отъ печки», и нѣтъ, собственно говоря, критики: ни оригинальнаго освѣщенія Тургенева, ни послѣдовательно проведеннаго принципа, во имя котораго обсуждается писатель. Но тутъ, по крайней мѣрѣ, имѣется нѣкоторая группировка произведеній Тургенева, сопровождаемая отдѣльными замѣчаніями, иногда крохоборными, иногда задорными, иногда просто вздорными, но иногда и не безъинтересными.

Какъ же мы теперь отвѣтимъ на вопросъ, поставленный въ началѣ этой тетради дневника: что намъ далъ г. Буренинъ за два—три десятка лѣтъ своего еженедѣльнаго писанія въ стихахъ и въ прозѣ? Я думаю, очевидно, что онъ ничего не далъ. Онъ доставилъ инымъ нѣсколько минутъ развлеченія и инымъ—непріятное зрѣлище человѣка

не просто копирующаго, подражающаго, «пересмѣивающаго», пародирующаго, а злобствующаго на то, что онъ можетъ только копировать, подражать, пересмѣивать, пародировать. Но это не значитъ дать что нибудь и сколько нибудь цѣнное своимъ многолѣтнимъ читателямъ. И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Писатель, до такой степени поддающійся, не только невольно, но даже противовольно, всякимъ случайнымъ постороннимъ вліяніямъ, натурально не можетъ оставить по себѣ никакого слѣда. Что то смѣшное и что то злобное, бранчивое,—вотъ тотъ неопредѣленный осадокъ, который долженъ оставаться въ памяти читателей г. Буренина, а не какія нибудь опредѣленныя мысли, принципы, образы, картины. Перепѣвами и пересмѣхами самъ пересмѣшникъ понятно не можетъ очень дорожить: онъ вѣдь ихъ не заработалъ, не выносилъ,—это не Lied, das aus der Kehle dringt,—онъ схватилъ ихъ мимоходомъ и даже совсѣмъ нечаянно у того, у другого своимъ хорошо для этой цѣли приспособленнымъ автоматическимъ аппаратомъ. Ему незнакомъ творческій процессъ родовъ идеи или образа, даже просто формы; незнакомы и радостныя и трудныя стороны этого процесса, незнакомъ и стыдъ разочарованія или неудачи. Такъ неудержимо подчиняясь, хотя бы и съ бранью, противнику; такъ противольно осмѣивая то, что совсѣмъ осмѣиванію не подлежитъ, онъ естественно еще легче подчиняется большимъ общественнымъ теченіямъ. Вотъ почему г. Буренинъ съ такимъ легкимъ сердцемъ перешелъ отъ «священнаго гимна свободы» по Барбье и отъ либерализма «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» къ своему теперешнему облику. Я было хотѣлъ пересмотрѣть въ видахъ этой параллели кое что изъ содержанія «Былого», но рѣшилъ, что не стоитъ тратить время и бумагу,—кто же не знаетъ, что это былое быльемъ поросло, и что, издѣваясь нынѣ надъ разными «измами», г. Буренинъ самъ себя сѣчетъ, какъ высѣкла сама себя нѣкогда унтеръ-офицерша Пошлепкина?

VII.

О крокодиловыхъ слезахъ *).

Нынѣ могу записать въ дневникѣ подвигъ, совершенный мною, правда, далеко не безъ труда и скуки, но за то великъ и подвигъ: прочиталъ *одиннадцать* томовъ полнаго собранія сочиненій Болеслава Маркевича. Та кого снадобья, въ такомъ количествѣ и въ такое короткое время мнѣ еще ни разу въ жизни не случалось принимать, и натурально, что, дойдя до вождѣленнаго конца одиннадцатаго и послѣдняго тома, я почувствовалъ нѣкоторую усталость и даже головокруженіе. Головокруженіе началось, пожалуй, и раньше, во время самого чтенія: передо мною мелькали графы, князья, даже monseigneur'ы, генералы, много генераловъ, нигилисты, мужики, земцы, красавицы, много красавицъ, становые, жандармы, чиновники. По волѣ Маркевича я поднимался на высочайшія вершины благородства однихъ и потомъ спускался въ глубочайшія глубины подлости другихъ. Венеціанская гондола смѣнялась русскою тройкою, тройка—прекраснѣйшимъ «карабахомъ», а притомъ и пѣшаго хожденія сколько угодно. Утонченнѣйшія рѣчи истинно благородныхъ людей на высокія темы о Мадоннахъ Рафаэля, о Гамлетѣ и проч. и цитаты на всѣхъ европейскихъ языкахъ уступали мѣсто пустой свѣтской болтовнѣ людей не истинно благородныхъ, а вслѣдъ затѣмъ какой нибудь нигилистъ, по прозванію «Волкъ», говорилъ грубымъ басомъ: «почитай три дня не жралъ!» Цыганскія пѣсни, итальянскія аріи, удары нагайкой по лицу, «диктатура сердца», эполеты, лапти, выстрѣлы, поцѣлуи, пламенныя очи, небесныя очи, «стальные» взгляды, освобожденіе крѣпостныхъ, берлинскій конгрессъ, дворцы, хижины, высокообразованные гусары, невѣжественные учителя, церковь Santa Maria Formosa въ Венеціи, кузница сельскаго кузнеца, Titi et Zizi, Cocotte et Boulotte, Vava Vronski, Tata Pronski...

Есть отъ чего закружиться головѣ! Если, однако, вы меня спросите, зачѣмъ же я все это читалъ, то я отвѣчу, что упорство мое въ преодолѣніи полнаго собранія сочиненій Маркевича находится въ прямой связи съ этимъ головокруженіемъ. Не то, чтобы я его очень жаждалъ или искалъ, но согласитесь, что стоило рискнуть головокруженіемъ, чтобы разомъ, въ сочиненіяхъ одного и того же писателя, найти отраженіе всей русской жизни, отъ верхняго края до нижняго. А мало у кого можно найти это отраженіе, кромѣ Маркевича (и Комп.), у котораго даже венеціанскія гондолы служатъ Россіи, такъ какъ на нихъ завязывается романъ между русскою графинею Драхенбергъ и русскимъ же нигилистомъ; даже обширные коментаріи къ «Гамлету» имѣютъ цѣлью оттѣнить благородство душъ князя Ларіона Шастунова и славянофила Гундурова, а изъѣздившій весь свѣтъ и превосходно говорящій на всѣхъ языкахъ, кромѣ русскаго, князь Пужбольскій всетаки пламенно любитъ свое отечество. Что же касается разнообразія общественныхъ слоевъ и положеній, предста-

*) 1886, октябрь.

вители которыхъ фигурируютъ въ повѣстяхъ и романахъ Маркевича (и Комп.), то въ этомъ отношеніи съ нимъ можетъ поспорить только развѣ гр. Левъ Толстой, художественная кисть котораго свободно ходитъ по всему пространству отъ царей до крестьянскихъ ребятъ, отъ благоуханныхъ плечъ какой-нибудь княжны Курагиной до вонючихъ онучъ солдатика Каратаева. Но и то надо сказать: главныя сокровища этого рода сосредоточены у Толстого въ «Войнѣ и мірѣ», то есть показаны въ исторической перспективѣ, да еще, пожалуй, въ «Аннѣ Карениной», романѣ, въ концѣ концовъ всетаки только интимно-бытовомъ, тогда какъ Маркевичъ рисуетъ почти исключительно современную, текущую жизнь и беретъ ее не только со стороны семейно-романической, но и въ самые жгучіе политическіе моменты, каковы время освобожденія крестьянъ, берлинскаго конгресса, недавнихъ смутъ и проч. Повидимому, это должно бы было придавать его образамъ и картинамъ особую жизненность и яркость. А, между тѣмъ,— одно головокруженіе.

Мало того. Я долженъ признаться, что не хотѣлъ было сначала читать всѣ одиннадцать томовъ, меня пугалъ этотъ подвигъ. Такъ какъ я въ свое время, когда романы и повѣсти Маркевича печатались въ журналахъ, многое изъ нихъ читалъ, то думалъ положиться на свою память. Но когда началъ перечитывать, то въ головѣ у меня поднялся головокружительный вихрь изъ образовъ и картинъ не одного Маркевича. Я не могъ съ достовѣрностью сказать, что то, что мнѣ вспоминалось, принадлежитъ именно ему, а не г. Авсѣенкѣ и не другому какому представителю той же разновидности беллетристовъ. Помнилъ я, напримѣръ, очень хорошо помнилъ, что какой-то благороднѣйшій русскій жантильомъ избилъ нагайкой по лицу своего совершенно неблагороднаго соотечественника, и что эпизодъ этотъ изображенъ чрезвычайно яркими красками, но кто его изобразилъ—Маркевичъ или г. Орловскій, и гдѣ именно этотъ эпизодъ происходилъ— въ Баденъ-Баденѣ, въ венеціанской гондолѣ или въ Брынскихъ лѣсахъ,—забылъ. Столь же хорошо помнилъ я, что у княжны Киры Кубенской прекраснѣйшіе зеленые глаза, у нигилиста Волка безобразная наружность и черная душа, а князь Пужбольскій представляетъ собою ходячій кладезь историческихъ и филологическихъ познаній, но кто воспѣлъ зеленые глаза княжны Киры, черную душу Волка и кладезь познаній князя Пужбольскаго? Маркевичъ или г. Авсѣенко?.. Да, да, да... припоминаю, у Маркевича благороднѣйшій во всѣхъ смыслахъ Борисъ Васильевичъ Троекуровъ прибилъ хлыстомъ пьянаго нѣмца въ Берлинѣ, а у г. Авсѣенки благороднѣйшій Глѣбъ Дмитріевичъ Зиновьевъ прибилъ нагайкой подлаго соотечественника въ Брынскихъ лѣсахъ... Или наоборотъ? Глѣбъ г. Авсѣенки благородно прибилъ кого-то хлыстомъ въ берлинской кофейной, а Борисъ г. Маркевича столь же благородно прибилъ кого-то нагайкой въ лѣсу... И чей герой Борисъ и чей герой Глѣбъ? Это тѣмъ труднѣе припомнить, что память св. благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба чествуется, какъ извѣстно, въ одинъ и тотъ-же день... Вотъ тоже Кира... Есть такая у кого-то, навѣрное есть, но есть и Мира, и Ира, и Лара и чуть-ли не у всѣхъ у нихъ зеленые глаза... А учитель Левіафановъ, грубый и нелѣпый семинаристъ, неспособный понимать тонкіе ароматы идеализма и притомъ негодяй 84 пробы, если цѣнить негодяйство на серебро, и 56-й, если цѣнить на золото? Кто его воспроизвелъ? Можетъ быть, одинъ, можетъ быть другой, можетъ быть третій, можетъ быть всѣ разомъ, ибо не одни beaux esprits se rencontrent...

Запутавшись во всѣхъ этихъ припоминаніяхъ, я рѣшилъ отдать себя на жертву одиннадцати томамъ полнаго собранія сочиненій Маркевича. Правда, по окончаніи жертвоприношенія, я нѣсколько пожалѣлъ самого себя,—свой трудъ и свое время я могъ бы, конечно, помѣстить лучше, съ большею пользою и съ меньшею скукой, — но, по крайней мѣрѣ, я проштудировалъ величину въ своемъ родѣ: Маркевичъ много талантливѣе, умнѣе, смѣлѣе, вообще крупнѣе всѣхъ тѣхъ, чьи Киры и нагайки, черныя души и зеленые глаза, Мадонны и становые вторгались въ головокружительный вихрь, вызванный во мнѣ чтеніемъ сочиненій Маркевича, крупнѣе всѣхъ своихъ собратовъ по оружію. Поэтому и характеръ этого братства, и цѣну этого оружія лучше же изучать на немъ, чѣмъ на второмъ и третьемъ сортѣ братчиковъ. Правда, братство это довольно древнее, въ рядахъ его когда-то блистали г. Лѣсковъ-Стебницкій, Вс. Крестовскій (не псевдонимъ), Клюшниковъ и прочіе, ихъ же имена даже трудно теперь припомнить. Въ числѣ ихъ найдутся люди, пожалуй, талантливѣе Маркевича, и даже гораздо талантливѣе, но то времена древнія и представители ихъ пусть спокойно лежатъ тамъ, на днѣ Леты, гдѣ ихъ, можетъ быть, безобразные летскіе раки ѣдятъ, а, можетъ быть, летскія красавицы русалки щекочутъ. Не все ли намъ равно? А Маркевичъ представитель новаго періода въ исторіи этого литературнаго братства и представитель во всякомъ случаѣ достаточно крупный, чтобы отвѣчать и за прочихъ, совсѣмъ уже маленькихъ.

Для удобства, перечислимъ сначала содержаніе одиннадцати томовъ сочиненій Маркевича.

Въ первомъ томѣ напечатаны: романъ «Типы прошлаго» и «Святочный разсказъ»— «Двѣ маски». Второй томъ весь занятъ большимъ романомъ «Забытый вопросъ». Въ третій томъ вошли: «Марина изъ Алаго Рога» («Современная быль») и разсказы «Княжна Тата» и «Лѣсникъ». («Забытый вопросъ» и «Марина изъ Алаго Рога» носятъ почему то еще одно общее заглавіе «На поворотѣ»). Четвертый и пятый томы вмѣщаютъ въ себѣ «Правдивую исторію», озаглавленную «Четверть вѣка назадъ». Въ шестой и седьмой вошла вторая «Правдивая исторія»—«Переломъ». Третья «правдивая исторія»—«Бездна» занимаетъ томы восьмой, девятый и десятый. Въ послѣднемъ, одиннадцатомъ томѣ напечатаны: заимствованная изъ «Перелома» драма «Чадъ жизни» и цѣлый рядъ мелкихъ разсказовъ. Изъ предисловія къ одиннадцатому тому узнаемъ, что «литературно-критическія и публицистическія статьи и замѣтки Маркевича, а равно и переписка съ литературными друзьями составятъ особое изданіе».

Ну, этого изданія намъ ждать нечего, и, конечно, ни для кого не будетъ потерей, если оно никогда не увидитъ свѣта. Нельзя того-же сказать о беллетристическихъ произведеніяхъ Маркевича. У него навѣрное было и есть не мало читателей изъ того, не особенно требовательнаго, сорта людей, которые читаютъ, чтобы убить время, чтобы слѣдить за «интересною» фабулою романа, за сложными и экстраординарными похожденіями героевъ. По этой части Маркевичъ былъ большой мастеръ своего дѣла: всякаго рода приключеній и вообще внѣшняго движенія въ его романахъ и разсказахъ всегда вдоволь. Въ одномъ изъ своихъ произведеній онъ съ презрительной насмѣшкой говоритъ о нѣкоторой дамѣ, проводящей «цѣлые дни за чтеніемъ Габоріо, Зола e tutti quanti». Насмѣшка и презрѣніе, совершенно неумѣстныя въ устахъ Маркевича, потому что, каковъ бы ни былъ Зола, но Маркевичу до него, какъ до звѣзды небесной, далеко, а съ Габоріо нашъ романистъ можетъ смѣло потягаться относительно обилія, необыкновенности и запутанности внѣшняго дѣйствія. Этому соотвѣтствуетъ какая то холодность его творчества. Маркевичъ разсказываетъ подчасъ страшныя вещи, подчасъ умилительныя, подчасъ смѣшныя, но самый чувствительный и нервозный читатель не уронитъ надъ его сочиненіями слезы, самый смѣшливый не засмѣется, а между тѣмъ «интересно». Дорогой писатель для любителей «интереснаго» чтенія, потому что очень то волноваться они вовсе не хотятъ.

Пересказывать содержаніе большихъ романовъ Маркевича я, разумѣется, не буду, такъ какъ для однихъ читателей это было бы знакомо и, слѣдовательно, скучно, а для другихъ, хоть и не знакомо, то всетаки скучно. Но для образчика возьмемъ одинъ изъ небольшихъ разсказовъ, который, по необходимости, имѣетъ не сложную и не запутанную фабулу и который всетаки переполненъ всякими необыкновенностями и вычурностями. Возьмемъ разсказъ «Лѣсникъ».

Нѣкто Коверзневъ, человѣкъ молодой, совершенно одинокій и очень богатый, катается по бѣлому свѣту. «Онъ, то охотился на бизоновъ въ американскихъ саваннахъ, или ходилъ облавою на тигровъ въ Индіи, то пристращался къ морю, плылъ на своей яхтѣ изъ Лондона въ Египетъ, на Мадеру». Но изрѣдка наѣзжалъ и въ Россію, и прямо въ свою деревню «Темный Кутъ» въ Черниговской губерніи. Дома онъ, между прочимъ, приводилъ въ порядокъ записки о своихъ путешествіяхъ, причемъ «писалъ весь день въ комнатѣ, съ закрытыми съ утра ставнями, онъ никогда иначе не принимался за перо,—при свѣтѣ двухъ спермацетовыхъ свѣчей подъ темнымъ абажуромъ. Привычки его были извѣстны и, кромѣ слуги его, итальянца, готовившаго ему и обѣдать и какъ-то изловчившагося подавать этотъ обѣдъ горячимъ, въ какіе бы необычные часы ни потребовалъ его Коверзневъ, ни единая душа въ Темномъ Кутѣ и не пыталась проникнуть къ нему». Въ имѣніи Коверзнева есть лѣсникъ, и не простой лѣсникъ, а капитанъ, сбившійся съ пути изъ за развратнаго поведенія жены и временами запивающій. Послѣ одного изъ такихъ загуловъ, Коверзневъ позвалъ лѣсника-капитана къ себѣ, душевно поговорилъ съ нимъ и, оцѣнивъ его достоинства, назначилъ его главнымъ лѣсничимъ. Тронутый и польщенный капитанъ далъ слово исправиться, дѣйствительно исправился и всей душой привязался къ Коверзневу. Во всемъ этомъ Коверзневъ скоро убѣдился, потому что, уѣхавъ куда то опять за бизонами или тиграми и вернувшись затѣмъ домой, онъ увидѣлъ капитана совершенно преображеннымъ. Кстати у того и другія радости объявились: его распутная жена умерла, и онъ собирался жениться на молодой барышнѣ, племянницѣ сосѣдней помѣщицы. Барышня эта представляетъ собою одну изъ любимыхъ фигуръ Маркевича, часто у него повторяющуюся. Бойкая, задорная, нахватавшая разныхъ модныхъ словъ и безъ толку ихъ употребляющая, но въ сущности добрая

и вообще хорошая, она, при первой встрѣчѣ съ Коверзневымъ, выпаливаетъ въ него слѣдующимъ залпомъ: «Ахъ, Боже мой, да вы можетъ быть почитаете меня за нигилистку! Вы очень ошибаетесь, предваряю васъ, monsieur! Я, конечно, сочувствую современному гуманизму и презираю всякій регрессъ, но по убѣжденіямъ своимъ придерживаюсь гораздо болѣе позитивизма». Барышню эту зовутъ *Пинна*—Пинна Аѳанасьевна Левентюкъ. Встрѣча съ Коверзневымъ происходитъ въ лѣсу. Пинна ѣдетъ въ экипажѣ и сама правитъ лошадью, ее сопровождаетъ капитанъ верхомъ, а Коверзневъ пѣшкомъ бродитъ по лѣсу съ ружьемъ и собакой. Собирается гроза. Капитанъ и Пинна предлагаютъ Коверзневу довести его до сторожки, гдѣ онъ могъ бы укрыться отъ дождя, но Пинна, въ своей напускной бойкости и самоувѣренности, дѣлаетъ это такъ грубо, такъ глупо говорить о «старобарскихъ капризахъ» Коверзнева, что тотъ отказывается и идетъ пѣшкомъ. Идти ему надо по близости «Вѣдьмина Лога», а этотъ Вѣдьминъ Логъ штука страшная, вполнѣ заслуживающая своего зловѣщаго имени. Это—огромная трясина, предательски поросшая зеленой травой, но столь бездонная, что однажды въ ней безслѣдно погибъ высоко нагруженный возъ сѣна съ лошадью и возчикомъ. Поднимается гроза и ливень, какихъ Коверзневъ не видалъ даже «подъ тропиками», и которые напомнили легкомысленной Пиннѣ библейское сказаніе о всемірномъ потопѣ. Страшный потокъ дождевой воды подхватилъ Коверзнева и понесъ его прямо въ Вѣдьминъ Логъ... Конечно, съ теченіемъ времени оказалось, что Коверзневъ живъ, но это открылось только дня черезъ два, кажется, а въ это время преданный капитанъ, огорченный, какъ предполагаемою смертью Коверзнева, такъ и тѣмъ, что Пинна толкнула его къ смерти разговоромъ о «старобарскихъ капризахъ», — самъ бросился въ Вѣдьминъ Логъ и погибъ.

Повторяю, это одно изъ самыхъ простыхъ, по фабулѣ, произведеній Маркевича, но и въ немъ онъ всетаки ухитряется безнужно колебать небо и землю, привлекать къ разсказу американскихъ бизоновъ, индійскихъ тигровъ, всемірный потопъ, бездонную трясину. Будучи третьестепеннымъ художникомъ. Маркевичъ не умѣетъ индивидуализировать свои образы простыми житейскими чертами. Чтобы вырисовать читателю фигуру Коверзнева, онъ прибѣгаетъ къ такимъ чертамъ, которыя, будучи совершенно исключительными, рѣдкостными, въ то же время никакой роли въ разсказѣ не играютъ, ибо разсказъ ничего не проигралъ бы, если бы Коверзневъ за бизонами въ американскихъ саваннахъ не охотился и не имѣлъ вычурной привычки писать днемъ съ огнемъ; если бы Вѣдьминъ Логъ былъ не такъ уже бездоненъ, а ливень въ Черниговской губерніи не превосходилъ своею силою ливни тропическіе. Мало того, разсказъ не только не проигралъ бы, а навѣрное бы выигралъ, потому что всѣ эти трескучіе эффекты, можетъ быть, способствуя «интересности», свидѣтельствуютъ именно о холодной выдуманности творчества, и какіе бы страхи Вѣдьмина Лога и тропически-черниговскаго ливня Маркевичъ ни изображалъ, какими бы благородными чертами онъ своего преданнаго лѣсника-капитана ни рисовалъ, читатель столь же холодно всему этому внимаетъ: не страшится и не умиляется. «Сердце въ томъ не убѣдится, что не отъ сердца говорится».

Такою же холодною выдуманностью вѣетъ и отъ самаго языка Маркевича. Онъ все гонится за «красивымъ слогомъ», а выходитъ только вычурно, а подчасъ просто нелѣпо. Онъ, напримѣръ, почти всегда пишетъ «молвилъ», вмѣсто «сказалъ», или «недужный» вмѣсто «больной», «покой» вмѣсто «комната»: «недужный молвилъ», «недужный устремилъ взоръ въ глубину покоя» и т. п. Вычурность эта доходитъ иногда до степени высокаго комизма. У Маркевича не рѣдкость встрѣтить фразу въ родѣ слѣдующей: «прищуренные глаза ея побѣжали за нимъ черезъ все разстояніе покоя» (Т. IX, стр. 109). Глаза побѣжали по покою... И вѣдь увѣренъ былъ человѣкъ, что такъ лучше, красивѣе, возвышеннѣе. И всѣ вѣдь эти господа думаютъ, что, говоря такимъ ни съ чѣмъ не сообразнымъ языкомъ, они красотѣ служатъ. А красотѣ они желаютъ служить паче всего...

Судя по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, можно бы было думать, что Маркевичъ (и К°—это пусть читатель на будущее время мысленно самъ прибавляетъ къ фамиліи покойнаго романиста) служитъ своею беллетристическою дѣятельностью «аристократическимъ» и «консервативнымъ» началамъ въ томъ странномъ и плохо продуманномъ смыслѣ, въ какомъ эти слова часто у насъ употребляются; странномъ и плохо продуманномъ, потому что у насъ соотвѣтственныя два понятія далеко не всегда покрываютъ другъ друга. Во всякомъ случаѣ въ политическихъ мнѣніяхъ Маркевича господствуетъ полнѣйшій сумбуръ и ничего ровно по этой части ему въ счетъ ставить нельзя: и не разберешь ничего, и разбирать не стоитъ. Маркевичъ писалъ рѣзко тенденціозныя вещи, но не отъ себя, не изъ души, а въ угоду другимъ и даже прямо по заказу. Въ этомъ отношеніи любопытное указаніе имѣется въ послѣсловіи къ роману «Бездна», написанномъ г. В. Крестов-

скимъ (не псевдонимъ). Тамъ приведенъ отрывокъ изъ частнаго письма Маркевича, изъ котораго видно, что и тема, и даже заглавіе «Бездны» были ему продиктованы. Къ этому я еще вернусь.

Нѣкоторое пристрастіе къ «аристократическому» началу у Маркевича, конечно, было и выражалось иногда чрезвычайно забавно. Такъ, разсказывая въ своихъ воспоминаніяхъ («Изъ прожитыхъ дней», т. XI), о нѣкоемъ Арсеньевѣ, онъ пишетъ: «съ перваго же взгляда, по рѣчамъ его и пріемамъ, видѣнъ былъ *хорошо рожденный* и хорошо воспитанный человѣкъ». Это убѣжденіе, что есть на свѣтѣ люди «хорошо рожденные» и «худо рожденные», романистъ высказываетъ иногда не отъ своего имени, а влагаетъ его въ уста своимъ дѣйствующимъ лицамъ въ видѣ «просіянія ихъ ума» и въ особенно поэтической обстановкѣ.

Въ романѣ «Типы прошлаго» нѣкоторый худо рожденный Кирилинъ влюбляется въ хорошо рожденную барышню Чемисарову. Въ пылу восторга онъ говоритъ ей слѣдующія слова, записанныя самою Чемисаровою:

«Мои убѣжденія! Вы ихъ поставили вверхъ дномъ, Надежда Павловна! прервалъ онъ меня, съ какимъ то отчаяннымъ движеніемъ руки. — Предъ вами я ничего не помню, подъ вашимъ обаяніемъ ваши кумиры становятся моими кумирами! Я признаю, — и глаза его словно окутали меня всю безпредѣльною страстью, — я долженъ признать, что эти безукоризненныя линіи, эти дивныя руки и этотъ гордый поворотъ шеи и величавую прелесть всѣхъ вашихъ движеній,— все это не въ состояніи создать сразу грубая природа, что для этого надо было напередъ пройти цѣлымъ поколѣніямъ предковъ, незнакомыхъ съ нуждой, воспитанныхъ на то, чтобы властно жить и мыслить. Я признаю, что вы рождены владычицей, и что какъ владычица должны вы быть обставлены, хотя бы тысячи людей должны были для этого умереть съ голоду!.. И самъ бы я, самъ, собственною рукою подписалъ подобный приговоръ»!

Въ романѣ «Марина изъ Алаго Рога» просіяніе своего ума въ этомъ самомъ направленіи получаетъ не мужчина, а женщина. А именно сама «Марина» (тотъ же типъ, что и вышеупомянутая Пинна въ «Лѣсникѣ»), близко познакомившись съ графомъ Завалевскимъ и княземъ Пужбольскимъ и, оцѣнивъ ихъ достоинства, сдѣлала въ одно прекрасное утро удивительное открытіе: *раціональность* и даже *разумную необходимость* (курсивъ вездѣ и дальше принадлежитъ Маркевичу) того аристократизма, который признавала она въ друзьяхъ своихъ, она доказала себѣ *по Дарвину*! Путая въ возбужденной головѣ все, что вычитала она о «подборѣ особей», объ «условіяхъ развитія организмовъ», о перерожденіи ихъ изъ низшихъ въ высшія формы, она вывела свое собственное заключеніе ad hominem и разсудила такъ, что если въ природѣ существуетъ законъ постепеннаго совершенствованія, и ей для произведенія высшаго существа на землѣ, человѣка, нужно было пройти черезъ многообразнѣйшія формы, начиная отъ одноглазой рыбы и до гориллы, а отъ гориллы, *проходя черезъ всякихъ остьо зитянъ, краснокожихъ и негровъ*, до чисто бѣлой кавказской рассы, то не слѣдуетъ ли *индуктивно* заключить, что она не перестаетъ работать и понынѣ и постоянно стремится выдѣлить изъ себя *особи*, формы, болѣе совершенныя, *тонконервныя*, способныя, слѣдовательно, къ *высшему развитію* и, такимъ образомъ, превосходящія прочихъ людей, людскую массу... А если это такъ,— а это уже такъ навѣрное!—то такіе люди, какъ ея друзья... какъ *онъ*, графъ,—она именно о немъ думала,—не представляются ли они именно «высшими формами», *высшими людьми*, стоящими на вершинѣ, надъ всѣми другими»!

Любопытно, однако, что графъ Завалевскій, внушившій своими чрезвычайными достоинствами этотъ вздоръ Маринѣ, на ея замѣчаніе, что они съ княземъ Пужбольскимъ «аристократы, титулованные», разъяснилъ ей, что Пужбольскій, дѣйствительно, «аристократъ»,—«отъ Рюрика въ прямомъ колѣнѣ (?) летитъ внизъ»,—а онъ самъ графъ Завалевскій, прямо мужицкаго происхожденія, потому что прадѣдъ его землю пахалъ и только дѣдъ его случаемъ вышелъ въ люди при Екатеринѣ. Такъ что графъ Завалевскій, пожалуй что и не изъ слишкомъ хорошо рожденныхъ, а между тѣмъ онъ несомнѣнно одинъ изъ любимцевъ Маркевича. Надо замѣтить, что его любимцевъ вообще очень легко узнать, потому что онъ ихъ всегда надѣляетъ благороднѣйшей душою, побѣдою и одолѣніемъ на враговъ или, по крайней мѣрѣ, нравственнымъ посрамленіемъ ихъ, красивымъ слогомъ и проч., и проч. И вотъ въ числѣ этихъ любимцевъ есть люди далеко не аристократическаго происхожденія, и напротивъ того въ аристократической средѣ онъ сплошь и рядомъ ищетъ объектовъ для своего сатирическаго бича. Этимъ онъ даже щеголяетъ и иной разъ такія грозныя вещи говоритъ по адресу «аристократіи», «монда», особливо же высшей бюрократіи, что хоть бы и самому демократическому писателю, такъ и то въ пору. На эту тему онъ очень и очень не прочь полиберальничать, какъ, впрочемъ, и на нѣкоторыя другія темы. Говоря, напри-

мѣръ, о сороковыхъ годахъ, вдругъ вспомнитъ стихъ: «разбейтесь силы, вы не нужны!» и прибавитъ отъ себя: «и, дѣйствительно, что было дѣлать тогда со своими силами, куда было дѣть свою молодость?» Или начнетъ разсказъ такъ: «*Вильгельма Телля*» (читай *Карла Смѣлаго*, благонамѣренный читатель) давали» и т. д. Протестую, дескать, противъ благонамѣреннаго переименованія «Вильгельма Телля» въ «Карла Смѣлаго»... А то, наконецъ, цѣлую исторію благонамѣренныхъ преслѣдованій, направленныхъ противъ нѣкоего Гундурова (въ «Четверть вѣка назадъ»), разскажетъ самымъ наилиберальнымъ и наипротестующимъ образомъ.

Повторяю, все это пустяки, въ которыхъ не стоитъ разбираться. Будучи совершенно не политическимъ человѣкомъ, Маркевичъ разсуждалъ на политическія темы просто зря, какъ попало, какъ хотѣлось другимъ и какъ ему казалось нужно по указаніямъ этихъ другихъ. Тутъ нечего искать ни опредѣленности, ни искренности. Настоящаго задушевнаго, что было бы въ самомъ дѣлѣ дорого и опредѣленно, насколько это только возможно для Маркевича, надо искать не въ области политики.

Просматривая автобіографическіе очерки «Изъ прожитыхъ дней» (XI томъ), поистинѣ поражаешься тѣмъ политическимъ индиферентизмомъ, который сквозитъ въ нихъ. Собственно литературною дѣятельностью Маркевичъ сталъ заниматся очень поздно, но по возрасту онъ принадлежалъ къ знаменитому поколѣнію сороковыхъ годовъ. Онъ и вспоминаетъ объ этихъ годахъ, даже защищаетъ противъ кого то «идеализмъ той эпохи», который «не помѣшалъ, чтобы не сказать прямо—способствовалъ людямъ ея служить отечеству своему незабвенную службу въ дѣлѣ освобожденія русскаго народа отъ крѣпостного состоянія и создать цѣлый рядъ высоко художественныхъ произведеній». Напрасно стали бы мы, однако, искать въ автобіографическихъ очеркахъ Маркевича хоть какихъ нибудь слѣдовъ того броженія мысли, которымъ полны были сороковые годы. Въ одномъ только мѣстѣ находимъ вскользь, къ слову брошенное замѣчаніе такого рода: «съ большинствомъ славянофиловъ я почти вовсе знакомъ не былъ и держался мнѣній эклектическихъ если не совсѣмъ западническихъ». Вотъ и все. По части своей общественной дѣятельности, Маркевичъ сообщаетъ только мимоходомъ, что тогда-то тамъ-то онъ былъ такимъ-то чиновникомъ. За то воспоминанія наполнены восторженно лирическими обращеніями по адресу искусства, поэзіи и соотвѣтственными фактами. Мы узнаемъ, какъ Маркевичъ еще девятилѣтнимъ ребенкомъ восторгался Пушкинымъ и заучивалъ его наизусть, какъ онъ самъ писалъ французскіе стихи и участвовалъ въ дѣтскихъ спектакляхъ и проч. и проч. Здѣсь же мы находимъ и рѣзко опредѣленныя отрицательныя черты настоящаго profession de foi покойнаго романиста. «До сихъ поръ, говоритъ онъ, съ тою же, неизсякнувшею съ годами, силою негодованія вспоминаю я о тѣхъ, обреченныхъ на проклятіе потомства, годахъ, когда сбродъ дикихъ семинаристовъ и нахальныхъ недоучекъ закидывалъ вонючею грязью своею, подъ одобрительные клики «либеральной интеллигенціи» его (Пушкина) священную тѣнь». Эти страстныя, искреннія, опредѣленныя рѣчи говоритъ Маркевичъ и въ своихъ романахъ. Въ «Маринѣ изъ Алаго Рога», характеризуя великолѣпнаго графа Завалевскаго, онъ путается, недомолвливаетъ, стремится угодить, очевидно, самъ хорошенько не зная чѣмъ, и, только доведя разговоръ до искусства, разражается опять страстной и искренней тирадой: «Съ ужасомъ и отвращеніемъ раскрывалъ каждый разъ Завалевскій нумера толстыхъ журналовъ, ежемѣсячно получавшихся имъ изъ Петербурга; часто, не довѣряя глазамъ своимъ, знакомился онъ съ ихъ содержаніемъ... Тамъ раздавался какой то дикій вой,—вой эфіоповъ, по древнему сказанію лаявшихъ на солнце. Полудикіе семинаристы, заявлявшіе себя представителями «молодого поколѣнія», сталкивали съ вѣковыхъ пьедесталовъ высочайшихъ представителей человѣческой культуры и обзывали ихъ «пошляками»; наглые гаэры въ бѣшеной «свистопляскѣ» топтали козлиными ногами все великое, духовное прошлое человѣка и, съ пѣною у рта, съ поднятыми кулаками, требовали, да возвратится онъ въ образъ звѣриный. Освистанное искусство объявлено было «аристократическимъ тунеядствомъ», поэзія—«пакостнымъ времяпровожденіемъ» и т. д., и т. д

И такъ, солнце и лающіе на него эфіопы,—вотъ два полюса настоящихъ, не заказныхъ помысловъ и чувствъ Маркевича. Онъ поклоняется солнцу, негодуетъ на эфіоповъ, проливаетъ слезы объ оскорбленіяхъ, наносимыхъ эфіопами солнцу. И слезы тѣ—крокодиловы.

Эта полярная противоположность солнца и эфіоповъ своеобразно опредѣляетъ и освѣщаетъ содержаніе всѣхъ произведеній Маркевича. Прежде всего, въ ней утопаетъ все кажущееся разнообразіе персонажей,—всѣ эти графы и нигилисты, становые и мужики, красавцы и уроды. Все это, главнымъ образомъ, представители либо солнца, либо эфіоповъ: солнце свѣтитъ и грѣетъ, эфіопы лаютъ, солнце омрачается и опять встаетъ,

эфіопы посрамляются, и т. д. и т. д., и уже около перипетій этой драмы размѣщаются разныя побочныя лица и побочныя происшествія. Надо замѣтить, что настоящихъ «эфіоповъ», «полудикихъ семинаристовъ», «нахальныхъ недоучекъ», «новыхъ людей», «нигилистовъ»,—Маркевичъ совсѣмъ не знаетъ и изображаетъ вмѣсто живыхъ людей какихъ-то манекеновъ, которыхъ заставляетъ продѣлывать, что ему вздумается, лишь бы погрязнѣе, да погрубѣе выходило. Я очень радъ, что мнѣ не нужно это доказывать, потому что я могу въ этомъ отношеніи сослаться на мнѣніе критика, чрезвычайно, сверхъ мѣры благосклоннаго къ Маркевичу. Въ 1882 г. въ «Русскомъ Вѣстникѣ» была напечатана статья Щебальскаго о романѣ Маркевича «Переломъ». Среди цѣлаго фонтана любезностей и похвалъ, критикъ замѣчаетъ: «Но если нашъ авторъ вполнѣ *дома* среди петербургскаго и московскаго общества начала шестидесятыхъ годовъ, если ему коротко знакомы высшія сферы администраціи и столичнаго high life, то,—справедливость требуетъ сказать, — онъ менѣе освоенъ съ тѣми сферами, въ которыхъ сформировался Иринархъ Овцынъ» (одинъ изъ «эфіоповъ»). И далѣе: «Невольно, въ виду талантливости г. Маркевича и его умѣнья наблюдать, рождается сомнѣніе, видѣлъ ли онъ на самомъ дѣлѣ Иринарховъ Овцыныхъ?» При тѣхъ расшаркиваніяхъ, съ которыми Щебальскій относится къ Маркевичу, это очень значительное признаніе. Значитъ ужъ нельзя скрыть этой прорѣхи, нельзя даже самому пристрастному читателю не видѣть, что «эфіопы» Маркевича не только не имѣютъ образа и подобія человѣческаго,—это, пожалуй, входило въ его планы,—но просто пустое мѣсто, вздоръ. Такимъ образомъ эту сторону надо совсѣмъ выкинуть изъ картины русской жизни отъ верхняго края до нижняго. Но и всѣ остальныя дѣйствующія лица романовъ Маркевича имѣютъ цѣну, главнымъ образомъ, и прежде всего, какъ представители либо солнца красоты, либо лающихъ на него эфіоповъ.

Вотъ, напримѣръ, въ «Маринѣ изъ Алаго Рога» появляется на малое время мужикъ Тулумбасъ. Появляется онъ при такой обстановкѣ. Графъ Завалевскій, князь Пужбольскій и Марина катаются въ лодкѣ. Завалевскій и Пужбольскій— настоящіе солнцепоклонники и, въ качествѣ таковыхъ, любимцы автора, а въ качествѣ любимцевъ исчезаютъ подъ цѣлою горою наваленныхъ на нихъ достоинствъ. Марина находится на пути отъ эфіопства къ культу солнца, она уже сочинила или готовится сочинить то обоснованіе аристократіи теоріею Дарвина, которое мы видѣли выше. Господа, катаясь въ лодкѣ, заняты высокими разговорами на солнечныя темы—спорятъ о дѣйствующихъ лицахъ въ эпилогѣ гетевскаго «Фауста», цитируютъ стихи Альфреда де Мюссе, слушаютъ соловьиныя пѣсни, разсказываютъ другъ другу поэтическія легенды. Обстановка самая подходящая: рѣка красива, берега еще того красивѣе, соловьи поютъ, цвѣты цвѣтутъ... Но и на этомъ прелестномъ фонѣ есть пятно. Это—гребецъ, мужикъ Тулумбасъ. Не въ томъ бѣда, что онъ мужикъ,—безъ мужика настоящимъ господамъ, конечно, и въ лодкѣ покататься нельзя; притомъ же Тулумбасъ «наряженъ въ красную кумачную рубаху и поярковую шляпу съ лентами по случаю назначенія его гребцомъ», такъ что выходитъ цвѣтно, красиво. А въ томъ бѣда, что Тулумбасъ эфіопъ, на солнце лаетъ. Господа говорятъ хорошія рѣчи про поэтическихъ русалокъ и спрашиваютъ его, водятся ли онѣ, русалки, здѣсь въ рѣкѣ Алаго Рога. Хохолъ Тулумбасъ не сразу понимаетъ въ чемъ дѣло, но потомъ, наконецъ, соображаетъ:

— А то вы про *мабки*! И Тулумбасъ расхохотался во весь ротъ.—А брешутъ что-сь про нихъ бабы... такъ буду я ихъ слухать! презрительно дернулъ онъ плечомъ.

— Тоже *прогрессистъ*! съ негодованіемъ проговорилъ князь, поворачивая ему спину.

Но Тулумбасъ не понялъ этого ядовитаго намека на его эфіопство. Разсказываетъ потомъ барышня Марина Осиповна одну очень поэтитескую легенду, а Тулумбасъ вдругъ вмѣшался съ какимъ то сужденіемъ не поэтическаго характера. Князь Пужбольскій, конечно, оскорбился за солнце и сказалъ:

— «Многоуважаемый гражданинъ, вы бы больше занимались *внутреннею рефлексіей*, чѣмъ внѣшнимъ выраженіемъ вашего *міровоззрѣнія*!»

Курсивы здѣсь принадлежатъ Маркевичу и, значитъ, князь Пужбольскій голосомъ подчеркивалъ, въ пику Тулумбасу, эти «внутреннія рефлексіи», «міровоззрѣнія» и «прогрессы». А слова эти, какъ видно изъ совокупности всѣхъ романовъ Маркевича, суть, по его мнѣнію, слова самыя эфіопскія. Да впрочемъ, и безъ того ясно видно, что Тулумбасъ—эфіопъ, ибо разрушаетъ красоту сказаній и легендъ замѣчаніями, что, молъ, «брешутъ что-сь бабы». Съ своей стороны Маркевичъ уже прямо отъ себя, въ качествѣ разсказчика, сообщаетъ, что глаза у Тулумбаса были глупые, хохоталъ онъ тоже глупо и проч.

Эпизодъ съ Тулумбасомъ можетъ служить хорошимъ образчикомъ отношеній Маркевича къ своимъ персонажамъ: мужикъ, какъ мужикъ, самъ по себѣ, для него не суще-

ствуетъ, а имѣетъ значенiе только въ качествѣ солнцепоклонника или эфiопа. Совершенно въ такомъ же положенiи находятся у него и «воинъ, купецъ и пастухъ»; съ той же точки полярной противоположности рисуетъ онъ «офицеровъ, лоретокъ и баръ». Понятно, что головокружительная пестрота и обилiе дѣйствующихъ лицъ, при такихъ условiяхъ, оказываются фантомомъ и, несмотря на всѣ трескучiе эффекты внѣшней занимательности, нашъ романистъ отнюдь не даетъ картины русской жизни, или по крайней мѣрѣ картина эта получаетъ фальшивое, одностороннее, невозможное освѣщенiе.

Конечно, дѣло не можетъ быть въ такой уже степени просто, чтобы въ рядѣ романовъ, затрогивающихъ, хотя бы и по заказу со стороны, явленiя политической и общественной жизни, только и рѣчи было, что объ красотѣ, объ искусствѣ, да объ отрицанiи ихъ. Я говорю только, что это преобладающая искренняя струя во всемъ творчествѣ Маркевича, а затѣмъ она связывается разными каналами и съ другими сторонами житейскаго моря.

Возьмемъ, напримѣръ, вышеупомянутаго лѣсника - капитана, съ отчаянiя увязшаго въ бездонной хляби Вѣдьмина Лога. Капитанъ этотъ пользуется очевидною симпатiей автора, а между тѣмъ объ искусствѣ рѣшительно никакихъ разговоровъ не ведетъ. Но обратите вниманiе на то, при какихъ условiяхъ онъ погибаетъ. Во-первыхъ, погибаетъ онъ частiю изъ-за необдуманной фразы своей невѣсты Пинны, а Пинна эта—вы помните, какъ она говоритъ: «я сочувствую современному гуманизму и презираю всякiй регрессъ» и т. д. Коверзневъ, оставшись въ лѣсу, въ началѣ черниговскаго потопа, вспоминаетъ объ ней и раздумываетъ: «Какими смѣшными словами обзавелись они теперь, бѣдные: *аффектъ*, *регрессъ*, *Огюстъ Контъ*, *Лассаль*!». Почему эти слова такъ смѣшны, и почему они въ частности смѣшнѣе фразы: «ея глаза побѣжали вдоль комнаты»,—это другой разговоръ. Но во всякомъ случаѣ это слова «эфiопскiя». Носительница этого эфiопства, Пинна, способствовала погибели капитана. Это разъ. А во вторыхъ, онъ погибаетъ изъ преданности Коверзневу, а Коверзневъ «настоящiй баринъ»: нигдѣ не служитъ по принципу, а только разъѣзжаетъ по американскимъ саваннамъ и индiйскимъ джунглямъ и любуется красотами природы.

И вообще, всецѣло служить солнцу красоты и искусства, если не творчествомъ, такъ умиленiемъ и восторгомъ, натурально удобнѣе всего можетъ «настоящiй баринъ», имѣющiй для этого достаточно досуга, средствъ, подготовки. Отсюда извѣстное пристрастiе Маркевича къ «породѣ», къ «хорошо рожденнымъ» людямъ. Хотя онъ съ нѣкоторой иронiей влагаетъ въ уста Марины изъ Алаго Рога попытку оправдать положенiе «хорошо рожденныхъ» людей теорiей Дарвина, но иронiя относится тутъ собственно къ теорiи Дарвина (этакiй, дескать, эфiопскiй вздоръ!) И ту же мысль, какъ мы видѣли, онъ диктуетъ и худо рожденному Кирилину, влюбленному въ хорошо рожденную Чемисарову: «Я признаюсь, что эти безукоризненныя линiи, эти дивныя руки и этотъ гордый поворотъ шеи и величавую прелесть всѣхъ вашихъ движенiй, все это не въ состоянiи съ разу создать грубая природа, что для этого надо было напередъ пройти цѣлымъ поколѣнiямъ предковъ, незнакомыхъ съ нуждой, воспитанныхъ на то, чтобы властно жить и мыслить. Я признаю, что вы рождены владычицей и что какъ владычица вы должны быть обставлены, хотя бы тысячи людей должны были для этого умирать съ голоду».

Простите, что я второй разъ дѣлаю эту выписку, но она очень характерна. Будучи высказаны не прямо отъ лица Маркевича, слова эти однако довольно близко подходятъ къ его взглядамъ, какъ они сквозятъ во всѣхъ его произведенiяхъ,—разумѣется минусъ спецiально страстный характеръ рѣчей влюбленнаго юноши. На этомъ я остановлюсь и не буду слѣдить за дальнѣйшими сложными отношенiями, въ которыя культъ красоты ставитъ Маркевича къ различнымъ житейскимъ явленiямъ. Не стоитъ труда. Во всякомъ случаѣ вы видите, что подъ солнцемъ, на которое лаютъ эфiопы, Маркевичъ разумѣетъ именно красоту и ея служителя—искусство, не помышляя при этомъ объ какихъ нибудь опредѣленныхъ политическихъ и общественныхъ идеалахъ, но, благодаря сложности человѣческихъ отношенiй и самой природы человѣческой, выходитъ такъ, что культъ солнца нуждается еще въ нѣкоторой тверди небесной, въ нѣкоторой общественно-политической опорѣ для самого солнца. Для справедливой оцѣнки этого обстоятельства, совершенно нѣтъ надобности хвататься за Пушкина и нанесенныя его памяти оскорбленiя, какъ это дѣлаетъ Маркевичъ въ своихъ автобiографическихъ воспоминанiяхъ о подлежащихъ «проклятiю» временахъ. Во первыхъ, Пушкинъ—генiй, а генiи рождаются таинственнымъ или невѣдомымъ намъ образомъ при самыхъ разнообразныхъ условiяхъ. А во вторыхъ, что собственно произошло у насъ въ «проклятыя» времена по отношенiю къ Пушкину? Совсѣмъ не «полудикiй семинаристъ», а образованный дворянинъ, умный, блестящiй, но увлекающiйся

мальчикъ Писаревъ сказалъ о Пушкинѣ сгоряча нѣсколько глупостей и кое-кто изъ молодежи повѣрилъ въ эти глупости. Вотъ и все. Неужели же изъ-за этого можно такъ волноваться и сердиться? Конечно, нѣтъ, конечно, дѣло не въ этомъ. А въ томъ дѣло, что въ «проклятыя» времена явилась, утвердилась, а частію и осуществилась мысль о незаконности голода тысячъ людей ради существованія гордыхъ поворотовъ шеи дѣвицы Чемисаровой, безспорно прекрасной, равно какъ и произведеній искусства, тоже прекрасныхъ. Величайшій моментъ этого времени,—освобожденіе крестьянъ,—слишкомъ ясенъ и непререкаемъ, чтобы Маркевичъ или кто другой осмѣлился на него «лаять», или даже только не выражать ему сочувствія, а между тѣмъ разрушенный этимъ актомъ порядокъ, разумѣется, былъ очень удобенъ для безпрепятственнаго сіянія «солнца». Въ этомъ противорѣчіи Маркевичъ безпомощно путается, даже не ища выхода изъ него, и плачетъ... плачетъ о святомъ, гордомъ, свободномъ, чистомъ искусствѣ...

Что же намъ даетъ самъ этотъ плачущій поклонникъ солнца? Какіе предъявляетъ образцы истиннаго служенія искусству? Это вопросы не безъинтересные, потому что, хотя Маркевичъ мирно спитъ въ гробу, но въ наши странные дни опять поднимаются разговоры о свободномъ служеніи чистому отъ всякихъ постороннихъ примѣсей искусству. Еще недавно довольно извѣстный беллетристъ, г. Максимъ Бѣлинскій, съ свойственнымъ ему, нѣсколько назойливымъ самодовольствомъ заявилъ въ газетѣ «Заря», что онъ и самъ служитъ «искусству ради искусства» и другихъ тому же съ успѣхомъ поучаетъ. Можно бы, конечно, и о самомъ г. Максимѣ Бѣлинскомъ поговорить, и въ частности объ его «Иринархѣ Плутарховѣ», подавшемъ ему поводъ (странный поводъ!) заявить объ уваженіи къ «искусству ради искусства». Но, благодаря именно назойливому самодовольству автора, этотъ самый «Иринархъ Плутарховъ» надоѣлъ хуже горькой рѣдьки. Притомъ же г. Максимъ Бѣлинскій, какъ онъ самъ заявляетъ, новичекъ, недавно обращенный поклонникъ «солнца», а Маркевичъ—старый, опытный боецъ...

Изъ примѣра, подаваемаго Маркевичемъ, прежде всего слѣдуетъ, что служитель чистаго искусства можетъ съ чрезвычайною развязностью изображать то, объ чемъ онъ ни малѣйшаго понятія не имѣетъ, чего онъ никогда въ жизни не видалъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ выше приведенное свидѣтельство Щебальскаго: людей, которыхъ Маркевичъ называетъ эфіопами, онъ совсѣмъ не знаетъ и однако не единожды и случайно, а почти въ каждомъ произведеніи и систематически рисуетъ ихъ. Это первый урокъ служенія музамъ.

Второй урокъ состоитъ въ томъ, что свободный служитель чистаго искусства можетъ писать по заказу романы на политическія темы дня, давая лицамъ и событіямъ то мѣсто и то освѣщеніе, какое требуется заказчиками.

Третій урокъ рекомендуетъ писать «красивымъ слогомъ», такъ чтобы «недужный молвилъ», а «глаза побѣжали».

Четвертый урокъ предписываетъ служителю «искусства ради искусства» не пренебрегать пасквилемъ, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Каково бы ни было происхожденіе и настоящее значеніе слова пасквиль, я не ошибусь, сказавъ, что подъ нимъ всѣ мы разумѣемъ такое произведеніе, въ которомъ данное лицо можетъ быть по тѣмъ или другимъ признакамъ узнано, но вмѣстѣ съ тѣмъ этому лицу приписаны какіе нибудь гнусные, или вообще унижающіе его достоинство, поступки. Такихъ пасквильныхъ рисунковъ у Маркевича, конечно, не мало. Приведу одинъ. Въ романѣ «Переломъ» есть глава, посвященная описанію нѣкотораго завтрака у Дюссо. Завтракаютъ три «художника», которыхъ, по крайней мѣрѣ, вращающимся въ литературныхъ кругахъ легко узнать. Одинъ изъ нихъ, по фамиліи Самуровъ, есть пасквиль на Тургенева. Къ тремъ завтракающимъ присоединяется еще нѣкій Троекуровъ, любимецъ автора, окончательно посрамляющій Самурова-Тургенева...

Такимъ образомъ, недобросовѣстность работы, работа по заказу, «красивый слогъ» и пасквиль,—вотъ что составляетъ культъ солнца, вотъ что входитъ въ районъ дѣйствія «искусства ради искусства». Я этому не удивляюсь и дѣло здѣсь не въ личныхъ какихъ нибудь качествахъ или недостаткахъ Маркевича, ибо «искусство ради искусства» въ дѣйствительности никогда не существовало и никогда существовать не будетъ. Искусство всегда играло и всегда будетъ играть подчиненную, хотя и могущественную роль. Все дѣло только въ томъ, что одни художники сознательно, а другіе безсознательно выбираютъ себѣ то высшее, чему они служатъ своимъ дарованіемъ и своимъ творчествомъ; у однихъ это высшее дѣйствительно высоко, у другихъ оно ростомъ въ полтора вершка. И очень часто, слишкомъ часто, случается, что художникъ, азартно толкующій о «чистомъ» искусствѣ, на дѣлѣ руководится самыми нечистыми побужденіями и служитъ самымъ низкимъ личнымъ или общественнымъ страстямъ. Говорю «личнымъ или общественнымъ» страстямъ, потому что если,

рисуя пасквиль на Тургенева, Маркевичъ былъ управляемъ просто личнымъ непріязненнымъ чувствомъ, то, преслѣдуя «эфіоповъ», о которыхъ онъ и понятія не имѣлъ, онъ служилъ извѣстному общественному теченію.

И что же послѣ этого слезы Маркевича по поводу эфіоповъ, лающихъ на солнце, какъ не слезы крокодила? Пусть эфіопы увлекались, ошибались, заблуждались, пусть преступленія совершали, что хотите, но какъ смѣютъ объ этомъ плакать крокодилы? Допустимъ, что святое, свободное, чистое искусство было оскорбляемо обреченіемъ на служебную роль. Но развѣ пасквиль въ самомъ дѣлѣ такъ ужъ святъ? или клевета, хотя бы и на эфіоповъ, въ самомъ дѣлѣ такъ чиста, а писаніе по заказу такъ уже свободно? Вы видите, что у этихъ господъ есть двѣ мѣрки для вещей. Они говорятъ: долой тенденцію, искусство само себѣ довлѣетъ! «мы рождены для вдохновенья, для звуковъ сладкихъ и молитвъ». А сами никакихъ вдохновеній, сладкихъ звуковъ и молитвъ и не думаютъ предъявлять и всетаки очень собой довольны, собой и себѣ подобными. Они, всѣ эти Маркевичи, Авсѣенки, Орловскіе и проч. стараются только перещеголять другъ друга въ тенденціозномъ освѣщеніи фактовъ. На здоровье, пожалуй, но только ни эфіоповъ, ни кого другого они, конечно, этимъ способомъ не убѣдятъ въ святости и чистотѣ своего художества.

Это двоемѣріе любопытно наблюдать еще по одному вопросу, стоящему для Маркевича и Комп. въ странной, но очевидно близкой связи съ вопросомъ объ искусствѣ.

Маркевичъ—горячій и усердный защитникъ семейнаго начала. Онъ написалъ большой романъ «Забытый вопросъ» (весь второй томъ) съ цѣлью напомнить современникамъ, что есть на свѣтѣ дѣти, и сказать кавалерамъ и дамамъ, что даже при исключительно извиняющихъ условіяхъ можно только съ чрезвычайною осмотрительностью вступать въ любовныя связи. Въ концѣ романа онъ, не полагаясь на силу своего таланта, на всякій случай прямо разсказываетъ его мораль: «Въ числѣ безчисленныхъ, новыхъ *вопросовъ* поднятыхъ *новымъ временемъ*, право женщины свободно располагать собою, по влеченію сердца, занимаетъ весьма важное мѣсто и находитъ себѣ не мало остроумныхъ и горячихъ, если не всегда талантливыхъ защитниковъ. Но, увлекаясь великодушнымъ желаніемъ вызволить «живую душу» изъ подъ гнета «узкой морали» и «условнаго долга», поборники женской свободы тщательно забываютъ другую душу живую, другое существо, взывающее о защитѣ,—забываютъ ребенка этой женщины, которой предоставляютъ они свободно мѣнять одну привязанность на другую, безжалостно попирая все, что представляется ей при этомъ «неразумнымъ препятствіемъ».— Видите, что надѣлало «новое время» съ своими «вопросами» и какъ заботится о дѣтяхъ человѣкъ стараго времени, чуждый какого бы то ни было эфіопства. Но онъ не только о дѣтяхъ безпокоится. Есть у него разсказъ «Свободная душа» (XI томъ); въ которомъ фигурируетъ нѣкая Вѣра Николаевна Змаичъ, бѣжавшая отъ мужа съ молодымъ человѣкомъ Волгинымъ. Эта Вѣра Николаевна есть «продуктъ самоновѣйшей формаціи», объ искусствѣ отзывается самымъ непочтительнымъ образомъ («не полезно», говоритъ), слушаетъ лекціи Сѣченова и, вообще, по выраженію мужа, совсѣмъ «сбита съ толку». Мужъ—благороднѣйшій человѣкъ, онъ предлагаетъ женѣ выйти замужъ за Волгина, для чего онъ, мужъ, готовъ ей дать разводъ, въ противномъ же случаѣ грозитъ вытребовать ее къ себѣ черезъ полицію, ибо въ благородствѣ своемъ только въ настоящемъ законномъ бракѣ видитъ счастіе женщины. Но перспектива полицейскаго привода не соблазняетъ Вѣру, а Волгинъ оказывается дрянью и потому она заразъ отдѣлывается отъ обоихъ претендентовъ,—застрѣливается. Таковы послѣдствія «сбитости съ толку»: «продуктъ самоновѣйшей формаціи» не хочетъ выходить замужъ за дрянь, но не хочетъ также идти къ мужу, прибѣгающему къ помощи полиціи... И Маркевичъ плачетъ.

Въ романѣ «Переломъ» есть такая сцена: Несомнѣннѣйшій эфіопъ Иринархъ Овцынъ (тотъ самый, о которомъ, по мнѣнію Щебальскаго, авторъ не имѣетъ понятія) и весьма уже зараженные эфіопствомъ «ученый» подполковникъ Блиновъ и исправникъ Факирскій бесѣдуютъ о разныхъ разностяхъ, въ томъ числѣ о «женскомъ вопросѣ». Говорятъ они въ смыслѣ свободы любовныхъ отношеній и говорятъ такія гнусности и глупости, что уши вянутъ. И Маркевичъ плачетъ. И много, вообще, онъ на эту тему плачетъ. И слезы тѣ опять же крокодиловы.

Въ «Маринѣ изъ Алаго Рога» князь Пужбольскій—великій почитатель и знатокъ искусства, любуется красавицей Мариной, сравнивая ее то со святой Варварой Пальма Веккіо, находящейся въ церкви Santa Maria Formosa въ Венеціи, то со святой Розаліей и проч. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, князь Пужбольскій «безъ особаго волненія не могъ на нее смотрѣть въ амазонкѣ, стройно охватывавшей ея роскошные члены». И, надо думать, нѣкоторыя небезгрѣшныя мысли вертѣлись при этомъ въ головѣ князя. И это

прекрасно, это не то, что семинаристъ Левіафановъ, который тоже заглядывается на бюстъ Марины, но при этомъ говоритъ: «организмъ вашъ замѣчательно развился съ тѣхъ поръ, какъ я не видалъ васъ». Вотъ и подите: оба заглядываются на «роскошные члены» Марины, но у Левіафанова это выходитъ гнусно и глупо, а у князя Пужбольскаго, напротивъ того, превосходно, потому что для него роскошный бюстъ Марины отвлекается въ ту общую категорію красоты, гдѣ и святая Варвара Пальма Веккіо имѣетъ мѣсто. Вотъ почему то самое, что рѣшительно непростительно эфіопомъ, вполнѣ мило выходитъ у служителей солнца.

Я не буду говорить о любимѣйшемъ изъ героевъ Маркевича, тоже знатокѣ и любителѣ искусства, Троекуровѣ, который совершаетъ веселые грѣхи и наступаетъ на семейное начало съ изящнѣйшей граціей, за что ему авторъ все и прощаетъ; ни объ Ольгѣ Эльпидифоровнѣ Ранцевой, просто таки распутной бабенкѣ, играющей передъ всякимъ встрѣчнымъ глазами, плечами и бедрами, но которой авторъ разрѣшаетъ весело прожить и поэтически умереть. Я рекомендую вашему вниманію только Ашанина, фигурирующаго въ трехъ романахъ («Четверть вѣка назадъ», «Переломъ» и «Бездна») и неизмѣнно пользующагося симпатіей автора. Этотъ Ашанинъ, красавецъ, весельчакъ, погубитель женскихъ сердецъ, до такой степени въ то же время преданъ искусству, что соблазняетъ не молодую уже гувернантку, единственно за тѣмъ, чтобы убѣдить ее сыграть роль матери Гамлета въ домашнемъ спектаклѣ. Онъ объ этомъ такъ разсказываетъ одной весьма почтенной старушкѣ: «У насъ, видите-ли, матери Гамлета не было, и некому кромѣ нея играть. А она уперлась, какъ коза: не хочу, да и все тутъ! Я собой и пожертвовалъ!» За это весьма почтенная старушка обзываетъ Ашанина «безстыдникомъ», а авторъ—«шалуномъ», хотя шалость шалуна дорого обошлась гувернанткѣ: съ горя она ушла въ монастырь. Затѣмъ, на протяженіи всѣхъ трехъ романовъ Ашанинъ «шалитъ» на каждомъ шагу и съ кѣмъ попало: съ Ольгой Эльпидифоровной, съ встрѣчной дамой на станціи, съ горничной, съ какой-то «молодой женой стараго мужа-ревнивца» и проч. Онъ, правда, не говоритъ при этомъ никакихъ эфіопскихъ словъ насчетъ «свободы отъ условной морали» и т. п., онъ просто «шалитъ», и его духовный отецъ Маркевичъ только аплодируетъ ему: молодецъ, дескать! Состарился наконецъ шалунъ, и вотъ въ какомъ видѣ мы его застаемъ въ романѣ «Бездна», когда ему «уже перевалило за пятьдесятъ лѣтъ»:

«Въ порѣдѣвшей довольно замѣтно шапкѣ его волосъ начинали кое-гдѣ проглядывать серебряныя нити, но волосы эти все также живописно кудрявились вокругъ смуглаго, все еще свѣжаго чела, и большіе черные глаза горѣли все тѣмъ же юношески-пылкимъ, соблазняющимъ женщинъ огнемъ, какъ въ тѣ давно минувшіе годы... «Обломокъ старыхъ поколѣній», онъ оставался неизмѣнно вѣренъ традиціямъ своего былого донъ-жуанства и, вопреки всякимъ «новымъ вѣяніямъ», плѣнялъ теперь *демократокъ*—дочекъ все тѣми же вкрадчиво дерзкими пріемами обольщенія, какими въ оны дни завоевывалъ сердца маменекъ—*баринь*».

Утро. Парикмахеръ «*наводитъ красоту*» на Ашанина: брѣетъ ему подбородокъ, подвиваетъ усы и выливаетъ на его расчесанную волосокъ къ волоску голову цѣлый флаконъ eau athénienne... Старый красавецъ оглянулъ себя въ послѣдній разъ въ широкое туалетное зеркало, скинулъ пудермантель и, отпустивъ парикмахера, направился въ уголъ, къ висѣвшей тамъ большой иконѣ Спасителя, предъ которою теплилась неугасимая лампада, и сталъ благоговѣйно на молитву, обернувшись спиной къ увѣнчанной гроздьями гологрудой вакханкѣ, глядѣвшей пьяными глазами съ противоположной стѣны... Тотъ же двойственный характеръ набожности и *грѣховности* носило и все остальное здѣсь... (пропускаю для краткости нѣкоторыя мелкія подробности)... Запахъ лампаднаго масла пробивалъ сквозь своеобразный букетъ только что откупоренной большой стклянки духовъ, содержавшей въ себѣ какую то смѣсь иланъ—иланга, ландыша и вервены, которую Ашанинъ приготовлялъ самъ по изобрѣтенному имъ способу».

Вы думаете, это злая иронія, сатирическій портретъ? Ничуть не бывало: «Во всемъ этомъ было что то, невольно говорившее о типахъ *кавалеровъ* давно исчезнувшихъ временъ, когда религіозный энтузіазмъ и земныя страсти переплетались органически въ какое-то одно цвѣтистое цѣлое». Видите какъ благосклонно: мерзость человѣкъ сдѣлалъ, наступилъ на то самое семейное начало, за которое эфіопамъ такъ достается,—говорятъ: шалунъ! Смѣшалъ деревянное масло съ иланъ-илангомъ, гологрудую вакханку противъ образа Спасителя повѣсилъ,—говорятъ: религіозный энтузіастъ! И вѣдь не одинъ Маркевичъ такъ благосклоненъ къ Ашанину. По щучьему велѣнію, по авторскому прошенію, всѣ наилучше объ немъ отзываются: «милый человѣкъ», «благородный человѣкъ», «настоящій, стараго закала баринъ» и т. п. Только, если уже очень выбранить надо, такъ «шалуномъ» или «без-

стыдникомъ» назовутъ. Въ чемъ же секретъ этого благоволенія, когда съ точки зрѣнія тѣхъ слезъ, которыя Маркевичъ проливалъ въ «Забытомъ вопросѣ», въ «Свободной душѣ», въ «Переломѣ» и во многихъ другихъ мѣстахъ, этотъ самый Ашанинъ заслуживалъ бы лютой казни? А, Боже мой! Секретъ очень простъ.

Ашанинъ въ старости состоитъ какимъ-то важнымъ начальникомъ по театральной части. Къ нему обращается за содѣйствіемъ красивая актриса. Онъ устроилъ для нея что тамъ надо и потомъ, по словамъ Маркевича, «надѣялся, что вслѣдъ за этимъ у нихъ завяжется «артистическая бесѣда», съ которой ничего не будетъ уже легче перейти на обычныя ему амурныя темы». Вотъ въ этомъ все и дѣло. Ашанинъ—любитель и знатокъ искусства, значитъ склоненъ къ «артистическимъ бесѣдамъ», ну а отъ нихъ «ничего нѣтъ легче», какъ перейти на... отношенія, право-же вѣдь очень похожія на тѣ, которыя, къ великому ужасу и скорби Маркевича, пропагандируютъ Иринархи Овцыны, Факирскіе и прочіе эфіопы. Разница только въ томъ, что эфіопы или длинно разсуждаютъ о правахъ женщины, о «женскомъ вопросѣ», или совѣсть свою мучительно по этому случаю теребятъ, вообще такъ или иначе стараются въ головѣ и сердцѣ своемъ свести концы съ концами. А Ашанинъ порхаетъ, какъ мотылекъ, съ цвѣтка на цвѣтокъ, не задаваясь никакими теоретическими вопросами, ничѣмъ не стѣсняясь, ни передъ какой «свободой» и ни передъ какимъ «семейнымъ началомъ» не останавливаясь и спокойно смѣшивая деревянное масло съ eau athénienne. За это ему и прощается. Онъ солнцу сопричастенъ. Для него женщина входитъ въ отвлеченную категорію красоты, гдѣ и святое искусство вмѣщается. Не даромъ онъ съ похвальбой разсказываетъ, что соблазнилъ дѣвушку, дабы убѣдить ее сыграть въ «Гамлетѣ» роль матери: онъ вдвойнѣ служилъ отвлеченной категоріи красоты. Отсюда мораль: всякій, имѣющій билетъ на право входа въ область красоты, тѣмъ самымъ получаетъ право топтать «условную мораль» и «семейное начало», сколько его душѣ и тѣлу угодно. А если кто посягнетъ на эту самую условную мораль безъ билета, такъ... такъ Маркевичъ и К° обольются слезами. И слезы тѣ будутъ крокодиловы.

Спору нѣтъ, «эфіопы» увлекались, но сами-же, и не дешево, платились за свои ошибки. Весьма возможно, что среди нихъ были и лицемѣры, подъ покровомъ хорошихъ словъ о «свободѣ женщины» и «свободѣ чувства» просто прохаживавшіеся «насчетъ клубнички». Объ такихъ только и можно сказать, что они негодяи. Но тѣмъ, кто искренно заблуждался или увлекался, да послужатъ оправданіемъ Троекуровы, Ашанины и ихъ пѣвцы Маркевичи. Не въ смыслѣ дурного примѣра, нѣтъ; изъ того, что есть на свѣтѣ, положимъ, десятокъ негодяевъ, еще не вытекаетъ оправданія для второго десятка, слѣдующаго ихъ примѣру. Но если защитниками и представителями семейнаго начала являются милѣйшій Ашанинъ, порхающій съ цвѣтка на цвѣтокъ, и благороднѣйшій Троекуровъ, граціозно грѣшащій съ женой Ранцева и отъ собственной жены предполагающій бѣжать съ княжной Кирой Кубенской; и если Маркевичъ, ругаясь направо и налѣво за посрамленіе семьи, указываетъ на нихъ: вотъ солнце!—то право-же разсердиться можно. Разсердиться на эту беззастѣнчивость лицемѣрія, лживаго паѳоса, лживыхъ слезъ. Святое искусство, уживающееся съ пасквилемъ и клеветой, и семейное начало при шалостяхъ Ашаниныхъ и граціозностяхъ Троекуровыхъ,—что, кромѣ негодующаго отрицанія, могутъ они вызвать въ людяхъ, искренно ищущихъ правды и добра? Ну, а въ жару негодующаго отрицанія легко, конечно, и черезъ край хватить...

А вѣдь сколько крокодиловыхъ слезъ было пролито, сколько ихъ и теперь льется! И не по поводу только святого искусства и семейнаго начала...

VIII.

Pro domo sua *).

Читалъ и перечитывалъ самого себя... Странное занятіе, но такъ пришлось, а кромѣ того приходится и писать о самомъ себѣ. Въ этой же книжкѣ «Сѣвернаго Вѣстника» напечатана статья г. Яковенко, въ формѣ открытаго письма ко мнѣ. Разъ эта статья появилась, я не только могу, а долженъ писать pro domo sua, что, само по себѣ, вовсе не пріятно.

Я не изъ баловней критики. За всю мою литературную дѣятельность я могу отмѣтить лишь анонимную статью «Формула прогресса г. Михайловскаго», напечатанную въ 1870 г. въ «Отечественныхъ Запискахъ», затѣмъ «Соціологическіе этюды» г. Южакова въ «Знаніи», книгу г. Лесевича «Изслѣдованіе основоначалъ позитивной философіи», и только. По поводу нѣкоторыхъ томовъ моихъ сочиненій, въ журналахъ и газетахъ появлялись небольшія рецензіи, благосклонныя и неблагосклонныя, толковыя и безтолковыя; подобные же отзывы случались и по поводу отдѣльныхъ моихъ статей, причемъ имя мое

*) 1886 г., ноябрь.

трепалось не мало; но все это я не могу признать критикой. Такая ужъ, значитъ, моя доля, и я несу ее безъ особеннаго огорченія, а когда нѣкоторые изъ моихъ собратовъ пишутъ обо мнѣ: «одинъ публицистъ замѣтилъ» и т. под., такъ мнѣ даже становится весело. Но во всѣхъ этихъ аллюрахъ критики (?) есть одно неудобство, какъ для самихъ гг. критиковъ, такъ и для читателей и для меня, и я долженъ его оговорить въ интересахъ нижеслѣдующаго моего отвѣта на письмо г. Яковенко.

Въ 1869 г. была напечатана моя статья «Что такое прогрессъ?», а вслѣдъ затѣмъ и еще нѣсколько статей, поддерживавшихъ, укрѣплявшихъ и развивавшихъ ту же точку зрѣнія. Профаны, какъ мнѣ доподлинно извѣстно, были заинтересованы этими статьями; литература, за вышеупомянутыми исключеніями, молчала, а люди науки и совсѣмъ молчали, величественно, но молчали. Проходитъ годъ, два, пять, десять, двѣнадцать лѣтъ, — все молчатъ. Наконецъ, въ 1883 году заговорили. Профессоръ Гротъ въ лекціяхъ, читанныхъ въ Новороссійскомъ университетѣ, говорилъ въ томъ смыслѣ, что недурно, молъ, но требуетъ такихъ-то и такихъ-то поправокъ. Профессоръ Карѣевъ въ своемъ двухтомномъ сочиненіи «Основные вопросы философіи исторіи» неоднократно обращался, частію одобрительно, частію неодобрительно, къ упомянутымъ моимъ статьямъ, причемъ выходило иногда такъ: «Органическая теорія въ соціологіи требуетъ отказа отъ своей индивидуальности, духовной и тѣлесной, въ пользу высшаго индивидуума—общества. Съ этой точки зрѣнія весьма основательной критикѣ была подвергнута органическая теорія въ лицѣ Спенсера однимъ изъ нашихъ публицистовъ, г. Михайловскимъ. Мы не станемъ повторять его аргументаціи: его доводы сводятся въ сущности къ тому, что мы развивали уже въ главахъ о личности, какъ верховномъ принципѣ философіи исторіи» (Т. II, 112). Конечно, зачѣмъ повторять чужіе доводы (одни ли полно доводы?), когда самъ г. Карѣевъ уже и прежде «развивалъ» ихъ. Прежде чего, однако? Прежде ссылки на меня, но не прежде меня самого, ибо не могъ же онъ въ 1883 г. предвосхитить то, что было изложено въ 1869-мъ...

Ободренные вѣроятно примѣромъ ученыхъ людей, начали мнѣ удѣлять нѣкоторое вниманіе и своя братія—журналисты...

Интересующій меня итогъ всего этого, равно какъ и другого разнаго, что я могъ бы еще здѣсь привести, состоитъ въ неправильности, и даже прямо въ отсутствіи, такъ сказать, хронологической перспективы, когда рѣчь идетъ о моихъ писаніяхъ. Въ чемъ тутъ дѣло, я хорошенько не знаю, а если и догадываюсь кое о чемъ, то не стану здѣсь высказывать предположенія (во всякомъ случаѣ, не лестныя), какъ о тѣхъ своихъ собратахъ по профессіи, которые молчатъ обо мнѣ, такъ и о тѣхъ, которые, мягко выражаясь, не дѣло говорятъ. Я отмѣчаю только фактъ хронологической неправильности, выражающійся въ разнообразныхъ формахъ, и на возникающее отсюда неудобство.

Не чуждо этого неудобства и письмо г. Яковенко. Это письмо есть непосредственный голосъ публики, а не литературное произведеніе. Не говоря уже о томъ, что двѣ статейки, напечатанныя до сихъ поръ въ областномъ отдѣлѣ «Сѣвернаго Вѣстника», не предоставляютъ еще г. Яковенко ни имени литератора, ни отвѣтственности, налагаемой этимъ именемъ,—самая форма письма, состоящаго изъ ряда вопросовъ, показываетъ отсутствіе какихъ бы то ни было литературныхъ претензій. Тѣмъ, разумѣется, цѣннѣе для меня это обращеніе и тѣмъ обязательнѣе для меня отвѣтъ. Но замѣтьте, что я долженъ отвѣчать за статьи, написанныя десять, двѣнадцать и болѣе лѣтъ тому назадъ; отвѣчать не только за нхъ общій смыслъ, но и за подробности, сопоставляемыя г. Яковенко, какъ увидите, съ нѣкоторою придирчивостью. При этомъ надо еще замѣтить, что если авторъ письма, повидимому, съ чрезвычайною тщательностью прочиталъ второй и третій томы моихъ сочиненій *) и выбралъ изъ нихъ все, относящееся къ занимающему его вопросу объ «народѣ» и «обществѣ», то съ другой стороны онъ оставилъ безъ всякаго вниманія многое изъ моихъ писаній, что помогло бы ему оріентироваться въ смущающемъ его дѣлѣ.

Когда я прочиталъ письмо г. Яковенко, на меня пахнуло чѣмъ-то старымъ и вмѣстѣ свѣжимъ, тѣмъ старымъ, которое было такъ свѣжо лѣтъ десять, двѣнадцать, пятнадцать тому назадъ. Какъ легко, просто, естественно было бы отвѣчать на вопросы, задаваемые теперь г. Яковенко, еслибы они были предъявлены въ свое время! А, между тѣмъ, эти вопросы тогда не задавались, эти сомнѣнія не высказывались; не литературною только критикою,—она, какъ уже сказано, просто молчала,—а и голосами изъ публики, какимъ является теперь письмо г. Яковенко. Были вопросы, требовались разъясненія, выражались сомнѣнія, но не эти... Хорошее было это время. То есть много въ немъ было, конечно, и нехорошаго, даже очень и очень нехорошаго, но лично для меня,

*) Рѣчь идетъ о старомъ изданіи, 80-хъ годовъ.

какъ писателя, оно останется навсегда незабвеннымъ. Ежемѣсячная литературная работа есть дѣло и очень легкое и очень тяжелое, смотря по обстоятельствамъ, при которыхъ приходится работать. Она можетъ доставить писателю много отрады, скрасить его жизнь, но можетъ и давить его, какъ многопудовая гиря, если онъ живой человѣкъ, а не писательская машина. Когда у васъ есть читатели, съ которыми васъ связываютъ сотни духовныхъ нитей, которые, по крайней мѣрѣ въ общемъ, живутъ тѣмъ же, чѣмъ и вы живете, работать легко. Каждое, даже совсѣмъ мимолетное явленіе, не говоря уже о явленіяхъ крупныхъ, не просто даетъ вамъ поводъ для литературной бесѣды,—поводы всегда не штука найти,—а зоветъ васъ къ себѣ либо само по себѣ, своею собственною положительною или отрицательною цѣнностью, либо какъ удобный случай для провѣрки вашихъ задушевныхъ мыслей. Вы знаете, чувствуете, что у васъ есть собесѣдники, въ головахъ которыхъ живутъ тѣ же задушевныя мысли, которые стоятъ на одной съ вами почвѣ, поймутъ васъ на полусловѣ, договорятъ для себя недоговоренное вами и въ свою очередь однимъ своимъ присутствіемъ начнутъ рѣчь, которую вамъ останется только договорить и развить. Это постоянно чувствуемое общеніе съ извѣстнымъ кругомъ читателей есть настоящее дыханіе жизни и до такой степени наполняетъ и оживляетъ окружающую васъ лично атмосферу, что о тяжести работы и рѣчи быть не можетъ. Такъ именно довелось мнѣ работать въ то время, къ которому относятся статьи, сводимыя нынѣ, десять-пятнадцать лѣтъ спустя, г-мъ Яковенко на очную ставку. Мнѣ случалось тогда писать, кромѣ отдѣльныхъ статей теоретическаго характера, по два ежемѣсячныхъ обозрѣнія за разъ (напримѣръ, «Записки профана» и «Дневникъ Ивана Непомнящаго» или «Дневникъ Ивана Непомнящаго» и «Въ перемежку»), по самымъ разнообразнымъ вопросамъ,—философскимъ, соціологическимъ, нравственнымъ, чисто практическимъ, литературнымъ. И все это связывалось единствомъ пульса жизни, который у меня бился въ тактъ съ моими читателями. Да, хорошее было время... Теперь г. Яковенко вырываетъ изо всего этого, собственно говоря, одинъ эпизодъ, хотя и очень важный, и набравъ, какъ ему кажется, букетъ противорѣчій, говоритъ: объясни! Многочисленныя выписки г. Яковенко изъ моихъ сочиненій представляются мнѣ чѣмъ-то въ родѣ скошенной травы: когда-то все это было живо, каждая травинка имѣла свои корни въ землѣ и добывала изъ земли нужные ей соки, и росла, и цвѣла. А теперь вотъ трава подкошена, корни подрѣзаны, и г. Яковенко съ достойною всякой похвалы любознательностью разсматриваетъ и сортируетъ. Или другое сравненіе: «О, поле, поле, кто тебя усѣялъ мертвыми костями?!» Все вѣдь это мертвыя кости, разрозненныя, лишенныя плоти и крови, и г. Яковенко роется въ костяхъ, недоумѣвая отъ чего позвонокъ не приходится къ позвонку... Впрочемъ, нѣтъ, это сравненіе не годится. Оно напоминаетъ другое поле, тоже усѣянное мертвыми костями, то, которое привидѣлось Іезекіилю. Но тамъ, вы помните конецъ видѣнія: «Произошелъ шумъ и движеніе, и стали сближаться кости, кость съ костью своей. И видѣлъ я, и вотъ жилы были на нихъ, и плоть выросла, и кожа покрыла ихъ сверху... и вошелъ въ нихъ духъ, и они ожили и стали на ноги свои»...

Все это не имѣетъ, впрочемъ, непосредственнаго отношенія къ г. Яковенко. Не онъ же корни у травы подрѣзалъ, не онъ и поле мертвыми костями усѣялъ. Онъ только роется въ костяхъ и, должно быть кое-что позабывъ, не знаетъ, какъ приладить кость къ кости. Ну, будемъ прилаживать...

Долженъ признаться, что это не легкая работа. Г. Яковенко былъ еще милостивъ ко мнѣ: онъ взялъ только второй и третій томы моихъ сочиненій. А если бы онъ прихватилъ ту часть «Записокъ профана», которая до сихъ поръ еще не перепечатана въ собраніи сочиненій, и позднѣйшія ежемѣсячныя обозрѣнія, печатавшіяся подъ разными заглавіями и тоже не перепечатанныя *), то, при его манерѣ разыскиванія противорѣчій, онъ могъ бы составить еще большій букетъ. Но гдѣ ядъ, тамъ и противоядіе. Составляя этотъ большій букетъ, г. Яковенко увидалъ бы общій характеръ и, такъ сказать, секретъ того, что ему кажется противорѣчіями, а, кромѣ того, нашелъ бы и прямые отвѣты на нѣкоторые изъ своихъ вопросовъ. Я былъ такъ счастливъ, что съ тѣхъ поръ, какъ сталъ сколько-нибудь опредѣленнымъ писателемъ и какъ меня помнятъ мои читатели, ни разу не испытывалъ ломки своихъ коренныхъ убѣжденій. Я называю это именно счастьемъ, а отнюдь не заслугой. Быть даже прямо ренегатомъ не всегда стыдно, хотя всякому ренегату приходится стыдиться. Но одно дѣло, если онъ совершилъ свой ренегатскій шагъ предательски и ради какихъ-нибудь стороннихъ цѣлей,—тогда онъ заслуживаетъ позора,—и другое дѣло, если онъ искренно и честно перешелъ на сторону, какъ ему кажется, правды,—тогда ему приходится краснѣть только за то, что онъ былъ прежде

*) Въ настоящее изданіе все это вошло.

во власти лжи; а самая измѣна этой старой правдѣ, оказавшейся ложью, понятно, нисколько не постыдна. Тѣмъ паче не постыдно сознаться въ своей ошибкѣ, хотя бы и очень крупной, противорѣчіи и т. п., и еще тѣмъ паче, когда дѣло идетъ о статьяхъ, ежемѣсячно и, значитъ, по необходимости наскоро писанныхъ десять, пятнадцать лѣтъ тому назадъ! И, однако, всетаки лучше, спокойнѣе, когда ни въ чемъ подобномъ сознаваться не приходится. Я нахожусь именно въ этомъ положеніи. Г. Яковенко видитъ противорѣчія тамъ, гдѣ ихъ вовсе нѣтъ, затрудняется тѣмъ, что вовсе не трудно, и, наоборотъ, подходитъ съ слишкомъ простой и прямолинейной мѣркой къ вещамъ чрезвычайно сложнымъ. Повторяю, я настолько счастливъ, что мнѣ не отъ чего отказываться изъ своихъ писаній. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, что я сохранялъ себя два десятка лѣтъ въ маринованномъ видѣ. Нѣтъ, что касается чисто теоретическихъ сферъ, то, къ тому, съ чѣмъ я выступилъ на литературное поприще, мнѣ пришлось многое дополнять и многое развивать. А въ практическихъ вопросахъ злобы дня приходилось сообразоваться съ обстоятельствами этого дня и, значитъ, не только не договаривать, но и надѣяться, разочаровываться, увлекаться самому и сдерживать чужія увлеченія, перегибая, по извѣстному выраженію, лукъ въ другую сторону, чувствовать себя наканунѣ радости и познавать горькій смыслъ смѣшного вопроса купчихи Островскаго: «что хуже: ждать и не дождаться, или имѣть и потерять»? Всяко вѣдь бывало и все это не могло, конечно, не отражаться на работѣ. Я не въ безвоздушномъ пространствѣ писалъ, а жилъ. Естественно, поэтому, что, отойдя на десять - пятнадцать лѣтъ, я и самъ у себя найду слишкомъ горячее выраженіе, слишкомъ стремительное нападеніе, или, наоборотъ, слишкомъ унылый характеръ письма. Но этого мало. Напримѣръ, въ началѣ семидесятыхъ годовъ вся пресса, за весьма малыми, совсѣмъ уже отпѣтыми исключеніями, либеральничала; очень мелко, но всетаки либеральничая до назойливости. Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ пронеслась надъ печатью волна, напротивъ того, совсѣмъ уже не либеральной травли «интеллигенціи». Понятное дѣло, что одинаково писать объ одномъ и томъ же предметѣ, при такихъ рѣзко различныхъ условіяхъ — немыслимо. Отсюда можетъ возникнуть нѣчто, на первый взглядъ по крайней мѣрѣ, гораздо болѣе заслуживающее названія противорѣчія, чѣмъ вся коллекція г. Яковенко. Я приведу примѣръ, которымъ онъ не воспользовался. Г. Яковенко цитируетъ мои, сознаюсь, слишкомъ эмфатическія слова: «да будутъ они (права и свобода) прокляты, *если* они не только не дадутъ намъ возможности расчитаться съ долгами, но еще увеличатъ ихъ!» Это было написано въ 1873 году, въ статьѣ по поводу «Бѣсовъ» Достоевскаго, когда этотъ мрачный и жестокій талантъ еще не былъ произведенъ въ «пророки Божіи», когда все кругомъ сіяло либерализмомъ, какъ хорошо вычищенный мѣдный тазъ. Прошли года, хорошо вычищенные мѣдные тазы потускнѣли, позеленѣли, «интеллигенція» подвергалась яростнымъ и тѣмъ болѣе непонятнымъ нападеніямъ, что нападающіе сами принадлежали къ интеллигенціи, и вотъ въ 1882 году въ одной полемической статьѣ мнѣ пришлось выразиться такъ: «Русская интеллигенція и русская буржуазія не одно и то же и до извѣстной степени даже враждебны и должны быть враждебны другъ другу; предоставьте русской интеллигенціи свободу мысли и слова—и, можетъ быть, русская буржуазія не съѣстъ русскаго народа; наложите на уста интеллигенціи печать молчанія—и народъ будетъ навѣрное съѣденъ». Сопоставляя эти двѣ цитаты, можно, конечно, при добромъ желаніи, найти въ нихъ противорѣчіе, а я думаю, что противорѣчія тутъ нѣтъ, и что отсюда слѣдуетъ только тотъ выводъ, что, подводя даже частные итоги дѣятельности журналиста, надо брать его въ связи съ тѣмъ временемъ, къ которому относятся его писанія.

Дѣйствительно ли такъ не ясно г. Яковенко все то, разъясненія чего онъ требуетъ? Казалось бы, тутъ и говорить не объ чемъ: значитъ, не ясно, коли спрашиваетъ, да еще во имя «всей тяжести и всей серьезности переживаемаго нами момента». Не шутки же онъ шутитъ, не прикидывается же онъ непонимающимъ, ради какихъ нибудь стороннихъ цѣлей... Все это такъ, конечно, а между тѣмъ меня всетаки беретъ сомнѣніе по поводу нѣкоторыхъ сомнѣній г. Яковенко.

Напримѣръ, онъ осыпаетъ меня вопросами по поводу нѣкоторыхъ моихъ размышленій о словахъ «вышелъ изъ народа». Я позволю себѣ привести изъ моихъ сочиненій цѣликомъ то относящееся сюда мѣсто, изъ котораго г. Яковенко выдергиваетъ отдѣльныя слова, которыя вдобавокъ располагаетъ нѣсколько по своему. Вотъ это мѣсто:

«Я уже какъ-то говорилъ, что народъ, какъ онъ фигурируетъ въ большинствѣ случаевъ въ литературѣ, лучше всего опредѣленъ Базаровымъ: это таинственный незнакомецъ романовъ г-жи Ратклифъ. Въ немъ

подозрѣваютъ то ту, то другую личность, но постоянно сбиваются въ своихъ рѣшеніяхъ, и онъ такъ и остается до конца таинственнымъ незнакомцемъ. О силѣ этой таинственности всякій можетъ судить по нѣкоторымъ, самымъ обыденнымъ явленіямъ. Напримѣръ, всякому вѣроятно случалось слышать такую фразу: такой - то, скажемъ г. Губонинъ или кто другой, вышелъ изъ народа. Говорящій это обыкновенно нѣсколько умиляется и видитъ въ своихъ словахъ нѣкоторую рекомендацію г. Губонину. Если онъ станетъ анализировать свое умиленіе, то увидитъ, что его, во-первыхъ, радуетъ фактъ удачи г. Губонина, пробившагося откуда-то снизу куда-то на верхъ; во вторыхъ, мысль, что г. Губонинъ будетъ добросовѣстнѣе, любовнѣе, вообще лучше, чѣмъ кто либо другой, относиться къ той средѣ, изъ которой онъ вышелъ. Наконецъ, если г. Губонину пришлось конкуррировать съ какимъ нибудь инородцемъ или иностранцемъ и остаться побѣдителемъ, то въ составъ умиленія войдетъ патріотическій, національный элементъ: представитель русскаго народа побѣдилъ представителя другого народа. Кажется, это довольно вѣрное и полное описаніе чувствъ человѣка, говорящаго: г. Губонинъ вышелъ изъ народа. Едва-ли, однако, говорящій это приготовленъ къ отвѣтамъ на слѣдующіе вопросы: куда вышелъ г. Губонинъ изъ народа? если слово «народъ» есть такое умилительное слово, то слѣдуетъ-ли радоваться тому, что г. Губонинъ вышелъ куда-то изъ народа? вышелъ ли куда нибудь изъ народа г. Губонинъ, если мы видимъ въ немъ представителя русскаго народа, побѣдившаго представителя другого народа? если г. Губонинъ вышелъ куда-то изъ народа, сталъ ему чужимъ, то на чемъ основано мнѣніе, что онъ будетъ лучше относиться къ народу, чѣмъ, напримѣръ, русскій винодѣлъ графъ Воронцовъ или русскій сахарный заводчикъ графъ Бобринскій? Намъ скажутъ, что наши вопросы суть простая игра словъ, что мы беремъ народъ то въ смыслѣ трудящихся классовъ общества, то въ смыслѣ племени, націи. Положимъ, но замѣтимъ, что таинственному незнакомцу всегда приходится выходить на сцену подъ музыку игры словъ. Въ этомъ именно и состоитъ его роль, его миссія. Оставимъ это однако пока, и повторимъ только два первыхъ вопроса: куда вышелъ изъ народа г. Губонинъ? слѣдуетъ ли радоваться тому, что г. Губонинъ куда-то вышелъ изъ народа? Здѣсь уже нѣтъ никакой игры словъ и подъ народомъ разумѣется только совокупность трудящихся классовъ. Замѣтимъ,что слова: г.Губонинъ вышелъ изъ народа—не простая метафора. Г. Губонинъ, положимъ, сохранилъ всѣ національныя особенности—костюмъ, вѣрованія и проч.,—но всетаки онъ уже теперь не тотъ, у него совершенно другая дѣятельность, совершенно другіе интересы. Пока г. Губонинъ не выходилъ изъ народа, прямой интересъ его состоялъ въ томъ, чтобы трудъ оплачивался дорого; теперь, когда онъ вышелъ изъ народа, такой ж интересъ его состоитъ въ томъ, чтобы трудъ оплачивался дешево. Въ виду этого, нѣкоторые изъ умиленныхъ, можетъ быть, призадумаются надъ вопросами: куда вышелъ г. Губонинъ, и хорошо ли, что онъ вышелъ? Можетъ быть даже нѣкоторые прямо скажутъ: не хорошо. Тогда мы спросимъ: хорошо-ли, что Шевченко вышелъ изъ народа? Всякій, я думаю, отвѣтитъ утвердительно, но опять-таки скажетъ намъ, что мы занимаемся игрою словъ; что Шевченко вышелъ изъ народа совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ вышелъ г. Губонинъ; что Шевченко вышелъ, какъ онъ самъ говоритъ въ своей автобіографіи, «изъ темной и безгласной толпы простолюдиновъ», но что никогда интересы его не сталкивались враждебно съ интересами народа, въ смыслѣ трудящихся классовъ; что самъ онъ вѣкъ свой работалъ, руководимый глубокимъ сочувствіемъ къ народу. Со всѣмъ этимъ намъ придется согласиться и только повторить въ свое оправданіе, что таинственный незнакомецъ весь построенъ на игрѣ словъ».

Я сдѣлалъ эту выписку, за обширность которой прошу извиненія у читателей, съ двоякой цѣлью. Во-первыхъ, затѣмъ, чтобы вы убѣдились, что г. Яковенко не всегда точно цитируетъ (какъ можете сами видѣть изъ выписки, я и не думаю, напримѣръ, какъ утверждаетъ г. Яковенко «пояснять», что въ словахъ «темная, безгласная толпа простолюдиновъ» разумѣется «нація, племя»; спеціально по отношенію къ Шевченко, это «поясненіе» не имѣло бы, очевидно, никакого смысла). А во-вторыхъ, вотъ зачѣмъ. Въ нынѣшней же книжкѣ «Сѣвернаго Вѣстника» напечатана въ областномъ отдѣлѣ интересная замѣтка г. Яковонко «Чумазый орудуетъ»». Въ замѣткѣ этой, между прочимъ, разъясняется, что главный герой драмы, разыгравшейся въ Жуковскомъ ссудосберегательномъ товариществѣ, старикъ Смирновъ, «уже выдѣлился изъ той сѣрой однородной массы, удѣлъ которой пахать землю»; и, какъ видно изъ всего изложенія г. Яковенко, это не хорошо, что онъ выдѣлился, не хорошія послѣдствія имѣло для крестьянскихъ интересовъ. Но тутъ же г. Яковенко замѣчаетъ, что та же «народная масса», хотя и рѣдко, но выдѣляетъ и такихъ людей, которые, благодаря грамотности и нѣкоторой энергіи, могутъ «противостоять этимъ экс-

плуататорамъ». Изъ изложенія г. Яковенко не видно, но весьма возможно, что и тотъ сельскій учитель, котораго Смирновъ старался оклеветать и ссадить, тоже «выдѣлился изъ сѣрой однородной массы, удѣлъ которой пахать землю», но выдѣлился не для того, чтобы грабить своего брата, и это, по мнѣнію самого г. Яковенко, да и по простому здравому смыслу, хорошо. Спрашивается, чего же г. Яковенко не понимаетъ въ вышеприведенныхъ моихъ варіаціяхъ на тему «вышелъ изъ народа» и за что онъ, извините за выраженіе, жуетъ меня вопросами, отвѣтить на которые ему самому, очевидно, очень легко? Этого я не знаю. Знаю только, что мнѣ нѣтъ никакой нужды отвѣчать на жеваніе жеваніемъ и слѣдить за вопросами и вопросиками г. Яковенко шагъ за шагомъ. Я могу по своему распредѣлить даваемый его письмомъ матеріалъ и, хотя заранѣе предупреждаю, что не всѣ вопросы г. Яковенко подлежатъ, по разнымъ стороннимъ соображеніямъ, прямому отвѣту, но думаю всетаки, что если не самъ г. Яковенко, то другіе читатели будутъ въ концѣ концовъ, въ предѣлахъ возможности, удовлетворены.

«Общество должно расплатиться съ народомъ, возвратить свой долгъ народу»,—вотъ какъ формулируетъ г. Яковенко ту основную мысль, вокругъ которой располагаются его сомнѣнія и колебанія. Внѣ всякихъ сомнѣній стоитъ однако тотъ фактъ, что слово «народъ» во всѣхъ падежахъ и всѣ слова производныя отъ него подвергаются самымъ разнообразнымъ толкованіямъ, а еще чаще дѣло обходится безъ всякихъ толкованій, а просто всякій, кому какое, по дѣламъ его или бездѣлью, разумѣніе нужно, тотъ такое и подсовываетъ. Скорбя о происходящей отсюда смутѣ, г. Яковенко совершенно правъ. А въ замѣткѣ «Чумазый орудуетъ» онъ приводитъ и очень наглядный примѣръ практическихъ послѣдствій этой смуты: «Гражданинъ», по весьма вѣроятному предположенію г. Яковенко, далъ у себя мѣсто пасквильному изображенію дѣла, въ качествѣ «голоса изъ народа». Понятно, какія варіаціи можетъ разыгрывать жизнь на эту тему; «голосъ изъ народа» всегда сфабриковать не трудно, и очень не рѣдки такія обстоятельства, что этотъ флагъ, подъ которымъ скрывается какой нибудь кабатчикъ или міроѣдъ, производитъ нужный въ данную минуту эффектъ. Мало-ли у насъ въ самомъ дѣлѣ было случаевъ, что на этомъ маскарадѣ строились цѣлыя вавилонскія башни, ярусъ за ярусомъ, выводъ за выводомъ. Обдѣлывались этимъ маскараднымъ путемъ и разныя практическія дѣла и дѣлишки, небезвыгодныя прямо въ карманномъ смыслѣ слова.

Дѣло, однако, не только въ подобныхъ сознательныхъ подтасовкахъ, прямо сказать, сознательной лжи, противъ которой вѣдь и средствъ никакихъ нѣтъ, кромѣ фактическаго разоблаченія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Но есть не прямо житейскія, а литературныя хожденія вокругъ да около слова «народъ», къ которымъ нельзя относиться, какъ къ простому виляніи и путанію ради корыстныхъ цѣлей. Это именно хожденія вокругъ да около, иногда весьма старательныя, свидѣтельствующія по крайней мѣрѣ о трудолюбіи ходящихъ.

Передо мной лежитъ газетный листъ, а въ немъ объявленіе объ изданіи въ будущемъ 1887 году газеты «Недѣля». Извините за отступленіе, которое я по этому случаю сдѣлаю, но я и на будущее время выговариваю себѣ право на всякаго рода отступленія и полагаю, что ущерба для читателя отъ этого не воспослѣдуетъ.

«Новь», а за ней и разныя другія изданія третьяго, четвертаго сорта пріучили, къ несчастію, публику къ самымъ возмутительнымъ рекламамъ. Поэтому можетъ быть и реклама-объявленіе «Недѣли» не оскорбитъ чувства порядочности даже въ порядочныхъ людяхъ или, по крайней мѣрѣ, пройдетъ незамѣченною. Я желаю рекламировать «Недѣлю», то есть перепечатать ея рекламу.

«Недѣля», видите-ли, «благодаря своимъ особенностямъ, можетъ интересовать своихъ читателей въ различныхъ отношеніяхъ». А именно:

«Для многихъ «Недѣля» представляетъ то удобство, что она выходитъ еженедѣльно и, сообщая въ связномъ и обработанномъ видѣ всѣ политическія, общественныя и литературно-научныя новости, избавляетъ читателей отъ необходимости слѣдить за ежедневными газетами. Другіе интересуются «Книжками Недѣли», представляющими какъ-бы особый самостоятельный беллетристическій журналъ, въ которомъ появлялись произведенія» такихъ-то и такихъ-то хорошихъ писателей (мимоходомъ сказать, нѣкоторые изъ перечисленныхъ тутъ писателей давно уже въ «Недѣлѣ» не появляются). «Третій разрядъ читателей цѣнитъ въ «Недѣлѣ» то, что она несравненно больше, чѣмъ всѣ остальныя столичныя изданія, занимается провинціальной жизнью» и т. д. «Многіе дорожатъ въ «Недѣлѣ» оригинальностью и самостоятельностью ея взглядовъ, и тѣмъ, что она каждый годъ выдвигаетъ нѣсколько такихъ вопросовъ, которыхъ нигдѣ кромѣ «Недѣли», читатель не найдетъ. (Въ текущемъ году, напримѣръ: о значеніи графа Л. Н. Толстого, какъ художника и моралиста; объ увлеченіи общества и печати иностраннымъ вздоромъ; объ устройствѣ

нашихъ спеціалистовъ-техниковъ, объ эксплуатаціи провинціи столичными аферистами и т. д.). Очень многіе читатели дорого цѣнятъ дѣловитость и талантливость статей «Недѣли» — качества, которыми «Недѣля» обязана отчасти самой своей формѣ, а главнымъ образомъ — выбору талантливыхъ, научно и литературно образованныхъ сотрудниковъ. Наконецъ, многіе всего болѣе дорожатъ нравственнымъ значеніемъ для нихъ «Недѣли»,—ея руководящимъ вліяніемъ, освѣжающимъ дѣйствіемъ и постоянною бодростью духа».

Словомъ, «Ланса всѣмъ плѣняетъ взоръ» (такой стихъ, кажется, существуетъ, а можетъ быть я и самъ его сейчасъ сочинилъ, вдохновенный красотой «Недѣли»), и да будетъ «Недѣлѣ» стыдно. Но это мимоходомъ, а дѣло вотъ въ чемъ. Одинъ изъ пунктовъ рекламы заявляетъ объ «оригинальности и самостоятельности взглядовъ» и о томъ, что «Недѣля» «каждый годъ выдвигаетъ нѣсколько такихъ вопросовъ, которыхъ нигдѣ (!), кромѣ нея читатель не найдетъ». Все это вздоръ, конечно, но хоть и не каждый годъ, а время отъ времени «Недѣля», дѣйствительно, старается выдумать свой маленькій порохъ. Въ томъ числѣ она неоднократно принималась и за теоретическія разсужденія о «народѣ». Когда то этимъ занимался въ «Недѣлѣ» нѣкто г. П. Ч. и занимался не безъ шуму. Онъ разсуждалъ такъ: всякое міросозерцаніе слагается изъ двухъ моментовъ: нравственнаго и умственнаго; мы должны дать народу свое умственное развитіе, а у него позаимствоваться нравственнымъ моментомъ. Такимъ образомъ народъ, приведенный г-мъ П. Ч. на страницы «Недѣли», былъ народъ въ умственномъ отношеніи темный, подлежащій нашему, образованныхъ людей, воздѣйствію, но за то блисталъ нравственными достоинствами. Потомъ г. П. Ч. удалился изъ «Недѣли» и увелъ съ собой и свой народъ. По прошествіи нѣкотораго, довольно долгаго времени, народъ вновь появился въ «Недѣлѣ», на этотъ разъ предводимый г. Юзовымъ. Этотъ новый народъ, въ противоположность народу г. П. Ч., никакому воздѣйствію образованныхъ людей въ умственномъ отношеніи не подлежалъ, и г. Юзовъ горячо, хотя и безтолково опровергалъ ту мысль (которую опровергаетъ теперь и г. Яковенко), что заботы объ интересахъ народа отнюдь не обязываютъ насъ раздѣлять его мнѣнія. Такимъ образомъ вы видите, что народы «Недѣли» нѣсколько напоминаютъ собою «народы Австріи», которые смотрятъ врознь и весьма пригодны для взаимнаго истребленія. Допуская, что газета, унизившаяся до вышеприведенной рекламы, не то, чтобы ужъ совсѣмъ безкорыстно «выдвигаетъ вопросы, которыхъ нигдѣ, кромѣ нея, читатель не найдетъ», допуская, что это имѣетъ характеръ зазыванія мимоходящей публики въ лавочку, надо же признать, что подобныхъ мотивовъ не можетъ быть у г. П. Ч. или г. Юзова. Они, надо думать, искренно ищутъ истины, они не заинтересованы карманнымъ образомъ въ томъ или другомъ рѣшеніи вопроса и даже въ самомъ поднятіи его, а между тѣмъ, по крайней мѣрѣ одинъ изъ нихъ (а я думаю оба) въ результатѣ своего изслѣдованія, очевидно, далекъ отъ истины.

Исторія слова «народъ» въ нашей литературѣ полна подобныхъ недоразумѣній и отнюдь нельзя сваливать всю эту бѣду на злую волю людей, занимающихся вопросами, вновь поднятыми г-мъ Яковенко. Какъ всякіе теоретическіе вопросы, они легко поддаются смѣшенію и неправильному сопоставленію абстрактнаго съ конкретнымъ, раціональнаго съ эмпирическимъ. Какъ всякіе общественные вопросы, они чрезвычайно сложны и притомъ задаютъ работу не только мысли, а и чувству. Добро и зло, свѣтъ и тѣни, положительное и отрицательное, такъ сложно переплетаются въ общественной жизни, а мысль такъ жадно ищетъ руководящаго начала, которое положило-бы рѣзкую демаркаціонную линію между добромъ и зломъ. Отсюда для всякаго, приступающаго къ этимъ тревожнымъ вопросамъ, возникаетъ драматическое положеніе, томительное и тягостное само по себѣ, да еще вдобавокъ чреватое всякаго рода недоразумѣніями, ошибками, заблужденіями, неосновательными надеждами и столь же неосновательными опасеніями. Изо всѣхъ этихъ дурныхъ послѣдствій драматическаго положенія изслѣдователя общественныхъ вопросовъ, для насъ здѣсь особенно любопытна именно боязнь драматическихъ положеній. Возьмемъ простой и безобидный примѣръ. Что вы скажете о критикѣ, который сталъ-бы уличать въ противорѣчивости извѣстное выраженіе: «ненавидящая любовь»? Противорѣчіе явное: какъ же такъ?—любовь и ненависть вмѣстѣ, вѣдь это огонь и вода, и либо вода должна залить огонь, либо огонь выпарить воду. А между тѣмъ въ противорѣчіи этомъ виноватъ отнюдь не тотъ, кто употребилъ критикуемое выраженіе; онъ только охватилъ удачной формулой противорѣчіе, созданное самой жизнью, и критику надо обратиться со своими недоумѣніями туда, къ жизни. Если онъ этого не сдѣлалъ, такъ весьма можетъ быть именно потому, что онъ боится драматическихъ положеній или вообще инстинктивно питаетъ къ нимъ отрицательное чувство *Только* любить, *только* ненавидѣть, — это просто, понятно, удобно,

легко, но любить, ненавидя, или ненавидѣть, любя, — это такъ тягостно, что подчасъ и совсѣмъ непереносно. Что же, однако, дѣлать, если такъ ужъ природа человѣческая устроена или если такъ обстоятельства сложились? Ищите выхода, старайтесь избавиться отъ душевной муки, обусловленной даннымъ драматическимъ положеніемъ, но не отрицайте самаго этого положенія и не пеняйте на зеркало, если лицо криво.

Конечно, «ненавидящая любовь» подобной критики вызвать не можетъ. Непосредственная приставка прилагательнаго «ненавидящій» къ существительному «любовь» поневолѣ пріостановить критика и направитъ его мысль прямо къ реальному, житейскому противорѣчію. Но еслибы это существительное и это прилагательное были разъединены болѣе или менѣе длинными и сложными разсужденіями въ статьѣ, пропагандирующей ненавидящую любовь или излагающей зарожденіе, характеръ, перипетіи этого противорѣчиваго чувства, то можетъ быть тотъ же г. Яковенко нашелъ бы возможнымъ разыскивать противорѣчія не въ самыхъ явленіяхъ жизни, а въ статьѣ, написанной на тему объ этихъ явленіяхъ. Онъ сказалъ бы можетъ быть: какъ же такъ? на стр. такой-то авторъ доказываетъ, что надо любить, а на стр. такой-то требуетъ отъ меня ненависти! Это невозможно, это мучительно, этому надо положить конецъ, сказать прямо, долженъ ли я любить или ненавидѣть! Это въ самомъ дѣлѣ мучительно, этому въ самомъ дѣлѣ надо положить конецъ, но, увы! Эмпирическая дѣйствительность, порожденная совокупнымъ дѣйствіемъ разумныхъ, но разно направленныхъ усилій и неразумныхъ стихійныхъ силъ, далеко не всегда даетъ возможность отвѣчать на этого рода вопросы столь просто. Драматическое положеніе, разъ оно есть, надо принять за данное, не закрывая на него глазъ, не сваливая вину на отражающее его зеркало, а затѣмъ анализъ сложной и противорѣчивой эмпиріи и соотвѣтственная абстракція поднимутъ въ теоретическія сферы, гдѣ и надо искать примиренія противорѣчій, а затѣмъ и руководящей нити для практики. Хорошо тому жить, кому бабушка ворожитъ. Хорошо бы было намъ жить, еслибы бабушка природа и ея дочь, а намъ мать — исторія не оставили намъ наслѣдства, кишащаго противорѣчіями. Тогда бы и «ненавидящая любовь» никого не мучила, и Прудону не пришла бы въ голову мысль писать «систему экономическихъ противорѣчій», и кантовскихъ «антиномій» не было бы. Ну, да вѣдь, что же подѣлаешь! Если Иванъ любитъ Ѳедору, которая велика, но любитъ ненавидящею любовью, потому что она дура, то безспорно его положеніе тягостно, онъ герой мучительной драмы; но выскочить изъ этой драмы однимъ ловкимъ скачкомъ онъ не можетъ, закрывать глаза на свое положеніе не долженъ, а надо ему разобрать, въ чемъ величіе и въ чемъ дурость Ѳедоры, а затѣмъ направить всѣ свои усилія къ тому, чтобы уничтожить дурость и усилить величіе. Тутъ, но только тутъ, и драмѣ конецъ.

Всѣмъ этимъ я, конечно, не хочу сказать, что всегда сама жизнь виновата въ противорѣчіяхъ, встрѣчающихся у писателей. Я слишкомъ хорошо знаю, что бываютъ такіе писатели, у которыхъ въ головѣ мысли въ чехарду играютъ, и которые вслѣдствіе этого противорѣчатъ сами себѣ на каждомъ шагу. Допускаю, что и у меня найдутся противорѣчія, и во всякомъ случаѣ я, пока,—только подсудимый, хотя и твердо увѣренный въ оправдательномъ вердиктѣ, но еще его не получившій. Однако, меня удивляетъ всетаки, что г. Яковенко не поставилъ одного общаго вопросительнаго знака ко всѣмъ своимъ вопросительнымъ знакамъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ могъ впасть въ такую массу противорѣчій писатель, къ которому г. Яковенко относится, повидимому, съ уваженіемъ (за что я ему, конечно, очень благодаренъ)? Это тѣмъ любопытнѣе, что противорѣчія эти никому не кололи глазъ въ свое время, лѣтъ десять-двѣнадцать тому назадъ, когда цитируемыя г-мъ Яковенко мысли еще не были подкошенной травой, когда потребность руководящей нити въ этомъ направленіи была жизненнѣе, живѣе, и когда, значитъ, противорѣчія должны были бы выступать выпуклѣе. Для меня это объясняется очень просто. Въ тѣ времена драматическое положеніе должника народу, которое нынѣ такъ смущаетъ г. Яковенко и вѣроятно не его одного, переживалось многими. Они въ самихъ себѣ, въ своемъ положеніи, въ своей жизни носили и всегда ощущали тѣ противорѣчія, которыя г. Яковенко великодушно предоставляетъ мнѣ одному. Почетное было бы это бремя, но непосильное для одного человѣка, хоть будь онъ семи пядей во лбу. Человѣкъ, самъ испытывающій муку «ненавидящей любви», не станетъ уличать въ противорѣчіи того, кто написалъ на бумагѣ эти два слова рядомъ: онъ слишкомъ ясно понимаетъ, что это противорѣчіе самой жизни, онъ вѣдь самъ дѣйствующее лицо драмы, на этомъ реальномъ, а не бумажномъ противорѣчіи построенной. Такъ и съ драматическимъ положеніемъ должника народу.

На тему этого главнаго, центральнаго пункта письма г. Яковенко, я сегодня вѣроятно бесѣдовать не буду. Это тема слишкомъ обширная, а мѣста и времени у меня

остается теперь не много. Но мы и теперь успѣемъ кое объ чемъ поговорить.

Г. Яковенко ставитъ въ своемъ письмѣ только вопросительные знаки, однако въ одномъ мѣстѣ внимательный читатель найдетъ и точку, знакъ не вопроса, а утвержденія. А именно въ концѣ письма, говоря о «мнѣніяхъ» и «интересахъ народа», онъ, послѣ нѣкоторыхъ предварительныхъ якобы колебаній, заявляетъ весьма рѣшительно: «если вы хотите въ дѣйствительности служить кому-либо или расплатиться съ кѣмъ-либо, то вамъ надо дѣйствовать согласно съ интересами этихъ людей, признанными и выраженными ими же самими, то есть согласно также съ мнѣніями ихъ, а не подставлять вмѣсто этихъ послѣднихъ свое собственное пониманіе». Положеніе это г. Яковенко подтверждаетъ съ одной стороны нѣкоторыми теоретическими соображеніями о совпаденіи и даже тождествѣ интересовъ и мнѣній, а съ другой нѣсколькими примѣрами, причемъ онъ прибавляетъ: «сколько бы примѣровъ мы ни перебрали, всюду будемъ имѣть одно и то же». Я сейчасъ воспользуюсь разрѣшеніемъ г. Яковенки перебрать любое количество примѣровъ, потому что его собственные примѣры не то что неудачны, а смутны и неподходящи. Но сначала, какъ это ни странно, небезполезно будетъ, кажется, доказать ту азбучную истину, что мнѣнія какого-нибудь лица или группы лицъ и интересы этого лица или группы—далеко не одно и то же. Доказывать это до такой степени странно, что не знаешь даже съ какой стороны приступить къ доказательству. Попробуемъ такъ.

Мнѣнія вообще могутъ быть раздѣлены на истинныя и ложныя, соотвѣтствующія и не соотвѣтствующія природѣ вещей, насколько она доступна пониманію человѣка. Интересы такой классификаціи не подлежатъ. Они могутъ быть вѣрно и не вѣрно поняты самими заинтересованными, то есть объ нихъ могутъ быть разныя мнѣнія, но сами по себѣ интересы могутъ быть классифицированы только по степени ихъ важности, по ихъ характеру,—матеріальному или духовному, по ихъ, такъ сказать, объему, — интересы личные, сословные, государственные и т. п. Далѣе, эта разностепенность и разнохарактерность интересовъ допускаетъ самопроизвольное отреченіе отъ одного изъ нихъ въ пользу другого. Можно пожертвовать низшимъ интересомъ ради высшаго или наоборотъ, своимъ ради чужого, чужимъ ради своего, отказаться отъ матеріальнаго блага для духовнаго или наоборотъ, пожертвовать земными благами ради царствія небеснаго или наоборотъ и т. п. Но психологически, я почти готовъ сказать: физически, невозможно отказаться отъ своего мнѣнія въ угоду другимъ мнѣніямъ. Не то, что это дурно, нѣтъ, это не возможно. Можно, конечно, солгать подъ такимъ или инымъ постороннимъ давленіемъ, можно формально отречься отъ своего мнѣнія, какъ отрекся Галилей передъ инквизиціоннымъ трибуналомъ, но въ душѣ онъ ничемъ не пожертвовалъ, ни отъ чего не отступился. Можно всю жизнь притворяться и лгать не только словами, а и дѣломъ, какъ лгалъ явный католическій священникъ и вмѣстѣ съ тѣмъ тайный атеистъ и революціонеръ Мелье; онъ всю свою жизнь молчалъ о своихъ мнѣніяхъ, и только послѣ его смерти, изъ оставленной имъ рукописи узнали, чтó онъ думалъ, и однако это были *его* думы и всегда онѣ были при немъ. Есть психологическій предѣлъ, его же не прейдетъ никакое лицемѣріе и никакая низость съ одной стороны и никакая доблесть и готовность къ самопожертвованію — съ другой. Можно самопроизвольно и, значитъ, подъ условіемъ вмѣненія въ позоръ или доблесть, въ грѣхъ или заслугу, отказаться отъ тѣхъ или другихъ своихъ интересовъ ради иныхъ, чужихъ интересовъ, но отказаться отъ своихъ мнѣній *ради чужихъ мнѣній*—невозможно. Я почеркиваю слова «ради чужихъ мнѣній», во избѣжаніе недоразумѣній. Чьи бы то ни были мнѣнія, конечно, измѣняются или могутъ измѣняться и, значитъ, уступать свое мѣсто другимъ мнѣніямъ, полученнымъ можетъ быть и не самостоятельно, а отъ другихъ людей. Но такое усвоеніе, будучи дѣломъ непроизвольнымъ, не заслужитъ ни похвалы, ни порицанія, да и произойдетъ оно отнюдь не ради чужихъ мнѣній и вообще не *для чего нибудь*, а *потому что* человѣкъ позналь истину или, по крайней мѣрѣ, ему такъ кажется. Вы, положимъ, меня очень любите, просто страстно любите, ни за что, ни про что, какъ это часто бываетъ, или питаете ко мнѣ безпредѣльную благодарность за оказанную вамъ мною когда-то важную услугу и т. п. Вы готовы отказаться ради моего счастія отъ всѣхъ своихъ самыхъ кровныхъ и дорогихъ интересовъ, даже жизнью пожертвовать, готовы на позоръ, на преступленіе. все, что хотите. Но однимъ вы никогда не поступитесь и не пожертвуете и не можете пожертвовать ради меня: мнѣніемъ. Пусть это мнѣніе касается элементарнѣйшей математической истины, въ родѣ дважды два четыре, или напротивъ того сложнѣйшихъ явленій высшаго порядка, это безразлично. Даже совершая ради моихъ интересовъ дѣйствіе, которое вы считаете позорнымъ или преступнымъ, вы всетаки не можете отказаться отъ своего мнѣнія, что оно преступно или позорно. Любя меня, вы можетъ

быть станете съ особенною внимательностью прислушиваться къ моимъ доказательствамъ, можетъ быть мнѣ удастся, наконецъ, убѣдить васъ, но всетаки вы примите истину, потому что она истина, а не потому, что я нахожу ее истиной. Мало того. Именно любя меня и принимая близко къ сердцу мои интересы, вы употребите вѣроятно всѣ условія, чтобы обратить меня въ свою вѣру, внушить мнѣ *свои* мнѣнія.

Все это элементы положеній, въ высшей степени драматическихъ, безъ которыхъ жилось бы, конечно, гораздо легче и проще, но которыя тѣмъ не менѣе существуютъ и уже разумѣется не отъ того перестанутъ существовать, что мы, подобно страусу, будемъ прятать голову въ кусты фантастическаго единенія или даже тождества интересовъ и мнѣній. Бываютъ случаи совпаденія, и тогда тѣмъ лучше, но мы не о частныхъ случаяхъ теперь говоримъ, а объ общемъ правилѣ, а общее правило таково: никогда никто ни при какихъ обстоятельствахъ не отказывался, не откажется и не можетъ самопроизвольно отказаться отъ своихъ мнѣній pour les beaux yeux любимаго лица или группы лицъ. Поэтому, если г. Яковенко признаетъ (онъ, кажется, не признаетъ, но это все равно, я говорю примѣрно и условно) для себя обязательнымъ «служеніе народу», его интересамъ, то изъ этого вовсе не вытекаетъ обязательности для него раздѣлять и мнѣнія народа, даже касающіяся его, народа, собственныхъ интересовъ. Объ обязательности здѣсь собственно и рѣчи быть не можетъ, потому что изъ такого обязательства можетъ выдти только фальшь и притворство, а собственное мнѣніе г. Яковенко всетаки такъ и остается его мнѣніемъ.

Возьмемъ примѣръ. По деревнѣ ходитъ эпидемическая нервная болѣзнь. «Интересъ народа» состоитъ, конечно, въ прекращеніи болѣзни, и вы будете, по мѣрѣ своихъ силъ и знанія, дѣйствовать въ этомъ направленіи. Но руководствоваться при этомъ «мнѣніемъ народа» вы никоимъ образомъ не станете, потому что мнѣніе это состоитъ въ томъ, что надо разыскать колдуна или колдунью, напустившую «порчу», и либо сжечь ее, либо пригвоздить къ землѣ осиновымъ коломъ въ спину.

Я беру этотъ примѣръ не затѣмъ, разумѣется, чтобы выставить на видъ народное невѣжество и дикость и покрасоваться своимъ просвѣщеніемъ и деликатными чувствами. Я только рекомендую вашему вниманію драматическое положеніе человѣка, искренно преданнаго интересамъ народа и находящагося въ деревнѣ, одолѣваемой «порчей». Мнѣніемъ своимъ о непригодности пригвожденія осиновымъ коломъ колдуна онъ поступиться не можетъ во всякомъ случаѣ. И это совсѣмъ не исключительный случай. Исторія записала многочисленные примѣры гибели людей, искренно преданныхъ духовнымъ или матеріальнымъ интересамъ своихъ соотечественниковъ, но соотечественники не раздѣляли ихъ мнѣній и жгли, и топили и распинали свѣтоносцевъ. Нужны-ли г. Яковенко примѣры? не припомнитъ-ли ихъ онъ самъ?

Ни отъ кого нельзя требовать подвиговъ самоотверженія, это удѣлъ рѣдкаго практическаго величія. Кое-какія историческія фигуры, не отвертѣвшіяся отъ сумы и тюрьмы, погибшія на крестѣ и кострѣ, припомнились мнѣ не потому, что эти примѣры обязательны для кого нибудь во всей своей нравственной красотѣ и силѣ. Я хотѣлъ только показать, что интересы и мнѣнія самихъ заинтересованныхъ, къ сожалѣнію, отнюдь не необходимо совпадаютъ, хоть и хорошо-бы было устами г. Яковенко медъ пить. Хотѣлъ я кромѣ того показать, что интересами своими пожертвовать можно,— это зависитъ отъ нравственной высоты человѣка, а мнѣніями своими пожертвовать нельзя,— въ этомъ отношеніи всѣ люди, великіе и малые, подлые и благородные, совершенно одинаковы. Въ вышеприведенномъ случаѣ деревни, одолѣваемой «порчей», люди, одинаково преданные интересамъ народа, но различной нравственной высоты или даже только различнаго темперамента, поступятъ пожалуй разно. Сначала всѣ они вѣроятно постараются убѣжденіемъ бороться съ «мнѣніемъ народа», но затѣмъ при безуспѣшности этой борьбы, одинъ самъ бросится спасать несчастнаго колдуна, и можетъ быть ему тѣмъ же осиновымъ коломъ въ свалкѣ голову проломятъ; другой побѣжитъ за урядникомъ, третій струситъ и спрячется, четвертый еще болѣе струситъ и на словахъ согласится, что мнѣніе народа совпадаетъ съ его интересами, и что дѣйствительно очень полезно пригвоздить колдуна осиновымъ коломъ. Но мнѣніе всѣхъ четырехъ, со включеніемъ четвертаго, отрекшагося, останется неприкосновеннымъ.

Не знаю хорошенько, подлинными ли моими словами или собственными своими, выражается г. Яковенко, говоря: «вы полагаете, что нужно дѣйствовать въ интересахъ народа, а согласно ли это будетъ съ его мнѣніями или нѣтъ, это ужъ второстепенный вопросъ». Не то чтобы второстепенный, но во всякомъ случаѣ, второй, да, я такъ полагаю. Изъ этого не слѣдуетъ однако, что я предлагаю плевать на мнѣнія народа или презирать ихъ Отнюдь нѣтъ и даже напротивъ того. Какъ бы ни были многочисленны случаи розни между интересами и мнѣніями,

они не исключаютъ, вѣроятно, еще болѣе многочисленныхъ случаевъ совпаденія. Это разъ. Во вторыхъ, мнѣнія заинтересованныхъ должны быть приняты, если не къ исполненію, такъ къ свѣдѣнію, уже въ силу поговорокъ «умъ хорошо, а два лучше» и «вѣкъ живи, вѣкъ учись», и притомъ у всякаго учись, кто научить чему бы то ни было можетъ. Въ третьихъ, наконецъ, какъ бы ни былъ далекъ вашъ идеалъ, ваше мнѣніе отъ мнѣній народа, для практическаго осуществленія этого идеала необходимо считаться съ мнѣніями заинтересованныхъ. По крайней мѣрѣ необходимо пользоваться каждымъ случаемъ, когда это возможно. И меня очень удивляетъ, что г. Яковенко, такъ внимательно, повидимому, читавшій «Записки профана» и такъ пестрящій свое письмо цитатами изъ нихъ, не счелъ нужнымъ указать тѣ страницы, гдѣ на этотъ счетъ говорится съ полною ясностью Рѣчь тамъ идетъ о педагогической распрѣ, вызванной статьей гр. Льва Толстого, и о томъ, что господа педагоги терпятъ фіаско въ дѣлѣ народнаго образованія, благодаря своему презрѣнію къ симпатіямъ самого народа. Перелистывая наскоро «Записки профана», я нахожу, между прочимъ, слѣдующую фразу: «если вы (педагоги), не примете во вниманіе требованій народа, онъ съ оника уйдетъ отъ васъ, значитъ, выто по крайней мѣрѣ ему ничего не дадите; если же вы покоритесь волѣ народа и дадите ему то немногое, чего онъ проситъ, его требованія расширятся». Мысль эта получаетъ въ «Запискахъ профана» я дальнѣйшее развитіе, но мнѣ нѣкогда разыскивать соотвѣтственныя страницы.

Это ни малѣйше не колеблетъ вышесказаннаго и не противорѣчитъ ему. Исходная точка,—скажемъ, необходимость образованія для народа,—устанавливается прежде всякаго спроса о мнѣніяхъ на этотъ счетъ самого народа. Это просто требованіе, логически вытекающее изъ вашего личнаго идеала, построеннаго на вашемъ мнѣніи объ интересахъ народа. Вы попадете въ безвыходное драматическое положеніе, если народъ рѣшительно отвергнетъ ваше мнѣніе о пользѣ образованія, и именно потому попадете, что мнѣнія своего, въ угоду народу, какъ-бы вы ни были ему преданы, перемѣнить не можете. Къ счастію, дѣло въ этомъ случаѣ стоитъ не такъ страшно: народъ не чурается образованія, но оказывается, что отъ него, какъ отъ стѣны горохъ, отскакиваютъ тѣ или другіе педагогическіе пріемы или программы. Ну, значитъ надо примѣниться къ требованіямъ народа, иначе все зданіе будетъ построено не на камени, а на песцѣ. Тутъ уже выдвигается вопросъ о практическихъ пріемахъ осуществленія идеала, а не объ его теоретической выработкѣ. Дѣло практическаго такта — рѣшить вопросъ о томъ, какія именно уступки возможны и нужны и какія невозможны и ненужны. Бываютъ, однако, болѣе сложныя положенія, когда этотъ вопросъ о мостикѣ между идеаломъ и дѣйствительностью подлежитъ разрѣшенію не только практическаго такта, податливаго, изворотливаго, находчиваго, а и совершенно непоколебимой, неуступчивой теоретической мысли. Такъ несомнѣнно, что неписаное, обычное народное право, представляющее результатъ вѣками накопленнаго опыта, поскольку онъ выражается въ юридическомъ сознаніи народа, должно дать драгоцѣнные матеріалы для положительнаго законодательства. Но въ матеріалѣ этомъ всетаки придется законодателю разбираться, одно принимать, другое отвергать, хотя-бы законодатель не имѣлъ въ виду ничего, кромѣ интересовъ народа, ибо сложна и многотрудна была историческая жизнь народа и очень разные слои осѣдали въ его обычномъ правѣ. Встрѣчая, напримѣръ, тѣ параграфы неписанаго народнаго права, которые предоставляютъ «сыну на матери капусту возить и молоду жену въ пристяжку водить»,—законодатель, конечно, отвергнетъ эти параграфы, и будетъ совершенно правъ: они вовсе не соотвѣтствуютъ интересамъ народа, хотя и выражаютъ его мнѣніе.

IX.

О рыбѣ и мясѣ и о нѣкоторыхъ недоразумѣніяхъ *).

Хотѣлось-бы немедленно продолжать свой отвѣтъ г. Яковенко, но не могу отказаться отъ подсовываемой самою жизнью иллюстраціи къ вопросу объ интересахъ и мнѣніяхъ народа. Не то чтобы исторія, которую я хочу записать, какъ нибудь разрѣшала этотъ вопросъ или даже только помогала его разрѣшенію, но она можетъ лишній разъ свидѣтельствовать о томъ, какъ удобно играть съ «мнѣніями» народа, и какіе фантастическіе узоры могутъ вышивать на этой канвѣ охочіе люди. Исторія, впрочемъ, любопытна и въ разныхъ другихъ отношеніяхъ и можетъ намъ пригодиться въ дальнѣйшемъ разговорѣ.

Исторія состоитъ вотъ въ чемъ.

Съ 1-го октября вступилъ въ дѣйствіе новый фабричный законъ. Между прочимъ, § 28 «Правилъ о надзорѣ за заведеніями фабричной промышленности» гласитъ: «Въ помѣщеніяхъ фабрикъ и заводовъ, съ согласія

*) 1887 г., январь.

завѣдывающихъ оными, могутъ быть открываемы лавки потребительныхъ товариществъ для снабженія фабричныхъ служащихъ и рабочихъ недорогими и доброкачественными предметами потребленія. Открытіе при фабрикахъ другихъ лавокъ съ тою же цѣлью допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія фабричной инспекціи. Росписаніе предметовъ, продаваемыхъ изъ лавокъ, утверждается фабричною инспекціею. Разцѣнка или такса сихъ предметовъ вывѣшивается въ лавкѣ». Права, предоставляемыя этимъ параграфомъ фабричной инспекціи, какъ только они получили практическое осуществленіе, и вызвали всю исторію, которая была бы очень комична, еслибы не была такъ возмутительна.

Въ № газеты «Русское Дѣло» отъ 1 ноября, явилась передовая статья, и паѳосомъ, и юморомъ, и мытьемъ, и катаньемъ обрушивающаяся на фабричнаго инспектора московскаго округа, профессора Янжула. Суть обличенія состоитъ въ томъ, что г. Янжулъ неделикатно обошелся съ представленнымъ на его утвержденіе «одною изъ крупныхъ подмосковныхъ фабрикъ» росписаніемъ товаровъ, продаваемыхъ въ фабричной лавкѣ: одно произвольно вычеркнулъ, другое столь же произвольно оставилъ. При этомъ была приложена и самая такса, процензурованная г. Янжуломъ. «Современныя Извѣстія» (№ 304), воспользовавшись этимъ матеріаломъ, тоже обрушились на произволъ инспектора, но ограничились только констатированіемъ произвола: «потѣшается», дескать, господинъ инспекторъ, власть свою показываетъ, безъ какихъ бы то ни было иныхъ цѣлей и плановъ. «Русское Дѣло» на этомъ не остановилось. Редакторъ-издатель этой мало почтенной газеты, г. Шараповъ, живущій фантастическою мечтою замѣстить собою Аксакова, постарался глубже проникнуть въ душу фабричнаго инспектора и усмотрѣлъ въ этой мрачной и преступной душѣ слѣдующее:

«За небольшими исключеніями,—говоритъ «Русское Дѣло»,—въ цензурѣ г. Янжула сквозитъ какая-то совсѣмъ уже не либеральная тенденція: исключить изъ продажи въ лавкѣ всякую, мало-мальски аристократическую пищу. Работникъ долженъ ѣсть сѣрый харчъ и не думать о сардинкахъ или о миндальныхъ орѣхахъ». Это, конечно, только милая шутка, но дальше «Русское Дѣло» уже въ самый серьезный серьезъ впадаетъ: «Проглядывая съ большимъ вниманіемъ запрещенія г. Янжула, мы находимъ и еще одну, тоже бросающуюся въ глаза и даже ничѣмъ не прикрытую тенденцію — разрѣшить все скоромное и по возможности запретить все постное... Это гадость, это доносъ! закричитъ г. Янжулъ и его поклонники... Ахъ, почтенный г. профессоръ, какъ бы не хотѣлось слышать этого гнуснаго слова, какъ бы не хотѣлось обвинять васъ въ такой ужасной вещи, какъ борьба съ постановленіями церкви и народными обычаями. Но, Бога ради, растолкуйте-же намъ, въ силу какой логики исключили вы почти всю рыбу, оставя только 3-й сортъ севрюги, сельди, сухихъ судаковъ и лещей? Ради чего изгнали вы всѣ грибы, сжалившись лишь надъ сушеными желтыми въ 20 к. фунтъ, исключили голландскія сельди, даже по пятачку штука, и великодушно оставили филей, кровавые ростбифы, телятину, баранину, свиней, поросятъ, гусей, куръ и даже... *индѣекъ*!»

Вонъ оно куда пошло! Правительственный чиновникъ обличается ни болѣе ни менѣе, какъ въ колебаніи основъ религіи, въ борьбѣ съ постановленіями церкви и народными обычаями, и все это по поводу рыбы и мяса! Какъ ни колоссально-комично это обвиненіе, но г. Янжулъ счелъ нужнымъ отвѣчать, какъ «Рускому Дѣлу», такъ и «Современнымъ Извѣстіямъ», въ № 309 которыхъ и напечатанъ его отвѣтъ. Сейчасъ мы увидимъ, что открываетъ намъ этотъ отвѣтъ, а теперь прослѣдимъ за дальнѣйшей полемикой. Въ № 317 тѣхъ же «Современныхъ Извѣстій» появилась статья, авторъ которой подписался такъ: «Фабрикантъ, сообщившій свѣдѣнія «Русскому Дѣлу», а само «Русское Дѣло» вновь посвятило этой исторіи редакціонную статью въ № отъ 23 ноября. Обѣ эти статьи, то есть и статья «Фабриканта», и редакціонная статья «Русскаго Дѣла», уже не касаясь болѣе постановленій церкви и народныхъ обычаевъ насчетъ рыбы и мяса, заняты съ одной стороны апологіей фабрикантовъ, а съ другой—весьма прозрачными намеками на то, что надо бы г. Янжулу бросить мѣсто фабрачнаго инспектора потому, дескать, что у него, какъ у профессора, дѣла много, а профессоръ онъ, говорятъ, хорошій, и жаль, что такой хорошій профессоръ тратитъ время на инспекцію. Все это сопровождается весьма дрянными инсинуаціями, не достигающими уже однако высотъ рыбы и мяса, а вращающимися въ сферѣ разныхъ земныхъ «опасностей».

Въ чемъ же однако дѣло? За что именно г. Фабрикантъ и вдохновляемый имъ г. Шараповъ желаютъ удалить г. Янжула, этого извѣстнаго своею добросовѣстностью и знаніемъ дѣла профессора, призваннаго довѣріемъ начальства къ исполненію обязанностей фабричнаго инспектора и исполняющаго эти обязанности, какъ видно изъ его опубликованныхъ отчетовъ, со всевозмож-

нымъ тщаніемъ? Дѣло тутъ, конечно, не въ рыбѣ и мясѣ! Я готовъ вѣрить, что и г. Фабрикантъ, и г. Шараповъ до самозабвенія преданы постановленіямъ церкви и народнымъ обычаямъ, но, должно быть, есть у нихъ въ этомъ дѣлѣ и какіе нибудь другіе интересы. Думаю такъ, во-первыхъ, потому, что жилъ на свѣтѣ и нѣсколько знаю человѣческое сердце; всѣ вѣдь люди, всѣ—человѣки, даже такіе экземпляры, какъ г. Шараповъ. Во-вторыхъ, г. Фабриканту, выражающему отъ имени «одной изъ крупныхъ подмосковныхъ фабрикъ» столь большую заботливость о рабочихъ, предстоитъ очень простой выходъ: предъявить двѣ таксы, изъ которыхъ одна годилась бы только на время постовъ, и чтобы мяса въ ней ни—ни! Фабричный инспекторъ не могъ бы, конечно, не уважить такого рвенія. Въ-третьихъ, наконецъ, смутительна разносторонность облавы, устроенной на г. Янжула. Тутъ, кромѣ рыбы и мяса, и лесть г. Янжулу, какъ профессору, и сожалѣніе о томъ, что у него нѣтъ приватъ-доцента, и какія-то «опасности», и заботы объ университетскомъ образованіи... «Что онъ Гекубѣ и что ему Гекуба?»

Изъ отвѣта г. Янжула явствуетъ, что ни рыбы, ни мяса, ни постнаго, ни скоромнаго продовольствія онъ не запрещалъ (а впрочемъ и подчеркнутыхъ г-мъ Шараповымъ *индѣекъ* не разрѣшалъ). Г. Янжулъ смотритъ на фабричныя лавки, какъ на «необходимое зло» (такъ, повидимому, смотритъ на нихъ и законъ). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ безъ нихъ обойтись нельзя, а между тѣмъ онѣ очень тяжело ложатся на карманъ рабочаго. Особенно вреднымъ считаетъ г. Янжулъ кредиты въ этихъ лавкахъ и опять таки это не какое нибудь его единичное или парадоксальное мнѣніе. Благомыслящіе фабриканты сами это понимаютъ. Такъ въ коммиссіи, подъ предсѣдательствомъ г. товарища министра Плеве вырабатывавшей новый фабричный законъ, одинъ крупный московскій фабрикантъ высказался даже прямо въ пользу законодательнаго воспрещенія отпуска въ кредитъ изъ фабричныхъ лавокъ, «ибо такой отпускъ», говорилъ онъ, «соблазнителенъ для рабочихъ и нынѣ нерѣдко влечетъ за собой злоупотребленія и даже недоразумѣнія между рабочими и хозяевами». Г. Янжулъ не законодатель, но, въ качествѣ фабричнаго инспектора, онъ стремится умалить «необходимое зло» тѣмъ, что продукты первой необходимости разрѣшаетъ продавать въ кредитъ, а продукты дорогіе не иначе, какъ на наличныя деньги. Г. Шараповъ и г. Фабрикантъ... какъ бы это сказать повѣжливѣе... ошиблись, объявляя, что фабричный инспекторъ не разрѣшаетъ рабочему ѣсть, напр., сардинки. Это неправда. Рабочій можетъ купить въ фабричной лавкѣ и такой, дѣйствительно, предметъ для него роскоши, какъ сардинки, коробка которыхъ стоитъ по росписанію 90 коп., но только въ томъ случаѣ, если у него есть на это наличныя деньги, а вотъ астраханскія селедки, стоющія 3 коп. штука, онъ можетъ и въ кредитъ получить. Здѣсь лежитъ и ключъ къ разъясненію великой тайны рыбы и мяса. Не рыба запрещена, а дорогая рыба, и не безусловно запрещена, а запрещенъ отпускъ ея въ кредитъ. Изъ самого инкриминируемаго гг. Шараповымъ и Фабрикантомъ росписанія видно, что въ этомъ отношеніи уравнены постная тридцатипяти копѣечная бѣлуга и скоромная двадцати копѣечная ветчина: и ту, и другую фабрикантъ-лавочникъ можетъ продавать рабочимъ, но не иначе, какъ на наличныя. Конечно, введенная г. Янжуломъ регламентація есть только паліативъ и надо надѣяться, что, согласно мнѣнію вышеупомянутаго крупнаго московскаго фабриканта, отпускъ рабочимъ товаровъ въ долгъ будетъ наконецъ совсѣмъ воспрещенъ законодательнымъ путемъ. Но, въ ожиданіи этого, принятая г. Янжуломъ мѣра должна устранить всетаки многія опасности и недоразумѣнія между фабрикантами и рабочими. Психологія кредитующагося рабочаго человѣка, особливо вблизи отъ столичныхъ соблазновъ, извѣстна: отчего ему и сардинокъ не поѣсть, когда платить за нихъ надо еще вонъ когда, да и то работой. Но, любезно желая снабжать рабочаго въ долгъ и сардинками, и бѣлугой, и дорогой ветчиной, г. Фабрикантъ отнюдь не желаетъ предоставить ему и соотвѣтственныя такой пищѣ средства. Отсюда задолженность рабочаго должна, конечно, все возрастать, и ужъ никакъ нельзя ожидать, чтобы это обстоятельство составило базисъ взаимныхъ благопріятныхъ отношеній.

Казалось бы, все это такъ ясно и просто, такъ умѣренно и благонамѣренно, что гг. фабриканты должны только спасибо сказать г. Янжулу. Такъ вѣроятно и думаютъ настоящіе фабриканты, видящіе нѣчто дальше своего носа и не стремящіеся къ доходу съ фабрики прибавить еще торговый процентъ, или, что то же, вопреки закону, вернуть съ рабочаго весь его заработокъ. «Фабрикантъ, сообщившій свѣдѣнія Русскому Дѣлу» жалуется, что правительственный агентъ «съ легкимъ сердцемъ чертитъ своимъ синимъ карандашемъ и ломаетъ сложную и стройную систему, не имъ созданную, не замѣчая того, что его карандашъ и его ошибки вносятъ смуту и сѣютъ сначала недоразумѣнія, а затѣмъ и еще нѣчто худшее

въ существующія добрыя и вполнѣ сердечныя отношенія». Правительственный агентъ, видите-ли, «не хочетъ сообразить, что именно наша фабрика въ теченіе своего 42-лѣтняго самостоятельнаго существованія создала свои традиціи, въ основѣ которыхъ прежде всего лежатъ не бумажныя отношенія капитала къ труду, а живыя отношенія человѣка къ человѣку». Я не могу, разумѣется, судить, какъ идутъ дѣла на «нашей» фабрикѣ, тѣмъ болѣе, что совершенно неизвѣстно отъ лица какой именно фирмы говоритъ г. Фабрикантъ. Но вотъ, напримѣръ, какіе параграфы находимъ въ харчевой расчетной книжкѣ фабрики Богородско-Глуховской мануфактуры:

«3) Записанныя въ расчетную харчевую книжку лица отвѣтствуютъ другъ за друга въ переборѣ харчей, хотя бы они между собою были не родственники».

«4) Ежели кто либо изъ записанныхъ въ харчевую книжку не будетъ являться на работу, то остальныя лица обязаны немедленно донести о томъ до свѣдѣнія конторы».

«7) Въ устраненіе тѣсноты при отпускѣ харчей, постановляются правила: а) являться въ контору за припасами, какъ въ лѣтнее, такъ и въ зимнее время два раза въ недѣлю; б) не дѣлать записи на отпускъ харчей менѣе 30 коп., не нарушать порядка конторою установленнаго».

Неужели же фабричный инспекторъ не будетъ правъ, вмѣшиваясь въ «стройную систему», въ составъ которой входятъ такіе удивительные параграфы, и въ выражаемыя этими параграфами «живыя отношенія человѣка къ человѣку»? Опять-таки, повторяю, мнѣ неизвѣстны порядки, существующіе на «нашей» фабрикѣ. Можетъ быть, состоящая при ней лавка дѣйствительно, какъ разсказываетъ г. Фабрикантъ, даетъ возможность рабочему «жить не только безбѣдно, но даже съ нѣкоторымъ комфортомъ, расходуя 56 р. 69½ к. въ годъ». Можетъ быть. Но г. Фабрикантъ дѣлаетъ для полученія этого вывода выкладки съ цифрами, чрезвычайно общими, отвлеченными. А вотъ въ оффиціальномъ отчетѣ за 1882—83 г. фабричнаго инспектора московскаго округа, напечатанномъ по распоряженію Департамента Торговли и Мануфактуръ, находимъ, напримѣръ такой фактъ, касающійся одной фабрики Богородскаго уѣзда: рабочій заработалъ въ годъ 155 руб. 75 коп., а забралъ въ фабричной лавкѣ на 163 р. 83 к. Оффиціальный отчетъ говоритъ по этому поводу: «Итакъ, проработавъ цѣлый годъ и не получая деньгами ни копѣйки, вышеозначенный рабочій заборомъ въ лавкѣ не только истратилъ весь свой заработокъ, но даже и вошелъ въ долгъ и, слѣдовательно, въ обязательность къ хозяину, который въ свою очередь получилъ, такимъ образомъ, обратно все, что долженъ былъ уплатить въ видѣ жалованья рабочему и, конечно, съ хорошимъ барышомъ на проданный товаръ». (См. «Отчетъ», стр. 92).

Такимъ образомъ, дѣло ясное. Г. «Фабриканту» (я не говорю *фабрикантамъ*, ибо не знаю) желательно получать доходъ не только съ своего промышленнаго предпріятія, но и съ лавки. Законъ ему это дозволяетъ и исполнитель закона, фабричный инспекторъ, не препятствуетъ. Но законъ предусматриваетъ неудобства задолженности рабочаго. Такъ, «при производствѣ рабочихъ платежей не дозволяется дѣлать вычеты на уплату ихъ долговъ» (15 статья II части). Законъ дѣлаетъ исключеніе для долговъ по «снабженію рабочихъ *необходимыми* предметами потребленія изъ фабричныхъ лавокъ». Относительно взысканій по исполнительнымъ листамъ законъ опять-таки ставитъ извѣстныя ограниченія, а именно дозволяетъ удерживать не болѣе ⅓ заработка холостого рабочаго и ¼ заработка женатаго. Конечно, слово «необходимый» предметъ потребленія—довольно растяжимо, но на то, между прочимъ, и поставленъ фабричный инспекторъ, чтобы давать этому растяжимому слову извѣстные предѣлы. И ужъ разумѣется, г. Янжулъ не подлежитъ обвиненію за то, что считаетъ сардинки или свѣжую бѣлугу не необходимыми предметами потребленія рабочаго человѣка. Г. Фабрикантъ могъ бы хоть объ томъ подумать, что если вѣрить его собственной цифрѣ годового расхода рабочаго—56 руб., такъ въ этомъ бюджетѣ, конечно, нѣтъ мѣста ни сардинкамъ въ 90 к. коробка, ни бѣлугѣ въ 35 к. фунтъ, а потому о наложеніи *условнаго* veto на подобные продукты не стоитъ и разговаривать.

Я понимаю, однако, что г. Фабрикантъ можетъ жаловаться по начальству на фабричнаго инспектора, можемъ апеллировать къ общественному мнѣнію путемъ печати. Понимаю, наконецъ, всякія общія разсужденія о новомъ фабричномъ законѣ и въ частности о предоставляемыхъ имъ фабричному инспектору правахъ и обязанностяхъ. Но когда же закроется постыдная язва подмигивающихъ инсинуацій и прямой клеветы, язва, уродующая русскую литературу и весьма мало способствующая тому значенію, которое приличествуетъ печатному слову? Рыба и мясо,—это вѣдь Геркулесовы столбы, а, между тѣмъ, они вовсе не особенную рѣдкость въ нашей литературѣ составляютъ. Конечно, разъ г. Шараповъ взвился на высоту рыбы и мяса и рѣшился разыграть на эту тему всѣ возможныя варьяціи неправды съ цѣлью бросить тѣнь на правительствен-

наго агента, добросовѣстно исполняющаго свои обязанности, такъ его не устыдишь. Но въ этой-то неспособности стыдиться и дѣло...

Въ частности обращаю ваше вниманіе на то, что г. Шараповъ оперируетъ, между прочимъ, и при помощи «народныхъ обычаевъ», то есть «мнѣній» народа. Дѣйствительно, постная пища освящена не только постановленіями церкви, а и народными обычаями. Но я не думаю, чтобы нужны были какіе-нибудь комментаріи къ той подставной роли, которую во всей этой исторіи играютъ народные обычаи. Пусть объ этомъ подумаютъ защитники мысли о тождествѣ интересовъ и мнѣній народа.

Вышенаписанное было приготовлено еще къ декабрьской тетради «Дневника читателя». Съ тѣхъ поръ я узналъ, что фирма Богородско-Глуховской мануфактуры жаловалась въ подлежащія инстанціи на дѣйствія г. Янжула по расцѣнкѣ товаровъ и—проиграла дѣло. Тѣмъ лучше.

Спрашиваютъ, письменно и устно, отчего письмо г. Яковенко появилось въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», въ которомъ я въ настоящее время работаю. А отчего бы ему не появиться? Признаюсь, я лично былъ противъ его помѣщенія. Но, частію потому, что рѣчь въ письмѣ идетъ обо мнѣ, что обязывало меня не очень настаивать на своемъ личномъ мнѣніи, а частію по внутренней убѣдительности резоновъ редакціи, я только воспользовался любезнымъ предложеніемъ редакціи съ той же ноябрьской книжки начать и свой отвѣтъ г. Яковенко. Можетъ быть мы сунулись въ воду, немножко не спросясь броду, но во всякомъ случаѣ соображенія редакціи состояли въ слѣдующемъ: за письмо г. Яковенко журналъ ни мало не отвѣтственъ; письмо не излагаетъ никакихъ антипатичныхъ журналу идей, хотя можетъ быть и содержитъ ихъ въ себѣ въ скрытомъ состояніи; письмо даетъ поводъ коснуться въ отвѣтѣ многихъ любопытныхъ и важныхъ вопросовъ.

Во всякомъ случаѣ, мой отвѣтъ г. Яковенко будетъ гораздо короче, чѣмъ мы думали...

Я уже говорилъ, что г. Яковенко, выдѣливъ изо всѣхъ моихъ писаній, собственно говоря, одинъ только эпизодъ, хотя и очень важный, и проштудировавъ его, повидимому (но только повидимому) очень тщательно, оставилъ совсѣмъ въ сторонѣ многое сопредѣльное, что помогло бы ему оріентироваться вообще и въ частности по отношенію къ вопросу, интересующему его объ «общечеловѣческихъ идеалахъ». На первомъ мѣстѣ изъ этого сопредѣльнаго я бы поставилъ критику такъ называемой органической теоріи.

Было время, когда наше общество очень увлекалось естественными науками. Усердно переводились и читались иностранныя книжки по естествознанію; писались и читались популярныя журнальныя статьи того же содержанія; было зарѣзано много лягушекъ и прослушано много публичныхъ лекцій. Конечно, все это увлеченіе было довольно поверхностно, но искренно, рѣзко и шумно. Многіе изъ тѣхъ, кто искалъ тогда «послѣдняго слова науки» въ естествознаніи и только въ немъ одномъ, теперь можетъ быть съ улыбкой оглядываются на эту свою юную пору, когда все казалось такъ яснымъ, простымъ, порѣшеннымъ. Это теченіе, давно уже поконченное и успѣвшее смѣниться не одинъ разъ разными другими теченіями, имѣло, разумѣется, и свои хорошія стороны, какъ всякое увлеченіе, поддерживающее человѣка въ мысли, что онъ не о единомъ хлѣбѣ живъ: наши матеріалисты были въ житейскомъ отношеніи собственно крайними идеалистами, и суровыя истины, такъ или иначе, правильно или неправильно извлеченныя ими изъ области безстрастнаго естествознанія, далеко не всегда ладили съ настроеніемъ ихъ собственной души. Теоретически однако была во всякомъ случаѣ усвоена ненаучная и дурная привычка къ грубымъ аналогіямъ и перенесеніямъ простыхъ истинъ естествознанія въ сферы высшихъ и сложныхъ проявленій жизни духа и жизни общественной. Дѣло еще ухудшилось, когда этотъ теоретическій осадокъ почти только и остался на лицо, а животворящій духъ, втайнѣ протестовавшій противъ якобы непреклонныхъ и непререкаемыхъ выводовъ, исчезъ или ослабѣлъ. По нынѣшнему смутному времени нужно, пожалуй, оговориться, что мы отнюдь не думаемъ отрицать ни огромную и благотворную роль естествознанія въ общей системѣ міросозерданія современнаго человѣка, ни даваемую точными науками привычку къ правильному и строгому мышленію, ни наконецъ воспитательное значеніе опыта и наблюденія. Я говорю лишь напротивъ того о совершенно ненаучныхъ перенесеніяхъ истинъ низшихъ наукъ въ сферы высшія. Къ числу такихъ незаконныхъ скачковъ принадлежитъ и органическая теорія. Теорія эта утверждаетъ, что общество есть организмъ, или, по крайней мѣрѣ, нѣчто, вполнѣ подобное. аналогичное настоящему живому организму; что такъ и должно быть. Здѣсь не мѣсто не только разбирать, а и намѣчать тѣ выводы, которые изъ такого положенія дѣлаются. Скажу только, что мнѣ они всегда представлялись въ такой степени грубыми, прямо возмутительными и притомъ

такъ соблазнительными для умовъ поверхностныхъ и лѣнивыхъ, что анализу ихъ я посвятилъ цѣлый рядъ статей. Однимъ изъ результатовъ этого анализа оказалась необходимость признать центромъ тяжести всякаго соціологическаго изслѣдованія судьбу личности, ибо только личность, настоящій, живой, а не фиктивный, созданный загрубѣлою фантазіей организмъ, мыслитъ и чувствуетъ, страдаетъ и наслаждается. Внѣ дѣйствительно живой личности, эти категоріи могутъ имѣть только фигуральное значеніе. Когда говорятъ, что общество страдаетъ, наслаждается, волнуется, то это лишь метафорическое выраженіе, означающее въ послѣднемъ счетѣ, что страдаютъ или наслаждаются люди, личности, при эмпирически данныхъ общественныхъ формахъ.

Итакъ, человѣческая личность, ея судьбы, ея интересы,—вотъ что, повидимому, должно быть поставлено во главу угла нашей теоретической мысли въ области общественныхъ вопросовъ и нашей практической дѣятельности. Оно такъ и есть. Но вотъ въ чемъ бѣда. Въ исторіи теоретической мысли и практической жизни личное начало уже не одинъ разъ верховодило, не одинъ разъ выступало на передній планъ исторической сцены, но, пофигурировавъ нѣкоторое время съ громомъ и блескомъ, кончало болѣе или менѣе скандальнымъ фіаско. Въ области общественныхъ вопросовъ, которые насъ здѣсь преимущественно занимаютъ, торжествомъ личнаго начала была доктрина либерализма и соотвѣтственная практика. У насъ, разумѣется, полнаго, законченнаго торжества никогда не было; мы довольствовались въ этомъ отношеніи только вожделѣніями. Мы даже до сихъ поръ не научились употреблять слово «либерализмъ», какъ обозначеніе извѣстнаго строя мыслей или образа дѣйствія: для насъ сплошь и рядомъ «либеральный» есть только похвальный или ругательный эпитетъ, смотря по вкусу говорящаго или пишущаго это слово.

Говоря выше о литературныхъ упражненіяхъ г. Шарапова на тему о фабричной инспекціи, я не упомянулъ объ одной любопытной сторонѣ ихъ. По мнѣнію г. Шарапова, фабричная инспекція, какъ она у насъ теперь существуетъ, есть учрежденіе «либеральное», а этого, дескать, не должно быть. Разумѣется, не должно быть, но не только не должно быть, а и не можетъ быть, по самому существу дѣла. Либерально дѣйствующій фабричный инспекторъ былъ бы просто бездѣйствующимъ инспекторомъ, то-есть упразднилъ-бы самого себя. Доктрина либерализма, узкая и односторонняя, требуетъ совершенно свободнаго теченія экономической жизни, безпрепятственнаго и непосредственнаго соприкосновенія всѣхъ экономическихъ факторовъ, въ томъ разсчетѣ, что такъ называемая гармонія личныхъ интересовъ сама собой приведетъ все къ наилучшему благополучному концу. Въ старой Европѣ, гдѣ были сдѣланы грандіознѣйшіе опыты въ этомъ направленіи, наилучшій благополучный конецъ не только не наступилъ, но едва-ли даже тамъ найдется сколько нибудь значительная, количественно и качественно, группа лицъ, еще вѣрящихъ въ иллюзію гармоніи разнузданныхъ личныхъ интересовъ и въ чистый, послѣдовательный либерализмъ. Мимоходомъ сказать, фабричная инспекція, учрежденіе, заимствованное нами изъ Европы, и фабричные законы вообще, представляютъ собою одинъ изъ сильнѣйшихъ ударовъ теоріи и практикѣ либерализма. Либераленъ совсѣмъ не г. Янжулъ и не тѣ высшія инстанціи, которыя разрѣшили споръ въ его пользу; либеральны г. «Фабрикантъ, сообщившій свѣдѣнія «Русскому Дѣлу» и г. Шараповъ, ибо они вѣруютъ въ гармонію личныхъ интересовъ, предоставленныхъ на всю ихъ вольную волю, или, по крайней мѣрѣ, исповѣдуютъ это и требуютъ, чтобы государство, въ лицѣ фабричнаго инспектора, не вмѣшивалось въ тѣ «живыя отношенія человѣка къ человѣку», которыя сами собой сложились на фабрикѣ. Надо же имѣть le courage de son opinion, надо же называть вещи ихъ именами и не валить съ больной головы на здоровую.

Въ Европѣ дѣло происходило такимъ образомъ. Возмутившаяся личность разрушила узы тѣхъ якобы общественныхъ «организмовъ», въ составъ которыхъ дотолѣ входила,—разрушила феодальный строй, средневѣковую общину, цеховую систему,—и провозгласила при всеобщемъ ликованіи «общечеловѣческій идеалъ» свободы. Не долго длилось однако ликованіе. Скоро оказалось, что на совершенно, казалось, расчищенномъ полѣ растутъ и крѣпнутъ отнюдь не «живыя отношенія человѣка къ человѣку», личности къ личности, а напримѣръ,—чтобы заимствовать хоть и очень частный примѣръ, но изъ предыдущаго изложенія,—лавочника, снабжающаго товарами въ долгъ, и должника. Потребовалось вмѣшательство государства. Личность, освободившись отъ невольныхъ и не изъ существа ея истекающихъ ограниченій, оказалась во власти новыхъ ограниченій, столь-же невольныхъ, столь-же ея существу постороннихъ и во многихъ отношеніяхъ еще болѣе тягостныхъ. «Общечеловѣческій идеалъ» личной свободы потерпѣлъ фіаско въ качествѣ верховнаго руководящаго принципа, онъ долженъ былъ занять второстепенное мѣсто.

Параллельно этому шло другое, въ высшей степени характерное теченіе въ области мысли. Та же возмутившаяся личность постепенно сбросила съ себя оковы авторитета вѣры и на развалинахъ его, изъ себя самой, изъ чистаго, свободнаго отъ всякихъ ограниченій мышленія построила колоссальное зданіе метафизики. Но это была вавилонская башня, плодъ такой же неразумной гордыни, какъ и та, библейская. И башня разрушилась, подмытая своимъ внутреннимъ противорѣчіемъ. Мысль человѣческая не могла освободиться отъ ограниченій, наложенныхъ на нее самою природою, не могла познать «сущность вещей», пресловутую Ding an sich, не могла фактически отказаться отъ опыта и наблюденія, всегда составлявшихъ источникъ зданія; только теперь она пользовалась ими помимо сознанія и, слѣдовательно, безъ провѣрки, случайно, односторонне.

Слѣдуетъ-ли изъ всего этого, что мы были не правы въ своей исходной точкѣ, надо-ли вывести такое заключеніе, что человѣческая личность, ея судьбы, ея интересы не должны стоять въ главѣ угла нашей теоретической мысли и практической дѣятельности? Отнюдь нѣтъ. Нашъ первоначальный выводъ ни мало не колеблется тѣми сложными и запутанными эффектами, которые всегда получаются при преломленіи какого-нибудь отвлеченнаго начала въ призмѣ конкретной дѣйствительности. Этотъ законъ преломленія всегда слѣдуетъ помнить и не валить, подобно г. Яковенко, въ одну кучу все, попадающіяся на пути изслѣдованія, отвлеченности и конкретности, ибо такимъ образомъ весьма легко попасть пальцемъ въ небо. Это именно и случилось, и не одинъ разъ, съ г. Яковенко. Какъ-бы то ни было однако, но нашъ первоначальный выводъ требуетъ, во избѣжаніе недоразумѣній и запутанности при практическомъ проведеніи, какой-то поправки или дополненія. Поправка предстоитъ очень простая. Надо найти въ личности такой ея аттрибутъ, такое свойство, которое было бы ей присуще, именно какъ личности, и не зависѣло бы ни отъ какихъ случайныхъ опредѣленій. Такой аттрибутъ есть трудъ, цѣлесообразное напряженіе личныхъ силъ. «Таланты отъ Бога, богатство отъ рукъ человѣческихъ», какъ говоритъ поэтъ. Если я талантливъ, то это случайный даръ судьбы, очень можетъ быть цѣнный для меня и даже для всего человѣчества, но онъ ни въ какомъ случаѣ не составляетъ необходимаго элемента человѣческой личности и, если не будетъ оплодотворенъ трудомъ, то можетъ или совсѣмъ безслѣдно затеряться, какъ это часто бываетъ, или даже принести вредъ и мнѣ, и людямъ, какъ это тоже часто бываетъ. Если я богатъ, то это богатство навѣрное есть плодъ дѣятельности «рукъ человѣческихъ», но по всей вѣроятности не моихъ. Выигравъ 200,000 въ лотерею или получивъ ихъ по наслѣдству, я, собственно этимъ фактомъ выигрыша или полученія наслѣдства, ни на волосъ не прибавилъ и не убавилъ своего личнаго достоинства; если найдутся люди, которые съ этого момента начнутъ искать сближенія со мной, оказывать мнѣ знаки вниманія и почтенія, то ясно, что они не меня лично почитаютъ, а деньги и создаваемую ими силу въ обществѣ; на деньгахъ же, мною полученныхъ, нѣтъ печати моей личности. Эта печать личности налагается лишь ея дѣятельностью, трудомъ. Все остальное, что такъ или иначе можетъ способствовать успѣху конкретной личности въ конкретной дѣятельности, что можетъ опредѣлять ея судьбы и интересы,—талантъ, происхожденіе, богатство, красота,—все это лишь случайные аттрибуты личности, не изъ нея самой проистекающіе, не ею самою данные, а зависящіе отъ вкусовъ, нравовъ, обычаевъ, законовъ общества, въ составъ котораго она входитъ. Эти вкусы, нравы, обычаи, законы подлежатъ особому обсужденію, до котораго намъ пока дѣла нѣтъ. Они могутъ быть достойны всякаго уваженія, помимо ихъ внѣшней обязательности, но во всякомъ случаѣ сама личность выражается только въ трудѣ, который относится можетъ быть къ ней такъ-же, какъ движеніе къ матеріи.

Такимъ образомъ, для практическаго обихода, да и не только для него, а въ видахъ теоретической ясности, мы можемъ подставить въ нашей первоначальной формулѣ, вмѣсто личности, ея единственное проявленіе—трудъ, сознательный, цѣлесообразный расходъ силъ. Тогда «интересы личности», оказавшіеся на оселкѣ практики двусмысленными и даже многосмысленными, замѣнятся «интересами труда». И почему бы, если г. Яковенко позволитъ, не поискать въ этой области матеріалы для «общечеловѣческаго идеала»? Болѣе общечеловѣческаго пожалуй что и не сыщешь, ибо гдѣ человѣкъ, тамъ и трудъ.

Но г. Яковенко не согласенъ на этомъ остановиться. Копошась въ своихъ вопросахъ и вопросикахъ и разсуждая въ томъ смыслѣ, что «веревка—вервіе простое», онъ постоянно путаетъ отвлеченное съ конкретнымъ, тогда какъ различать ихъ было бы для него особенно важно, по самому свойству предметовъ, объ которыхъ онъ разсуждаетъ. Благодаря этой путаницѣ, его пугаетъ узкость широкаго и онъ настаиваетъ на огромной ширинѣ узкаго.

При дальнѣйшемъ разотвлеченіи (простите этотъ немножко неуклюжій терминъ) интересы труда превращаются въ интересы народа, причемъ, какъ справедливо цитируетъ г. Яковенко, я утверждаю, что «педагоги, въ качествѣ работниковъ, суть такъ-же народъ, какъ и плотники, химики, литераторы, пастухи»; а далѣе, какъ опять же г. Яковенко вѣрно говоритъ, «причисляю еще математика, полицейскаго чиновника, физіолога, землевладѣльца, солдата, политико-эконома и т. д.». Это очень вѣрно. Но можетъ быть г. Яковенко не предъявилъ бы нѣкоторыхъ своихъ вопросительныхъ знаковъ, еслибы обратилъ надлежащее вниманіе въ этой цитатѣ на слова «въ качествѣ работниковъ». Трудъ, напримѣръ, педагога, литератора, химика, политико-эконома—такой же трудъ, какъ и всякій другой, столь же почтененъ и столь же требуетъ заботы объ его интересахъ. Но бываетъ вѣдь и такъ, что, положимъ, литераторъ не только работаетъ, а издаетъ кромѣ того газету, съ которой получаетъ доходъ, какъ съ коммерческаго предпріятія; или химикъ не только сидитъ въ лабораторіи, а выстроилъ еще домъ, въ которомъ жильцы живутъ и деньги за квартиры платятъ, за квартиры, а не за трудъ. Все это очень естественно и законно, но тѣмъ не менѣе въ силу вышеизложеннаго, я долженъ произвести операцію отвлеченія и усмотрѣть въ жизни даже одного и того же человѣка двѣ весьма различныя полосы: полосу, отмѣченную печатью проявленія личности, и полосу, опредѣляемую вкусами, правами, обычаями, законами, имѣющими силу въ данномъ обществѣ. Эту очень немудреную операцію отвлеченія г. Яковенко тѣмъ легче было бы произвести, что вѣдь и законъ различаетъ положеніе литератора и издателя, или педагога и домовладѣльца, хотя бы эти различныя функціи и совмѣщались въ одномъ лицѣ: издателю и домовладѣльцу онъ предоставляетъ такія права и налагаетъ на нихъ такія обязанности, какихъ не имѣютъ и не несутъ литераторъ и педагогъ въ качествѣ просто рабочихъ людей. Вышеупомянутый г. «Фабрикантъ, сообщившій свѣдѣнія «Русскому Дѣлу», тоже, вѣроятно, работаетъ: управляетъ фабрикой, сводитъ счеты, пишетъ вотъ полемическія статьи противъ фабричной инспекціи; можетъ быть, онъ кромѣ того еще какой-нибудь техникъ, производитъ опыты, дѣлаетъ изобрѣтенія, двигаетъ впередъ науку и т. п. Но какъ бы ни была значительна эта сторона его жизни, не ею опредѣляется его общественное положеніе. Его интересы, какъ засвидѣтельствовано оффиціальными лицами, не только не совпадаютъ съ интересами труда, а приходятъ съ ними въ конфликтъ, разрѣшаемый только спеціально приставленнымъ къ дѣлу правительственнымъ агентомъ. Ясно, что «общечеловѣческій идеалъ», построенный на принципѣ свободы, не въ силахъ разрѣшить подобный конфликтъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ и практика Европы, да вотъ и наша.

Вообще, если г. Яковенко усвоитъ себѣ значеніе труда, какъ единственно возможнаго реальнаго проявленія человѣческой личности во внѣшнемъ мірѣ, то убѣдится, что всякіе общечеловѣческіе идеалы, построенные на иномъ принципѣ, какъ бы они ни были высоки, могутъ имѣть лишь второстепенное и подчиненное значеніе. Возьмемъ, напримѣръ, просвѣщеніе. Повидимому, это очень широкое начало: просвѣщеніе нужно всѣмъ людямъ и всѣмъ народамъ безъ исключенія, блага его неисчислимы. Но, вглядѣвшись въ дѣло поближе, вы увидите, что интересы просвѣщенія входятъ въ интересы труда, какъ ихъ подчиненная составная часть. Вся цѣль просвѣщенія въ томъ только и состоитъ, чтобы помогать человѣку такъ или иначе проявлять себя во внѣшнемъ мірѣ, то есть работать; самое усвоеніе просвѣщенія и распространеніе его есть не что иное, какъ частный случай, спеціальный видъ труда. Наоборотъ, интересами просвѣщенія отнюдь не обнимаются интересы труда, ибо, по несовершенству человѣческихъ дѣлъ, просвѣщеніе можетъ получить лишь тотъ, кто его въ состояніи оплатить.

Я не думаю, что я отвѣтилъ г. Яковенко, но полагаю, что намѣтилъ нѣкоторые пункты отвѣта. На этомъ и покончу и не знаю, возвращусь-ли еще когда-нибудь къ письму г. Яковенко, хотя навѣрное возвращусь съ теченіемъ времени къ его темѣ.

Еще два слова. Г. Яковенко иногда съ чрезвычайно побѣдоноснымъ видомъ бьетъ моимъ же добромъ, да мнѣ же челомъ. Напримѣръ: «*Мнѣ кажется,* что всякій, читавшій послѣднія философско-моральныя произведенія Толстого, ни минуты не колеблясь, скажетъ, что и во всѣхъ приведенныхъ мною мѣстахъ говоритъ тотъ же Толстой и говоритъ то же самое... Все это то же, что онъ говорилъ и 20 лѣтъ тому назадъ въ своихъ педагогическихъ статьяхъ». Это кажется г. Яковенко. Ну, мнѣ это тоже кажется и казалось и тогда, когда я писалъ о Толстомъ, что и пропечаталъ всѣми буквами въ «Дневникѣ читателя». Но я различаю «десницу» и «шуйцу» Толстого и думаю, что шуйца его въ послѣднее время непомѣрно выросла, а десница сократилась...

X.

Отчего погибли мечты *).

Два раза въ годъ по всему лицу русской земли гуляютъ необузданныя мечты, окрыленныя возможностью выиграть 200,000... ну не 200, такъ 75 или на худой конецъ хоть 40,000. Легкокрылыя мечты уносятъ будущихъ обладателей двухсотъ тысячъ въ роскошный міръ фантазіи, гдѣ все добро зѣло, сообразно понятіямъ того или другого о добрѣ. Одному грезятся невѣроятнѣйшіе рысаки и шикарнѣйшія кокотки, «брилліанты, цвѣты, кружева, доводящія умъ до восторга»; другой мысленно уже издаетъ газету, которая затмеваетъ все, доселѣ по этой части видѣнное; третій облагодѣтельствовалъ всѣхъ родныхъ и близкихъ; четвертый, можетъ быть, и все человѣчество облагодѣтельствовалъ; пятый трактиръ открылъ, да такой трактиръ, что самъ Палкинъ не достоинъ развязать ремень у сапога его. И все это,—трактиръ и газета, кружева и человѣчество, кокотки и бѣдные родственники,—все это такъ соблазнительно колышется на туманныхъ волнахъ грезы, такъ близко, такъ возможно. И все это безжалостно губитъ слѣпая судьба, облекающаяся на этотъ разъ въ форму тиража выигрышей. Обида большая, горе, можетъ быть, самое настоящее, обида, можетъ быть, даже заслуживающая извѣстнаго сочувствія, потому что и въ самомъ дѣлѣ не все же только Палкинъ, трактиръ да брилліанты носятся на туманныхъ волнахъ грезъ наканунѣ тиража выигрышей. Но мы всетаки не тронемъ этихъ разбитыхъ мечтаній, лелѣющихъ «пустые цвѣты въ нѣтовой землѣ». Отчего погибли мечты Ивана Ивановича, полагавшаго выиграть двѣсти тысячъ и основать трактиръ, который долженъ самого Палкина за поясъ заткнуть? или мечты Анны Ивановны, мѣтившей на тѣ же двѣсти тысячъ для облагодѣтельствованія бѣдныхъ родственниковъ или даже всего человѣчества? Просто оттого, что двѣсти тысячъ выигралъ Петръ Петровичъ, а не они, и не объ чемъ тутъ больше и разсуждать.

Есть другія мечты, которыя тоже гибнутъ, но исторія гибели которыхъ достаточно многосложна, чтобы заинтересовать собою и другихъ мечтателей. А кто же изъ насъ не бываетъ хоть по временамъ мечтателемъ? Даже тупорылую свинью, по самой природѣ своей неспособную взглянуть на небо, и ту осѣняетъ вѣроятно иногда мечта, конечно, свинская. Но свинскія или человѣчныя, подлыя и грязныя или высокія и чистыя, а мечты и исторія ихъ крушенія всегда занимательны, когда ради нихъ человѣку приходилось преодолѣвать препятствія, работать, тратить силу ума и жаръ души; когда въ случаѣ осуществленія мечты человѣкъ могъ бы съ гордостью сказать себѣ: «hast du nicht alles selbst vollendet?» а къ слѣпой судьбѣ, заправляющей всякаго рода тиражами выигрышей и погашенія, обратиться съ укоризненными словами гётевскаго Прометея:

> Ich dich ehren? Wofür?
> Hast du die Schmerzen gelindert
> Je des Beladenen?
> Hast du die Thränen gestillet
> Je des Geängsteten?

Да, исторія гибели такихъ мечтаній занимательна. Но, Боже мой, ихъ такъ много, этихъ погибшихъ мечтаній! Во всѣхъ пунктахъ земного шара изъ за нихъ ежедневно, ежечасно проливается такъ много слезъ и крови, раздается такъ много стоновъ и проклятій; условія и причины гибели такъ многообразны, многосложны... Кажется, гдѣ же обнять мыслью это безбрежное и бездонное море погибели! Добрая половина всей беллетристики и поэзіи, пожалуй, всего искусства вообще, съ самаго его зарожденія и до сего дня, черпаетъ въ этомъ морѣ, а оно все такъ-же неисчерпаемо. Критическая мысль находится, конечно, въ иномъ положеніи. Она можетъ анализировать погибшія мечты, обобщать результаты своего анализа, подводить итоги, классифицировать, изслѣдовать условія, причины и слѣдствія. Но, разумѣется, я не замахнусь на эту гигантскую работу въ своемъ скромномъ дневникѣ. Я буду говорить только объ одномъ типѣ погибшихъ мечтаній, типѣ весьма невысокомъ, но очень распространенномъ и уже по одному этому заслуживающемъ вниманія. Это—«погибшія мечты» Люсьена Шардона—онъ же де-Рюбампре—въ романѣ Бальзака, оконченномъ въ августовской книжкѣ «Сѣвернаго Вѣстника».

Легкомысленнымъ людямъ могло показаться страннымъ появленіе перевода такой старины. Роману этому вѣдь полвѣка! А мы такъ привыкли къ тому, чтобы журналы хватали для перевода самыя свѣжія новинки самаго моднаго писателя. Ужъ если пойдетъ полоса, напримѣръ, на Эмиля Зола, такъ мы норовимъ перевести каждое его новое произведеніе даже прежде, чѣмъ оно прочтется французами, переводимъ «съ рукописи». Кто говоритъ, слѣдить за новостями европейской литературы пріятно и полезно, но такъ ужъ непремѣнно торопиться, чтобы прочитать прежде самихъ французовъ, — для этого я рѣшительно никакихъ резоновъ не вижу. Вотъ ужъ по истинѣ можно сказать: «надъ

*) 1887 г., октябрь.

нами не каплетъ!» Щегольство переводами «съ рукописи» нынчe ужъ впрочемъ кажется, прекратилось, сами изобрѣтатели этой моды убѣдились, должно быть, что нѣтъ въ ней ни красы, ни радости, а пожалуй и просто здраваго смысла. Оставляя совсѣмъ въ сторонѣ эту нелѣпость, совершенно натуральна склонность читателей къ новостямъ и столь же натурально желаніе редакцій журналовъ удовлетворять эту склонность. Но отчего же всетаки не заглянуть иногда и въ старину? Развѣ ужъ мы такъ хорошо ее знаемъ или тамъ нѣтъ ничего хорошаго? Я напротивъ того склоненъ думать, что мы, вообще говоря, знаемъ старину очень плохо, хотя въ ней есть многое, весьма достойное вниманія.

Въ исторіи литературы, да пожалуй и жизни, очень обыкновенно слѣдующее явленіе. Существуетъ монета въ родѣ, напримѣръ, нашего петровскаго или екатерининскаго рубля,—огромная, грубая, неуклюжая, но полновѣсная и высокопробнаго серебра. Ходитъ она по рукамъ, на нее покупаютъ и продаютъ, и наконецъ она отслуживаетъ свой вѣкъ, ее вытѣсняютъ изъ употребленія другія монеты—гривенники, пятіалтынные, чистенькіе, аккуратные, съ хорошо вычеканеннымъ штемпелемъ нынѣшняго года. И старинный рубль забытъ. Можетъ быть онъ даже переплавленъ и, принявъ въ себя достаточное количество мѣди, обратился въ ходячую размѣнную монету. Очень натурально, что старинный рубль вышелъ изъ употребленія и развѣ только кое-гдѣ хранится въ видѣ рѣдкости. Онъ, въ самомъ дѣлѣ, и достоинствами, и недостатками своими, неудобенъ для насъ, но онъ всетаки полновѣсный, высокопробный, хотя и неуклюжій, некрасивый рубль, а гривенникъ есть гривенникъ. Всякія аналогіи легко разбиваются объ невозможность довести ихъ до конца; но мысль моя станетъ всетаки понятна, если я сравню Бальзака съ петровскимъ или екатерининскимъ рублемъ, а излюбленнаго у насъ Эмиля Зола—не съ гривенникомъ, конечно,—это будетъ несправедливо—а съ новенькимъ полтинникомъ, цѣнность котораго соотвѣтствуетъ условіямъ нынѣшняго денежнаго рынка, а изящество отдѣлки—нынѣшнимъ нашимъ эстетическимъ требованіямъ.

Зола самъ признаетъ, что Бальзакъ есть родоначальникъ «натуралистическаго романа», столь шумѣвшаго еще недавно. Но этого мало. Надо еще прибавить, что ученики отнюдь не превзошли своего учителя. Они свято сохранили всѣ его пріемы, какъ хорошіе, такъ и дурные, эксплуатируютъ его излюбленныя задачи, опять таки хорошія и дурныя, смотрятъ и на собственную задачу совершенно такъ же, какъ и онъ; словомъ, по существу не подвинулись ни на одинъ шагъ впередъ, и всѣ ихъ преимущества сводятся къ тому, что они приспособились къ требованіямъ нынѣшняго времени, когда установился уже извѣстный шаблонъ для романа. Безспорно, напримѣръ, что романы Зола построены въ архитектурномъ отношеніи гораздо правильнѣе произведеній Бальзака, переполненныхъ скучными и ненужными отступленіями, экскурсіями въ область весьма сомнительной философіи, совершенно произвольной психологіи, фантастической технологіи и химіи и проч. Но и эта разница съ извѣстной точки зрѣнія можетъ быть толкуема, по крайней мѣрѣ, не не въ пользу Бальзака. Всѣ эти ненужныя отступленія объясняются частію лихорадочною поспѣшностью работы, а частію тѣмъ, что въ такой удивительной лабораторіи, какою была голова Бальзака, даже его колоссальный талантъ не могъ справиться съ потоками возникавшихъ въ ней образовъ и идей. Зола съ аккуратностью французскаго буржуа распланировалъ свою безконечную исторію Ругоновъ: по роману во столько-то примѣрно страницъ въ годъ и чуть ли не по стольку-то строкъ въ день. Бальзакъ работалъ безъ всякаго плана, то затыкая написаннымъ глотку нетерпѣливаго кредитора, то останавливаясь среди романа за отказомъ усталаго воображенія придумать конецъ, то, напротивъ, увлекаясь необузданностью воображенія въ совершенно неожиданную сторону. Но рубль есть рубль, а полтинникъ только пятьдесятъ копѣекъ, и если гривенники и полтинники чеканятся по образу и подобію рублей, но безъ ихъ полноцѣнности, какъ равно и безъ ихъ неуклюжести, то не мѣшаетъ иногда и вспомнить о рубляхъ. Это, во-первыхъ, справедливо, какъ воздаяніе коемуждо по дѣламъ его; это, во-вторыхъ, поучительно, какъ историческая справка, какъ экскурсія къ одному изъ источниковъ современнаго творчества; это наконецъ можетъ быть интересно само по себѣ, ибо есть старыя произведенія, въ чисто художественномъ отношеніи далеко превосходящія разные нынѣшніе романы, ремесленно написанные и ремесленно переводимые въ нашихъ журналахъ.

Вотъ почему я съ удовольствіемъ увидалъ «Погибшія мечты» на страницахъ «Сѣвернаго Вѣстника». Это одинъ изъ лучшихъ романовъ Бальзака, и можно удивляться, что онъ не былъ переведенъ на русскій языкъ даже тогда, когда у насъ Бальзакомъ очень интересовались. Сверхъ того, это романъ очень типичный, какъ для самого Бальзака, такъ и для цѣлаго теченія въ новой французской литературѣ. Но, не смотря

на эту типичность, «Погибшія мечты» представляютъ еще совершенно спеціальный интересъ въ томъ смыслѣ, что выводятъ на сцену литературную среду, такъ рѣдко эксплуатируемую беллетристами, хотя въ публикѣ интересъ къ этой средѣ несомнѣнно очень силенъ. Въ самомъ дѣлѣ, между грамотными, читающими людьми едва ли много найдется такихъ, которые относились бы къ литературному міру вполнѣ равнодушно. Одни ненавидятъ его, презираютъ, боятся; имъ чудится въ немъ вмѣстилище и источникъ всякихъ бѣдъ общественныхъ, а иногда кромѣ того и личныхъ бѣдъ самого ненавидящаго и боящагося. Другіе, напротивъ того, видятъ въ литературномъ мірѣ что-то чуть не священное; не говоря о томъ, что у нихъ есть въ этой средѣ свои любимцы, къ которымъ они относятся съ благоговѣніемъ, вся среда въ цѣломъ представляется имъ лабораторіей высокихъ думъ, горячихъ чувствъ, и, можетъ быть, лучшая завѣтная мечта каждаго хорошаго юноши, а иногда и старца, состоитъ въ томъ, чтобы проникнуть въ это святилище и если не самому «глаголомъ жечь сердца людей», такъ хоть приблизиться къ тѣмъ, кто этимъ великимъ дѣломъ занимаетя. А между тѣмъ, беллетристика почти не пытается воспроизводить этотъ міръ, столь ненавистный и страшный однимъ, столь обаятельный для другихъ. Можно чуть не по пальцамъ сосчитать, какъ въ русской, такъ и въ иностранной литературѣ, произведенія сколько нибудь серьезныя, посвященныя изображенію нравовъ и типовъ литературной среды. Я говорю произведенія «сколько нибудь серьезныя» и не беру въ разсчетъ тѣ пасквили, которыми господа беллетристы иногда угощаютъ своихъ литературныхъ враговъ.

Такъ вотъ,—«Погибшія мечты» Люсьена Шардона, онъ же де-Рюбампре...

Люсьенъ красивъ, уменъ и талантливъ. Это—подарки судьбы, своего рода выигрыши въ лоттерею, которые сами по себѣ могли бы составить для другого предметъ мечтаній, конечно, безплодныхъ, потому что кому бабушка при рожденіи не ворожила, тотъ все равно не добьется подобныхъ преимуществъ, получаемыхъ счастливцами даромъ. Упорнымъ трудомъ можно добиться многаго, но не природныхъ дарованій. Во всякомъ случаѣ, Люсьену достались счастливыя карты изъ колоды жизни и, казалось бы, въ чемъ бы ни состояли его мечты, онѣ имѣютъ много шансовъ по крайней мѣрѣ не погибнуть, и однако онѣ погибли. Что же это были за мечты и отчего онѣ погибли?

Когда пережевываютъ на разные лады вопросъ о борьбѣ за существованіе въ человѣческомъ обществѣ, то забываютъ обыкновенно справедливое замѣчаніе, сдѣланное еще Альбертомъ Ланге: въ извѣстныхъ сферахъ идетъ не борьба за существованіе, а борьба за лучшее положеніе. Ту же мысль выразилъ недавно одинъ французскій физіологъ, говоря, что лишь у первобытныхъ народовъ происходитъ прямо и просто борьба за существованіе, а наша цивилизація замѣняетъ ее борьбой за наслажденіе. Въ самомъ дѣлѣ, въ той сутолокѣ, въ которой мы, цивилизованные люди, тѣснимъ и давимъ другъ друга, рѣчь идетъ не о томъ, чтобы просто существовать, то есть быть сытымъ, одѣтымъ, прикрытымъ отъ непогоды. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда и эти элементарныя потребности существованія не удовлетворены (это бываетъ и въ средѣ цивилизованныхъ людей), мы, можетъ быть, только развѣ въ самый моментъ настоящаго голода мечтаемъ о кускѣ хлѣба, а затѣмъ мечты наши раздвигаются на гораздо болѣе широкіе горизонты. Стиснутые въ толпѣ «ближнихъ», мы локтями и кулаками пробиваемся куда-то впередъ, къ какой-то цѣли, которая лишь отчасти, косвенно связывается съ вопросомъ существованія. Дѣйствительно, дѣло не въ томъ только, чтобы быть сегодня сытымъ и прикрытымъ, надо и о завтрашнемъ днѣ думать, а за завтрашнимъ слѣдуетъ еще цѣлый рядъ дней, изъ которыхъ слагаются годы съ убогою и безсильною старостью въ концѣ. Это, конечно, все тотъ же вопросъ просто существованія, просто жизни, лишь расширенный предусмотрительностью человѣка. Но, совершенно независимо отъ него, мы добиваемся еще чего-то, украшающаго жизнь, придающаго ей прелесть. Въ этомъ стремленіи сказывается одна изъ благороднѣйшихъ чертъ человѣческой природы. Борьба за существованіе въ буквальномъ смыслѣ этого слова оставляетъ бездѣятельными высшія способности человѣка; онѣ-то и протестуютъ противъ такой бездѣятельности, онѣ-то и жаждутъ работы, и изъ ихъ протеста и жажды слагается стремленіе впередъ, къ цѣли, иногда туманной, но, по слову — «не о единомъ хлѣбѣ живетъ человѣкъ» — весьма удаленной отъ вопроса о существованіи. Отсюда беретъ начало всякое творчество, художественное, миѳологическое, научное, нравственно-политическое; здѣсь источникъ мечтаній облагодѣтельствовать все человѣчество или по крайней мѣрѣ свою родину созданіемъ образцовъ высокаго въ той или другой сферѣ творчества; мечтаній, понятно, особенно яркихъ въ молодые годы, когда силъ, требующихъ работы, много, а опыта, указывающаго предѣлы этихъ силъ, мало. Но для того, чтобы предъявить міру образцы высокаго, плодъ работы высшихъ способностей духа, надо пробиться, растолкать

тѣснящуюся на жизненномъ пути толпу, стать впереди или выше ея, чтобы ослѣпить ее блескомъ идеи, оглушить громомъ истины, чтобы «глаголомъ жечь сердца людей». И вотъ начинается борьба за лучшее положеніе, слишкомъ часто оканчивающаяся гибелью не только мечтаній, а и самого мечтателя, Разная это бываетъ гибель и отъ разныхъ причинъ она зависитъ. Можетъ быть мечты были слишкомъ возвышены для даннаго времени, мѣста и обстоятельствъ. Можетъ быть мечтатель не разсчиталъ своихъ силъ и сунулся въ воду, не спросясь броду. А можетъ быть, пробиваясь къ своей цѣли, онъ нравственно пообтерся, утомился и промѣнялъ цѣль на одно изъ средствъ для ея достиженія: рѣшилъ, напримѣръ, что ему нужно 5,000 рублей для осуществленія завѣтной мечты, да, наживая ихъ, такъ пристрастился къ этому дѣлу, что ужъ ему потомъ и пятидесяти, и пятисотъ тысячъ мало, а мечта-то тѣмъ временемъ меркла, меркла, да и совсѣмъ погасла. Всяко бываетъ, и грустно бываетъ. Такъ грустно, что иной разъ не знаешь, что грустнѣе: когда человѣкъ гибнетъ, но и погибая любуется на все такъ же ярко блещущую для него мечту, или когда мечта гаснетъ одновременно съ погруженіемъ человѣка въ житейское болото борьбы за лучшее положеніе.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, то есть когда человѣкъ въ житейское болото погружается, борьба за лучшее положеніе принимаетъ уже спеціальный характеръ борьбы за наслажденіе. Если въ нее ударяются иногда даже натуры, не лишенныя, по крайней мѣрѣ въ ту пору когда «кровь кипитъ и силъ избытокъ», нѣкоторой возвышенности, то натуры низменныя съ нея обыкновенно начинаютъ и ею же, разумѣется, и кончаютъ. И ихъ мать родила, и они не чужды человѣческаго образа и подобія, а потому и они не могутъ просто только «питать и грѣть» свою плоть. Но у нихъ высшія способности человѣческаго духа, благодаря низменности натуры, направляются преимущественно на созданіе и изобрѣтеніе разныхъ способовъ усложнить и уразнообразить питаніе и согрѣваніе плоти. Сюда устремлены ихъ мечты, и кто же не знаетъ, какую по истинѣ геніальную изобрѣтательность проявляютъ они въ дѣлѣ обжорства, разврата, роскоши, интриги. Какъ ни грязно и омерзительно бываетъ то, что по этой части представляютъ намъ исторія и современная жизнь; какъ ни безпощадна жажда наживы, жажда денегъ, на которыя покупаются наслажденія, но не надо забывать, что эта виртуозность есть всетаки результатъ алканія незанятыхъ высшихъ способностей человѣка. Онѣ, эти способности, требуютъ себѣ работы, онѣ не хотятъ оставаться бездѣятельными, но низменная натура не можетъ предоставить имъ работы, дѣйствительно соотвѣтствующей человѣческому достоинству. Странно, даже ужасно видѣть драгоцѣннѣйшія свойства человѣка—умъ, талантъ, творчество, честолюбіе—направленными въ эту сторону, но это такъ.

Я упомянулъ въ числѣ драгоцѣнныхъ свойствъ человѣка честолюбіе и, можетъ быть, оскорбилъ этимъ чей нибудь пуританскій слухъ. Честолюбіе честолюбію рознь, и если мы замѣнимъ это слово, съ которымъ у насъ ассоціировалось представленіе чего то дурного другимъ словомъ, такъ чортъ выйдетъ не такъ страшнымъ, какъ его малюютъ. Честолюбіе есть жажда одобренія. Это одна изъ коренныхъ чертъ человѣческой природы, сама по себѣ не представляющая ничего неодобрительнаго. Что въ самомъ дѣлѣ дурного въ желаніи, чтобы люди, твои ближніе, твои братья, оцѣнили твои заслуги, если не теперь, такъ хоть въ отдаленномъ потомствѣ? Это только одно изъ выраженій альтруизма и кромѣ того могучій рычагъ движенія впередъ, къ совершенству, на всѣхъ поприщахъ. Художникъ, выставляющій свою картину, а не прячущій ее для собственнаго созерцанія въ своемъ кабинетѣ,—честолюбецъ. Герой, умирающій за свою идею и желающій, чтобы его геройская смерть послужила торжествомъ идеи и примѣромъ для другихъ—честолюбецъ. Всѣ тѣ благородные мечтатели, которые изо всѣхъ силъ пробиваются впередъ, чтобы съ виднаго мѣста ослѣпить людей свѣтомъ истины,—честолюбцы. И однако мы чтимъ этихъ честолюбцевъ, съ благодарностью и благоговѣніемъ носимъ ихъ имена въ памяти и сердце своемъ. Понятно, что честолюбіе бываетъ крупное и мелкое, хорошо направленное и извращенное. Если я, изъ жажды одобренія со стороны современниковъ, дѣлаю уступки совѣсти и всячески изгибаюсь, чтобы приладиться къ общественному мнѣнію, мое честолюбіе будетъ очень низкаго сорта. И точно также, если я гонюсь за внѣшними знаками одобренія,—аплодисментами, лавровыми вѣнками, тріумфами. Всѣ люди, всѣ человѣки. У всѣхъ даже великихъ людей есть свои слабости, и потому было бы напрасно искать конкретнаго воплощенія чистаго типа возвышеннаго честолюбія, безъ всякой примѣси. И настоящіе великіе люди могутъ питать, напримѣръ, слабость къ внѣшнимъ знакамъ одобренія и придавать имъ цѣну, высшую той, которой они на самомъ дѣлѣ стоятъ; могутъ даже вступать въ нѣкоторые компромиссы съ своей совѣстью. Но это не мѣшаетъ теоретическому различенію типовъ честолюбія, не мѣшаетъ и живому воплощенію этихъ ти-

повъ, хотя бы и не въ совершенной теоретической чистотѣ. И такихъ типовъ два. Для однихъ людское одобреніе есть лишь средство для осуществленія извѣстной цѣли, извѣстной завѣтной мечты. Они хотятъ «вверху стоять, какъ городъ на горѣ, дабы всѣмъ виденъ былъ», но имъ это нужно для удобнѣйшаго предъявленія и осуществленія своей, можетъ быть и безумной, мечты. Другіе ищутъ славы, одобренія, удивленія ради нихъ самихъ, это для нихъ не средства, а сама цѣль. Таковы всѣ вовлеченные низменностью своей натуры въ борьбу за наслажденіе. Они хотятъ не просто наслаждаться, а чтобы всѣ видѣли, что они наслаждаются, чтобы люди ахали передъ изяществомъ ихъ туалета, чтобы молва разносила во всѣ концы слухи о роскоши ихъ обѣдовъ, чтобы они всегда были у всѣхъ на виду, на первомъ мѣстѣ, но никакого дальнѣйшаго употребленія изъ этого «на виду» и изъ этого перваго мѣста они не думаютъ дѣлать. Это само по себѣ лестно, пріятно, составляетъ особое наслажденіе, и притомъ высшее, какое только доступно этому сорту людей.

Повторяю, въ жизни мудрено найти первый изъ этихъ двухъ типовъ честолюбцевъ въ совершенно чистомъ видѣ; второй же встрѣчается, конечно, очень часто, но и то къ нему примѣшивается иногда доля честолюбія возвышеннаго, и все дѣло, такимъ образомъ, сводится къ большей или меньшей пропорціи, въ которой смѣшиваются оба типа. Присматриваясь къ погибшимъ мечтамъ Люсьена, не трудно увидѣть, что онѣ почти цѣликомъ принадлежатъ ко второму сорту, и даже до удивительности. Какъ бы кто ни относился къ золотымъ грезамъ молодости, мечтающей осчастливить много, много людей своею литературною или какою другою дѣятельностью, но эти грезы естественны, до такой степени естественны, что совершенное ихъ отсутствіе въ молодомъ человѣкѣ, намѣтившемъ себѣ дорогу литератора, поражаетъ, какъ уродство. Люсьенъ именно и представляетъ собою такое уродство. О какой-нибудь идеѣ,—все, равно какого цвѣта,—которую онъ желаетъ возвѣстить людямъ, нѣтъ и помину. Богатство, наслажденія и слава,—вотъ къ чему сводятся его мечты относительно литературнаго поприща; слава, такъ сказать, абстрактная, самодовлѣющая; ему все равно какъ и чѣмъ прославиться. Когда г-жа де-Баржетонъ развернула передъ нимъ блестящую перспективу успѣха при помощи высшихъ сферъ, то «всѣмъ этимъ она заставила Люсьена чуть не мгновенно отказаться отъ простонародныхъ идей въ смыслѣ химерическаго равенства 1793 года, она пробудила въ немъ жажду отличій, стихшую было подъ вліяніемъ холоднаго разсудка Давида. Она убѣдила его, что высшее общество представляетъ единственную арену, достойную его дѣятельности, и полный ненависти либералъ превратился въ монархиста». Когда та же г-жа де-Баржетонъ стала его звать въ Парижъ, то «Люсьенъ, пораженный обольстительной картиной, которую открыла передъ нимъ Наиса, просто растерялся... Парижъ, этотъ Эльдорадо всѣхъ провинціальныхъ воображеній, предсталъ предъ нимъ во всемъ своемъ золотомъ блескѣ и манилъ его въ свои распростертыя объятія... Тамъ творенія поэта обогатятъ его и доставятъ ему извѣстность и славу. Прочитавъ первыя страницы «Стрѣлка Карла IX», книгопродавцы откроютъ свои кассы и скажутъ: «сколько вамъ угодно?»—Потомъ, когда измѣна г-жи де Баржетонъ и другія обстоятельства толкаютъ Люсьена въ кружокъ либеральныхъ, оппозиціонныхъ журналистовъ, онъ переходитъ въ ихъ лагерь, опять-таки въ расчетѣ на славу и богатство; потомъ вновь измѣняетъ и этому лагерю изъ-за надежды утвердить за собой аристократическую фамилію де-Рюбампре, подняться на высшія ступени общественной лѣстницы и тамъ достигнуть осуществленія своихъ мечтаній. И ни разу, но рѣшительно ни единаго разу не видимъ мы хотя бы слабаго намека на какія либо иныя мечты, которыя такъ свойственны переживаемому Люсьеномъ âge des fleurs et du soleil. Онъ былъ бы, можетъ быть, смѣшонъ, еслибы видѣлъ въ своихъ «Маргариткахъ» и «Стрѣлкѣ Карла IX» какой-нибудь рычагъ для переворота въ искусствѣ, указаніе литературѣ новыхъ, широкихъ и свѣтлыхъ путей, образчики новыхъ идей, чисто литературныхъ или нравственныхъ, политическихъ. Все это было бы слишкомъ надменно и комично въ своей надменности, но всетаки несравненно симпатичнѣе и даже просто естественнѣе, чѣмъ плоское убѣжденіе, что «Маргаритки» и «Стрѣлокъ Карла IX» суть ключи къ денежному сундуку. Насъ коробитъ при этомъ не самая мечта,—мы вѣдь такъ привыкли къ ней,—а, во-первыхъ, то, что ее ни на одну минуту не выпускаетъ изъ сердца своего молодой человѣкъ, у котораго едва-ли даже материнское молоко на губахъ совсѣмъ обсохло, и, во-вторыхъ, то, что этотъ молодой мечтатель—литераторъ. Неудивительно, если, напримѣръ, молодой купчикъ мечтаетъ о томъ, что онъ наживетъ много денегъ, будетъ носить самые модные панталоны и галстухи, ѣздить въ коляскѣ, и что про него весь свѣтъ кричать будетъ. Но литераторъ, поэтъ... Прошло, конечно, то время, когда неизбѣжными примѣтами поэта считались

«всегда восторженная рѣчь и кудри черныя до плечъ», очи, поднятыя къ небу, нѣкоторое возвышенное ротозѣйство или, по другому шаблону, меланхолическій взглядъ, блѣдное чело, печать страданія, дескать,— не пьетъ, не ѣстъ, а все только на лирѣ бряцаетъ. Мы очень хорошо знаемъ, что поэтъ, какъ и прозаикъ и вообще писатель, можетъ имѣть глаза сѣрые, носъ умѣренный, ротъ обыкновенный, особыхъ примѣтъ никакихъ. Но мы привыкли всетаки думать, что самая профессія писателя заставляетъ его, если не всегда парить надъ землей, то, по крайней мѣрѣ, время отъ времени подниматься въ область чистыхъ идеаловъ и безкорыстнаго служенія идеѣ; что писатель имѣетъ право сказать о себѣ: «диктуетъ совѣсть, перомъ сердитый водитъ умъ». И, къ счастью, это представленіе о писателѣ и доселѣ имѣетъ для себя фактическія основанія, хотя житейская практика и много прорѣхъ въ немъ сдѣлала. Образъ Люсьена такъ рѣзко противорѣчитъ этому привычному представленію о писателѣ, что поневолѣ является вопросъ: не карикатура ли это? не злонамѣренное ли это извращеніе дѣйствительности? Вопросъ тѣмъ болѣе возможный, что вся литературная среда, какъ ее изображаетъ Бальзакъ въ «Погибшихъ мечтахъ», слишкомъ ужъ густо окрашена мрачными красками.

Достойно вниманія, что не только самъ Люсьенъ не мечтаетъ ни о чемъ другомъ, кромѣ славы и богатства, но и всѣ остальныя дѣйствующія лица романа поголовно манятъ его тѣмъ-же. Нечего говорить о г-жѣ де-Баржетонъ. Но вотъ епископъ, человѣкъ почтенный и умный, говоритъ молодому поэту: «Франціи недостаетъ великой священной поэмы; повѣрьте мнѣ: слава и богатство будутъ удѣломъ того талантливаго человѣка, который начнетъ трудиться во имя религіи». Не величіемъ религіозной идеи самой по себѣ прельщаетъ юношу этотъ высокій сановникъ, а тѣми же славой и богатствомъ. Не карикатура ли и это? Д'Артецъ, самый видный членъ того учено-литературнаго кружка, который Бальзакъ желаетъ изобразить въ наилучшемъ свѣтѣ и положительно заваливаетъ цѣлой горой добродѣтелей; этотъ идеальнѣйшей Д'Артецъ, наговоривъ много хорошихъ словъ о трудѣ, «мученичествѣ» писателя, желающаго «возвыситься надъ уровнемъ толпы», кончаетъ свое наставленіе Люсьену такъ: «послѣ десятилѣтняго настойчиваго труда, вы добьетесь славы и богатства». Этьенъ Лусто «пріѣхалъ два года тому назадъ изъ провинціи съ трагедіей въ карманѣ, привлеченный тѣмъ-же, чѣмъ и Люсьенъ, то есть надеждой на славу, могущество, богатство». Натанъ, только что написавшій прекрасную книгу, Натанъ, на котораго Люсьенъ смотритъ, «какъ на полубога», льстиво говоритъ вліятельному газетному критику: «вы на великолѣпной дорогѣ; вамъ, вѣроятно, платятъ громадныя деньги?» Словомъ, у всѣхъ дѣйствующихъ лицъ романа, даже у тѣхъ, кого Бальзакъ отнюдь, повидимому, не желаетъ подвергать ударамъ сатирическаго бича, или совсѣмъ нѣтъ иныхъ цѣлей жизни, или въ концѣ концовъ изъ подъ разныхъ оболочекъ всетаки выглядываютъ тѣ же деньги, слава, наслажденіе, власть, какъ завѣтнѣйшія, самыя дорогія мечты. Изъ этого слагается, наконецъ, такой странный сумбуръ, въ которомъ теряется всякая разница между добромъ и зломъ. Это какой-то хаосъ, въ которомъ небо не отдѣлено отъ земли, вода отъ огня.

Потерпѣвъ фіаско въ высшемъ свѣтѣ, Люсьенъ восклицаетъ: «Боже мой, денегъ, во что бы ни стало! Золото, вотъ единственное могущество, передъ которымъ преклоняется свѣтъ. Нѣтъ! — возражала совѣсть: не деньги, а слава... Но слава, это —трудъ. Трудъ—это говорилъ Давидъ. Боже мой, зачѣмъ я здѣсь? Но я восторжествую! Я самъ проѣду по этой аллеѣ съ лакеемъ на запяткахъ! Мнѣ будутъ принадлежать маркизы д'Эспаръ». Замѣтьте, что «совѣсть» этого двадцатилѣтняго мальчика не можетъ подсказать ему ничего, кромѣ «славы». Это высшій пунктъ, до котораго можетъ достигнуть взбудораженная душевной бурей волна совѣсти Люсьена, и немудрено, что она не мѣшаетъ юношѣ высасывать изъ своихъ родныхъ ихъ трудовые гроши, совершать на каждомъ шагу измѣны и предательства и кончить погибелью въ почти невѣроятной грязи. Окончательно убѣдившись въ измѣнѣ г-жи де-Баржетонъ, Люсьенъ пишетъ ей: «Что сказали бы вы, сударыня, о женщинѣ, которой понравился бы какой нибудь скромный и тихій юноша, полный тѣхъ *благородныхъ вѣрованій*, которыя люди впослѣдствіи называютъ обманчивыми мечтами» и т. д. Нравственное невѣжество Люсьена столь велико, что онъ можетъ серьезно и искренно говорить о своихъ «благородныхъ вѣрованіяхъ» до разрыва съ г-жей де-Баржетонъ. Но вѣдь мы знаемъ, какія это были вѣрованія и мечты. Въ Ангулемѣ онъ вѣрилъ и мечталъ, что будетъ блистать въ высшемъ обществѣ, въ Парижѣ было то же самое, съ обостреніемъ въ направленіи модныхъ панталонъ и галстуховъ. Нельзя, кажется, сказать, чтобы это были такъ ужъ въ самомъ дѣлѣ очень благородныя вѣрованія. Любопытно, что и самъ Бальзакъ видитъ въ письмѣ Люсьена «приливъ гнѣвной гордости» и, признавая его напыщенность, находитъ, что оно «полно, однако, мрачнаго достоинства».

Когда Этьенъ Лусто, въ длинной и страстной рѣчи, раскрываетъ Люсьену свою оскорбленную и наболѣвшую душу, когда и въ немъ волна взбудораженной совѣсти поднимается до высшей доступной ей точки, онъ говоритъ, между прочимъ: «И я былъ добръ! У меня было чистое сердце! Теперь моей любовницей актриса изъ Panorama Dramatique, а я мечталъ о любви какой-нибудь изящной женщины большого свѣта»! Вотъ она—несбывшаяся мечта «чистаго сердца»: любовь женщины большого свѣта... Чище этого Лусто и представить себѣ не можетъ. И это говоритъ человѣкъ можетъ быть въ искреннѣйшую минуту всей своей жизни.

Въ страстную и великолѣпную въ своемъ родѣ рѣчь Этьена Лусто Бальзакъ несомнѣнно вложилъ много своего собственнаго, задушевнаго, выбравъ на этотъ разъ форму не прямого авторскаго бичеванія, а самобичеванія погрязшаго въ болото «журналиста». Здѣсь сказалось его собственное пониманіе добра и зла, которое, впрочемъ, сквозитъ во всемъ романѣ, выступая иногда и въ видѣ прямыхъ указаній автора. Такъ, еще въ началѣ любви къ г-жѣ де-Баржетонъ въ Люсьенѣ происходятъ разныя колебанія, и одно изъ нихъ Бальзакъ живописуетъ отъ себя, собственными, авторскими комментаріями: «Ему казалось, что было бы въ тысячу разъ почтеннѣе завоевать себѣ положеніе въ свѣтѣ литературными успѣхами, не прибѣгая къ благосклонности женщины. Его геній современемъ засіяетъ собственнымъ блескомъ,—тогда женщины будутъ любить его. Таковъ былъ Люсьенъ: онъ переходилъ отъ зла къ добру и отъ добра къ злу съ одинаковою легкостью».

Очевидно, что Бальзакъ вращается въ томъ же кругѣ идей и интересовъ, въ которомъ пребываетъ несчастный Люсьенъ. Онъ не одобряетъ грязныхъ и прямо безчестныхъ средствъ, къ которымъ Люсьенъ и другія дѣйствующія лица романа прибѣгаютъ для осуществленія своихъ мечтаній; это—зло, но самыя мечты другое дѣло, Бальзакъ готовъ ихъ признать, вмѣстѣ съ Люсьеномъ, «благородными вѣрованіями», и, вмѣстѣ съ Этьеномъ Лусто, мечтами «чистаго сердца». Бальзакъ какъ бы говоритъ своимъ романомъ: наслажденіе, слава, богатство,—все это достойныя, высшія цѣли человѣческаго существованія, но для достиженія ихъ не слѣдуетъ воровать платковъ изъ кармановъ. Люсьенъ совсѣмъ не карикатура, какъ мы было готовы были предположить въ своей обидѣ за привычный образъ писателя—«властителя думъ», писателя—свѣточа, руководящаго и указывающаго пути. Мечты самого Бальзака совершенно совпадаютъ съ мечтами Люсьена и прочихъ дѣйствующихъ лицъ романа. Онъ только протестуетъ противъ элементарно безчестныхъ средствъ, пускаемыхъ этими господами въ ходъ и только за нихъ и казнитъ «журналистовъ» и доводитъ Люсьена до мерзостнаго конца. Его идеалъ въ литературѣ, это—Д'Артецъ, работящій, благородный, преданный своему дѣлу и друзьямъ, гордо переносящій лишенія, но въ концѣ концовъ выдвигающій ту же формулу—«слава и богатство», какъ увѣнчаніе зданія десятилѣтняго упорнаго труда. Подобно Люсьену, у Бальзака у самого нѣтъ въ распоряженіи такой идеи, такой мечты, къ подножію которой онъ могъ бы направить работу своего огромнаго таланта. И это характерно не только для него, а и для всего «натуралистическаго» романа, представители котораго справедливо считаютъ Бальзака своимъ родоначальникомъ. Не даромъ эти господа, съ Эмилемъ Зола во главѣ, толкуютъ разный вздоръ о своей «безстрастной анатоміи», «научныхъ пріемахъ творчества», «протоколахъ» и «документахъ человѣческой жизни». Они нравственно и политически безстрастны не намѣренно, не потому, что они въ самомъ дѣлѣ желаютъ быть анатомами и протоколистами, а просто потому, что у нихъ нѣтъ соотвѣтственной страсти, точнѣе говоря, нѣтъ религіозной или нравственно-политической мечты, которой они могли бы отдаться со страстью. Будь у нихъ эта мечта, эта «святая святыхъ»,—все равно въ чемъ бы она ни состояла, въ торжествѣ какихъ бы началъ она ни заключалась,—и всѣ бы эти анатоміи и протоколы растаяли, какъ воскъ отъ лица огня, ибо вздоръ они, вздоръ и маска. У Люсьена нѣтъ такой мечты, нѣтъ ея и у Бальзака, и у нынѣшнихъ правовѣрныхъ «натуралистовъ». Всѣ они одинаково пробиваются впередъ, руководимые мечтою о славѣ, богатствѣ, наслажденіяхъ. Ко всему прочему они равнодушны. И вотъ несчастный Люсьенъ, увлеченный своею надменною горячностью, гибнетъ въ водоворотѣ предательскихъ измѣнъ то одному знамени, то другому, потому что въ сущности ему до всѣхъ до нихъ никакого дѣла нѣтъ; а напримѣръ, Эмиль Зола благую часть избралъ: сидитъ и пишетъ «протоколы», оправдывая и маскируя разными якобы учеными словами свой индиферентизмъ, совершенно тождественный съ индиферентизмомъ Люсьена, но при этомъ тихо и смирно, отнюдь не воруя платковъ изъ кармановъ, достигаетъ своей мечты—славы и денегъ. Ни самъ Бальзакъ, ни «натуралисты» не предъявили ни одного принципа, съ точки зрѣнія котораго подлежало бы осужденію предательское вольтижированіе Люсьена изъ лагеря консерваторовъ къ либераламъ и обратно,

и опять обратно. Ну, а жить, какъ живетъ Люсьенъ, насчетъ любовницы и ея содержателя, поддѣлывать векселя, вымогать гроши у бѣдныхъ родственниковъ, заниматься шантажемъ и проч.,—это такъ элементарно постыдно, что уразумѣніе этой постыдной жизни доступно и людямъ невысокаго нравственнаго уровня, и людямъ вполнѣ индиферентнымъ. Сюда то и направляются сатирическіе удары Бальзака и «натуралистовъ». Повторяю, — «протоколы», «безстрастная анатомія» это просто вздоръ, которымъ въ дѣйствительности никто никогда не занимался, и маска, которую носятъ очень многіе, иногда даже неумышленно, а напротивъ по недомыслію. Разъ человѣкъ взялъ перо въ руки съ цѣлью живописать человѣческую жизнь, онъ никогда анатоміей и протоколами не ограничится и ограничиться не можетъ. Онъ непремѣнно явится судьей и проповѣдникомъ, и разница между разными писателями въ этомъ отношеніи состоитъ только въ томъ, что для однихъ районъ явленій, подлежащихъ суду, и идей, нуждающихся въ проповѣди, шире, а для другихъ уже. У «натуралистовъ» нѣтъ нравственно-политическаго идеала, и они пишутъ протоколы и безстрастно анатомическіе трактаты, но элементарныя нравственныя истины имъ доступны, и потому они пестрятъ свои протоколы болѣе или менѣе страстнымъ обличеніемъ воровства носовыхъ платковъ.

Этими чертами опредѣляется и нѣкоторый шаблонъ самой фабулы великаго множества французскихъ романовъ и повѣстей, шаблонъ, установленный Бальзакомъ и очень часто имъ самимъ эксплуатированный, между прочимъ, и въ «Погибшихъ мечтахъ»: провинціальный человѣкъ ѣдетъ въ Парижъ добывать славу и деньги, а затѣмъ и все прочее, отсюда истекающее,—власть, могущество, наслажденія. Трудно придумать для романа рамки болѣе благодарныя, хотя бы уже потому, что они даютъ писателю возможность развернуть передъ жадными глазами провинціала разнообразнѣйшія картины столичной жизни. Та парижская сутолока, въ которую вовлекается провинціалъ и въ которой всѣ лѣзутъ впередъ, расталкивая сосѣдей плечами и кулаками, давя имъ ноги или хватая ихъ за полы, представляетъ при этомъ множество глубоко драматическихъ мотивовъ: тутъ и предательство, и всякаго другого рода позоръ, и купля-продажа людей и убѣжденій, и стоны и проклятія гибнущихъ, и минутами вспыхивающая совѣсть, ярко освѣщающая на мгновеніе всю глубину позора, чтобы тотчасъ же опять погаснуть, и безсонныя ночи и мучительные дни, и мечты торжествующія, и мечты погибшія. Всѣмъ этимъ Бальзакъ воспользовался въ «Погибшихъ мечтахъ» съ мастерствомъ изумительнымъ, хотя, можетъ быть, не всякій читатель сразу оцѣнитъ по достоинству этотъ тяжеловѣсный и неуклюжій рубль. И дѣло здѣсь не только въ первоклассномъ талантѣ Бальзака, а кромѣ того и въ нѣкоторыхъ счастливыхъ сочетаніяхъ и его достоинствъ, и его недостатковъ. Бальзакъ, собственно говоря, вполнѣ сочувствуетъ походу своего героя за славой и деньгами, а въ жадности къ славѣ видитъ даже нѣчто очень благородное, хотя въ *такой* жадности благородства мало. Поэтому, не смотря на унизительнѣйшія положенія, въ которыя онъ ставитъ Люсьена хуже чего, кажется, и выдумать нельзя онъ до конца не лишаетъ его нѣкоторой своей симпатіи, силою таланта сообщая ее и читателямъ. Выходитъ такъ, что Люсьена пожалѣть можно, хотя онъ, если прямо-то говорить, просто негодяй. Вслѣдствіе этого весь романъ складывается для читателя въ исторію слабаго человѣка, у котораго охота смертная, да участь горькая. За отсутствіемъ какого бы то ни было нравственнаго фонда, онъ ежеминутно готовъ сподличать съ излишнею даже торопливостью, но готовъ сейчасъ же и каяться. Не хватайся онъ такъ нетерпѣливо за первые попавшіеся случаи подняться на верхъ, имѣй онъ больше выдержки, но и больше устойчивости въ дѣлѣ подлости, онъ, со своимъ умомъ и талантомъ, конечно, добился бы своего, и мечты его не погибли бы: имѣлъ бы онъ и власть, и славу, и деньги. Торопливость же его, кромѣ алчности, объясняется еще непомѣрнымъ самомнѣніемъ. Изъ всего этого слагается типъ въ высшей степени цѣльный, законченный, и одинъ онъ доставилъ бы Базьзаку славу большого писателя, еслибы онъ не написалъ даже ничего больше.

Говорятъ, что манія величія есть болѣзнь нашего прославленнаго XIX вѣка. Въ этомъ есть несомнѣнно доля правды. Когда лѣсъ рубятъ,—летятъ щепки и никто не ведетъ имъ счета. Когда всѣ лѣзутъ изъ кожи, чтобы пробиться впередъ, должно быть много погибшихъ, ибо первыхъ мѣстъ не много. Нервы и мозгъ, напряженные неустанной и часто непосильной борьбой за лучшее положеніе, за первыя мѣста, не выдерживаютъ, и пунктомъ помѣшательства естественно является это лучшее положеніе, эти первыя мѣста. Человѣку такъ страшно хочется выдвинуться, что ему начинаетъ казаться, будто онъ и въ самомъ дѣлѣ выдвинулся, что онъ «Фердинандъ VIII, король испанскій», и только враги и завистники не хотятъ его признавать или мѣшаютъ возсѣсть на испанскій престолъ. Положеніе

Люсьена осложняется еще вліяніемъ провинціальной жизни. Въ провинціи есть, безъ всякаго сомнѣнія, дѣятели чрезвычайно почтенные и въ то же время знающіе себѣ настоящую цѣну. Но для людей слабыхъ и неустойчивыхъ, хотя и не глупыхъ и талантливыхъ, въ родѣ Люсьена, провинціальная глушь есть истинно погибель. Они тамъ чувствуютъ себя выше всѣхъ окружающихъ. «Жестокіе, сударь, нравы въ нашемъ городѣ», какъ говоритъ въ «Грозѣ» Кулигинъ, и тотъ же Кулигинъ на себѣ испытываетъ издѣвательства разныхъ «степенствъ» надъ умственнымъ превосходствомъ. Но Кулигинъ человѣкъ немолодой, видавшій виды, скромный и притомъ наклонный къ созерцанію. Другой на его мѣстѣ можетъ именно на этихъ дикихъ издѣвательствахъ и преслѣдованіяхъ построить преувеличенное о себѣ мнѣніе. А затѣмъ можетъ составиться кружокъ почитателей, хотя бы только изъ близкихъ родныхъ и любящей женщины (какъ оно и было съ Люсьеномъ), или и другихъ, постороннихъ людей, изголодавшихся въ глуши по живой мысли и живому слову. Они искренно удивляются неглупому и талантливому, но слабому и неустойчивому человѣку, окружаютъ его атмосферой лести, похвалъ, преувеличенныхъ надеждъ и ожиданій. И вотъ человѣкъ наконецъ «возмнилъ, якобы изо лба у него фиговое дерево произростаетъ». Это очень печальная, но очень обыкновенная исторія. Начиненный преувеличенными надеждами и ожиданіями, человѣкъ съ фиговымъ деревомъ во лбу стремится въ столицу, ибо только тамъ, въ самомъ центрѣ умственной жизни, онъ можетъ найти для себя достойное поприще. Но тамъ онъ натурально получаетъ щелчки за щелчками, и благо ему, если онъ, спохватившись во время, убирается назадъ, въ свою глушь, гдѣ можетъ до конца дней дивить свой муравейникъ. Люсьенъ не спохватился, да и некогда ему было спохватиться, потому что волны парижской жизни слишкомъ быстро повлекли его въ открытое море и довели до крушенія. Парижскіе щелчки не образумливаютъ его, а дѣйствуютъ, какъ удары кнута на горячую лошадь. Послѣ всякаго щелчка, его оскорбленное самолюбіе подмываетъ его закусить удила и на зло всѣмъ добиться своего цѣною какихъ-бы то ни было средствъ. Не смотря на предостереженія Д'Артеца и его кружка, онъ бросается слабой и закружившейся головой въ омутъ «журналистики», барахтается тамъ, добивается успѣха, который еще болѣе убѣждаетъ его въ произрастаніи во лбу его фиговаго дерева; надменный успѣхомъ, совершаетъ дѣла, даже въ этой отвратительной средѣ непозволительныя, и тонетъ...

Я все ставлю слова «журналисты», «журналистика» въ ковычкахъ, дабы обратить на нихъ вниманіе читателя, и имѣю для этого важные резоны; важные по крайней мѣрѣ съ моей точки зрѣнія, съ точки зрѣнія журналиста, свободно избравшаго эту дорогу, двадцать пять лѣтъ на ней работающаго и никогда никакой другой дорогой не соблазнявшагося. Неужели-же эта «журналистика» дѣйствительно такъ омерзительна, какъ рисуетъ ее Бальзакъ въ «Погибшихъ мечтахъ», и нѣтъ въ ней ни единаго человѣка, который-бы «дѣлъ своихъ цѣною злата не взвѣшивалъ, не продавалъ, не ухищрялся противъ брата и на врага не клеветалъ»?

Прежде всего, надо сдѣлать маленькую поправку къ русскому переводу романа Бальзака. Люсьенъ встрѣчаетъ въ Парижѣ двѣ разновидности литераторовъ. Къ одной принадлежитъ кружокъ Д'Артеца. Это люди благородные, работающіе, добросовѣстно относящіеся къ своему дѣлу; внѣшній же ихъ признакъ тотъ, что они пишутъ или готовятся писать книги, хотя, впрочемъ, одинъ изъ нихъ издаетъ потомъ еженедѣльную газету. Эти люди нарисованы у Бальзака, прямо надо сказать, плохо,—слишкомъ ужъ онъ заваливаетъ ихъ добродѣтелями, выходитъ слащаво и неумѣло. За то, другая разновидность писателей—журналисты изображены мастерски: и со страстью, и съ очевиднымъ знаніемъ дѣла, и съ такою яркостью, что вы передъ собой точно живьемъ видите эту алчную, разнузданную свору. Это, однако, не «журналисты» въ нашемъ смыслѣ слова, а «газетчики». Физіономія русскаго «журнала» есть нѣчто вполнѣ самобытное, Европѣ не знакомое. Та руководящая, воспитательная роль, которую у насъ исполняютъ журналы, въ Западной Европѣ предоставлена книгамъ и брошюрамъ, суммирующимъ, подобно нашимъ журналамъ, вопросы текущихъ дней и дающимъ явленіямъ жизни общее теоретическое освѣщеніе. Не имѣя непосредственнаго общенія съ мелочной сутолокой текущаго дня, имѣя съ другой стороны высокую миссію, наложенную на нихъ историческими условіями, журналы наши уже самымъ положеніемъ своимъ гарантированы отъ той грязи, въ которой, захлебываясь, купаются «журналисты» романа Бальзака. О, я не питаю никакихъ иллюзій на счетъ нравовъ нашей журналистики! Я слишкомъ хорошо знаю, что не боги горшки обжигаютъ и что и у насъ журналисты бываютъ разные: сплетни, зависть, интриги, клевета, фиговыя деревья, изо лба произрастающія, предательство, разладъ между словомъ и дѣломъ,—все здѣсь есть. Но, какъ мусульманинъ, входя въ мечеть, долженъ оставить обувь свою у по-

рога, такъ и русскій журналистъ, вообще говоря, по самымъ условіямъ своей работы, не можетъ вносить въ нее свою душевную грязь. *Вообще говоря*, потому что исключенія, конечно, и здѣсь есть. То вы встрѣтите ядовитый подвохъ литературному врагу, то пасквиль, въ которомъ васъ каждый узнаетъ, хотя вамъ приписаны никогда не совершенныя вами гнусности, то намеки тонкіе на то, чего не вѣдаетъ никто. Но всетаки, центръ тяжести литературной грязи лежитъ у насъ, какъ и въ Европѣ, въ газетахъ. О, тамъ не снимаютъ обуви при входѣ въ храмъ, потому что и храма-то никакого нѣтъ! Тамъ такъ-таки съ грязными сапогами и въ душу человѣческую лѣзутъ и имѣютъ при этомъ необыкновенно развязный видъ. Тамъ дѣло клеветы и шантажа, измѣны и всяческой низости получаетъ ежедневную пищу и разростается, какъ шампиньоны на жирномъ навозѣ; тѣмъ болѣе, что о судѣ потомства или даже современниковъ нечего думать людямъ, писанія которыхъ завтра же поступаютъ въ лавочку на обертку селедокъ и колбасы; имъ нужно только произвести извѣстное впечатлѣніе.

Виньонъ, за ужиномъ у Флорины, говоритъ: «Если газета придумаетъ гнусную клевету, то отговорится тѣмъ, что передала только слухи. Отъ протестующаго лица она отдѣлается извиненіемъ. Если ее притянуть къ суду, она станетъ жаловаться, что у нея не просили опроверженія. Но попробуйте сдѣлать это, и она откажетъ вамъ, сопровождая отказъ шутками и дѣлая видъ, что считаетъ свое преступленіе бездѣлицей. Наконецъ, она осмѣетъ свою жертву, если та восторжествовала. Если ей придется платить много штрафовъ, то она обзоветъ своего противника врагомъ свободы, отечества и просвѣщенія... Все, что ей не нравится, будетъ лишено патріотизма и никогда *она* не будетъ не права... Она будетъ поносить магистратуру, если та ее затронетъ, она будетъ хвалить ее, если та начнетъ служить страстямъ. Чтобы добыть подписчиковъ, она будетъ выдумывать самыя сенсаціонныя басни и ломаться, какъ клоунъ».

Все это и многое другое, что я очень рекомендую читателю возобновить въ своей памяти, перечитавъ въ особенности отчаянную исповѣдь Этьена Лусто и разговоры за ужиномъ у Флорины, написано точно вчера, а не пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Такъ это сильно, ярко и правдиво. Неправдиво только то, что этому ужасающему омуту ничего не противопоставлено, ибо мы знаемъ, что и въ газетномъ мірѣ не все только дневной разбой происходитъ, что есть газетчики и газетчики,—Иваны Непомнящіе и Ахбѣдные...

Это — персонажи превосходнаго очерка Щедрина «Газетчикъ», вошедшаго въ отдѣльное изданіе «Мелочей жизни» и до того нигдѣ не появлявшагося. Я кончу на этотъ разъ свой дневникъ выпиской изъ этого очерка.

Газетчикъ Иванъ Непомнящій началъ свою литературную карьеру легонькими фельетонцами и житьемъ впроголодь, но постепенно возвышаясь, онъ достигаетъ наконецъ всего того, о чемъ мечталъ Люсьенъ Шардонъ де-Рюбампре. Онъ владѣлецъ большой газеты, «богатъ и славенъ» (какъ Кочубей), все къ его услугамъ. — Онъ даетъ своимъ сотрудникамъ и прихлебателямъ роскошный обѣдъ. «Но Непомнящему уже все надоѣло. Онъ едва притрогивается къ великолѣпному шо-фруа, почти съ презрѣніемъ отламываетъ клешню рака à la bordelaise,— пососетъ и броситъ. Въ воображеніи его проносится какое-то диковинное блюдо, въ которомъ рядомъ фигурируютъ и шоколадъ, и мармеладъ, и икра съ масломъ, и стерлядь, и говяжій сычугъ. Все это онъ ѣдалъ отдѣльно, а теперь хотѣлось бы разомъ свалить всѣ ингредіенты въ кострюлю, полить уксусомъ, яичнымъ желткомъ и дать упрѣть. Но увы!—это только мечта! Не разъ онъ сообщалъ эту мечту своему повару, но послѣдній только улыбался, слушая его. Извѣстно, богатому человѣку и бредъ на яву къ лицу». — Иванъ Непомнящій «чаще и чаще повторяетъ, что все на свѣтѣ семъ превратно, все на свѣтѣ коловратно; что философія, наука, искусство—все исчерпывается словомъ nichts! Посмотритъ на пукъ ассигнацій, принесенный изъ конторы, и скажетъ: nichts! прочитаетъ корректуру газеты и опять скажетъ: nichts! Еслибы былъ подъ рукой Мефистофель, онъ приказалъ бы ему потопить корабль съ грузомъ шоколада. —Сходите въ мелочную лавочку и принесите колбасы! восклицаетъ онъ.—Онъ разсматриваетъ колбасу въ микроскопъ и видитъ шевелящихся трихинъ. Какая прекрасная мысль для фельетона: бѣднякъ заходитъ въ лавочку, покупаетъ для поддержанія жизни на гривенникъ колбасы и обрѣтаетъ смерть! Съ другой стороны, пресыщенный богачъ, подъ внушеніемъ внезапной прихоти... опять колбаса—и опять смерть! Какое горькое сопоставленіе! Однако, ѣсть-ли принесенную изъ лавки колбасу, или не ѣсть? Собственно говоря, жизнь такъ надоѣла, что всего естественнѣе было бы съѣсть колбасу и умереть».—«Не зная, какъ освободиться отъ массы денегъ и отъ гнета бездѣльничества, онъ начинаетъ коллекціонировать»: покупаетъ картины, въ которыхъ ничего не смыслитъ, китайскія, японскія рѣдкости, которыя ему совсѣмъ не нужны. «А газета,

между тѣмъ, идетъ все ходчѣе и ходчѣе. Подписчикъ такъ и валитъ; отъ кухарокъ, дворниковъ, кучеровъ (съ объявленіями) отбою нѣтъ. У Непомнящаго голова съ каждымъ днемъ дѣлается менѣе и менѣе способною выдумать что-нибудь путное для помѣщенія денегъ». То ему хочется купить замокъ Лампопо въ Италіи, то усадьбу знаменитаго боярина Карачуна, упоминаемаго въ «Аскольдовой могилѣ». — «Газету свою онъ начинаетъ ненавидѣть. — Помилуйте! каждый день, каждый день, словно червь неусыпающій, появляется на столѣ эта ненавистная простыня! Ахъ, когда же, когда?! —Но внутренній голосъ отвѣчаетъ: никогда! Онъ даже перемѣнить одну безцѣльную глупость на другую не можетъ, потому что одна требуетъ массу денегъ, другая—даетъ ихъ». «Тѣмъ не менѣе, газетная машина, однажды пущенная въ ходъ, работаетъ все бойчѣе и бойчѣе. Безъ идеи, безъ убѣжденій, безъ яснаго понятія о добрѣ и злѣ, Непомнящій стоитъ на стражѣ руководительства, не вѣря ни во что, кромѣ тѣхъ пятнадцати рублей, которые приноситъ подписчикъ, и тѣхъ грошей, которые одинъ за другимъ вытаскиваетъ изъ кошеля кухарка».

Мечты Люсьена Шардона де-Рюбампре погибли потому, что у него не хватало выдержки и устойчивости въ дѣлѣ подлости. Доведи онъ это свое дѣло до конца, онъ очутился бы въ положеніи Ивана Непомнящаго, онъ имѣлъ бы все, объ чемъ мечталъ. Но если обобщить эти мечты въ формулу «жизни въ свое удовольствіе», такъ можно ли назвать существованіе Ивана Непомнящаго жизнью въ свое удовольствіе? Ну, пробился, пролѣзъ впередъ, отдавивъ по дорогѣ множество ногъ и отколотивъ самому себѣ кулаки и плечи объ чужіе бока, ну, а дальше то что? Сиди, какъ ракъ на мели, да съ тоски усами шевели. Даже невесело! Ну, а какъ вдругъ грѣхомъ какъ-нибудь еще непрошенная гостья—совѣсть заговоритъ, да начнетъ своими страшными когтями по тоскующему сердцу скрести, тогда что? Нѣтъ, видно этимъ мечтамъ всегда суждено быть, тѣмъ или другимъ способомъ, разбитыми. Должно быть гоняться за осуществленіемъ ихъ, а тѣмъ паче подличать ради нихъ,— просто даже не расчетъ. Должно быть мечтатели иного рода даже практичнѣе.

XI.

Журнальныя замѣтки *).

— Что же это за «дневникъ читателя», когда мы не находимъ въ немъ отраженія именно того, что мы ежедневно читаемъ,— газетъ, журналовъ?!

Такія сѣтованія доходятъ иногда до меня со стороны благосклонныхъ читателей, и я долженъ признать за ними извѣстную долю справедливости. Но я могу представить также и нѣкоторыя смягчающія мою вину обстоятельства. Во-первыхъ, имя вещи не мѣняетъ, о чемъ, впрочемъ, и разговаривать не стоитъ. Во-вторыхъ, что касается газетъ, то, систематически занося въ свой дневникъ впечатлѣнія, получаемыя отъ этого ежедневнаго чтенія, я долженъ бы былъ касаться многихъ такихъ предметовъ, прикосновеніе къ которымъ, по ихъ колючести, неудобно. До поры до времени я записываю эти впечатлѣнія въ сердцѣ своемъ, а тамъ, когда нибудь, увидимъ, хотя и теперь уже сердце мое переполнено. Съ ежемѣсячными журналами дѣло стоитъ, конечно, иначе. Въ обобщенныхъ результатахъ или итогахъ впечатлѣній текущей жизни всегда найдется что нибудь такое, объ чемъ бы и я могъ побесѣдовать въ своемъ дневникѣ. Нашими ежемѣсячными, такъ называемыми толстыми журналами и до сихъ поръ почти исчерпывается вся россійская словесность, и во всякомъ случаѣ внѣ ихъ крайне рѣдко появляется что нибудь значительное. Такова ужъ издревле роль нашей журналистики, роль почетная и отвѣтственная. Это, если не единственныя, то, по крайней мѣрѣ, главныя двери, черезъ которыя русскій писатель можетъ войти къ русскому читателю, чтобы предъявить ему свои думы и чувства, свои поэтическія грезы и изслѣдованія прозаической дѣйствительности, вообще всякіе литературные результаты «ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ примѣтъ». Все это я очень хорошо знаю и тѣмъ не менѣе до сихъ поръ почти не касался нашей журналистики. Я имѣлъ свои резоны. Очень распространяться объ нихъ не стоитъ, хотя бы потому, что теперь я уже вотъ надписалъ подзаглавіе своего сегодняшняго дневника,—«журнальныя замѣтки». Скажу только, что я не чувствовалъ въ себѣ присутствія той нѣсколько суровой строгости по отношенію къ своимъ собратамъ, какая необходима обозрѣвателю журналовъ, въ виду ихъ особенно важнаго значенія въ русской жизни. Журналистика очевидно переживаетъ тяжелое переходное время, какъ это явствуетъ изъ блѣдности и неопредѣленности физіономій нашихъ журналовъ. Если хотите, это даже не блѣдность и неопредѣленность, а почти отсутствіе физіономіи. Вы то и дѣло встрѣчаете въ одномъ и томъ же журналѣ, рядомъ, имена, достаточно извѣстныя читателю, чтобы онъ изумился ихъ дружественному сосѣдству; встрѣчаете подъ

*) 1887 г., ноябрь.

одною и той же обложкой и мысли, которымъ непремѣнно надлежало бы разбѣжаться подъ разныя обложки... Такъ разсуждалъ я и не рѣшался говорить о журналистикѣ. Что ужъ тутъ!.. Но вѣдь не можетъ же этотъ хаосъ продолжаться безъ конца, да вотъ и благосклонные читатели сѣтуютъ... Ну, однимъ словомъ, я пишу журнальныя замѣтки, и вопросъ теперь для меня только въ томъ, какъ ихъ писать?

Приступая къ этому дѣлу въ концѣ года, я не могу, разумѣется, теперь же обѣщать читателю систематическое обозрѣніе журнальныхъ новостей, такъ какъ журналы заняты разными «окончаніями» вещей, давно начатыхъ. Это уладится съ теченіемъ времени, въ будущемъ году. Пока будутъ именно только «замѣтки», и, можетъ быть, удобно начать съ того, что у людей поучиться, какъ они это самое дѣло ведутъ. Учиться впрочемъ у немногихъ придется, потому что изо всѣхъ нынѣшнихъ журналовъ одна «Русская Мысль», съ отличающею ее аккуратностью, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ обозрѣваетъ содержаніе вышедшихъ журнальныхъ книжекъ. Давайте же читать и учиться.

Въ январѣ нынѣшняго года обозрѣватель «Русской Мысли» занятъ январьскимъ номеромъ «Вѣстника Европы», ноябрьской и декабрьской книжками «Русскаго Вѣстника» за 1886 годъ и «Русской Стариной» за весь прошлый годъ. Начинается обозрѣніе такъ: «Вѣстникъ Европы», *январь*. Седьмой очеркъ Щедрина *Мелочи жизни* озаглавленъ *Гришка портной*. «Такъ, по крайней мѣрѣ,—начинаетъ авторъ свой разсказъ, — всѣ его въ нашемъ городѣ звали, и онъ не только не оставался безотвѣтенъ, но стремглавъ бѣжалъ по направленію зова».

Затѣмъ идетъ на пяти страницахъ передача Щедринскаго очерка, частью въ дословныхъ выпискахъ, частью въ пересказѣ обозрѣвателя, съ слѣдующимъ размышленіемъ въ концѣ: «Очеркъ Щедрина производитъ тяжкое впечатлѣніе, но въ то же время будитъ въ читателѣ теплое, гуманное чувство къ обездоленнымъ и поруганнымъ, утратившимъ образъ человѣческій. Авторъ не приглашаетъ насъ заключить Гришку-портного въ свои братскія объятія и раздѣлить съ нимъ нашу трапезу, ибо знаетъ, что никто этого не сдѣлаетъ, а Гришкѣ это ни на что не нужно. За то Щедринъ идетъ къ болѣе достижимой и простой цѣли: онъ хочетъ остановить руку, поднимающуюся на битье Гришки, предупредить надругательства надъ несчастнымъ; онъ призываетъ насъ создать такое положеніе для Гришки, при которомъ тотъ могъ бы «жить», такъ какъ «жить ему надо», а «жить нельзя».—Отмѣтивъ нѣсколько другихъ статей «Вѣстника Европы», обозрѣватель переходитъ къ «Русскому Вѣстнику»: «Въ послѣдней книжкѣ *Русскаго Вѣстника* кончены два романа: *Раннія грозы* М. Крестовской и *Падучая звѣзда* гр. Л. Ростопчиной. Оба романа кончаются хуже, чѣмъ мы ожидали; мы начнемъ по порядку. Въ романѣ М. Крестовской, супруги Алябины (см. нашъ отзывъ въ XI кн. *Русской Мысли*, *Библіографія*, стр. 312) разстались. Мужъ уѣхалъ изъ Петербурга куда-то на югъ Россіи; жена съ дочерью Наташей переѣхала на новую квартиру. Уѣзжая, Алябинъ написалъ Вабельскому» и т. д., и т. д.—три страницы изложенія романа г-жи М. Крестовской, съ заключеніемъ такого рода: «*Раннія грозы* написаны очень молодо, что и обязываетъ насъ отнестись къ этому произведенію съ большою снисходительностью, тѣмъ болѣе, что въ немъ видны задатки таланта и честной мысли, незапутавшейся еще въ какой либо узкой тенденціи» и т. д. Такимъ же образомъ изложенъ и такими же комментаріями снабженъ романъ г-жи Ростопчиной.

Февральское обозрѣніе: «Въ очеркахъ, носящихъ общее заглавіе *Мелочи жизни*, Щедринъ даетъ на этотъ разъ три картины изъ быта русскихъ дѣвушекъ. Первое мѣсто занимаетъ *Ангелочекъ*. «Вѣрочка такъ и родилась ангелочкомъ» и т. д. семь страницъ почти сплошной перепечатки изъ Щедрина, на этотъ разъ безъ всякой аттестаціи въ концѣ.—Въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» за ноябрь и декабрь г. обозрѣватель отмѣчаетъ разсказъ г. Митурича «Отъѣздъ», разсказъ г. Кармасанова «Смерть дѣда» и очерки Гл. Успенскаго «Кой про что», причемъ удѣляетъ на пересказъ и перепечатку послѣднихъ опять же—семь страницъ, а отъ себя излагаетъ по этому поводу такія мысли: «Гл. Успенскій въ этомъ очеркѣ сказалъ правду, голую правду, какая она есть въ дѣйствительности».

Въ майской книжкѣ, г. обозрѣватель, удѣливши пять страницъ на перепечатку и пересказъ очерка Щедрина «Счастливецъ», ставитъ сатирику за это сочиненіе полный баллъ. Съ апломбомъ опытнаго учителя гимназіи, онъ пишетъ краткую, но рѣшительную резолюцію: «Ясно и вѣрно, правдиво и внушительно». А вотъ г-жѣ А—вой за напечатанный въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» романъ «Чья вина», г. обозрѣватель рѣшительно не можетъ поставить удовлетворительную отмѣтку, собственно за стиль и грамматику: «У г-жи А—вой превосходно изображенъ мужъ Наташи, Николай Осиповичъ, попавшій въ такое траги-комическое положеніе, изъ котораго и всякому другому супругу не легко выбраться благополучно. Но языкъ, какимъ все это разсказано, намъ рѣшительно

не нравится и, по нашему мнѣнію, портитъ все дѣло. Приведемъ изъ этого мѣста романа двѣ-три выдержки... «При немъ смѣялись надъ тѣмъ, что было ему свято и не нарушимо, и онъ ни разу не съумѣлъ отстоять свои идеи. Онъ не имѣлъ духу ни разу высказать Инѣ и Петру Михайловичу свое мнѣніе объ ихъ принципахъ и объ ихъ вліяніи на Наташу. Онъ не умѣлъ отпарировать ихъ шутки (токъ) надъ нимъ и ихъ подсмѣиваніе (я). Онъ молчалъ. Онъ терпѣть не могъ Дмитрія Васильевича и графа; они видимо ухаживали за женой, говорили ей вздоръ»... Это не повѣствовательный языкъ, это—окрошка, находящаяся къ тому же не въ ладахъ съ грамматикой».

Нѣтъ, довольно, довольно. Обозрѣватель «Русской Мысли» очевидно, человѣкъ строгій и рѣшительный, но учиться намъ у него нечему. Для меня по крайней мѣрѣ подобныя журнальныя обозрѣнія могутъ служить лишь образчикомъ того, какъ ихъ не слѣдуетъ вести. И не потому только, что г. обозрѣватель не совсѣмъ chez soi въ области грамматики, за нарушеніе правилъ которой ставитъ дурные баллы писателямъ (любой хорошій гимназистъ старшихъ классовъ объяснитъ г. обозрѣвателю, что фраза г-жи А—вой «не умѣлъ отпарировать шутки и подсмѣиваніе »— написана грамматически правильно, а рекомендуемый г. обозрѣвателемъ въ скобкахъ родительный падежъ отнюдь неумѣстенъ, какъ былъ бы онъ неумѣстенъ и въ другой, почему-то непоправленной обозрѣвателемъ фразѣ г-жи А—вой въ той же цитатѣ: «не съумѣлъ отстоять свои идеи»). Грамматика—Богъ съ ней! Она у насъ, кажется, затѣмъ именно и существуетъ, чтобы ея никто не зналъ. Самые критическіе пріемы обозрѣвателя «Русской Мысли» отнюдь не таковы, чтобы ихъ слѣдовало или даже только можно было взять за образецъ.

Я далекъ отъ мысли, что г. обозрѣватель, систематически изъ мѣсяца въ мѣсяцъ перепечатывая цѣлыми страницами новыя произведенія такихъ писателей, какъ Щедринъ или Гл. Успенскій, мечтаетъ замѣнить подлинники своимъ изложеніемъ. Это была бы слишкомъ наивная мечта, и было бы очень печально, еслибы дѣло стояло иначе, то есть если бы, пробѣжавъ изложеніе вѣроятно весьма почтеннаго, но всетаки только обозрѣвателя «Русской Мысли», читатели этимъ довольствовались и не обращались къ подлиннику. Притомъ же, г. обозрѣватель съ такою же тщательностью передаетъ, какъ мы видѣли, содержаніе произведеній г-жъ М. Крестовской, Ростопчиной и иныхъ, столь же замѣчательныхъ. Читатель ужъ и думать забылъ о похожденіяхъ какой нибудь нелѣпой Матрены Карловны, нелѣпо разсказанныхъ какимъ-нибудь X—Y—Z, и вдругъ ему съ чрезвычайною степенностью напоминаютъ: «Въ предыдущей части романа г. X—Y—Z (см. наше обозрѣніе въ такомъ-то номерѣ) Матрена Карловна разсталась съ своимъ обожаемымъ Вольдемаромъ и сѣла въ вагонъ Варшавской желѣзной дороги. Въ Лугѣ въ тотъ же вагонъ сѣлъ неизвѣстный молодой человѣкъ» и т. д., да этакихъ пять-шесть страницъ! Зачѣмъ это? Матрена Карловна и одинъ-то разъ была совсѣмъ никому не нужна, а вѣдь если бы всѣ журналы усвоили себѣ манеру обозрѣній «Русской Мысли», такъ отъ Матрены Карловны просто проходу бы не было. А между тѣмъ,—зачѣмъ Матрена Карловна?

У почтеннаго обозрѣвателя «Русской «Мысли» вѣроятно есть свои цѣли, но я ихъ не понимаю и долженъ заранѣе предупредить читателей, что голыхъ пересказовъ - перепечатокъ журнальныхъ новинокъ,—чье бы имя подъ ними не стояло, Щедрина или X—Y—Z, —они у меня не найдутъ. Цитировать, а иногда можетъ быть и содержаніе передавать, конечно, придется, но не на этомъ, мнѣ кажется, фундаментѣ слѣдуетъ строить систему журнальнаго обозрѣнія. Не вижу я также надобности ставить баллы писателямъ, тѣмъ болѣе, что, какъ хотите, а взрослому человѣку даже и пятерки получать немножко обидно. Оцѣнка всей-ли дѣятельности писателя или отдѣльнаго его произведенія не имѣетъ ничего общаго съ пріемами учителя словесности, который надписываетъ на «сочиненіи» гимназиста: «хорошо, но знаки препинанія хромаютъ», «удовлетворительно», «очень хорошо». Кому въ самомъ дѣлѣ интересно прочитать, что въ такомъ-то очеркѣ Успенскаго «разсказана правда», или резолюцію насчетъ Щедрина: «ясно и вѣрно, правдиво и внушительно», или наконецъ сообщеніе г. обозрѣвателя, что языкъ повѣсти г-жи А—вой ему «не нравится»?

Да проститъ мнѣ почтенный обозрѣватель «Русской Мысли». Онъ можетъ быть во всякомъ случаѣ увѣренъ, что мною не jalousie de métier руководитъ, хотя бы уже потому что наши пути совсѣмъ разные: всѣ Матрены Карловны съ ихъ Вольдемарами, пріѣздами, отъѣздами, разъѣздами останутся въ полномъ его распоряженіи навѣки нерушимо. Откровенно говоря, я веду рѣчь о журнальномъ обозрѣніи «Русской Мысли» даже не ради его самого. Оно занимаетъ меня, какъ одна изъ формъ болѣзни, подтачивающей болѣе или менѣе всю нашу нынѣшнюю журналистику; и ужъ только такъ, кстати, попутно, мы получаемъ понятіе о томъ, какъ не слѣдуетъ къ этой бѣдной больной относиться въ ежемѣсячныхъ обозрѣніяхъ.

Возьмемъ послѣднюю, сентябрьскую, книж-

ку «Русской Мысли» и попробуемъ ее «обозрѣть», не всю, а что нибудь, только для примѣра. Г. обозрѣватель сдѣлалъ бы это такъ:

«Русская Мысль», сентябрь. Въ этомъ номерѣ мы находимъ продолженіе историческаго романа Генрика Сенкевича «Потопъ». Интересъ романа продолжаетъ рости. Какъ помнитъ читатель (см. наше обозрѣніе за прошлый мѣсяцъ), взорвавъ шведскую пушку и отомстивъ Куклиновскому, Кмицицъ бѣжалъ изъ непріятельскаго лагеря въ сопровожденіи Кемличей. «Кони быстро несли Кмицица и Кемличей вдоль силезской границы. Панъ Андрей дремалъ на своемъ сѣдлѣ» (—и т. д., и т. д.—). Переводъ по прежнему хорошъ, но мы позволимъ себѣ замѣтить переводчику, что въ XVII столѣтіи, къ которому относится фабула романа Сенкевича, револьверы еще не были изобрѣтены, а потому разсказъ Кмицица о томъ, что Радзивилъ выстрѣлилъ въ него изъ револьвера (стр. 108), исторически не вѣренъ; слѣдовало сказать: «изъ пистолета».

Такъ степенно, «длинно, нравоучительно и чинно» бесѣдовалъ-бы обозрѣватель «Русской Мысли». Я бы поступилъ совершенно иначе. Я не сталъ бы пересказывать, какъ панъ Андрей скакалъ вдоль силезской границы, потому что это и скучно, и никому не нужно,—всякій можетъ самъ заглянуть въ романъ. Объ револьверѣ XVII столѣтія я тоже не упомянулъ бы, потому что мало ли какія описки бываютъ! Иной разъ хоть смѣшныя попадаются, а тутъ даже посмѣяться не надъ чѣмъ: обмолвился человѣкъ, и только. Но за то я постарался бы выяснить себѣ обстоятельство, кажется, гораздо болѣе интересное, чѣмъ скаканіе пана Кмицица вдоль силезской границы или выстрѣлъ изъ револьвера въ XVII вѣкѣ.

«Потопъ» тянется въ «Русской Мысли» безъ перерыва съ января до сентября и въ сентябрѣ еще не конченъ. Онъ составляетъ продолженіе другого романа Сенкевича— «Огнемъ и мечомъ», растянувшагося въ «Русской Мысли» въ 1885 году тоже чуть не на всѣ двѣнадцать книжекъ. Помнится, и раньше почтенный московскій журналъ считалъ нужнымъ предлагать своимъ читателямъ нѣчто въ этомъ родѣ. Между тѣмъ, по поводу перваго романа Сенкевича («Огнемъ и мечомъ») «Русской Мысли» пришлось тогда же, въ 1885 году, сдѣлать нѣкоторую полемическую оговорку, вызванную статьей г. Антоновича въ «Кіевской Старинѣ». Намъ здѣсь нѣтъ дѣла до этой полемики во всѣхъ подробностяхъ. Съ насъ достаточно того, что «Русская Мысль», признавая романъ Сенкевича «высокоталантливымъ произведеніемъ, выдающимся далеко изъ ряда не только въ польской литературѣ, но и во всѣхъ европейскихъ литературахъ послѣднихъ годовъ»; признавая это, «Русская Мысль» вынуждена согласиться, что Сенкевичъ смотритъ на изображаемыя имъ событія «нѣсколько односторонне, слишкомъ по польски и по шляхетски». За то, дескать, и г. Антоновичъ стоитъ на противоположной, но столь же односторонней, слишкомъ малорусской и казацкой точкѣ зрѣнія; а въ результатѣ «романъ, какъ, беллетристическое произведенія, остался этою критикою нетронутымъ».

Я бы хотѣлъ взглянуть на романы Сенкевича, главнымъ образомъ, какъ на беллетристическія произведенія, насколько это возможно, потому что исключительно эстетическая критика, объ отсутствіи которой, повидимому, сѣтуетъ «Русская Мысль», едва ли и вообще возможна, а тѣмъ паче, когда рѣчь идетъ о художественномъ воспроизведеніи такихъ общественныхъ явленій, какія занимаютъ Сенкевича. А впрочемъ, посмотримъ.

Изъ сочиненій Сенкевича, кромѣ «Потопа» и «Огнемъ и мечомъ», мнѣ извѣстны бытовые очерки «Эскизы углемъ», «Ванямузыкантъ» и «За хлѣбомъ», когда-то переведенные въ «Отечественныхъ Запискахъ» и потомъ перепечатанные въ «Польской библіотекѣ» г. Сементковскаго. Все это чрезвычайно талантливо написанныя вещи, но, Боже мой, какая разница между бытовыми очерками и историческими романами! разница во всемъ,—въ содержаніи, въ пріемахъ творчества, въ симпатіяхъ автора. Трудно повѣрить, чтобы это одинъ и тотъ же человѣкъ писалъ. Тамъ, въ бытовыхъ очеркахъ, мы видѣли простыхъ людей въ обыкновенныхъ житейскихъ положеніяхъ, хотя иногда глубоко трагическихъ. Мы могли переживать жизнь этихъ людей, вмѣстѣ съ ними печаловаться и радоваться, горевать объ нихъ и негодовать на нихъ. Формальнымъ образомъ это были, пожалуй, чужіе, незнакомые огромному большинству русскихъ читателей люди: польскіе помѣщики, польскіе крестьяне, волостные писаря, ксендзы, переселенцы въ Америку; во всей ихъ обстановкѣ было для насъ много совсѣмъ непривычнаго. Но сила художественнаго таланта воочію совершала чудо настоящаго, внутренняго братства народовъ, потому что улавливала и намъ предъявляла общечеловѣческое, лишь завернутое въ особенныя, исторически сложившіяся оболочки. Кромѣ выдающагося таланта Сенкевича вообще, этому много способствовалъ въ частности его чрезвычайно характерный скорбный юморъ, размягчавшій сердца читателей до общенія съ общечеловѣческимъ въ національной формѣ. Да,

это были прекрасныя вещи, которыя въ самомъ дѣлѣ не прошли бы незамѣченными въ любой, даже очень богатой литературѣ, не смотря на свой малый размѣръ. Совсѣмъ иное дѣло историческіе романы Сенкевича. Начать съ того, что, вмѣсто той сѣрой, но глубоко жизненной канвы, по которой вышиты тонкіе узоры бытовыхъ очерковъ, мы встрѣчаемъ здѣсь нѣчто необыкновенно яркое, огромное, шумное, гремящее и блистающее всѣми цвѣтами радуги. Конечно, это опредѣляется до извѣстной степени самымъ сюжетомъ: мы не въ какой-нибудь захолустной деревнѣ Баранья-Голова («Эскизы углемъ»), гдѣ писарь Золзикевичъ зачитывается «Тайнами мадридскаго двора», сердится на собаку, прокусившую ему панталоны, и опутываетъ бѣдное, невѣжественное населеніе паутиною своей жадности и подлости; мы—въ XVII столѣтіи и присутствуемъ при судорогахъ Польши, какъ государственнаго организма, раздираемой и внѣшними врагами, и своими собственными сынами. Вотъ по какому случаю шумъ битвъ, блескъ золоченыхъ панцырей и драгоцѣнныхъ камней на одеждахъ магнатовъ, геройскіе подвиги, трубные звуки, лязгъ мечей, море крови, страусовыя перья, разноцвѣтныя знамена, чувства, приподнятыя выше лѣса стоячаго и облака ходячаго... Это такъ. Разница, конечно, огромная между обыденною жизнью обитателей какой-нибудь Бараньей-Головы и жизнью людей, такъ или иначе, активно или пассивно игравшихъ роль въ трагедіи разложенія государства. Но дѣло вотъ въ чемъ. Есть всѣмъ знакомая и однако въ дѣйствительности никогда не существовавшая, чисто условная Испанія, въ которой будто бы «отъ Севильи до Гренады, въ тихомъ сумракѣ ночей, раздаются серенады, раздается стукъ мечей». Эта Испанія, сплошь состоящая изъ кастаньетъ и шпагъ, шелковыхъ лѣстницъ и широкополыхъ шляпъ съ перомъ, вѣеровъ и живописно драпирующихъ плащей, инквизиторовъ и мантилій, по настоящему времени, при нынѣшнихъ нашихъ требованіяхъ отъ искусства, можетъ доставить сюжеты оперѣ или балету, потому что въ этихъ отрасляхъ искусства центръ тяжести состоитъ не въ воспроизведеніи дѣйствительности, а въ спеціальномъ эстетическомъ услажденіи слуха или зрѣнія; пожалуй «драматической поэмѣ» въ родѣ «Донъ Жуана» А. Толстого, на томъ же основаніи, на какомъ въ этой драматической поэмѣ допущены оживленіе статуи командора и другія невозможныя вещи. Но романъ, построенный на этихъ условныхъ, оперно-балетныхъ элементахъ испанской жизни, даже при огромномъ талантѣ автора, былъ бы по малой мѣрѣ страннымъ произведеніемъ; страннымъ въ особенности для насъ, русскихъ, имѣющихъ въ своей литературѣ высокіе образцы этого рода. Именно такое странное, почти дикое впечатлѣніе производятъ историческіе романы Сенкевича. «Русская Мысль», конечно, слишкомъ преувеличиваетъ, говоря, что они представляютъ собою нѣчто, далеко выдающееся изъ ряда даже во всѣхъ европейскихъ литературахъ. Это не правда. Но Сенкевичъ несомнѣнно и въ этихъ оперно-балетныхъ произведеніяхъ остается талантливымъ человѣкомъ, въ смыслѣ искуснаго расположенія сложнаго матеріала и яркости красокъ. Но той высшей и симпатичнѣйшей стороны таланта, которою блещутъ «Эскизы углемъ» и другіе прежніе его очерки, въ историческихъ романахъ нѣтъ и слѣда; какъ нѣтъ слѣда и той деревни «Баранья Голова», которая однако подъ тѣмъ или другимъ названіемъ навѣрное существовала и въ XVII столѣтіи, безъ которой оперно-балетная Польша не могла бы прожить и одного дня и за презрѣніе къ которой она поплатилась своимъ историческимъ существованіемъ. Тамъ, въ «Эскизахъ» и проч., мы, люди, встрѣчали людей и авторъ властью таланта установлялъ тѣ отношенія наши къ его дѣйствующимъ лицамъ, какія хотѣлъ установить. Мы смѣялись надъ паномъ Золзикевичемъ и негодовали на него, жалѣли Рѣпу и можетъ быть даже немножко поплакали надъ кроткой Марьей. Того именно и хотѣлъ авторъ, но не насиліемъ какимъ-нибудь достигъ онъ предположенныхъ цѣлей, а просто тѣмъ, что нарисовалъ намъ людей и мы, какъ люди, ихъ поняли. Въ историческихъ романахъ, напротивъ того, онъ всѣми способами яркихъ эффектовъ и несообразныхъ преувеличеній старается насъ ошеломить и ничего не достигаетъ, и было бы очень печально, если бы достигалъ.

На самыхъ первыхъ страницахъ романа «Огнемъ и мечомъ» наталкиваемся на такую сцену. Въ комнату, гдѣ сидятъ нѣсколько человѣкъ «рыцарей», входитъ еще одинъ рыцарь,—панъ Чаплиньскій. Это человѣкъ задорный и сильный: «плечи пана Чаплиньскаго были широки, такъ что многіе считали нужнымъ не задирать его». Тѣмъ не менѣе, у него на этотъ разъ выходитъ ссора съ нѣкіимъ паномъ Скшетускимъ. Ссора оканчивается такъ: Скшетускій «повернулся на пальцахъ (?), схватилъ его одной рукой за шиворотъ, другою пониже поясницы, поднялъ кверху барахтающагося Чаплиньскаго и понесъ къ дверямъ.—Господа! берегитесь! закричалъ онъ,—мѣсто для рогоносца, а то забодаетъ!—Съ этими словами онъ размахнулся и сильно бросилъ Чаплиньскаго. Двери распахнулись, и подстароста очутился на

улицѣ. Панъ Скшетускій спокойно усѣлся на старомъ мѣстѣ около Зацвилиховскаго».

Видите, какіе богатыри. Ужъ на что широки плечи и велика сила у Чаплиньскаго, а Скшетускій съ нимъ, какъ съ цыпленкомъ, поступаетъ: схватилъ, вышвырнулъ и даже не запыхался, а «спокойно усѣлся на старомъ мѣстѣ». Но ужъ за то, по крайней мѣрѣ, панъ Скшетускій всѣмъ силачамъ силачъ и можетъ смѣло разъѣзжать съ любымъ циркомъ въ качествѣ непобѣдимаго... Ничуть не бывало. Панъ Скшетускій одинъ изъ любимцевъ автора и охраняется отъ пораженія симпатіями своего творца. Но вотъ входитъ въ ту же комнату, гдѣ силачъ Чаплиньскій потерпѣлъ отъ руки вящаго силача Скшетускато, нѣкій панъ Подбипента. Мечъ у этого Подбипента величины непомѣрной, такъ что обращаетъ на себя вниманіе Скшетускаго и между двумя рыцарями затѣвается слѣдующій разговоръ: «Но вѣдь это страшная махина и должна быть страшно тяжела. Обѣими руками развѣ... — Можно и обѣими, можно и одной.—А ну, покажите.—Литвинъ досталъ мечъ и подалъ, но рука Скшетускаго опустилась съ разу. Ни замахнуться, ни нанести ударъ. Попробовалъ было обѣими руками, да и то тяжко. Наконецъ, намѣстникъ немного сконфузился и обратился къ прочимъ:—Ну, господа, кто крестъ сдѣлаетъ?—Мы уже пробовали, отвѣтило нѣсколько голосовъ, одинъ панъ коммиссаръ Зацвилиховскій подниметъ, но креста и онъ не сдѣлаетъ.—А вы? спросилъ панъ Скшетускій у литвина. Шляхтичъ поднялъ мечъ, какъ тросточку, и махнулъ имъ нѣсколько разъ въ воздухѣ такъ, что въ комнатѣ пошелъ вѣтеръ».—Подбипента оказывается въ романѣ «Огнемъ и мечомъ» не превзойденнымъ въ смыслѣ физической силы, но въ «Потопѣ» съ нимъ, можетъ быть, потягался бы панъ Кмицицъ, который «подбрасывалъ тяжелый обухъ такъ высоко, что тотъ почти скрывался изъ глазъ, и затѣмъ ловилъ его за рукоять», или тотъ «горецъ исполинскаго роста», который «бросалъ *жерновъ* и ловилъ его въ воздухѣ». Гулливеръ былъ страшнымъ великаномъ у лиллипутовъ и забавнымъ карликомъ у великановъ. Гдѣ Гулливеръ, то есть обыкновеннаго роста человѣкъ, на той лѣстницѣ, которая, начиная съ горца или Кмицица, спускается къ Подбипентѣ, потомъ къ Скшетускому, потомъ къ Чаплиньскому, потомъ къ тѣмъ, кто боялся ссориться съ Чаплиньскимъ? Въ романахъ Сенкевича нѣтъ его, этого Гулливера, этого обыкновеннаго, понятнаго намъ человѣка. Здѣсь все необыкновенно, невозможно, сказочно. Герои у него большею частью не говорятъ, а «гремятъ»: «Впередъ!—загремѣлъ голосъ пана Кмицица»... «Назадъ!—прогремѣлъ панъ Скшетускій». Когда какой нибудь удивительный шляхтичъ принимается совершать подвиги, такъ ему ужъ самъ чортъ не братъ, а объ людяхъ и стихіяхъ и говорить нечего: онъ все преодолѣетъ, всѣхъ посрамитъ, и если ему даже совсѣмъ плохо приходится, такъ онъ всетаки хоть «безъ головы стоитъ, да табачекъ понюхиваетъ», а тѣмъ временемъ, по щучьему велѣнью, подоспѣваютъ другіе удивительные шляхтичи и приставляютъ ему благополучно голову и онъ опять готовъ на новые подвиги. Я преувеличиваю очень немного. Какой нибудь Кмицицъ только что не безъ головы стоитъ. Изъ воды онъ выходитъ сухъ, изъ огня цѣлъ, и когда глава или часть романа оканчивается эффектною картиною, какъ Кмицицъ среди своихъ подвиговъ упалъ въ безпамятствѣ, то читатель уже знаетъ, что ему нечего бояться за участь героя: онъ и въ десятый разъ воскреснетъ, какъ Рокамболь, и не хуже приснопамятныхъ «трехъ мушкатеровъ» еще долго будетъ занимать читателя своими приключеніями.

Все это никакъ нельзя объяснить свойствами выбраннаго Сенкевичемъ сюжета. Пушкинъ въ «Капитанской дочкѣ», гр. Л. Толстой въ «Войнѣ и мирѣ» показали, что можно эксплуатировать крупныя и шумныя историческія событія, не впадая въ сказочный характеръ и рисуя Гулливеровъ Гулливерами. Чтобы сравнительно оцѣнить не таланты гр. Толстого и Сенкевича,—какое ужъ тутъ сравненіе!—а ихъ художественные пріемы, припомните, напримѣръ, ту главу «Войны и мира», въ которой Долоховъ, переодѣтый французскимъ офицеромъ, ѣдетъ осматривать непріятельскій лагерь, и перечитайте главу въ «Потопѣ» гдѣ Кмицицъ, переодѣтый шведомъ, идетъ въ непріятельскій лагерь взрывать пушку; или то мѣсто «Войны и мира», когда лядащій мужиченко доставляетъ въ отрядъ Денисова «языка», то есть захватываетъ въ плѣнъ отставшаго француза и рядомъ то мѣсто въ «Потопѣ», гдѣ такого же «языка» представляетъ королю Кмицицъ. Вѣдь это небо и земля! И опять таки не по силѣ только таланта, который «отъ Бога», а по пріемамъ творчества, которые «отъ рукъ человѣческихъ». Что Сенкевичъ можетъ заглядывать въ душу человѣческую, прикрытую или неприкрытую золочеными панцырями и бархатными жупанами, объ этомъ свидѣтельствуютъ его прежнія произведенія. А теперь онъ не то что не можетъ, а не хочетъ, ибо намѣренно замыкается въ узкій кругъ особенной, спеціальной шляхетской психологіи. Идеализаціей шляхетской удали, шляхетской гордости и вмѣстѣ той вассальной преданности, которая характеризуетъ средніе вѣка,—ис-

черпывается все небо въ романахъ Сенкевича, его святая святыхъ; ну а на землѣ это небо натурально отражается звономъ мечей, бархатомъ и золотомъ, трубными звуками, сказочной физической силой, невозможными героическими приключеніями.

Я не знакомъ съ польской литературой, но вотъ что, между прочимъ, нахожу въ «Польской библіотекѣ» г. Сементковскаго (изд. 1882 г.): «Къ сожалѣнію, г. Сенкевичъ за послѣднее время покинулъ жанръ, который доставилъ ему славу, и сталъ заниматься творчествомъ въ такихъ сферахъ, которыя ему, какъ показываетъ опытъ, мало доступны... Такъ онъ въ концѣ прошлаго года помѣстилъ въ журналѣ «Niwa» очеркъ, въ которомъ заставляетъ шляхтича давно минувшаго времени (XVII ст.) разсказывать, какъ тотъ попалъ въ плѣнъ къ татарамъ, и что перенесъ въ плѣну... Произведеніе это, лишенное вѣрнаго историческаго колорита, можетъ считаться вполнѣ неудавшимся. То же приходится сказать о новѣйшемъ произведеніи г. Сенкевича, большой драмѣ, подъ заглавіемъ «На одну карту», съ политическою подкладкой... Въ діалогѣ и построеніи пьесы видѣнъ несомнѣнный талантъ, но вся оригинальность дарованія Сенкевича, возбудившая къ нему симпатіи и у насъ, въ Россіи, не нашла себѣ никакого выраженія въ пьесѣ. Тонкій наблюдатель польской жизни, писатель, умѣющій въ потрясающей и законченно-художественной формѣ проливать жгучія слезы надъ страдальцами и обездоленными польской земли, превратился, какъ драматургъ, въ автора французской мелодрамы по шаблонному, избитому образцу... Неопредѣленность политической тенденціи драмы, опасаемся, свидѣтельствуетъ о постепенномъ переходѣ г. Сенкевича отъ демократическихъ убѣжденій къ аристократическимъ... Было бы ужасно жаль, еслибы оригинальный и симпатичный талантъ г. Сенкевича пострадалъ отъ вліянія среды, отрицательныя стороны которой онъ такъ мѣтко изобразилъ въ своей «Ганѣ» и «Эскизахъ углемъ», но къ которой онъ примкнулъ, записавшись въ постоянные сотрудники органа польской аристократіи».

Это было написано въ 1882 году. Съ тѣхъ поръ явились «Огнемъ и мечомъ» и «Потопъ», и окончательно выяснилось предвидѣніе г. Сементковскаго, а, вѣроятно, и другихъ, участливо слѣдившихъ за польской литературой. Однимъ пѣвцомъ скорбей и радостей Вани - музыканта, Рѣпы, Марьи стало меньше, но за то да живетъ память Іереміи Висневецкаго, одного изъ самыхъ кровавыхъ людей въ исторіи; да здравствуетъ трехполѣнный панъ Подбипента, мечта жизни котораго состоитъ въ томъ, чтобы однимъ ударомъ срубить три непріятельскія головы; да здравствуетъ гордый рыцарь и вмѣстѣ съ тѣмъ преданный холопъ панъ Андрей Кмицицъ! И крупный талантъ пропадаетъ, потому что измѣняетъ во всѣхъ смыслахъ правдѣ ради неправды, дѣйствительной жизни—ради сказки, гдѣ вмѣсто настоящихъ людей фигурируютъ оперно-балетные подставные люди, которымъ зрители апплодируютъ за исключительно высокія или чудовищныя низкія ноты, за эффектное освѣщеніе, блестящіе костюмы, красивыя позы, «стальные носки», прыжки чуть не до потолка...

Мнѣ жаль польскую литературу, но своя рубашка къ тѣлу ближе и мнѣ больше жаль русскую литературу и русскихъ читателей. Историческіе романы Сенкевича навѣрное многими читаются, что называется, въ засосъ, потому что съ точки зрѣнія сказочной занимательности они не уступятъ «Тремъ мушкатерамъ» или «Графу Монте-Кристо», которыми зачитывались наши отцы а, можетъ быть, дѣды и бабушки. Но это невинное удовольствіе покупается, мнѣ кажется, ужъ слишкомъ дорогою цѣною. Самое интересное для меня въ настоящую минуту то, что «Русская Мысль», удѣляющая столько мѣста романамъ Сенкевича, отнюдь не раздѣляетъ его шляхетскихъ тенденцій, а въ области критики исповѣдуетъ принципы, съ точки зрѣнія которыхъ эти романы и въ чисто художественномъ отношеніи несостоятельны. Зачѣмъ же они печатаются? Неужели только потому, что и на нихъ найдется читатель? Но вѣдь журналъ не лавочка, въ которой должны быть товары для всѣхъ покупателей, и хозяевамъ и сидѣльцамъ которой не приходится думать объ исправленіи вкуса кліентовъ, о вліяніи на ихъ потребности и проч. Журналъ, желающій угодить всѣмъ, на всѣ вкусы, будетъ именно лавочкой, можетъ быть, очень хорошей, но никогда не будетъ журналомъ, въ томъ высокомъ и отвѣтственномъ смыслѣ, который мы привыкли соединять съ этимъ словомъ. Остановимся хоть на чисто литературной точкѣ зрѣнія. Усиліями нашей критики и всѣхъ крупныхъ мастеровъ беллетристики, изъ нашей литературы, казалось бы, совсѣмъ изгнанъ тотъ лживый, ходульный, фольгой и сусальнымъ золотомъ разукрашенный романъ, представителемъ котораго является на страницахъ «Русской Мысли» Сенкевичъ. Такъ, значитъ, даромъ работала наша критика и наши Тургеневы и Толстые надъ возведеніемъ зданія трезвой литературной правды?

Къ счастію, нѣтъ, не значитъ. Та же «Русская Мысль» при случаѣ примыкаетъ къ литературному теченію, до чиста смыв-

шему ходульную романтическую фальшь, и появленіе въ ней историческихъ романовъ Сенкевича есть только одно изъ выраженій того общаго хаоса, который царитъ въ журналистикѣ и которому, однако, пора кончиться.

Проявленіе того же хаоса составляетъ и журнальное обозрѣніе «Русской Мысли», съ котораго я началъ свои замѣтки. Когда принципы находятся въ хаотическомъ состояніи, то факты натурально стоятъ каждый особнякомъ, торчатъ въ разныя стороны, безъ перспективы, безъ обобщенія. Такъ именно располагаются литературные факты передъ умственнымъ взоромъ г. обозрѣвателя. Останавливаясь «по порядку» на той или другой повѣсти или статьѣ, онъ весьма мало интересуется ихъ общимъ значеніемъ и мѣстомъ въ ряду другихъ литературныхъ явленій. Онъ выдергиваетъ ихъ одно за другимъ, какъ рѣдьку изъ грядки, и тщательно описываетъ каждое. Я думаю, что это не правильно. Я думаю, что иное здѣсь можетъ быть оставлено совершенно неприкосновеннымъ, а иное заслуживаетъ быть не описаннымъ, а разсмотрѣннымъ, и притомъ не an und für sich, а въ связи съ общимъ положеніемъ вещей и съ нѣкоторыми общими, теоретическими принципами...

Лѣтъ триста, а, можетъ быть, и больше тому назадъ жилъ въ Римѣ остроумный и веселый человѣкъ, ремесломъ сапожникъ, именемъ Пасквино. Это былъ любимецъ тогдашней римской публики; его любили за остроумныя и смѣлыя выходки по поводу разныхъ случаевъ текущей жизни. Сначала его именемъ и въ его честь была названа одна древняя статуя, къ которой обыкновенно привѣшивались его собственныя и его продолжителей и подражателей литературныя произведенія, — пасквинады. А потомъ это имя увѣковѣчилось въ словѣ «пасквиль». Слово это употребляется нынѣ въ довольно неопредѣленномъ, хотя всегда рѣшительно неодобрительномъ смыслѣ. Не мѣшаетъ можетъ быть припомнить, что знаменитый, хотя и никому неизвѣстный веселый римскій сапожникъ отнюдь не отвѣтственъ за всѣ тѣ гадости, которыя связываются съ представленіемъ о пасквилянтѣ. Пасквинада была своего рода политической сатирой. Какъ-бы то ни было однако, но если уже затерялся первоначальный смыслъ пасквиля и если имя римскаго остроумца долголѣтнимъ употребленіемъ пришпилилось къ презрѣнному дѣйствію, такъ тутъ ничего не подѣлаешь. Надо только условиться—что̀ называть пасквилемъ. Дѣло въ томъ, что, какъ строго опредѣленное юридическое понятіе, пасквиль не существуетъ. Законъ знаетъ и караетъ клевету, то есть оглашеніе позорящихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ложныхъ свѣдѣній о человѣкѣ; знаетъ и караетъ диффамацію, то есть оглашеніе позорящихъ обстоятельствъ, независимо отъ того, заключается-ли въ оглашеніи истина или нѣтъ. Пасквиль-же при этомъ куда-то исчезаетъ, хотя въ просторѣчіи терминъ этотъ находится во всеобщемъ употребленіи и всякій знаетъ, что мѣсто его гдѣ-то тутъ-же, около клеветы и диффамаціи. Я думаю, что просторѣчіе право, упорно сохраняя слово, исчезнувшее изъ юридической терминологіи или, по крайней мѣрѣ, сильно поблѣднѣвшее. но правъ и законъ, не предусматривающій чего-то третьяго, несомнѣнно существующаго по близости отъ клеветы и диффамаціи, но отличнаго отъ той и отъ другой. Есть особый сортъ литературныхъ произведеній, содержащихъ въ себѣ и диффамацію, и клевету, но по самому существу своему не подлежащихъ никакому юридическому воздѣйствію

Достоевскій изобразилъ въ своемъ романѣ «Бѣсы» Тургенева подъ именемъ литератора Кармазинова. Въ этомъ зломъ и ядовитомъ портретѣ, въ которомъ всякій безъ труда узнавалъ «натуру», Достоевскій приписалъ своему сопернику по симпатіямъ читающаго люда нѣкоторыя прямо гнусныя черты и гнусные поступки. Это не диффамація и не клевета, потому что Тургеневъ не названъ, это—пасквиль.

Я вспоминаю этотъ конкретный примѣръ пасквиля только потому, что онъ всѣмъ извѣстенъ и что Достоевскій и Тургеневъ оба мирно почіютъ въ землѣ. Вообще же, говоря о пасквилѣ, надо обходиться безъ иллюстраціи живыми примѣрами, но такъ какъ подобныя иллюстраціи чрезвычайно удобны, да и надо же мнѣ бесѣдовать съ читателями о явленіяхъ текущей журналистики, то попробуемъ прибѣгнуть къ такому пріему.

Въ послѣднихъ книжкахъ «Вѣстника Европы» (сентябрь и октябрь) напечатаны начало и продолженіе романа г. І. Ясинскаго (Максима Бѣлинскаго) «Старый другъ». Въ романѣ этомъ дѣйствуетъ, между прочимъ, нѣкій докторъ, акушеръ, Ворошилинъ. Наружность его такова: «Ворошилинъ былъ средняго роста, блондинъ, съ самодовольнымъ взглядомъ умныхъ глазъ, въ золотыхъ очкахъ. Руки онъ держалъ въ карманахъ брюкъ, которыя были коротки». Представимъ себѣ, что эти и другія разсыпанныя въ романѣ внѣшнія черты составляютъ портретъ живого человѣка, такъ что если кто его знаетъ, то, прочитавъ романъ г. Ясинскаго, прямо скажетъ: «ну да, это онъ, конечно онъ, и акушеръ, и брюки короткія, и очки золотыя, и умные глаза!» Казалось-бы, тутъ нѣтъ ничего особенно дурного: захотѣлось автору увѣковѣчить «черты знакомаго

лица», можетъ быть изъ какого нибудь признательнаго чувства, или просто творческаго пороху не хватило, и онъ, вмѣсто того, чтобы создавать, просто снялъ фотографію. И то, и другое не свидѣтельствуетъ, конечно, объ орлиномъ полетѣ, но не представляетъ собою ничего предосудительнаго. Но вотъ въ романѣ появляются и нѣкоторыя другія черты Ворошилина, уже далеко не столь безразличныя, какъ короткіе панталоны и золотыя очки. Начинаетъ онъ, напримѣръ, злобно инсинуировать насчетъ товарища и соперника по профессіи, тоже акушера, Ганлейера. Въ этомъ ему помогаетъ жена, Анна Николаевна, сообщая добрымъ людямъ «подъ шумокъ, что Ганлейеръ занимается секретной практикой». Кромѣ сплетонь и жадности, за Ворошилинымъ оказывается во второй части романа и еще какая-то темная исторія, пока не выяснившаяся. Онъ хочетъ купить имѣніе доктора Гранковскаго, для чего подводитъ какую-то сложную махинацію въ разсчетѣ на то, что Гранковскій нуждается въ деньгахъ. Это ужъ пахнетъ не невиннымъ желаніемъ увѣковѣчить черты знакомаго лица изъ благодарности или другого похвальнаго чувства, и не слабостью только творческой способности. Это, при условіи внѣшняго сходства портрета, пахнетъ клеветой или диффамаціей. Но такъ какъ докторъ Ворошилинъ при этомъ настоящимъ именемъ своимъ не названъ и образъ его вплетенъ къ фабулу романа, то онъ не имѣетъ никакой возможности ни судомъ, ни какимъ другимъ путемъ возстановить истину или вообще отпарировать взведенныя на него обвиненія въ неблаговидныхъ поступкахъ, хотя всякій, знающій его, можетъ сказать: да, это онъ, и брюки короткія, и очки золотыя... Вотъ это-то и есть пасквиль, то есть былъ бы пасквиль, еслибы оригиналъ доктора Ворошилина дѣйствительно существовалъ, чего я утверждать, конечно, не могу.

Что пасквиль есть дѣло скверное, это само собою разумѣется; объ этомъ даже говорить не стоило бы, еслибы пасквиль за послѣднее время не разросся въ нашей литературѣ сверхъ всякой мѣры, распространившись даже за предѣлы беллетристики. По нынѣшнему времени вы даже въ критической, а тѣмъ паче въ полемической статьѣ можете встрѣтить такъ искусно и прозрачно расположенныя свѣдѣнія, напримѣръ, о томъ, гдѣ кто какое вино пьетъ, что сразу видно, о комъ рѣчь идетъ, а придраться никто не можетъ,—никто вѣдь не названъ! Удивительно тонко и — удивительно благородно! Психологія пасквилянта во всякомъ случаѣ достойна нѣкотораго вниманія.

Большіе таланты рѣдко идутъ на это дрянное дѣло. Неукротимая и болѣзненная злоба Достоевскаго противъ Тургенева побудила его запятнать себя Кармазиновымъ, но, вообще говоря, крупный талантъ гарантированъ въ этомъ отношеніи уже своимъ размѣромъ: онъ слишкомъ не фотографъ, слишкомъ привыкъ ловить общія, типическія черты, чтобы спускаться до личныхъ, случайныхъ особенностей портрета. Мелочи это дѣло сподручнѣе. Въ качествѣ слабосильной мелочи, она не можетъ свободно распоряжаться своимъ матеріаломъ, претворять его въ типическіе образы, а это для пасквиля и необходимо. Но одной слабости таланта, конечно, и для такого дѣла мало. Пасквилянтъ долженъ обладать и нѣкоторыми спеціальными нравственными чертами. Пасквиль есть ударъ «лукавымъ» кинжаломъ изъ-за угла, разсчитанный на полную беззащитность жертвы и полную безнаказанность убійцы. Это требуетъ особаго сочетанія дерзости и трусости, потому что, если бы пасквилянтъ не изъ-за угла билъ и не «лукавымъ» оружіемъ, еслибы онъ открыто призналъ, что, молъ, да я именно такого то человѣка имѣю въ виду,—такъ онъ былъ бы уже не пасквилянтъ, а смотря по обстоятельствамъ, клеветникъ, диффаматоръ, а, можетъ быть, благороднѣйшій обличитель. Пасквилянтъ долженъ обладать именно такимъ сочетаніемъ дерзости и трусости, которое позволяло бы ему смотрѣть людямъ прямо въ глаза не потому, что у него совѣсть чиста, а потому, что «не пойманъ— не воръ», а поймать нельзя: чуть что, онъ— въ кусты. Но и этого мало. Пасквилянту нужны матеріалы, и притомъ весьма разнообразные. Во-первыхъ, матеріалы внѣшняго свойства,—обстановка даннаго лица, цвѣтъ обоевъ въ его кабинетѣ, составъ его обѣда, фасонъ сюртука и панталонъ. Цѣли пасквиля требуютъ большой точности въ этомъ отношеніи. Затѣмъ въ подлежащемъ пасквильной операціи человѣкѣ надо найти какой-нибудь изъянъ, слабое мѣсто, къ которому можно бы было привить древо клеветы или диффамаціи: надо же вѣдь, чтобы и клевета имѣла характеръ вѣроподобія. Это можетъ быть достигнуто прислушиваніемъ къ сплетнямъ, разспросами у враговъ и лакеевъ, но вѣрнѣе, конечно, достигается путемъ личныхъ наблюденій. Можетъ быть, пасквилянтъ бывалъ въ домѣ своей жертвы, ѣлъ ея хлѣбъ, пользовался ея услугами, велъ съ ней интимные, задушевные разговоры. Тогда, чего же лучше! Правда, это, въ лучшемъ случаѣ, предательство, низость котораго пропорціональна прежней близости отношеній, но низости пасквилянтъ, конечно, не испугается.

Распространеніе пасквиля въ нашей ли-

тературѣ имѣетъ, безъ сомнѣнія, нѣкоторыя общія причины. Личная скудость таланта этому способствуетъ естественно съ нею связанною склонностью къ фотографированію взамѣнъ творчества. Личная скудость мысли, тоже естественно связанная съ прилѣпленіемъ къ случайному и индивидуальному, можетъ направлять людей въ ту же сторону, какъ и нѣкоторыя личныя нравственныя черты. Но все это съ особеннымъ удобствомъ разгуливается на фонѣ общей скудости, скудости самой жизни, породившей упомянутый въ началѣ сегодняшняго дневника хаосъ. Не будь этого общаго хаоса, въ которомъ небо не отдѣлено отъ земли, добро отъ зла, честь отъ позора, въ которомъ поэтому каждый дѣйствуетъ во всей обнаженности своего, можетъ быть, и прекраснаго, а, можетъ быть, и совершенно дряннаго *я*,—пасквиль не имѣлъ бы подъ собой, по крайней мѣрѣ, общей почвы. До извѣстной, къ сожалѣнію, весьма значительной степени, мы, журналисты, тутъ безсильны. Но кое-что мы всетаки можемъ, а можемъ, значитъ — должны. Въ частности, мы должны принять какія-нибудь рѣшительныя мѣры противъ позорной язвы пасквиля, а въ общемъ, памятовать завѣтъ нашего великаго писателя: «со словомъ надо обращаться честно». Оно, пожалуй, и элементарно, и, однако, оказывается не всѣмъ всетаки по плечу, а вѣдь, по нынѣшнему времени, съ насъ больше-то, можетъ быть, и не спросится...

XII.

Записки Башкирцевой *).

Я прочиталъ любопытное литературное произведеніе—«Journal de Marie Bashkirtseff». Признаюсь, не безъ скуки одолѣлъ я эти два тома (слишкомъ 80 печатныхъ листовъ). Вы, конечно, знаете, что Башкирцева—русская художница, имѣвшая большой успѣхъ въ Парижѣ и очень рано умершая, наканунѣ можетъ быть огромной славы. Послѣ ея смерти остался дневникъ, тщательно веденный съ двѣнадцатилѣтняго возраста до самой смерти (1873—1884). Объ этомъ дневникѣ было много разговоровъ во французской литературѣ, къ нему приложено восторженное стихотвореніе Тёрье, въ которомъ поэтъ, обращаясь къ покойницѣ, говоритъ:

En travers de ton oeuvre, ainsi dans l'avenir,
Les foules te verront, blanche et pure statue,
Te dresser, radieuse, au fond du souvenir.

Это интересно, во всякомъ случаѣ. Интересъ еще увеличивается, когда вы принимаетесь за дневникъ, потому что двѣнадцатилѣтній авторъ сразу оказывается далеко не заурядной дѣвочкой. Но на восемьдесятъ печатныхъ листовъ этого интереса не хватаетъ, можетъ быть потому, что вы почти не видите роста и развитія автора: двадцатитрехлѣтняя Башкирцева въ сущности очень мало отличается отъ двѣнадцатилѣтней. И постоянныя варіаціи на однѣ и тѣ же темы васъ наконецъ утомляютъ до полнѣйшей скуки. Я однако преодолѣлъ это и теперь, когда скучное дѣло уже кончено, очень радъ, что преодолѣлъ, потому что, кажется, ничего любопытнаго не просмотрѣлъ въ этой сложной, богатой и вмѣстѣ съ тѣмъ скудной, мятежной и вмѣстѣ съ тѣмъ безстрастной натурѣ. Я отнюдь не думаю вдаваться въ подробный анализъ этой натуры, со стороны ея силы или слабости, или дневника Башкирцевой, со стороны его формы или содержанія. Но пройти совсѣмъ мимо ихъ—мимо этого дневника и его автора—было бы, мнѣ кажется, просто крайне неразсчетливо.

Многіе изъ читавшихъ дневникъ Башкирцевой назовутъ его просто записками психопатки, и въ качествѣ таковыхъ, признаютъ ихъ совершенно недостойными вниманія критики, отнюдь не обязанной заниматься всякими вздорами, которые вздумается написать человѣку, завѣдомо стоящему одной ногой по ту сторону границы душевнаго здоровья. Я не знаю, психопатка Башкирцева или нѣтъ, но знаю, что ея дневникъ вниманія заслуживаетъ. Есть формы психопатіи, представляющія лишь спеціально психіатрическій и судебно-медицинскій интересъ, да еще пожалуй романическій, въ смыслѣ скопленія чертъ и поступковъ, дающихъ обыкновенному читателю извѣстнаго рода эстетическое волненіе. Башкирцева, во всякомъ случаѣ не такова. Судить ее въ окружномъ судѣ не за что: она никого не убила, ничего не украла, не подожгла. И не только не было ею совершено какое-нибудь преступленіе, но не замѣчается на всемъ пространствѣ ея обширнаго дневника какихъ-нибудь слѣдовъ притупленія нравственнаго чувства, какъ его разумѣютъ психіатры. Она болтаетъ много вздору, подчасъ только смѣшного, а подчасъ и возмутительнаго, но цѣломудренность ея мысли и чувства не подлежитъ никакому сомнѣнію. По этимъ же причинамъ не годится она и въ героини уголовнаго романа съ духъ захватывающими, но не имѣющими никакого общаго значенія и интереса подробностями. Любовный романъ можно, конечно, изъ дневника выкроить, даже, пожалуй, не одинъ, но какіе это будутъ романы—видно изъ

*) 1887, декабрь.

того, что двѣнадцати лѣтъ Башкирцева была влюблена въ какого-то герцога Н., съ которымъ никогда не говорила и котораго видѣла только издали, а позже, позволивъ себѣ поцѣловаться съ однимъ молодымъ человѣкомъ, кается и казнитъ себя за это такъ много и сильно, что просто таки надоѣдаетъ читателю. Самый строгій моралистъ замѣтитъ, что испытываемыя по этому случаю дѣвушкою угрызенія совѣсти слишкомъ напряженны сравнительно съ размѣрами поступка. И это очень характерно для Башкирцевой. Если она психопатка, то психопатія ея выражается, главнымъ образомъ, чрезвычайною возбудимостью и излишнею подвижностью чувства, пожалуй, съ нѣкоторымъ уклономъ по направленію къ маніи величія. А это отнюдь не такія черты, которыя выдѣляли бы ее, въ качествѣ исключительно психіатрическаго субъекта, изъ той общей жизни, которою всѣ мы живемъ,—изъ нашихъ волненій и упованій, горей и радостей. Мало того. Чрезмѣрная возбудимость чувства, усиленно и рѣзко подчеркивая нѣкоторыя явленія, можетъ иногда способствовать большему выясненію именно ихъ общаго, общечеловѣческаго значенія. Надо только помнить, что «человѣкъ», просто человѣкъ, есть штука довольно рѣдкая, ибо на каждомъ изъ насъ лежитъ болѣе или менѣе яркая и рѣзкая печать тѣхъ особенностей, даже уродливостей, которыя исторически копятся въ окружающей и вліяющей на насъ средѣ. Великосвѣтскій человѣкъ есть человѣкъ, мужикъ—тоже человѣкъ. Но въ томъ и другомъ человѣческое ядро облечено такими рѣзко отличными, исторически сложившимися оболочками, что они сплошь и рядомъ совершенно не могутъ понять другъ друга и видятъ дикость, нелѣпость, безуміе въ томъ, что другой считаетъ признакомъ именно здраваго ума. Такъ и Башкирцева. Она—человѣкъ извѣстнаго круга, весьма рѣзко отграниченнаго отъ остальнаго бѣлаго свѣта, и многое въ ней, что можетъ на взглядъ людей, неприкосновенныхъ къ этому кругу, показаться прямо таки безуміемъ, психическимъ разстройствомъ, есть на самомъ дѣлѣ просто результатъ своеобразнаго воспитанія. Я говорю, разумѣется, о насъ, простыхъ людяхъ, а не о спеціалистахъ психіатрахъ, которые можетъ быть найдутъ въ томъ или другомъ случаѣ настоящее мозговое поврежденіе. Я не думаю, чтобы они нашли таковое въ Башкирцевой, но, если бы и нашли, то полагаю всетаки возможнымъ извлечь изъ ея дневника нѣчто поучительное для всѣхъ насъ, находящихся въ здравомъ умѣ и твердой памяти.

Вопросъ теперь въ томъ, въ какой мѣрѣ можно вѣрить дневнику Башкирцевой. Вообще говоря, этотъ сортъ документовъ большою достовѣрностью не отличается, особливо если авторъ не довольствуется исключительно фактами и пишетъ не лично для себя, не для того только, чтобы когда нибудь помянуть былое, а разсчитываетъ предъявить себя потомству. Нѣкоторое кокетничанье очень натурально въ такихъ случаяхъ,—слабъ человѣкъ. Но Башкирцева такъ насквозь проникнута этой слабостью и такъ откровенно и охотно въ ней сознается, что одно это заставляетъ ей вѣрить и въ остальномъ. Я приведу нѣсколько отрывковъ, характерныхъ въ смыслѣ откровенности:

«Я не буду ни поэтомъ, ни философомъ, ни ученой. Я могу быть только пѣвицей и живописцемъ. И то хорошо. И потомъ, я хочу имѣть успѣхъ, это главное. Строгіе умы, не пожимайте плечами, не осуждайте меня съ дѣланнымъ равнодушіемъ. Будьте справедливы и скажите, что и сами вы въ сущности таковы! Вы этого, конечно, не показываете, но въ глубинѣ души признаете, что я говорю правду. Тщеславіе есть начало и конецъ всего, вѣчная и единственная причина всего. Что не произведено тщеславіемъ, произведено страстями. Страсти и тщеславіе — единственные владыки міра» (I, 133).

«Вернувшись, я застала ужинъ, дядю Степана и деньги, присланныя дядей Александромъ. Я съѣла ужинъ, простилась съ дядей и спрятала деньги. И тогда, странное дѣло, я почувствовала пустоту, родъ грусти. Я посмотрѣлась въ зеркало, глаза у меня были такіе же, какъ въ послѣдній вечеръ въ Римѣ. Нахлынули воспоминанія. Въ тотъ вечеръ онъ (одинъ молодой итальянецъ) просилъ меня остаться еще на одинъ день. Теперь я закрыла глаза и представляла себѣ себя тамъ, съ нимъ.—Я останусь, шептала я, какъ будто онъ былъ тутъ, я останусь для тебя, мой дорогой, мой любимый! Я люблю тебя, хочу любить; ты этого не стоишь, но все равно, мнѣ нравится тебя любить.—И, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ, я стала плакать передъ зеркаломъ; слезы въ небольшомъ количествѣ—мнѣ къ лицу. Возбудивъ себя изъ каприза, я успокоилась отъ усталости и принялась писать, посмѣиваясь сама надъ собой» (I, 249).

«Я хожу на полевыя работы и даже вхожу въ разныя подробности. Это вовсе не занимаетъ меня, но даетъ мнѣ возможность сказать при случаѣ тономъ знатока что-нибудь о хозяйствѣ и блеснуть передъ кѣмъ-нибудь разговоромъ о посѣвѣ ячменя и о сортахъ пшеницы, рядомъ со стихомъ изъ Шекспира и тирадой о платоновской философіи. Вы видите, я изъ всего извлекаю пользу» (I, 288).

«Въ концѣ концовъ я не высокаго мнѣнія о себѣ, какъ о художникѣ, и сама себѣ это говорю (въ надеждѣ ошибиться). Прежде всего, если бы я вѣрила въ свою геніальность, мнѣ бы не на что было жаловаться. Но это слово «геній» такъ огромно, что мнѣ смѣшно писать его, говоря о себѣ Еслибы я вѣрила, что я геній, я была бы сумасшедшая. Но пусть! Я не вѣрю въ свою геніальность, но надѣюсь, что свѣтъ въ нее повѣритъ» (II, 517).

Все это откровенно до наглости, и если человѣкъ этакое рѣшается про себя заносить въ дневникъ, такъ намъ въ данномъ случаѣ очевидно нечего опасаться обычнаго недуга дневниковъ—кокетничанья, рисовки. Рисовка есть, это несомнѣнно, но она сопровождается совершенно откровеннымъ разсказомъ о томъ, какъ, когда и гдѣ рисовался и кокетничалъ авторъ. Чѣмъ другимъ, а фальшивымъ скромничаньемъ Башкирцева не грѣшна. Она не считаетъ нужнымъ маскироваться, потому что совершенно увѣрена въ своихъ достоинствахъ, въ которыхъ должны утонуть всѣ комическія и вообще невыгодныя для нея подробности. Она прямо говоритъ это въ предисловіи и затѣмъ свидѣтельствуетъ всѣмъ своимъ дневникомъ. Предисловіе написано ровно за полгода до смерти и оканчивается такъ: «Если я умру неожиданно для себя, въ моихъ ящикахъ будутъ рыться, найдутъ дневникъ, прочтутъ его и уничтожатъ, и отъ меня не останется ничего, ничего, ничего! Это меня всегда ужасало. Жить, имѣть столько самолюбія, страдать, плакать, бороться и въ концѣ—забвеніе! забвеніе... какъ будто я никогда и не существовала. Если мнѣ жить недолго, и я не успѣю прославиться, этотъ дневникъ заинтересуетъ натуралистовъ. Это всегда любопытно—жизнь женщины, изо дня въ день, безъ фальши, какъ будто никто въ мірѣ не долженъ этого читать и вмѣстѣ съ тѣмъ съ желаніемъ быть прочитанной; потому что я увѣрена, что меня найдутъ симпатичной.. и я говорю все, все. А иначе, стоитъ-ли? Впрочемъ, всѣ увидятъ, что я говорю все».

Башкирцева есть отпрыскъ богатой и родовитой семьи. Съ дѣтства она жила среди какихъ-то крупныхъ семейныхъ неурядицъ, сущность которыхъ не совсѣмъ ясна. Дѣвочку очень баловали. Какой-то гадальщикъ предсказалъ, что она будетъ «звѣздой». Съ тѣхъ поръ, какъ она себя помнитъ, съ трехъ лѣтъ, ее окружали какими-то разговорами о ея будущемъ величіи. То она, разодѣвшись въ материны кружева, изображала изъ себя знаменитую балерину, и весь домъ любовался на ея танцы, то величала своихъ куколъ королями и королевами. Это тяготѣніе къ величію или, точнѣе сказать, къ пьедесталу, къ подмосткамъ, къ возвышенному надъ прочими людьми положенію стало навсегда едва ли не самою рѣзкою, опредѣляющею чертою ея характера. Она не знаетъ наслажденія выше того, которое дается восторгомъ толпы, и пріурочиваетъ къ нему даже сладость любви.—«Слова любви,—пишетъ она,—стоятъ всѣхъ зрѣлищъ на землѣ, за исключеніемъ тѣхъ, въ которыхъ мы сами составляемъ зрѣлище. Да и тутъ есть нѣчто въ родѣ любовной манифестаціи: на васъ смотрятъ, вами любуются, и вы распускаетесь, какъ цвѣтокъ на солнцѣ». Она постоянно занята размышленіями о своей карьерѣ и, чрезвычайно страстно относясь къ своей цѣли—быть зрѣлищемъ, въ высшей степени спокойно и хладнокровно взвѣшиваетъ средства для ея достиженія. Что лучше въ этомъ смыслѣ: выйти замужъ за богатаго и знатнаго человѣка и блистать заимствованнымъ отъ него блескомъ въ придачу собственнымъ достоинствамъ, или же, напротивъ, купить себѣ мужа и добиваться блеска своими талантами? Если купить мужа, то гдѣ это лучше сдѣлать? и т. д. и т. д. (Мимоходомъ сказать, размышляя объ этомъ послѣднемъ вопросѣ, Башкирцева приходитъ къ заключенію, что хуже всего это сдѣлать въ Россіи: «купленный русскій былъ бы ужасенъ», а очень годятся для этого «итальянскіе князья»).

Среди разныхъ вздоровъ на эти темы, то смѣшныхъ, то дрянныхъ, но отнюдь не симпатичныхъ, какъ ожидала сама Башкирцева, часто встрѣчаются ноты другого свойства. Башкирцева горько жалуется, что до двѣнадцати лѣтъ ее баловали, исполняя ея малѣйшія желанія, но никогда не думали о ея воспитаніи. Она много читала, но безъ всякой помощи со стороны, безъ всякихъ указаній, что и когда попадется подъ руку. Не смотря на многочитаніе и умѣнье блеснуть при случаѣ то стихомъ изъ Шекспира, то подлинной латинской цитатой, она поразительно невѣжественна. Ея религіозныя и политическія убѣжденія колеблятся отъ малѣйшаго дуновенія вѣтра. Она монархистка при встрѣчѣ съ Викторомъ-Эммануиломъ, республиканка на похоронахъ Гамбетты, соціалистка по прочтеніи «Assomoir» Зола. Она вѣритъ и не вѣритъ въ Бога, смотря по тому, какъ идутъ ея дѣла. Не берусь судить о ея взглядахъ на произведенія живописи и скульптуры, но что касается ея сужденій о литературѣ, то они достаточно характеризуются слѣдующимъ. Прочитавъ уже въ годъ своей смерти въ первый разъ «Войну и миръ» Толстого (повидимому, во французскомъ переводѣ), она съ восторгомъ восклицаетъ: «Mais c'est comme Zola!..»

И тѣмъ не менѣе, это чрезвычайно бога-

тая натура. Она умна, хотя «ума отрывистаго и неправильнаго», что, можетъ быть, зависитъ отъ безобразія воспитанія и обстановки, она—признанный талантъ въ живописи. Но что самое важное, она необыкновенно жадно относится къ жизни. У нея положительно soif de tout, какъ она сама выражается, жажда всего, и это «все» обнимаетъ гораздо большій кругъ вещей, чѣмъ тотъ, который ей непосредственно доступенъ, благодаря ея общественному положенію. Негодуя на учительницу, которая манкируетъ уроками, она съ комическимъ паѳосомъ пишетъ: «Мнѣ тринадцать лѣтъ; если я буду терять время, что со мною станется? Она крадетъ мое время, вотъ ужъ четыре мѣсяца изъ моей жизни пропали». Предоставленная въ этомъ отношеніи самой себѣ, хватая, и глотая, что попало, она приходитъ въ восемнадцать лѣтъ къ такимъ размышленіямъ: «Мнѣ бы хотѣлось говорить со знающими людьми, хотѣлось бы видѣть, слушать, учиться... Но я не знаю къ кому и какъ обратиться, и остаюсь глупая, подавленная, не зная куда сунуться и провидя кругомъ себя сокровища: исторія, наука, весь міръ наконецъ... Я бы хотѣла все видѣть, все знать, всему научиться».

Это—вопль души недюжинной. Мы естественно склонны думать, что въ той средѣ, въ которой выросла и вращалась Башкирцева, люди живутъ на розахъ. И въ самомъ дѣлѣ, казалось бы, чего имъ не хватаетъ? Развѣ птичьяго молока, да вѣдь и то только потому, что его въ природѣ нѣтъ. Мы знаемъ, конечно, что и тамъ «смерть жатву жизни коситъ», что и тамъ есть предательство, измѣна и ревность—«чудовище съ зелеными глазами», и болѣзнь и воздыханіе, и скорбь и горе. Но вотъ захотѣлось, напримѣръ, семьѣ Башкирцевыхъ посмотрѣть страну, гдѣ зрѣетъ апельсинъ, и поѣхали, и дышатъ благорастворенным воздухомъ, и любуются на вѣковѣчные образцы искусства, и всяческой другой красотой насыщаютъ «кристалъ очей». Захотѣлось въ Парижѣ салонъ открыть, и чтобы знаменитости по той или другой части собрались и хорошія слова говорили,—можно, только кличъ кликни. Захотѣлось «родного» чего нибудь,—можно въ Москву съѣздить, и вотъ m-lle Marie Bashkirtseff сидитъ въ Bazar Slave и справедливо находитъ, что le samovar и le kalatsch—прекрасныя въ своемъ родѣ вещи. Но и Петербургъ тоже хорошъ, съ красавицей Невой и бѣлыми ночами. А то и въ деревню можно. Тамъ тоже хорошо: пикники, охота на волковъ и зайцевъ, такъ художественно изображенная Львомъ Толстымъ, и ces bons paysans russes чудесныя пѣсни поютъ... А если еще захватить съ собой тридцать платьевъ изъ Парижа, да поражать губернскую аристократію изяществомъ, умомъ, красотой, пѣніемъ,—такъ просто не житье, а масляница!

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что множество людей живутъ этою пріятною и эффектною жизнью и беззаботно докатываются до гробовой доски, ни о чемъ другомъ не помышляя и ничего другого не ища. Башкирцевой тоже все это очень нравится, и ничего другого она не знаетъ. Но, жадно хватая всѣ доступныя ей впечатлѣнія, она всетаки чувствуетъ нѣкоторые уголки своей души незаполненными, неудовлетворенными, а въ чемъ дѣло не знаетъ. Не смотря на всѣ свои разъѣзды по Европѣ и Россіи и кажущееся разнообразіе впечатлѣній, она въ сущности постоянно окружена какою-то китайскою стѣной, за которую тянетъ какимъ-то смутнымъ позывомъ, за которой смутно чуется что-то большое, заманчивое, настоящее. Она, какъ рыба въ аквaріумѣ: воды довольно, корму много, рыба весела и игрива, передъ ней какъ будто и очень широкіе горизонты, но, за извѣстными предѣлами, она вездѣ натыкается на непонятный для нея стеклянный заборъ, который какъ будто даже и не существуетъ, а, между тѣмъ, не пускаетъ. Отсюда постоянное колебаніе настроенія духа Башкирцевой. Только что налюбовавшись на себя по тому или другому поводу, она вдругъ впадаетъ въ непереносную тоску, всячески бранитъ себя, молитъ Бога о смерти и т. п. Съ нею случались настоящія, вполнѣ осязательныя бѣды. Такъ, она потеряла голосъ, на который много разсчитывала въ качествѣ пѣвицы, потомъ стала глохнуть, потомъ у нея открылась чахотка. Но совершенно независимо отъ этихъ несчастій, она иногда впадаетъ въ безпричинную, повидимому, тоску и яростно колотитъ себя въ пустую грудь, единственно потому, что она пуста, тогда какъ для ея радостнаго настроенія всегда имѣется какая-нибудь вполнѣ опредѣленная причина, которую она сама отлично понимаетъ.

Достойно вниманія, что во всѣхъ странствованіяхъ Башкирцевой отъ Испаніи до Россіи, при всѣхъ столкновеніяхъ съ разнообразнѣйшими людьми отъ римскаго папы до полтавскихъ помѣщиковъ, не нашлось ни одного человѣка, который захотѣлъ бы и съумѣлъ бы отнестись къ ней, что называется, по божески, и которому она могла бы показать свои душевные изъяны, задрапированные изящными туалетами, очаровательными улыбками, остроумными репликами. Ея короткій жизненный путь пройденъ среди восторговъ, но простого участія, помощи, настоящаго человѣческаго отношенія она не видала и, можетъ быть, и сама не

догадывалась о возможности такихъ не блестящихъ вещей. Оттого-то она, можетъ быть, и за дневникъ принялась и довела эту скучную задачу до самой смерти. Мнѣ кажется, что дневники вообще должны вести или очень бездѣльные, или очень одинокіе, сиротливые люди. Дневникъ—или забава человѣка, у котораго много свободнаго времени, или—убѣжище человѣка-сироты, которому, какое бы многолюдство его ни окружало, не съ кѣмъ подѣлиться своимъ интимнымъ. Башкирцева была и то, и другое. Какъ ни торопилась она неизвѣстно куда, нетерпѣливо и страстно считая потерянные дни, мѣсяцы, годы, свободнаго времени у нея было, конечно, вдоволь. И какъ ни была она постоянно окружена людьми, она была въ сущности сирота безъ призора и помощи.

На нѣкоторое время Башкирцеву выручило стеченіе обстоятельствъ. Она серьезно начала учиться живописи. Толчокъ къ этому былъ данъ частью внутреннею потребностью творчества, инстинктивнымъ давленіемъ таланта, а частью все тѣмъ-же желаніемъ блистать и достигнуть пьедестала не мытьемъ, такъ катаньемъ. Но, войдя во вкусъ дѣла, Башкирцева замѣчаетъ въ себѣ черезъ нѣкоторое время рѣзкую перемѣну. Не то, чтобы она сожгла все, чему поклонялась, и поклонилась всему, что сжигала, но, разъ она серьезно принялась за работу, самая обстановка труда вноситъ въ ея жизнь нѣчто новое. Сначала она отмѣчаетъ это обстоятельство даже съ нѣкоторою грустью. Она пишетъ: «Я думала, что рождена быть счастливою во всемъ, теперь вижу, что я во всемъ несчастна. Это рѣшительно то же самое, только совсѣмъ наоборотъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я знаю, чего мнѣ держаться, жизнь очень сносна, и я не горюю больше. Ужасно было постоянное разрушеніе иллюзій, ужасно было натыкаться на змѣй тамъ, гдѣ разсчитываешь найти цвѣты. Но эти вещи закалили меня до равнодушія... Вмѣсто розоваго, получилось сѣрое, вотъ и все. Надо рѣшиться и успокоиться. Я не узнаю себя. Это не минутное чувство, а я въ самомъ дѣлѣ стала такая. Мнѣ даже не нужно богатства. Двѣ черныя блузы въ годъ, бѣлья на недѣлю, самая простая пища, только бы свѣжая, да чтобы въ ней поменьше луку было, и возможность работать. Экипажа никакого не надо: въ омнибусѣ и пѣшкомъ... Но, зачѣмъ же жить въ такомъ случаѣ? Зачѣмъ? А, Богъ мой,—въ надеждѣ на лучшіе дни, а эта надежда насъ никогда не покидаетъ. Все относительно. Въ сравненіи съ моими прошедшими муками, настоящее прекрасно... Иногда мнѣ приходитъ въ голову нарядиться, прогуляться, показаться въ оперѣ, на выставкѣ. Но я сейчасъ же спрашиваю себя: къ чему это? И все разсыпается прахомъ». Старая закваска еще сказывается, и Башкирцева по временамъ мечтаетъ, напримѣръ, о салонѣ на манеръ салона г-жи Рекамье, но почва подъ ея ногами, повидимому, все твердѣетъ.

«Я очень занята,—пишетъ она,—и очень довольна. Я теперь вижу, что мучилась отъ бездѣлья. За послѣднія три недѣли я работала въ мастерской съ восьми часовъ до полудня, потомъ дѣлала какіе-нибудь эскизы, или читала, или занималась музыкой и къ десяти часамъ ни на что уже больше не годилась, какъ спать. Вотъ существованіе, при которомъ забудешь, что жизнь коротка. Если эта страсть къ работѣ продолжится, я объявляю себя вполнѣ счастливой. Я обожаю живопись, и нѣтъ у меня никакихъ поползновеній къ отдыху или лѣни. Я довольна!»

Этотъ переворотъ случился съ Башкирцевой въ началѣ 1879 г.; переворотъ не коренной и не окончательный, но всетаки съ этихъ поръ дневникъ ведется въ общемъ гораздо болѣе спокойнымъ тономъ, а безобразныя выходки самомнѣнія и самообожанія значительно убываютъ и въ количественномъ, и въ качественномъ отношеніи. Нѣкоторое успокоеніе Башкирцева нашла въ работѣ...

Есть истины, которыя неловко высказывать, потому что онѣ слишкомъ банальны. Дважды два, безспорно, четыре, и именно, потому, что это такъ безспорно истинно, предъявленіе этой истины было бы столь же комично, какъ попытка взламывать отворенную дверь. Есть другія истины, неудобныя по совершенно противоположной причинѣ,—по неподготовленности собесѣдниковъ, которые назовутъ ихъ въ лучшемъ случаѣ парадоксами, а то такъ и ересью, смѣшною или вредною. Есть наконецъ истины, которыя страннымъ образомъ сочетаютъ въ себѣ неудобства обоего рода. Къ числу такихъ двусмысленныхъ, парадоксально-банальныхъ истинъ принадлежитъ то положеніе, что счастіе человѣка заключается въ трудѣ. Съ одной стороны, это банальнѣйшая истина, которую всѣмъ намъ съ ребяческихъ лѣтъ внушаютъ въ прописяхъ, въ поучительныхъ книжкахъ, въ словесныхъ наставленіяхъ. Но когда мы благополучно оканчиваемъ свое низшее и среднее образованіе и приступаемъ къ высшему, да даже и раньше этого момента, когда мы только знакомимся съ самой жизнью, мы на каждомъ шагу встрѣчаемъ опроверженіе этой банальной истины, которую намъ старались усвоить единовременно съ таблицей умноженія. Мы видимъ тружениковъ, отнюдь не счастливыхъ, и совершенно счастливыхъ

тунеядцевъ. Къ этой практикѣ присоединяется вслѣдъ затѣмъ и теорія, и не только въ видѣ размышленій какого-нибудь шалопая, который откровенно и болѣе или менѣе искусно ниспровергаетъ прописную истину. Нѣтъ, мы встрѣчаемъ, напримѣръ, и въ учебникахъ и трактатахъ по политической экономіи (хотя бы у Милля) «отвращеніе къ труду», какъ одинъ изъ постоянныхъ и коренныхъ факторовъ человѣческой души. Ну, а можетъ-ли заключаться счастье въ томъ, отъ чего всѣ отвращаются, отъ чего всѣ бѣгутъ? А что бѣгутъ, это несомнѣнно, — стоитъ только кругомъ оглянуться: «виждь и внемли». Но дѣти наши, дѣти видящихъ и внемлющихъ, своимъ чередомъ продолжаютъ копировать прописи, читать поучительныя книжки и слушать наши словесныя наставленія въ томъ смыслѣ, что счастье и трудъ въ родѣ какъ синонимы. А промежъ себя мы, умудренные житейскимъ опытомъ и наукой, при случаѣ хитро подмигиваемъ по адресу этой банальной истины и можемъ чрезвычайно осмѣять человѣка, который бы вздумалъ проповѣдывать ее намъ, а не дѣтямъ нашимъ: тѣ, молъ, выростутъ, сами узнаютъ, какъ и многое другое прочее, о чемъ мы имъ до поры до времени времъ.

Что же они такое узнаютъ? Узнаютъ, конечно, прежде всего, что мы имъ много врали, и это къ украшенію нашему не послужитъ. Но это—мимо. Дѣло въ томъ, что въ разныя времена люди разно понимаютъ самихъ себя и въ разномъ полагаютъ свое счастіе, свое достоинство, свою честь. Античный грекъ Аристотель называлъ человѣка «общественнымъ животнымъ»,—опредѣленіе, уже потому невѣрное, что не одинъ человѣкъ живетъ обществомъ, но очень характерное для античнаго грека, который въ общеніи видѣлъ привлекательнѣйшую сторону существованія. Американецъ Франклинъ называлъ человѣка «дѣятелемъ машинъ»,—опредѣленіе опять-таки одностороннее, но характерное для американца. Нашъ философствующій современникъ могъ бы назвать человѣка существомъ, отлынивающимъ отъ работы, и это опредѣленіе было бы въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ очень удачно. Ласточка никогда не отлыниваетъ отъ работы, нужной для постройки гнѣзда, и бобръ не отлыниваетъ, и муравьи другъ передъ другомъ изо всѣхъ силъ стараются тащить какую-нибудь соломинку или трупъ жука. Только одинъ человѣкъ отлыниваетъ, и въ этомъ состоитъ его характерная черта, съ одной стороны отграничивающая его отъ всѣхъ другихъ живыхъ существъ, а съ другой—объединяющая одной формулой всѣхъ людей, ибо посмотрите: отлыниваете не только вы сами, сваливая работу на своихъ подчиненныхъ и слугъ, но отлыниваетъ и лакей вашъ,—вы его такъ часто за это браните,—да и къ вамъ сюда явился онъ именно потому, что отлыниваетъ отъ тяжелой деревенской работы. Кажется, чѣмъ не опредѣленіе? Чѣмъ не теорія? А стало быть попытки поставить счастье и трудъ за одну скобку—вздоръ, вздоръ смѣшной, а можетъ быть и вредный, и дѣтямъ своимъ мы въ прописяхъ, нравоучительныхъ книжкахъ и словесныхъ поученіяхъ сознательно времъ, но это вранье неизбѣжное...

Нѣтъ, господа, успокойтесь. Мы много времъ своимъ дѣтямъ, да и другъ другу времъ, но въ настоящемъ случаѣ не времъ. Наши дѣти, которыя будутъ, надо надѣяться, умнѣе насъ, легко разберутся въ осложненіяхъ парадоксально-банальной, еретически-азбучной истины. Во первыхъ, если они даже не получатъ классическаго образованія, то всетаки будутъ хорошо понимать смыслъ изреченія: tempora mutantur et nos mutamur in illis. Они будутъ знать, что не всегда и не вездѣ человѣкъ отлыниваетъ отъ труда (даже если мы не докажемъ имъ этого своимъ примѣромъ, а не грѣхъ бы и примѣръ показать); что во всѣхъ случаяхъ, несомнѣнно очень многочисленныхъ, отвращенія къ труду дѣло не въ самомъ трудѣ, а въ его обстановкѣ.

Вернемся къ Башкирцевой. Кажется, какого бы ей еще, съ позволенія сказать, рожна нужно? Все къ ея услугамъ, какъ бы по мановенію магическаго жезла,—всяческій блескъ, всяческая красота и наслажденіе. Ко всему этому она относится съ чрезвычайною жадностью, все это ей любо и дорого, и по молодости ея лѣтъ, даже и разговору еще не можетъ быть о пресыщеніи. Пресыщеніе наступитъ потомъ, когда алчная погоня за наслажденіемъ дойдетъ до своего естественнаго конца, ибо даже математически доказано (ощущеніе растетъ, какъ логариѳмъ впечатлѣвія), что эта бѣшенная скачка не можетъ привести къ добру. Но намъ не нужно теперь и математическаго доказательства горькой безплодности прямой погони за наслажденіемъ, потому что далеко не успѣвшая еще пресытиться Башкирцева тѣмъ не менѣе мятется духомъ среди дорогого ей блеска и, повидимому, счастія. Я знаю, что многіе на ея мѣстѣ чувствовали бы себя вполнѣ счастливыми, но объ этихъ философъ давно сказалъ, что лучше быть недовольнымъ человѣкомъ, чѣмъ довольною свиньей. Башкирцева — человѣкъ, испорченный, искалѣченный, извращенный, но человѣкъ и потому недовольна. Но вотъ она принимается за работу, и работа совершаетъ чудо: миръ нисходитъ въ смятенную душу. Она довольна,

счастлива, потому что незаполненные уголки ея души получили свое удовлетвореніе. Она сама не понимала, чего ей не хватаетъ, и только сама жизнь показала, что ей не хватало активной, цѣлесообразной дѣятельности, то есть труда. Какъ только онъ явился на сцену,—пассивное воспріятіе впечатлѣній всяческаго блеска отошло на задній планъ, и муки прикончились...

Не совсѣмъ, однако, прикончились. Башкирцева была слишкомъ искалѣчена всей своей прежней жизнью съ трехлѣтняго возраста и даже съ самаго рожденія, чтобы самостоятельно вылечиться, опираясь на самое себя. А умирая въ двадцать три года, она была все такъ же сиротлива, какъ и во всю свою недолгую жизнь, и не было около нея ни единаго человѣка, который бы ей, калѣкѣ, хоть костыль предложилъ. Поэтому припадки самообожанія и мечты о пьедесталѣ не совсѣмъ прекратились, а только сократились. Впрочемъ, увѣренность въ своихъ необъятныхъ силахъ и въ томъ, что на какомъ бы поприщѣ она ни выступила, ей стоитъ только придти и увидѣть, чтобы побѣдить,—эта болѣзненная увѣренность, пожалуй, совсѣмъ исчезла. Да иначе и быть не могло: работа есть слишкомъ осязательная проба настоящаго размѣра силъ, чтобы à la longue оставлять мѣсто иллюзіямъ самоувѣренности. Съ изумительною откровенностью заноситъ Башкирцева въ свой дневникъ всѣ муки зависти, которыя она испытывала по отношенію къ одной своей даровитой и работящей товаркѣ-соперницѣ, нѣкоей Брело (Breslau). И вообще нельзя сказать, чтобы она вполнѣ утихомирилась, нашла въ трудѣ тихое пристанище отъ душевныхъ бурь. Ее всетаки по временамъ что-то мучительно грызетъ и куда-то,—невѣдомо куда, — тянетъ. Со стороны дѣло виднѣе.

Въ январѣ 1881 года она пишетъ: Я еще не поняла, какъ можно отдать свою жизнь за любимое существо, существо смертное, ради котораго вы жертвуете собой, потому что любите его... Но за то я понимаю, что можно претерпѣть всѣ мученія и умереть за принципъ, за что-нибудь такое, что можетъ улучшить положеніе людей вообще. Я бы защищала всѣ эти прекрасныя вещи (toutes ces belles choses) во Франціи, какъ и въ Россіи. Отечество идетъ послѣ человѣчества; національныя различія, это въ концѣ-концовъ только оттѣнки, а я всегда стою за упрощеніе и расширеніе вопросовъ... Я съ полною откровенностью признаюсь, что не желала бы быть неизвѣстной героиней, но клянусь вамъ, что отдала бы послѣднюю каплю крови для спасенія какого-нибудь великаго принципа, который былъ бы мнѣ дорогъ». За полгода до смерти она возвращается къ этой темѣ, но уже откидываетъ космополитическія идеи въ сторону: «Revue des deux mondes посвящаетъ статью нашему Толстому, и мое русское сердце трепещетъ отъ радости. Статью эту написалъ де-Вогюэ, бывшій секретарь посольства въ Россіи, изучавшій нашу литературу и нравы и уже напечатавшій нѣсколько замѣчательныхъ статей о моей великой и прекрасной родинѣ.—А ты, жалкая, ты живешь во Франціи! Если ты любишь свою прекрасную, великую Россію, поѣзжай туда и работай для нея.—Я тоже работаю на славу своей страны... А! если бы у меня былъ такой талантъ, какъ у Толстого! Но еслибы у меня не было моей живописи, я поѣхала бы! честное слово, поѣхала бы! Но моя работа поглощаетъ всѣ мои силы».

Всему этому надо вѣрить, какъ и вообще надо вѣрить искренности Башкирцевой. Но дѣло не въ этомъ что она стала бы дѣлать въ Россіи, не о томъ, какой принципъ могъ бы получить для нея верховную цѣну. Дѣло въ томъ, что у нея такого принципа нѣтъ, и въ этомъ заключается безъисходное горе ея съ виду блестящаго существованія,

Дневникъ Башкирцевой представляетъ единственный въ своемъ родѣ document humain, какъ сказалъ бы Зола. Подводя итогъ любому своему дню, каждый человѣкъ вспомнитъ, что кромѣ главнаго содержанія этого дня, опредѣляемаго какимъ-нибудь событіемъ, какою-нибудь заботою или радостью, у васъ мелькали въ теченіе дня въ головѣ разныя оборванныя мысли, которыя не легко привести въ связь между собою и съ главнымъ содержаніемъ. Тутъ были, можетъ быть, моментальныя, зачаточныя колебанія въ томъ, что вы вообще считаете святымъ и чему вы искренно и долго служите; были смутныя ощущенія такого свойства, что въ нихъ неловко и стыдно признаться; были глупости и шалости мысли, мимолетныя впечатлѣнія и ощущенія. Все это, какъ невѣдомо откуда приходитъ, такъ невѣдомо куда и уходитъ, и человѣкъ вполнѣ искренній, вполнѣ добросовѣстный, имѣетъ право, оставаясь наединѣ съ своею совѣстью, игнорировать огромную часть всѣхъ этихъ мимолетностей и смутностей, останавливаясь, главнымъ образомъ, лишь на опредѣленныхъ и крупныхъ чертахъ своей душевной жизни. Башкирцева идетъ гораздо дальше. Она заноситъ въ свой дневникъ самые разнообразные вздоры и мелочи, пережитые въ теченіе дня, и дѣлаетъ это съ безпощадностью, по истинѣ удивительною. Она пришпиливаетъ къ бумагѣ такія свои ощущенія, чувства, мысли, которыя, отнюдь не дѣлая ей чести въ этомъ пришпиленномъ видѣ, смѣло могли

бы быть не только не отмѣчены, но даже не замѣчены ею самою. Это проистекаетъ изъ ея твердаго рѣшенія быть вполнѣ правдивою. Такъ она сама думаетъ да такъ оно и есть, но, независимо отъ этого, есть еще и другая причина такой щепетильной правдивости: Башкирцева просто не умѣетъ отличить главное содержаніе своего дня отъ его случайныхъ, мимолетныхъ, совсѣмъ маленькихъ подробностей. У нея нѣтъ въ распоряженіи такого общаго руководящаго принципа, который помогъ бы ей разобраться въ впечатлѣніяхъ дня съ точки зрѣнія ихъ значительности или незначительности для нея самой даже. Она записываетъ просто все, что ей придетъ въ голову въ ту минуту, когда она пишетъ. Вдругъ ни съ того, ни съ сего напишетъ: «пріѣхалъ Гамбетта», — то есть въ Парижъ пріѣхалъ, — и больше ничего, никакихъ комментарій, хотя дневникъ ея вообще вовсе не имѣетъ характера лѣтописи маленькихъ политическихъ событій. Просто вспомнилось газетное извѣстіе, что Гамбетта пріѣхалъ. А то вдругъ вспомнится платье, въ которомъ она сегодня была, и платье описывается съ необыкновенною подробностью, каковое описаніе вдругъ обрывается и уступаетъ мѣсто размышленіямъ о Божьемъ величіи. Не удивительно, что при такомъ способѣ веденія дневника, въ немъ встрѣчается масса никому не интересныхъ вещей и масса противорѣчій. Противорѣчія эти объясняются отчасти этимъ способомъ веденія дневника, то есть записываніемъ безъ разбора разныхъ мелочей, которыя только мелькаютъ въ душѣ: всякій, кто вздумалъ бы подчеркивать разныя свои смутныя и мимолетныя ощущенія, оказался бы исполненнымъ противорѣчій. Но Башкирцева противорѣчитъ себѣ и въ главныхъ, основныхъ чертахъ по той простой причинѣ, что она собствено ни во что не вѣритъ. Было бы довольно забавно сопоставить различныя страницы ея дневника, на которыхъ она разсуждаетъ о религіозныхъ и политическихъ темахъ. Но лежачаго не бьютъ и изъ пушки по воробьямъ не стрѣляютъ.

Есть, однако, область, въ которой Башкирцева—не воробей. Это—область искусства, живописи. На этомъ поприщѣ она пожала въ Парижѣ лавры, говорятъ, совсѣмъ необыкновенные для иностранца,—ея картины получали высшія награды на выставкахъ, а одна пріобрѣтена, въ виду ея выдающихся достоинствъ, государствомъ въ національную собственность. И это въ двадцать лѣтъ, когда впереди у человѣка такъ много.

Мы видѣли, что работа успокоила смятенную душу Башкирцевой, однако не совсѣмъ. Значитъ, всетаки либо работа не есть окончательно тихое пристанище и залогъ счастья, либо въ работѣ Башкирцевой былъ какой-то изъянъ. И, конечно, былъ! Перечитывая тѣ страницы дневника, гдѣ Башкирцева размышляетъ объ задачахъ и условіяхъ своего искусства (напримѣръ, II, 365, 371, 380—390), проникаешься необыкновеннымъ чувствомъ жалости къ этому талантливому, но несчастному человѣку, который бьется, какъ птица въ клѣткѣ, въ сѣти обуревающихъ ее сомнѣній и недодуманностей. То ей кажется, что настоящая задача искусства состоитъ въ воспроизведеніи дѣйствительности, какъ она есть и какая попадется на глаза, лишь бы воспроизведеніе было жизненно и вѣрно, что все дѣло въ исполненіи. То для нея исполненіе отодвигается на задній планъ, и дороже всего становится мысль, тема произведенія искусства. Такія мысли, такія темы и стоятъ передъ ней, какъ передъ художникомъ, живьемъ; она, напримѣръ, вполнѣ ясно видитъ свои будущія картины — Марія Магдалина и другая Марія вдвоемъ, ночью, у гроба Господня; Маргарита послѣ первой встрѣчи съ Фаустомъ. Какъ художникъ, и художникъ недюжинный, она видитъ своимъ умственнымъ окомъ эти образы, они мучатъ ее, требуя своего воплощенія, но при всемъ стараніи выразить словами—чѣмъ это собственно хорошо, привлекательно, какъ художественная задача,—она не можетъ этого сдѣлать. Она можетъ только сказать, что это что-то «великое», «простое», «*человѣчное*». Подчеркнувъ въ одномъ мѣстѣ это послѣднее слово, она прибавляетъ: «не смѣйтесь, да вы и не засмѣетесь, если поймете».

Эти слова могли бы быть поставлены эпиграфомъ ко всему дневнику Башкирцевой. Есть въ немъ надъ чѣмъ посмѣяться, много есть легкомысленнѣйшаго вздора и пустяковъ, но въ концѣ концовъ, подводя итоги этой короткой жизни, вы не засмѣетесь, если поймете. Ея талантъ,—я не могу судить о его размѣрахъ, но онъ, конечно, былъ, — остался безъ оплодотворенія тѣмъ великимъ принципомъ, котораго она не имѣла и которому хотѣла бы служить до послѣдней капли крови. Она понимала, что такіе принципы есть, что есть изъ-за чего людямъ жить, умирать и работать, и чувствовала въ себѣ для этого достаточную силу (только бы не оказаться «неизвѣстной героиней», этого ужъ она никакъ переварить не можетъ). За малымъ дѣло стало—самаго-то этого верховнаго, дорогого принципа не было. Вся ея обстановка съ момента рожденія до момента смерти не только не дала ей такого принципа,—все равно какого, въ чемъ бы онъ ни состоялъ,—но отнимала всякую возможность добыть его. А силы большія, онѣ просятся наружу, рвутся къ дѣятельности;

куда-жъ ихъ дѣвать, какъ не на самое себя, если ни во что не вѣришь, а только знаешь, что есть такія вещи, которымъ можно вѣрить на жизнь и на смерть? Человѣкъ, у котораго нѣтъ никакого Бога, но который чувствуетъ потребность служенія Богу, натурально долженъ кончить самообожаніемъ. Но натурально и то, что самообожаніе оканчивается муками сознанія разбитыхъ иллюзій, неудовлетворенности. Является якорь спасенія—трудъ, но и онъ только облегчаетъ муки и недовольство, а не устраняетъ ихъ. Но дѣло здѣсь не въ самомъ трудѣ, а въ томъ, что трудиться надо во имя чего нибудь.

Есть трудъ черный, не въ томъ смыслѣ черный, въ какомъ обыкновенно употребляется это слово, не трудъ чернорабочаго, а трудъ—нелюбимый, подневольный, чрезмѣрный, не окупающійся удовлетворенною потребностью. Все это разные виды чернаго труда, къ которому люди дѣйствительно и совершенно правомѣрно чувствуютъ, отвращеніе, отъ котораго бѣгутъ. Но есть и другой трудъ—свѣтлый—и любимый, и вольный, и связанный безчисленными нитями со всѣмъ духовнымъ существомъ человѣка и его вѣрованіями и упованіями. У Башкирцевой не было такого свѣтлаго труда, который есть или можетъ быть и у любого мужика, и у нашего брата. Еслибы ей, нищей, не смотря на ея «бриліанты, цвѣты, кружева, доводящія умъ до восторга», судьба послала великую и богатую милостыню въ видѣ того верховнаго принципа, по которомъ она, сама не понимая дѣла, вздыхала и которому хотѣла бы отдать жизнь,—ея работа получила бы совсѣмъ другой обликъ, и *тѣхъ* мукъ, которыми она мучилась, не было бы и въ поминѣ. Она вѣдь ничего не отвергала,—ей просто ничего не предлагали. Она не отворачивалась отъ солнца, — ей его всю жизнь заслоняли, и она не знала, гдѣ оно. Правда, у нея были учителя-художники, относившіеся къ ней внимательно и бережно, но ихъ вниманіе было устремлено только на техническую сторону труда, и никто не указалъ ей достойной цѣли этого труда, — ея искусства.

Башкирцева смѣшна, нелѣпа, подчасъ возмутительна, но—«не смѣйтесь, да вы и не засмѣетесь, если поймете». Миръ ея праху, и да здравствуетъ свѣтлый трудъ!

XIII.

Кое-какіе итоги *).

Я написалъ было просто — «итоги», но сейчасъ же опомнился и прибавилъ опредѣленіе «кое какіе», потому что гдѣ ужъ такое большое слово сдержать! «Итоги» и само по себѣ большое, значительное слово. А въ моемъ положеніи «читателя» оно и особенно значительно и представляетъ для приведенія его изъ состоянія слова въ состояніе дѣла многія совершенно непреодолимыя трудности. На первый взглядъ казалось бы чего проще: въ тотъ день, когда эта тетрадь моего дневника увидитъ свѣтъ, мы будемъ поздравлять другъ друга съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ; ну давайте, оглянемся на старый годъ и старое счастье, припомнимъ, что мы за этотъ годъ перечитали, что нужно—сложимъ, что нужно—вычтемъ, помножимъ, раздѣлимъ, возведемъ въ надлежащія степени, извлечемъ надлежащіе корни—и готовъ итогъ. Но—«накось, шагни!» сказалъ одинъ извощикъ дамѣ, которая увѣряла, что ѣхать имъ «два шага». Просто-то оно просто, а попробуйте...

Я не буду говорить о всѣхъ трудностяхъ и упомяну лишь объ одной. Чѣмъ ограничивается истекающій годъ отъ предыдущаго, кромѣ момента поздравленій съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ? Рѣшительно ничѣмъ, въ литературномъ по крайней мѣрѣ отношеніи. Литература въ 1887 г. была въ общемъ такая же и прямо та-же, какъ и въ 1886, и раньше, и еще раньше. Читали мы кое что цѣнное, даже драгоцѣнное, но это драгоцѣнное не въ 1887 г. выросло. Читали и многое дрянное, но и это дрянное опять же идетъ изъ нѣкоторой дали временъ, а не въ 1887 г. народилось. Такъ что если задаться мыслью подводить итоги своимъ читательскимъ впечатлѣніямъ, то придется оглядываться на довольно длинный рядъ годовъ, весьма мало одинъ отъ другого отличающихся. До такой степени мало, что ихъ очень легко смѣшать въ своей памяти.

Я, напримѣръ,—и вѣроятно не одинъ я,—не помню хорошенько, когда именно разные вопросительные, восклицательные и иные знаки препинанія предложили намъ читать многократныя изданія своихъ книгъ, брошюръ и статей о женщинахъ, за женщинъ, противъ женщинъ и т. п. Знаю только и твердо помню, что этотъ ливень нечистоплотностей былъ возможенъ и въ 1887 году, и въ 1886, и раньше, и еще раньше, но было всетаки время, когда онъ былъ рѣшительно невозможенъ. Въ итогахъ, настоящихъ, полныхъ итогахъ, надо же прослѣдить всю эту исторію до ея источниковъ, до того момента, когда ливень нечистоплотностей сталъ возможенъ, а не только фактически наступилъ. Ну, а вы сами можете понимать, сколь непреодолимо трудна подобная задача. Если однако довольствоваться только «кое какими» итогами, то, въ

*) 1888 г., январь.

этихъ неопредѣленныхъ, но скромныхъ границахъ, можно всетаки извлечь нѣчто поучительное и изъ ливня.

Въ восемьдесятъ ли седьмомъ году настигъ насъ этотъ ливень или въ восемьдесятъ шестомъ или тянулся оба эти года, онъ во всякомъ случаѣ какъ будто свидѣтельствуетъ о возрожденiи интереса къ вопросу о положенiи женщины. Говорю о «возрожденiи», потому что уже не въ первый разъ литература изобилуетъ книгами и статьями на эту тему. Лѣтъ двадцать, двадцать пять тому назадъ вопросъ о положенiи женщины въ семьѣ и обществѣ тоже насъ очень занималъ, и мы много объ немъ писали и читали, переводили и компилировали. Но какая разница между двумя волнами, прошедшими по тогдашней и нынѣшней литературѣ! Наглядно эта разница можетъ быть выражена хоть бы такъ: тогда мы переводили книгу Милля о «подчиненности женщины», а нынѣ г. Вопросительный знакъ утверждаетъ во-первыхъ, что книга Милля называется «Подчиненіе *женщинъ*», и во-вторыхъ, что Милль написалъ ее, «ослабѣвъ умственными силами и попавъ въ руки жены». Изъ этого, конечно, прежде всего слѣдуетъ, что г. Вопросительный знакъ находится въ полномъ расцвѣтѣ умственныхъ силъ, но это меня не занимаетъ. А занимательно вотъ что. Книга Милля разошлась у насъ въ нѣсколькихъ изданiяхъ, книга г. Вопросительнаго знака тоже выдержала нѣсколько изданiй. А между тѣмъ книга Милля есть изслѣдованiе, съ выводами котораго можно соглашаться и не соглашаться, но изслѣдованiе во всякомъ случаѣ серьезное, искреннее, чистое, обращающееся къ уму и сердцу читателя, безъ какого бы то ни было лицемѣрiя и безъ заигрыванiя на низменныхъ струнахъ души. Книга же г. Вопросительнаго знака представляетъ собою шутовски развязный сборникъ «мыслей старыхъ и новыхъ», съ присовокупленiемъ скабрезныхъ анекдотовъ и такихъ разсужденiй о женскихъ ногахъ, плечахъ и т. д., что иной разъ можно затрудниться,—объ комъ собственно рѣчь идетъ: объ человѣкѣ или объ лошади. А такъ какъ г. Вопросительный знакъ при всемъ томъ много толкуетъ о святости семейнаго очага, то книга его является въ цѣломъ удивительною смѣсью лицемѣрiя и разнузданности; ибо согласитесь съ тѣмъ, что защищать святость семейнаго очага при помощи анекдотовъ о раздѣтыхъ женщинахъ и разсужденiй о женщинахъ съ коннозаводскою ясностью, — это задача нѣсколько двусмысленная. И однако мы раскупали книгу г. Вопросительнаго знака, какъ въ свое время раскупали книгу Милля. Что же такое съ нами за этотъ промежутокъ времени произошло? Это—большой вопросъ, на который отвѣчать должны бы были настоящіе, полные итоги, отъ каковыхъ я отказываюсь. Скажу лишь слѣдующее. Анекдоты, нуждающіеся въ фиговыхъ листахъ, равно какъ и соотвѣтственная точка зрѣнiя, всегда существовали. Но прежде анекдоты записывались любителями и знатоками въ особыя тетрадки, хранившіяся въ письменномъ столѣ подъ ключомъ, или разсказывались въ извѣстнаго рода холостыхъ компанiяхъ подъ полупьяную руку. Они не смѣли являться на всеобщее позорище въ печати. Нынѣ они осмѣлились. Запомнимъ это и давайте еще искать слагаемыхъ для кое-какихъ итоговъ.

Нынче весной я имѣлъ счастiе сбѣжать изъ Петербурга на нѣсколько мѣсяцевъ. Вернувшись домой уже въ августѣ, я нашелъ у себя на столѣ, между прочимъ, цѣлый ворохъ полученныхъ безъ меня номеровъ газеты «Новости». Перебирать эту успѣвшую насквозь пропылиться кучу газетныхъ листовъ не было никакой надобности, и такъ она полностью и поступила въ распоряженiе прислуги. Потомъ я объ этомъ пожалѣлъ, потому что заинтересовался въ номерахъ «Новостей» отъ 6-го и 8-го сентября концомъ статьи г. Майнова «Мужичокъ», очевидно тянувшейся въ лѣтнихъ номерахъ довольно долго; но тогда какъ-то не удосужился разыскать эти номера, да и не думалъ, что они мнѣ могутъ до такой степени пригодиться, какъ пригодились бы вотъ въ эту минуту «кое какихъ итоговъ». А теперь разыскивать уже и некогда. Разсказываю обо всемъ этомъ такъ обстоятельно для того, чтобы вы знали, почему я могу цитировать только конецъ статьи г. Майнова, именно главу XII—«Ванькина вѣра». Вы сейчасъ увидите, однако, что нѣкоторымъ окольнымъ путемъ я имѣю возможность цитировать и другія части «труда» г. Майнова, хотя и не читалъ «Новостей» все лѣто.

Читая «Ванькину вѣру», я все думалъ: не въ первый разъ я это читаю... гдѣ-то, когда-то, этакое было напечатано... тотъ же возмутительный развязный типъ, то-же безсмысленное издѣвательство надъ мужикомъ, то-же самодовольство чрезвычайно образованнаго человѣка, которому «звѣздная книга ясна»... Положительно, все это мнѣ знакомо, какъ знакомо и то чувство, которое я испытывалъ при чтенiи «Ванькиной вѣры», чувство негодованiя и обиды... Ба! вспоминаю...

Въ 1876 году во французской Revue Scientifique была напечатана анонимная статья—«Le paysan russe. Etude de psychologie nationale». Я былъ пораженъ ею и тогда же сдѣлалъ объ ней нѣсколько замѣчанiй въ

одномъ, журналѣ; сдѣлалъ и кое какія выписки изъ нея. Онѣ-то теперь и пригодятся намъ, взамѣнъ тѣхъ главъ статьи г. Майнова «Мужичокъ», которыхъ я не читалъ.

Редакція «Revue Scientifique» сопроводила упомянутую статью слѣдующимъ примѣчаніемъ: «Предлагаемая *юмористическая* статья есть произведеніе члена крупнаго поземельнаго русскаго дворянства, занимающаго высокое мѣсто въ администраціи имперіи (membre de la grande noblesse territoriale russe, qui appartient à la haute administration de l'empire). Это двойное обстоятельство, ставящее автора въ столь выгодныя условія для оцѣнки аграрнаго положенія страны, объясняетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, почему статья не можетъ быть подписана». Самая статья вельможнаго автора начинается такъ: «Савоська,— ни больше, ни меньше, какъ Савоська, нѣчто среднее между воломъ подъяремнымъ и обезьяной, способной къ подражанію, нѣчто, представляющее кое какія ничтожныя черты человѣческаго типа, въ которыхъ одни видятъ разумъ, другіе — только животный инстинктъ». Въ выноскѣ авторъ увѣдомляетъ французовъ, что «Савоська» есть уменьшительное, съ оттѣнкомъ презрѣнія, отъ «Севастьянъ». «Такъ называютъ другъ друга русскіе мужики, — прибавляетъ онъ: *никогда* (jamais) не говорятъ Иванъ, а всегда Ванька и т. п.».

Теперь слушайте дальше, и прошу вашего вниманія.

„По мнѣнію Савоськи, турокъ, русскій и нѣмецъ подѣлили между собой всю землю; русскій, конечно, занялъ больше всѣхъ, потому что въ Россіи много дворянъ, а дворянинъ естественно владѣетъ большимъ пространствомъ земли. Цѣлое, занимаемое этими тремя народами, называется „поселенная" (игра словъ, которой Савоська предается въ своемъ невѣжествѣ; онъ говоритъ не „вселенная", а „поселенная", то есть обитаемая земля). Кромѣ этой поселенной, которая держится на трехъ китахъ, есть еще міръ. Савоська никогда не читалъ Фламмаріона, но очень хорошо знаетъ, что міры безчисленны: есть міръ Семеновскій, Скрипицинскій, Загуляевскій и много еще другихъ; каждый изъ этихъ міровъ отличается отъ другихъ количествомъ земли, нарѣзанной крестьянамъ... У поселенной есть „пупъ", въ Іерусалимѣ или въ Кіевѣ, въ точности еще неизвѣстно... Много и другихъ знаній имѣетъ Савоська, и даже удивительно, что столько нелѣпостей и вздора можетъ помѣститься въ головѣ одного человѣка. Но этотъ человѣкъ есть Савоська, и потому его голова не можетъ идти въ сравненіе съ головами другихъ людей: это — уродство, какъ и самъ Савоська уродъ... По своей наружности, по своему образу жизни, Савоська — уродъ, вырвавшійся изъ музея... Савоська—знатокъ и экспертъ въ медицинѣ. Если кто-нибудь изъ его ближнихъ страдаетъ грыжей, онъ ловитъ рыжую мышь и заставляетъ ее грызть больное мѣсто... Въ дѣлѣ историческихъ свѣдѣній Савоська не столь богатъ, но всетаки и въ этой области науки онъ знаетъ множество фактовъ, неизвѣстныхъ ни одному историку. Онъ, напримѣръ, прекрасно знаетъ исторію знаменитаго атамана разбойниковъ, который никогда не грабилъ бѣдныхъ, но богатыхъ сжигалъ живьемъ; который хотѣлъ, чтобы народъ былъ самъ себѣ господиномъ. Онъ знаетъ, что былъ нѣкогда въ Россіи народъ Чудь, представители котораго были очень малаго роста, но имѣли большія головы... Савоська знаетъ только одну пѣсню: „Oh! mon père, mon père terrible m'a batu en me disant" и т. д., что не мѣшаетъ нѣкоторымъ писателямъ сочинять пріятные романы изъ народной жизни, изображающіе, какъ Савоська влюбился въ дѣвицу, прекрасную какъ день, но авторъ не говоритъ, потеряла ли эта дѣвица, какъ большая часть крестьянокъ, носъ вслѣдствіе болѣзни, хорошо извѣстной въ Россіи".

„Миѳологія Савоськина такъ до сихъ поръ и остается сфинксомъ, какъ и самъ Савоська; вѣритъ онъ, но по своему вѣритъ... да Богъ его знаетъ, чему только онъ не вѣритъ. Вѣритъ онъ въ чертей всякаго рода и полагаетъ, что имъ только и дѣла, что гоняться за нимъ, докучать ему и не давать ему ни стать, ни сѣсть. Какъ хорошенько разобрать, такъ онъ рѣшительно становится въ тупикъ, когда ему приходится разбираться въ вопросѣ, гдѣ кончается дѣятельность свѣтлыхъ силъ и гдѣ начинается дѣятельность чорта: поминать эти силы только грѣхъ, а чорта поминать прямо-таки страшно, потому добрая-то сила когда еще на зовъ явится, а чортъ всегда тутъ; чуть не къ мѣсту или не ко времени чертыхнулся—онъ тутъ и есть. Увѣряютъ, что Савоська—христіанинъ, но на самомъ дѣлѣ въ сердцѣ его столько-же христіанства, сколько золота у нищаго въ сумѣ; другіе утверждаютъ, что онъ до сихъ поръ еще не отсталъ отъ своего древняго миѳологическаго канона, а онъ въ отвѣтъ на это обижается и увѣряетъ, что онъ тоже „хрестъ носитъ", что онъ „хрисьянинъ" и вытягиваетъ гайтанчикъ съ крестомъ изъ-за пазухи въ качествѣ вещественнаго доказательства вѣрности своихъ словъ... Міръ созданъ Богомъ,—говоритъ Савоська,—а изъ чего онъ его сдѣлалъ, изъ какого матеріала—это выше ума человѣческаго; знаетъ онъ только, что при мірозданіи случилось несчастіе: чортъ впутался въ дѣло Божье и всю тварь изгадилъ".

Довольно. Этого достаточно, чтобы вы поняли то чувство негодованія, съ которымъ я читалъ анонимный «этюдъ національной психологіи», и которое, я увѣренъ, вы и сами теперь испытываете. Но я долженъ открыть вамъ нѣкоторый секретъ. Въ только что прочитанной вами выпискѣ я сдѣлалъ маленькую передержку: первая половина ея дѣйствительно взята изъ статьи «Le paysan russe», но съ абзаца, съ красной строки идетъ уже статья г. Майнова «Мужичокъ», и именно отрывокъ изъ главы «Ванькина вѣра»; только вмѣсто «Ваньки» я вездѣ поставилъ «Савоську». И вы не замѣтили моей подтасовки, не различили, гдѣ кончается membre de la grande noblesse territoriale russe, qui appartient à la haute administration de l'empire, и гдѣ начинается просто г. В. Майновъ. И это совершенно понятно, потому что я не для шутки или фокуса слилъ двѣ цитаты въ одну: я положительно утверждаю,—и пусть г. Майновъ меня опровергнетъ, — что «Le paysan russe» и «Мужичокъ» суть произ-

веденія одного и того же пера, мало того,— что это одно и то же произведеніе. Разумѣется, г. Майновъ сдѣлалъ и долженъ былъ сдѣлать нѣкоторыя измѣненія. Онъ, напримѣръ, перекрестилъ «Савоську» въ «Ваньку», и я не понимаю, зачѣмъ онъ это сдѣлалъ. Онъ вѣроятно устранилъ въ русской передѣлкѣ нѣкоторыя частныя клеветы на русскаго мужика, ибо трудно себѣ представить, чтобы какая-нибудь русская газета согласилась пропечатать такую глупую и грубую неправду, будто русскіе мужики *никогда* не зовутъ другъ друга иначе, какъ Ваньками да Савоськами; или другой вздоръ — будто русскій мужикъ знаетъ одну только пѣсню: «Oh! mon père, mon père terrible m'a battu, en me disant» (и какая бы это такая пѣсня?!). Но пріемы и тонъ какого-то отвратительнаго трактирно-презрительнаго великолѣпія г. Майновъ сохранилъ всецѣло. Замѣтьте, что Савоська-Ванька есть персонификація всего русскаго крестьянства. Это не какой-нибудь лично знакомый автору идіотъ, а вообще le paysan russe или «мужичокъ». Г. Майновъ утверждаетъ: «моихъ» Ванекъ— милліоны; а свое французское произведеніе прямо называетъ «этюдомъ національной психологіи».

Итакъ, десять лѣтъ тому назадъ г. Майновъ помѣстилъ свое безпардонное издѣвательство надъ русскимъ мужикомъ во французскомъ журналѣ, подъ маской membre de la grande noblesse и т. д., да и то деликатные французы признали его «этюдъ національной психологіи» произведеніемъ *юмористическимъ*, ибо очевидно не могли себѣ представить, чтобы можно было въ серьезъ этакое писать. Теперь же г. Майновъ открыто, съ полною своею подписью, ничего и никого не стыдясь и не боясь, печатаетъ это самое на страницахъ распространенной газеты. Онъ—осмѣлился, какъ осмѣлился г. Вопросительный знакъ, какъ осмѣлились многіе и многіе другіе. Почему осмѣлился? что случилось? почему эти разнообразные, но равно грязные вулканы видимымъ образомъ бездѣйствовали и лишь тамъ, внутри себя бурлили, притворяясь погасшими, и что вызвало теперь ихъ открытыя, громогласныя изверженія?

Что касается развязности собственно г. Майнова, такъ есть другой, вполнѣ тоже развязавшійся писатель, который безъ труда разрѣшилъ бы этотъ любопытный вопросъ. Это—г. Боборыкинъ. Года два тому назадъ онъ напечаталъ въ «Revue Internationale» статью подъ заглавіемъ «Le culte du peuple dans la litterature russe contemporaine». Въ статьѣ этой, переполненной всякимъ вздоромъ и даже просто неприличной для сколько-нибудь уважающаго себя литератора, доказывалось, что въ русской литературѣ существовалъ какой-то «культъ народа», нынѣ благополучно прекратившійся (благодаря будто бы г. Пыпину!), но оказывавшій чрезвычайно вредное давленіе на всю русскую словесность. Съ этой точки зрѣнія дѣло объясняется очень просто. Г. Майновъ, запуганный и задавленный у себя на родинѣ «культомъ народа», обратился съ своимъ безпристрастнымъ «этюдомъ національной психологіи» во французскій журналъ, но и тамъ, преслѣдуемый тѣнью грознаго «культа», не рѣшился объявиться подъ своимъ собственнымъ именемъ, а вынужденъ былъ принять титулъ membre de la grande noblesse territoriale russe, qui appartient à la haute administration de l'empire. Столь велика была тиранія «культа», что благомыслящіе писатели, трезво относящіеся къ Ванькѣ-Савоськѣ, должны были нѣкоторымъ образомъ экспатріироваться, искать убѣжища въ иностранной печати, да и тамъ еще прибѣгать къ самозванству! Нынѣ времена перемѣнились, воздухъ очистился, тираническій культъ, благодаря г. Пыпину (воображаю, какъ этому почтенному писателю пріятно было принимать изъ рукъ г. Боборыкина такого рода лавры!), разсѣялся и вотъ г. Майновъ добился наконецъ желанной свободы слова.

Такъ разъяснилъ бы дѣло г. Боборыкинъ, и за этимъ разъясненіемъ надо признать нѣкоторую долю фактической правды. Однако, лишь нѣкоторую долю и лишь фактической правды. Во-первыхъ, никакого «культа народа», въ смыслѣ сколько нибудь значительнаго литературнаго теченія,—не было. Это г. Боборыкинъ въ своей легкомысленной развязности просто выдумалъ. Но, дѣйствительно, Ванька-Савоська г. Майнова былъ невозможенъ. И не потому только, что г. Майновъ наговорилъ много грубѣйшей неправды и клеветы на Савоську, которой даже французы повѣрить не могли. Пусть бы этой плоской фактической клеветы совсѣмъ не было въ «этюдѣ національной психологіи», пусть бы г. Майновъ воздержалъ свою пылкую фантазію отъ единственной будто бы извѣстной Савоськѣ пѣсни и отъ утвержденія, что русскій народъ не знаетъ именъ «Ваня», «Ванюша», «Иванушка», «Иванъ», «Иванъ Иванычъ», а все только «Ваньками», да «Савоськами» ругается. Пусть бы, однимъ словомъ, г. Майновъ говорилъ только одну праву,—невозможенъ былъ всетаки въ русской литературѣ самый тонъ этой музыки. Въ чемъ собственно упрекаетъ и уличаетъ Ваньку-Савоську съ высоты своего великолѣпія г. Майновъ? Въ невѣжествѣ, предразсудкахъ, грубости. Все это намъ очень хорошо и

безъ г. Майнова извѣстно. Въ русской литературѣ намъ это показывали и въ научныхъ изслѣдованіяхъ, и въ публицистическихъ статьяхъ, и въ художественныхъ картинахъ и образахъ,—кто съ безстрастною холодностью статистической цифры, кто съ негодованіемъ, кто со скорбью, кто съ усмѣшкой, потому что отчего же и не посмѣяться, коли смѣшно. И въ этихъ разныхъ родахъ мы имѣемъ въ литературѣ вещи, много посильнѣе и поярче, чѣмъ картина, нарисованная г. membre'омъ. Но никогда этого не было, чтобы писатель персонифицировалъ милліоны народа въ образъ Ваньки-Савоськи и, поднявшись затѣмъ на высоту своей образованности, оттуда съ веселіемъ издѣвался надъ этимъ образомъ. Савоська—не «этюдъ національной психологіи», не изслѣдованіе и не сатира; изслѣдованіе—серьезно, сатира—горька, а у г. Майнова нѣтъ ни серьезности, ни горечи, а есть именно только одно веселое издѣвательство. Г. Майновъ не сердится и не сочувствуетъ, не изучаетъ и не негодуетъ, онъ—просто веселый человѣкъ. Вотъ этакому-то веселью дѣйствительно еще недавно не было мѣста въ русской литературѣ и надо было дѣйствительно идти съ нимъ куда нибудь на сторону, да и тамъ membre'омъ оборачиваться.

И добро бы въ самомъ дѣлѣ чрезвычайная образованность давала г. Майнову особыя права и преимущества въ дѣлѣ веселаго издѣвательства надъ невѣжествомъ. А то вотъ онъ, напримѣръ, въ своемъ «этюдѣ» смѣшалъ хамелеона съ ихневномомъ (Савоська, говоритъ, измѣнчивъ, «какъ ихневмонъ»). Это вѣдь во всякомъ случаѣ не отъ образованности. Савоська, конечно, не знаетъ ни ихневмона, ни хамелеона, но, пожалуй, и лучше ихъ совсѣмъ не знать, чѣмъ смѣшивать. Или вотъ тоже въ «Ванькиной вѣрѣ» великолѣпный авторъ смѣется надъ тѣмъ, что Савоська считаетъ вопросъ о томъ, изъ какого матеріала міръ сдѣланъ,—«выше ума человѣческаго». Не знаетъ Савоська! А вы, знаете, г. Майновъ? Увѣряю васъ, что Савоська совершенно правъ.

Словомъ, Савоська не такъ ужъ глупъ, а г. Майновъ не такъ ужъ уменъ. Но дѣло не въ томъ,—этого, пожалуй, не стоило бы и доказывать,—а въ кое какихъ итогахъ.

Въ частности относительно г. Майнова, г. Боборыкинъ былъ-бы до извѣстной степени и съ извѣстными оговорками правъ, приписывая его удаленіе въ глубину Revue Scientifique для веселаго оплеванія Савоськи—давленію «культа народа». Но вѣдь эманципировался не одинъ г. Майновъ. Г. Вопросительный знакъ тоже копилъ свои анекдоты и воспитывалъ свою развязность въ тиши уединенія, или въ застольной компаніи «молодыхъ людей» лѣтъ этакъ за 40, или, самое большее, расходовалъ свои сокровища въ печати по частямъ, по кусочкамъ, въ видѣ отрывочныхъ газетныхъ замѣтокъ. И только вотъ теперь осмѣлился выстрѣлить въ читающую публику цѣлымъ томомъ.

Въ провинціальныхъ захолустьяхъ можно видѣть такія сцены. Идетъ по середи бѣла дня по улицѣ человѣкъ въ шинели, накинутой прямо на бѣлье, безъ признаковъ другого платья, и несетъ узелокъ. Это мелкій чиновникъ идетъ въ баню. На встрѣчу ему попадается другой человѣкъ—красный, какъ вареный ракъ, потный, въ халатѣ, перепоясанномъ полотенцемъ или пестрымъ платкомъ, съ вѣникомъ подъ мышкой, тоже съ узелкомъ и въ засаленномъ картузѣ блиномъ на мокрыхъ волосахъ. Это старичокъ отставной идетъ изъ бани. Разный другой людъ въ подобныхъ-же свободныхъ костюмахъ снуетъ въ баню и изъ бани. Составляются группы. Кто натерся въ бани перцовкой, кто сейчасъ натрется, кто принялъ ее внутрь, кто разсчитываетъ сдѣлать это дома, кто напарился только что не до угару. Всѣ довольны. День субботній и, значитъ, можно отдохнуть отъ трудовъ. Сегодня—нѣсколько хорошихъ рюмокъ водки съ груздемъ на закуску, да чайкомъ или пивкомъ побаловаться, завтра жена пирогъ спечетъ, вечеромъ въ картишки поиграть у Ивана Иваныча свои соберутся, а онъ хвасталъ, что рябиновку годовалую сегодня откупоритъ. Всѣмъ весело, и никому не стыдно ни распахивающихся полъ шинели, накинутой прямо на бѣлье, ни подробностей туалета, выглядывающихъ изъ подъ халата; дѣло привычное. Иные, собственно отъ веселья субботнихъ впечатлѣній, прохожихъ задѣваютъ, острятъ на ихъ счетъ, нарочно при встрѣчѣ съ женщиной сальныя слова говорятъ, а если та огрызнется чѣмъ-нибудь въ родѣ «безстыдниковъ», такъ ей такое и съ такимъ громогласнымъ веселымъ хохотомъ вслѣдъ полетитъ, что только уши зажимай. Они пожалуй знаютъ, слыхали когда-то, что все это не ладно, нехорошо, но захолустными нравами это не то что дозволяется, а терпится, и они пользуются этою терпимостью во всю. Они не только съ удовольствіемъ купаются въ болотѣ, но желаютъ и другимъ представлять себя въ своемъ болотномъ положеніи и видятъ въ этомъ какой-то протестъ противъ чего-то; странный протестъ, способный уложиться въ формулу: «ты думаешь, что я скверно поступаю, а я вотъ еще сквернѣе сдѣлаю, и ничего ты со мной не подѣлаешь, потому что на нашей улицѣ праздникъ—суббота, а завтра еще и воскресенье будетъ,

и не вѣрю я и не хочу вѣрить, чтобы что нибудь, кромѣ моего болота, существовало; на-ко, выкуси!»

Нынѣшняя русская литература часто напоминаетъ мнѣ эту некрасивую захолустную идиллію, гдѣ все такъ просто и откровенно и не то, что разнузданно,—это не совсѣмъ подходящее, въ данномъ случаѣ слишкомъ энергическое слово,—а распущено, распоясано. Вотъ идетъ г. Вопросительный знакъ, одѣтый совершенно по домашнему, какъ не принято одѣваться, выходя на улицу, какъ не смѣлъ и г. Вопросительный знакъ прежде одѣваться; идетъ, посвистываетъ и скандальные анекдоты разсказываетъ во всеуслышаніе. Вотъ г. Майновъ, тоже въ распоясанномъ видѣ, безъ всякаго смысла и повода пристаетъ къ прохожему мужику и чрезвычайно самодовольно спрашиваетъ: «Ну, Савоська, такъ изъ какого же матеріала міръ сдѣланъ? не знаешь? дубина ты, дубина стоеросовая!» Вотъ другіе разные господа литераторы, въ халатахъ и туфляхъ, перекрикиваются между собой, прозрачно намекаютъ на что-то такое, чего даже и на захолустной улицѣ всѣми буквами выговорить нельзя, и всѣ чрезвычайно довольны собой и своею свободою пошлаго слова и неприличнаго костюма. Увы! мнѣ кажется, что это одинъ изъ прискорбныхъ, но несомнѣнныхъ итоговъ нашей литературной жизни за истекающій и предыдущіе годы. Я привелъ только двѣ иллюстраціи въ виду ихъ особенной наглядности. Я не остановился, напримѣръ, на изумительной распоясаности, съ которою производится въ газетномъ мірѣ дѣлежъ наслѣдства Каткова, на той пасквильной литературѣ, о которой говорилось въ ноябрьскомъ дневникѣ, и проч., и проч. Читатель безъ труда самъ припомнитъ все это и, конечно, скажетъ вмѣстѣ со мной: да, это грустно и возмутительно, но это—фактъ, это — одинъ изъ литературныхъ итоговъ...

Я не хочу, разумѣется, сказать, чтобы вся литература въ полномъ своемъ составѣ прельстилась свободою пошлаго слова; я говорю только, что многое, еще недавно въ этомъ отношеніи совершенно невозможное, нынѣ совершается передъ нами воочію. И какъ ни грустно это обстоятельство, какъ ни срамитъ оно литературу, оно не должно погружать насъ, читателей, въ безъисходное отчаяніе. Было время, когда знаки препинанія не только записывали скабрезные анекдоты въ особыя тетрадки, не передавая ихъ опубликованію, но, можетъ быть, даже поддакивали, по мѣрѣ силъ и умѣнья, тому, что нынѣ въ развязности своей называютъ «завиральными идеями»; было время, что господа Майновы должны были прибѣгать къ иностранной печати для предъявленія своего веселаго презрѣнія къ многомилліонному русскому народу. Можетъ наступить и опять такое время, и вовсе не многое для этого нужно, не утопія это какая-нибудь, ибо чувства чести и совѣсти просто приличествуютъ человѣку!

Недавно одинъ писатель произнесъ гораздо болѣе мрачное сужденіе обо всей нынѣшней русской литературѣ. Писатель этотъ—г. Скабичевскій, а сужденіе свое онъ произнесъ въ одномъ изъ своихъ литературныхъ обозрѣній въ газетѣ «Новости».

Когда-то я имѣлъ честь работать съ г. Скабичевскимъ, такъ сказать, рука объ руку,—мы были не случайными только, а постоянными сотрудниками одного и того же журнала. Съ тѣхъ поръ много воды утекло, и хотя между нами, по всей вѣроятности, сохранилось еще кое-что общее, но, тѣмъ не менѣе, я съ прискорбіемъ читаю нѣкоторыя литературныя обозрѣнія г. Скабичевскаго; грустныя они иногда на меня мысли навѣваютъ...

Фельетонъ, въ которомъ произнесено упомянутое мрачное сужденіе о нашей теперешней литературѣ, написанъ по поводу собранія стихотвореній г. Минскаго. Г. Скабичевскій утверждаетъ, что г. Минскій есть «лиллипутъ». Обижаться, дескать, однако г. Минскому нечѣмъ, потому что и критикъ его произведеній, самъ г. Скабичевскій—тоже лиллипутъ, и всѣ мы лиллипуты, ну, а на людяхъ и смерть красна; г. Минскому слѣдуетъ только взять примѣръ съ своего критика, искренно признать свой лиллипутскій ростъ и не мечтать безплодно о большомъ размахѣ крыльевъ. Тогда все пойдетъ хорошо. Это вполнѣ точное, хотя и краткое изложеніе основного пункта фельетона г. Скабичевскаго. Я полагаю, однако, что съ г. Скабичевскимъ можно на этотъ счетъ спорить, и не безъ нѣкоторой увѣренности въ успѣхѣ. Во-первыхъ, вѣрно ли основное положеніе почтеннаго критика? Мнѣ кажется, надо всетаки сдѣлать нѣсколько исключеній. Не лиллипутъ, напримѣръ, Щедринъ, который, будучи прикованъ къ одру болѣзни, тѣмъ не менѣе, не только не оскудѣваетъ силой, но является все въ новыхъ и новыхъ видахъ: только что блеснувъ «Сказками», даетъ «Мелочи жизни» и затѣмъ «Пошехонскую старину», и Богъ его знаетъ, чѣмъ еще онъ обернется и блеснетъ въ будущемъ году. Не лиллипутъ Толстой, который, не смотря на окутывающій его уже нѣсколько лѣтъ и все сгущающійся мракъ, и теперь можетъ дать «Власть тьмы», а, надо надѣяться, и получше что нибудь. Не лиллипутъ Успенскій, этотъ изумительный писатель, жадно и чутко прислушиваю-

щійся къ жизни, безпорядочно, но неустанно сверкающій своимъ огромнымъ талантомъ. Не вѣка вѣдь какіе-нибудь прошли и со смерти Островскаго—звѣзды первой величины, Достоевскаго—болѣзненной и жестокой, но уже, конечно, не лиллипутской силы. Я упоминаю только общепризнанныя вершины литературы, воздерживаясь отъ указаній на силы еще окончательно не опредѣлившіяся, и думаю, что литература, въ которой живутъ и дѣйствуютъ даже только приведенныя имена, имѣетъ право оскорбиться титуломъ лиллипута. Жизнь, текущая внѣ литературы, находится и внѣ моей компетенціи, какъ «читателя», а потому и касаться ея я не могу, но еслибы могъ, указалъ бы и теперь такія явленія, которыя грѣшно и стыдно обзывать лиллипутскими.

Это—что касается фактической стороны дѣла. Затѣмъ я не вижу никакого резона внушать молодымъ писателямъ, да и читателямъ, что они лиллипуты, и что кругомъ все лиллипуты и время такое лиллипутское, и нечего тутъ не подѣлаешь. Когда г. Скабичевскій говоритъ объ себѣ, что онъ лиллипутъ,—это дѣлаетъ честь его искренности и скромности, хотя можетъ быть уже въ самомъ опубликованіи этого сужденія о себѣ есть извѣстная доля нескромности. Когда г. Скабичевскій высказываетъ г. Минскому, что тотъ лиллипутъ,—онъ въ своемъ правѣ, поскольку судъ этотъ поддерживается аргументами: вѣренъ онъ или невѣренъ по существу,—критикъ имѣетъ право такого суда. Мало того, если у человѣка существуетъ убѣжденіе, что настало всеобщее лиллипутство, такъ отчего же его и не заявить. Но по такому случаю плакать можно, можно укорять себя и другихъ, гнѣваться, бичевать такъ или иначе все лиллипутское племя или скорбѣть объ немъ, но ужъ никакъ не съ спокойствіемъ и почти удовольствіемъ заявлять: я лиллипутъ, ты тоже лиллипутъ и всѣ мы лиллипуты, и оставимъ всѣ попытки поднять глаза къ небу,—ростъ нашъ вершковый и дѣло наше тоже вершковое. Нѣкто пишетъ мнѣ, что фельетонъ г. Скабичевскаго непріятно поражаетъ не тѣмъ, что онъ обзываетъ всѣхъ и все лиллипутами, а тѣмъ, что онъ это дѣлаетъ, «точно имянины сердца празднуетъ» Упоминаю объ этомъ потому, что не хочу приписывать себѣ чужой вѣрной характеристики, а она въ самомъ дѣлѣ вѣрна. Если бы еще г. Скабичевскаго Богъ особенно спокойнымъ, безстрастнымъ темпераментомъ надѣлилъ, такъ на нѣтъ и суда нѣтъ. А то вотъ, напримѣръ, къ какимъ страстнымъ порывамъ и изліяніямъ способенъ почтенный критикъ. Въ литературномъ обозрѣніи «Новостей» отъ 19 ноября, между прочимъ, читаемъ:

«Ну, а теперь поговоримъ о людяхъ, много о себѣ думающихъ, о людяхъ кичащихся, людяхъ вѣчно стоящихъ на какомъ-нибудь пьедестальчикѣ и любующихся на самихъ себя... Ахъ, господа, какъ ненавижу я васъ всѣхъ отъ всей моей души, съ какимъ сладострастнымъ наслажденіемъ готовъ я при всякомъ удобномъ случаѣ унизить васъ, сдернуть съ пьедестала, показавши всю картонность вашего мнимаго величія!.. Они всегда останутся моими врагами болѣе, чѣмъ политическими,—врагами по человѣчеству!.. И въ то же время, разъ я вижу въ литературѣ одну лишнюю казнь, совершаемую кѣмъ-либо изъ беллетристовъ надъ подобнаго рода треклятымъ типомъ, я прихожу въ неописанный восторгъ, я впередъ подкупленъ въ пользу подобнаго произведенія, я упиваюсь имъ, сквозь пальцы смотря на всѣ его недостатки».

Вѣдь это—громъ и молнія! это—почти страшно! И по какому случаю шумъ? По случаю романа г. Муравлина «Около любви», въ которомъ авторъ должно быть уже разъ въ десятый повторяетъ свой первый романъ. «Треклятый типъ», который такъ волнуетъ почтеннаго критика и къ униженію котораго онъ относится съ такимъ «сладострастнымъ наслажденіемъ», весьма посредственно воплощенъ въ образѣ нѣкоего чиновника Раховского, человѣка большого себялюбія и вмѣстѣ съ тѣмъ большой низости. «Приходить въ неописанный восторгъ» тутъ во всякомъ случаѣ не отъ чего, «упиваться»—рѣшительно нечѣмъ, и особенно такому опытному критику, какъ г. Скабичевскій, а онъ приходитъ въ «неописанный восторгъ», онъ «упивается». Въ другомъ литературномъ обозрѣніи («Новости» отъ 26 ноября), онъ съ тѣмъ же «сладострастнымъ наслажденіемъ» останавливается на тѣхъ страницахъ романа г-жи Безродной «Минувшее», гдѣ разоблачаются низость и безсердечіе Луши, блещущей «красотой и талантомъ первостепенной европейской піанистки», и Петра Васильевича, «воображающаго себя геніальнымъ скульпторомъ». Можно бы указать и другіе фельетоны г. Скабичевскаго, въ которыхъ звучитъ та же страстная нота. И въ то же время почтенный критикъ готовъ «праздновать имянины своего сердца», или, по крайней мѣрѣ, не чувствовать никакого волненія по такому прискорбному поводу, что онъ самъ, почтенный критикъ, есть лиллипутъ и все кругомъ лиллипуты...

Мнѣ кажется, что человѣкъ, способный столь по малой мѣрѣ хладнокровно относиться къ такому горестному открытію, долженъ былъ-бы еще хладнокровнѣе смотрѣть на «мнимое величіе», лѣзущее на «пьедесталъ». Онъ могъ бы спокойно и увѣренно говорить: лѣзь, батюшка, на пьедесталъ, выше лѣзь, «дабы всѣмъ видѣнъ былъ», выше лѣзь, потому что если ты въ самомъ дѣлѣ величина, такъ тамъ тебѣ и мѣсто, а если ты величина мнимая, такъ тѣмъ боль-

нѣе тебѣ придется, когда ты полетишь съ незаслуженнаго пьедестала, а мнѣ твоихъ боковъ не жалко. И наоборотъ, писатель, способный говорить тѣмъ языкомъ страстнаго волненія, къ которому прибѣгаетъ г. Скабичевскій въ вышецитированномъ отчетѣ о романѣ г. Муравлина, долженъ былъ-бы разразиться громомъ и молніей «треклятыхъ типовъ» и т. п. по адресу лиллипутовъ или пролиться цѣлымъ дождемъ горькихъ слезъ, если онъ чувствуетъ и признаетъ себя однимъ изъ адресатовъ. Мнѣ кажется, это было-бы натурально...

Я не знаю, почему г. Скабичевскимъ овладѣваетъ такое необыкновенное волненіе, когда рѣчь идетъ о блескѣ, величіи, силѣ, и почему миръ и спокойствіе нисходятъ въ его душу при размышленіи о лиллипутахъ. Но вотъ, что меня занимаетъ. Почтенный критикъ негодуетъ, конечно, на *мнимое* величіе, на *внѣшній* блескъ, на *незаслуженные* пьедесталы. Слѣдуетъ, можетъ быть, поэтому разсуждать такъ: всѣ мы лиллипуты; лиллипутъ скромный, признающій себя таковымъ, достоинъ всякаго почтенія, а прочіе, которые несогласны удовлетвориться положеніемъ лиллипута и пробуютъ размахивать крыльями, достойны лишь негодованія, ибо по нынѣшнему нашему литературному лиллипутскому времени только и возможно, что *мнимое* величіе, *внѣшній* блескъ, *незаслуженный* пьедесталъ. Отсюда выводъ: никто не долженъ пытаться выскочить изъ лиллипутскаго болота, ибо все равно не выскочишь.

Г. Скабичевскій обратилъ, между прочимъ, вниманіе на слѣдующее стихотвореніе г. Минскаго:

Я боюсь разсказать, какъ тебя я люблю.
Я боюсь, что, подслушавши повѣсть мою,
Легкій вѣтеръ въ кустахъ вдругъ, въ веселіи пьяномъ,
Полетитъ надъ землей ураганомъ...
Я боюсь разсказать, какъ тебя я люблю.
Я боюсь, что, подслушавши повѣсть мою,
Звѣзды станутъ недвижно средь темнаго свода
И висѣть будутъ ночь безъ исхода...
Я боюсь разсказать, какъ тебя я люблю.
Я боюсь, что, подслушавши повѣсть мою,
Мое сердце безумья любви ужаснется
И отъ счастья и муки порвется...

Г. Скабичевскій видитъ въ этомъ стихотвореніи претензію на что-то титаническое, а такъ какъ, дескать, г. Минскій есть лиллипутъ, то и нечего ему такъ много воображать объ себѣ, будто отъ повѣсти его любви вѣтеръ ураганомъ разыграется и т. п.,—никакихъ такихъ событій не произойдетъ. Совершенно справедливо! навѣрное никакихъ переворотовъ стихій повѣсть любви г. Минскаго не вызоветъ. Но, я думаю, не потому собственно, что онъ лиллипутъ, ибо и повѣсть любви гиганта изъ гигантовъ тоже останется безъ вліянія на метеорологическія и астрономическія явленія. Но что вы будете дѣлать съ поэтами! Испоконъ вѣку хватали они въ этомъ отношеніи черезъ край и прибѣгали къ гиперболическимъ выраженіямъ. Вотъ, напримѣръ, Гейне выражалъ желаніе вырвать съ корнемъ огромную сосну, обмакнуть ее въ кратеръ Везувія и огненными буквами написать на небѣ имя возлюбленной. Не лиллипутъ, кажется, былъ Гейне, а всетаки привести этотъ планъ въ исполненіе не могъ-бы въ дѣйствительности,—просто вралъ покойникъ, хвасталъ. Любопытно, что и самъ онъ зналъ, что вретъ и хвастается, и возлюбленная знала, и мы всѣ знаемъ, а всетаки... Еще любопытнѣе, что не только поэты, а и прозаики, и даже тѣ, кто, подобно мольеровскому герою, всю жизнь говорятъ прозой, не зная что такое проза,—въ минуты приподнятаго чувства прибѣгаютъ къ метафорамъ и гиперболамъ, которыхъ никоимъ образомъ не могутъ и не помышляютъ оправдать своимъ поведеніемъ, но которымъ можно вѣрить (можно, конечно, и не вѣрить), какъ условному выраженію приподнятаго чувства. Если я повторю своей возлюбленной обѣщаніе лермонтовскаго Демона: «я опущусь на дно морское, я поднимусь за облака»,—то даже лиллипутка не подумаетъ, что я намѣренъ поступить въ водолазы или летать на воздушномъ шарѣ; не подумаетъ потому, что это будетъ сказано въ извѣстномъ, особенномъ настроеніи. Это-то настроеніе, имѣющее своимъ основаніемъ дѣйствительный приливъ силъ и доступное всѣмъ людямъ, поэты объективируютъ въ своихъ произведеніяхъ, отнюдь не всегда выражая при этомъ свои личныя чувства. Надо замѣтить, что приведенное стихотвореніе г. Минскаго входитъ въ составъ цѣлой группы стиховъ, имѣющей общее заглавіе: «Съ восточнаго». Но нашъ почтенный критикъ не спускаетъ и Востоку, тому Востоку, который яркостью и чрезвычайностью своихъ красокъ и контуровъ всегда манилъ къ себѣ и великановъ-поэтовъ, въ родѣ Пушкина и Лермонтова. Онъ и Востокъ желаетъ присоединить къ владѣніямъ Лиллипутіи, дабы и тамъ господствовали лиллипутскіе добрые нравы и любящій человѣкъ не вводилъ-бы въ заблужденіе любимую женщину обѣщаніемъ опуститься на дно морское, когда онъ на самомъ-то дѣлѣ вовсе не думаетъ поступать въ водолазы...

Да, въ Лиллипутіи господствуютъ добрые нравы. Нѣтъ, впрочемъ, не господствуютъ, а только должны господствовать. По крайней мѣрѣ, г. Скабичевскій вынужденъ читать своимъ современникамъ - соотечественникамъ слѣдующую мораль: «Частыя перемѣны женъ, мало того, что требуютъ большой траты

времени (извольте каждый разъ ухаживать, устраивать новое хозяйство и т. п.), но и разрушительно вліяютъ и на умственныя, и на физическія силы... И поневолѣ приходится мало-мальски благоразумному человѣку пожертвовать свободою любви новымъ страстямъ болѣе высокаго порядка, ограничить требованіе во что бы то ни стало самой что ни на есть идеальной женщины, довольствуясь мало-мальски порядочной и снисходительно терпя ея маленькіе недостатки безъ излишней нетерпимости, и если разставаться съ женой, то лишь въ крайнемъ случаѣ, если жизнь станетъ почему либо уже совсѣмъ нестерпимою».

Все это въ высшей степени справедливо и даже просто неотразимо! «Частыя перемѣны женъ»—дѣло, безспорно, неодобрительное, какъ потому, что «новое хозяйство» стоитъ денегъ, такъ и по многимъ другимъ причинамъ. Но мнѣ кажется, почтенный моралистъ напрасно допускаетъ лазейку въ видѣ «крайняго случая» и «совсѣмъ уже нестерпимой жизни». Этакъ вѣдь и всякій скажетъ, что его случай—крайній и что его жизнь стала совсѣмъ уже нестерпима. И кто же его провѣрять будетъ? Для меня, впрочемъ, теперь дѣло не въ морали г. Скабичевскаго, безспорно прекрасной, хотя нѣсколько прописной и не совсѣмъ полной, а въ слѣдующемъ обстоятельствѣ. Въ томъ же фельетонѣ («Новости» отъ 1-го октября) почтенный критикъ говоритъ:

«Донъ-Жуанъ очень привлекателенъ, когда стоитъ на колѣняхъ передъ донной Анной, во всей красотѣ и силѣ своей юности; но подумайте, что будетъ съ нимъ лѣтъ черезъ пять: и облысѣетъ, и посѣдѣетъ, и обрюзгнетъ, и на воды придется ему куда-нибудь везти свои безвозвратно расшатанные нервы...»

Г. Скабичевскій предлагаетъ намъ, читателямъ, подумать о томъ, что станется съ Донъ-Жуаномъ черезъ пять лѣтъ. Я—тоже читатель—слѣдуя этому приглашенію, подумалъ. Подумалъ и вспомнилъ одну старую статью почтеннаго критика. Десять лѣтъ ужъ этой статьѣ,—она была напечатана въ 1877 году. Статья эта написана по поводу сочиненій графа Алексѣя Толстого. Въ ней, между прочимъ, г. Скабичевскій дѣлаетъ нѣсколько тонкихъ замѣчаній о драмѣ Толстого «Донъ-Жуанъ». Онъ находитъ именно «верхомъ художественной безвкусицы, положительнымъ абсурдомъ»—конецъ, придѣланный Толстымъ къ легендѣ о Донъ-Жуанѣ. Развивая и доказывая эту мысль, критикъ пишетъ: «Донъ-Жуанъ является, съ одной стороны, доблестнымъ героемъ, возбуждающимъ восторгъ, удивленіе и неодолимое влеченіе къ себѣ, а съ другой стороны такимъ страшнымъ и неслыханнымъ злодѣемъ, что наконецъ земля была не въ состояніи держать такого нечестивца, и небо, возмущенное до послѣдней крайности его дерзостью, было вынуждено послать даже чудо, чтобы избавить міръ отъ этого чудовища. Таковъ внутренній, философскій смыслъ легенды о Донъ Жуанѣ, и вы видите, какую стройную поэтическую цѣльность имѣетъ этотъ послѣдній европейскій миѳъ, какъ относительно образа, такъ и относительно фабулы. Здѣсь каждый камушекъ цѣпляется за камушекъ, и нѣтъ возможности ничего ни выкинуть, ни измѣнить. Реализуйте вы эту легенду, откиньте вы пиршество со статуей командора и проваливанье въ адъ, и Донъ-Жуанъ сейчасъ же перестаетъ быть Донъ-Жуаномъ».

Ну и чудесно. Значитъ, намъ нечего безпокоиться о томъ, что сдѣлается съ Донъ-Жуаномъ черезъ пять лѣтъ: онъ останется Донъ-Жуаномъ. — «Я протестую противъ реализаціи фантастическихъ элементовъ, миѳовъ и легендъ», говорилъ г. Скабичевскій въ этой старой статьѣ, десять лѣтъ тому назадъ. Нынѣ, озабоченный судьбами Лилипутіи, онъ, съ одной стороны, не хочетъ изъ нея никого выпускать, а съ другой—стремится расширить ея предѣлы завоеваніемъ дальняго Востока и области легендъ и миѳовъ. Но такъ какъ герои легендъ натурально упираются, то почтенный критикъ «съ сладострастнымъ наслажденіемъ» тащитъ съ пьедесталовъ эти «треклятые типы». Однако должно быть не стащитъ...

Скучно въ Лиллипутіи, скучно и унизительно. Есть любители, которымъ тамъ тепло и уютно; такихъ любителей даже очень много всегда, а нынѣ больше, чѣмъ когда-нибудь. Но есть и другой сортъ людей, которые жадно ищутъ глазомъ чего-нибудь выше вершка. Они могутъ, разумѣется, ошибаться, принимая миражъ за дѣйствительность, и дорого платиться за свои ошибки. А, Боже мой, это такая обыкновенная исторія! Повѣритъ, напримѣръ, человѣкъ, что его окружаютъ люди обыкновеннаго человѣческаго роста или даже выше средняго, что особенное счастіе ему въ этомъ отношеніи судьба послала, и на этомъ фундаментѣ зданіе свое строитъ, и—вдругъ, трахъ! оказываются вершки, вершки, вершки, съ вершковыми аппетитами и наклонностями. Разумѣется, горько и обидно, и лишняя морщина на лбу, и лишняя прядь сѣдыхъ волосъ на головѣ. Бываетъ, конечно, и еще гораздо хуже. Бываетъ трагическое, бываетъ и комическое въ разочарованіяхъ, слѣдующихъ за разоблаченіемъ миража, но какъ ни горестны или смѣшны бываютъ результаты литературныхъ порывовъ вверхъ надъ областью вершка, безъ

нихъ, безъ этихъ порывовъ, жизнь утратила бы не только всякую красу, но и всякую цѣнность. Въ нихъ источникъ всякаго творчества и подвига, въ нихъ залогъ лучшаго будущаго. Само собою разумѣется, что чѣмъ меньше разочарованій и жертвъ на жизненномъ пути, тѣмъ лучше. Горе литературѣ, которая повѣритъ, что она Лиллипутія, и успокоится на этомъ, но вѣдь и это, можетъ быть, просто миражъ. И значитъ, надо знать дѣйствительность, надо къ ней пристально приглядываться и изучать ее. Иначе могутъ получиться удивительные сюрпризы.

Одинъ изъ такихъ сюрпризовъ устроилъ недавно г. Тимощенковъ своими «бытовыми очерками» — «Борьба съ земельнымъ хищничествомъ».

Дѣйствіе происходитъ «на юго востокѣ европейской Россіи», куда г. Тимощенковъ относитъ «области Донскую, Кубанскую; губерніи Ставропольскую, Астраханскую и смежныя съ ними». Вотъ какія неслыханныя вещи разсказываетъ г. Тимощенковъ:

«Среди зимы 1848 года голодъ проявился почти повсемѣстно въ Россіи съ ужасающею силою. Во многихъ мѣстностяхъ народъ ѣлъ вмѣсто хлѣба древесные листья, сѣнную труху, мякину, лебеду, сосну, солому тертую, жолуди, березовую и липовую кору, ѣли конину, кошекъ, собакъ, крысъ, падаль, насѣкомыхъ, *даже мясо человѣческихъ труповъ. Находились злодѣи, которые рѣзали для мяса живыхъ людей*; *по городамъ въ гостинницахъ душили и убивали путешественниковъ для той же цѣли*; *человѣческое мясо продавали въ пирогахъ на рынкахъ*. Въ большихъ городахъ люди падали мертвыми отъ голода. Трупы валялись по улицамъ, на торгу и всюду по пути. Но эти ужасы лютаго голода почти миновали С—скую губернію».

Эта выписка даетъ очень точное понятіе о томъ, что и какъ изображаетъ г. Тимощенковъ. Это какая-то удивительная смѣсь спокойной обстоятельности и точности описанія съ совершенною невозможностью содержанія. Замѣтьте, что изображенные ужасы голода «почти миновали С—скую», по просту Ставропольскую губернію, повидимому, хорошо знакомую автору, и онъ разсказываетъ о «пирогахъ съ человѣческимъ мясомъ» не въ качествѣ очевидца, и, тѣмъ не менѣе, онъ не находитъ нужнымъ сослаться на какой-нибудь источникъ, изъ котораго онъ почерпнулъ эти свѣдѣнія. Такимъ именно увѣреннымъ, спокойнымъ тономъ разсказываетъ г. Тимощенковъ всѣ свои чудеса, а имъ конца нѣтъ, этимъ чудесамъ. Вотъ, напримѣръ, какая лошадь есть у калмыка Эле Сенатаровича:

«Что за дивная лошадь этотъ Крылатый! Онъ некрасивъ, но его рѣзвость, выносливость и инстинктъ—изумительны. Не разъ онъ выносилъ Эле изъ огня и воды, въ грозный ураганъ спасалъ отъ смерти, догонялъ угнанный бурею табунъ, *проскакавъ по глубокому снѣгу полтораста, двѣсти верстъ безъ отдыху*... Эле самъ ничего не разсказываетъ о своемъ конѣ, чтобы не возбуждать и не увеличивать завнсти въ другихъ: но посторонніе разсказываютъ объ немъ чудеса. Увѣряютъ, напр., что у него два сердца и есть подкрылки; что во время быстраго и долговременнаго бѣга, у Крылатаго дѣлаются тамъ, гдѣ на бокахъ впадины, отверстія и изъ нихъ, какъ изъ трубъ, идетъ паръ, вслѣдствіе чего онъ и не задыхается отъ долговременнаго и быстраго бѣга. Послѣ самой усиленной скачки, онъ вздохнетъ разъ, другой—и спокоенъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Много разъ публично, на скачкахъ и въ состязаніяхъ, неоцѣненныя достоинства Крылатаго выказывались съ неподражаемо блестящей стороны; но самый поразительный фактъ—погоня Эле за орломъ на Крылатомъ. Вотъ какъ разсказываютъ объ этомъ люди, близко знающіе дѣло».

Отъ передачи этого разсказа я избавляю себя и читателей. «Волки въ этой мѣстности» тоже какіе-то миѳологическіе. «Изрань волка,—удостовѣряетъ г. Тимощенковъ,— *убей его,* изломай ему кости, *а онъ всетаки оживетъ и уйдетъ*, если не перебьешь ему всѣ четыре ноги или не отрубишь голову прочь».

Люди опять же въ тѣхъ мѣстахъ вполнѣ необыкновенные. Вотъ, напримѣръ, Софронъ Хмара — «слѣпой съ десятилѣтняго возраста (отъ оспы), но это не мѣшаетъ ему быть искуснѣйшимъ мастеромъ — плотникомъ, портнымъ, пасѣчникомъ и ночнымъ сторожемъ... Когда ему нужно, напримѣръ, перерубить или отрубить что либо, то онъ отмѣряетъ аршиномъ какъ слѣдуетъ, потомъ кладетъ на бревно палецъ на отмѣченное мѣсто— и рубитъ со всего плеча вплоть до самаго пальца, не задѣвая послѣдняго топоромъ... Странныя, даже поразительныя свойства обнаруживаетъ этотъ слѣпецъ. Онъ верстъ на 5 кругомъ слободы въ точности знаетъ всѣ мѣста, ходитъ одинъ и никогда не заблудится; слышитъ же и чувствуетъ во время своихъ наблюденій по ночамъ, гдѣ что дѣлается, на невѣроятно большія разстоянія, какъ увѣряютъ, *верстъ до 100* въ окрестности... Онъ слышитъ, какъ идутъ и шумятъ по небу облака, какъ передъ бурей и грозой кричатъ подъ землей жабы,—жалобно, слабымъ голосомъ стонутъ онѣ, какъ бы выговаривая: «пить! пи-ить!!!».. Не менѣе замѣчателенъ и глухо-нѣмой отъ рожденія чабанъ Игнатъ Ковыла. Это, прежде всего, большой силачъ. Если его собаки окружатъ волка и начнутъ съ нимъ грызться, то онъ бѣжитъ къ нимъ на помощь, хватаетъ волка, какъ крысу, за хвостъ, взмахиваетъ имъ въ воздухѣ и со всего плеча бьетъ о землю.

Обыкновенно тутъ и капутъ волку. (Это все подлинныя слова г. Тимощенкова, въ справедливости которыхъ позволительно, однако, сомнѣваться, ибо, какъ мы видѣли, тамошнему волку надо отрубить всѣ четыре лапы или голову, а безъ этой предосторожности даже убитый волкъ можетъ убѣжать)... Игнату не нужны ни бинокли, ни зрительныя трубки. Онъ на цѣлые десятки верстъ,—*упрятъ, на сто верстъ кругомъ себя, если не болѣе,*—видитъ степь и все происходящее въ ней съ полною ясностью и опредѣленностью».

Это все чудеса природы, стихійныя чудеса. Но не менѣе чудны и происходящія на этой почвѣ чудеса общественнаго характера. Одинъ изъ главныхъ дѣятелей очерковъ г. Тимощенкова, Захаръ Абрамовичъ Земля, «былъ смолоду крѣпостнымъ. За какія-то особенныя услуги передъ бариномъ онъ, болѣе 50 лѣтъ тому назадъ, со всѣмъ своимъ семействомъ, былъ отпущенъ на волю. Въ то время степи здѣсь были, какъ говорятъ калмыки,—«землей безъ господина». Онъ поселился на широкомъ привольи, занявъ, по праву перваго захвата, столько земельныхъ угодій, сколько пожелалъ, и зажилъ съ своею семьей въ довольствѣ и всякомъ изобиліи.

То было еще старинное, не промышленное время. Продукты сельскаго хозяйства тогда еще не шли за границу. Поэтому большой быкъ стоилъ 5 коп. мѣдью, четверть овса полторы копѣйки и ведро водки буквально грошъ. Въ то время русскому земледѣльцу и сельскому хозяину невозможно было обращаться въ промышленника и наживать капиталъ. Онъ производилъ продукты почти только для себя, но за то жилъ въ довольствѣ. Таково было общее положеніе сельско-хозяйственныхъ дѣлъ. Но вотъ, по ходатайству Императорскаго вольнаго экономическаго общества, разрѣшенъ былъ свободный пропускъ хлѣба и другихъ сельскихъ продуктовъ за границу, и полились за море изъ Россіи: пшеница, рожь, масло, сало, повалили туда кожи, шерсть, пухъ, щетина. Это было своего рода эпохою въ жизни русскихъ сельскихъ хозяевъ. Цѣны на продукты разомъ страшно поднялись: рожь и овесъ стали продаваться по 2 руб. за четверть, быкъ 30—40 р. Къ Захару Абрамовичу налетѣла масса скупщиковъ и буквально завалила его деньгами; Захаръ Абрамовичъ только протиралъ глаза отъ удивленія, охалъ и не зналъ, *куда дѣвать деньги.* Онъ не выгонялъ на ярмарки рогатаго скота и овецъ, не вывозилъ на рынокъ хлѣба, но купцы сами пріѣзжали къ нему и привозили *цѣлые мѣшки денегъ.* Тогда въ этой мѣстности совсѣмъ еще не было бумажекъ, а ходила только звонкая монета: народъ не вѣрилъ бумажкамъ и не принималъ ихъ. Захару Абрамовичу стали платить за его скотъ и хлѣбъ золотомъ, серебромъ и мѣдью.

Сначала онъ велѣлъ своей женѣ заматывать золото въ червонцахъ въ клубки шерсти и пеньки и вѣшать эти клубки (иногда съ рѣшето величиной) на полатяхъ, подъ крышей, на чердакѣ дома и въ другихъ мѣстахъ. Сталъ класть золото въ чулки, сумки, гаманы и запиралъ въ сундукъ; серебро же и мѣдь просто сыпалъ въ сундуки. Черезъ нѣсколько лѣтъ денегъ у него накопилось столько, что *негдѣ было уже хоронить,* и онъ порѣшилъ, наконецъ, не держать ихъ при себѣ, а раздѣлить поровну между тремя сыновьями и двумя зятьями. Какъ-то во время рождественскихъ праздниковъ онъ собралъ всѣхъ своихъ и произвелъ дѣлежъ. Золото дѣлили счетомъ, высыпая червонцы кучами на столъ, серебро и мѣдь *просто мѣрили хлѣбною мѣрой,* нагребая ее изъ сундуковъ. Съ этого времени раздѣлъ денегъ производился въ семьѣ каждый годъ въ извѣстное время.

Сыновья и зятья Захара Абрамовича *берегли и прятали деньги разными манерами, какъ кто могъ придумать.* Они сыпали ихъ въ закрома съ хлѣбомъ; клали въ горшки и закапывали ихъ въ разныя мѣста въ землю; затыкали въ соломенныя и камышевыя крыши домовъ и сараевъ; секретно отъ другихъ домашнихъ, долбили и сверлили сохи, лѣстницы и бревна, валявшіяся на дворѣ, клали туда деньги и забывали; *запихивали ихъ въ бараньи и бычачьи рога и бросали эти рога валяться среди двора, какъ ни въ чемъ не бывало.* У иного гдѣ-нибудь въ укромномъ мѣстѣ валялась *десятки лѣтъ* цѣлая куча ни на что и никому ненужныхъ бараньихъ роговъ, и никто не могъ думать, что они скрываютъ въ себѣ. Изъ всѣхъ перечисленныхъ мѣръ храненія денегъ, послѣдняя, пожалуй, надежнѣе другихъ. Деньги же, засыпанныя въ закрома, часто *по забывчивости,* вмѣстѣ съ зерномъ, продавались купцамъ на мѣру: деньги, закопанныя въ землю, терялись совершенно, когда хозяинъ *забывалъ,* гдѣ зарылъ, а это случалось очень часто. Въ крышахъ домовъ и сараевъ, деньги еще чаще терялись, въ бревнахъ и сохахъ онѣ обнаруживались отъ гніенія дерева, во время пожаровъ превращались въ слитки»...

Еще характернѣе для манеры г. Тимощенкова очеркъ «Василій Степановичъ Брага, его семья, воспитаніе и дѣятельность». Онъ испещренъ цифрами, точными указаніями на такія и такія-то (имя рекъ) торговыя компаніи, правительственныя мѣропріятія, газетныя извѣстія и проч., что придаетъ очерку еще болѣе ясно фактическій,

подлинный характеръ, хотя вся исторія Браги—очевидная и несомнѣнная фантазія. Если г. Тимощенковъ въ своихъ описаніяхъ природы (нѣкоторые пейзажи, описанія соперничества лошади съ орломъ, битвы змѣи съ человѣкомъ, человѣка съ волками, разные своего рода Патфайндеры, «слѣдопыты», въ родѣ Хмары и Ковыли) напоминаетъ Купера или Майнъ-Рида, то въ изображеніи хода хозяйственныхъ предпріятій онъ смахиваетъ на Жюля-Верна. Какъ Жюль-Вернъ, разсказывая, напримѣръ, о путешествіи отъ земли до луны въ пушечномъ ядрѣ, обставляетъ эту фантазію разными вычисленіями, научными данными, обстоятельнымъ указаніемъ на такую-то обсерваторію и такой-то чугунно-литейный заводъ и т. п.; такъ и г. Тимощенковъ вдвигаетъ планы своихъ героевъ—П. П. Волги, З. А. Земли, В. С. Браги,—въ обстановку, искусно слѣпленную изъ были и небылицы. Дѣйствительно искусно, талантливо, если не считать нѣкоторыхъ уже чрезмѣрныхъ преувеличеній и аляповато густыхъ красокъ.

И вотъ съ этимъ-то произведеніемъ à la Жюль-Вернъ произошелъ слѣдующій многоэтажный, если можно такъ выразиться, казусъ.

«Бытовые очерки» г. Тимощенкова вышли нынѣ отдѣльною книжкою. Но еще до этого, когда они печатались въ «Нови», на нихъ обратилъ вниманіе Гл. Успенскій и напечаталъ по поводу ихъ въ «Русской Мысли» статью «Трудовая жизнь и труженичество», гдѣ выражается, между прочимъ, такъ: «То, что не изсякло и никогда не изсякнетъ въ мечтаніяхъ нашего захудалаго мужика,—то г. Тимощенкову удалось видѣть на яву, на дѣлѣ, въ полномъ расцвѣтѣ и осуществленіи... Тѣмъ-то и дорого произведеніе г. Тимощенкова, что въ немъ нѣтъ ни малѣйшей фантазіи, мечтанія, выдумки, что все въ немъ точно, реально, взято изъ дѣйствительности, основано на документальныхъ данныхъ, дѣлается «на законномъ основаніи». Словомъ, Успенскій довѣрился нашему маленькому Жюлю-Верну. Довѣрились и другіе. По крайней мѣрѣ, въ предисловіи къ книгѣ сообщается, что какіе-то люди, «прочитавши очерки г. Тимощенкова, отправились, въ погонѣ за идеальными личностями, въ калмыцкія степи отыскивать тамъ героевъ, изображенныхъ г. Тимощенковымъ, чтобы пристать къ нимъ и вмѣстѣ съ ними бороться съ земельнымъ хищничествомъ, *ну и конечно никакихъ такихъ героевъ не нашли*». Тогда г. Павленковъ издалъ очерки г. Тимощенкова отдѣльной книгой, а г. Скабичевскій написалъ къ ней предисловіе, ссылаясь въ немъ на Гл. Успенскаго, какъ «на такого знатока народной жизни, съ компетентностью котораго въ этомъ отношеніи врядъ-ли кого изъ пишущихъ нынѣ можно поставить рядомъ»; но въ то же время признавая, что герои «очерковъ» суть «чистыя созданія фантазіи г. Тимощенкова». Вотъ какой клубокъ вышелъ!

Что такое г. Тимощенковъ, это мы видѣли: маленькій Жюль Вернъ. Что такое Успенскій? Маудсли замѣчаетъ въ «Физіологіи и патологіи души», что «освѣжающее и укрѣпляющее вліяніе нѣкоторыхъ писателей не столько зависитъ отъ дѣйствительнаго смысла ихъ произведеній, сколько отъ тона души, который они вызываютъ». Таковъ именно Успенскій, съ тою, однако, оговоркою, что и дѣйствительный смыслъ его произведеній всегда значителенъ. Такъ и на этотъ разъ дѣйствительный смыслъ его статьи состоитъ въ параллели между «труженичествомъ» и «трудовою жизнью», каковая параллель стоитъ совершенно независимо отъ иллюстрацій приключеніями героевъ г. Тимощенкова: вы ихъ можете совсѣмъ убрать, а параллель всетаки останется. Но, независимо отъ дѣйствительнаго смысла произведеній Успенскаго, его большое литературное значеніе коренится именно въ томъ «тонѣ души», который они вызываютъ въ читателѣ, и вліяніе его несомнѣнно «освѣжающее и укрѣпляющее», какія бы мрачныя и горькія вещи онъ намъ ни сообщалъ. Это одна изъ оригинальнѣйшихъ фигуръ въ русской литературѣ и жизни. Точно непосѣдная птица какая, носится онъ то въ Парижъ и Лондонъ, то въ Сербію, то на Кавказъ, на Волгу, въ Болгарію, въ Петербургъ, въ Новгородскую деревню, и отовсюду приноситъ въ свое гнѣздо—литературу—собранную добычу, А добыча, за которой онъ такъ неустанно гоняется, состоитъ въ правдѣ жизни: горе ли, радость ли, смѣхъ или слезы, но только подлинная, настоящая жизнь. И видя эту вѣчно лихорадочно движущуюся фигуру, которая навѣрно опять и опять принесетъ что нибудь такое, надъ чѣмъ глазъ отдохнетъ или сердце умилится, читатель проникается къ нему глубокою благодарностью и сочувствіемъ.

Г. Тимощенковъ разсказалъ дѣло такъ, что даже г. Скабичевскій забылъ о расширеніи предѣловъ Лиллипутіи и выразилъ въ предисловіи согласіе, чтобы въ калмыцкихъ степяхъ дѣйствительно существовали «грандіозныя явленія русской жизни». Что же мудренаго, что «документальныя данныя» г. Тимощенкова смутили Гл. Успенскаго, который и вѣритъ, и хочетъ вѣрить, и тѣмъ только и живетъ, что гдѣ-то есть настоящая, широкая, полная жизнь, безъ лжи и обиды. Онъ такую и нашелъ въ повѣствованіи г. Тимощенкова о жизни одного

крестьянскаго семейства, достигшаго высокаго матеріальнаго благостоянія безъ лжи и безъ обиды для кого бы то ни было. Выше я передалъ частью эту исторію, а относительно внутреннихъ распорядковъ семьи и вообще компаніи героевъ г. Тимощенкова и ихъ благотворной дѣятельности, обратитесь къ г. Тимощенкову или къ пересказу Успенскаго. Я сдѣлаю только еще два замѣчанія. Г. Скабичевскій цитируетъ Успенскаго въ качествѣ «знатока народной жизни». Это въ данномъ случаѣ совсѣмъ напрасно: Успенскій прямо говоритъ, что онъ не знаетъ мѣстъ и явленій, описываемыхъ г. Тимощенковымъ. Далѣе, г. Скабичевскій находитъ, что очерки г. Тимощенкова «открываютъ передъ нами новую программу дѣятельности среди народа на общую пользу, ставятъ новые, весьма широкіе и вполнѣ практическіе идеалы, призывая людей мало-мальски живыхъ, энергическихъ и сильныхъ къ осуществленію ихъ». Успенскій смотритъ на дѣло нѣсколько иначе. Онъ понимаетъ, что съ одной энергіей тутъ не далеко уѣдешь. Онъ дѣлаетъ изъ очерковъ, между прочимъ, тотъ выводъ, что «съ русскою жизнью и въ русской жизни можно сдѣлать много добра, еслибы, конечно, было можно вообще пользоваться тѣми средствами, которыя, на счастье героя г. Тимощенкова, попались ему въ руки». З. А. Земля, благодаря сочиненному г. Тимощенкову экономическому перевороту, набилъ бычачьи и бараньи рога, закромы, крыши, бревна золотомъ, и съ этого и началъ свою дѣятельность «на общую пользу». Значитъ, брать съ него примѣръ мудрено. Можно бы, конечно, къ нему ѣхать на помощь въ хорошемъ дѣлѣ, какъ поѣхали тѣ люди, объ которыхъ упоминаетъ въ предисловіи г. Скабичевскій, но вѣдь они, «*конечно*, никакихъ такихъ героевъ не нашли». Такъ какіе же это «практическіе» идеалы?

XIV.

Нѣчто о полемикѣ и о поэзіи. *)

Полемика есть дѣло и трудное, и легкое,— какъ смотрѣть. Полемика, не смотря на свое филологическое родство съ греческимъ «полемосъ», что значитъ война, отличается отъ настоящей войны не только тѣмъ, что тамъ проливается кровь, а здѣсь только чернила. Въ то время, какъ въ настоящей войнѣ побѣдитель есть побѣдитель, а побѣжденный есть побѣжденный, и никакихъ сомнѣній въ этомъ отношеніи не возникаетъ, въ полемикѣ сплошь и рядомъ поле остается за побѣжденнымъ. Этотъ двусмысленный результатъ полемики есть, разумѣется, явленіе незаконное, потому что въ принципѣ-то, какъ извѣстно, du choc des opinions jaillit la vérité, а ужъ эта какая же vérité! Полемика можетъ быть крайне рѣзка, какою мы ее и видимъ, напримѣръ, въ знаменитыхъ «письмахъ Юнія», въ «письмахъ съ горы» Руссо, въ «Анти-гётце» Лессинга, въ спорахъ Прудона съ Бастіа, или Лассаля съ Шульце-Деличемъ. Полемика допускаетъ нѣкоторыя военныя хитрости, къ какой, напримѣръ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ прибѣгъ Гартманъ (авторъ Philosophie des Unbewussten), напечатавшій анонимную самозащиту, искусно придавъ ей обличіе самокритики, и затѣмъ, убѣдивъ въ этомъ замаскированномъ видѣ нѣкоторыхъ своихъ критиковъ, разоблачившій во второмъ изданіи свой анонимъ. Но, ядовито ироническая или страстно гнѣвная, съ поднятымъ забраломъ или въ той или другой маскѣ, полемика во всякомъ случаѣ должна всегда имѣть въ виду свою главную или вѣрнѣе прямо единственную цѣль, — выясненіе истины. Люди не безплотныя существа, а потому мы можемъ снисходительно относиться къ присутствію въ полемикѣ извѣстной доли личнаго раздраженія или иныхъ формъ увлеченія самымъ процессомъ спора, его, такъ сказать, техническою стороною. Но увлеченіямъ этимъ есть извѣстные предѣлы, которые трудно указать теоретически, но которые всегда подсказываются истиннымъ полемическимъ тактомъ. Понятно, напримѣръ, что полемика, состоящая изъ сплошной ругани, совершенно никуда не годится, потому что въ такомъ случаѣ лучшимъ полемистомъ въ мірѣ была бы та дѣвица въ «Потокѣ-богатырѣ» гр. А. Толстого, которая изливаетъ свое негодованіе на Потока въ такихъ выраженіяхъ:

Шаромыжникъ, болванъ неученый холопъ,
Чтобъ тебя въ турій рогъ искривило!
Поросенокъ, теленокъ, свинья, эфіопъ,
Чертовъ сынъ, неумытое рыло и т. д.

Подобной полемикой не трудно, разумѣется, заставить противника замолчать, потому что не всякій способенъ состязаться въ кабацкой ругани, но прибѣгающій къ ней не становится отъ этого побѣдителемъ, хотя полемическое поле и остается за нимъ. Это не полемика, а напротивъ того особый видъ уклоненія отъ полемики. Есть такой жукъ,—«бомбардиръ» онъ называется, — который обладаетъ аппаратомъ, выдѣляющимъ необыкновенно зловонную жидкость. отъ котораго поэтому отступаютъ даже очень сильные враги, и онъ благополучно спасается въ свою нору. Есть и между млеко-

*) 1888, февраль.

питающими подобныя, счастливо одереныя натуры, есть они и между полемистами. Счастье это однако крайне двусмысленно, потому что побѣда, одержанная при помощи «бомбардирскихъ» пріемовъ, есть, собственно говоря, самое выразительное изъ пораженій, и только крайне близорукіе свидѣтели полемики скажутъ или подумаютъ: «молодецъ бомбардиръ! заставилъ-таки замолчать». Что же касается до того дѣла, которое защищаетъ такой полемистъ, то по отношенію къ нему подобное поведеніе, говоря словами, кажется, Талейрана, есть больше, чѣмъ преступленіе, оно—ошибка. Конечно, пока рѣчь идетъ о зажиманіи противнику рта при помощи голой ругани, самыя слова «преступленіе», «ошибка»—кажутся немного неумѣстными по своей громкости. Но въ томъ то и дѣло, что пріемы дѣвицы, полемизировавшей съ Потокомъ-богатыремъ, едва-ли когда-нибудь пускаются въ литературѣ въ ходъ въ столь обнаженномъ видѣ. Обыкновенно они сопровождаются другими способами зажиманія рта противнику, напримѣръ, политическими инсинуаціями, или же клеветою и пасквилемъ чисто личнаго характера. Здѣсь ужъ, пожалуй, и не неумѣстны слова «преступленіе» и «ошибка бóльшая, чѣмъ преступленіе». Не говоря о нравственной непохвальности клеветы, пасквиля и т. п., не говоря о тѣхъ огромныхъ бѣдахъ, которыя иногда вносятъ въ жизнь эти порожденія мрака и низкой злобы, они, въ случаѣ даже своего кажущагося успѣха, то есть очищенія противниками полемическаго поля, могутъ способствовать только пораженію того дѣла, для защиты котораго явились мрачить и срамить бѣлый свѣтъ. Лѣтъ должно быть десять тому назадъ объявился горячій полемистъ, опубликовавшій цѣлый рядъ самыхъ беззастѣнчивыхъ брошюръ, въ которыхъ направо и налѣво, какъ изъ рога изобилія, сыпалъ клеветы, брань, инсинуаціи, словомъ, весь букетъ бомбардирской полемики. Брошюры имѣли успѣхъ, наполовину, разумѣется, что называется, succès du scandale; онѣ расходились въ нѣсколькихъ изданіяхъ, многіе склонны были видѣть въ авторѣ не только убѣжденнаго, а и мощнаго представителя какого-то цикла идей, тѣмъ болѣе, что полемика достигла, казалось, своей ближайшей цѣли: заставила замолчать. Полемистъ уже готовъ былъ вскакать на своемъ полемическомъ пегасѣ въ храмъ славы и всяческой благостыни, онъ получилъ возможность издавать газету, но газета эта, не просуществовавъ и одного года, рухнула съ небывалымъ скандаломъ. Развѣ, независимо отъ нравственной стороны дѣла, это не ошибка, и развѣ эта ошибка не значительнѣе, по своимъ послѣдствіямъ, даже преступленія съ точки зрѣнія того самаго цикла идей, представителемъ котораго хотѣлъ быть или казаться полемистъ?

Повторяю, есть полемика, представляющая собою, не смотря на свою кажущуюся побѣдоносность, только уклоненіе отъ полемики въ настоящемъ смыслѣ слова. Заставить противника замолчать бомбардирскимъ способомъ еще не значитъ въ чемъ-нибудь убѣдить не только его,—это обстоятельство рѣдко имѣетъ какую нибудь важность,—а и тѣхъ третьихъ лицъ, тѣхъ слушателей, которые присутствуютъ при спорѣ и такъ или иначе заинтересованы его рѣшеніемъ. Впрочемъ, по нынѣшнему странному, какому-то бездѣльному времени, полемисты сплошь и рядомъ никакихъ третьихъ лицъ въ виду не имѣютъ, а сосредоточиваютъ свое вниманіе на какомъ нибудь Петрѣ Петровичѣ или Аннѣ Ивановнѣ, которымъ необходимо по разнымъ соображеніямъ насолить. Pereat mundus, только бы Анна Ивановна или Петръ Петровичъ почувствовали въ сердцѣ своемъ ядовитую стрѣлу и провели un quart d'heure de Rabelais при чтеніи касающихся ихъ печатныхъ строкъ. Невеликая это, конечно, цѣль,—тѣмъ болѣе невеликая, что Петръ Петровичъ и Анна Ивановна оказываются иногда замѣчательно безчувственными,—но ради нея пишется много, цѣлые фельетоны, цѣлые памфлеты, приводящіе наконецъ иногда прямо къ палочной расправѣ на улицѣ, а третьи лица, присутствующія при этой «полемикѣ», съ удивленіемъ и досадой спрашиваютъ себя: да намъ-то какое дѣло до уязвленнаго сердца Петра Петровича, и съ какой стати pereat mundus?—Еще иногда третьи лица, то есть читатели, имѣютъ нѣкоторые резоны съ интересомъ прислушиваться къ происходящей передъ ними бездѣльной перебранкѣ, но это бываетъ только при исключительныхъ обстоятельствахъ и при томъ необходимомъ условіи, чтобы бездѣльность была хоть чѣмъ нибудь замаскирована. Вотъ, напримѣръ, теперь идетъ горячая перекрестная перестрѣлка между «Московскими Вѣдомостями», «Новымъ Временемъ» и «Гражданиномъ». Всѣ три почтенныя газеты другъ друга поѣдомъ ѣдятъ, изъ кожи лѣзутъ — стараются. Это тоже полемикой называется, хотя пререканія идутъ совсѣмъ не объ истинѣ, но всетаки и не объ Аннѣже Ивановнѣ, не о томъ, чтобы она или такой-сякой Петръ Петровичъ получилъ стрѣлу въ сердце, а о наслѣдствѣ Каткова. И это имѣетъ нѣкоторый интересъ, потому что наслѣдство Каткова есть большое дѣло. Кто въ самомъ дѣлѣ займетъ это единственное въ своемъ родѣ, на всемъ протяженіи исторіи русской литературы, положеніе? Су-

ществуютъ, конечно, скептики,—признаюсь я изъ ихъ числа, — которые думаютъ, что есть неповторяющіяся роли, что Катковъ незамѣнимъ вообще, и что въ частности гг. Суворинъ и Петровскій и кн. Мещерскій для этой роли совершенно одинаково непригодны,—ростомъ не вышли. Но и для такихъ скептиковъ не лишено нѣкоторой занимательности зрѣлище газетъ, поѣдающихъ другъ друга съ такимъ яростнымъ аппетитомъ, что въ непродолжительномъ времени отъ нихъ должны одни хвосты остаться. («Новое Время», впрочемъ, надо думать, останется въ полномъ составѣ, такъ какъ оно протягиваетъ лапу къ наслѣдству Каткова слишкомъ легкомысленно и болѣе изъ жадности, чѣмъ по необходимости). Но это, какъ уже сказано, рѣдкій случай. Катковы не каждый день умираютъ, потому что не каждый день рождаются. Да и не объ уязвленіи чьего нибудь, большого или малаго, преступнаго или добродѣтельнаго, но во всякомъ случаѣ одинокаго сердца тутъ рѣчь идетъ, а о широкомъ вліяніи на общественную жизнь. Въ огромномъ же большинствѣ развертывающихся передъ нынѣшними читателями полемическихъ эпизодовъ, объ этомъ послѣднемъ, то есть о вліяніи то, и помину нѣтъ. Большинство господъ полемистовъ очутилось бы даже въ весьма затруднительномъ положеніи, еслибы дѣйствительное, большое вліяніе на общественную жизнь оказалось имъ доступнымъ. Что бы они стали съ нимъ дѣлать, когда все поле ихъ умственнаго зрѣнія заслонено той или другой Анной Ивановной, тѣмъ или другимъ Петромъ Петровичемъ, которыхъ необходимо доѣхать и мытьемъ и катаньемъ? Одни изъ нихъ дѣлаютъ это сомнительнаго достоинства дѣло съ клокочущею злобой, отъ которой сами задыхаются, другіе—съ почти добродушною и во всякомъ случаѣ наивною пошлостью тѣхъ спокойныхъ и самодовольныхъ носителей халата и туфель, о которыхъ я говорилъ въ предъидущей тетради дневника. И тѣ, и другіе не умѣютъ, да и не хотятъ, даже притвориться, подсунуть подъ свою полемику какую-нибудь подкладку общаго характера, которая оправдала бы ихъ въ глазахъ читателей, ни малѣйше не заинтересованныхъ въ тѣхъ личныхъ уколахъ, которые раздаютъ и получаютъ господа литераторы. Очень ужъ неискусны эти господа, очень ужъ бѣлыми нитками шьютъ.

Всякому сколько нибудь чуткому человѣку случалось испытывать совершенно особое чувство конфуза при видѣ чьихъ-нибудь очень ужъ неловкихъ, неприличныхъ поступковъ, которые однако почему-нибудь должны обратить на себя вниманіе окружающихъ; когда напримѣръ, плохой актеръ передъ устремленными на него сотнями внимательныхъ глазъ безъ такта и мѣры «откалываетъ» свою роль, безобразя взятое имъ на себя драматическое положеніе; или когда гдѣ-нибудь на гуляньи, на улицѣ, вообще въ толпѣ ссорящіеся супруги привлекаютъ на себя недоумѣвающе любопытные взгляды; или когда нашъ соотечественникъ за границей, вполнѣ увѣренный въ своемъ великолѣпіи, во всеуслышаніе, властно и развязно излагаетъ глупыя мысли на чистѣйшемъ нижегородско - французскомъ нарѣчіи, вызывая двусмысленныя улыбки, и т. п. Вамъ вчужѣ стыдно и неловко за этихъ людей, не понимающихъ какую они смѣшную роль играютъ и, по природной ли безтактности или въ забвеніи взволнованныхъ чувствъ, предъявляющихъ публикѣ такія свои слабости, которыя надо бы скрывать изъ простого уваженія къ самому себѣ и къ присутствующимъ. Но если вамъ, постороннему человѣку, стыдно за этихъ безтактныхъ людей, то представьте себѣ, каково должно быть положеніе тѣхъ, кто по какимъ-нибудь обстоятельствамъ вынужденъ фигурировать рядомъ съ ними: положеніе Офелія (если, разумѣется, сама она обладаетъ чувствомъ мѣры и такта), у ногъ которой, на глазахъ цѣлаго театра, лежитъ не просто бездарный Гамлетъ, а Гамлетъ, утрированно ломающійся и тѣмъ безнужно подчеркивающій свою бездарность; положеніе дѣтей тѣхъ родителей, которые стираютъ свое грязное бѣлье публично; положеніе собесѣдниковъ нижегородско-французскаго соотечественника и проч. Эти несчастныя жертвы чужой дрянности или пошлости страдаютъ уже не отраженнымъ, такъ сказать, конфузомъ, а непосредственнымъ, потому что сами они являются хотя бы и пассивными, и невольными участниками дрянного или пошлаго, но во всякомъ случаѣ неприличнаго дѣла.

Этакъ и въ полемикѣ случается. Если полемизирующій съ вами человѣкъ окажется способнымъ выплескивать изъ своего грязнаго нутра помои, то очень вѣроятно, что вы отступитесь отъ всякой полемики: чортъ, молъ, съ тобой,—лги, клевещи, собирай по задворкамъ сплетни и ройся въ моей личной жизни, что хочешь дѣлай, только бы мнѣ не фигурировать рядомъ съ тобой въ этомъ помойномъ представленіи. Рѣшеніе — тѣмъ болѣе резонное, что безстыднаго все равно устыдить нельзя, а настоящая цѣль полемики—выясненіе истины—для этого рода господъ просто таки не существуетъ.

Помои — штука грязная. Но бываетъ въ полемикѣ и не столько грязно, сколько комично и пошло, въ чемъ однако тоже нѣтъ никакого удовольствія принимать участіе. Нѣкоторый русскій философъ, желая можетъ

быть блеснуть оригинальностью мысли,—а можетъ быть у него и взаправду такъ голова устроена, — публично утверждалъ на одной изъ своихъ лекцій, что общественное начало, начало любви распространено въ природѣ гораздо болѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ, и что первое, элементарное его выраженіе состоитъ въ томъ, что одно животное,—скажемъ, волкъ,—ѣстъ другое животное — положимъ, овцу. Конечно, говорилъ философъ, это только зачатокъ любви, зачатокъ общенія, но вы видите, что волкъ уже во всякомъ случаѣ не можетъ жить безъ овцы, онъ ее нѣкоторымъ образомъ любитъ.— Смѣлая мысль! смѣлая и—глупая, притомъ же отчасти предвосхищенная извѣстнымъ анекдотомъ, по которому «карась любитъ, чтобы его жарили въ сметанѣ», и тѣмъ невольнымъ каламбуромъ просторѣчія, въ силу котораго вы любите или не любите, напримѣръ, леща съ кашей. Не то что отношеніе волка къ барану, но и война, прикрывающаяся обыкновенно разными громкими словами, а иногда вызываемая дѣйствительно высокими идеальными интересами, есть, разумѣется, по самому существу своему явленіе анти-общественное. Не то въ филологической родственницѣ войны,—въ полемикѣ. Между полемизирующими, даже при самыхъ яростныхъ схваткахъ, есть дѣйствительно, по крайней мѣрѣ, общеніе (а возможна и любовь). Въ глазахъ публики полемизирующіе дѣлаютъ какое-то общее дѣло, да такъ оно и есть или, по крайней мѣрѣ, должно быть: общее дѣло состоитъ въ выясненіи истины. Рѣзкость, запальчивость или ядовитая насмѣшливость полемики сами по себѣ еще отнюдь не колеблютъ этой общности дѣла. Но когда полемизирующіе съѣзжаютъ съ этой единственно законной почвы, то остается на лицо лишь формальная сторона общенія. Читатели, такъ сказать, видятъ полемизирующихъ гуляющими подъ ручку, какъ тѣхъ супруговъ, которые находятъ удобнымъ стирать свое грязное бѣлье на народѣ. Ну, а въ такомъ общеніи мало пріятнаго, ибо тѣнь дрянности или пошлости ложится при этомъ и на васъ.

Такъ вотъ какіе разнообразные бываютъ поводы для предоставленія противнику полемическаго поля, и вотъ почему полемика можетъ быть и труднымъ, и легкимъ дѣломъ,—какъ смотрѣть. Все это я говорю вообще,—къ слову пришлось; но частью и pro domo sua. Литературному обозрѣвателю мудрено оберечься отъ полемики, да я и не вижу никакого резона оберегаться, — совсѣмъ даже напротивъ. Но читатель долженъ принять во вниманіе нѣкоторую мою брезгливость, которая, впрочемъ, совершенно совпадаетъ съ интересами самого читателя, ибо что ему Гекуба? Что ему за дѣло, напримѣръ, до тѣхъ намековъ и подмигиваній, къ которымъ прибѣгаетъ г. Скабичевскій (въ «Новостяхъ») въ своемъ возраженіи на мой январскій дневникъ и о которыхъ онъ самъ говоритъ, что они «понятны для однихъ спорящихъ»? (Долженъ, впрочемъ, признаться, что они и для меня весьма мало понятны).

Читая эту часть возраженія г. Скабичевскаго, я живо переносился мыслью въ ту захолустную предбанную улицу, по которой, ничтоже сумняся, разгуливаютъ люди въ халатахъ и въ шинеляхъ, накинутыхъ прямо на бѣлье, и съ вѣникомъ подъ мышкой. Я туда не пойду...

Но нѣкоторыя обстоятельства заставляютъ меня вернуться къ взглядамъ г. Скабичевскаго на книгу г. Тимощенкова. Пора бы съ этой дребеденью кончить, но вотъ г. Скабичевскій представляетъ новыя соображенія.

Почтенный критикъ изумляется, что по отношенію къ измышленіямъ г. Тимощенкова меня «не вразумилъ даже примѣръ г. Гл. Успенскаго» и что я «съ слѣпымъ упорствомъ продолжаю коснѣть въ своемъ отрицаніи». Чрезвычайно торжественныя слова (коснѣть!), но вполнѣ несообразныя. Я очень уважаю Г. И. Успенскаго, но это рѣшительно ни къ чему меня не обязываетъ по отношенію къ г. Тимощенкову, и на будущее время не предполагаю «вразумляться примѣрами», а ужъ какъ нибудь самъ по себѣ справляться буду. Не совсѣмъ также понимаю, почему это я «*продолжаю* коснѣть», когда я въ первый разъ только заговорилъ о г. Тимощенковѣ! Вотъ теперь, дѣйствительно *продолжаю*...

Г. Скабичевскій говоритъ:

«Чтобы судить о степени практичности этихъ идеаловъ, вы только сравните ихъ съ идеалами, которые даетъ гр. Л. Толстой: отрицая всякую активную борьбу со зломъ, полагая, что въ деньгахъ таится безусловное зло, онъ предлагаетъ отрѣшиться тѣмъ или другимъ путемъ какъ отъ денегъ, губящихъ душу, такъ и отъ всѣхъ растлѣвающихъ привычекъ роскоши и комфорта: идти въ деревню и трудиться, какъ трудится крестьянинъ, по возможности стараясь все дѣлать для себя своими собственными руками. Казалось бы, что въ интеллигентной средѣ подобный идеалъ легче всего было бы осуществлять людямъ совершенно неимущимъ. Между тѣмъ, мы видимъ, что наибольшее число послѣдователей гр. Л. Толстого сосредоточивается въ зажиточныхъ классахъ общества, и между ними встрѣчаются крупные капиталисты. И вотъ представляется вопросъ, что было бы и практичнѣе, и благотворнѣе для подобныхъ людей: слѣдовать-ли идеалу гр. Л. Толстого, т. е. такъ или иначе освобождаться отъ нравственно растлѣвающаго вліянія денегъ, отстраняться отъ всякой активной борьбы со зломъ и обращаться въ безпомощныхъ тружениковъ подъ игомъ власти земли, или-же слѣдовать по пути Земли и Браги, т. е. съ физическимъ трудомъ соединять

активную борьбу со всевозможными хищниками жизни, не отрѣшаясь отъ денегъ и не тратя ихъ на удовлетвореніе какихъ-либо суетныхъ благъ жизни, а употребляя лишь какъ могучее орудіе въ борьбѣ съ хищничествомъ. Я положительно не понимаю того слѣпого упорства, съ которымъ г. Михайловскій не хочетъ понять, что дѣло здѣсь не въ тѣхъ гигантскихъ размѣрахъ борьбы, какіе придаетъ имъ г. Тимощенковъ изъ своей страсти ко всему грандіозному, а въ самомъ характерѣ, въ тонѣ, такъ сказать, предлагаемаго идеала, который можетъ быть осуществленъ не посредствомъ милліоновъ на цѣлый край, а при помощи тысячъ на уѣздъ, волость, наконецъ—деревню. Если-бы появилось нѣсколько такихъ маленькихъ Брагъ и Волгъ, къ нимъ могли-бы примкнуть и люди совсѣмъ безденежные, найдя тотъ или другой исходъ для удовлетворенія жажды добра и пользы».

Ну, вотъ это какъ будто похоже на дѣло. Однако всетаки только какъ будто похоже. Во-первыхъ, я былъ, значитъ, правъ, говоря, что для слѣдованія по пути героевъ г. Тимощенкова мало быть «живымъ, энергичнымъ и сильнымъ человѣкомъ» (какъ утверждалъ въ предисловіи къ книгѣ г. Скабичевскій), а надо имѣть деньги, много денегъ; что слѣдованіе это, однимъ словомъ, доступно только богатымъ людямъ. Уже одно это весьма подрѣзываетъ крылья идеаловъ г. Тимощенкова и ставитъ ихъ далеко ниже теоріи гр. Толстого, которая, при всѣхъ своихъ слабыхъ и антипатичныхъ сторонахъ, имѣетъ то преимущество, что предлагается всѣмъ безъ различія. Теперь г. Скабичевскій поясняетъ, что денегъ даже и не особенно много нужно; что «дѣло здѣсь не въ гигантскихъ размѣрахъ борьбы, а въ самомъ характерѣ, въ тонѣ предлагаемаго идеала»; что онъ можетъ осуществиться «не посредствомъ мильоновъ на цѣлый край, а при помощи тысячъ на уѣздъ, волость, наконецъ—деревню» и что, дескать, потомъ и «совсѣмъ безденежные» люди примкнутъ къ маленькимъ Брагамъ и Волгамъ.

Я не буду говорить объ томъ, въ какой мѣрѣ все это въ самомъ дѣлѣ практично, то есть осуществимо при данныхъ обстоятельствахъ времени, мѣста и образа дѣйствія. Обратимся къ «самому характеру, тону, такъ сказать, предлагаемаго идеала». Къ сожалѣнію, для этого надо вновь пересматривать книгу г. Тимощенкова, которую, какъ и его прототипъ—Жюля Верна, разъ прочитать можно, но два раза—обременительно. Дѣлать однако, нечего. Пусть мнѣ это будетъ наказаніемъ за то, что не покончилъ съ г. Тимощенковымъ въ прошлый разъ, а отослалъ читателя къ самому произведенію г. Тимощенкова.

Василій Степановичъ Брага—человѣкъ совершенно необыкновенный. «Онъ испыталъ многіе великіе научные и физическіе труды и перенесъ всѣ страданія, какія только могутъ выпасть на долю человѣка». Отъ всего этого «онъ пріобрѣлъ тяжелый недугъ: онъ пересталъ чувствовать себя отдѣльно отъ другихъ, потерялъ способность думать о себѣ и жить лично для себя. Мучительно широко, изъ края въ край, охватывалъ онъ всю жизнь родной страны и поднималъ на себѣ всѣ тяготы ея, всѣ бѣды... И планъ великаго подвига созрѣлъ въ головѣ Василія Степановича самъ собой. Онъ задумалъ, почувствовалъ настоятельную необходимость—чего-же?—ни больше, ни меньше, какъ измѣнить климатъ и возродить умирающую природу страны, улучшить народный трудъ, дать иное направленіе промышленности и поднять всѣмъ этимъ жизнь населенія цѣлаго края». Началъ Брага свое великое дѣло «безъ денегъ, безъ крупнаго общественнаго положенія» (потомъ ему свалилось съ неба 16 милліоновъ!), а дѣло онъ задумалъ дѣйствительно не малое: «создать благополучіе цѣлой страны». «Въ этихъ видахъ онъ сдѣлался корреспондентомъ и сотрудникомъ многихъ газетъ и журналовъ, участвовалъ въ трудахъ ученыхъ обществъ и комитетовъ, сносился съ правительственными коммисіями по сельскохозяйственнымъ и промышленнымъ дѣламъ, со съѣздами сельскихъ хозяевъ и углепромышленниковъ». Дѣятельность Браги имѣла важныя послѣдствія: «Сознаніе экономическихъ вопросовъ и потребностей стало мало-по-малу проникать въ массы, направляло умы, возбуждало энтузіазмъ, дѣлило на партіи всѣхъ мыслящихъ людей въ краю, на голоса за и противъ. Одно за другимъ возникали общества сельскохозяйственныя, горныя, углепромышленный, дровяного и лѣсного промысла и проч. Каждое изъ этихъ обществъ возникало и боролось во имя какой-нибудь отрасли экономическихъ вопросовъ. Кипѣла горячая полемика въ мѣстныхъ провинціальныхъ газетахъ, шла борьба мнѣній и въ теоріи и на практикѣ. Общественное мнѣніе раздѣлилось на двое. Главнымъ образомъ образовались двѣ партіи: «угольная», развивавшая пріемы осуществленія идей Браги, и противная ей «дровяная». За первую стали представители мѣстныхъ правительственныхъ властей, все лучшее и мыслящее края: сельскохозяйственные съѣзды, общества углепромышленниковъ, ихъ правленія и депутаты, а также лица, стоящія во главѣ губернскихъ горныхъ правленій, профессора горнаго института, всѣ инженеры, дѣйствовавшіе въ южной Россіи. Вторую партію составили»...

Впрочемъ, Богъ съ ней, со второй «дровяной» партіей: намъ вѣдь важны «идеалы» Браги, какъ говоритъ г. Скабичевскій, или его «святыя, завѣтныя идеи», какъ выра-

жается самъ г. Тимощенковъ». О, это очень высокіе идеалы, очень святыя идеи! Великій Брага находить, что «для полнаго оздоровленія экономической жизни края, кромѣ разведенія лѣса, необходимо прежде всего выкопать изъ земли и взять въ руки богатыря-уголь—эту силу, производящую тепло и паръ, потомъ дать жизнь тѣмъ 52 пластамъ желѣзной руды, которые лежатъ въ грунтѣ донецкаго бассейна, и эти двѣ силы устремить на защиту лѣса, а съ нимъ вмѣстѣ климата и плодородія земли» (стр. 225). Для этого же «необходимы субсидіи желѣзнымъ заводамъ, поддержка ихъ большими заказами и обезпеченіе сбыта по сходной цѣнѣ выдѣланнаго товара» (207); далѣе, «въ настоящее время необходимо обложить самою высокою пошлиной всякаго рода машины и металлическія издѣлія, привозимыя въ Россію изъ-за границы, чтобы совершенно преградить имъ путь сюда» (227).

Программа, что и говорить, вполнѣ ясная и опредѣленная. Но что-же это такое? До чего мы наконецъ, дожили?! Бываетъ, говорятъ, такъ, что гора родитъ мышь, но чтобы такая гора такую мышь родила—это, кажется, еще неслыханное дѣло. «Идеалы», «святыя идеи» при началѣ разговора и—протекціонныя пошлины и субсидіи желѣзнымъ заводамъ въ концѣ! Чортъ знаетъ, что такое! Мало ли у насъ охотниковъ поощрять отечественную промышленность при помощи покровительственныхъ тарифовъ и казенныхъ субсидій заводчикамъ, и не есть ли, напримѣръ, ну хоть г. Скальковскій псевдонимъ великаго Браги?—онъ вѣдь въ свободное отъ другихъ занятій время пропагандируетъ именно эту программу... Нѣтъ, навѣрное не псевдонимъ, ибо г. Скальковскій не хватается при этомъ за «идеалы» и «святыя идеи» и стало быть не оскверняетъ ихъ, не вводитъ въ недоумѣніе тѣхъ по крайней мѣрѣ, которые дорожатъ «идеалами» и «святыми идеями». Онъ понимаетъ, что эти вещи суть въ родѣ какъ «чиновники совсѣмъ посторонняго вѣдомства», когда рѣчь идетъ о субсидіяхъ и тарифахъ. Можетъ быть, у него даже не повернется языкъ сказать, подобно г. Тимощенкову, что углепромышленники и инженеры составляютъ «все лучшее и мыслящее края»... И потомъ, зачѣмъ же намъ ѣхать къ г. Брагѣ, когда мы и отсюда можемъ прекрасно помогать осуществленію его великихъ плановъ? Давайте, раздѣлимся на «угольную» и «дровяную» партіи, уберемъ на всякій случай идеалы и святыя идеи въ сторону,—а то они помѣшать могутъ,—присосѣдимся въ видѣ корреспондентовъ, ораторовъ и проч. ко «всему лучшему и мыслящему», и чудесно!

Я не знаю въ русской литературѣ эпизода, столь во всѣхъ смыслахъ нелѣпаго и столь характернаго для нашей нынѣшней растерянности, какъ эта исторія съ «бытовыми очерками» г. Тимощенкова. Мы видѣли—и еще очень недавно—образцы, казалось, невозможнаго въ нравственномъ смыслѣ литературнаго поведенія. Это были своего рода Геркулесовы столбы. Но тамъ, по крайней мѣрѣ, никто не вводился и не вдавался въ обманъ. Всякій понималъ, напримѣръ, глубокую возмутительность и гнусность клеветъ и пасквилей на полу-живого, а потомъ и на мертваго Надсона. Это было злобное, гнусное дѣло, но можно съ увѣренностью сказать, что на его сторонѣ не было ни единаго человѣка: настолько-то мы еще не растерялись въ границахъ добра и зла. А тутъ—помилуйте! Пришелъ невѣдомый человѣкъ и наговорилъ съ три короба пустяковъ. И пустякамъ повѣрили; повѣрили, какъ фактамъ,—это бы еще полъ-бѣды, хотя и то вполнѣ несообразно,—но повѣрили и какъ принципамъ, какъ идеаламъ. Мы, видавшіе, казалось бы, такъ много всякихъ видовъ: и страшныхъ, и умилительныхъ, и скорбныхъ, и смѣшныхъ,—мы, точно новорожденные младенцы, точно «мышата, не видавшіе свѣта», обрадовались... «идеаламъ Браги»!.. О, бѣдная русская литература! бѣдные русскіе читатели!..

Нѣтъ, г. Скабичевскій, извините меня, но я «продолжаю коснѣть», ибо я не забылъ азбуки и знаю, что буквы с-у-б-с-и-д-і-я и т-а-р-и-ф-ъ—нельзя прочитать: «идеалъ»...

Ну, а что же Гл. Успенскій, изъ-за котораго весь сыръ-боръ загорѣлся, ибо не напечатай онъ своей статьи въ «Русской Мысли», г. Павленковъ вѣроятно не «вразумился» бы, т. е. не издалъ бы книги г. Тимощенкова; г. Скабичевскій тоже не вразумился бы и не напечаталъ бы къ книгѣ предисловія, а слѣдовательно не былъ бы вынужденъ теперь защищать «тонъ, характеръ предлагаемаго идеала».

Къ тому, что было говорено въ прошлый разъ объ участіи въ этомъ трагикомическомъ дѣлѣ Успенскаго, я могу теперь прибавить только одно: Успенскій въ своей статьѣ ни одного раза не упоминаетъ о Брагѣ Очень вѣроятно, что онъ совсѣмъ не читалъ этого характернѣйшаго изъ очерковъ г. Тимощенкова, наиболѣе ярко раскрывающаго «идеалы» этого страннаго писателя. Иначе Успенскій, конечно, припомнилъ бы превосходную сказку или притчу, влагаемую имъ самимъ въ уста раскольника въ «Путевыхъ замѣткахъ» («Сѣв. Вѣстн.» 1887 г., ноябрь). Я не буду передавать эту сказку. Найдите ее сами и получите истинное художественное, а можетъ быть еще

и другое наслажденіе, и насчетъ идеала и святыхъ идей сообразите. Сказка разсказызываетъ о томъ, что произошло съ «живымъ человѣкомъ», когда «мертвое желѣзо» («52 пласта желѣзной руды, которые лежатъ въ грунтѣ донецкаго бассейна») было выкотано изъ земли. Нехорошее произошло... Конечно, желѣзо изъ земли выкапывать нужно, только разно это можно дѣлать, да если бы даже субсидіи и высокія пошлины были при этомъ безусловно необходимы, такъ и то не слѣдъ сюда приклеивать ярлыки идеаловъ и святыхъ идей, ибо не слѣдъ людей морочить...

Если г. Скабичевскій предлагаетъ мнѣ прогуляться съ нимъ въ халатѣ и съ вѣникомъ подъ мышкой по захолустной предбанной улицѣ, то совершенно иначе поступаетъ г. Т. въ декабрьской книжкѣ «Русской Мысли» («Литература и жизнь. Критическія замѣтки»). Совершенно иначе. Г. Т. не то рыцарь, храбро поднимающій перчатку, даже не ему брошенную, и единственно изъ чувства рыцарскаго долга устремляющійся на защиту обиженныхъ вдовъ и сиротъ; не то современный свѣтскій человѣкъ въ безукоризненномъ фракѣ и бѣлыхъ перчаткахъ, возражающій вѣжливо и съ достоинствомъ и вообще держащій себя съ самымъ изящнымъ благообразіемъ. Это хорошо: и рыцаремъ хорошо, и во фракѣ хорошо. Но вотъ какое мое недоумѣніе: рыцарскіе ли доспѣхи надѣты на г. Т. или изящный фракъ, только зачѣмъ онъ все точно кому-то подмигиваетъ? и зачѣмъ онъ говоритъ такъ много хорошихъ словъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ дѣлу? и не проще ли бы было, еслибы онъ не облекался въ рыцарскіе доспѣхи, ни во фракъ, а просто промолчалъ бы, когда ему возразить очевидно нечего?

Судите сами.

Въ ноябрьскомъ дневникѣ я писалъ о «Русской Мысли», собственно даже не о «Русской Мысли», а объ ея журнальномъ обозрѣвателѣ и о печатающихся въ ней переводныхъ историческихъ романахъ Сенкевича. Оказывается, что щекотливая редакція московскаго журнала «поручила» г. Т. мнѣ отвѣтить и онъ взялся исполнить это порученіе «спокойно и тщательно». Вотъ какъ отвѣчаетъ г. Т. на мои замѣчанія о журнальномъ обозрѣніи:

«Г. Н. М. недоволенъ нашимъ журнальнымъ обозрѣвателемъ. Онъ говоритъ, что обозрѣватель этотъ ограничивается въ большинствѣ случаевъ пересказомъ содержанія беллетристическихъ произведеній, присоединяя къ такому пересказу обширныя цитаты и нѣкоторыя заявленія своего согласія или несогласія, одобренія или неодобренія. На это отвѣчаю слѣдующее. Журнальное обозрѣніе «Русской Мысли» помѣщается въ библіографическомъ отдѣлѣ. Оно вовсе не имѣетъ цѣлью *критику* литературныхъ произведеній, а лишь ознакомленіе читателей нашего журнала съ содержаніемъ другихъ повременныхъ изданій, обще-литературныхъ и спеціальныхъ (за послѣдними слѣдятъ, конечно, нѣсколько лицъ). Редакція «Русской Мысли» давно уже старалась открыть критико литературный отдѣлъ, но это все не удавалось. Былъ разъ, напримѣръ, приглашенъ одинъ изъ извѣстныхъ критиковъ, но онъ прислалъ статью, направленную противъ Н. К. Михайловскаго, и «Русская Мысль» этой статьи не напечатала».

Это отъ буквы до буквы все, что г. Т. нашелъ возможнымъ «отвѣтить» на мои замѣчанія о литературныхъ обозрѣніяхъ «Русской Мысли». Но развѣ это въ самомъ дѣлѣ хоть сколько нибудь похоже на возраженіе, на отвѣтъ? Мнѣ очень лестно, конечно, что «Русская Мысль» отказалась напечатать статью, направленную противъ меня, но отъ этого журнальныя обозрѣнія «Русской Мысли» не становятся вѣдь лучше, и самое опубликованіе этого лестнаго для меня обстоятельства не имѣетъ ровно никакого отношенія къ тому дѣлу, которое редакція «Русской «Мысли» поручила г. Т. Благодарю, чувствую, но остаюсь при прежнемъ мнѣніи, да и не могу не остаться при немъ, потому что г. Т. на дѣлѣ-то даже и не пытается его опровергнуть, а говоритъ совсѣмъ постороннія слова. Онъ утверждаетъ и подчеркиваетъ, что журнальное обозрѣніе «Русской Мысли» «вовсе не имѣетъ цѣлью *критику*» литературныхъ произведеній, а лишь ознакомленіе съ содержаніемъ другихъ журналовъ. Зачѣмъ г. Т. утверждаетъ это и подчеркиваетъ, когда я ни единаго раза даже не назвалъ г. обозрѣвателя *критикомъ*, а такъ вездѣ и величалъ его, какъ ему по чину слѣдуетъ, обозрѣвателемъ? Очевидно, г-ну Т. возразить нечего, и напрасно онъ огородъ городитъ. На его мѣстѣ я бы не принялъ порученія редакціи «Русской Мысли», а откровенно сказалъ бы (у себя-то въ редакціи можно откровенно говорить): Н. М., къ сожалѣнію, правъ, нашъ обозрѣватель въ самомъ дѣлѣ очень плохъ. Нельзя, разумѣется, требовать, чтобы журналистъ безъ какихъ-нибудь исключительныхъ побудительныхъ причинъ печатно признавался въ промахахъ и слабыхъ сторонахъ своего журнала; но промолчать-то можно, даже должно. А то выходитъ комическое зрѣлище: г. Т. степенно садится, по порученію редакціи «Русской Мысли», на боевого коня, «тщательно и спокойно» вооружается, выѣзжаетъ на защиту обиженной сироты-обозрѣвателя, но, вмѣсто всякой защиты, граціозно салютуетъ мечомъ, хитро

подмигиваетъ и затѣмъ проѣзжаетъ себѣ въ слѣдующее мѣсто. А сирота, какъ былъ сиротой, такъ и остается, и можетъ быть самъ недоумѣваетъ: зачѣмъ же это Мальбругъ въ походъ поѣхалъ? И дѣйствительно, совершенно напрасно поѣхалъ, потому что я вѣроятно никогда болѣе и не коснулся бы г. обозрѣвателя, а теперь вотъ вынужденъ вернуться къ нему, а, пожалуй, и къ редакціи «Русской Мысли».

«Русская Мысль» довольствуется пока «ознакомленіемъ» своихъ читателей съ содержаніемъ другихъ журналовъ. Хорошо. Но не хорошо то, что почтенный журналъ дѣлаетъ это дурно. Онъ «ознакомляетъ» при помощи огромныхъ выписокъ и почти дословныхъ пересказовъ. Это прежде всего не деликатно по отношенію къ тѣмъ журналамъ, изъ которыхъ дѣлаются пересказы и выписки. Правда, законъ дозволяетъ перепечатывать чужія произведенія въ размѣрѣ одного печатнаго листа. Но надо же и честь знать. Возьмемъ, напримѣръ, Щедрина. Онъ вѣдь имѣетъ какіе-нибудь резоны печататься въ «Вѣстникѣ Европы», а не въ «Русской Мысли», а между тѣмъ буквально каждое его произведеніе утилизируется и «Русскою Мыслью» въ видѣ обширнѣйшихъ цитатъ и извлеченій. Далѣе, какая цѣль такого «ознакомленія»? Указать на Щедрина, что вотъ, молъ, хорошая вещь, прочтите? Кажется, въ этомъ нѣтъ особенной надобности; и во всякомъ случаѣ нѣтъ надобности дѣлать это при помощи систематическихъ перепечатокъ. Замѣнить Щедрина?—Но, не говоря о вышеупомянутой неделикатности такого предпріятія, оно кромѣ того и нелѣпо, а между тѣмъ читатели поверхностные и нетребовательные, къ большому своему ущербу, можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ довольствуются Щедринымъ въ сокращенномъ изданіи «Русской Мысли». Но «Русская Мысль» не съ однимъ Щедринымъ и вообще не только съ достойными вниманія литературными произведеніями такъ поступаетъ, а и съ разной мелочью и пустяками, которые печатаются въ другихъ журналахъ, и съ которыми и одинъ-то разъ не стоило «ознакомляться», а тѣмъ паче перепечатывать.—Но пусть такъ, пусть все это необходимо,—и крупное и мелкое, и цѣнное и никчемное. Но выдерживаетъ-ли по крайней мѣрѣ московскій журналъ хоть эту программу? Нѣтъ. Недавно «Наблюдатель» замѣтилъ, что «Русская Мысль», при всей, даже нѣсколько назойливой систематичности своего «ознакомленія», совершенно игнорируетъ его, «Наблюдателя». Сдѣлаемъ еще уступку, допустимъ, что у «Русской Мысли» есть какіе-нибудь невѣдомые резоны исключать «Наблюдателя» изъ области «ознакомленія». Но вотъ «Сѣверный Вѣстникъ» съ самаго начала своего существованія и вплоть до сентября прошлаго года удостоивался ознакомленія, а съ этого момента уже болѣе не удостоивается. Почему же содержаніе сентябрьской, октябрьской, ноябрьской и декабрьской книжекъ нашего журнала осталось неизвѣстнымъ читателямъ «Русской Мысли»? Смѣю думать, что книжки эти не лишены нѣкоторой цѣнности. Тутъ были напечатаны «наброски карандашомъ» г-жи Шабельской, очерки г. Гл. Успенскаго (и нѣкоторые изъ нихъ превосходны), разсказъ г. Короленко,—не особенно часто балующаго литературу своими произведеніями, статья г. Менделѣева, который тоже не каждый день летаетъ въ воздушномъ шарѣ. Почему же читатели «Русской Мысли» не должны знать обо всемъ этомъ? Казалось бы, «ознакомлять», такъ «ознакомлять»...

Не хорошо г. Т., такъ не хорошо, что положительно вамъ не слѣдовало облекаться ни въ панцырь со шлемомъ и боевыми рукавицами, ни во фракъ съ шапо-клякомъ и бѣлыми перчатками...

Такъ все это не хорошо, что мнѣ непріятно продолжать разсмотрѣніе «отвѣта» (!) г. Т., и я сдѣлаю еще только одно общее замѣчаніе о взаимныхъ отношеніяхъ «Сѣвернаго Вѣстника» и «Русской Мысли».

Г. Т. оканчиваетъ увѣреніемъ, что «Русская Мысль» «употребитъ всѣ усилія, чтобы не выходить изъ оборонительной роли по отношенію къ Сѣверному Вѣстнику». Странное увѣреніе! До несчастнаго сентября прошлаго года, «Русская Мысль», ознакомляя своихъ читателей съ содержаніемъ каждой книжки «Сѣвернаго Вѣстника», совершенно свободно одобряла или не одобряла, указывала, когда хотѣла, дѣйствительные или мнимые промахи и слабости нашего журнала, вообще вела себя отнюдь не «оборонительно». «Сѣверный Вѣстникъ» же моими устами *въ первый разъ* заговорилъ о «Русской Мысли» (я не считаю частной полемики г. Южакова съ г. Гольцевымъ), и вотъ уже щекотливая редакція снаряжаетъ блестящаго рыцаря и онъ, сверкая мечомъ и панцыремъ, великодушно заявляетъ объ *оборонительномъ* положеніи...

Шестое изданіе стихотвореній Надсона (2,000 экземпляровъ) было буквально расхватано въ три-четыре мѣсяца. Литературный фондъ, которому, по завѣщанію покойнаго, принадлежитъ право изданія его сочиненій, немедленно приступилъ къ седьмому изданію въ количествѣ 6,000 экземпляровъ. Въ настоящую минуту изданіе это уже почти распродано, и литературный фондъ готовится уже выпустить восьмое изданіе, такъ что къ первой годовщинѣ смерти по-

эта, можно считать круглымъ числомъ, разошлось 8,000 экземпляровъ двухъ посмертныхъ изданій, а имъ предшествовало пять, слѣдовавшихъ одно за другимъ очень быстро. Это—небывалый въ нашей литературѣ успѣхъ; успѣхъ, почти невѣроятный для людей, знающихъ какъ у насъ покупаются книги, и слишкомъ яркій, чтобы не остановиться на вопросѣ: отчего онъ зависитъ?

Можетъ показаться, что дѣло тутъ въ трогательныхъ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ смерть Надсона,—многообѣщавшаго и многострадавшаго юноши. До извѣстной степени это, конечно, справедливое соображеніе. Какъ сама по себѣ скорбь этой, рано оборвавшейся жизни, такъ и злобныя клеветы на нее и безстыдныя издѣвательства надъ ея могилой,—могли, разумѣется, только усилить вниманіе и сочувствіе къ поэту. Но, еслибы эта причина играла главную или только очень выдающуюся роль въ поразительномъ успѣхѣ стихотвореній Надсона, то онъ долженъ былъ бы распространиться и на маленькій сборникъ прозаическихъ произведеній Надсона, и на сборникъ критическихъ и некрологическихъ статей о немъ. Этого нѣтъ, однако. Значитъ, главный источникъ успѣха лежитъ въ самой поэзіи Надсона. Это несомнѣнно такъ и есть. Но я прошу васъ обратить вниманіе на слѣдующіе факты нашего нынѣшняго пристрастія къ поэзіи вообще; факты тоже небывалые.

За послѣдніе два года у насъ разошлись десятки тысячъ экземпляровъ сочиненій Пушкина; появились собранія сочиненій старыхъ поэтовъ: Батюшкова, Дельвига, Полежаева, Мея; нынѣ живущихъ: гг. Плещеева, Полонскаго, Апухтина, Андреевскаго, Рамшева, Фофанова, Фруга, Голенищева-Кутузова, Минскаго, Мережковскаго, Ясинскаго; множество другихъ сборниковъ стихотвореній разныхъ столичныхъ и провинціальныхъ авторовъ, въ родѣ гг. Байлернтова, Бойчевскаго, Бѣлова, Гольденова, Добрышина, Замыслова, Николаева, Стружкина, Сулковскаго и проч. и проч., ихъ же имена ты, Господи, вѣси. Затѣмъ сейчасъ у меня на столѣ лежатъ помѣченные уже 1888 годомъ стихотворные сборники хрестоматическаго характера: «Русская исторія въ русской поэзіи» П. И. Вейнберга и «Книга любви»—«сборникъ стихотвореній» съ подзаглавіемъ: «Вопросъ любви въ русской поэзіи, оригинальной и переводной». Подобныхъ сборниковъ было не мало издано и въ ближайшіе предъидущіе годы, напримѣръ, сборники «Мысли и чувства», «Искреннее слово», сборникъ «сибирской» поэзіи. Наконецъ, къ услугамъ поэтовъ стали появляться спеціальныя руководства, въ родѣ изданнаго въ прошломъ году г. Бродовскимъ «Руководства къ стихосложенію». Не мѣшаетъ также отмѣтить, что за послѣдніе два-три года понадобилось восьмое изданіе сочиненій Жуковскаго, шестое изданіе сочиненій Лермонтова, четвертое изданіе стихотвореній Некрасова, третье изданіе Гербеля «Русскихъ поэтовъ въ біографіяхъ и образцахъ»; понадобилось и изданіе стихотвореній Тургенева, доселѣ никого не интересовавшихъ.

Къ тому же центру подгоняются и разныя мелочи. Вотъ, напримѣръ, первый нумеръ иллюстрированнаго журнала «Нива» за нынѣшній годъ. Въ немъ, кромѣ начала обширнаго стихотворенія г. Полонскаго, напечатанъ первый изъ цѣлой серіи очерковъ г. Гончарова, героемъ котораго является лакей—любитель стиховъ. Конечно, разсказъ объ этомъ странномъ человѣкѣ переноситъ насъ въ давнопрошедшія времена, но любопытно всетаки, что г. Гончаровъ долго держалъ его въ своемъ «домашнемъ архивѣ» и именно теперь только предалъ тисненію. Въ томъ же нумерѣ «Нивы» находимъ стихотворныя объясненія къ картинкамъ. Нарисована, напримѣръ, дѣвочка, любующаяся на свою фотографическую карточку, и къ ней такое «объясненіе»:

„Ахъ, какъ похожа я! Какъ будто
Я передъ зеркаломъ стою!“
Такъ наша крошка говорила,
Смотря на карточку свою.
Отъ счастья щечки раскраснѣлись,
Глазенки весело горятъ
И губки тихо: „какъ похожа,
Какъ я похожа!“ говорятъ.

Стихи эти и сами по себѣ очень плохи, какъ видите, и гораздо хуже «объясняемой» ими картинки, но должно быть имѣетъ-же какія нибудь основанія «Нива» думать, что даже скверные стихи говорятъ уму и сердцу нынѣшнихъ читателей больше, чѣмъ гораздо лучшая живопись.

Все это вмѣстѣ взятое, не умаляя необычайности успѣха поэзіи Надсона, свидѣтельствуетъ, однако, о томъ, что мы вообще живемъ въ какое-то архи-поэтическое время. Старожилы литературы припоминаютъ, что нѣчто подобное происходило въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, но на памяти большинства нынѣшнихъ писателей и читателей это—единственный въ своемъ родѣ моментъ.

Тургеневъ разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что, выговаривая Писареву, при личномъ съ нимъ свиданіи, за его отношеніе къ поэзіи и поэтамъ, онъ ему сказалъ, между прочимъ: «Еслибы у насъ молодые люди теперь только и дѣлали, что стихи писали, какъ въ блаженную эпоху альманаховъ, я бы понялъ, я бы пожалуй даже оправдалъ вашъ злобный укоръ, вашу насмѣшку, я бы подумалъ: несправедливо,

не полезно! А то подумайте, въ кого вы стрѣляете? ужъ точно по воробьямъ изъ пушки! Всего-то у насъ осталось три-четыре человѣка, старички пятидесяти лѣтъ и свыше, которые упражняются въ сочиненіи стиховъ, — стоитъ ли яриться противъ нихъ? Походъ противъ стихотворцевъ въ 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизмъ!»— А вотъ теперь, черезъ двадцать лѣтъ, маленькая, устами Тургенева какъ бы просившая снисхожденія къ самому существованію своему, группа изъ «трехъ-четырехъ старичковъ» разрослась въ цѣлую армію, въ рядахъ которой есть и убѣленные сѣдинами старцы, и юноши, и мужи зрѣлаго возраста. Петербургъ и Ялта, Москва и Кіевъ, Кишиневъ и Казань и прочіе города россійскіе отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды выставляютъ своихъ поэтовъ, и вся Русь колыхается волнами стихотворнаго ритма и сверкаетъ риѳмами. Это ли не торжество поэзіи?!. И не въ двадцать лѣтъ одержана «языкомъ боговъ» эта побѣда, а въ гораздо болѣе короткій срокъ. Писаревъ считалъ нужнымъ воевать съ поэзіей, и самая стремительность его аттакъ свидѣтельствовала не только о томъ, что онъ имѣетъ дѣло съ чѣмъ-то враждебнымъ, но и о томъ, что это враждебное представляется ему значительною силою; потомъ на стихотворцевъ и совсѣмъ рукой махнули.

Пройдетъ нѣсколько времени, и захлестывающая насъ нынѣ поэтическая волна можетъ быть опять отхлынетъ. Отъ странной неровности нашей духовной жизни съ ея періодическими приливами и отливами этого очень можно ожидать. Станемъ мы можетъ быть поголовно опять естественными науками увлекаться, или въ запуски философствовать пустимся, или еще куда насъ въ сторону отъ поэзіи толкнетъ, и опять оскорбленный поэтъ скажетъ:

Други, вы слышите-ль крикъ оглушительный:
«Сдайтесь пѣвцы и художники! Кстати-ли
Вымыслы ваши въ нашъ вѣкъ положительный?
Много-ли васъ остается, мечтатели?
Сдайтеся натиску новаго времени!
Міръ отрезвился, прошли увлеченія—
Гдѣ жъ устоять вамъ, отжившему племени,
Противъ теченія?»

***

Други, не вѣрьте! Все та-же единая
Сила насъ манитъ къ себѣ неизвѣстная,
Та-же плѣняетъ насъ пѣснь соловьиная,
Тѣ-же насъ радуютъ звѣзды небесныя!
Правда все та-же! Средь мрака ненастнаго,
Вѣрьте чудесной звѣздѣ вдохновенія,
Дружно гребите, во имя прекраснаго,
Противъ теченія!..

Можетъ быть, конечно, — и на это надо надѣяться, въ этомъ направленіи и работать надо, — наша духовная жизнь достигнетъ наконецъ извѣстнаго равновѣсія, такъ что ни которой ея сторонѣ не въ обиду будетъ. Но въ настоящую минуту поэзія во всякомъ случаѣ преувеличенно торжествуетъ. Я не то, конечно, хочу сказать, что наше время блещетъ первостепенными поэтическими талантами,—это было бы очевидное и нелѣпое хвастовство. Но поэтовъ много, непропорціонально много сравнительно и съ недавнихъ временъ, и съ нашею продуктивностью въ другихъ отрасляхъ умственной дѣятельности. Никто изъ нынѣшнихъ поэтовъ не пользуется такимъ блестящимъ успѣхомъ, какъ Надсонъ. Но всетаки они печатаются, имъ посвящаются рецензіи въ журналахъ и газетахъ, а потому, надо полагать, ихъ читаютъ, ими интересуются. Почему все это? и къ добру это или къ худу?

Это вопросы слишкомъ сложные, чтобы я успѣлъ отвѣтить на нихъ сегодня. Довольствуюсь на этотъ разъ констатированіемъ факта,—во всякомъ случаѣ интереснаго.

XV.

Замѣтки о поэзіи и поэтахъ *).

Стихи, опять стихи, все стихи, стихи,— какъ цвѣты въ поляхъ лѣтомъ, какъ «поля» въ стихахъ г. Майкова. Не успѣваешь прочитывать стихи и статьи о стихахъ. Послѣ всего, отмѣченнаго мною въ прошлый разъ, вотъ второе изданіе стихотвореній г. Минскаго, «Послѣднія поэмы» г. Оболенскаго, новый выпускъ стихотвореній г. Фета, христоматическій стихотворный сборникъ г. Соколова «Рыданія и хохотъ», статья стихотворца г. Андреевскаго о стихотвореніяхъ Баратынскаго, статьи о стихахъ въ «Новомъ Времени», въ «Русской Мысли», въ «Наблюдателѣ», въ «Новостяхъ», въ «Гражданинѣ». Роскошный пиръ поэзіи! Странно немножко, потому что какъ нарочно морозъ на дворѣ стоитъ такой, какого и старожилы не запомнятъ, и вдругъ эти «пѣвцы зимой погоды лѣтней» и это неожиданное осуществленіе старинной и заѣзженной риѳмы —«розы» и «морозы». Странно, но фактъ всетаки несомнѣненъ. Давайте въ немъ разбираться, потому что вѣдь въ самомъ дѣлѣ любопытно.

Поэтическую рѣчь называютъ «языкомъ боговъ», но на самомъ-то дѣлѣ, конечно, какъ не боги горшки обжигаютъ, такъ и стихи не боги пишутъ. И въ смыслѣ содержанія, и въ смыслѣ формы, поэзія старше прозы. Наши отдаленные предки разговаривали между собою въ обыденной жизни, надо полагать, въ прозѣ, но литература или, точнѣе, словесность явилась впервые въ стихотворной формѣ, первыми произведеніями словесности были пѣсни и стихотворный раз-

*) 1888, мартъ.

сказъ, лирика и эпосъ. Мало того, въ отдаленной древности отвлеченная, философская мысль, фактическое знаніе и постановленія закона также облекались въ сверкающія одежды ритма и риѳмы. Остатокъ этой первобытной склонности мы и теперь видимъ въ народныхъ поговоркахъ и пословицахъ, сохраняющихъ древнія правовыя и моральныя истины, стародавнія наблюденія природы, историческія воспоминанія и проч. въ формахъ нѣкоторыхъ созвучій и размѣренной рѣчи. Такіе же осколки старины представляютъ собою причитанья и заговоры,—тоже болѣе или менѣе скандированные и риѳмованные. По свидѣтельству путешественниковъ, размѣренная рѣчь и созвучія родственны уму и нынѣшнихъ дикарей, и не просто родственны, а какъ бы священны въ ихъ глазахъ. А отсюда, пожалуй, ужъ и недалеко до купчихи Антрыгиной, которая «въ стихи очень вѣруетъ, потому, говоритъ, коли что стихами написано, ужъ это вѣрно: значитъ, отъ души человѣкъ писалъ, безъ всякой фальши». Не мѣшаетъ замѣтить, что и дѣти очень любятъ и легко усвоиваютъ стихотворную форму, на чемъ и основаны извѣстные мнемоническіе фокусы въ родѣ «много есть именъ на *is* masculini generis: panis, piscis, crinis, finis» и т. д. или: «бѣлый, бѣдный, блѣдный бѣсъ убѣжалъ поспѣшно въ лѣсъ» и проч...

И если теперь насъ обуяла манія стихотворства: если мы, вообще лѣнивые на книжное производство и потребленіе, въ теченіе послѣднихъ двухъ-трехъ лѣтъ произвели и потребили по истинѣ огромное количество поэзіи (см. прошлый дневникъ); если мы изучаемъ или предлагаемъ изучать русскую исторію въ стихахъ (сборникъ г. Вейнберга), «рыдаемъ и хохочемъ» въ стихахъ (сборникъ г. Соколова) и еще разныя разности въ стихахъ дѣлаемъ,—то не означаетъ ли все это нѣкотораго возвращенія въ первобытное состояніе? Задаю себѣ этотъ удивительный вопросъ вполнѣ, такъ сказать, объективно, въ томъ смыслѣ, что само по себѣ возвращеніе къ первобытному состоянію еще не покрывается понятіями зла или добра. Можетъ быть оно и зло, а можетъ быть и благо. По крайней мѣрѣ объ этомъ можно спорить. Когда Вольтеръ ядовито писалъ Руссо, что, при чтеніи его размышленій о прелестяхъ первобытнаго состоянія, такъ и забираетъ охота побѣжать на четвереренькахъ.—Вольтеръ имѣлъ въ виду совсѣмъ не тѣ стороны дѣла, которыя занимали Руссо. И пожалуй оба были правы и оба неправы,—одинъ въ своей ироніи, другой въ своемъ паѳосѣ. Конечно, не все было добро зѣло на зарѣ исторіи человѣчества, когда «языкъ боговъ» былъ исключительнымъ или преимущественнымъ орудіемъ словесности. Было напротивъ того и много прямо звѣрскаго: между прочимъ, вѣдь въ тѣ времена люди людей ѣли. Съ другой стороны, однако, должны же быть какія нибудь основанія для тѣхъ страстныхъ обращеній назадъ, къ лежащему гдѣ-то въ исторической дали «золотому вѣку», какими увлекались Руссо и другіе не послѣдніе въ своемъ родѣ люди серьезной мысли и горячаго чувства. Мы знаемъ далѣе, что и многіе путешественники, совершенно чуждые всякой политикѣ, привозятъ свѣдѣнія о чуть не райскомъ житьѣ-бытьѣ дикарей и съ грустью отмѣчаютъ, въ параллель ему, нашу цивилизацію, какъ источникъ всякаго рода бѣдъ; знаемъ, что и въ средѣ этой цивилизаціи низшіе классы общества, наименѣе ею затронутые, возбуждаютъ въ людяхъ высшей цивилизаціи зависть и упованія многими сторонами своей жизни. Должны быть наконецъ какіе нибудь резоны и у того достойнаго вниманія факта, что почти всѣ сколько нибудь замѣчательныя теоріи прогресса, исходя изъ самыхъ разнообразныхъ отправныхъ пунктовъ, оперируя надъ самымъ разнообразнымъ матеріаломъ и имѣя въ виду самыя разнообразныя, общія или частныя теченія исторической жизни,—приходятъ къ формулѣ трехчленнаго дѣленія исторіи; причемъ послѣдній фазисъ, будущее, рисуется въ видѣ нѣкотораго возрожденія перваго фазиса—болѣе или менѣе отдаленнаго прошлаго (Вико, Гегель, Контъ, Луи-Бланъ, Лассаль).

Тема эта во всей своей обширности не подлежитъ, разумѣется, обсужденію здѣсь, въ скромномъ дневникѣ читателя, да еще по поводу такого всетаки не очень первостепенной важности предмета, какъ обиліе въ наши дни стихотворцевъ. Я тронулъ эту тему, признаться, только во избѣжаніе нѣкоторыхъ нареканій. Поэты склонны думать или по крайней мѣрѣ говорить, что «толпа», то есть всѣ мы, излагающіе свои мысли и чувства «презрѣнной прозой» норовимъ имъ всякія пакости дѣлать, завидуемъ имъ, преслѣдуемъ ихъ, не способны да и не хотимъ оцѣнить. Такъ ужъ изстари повелось. Да и теперь вотъ г. Ясинскій говоритъ о «черни скучной и презрѣнной», среди которой поэтъ долженъ «дни черные влачить». Г. Фофановъ скорбитъ о своемъ «стягѣ»: «увы! измаранъ онъ кругомъ глаголами толпы порочной». Г. Мережковскій восклицаетъ: «Молчи, поэтъ, молчи: толпѣ не до тебя!» Г. Минскій, памятующій, что даже «поцѣлуи поэта священны», съ меланхолической ироніей замѣчаетъ: «Слишкомъ *рано* поэтъ, ты родился!.. Слишкомъ *поздно*, поэтъ, ты родился!» Очень требовательны, мнительны и ревнивы господа поэты. Поэтому-то, натолкнувшись на фактъ

первобытности «языка боговъ», я поторопился оговориться, что въ этомъ еще нѣтъ худа и можетъ быть даже совсѣмъ напротивъ. Это еще разсудить надо.

Послѣ такой оговорки можно поступать уже смѣлѣе. Можно отмѣтить тотъ, тоже чрезвычайно любопытный фактъ, что нѣкоторыя формы душевнаго разстройства вызываютъ особенную склонность къ стихотворной рѣчи. Въ книгахъ Ломброзо «Геній и помѣшательство», Реньяра «Les maladies épidémiques de l'esprit» и въ другихъ вы можете найти порядочную коллекцію поэтическихъ произведеній умопомѣшанныхъ больныхъ, причемъ оказывается, что многіе изъ этихъ несчастныхъ до своей болѣзни никогда не занимались стихотворствомъ, и что оно, это стихотворство, было вызвано именно поврежденіемъ ума. Нѣкоторыя изъ стихотвореній сумасшедшихъ безукоризненны, но въ большинствѣ замѣчаются, конечно, разнообразные изъяны, однако главнымъ образомъ въ содержаніи, а не въ формѣ. Стихотворная форма дается этимъ больнымъ чрезвычайно легко; они склонны къ особенной виртуозности по этой части, любятъ играть въ bouts-rimés, говорить и писать экспромты, блистательно выдерживаютъ требованія ритма и риѳмы даже въ очень длинныхъ стихотвореніяхъ (у Реньяра приведено одно стихотвореніе въ 52 строки и другое въ 85 строкъ) и вообще по истинѣ щеголяютъ версификаціей, доводя ее даже до фокусничества. Въ прозаическихъ своихъ произведеніяхъ они также склонны къ игрѣ созвучіями.

Итакъ, наши отдаленные предки, современные дикари, дѣти и сумасшедшіе... Я боюсь подводить итоги этимъ слагаемымъ... А впрочемъ, что же тутъ страшнаго? Если наши отдаленные предки и дикари наводятъ на мысли о золотомъ вѣкѣ, то сумасшедшіе напоминаютъ не менѣе лестныя для нашихъ поэтовъ точки соприкосновенія помѣшательства и геніальности. Небывалое обиліе стихотворцевъ есть можетъ быть именно обиліе геніевъ, которые въ совокупности своей знаменуетъ возрожденіе золотого вѣка, и намъ остается только радоваться и гордиться тѣмъ, что мы живемъ въ настоящее время, когда тысяча и одинъ поэтъ наполняютъ пространство «звуками сладкими».

Почему тысяча и одинъ? Я не вполнѣ увѣренъ, что именно тысяча, а не полтысячи и не полторы тысячи, но во всякомъ случаѣ, говоря математическимъ языкомъ, $n+1$. Кромѣ тѣхъ поэтовъ, которыхъ мы знаемъ и не знаемъ, произведенія которыхъ такъ или иначе могутъ быть добыты и прочитаны, есть еще одинъ поэтъ, невѣдомый, неуловимый, невѣсомый, невозможный. Объ немъ разсказываетъ поэтъ-же, г. Ясинскій, въ стихотвореніи, озаглавленномъ «Пѣвецъ небесъ»:

Средь черни скучной и презрѣнной
Дни темные поэтъ влачилъ.
Ни разу пѣснью вдохновенной
Онъ слухъ земной не усладилъ.

* *
*

Онъ полонъ былъ святыхъ томленій
И сердца сладостныхъ тревогъ—
Лѣнивый или гордый геній,
Толпой незримый полубогъ.

* *
*

Толпа, шумя, рукоплескала
Напѣвамъ льстивымъ бѣдныхъ лиръ—
Она пѣвца небесъ не знала,
И чуждъ ему былъ грѣшный міръ.

* *
*

Онъ пѣлъ и плакалъ одиноко,
Взоръ обративши къ небесамъ,
Къ звѣздѣ туманной и далекой,
Къ далекимъ огненнымъ мірамъ.

* *
*

И духъ его летѣлъ крылатый
Туда, гдѣ нѣтъ тоски земной,
Гдѣ дремлетъ, тихимъ сномъ объятый,
Тѣней блаженныхъ свѣтлый рой.

Существуетъ-ли въ дѣйствительности этотъ воспѣтый г. Ясинскій поэтъ, мы не знаемъ и узнать никогда не можемъ. Какъ явленіе, какъ феноменъ, «толпой незримый полубогъ» во всякомъ случаѣ не существуетъ. Его надо понимать, какъ идеалъ поэта, идеалъ, къ которому должны стремиться «бѣдныя лиры», по крайней мѣрѣ по мнѣнію одного изъ представителей нашей нынѣшней поэзіи. Нельзя сказать, чтобы идеалъ этотъ былъ очень новъ въ основныхъ своихъ чертахъ. Поэты давно уже рисуютъ намъ величавый образъ «пѣвца небесъ», стремящагося въ надзвѣздную высь, отрясающаго отъ ногъ своихъ всякій земной прахъ и презирающаго всякое «житейское волненье» и его представителей, то есть «грѣшный міръ» и «скучную и презрѣнную чернь». Но,—и это пожалуй ново,—г. Ясинскій доводитъ этотъ идеалъ до его логическаго конца: «пѣвецъ небесъ» настолько чуждъ грѣшному міру, что не удостоиваетъ этотъ міръ даже своего лицезрѣнія или своихъ пѣснопѣній. Это вполнѣ послѣдовательно. Въ самомъ дѣлѣ, если ужъ презирать, такъ презирать. А то, помилуйте, —«умолкни чернь непросвѣщенна и презираемая мной»! «средь черни скучной и презрѣнной», «толпа порочная», «молчи, поэтъ, толпѣ не до тебя» и проч. и проч., все такое презрительное и оскорбительное для говорящихъ прозой,а сами любезно сообщаютъ намъ свои вдохновенія, ждутъ нашихъ рукоплесканій и лавровыхъ вѣнковъ, оскорбляются нашими свистками и берутъ съ презрѣнной черни за свои вдохновенія совершенно такія-же деньги, какими эта самая презрѣнная чернь и подати платитъ, и операціи

купли-продажи совершаетъ. «Пѣвецъ небесъ» г. Ясинскаго поступаетъ совершенно правильно, оставляя свои «святыя томленія и сердца сладостныя тревоги» въ полной неизвѣстности. И если этотъ идеалъ трудно достижимъ, такъ ужъ вѣдь такова особенность всѣхъ широкихъ идеаловъ, ибо слабъ человѣкъ. Въ настоящее время мы не только не видимъ осуществленія этого идеала или даже только приближенія къ нему, а напротивъ того присутствуемъ при необыкновенномъ урожаѣ стихотвореній, то есть при чемъ-то такомъ, что какъ разъ прямо противорѣчитъ высокому идеалу г. Ясинскаго: напишетъ человѣкъ десятка три-четыре стихотвореній и, не довольствуясь тѣмъ, что напечатаетъ ихъ въ журналахъ, или тѣмъ, что ни одинъ журналъ не взялъ ихъ для печати, устраиваетъ изъ нихъ книжку, сборникъ, и ждетъ, чтобы «толпа, шумя, рукоплескала». Самъ пѣвецъ «пѣвца небесъ», г. Ясинскій живетъ въ разладѣ съ своимъ идеаломъ и можетъ быть даже не вѣритъ въ него. Но это ничего. Идеалъ въ всякомъ случаѣ поставленъ, идеалъ ясный, опредѣленный, логически законченный...

Приглядываясь къ этому идеалу, мы безъ труда увидимъ, что ужъ, конечно, не въ этомъ пунктѣ происходитъ возрожденіе «золотого вѣка», если оно вообще, разумѣется, происходитъ. Такой идеалъ въ первобытныя времена былъ немыслимъ. Образцы древнѣйшей поэзіи суть вмѣстѣ съ тѣмъ образцы интимнѣйшаго общенія съ жизнью, съ «грѣшнымъ міромъ». Въ стихотворную форму облекались миѳы, законы, исторія, мораль. Какая-нибудь Магабарата или Рамайяна слагались именно затѣмъ, чтобы сохранить память о достопамятномъ, научить людей поучительному, возбудить враждебныя чувства къ врагамъ, воспѣть милость или гнѣвъ боговъ по отношенію къ грѣшному міру. Когда впослѣдствіи изъ смутной массы колективнаго народнаго творчества кристаллизировались отдѣльныя личности поэтовъ, они опять-таки отнюдь не порывали связей съ жизнью, не рвались отъ нея въ надзвѣздную высь — «къ далекимъ огненнымъ мірамъ, туда, гдѣ нѣтъ тоски земной». Напротивъ того. Нѣкоторые изъ нашихъ поэтовъ любили рисовать могучіе образы этихъ своихъ духовныхъ предковъ. Такъ пушкинскій пророкъ получаетъ «жало мудрыя змѣи» взамѣнъ языка «и празднословнаго, и лукаваго», «угль пылающій» — взамѣнъ «трепетнаго сердца», и наконецъ, священный завѣтъ — «обходя моря и земли, глаголомъ жечь сердца людей». Лермонтовскій пророкъ, правда, удаляется въ пустыню, но не потому, что презираетъ толпу, а единственно потому, что толпа его выгнала. Призваніе же свое онъ полагаетъ отнюдь не въ томъ, чтобы летать по поднебесью, а въ томъ, чтобы «провозглашать любви и правды чистыя ученья». Представте себѣ изумленіе, а можетъ быть, и очень бурное негодованіе такого древняго поэта, еслибы ему сказали, что его идеалъ состоитъ въ молчаніи, чтобы «ни разу пѣснью вдохновенной онъ слухъ земной не усладилъ»! Онъ бы, можетъ быть, просто ничего не понялъ въ этомъ «идеалѣ» и во всякомъ случаѣ отвергъ бы его, какъ отвергъ-бы и гораздо болѣе слабыя формы презрѣнія къ толпѣ и черни. Конечно, и онъ презиралъ, можетъ быть, «порочную толпу», но онъ громилъ ее, скорбѣлъ объ ней и, значитъ, не порывалъ съ ней связей. Самодовлѣющая, въ себѣ, въ «звукахъ сладкихъ» замыкающаяся поэзія есть относительно новое явленіе.

Нова и наглядность противорѣчія идеала съ дѣйствительностью, состоящаго въ *воспѣваніи молчанія пѣвца*. Извѣстное противорѣчіе идеала съ дѣйствительностью неизбѣжно, иначе идеалъ не былъ бы идеаломъ, но вѣдь не до такой-же степени. Пѣвецъ, который не поетъ, это, конечно, довольно странно и было бы еще страннѣе въ ту отдаленную пору, когда поэты были сплошь и рядомъ вмѣстѣ съ тѣмъ и пѣвцами въ буквальномъ смыслѣ слова. Но ужъ если бы древній поэтъ рѣшилъ, что въ какомъ-нибудь смыслѣ лучше молчать, чѣмъ пѣть, такъ онъ, дѣйствительно, замолчалъ бы, а не сталъ бы сладкозвучно распѣвать о томъ, что хорошо не пѣть. Древность характеризовалась именно цѣльностью, отсутствіемъ разлада между словомъ и дѣломъ, намѣреніемъ и исполненіемъ.

Да, если обиліе стихотворцевъ знаменуетъ собою возрожденіе чего-то изъ «золотого вѣка», то это возрождающееся что-то ужъ никакъ не состоитъ въ отношеніи поэзіи къ жизни, на сколько оно, это отношеніе, выразилось въ «Пѣвцѣ небесъ» г. Ясинскаго и въ другихъ, менѣе энергическихъ формахъ презрѣнія къ порочной толпѣ и грѣшному міру. Свѣтъ, однако, не клиномъ сошелся на стихотвореніи г. Ясинскаго и нѣсколькихъ ворчливыхъ восклицаніяхъ другихъ современныхъ поэтовъ. Надо поближе вглядѣться въ нынѣшнюю поэзію вообще, прежде чѣмъ произносить какія-нибудь общія сужденія. А разговоръ о золотомъ вѣкѣ, пожалуй, лучше и совсѣмъ бросить. Въ самомъ дѣлѣ, понятно, что первобытная цѣльность и наивность творчества нынѣ достижима только развѣ для геніальнаго поэта, который могъ бы такъ же легко справиться съ теперешнею многосложностью элементовъ душевной жизни, какъ древніе поэты справлялись съ современными имъ простыми отно-

шеніями. Имъ давалось легко то, что нынѣ можетъ быть получено только съ величайшимъ трудомъ, только исключительными людьми, да и то не вполнѣ. Древніе могли заключать свое несложное законодательство въ условную, тѣсную оболочку ритма и риѳмы, а попробуйте-ка это сдѣлать теперь со сводомъ законовъ. Точно также и въ другихъ отношеніяхъ рамки стихотворной рѣчи оказались слишкомъ узкими и тѣсными, ихъ по необходимости прорвала «презрѣнная проза», которая, правда, не ласкаетъ уха музыкальною размѣренностью и созвучіями, но за то лучше, вѣрнѣе, точнѣе говоритъ сознанію. Извѣстныя приподнятыя состоянія чувства будутъ вѣроятно всегда выливаться въ стихотворную форму и, помимо нашего сознанія, дѣйствовать на насъ, читателей и слушателей, путемъ нравственной заразы, возбуждая въ насъ то именно настроеніе, которое овладѣло самимъ авторомъ. Такъ вѣдь и музыка дѣйствуетъ и недаромъ въ древности музыка и поэзія сливались въ одно цѣлое. Но, по мѣрѣ усложненія жизни и по мѣрѣ роста сознанія, проза натурально оттѣсняетъ стихотворную рѣчь на второй планъ, и если бы наша нынѣшняя метроманія въ самомъ дѣлѣ могла знаменовать собою возрожденіе «золотого вѣка», то только въ смыслѣ съуженія сферы дѣятельности сознанія. Смотря на вещи съ этой стороны, можно, пожалуй, припомнить и метроманію душевно-больныхъ, поврежденность сознанія которыхъ не только не мѣшаетъ стихотворству, а даже помогаетъ ему, вызываетъ его. И право, нѣкоторые наши поэты безпредметною виртуозностью своихъ стиховъ заставляютъ иногда задуматься... Вотъ, напримѣръ, стихотвореніе г. Андреевскаго, стихотворца несомнѣнно талантливаго:

Я громко сѣтовалъ въ пустынѣ:
„Кто будетъ близокъ мнѣ отнынѣ,
Какъ были близки сердцу *вы?*“
Мнѣ эхо вторило: *„увы?“*
„Какъ буду жить больной и скучный,
Томимъ печалью неотлучной
И рядомъ горестныхъ *годинъ?“*
Мнѣ эхо вторило: *„одинъ!“*
„Но гдѣ укрыться? Міръ—могила,
Мнѣ жизнь безцѣльная постыла.
Гдѣ прежній блескъ и *шумъ и рай?“*
Сказало эхо: *„умирай“*?

Риѳмы, какъ видите, богатѣйшія, даже до перехода въ каламбуръ, вообще техническая сторона дѣла безукоризненна. Но вѣдь она безукоризненна и въ слѣдующемъ стихотвореніи одного изъ больныхъ Реньяра:

J'aime le feu *de la Fougère*
Ne durant pas, mais petillant;
La fumée est âcre de gout,
Mais des cendres de: *la Fou ǯerre*
On peut tirer en s'amusant
Deux sous d'un sel qui lave tout,
De soude, un sel qui lave tout.

Конечно, разница огромная, и именно та разница, что въ стихотвореніи больного рѣшительно никакого смысла нѣтъ, а въ стихахъ г. Андреевскаго его найти можно. Но вѣдь зато же больной есть больной и заключенъ въ спеціальное заведеніе для душевно-больныхъ, а г. Андреевскій находится въ здравомъ умѣ и твердой памяти, такъ что, если не ошибаюсь, съ успѣхомъ исполняетъ обязанности присяжнаго повѣреннаго...

Или вотъ стихотвореніе г. Фофанова, подъ заглавіемъ «Сонъ жизни».

Разъ, младенцемъ милымъ,
Онъ при блескѣ бальномъ
Задремалъ спокойно
Въ креслѣ на зарѣ...
А проснулся хилымъ
Старикомъ печальнымъ
На постели гнойной,
Въ жалкой конурѣ!

Можетъ быть вы будете счастливѣе или проницательнѣе меня, но я долго бился надъ этими восемью строчками, ища въ нихъ какого-нибудь смысла, и такъ и не нашелъ. Какъ это могло случиться, что «онъ» въ младенческомъ возрастѣ заснулъ «при блескѣ бальномъ въ креслѣ на зарѣ» (и чего нянька смотрѣла?), а потомъ проснулся старикомъ «на постели гнойной...» Не знаю, рѣшительно не знаю. Я пробовалъ искать тутъ какую-нибудь аллегорію и тоже не нашелъ. Секретъ открылся для меня только тогда, когда я обратилъ вниманіе на несовсѣмъ обычный порядокъ расположенія чрезвычайно богатыхъ риѳмъ: строчки риѳмуютъ черезъ три на четвертую. И повидимому только для этого фокуса и написано все стихотвореніе.

Въ концѣ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ у насъ во множествѣ продѣлывались еще и не такіе версификаторскіе фокусы. Не говоря объ изумительной виртуозности риѳмъ (помню, напримѣръ, такую: «разъ въ трактирѣ ѣлъ *супъ, сидя, я*; супъ былъ сладокъ, какъ *субсидія*»), писались стихотворенія, которыя можно было съ одинаковымъ удобствомъ читать сверху внизъ и снизу вверхъ; стихотворенія, подобранныя изъ такихъ русскихъ словъ, что въ общемъ выходило похоже на итальянскій языкъ; стихотворенія составныя—изъ отдѣльныхъ стиховъ разныхъ поэтовъ, каковые стихи, однако, связывались въ одно техническое, версификаторское цѣлое единствомъ размѣра и риѳмы, при полномъ и иногда очень забавномъ безсмысліи содержанія всего произведенія, и проч. и проч. Но все это дѣлалось просто на смѣхъ, съ цѣлью показать,

что стихотворная форма сама по себѣ, независимо отъ содержанія, есть не только не «языкъ боговъ», а просто пустяки. Ну да и весело, должно быть, въ то время было людямъ, такъ вотъ они и забавлялись. А теперь мы продѣлываемъ эти фокусы съ мрачною серьезностью, точно и взаправду дѣло дѣлаемъ. И я еще взялъ образчики у гг. Андреевскаго и Фофанова, стихотворцевъ во всякомъ случаѣ видныхъ, а еслибы вызвать къ рампѣ когонибудь изъ заднихъ рядовъ тысячи и одного поэта, такъ мы еще и не такое услышали бы.

Приведемъ ужъ еще одно стихотвореніе г. Фофанова. Поэтъ развиваетъ ту смѣлую мысль, что продажная женщина не есть женщина, потому что

Эдема намъ
Не отверзаетъ она безконечнаго;
Это злой геній, ниспосланный *демономъ*.

Затѣмъ слѣдуетъ положительная часть стихотворенія,—положительное опредѣленіе женщины:

Женщина—кроткое божье созданіе,
Женщина—мать, Магдалина смущенная,
Та, чья отерла коса благовонная
Ноги Исуса въ часы покаянія:
Женщина—отблескъ мерцанія майскаго,
Лучъ золотой надъ гробницами тлѣнія,
Женщина—тѣнь изъ селенія райскаго,
Женщина—счастье, любовь и прощеніе.

Г. Фофановъ очевидно хотѣлъ сказать что-то очень лестное о женщинѣ, но посмотрите какое безсиліе сознательной мысли сквозитъ изъ подъ этого набора словъ, расположенныхъ въ версификаторскомъ отношеніи безукоризненно. Вы видите, что какой то непонятный «отблескъ мерцанія майскаго» попалъ сюда единственно потому, что онъ хорошо риѳмуетъ съ—«тѣнь изъ селенія райскаго»; что не будь риѳма «эдема намъ» и «демономъ» такъ соблазнительна для уха, такъ можетъ быть и весь смыслъ стихотворенія получилъ бы совсѣмъ другой характеръ.

Вы, конечно, видали слабосильныхъ пловцовъ, которые, намѣтивъ себѣ цѣль, плывутъ къ ней, правильно и даже красиво взмахивая руками, но на самомъ дѣлѣ теченіе относитъ ихъ совсѣмъ въ сторону, и они, наконецъ, дѣлаютъ только видъ, что плывутъ именно туда, куда хотѣли. Такъ и многіе изъ нашихъ стихотворцевъ плывутъ исключительно по стихійному теченію риѳмъ и размѣра, по направленію, указываемому сочетаніемъ пріятныхъ звуковыхъ впечатлѣній. Чтобы вполнѣ оцѣнить значеніе этого обстоятельства, сдѣлаемъ слѣдующій опытъ.

Г. Мережковскій есть одинъ изъ видныхъ нашихъ молодыхъ поэтовъ Мысль его почти всегда ясна, стихомъ онъ владѣетъ прекрасно. Есть у него, между прочимъ, поэма «Протопопъ Аввакумъ», частью представляющая стихотворный пересказъ извѣстнаго «Житія протопопа Аввакума, имъ самимъ написаннаго». Возьмемъ у г. Мережковскаго эпизодъ, въ пересказѣ котораго онъ хотѣлъ быть вполнѣ близкимъ къ подлиннику, и посмотримъ насколько ему удалось достигнуть этой вполнѣ точно опредѣленной цѣли.

У Аввакума: «И сидѣлъ три дня, не ѣлъ, не пилъ, во тьмѣ сидя, кланялся на цѣпи, не знаю, на востокъ, не знаю, на западъ. Никто ко мнѣ не приходилъ, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричатъ, и блохъ довольно. Бысть же я въ третій день проалченъ, сирѣчь ѣсть захотѣлъ, и послѣ вечерни-ста предо мною не вѣмъ ангелъ, не вѣмъ человѣкъ—и по се время не знаю—токмо въ потемкахъ молитву сотворилъ и, взявъ меня за плечо, съ цѣпію къ лавкѣ привелъ и посадилъ и ложку въ руки далъ, хлѣбца немножко и штецъ далъ похлебать, зѣло превкусны хороши, и рекъ мнѣ: «полно, довлѣетъ ти ко укрѣпленію». Да и не стало его, двери не отворились и его не стало, дивно только человѣкъ, а что же ангелъ? ино нечему дивиться, вездѣ ему не загорожено».

У г. Мережковскаго:

Я три дня лежалъ безъ пищи,—наступилъ четвертый день...
Былъ то сонъ или видѣнье,—я не вѣдаю... Сквозь тѣнь—
Вижу двери отворились и волною хлынулъ свѣтъ,
Кто то чудный мнѣ явился, въ ризы бѣлыя одѣтъ.
Онъ принесъ коврижку хлѣба, онъ мнѣ далъ немного щецъ:
„На, Петровичъ, ѣшь родимый!“ и любовно, какъ отецъ,
Смотритъ въ очи, тихо пальцы онъ кладетъ мнѣ на чело,
И руки прикосновенье братски—нѣжно и тепло.
И счастливый, и дрожащій, я припалъ къ его ногамъ,
И края святой одежды прижималъ къ моимъ устамъ.
И шепталъ я, какъ безумный: „дай мнѣ муки претерпѣть,
Свѣтъ-Христосъ, родной, желанный,—за тебя бы умереть!“

Сравните эти два отрывка. Во-первыхъ, у г. Мережковскаго пропущена одна черта, въ высшей степени для Аввакума характерная,—скорбь о томъ, что, сидя въ темнотѣ, онъ не зналъ, на востокъ или на западъ онъ молился. Это, пожалуй можетъ быть объяснено тѣмъ, что г. Мережковскій вообще по своему передѣлалъ историческаго Аввакума: вытравилъ изъ него фанатизмъ обрядности и его, даже на кострѣ увѣщевавшаго народъ, что спасеніе въ двуперстномъ, раскольничьемъ крестномъ знаменіи, сдѣлалъ проповѣдникомъ чистой любви. Можно, конечно, возражать противъ такого обращенія съ исторіей, но намъ теперь до этого дѣла

нѣтъ. Г. Мережковскій хотѣлъ идеализировать Аввакума и выдержалъ свое намѣреніе. Но онъ хотѣлъ также полностью и точно передать приведенный эпизодъ въ тюрьмѣ, и не справился съ простотою и наивностью подлинника, въ значительной степени отвлекаемый отъ своей цѣли теченіемъ красивыхъ звуковыхъ сочетаній. Аввакумъ говоритъ, что онъ не знаетъ, кто приходилъ къ нему—человѣкъ или ангелъ, а г. Мережковскій подставилъ вмѣсто этого туманное противоположеніе — «сонъ или видѣнье». Согласно этому, Аввакумъ ни единаго слова не говоритъ о наружности посѣтителя, а г. Мережковскій называетъ его «чуднымъ» и «въ ризы бѣлыя одѣтымъ». Въ наивномъ и простомъ разсказѣ Аввакума вполнѣ умѣстны и «хлѣбца немножко» и щи «зѣло превкусны хороши». Г.-же Мережковскій, устранивъ существовавшую въ изложеніи Аввакума возможность простого, человѣческаго посѣщенія, вполнѣ реальнаго, и придавъ всему эпизоду мудреный колоритъ, не рѣшился похвалить щи. И совершенно понятно. Уже и теперь въ идеализированномъ и поэтизированномъ, вообще приподнятомъ пересказѣ г. Мережковскаго слова: «онъ мнѣ далъ немного щецъ»—нѣсколько коробятъ несоотвѣтствіемъ своей наивной простоты и житейской реальности съ общимъ тономъ пересказа; такъ что по неволѣ приходитъ въ голову, что «немножко щецъ» сохранилось лишь для риѳмы—«любовно, какъ отецъ». А можетъ быть наоборотъ «отецъ» явился, чтобы поддержать «немного щецъ», ибо далѣе поэтъ уже совершенно путается въ изображеніи ощущеній Аввакума: посѣтитель смотритъ «любовно, какъ *отецъ*», а прикосновеніе его руки «*братски*-нѣжно». Аввакумъ заканчиваетъ наивнымъ раздумьемъ, что можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ его посѣщалъ ангелъ, которому «вездѣ не загорожено», а можетъ быть и человѣкъ. Г. Мережковскій придѣлываетъ совершенно другой конецъ и силится сохранить характеръ подлинника только искусственно простыми словами: «родной, желанный». И всѣ эти отклоненія отъ подлинника сдѣланы г. Мережковскимъ совсѣмъ невольно,—они не имѣютъ никакого отношенія къ тому основному отклоненію отъ исторической истины, которое поэтъ допустилъ вполнѣ сознательно и добровольно...

Изъ всего, до сихъ поръ сказаннаго, явствуетъ, я думаю, по крайней мѣрѣ одно: обиліе стихотворцевъ не есть поводъ праздновать имянины сердца. Можетъ быть даже эта метроманія есть, наоборотъ, очень печальный симптомъ ослабленія дѣятельности сознанія. Конечно, все относительно. Въ другой, болѣе богатой литературѣ нашъ нынѣшній урожай на стихотворцевъ можетъ показаться очень бѣднымъ или, по крайней мѣрѣ, уравновѣшаннымъ усиленною умственною дѣятельностью въ другихъ направленіяхъ и формахъ. Иное дѣло у насъ. Нельзя однако, придти къ какимъ-нибудь опредѣленнымъ на этотъ счетъ заключеніямъ только на основаніи расцвѣта стихотворной формы. Самъ по себѣ, расцвѣтъ этотъ свидѣтельствуетъ только о нѣкоторомъ обуявшемъ насъ пристрастіи къ ласкающимъ ухо созвучіямъ и пѣвучести рѣчи. Но вѣдь у поэзіи, какъ и у всего на свѣтѣ, кромѣ формы, есть еще и содержаніе. И, можетъ быть, нѣжа наши слуховые нервы музыкой «звуковъ сладкихъ», поэты даютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и еще что нибудь, болѣе высокое, болѣе цѣнное, болѣе достойное такого значительнаго орудія, какимъ всегда была и будетъ литература. Правда, тѣ образчики современной поэзіи, которые мы видѣли выше, не особенно въ этомъ смыслѣ утѣшительны. Но, какъ уже сказано, свѣтъ на нихъ не клиномъ сошелся; я приводилъ эти образцы съ опредѣленною цѣлью, выбиралъ именно такія пьесы, въ которыхъ какъ въ фараоновомъ снѣ, тощія коровы формы пожираютъ тучныхъ коровъ содержанія. Въ видахъ полнаго безпристрастія, хорошо было бы выслушать мнѣнія самихъ стихотворцевъ о поэзіи и ея задачахъ. Къ счастію, нѣкоторые изъ нихъ выражаютъ эти свои мнѣнія не только въ формѣ profession de foi своихъ «музъ», «демоновъ», «пѣвцовъ», формѣ, всегда нѣсколько туманной, аллегорической и часто шаблонной, а и на болѣе понятномъ намъ, «сынамъ персти», языкѣ прозы. Къ этимъ-то сужденіямъ самихъ стихотворцевъ мы теперь и обратимся.

Въ маленькомъ прозаическомъ наслѣдіи Надсона,—книжкѣ, озаглавленной «Литературные очерки», есть двѣ теоретическія статьи, касающіяся поэзіи. Одна изъ нихъ—«Поэты и критика»—была напечатана въ «Еженедѣльномъ Обозрѣніи», другая—«Замѣтка по теоріи поэзіи»—была найдена въ бумагахъ поэта уже послѣ его смерти. Обѣ статейки не отличаются особенной доказательностью, но характерны для Надсона, какъ поэта.

Въ «Замѣткахъ по теоріи поэзіи» Надсонъ ставитъ такое общее положеніе: «Область поэзіи—область чувства. Основной естественный законъ ея состоитъ въ томъ, что она должна выражать и будить въ человѣкѣ свойственныя его натурѣ чувства». Этотъ туманный и двусмысленный тезисъ Надсонъ обосновываетъ и развиваетъ довольно плохо, да для насъ здѣсь и не въ

немъ совсѣмъ дѣло, а въ слѣдующихъ строкахъ умершаго поэта:

«Теорія искусства для искусства говоритъ, что поэзія сама въ себѣ заключаетъ свою цѣль и не должна стремиться быть утилитарной. Сторонники этого направленія—группа такъ называемыхъ «парнасцевъ» у французовъ и наши парнасцы, Фетъ, Майковъ, Полонскій,—служатъ, главнымъ образомъ, чувству красоты. Вся такъ называемая антологія держится на этомъ чувствѣ. Чувство красоты есть несомнѣнно элементъ поэтическій, и съ этой точки зрѣнія группа права. Степень дарованія ея представителей, степень творческой силы и производительности ихъ обусловливаетъ и степень поэтической цѣнности ихъ произведеній. Извѣстное стихотвореніе Майкова «Долго ночью вчера я уснуть не могла», не менѣе извѣстная пьеса Полонскаго «Пришли и стали тѣни ночи» и даже осмѣянная нѣкогда Фетовская пьеса «Шопотъ, робкое дыханье»—произведенія несомнѣнно поэтическія, и по цѣнности своей занимаютъ не послѣднее мѣсто среди произведеній русскихъ поэтовъ. Но не менѣе поэтическая вещь и Некрасовская «Саша» или его же «Рыцарь на часъ». Разница между произведеніями поэтовъ первой группы и произведеніями Некрасова только та, что Некрасовъ шире взглянулъ на поэзію, что онъ не ограничилъ ее рамками чувства красоты».

Статья оканчивается словами: «Итакъ, поэты, проповѣдующіе искусство для искусства, напрасно думаютъ, что школа ихъ противоположна другой, тенденціозной школѣ; она является просто одною изъ ея составныхъ частей, служа только чувству красоты, тогда какъ вторая служитъ и чувствамъ справедливости, добра и истины. Нетрудно видѣть, которой изъ этихъ двухъ группъ принадлежитъ будущность. Тенденціозность есть послѣднее мирное завоеваніе, сдѣланное искусствомъ, есть пока послѣднее его слово. А искусство, сдѣлавъ такой шагъ, не отступаетъ назадъ, если только оно не противорѣчитъ его естественному закону. Очевидно, что недалеко время, когда поэзія тенденціозная поглотитъ поэзію чистую, какъ цѣлое свою часть, какъ океанъ поглощаетъ разбившуюся объ утесъ свою же волну».

Ту же мысль Надсонъ развиваетъ и въ статьѣ «Поэты и критика». «Наивная и страстная душа»—Надсонъ думалъ своимъ разсужденіемъ всѣхъ успокоить, всѣхъ усадить по мѣстамъ, такъ чтобы никому въ обиду не было и всѣ чувствовали себя равными, какъ братья, но разнствующими по заслугамъ и силамъ. Зачѣмъ смѣяться надъ «парнасцами»,—размышляетъ онъ, забывая впрочемъ, что теперь надъ ними ужъ не смѣются,—они тоже поэты, только маленькіе, узенькіе, хотя могутъ обладать даже очень большими талантами. «Парнасцы» едва ли, однако могли, благосклонно согласиться на отводимыя имъ молодымъ собратомъ по лирѣ вторыя роли. Да и не то, что настоящіе «парнасцы»—гг. Фетъ, Полонскій, Майковъ, пронесшіе свой культъ красоты въ непоколебленномъ видѣ сквозь всякія смутныя и соблазнительныя времена,—поэты гораздо болѣе молодые, хотя и постарше всетаки Надсона, отнюдь не раздѣляютъ мнѣнія безвременно погибшаго юноши.

Статья «Поэты и критика» была напечатана въ 1884 г. Въ томъ же году, совершенно отъ нея независимо и даже безъ всякаго о ней упоминанія, на страницахъ кіевской газеты «Заря» возгорѣлась любопытная полемика по вопросу о задачахъ и цѣнности поэзіи. Дѣло шло не о стихотворствѣ только, а о поэзіи въ широкомъ смыслѣ слова. Открылъ кампанію г. Бѣлинскій (Ясинскій). Открылъ онъ ее, повидимому, совершенно случайно, «не предвидя отъ сего никакихъ послѣдствій». Онъ просто написалъ замѣтку по поводу напечатаннаго въ «Ребусѣ» отрывка изъ «Исповѣди» гр. Л. Толстого. Вотъ тѣ мѣста этой замѣтки, которыя нужны для нашей цѣли:

«Была полоса въ жизни нашей молодой интеллигенціи, когда искусство отрицалось, красоту считали пустякомъ, и отвѣтовъ на «проклятые вопросы» искали въ курсахъ политической экономіи. И я стоялъ въ этой полосѣ. Мнѣ казалось, что время будетъ безвозвратно потеряно, если я возьму романъ и прочитаю его. Я почти не зналъ Тургенева, не зналъ Гончарова, не зналъ Льва Толстого, не говоря уже о заграничныхъ романистахъ и поэтахъ. Но я зналъ, то есть читалъ Милля, Бокля, Спенсера, Дарвина, Маркса и множество другихъ умныхъ книжекъ. Долженъ сказать, что жизнь мнѣ казалась ужасно скучной. Это потому, что я самъ скучалъ, задыхаясь въ пыльной атмосферѣ кабинетной учености. И не я одинъ. У меня былъ товарищъ, который былъ еще болѣе ревностнымъ отрицателемъ, чѣмъ я. Онъ ничего не признавалъ, кромѣ физіологіи. Но какъ разъ наканунѣ экзамена онъ увлекся. «Похожденіями Рокамболя» и торжественно провалился, получивъ изъ физіологіи двойку! Слава Богу, мнѣ тоже не удалась карьера ученаго—благодаря Льву Толстому. Я до сихъ поръ не могу забыть ошеломляющаго впечатлѣнія, которое произвела на меня «Анна Каренина». Точно волшебная панорама, развернулась передо мною жизнь цѣлаго общественнаго слоя, трепещущая избыткомъ крови, мяса, залитая яркимъ свѣтомъ, полная изумительныхъ художественныхъ подробностей, жизнь, передъ которою всѣ курсы политической экономіи, физіологіи, психологіи не стоятъ, по моему, выѣденнаго яйца. Вотъ гдѣ истинная наука, подумалъ я, проникнутый благоговѣніемъ къ имени художника... Цѣль искусства, которому Толстой съ такимъ талантомъ служитъ, заключается вовсе не въ томъ, чтобы

учить, а въ томъ, чтобы сдѣлать людей счастливѣе, доставляя имъ одно изъ самыхъ высокихъ наслажденій. Вѣдь въ концѣ концовъ все стремится къ тому, чтобы сдѣлать людей счастливѣе—всѣ науки, всѣ человѣческія дѣятельности; поэзія достигаетъ только этой цѣли скорѣе и прямѣе всего. Никто не отправляется на выставку картинъ, чтобы изучить анатомію тѣла, архитектуру, оптику. Всякій хочетъ только насладиться, получить извѣстныя пріятныя впечатлѣнія и стать отъ этого счастливѣе на всю жизнь, потому что и воспоминаніе о пережитыхъ счастливыхъ моментахъ есть счастіе. Точно также мы бросаемъ романъ, если авторъ начинаетъ поучать насъ психологіи, соціологіи, политической экономіи, а не изображаетъ намъ жизнь въ художественныхъ образахъ; мы читаемъ романъ, потому что хотимъ сдѣлаться счастливѣе, а не образованнѣе. Конечно, образованіе можетъ доставить счастіе, но только впослѣдствіи, не непосредственно, какъ это дѣлаетъ поэзія. Отсюда первенствующая роль поэзіи во всякаго рода человѣческихъ дѣятельностяхъ, и отсюда уваженіе, которымъ пользуются поэты. Сознаніе, что приносишь извѣстную долю счастія всѣмъ, есть величайшая награда поэту» («Заря», 1884 г., № 163).

На замѣтку г. Ясинскаго полемически откликнулся нѣкто г. Обыватель, возраженія котораго мы оставимъ въ сторонѣ, какъ не интересныя для насъ, а общій ихъ характеръ будетъ видѣнъ изъ отвѣта г. Ясинскаго. Затѣмъ г. Обыватель вновь возражалъ, къ нему присоединился г. Супинъ, г. Ясинскій вновь отвѣчалъ, и я теперь приведу выдержки изъ этихъ двухъ отвѣтовъ г. Ясинскаго, тщательно сохраняя всѣ его курсивы.

„Если я говорю, что *исключительное* погруженіе въ Спенсеровъ, Дарвиновъ, Боклей, Миллей и Марксовъ, *сопровождаемое отрицаніемъ* Тургеневыхъ, Гончаровыхъ и Толстыхъ, разрѣшалось *для меня* скукой, то едва-ли это значитъ, что даже съ моей точки зрѣнія Бокль, Милль, Марксъ, Спенсеръ и Дарвинъ олицетвореніе скуки. Впослѣдствіи, когда періодъ колебаній и сомнѣній прошелъ, и я перестать стоять на распутьи, Бокль, Милль, Марксъ, Спенсеръ и Дарвинъ стали, между прочимъ, опять предметами моего тщательнаго изученія. Но лично для меня это изученіе получило другой смыслъ: для того, чтобы читать, надо знать азбуку, а для того, чтобы писать повѣсти, надо знать «умныя книжки». Правда, что никогда Гончарова, Толстого, Тургенева, Флобера, Шекспира и Гёте я не поставлю наравнѣ со Спенсерами и Миллями. Поэты выше, по моему мнѣнію... Разсказывая о впечатлѣніи, произведенномъ когда-то на меня «Анной Карениной», я провелъ параллель между тогдашней односторонней наукой моей, въ которой я видѣлъ альфу и омегу всего, и этимъ романомъ. Разумѣется, я имѣлъ право сказать о той наукѣ моей, что всѣ курсы политической экономіи, физіологіи и психологіи не стоятъ выѣденнаго яйца, а что вотъ гдѣ *наука*—въ романѣ... Романъ, который унижается до *популяризаціи* научныхъ и политическихъ тенденцій, перестаетъ быть художественнымъ произведеніемъ и становится учебнымъ пособіемъ. Романъ долженъ быть выше ходячихъ научныхъ и общественныхъ мнѣній. Романъ, это—философія въ образахъ. Романъ учитъ чувствовать... Поэтическое наслажденіе получается отъ весьма разнообразныхъ душевныхъ волненій, которыя возбуждаются въ насъ чтеніемъ поэтическихъ произведеній. Наслажденіе въ данномъ случаѣ заключается въ гармонической смѣнѣ впечатлѣній. Если нѣтъ гармоніи въ этой смѣнѣ, то мы говоримъ, что въ произведеніи отсутствуетъ поэтическая правда и оно или слащаво, или черезчуръ сухо. Человѣкъ и затѣмъ природа — вотъ вѣчная тема поэтическихъ произведеній. Все, что красиво, вызываетъ въ нашей душѣ рядъ сочувственныхъ волненій (эмоцій); все, что безобразно, оттѣняетъ собою прекрасное, какъ черная рамка оттѣняетъ свѣтлый пейзажъ... Мнѣ, разумѣется, странно было-бы ставить на одну доску поэтическую дѣятельность съ дѣятельностью сапожника, хотя я и не отрицаю, что сапожникъ необходимѣе Шекспира... Сапоги важнѣе Шекспира, но Шекспиръ выше сапоговъ. Но кромѣ того онъ, по моему мнѣнію (по мнѣнію беллетриста), выше не только сапогъ, но и науки. Шекспиръ, то есть поэзія, есть высшее выраженіе силы человѣческаго духа, это чарующій синтезъ ума и чувства. Надѣюсь, что только спеціалисты не согласятся со мной". (№ 179).

„Единственная „наука", которая можетъ сдѣлать насъ человѣчнѣе,—это сама жизнь, а затѣмъ романъ. Этика учитъ *какая* бываетъ нравственность, а не о *томъ*, что надо дѣлать, и читая любое сочиненіе по нравственности, мы остаемся холодны, между тѣмъ, какъ уже двѣ—три страницы романа могутъ довести насъ до состоянія высшаго нравственнаго возбужденія" (№ 185).

Вдумываясь въ это нагроможденіе словъ и фразъ, вы поражаетесь запутанностью доказательствъ г. Ясинскаго, особенно по сравненію съ простотою и даже избитостью того, что онъ хочетъ доказать. Въ самомъ дѣлѣ, въ прямую и рѣзкую противоположность Надсону, г. Ясинскій думаетъ, что поэзія, искуство вообще—должно давать лишь эстетическое наслажденіе, служить лишь красотѣ, и что, прибавляя къ этой своей цѣли служеніе истинѣ и справедливости, оно какъ бы сходитъ съ рельсовъ, предназначенныхъ ему природой. Тезисъ этотъ до такой степени избитъ, что съ нимъ не охота и возиться. Онъ высказывался и доказывался тысячи разъ и, надо отдать справедливость г. Ясинскому, его аргументація принадлежитъ къ числу самыхъ плохихъ. Въ значительной степени это зависитъ, кажется отъ неискренности, фальшивости тона, избраннаго почему-то г. Ясинскимъ. Его первая статья, изъ-за которой сыръ-боръ загорѣлся, начинается автобіографической подробностью: онъ презиралъ искуство, уважалъ науку, а прочитавъ «Анну Каренину» понялъ, что искусство выше науки и что оно, само въ себѣ нося свою цѣль, не должно служить ничему постороннему. Подобныя автобіографическія экскурсіи ничему, разумѣется, не мѣшаютъ и даже многому помогаютъ въ качествѣ живой иллюстраціи, но для этого онѣ должны быть вполнѣ искренни и серьезны. А съ этой послѣдней стороны даже мало

внимательный читатель поражается неправдоподобіемъ или же никчемностью разсказа г. Ясинскаго объ его товарищѣ физіологѣ. Можетъ быть съ самимъ г. Ясинскимъ оно все такъ и было, какъ онъ разсказываетъ, но этого-то ужъ быть не можетъ, чтобы человѣкъ занимался со страстью физіологіей, а прочитавъ наканунѣ экзамена «Похожденія Рокамболя», провалился изъ любимаго предмета. Если же этакое и дѣйствительно случилось, такъ это показываетъ только, что товарищъ г. Ясинскаго, какъ говорится, читалъ книгу да видѣлъ въ ней фигу, и что вообще существують на свѣтѣ неосновательные люди. Какую же цѣну имѣетъ живая иллюстрація этого общеизвѣстнаго положенія? А между тѣмъ невѣроятность или пустячность этого анекдота набрасываетъ тѣнь неискренности или несерьезности и на сообщаемыя г. Ясинскимъ автобіографическія черты. И дѣйствительно. Я помню, что во время послѣдней турецкой войны г. Ясинскій писалъ чрезвычайно патріотическія стихотворенія, кажется, въ «Будильникѣ», а, можетъ быть, и въ другихъ мѣстахъ. Я читалъ ихъ на спичечныхъ коробкахъ, фабриканты которыхъ обыкновенно добросовѣстно указываютъ, откуда именно они заимствуютъ стихотворныя украшенія для своихъ издѣлій, но теперь хорошенько не помню,—можетъ въ «Будильникѣ», можетъ въ «Развлеченіи». Около того же времени была напечатана и «Анна Каренина». Спрашивается, когда же г. Ясинскій писалъ свои патріотическія стихотворенія: до прочтенія «Анны Карениной» или послѣ прочтенія? До прочтенія онъ не могъ ихъ писать, потому что вѣдь онъ тогда былъ весь нреданъ наукѣ и презиралъ поэзію; послѣ прочтенія тоже не могъ, потому что онъ тогда не только сжегъ все, чему поклонялся, и поклонился всему, что сжигалъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ позналъ, что поэзія не должна «унижаться до популяризаціи политическихъ тенденцій». А между тѣмъ патріотическія стихотворенія г. Ясинскаго несомнѣнно существуютъ,—это могутъ засвидѣтельствовать не только многіе читатели, а и многіе потребители спичекъ... Очевидно, не такъ было дѣло, какъ разсказываетъ г. Ясинскій.

Я потому останавливаюсь на этой мелочи, что она указываетъ на неискренность г. Ясинскаго, пагубно отразившуюся и на его полемикѣ изъ-за прекрасныхъ глазъ Эрато и Калліопы. Вмѣсто того, чтобы твердо стоять на своихъ мнѣніяхъ или напротивъ того прямо признать справедливость нѣкоторыхъ доводовъ своего оппонента, г. Обывателя, г. Ясинскій началъ, извините меня, вилять, при помощи курсивовъ и добавочныхъ словечекъ, очень маленькихъ, но совершенно измѣняющихъ смыслъ первоначальнаго текста. Приступая въ своей первой статьѣ къ весьма сложнымъ узламъ съ храбростью и развязностью Александра Македонскаго, онъ въ отвѣтѣ своемъ г. Обывателю значительно сбавляетъ тонъ: «я говорю, что *исключительное* погруженіе въ Спенсеровъ, Дарвиновъ, Боклей, Миллей и Марксовъ, *сопровождаемое отрицаніемъ* Тургеневыхъ, Гончаровыхъ и Толстыхъ, разрѣшилось *для меня* скукой»; «я имѣлъ право сказать о той наукѣ моей, что всѣ курсы политической экономіи, физіологіи и психологіи не стоятъ выѣденнаго яйца».—Это вѣдь совсѣмъ другое дѣло. Еще бы гимназистъ, только что кончившій курсъ и впервые прочитавшій «Фауста» или «Войну и миръ», сталъ торжественно заявлять, что всѣ, доселѣ пройденные *имъ* курсы въ сравненіи съ *этими* произведеніями искусства не стоятъ выѣденнаго яйца! Объ этомъ даже и разговаривать смѣшно и во всякомъ случаѣ не нужно, потому что кто же станетъ спорить съ этимъ отважнымъ гимназистомъ? Перенесеніе вопроса на эту зыбкую почву представляется въ полемикѣ г. Ясинскаго тѣмъ болѣе страннымъ, что вѣдь онъ, повидимому, стоитъ на своемъ: «никогда — говоритъ онъ—Гончарова, Толстого, Тургенева, Флобера, Шекспира и Гёте я не поставлю наравнѣ со Спенсерами и Миллями; поэты выше, по моему мнѣнію; Шекспиръ выше сапоговъ, но кромѣ того онъ, по моему мнѣнію, выше не только сапоговъ, но и науки; Шекспиръ, то есть поэзія, есть высшее выраженіе силы человѣческаго духа, это чарующій синтезъ ума и чувства».

Старинная параллель между Шекспиромъ и сапогами, при всей своей нелѣпости, имѣла нѣкоторый смыслъ, какъ аллегорія, какъ аллегорическое выраженіе извѣстнаго житейскаго момента. Я не знаю происхожденія этой параллели, но въ тѣ времена, когда у насъ изъ-за нея ломались копья, существовали отчасти иллюзіи на счетъ практической дѣятельности, отчасти дѣйствительный запросъ на нее въ небываломъ дотолѣ размѣрѣ. Г. Ясинскій считаетъ нужнымъ теперь не только стряхнуть съ этой параллели архивную пыль, но еще поднять ее до размѣровъ противоположенія науки и искусства. Что это значитъ? Скопили ли мы такія научныя сокровища, что пора, наконецъ, подумать объ отозваніи силъ отъ этой сферы дѣятельности къ поэтическому творчеству? Или вообще мы страдаемъ такимъ embarras de richesses, что необходимо разсудить, какая изъ сферъ умственной дѣятельности выше, такъ чтобы только этой самой высшей сферѣ и предаться? «Слава Богу, мнѣ тоже не удалась карьера ученаго!»—восклицаетъ

г. Ясинскій. Развѣ ужъ такъ несомнѣнно и непререкаемо высоки его художественныя произведенія? Если бы это говорилъ Шекспиръ, такъ мы могли бы присоединиться къ столь гордому «слава Богу», хотя и то—какъ сказать? геніальный умъ Шекспира совершилъ бы, вѣроятно, и въ наукѣ нѣчто незаурядное. Но г. Ясинскій...

Первая статья г. Ясинскаго мотивирована «Исповѣдью» гр. Л. Толстого. Г. Ясинскому кажется, что «Анна Каренина», произведшая въ немъ такой переворотъ, есть произведеніе чистаго искусства. Это мнѣніе по истинѣ ни съ чѣмъ не сообразно. Л. Толстой никогда не былъ чистымъ художникомъ, онъ, наоборотъ, всегда, по выраженію г. Ясинскаго, «унижалъ романъ до популяризаціи» если не «научныхъ», то политическихъ и моральныхъ тенденцій. «Анна Каренина» никакого исключенія въ этомъ отношеніи не составляетъ, — она насквозь пронизана тенденціей, которой могутъ въ той или другой мѣрѣ сочувствовать одни и не сочувствовать другіе, но для отрицанія наличности ея надо одно изъ двухъ: либо хотѣть сказать неправду, либо совершенно не понимать того, объ чемъ говоришь. Я не знаю, что именно надо выбрать для разъясненія даннаго случая, но знаю, что въ размышленіяхъ г. Ясинскаго царитъ весьма большой сумбуръ.

Г. Ясинскій сообщаетъ, что по прочтеніи «Анны Карениной» передъ нимъ развернулась «жизнь, передъ которой всѣ курсы и т. д. не стоятъ выѣденнаго яйца». Жизнь вобще такая большая и значительная вещь, что передъ ней, пожалуй, дѣйствительно, не стоятъ выѣденнаго яйца всѣ «курсы», но точно такъ же и всѣ романы.—«Вотъ гдѣ истинная наука», подумалъ г. Ясинскій о романѣ Толстого. Но вѣдь поэзія выше науки, такъ зачѣмъ же въ видѣ похвалы поэтическому произведенію находить въ немъ «истинную науку»? Не станете же вы, хваля высокій ростъ великана, говорить: вотъ истинный карликъ!—«Романъ—это философія въ образахъ, романъ учитъ чувствовать». «Это чарующій синтезъ ума и чувства».—Вотъ вы тутъ и разбирайтесь...

Аргументація г. Ясинскаго такъ запутана и вообще слаба, что ею не могли удовлетвориться даже его сторонники, вслѣдствіе чего въ споръ вмѣшался, въ той же «Зарѣ», еще одинъ поэтъ—г. Минскій. Вотъ что онъ писалъ:

«Въ тяжелую годину умственнаго гнета, когда на всѣхъ путяхъ серьезной мысли и искренняго чувства стояли надписи: „посторонимъ ходить воспрещается“,—прекрасное, изящное, отрѣшенное отъ жизни и ея мукъ являлось единственнымъ исходомъ для наболѣвшей, жаждавшей простора души. Люди поневолѣ создали теорію искусства, подходящую къ условіямъ тогдашней жизни, поэзія стала антитезомъ дѣйствительности. Владѣльцы крѣпостныхъ рабовъ искренно плакали, говоря объ идеалахъ или любуясь переливами заката. Что дѣлать! Люди вѣчно ищутъ исхода и примиренія, и „сладкіе звуки и молитвы», даже отрѣшенные отъ жизни, все же лучше, нежели гробовое молчаніе. Но что казалось свѣточемъ во мракѣ ночи, то при свѣтѣ дня явилось блѣднымъ пятномъ, и люди слѣдующаго поколѣнія, рожденные въ болѣе счастливые дни, издѣвались надъ святыней отцовъ и справедливо негодовали, когда тѣ пытались отстаивать свои сонныя эстетическія мечтанія на счетъ новой, повсюду забившей шумной жизни. Съ тѣхъ поръ и донынѣ эстетика стала у насъ синонимомъ отчужденности отъ жизни, барской лѣни, бездушія или по крайней мѣрѣ равнодушія къ общественнымъ интересамъ и самолюбиваго исканія личнаго счастья насчетъ страданій всѣхъ. Была впопыхахъ создана новая теорія искусства, русская муза стала въ дѣйствительности служанкой у торжествующей публицистики. Я охотно вѣрю, что смѣлая защита М. Бѣлинскимъ самостоятельности поэзіи, его утвержденіе, что эстетическое удовольствіе есть единственная цѣль искусства, встревожили гг. Обывателя и Супина (оппоненты г. Ясинскаго въ „Зарѣ“), какъ возвратъ къ старымъ теоріямъ въ устахъ молодого писателя, какъ печальный симптомъ времени, и они поспѣшили ополчиться во славу науки и общаго блага. Но право ничему этому не грозитъ ни малѣйшей опасности, даже и тогда, когда эстетическое наслажденіе будетъ всѣми признано, какъ одно изъ величайшихъ и полезнѣйшихъ, можетъ быть, самое полезное изъ всѣхъ земныхъ благъ. Ибо эстетическое наслажденіе вовсе не то самолюбивое и мелкое чувство, которое такъ побѣдоносно громилъ Писаревъ въ своихъ нѣкогда огненныхъ, теперь водянистыхъ статьяхъ, а наоборотъ, такое всеобъемлющее и необходимое, что безъ него и природа, и душа человѣческая превратятся въ голую пустыню, которой не оживить никакой наукѣ, а тѣмъ болѣе публицистикѣ. Требовать отъ поэзіи чего-либо, кромѣ эстетическаго наслажденія, это все равно, что требовать отъ глаза, чтобы онъ не только глядѣлъ, но и слышалъ или обонялъ... Наука раскрываетъ законы природы, искусство творитъ новую природу. Творчество существуетъ только въ искусствѣ, и только одно творчество доставляетъ эстетическое наслажденіе. Величайшіе геніи науки, какъ Ньютонъ, Кеплеръ и Дарвинъ, объяснившіе намъ законы, по которымъ движутся міры и развивается жизнь, сами не создали ни одной пылинки. Между тѣмъ Рафаэль и Шекспиръ, не открывъ ни одного точнаго закона природы, создали каждый по новому человѣчеству... Законъ тяготѣнія существовалъ до Ньютона и будетъ существовать, когда исчезнетъ человѣчество, но ни одинъ образъ искусства не существовалъ наканунѣ своего созданія; онъ родился съ художникомъ, живетъ въ людяхъ и вмѣстѣ съ людьми умретъ. Оттого-то образы искусства намъ дороже, нежели истины науки... Міросозерцаніе для ученаго является послѣднею цѣлью, вершиной всѣхъ его трудовъ... Ученый, ставшій философомъ и съ вершины точнаго знанія обозрѣвающій весь міръ однимъ взоромъ,—признаться, это одинъ изъ самыхъ возвышенныхъ образовъ, какіе когда-либо снились людямъ. Но вершина знанія, подобно вершинамъ высокихъ горъ, покрыта вѣчнымъ снѣгомъ; на ней нѣтъ воздуха; оттуда не видно ни добра, ни зла, ни страданій, ни

радостей, ни надеждъ, ни грезъ... Кто можетъ себѣ вообразить созерцающаго ученаго, который бы негодовалъ о людской неправдѣ? Развѣ неправда не совершается по тѣмъ же законамъ, какъ и правда? Для художника же міросозерцаніе есть не цѣль, но исходная точка, первый толчокъ для дѣятельности. Ему міръ *кажется* добрымъ или злымъ, свѣтлымъ или мрачнымъ, не путемъ разсужденій онъ дошелъ до этого вывода; онъ просто *видитъ* міръ такимъ или другимъ. Одаренный особою впечатлительностью, онъ страстно жаждетъ, чтобы и другіе видѣли міръ такимъ же, какъ и онъ, и для этой цѣли онъ изъ массы толкущихся передъ нимъ образовъ выбираетъ извѣстные, группируетъ ихъ и освѣщаетъ такъ, чтобы въ общемъ они воплотили живущее въ его душѣ представленіе о мірѣ... Если цѣль художника достигнута, если въ своемъ произведеніи онъ отразилъ міръ вполнѣ такимъ, какимъ онъ ему казался, то подобное произведеніе мы называемъ правдивымъ. Единственный критерій художественной дѣятельности — искренность художника, и только. Конечно, при одинаковой искренности одинъ художникъ можетъ захватить бо́льшій кругъ явленій, другой — меньшій, одинъ можетъ видѣть ихъ глубже, другой — поверхностнѣе... Радость бытія—вотъ чѣмъ разъясняется тайна эстетическаго наслажденія... Всякій критикъ или публицистъ есть въ сущности, по выраженію В. Г. Бѣлинскаго, недоношенный художникъ, и когда публицистика, питающаяся крохами со стола поэзіи, рѣшается предписывать поэзіи законы и даже требовать, чтобы поэты творили свои произведенія по ея образу и подобію, то по истинѣ приходится сказать, что яица курицу учатъ. Но бываютъ въ исторіи эпохи, когда вѣчное и чистое уступаетъ на время мѣсто временному и суетному. Такую эпоху мы пережили въ послѣднія тридцать лѣтъ. Вѣчныя цѣли поэзіи были забыты, и сами поэты думали, что они принесутъ болѣе пользы своей родинѣ, если, вмѣсто того, чтобы свободно творить, станутъ поучать и резонировать» (№ 193).

Г. Минскій, какъ видите, тоже не хочетъ довольствоваться прямымъ положеніемъ своего поэтическаго profession de foi, то есть заявленіемъ, что искусство не должно служить никакимъ стороннимъ цѣлямъ, ибо единственную свою законную цѣль носитъ въ самомъ себѣ, и цѣль эта есть эстетическое наслажденіе. Нѣтъ, подобно г. Ясинскому, г. Минскій зачѣмъ-то мѣряетъ науку съ искусствомъ и отдаетъ натурально предпочтеніе послѣднему, натурально, потому что—vous êtes orfèvre, monsieur Josse! Вотъ только мѣряться-то не слѣдовало. Аргументація г. Минскаго отличается отъ доводовъ г. Ясинскаго, но нельзя всетаки назвать ее очень удачною.

Г. Минскій полагаетъ, что «творчество существуетъ только въ искусствѣ». Гм! Такъ ли это? Г. Минскій утверждаетъ, что Ньютонъ, Кеплеръ, Дарвинъ нечего не создали, а только объяснили законы, по которымъ движутся міры и развивается жизнь, тогда какъ Рафаэль и Шекспиръ «создали каждый по новому человѣчеству». Это больше смѣло, чѣмъ справедливо. Во-первыхъ, строго говоря, Ньютонъ именно создалъ свои законы, потому что хотя міры и прежде двигались по этимъ законамъ, но для человѣка они во всякомъ случаѣ не существовали. Если это иному покажется метафизическою тонкостью, то никто не станетъ отрицать присутствія творчества по крайней мѣрѣ въ философіи, потому что стройная, законченная философская система, обнимающая все сущее и долженствующее быть, именно созидается, творится; она такъ же «не существовала наканунѣ своего созданія», какъ и любой образъ искусства. Съ другой стороны, Рафаэль, конечно, создалъ своихъ Мадоннъ, но этотъ образъ дѣвы-матери, надъ которымъ такъ упорно билась фантазія великаго художника, былъ созданъ задолго до него религіознымъ творчествомъ. А творчество практическое, политическое? Обратитесь хоть къ князю Бисмарку, и онъ, творецъ нѣкоторой политической системы, съ презрѣніемъ отзовется о поэтическомъ творчествѣ, какъ впрочемъ и объ научномъ и философскомъ, и до извѣстной степени онъ будетъ правъ въ своемъ презрѣніи, потому что съумѣлъ подчинить нѣмецкую поэзію, науку и философію велѣніямъ созданной имъ политической системы.

Но довольно о разныхъ противорѣчіяхъ, двусмысленностяхъ, недоумѣніяхъ и недомолвкахъ нашихъ теоретизирующихъ поэтовъ: читатель и самъ можетъ найти все это въ вышеприведенныхъ цитатахъ. Обратимся къ коренному недоумѣнію.

Казалось бы, наши новые поэты высоко несутъ знамя святого, чистаго искусства. Они много «творятъ», то есть много стиховъ пишутъ, а при случаѣ съ такимъ надменнымъ наскокомъ относятся ко всему, что не поэзія, — что и любому «парнасцу» въ пору. А между тѣмъ ни публика, ни критика не зачисляетъ ихъ въ ряды парнасцевъ. Допотопная критика, которая господствуетъ въ «Гражданинѣ», «Новомъ Времени» и тому подобныхъ помѣщеніяхъ, и которая, повидимому, должна бы была апплодировать подвигамъ новыхъ поэтовъ во славу чистаго искусства,—эта допотопная критика постоянно издѣвается надъ ними. Еще недавно «Гражданинъ», по поводу «Вечернихъ огней» г. Фета, восклицалъ: «вы, нынѣшніе, нутка!» Правда, г. Фетъ неустанно служитъ искусству и собственною своею дѣятельностью оправдываетъ свой-же знаменитый стихъ: «плачетъ старый камень, въ прудъ роняя слезы». Правда, г. Фетъ писалъ и въ прозѣ, но больше, въ качествѣ помѣщика, объ томъ, что съ крестьянами и особенно съ ихъ гусями никакого сладу нѣтъ. Но это свидѣтельствуетъ только о томъ, что г. Фетъ не чуждъ и земныхъ инте-

ресовъ, а въ защиту поэзіи онъ никогда не писалъ ничего столь пылкаго, какое мы сейчасъ видѣли. Почему же всетаки «вы, нынѣшніе, нутка?»

Вотъ почему.

Г. Ясинскій полагаетъ, что назначеніе поэзіи состоитъ въ томъ, чтобы счастливить людей счастьемъ непосредственнаго созерцанія красоты. Г. Минскій утверждаетъ, что эстетическое наслажденіе есть «одно изъ величайшихъ и полезнѣйшихъ, можетъ быть самое полезное изо всѣхъ земныхъ благъ». Правда, эта утилитарная почва нѣсколько колеблется подъ ногами обоихъ поэтовъ. Такъ г. Ясинскій, наведенный своимъ оппонентомъ на вопросъ о нравственно безобразномъ въ искусствѣ, отдѣлывается метафорическою фразою: «все, что красиво, вызываетъ въ нашей душѣ рядъ сочувственныхъ волненій, а все, что безобразно, оттѣняетъ собою прекрасное, какъ черная рамка оттѣняетъ свѣтлый пейзажъ». Съ этимъ далеко не уѣдешь. Г. Минскій въ свою очередь утверждаетъ, что тайна эстетическаго наслажденія состоитъ въ «радости бытія», оставляя насъ въ недоумѣніи насчетъ того, куда намъ дѣвать ну хоть Леопарди, настоящаго, даровитаго поэта, воспѣвавшаго скорбь бытія; куда дѣвать тѣ несомнѣнно поэтическія произведенія, которыя изображаютъ порокъ, преступленіе, жестокость, бѣдность, страданіе и разныя другія вещи, не мирящіяся съ «радостью бытія». Все это немножко запутано и недодумано, но маленькія непріятности не должны мѣшать большимъ удовольствіямъ: оба поэта во всякомъ случаѣ стоятъ на утилитарной почвѣ, оба защищаютъ *пользу* поэзіи, такъ что и къ нимъ можетъ быть обращенъ презрительный парнасскій окрикъ: «тебѣ бы пользы все! на вѣсъ кумиръ ты цѣнишь бельведерскій!» Истинные, проникнутые цѣльнымъ убѣжденіемъ жрецы чистаго искусства не говорятъ и не должны говорить о пользѣ. Это опасный, скользкій разговоръ, ибо если брать въ соображеніе пользу, цѣнимую г. Минскимъ, то почему же не удѣлить вниманія и той пользѣ, которую цѣню, ну хоть бы я?

Да, наши поэты стоятъ на скользкомъ пути и натурально постоянно поскальзываются. Возьмемъ г. Ясинскаго. Онъ-ли не размозжилъ всѣ «тенденціи», такъ что отъ нихъ только мокренько осталось? Онъ-ли не создалъ образъ «пѣвца небесъ», который по своей возвышенности даже и не пѣвецъ вовсе? А между тѣмъ у того-же г. Ясинскаго есть пьеска «Пророкъ» въ которомъ «ангелъ гнѣвный, свѣтлоокій» такъ громитъ одного «пѣвца»:

Жрецъ красоты, пророкъ безумный,
Богъ осудилъ тебя!
За то, что ты бѣжалъ отъ жизни
И отъ людей бѣжалъ,
И не далъ жертвъ своей отчизнѣ
И жертвы презиралъ—
До гроба ты блуждай отнынѣ
И разскажи камнямъ,
Что призракъ видѣлъ ты въ пустынѣ,
Летѣвшій къ небесамъ!

Наказаніе пѣвцу положено, конечно, немного странное и даже мало понятное, но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что пѣвецъ, «бѣжавшій отъ жизни» и «не давшій жертвъ своей отчизнѣ»,—подлежитъ наказанію, виноватъ.

Или г. Фофановъ. Къ сборнику своихъ стихотвореній онъ написалъ слѣдующій, очень красивый стихотворный эпиграфъ:

Звѣзды ясныя, звѣзды прекрасныя
Нашептали цвѣтамъ сказки чудныя,
Лепестки улыбнулись атласные,
Задрожали листы изумрудные,
И цвѣты, опьяненные росами,
Разсказали вѣтрамъ сказки нѣжныя—
И распѣли ихъ вѣтры мятежные
Надъ землей, надъ волной, надъ утесами
И земля, подъ весенними ласками
Наряжаяся тканью зеленою,
Переполнила звѣздными сказками
Мою душу безумно влюбленную.
И теперь, въ эти дни многотрудные,
Въ эти темныя ночи ненастныя,
Отдаю я вамъ, звѣзды прекрасныя,
Ваши сказки задумчиво чудныя.

Это очень красивое стихотвореніе и, какъ эпиграфъ, очень многозначительное. Но, «презрѣнной прозой говоря», оно напоминаетъ отвѣтъ одного не очень мудраго человѣка на вопросъ о причинѣ сквозного вѣтра: «сверху-то небо, снизу земля,—ну и продуваетъ». Сверху небо, снизу земля, а въ серединѣ г. Фофановъ пѣсни поетъ, въ качествѣ передаточной инстанціи между звѣздами и цвѣтами, а больше-то ничего и нѣтъ. И однако есть, въ стихахъ самого г. Фофанова есть; есть даже «гражданская скорбь» и «тенденція». Только ужъ очень онѣ робко, стыдливо, какъ-то бочкомъ протискиваются между звѣздами и цвѣтами. Напримѣръ:

Аллеи дремали подъ влажной росою
И на небѣ ночь зажигала огни,
Когда они мирно, влюбленной четою
Гуляли по парку одни.
Бродили, мечтали; а тамъ, за оградой,
На пыльной дорогѣ бѣднякъ умиралъ...
А ночь такъ сіяла, съ такою отрадой
Въ кустахъ соловей защелкалъ...
Кому-же звѣзда улыбалася въ небѣ,
Кому соловей заливался въ кустѣ?
Тому-ли, что гасъ, помышляя о хлѣбѣ,
Иль этой безпечной четѣ?

По замыслу автора, это должно было быть очень трогательно, а на самомъ-то дѣлѣ только очень смѣшно выходитъ. И не одно такое стихотвореніе найдется у г. Фофанова, и всѣ они смѣшны, какъ смѣшна та

маленькая запятая, которую робко и неувѣренно ставитъ гимназистъ приготовительнаго класса, хорошенько не знающій нужна ли тутъ запятая, а такъ, на всякій случай. Запятая не бываетъ маленькая или большая,—ее надо ставить или не ставить. Но именно это-то и не соблюдается большинствомъ нынѣшнихъ поэтовъ, и вотъ почему они оказываются, что называется, ни въ тихъ, ни въ сихъ. Парнасцамъ и допотопной критикѣ они, не смотря на всѣ свои прозаическіе и поэтическіе гимны чистому искусству, угодить не могутъ, потому что не выдерживаютъ своей программы. Ужъ если г. Фетъ воспѣвалъ «шопотъ, робкое дыханье, трели соловья» и проч., такъ здѣсь не было и не могло быть рѣчи о какомъ то «бѣднягѣ», который «умиралъ на пыльной дорогѣ»; этотъ образъ не вторгался въ красивое изображеніе красоты. А г. Фофановъ вотъ его впускаетъ, хоть и бочкомъ, и робко, и необдуманно, именно какъ *маленькую* запятую, которая никакого смысла не имѣетъ, но всетаки впускаетъ. Съ другой стороны и насъ, просто говорящихъ прозой и вмѣстѣ съ тѣмъ покончившихъ съ допотопными критическими взглядами, маленькая запятая удовлетворить не можетъ. Не то что приведенное сейчасъ стихотвореніе г. Фофанова, а и «Пророкъ» г. Ясинскаго не очень-то для насъ соблазнителенъ, потому что мы не увѣрены, что завтра же г. Ясинскій не напишетъ «Пѣвца небесъ», въ которой обругаетъ насъ «чернью скучной и презрѣнной» и велитъ поэтамъ «пѣть и плакать одиноко», чуждаясь «грѣшнаго міра».

Здѣсь меня, пожалуй, перебьютъ, нѣкоторые читатели. Какъ же такъ, скажутъ они,—то была рѣчь о преувеличенномъ, какъ бы выпяченномъ положеніи, которое нынѣ занимаетъ у насъ поэзія, а теперь оказывается, что нынѣшніе поэты никому угодить не могутъ,—явное противорѣчіе!

Не совсѣмъ такъ и даже совсѣмъ не такъ. Собственно только одинъ Надсонъ изъ нынѣшнихъ поэтовъ пользуется дѣйствительно огромнымъ успѣхомъ. За то же онъ и стоитъ совсѣмъ особо, — юная поэтическая Россія не могла бы считать его въ своихъ рядахъ. Во-первыхъ, мы видѣли его поэтическую исповѣдь, изложенную просто, ясно, безъ всякихъ экивоковъ и не имѣющую ничего общаго съ исповѣдями г. Ясинскаго, г. Минскаго. И какъ онъ понималъ задачу поэзіи, такъ и работалъ на дѣлѣ. Эта искренность и послѣдовательность, въ связи съ трагическими обстоятельствами его недолгой жизни, создали ему чрезвычайно опредѣленную и вмѣстѣ съ тѣмъ симпатичную литературную физіономію. Борьба молодой, богатой по задаткамъ жизни съ надвигающейся смертью кладетъ нѣкоторый чисто личный отпечатокъ на самыя «гражданскія» изъ стихотвореній Надсона, но въ то же время поднимаетъ до высокаго, общаго интереса и тѣ его пьесы, въ которыхъ объ «истинѣ и справедливости» нѣтъ и помину. Памятуя свою програму и одолѣваемый жаждой уходящей жизни, покойный поэтъ умѣлъ говорить и о «женской ласкѣ» и о томъ, что ему «жить такъ хочется», и о красотѣ звѣздъ и цвѣтовъ—умѣлъ обо всемъ этомъ говорить такъ, что противорѣчія между этими разговорами и какимъ-нибудь, напримѣръ, страстнымъ обѣщаніемъ быть «псомъ сторожевымъ» своей родины—не было. Да и зачѣмъ тутъ противорѣчіе? Развѣ нельзя служить истинѣ и справедливости и въ то же время любоваться красотой звѣздъ и цвѣтовъ, искать женской ласки? Пусть все живое живетъ, и пусть во всю живетъ. Но элементы жизни должны быть слиты въ одно настоящее, гармоническое цѣлое, а не выскакивать по одиночкѣ и поочередно, какъ маріонетки изъ за ширмъ кукольнаго театра. Этою то цѣльностью, этимъ отсутствіемъ противорѣчій Надсонъ и трогалъ сердца, какъ не трогаетъ ихъ ни одинъ изъ остальныхъ нынѣшнихъ поэтовъ. Остальныхъ читаютъ, конечно, можетъ быть даже довольно много читаютъ, но я очень боюсь, что въ общемъ (то есть, не говоря о томъ или другомъ читателѣ того или другого стихотворенія, написаннаго тѣмъ или другимъ поэтомъ)—это именно только симптомъ возрожденія «золотого вѣка» въ смыслѣ ослабленія сознанія и соотвѣтственнаго пристрастія къ красивымъ музыкальнымъ звукамъ. Общество, находящееся почему нибудь въ такомъ положеніи, всегда выставитъ изъ своей среды теоретиковъ, которые подыщутъ якобы разумное основаніе неразумному, стихійному явленію. Такъ есть люди, умѣренные и акуратные приверженцы золотой середины, которые готовы даже погладить по головкѣ нашихъ поэтовъ за ихъ разношерстность, за то, что они поютъ сегодня одно, а завтра другое, ибо, дескать, въ этомъ свидѣтельство разносторонности и равновѣсія. Какія бы однако похвалы ни расточались нашимъ поэтамъ, достовѣрно, что, кромѣ упомянутыхъ приверженцевъ золотой середины, которые сами ни въ тихъ, ни въ сихъ, они никому не угодили, какъ то подобаетъ поэтамъ,—не зажгли сердецъ своимъ глаголомъ.

Да и какъ имъ зажечь! Я остановлюсь только на двухъ новыхъ поэтахъ, очень талантливыхъ, — гг. Минскомъ и Мережковскомъ.

Стихотворенія г. Минскаго вышли очень скоро вторымъ изданіемъ. Изданіе было,

вѣроятно, не очень велико,—не въ надсоновскихъ размѣрахъ, но во всякомъ случаѣ не меньше тысячи экземпляровъ, и это большой успѣхъ. Большой и заслуженный, потому что г. Минскій и талантливъ, и никогда не топитъ мысли въ озерѣ музыкальныхъ созвучій. Помимо ласки слуховыхъ нервовъ, его стихи всегда обращаются къ сознанію читателей, но огромное большинство его читателей навѣрное не откликается на это обращеніе.

Во вступительномъ стихотвореніи: «Вакханкой молодой ко мнѣ она вошла»—поэтъ разсказываетъ какъ къ нему приходили три музы, и какъ онъ, наконецъ, одну изъ нихъ выбралъ. Этихъ посѣтительницъ можно назвать музой красоты, музой борьбы и музой скептической мудрости. Послѣднюю и избралъ поэтъ. Я не буду много говорить объ томъ, какъ вяжется программа этой музы съ программой самаго г. Минского, изложенной въ прозѣ въ газетѣ «Заря». Г. Минскій, напримѣръ, говоритъ, что «требовать отъ поэзіи чего-либо, кромѣ эстетическаго наслажденія, это все равно, что требовать отъ глаза, чтобы онъ не только видѣлъ, а и слышалъ или обонялъ». А избранная имъ муза именно хочетъ поучать мудрости. Г. Минскій, мѣряя поэзію и науку, ставилъ послѣдней въ счетъ, что она не различаетъ правды и неправды, ибо «развѣ неправда не совершается по тѣмъ-же законамъ, какъ и правда?» Наука, видите-ли, на этомъ пунктѣ безсильна, а поэзія все это можетъ. Но муза, избранница г. Минскаго, какъ разъ противоположное обѣщаетъ: «И въ зеркалѣ моемъ, какъ вѣчность неподкупномъ, во всемъ, что ты считалъ добромъ, увидишь ложь и *неизбѣжное—въ порочномъ и преступномъ*». И т. д., и т. д. Затѣмъ, въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» было уже указано, что, хотя на словахъ г. Минскій и отдалъ рѣшительное предпочтеніе музѣ скептической мудрости, но на дѣлѣ вдохновляется и музами красоты и борьбы. Вотъ два стихотворенія г. Минскаго на одну и ту же тему:

СОВРЕМЕННОМУ ХУДОЖНИКУ.

Не плачь, коль въ наши дни предъ чистой красотой
Толпа колѣнъ не преклоняетъ.
То—признакъ силы. Море подъ грозой
Лазурь небесъ не отражаетъ.

ПОЭТУ.

Не до пѣсенъ, поэтъ, не до нѣжныхъ пѣвцовъ!
Нынѣ нужно отважныхъ и грубыхъ бойцовъ.
Родъ людской пополамъ раздѣлился.
Закипѣла борьба,—всякій стройся въ ряды,
Въ комъ не умерло чувство священной вражды.
Слишкомъ рано, поэтъ, ты родился!
Подожди,—и разсѣется сумракъ вѣковъ,
И не будетъ господъ, и не будетъ рабовъ,—
Стихнетъ бой, что столѣтія длился,
Родъ людской возмужаетъ и станетъ уменъ,
И спокоенъ, и честенъ, и сытъ, и ученъ...
Слишкомъ поздно, поэтъ, ты родился!

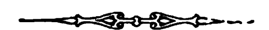
Серьезный, убѣжденный тонъ перваго изъ этихъ стихотвореній рѣзко контрастируетъ съ какимъ-то растеряннымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ядовитымъ скептицизмомъ второго. Подобный контрастъ можно, конечно, найти и у великихъ поэтовъ, которые, дѣйствительно, глаголомъ жгли сердца людей. Оно и понятно, потому что бываютъ вѣдь и минуты отчаянія, и минуты восторга, минуты печали и минуты радости. Но если мы въ нѣсколькихъ томахъ, напримѣръ, Пушкина найдемъ что нибудь подобное, такъ эти контрасты во всякомъ случаѣ тонутъ въ общей физіономіи поэта, вполнѣ ясной и опредѣленной. А въ томѣ стихотвореній г. Минскаго, состоящемъ всего-то изъ шестнадцати печатныхъ листовъ, подобныхъ контрастовъ можно набрать цѣлую коллекцію. Я не хочу обижать г. Минскаго сравненіемъ съ Пушкинымъ; пропустимъ и Некрасова, Кольцова, законченность и опредѣленность которыхъ слишкомъ давно признаны;—возьмите Надсона. Не въ томъ бѣда, что г. Минскій служитъ тремъ музамъ, а въ томъ, что красота, борьба и скептицизмъ не сливаются для него въ какое-нибудь опредѣленное органическое цѣлое. Читая его стихи, вы видите, что вотъ это красиво, это—умно, тутъ змѣится скептическая улыбка, тутъ торжествуетъ «радость бытія», но суммировать все это нѣтъ никакой возможности. Въ будущемъ все это, конечно, можетъ благополучно устроиться. Такъ, вступительное стихотвореніе г. Минскаго есть вмѣстѣ съ тѣмъ, кажется, и послѣднее по времени,—оно помѣчено 1887 годомъ. Въ немъ муза-избранница обѣщаетъ поэту: пѣснѣ твоей «силу дамъ печалью уязвлять сердца, застывшія въ безвѣріи глубокомъ; и шопотъ истины, какъ бы онъ ни былъ слабъ, въ ней будетъ слышаться сквозь крики отрицанья». Хорошо-ли это, нужно-ли, — вопросъ особый, но во всякомъ случаѣ г. Минскій еще не успѣлъ утвердиться на этомъ пути. Вы просто видите человѣка, который когда-то имѣлъ вѣру и нынѣ потерялъ ее, ищетъ новой вѣры и не находитъ, и, можетъ быть, даже не желаетъ, въ тайникахъ-то души, ее найти, потому что положеніе ищущаго ему кажется поэтически красивымъ. Отсюда, изъ этого убѣжденія въ красотѣ ищущаго безвѣрія, проистекаетъ, можетъ быть, и высокомѣрное отношеніе г. Минскаго къ такимъ предметамъ, которые заслуживаютъ нѣсколько болѣе осмотрительнаго и снисходительнаго трактованія вообще, и въ частности болѣе снисходительнаго, чѣмъ кокетничанье ищущимъ безвѣріемъ...

Въ этомъ отношеніи г. Минскій могъ бы

поучиться у своего собрата по лирѣ,—г. Мережковскаго. Тотъ тоже по временамъ говоритъ о своемъ безвѣріи, но говоритъ не съ саркастическимъ высокомѣріемъ, а со скорбью, конечно, вполнѣ умѣстною. Особенно прочувствована въ этомъ направленіи небольшая пьеска «Совѣсть»... *Такъ* выраженная жажда вѣры можетъ идти отъ сердца къ сердцу. Но... извѣстно, что всегда и во всемъ есть разныя прискорбныя «но». Сборникъ стихотвореній г. Мережковскаго состоитъ изъ «Поэмъ и легендъ», «Эскизовъ» и затѣмъ еще трехъ большихъ отдѣловъ, снабженныхъ, вмѣсто заглавій, выразительными эпиграфами: 1) Изъ пророка Исаіи: «И отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца; тогда свѣтъ твой взойдетъ во тьмѣ и мракъ твой будетъ, какъ полдень». 2) Изъ Марка Аврелія: «Къ чему стремишься ты, природа, того и я хочу». 3) Слова Микель Анжело: «Душа, сожженная любовью, для вѣчности, какъ фениксъ, возродится». Первый отдѣлъ можно назвать пѣснями любви къ человѣчеству, пѣснями долга передъ нимъ, второй—пѣснями природы, третій—пѣснями любви къ женщинѣ. Въ первый отдѣлъ, впрочемъ, попало, кажется по недоразумѣнію, стихотвореніе, въ которомъ поэтъ такъ формулируетъ свои желанія. Онъ хочетъ

Не только подвиговъ въ борьбѣ за идеалъ,
Не только мукъ и жертвъ страдалицѣ-отчизнѣ,
Но и всего, о чемъ такъ страстно я мечталъ:
Хочу я творчествомъ и знаніемъ упиться,
Хочу весеннихъ дней, лазури и цвѣтовъ,
Хочу у милыхъ ногъ я плакать и молиться,
Хочу безумнаго веселія пировъ;
Хочу изъ нѣжныхъ устъ дыханья аромата,
И смѣха и вина, и пѣсенъ молодыхъ,
И блѣдныхъ ландышей, и пурпура заката,
Всей дивной музыки аккордовъ міровыхъ...

Ну, всего этого, пожалуй, и много будетъ. Конечно, дай Богъ всякому, и пусть живое живетъ. Но чтобы все въ такихъ именно подробностяхъ и осуществилось,—этого никому предсказать, да и никому пожелать нельзя. Кое отъ чего г. Мережковскому съ теченіемъ времени придется, вѣроятно, отказаться. Но отъ чего онъ откажется, который изъ своихъ отдѣловъ урѣжетъ и который расширитъ такъ, что остальные лишь примкнутъ къ нему,—этого я не знаю. Ибо нынѣшняя поэзія есть поэзія растерянности...



Случайныя замѣтки и письма о разныхъ разностяхъ *).

I.

Наука-ли?

Наука юношей питаетъ, отраду старцамъ подаетъ; наука — свѣтъ, наука — солнце... Нѣтъ, она лучше солнца. Es leuchtet die Sonne über Böse und Gute; часть «равнодушной природы», солнце даетъ жизнь и силу всякому сѣмени, всякому ростку, ядовитому и безобразному, какъ и прекрасному; оно, можетъ быть, даже именно подъ прекраснымъ росткомъ раскалитъ почву и высушитъ неописанную красоту, а какой-нибудь мухоморъ укроется отъ него въ лѣсной тѣни; оно можетъ послать солнечный ударъ генію и отогрѣть идіота и негодяя. Не воленъ человѣкъ надъ солнцемъ, потому что не онъ его создалъ. Другое дѣло—наука. Созданіе человѣческаго разума, плодъ тысячелѣтней преемственной мысли, результатъ человѣческихъ жертвъ, которымъ нѣтъ ни мѣры, ни числа,—наука только доброе освѣщаетъ и согрѣваетъ...

Такъ бодрилъ я себя по прочтеніи книги профессора Сергѣевскаго «Наказаніе въ русскомъ правѣ XVII вѣка». Читалъ я ее не какъ юристъ, а какъ простой человѣкъ жизни, который, однако, питаетъ глубокое уваженіе къ наукѣ и ждетъ отъ нея великихъ и богатыхъ милостей. Но, подбодривъ себя на нѣкоторое время, я начиналъ съ уныніемъ припоминать кое-какіе эпизоды изъ исторіи науки, которые не очень-то вяжутся съ представленіемъ о наукѣ—солнцѣ. Вспомнилась мнѣ комическая фигура Вагнера, который съ гордостью говорилъ: Zwar weiss ich viel, doch möcht' ich alles wissen, и имѣлъ право это говорить, но всетаки до конца дней своихъ такъ и не узналъ кое-чего, пустяка совершеннаго—человѣка. Вспомнился ученый докторъ Акакія, предлагавшій построить латинскій городъ. Вспомнились тѣ нахлынувшіе въ Римъ льстивые, угодливые

*) 1888—1893 гг.

ученые греки, объ которыхъ Ювеналъ говорилъ, что ты только мигни, а ужъ они сообразятъ, только улыбнись,—они захохочутъ, ибо на лету ловятъ мысли и желаютъ угодить. Многое еще разное другое вспомнилось, и будто померкло мое солнце, туманомъ задернулось... Да нѣтъ, этого быть не можетъ! Не само солнце померкло, а именно оно туманомъ задернулось, отъ стыда закрылось, потому что и смѣшной Вагнеръ, и нелѣпый Акакія, и угодливый грекъ,—развѣ все это наука? Это такъ себѣ, заблудшіе осколки, которые если и состоятъ въ какомъ-нибудь родствѣ съ наукой въ настоящемъ великомъ значеніи этого слова, такъ развѣ только въ томъ смыслѣ, что имѣютъ возможность компрометтировать ее...

Книга г. Сергѣевскаго обладаетъ многими совершенно выдающимися достоинствами. Я былъ пораженъ прежде всего необыкновенною любознательностью почтеннаго профессора, необыкновенною его жаждою знанія. Такъ напримѣръ, говоря о заливаніи горла расплавленнымъ металломъ, которому подвергались фальшивые монетчики, г. Сергѣевскій пишетъ, что эта операція производилась «согласно окружной грамотѣ 1637 года, «растопя воровскія ихъ деньги» (Собр. гос. гр. и дог., т. III, № 106. Также Акт. археогр. эксп. т. III, № 266). Уложеніе говоритъ просто: «залити горло» (Уложеніе, гл. V, ст. I), не указывая чѣмъ. Изъ современниковъ одни говорятъ—оловомъ или свинцомъ (Котошихинъ, О Россіи, стр. 92), другіе—оловомъ (Коллинсъ, Состояніе Россіи, стр. 23. Бергхольцъ, Дневникъ, II, 345), третьи—тѣмъ самымъ металломъ, изъ котораго были сдѣланы воровскія деньги (Relation curieuse, стр. 100)».

Существовала еще одна хорошая тоже казнь—сажаніе на колъ. Г. Сергѣевскій даетъ въ текстѣ весьма подробное ея описаніе (какъ сажали на колъ, какъ колъ «высовывался наружу или въ спину, между лопатками, или спереди, въ грудь» и т. д.). Но, не довольствуясь этимъ, профессоръ говоритъ въ подстрочномъ примѣчаніи, что «мы не имѣемъ, къ сожалѣнію, сколько намъ извѣстно, ни одного подробнаго описанія этой казни, относящагося именно къ Россіи». Сожалѣніе это тѣмъ болѣе характеризуетъ научную любознательность автора, что для него «несомнѣнно, что въ нашемъ отечествѣ эта казнь совершалась такъ же, какъ и въ другихъ странахъ». Казалось бы, объ чемъ же и сожалѣть въ такомъ случаѣ? Но ужъ столь строги, какъ видите, требованія науки. За-одно г. Сергѣевскій дѣлаетъ въ томъ же подстрочномъ примѣчаніи подробныя описанія двухъ «хорошихъ рисунковъ посаженія на колъ», которые не имѣютъ никакого отношенія ни къ Россіи, ни къ XVII-му вѣку; и приводитъ еще одно описаніе этой операціи, которое самъ считаетъ «невѣроятнымъ» (см. стр. 112).

Далѣе вы можете найти у г. Сергѣевскаго драгоцѣнныя свѣдѣнія о «прекрасныхъ отчетливыхъ рисункахъ колесованія, раздробленія членовъ и положенія на колесо» (стр. 115), о «прекрасномъ рисункѣ повѣшенія за ребро» (123) и т. п. Но къ сожалѣнію, и на солнцѣ, какъ извѣстно, есть пятна, и въ наукѣ есть пробѣлы и сомнительные пункты. Мы уже видѣли образчикъ этого затруднительнаго положенія науки, которая—horribile dictu!—такъ и не знаетъ, чѣмъ заливали горло фальшивымъ монетчикамъ: оловомъ или свинцомъ. И это не единственный пробѣлъ, не единственное сомнѣніе! Такъ, напримѣръ, одинъ иностранецъ, разсказывая о кнутѣ, «говоритъ объ одной мало вѣроятной подробности, именно, что ремень будто бы вываривался въ молокѣ, для увеличенія силы удара» (154). А съ достовѣрностью всетаки неизвѣстно! Точно также «каково было устройство плети, какъ производилось наказаніе въ XVII в., въ какомъ положеніи находилось тѣло наказываемаго и по какой именно части его били,—все это намъ неизвѣстно» (170). Это ужано! Zwar weiss ich viel, doch möcht' ich alles wissen!

Да, это дѣйствительно ужасно. Не то, конечно, ужасно, что не всѣ намѣченные г. Сергѣевскимъ пробѣлы науки онъ пополнилъ и не всѣ имъ усмотрѣнныя сомнѣнія разсѣялъ,—въ этихъ пополненіяхъ и разсѣяніяхъ никакой надобности нѣтъ и, можетъ быть, меньше всего въ нихъ нуждается наука. Ужасно то, что человѣкъ науки можетъ съ такимъ жестокимъ аппетитомъ относиться къ варварскимъ казнямъ; что наканунѣ XX-го вѣка онъ доискивается отвѣтовъ на вопросы: по какой части били плетью въ XVII-мъ в.? какимъ металломъ заливали горло? въ спину или въ грудь высовывался у казненнаго колъ? О, я знаю, что было бы совершенно напраснымъ трудомъ взывать къ чувствительности г. Сергѣевскаго! Онъ гордо завернется въ плащъ жреца науки, презрительно пожметъ плечами и скажетъ: «наше дѣло не сантименты, а факты; мы изучаемъ и васъ поучаемъ, а ужъ вы тамъ сантиментальничайте, коли хотите!»

Что вы изучаете и чему насъ поучаете? Развѣ это наука? Это — пародія на науку, которая была бы уморительно смѣшна, если бы дѣло шло не о заливаніи горла, повѣшеніи за ребро, урѣзаніи языка и т. п. Въ самомъ дѣлѣ, представьте только себѣ эту фигуру современнаго ученаго, трудолюбиво роющагося въ «памятникахъ»,—von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt—съ великою цѣлью со-

брать всѣ описанія повѣшенія за ребро, всѣ— и вѣрныя, и невѣрныя, т. е. уже по собственному его сознанію ненужныя. Войдите въ психологію этого якобы ученаго, а въ сущности просто смѣшного человѣка; попробуйте пережить его душевныя волненія, его, напримѣръ, отчаяніе по тому поводу, что въ «памятникахъ» не отыскивается ни одного описанія сажанія на колъ въ Россіи. Онъ ни малѣйше не сомнѣвается, что эта казнь производилась въ Россіи совершенно такъ же, какъ и въ прочихъ мѣстахъ, и всетаки скорбитъ! Онъ совсѣмъ не такой безстрастный человѣкъ, какъ можетъ показаться на основаніи спокойнаго тона его разговоровъ о колахъ, торчащихъ изъ спины или изъ груди, о горлахъ, заливаемыхъ свинцомъ или оловомъ. Ему доступны и горе и радость. Онъ можетъ пуститься отъ восторга въ плясъ и запѣть веселую шансонетку, натолкнувшись на «прекрасный рисунокъ повѣшенія за ребро»; можетъ цѣлыми днями ходить изъ угла въ уголъ по своему кабинету, заставленому и заваленному книгами, и, глубокомысленно приставивъ палецъ ко лбу, мучительно раздумывать: «по какой же именно части тѣла били плетью въ XVII вѣкѣ»?— Согласитесь, что это просто опереточная фигура, и я настоятельно рекомендую кому-нибудь изъ нашихъ веселыхъ драматурговъ не упускать ея изъ виду.

Независимо однако отъ этой комической стороны дѣла, въ немъ есть нѣчто трагическое, нѣчто по истинѣ страшное. Неоднократно возникали утопіи, предоставлявшія ученымъ людямъ, какъ особой кастѣ, высшее, управляющее положеніе въ обществѣ. Не помню кто, кажется Огюстъ Контъ, и во всякомъ случаѣ человѣкъ науки же, заклеймилъ эти проекты прозвищемъ «педантократіи». При педантократическомъ строѣ общества, если бы онъ былъ возможенъ, г. Сергѣевскій, вѣроятно, не остановился бы на праздной любознательности по отношенію ко «всякаго рода вещамъ», касающимся жестокихъ наказаній. Страсть и привычка разсматривать рисунки повѣшенія за ребро, сажанія на колъ и проч., собирать самыя детальныя и притомъ не только достовѣрныя, но и завѣдомо ложныя свѣдѣнія объ изломанныхъ ребрахъ, прожженныхъ горлахъ и урѣзанныхъ языкахъ,—эта страсть и эта привычка весьма легко могла бы найти себѣ и практическій исходъ въ дѣятельности педантократа. Оно и для поступательнаго движенія науки было бы полезно. Въ самомъ дѣлѣ, никакой рисунокъ и никакое подробнѣйшее описаніе сажанія на колъ не могутъ всетаки дать полное понятіе о предметѣ: надо видѣть собственными глазами всю эту механику—и судорожныя движенія казнимаго, и его изуродованное болью лицо, и слышать его стоны и крики, и собственными руками ощупать окровавленный конецъ кола, вылѣзшій въ спину или грудь. Вотъ это— истинное торжество науки! Конечно, это не та наука—солнце и лучшая солнца, которая, будучи созданіемъ человѣческаго разума, не можетъ, въ виду этого своего человѣческаго, гуманнаго происхожденія, ломать человѣческія ребра и заливать—все равно, свинцомъ или оловомъ—человѣческія горла. Но вѣдь мы переносимся окрыленной мечтой въ педантократическую утопію... Нѣтъ однако надобности переноситься, хотя бы и мечтою, столь невозможно далеко, чтобы признать, что извѣстная доля вліянія на ходъ жизни и теперь, въ томъ несовершенномъ мірѣ, въ которомъ мы нынѣ живемъ, приличествуетъ людямъ науки и, дѣйствительно, находится въ ихъ рукахъ. Люди науки устно и письменно, съ каѳедръ и въ своихъ ученыхъ произведеніяхъ, проповѣдуютъ то, что они считаютъ истиной, и имъ внимаютъ, потому что кому же и книги въ руки, какъ не имъ? Ихъ привлекаютъ иногда и къ участію въ обсужденіи уже прямо практическихъ мѣропріятій, т. е. такихъ, которыя сейчасъ вотъ и начнутъ свое воздѣйствіе на жизнь. Все это естественно окружаетъ людей науки извѣстнымъ ореоломъ почета, но вмѣстѣ съ тѣмъ налагаетъ на нихъ большую отвѣтственность. На вопросъ объ истинѣ,—со стороны-ли юноши, жаждущаго свѣта, или практика, нуждающагося въ помощи науки,— нельзя отвѣтить опереточнымъ фарсомъ. То-есть фактически-то, пожалуй, и можно, потому что отчего же не написать ученѣйшаго изслѣдованія объ томъ, напримѣръ, за которое ребро вѣшали людей триста или тысячу лѣтъ тому назадъ; но истину, добытую этимъ изслѣдованіемъ, рѣшительно некуда будетъ приткнуть во всей системѣ наукъ,—ни одной изъ нихъ она не нужна, не нужна и житейской практикѣ. Что въ самомъ дѣлѣ съ ней дѣлать? Куда ее дѣвать? Что изъ нея выжать можно? И наукѣ, и житейской практикѣ нужны иные факты и иныя обобщенія,—освѣщающія и поучающія. Есть, однако, головы,—и попадаются между ними чрезвычайно трудолюбивыя,—которымъ лучше бы и не пускаться въ поучающія обобщенія. Когда, напримѣръ, аматёръ по части поломанныхъ реберъ и вырѣзанныхъ языковъ примется поучать, то, при всемъ глубокомъ комизмѣ своихъ научныхъ волненій, онъ можетъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ страшенъ...

Г. Сергѣевскій занятъ XVII-мъ вѣкомъ, на который онъ имѣетъ свой собственный, оригинальный взглядъ. Онъ не согласенъ ни съ тѣми нашими историками, которые видятъ въ этомъ мрачномъ времени какой-то золотой вѣкъ, ни съ тѣми, которые счи-

таютъ его вѣкомъ паденія и разложенія. Г. Сергѣевскій не отрицаетъ, что въ XVII-мъ вѣкѣ «и народная нравственность, и семейный бытъ, и государственное управленіе, однимъ словомъ, всѣ стороны общественной и государственной жизни наполнены были достаточнымъ количествомъ выдающихся примѣровъ разврата, грабительства, насилій, неправосудія, взяточничества и т. д.», такъ что это, конечно, не золотой вѣкъ. Но, говоритъ г. Сергѣевскій, нельзя его назвать и вѣкомъ разложенія или упадка. Въ то время «государство съ его исключительными интересами, политическими, военными, финансовыми и династическими, притомъ государство новое, едва сложившееся, привлекало къ себѣ всѣ силы и наполняло собою всѣ правительственные идеалы. Дѣятельность законодательная и административная направлялись къ одной цѣли: создать государственное единство, укрѣпить власть, собрать казну и сильное войско. Все прочее, все, что мы называемъ интересами общественными въ противоположность государственнымъ въ тѣсномъ смыслѣ, и всѣ интересы личности, какъ таковой, не только отходили далеко на задній планъ, но и совершенно стушевывались передъ великими государственными дѣлами» (стр. 63). «Государственные практическіе интересы все собою заслоняли, а тѣмъ паче должны были молчать предъ ними отвлеченныя начала нравственности и идеальной справедливости. Не до нихъ въ то время было: надо было строить и укрѣплять государство, а все прочее представлялось несвоевременною роскошью. Въ этомъ былъ залогъ успѣха, а въ успѣхѣ—оправданіе» (69).

XVII вѣкъ, играющій въ русской исторіи столь исключительно важную роль, имѣлъ еще недавно совершенно особенное значеніе и для русской литературы, потому что на немъ, на его оцѣнкѣ, положительной или отрицательной, въ значительной мѣрѣ сосредоточивались пререканія славянофиловъ и западниковъ. Нынѣ, за упраздненіемъ обѣихъ этихъ партій, XVII-й вѣкъ потерялъ свое, такъ сказать, острое значеніе, и мы можемъ осноситься къ нему вполнѣ безпристрастно, ничего не укрывая и ничего не прикрашивая. Можетъ показаться, что взглядъ г. Сергѣевскаго представляетъ продуктъ именно такого желательнаго и возможнаго безпристрастія. Едва-ли это однако такъ. Г. Сергѣевскій стремится представить объясненіе законодательной и административной дѣятельности XVII вѣка, и какова бы ни была цѣнность его соображеній въ этомъ направленіи, они нисколько не касаются того грязнѣйшаго и грубѣйшаго разврата, жестокости, насильничества и проч., которыя пронизывали въ XVII вѣкѣ жизнь всѣхъ сословій. Допустимъ, что «многое, непростительное съ нашей современной точки зрѣнія, должно было прощать своимъ служилымъ людямъ московское правительство; оно само, преслѣдуя исключительно практическія цѣли государственныхъ интересовъ, нерѣдко вынуждаемо было игнорировать въ своихъ мѣропріятіяхъ всѣ нравственныя начала и совершать въ пользу государства вещи, весьма неодобрительныя съ нравственной точки зрѣнія» (68). Приведемъ примѣръ, который кстати обрисуетъ отношеніе г. Сергѣевскаго къ XVII вѣку. Славянофилы любили утверждать, что, въ противоположность европейцамъ, мы, русскіе, отличались всегда мирнымъ, безобиднымъ для туземцевъ характеромъ нашей колонизаціи. Дескать, испанцы, французы, голландцы, англичане, являясь въ новую страну, не стѣснялись никакими средствами насилія и обмана, а мы напротивъ того. Г. Сергѣевскій не считаетъ нужнымъ прибѣгать къ такой неправдѣ. Говоря о присоединеніи Сибири, онъ прямо указываетъ, что, когда «для открытаго, военнаго подчиненія инородцевъ не хватало силъ,—правительство спокойно прибѣгаетъ къ обманамъ и тайному образу дѣйствія». Такъ, воеводамъ приказывалось заманивать лаской и обѣщаніями пелымскаго князя Аблегирима, «а приманя, казнить». Точно также телецкаго князя Айдара, «приговоря ласкою, а не жесточью, взять въ Кузнецкій острогъ, а взявъ, повѣсить». Г. Сергѣевскій понимаетъ и говоритъ, что это возмутительно, но, по его мнѣнію, идея государства «жертвъ искупительныхъ проситъ». Не будемъ разсуждать о томъ, въ какой мѣрѣ компрометтируется подобными искупительными жертвами самая идея государства, знаменосцемъ которой желаетъ быть г. Сергѣевскій. Допустимъ, что все это было неизбѣжно нужно, но вѣдь не скажетъ же г. Сергѣевскій, что въ интересахъ государства было нужно то позорное клятвопреступничество, съ которымъ московскіе люди цѣловали крестъ то Шуйскому, то Лжедимитрію, то Сигизмунду, то тушинскому вору; или тѣ противоестественные пороки, которые гнѣздились даже въ средѣ духовенства, чему самъ г. Сергѣевскій приводитъ возмутительные примѣры, или тотъ грабежъ, которому предавались частные люди, и проч. и проч. и проч. А между тѣмъ этими путями тоже достигается успѣхъ, «а въ успѣхѣ—оправданіе», какъ утверждаетъ г. профессоръ.

Очевидно, проф. Сергѣевскій увлекся одной стороной дѣла и въ увлеченіи своемъ рискнулъ сентенціей, крайне двусмысленной и обоюдоострой, а потому опасной съ какой бы то ни было точки зрѣнія и можетъ

быть особенно въ устахъ профессора. Если въ успѣхѣ оправданіе, то, напримѣръ, въ исторіи Франціи одинаково оправданы и первая революція, и Наполеонъ, и вторая республика, и Наполеонъ III, ибо всѣ они имѣли успѣхъ, и соблазнительная ясность сентенціи г. Сергѣевскаго санкціонируетъ всякую кровь, пролитую во имя чего бы то ни было, лишь бы съ успѣхомъ. Нѣтъ, какъ хотите, а это не наука.

Г. Сергѣевскій интересуется, впрочемъ, XVII вѣкомъ не въ качествѣ историка, а въ качествѣ юриста и именно криминалиста. Онъ исходитъ изъ того общаго положенія, что выбранный имъ для изслѣдованія предметъ «получаетъ для насъ особое, вполнѣ практическое значеніе, если мы откажемся отъ построенія идеальныхъ карательныхъ системъ, предназначенныхъ для всѣхъ временъ и народовъ», если признаемъ, что формы и содержаніе карательныхъ мѣръ всецѣло зависятъ отъ обстоятельствъ времени и мѣста: «каждая эпоха, каждое государство по своему организуетъ наказанія, стремится то къ тѣмъ, то къ другимъ спеціальнымъ цѣлямъ, тратитъ то больше, то меньше на устройство карательныхъ мѣръ, устрашаетъ, исправляетъ, истребляетъ преступниковъ, дѣлаетъ ихъ безвредными и т. д., постоянно приспособляясь къ конкретнымъ условіямъ быта и своимъ средствамъ». Съ этой точки зрѣнія г. Сергѣевскій и разсматриваетъ систему наказаній въ XVII вѣкѣ и приходитъ къ тому заключенію, что она, при всей своей на нынѣшній взглядъ варварской жестокости, была вполна умѣстна и своевременна.

Я не знаю, какъ посмотрятъ на все это спеціалисты, а нашъ братъ, простой читатель, могъ бы пожалуй довольно безразлично отнестись къ содержанію книги г. Сергѣевскаго, еслибы къ ней развивалась только эта, сейчасъ приведенная мысль. Конечно, иногда морозъ подираетъ по кожѣ при чтеніи многихъ подробностей наказаній, изображаемыхъ авторомъ съ величайшимъ спокойствіемъ, но вѣдь все это было и быльемъ поросло! Слава Богу, мы не въ XVII вѣкѣ живемъ, и меня теперь ни за которое ребро не повѣсятъ, горла мнѣ не зальютъ ни свинцомъ, ни оловомъ, не проткнутъ мнѣ коломъ ни спины, ни груди, и ничего подобнаго я и надъ другими не увижу. До сихъ поръ мы видѣли только чисто теоретическій интересъ изслѣдованія г. Сергѣевскаго, а именно доказательство или якобы доказательство того общаго тезиса, что система карательныхъ мѣръ должна сообразоваться съ обстоятельствами времени и мѣста. Но тотчасъ же вслѣдъ за изложеніемъ своей исходной точки г. Сергѣевскій установляетъ другую, какъ будто и весьма близкую къ первой, но уже нѣсколько пугающую своимъ подходомъ къ практикѣ, подходомъ, къ счастію нелогичнымъ. Онъ говоритъ именно: «Если такъ, то историческое изученіе наказанія вообще, и прежде всего въ своемъ отечествѣ, стоитъ очевидно на первомъ планѣ и имѣетъ вполнѣ практическое значеніе для ученія о наказаніи. Только историческое изученіе можетъ намъ указать, какія черты наказанія, какими условіями и какъ вызывались, чему, какимъ потребностямъ государственнымъ и народнымъ онѣ служили и что влекли за собой. Можетъ быть многое, что на первый взглядъ вызываетъ въ насъ одно осужденіе, представится въ другомъ свѣтѣ,—вызоветъ наше уваженіе; и обратно, можетъ быть многое, чему мы теперь покланяемся, окажется не болѣе, какъ нашею собственною болѣзненною слабостью. Тогда, безъ слѣпого подражанія старинѣ, мы возьмемъ изъ опыта предковъ нашихъ то, что и для насъ можетъ быть полезно, и отвернемся отъ многаго такого, чѣмъ увлекаемся теперь».

Признаюсь, при всемъ моемъ уваженіи къ наукѣ, я не могу разобраться въ логическомъ ходѣ этой тирады. Опытъ предковъ, какъ впрочемъ и вообще человѣковъ, конечно, долженъ быть всегда и во всемъ принимаемъ во вниманіе,—въ этомъ именно и состоятъ такъ называемые уроки исторіи. Но зачѣмъ г. Сергѣевскій успокоиваетъ насъ насчетъ «слѣпого подражанія старинѣ»? О подражаніи, слѣпомъ-ли или неслѣпомъ, тутъ и рѣчи быть не можетъ, потому что вѣдь «каждая эпоха» должна устраивать свою уголовную юстицію по-своему. Съ этой точки зрѣнія уже a priori невѣроятна поучительность (въ непосредственно практическомъ смыслѣ) для насъ системы наказаній XVII вѣка: въ триста лѣтъ, надо думать, обстоятельства достаточно измѣнились, и для непосредственной житейской практики гораздо важнѣе системы наказаній, существующія у другихъ народовъ, которые находятся примѣрно на той же ступени цивилизаціи, на какой стоимъ мы нынѣ. Возьмемъ хоть то дѣйствительно огромной важности обстоятельство, на которое сильно напираетъ самъ г. Сергѣевскій. Въ XVII вѣкѣ Россія была полуазіатская, только еще слагавшаяся держава, раздираемая и династическими смутами, и внѣшними врагами, проникавшими до самаго сердца страны съ запада, и неустанною борьбой съ дикими народами на востокѣ и проч. и проч. Ничего вѣдь этого теперь нѣтъ,—Россія есть государство сложившееся, законченное въ такой же мѣрѣ, какъ и всѣ другія европейскія государства. Поэтому, казалось бы, и примѣръ намъ надо брать (если собственнаго разума не хва-

тить) не съ предковъ нашихъ, а съ теперешнихъ европейцевъ. Казалось бы, это прямой логическій выводъ изъ основного положенія г. Сергѣевскаго. А онъ вонъ предлагаетъ взять что-то изъ опыта предковъ, а опытъ это такой, что при одномъ описаніи морозъ по кожѣ подираетъ. Не за ребра же въ самомъ дѣлѣ вѣшать, не живыхъ въ землю закапывать!

Не знаю. Прочитавъ всю книгу г. Сергѣевскаго съ большимъ вниманіемъ, я нашелъ въ ней только одно прямое, опредѣленное, конкретное указаніе на опытъ предковъ, подлежащій непосредственному подражанію. Правда, это одно указаніе дорогого стоитъ. Въ XVII вѣкѣ ярко проходила «одна въ высшей степени оригинальная черта въ институтѣ наказанія: примѣненіе уголовныхъ каръ къ лицамъ невиновнымъ вмѣстѣ съ виновными. Этотъ порядокъ давно уже замѣченъ въ литературѣ; онъ бросается въ глаза при первомъ знакомствѣ съ памятниками. Но, къ сожалѣнію, онъ получалъ въ литературѣ весьма поверхностное и, скажемъ не обинуясь, легкомысленное объясненіе: все дѣло сводится обыкновенно къ грубости нравовъ и жестокости или представляется безъ дальнихъ разсужденій, какъ простая ошибка, юридическая нелѣпость. Между тѣмъ въ дѣйствительности этотъ порядокъ имѣетъ весьма глубокія основанія» (31). Разсказавъ, какія именно глубокія основанія имѣлъ этотъ порядокъ (!) въ XVII вѣкѣ (мы увидимъ сейчасъ нѣкоторыя изъ этихъ глубокихъ основаній), г. Сергѣевскій продолжаетъ: « На первый взглядъ трудно найти основанія такому образу дѣйствій государственной власти. Однако указанныя выше особенности эпохи даютъ, думается намъ, при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи, не только полное объясненіе, но и достаточное оправданіе этому институту групповой отвѣтственности; скажемъ даже болѣе, онъ получаетъ оправданіе и для нашихъ дней и для права грядущихъ эпохъ» (38). И затѣмъ г. Сергѣевскій, негодуя на прочихъ юристовъ, съ недоумѣніемъ останавливающихся передъ «институтомъ групповой отвѣтственности», еще разъ рѣшительно подтверждаетъ: «этотъ вѣковой институтъ всегда существовалъ, существуетъ въ дѣйствующемъ правѣ и, по всей вѣроятности, всегда будетъ существовать» (41).

Будемъ хладнокровны. Воздержимся отъ чувства негодованія, естественнаго при неслыханно откровенной проповѣди наказанія невинныхъ. Мы вѣдь имѣемъ дѣло съ человѣкомъ науки, безстрастно ищущимъ истины, который, конечно, не смутится нашей сантиментальностью и, можетъ быть, на ней именно и строитъ весь эффектъ своего щегольства жестокостью...

Нѣтъ, не съ наукой имѣемъ мы тутъ дѣло: вы видите, что страсть и привычка допытываться, по какой части тѣла били сотни лѣтъ тому назадъ и какимъ металломъ горло заливали,—что эта страсть и привычка, комическая сама по себѣ, не проходитъ даромъ и развертывается въ настоящую манію, мрачную и зловѣщую. Наука учитъ различать вещи, она именно несетъ съ собой тотъ свѣтъ, который помогаетъ различенію вещей, дотолѣ тонувшихъ во мракѣ. А тутъ... Мы сейчасъ видѣли, что «оправданіе — въ успѣхѣ»: насъ учили не различать нравственные или политическіе принципы, не классифицировать ихъ или какъ-нибудь оцѣнивать, а просто искать оправданія въ успѣхѣ. Теперь насъ учатъ, что можно не различать виновныхъ и невиновныхъ, а просто наказывать всѣхъ. Нѣтъ, это не наука, это —манія, настоящая болѣзнь, вѣроятно воспитанная несчастными обстоятельствами, приковавшими вниманіе г. Сергѣевскаго къ «прекраснымъ рисункамъ сажанія на колъ и повѣшенія за ребро». Наука не можетъ противорѣчить себѣ на каждомъ шагу, какъ это случается съ г. Сергѣевскимъ. Мы вѣдь сейчасъ только видѣли, что онъ рѣшительно протестуетъ противъ «идеальныхъ карательныхъ системъ, предназначенныхъ для всѣхъ временъ и народовъ», а вотъ теперь онъ объясняетъ намъ, что «институтъ отвѣтственности невинныхъ» есть именно учрежденіе, обязательное «и для нашихъ дней, и для права грядущихъ эпохъ». Правда, только одинъ этотъ «институтъ»: все преходяще, все измѣнчиво, но наказаніе невинныхъ пребудетъ и должно пребыть... Я не знаю только, зачѣмъ же онъ называетъ этотъ удивительный институтъ «въ высшей степени оригинальною чертою», характеризующею XVII вѣкъ.

Повторяю, институтъ наказанія невинныхъ есть единственный пунктъ, относительно котораго г. Сергѣевскій ясно, точно и опредѣленно рекомендуетъ намъ руководствоваться опытомъ предковъ. Относительно всѣхъ другихъ пунктовъ онъ довольствуется лишь общими соображеніями. Соображенія эти сводятся къ слѣдующему: «Практическая полезность въ наказаніи можетъ имѣть двоякое направленіе: или государство можетъ извлекать пользу непосредственно для самого себя, разсматривая преступника лишь какъ средство; или государство можетъ поставить личность преступника на первое мѣсто, стремясь принести пользу ему—исправленіемъ, пріученіемъ къ труду, перемѣщеніемъ въ иныя условія жизни и т. п., такъ что польза государственная хотя тоже достигается такимъ воздѣйствіемъ на преступника, но достигается лишь посредственно... Ши-

рокое развитіе полезностей по обоимъ направленіямъ не всегда для государства возможно. Прежде всего, развитіе полезностей въ направленіи личности преступника требуетъ большой затраты денежныхъ средствъ. Всякому понятно, что исправительное заведеніе, со школой и ремесленными мастерскими, дороже простого острога, что книга и учитель дороже плетей и палача. Затѣмъ, развитіе этихъ полезностей требуетъ большого запаса и напряженія личныхъ силъ государственнаго управленія, то есть требуетъ посвященія этому дѣлу громаднаго числа опытныхъ, умныхъ, добросовѣстныхъ должностныхъ лицъ. Когда этихъ условій нѣтъ, когда государство не можетъ ни потратить соотвѣтствующихъ денежныхъ суммъ, ни отдѣлить значительной части своихъ должностныхъ лицъ на служеніе дѣлу полезныхъ воздѣйствій на личность преступника, — тогда государство ограничивается обыкновенно лишь полезностями первой категоріи, мало заботясь о личности преступника самой по себѣ. Мы скажемъ даже болѣе: государство должно такъ поступать».

Въ этихъ обстоятельствахъ, главнымъ образомъ, и заключаются тѣ «глубокія основанія», на которыхъ покоится въ XVII вѣкѣ, институтъ наказанія невинныхъ, а также и другія подробности уголовной юстиціи: казна была бѣдна, судебно-слѣдственная часть, за отсутствіемъ подходящаго персонала, организована была плохо, ну и натурально, что, во-первыхъ, мудрено было разобраться въ правыхъ и виноватыхъ, а во-вторыхъ, наказанія должны были быть дешевыя и «простыя», главнымъ образомъ, смертная казнь и «дешевый» острогъ да дешевыя плети. Удивительно въ самомъ дѣлѣ просто происходили дѣла въ XVII вѣкѣ. Напримѣръ, отрѣзаніе языка «совершалось весьма просто: посадя на скамью, клещами языкъ вытягивали и отрѣзали обыкновенно не весь языкъ, а часть его—до половины или вдоль накось» (стр. 143). Смертная казнь совершалась и вообще просто (ohne viele Compliments zu machen, по выраженію одного современника-иностранца). Но казнь утопленіемъ «производилась иногда еще проще — обухомъ по головѣ и подъ ледъ» (74). Конечно, эта простота ужасна, но можетъ быть нашъ ужасъ, по счастливому выраженію г. Сергѣевскаго, при ближайшемъ разсмотрѣніи «окажется нашею собственною болѣзненною слабостью», а сама простота — достойною уваженія...

Опять-таки XVII вѣкъ, — пожалуй Богъ съ нимъ. Но какъ хорошо, что послѣдняя роспись государственныхъ доходовъ и расходовъ свидѣтельствуетъ объ удовлетворительномъ состояніи нашихъ финансовъ, а наши учебныя заведенія выпускаютъ достаточное количество лицъ, подготовленныхъ къ исполненію судебно-слѣдственныхъ функцій! А то г. Сергѣевскій и для нашего времени потребовалъ бы «дешевыхъ и простыхъ» средствъ, какъ, впрочемъ, и теперь уже требуетъ полнаго возрожденія «института отвѣтственности невинныхъ».

II.

Поиски свѣтлыхъ явленій.

Въ концѣ прошлаго 1888 года между газетой «Недѣля» и Н. В. Шелгуновымъ (въ «Русской Мысли») произошла любопытная, хотя и очень быстро окончившаяся полемика на тему о «мрачныхъ и свѣтлыхъ явленіяхъ» русской жизни. Въ мой планъ не входитъ разговоръ о всѣхъ сторонахъ этой полемики; я хотѣлъ бы остановить вниманіе читателей лишь на одномъ ея пунктѣ. «Недѣля» сочла возможнымъ и удобнымъ упрекнуть уважаемаго автора «Очерковъ русской жизни» въ систематическомъ подборѣ мрачныхъ явленій, тогда какъ, дескать, необходима именно «популяризація свѣтлыхъ явленій, какъ лучшее средство указанія положительныхъ путей, на которые нужно выходить людямъ, стремящимся къ улучшенію мрачной дѣйствительности», необходимы «бодрящія впечатлѣнія». Не довольствуясь этимъ наставленіемъ, «Недѣля» отъ себя привела рядъ «свѣтлыхъ явленій, ограничиваясь послѣднимъ годомъ», цѣлыхъ 23 свѣтлыхъ явленія. Н. В. Шелгуновъ съ своей стороны фактически, указаніемъ содержанія нѣсколькихъ своихъ ежемѣсячныхъ обозрѣній, доказалъ несправедливость обращеннаго къ нему упрека въ односторонности освѣщенія русской жизни; при этомъ оказалось, что г. Шелгунову неоднократно случалось отмѣчать несравненно болѣе свѣтлыя явленія, чѣмъ тѣ, которыя указаны «Недѣлей» и которыя вдобавокъ относятся отнюдь не всѣ къ «послѣднему году». Меня интересуетъ во всемъ этомъ собственно только списокъ «свѣтлыхъ явленій», предъявленный «Недѣлей». Выписывать его весь было бы долго и скучно, но такъ какъ авторъ раздѣлилъ его на группы, то полагаю, что, выбравъ изъ каждой группы по одному образчику, я дамъ читателямъ, незнакомымъ со статьей «Недѣли», удовлетворительное понятіе о «свѣтлыхъ явленіяхъ».

1) Въ Подольской губерніи населеніе одного мѣстечка устроило торжественныя похороны акушеркѣ, принявшей въ теченіе своей долгой жизни болѣе 5,000 дѣтей. 2) Въ Томскѣ образовалось и процвѣтаетъ

«Общество попеченія о наордномъ образованіи», благодаря дѣятельности котораго Томскъ по относительному числу дѣтей, получающихъ начальное образованіе, занимаетъ первое мѣсто среди всѣхъ русскихъ городовъ, не исключая и столицъ. 3) Въ Ставрополѣ Кавказскомъ недавно уствоилась безплатная столовая для бѣдныхъ. 4) Въ Звенигородѣ энергія одного человѣка сдѣлала невозможными злоупотребленія цѣлой группы лицъ, завладѣвшей городскимъ управленіемъ.

Таковы образчики свѣтлыхъ явленій, подлежащихъ «популяризаціи» и долженствующихъ, по мнѣнію «Недѣли», произвести «бодрящее впечатлѣніе». Нельзя однако не замѣтить, что они довольно-таки мизерны, особенно, если принять въ соображеніе, что авторъ подбиралъ ихъ съ спеціальною цѣлью блеснуть свѣтлыми явленіями. Онъ старался, искалъ и—что же онъ нашелъ? Если разсматривать житейскія явленія въ микроскопъ, то безспорно отмѣченные «Недѣлей» факты должны производить хорошее впечатлѣніе. Но подъ микроскопомъ могутъ быть разсматриваемы только малые предметы, или малыя доли большихъ. Отрадно, конечно, что въ Томскѣ хорошо поставлено начальное образованіе, а жители Томска сверхъ того еще могутъ справедливо гордиться тѣмъ, что они въ этомъ отношеніи занимаютъ первое мѣсто среди всѣхъ русскихъ городовъ, не исключая столицъ; но вѣдь, съ другой стороны, это значитъ, что всѣ русскіе города, не исключая столицъ, отстали отъ Томска, а что же въ этомъ отраднаго? Хорошо конечно, что въ Звенигородѣ нашелся «одинъ человѣкъ», успѣшно противоборствующій злоупотребленіямъ цѣлой группы лицъ, но вѣдь, съ другой стороны, это значитъ, что въ Звенигородѣ существуетъ цѣлая группа лицъ, склонныхъ къ злоупотребленіямъ, и только одинъ человѣкъ, противостоящій имъ, а опять-таки что же въ этомъ отраднаго? Дай Богъ долгаго, долгаго вѣка всѣмъ хорошимъ людямъ вообще и хорошему звенигородцу въ частности, но онъ всетаки смертенъ, и въ одинъ прескверный день Звенигородъ можетъ оказаться безъ «одного». Затѣмъ, если «одинъ» звенигородецъ усматривается въ микроскопъ, то не значитъ ли это, что въ другихъ городахъ нѣтъ даже «одного»? Вообще весь списокъ «Недѣли» производитъ впечатлѣніе какъ разъ обратное тому, какое онъ хочетъ произвести. Онъ не только не вызываетъ ничего «бодрящаго», а наводитъ напротивъ на грустныя, гнетущія мысли. Неужели мы въ самомъ дѣлѣ такъ бѣдны свѣтлыми явленіями, что спеціалистъ по части разысканія таковыхъ считаетъ возможнымъ помѣстить въ число ихъ даже торжественныя похороны акушерки, принявшей болѣе 5,000 дѣтей? Подумайте, сколько безсонныхъ ночей провела эта женщина, какъ трепались ея нервы, сколько силы она потратила на своихъ согражданъ, и неужели же въ виду этого можно хвастаться, какъ «свѣтлымъ явленіемъ», тѣмъ, что ее какъ слѣдуетъ похоронили? Очень ужъ высоко цѣнимъ мы свою благодарность! И замѣтьте, что мы узнаемъ только о похоронахъ, а какъ жилось этой труженицѣ, чѣмъ платили ей сограждане при жизни,—объ этомъ списокъ свѣтлыхъ явленій умалчиваетъ.

Я отнюдь не сомнѣваюсь въ существованіи свѣтлыхъ явленій на Руси. Напротивъ, я вполнѣ увѣренъ, что ихъ много. Но должно быть ихъ слѣдуетъ искать не такъ, какъ это дѣлаетъ «Недѣля». Во всякомъ случаѣ поиски ея нельзя назвать удачными, и это не единственный примѣръ неудачи.

Упрекъ «Недѣли» не новъ, но до сихъ поръ онъ исходилъ обыкновенно изъ другого источника! Недавно, возражая одной польской газетѣ по поводу пребыванія въ Варшавѣ передвижной выставки, «Варшавскій Дневникъ» замѣтилъ, что русскимъ художникамъ вредитъ, между прочимъ, «наклонность изображать преимущество отрицательныя, болѣзненныя, зачастую отвратительныя или карикатурныя явленія жизни; русскіе художники, гоняясь за реалистической правдой, боятся, къ сожалѣнію, здоровой идеализаціи жизни, особенно своей русской».

Знакомыя рѣчи! Онѣ обращаются чаще всего не къ художникамъ, а къ русской литературѣ, точнѣе сказать, къ извѣстной части литературы. Наша такъ называемая «консервативная» печать то и дѣло упрекаетъ своихъ противниковъ въ томъ, что они рисуютъ русскую жизнь въ слишкомъ мрачномъ освѣщеніи, выставляя на видъ боль, скорбь, грязь, нищету, невѣжество, порокъ и отодвигая на задній планъ все доброе, всѣ «свѣтлыя явленія». Этотъ упрекъ обыкновенно осложняется обличеніями въ недостаткѣ любви къ отечеству, чуть не въ измѣнѣ и во всякомъ случаѣ въ неблагонамѣренности. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ редакторъ Гражданина князь Мещерскій предпринялъ даже, въ противовѣсъ этому господствующему будто бы въ нашей литературѣ направленію, особое періодическое изданіе подъ названіемъ *Добро*, гдѣ должны были сосредоточиваться свѣдѣнія, способныя возбуждать исключительно ликованія въ сердцахъ людей, любящихъ свое отечество. Ничего, впрочемъ, изъ этого *Добра* не вышло, и самая затѣя отцвѣла, не успѣвши расцвѣсть, хотя и тогда уже можетъ быть

существовалъ одинъ звенигородецъ, а какой нибудь городъ навѣрное занималъ въ какомъ нибудь отношеніи первое мѣсто среди всѣхъ русскихъ городовъ. Надо однако цѣнить добрыя намѣренія: «консервативной» печати вполнѣ приличествуетъ желаніе видѣть бодрыя лица, блистающія вѣрою и надеждою глаза, ибо это одинъ изъ *raisons d'etre* «консерватизма». Если мы видимъ кругомъ себя ликованія, такъ понятно, что есть что охранять этому ликующему обществу. Бѣда однако въ томъ, что самое это слово «консерватизмъ», имѣющее такой ясный, непререкаемый смыслъ, по нынѣшнему времени какъ-то странно писать безъ ковычекъ или безъ эпитетовъ въ родѣ «такъ называемый». Наша нынѣшняя консервативная или именующая себя консервативною печать занята не охраненіемъ, а напротивъ—разрушеніемъ всѣхъ основъ нашей гражданственности, какъ онѣ сложились за послѣдніе два-три десятка лѣтъ. Ея программа исчерпывается грознымъ рѣшеніемъ пушкинскаго Фауста: «все утопить!» А если все утопить, такъ что же остается охранять? Тотъ же кн. Мещерскій, который затѣвалъ спеціальное *Добро*, требуетъ, напримѣръ, отмѣны реформъ, сократившихъ область примѣненія тѣлеснаго наказанія. Но вѣдь за свѣтлыя явленія, за «добро» не сѣкутъ, и самъ кн. Мещерскій не потребуетъ, конечно, чтобы сѣкомые имѣли бодрыя лица, блистающіе вѣрой и надеждой глаза. Не удивительно поэтому, что *Добро* не вытанцовалось. Удивительно другое. Удивительно то, что печать, именующая себя консервативною, упрекаетъ своихъ противниковъ въ пристрастіи къ изображенію темныхъ явленій и въ то же время сама рисуетъ русскую жизнь столь мрачными красками, что безъ розги даже никакъ невозможно!

Но примиримся съ этимъ маленькимъ противорѣчіемъ. Допустимъ, что тѣ стороны русской жизни, которыя такъ или иначе затронуты или созданы «злосчастными», какъ нынѣ говорятъ, реформами,—что эти стороны темнѣе ночи. Это вѣдь еще не значитъ, что въ нашей жизни свѣтлыхъ явленій совсѣмъ нѣтъ. Только надо ихъ искать въ сферахъ, по возможности не затуманенныхъ «злосчастными» реформами, и конечно именно этимъ должна заняться такъ называемая консервативная печать. Она только въ виду временнаго тумана, нанесеннаго реформами, проникласъ духомъ отрицанія и разрушенія; она только скрѣпя сердце рекомендуетъ розги и другія невеселыя вещи. Въ сущности же она консервативна, ибо основныя теченія русской жизни подлежатъ охраненію, и желаетъ питать общество отнюдь не мрачными впечатлѣніями, ибо въ тѣхъ основахъ нѣтъ мѣста мраку и печали. Картины русской жизни, освѣщенной съ этой жизнерадостной точки зрѣнія, слѣдовало бы въ особенности ожидать отъ беллетристическаго отдѣла консервативной печати. Беллетристика имѣетъ дѣло не съ непосредственными житейскими впечатлѣніями, не съ конкретными фактами живой дѣйствительности; она перерабатываетъ ихъ «въ горнилѣ вдохновенія» и, значитъ, можетъ выбирать для эксплуатаціи любыя стороны жизни,—иное совсѣмъ пропустить, иное возвести «въ перлъ созданія», изъ слабаго намека возсоздать идеальный образъ. Къ сожалѣнію, большинство представителей консервативной беллетристики отличается рѣзко воинствующимъ характеромъ. Тотъ же кн. Мещерскій, покойный Маркевичъ, г. Орловскій и др. ведутъ свою двусмысленно «консервативную» линію и въ беллетристикѣ: отрицаютъ «злосчастныя» реформы, полемизируютъ съ разными «вѣяніями» при помощи образовъ и карттинъ. Оперируя такимъ образомъ надъ Русью зараженною, отуманенною, они естественно не могутъ дать читателю тѣхъ свѣтлыхъ впечатлѣній, которыхъ, впрочемъ, требуютъ отъ своихъ противниковъ. Есть однако нѣсколько беллетристовъ консервативнаго лагеря, относящихся къ вопросу о злосчастныхъ реформахъ довольно равнодушно, по крайней мѣрѣ не касающихся его въ своихъ произведеніяхъ. Эти-то для насъ особенно интересны, такъ какъ именно отъ нихъ, освобожденныхъ отъ полемическихъ и иныхъ отрицательныхъ задачъ, мы въ правѣ ожидать цѣлой картинной галлереи добра, свѣтлыхъ явленій, бодрящихъ впечатлѣній.

Къ числу такихъ въ высшей степени интересныхъ писателей принадлежитъ сотрудникъ «Гражданина» и «Русскаго Вѣстника», кн. Дм. Голицынъ, болѣе извѣстный подъ псевдонимомъ Муравлина. Онъ напомнилъ о себѣ недавно сборникомъ разсказовъ, озаглавленнымъ «Князья» (въ немъ, кромѣ собственно «Князей», напечатано еще десять разсказовъ: «Женихъ», «Декабремъ» и проч.). Нѣсколько лѣтъ тому назадъ г. Муравлинъ обратилъ на себя вниманіе читающей публикѣ и критики, въ качествѣ новинки, не лишенной нѣкоторой загадочности. Въ его первыхъ произведеніяхъ «Убогіе и нарядные», «Теноръ»—сквозила какая-то сила, хотя и болѣзненная, но, казалось, оригинальная и недюжинная. Не то, чтобы въ его лицѣ поднялась на нашемъ литературномъ горизонтѣ новая яркая звѣзда съ опредѣленными индивидуальными чертами, но и то уже было цѣнно, что онъ заставлялъ о себѣ думать, возбуждалъ ожиданіе, хотя бы и вопросительнаго

характера. Однако послѣдующими своими произведеніями—«Мракъ», «Баба» «Хворь», «Около любви» г. Муравлинъ быстро исчерпалъ возбужденный имъ интересъ. Литературная физіономія его вполнѣ опредѣлилась, и никакимъ ожиданіямъ уже нѣтъ болѣе мѣста. Г. Муравлинъ, конечно, талантливъ, но талантъ его довольно скуденъ и въ смыслѣ силы, и въ смыслѣ ширины захвата житейскихъ явленій. Его психологія, почти всегда совершенно произвольная или плохо мотивированная, отдаетъ какою-то странною затхлостью, такъ что, слѣдя за душевными движеніями его дѣйствующихъ лицъ, точно въ затянутомъ плѣсенью и паутиной подземельи сидишь. Произведенія его будутъ еще вѣроятно нѣкоторое время перелистывать безъ большой скуки, но о томъ, чтобы онъ когда нибудь властно шевельнулъ мысль и чувство читателя, не можетъ быть, разумѣется, и помина. Полагаю, что это не личное мое только мнѣніе, а нѣкоторымъ образомъ *vox populi*. Поэтому не для критической оцѣнки произведеній г. Муравлина я завелъ о нихъ рѣчь. Незачѣмъ ломиться въ отворенную настежь дверь и доказывать то, что всѣми и безъ того признается. Но въ произведеніяхъ г. Муравлина есть одна сторона, на которую стоитъ обратить вниманіе. Принадлежа къ такъ называемому консервативному лагерю, г. Муравлинъ однако нигдѣ въ своихъ произведеніяхъ не касается заразы реформъ, просто обходитъ ихъ, какъ будто основы русской жизни, подлежащія охраненію, такъ-таки никогда и не были осквернены ни крестьянскимъ и земскимъ самоуправствомъ, ни гласнымъ судомъ, ни разнузданностью печати, ни разнаго города «измами». Ухитрясь рисовать современную русскую жизнь внѣ всѣхъ этихъ золъ, г. Муравлинъ, казалось бы, долженъ, въ качествѣ сотрудника «Русскаго «Вѣстника» и «Гражданина», предъявить тѣ «свѣтлыя явленія», то «добро», различать которое консервативной печати такъ необходимо.

Разсчетъ, кажется, ясный и вполнѣ логическій. Но увы! горько ошибется тотъ, кто въ самомъ дѣлѣ обратится къ произведеніямъ г. Муравлина за «свѣтлыми явленіями». Уже въ самыхъ заглавіяхъ нѣкоторыхъ изъ нихъ есть что-то зловѣщее: «Мракъ», «Хворь»; а проникая дальше заглавій, временами поистинѣ приходишь въ ужасъ.

Въ послѣднемъ, недавно вышедшемъ сборникѣ есть маленькій разсказъ «Шальной». Содержаніе его состоитъ въ томъ, что нѣкоторый молодой человѣкъ падаетъ на одной изъ петербургскихъ улицъ «пьяный отъ голода». Въ разсказѣ «Деньги» одинъ чиновникъ, пользуясь темнотою ночи и безлюдностью захолустной улицы, душитъ другого чиновника, грабить его, но тутъ же и самъ, ища похищеннаго бумажника, падаетъ и замерзаетъ, такъ что на утро находятъ два трупа. Въ разсказѣ «Счастливая» молодая петербургская барыня безсердечно отказываетъ въ пріютѣ старику-дядѣ, которому многимъ обязана... И т. д., и т. д.

А! невесело живется въ Петербургѣ и не здѣсь, конечно, нашелъ бы кн. Мещерскій матеріалы для своего *Добра*. Но неужели же въ самомъ, дѣлѣ Петербургъ такъ скуденъ по части свѣтлыхъ явленій и такъ богатъ явленіями темными, что художникъ, самымъ положеніемъ своимъ призванный къ разысканію «добра», вынужденъ эксплуатировать полицейскій «дневникъ происшествій» и случаи безсердечнаго эгоизма? Безъ сомнѣнія въ Петербургѣ слишкомъ часто случаются какъ всякаго рода преступленія, такъ и факты душевнаго холода и черствости; но ими не исчерпывается жизнь, и рѣшительно не видно, почему исключительно на нихъ должно сосредоточиваться вниманіе художника вообще, представителя такъ называемой консервативной печати въ особенности. Но можетъ быть Петербургъ по старой памяти все еще слыветъ очагомъ либерализма, радикализма, нигилизма, и я не знаю еще чего, и, въ качествѣ такого, заслуживаетъ съ консервативной точки зрѣнія огульно мрачнаго освѣщенія. Не говоря однако о томъ, что Петербургъ за послѣднее время весьма и весьма исправился и уже одна наличность редакцій «Русскаго Вѣстника» и «Гражданина» должна бы, кажется, гарантировать ему нѣкоторую долю свѣта и добра,—не говоря объ этомъ, г. Муравлинъ видитъ «мракъ» и «хворь» не въ одномъ Петербургѣ. Правда, онъ рѣдко дѣлаетъ изъ него экскурсіи, но всетаки есть у него, напримѣръ, романъ «Баба», дѣйствіе котораго и начинается, и продолжается, и оканчивается въ деревнѣ. Однако и тамъ авторъ не радуетъ читателя ни единымъ свѣтлымъ впечатлѣніемъ, буквально ни единымъ...

Я долженъ быть краток и потому не стану распространяться о вещахъ, занимающихъ въ писаніяхъ г. Муравлина второстепенное мѣсто. И деревенская жизнь, и жизнь мелкаго столичнаго люда, въ родѣ того молодого человѣка, что упалъ отъ голода на улицѣ, или того чиновника, что ограбилъ другого и самъ замерзъ,—все это лишь изрѣдка и случайно обращаетъ на себя творческое вниманіе г. Муравлина. У него есть своя спеціальная область, въ которой онъ особенно охотно вращается и чувствуетъ себя вполнѣ дома. Это — жизнь нашего большого свѣта, аристократическихъ слоевъ

общества. Но «добра» нашъ мрачный авторъ и здѣсь не находитъ. Мало того, самый тенденціозный демократъ не съумѣлъ бы представить такую ужасающую картину разврата, низости, тупости, вырожденія тѣхъ, которые, по выраженію поэта, «вверху стоятъ, что городъ на горѣ, дабы всѣмъ виденъ былъ».

Хотите ли знать, какъ, по свидѣтельству г. Муравлина, воспитываются дѣти нашихъ князей и графовъ? Въ «Убогихъ и нарядныхъ» нѣкій князь Чернскій поселяетъ своего двѣнадцатилѣтняго сына у своей содержанки, наглой, глупой кокотки француженки, которая тайкомъ отъ стараго князя продается и другимъ. Двѣнадцатилѣтній княжекъ отлично понимаетъ ужасную оригинальность своего положенія; онъ, напримѣръ, говоритъ г-жѣ Таржетъ (такъ зовутъ кокотку), чтобы она не безпокоилась, онъ не разскажетъ отцу про то, что вотъ у нея сегодня собрались тайкомъ гости-мужчины и кутятъ, и грязныя пѣсни поютъ... Потомъ несчастнаго князька забрасываютъ въ какой-то ужасный пансіонъ, гдѣ его бьютъ и сѣкутъ. Въ «Тенорѣ» князь Чавровъ водитъ своего шестилѣтняго сына въ игорныя залы курортовъ, на томъ основаніи, что мальчикъ приноситъ ему счастье въ рулеткѣ. Потомъ князька Чаврова отдаютъ опять же въ ужасный пансіонъ, гдѣ его бьютъ и морятъ голодомъ...

Хотите знать, какъ титулованные герои г. Муравлина сводятъ окончательные счеты съ жизнью? Въ разсказѣ «Декабремъ» (въ сборникѣ «Князья») семидесятилѣтній князь Могиловъ-Стольный уныло и одиноко доживаетъ свои послѣдніе дни въ родовой усадьбѣ. Отъ скуки онъ перебираетъ старыя письма. Ему попадается прежде всего клочекъ бумаги, на которомъ написано одно только слово *oui*. Это отвѣтъ его жены на первое его признаніе въ любви. Старый князь хладнокровно роняетъ на коверъ эту бумажку. Письмо сына, убитаго подъ Горнымъ Дубнякомъ,—подъ столъ. Письма друзей, все денегъ просятъ,—подъ столъ. Записка генерала Рейнберга, обѣщающая министерскій постъ. Старый князь сердито вспоминаетъ, что это оказалось ложью. Записка нѣкоей *Léonie*... «Старикъ, не дрогнувшій сердцемъ при чтеніи писемъ жены, сына, друга, цѣлуетъ записку опереточной пѣвицы, ребячески плачетъ, страдаетъ»...

Можно себѣ представить, что въ промежуткѣ между такой утренней и такой вечерней зарей найдется не особенно много добра и свѣта. Въ числѣ дѣйствующихъ лицъ г. Муравлина есть слѣдующіе экземпляры и сцены. Въ «Князьяхъ» нѣкоего графа Надсадина, большой руки негодяя, нѣкій князь Могиловъ-Стольный (не тотъ, который плачетъ надъ письмомъ кокотки, а другой, молодой; г. Муравлинъ вообще любитъ повторять въ разныхъ своихъ произведеніяхъ однѣ и тѣ же фамиліи) публично деретъ за уши, и тотъ публично же плачетъ. Въ «Убогихъ и нарядныхъ» фигурируетъ нѣкто Медоръ или Медорка. Это когда-то богатый, но разорившійся помѣщикъ, котораго выручилъ князь Курлыкинъ: заплатилъ за него долги, съ тѣмъ, чтобы онъ приходилъ къ нему каждый день декламировать Ламартина и Виктора-Гюго. Постепенно Медорка превратился въ шута. Разсказъ застаетъ его въ домѣ графа Фремаль, гдѣ надъ нимъ издѣваются безъ всякой жалости, прямо бьютъ и, наконецъ, доводятъ до сумасшествія. Эти сцены надругательства сильнаго надъ слабымъ и готовности слабаго унижаться до послѣдней степени кн. Голицынъ-Муравлинъ особенно любитъ рисовать, часто впадая даже въ очевидный пересолъ (напр., въ разсказѣ «Женихъ»). Но и всякаго другого рода низости щедрою рукою разсыпаны по его произведеніямъ. Въ разсказѣ «Убогіе заграницей» молодой князь Перехватъ-Литовскій обворовываетъ своего товарища и своего отца, причемъ родители этого князька и двѣ его родственницы—графиня Мурзикова и княжна Чернская—играютъ роль какихъ-то шутовъ гороховыхъ. Въ «Тенорѣ» три представительницы семьи князей Чавровыхъ,—сама княгиня, уже не молодая женщина, ея дочь и племянница,—единовременно вступаютъ въ любовную связь съ ничтожнымъ проходимцемъ, и княжна Чаврова кончаетъ карьерой настоящей кокотки. Въ томъ же «Тенорѣ» и въ «Убогихъ и нарядныхъ» есть отвратительныя сцены грязнаго трактирнаго пьянства, буйства и разврата, гдѣ разные князья Дорогобужскіе, князья Невригины, бароны Пацъ фонъ-Пацгеймы, князья Чавровы и другіе представители блестящей аристократической молодежи выслушиваютъ окрикъ «веселой барышни Акульки»: «всѣ вы дураки, подлецы, мерзавцы!»

Довольно, я думаю. Не перечесть всѣхъ тѣхъ чертъ грязи, низости, разврата, которыми г. Муравлинъ, состоя въ рядахъ консервативной печати, рисуетъ русскихъ людей вообще и нашъ аристократическій міръ въ особенности и, повторяю, рисуетъ внѣ всякаго отношенія къ злосчастнымъ реформамъ: всѣ эти князья и княгини, графы и графини живутъ своею, совсѣмъ особою жизнью, къ которой реформы не имѣютъ никакого касательства; онѣ тамъ даже не поминаются ни добромъ, ни лихомъ.

Есть и лучи свѣта въ этомъ страшномъ мірѣ «мрака» и «хвори». Но какъ блѣдны,

какъ скудны эти лучи и въ количественномъ, и въ качественномъ отношеніи! Въ «Тенорѣ» фигурируютъ два брата князья Чавровы, понимающіе, какое море пошлости, низости и чисто животной жизни вокругъ нихъ волнуется, и страдающіе отъ этого сознанія. Но одинъ изъ нихъ, старшій, вялъ, апатиченъ, ничтоженъ и кончаетъ самоубійствомъ. Другой пылокъ, уменъ и вообще, по замыслу автора, недюжинная натура. Но его протестъ противъ окружающаго зла отливается исключительно въ грубыя формы площадной брани и драки. Одному изъ дѣйствующихъ лицъ онъ грозитъ «при первой встрѣчѣ выворотить физіономію», другого «трясетъ за шиворотъ» и прямо бьетъ, а кончаетъ онъ самоубійствомъ. Въ «Князьяхъ» есть также хорошіе люди, также два брата князья Могиловы - Стольные, но старшій опять-таки плохъ, а младшій опять-таки дерется (деретъ графа Надсадина за уши), и добро при этомъ отнюдь не торжествуетъ. Кулакъ, настоящій кулакъ, въ буквальномъ смыслѣ слова, какъ *ultima ratio* благородныхъ людей г. Муравлина, оказывается все-же безсильнымъ въ борьбѣ съ моремъ зла...

Вѣрно или невѣрно изображено все это кн. Голицынымъ-Муравлинымъ—я не знаю. Ему и книги въ руки, на немъ и отвѣтственность лежитъ за правдивость его картинъ и образовъ. Я отмѣчаю только чисто литературный фактъ: писатель, подвизающійся въ рядахъ такъ называемой консервативной печати, которая столь настоятельно требуетъ отъ своихъ противниковъ «свѣтлыхъ явленій» и «добра», самъ даетъ только картины полнаго разложенія и вырожденія цѣлаго общественнаго слоя.

Возьмемъ другого беллетриста, принадлежащаго къ такъ называемой консервативной печати, но, подобно г. Муравлину, ухитрившагося рисовать русскую жизнь безъ всякаго отношенія къ злосчастнымъ реформамъ. — Это недавно умершій Н. Морской (Лебедевъ). Тоже нелишенный таланта, Лебедевъ страдалъ пристрастіемъ къ яркимъ, кричащимъ эффектамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ какою-то дѣланною, непріятною, отнюдь не художественною тягучестью письма. Эти двѣ черты совсѣмъ затерли его небольшой талантъ, и можетъ быть очень многимъ изъ читателей Лебедевъ даже совсѣмъ неизвѣстенъ. Отъ него остались, между прочимъ, два довольно большія произведенія, имѣющіяся въ отдѣльныхъ изданіяхъ: «картины нравовъ» подъ заглавіемъ «Аристократія Гостиннаго двора» и романъ «Содомъ», Здѣсь передъ нами развертывается бытъ другого общественнаго слоя, богатаго купечества. Трудно однако сказать, что хуже: тотъ ли міръ, который привлекаетъ къ себѣ творческое вниманіе г. Муравлина, иля тотъ, который эксплуатируется Лебедевымъ.

Въ романѣ «Содомъ» богатый купчикъ Залетаевъ на деньги, со взломомъ украденныя у отца, покупаетъ себѣ любовницу. Любовница эта живетъ и съ его отцомъ, но старикъ, такъ сказать, оффиціально живетъ съ кухаркой и въ то же время хочетъ купить или другимъ какимъ путемъ взять третью любовницу. Жена его не только въ этомъ не препятствуетъ, а даже помогаетъ, въ свою очередь откровенно сообщая и мужу, и сыну о своихъ собственныхъ любовникахъ. Изъ этого зерна развертывается такое многосложное сцѣпленіе мерзости и уголовщины, которое трудно даже и передать. Тутъ и переодѣтые въ священниковъ жиды, совершающіе поддѣльный бракъ, и изнасилованія, и убійства, и кражи, и самый необузданный развратъ. Среди всего этого по истинѣ «содома» есть только одинъ честный человѣкъ, о которомъ мы узнаемъ очень немногое: «молодой человѣкъ неопредѣленной профессіи, но, кажется, съ нѣкоторыми средствами, по фамиліи Павловъ». И этотъ единственный честный человѣкъ оскорбленъ въ своихъ лучшихъ чувствахъ. Есть, правда, еще порядочная женщина, дѣвица Золотницкая, но она, подло обманутая и обезчещенная отцомъ и сыномъ Залетаевыми, отравляется. Не везетъ свѣтлымъ явленіямъ въ «содомѣ»!

«Аристократія Гостиннаго двора» въ своемъ родѣ едва ли даже не болѣе ужасна, чѣмъ «Содомъ». Эти «картины нравовъ» написаны нѣсколько тоньше, авторъ въ нихъ постарался нѣсколько глубже заглянуть въ многосложность человѣческой души и всетаки не нашелъ свѣтлыхъ явленій. Тамъ есть между прочимъ одна истинно трагическая и хорошо задуманная, хотя грубо выполненная фигура молодого архимилліонера Дудкина. Его отецъ самъ еще сидитъ въ лавкѣ и ходитъ въ длиннополомъ сюртукѣ, а молодой Дудкинъ до того разслабленъ, что долженъ бѣлиться и румяниться, до того пресыщенъ, что вздыхаетъ о временахъ римскихъ кровавыхъ театральныхъ зрѣлищъ, и до того развратенъ, что самыя развратныя продажныя женщины не могутъ ему угодить. Это сопоставленіе представителей двухъ поколѣній какъ бы свидѣтельствуетъ о быстротѣ, съ которою идетъ процессъ разложенія въ средѣ «аристократіи Гостиннаго двора».

Такъ вотъ что, по свидѣтельству людей, завѣдомо благонамѣренныхъ въ «консервативномъ» смыслѣ, творится въ высшихъ слояхъ русскаго общества, въ титулованномъ дворянствѣ и именитомъ купечествѣ, и именно

въ ихъ интимномъ быту, незатронутомъ злосчастными реформами. Я не стану упрекать кн. Голицына-Муравлина или покойнаго Лебедева въ неблагонамѣренности, въ недостаткѣ любви къ отечеству или въ измѣнѣ, а вѣдь это такъ легко было бы сдѣлать, придерживаясь шаблоновъ, установленныхъ «консервативною» печатью. Я спрошу только: гдѣ же «добро» наконецъ, гдѣ «свѣтлыя явленія», когда ищущіе ихъ, какъ «Недѣля», *froh sind, wenn sie Regenwürmer finden*, обязанные ихъ найти, какъ беллетристы такъ называемаго консервативнаго лагеря, даютъ картины безпросвѣтнаго мрака и содома?

III.

Молодость-ли?

Похоронили Щедрина. Взволнованное общественное чувство еще не вполнѣ улеглось. Великій писатель и смертью своею сослужилъ русскому обществу ту самую службу, которую несъ всю жизнь: встряхнулъ его, приподнялъ,—увы!—въ послѣдній разъ и, боюсь, не надолго. На обязанности литературы лежитъ возможно дольше удержать вниманіе общества на понесенной имъ потерѣ. Я надѣюсь съ теченіемъ времени представить посильный анализъ всѣхъ сочиненій покойника и характеристику его, какъ писателя *). Но и теперь, о чемъ бы ни думалъ, невольно обращаешься мыслью къ Волкову кладбищу, гдѣ засыпанъ землею Салтыковъ...

Есть люди, на улицѣ которыхъ былъ праздникъ, а не похороны, въ день похоронъ Щедрина. Но это такое ничтожное меньшинство, что тѣ тысячи людей, которые пришли проводить покойника въ страну небытія, по справедливости могли себя считать представителями всероссійскаго горя. Въ этомъ смыслѣ говорились рѣчи на могилѣ, писались статьи въ газетахъ. Ко многому изъ сказаннаго и написаннаго (отнюдь не ко всему) я вполнѣ присоединяюсь, но я имѣю и нѣчто прибавить.

Говоря о Щедринѣ, слишкомъ часто забываютъ, что онъ былъ не только великій писатель, великій сатирикъ, а и журналистъ. Журналистъ, то есть человѣкъ вполнѣ опредѣленнаго направленія, которое и выражалось въ руководимомъ имъ журналѣ. Если поэтому 2-го мая происходили похороны на всероссійской улицѣ, такъ есть, скажемъ, переулки, гдѣ было особенно мрачно, особенно печально въ дождливый, мрачный день 2-го мая. Первый изъ этихъ переулковъ есть нашъ—ближайшихъ сотрудниковъ Щедрина, а затѣмъ и прочихъ единомышленниковъ, въ болѣе тѣсномъ смыслѣ этого слова. Великій талантъ Щедрина поднималъ его высоко надъ всѣми оттѣнками нашихъ партій, но умомъ и сердцемъ онъ принадлежалъ извѣстному, вполнѣ опредѣленному направленію. Здѣсь не мѣсто говорить объ этомъ направленіи, и я хочу напомнить фактъ, повторяю, слишкомъ часто и слишкомъ охотно забываемый. А между тѣмъ грѣшно бы, кажется, забывать то, на служеніе чему покойникъ тратилъ столько силъ и ради чего онъ отказался отъ спокойной, почетной роли художника-созерцателя, съумѣвшаго взобраться «на ту высокую гору, гдѣ роза безъ шиповъ растетъ». Фельетонистъ одной петербургской газеты, рискнувшій на развязную параллель между Салтыковымъ и покойнымъ министромъ гр. А. Д. Толстымъ, попрекнулъ великаго писателя тѣмъ, что онъ иногда «по своимъ билъ». Нѣтъ, онъ хорошо зналъ «своихъ», и тѣ, по комъ онъ билъ, были не свои ему, какія бы клички они ни носили. Онъ не боялся кличекъ, и самъ раздавалъ ихъ. «Пѣнкосниматели» испытали это на себѣ съ такою же явственностью, какъ и «торжествующая свинья». Не въ видахъ сколько-нибудь полной характеристики Щедрина, какъ журналиста, а просто такъ, къ слову, я напомню еще одну черту. Щедринъ былъ сатирикъ, значитъ, положительныхъ типовъ у него искать нечего. Сатирикъ, «любя наказуетъ». Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы онъ любилъ именно тѣхъ, кого наказуетъ. Изслѣдовавъ всѣ слои русскаго общества вдоль и поперекъ (сплошь и рядомъ писанія Щедрина представляютъ собою именно изслѣдованія), онъ отнюдь не безразлично хлесталъ своимъ сатирическимъ бичемъ направо и налѣво. Относительнымъ количествомъ и яркостью отрицательныхъ типовъ, выхваченныхъ изъ того, изъ другого, третьяго слоя, можно придти къ нѣкоторымъ заключеніямъ на счетъ того пункта, къ которому тяготѣли его симпатіи, упованія, ожиданія. Въ качествѣ человѣка, пятнадцать лѣтъ работавшаго съ нимъ рука объ-руку въ журналистикѣ, я имѣлъ бы, можетъ быть, право сослаться на свои личныя наблюденія и воспоминанія. Но я не хочу этого дѣлать. Я просто предлагаю читателю поискать въ самихъ сочиненіяхъ Щедрина область того минимума отрицательныхъ типовъ, которая есть вмѣстѣ съ тѣмъ область максимума его симпатій, надеждъ и довѣрія. Пропуская передъ своею памятью длинную вереницу созданныхъ Салтыковымъ образовъ, читатель, я полагаю, убѣдится, что такихъ областей двѣ: во-первыхъ, русскій народъ; во-вторыхъ—русская молодежь. Полагая впослѣдствіи пристальнѣе остановиться на этомъ

*) См. «Сочиненія», т. V.

обстоятельствѣ, заслуживающемъ самаго серьезнаго вниманія, я теперь опять-таки просто напоминаю фактъ. Въ пониманіи Щедринымъ народа не было, конечно, ничего мистическаго. Внѣшними формами его тоже соблазнить нельзя было, и въ какія бы высокія, истинно-національныя голенища ни засовывали Колупаевы или Разуваевы свои штаны, какъ бы аккуратно ни исполняли они завѣты предковъ по части хожденія по субботамъ въ баню и т. п.,—Щедринъ твердо зналъ, что это совсѣмъ не народъ, а просто «чумазый идетъ». Не сюда тяготѣли его симпатіи, а къ тому сѣрому Мосеичу, юбилей котораго онъ такъ торжественно и выразительно отпраздновалъ въ «Снѣ въ лѣтнюю ночь». Самъ неустанный работникъ, страстно любившій свой трудъ, онъ не только не замахнулся на Мосеича сатирическимъ бичемъ, но создалъ изъ него едва-ли не единственную свою положительную фигуру. Точно также, самъ почти до смертнаго часа молодой въ смыслѣ свѣжести идеаловъ и стремленій, онъ не могъ быть подкупленъ голымъ фактомъ молодости — малымъ количествомъ лѣтъ. Его симпатіи и довѣріе обращались лишь къ той молодежи, которая духомъ молода, которая полна запросовъ и взмаховъ, слишкомъ часто исчезающихъ съ годами, подъ бременемъ жизненной ноши, но, конечно, отнюдь не всегда составляющихъ и аттрибутъ молодежи. «Умѣренныя и аккуратныя» дѣти были такъ же презираемы покойникомъ, какъ и «умѣренные и аккуратные» отцы и какими бы великолѣпными именами въ родѣ «отрезвленія», «оздоровленія» и проч. ни называлось пониженіе уровня духовной жизни, Щедринъ зналъ, что̀ за этими словами кроется.

Щедринъ давно уже сообщался съ жизнью главнымъ образомъ, а потомъ и исключительно черезъ литературу; подъ конецъ онъ уже и читалъ мало. Но онъ представлялъ собою нѣчто въ родѣ чрезвычайно чувствительнаго барометра: кажется бы и въ четырехъ стѣнахъ заперть, а отмѣчаетъ и бурю предстоящую, и тепло, и ясную, и дождливую погоду. Въ этомъ отношеніи Щедринъ былъ по истинѣ изумителенъ. Не выходя изъ своей квартиры и видаясь съ очень ограниченнымъ кругомъ людей, онъ чуялъ всякое теченіе въ общественной атмосферѣ, и чѣмъ ближе къ смерти, тѣмъ мрачнѣе и мрачнѣе были его показанія...

Будетъ пока. Отойдемъ отъ этой могилы, «и пусть у гробового входа младая будетъ жизнь играть»!..

Да, пусть бы играла, еслибы въ самомъ дѣлѣ была, но я ея не вижу, она куда-то спряталась. Безъ сомнѣнія, теченіе жизни не прекратилось—люди родятся, ростутъ и уже потомъ старѣютъ. Все въ порядкѣ, все какъ было всегда. Но въ томъ единственномъ мѣстѣ, въ которомъ русская младая жизнь можетъ проявить себя всенародно, она не играетъ. Нѣтъ мѣста младой жизни тамъ, гдѣ можетъ имѣть успѣхъ старческая теорія непротивленія злу, и гдѣ даже сами титулующіе себя «молодыми писателями» стары какъ... во всякомъ случаѣ несравненно старше, чѣмъ шестидесятилѣтній Салтыковъ. У насъ есть «молодые писатели» по разнымъ отраслямъ литературы. Въ качествѣ писателя старшаго возраста, но преданнаго дѣлу литературы, я иной разъ спрашиваю себя: не потому-ли, молъ, ты имѣешь такъ мало общаго съ этими свѣжими силами, что онѣ свѣжія, что онѣ идутъ не въ помощь вашему литературному поколѣнію, а на смѣну ему, и противъ этой неизбѣжной смѣны напрасно возстаетъ и ворчитъ отжившее и отживающее. Въ самомъ дѣлѣ, эта ревнивая ворчливость стараго, отживающаго—дѣло очень обыкновенное. Однако, добросовѣстно вдумываясь въ свой горькій вопросъ, я прихожу къ совсѣмъ другому, но тоже горькому отвѣту. Старость ворчитъ именно на молодость, формула этой воркотни выражается цѣликомъ въ поговоркѣ: si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Старости частью обидно ея собственное безсиліе, и она изъ ревниваго чувства бранится, а частью искренно вѣритъ, что неопытность и увлеченія молодости приведутъ къ дурнымъ послѣдствіямъ. Но я именно молодости-то и не вижу въ нашихъ молодыхъ писателяхъ. Они или ударяются въ мрачный (можетъ быть иногда напускной), пессимизмъ, который конечно несовмѣстимъ съ игрой младой жизни; или такъ опытны, такъ трезвенны, такъ умѣренны и аккуратны, что ни о какихъ запросахъ и взмахахъ и рѣчи быть не можетъ. Страннымъ образомъ выходитъ иногда такъ, что именно они ворчатъ на увлеченія старшихъ поколѣній, за которыя, дескать, и имъ приходится расплачиваться. Страннымъ образомъ сѣдыя бороды украшаютъ ихъ лица еще въ ту пору, когда даже материнское молоко на губахъ у нихъ не обсохло, и зубы мудрости появляются единовременно съ молочными зубами. И если даже допустить (а я этого допустить не могу), что въ самомъ дѣлѣ мудрость знаменуется этими зубами, такъ и то можно спросить: гдѣ же молодость? Можетъ быть, на смѣну намъ дѣйствительно идетъ нѣчто новое и сильное, но навѣрное не молодое. А я не думаю кромѣ того, чтобы оно было сильно, потому что это было бы противоестественно. Сила молодости не въ опытности, которой она еще не успѣла пріобрѣсти, и не въ трезвенной

умѣренности и аккуратности, которая слишкомъ противорѣчитъ естественному кипѣнію молодой крови. Сила молодости исключительно въ ширинѣ запросовъ, въ ширинѣ размаха крыльевъ духа. Молодость, обреченная или обрекшая себя на безкрылое существованіе, слабѣе самой слабой старости. Два пингвина, старый и молодой, равно безкрылы, но молодой пингвинъ еще вдобавокъ мало знаетъ. Пингвинъ—птица, знаменитая своею глупостью, и упоминаніе о ней можетъ показаться не совсѣмъ удобнымъ. Но я не глупость пингвина имѣю въ виду, а только его безкрылость. Между нашими такъ называемыми молодыми писателями безспорно есть люди умные и чрезвычайно талантливые. Но они безкрылы и не только имъ самимъ «никогда до облакъ не подняться», но они желали бы, чтобы и прочіе люди жили «по малу, по полсаженки, низкомъ перелетаючи». Можетъ быть оно такъ и нужно по нынѣшнему времени, но въ такомъ случаѣ по Сенькѣ должна быть и шапка, а нынѣшнее время обречено на скудную, блѣдную литературу. Для пропаганды terre-à-terre'а, полусаженнаго перелетанія низкомъ, не требуется ни силы, ни вдохновенія. Когда-то И. А. Аксаковъ съ горечью восклицаетъ: «Разбейтесь силы, вы не нужны! Засни ты, духъ! давно пора!.. Безумна честная отвага правдивой юности—и съ ней безумны всѣ желанья блага, святыя бредни юныхъ дней». Повидимому, нынѣшнему времени этотъ рецептъ приходится по плечу не въ горько-ироническомъ смыслѣ, а въ самомъ серьезномъ.

Я это передумывалъ, между прочимъ, читая драму г. Чехова «Ивановъ» которая обратила на себя много вниманія и даже рекомендовалась кое-кѣмъ изъ литературы вообще какъ образецъ, достойный подражанія.

Г. Чеховъ очень талантливый писатель. Въ числѣ его маленькихъ разсказовъ есть поистинѣ прелестныя вещи, прелестныя по техникѣ живописи, а иногда и по задушевности тона. Пишетъ онъ эти малекія вещи, точно играючи, повидимому не пуская въ ходъ всю сырую, стихійную силу своего таланта. Я поэтому съ большимъ интересомъ ждалъ чего-нибудь большаго размѣромъ, гдѣ г. Чеховъ могъ бы развернуться. Увы! Онъ далъ уже три или четыре большія вещи и не развернулся едва ли даже не свернулся. «Степь» оказалась искусственнымъ сливкомъ такихъ же маленькихъ, незаконченныхъ разсказовъ, какіе авторъ и прежде писалъ, а затѣмъ, появилось нѣчто уже совсѣмъ недоумѣнное. Теперь вотъ драма... Какъ литературное произведеніе (о сценической сторонѣ дѣла мнѣ неизвѣстно), драма «Ивановъ» не изъ удачныхъ. Авторъ, въ своихъ маленькихъ разсказахъ очень смѣлый по части полу-тоновъ, полу-штриховъ, вообще всякаго рода недосказанностей, обнаруживаетъ въ драмѣ удивительную боязливость и подчеркиваетъ такія черты, которыя и безъ того ясны и сами по себѣ не стоятъ подчеркиванія. Приведу одинъ примѣръ. Нѣкій Косыхъ, комическая фигура, большой любитель картъ, до того зарапортовывается, что вмѣсто «прощайте» говоритъ: «пасъ». Остальныя дѣйствующія лица смѣются. Кажется, ясно и просто. Но г. Чеховъ боится, что этотъ маленькій комическій эффектъ пропадетъ для зрителей и читателей, и потому заставляетъ еще одно изъ дѣйствующихъ лицъ пояснить: «Ну, и доигрался, сердечный, до того, что вмѣсто прощай говоритъ пасъ». Для ненужнаго подчеркиванія извѣстныхъ положеній вводятся даже цѣлыя сцены, съ рискомъ извратить характеръ дѣйствующихъ лицъ. Жена Иванова застаетъ его на любовной сценѣ съ Сашей Лебедевой, и это ее, и безъ того еле живую, глубоко потрясаетъ. Г. Чехову этого мало. Онъ заставляетъ Сашу придти къ Иванову на домъ, и здѣсь они, чуть не на глазахъ жены (во всякомъ случаѣ она узнаетъ объ этомъ), продѣлываютъ разныя амурныя игривости и веселости. Это выходитъ поразительно, ненужно—глупо и жестоко, а между тѣмъ, по замыслу автора, Ивановъ и Саша отнюдь не глупые и не жестокіе люди. Нѣкоторыя второстепенныя лица хорошо задуманы, но не выдержаны. Такъ молодой докторъ Львовъ, всѣмъ надоѣдающій своею деревянною, бездушною честностью, представляется вамъ всетаки дѣйствительно честнымъ человѣкомъ, и только въ самой послѣдней сценѣ вы неожиданно узнаете изъ монолога Саши Лебедевой, что онъ не брезгалъ такими гнусностями, какъ анонимныя письма. Заключительная сцена самоубійства Иванова (говорятъ, въ театрѣ она не такъ идетъ или шла) производитъ почти комическое впечатлѣніе: прежде чѣмъ Ивановъ, съ револьверомъ въ рукѣ, «отбѣгаетъ и застрѣливается», окружающіе могли бы раза три вырвать у него револьверъ

Все это я говорю мимоходомъ. Какъ литературное произведеніе, драма г. Чехова слишкомъ слаба, чтобы стоило долго останавливаться на ея красотахъ и недостаткахъ. Я о другомъ хочу поговорить.

Ивановъ пять лѣтъ тому назадъ полюбилъ дѣвушку, которая, чтобы выйти за него замужъ, перемѣнила вѣру (она еврейка), разсорилась съ родителями, отказалась отъ богатства. Теперь Ивановъ уже разлюбилъ ее и даже полюбилъ другую, а жена по прежнему его любитъ; драматическое положеніе осложняется еще болѣзнью жены, а

кромѣ того, и дѣла Иванова разстроены. Смутное душевное состояніе очень естественно при такихъ обстоятельствахъ. Но дѣло все-таки не въ этомъ, по крайней мѣрѣ не только въ этомъ. Ивановъ говоритъ о себѣ: «Вѣровалъ я не такъ, какъ всѣ, женился не такъ, какъ всѣ, горячился, рисковалъ, деньги свои бросалъ направо и налѣво, былъ счастливъ и страдалъ, какъ никто во всемъ уѣздѣ... Взвалилъ себѣ на спину ношу, а спина-то и треснула». И въ другомъ мѣстѣ: «Еще года нѣтъ, какъ былъ здоровъ и силенъ, былъ бодръ, неутомимъ, горячъ, работалъ этими самыми руками, говорилъ такъ, что трогалъ до слезъ даже невѣждъ, умѣлъ плакать, когда видалъ горе, возмущался, когда встрѣчалъ зло. Я зналъ, что такое вдохновеніе, зналъ прелесть и поэзію тихихъ ночей, когда отъ зари до зари сидишь за рабочимъ столомъ или тѣшишь свой умъ мечтами. Я вѣровалъ, въ будущее глядѣлъ, какъ въ глаза родной матери».—Это не хвастаетъ Ивановъ: такимъ именно помнитъ его жена, да и сейчасъ есть какіе-то люди, которые «съ благоговѣніемъ прислушиваются къ его вздохамъ, глядятъ на него, какъ на второго Магомета и ждутъ, что вотъ-вотъ онъ объявитъ имъ новую религію». Но онъ уже надорвался, онъ обезсилился отъ подъятыхъ имъ подвиговъ и трудовъ...

Какіе это великіе подвиги и труды подкосили Иванова,—мы, къ сожалѣнію, не получаемъ свѣдѣній. Въ одномъ мѣстѣ онъ, правда, какъ будто пробуетъ разсказать, «гимназія, университетъ, потомъ хозяйство, школы, проекты», но и только, а это не такъ ужь вѣдь необыкновенно. Приходится вѣрить автору на слово: подвиги и труды были великіе, несказанные. И вотъ тридцатипятилѣтній Ивановъ считаетъ себя въ правѣ давать такіе совѣты молодому доктору Львову:

«Не женитесь вы ни на еврейкахъ, ни на психопаткахъ, ни на синихъ чулкахъ, а выбирайте себѣ что-нибудь заурядное, сѣренькое, безъ яркихъ красокъ, безъ лишнихъ звуковъ. Вообще всю жизнь стройте по шаблону. Чѣмъ сѣрѣе и монотоннѣе фонъ, тѣмъ лучше. Голубчикъ, не воюйте въ одиночку съ тысячами, не сражайтесь съ мельницами, не бейтесь лбомъ о стѣны... Да хранитъ васъ Богъ отъ всевозможныхъ раціональныхъ хозяйствъ, необыкновенныхъ школъ, горячихъ рѣчей... Заприте себѣ въ свою раковину и дѣлайте свое маленькое, Богомъ данное дѣло... Это теплѣе, честнѣе и здоровѣе».

А старику Лебедеву Ивановъ говоритъ:

«Если когда-нибудь въ жизни тебѣ встрѣтится молодой человѣкъ, горячій, искренній, не глупый, и ты увидишь, что онъ любитъ, ненавидитъ и вѣритъ не такъ, какъ всѣ, работаетъ и надѣется за десятерыхъ, сражается съ мельницами, бьетъ лбомъ о стѣны, если увидишь, что онъ взвалилъ на себя ношу, отъ которой хруститъ спина и тянутся жилы, то скажи ему: не спѣши расходовать свои силы на одну только молодость, побереги ихъ для всей жизни; пьянѣй, возбуждайся, работай, но знай мѣру, иначе жестоко накажетъ тебя судьба! Въ 30 лѣтъ уже настанетъ похмелье и ты будешь старъ!

Таковы печальные результаты чрезмѣрности труда и подвига,—чрезмѣрности, въ составъ которой удивительнымъ образомъ занесена даже женитьба на еврейкѣ. Не особенно однако краснорѣчивъ Ивановъ, не особенно богатъ запасъ образовъ и словъ, при помощи которыхъ онъ живописуетъ ужасное положеніе человѣка, раздавленнаго собственнымъ трудомъ и подвигомъ: все однѣ и тѣ же метафоры, съ кѣмъ бы онъ ни говорилъ, все немудрящія комбинаціи однихъ и тѣхъ же словъ, — «сражаться съ мельницами», «бить лбомъ о стѣны», «треснула спина» или «хруститъ «спина», «жилъ не такъ, какъ всѣ» или «работаетъ не такъ, какъ всѣ». А между тѣмъ мы узнаемъ частью отъ самого Иванова, частью отъ его жены, что когда-то онъ умѣлъ такъ говорить, что «трогалъ до слезъ даже невѣждъ». Авторъ не умѣлъ или не хотѣлъ дать намъ послушать этихъ пламенныхъ рѣчей, ну, а «сѣренькую, заурядную жизнь безъ яркихъ красокъ, безъ лишнихъ звуковъ» мудрено расписывать яркими красками: не такими глаголами жгутся сердца людей. Возможны, конечно, исключительныя положенія. Убѣленный сѣдинами старецъ или, еще лучше, старушка съ серебряными локонами натрясущейся отъ дряхлости и волненія головѣ, можетъ, напутствуя сына или внука въ жизнь, найти краснорѣчивыя слова на тему рѣчей Иванова: береги себя, во всемъ мѣру знай, не утруждай себя, одѣвайся теплѣе, въ случаѣ чего оподельдокомъ натирайся и липовый цвѣтъ пей. Старушка можетъ найти для этихъ совѣтовъ дѣйствительно трогательныя выраженія. И ссылки ея, немножко можетъ быть лукаво прикрашенныя, на свой собственный опытъ, на печальную судьбу слишкомъ пылкаго мужа или брата, и вздрагивающія пряди серебряныхъ волосъ, и слезы на морщинистыхъ щекахъ, и шамканье беззубаго рта, и вязаная фуфайка собственной работы, тутъ же вручаемая молодому любимцу,—все это можетъ сложиться въ прекрасную картину. Нѣкоторые комическіе штрихи этой картины не помѣшаютъ общему характеру умиленія, которое она можетъ возбудить въ растроганныхъ сердцахъ зрителей. Но подмѣнить въ этой картинѣ сѣдовласую старушку тридцатипятилѣтнимъ здоровымъ молодцомъ, — это была бы очень смѣлая мысль, еслибы только требовалась хоть какая-нибудь смѣлость для пропаганды «сѣренькой, заурядной жизни» вообще, а тѣмъ болѣе въ средѣ, и безъ того

живущей сѣренькой, заурядной жизнью! Понятное дѣло, что для подобной проповѣди талантъ вовсе не нуженъ или, что то же, она не можетъ быть ярка, увлекательна, талантлива, и, по истинѣ—«разбейтесь силы, вы не нужны!..» Въ частности понятно, что г. Чеховъ, будучи очень талантливымъ молодымъ писателемъ, написалъ плохую драму, а Ивановъ, будучи отъ природы человѣкомъ краснорѣчивымъ, говоритъ плохія рѣчи. Когда Ивановъ призывалъ къ труду и подвигу, онъ «трогалъ до слезъ даже невѣждъ», а когда онъ призываетъ къ сѣренькой и заурядной жизни, онъ никого не трогаетъ, потому что берется за дѣло, приличествующее не ему, а той сѣденькой старушкѣ, которая вяжетъ внуку фуфайку и суетъ стклянку съ опoдельдокомъ. Драма же г. Чехова, помимо всего прочаго, плоха потому, что онъ думаетъ вызвать въ зрителяхъ и читателяхъ сочувствіе къ Иванову и вѣрить, что тотъ дѣйствительно совершалъ какіе-то геркулесовы подвиги.

Великій писатель, только-что засыпанный землею на Волковомъ кладбищѣ, лучше г. Чехова нарисовалъ бы фигуру Иванова. И не только потому, что онъ былъ великій талантъ. Самъ любившій и ненавидѣвшій дѣйствительно не такъ, какъ всѣ, самъ работавшій дѣйствительно такъ, что у него спина трещала, самъ совершавшій настоящіе подвиги, которые у всѣхъ передъ глазами,— онъ не повѣрилъ бы Иванову. Онъ сдѣлалъ бы изъ него комическую или презрѣнную фигуру болтуна, который дуетъ на воду, даже не попробовавши обжечься на молокѣ, и какъ же бы онъ исполосовалъ этого ломающагося болтуна, кокетничающаго проповѣдью «шаблона» и «сѣренькой, заурядной жизни!» Я думаю, что придавая это сатирическое освѣщеніе фигурѣ Иванова, шестидесятитрехлѣтній Щедринъ былъ бы не только ближе къ художественной правдѣ, но и моложе молодого автора драмы. И ужъ конечно Щедринъ ожегъ бы этимъ глаголомъ сердца людей, а г. Чеховъ своей драмой этого никакъ не можетъ сдѣлать, даже еслибы онъ былъ гораздо талантливѣе, чѣмъ въ дѣйствительности есть...

Жечь не жгутъ подобныя произведенія, но извѣстную смуту въ умы читателей вносить могутъ. Когда ихъ много,—а ихъ теперь много въ самыхъ разнообразныхъ родахъ и формахъ, — отъ нихъ плесневѣетъ мысль, соблазненная кажущеюся практичностью, опредѣленностью, ясностью предлагаемыхъ задачъ. Каковъ-то, дескать, еще тамъ журавль въ небѣ, а синица-то вотъ сейчасъ въ рукахъ. На самомъ дѣлѣ, однако, соблазненная мысль сплошь и рядомъ хватается даже не за синицу, и нѣтъ ничего легче, какъ надуть что угодно въ уши, настороженныя въ сторону «отрезвленія», умѣренности и аккуратности, спокойствія и тому подобныхъ прекрасныхъ вещей.

IV.

Смерть Зайончковской. Проектъ г. Щеглова.

Еще смерть, еще одинъ талантливый и честный человѣкъ выбылъ изъ рядовъ литературы: умерла Надежда Дмитріевна Зайончковская, извѣстная подъ псевдонимомъ В. Крестовскій. Покойница оставила большое и своеобразное литературное наслѣдство. Въ немъ едва ли найдутся крупные типы, художественно воплощающіе рѣзко опредѣленную личную страсть или суммирующіе, въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ, широкое общественное движеніе. И однако въ писаніи Зайончковской вложена бездна чрезвычайно тонкаго психологическаго анализа, и общественное значеніе ихъ несомнѣнно. Изъ ея героевъ и героинь нельзя составить галлерею ярко нарисованныхъ портретовъ съ рѣзкими, незабываемыми чертами, какую даютъ произведенія ея современниковъ — Щедрина, Тургенева, Достоевскаго, Островскаго, Толстого. И однако она занимала высокое положеніе въ литературѣ, блиставшей этими именами. Она не утонула въ лучахъ этихъ звѣздъ первой величины и въ продолженіе почти сорока лѣтъ *) свѣтилась своимъ собственнымъ тихимъ и ровнымъ свѣтомъ, никогда себѣ не измѣняя.

Сфера наблюденій Зайончковской сама по себѣ не широка. Это почти исключительно семейныя и любовныя отношенія въ томъ слоѣ общества (главнымъ образомъ провинціальнаго), который имѣетъ достаточно досуга, чтобы не думать о завтрашнемъ кускѣ хлѣба, но не имѣетъ ничего для наполненія этого досуга.

Въ сущности большинство романистовъ беретъ изъ этой среды своихъ героевъ и въ особенности героинь, такъ какъ женщина можетъ имѣть достаточно ненаполненнаго досуга и въ томъ случаѣ, если ея мужъ или отецъ цѣлыми днями, не разгибая спины, корпитъ въ какой - нибудь канцеляріи. Но большинство романистовъ изолируютъ свои семейныя и любовныя драмы и водевили, срываютъ ихъ съ ихъ общественнаго корня и предоставляютъ имъ разыгрываться гдѣ-то

*) Ея первая повѣсть была напечатана, если не ошибаюсь, въ 1850 г. Раньше былъ напечатанъ едва-ли не единственный ея большой стихотворный опытъ.

на воздухѣ. Зайончковская, напротивъ, въ первыхъ же своихъ произведеніяхъ раздвинула рамки семейной и любовной драмы до того, что эта драма превратилась въ любопытную картину базара праздной житейской суеты при полномъ отсутствіи умственныхъ интересовъ, при полной замкнутости въ сегодняшнемъ днѣ съ разными его мелочами.

Когда нѣсколько лѣтъ тому назадъ я какъ-то въ разговорѣ попрекнулъ покойницу, что она давно не пишетъ, она отвѣтила, что не хочетъ «людей смѣшить», что не пристало ей, старухѣ, разсказывать про то, какъ *онъ* полюбилъ *ее* или наоборотъ, и какъ они въ рощѣ соловьевъ вмѣстѣ слушали, и какъ *ея* или *его* сердце потомъ разбилось и проч. На это можно было возразить многое, и прежде всего то, что для самой Зайончковской и раньше свѣтъ не клиномъ сошелся на рощѣ съ соловьями; что, слѣдовательно, еслибы даже и въ самомъ дѣлѣ «старухѣ не пристало», такъ нельзя всетаки говорить о любовныхъ отношеніяхъ, какъ о чемъ-то исключительно заслуживающемъ художественнаго воспроизведенія. Однако въ репликѣ покойницы была извѣстная доля правды, то именно, что ее самое дѣйствительно всегда тянуло къ воспроизведенію любовныхъ отношеній. Опять-таки всѣхъ романистовъ, крупныхъ, и мелкихъ, тянетъ къ этой alte Geschichte которая bleibt immer neu, и мы имѣемъ тысячи и будемъ, конечно, имѣть еще новыя тысячи варьяцій на эту старую тему. Но Зайончковская, если можно такъ выразиться, любила любовь, не красоту ея изображенія, а самую любовь съ ея логическимъ концомъ—семьей. Достойно вниманія, что у Тургенева, этого великаго мастера по части изображенія любовныхъ отношеній, соотвѣтственные эффекты достигаются, во-первыхъ, болѣе или менѣе необыкновенными средствами, — появленіемъ Рудина во всемъ блескѣ его ума и краснорѣчія, или Инсарова съ его пламенной любовью къ далекой родинѣ и т. п.; во-вторыхъ, семейныхъ отношеній мы у него почти не видимъ. Вскользь или, вѣрнѣе, какъ бы для фона разсказа появляются супружескія пары Ратмировыхъ, Полозовыхъ, Сипягиныхъ, но вы видите, что онѣ мало занимаютъ художника, его интересуетъ только красота первыхъ трепетаній любви, и какъ только онъ поженитъ своихъ героевъ и героинь, такъ сейчасъ-же или разведетъ ихъ путемъ смерти (Инсаровъ, Вязовнинъ), или ушлетъ куда-то такъ далеко, что ихъ и не видать (супруги Соломины). О другихъ степеняхъ родства нечего и говорить: «отцы и дѣти» для Тургенева, главнымъ образомъ не родственники, а представители разныхъ поколѣній, разныхъ политическихъ и иныхъ взглядовъ. Зайончковская дѣлаетъ напротивъ любовь и семью центромъ тяжести своихъ писаній. У нея не найдется крупныхъ, яркихъ фигуръ въ родѣ Инсарова или Рудина, частью, конечно, по свойствамъ и размѣрамъ ея таланта, но частью и потому, что эти крупныя фигуры вносятъ въ драму любви что-то ей постороннее, что-то сдвигающее ея центръ тяжести съ мѣста: тутъ уже не любовь сосредоточиваетъ на себѣ вниманіе, а необыкновенныя дарованія Рудина или исключительное положеніе Инсарова. У Зайончковской дѣйствуютъ все больше сѣрые, заурядные люди, между которыми, конечно, есть и помельче и покрупнѣе, но ихъ ростъ не заслоняетъ во всякомъ случаѣ того, что составляетъ преимущественный интересъ автора. А интересъ этотъ лежитъ не только въ любви, а и въ семьѣ, съ отцами и дѣтьми, матерями и сыновьями, тетками и племянницами, братьями и сестрами. Вотъ почему ее, между прочимъ, занимало положеніе старой дѣвы, къ которому она такъ часто возвращалась. Вотъ почему, напримѣръ, въ «Большой Медвѣдицѣ» вся изъ ряду вонъ выходящая энергія старика Багрянскаго и все его гражданское мужество коренится въ концѣ-концовъ въ семейномъ счастіи и подкашивается, какъ только пріѣздъ негодяя-сына вноситъ нелады въ отношенія старика и дочери.

Зайончковская выбрала себѣ совершенно опредѣленный и, повидимому, узкій кругъ наблюденія и воспроизведенія и въ теченіе всей жизни разрабатывала его съ необыкновенной любовью и тщательностью. Эта исключительная, ей одной свойственная любовь и тщательность совершили нѣкоторымъ образомъ чудо. Кругъ явленій, испоконъ вѣку эксплуатируемый заурядными беллетристами, получилъ новый и широкій интересъ. Покойница въ самомъ началѣ своей литературной дѣятельности какъ-бы задала себѣ вопросъ: какова можетъ быть любовь, какова можетъ быть семья въ томъ слоѣ общества, который сталъ, благодаря обстоятельствамъ ея жизни, объектомъ ея наблюденій. Отвѣтъ получился прискорбный: въ то доброе старое время, къ которому нынѣ такъ многіе обращаютъ свои взоры, ради его цѣльной патріархальности, въ то доброе старое время, когда царилъ безмятежный умственный покой и крѣпостное право давало всему свой тонъ,—въ то доброе старое время не было и не могло быть ни настоящей любви, ни настоящей семьи. Это была какая-то тина, которая для зачатковъ истинной любви и истинной семьи создавала лишь безвыходно отчаянныя положенія, безпощадно засасывая даже недурныхъ и не

глупыхъ людей. Эти трагическія положенія составляли предметъ особеннаго вниманія покойницы. Глубоко сочувственный, какъ бы ласкающій интересъ къ нимъ она сохранила до послѣдняго времени. И въ шестидесятыхъ, и въ семидесятыхъ годахъ она охотно переносила дѣйствіе своихъ романовъ, повѣстей и разсказовъ въ дореформенную Россію. Многосложная обстановка новой Россіи, съ ея свѣтлыми и мрачными сторонами, сравнительно мало занимала ее. Да и здѣсь она останавливалась главнымъ образомъ на тѣхъ же горькихъ моментахъ любовныхъ и семейныхъ отношеній, которые создаются жестокою пустотою жизни, тою жестокою легкостью мыслей, чувствъ, отношеній, которая, и понынѣ давая себя знать, какъ наслѣдіе тяжелаго прошлаго, никогда не затруднится разбить чужую жизнь, наступить на чужое чувство, а при случаѣ и наоборотъ—собственную душу безсильно подставить подъ булавочные уколы мелочныхъ терзаній или подъ удары ножемъ прямыхъ оскорбленій.

За праздникомъ весны начала шестидесятыхъ годовъ скоро, какъ извѣстно, наступило разочарованіе, «отрезвленіе», отступленіе. Прахъ прошлаго, который мы, казалось, съ такою почти неистовою искренностью отрясли отъ ногъ своихъ, улегся и составилъ удобную почву для возрожденія стараго примѣнительно къ новымъ условіямъ жизни. И нашлось много охотниковъ вернуться подъ сѣнь этого возрожденнаго прошлаго, обогащенныхъ умѣніемъ теоретизировать, разными изворотами искусившейся мысли оправдывать то, что прежде росло себѣ просто, стихійно, какъ грибъ подосиновикъ ростетъ подъ осиной. Зайончковская, не выходя изъ своей обычной сферы, отмѣтила это явленіе въ нѣсколькихъ разсказахъ. Но лучшее ея произведеніе на эту тему есть довольно большая повѣсть «Первая борьба», напечатанная въ 1869 году въ «Отечественныхъ Запискахъ». По моему, это вообще лучшее произведеніе Зайончковской и одно изъ выдающихся даже во всей русской литературѣ. «Первая борьба» представляетъ собою записки молодого негодяя, съ циническою откровенностью излагающаго свои негодяйскія мысли, чувства и поступки, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень искусно обвалакивающаго ихъ послѣдовательно проведенной теоріей. Суть теоріи въ томъ, что есть особая порода избранниковъ судьбы, тонкоразвитыхъ людей, которымъ по праву принадлежитъ всяческое наслажденіе, какою бы цѣною оно ни получалось, лишь бы не трудомъ; а трудъ, это удѣлъ другой породы людей, грубыхъ, не способныхъ какъ слѣдуетъ цѣнить ароматъ наслажденія. Иллюстрированная житейскими случаями, въ которыхъ герою приходится примѣнять свою теорію къ практикѣ, и разными экскурсіями въ область своеобразной нравственной философіи, эта доктрина является, конечно, не въ такомъ схематическомъ видѣ. Она производитъ почти потрясающее впечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что тонъ записокъ негодяя изумительно выдержанъ, въ особенности въ первой части (въ журналѣ «Первая борьба» была напечатана въ двухъ номерахъ). Ни прежде, ни послѣ «Первой борьбы» Зайончковская не обнаруживала такой концентрированной силы и не прибѣгала къ этому рискованному художественному пріему, съ которымъ такъ легко впасть въ шаржъ, хватить черезъ край. Но по существу дѣла она и здѣсь все та-же, какою была въ самомъ началѣ своей дѣятельности, какою и въ могилу легла.

Зайончковская и прежде неоднократно рисовала людей, изъ которыхъ праздная жизнь на счетъ чужого труда и тяготѣніе къ этой легкой жизни выѣдали всякій признакъ совѣсти, и эта выѣденная омертвѣлая совѣсть дозволяла имъ даже съ нѣкоторою наивностью шагать по чужимъ головамъ и сердцамъ къ тѣмъ мизернымъ цѣлямъ, какія можетъ выставить праздная жизнь.

Герой «Первой борьбы» только подводитъ собою итогъ этимъ слагаемымъ, только теоретизируетъ давно установившуюся практику. И понятно, что дореформенная Россія представляла собою тучную почву для произростанія подобной практики. Это былъ господствующій тонъ жизни. Имъ окрашивались даже такія явленія, которыя, повидимому, отстояли очень далеко отъ крѣпостничества, взяточничества и другихъ язвъ добраго стараго времени. Зайончковская съумѣла, почти не касаясь непосредственно самыхъ этихъ язвъ, уловить ихъ отраженіе въ области любовныхъ и семейныхъ отношеній. Для нея, собственно говоря, не существовали пріятныя или пикантныя исторіи о томъ, какъ *онъ* полюбилъ *ее* и какъ они вмѣстѣ въ рощѣ соловьевъ слушали и проч. Все это она разсказывала и иногда мастерски разсказывала, но она смотрѣла на свое дѣло слишкомъ серьезно, чтобы упускать при этомъ изъ виду ту общественную почву, на которой эти пріятныя или пикантныя исторіи разыгрываются. Горько скептическій тонъ, которымъ проникнуты всѣ ея произведенія, объясняется и оправдывается не тѣмъ, что какая-нибудь mademoiselle Алина или madame Малина, будучи обременена высокими достоинствами, никакъ не можетъ найти достойное пристанище для своего великолѣпнаго сердца; нѣтъ, проще и жизненнѣе развертываются драмы въ

произведеніяхъ Зайончковской; онѣ изъ разныхъ житейскихъ мелочей слагаются, и всѣ эти мелочи вытекаютъ изъ одного и тогоже общественнаго источника. Одно это, помимо даже таланта, выдѣляетъ произведенія Зайончковской изъ рядовъ тѣхъ эфемеридъ, которыя каждый мѣсяцъ разсказываютъ намъ въ разныхъ журналахъ любовныя и семейныя исторіи.

Долгая и благодарная память покойницѣ...

Г. Щегловъ пожалуй съ этимъ не согласится.

Кто такой г. Щегловъ? Г. Щегловъ есть авторъ обширнаго сочиненія подъ заглавіемъ «Исторія соціальныхъ системъ», первый томъ котораго вышелъ лѣтъ двадцать тому назадъ, а второй—въ нынѣшнемъ, 1889 году. Это до неуклюжести толстая книга въ XXVII+939 страницъ. Такой чрезвычайный размѣръ одного лишь второго тома объясняется во-первыхъ необыкновенною растянутостью и, если можно такъ выразиться, жеванностью изложенія г. Щеглова. У него можно встрѣтить, напримѣръ, такія фразы: «Мы не считаемъ нужнымъ прибавлять, что приведенныя нами мнѣнія Отта, Прудона, Диксона, Сарганта и Шеффле не встрѣтятъ съ нашей стороны возраженій» (стр. 191). Видите, какъ обстоятельно: прибавилъ, что приведенныя мнѣнія не встрѣтятъ съ его стороны возраженій, но вмѣстѣ съ тѣмъ прибавилъ, что не считаетъ нужнымъ этого прибавлять. Этакъ можно очень толстыя книги писать. А кромѣ того г. Щегловъ дѣлаетъ разнообразныя и многочисленныя экскурсіи въ области литературной критики, полемики, публицистики, духовно-нравственнаго краснорѣчія, сплетенъ,—экскурсіи, далеко выходящія изъ предѣловъ «исторіи соціальныхъ системъ». Собственно только объ нѣкоторыхъ (далеко не всѣхъ) изъ этихъ экскурсій я и хочу сказать нѣсколько словъ. Начну съ того, что можетъ имѣть нѣкоторое отношеніе къ покойницѣ, о которой мы только-что говорили.

Г. Щегловъ очень низко цѣнитъ нашу литературу и считаетъ ее источникомъ многихъ и важныхъ бѣдъ, одолѣвающихъ наше отечество. Между прочимъ онъ находитъ, что господа литераторы, и притомъ наименѣе достойные, получаютъ слишкомъ большое вознагражденіе за свой легкій и вредоносный трудъ, вслѣдствіе чего люди влекутся въ эту сферу дѣятельности жаждой наживы, «лакеевъ и каретъ». Г. Щегловъ приводитъ и примѣры такихъ нехорошихъ порядковъ, примѣры, впрочемъ, нѣсколько таинственные. Онъ указываетъ на «гг. Г. К., потомъ Н. С. К. и другихъ, наживающихъ чрезъ литературу большія состоянія» (556). Какіе именно богачи скрываются подъ этими иниціалами и почему именно они приведены для образца, неизвѣстно, но иниціалы Н. С. К. напоминаютъ мнѣ покойнаго Николая Степановича Курочкина, который всю жизнь прожилъ литературнымъ работникомъ и умеръ бѣднякомъ: послѣдніе годы онъ существовалъ единственно на тѣ 900 рублей въ годъ, которые получалъ изъ «Отечественныхъ Записокъ» въ родѣ какъ въ пенсію, такъ какъ работать уже не могъ. Зайончковская, большой и общепризнанный талантъ, работавшая сорокъ лѣтъ не покладаючи рукъ, умерла въ нищетѣ и въ нынѣшнемъ году приняла предложенную ей литературнымъ фондомъ пенсію. Эти два примѣра сами собою къ слову пришлись, и я ими ограничиваюсь, но могу увѣрить г. Щеглова на основаніи многолѣтнихъ наблюденій, что за немногими исключеніями положеніе литературнаго работника въ матеріальномъ отношеніи крайне незавидно и что кто ищетъ «лакеевъ и кареты», тотъ гораздо проще найдетъ ихъ на другихъ поприщахъ.

Г. Щегловъ особенно презираетъ русскую беллетристику. Онъ говоритъ «не только о беллетристикѣ безнравственной, имѣющей явно безнравственную тенденцію, содержащей въ себѣ проповѣдь порока. Этой беллетристики у насъ было и есть довольно, и она свое дѣло сдѣлала и дѣлаетъ. Мы говоримъ, что и остальная часть беллетристики едва ли больше заслуживаетъ сочувствія людей серьезныхъ и нравственныхъ, чѣмъ та, которая явно дѣлаетъ пропаганду порока. Въ самомъ дѣлѣ, кому и какая польза отъ нея? Мы говоримъ, разумѣется, о пользѣ нравственной. Какой добрый результатъ она оставитъ въ душѣ юноши или дѣвицы, въ особенности склонныхъ читать романы и повѣсти. Главный и исключительный мотивъ ея одинъ, половая любовь» и т. д. (579).

Еслибы мы указали г. Щеглову хотя на ту же Зайончковскую, поднявшую драму любви на такую высоту, съ которой исчезаетъ всякая опасность нецѣломудреннаго возбужденія фантазіи, онъ и тутъ нашелся бы. Онъ сказалъ бы, что у насъ и безъ того «убита здоровая національная и семейная традиція, уничтожено уваженіе къ добрымъ нравственнымъ качествамъ и нравственнымъ правиламъ предковъ, къ ихъ здравому смыслу, къ разумности ихъ бытовыхъ, экономическихъ, юридическихъ особенностей и т. п.» (574). Еслибы мы указали г. Щеглову на Гоголя, уже совершенно чуждаго «половой любви», онъ сказалъ бы, что съ Гоголя-то именно вся бѣда и пошла. До Гоголя были у насъ романисты, но они знали свой шестокъ, и публика давала имъ цѣну настоящую. Дѣло измѣнилось, «когда кружокъ людей съ малымъ образованіемъ,

но съ большими претензіями и съ политической тенденціей употребилъ особенныя усилія, чтобы возвеличить произведенія Гоголя». Въ сущности Гоголь не больше, какъ авторъ «юмористическихъ эскизовъ или шаржей», а у насъ его чуть не наизусть заучиваютъ. Даже такой почтенный человѣкъ, какъ И. С. Аксаковъ «до конца жизни, развивая какую нибудь мысль, приводилъ въ свидѣтели или Хлестакова, или Манилова, или другихъ героевъ «поэмъ» Гоголя. Въ противоположномъ лагерѣ это встрѣчалось и встрѣчается еще чаще. Дѣятели нашей соціально-революціонной партіи и теперь еще не могутъ отказаться отъ того лучезарнаго свѣта, который истекаетъ на нихъ изъ «поэмъ» Гоголя. Подвергая критикѣ поступки убитаго офицера Судейкина, они сравниваютъ его съ «Ив. Ал. Хлестаковымъ». Вообще они лучше насъ помнятъ всѣ имена героевъ и героинь, упоминаютъ Акакія Акакіевича, Ноздрева, знаютъ, что старуха, которая сама себя высѣкла, была унтеръ-офицерша и т. п.». Въ подтвержденіе г. Щегловъ указываетъ и тѣ нумера и страницы «Вѣстника народной воли» и «Набата», на которыхъ поминаются Акакій Акакіевичъ, Ноздревъ, унтеръ-офицерша.

А вѣдь пожалуй, что это и въ самомъ дѣлѣ нехорошо, что «они лучше насъ» съ г. Щегловымъ знаютъ Гоголя. Великій вѣдь писатель былъ, одна изъ гордостей своей страны, и нехорошо не знать его до такой степени, что говорить о его «поэмахъ» постоянно во множественномъ числѣ, когда онъ только однѣ «Мертвыя души» поэмой назвалъ. Еще хуже до такой степени не понимать его, что утверждать, будто чтеніе его произведеній равносильно усвоенію «продуктовъ мышленія Селифана, Ноздрева, Чичикова и т. д.» (587). Впрочемъ это г. Щегловъ можетъ быть такъ, съ разбѣгу сказалъ, не справившись съ перомъ, которое склонно у него писать неуклюжія, а подчасъ и лишенныя всякаго смысла фразы. За то онъ горой стоитъ за чистоту и правильность русскаго языка. Онъ говоритъ: «Умственный уровень литературы болѣе и болѣе падаетъ. Въ настоящее время даже просто только грамотныхъ книгъ, газетъ и журналовъ, по всеобщему признанію лицъ компетентныхъ, почти нѣтъ. И нынѣшняя безграмотность особенная; она состоитъ не въ орѳографическихъ ошибкахъ,—этому горю легко помогаютъ хорошіе корректоры,—а идетъ гораздо дальше и глубже, до незнанія и непониманія основныхъ законовъ языка, и обнаруживается въ употребленіи словъ, не существующихъ въ языкѣ людей дѣйствительно образованныхъ, составленныхъ полуграмотными людьми вопреки не только законамъ русской филологіи, но и филологіи вообще; этимологія безжалостно искажается. Не болѣе пощады оказывается и синтаксису. Допускаются обороты и сочетанія словъ, совершенно противные духу русскаго языка. Что касается до другихъ наукъ, въ газетахъ и журналахъ, наиболѣе распространенныхъ, приходится читать поразительные курьезы; напр., Бэкона Веруламскаго называютъ ученикомъ Декарта, днѣпровскіе пороги оказываются между Екатеринославомъ и Кіевомъ; или приходится читать такія выраженія: «на границѣ между Московскою губерніей и Черниговской»; а русскіе города по произволу гг. редакторовъ движутся по картѣ Россіи, какъ шашки по шахматной доскѣ: Меленки оказываются въ Смоленской губерніи, а Суражъ—въ Рязанской» (362).

Г. Щегловъ не дѣлаетъ указаній, гдѣ именно онъ нашелъ все вышеизложенное, но повѣрить ему можно. «Умственный уровень литературы все болѣе и болѣе падаетъ», это несомнѣнно; къ умственному можно было бы прибавить и нравственный уровень. Вообще г. Щеглову на пространствѣ безъ малаго тысячи страницъ случается обмолвиться и вѣрнымъ замѣчаніемъ, но онъ ужасно торопится сдѣлать изъ этого вѣрнаго замѣчанія никуда негодное употребленіе. Такъ и въ настоящемъ случаѣ. Причины пониженія умственнаго и нравственнаго уровня литературы довольно ясны. Спросъ на чтеніе постоянно растетъ и такъ или иначе долженъ получать удовлетвореніе. Между тѣмъ вслѣдствіе всѣмъ извѣстныхъ обстоятельствъ, припоминать которыя было бы слишкомъ долго, да здѣсь и неумѣстно, правительство возъимѣло недовѣріе къ литературѣ. Существованіе наличныхъ журналовъ и газетъ обставлено тяжелыми условіями, возникновеніе новыхъ до крайности затруднено требованіями «благонадежности» отъ издателей и редакторовъ, каковая благонадежность не представляетъ собою чего-нибудь вполнѣ яснаго, непререкаемаго. Достигаются ли при этомъ предположенныя политическія цѣли, это вопросъ особый, котораго мы касаться не будемъ. Но такъ какъ требуемая благонадежность не имѣетъ никакого отношенія къ образованности, уму или благородству личнаго характера, то понятно, что въ число редакторовъ и издателей могутъ попадать и люди, лишенные всѣхъ этихъ качествъ. А разъ попавъ въ это положеніе, они становятся центрами, вокругъ которыхъ кристаллизуются лишь имъ подобные элементы,—уважающій себя просвѣщенный литераторъ будетъ здѣсь не ко двору, да и самъ не пойдетъ въ подручные къ малограмотному или глупому редактору.

Дальше въ лѣсъ—больше дровъ и слагается, наконецъ, своего рода монополія въ пользу невѣжества и отсутствія добропорядочныхъ традицій. Г. Щегловъ утверждаетъ, что между редакторами нашихъ періодическихъ изданій есть такіе, которые начали свою карьеру разносчиками газетъ («это фактъ дѣйствительный», — прибавляетъ онъ въ скобкахъ) или типографскими рабочими и впослѣдствіи не сдѣлали ни одного шага впередъ въ своемъ образованіи. Г. Щегловъ спрашиваетъ: «насколько могутъ такого рода дѣятели быть провозвѣстниками истины, науки, человѣческаго достоинства, защитниками интересовъ вѣры, нравственности государства?» Выводъ изъ всего этого, кажется, слѣдуетъ ясный: надо желать, чтобы тяготѣющее надъ литературой недовѣріе прекратилось; тогда прекратится и монополія въ пользу невѣжества, которой, конечно, и само правительство желать не можетъ, всѣ эти бывшіе разносчики газетъ и т. п. естественнымъ порядкомъ отойдутъ къ занятіямъ, имъ болѣе свойственнымъ, а мѣсто ихъ займутъ элементы, дѣйствительно пригодные для литературнаго дѣла. Г. Щегловъ дѣлаетъ, однако, совсѣмъ другой выводъ. Сначала онъ приводитъ мнѣніе одного духовнаго лица, которое находитъ, что редакторами журналовъ и газетъ должны быть люди, имѣющіе ученую степень, или такіе, редакторская способность которыхъ была бы доказана предварительно изданными учеными и литературными трудами. Г. Щегловъ одобряетъ эту мысль въ принципѣ, но находитъ многія неудобства для ея практическаго проведенія. Во-первыхъ, у насъ никакой образовательный цензъ, даже высшій, на самомъ дѣлѣ не гарантируетъ образованности; во-вторыхъ, «у насъ бывали примѣры, что серьезными учеными трудами признавались со стороны компетентной власти такіе, которымъ, какъ потомъ оказывалось, недоставало даже элементарныхъ свѣдѣній въ наукѣ, какъ общей, такъ и спеціальной», въ третьихъ, у насъ существуетъ зло подставныхъ редакторовъ, при помощи которыхъ можно обойти всякіе законы, касающіеся редакторской правоспособности. А надо, по мнѣнію г. Щеглова, усилить существующую цензуру и кромѣ того ввести еще цензуру «научно-грамматическую», и не предварительную,—это было бы только на руку безграмотнымъ и невѣжественнымъ редакторамъ, —а карательную. Какъ только редакторъ допуститъ у себя въ газетѣ или журналѣ что-нибудь въ родѣ «границы Московской и Черниговской губерніи» или грамматическую неправильность, такъ тотчасъ же и получитъ публичное воздаяніе. «Такимъ путемъ въ теченіе очень непродолжительнаго времени самыя невѣжественныя изданія, будучи изобличены компетентными лицами, сойдутъ съ литературной арены и, разумѣется, будутъ замѣнены другими, которыми будутъ руководить люди болѣе образованные. И это произойдетъ безъ всякихъ жалобъ на стѣсненіе печати: жаловаться на стѣсненіе невѣжества не такъ-то удобно».

Вотъ, значитъ, какъ прекрасно могутъ устроиться дѣла, вотъ какимъ, вполнѣ оригинальнымъ, никогда и нигдѣ не практиковавшимся путемъ достигнется процвѣтаніе русской литературы. Въ добрый часъ! Но на кого же будетъ возложена высокая обязанность «научно-грамматической цензуры»? Г. Щегловъ готовъ предоставить ее существующему персоналу цензурнаго вѣдомства, но понимаетъ, что нельзя же очень-то обременять людей, и безъ того обремененныхъ, а потому на помощь цензурному персоналу проектируетъ: «серьезное подкрѣпленіе изъ казенныхъ учебныхъ заведеній». Профессора университетовъ и учителя гимназій могутъ отлично устроить дѣла русской литературы съ точки зрѣнія научно-грамматической. И, дѣйствительно, хорошій, твердый въ принципахъ гимназическій учитель русскаго языка, конечно, запретилъ бы ненавистнаго г. Щеглову Гоголя, потому что много таки грамматическихъ грѣховъ совершилъ покойникъ. Но откуда взять увѣренность, что учитель русскаго языка будетъ дѣйствительно твердъ въ принципахъ, что его не подкупятъ «продукты мышленія Селифана, Ноздрева, Чичикова»? Соблазнительны вѣдь эти продукты...

Въ предисловіи г. Щегловъ весьма пространно излагаетъ ту мысль, что «превратныя понятія въ средѣ молодежи, вмѣстѣ съ агитаціей въ средѣ ея, происходили изъ того источника, который былъ обязанъ дѣйствовать въ противномъ направленіи, долженъ былъ озарять юношество тихимъ согрѣвающимъ и успокаивающимъ свѣтомъ науки, т. е. изъ профессорской среды». Спрашивается, какъ же можно довѣрить подобнымъ коварнымъ и злоумышленнымъ людямъ такую высокую обязанность, какъ «научно-грамматическая цензура»? Нѣтъ, какъ хотите, нельзя довѣрить! Можно бы, конечно, самого г. Щеглова попросить заняться этимъ дѣломъ, но вѣдь не разорваться же ему, да если-бы онъ и разорвался и, подобно миѳическому пеликану, сталъ кормить своими внутренностями всѣхъ нуждающихся въ научно-грамматической цензурѣ, такъ и то никакихъ внутренностей не хватило бы. Это разъ. А кромѣ того, еще неизвѣстно, какому публичному возмездію подвергла бы научно-грамматическая цензура самого г. Щеглова...

На стр. 219 г. Щегловъ утверждаетъ, что Фамусовъ имѣетъ больше, чѣмъ Фурье, правъ на титулъ преобразователя «всей системы знанія»; «потому что онъ всетаки хотѣлъ замѣнить всѣ книги календаремъ, изданнымъ академій наукъ, и баснями Крылова». Ничего подобнаго Фамусовъ не говоритъ ни о календарѣ, изданномъ академіей наукъ, ни о басняхъ Крылова. Есть въ «Горѣ отъ ума» рѣчь о басняхъ, но не Крылова, а о басняхъ вообще, и ведетъ эту рѣчь не Фамусовъ, а Загорѣцкій и не сохранить ихъ онъ предлагаетъ, а напротивъ особенно на нихъ «налечь» за «насмѣшки вѣчныя надъ львами, надъ орлами».

На стр. 746, 800, 912 г. Щегловъ, говоря о Бюше, упорно называетъ его ученикомъ «генерала Ламарка», каковый генералъ былъ, дескать, предшественникомъ Дарвина и проповѣдывалъ неправильные взгляды на происхожденіе человѣка. Дѣйствительно, существовалъ генералъ Ламаркъ, и хорошій, говорятъ, генералъ былъ, но предшественникомъ Дарвина не былъ и занимался себѣ своимъ военнымъ дѣломъ. Существовалъ и другой Ламаркъ, авторъ Philosophie zoologique, дѣйствительно, предвосхитившій нѣкоторыя общія идеи Дарвина, но, къ сожалѣнію, онъ не былъ генераломъ.

На стр. 572 г. Щегловъ съ большою язвительностью упрекаетъ литературу за презрѣніе къ народу, каковое презрѣніе выразилось, между прочимъ, кличкой «головотяпы»: «судя по корнямъ слова,—глубокомысленно замѣчаетъ онъ, тутъ заключается понятіе, близкое къ понятію барана». Очень можетъ быть, но дѣло въ томъ, что «головотяпы» попадаются, кажется, у одного Щедрина (въ «Исторіи одного города») рядомъ съ «гущеѣдами», «проломленными головами» «кособрюхами» и пр. И слова эти Щедринъ не выдумалъ, потому что этими шуточными прозвищами самъ народъ называетъ жителей разныхъ мѣстностей.

Не буду подвергать трудъ г. Щеглова дальнѣйшей «научно-грамматической цензурѣ». Книга его дорогая, никому не нужная,—авось и такъ никто не станетъ читать...

Но какъ только Богъ нашимъ грѣхамъ терпитъ!

V.

Центробѣжныя и центростремительныя силы г. Мордовцева.

Одинъ изъ самыхъ плодовитыхъ нашихъ писателей, г. Мордовцевъ, выпустилъ сборникъ своихъ журнальныхъ и газетныхъ статей, въ двухъ томахъ, подъ заглавіемъ «Историческія пропилеи». Заглавіе это г. Мордовцевъ мотивируетъ такъ: на вошедшія въ сборникъ «статьи и замѣтки историческаго содержанія авторъ смотритъ только какъ на подготовительные для исторіи, до нѣкоторой степени обработанные матеріалы, какъ на простые кирпичи, можетъ быть пригодные для того, чтобы войти служебнымъ матеріаломъ въ будущее зданіе исторіи,— подобно тому какъ классическія пропилеи, составляя преддверіе храмовъ, не считались обителями божества, а только вели въ эти святыни чрезъ амфилады колоннъ и портиковъ».

Это коротенькое предисловіе, по своей формѣ, очень характерно для г. Мордовцева, какъ для писателя вообще. Г. Мордовцевъ — историкъ. Таково его, такъ сказать, оффиціальное положеніе въ литературѣ. Но бьющаяся въ немъ художественная жилка и какая-то особенная юркость ума не даютъ ему погрузиться цѣликомъ въ изслѣдованіе «дѣйствъ и причинъ» историческихъ вещей. Едва ли не большинство его произведеній составляютъ романы, повѣсти, разсказы, главнымъ образомъ, историческаго содержанія. Это далеко не первостепенная беллетристика, — г. Мордовцевъ въ очень слабой степени одаренъ чувствомъ художественной мѣры,—но его всегда тянетъ къ образному воспроизведенію историческаго матеріала. Это сказывается и въ его историческихъ изслѣдованіяхъ, и въ статьяхъ по текущимъ дѣламъ: образы и метафоры сыплются въ нихъ, какъ изъ рога изобилія, другъ друга перебивая и отнюдь не всегда согласуясь между собою. Такъ и въ приведенномъ предисловіи: только что авторъ успѣлъ сравнить вошедшія въ сборникъ статьи съ «простыми кирпичами, можетъ быть пригодными, чтобы войти въ будущее зданіе исторіи», какъ уже не выдерживаетъ этой метафоры и складываетъ изъ своихъ кирпичей «преддверіе храма». Эта невыдержанность,—результатъ торопливой и юркой мысли,—къ сожалѣнію не всегда ограничивается формой, а проникаетъ подчасъ и въ самую сущность писаній г. Мордовцева.

Г. Мордовцевъ не совсѣмъ правъ, приписывая исключительно историческое содержаніе статьямъ и замѣткамъ, вошедшимъ въ «Историческія пропилеи». Только развѣ съ большой натяжкой можно назвать «историческими» такія статьи, какъ «Наша печать по отношенію къ русско-славянскому дѣлу», «Объ историческомъ значеніи Некрасова», «Печать въ провинціи», «Еще о провинціальной печати», «Провинціальная ласточка» и проч.,—только развѣ въ томъ смыслѣ, что и вчерашній день есть уже исторія. Что касается до дѣйствительно историческихъ статей и замѣтокъ, вошедшихъ

въ «Историческія пропилеи», то однимъ изъ нихъ вполнѣ приличествуетъ названіе «до нѣкоторой степени обработанныхъ матеріаловъ, простыхъ кирпичей». Таковы, напримѣръ, статьи «Русскіе чародѣи и чародѣйки конца прошлаго вѣка» или «Бытовые очерки прошлаго вѣка»: это просто воспроизведеніе сырого архивнаго матеріала. Болѣе обработанными являются статьи «Послѣдній историческій шпынь» или «Одинъ изъ случаевъ», но это всетаки только кирпичи. За то нѣкоторыя статьи представляютъ собою нѣчто даже большее, чѣмъ «пропилеи», потому что блестятъ самыми смѣлыми и рѣшительными обобщеніями.

Почти черезъ всѣ историческія работы г. Мордовцева проходитъ одна чрезвычайно симпатичная и глубоко вѣрная мысль, та именно, что исторія не клиномъ сошлась на внѣшнихъ войнахъ, дипломатическихъ сношеніяхъ и внутреннихъ мѣропріятіяхъ, составляющихъ излюбленную тему большинства историковъ. Въ статьѣ «Представляетъ ли прошедшее рускаго народа какія либо политическія движенія» («Историческія пропилеи», т. I) г. Мордовцевъ очень язвительно смѣется надъ «большой, столбовой исторической дорогой, по которой русскіе историки стараго пошиба любятъ кататься на тройкѣ казенныхъ лошадей съ казеннымъ колокольчикомъ подъ дугой и чуть ли не съ подорожной по казенной надобности въ карманѣ». О покойномъ Щебальскомъ, съ которымъ онъ въ этой статьѣ полемизируетъ, г. Мордовцевъ говоритъ, что тотъ «въ качествѣ ловкаго чиновника историческихъ казенныхъ порученій, терся только около сановныхъ лицъ русской исторіи и произвелъ рядъ полицейско-историческихъ дознаній» по дѣламъ о разныхъ принцахъ, графахъ и князьяхъ. Собственный г. Мордовцева идеалъ исторіи состоитъ въ «обстоятельной, безпристрастно и умно-художественно нарисованной картинѣ того, какъ пахалъ землю, вносилъ подати, отбывалъ рекрутчину, благоденствовалъ и страдалъ русскій народъ, какъ онъ коснѣлъ или развивался, какъ подчасъ онъ бунтовалъ и разбойничалъ цѣлыми массами, воровалъ и бѣгалъ тоже массами, въ то время, когда для счастія его работали генералы, полководцы и законодатели».

Нашъ авторъ иногда и самъ уклоняется отъ этой программы въ сторону «сановныхъ лицъ русской исторіи» въ родѣ Льва Нарышкина («Послѣдній историческій шпынь») или извѣстнаго любимца Екатерины II, графа Дмитріева-Мамонова («Одинъ изъ случаевъ»), но въ общемъ онъ работаетъ на исторію именно въ указанномъ имъ направленіи. Собственно для личнаго своего употребленія онъ выбралъ ту часть программы, которая отвѣчаетъ на вопросъ—какъ подчасъ народъ бунтовалъ и разбойничалъ цѣлыми массами, воровалъ и бѣгалъ тоже массами. Имъ уже давно изданы книги «Самозванцы и понизовая вольница», «Политическія движенія русскаго народа», «Гайдамачина», а въ «Историческихъ пропилеяхъ» этой сторонѣ народной жизни посвященъ почти весь первый томъ. Г. Мордовцевъ ставитъ себѣ въ особенную заслугу свой выборъ излюбленной, центральной темы. И онъ совершенно правъ, потому что эта сравнительно такъ мало привлекающая къ себѣ вниманіе историковъ тема, будучи взята во всей своей обширности, представляетъ глубокій интересъ: вопросъ очевидно не только въ томъ, *какъ* народъ бунтовалъ, разбойничалъ, воровалъ и бѣгалъ массами, а и въ томъ—*почему* онъ все это дѣлалъ. Картина кроваваго разгула пугачевщины, нарисованная, напримѣръ, въ послѣднемъ романѣ г. Данилевскаго, даже въ случаѣ полнаго, фотографическаго сходства съ дѣйствительностью, не можетъ удовлетворить насъ, такъ какъ не даетъ даже намека на причину ужасающаго явленія.

Въ комедіи Островскаго «Горячее сердце» затѣйникъ Аристархъ предлагаетъ безобразнику Хлынову новое развлеченіе — нарядиться всей разгульной компаніи разбойниками, причемъ самъ онъ, Аристархъ, нарядится «пустынникомъ». На недоумѣвающій вопросъ Хлынова, Аристархъ отвѣчаетъ: «при разбойникахъ завсегда пустынникъ бываетъ, такъ смѣшнѣе». Въ эту шутку вложено очень важное наблюденіе: такъ не смѣшнѣе, а полнѣе и слѣдовательно вѣрнѣе. Возлѣ всякаго Ашинова съ его набранными кто съ борка, кто съ сосенки молодцами всегда есть свой о. Паисій. По причинамъ, излагать которыя я здѣсь не буду, народныя волненія (ниже выяснится точнѣе, какія именно) выбрасываютъ на поверхность исторіи два противоположные, но родственные между собою типа, которые иногда и всему движенію придаютъ свою окраску; это— вольница и подвижники. Непереносныя тяготы, какія въ прошломъ приходилось терпѣть народу, приводили однихъ къ задачѣ взять съ бою, цѣною крови и всяческихъ преступленій, тѣ житейскія блага, въ которыхъ имъ отказывалъ установившійся общественный строй; другіе напротивъ рѣшали еще болѣе сократить свой жизненный бюджетъ, отказаться отъ всѣхъ житейскихъ благъ, задавить въ себѣ по возможности всѣ потребности, такъ трудно удовлетворяемыя при данныхъ условіяхъ, уйти въ пустыню, изморить себя постомъ и другими пріемами удрученія плоти, даже искалѣчить себя, дабы «не соблазняло око», даже наконецъ умереть

насильственною смертью. И тотъ, и другой типъ представляетъ собою протестъ противъ существующаго строя и, во имя этого общаго имъ протеста, обѣ крайности нерѣдко подавали другъ другу руки,—одна окровавленную, другая—изможденную постомъ и молитвою.

Г. Мордовцевъ не прошелъ мимо этого любопытнѣйшаго историческаго явленія и вездѣ, гдѣ представляется случай, отмѣчаетъ союзъ аскетическаго раскола съ разгульной вольницей пугачевскихъ и иныхъ шаекъ. Въ статьѣ «Послѣдніе годы иргизскихъ раскольничьихъ общинъ» онъ такъ изображаетъ дѣло: «Чувствуя иногда на себѣ непосильную тяжесть, взваленную на его плечи неудачно сложившимся ходомъ всей его исторической жизни, ощущая острыя боли, вызываемыя въ немъ то неумѣреннымъ наказаніемъ его за маловажные, чисто дѣтскіе проступки, то голодомъ и холодомъ, которому, какъ онъ ни былъ переносливъ, не могъ всетаки безропотно и съ охотою поддаться, тяготясь своею бѣдностью, при которой онъ все-же долженъ былъ нести оброкъ то помѣщику, то «ярыжкѣ-приказному», народъ прибѣгалъ къ единственнымъ своимъ утѣшеніямъ,—или къ религіи, а съ нею и къ «святому человѣку», къ старцу, рѣчь котораго и всѣ вѣрованія ближе гармонировали со всѣмъ его внутреннимъ міромъ, шелъ слѣдовательно въ иргизскіе или пошехонскіе скиты, или—если это утѣшеніе не помогало—къ дубинѣ, къ ножу, къ легкой лодочкѣ и проч.»

Конечно, это слишкомъ поверхностное объясненіе, не проникающее въ корень вещей, скорѣе описаніе, чѣмъ объясненіе, и г. Мордовцевъ имъ не довольствуется.

Г. Мордовцевъ часто выдвигаетъ,—нигдѣ, впрочемъ, не развивая ее съ достаточною полнотою и ясностью,—теорію двухъ вліяющихъ на общественный строй силъ, центробѣжной и центростремительной, взаимодѣйствіемъ которыхъ объясняется для него чуть не вся исторія человѣчества. Иногда онъ идетъ даже дальше и сводитъ къ борьбѣ этихъ двухъ силъ буквально «все» (Историч. пропилеи, I, 452). Мы не пойдемъ за нимъ такъ далеко и остановимся лишь на примѣненіи теоріи къ занимающему насъ вопросу о вольницѣ и подвижникахъ. Но тутъ-то мы и встрѣтимся съ разительными примѣрами того излишества метафоръ и той торопливой юркости мысли, о которой было говорено выше.

Въ статьѣ «Представляетъ ли прошедшее русскаго народа какія-либо политическія движенія» г. Мордовцевъ говоритъ съ полною опредѣленностью: «Изученію проявленій центробѣжной силы и ея факторовъ (народныя движенія, понизовая вольница, пугачевщина, гайдамачина, Пугачевы, Желѣзняки, Заметаевы, Брагины и подобные имъ факторы) мы посвятили большую часть нашихъ историческихъ работъ» (I, 38). Въ статьѣ «Участіе семинаристовъ въ народныхъ движеніяхъ прошлаго вѣка» съ такою же опредѣленностью всякаго рода «бродячіе элементы, сходцы, бѣглые, понизовая вольница, непомнящіе родства, безпаспортные, раскольники» ставятся за общую скобку центробѣжной силы, въ противоположность центростремительной силѣ государственнаго и экономическаго объединенія (стр. 112—113). Можно и въ другихъ статьяхъ найти столь же ясныя указанія на точку зрѣнія автора. Съ этой точки зрѣнія все способствовавшее формированію дореформеннаго россійскаго государства (г. Мордовцевъ преимущественно занятъ концомъ прошлаго и началомъ XIX вѣка) является силой центростремительной; все же противоборствовавшее наростанію и укрѣпленію этого колосса, все протестовавшее противъ него въ формахъ вольницы и подвижниковъ — представляетъ собою болѣе или менѣе яркія выраженія центробѣжной силы.

Я попрошу читателя запомнить это, и затѣмъ мы перейдемъ къ статьѣ «Калѣки перехожіе (Генезисъ и историческое значеніе нищенства)», представляющей нѣчто въ родѣ бѣглаго очерка цѣлой философіи исторіи. Я преимущественно эту статью имѣлъ въ виду, когда говорилъ, что есть въ книгѣ г. Мордовцева кое-что далеко выходящее изъ скромныхъ рамокъ, отводимыхъ заглавіемъ «Пропилеи». Какія ужь тутъ пропилеи! Впрочемъ, пусть судитъ самъ читатель. Я постараюсь передать содержаніе «Калѣкъ перехожихъ» кратко, но съ сохраненіемъ всего существенно важнаго.

На европейскомъ Западѣ существуетъ пролетаріатъ и нѣтъ нищенства; въ Россіи и на славянскомъ Востокѣ вообще есть нищенство и нѣтъ пролетаріата. Не смотря на то, что эта разница проводитъ какъ бы демаркаціонную черту между Востокомъ и Западомъ, нищенство и пролетаріатъ имѣютъ много общаго. «И нищета, и пролетаріатъ носятъ въ себѣ гордое сознаніе если не идеи своего происхожденія, какъ аристократіи имени и капитала, то сознаніе идеи того принципа, которому они служатъ и который—они надѣются и глубоко убѣждены—рано или поздно отдастъ имъ въ руки главенство надъ міромъ, гегемонію человѣческой жизни, если не настоящей, то будущей, какъ злобно увѣряетъ самоувѣренная иронія ихъ противниковъ. Не смотря на то, что патріархальное нищенство и цивилизованный пролетаріартъ бьются изъ-за куска хлѣба и изъ-за клочка матеріи для прикрытія своего тѣла, изъ-за теплаго уголка, не смотря на

всю голую реальность цѣли, къ которой идутъ и нищіе и пролетаріи, однако въ мірѣ нѣтъ большихъ идеалистовъ и мечтателей, какъ нищета и пролетаріатъ. Въ теченіе всего своего историческаго существованія и нищета, и пауперизмъ создали свою богатую поэзію, изъ коихъ поэзія первой проникнутая глубокимъ смиреніемъ, грозитъ будущей карой всѣмъ, кто живетъ не по правдѣ человѣческой, тогда какъ поэзія пауперизма, проникнутая гордымъ сознаніемъ непрочности господствующей въ мірѣ неправды сулитъ бѣднымъ торжество не за гробомъ, а въ настоящей жизни. Поэзія восточной нищеты отличается отъ поэзіи западнаго пауперизма еще и тѣмъ, что первая представляетъ продуктъ эпическаго творчества народа, а послѣдняя уже является продуктомъ творчества науки и современныхъ соціальныхъ ученій». — Въ одной изъ пѣсенъ каликъ перехожихъ разсказывается, что Христосъ хотѣлъ было дать нищимъ «гору золотую, рѣку медвяну, сады-винограды, яблони кудрявы, манну небесну». Но Іоаннъ Креститель убѣдилъ Христа не дѣлать этого, потому что всѣ эти блага «отымутъ у нихъ купцы и бояра, вельможи люди пребогатые». «А ты дай имъ,—продолжаетъ Предтеча, — свое имя святое, дай ко-се имъ слово да Христовое. Будутъ нищіи по міру ходити, тебя будутъ поминати, твое имя святое возносити, а православные станутъ милостыню подавати». Это, по выраженію г. Мордовцева, «сказаніе о происхожденіи нищихъ» (хотя сказанія о *происхожденіи* тутъ совсѣмъ нѣтъ, потому что нищіе являются готовыми въ самомъ началѣ сказанія) нашъ авторъ толкуетъ чрезвычайно оригинально и смѣло. У него выходитъ такъ, что нищимъ, взамѣнъ власти и богатства, розданныхъ другимъ, предоставлена сила слова. Они — «служители человѣческаго слова», «народные историки, философы и поэты». Хотя по прямому смыслу пѣсни нищимъ предоставлено отнюдь не «служеніе человѣческому слову», а только имя Христово, только два, правда, очень выразительныхъ слова: «Христа ради», но, разъ утвердившись на своемъ смѣломъ выводѣ, г. Мордовцевъ идетъ и еще дальше. По его мнѣнію, «западные пролетаріи тоже поютъ стихи въ родѣ стиховъ о богатомъ и Лазарѣ, но только съ голоса такихъ калѣкъ перехожихъ, какъ Прудонъ, Сенъ-Симонъ, Льюисъ, Джонъ Стюартъ Милль, Брайтъ и другіе». Г. Мордовцевъ увѣренъ, что уже въ древнѣйшемъ, первобытномъ обществѣ всякій умственный трудъ, всякая «сила слова» была предоставлена въ исключительное вѣдѣніе каликъ перехожихъ, калѣкъ— безногихъ, безрукихъ, слѣпыхъ, такъ какъ снискивать себѣ пропитаніе физическимъ трудомъ они не могли. На чемъ основывается эта увѣренность, сказать тѣмъ болѣе трудно, что г. Мордовцевъ, не обинуясь, ставитъ рядомъ такія напримѣръ двѣ фразы: 1) калики «бродили по Руси и по чужимъ землямъ цѣлыми дружинами, съ выборными атаманами во главѣ, и, *мѣряясь своими силами съ признанными богатырями* брали милостыню не рублями и не полтинами, а тысячами, какъ выражается былина»; 2) «единственное оружіе дѣйствія каликъ перехожихъ было слово, пѣсня, знаніе» (стр. 115—116). Какимъ образомъ могли при этомъ условіи калики «мѣряться силами съ богатырями», остается вполнѣ неизвѣстнымъ. Въ дальнѣйшемъ изложеніи мысль о нищихъ, какъ исключительныхъ носителяхъ «слова, пѣсни, знанія», совершенно расплывается, потому что изъ среды нищихъ выдѣляются скоморохи, которые хотя и практиковали своего рода искусство, но вмѣстѣ съ тѣмъ занимались и прямо грабежомъ, а затѣмъ и ушкуйники, т. е. новгородскіе разбойники. Здѣсь г. Мордовцевъ встрѣчается съ фактомъ, который, кажется, по его собственному сознанію, не совсѣмъ укладывается въ теорію. А именно: знаменитый Василій Буслаевъ былъ очевидно ушкуйникомъ, а между тѣмъ не только не былъ ни въ какомъ смыслѣ служителемъ слова, но и нищимъ не былъ: былина изображаетъ его богачомъ. Это препятствіе г. Мордовцевъ обходитъ при помощи очень простого, но едва-ли вѣрнаго замѣчанія: «въ исторической жизни всѣхъ народовъ нельзя не подмѣтить то аналогическое явленіе, что народныя, массовыя привычки и пороки рано или поздно переходятъ и въ высшія сословія». Въ дѣйствительности бываетъ, кажется, больше наоборотъ,—привычки и пороки высшихъ сословій прививаются народу. Наконецъ, пересмотрѣвъ разныя группы людей, выдѣленныхъ на протяженіи исторіи русскимъ ниществомъ, г. Мордовцевъ приходитъ къ такому окончательному заключенію: «Во всякомъ народномъ протестѣ, во всякомъ преступленіи наконецъ, въ массовомъ или единичномъ, во всѣхъ безотрадныхъ явленіяхъ государственной жизни нашей, при внимательномъ разсмотрѣніи, оказывается, что у самаго источника всякаго такого факта стоитъ одинъ и тотъ же стимулъ—нищенство, бѣдность, необезпеченность состоянія имущественнаго, недостаточная обезпеченность личной безопасности». Это черезчуръ многословное заключеніе, будучи явно одностороннимъ, содержитъ однако въ себѣ значительную долю истины. Но оно не имѣетъ никакого отношенія къ исходной точкѣ автора, къ нищимъ, какъ исключительнымъ

носителямъ «слова, пѣсни, знанія». Г. Мордовцевъ поступилъ бы гораздо правильнѣе, еслибы, оставивъ въ сторонѣ проблематическое «служеніе человѣческому слову», сосредоточилъ свое вниманіе на процессѣ развитія двухъ главныхъ протестующихъ типовъ,—вольницы и подвижниковъ. Правда, онъ и теперь имѣетъ этотъ процессъ въ виду, но самъ себя связываетъ не идущимъ къ дѣлу «служеніемъ слову», которое конечно иногда могло имѣть мѣсто, но отнюдь не занимаетъ центральнаго положенія въ интересующемъ автора вопросѣ.

Покончивъ съ Россіей, г. Мордовцевъ переходитъ къ Европѣ, и здѣсь становится уже труднымъ даже услѣдить за его мыслью. «На Западѣ, какъ и на Востокѣ, нищенство выдѣлило изъ себя бродячихъ людей и удалыхъ добрыхъ молодцевъ. Воровство и открытый грабежъ превратились въ почетное ремесло, которому позавидовали рыцари и бароны, и также грабили, хотя далеко были не нищіе». (Въ другой статьѣ, «Вспышки понизовой вольницы въ 1812 г.», г. Мордовцевъ находитъ аналогію между нашей понизовой вольницей, гайдамаками, запорожцами, съ одной стороны, и «удалыми добрыми молодцами,—меченосцами, крестоносцами, тампліерами, тевтонцами, мальтійцами, іезуитами (!)»—съ другой). Послѣ долгаго періода неустанныхъ и всестороннихъ взаимныхъ грабежей и войнъ, образуется наконецъ новое историческое напластованіе — пролетаріатъ, который «повелъ упорную, нескончаемую борьбу противъ излишнихъ притязаній своего врага, изъ разбойника-рыцаря превратившагося или въ рантьера, или въ капиталиста». А для вящаго успѣха борьбы пролетаріатъ вступилъ въ союзъ съ «трудомъ, знаніемъ и наукой». Теперь «вся мыслящая, трудящаяся, работающая для науки и искусства Европа поетъ Лазаря; всѣ свѣтила человѣческія превратились въ каликъ перехожихъ и поютъ» ту каличью пѣсню, въ который Іоаннъ Креститель совѣтуетъ Христу не давать нищимъ земныхъ благъ, потому что блага эти у нихъ отнимутъ сильные люди. Г. Мордовцевъ увѣряетъ, что пѣсня о нищей братіи звучитъ и въ политико-экономическихъ трактатахъ, и въ политическихъ памфлетахъ, и въ историческихъ трудахъ Бокля, Шлоссера, Гервинуса, Шерра, и въ позитивной философіи Конта; ее поютъ «и Льюисъ въ своихъ физіологическихъ изслѣдованіяхъ, и Дарвинъ въ разъясненіи законовъ борьбы за существованіе, и Брайтъ въ своихъ парламентскихъ рѣчахъ; Гарибальди поетъ ее за плугомъ на Капрерѣ, Либихъ — въ своихъ письмахъ о химіи; эту пѣсню пѣлъ и Гейне, и Берне, поютъ и Шпильгагенъ, и Викторъ Гюго». Мало того, мотивы ея слышатся и въ операхъ Вагнера, и въ оперетках Оффенбаха... Съ нѣкоторою подробностью г. Мордовцевъ останавливается на «калѣкахъ перехожихъ» Гейне и Эдгарѣ По. Затѣмъ онъ дѣлаетъ бѣглый очеркъ революціоннаго дуновенія въ Германіи 1848 г., причемъ калѣками и «калѣчьими атаманами» оказываются Гервинусъ, Струве, Бессерманъ, Итценштейнъ, потомъ Кошутъ, потомъ въ Италіи Гарибальди и Мадзини. Въ концѣ-концовъ г. Мордовцевъ заявляетъ, что «весь міръ дѣлится на двѣ категоріи: на калѣкъ перехожихъ и на не калѣкъ, и вся исторія человѣчества есть не что иное, какъ постоянная борьба этихъ двухъ началъ, положенныхъ въ основу жизни человѣчества,—началъ, которыя суть видоизмѣненія все одной и той же силы, дѣйствующей въ природѣ, какъ физической, такъ и моральной, именно силы центробѣжной и центростремительной».

Вы помните, что у насъ уже была рѣчь объ этихъ двухъ силахъ или объ этихъ двухъ видоизмѣненіяхъ единой силы. Представителями центробѣжной силы оказывались тогда всѣ разнообразные факторы, противоборствовавшіе формированію существующаго государственнаго и экономическаго строя, всякіе калѣки перехожіе, со включеніемъ вольницы и подвижниковъ. Теперь, напротивъ, въ статьѣ, спеціально посвященной «калѣкамъ перехожимъ» эти калѣки превращаются въ дѣятелей силы центростремительной. Г. Мордовцевъ ничѣмъ не мотивируетъ этого превращенія, даже не упоминаетъ о превращеніи. Онъ просто заявляетъ: калѣки перехожіе служатъ, въ историческомъ процессѣ, представителями силы центростремительной, не калѣки—силы центробѣжной. И вотъ на какомъ основаніи. Нищенство, сознавая свое безсиліе, давно пришло къ убѣжденію, что въ борьбѣ за существованіе оно должно по возможности соединяться въ артели, въ ассоціаціи. Поэтому начало центростремительности калѣкъ перехожихъ выражается тѣмъ, что «идеи, которымъ они служатъ, исходятъ изъ понятія ассоціаціи и къ этому понятію возвращаются, какъ къ своему естественному источнику». Центробѣжность же ихъ противниковъ «обнаруживается постояннымъ стремленіемъ къ *отрѣшенію* отъ ассоціаціи, къ *абсолютизму* (*absolvo*—отрѣшаю). Первые большею частью не имѣютъ прочно обезпечивающей собственности и если являются сторонниками права собственности, то не личнаго, а общественнаго... Вторые стремятся выдѣлиться изъ общества собственнымъ состояніемъ, богатствомъ и властью надъ другими».

Изложенная странная статья представля-

етъ собою точно калейдоскопъ какой или панараму съ быстро смѣняющимися картинами. По полю зрѣнія г. Мордовцева разные историческіе образы проносятся въ такомъ количествѣ и съ такою торопливостью, что онъ даже не успѣваетъ ихъ фиксировать: за запорожцемъ несется іезуитъ рука объ руку съ меченосцемъ, за Эдгаромъ По — Гарибальди съ Дарвиномъ, калики перехожіе и Льюисъ, и Васька Буслаевъ, и Либихъ... Все это стремглавъ несется къ какимъ-то загадочнымъ барьерамъ, на которыхъ виднѣется смѣняющаяся тоже надпись: то центробѣжная сила, то центростремительная... Собственно относительно этихъ надписей еще возможно, можетъ быть, разобраться. Можетъ быть, напримѣръ, надо объяснять себѣ дѣло такъ, что тѣ же самыя силы, которыя при извѣстныхъ условіяхъ, на извѣстномъ уровнѣ цивилизаціи, являются центробѣжными, разрушительными, при другихъ условіяхъ и на другой ступени оказываются центростремительными, созидающими. Можетъ быть, все зависитъ отъ доброй воли изслѣдователя, который сегодня захочетъ и сдѣлаетъ центромъ изслѣдованія, напримѣръ, идею государства, а завтра расхочетъ и выберетъ себѣ другой центръ. Можетъ быть и еще какое-нибудь объясненіе есть. Но это во всякомъ случаѣ тайна г. Мордовцева, которой онъ не сообщаетъ читателю. Есть у него еще одна статья («Печать въ провинціи»), много толкующая о центробѣжной и центростремительной силахъ, но изъ нея тоже ничего нельзя вынести въ интересахъ разъясненія нашего недоразумѣнія. Притомъ же г. Мордовцевъ заявляетъ въ примѣчаніи, что «отъ многаго, высказаннаго въ этой статьѣ теоретически, онъ теперь положительно отказывается»; а отъ чего именно отказывается и при чемъ остается,—не поясняетъ.

Но еслибы мы какъ-нибудь и справились съ двусмысленными центростремительными и центробѣжными силами, или просто оставили ихъ въ сторонѣ, такъ та пестрая «смѣсь одеждъ и лицъ, племенъ, нарѣчій, состояній, которую г. Мордовцевъ пропустилъ передъ нами въ «калѣкахъ перехожихъ», всетаки потребовала бы перегруппировки. Едва-ли нужно много распространяться о томъ, что, въ противность увѣренію г. Мордовцева, отнюдь не вся мыслящая, работающая для науки и искусства Европа поетъ Лазаря; отнюдь не всѣ экономическіе трактаты, политическіе памфлеты, парламентскія рѣчи, физіологическія и историческія изслѣдованія, оперы и оперетки проникнуты заботой о нищихъ и голодныхъ, какъ бы эти послѣдніе ни назывались, просто-ли нищими, или пролетаріями. Объ этомъ смѣшно даже говорить. Точно также и событія новой европейской исторіи отнюдь не всѣ могутъ быть пріурочены къ пѣснѣ о Лазарѣ. Возьмемъ для примѣра хотя объединеніе Италіи или, по метафорическому выраженію г. Мордовцева, исторію того, какъ «аппенинскій сапогъ былъ снятъ съ чужой ноги и надѣтъ на ногу короля единой Италіи, Виктора-Эммануила». Какъ бы кто ни смотрѣлъ на это событіе,—съ восторгомъ, съ полнымъ равнодушіемъ или съ прискорбіемъ, но къ «нищимъ-убогимъ» оно не имѣетъ ровно никакого отношенія. Можетъ быть, г. Мордовцевъ и правъ, зачисляя Манини, Мадзини и Гарибальди въ длинный списокъ калѣкъ перехожихъ, но въ такомъ случаѣ надо предъявить какое-нибудь иное основаніе для этого обобщенія, а не пѣсню о Лазарѣ.

Г. Мордовцевъ есть въ русской литературѣ нѣкоторымъ образомъ беззаконная комета среди расчисленныхъ свѣтилъ. Онъ обладаетъ не только оригинальной манерой изложенія, иногда даже блестящей, хотя большею частью неуклюжей и многословной, но и оригинальнымъ складомъ мысли. Онъ никогда не идетъ въ хвостѣ другихъ, но и другимъ за нимъ идти тоже мудрено. Съ намѣченнаго логическаго пути онъ то и дѣло сбивается въ стороны, привлекаемый мелькающими передъ нимъ образами: погонится за однимъ, а тамъ уже новый мелькаетъ, другой, третій... Въ концѣ-концовъ логическая нить оказывается совершенно разорванною.

Г. Мордовцева занимаетъ историческая роль протестующихъ элементовъ вольницы и подвижниковъ (послѣдними онъ, впрочемъ, интересуется гораздо меньше). Русская вольница грабила, средневѣковые европейскіе бароны тоже грабили. Возможна-ли тутъ какая нибудь параллель, какое-нибудь обобщеніе? Конечно, возможно, если имѣть въ виду грабежъ. Но вѣдь г. Мордовцевъ имѣлъ въ виду не грабежъ, а протестъ; бароны же ни противъ чего не протестовали, никакого не укладывающагося въ данныя общественныя рамки принципа не несли, а просто грабили. Сколько нибудь точныхъ параллелей нашимъ народнымъ волненіямъ прошлаго вѣка надо искать въ Европѣ въ нѣмецкихъ крестьянскихъ возстаніяхъ и войнахъ, во французскихъ жакеріяхъ, въ нѣкоторыхъ еретическихъ движеніяхъ. Тутъ мы дѣйствительно найдемъ и настоящую вольницу, и настоящихъ подвижниковъ со всѣми ихъ типическими чертами. Найдемъ ихъ и въ Индіи, и въ древней Іудеѣ, и на всемъ Востокѣ, и въ древней Греціи и Римѣ съ ихъ возстаніями рабовъ и гладіаторскими войнами. Рабство, гражданское или политическое, или и то и другое

вмѣстѣ, составляетъ необходимое условіе единовременной кристаллизаціи такихъ двухъ, повидимому, ярко противоположныхъ типовъ, какъ вольница и подвижники. Въ граждански и политически свободномъ строѣ общества характеръ дѣятельности вольницы рѣзко измѣняется, а подвижники и совсѣмъ отпадаютъ. Ограничиваясь развитіемъ этихъ положеній, задатки которыхъ у него есть у самого, г. Мордовцевъ сдѣлалъ бы для выясненія «генезиса и историческаго значенія нищенства» гораздо больше, чѣмъ странными экскурсіями къ іезуитамъ и Эдгару По, къ Льюису и Гарибальди.

VI.

О драмѣ Додэ, о романѣ Бурже и о томъ, кто виноватъ.

I.

Въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» было недавно приведено содержаніе бесѣды сотрудника одного американскаго журнала съ Эмилемъ Зола. Французскій романистъ говорилъ, по обыкновенію, о торжествѣ «натурализма» и о проискахъ его враговъ. Между прочимъ, враги эти, «видя все болѣе и болѣе возростающій успѣхъ произведеній новой школы, задумали переводить и популяризировать романы Джорджа Элліота съ цѣлью вызвать реакцію въ пользу идеалистическаго направленія. Но реализмъ этой писательницы, произведенія которой проникнуты мрачной и скучной философіей, не пришелся по вкусу французской публикѣ». Обратились къ русскимъ писателямъ, и эта попытка имѣла нѣкоторый успѣхъ. «Благодаря ей,—сказалъ Зола,—намъ сдѣлались доступны два—три дѣйствительно замѣчательныхъ произведенія». Причина этого сравнительно большого успѣха кроется въ томъ, что «русскіе взяли отъ насъ нѣкоторыя идеи и, прекрасно усвоивъ и переработавъ ихъ въ славянскомъ духѣ, представили намъ въ своихъ произведеніяхъ». Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы русская литература оказала дѣйствительное вліяніе на французскую. «Только объ одномъ Бурже можно сказать, что его талантъ испыталъ на себѣ ея вліяніе, да и это еще можетъ быть подвержено сомнѣнію». Во всякомъ случаѣ французская литература переживаетъ нынѣ кризисъ, который Зола характеризовалъ такъ: «Послѣ того удара, который нанесъ господствовавшему направленію натурализмъ, стала чувствоваться потребность нѣкоторой реакціи. Человѣкъ неудержимо стремится къ счастью, оно—постоянный предметъ его желаній. При помощи положительнаго, научнаго метода мы заставили его увидѣть зло воочію, посмотрѣть на жизнь, какова она есть на самомъ дѣлѣ. Но мы не дали ему утѣшенія. Онъ благодаренъ намъ за то, что мы сдѣлали въ интересахъ раскрытія правды, но онъ даетъ намъ понять, что онъ еще не удовлетворенъ. Такъ надо думать. Но что можетъ въ концѣ-концовъ дать это удовлетвореніе? До сихъ поръ это вопросъ открытый. Символистическая школа дѣлаетъ усилія въ этомъ направленіи, но она еще не дала намъ ни одного замѣчательнаго произведенія. Талантъ Мопассана развился, развился и талантъ Бурже. Но ихъ произведенія, при всей оригинальности и несомнѣнныхъ достоинствахъ, не дали новой формулы. Мы остаемся въ періодѣ ожиданія и неудовлетворенности»...

Далѣе Зола распространился о своихъ собственныхъ планахъ. Еще нѣсколько лѣтъ займетъ у него завершеніе серіи Ругонъ-Маккаровъ, а затѣмъ онъ будетъ частью писать романы, но «отрѣшившись отъ того крайняго направленія, которому слѣдовалъ до сихъ поръ», а частью займется критикой. Онъ сказалъ американскому журналисту: «У меня найдется сказать нѣчто новое. Я отмѣчу нѣкоторыя новыя теченія въ литературѣ послѣдняго времени и дамъ имъ философскую оцѣнку».

Крупный беллетристическій талантъ Эмиля Зола, къ сожалѣнію, не мѣшаетъ ему быть человѣкомъ совершенно необразованнымъ. Это была бы еще не очень большая бѣда, потому что, во-первыхъ, знаніе—дѣло наживное, и учиться никогда не поздно; потому, во-вторыхъ, что такой наблюдательный и талантливый человѣкъ, какъ Зола, можетъ и безъ обширнаго образованія сдѣлать многое, если только будетъ помнить, чего именно ему не достаетъ и во что ему, слѣдовательно, лучше не пускаться. Въ своихъ прежнихъ писаніяхъ по теоріи искусства и литературной критикѣ, хорошо извѣстныхъ русской публикѣ, Зола слишкомъ ясно обнаружилъ невѣдѣніе границъ своего невѣдѣнія. «Экспериментальный романъ», «научная формула романа», аналитическій методъ», «новѣйшія науки», «романисты-анатомы», «романисты-химики», —весь этотъ смѣшной наборъ «ученыхъ» словъ и фразъ, импонируя развѣ ужь очень наивнымъ читателямъ, опьяняющимъ образомъ дѣйствовалъ на самого Зола. Онъ дошелъ, наконецъ, до того, что провелъ курьезнѣйшую параллель между Клодомъ-Бернаромъ и собою, Эмилемъ Зола, какъ дѣятелями науки. Это были Геркулесовы столбы, дойдя до которыхъ, Зола, сколько мнѣ извѣстно, замолкъ, какъ теоретикъ, и обратился къ своему настоящему дѣлу. Вышеприведенная его бесѣда съ американскимъ журналистомъ свидѣтельствуетъ, однако, что онъ далеко не отказался отъ дѣла, ему несвойствен-

наго. Въ ожиданіи будущаго, когда онъ предъявитъ «философскую оцѣнку» разныхъ литературныхъ теченій, онъ и теперь, если не въ печати, то въ словесной бесѣдѣ сыплетъ словечками вродѣ «научнаго, положительнаго метода», «новой формулы» и т. п. Надо думать, что талантливый романистъ и доселѣ не усвоилъ себѣ значенія этихъ «ученыхъ» словъ и щеголяетъ ими въ полной невинности. Разговоръ съ американскимъ журналистомъ былъ кратокъ или переданъ вкратцѣ, а потому многое остается неяснымъ. Но основная самоувѣренность Зола достаточно сквозитъ въ его сужденіи о русской литературѣ. Что русская литература многимъ обязана французской, и даже въ гораздо большей степени, чѣмъ это кажется Эмилю Зола,—это несомнѣнно; но несомнѣнно также, что нашъ русскій реализмъ или, пожалуй, натурализмъ будетъ много постарше натурализма Зола, постарше и посерьезнѣе. Вѣдь «два-три дѣйствительно замѣчательныя произведенія» русской литературы, которыя стали въ послѣднее время доступны французамъ, благодаря переводу, ужъ конечно не заключаютъ въ себѣ «нѣкоторыхъ идей, заимствованныхъ *у насъ*,»—кого бы ни разумѣлъ Зола подъ этими *нами*.

Не смотря, однако, на всѣ эти наивности и странности, въ разговорѣ Зола съ американскимъ журналистомъ есть одно указаніе, очень любопытное и тѣмъ болѣе цѣнное, что оно сопровождается косвеннымъ отреченіемъ отъ «натурализма». Изъ словъ Зола видно, что французское общество не довольно натурализмомъ, не удовлетворено этимъ направленіемъ, орудующимъ будто-бы при помощи «положительнаго, научнаго метода». И для руководителя, открывшаго «новую формулу», Зола, можетъ быть, даже съ излишнею торопливостью, готовъ удовлетворить новому запросу литературнаго рынка: онъ обѣщаетъ «отрѣшиться отъ того крайняго направленія, которому слѣдовалъ до сихъ поръ». Такимъ образомъ, начавъ за здравіе натурализма, Зола кончаетъ за упокой его.

Понятно, что никакого «положительнаго, научнаго метода» Зола никогда не употреблялъ и не могъ употреблять, по той простой причинѣ, что область науки сама по себѣ, а область искусства сама по себѣ. Подъ натурализмомъ, какъ онъ выяснился въ романахъ, повѣстяхъ и разсказахъ Зола и K°, слѣдуетъ разумѣть совокупность трехъ чертъ далеко не равнаго достоинства и отнюдь не необходимо одна съ другой связанныхъ. Это, во-первыхъ, стремленіе изображать жизнь, какъ она есть, безъ прикрасъ, безъ фальшивой идеализаціи, не обходя мрачныхъ сторонъ. Это въ сущности то самое теченіе, которое у насъ еще въ сороковыхъ годахъ образовало такъ называемую натуральную школу и продолжается въ лучшихъ представителяхъ нашей литературы доселѣ, давно переживъ свою кличку. Жило оно и во Франціи задолго до Эмиля Зола и если получило въ трудахъ его и его единомышленниковъ новый и очень талантливый толчокъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ осложнилось двумя особенностями, отнюдь не привлекательными. По справедливому замѣчанію Щедрина, французскіе «натуралисты» сдѣлали центромъ своихъ художественныхъ заботъ «сильно дѣйствующій торсъ, не прикрытый даже фиговымъ листомъ», что, понятно, вовсе не требуется основной идеей натурализма: не только свѣта, что въ окошкѣ, не только правды, что подъ фиговымъ листомъ. А кромѣ того, французскіе «натуралисты» очень ужъ налегли, говоря quasi-ученымъ языкомъ Эмиля Зола, на «детерминизмъ явленій», на убѣжденіе, что все существующее необходимо и инымъ, какъ оно есть, быть не можетъ. Безспорная истина; но когда она подаетъ поводъ для уподобленія романиста или вообще беллетриста «безстрастному анатому», ничѣмъ не восхищающемуся и ни о чемъ не скорбящему, то она въ значительной степени утрачиваетъ свой характеръ истины; ибо вѣдь и восхищеніе, и скорбь тоже имѣютъ свое мѣсто въ «детерминизмѣ явленій»: есть явленія, которыя должны, необходимо должны вызвать негодованіе, радость, смѣхъ, и всякіе толки о холодной стали анатомическаго ножа, о непререкаемости взаимодѣйствія химическихъ реактивовъ — въ такихъ случаяхъ просто смѣшная бляга. Такую именно смѣшную блягу представляютъ собою теоретическія разсужденія Зола. Скрывающійся подъ нею нравственно-политическій индифферентизмъ, надо думать, воспитанный душнымъ режимомъ второй имперіи, не есть какая-нибудь новость. Онъ слишкомъ часто игралъ свою роль въ исторіи и очень рѣдко имѣлъ двусмысленное мужество объявляться въ обнаженномъ видѣ. Большею же частью онъ прикрывается модными въ данную минуту теоретическими ученіями, будь то гегеліанская метафизика или «положительный, научный методъ». Этотъ «методъ» самъ по себѣ, разумѣется, не причемъ въ дѣлѣ Эмиля Зола, который орудуетъ имъ именно какъ моднымъ, т. е. не вникая въ его настоящій смыслъ и значеніе и даже просто не понимая того, о чемъ онъ говоритъ. «Анатомическій ножъ», «аналитическій методъ» и проч. чисто-механически приставлены къ тремъ вышепоименованнымъ чертамъ французскаго натурализма, которыя явственно проглядываютъ и въ послѣднемъ

произведеніи Зола—«La bête humaine», еще не оконченномъ въ ту минуту, когда я пишу это. Повидимому, въ этомъ романѣ найдутъ себѣ мѣсто разныя «звѣрства», но центральнымъ окажется то крайнее извращеніе полового инстинкта, которое выражается непреодолимымъ желаніемъ убить или изувѣчить жертву сладострастія. Это—хорошо извѣстное явленіе, и въ любомъ учебникѣ психіатріи Зола можетъ найти подходящіе для него матеріалы. Дѣлая его предметомъ художественнаго воспроизведенія въ обстановкѣ собственныхъ житейскихъ наблюденій, Зола несомнѣнно рисуетъ или хочетъ рисовать жизнь, какъ она есть. Но, во-первыхъ, «жизнь» сведена здѣсь къ тому «сильно дѣйствующему торсу, не прикрытому даже фиговымъ листомъ», о которомъ говоритъ покойный Щедринъ, а во-вторыхъ, во славу «детерминизма явленій», сюжетъ выбранъ завѣдомо психіатрическій и тѣмъ самымъ изъятымъ изъ области нравственнаго суда и отвѣтственности. О человѣкѣ, одолѣваемомъ этою страшною формою душевной болѣзни, только и можно сказать: вотъ больной человѣкъ, достойный даже сожалѣнія, не смотря на все свое звѣрство. Онъ не виноватъ, какъ не виноватъ курносый въ томъ, что онъ курносъ, а горбоносый въ томъ, что онъ горбоносъ. Но вѣдь онъ *подло* заманилъ свою жертву въ уединенное мѣсто (не знаю, такъ ли у Зола, но это все равно), онъ *безсовѣстно* надругался надъ ней, онъ *гнусно* любовался ея страданіями!.. Подло, безсовѣстно, гнусно!.. Но какой же смыслъ имѣютъ эти слова осужденія, когда мы признали эту bête humaine суду не подлежащею? А кровь и страданія жертвы всетаки вопіютъ о себѣ, и, какъ-бы точно и тонко ни была воспроизведена вся драма, читатель непремѣнно останется неудовлетвореннымъ. Останется въ немъ что-то колебательное и трудное, какой-то вопросительный знакъ. Что-то нужно рѣшить, на что-то нужно самому себѣ отвѣтить, а между тѣмъ не только отвѣта нѣтъ, но и самый вопросъ неясенъ. Состояніе это было-бы просто даже мучительно, еслибы романистъ не отвлекъ вниманія читателя въ сторону кровавыхъ подробностей фабулы и не вызвалъ ими своего рода наркоза. Конечно, ни Зола, ни какой другой романистъ, который возьмется за воспроизведеніе сюжета вродѣ осложненія полового чувства маніей убійства, не виноваты въ томъ, что такіе факты есть: они фотографируютъ дѣйствительность, въ которой ничего не властны измѣнить. Это такъ, но они властны направить свой фотографическій аппаратъ на тотъ или другой предметъ, и за выборъ этотъ, конечно, отвѣтственны. Понятно, что одна ласточка весны не дѣлаетъ, и одинъ романъ вродѣ «La bête humaine» не даетъ повода для обобщеній. Но онъ не одинъ. Не всегда «натуралисты» берутъ психіатрическіе сюжеты, но такъ или иначе, этимъ или другимъ путемъ, они обходятъ пунктъ нравственнаго суда и отвѣтственности. Щеголяя отдѣлкою подробностей, они топятъ въ ихъ «детерминизмѣ», т. е. въ ихъ неизбѣжной послѣдовательности, всякій протестъ противъ зла. Фактъ этотъ объясняется, я полагаю, просто нравственно-политическимъ индифферентизмомъ, а Зола своими неудачными теоретическими упражненіями пытался оправдать его и возвести въ принципъ.

Теперь Зола обѣщаетъ отрѣшиться отъ этого «крайняго направленія», которое очевидно стало, наконецъ, претить французскому обществу. Не смотря на комизмъ своихъ экскурсій въ область ученыхъ словъ, Зола—человѣкъ большого здраваго смысла и хорошо понялъ не только фактъ неудовлетворенности читателей quasi-научнымъ методомъ, но и причину этой неудовлетворенности. «Человѣкъ неудержимо стремится къ счастію,—говоритъ онъ,—а мы не дали ему утѣшенія; онъ благодаренъ намъ за правду, но еще не удовлетворенъ». Предоставить человѣку счастіе—не дѣло романистовъ, но если разумѣть подъ счастіемъ удовлетвореніе потребностей, то и романисты могутъ внести сюда свою лепту, въ предѣлахъ своей дѣятельности. «Натуралисты» удовлетворяли или стремились удовлетворять потребности познанія предъявленіемъ подлинной правды жизни, какъ она есть. Въ общемъ картина получилась нехорошая, до такой степени нехорошая, что вотъ, по словамъ Зола, понадобилось утѣшеніе, которое, когда выяснится, въ чемъ оно можетъ или должно состоять, дастъ «новую формулу» романа. Утѣшеніе не можетъ, конечно, состоять въ извращеніи или сокрытіи правды; эта фальсификація, бывшая когда-то въ большомъ ходу, есть пройденная ступень, и къ ней нѣтъ возврата. Натуралисты имѣютъ право съ полнѣйшимъ презрѣніемъ отвергнуть требованіе подобнаго утѣшенія. Болѣе вниманія заслуживало бы требованіе такихъ картинъ, въ которыхъ, какъ и въ самой жизни, было бы ужъ не сплошное зло и звѣрство, а и кое-что отъ добра. Но допустимъ, что зло такъ огромно, звучитъ такъ сильно, что заглушаетъ всѣ другія, добрыя струны жизни, а потому воспроизведеніе этихъ добрыхъ звуковъ или ничего не измѣнитъ въ общей неутѣшительной картинѣ, или отведетъ глаза отъ ея подлиннаго общаго смысла и слѣдовательно извратитъ его. Читатель съумѣетъ оцѣнить это обстоятельство и съ благодарностью приметъ изображеніе даже вящаго

зла, чѣмъ то, которое рисуютъ ему «натуралисты», назойливо тѣснясь около фиговаго листа; но только что бы при этомъ прекратилось то мучительное, колебательно-вопросительное состояніе, которое вызывается неудовлетвореніемъ потребности нравственнаго суда. Въ этомъ и будетъ состоять утѣшеніе: усталый глазъ отдохнетъ на протестѣ противъ зла.

Въ только-что вышедшей книжкѣ г. Минскаго «При свѣтѣ совѣсти» я нашелъ краснорѣчивую страничку о современной французской литературѣ (въ книжкѣ г. Минскаго много краснорѣчивыхъ страницъ, можетъ быть слишкомъ много и слишкомъ краснорѣчивыхъ). Собственно о «натуралистахъ» г. Минскій говоритъ слѣдующее:

„Ненависть къ людямъ — ихъ вдохновеніе, ихъ паѳосъ. Къ изображаемымъ героямъ они относятся, какъ къ личнымъ врагамъ, ставятъ имъ на каждой страницѣ западню, ловятъ на словахъ, вскользь и съ ядовитой улыбкой упоминаютъ объ ихъ притворной добродѣтели; наоборотъ, когда по ходу разсказа герой обнаруживаетъ низкія стороны своей натуры, писатель съ радостью замедляетъ дѣйствіе и отходитъ не раньше, чѣмъ расплещетъ до послѣдней капли всю грязь его души. Красота достается въ удѣлъ посудѣ и мебели, деревьямъ и камнямъ; въ человѣкѣ-же съ наслажденіемъ и точностью изображаются звѣрство, обжорство, вѣроломство, развратъ, болѣзни. Эти романисты садятся писать съ затаенною надеждой доказать несбыточность какого-нибудь идеала: любви, вѣры, чести, дружбы,—и всѣ ихъ произведенія не болѣе, какъ искусные эксперименты, артистически ловкій подборъ событій, долженствующихъ лишній разъ подтвердить излюбленную формулу, что человѣкъ есть звѣрь».

О книжкѣ г. Минскаго когда-нибудь въ другой разъ. Теперь скажу только, что это нѣкоторая игра ума, нѣкоторый метафизическій фокусъ, осложненный или «осоленный», какъ любитъ выражаться авторъ, метафорами, уподобленіями, притчами, поэтическими экскурсіями. Въ первой части, изъ которой заимствовано вышеприведенное сужденіе о французскихъ натуралистахъ, авторъ облекается въ сатанинскую маску и безпощадно разрушаетъ то самое, въ разрушеніи чего уличаетъ «натуралистовъ». Онъ тоже стремится доказать «несбыточность какого бы то ни было идеала: любви, вѣры, чести, дружбы» (потомъ этотъ малеванный чортъ оказывается, хотя и страшнымъ, но уже не до такой степени). Поэтому, произнося свое сужденіе о натуралистахъ, онъ, собственно говоря, не уличаетъ, въ укоризненномъ смыслѣ, не осуждаетъ ихъ, а просто констатируетъ фактъ, неизбѣжный на извѣстной ступени человѣческаго развитія,—ступени очень высокой, той именно, на которой стоитъ самъ г. Минскій, загримированный сатаной, да еще вотъ Франція. Но сатанинскій гримъ украшаетъ физіономію г. Минскаго только въ первой части, а затѣмъ онъ поднимается на еще высшую ступень «познанія абсолютно несуществующихъ и непостижимыхъ мэоновъ». Что это за мэоны, объ этомъ, равно какъ и вообще о книжкѣ г. Минскаго, повторяю, въ другой разъ. Теперь съ насъ достаточно знать, что г. Минскій позналъ несуществующее и непостижимое, а Франція еще не познала.

Мнѣ, грѣшному, вещи представляются вообще проще, чѣмъ онѣ изображены въ краснорѣчивой книжкѣ г. Минскаго. Онъ увѣряетъ, напримѣръ, что «когда мы встрѣчаемъ тѣло сильное, легкое, соразмѣрное, т. е. во всѣхъ частяхъ одинаково цѣлесообразное, насъ потрясаетъ блаженство, смѣшанное съ грустью; мы готовы упасть ницъ и молиться не прекрасному тѣлу, а святынѣ міра, вѣчной цѣли мірозданія, символомъ которой кажется намъ прекрасное тѣло». «Сильное, легкое, соразмѣрное тѣло», конечно, прекрасно, но я долженъ откровенно признаться, что при видѣ его меня не «потрясаетъ блаженство, смѣшанное съ грустью». Мало того, я не вѣрю, чтобы и г. Минскій, какъ только увидитъ какого-нибудь, скажемъ, акробата (у этихъ людей очень часто бываетъ сильное, легкое и соразмѣрное тѣло), такъ сейчасъ и падетъ ницъ и молиться начнетъ. Такъ и относительно французскихъ натуралистовъ. Краски г. Минскаго слишкомъ густы, слишкомъ ярки. Ничего сатанинскаго, демоническаго, человѣконенавистническаго въ этихъ людяхъ, мнѣ кажется, нѣтъ. Они бываютъ иногда, напротивъ, до нельзя наивны и во всякомъ случаѣ грѣшатъ не избыткомъ ненависти къ чему бы то ни было, а избыткомъ равнодушія. Изящную мебель и подлый поступокъ они изображаютъ съ одинаковою безучастностью. Отсюда эта подчасъ утомительная детальность въ описаніи обстановки, костюмовъ и проч.; отсюда-же та тягостная сиротливость и непристроенность нравственнаго чувства, которую такъ часто приходится испытывать при чтеніи этихъ произведеній. Въ «*La Curée*», напримѣръ, изображены гнуснѣйшія отношенія между отцомъ, сыномъ и матерью. Нравственное чувство не можетъ не возмущаться этою гнусностью, но она изображена съ такою-же равнодушною тщательностью, какъ и прелестный зимній садъ, въ которомъ эта гнусность разыгрывается; а такъ какъ зимній садъ дѣйствительно прелестенъ, то и гнусность окружается нѣкоторымъ поэтическимъ ореоломъ, хотя авторъ этого вовсе не хотѣлъ. Въ «*Nana*» графъ Мюффа есть настоящій скотъ въ образѣ человѣка, недостойный ни сожалѣнія, ни участія. Но этотъ справедливый приговоръ нравственнаго чув-

ства невольно колеблется, когда вы читаете подробнѣйшее описаніе тѣхъ надругательствъ, которымъ графъ подвергается со стороны Нана, и это колебаніе тѣмъ болѣе тягостно, что Мюффа и въ эти минуты остается все тѣмъ-же скотомъ. Въ «Pot bouille» негодяйство Октава Мюре рѣшительно тонетъ въ блескѣ его успѣховъ, расписанныхъ самыми яркими и соблазнительными красками; опять-таки отнюдь не потому, чтобы авторъ имѣлъ намѣреніе поэтизировать негодяйство,—онъ честный человѣкъ,—а просто потому, что успѣхъ Октава веселый, гладкій, и равнодушное зеркало разсказа отражаетъ всѣ подробности этой веселости и гладкости. И говоритъ авторъ: я sine ira et studio предъявляю «детерминизмъ» явленій; если при этомъ нравственное чувство читателя попадаетъ въ нѣкоторый лабиринтъ, изъ котораго не знаетъ какъ выбраться, такъ вѣдь я и не брался руководить нравственнымъ чувствомъ читателя.

Огромный успѣхъ романовъ Зола, самоувѣренный, вродѣ какъ диктаторскій тонъ его теоретическихъ статей, масса вызванныхъ имъ подражателей,—все это свидѣтельствуетъ, что натурализмъ пришелся по плечу современному французскому обществу съ его «безъидейною сытостью» (выраженіе Щедрина). Хожденіе вокругъ обнаженнаго торса доставляетъ пикантное развлеченіе, а если есть возможность сказать, что я, дескать, голой правды ищу, когда смотрю на голую женщину, такъ чего-же лучше? Нарушенное войной и коммуной благоденствіе и благочиніе возстановлено, власти бдятъ, преступленія, нарушающія общественную безопасность и спокойствіе, получаютъ должное возмездіе; остается только созерцать ходъ вещей въ его причинной послѣдовательности, а если это можно сдѣлать подъ флагомъ «положительнаго, научнаго метода», такъ опять-таки чего-же лучше? Этихъ сытыхъ, спокойныхъ, самодовольныхъ людей но тяготитъ непристроенность нравственнаго чувства. Но кромѣ сытыхъ есть еще пресыщенные, чья изношенная душа, если и способна ощущать боль внутренней разодранности, то находитъ въ ней особаго рода тонкое сладострастіе, смакуетъ его. Образчикъ этого смакованія, не совсѣмъ впрочемъ искренняго, мы въ свое время увидимъ на русской почвѣ въ книжкѣ г. Минскаго. Но г. Минскій придумалъ такую занимательную штуку, какъ «мэоны», и при помощи чего-то непостижимаго и несуществующаго полагаетъ выбраться на берегъ. На несуществующемъ едва-ли можно далеко уѣхать, и французы, повидимому, желаютъ выбраться, не дожидаясь «мэоновъ».

Французскіе натуралисты отнюдь не исчадія сатаны, не злорадные демоны,—они просто равнодушные люди, частью воспитанные равнодушной общественной средой, частью сами ее воспитывающіе такимъ могущественнымъ средствомъ, какъ романъ. Поразительный индифферентизмъ Зола сквозитъ и въ вышеприведенномъ его разговорѣ съ американскимъ журналистомъ. Онъ имѣетъ сказать нѣчто новое и, конечно, благотворное, хоть въ смыслѣ истины, но откладываетъ это дѣло на нѣсколько лѣтъ, въ теченіе которыхъ будетъ заниматься дѣломъ, въ которое уже не вѣритъ, ибо теперь уже заявляетъ намѣреніе отрѣшиться отъ своего направленія. Это истинно поразительно. Однако въ романахъ самого Зола часто, помимо его воли, прорывается среди равнодушнаго констатированія зла протестъ противъ этого зла. И, конечно, никто не осмѣлится сказать, что вся Франція была когда-нибудь погружена въ полное равнодушіе. Но безпримѣрныя несчастія, одно за другимъ обрушившіяся на эту страну, начиная съ кровавой декабрьской ночи 1851 г., наконецъ придавили ее. Ея лучшіе, наиболѣе энергическіе люди цѣлыми горстями выбрасывались за бортъ, то наполеоновскимъ режимомъ, то войной, то внутренними кровавыми расправами. Остальныхъ несчастія ошеломляли до растерянности и безучастія. Цѣль и смыслъ жизни затерялись въ этомъ калейдоскопѣ разгромовъ. На что надѣяться? во что вѣрить? чего желать? къ чему стремиться? Все разбито, раздавлено... «О, поле, поле, кто тебя усѣялъ мертвыми костями?!» Ужасное положеніе, при которомъ самая «сытость» (а вѣдь не всѣ-же французы и сыты), такъ поразившая иностранцевъ и при уплатѣ военной контрибуціи, и потомъ теперь, на всемірной выставкѣ, не только не помогаетъ дѣлу, а еще удручаетъ его: сытые безучастно созерцаютъ, пресыщенные сладострастно смакуютъ.

Отдохнула-ли Франція или что другое, но и этому комфортабельному безучастію, и этому утонченному разврату мысли и чувства наступаетъ, кажется, конецъ, по крайней мѣрѣ въ области литературы. Въ числѣ симптомовъ этого возрожденія жизни мнѣ кажутся достойными вниманія и указаніе Зола на реакцію противъ натурализма, и два почти единовременно появившіяся и имѣвшія огромный успѣхъ произведенія: Бурже—«Le disciple» и Додэ—«La lutte pour la vie». Эти произведенія—очень различны не только по формѣ (романъ и драма), но и во многихъ другихъ отношеніяхъ. Драма Додэ несравненно проще по замыслу, яснѣе по тенденціи и въ художественномъ отношеніи не представляетъ чего-нибудь рѣзко выдающагося, тогда какъ романъ Бурже, будучи круп-

нымъ художественнымъ произведеніемъ, въ то-же время отличается сложностью замысла и нѣкоторою туманностью направленія. Общее-же у нихъ слѣдующее. Совершается злое дѣло: оно взвѣшено, смѣряно, изслѣдовано съ точки зрѣнія причинъ и слѣдствій. Останавливается-ли, можетъ-ли остановиться на этомъ пунктѣ работа нашего духа? Нѣтъ, не останавливается, не должна останавливаться. Возникаетъ новый вопросъ, настойчиво требующій разрѣшенія: кто виноватъ?— не въ смыслѣ механической причины, а въ смыслѣ отвѣтственнаго и подлежащаго воздѣйствію начала. Изслѣдованіемъ механической причины зла удовлетворена только логическая или вообще познавательная способность; чувство и воля тоже требуютъ себѣ работы и такъ или иначе получаютъ ее: чувство возмущается, воля напрягается. Вопросъ: кто виноватъ?—не есть ни праздный вопросъ, ни противорѣчащій верховному закону причинности, ибо и самъ онъ есть неизбѣжное слѣдствіе извѣстныхъ причинъ, лежащихъ въ нашей духовной организаціи. За исключеніемъ нѣкоторыхъ особенно тусклыхъ историческихъ моментовъ всеобщей растерянности и безучастія, вопросъ этотъ всегда глубоко волновалъ людей въ той или другой формѣ. Совершилось злое дѣло. Кто виноватъ? Можетъ быть я, такой-то, имя рекъ,—и тогда наступаетъ сверлящая работа совѣсти съ ея требованіемъ искупленія, аскетическаго, въ видѣ веригъ и всякаго рода лишеній, или дѣйственнаго, въ видѣ крутого поворота дѣятельности. Можетъ быть такое-то второе или третье лицо, ты, онъ, вы, они,—и тогда воля напрягается въ направленіи мести,или той или другой сдѣлки. Можетъ быть общественный строй,—и тогда является стремленіе измѣнить его. Бывали въ исторіи человѣчества и другія рѣшенія. Одни, мятущіеся въ поискахъ за отвѣтомъ на роковой вопросъ, создавали отвратительный или обманчиво-прекрасный образъ злого духа, который и оказывался единымъ, великимъ, за все отвѣтственнымъ, виноватымъ. И разъ онъ былъ найденъ, то есть созданъ, надлежало бороться съ нимъ, то есть опять-таки дѣйствовать. Конечно, условія личнаго характера и темперамента и условія среды могутъ быть иногда таковы, что ими парализуется дѣятельность воли послѣ того, какъ уже насыщена потребность чувства правильнымъ или неправильнымъ отвѣтомъ на вопросъ: кто виноватъ? Гамлетъ знаетъ, кто виноватъ въ томъ зломъ дѣлѣ, которое омрачаетъ его жизнь. Слишкомъ хорошо знаетъ, потому что виноватый мозолитъ ему глаза чуть не каждый день, а между тѣмъ у него не хватаетъ силы дѣйствовать. Но здѣсь-то и лежитъ корень трагической тоски, удручающей Гамлета. Эта тоска—неутоленная жажда дѣятельности, и тотъ безумный восторгъ, который овладѣваетъ Гамлетомъ послѣ сцены въ театрѣ, когда ему удается сдѣлать хоть малость въ направленіи воздѣйствія на виноватаго, свидѣтельствуетъ, какую полноту жизни даетъ дѣйственный отвѣтъ на вопросъ: кто виноватъ? Этотъ-то вопросъ и задаютъ себѣ и читателямъ Бурже и Додэ въ вышеупомянутыхъ произведеніяхъ. Задаютъ вопросъ и даютъ на него посильный отвѣтъ.

Робертъ Грелу, герой романа Бурже, совершаетъ злое дѣло. Онъ виноватъ и, во-первыхъ, казнится собственною совѣстью, а, во-вторыхъ, его убиваетъ братъ его жертвы. Поль Астье, герой драмы Додэ, совершаетъ много злыхъ дѣлъ, и совѣсть его не протестуетъ, но его убиваетъ отецъ одной изъ его жертвъ. Такимъ образомъ непосредственные виновники зла въ обоихъ произведеніяхъ несутъ одинаковую казнь — смертную. Въ драмѣ Додэ это казнь подчеркнутая, рѣзко тенденціозная, это самъ авторъ казнитъ своего героя, о чемъ совершенно откровенно говоритъ въ предисловіи. Въ романѣ Бурже нѣтъ такой ярко выраженной ненависти автора къ герою, и если постигающая героя казнь, по мнѣнію автора, заслужена имъ, то частью это ложится пятномъ на другомъ виноватомъ, — ученомъ Сикстѣ, ученикомъ котораго признаетъ себя Робертъ Грелу. У Поля Астье тоже есть учитель, но это, во-первыхъ, не созданіе художественной фантазіи, а совершенно конкретное лицо—знаменитый Дарвинъ; во-вторыхъ, этотъ учитель не является на сценѣ; въ третьихъ, авторъ рѣшительно отвергаетъ отвѣтственность Дарвина за подлости Поля Астье. Изъ всего этого видно, до какой степени проста и ясна драма Додэ по сравненію съ романомъ Бурже. Разница эта объясняется не только разницею во взглядахъ авторовъ, но и разницею въ степени сложности самыхъ явленій, намѣченныхъ ими для художественной эксплоатаціи.

II.

Драмѣ Додэ у насъ посчастливилось,—ее переводятъ и даютъ на нѣсколькихъ сценахъ, а потому пересказывать содержаніе ея во всѣхъ подробностяхъ нѣтъ надобности. Припомнимъ его только въ самыхъ общихъ чертахъ. Герой драмы, Поль Астье, еще въ предъидущемъ произведеніи Додэ, въ романѣ «L'immortel», влюбилъ въ себя женщину гораздо старше себя, герцогиню Марію-Антонію Падовани, и женился на ней, то есть собственно на ея огромномъ богатствѣ. Теперь, въ драмѣ богатство это уже сильно расшатано биржевыми спекуляціями и рос-

кошною жизнью Астье, состоящаго депутатомъ и мѣтящаго гораздо выше. Герцогиня ему больше ни на что не нужна, тѣмъ болѣе что ему опять улыбается счастье въ видѣ любви красивой и несмѣтно богатой еврейки Эсфири Селени. Нужно развестись съ женой, но та не соглашается. Астье пробуетъ добиться ея согласія то возбужденіемъ ревности, то напротивъ притворнымъ возвращеніемъ любви, и наконецъ рѣшается даже отравить ее. Но жена накрываетъ его въ самый моментъ приготовленія къ преступленію, однако, все-же любя его, прощаетъ и соглашается на разводъ. Астье счастливъ. Но нѣсколько раньше онъ соблазнилъ дѣвушку, нѣкую Лидію Вальянъ, отецъ которой и убиваетъ Поля Астье въ тотъ самый моментъ, когда онъ, повидимому, достигъ всѣхъ своихъ цѣлей. Все это осложнено и переплетено рядомъ другихъ жестокостей и подлостей Поля Астье, который продѣлываетъ ихъ съ чрезвычайнымъ хладнокровіемъ и увѣренностью, ибо, говоритъ, я держусь дарвиновыхъ принциповъ борьбы за существованіе и переживанія сильнѣйшихъ. Сообразно этому драма называется «Борьба за существованіе», а для Астье и ему подобныхъ Додэ избралъ кличку—«struggleforlifer», борцы за существованіе.

Парижскій корреспондентъ «Русской Мысли» г. Франко Славъ, давая отчетъ о драмѣ Додэ, между прочимъ говоритъ: «Изъ того, что Поль Астье оправдываетъ свои негодныя продѣлки и всѣ свои преступленія естественнымъ закономъ, по которому сильные переживаютъ слабыхъ, авторъ выводитъ заключеніе, что теорія Дарвина породила подобныхъ уродовъ. Но развѣ эти уроды не существовали до появленія знаменитой книги англійскаго философа? Развѣ эти Астье не существовали во всѣ времена и во всѣхъ странахъ? Вообще чувствуется, что Додэ не особенно ясно представляетъ себѣ философію Дарвина, иначе онъ не могъ-бы обвинить ее въ такихъ напастяхъ, въ какихъ она рѣшительно не виновата». Въ этомъ-же смыслѣ, но только съ большею строгостью осуждаетъ Додэ извѣстная французская писательница и, между прочимъ, переводчица Дарвина, г-жа Клемансъ Ройе, въ фельетонѣ, помѣщенномъ въ одной изъ петербургскихъ газетъ. Она утверждаетъ, что Додэ «даетъ такое странное толкованіе закона борьбы за существованіе, что Дарвинъ, если-бы онъ былъ еще живъ, только развелъ-бы руками». Затѣмъ г-жа Ройе распространяется о нравственно-политическомъ значеніи борьбы за существованіе. Большой цѣны эти разсужденія не имѣютъ, но еслибы они были даже вполнѣ справедливы, они, равно какъ и замѣчаніе г. Франко-Слава, были-бы всетаки неумѣстны, неумѣстны до удивительности. Драма Додэ и сама по себѣ отличается необыкновенною ясностью, исключающею, казалось-бы, возможность недоразумѣній насчетъ цѣлей и намѣреній автора, а онъ снабдилъ ее еще предисловіемъ, не оставляющимъ уже рѣшительно никакого мѣста сомнѣніямъ. Предисловіе открывается перепечаткою словъ одного изъ дѣйствующихъ лицъ драмы, послѣ чего Додэ пишетъ: «слова эти резюмируютъ мысль моего произведенія». А эти резюмирующія слова начинаются такъ: «Конечно, я не великаго Дарвина зову къ отвѣту, а тѣхъ лицемѣрныхъ разбойниковъ (hypocrites bandits), которые на него ссылаются». Далѣе, комментируя личность своего героя, Поля Астье, Додэ говоритъ: «Читалъ-ли онъ Дарвина? Я въ этомъ сомнѣваюсь, я даже увѣренъ, что нѣтъ, но того немногаго, что онъ изъ него знаетъ и охотно цитируетъ, нѣсколькихъ схваченныхъ на лету дарвинистскихъ формулъ, достаточно въ его собственныхъ глазахъ и даже въ глазахъ общества для научнаго объясненія его преступнаго существованія». Такимъ образомъ Додэ не только не обвиняетъ Дарвина въ мерзостяхъ Поля Астье, какъ утверждаютъ г. Франко Славъ и г-жа Клемансъ Ройе, но, напротивъ, рѣшительно отрицаетъ право Поля Астье ссылаться на теорію англійскаго ученаго, и дѣлаетъ это въ выраженіяхъ столь ясныхъ, что приведенныя замѣчанія обоихъ критиковъ становятся просто непонятными. Г-жа Клемансъ Ройе, въ качествѣ правовѣрной дарвинистки, могла-бы огорчаться драмой Додэ совсѣмъ съ другой стороны. Писательница эта сдѣлала когда-то на свой собственный страхъ нѣкоторые рискованные нравственно-политическіе выводы изъ теоріи Дарвина и доселѣ стоитъ на необходимости и благотворности такихъ выводовъ; а между тѣмъ изъ нѣсколькихъ мѣстъ драмы и предисловія къ ней можно вывести заключеніе, что Додэ смотритъ на теорію Дарвина, какъ на нѣчто, можетъ быть, и прекрасное въ научномъ смыслѣ, но къ практической жизни совершенно неприложимое. Правъ-ли, не правъ-ли Додэ, но этотъ вопросъ драмой всетаки не затрогивается, а потому и мы его касаться не будемъ. Въ драмѣ отношенія Поля Астье къ дарвинизму поставлены чрезвычайно просто и ясно: безсовѣстный негодяй утверждаетъ, а, можетъ быть, и самъ вѣритъ, что разнообразныя его мерзости и подлости оправдываются дарвинистскими принципами «борьбы за существованіе» и «переживанія приспособленнѣйшихъ». Отношеніе, какъ видите, чисто внѣшнее. Астье просто прикрывается теоріей и безъ нея былъ-бы точно такимъ-же негодяемъ, какъ и при ней.

Додэ очень обстоятельно мотивируетъ разныя подробности драмы, да и въ ней самой подчеркиваетъ нѣкоторыя положенія съ такою старательностью, которая даже граничитъ съ наивностью. Между прочимъ, онъ разсказываетъ, какъ и почему зародилась въ немъ мысль «Борьбы за существованіе». Онъ былъ натолкнутъ на этотъ сюжетъ процессомъ Лебье и Барре, которые убили старуху-молочницу, причемъ Лебье, вскорѣ послѣ убійства, прочелъ публичную лекцію о борьбѣ за существованіе и частію повторилъ ее на судѣ. Додэ думалъ написать книгу полу-фактическаго, полу-романическаго содержанія, подъ заглавіемъ «Лебье и Барре—два современные молодые француза». Но тутъ скоро появился французскій переводъ романа Достоевскаго «Преступленіе и наказаніе», и Додэ отказался отъ своего плана: онъ увидѣлъ въ романѣ Достоевскаго этотъ планъ уже осуществленнымъ,—Раскольниковъ былъ Лебье, статья Раскольникова о преступленіи—лекція Лебье о борьбѣ за существованіе. Тѣмъ не менѣе «борецъ за существованіе», «struggleforlifer» не давалъ покоя Додэ. Онъ вглядывался, дѣлалъ новыя наблюденія,и такимъ путемъ сложилась наконецъ фигура Поля Астье сначала въ романѣ «L'immortel», а потомъ въ драмѣ «La lutte pour la vie». Полю Астье 32 года, его пріятелю и въ нѣкоторомъ смыслѣ ученику Шемино—30 лѣтъ. По наблюденіямъ Додэ, типъ «борцовъ за существованіе» въ особенности распространенъ въ возрастѣ 30—40 лѣтъ, а за ними идетъ поколѣніе еще большихъ негодяевъ. Поль Астье презираетъ Лебье и Барре, какъ мальчишекъ, изъ-за грошей убившихъ жалкую старуху и ни о чемъ, кромѣ немедленнаго удовлетворенія своихъ маленькихъ прихотей, не думавшихъ. Онъ мѣтитъ выше; тридцать—тридцать пять тысячъ годового дохода для него «нищета»; онъ разсчитываетъ къ тридцати пяти годамъ стать министромъ, но и на этомъ не останавливается. «Я люблю власть, я хочу взобраться очень высоко,—говоритъ онъ,—понимаешь, очень высоко! Хочу управлять событіями и людьми!» По пути къ этому высокому положенію Поль Астье хладнокровно шагаетъ черезъ всѣ препятствія, въ чемъ бы они ни состояли и чего-бы это ни стоило тѣмъ, кто стоитъ на дорогѣ; онъ шагаетъ черезъ чужую честь и совѣсть, даже черезъ чужую жизнь, но всетаки содрагается передъ фактомъ отравленія жены,—на это у него не хватаетъ духу. Додэ очень цѣнитъ этотъ фактъ и комментируетъ его. «Поль Астье,—говоритъ онъ,—принадлежитъ къ поколѣнію, которое хотя и не вѣритъ въ старыя учрежденія (vieilles institutions), но сохранило еще смутный инстинктъ закона, жандарма (un vague instinct de la loi, du gendarme). Можетъ быть я ошибаюсь, но мнѣ кажется, что эта группа людей въ 30—40 лѣтъ, мало рѣшительная на зло, какъ и на добро, порода колеблющихся и вопрошающихъ Гамлетовъ, еще не пришла къ абсолютному и дѣятельному *ничто* слѣдующаго поколѣнія, уже ничего не уважающаго и лишеннаго всякой нравственности». Въ текстѣ драмы Шемино отъ своего имени поддерживаетъ эти соображенія автора. У Поля Астье есть секретарь Лортигъ, 23-хъ лѣтъ. Такъ вотъ по поводу этого Лортига Шемино говоритъ: «У этихъ ничего нѣтъ, ни Бога, ни жандарма. Мы хоть и не вѣримъ въ старыя учрежденія, но знаемъ, что они есть. Это все равно, какъ перила у лѣстницы: пользоваться ими приходится рѣдко, но всетаки спокойнѣе когда они есть, а эти молодцы конца столѣтія...» Любопытно, что у Лортига тоже есть готовая теорія для оправданія мерзостей. Онъ попрекаетъ Шемино «предразсудками», отъ которыхъ ихъ поколѣніе еще не успѣло отдѣлаться, а вотъ я,—говоритъ,—держусь ученія Берклея: «Ничто не существуетъ, міръ есть фантасмагорія; признавъ этотъ принципъ, можно все себѣ позволить».

Почему именно Берклея выбралъ Додэ въ учителя Лортигу,—понять довольно трудно. Придворный проповѣдникъ, потомъ епископъ, энергическій миссіонеръ, разорившійся на одномъ миссіонерскомъ предпріятіи, тонкій метафизикъ и крайній спиритуалистъ, можетъ быть самый крайній изъ всѣхъ, когда-либо существовавшихъ, Берклей очень удивился бы такому ученику. Ученіе Берклея не только не изгоняло сверхчувственнаго и супранатуральнаго начала, но, напротивъ, признавало существующимъ только Бога и его эманацію—духъ. Отрицалъ же Берклей реальность матеріи, видимаго міра, который былъ, съ его точки зрѣнія, лишь нашимъ представленіемъ. Эта метафизическая тонкость ничего собственно не переставляла въ дѣйствительныхъ отношеніяхъ между вещами вообще и въ частности ни мало не колебала принципа нравственнаго долга. Притомъ же система Берклея и въ свое-то время была очень мало популярна, нынѣ поминается только въ курсахъ исторіи философіи, да и то не во всѣхъ, такъ что рѣшительно не видно, почему-бы могъ за нее ухватиться въ концѣ XIX вѣка какой-нибудь Лортигъ. Можетъ быть Додэ хотѣлъ этимъ способомъ еще болѣе подчеркнуть отношеніе современныхъ французскихъ негодяевъ къ научнымъ или философскимъ теоріямъ, на которыя они якобы опираются. Если есть вѣроятность,

что Поль Астье не читалъ Дарвина, то можно голову прозакладывать, что Лортигъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о Берклеѣ: онъ гдѣ-то урвалъ даже не мысль, а фразу, переврalъ ее и своимъ умомъ дошелъ до распутнаго вывода, котораго Берклей никогда не дѣлалъ, и который изъ его системы отнюдь не вытекаетъ. Если Додэ именно это хотѣлъ сказать своимъ сопоставленіемъ Лортигъ-Берклей, то выборъ Берклея, съ одной стороны, пожалуй и удачный,—потому что большей наглости Лортигу приписать уже и нельзя,—неудаченъ съ другой стороны. Когда Астье ссылается для оправданія своихъ низостей на Дарвина, это понятно, то-есть понятны побужденія Астье. Дарвинъ есть въ нѣкоторомъ смыслѣ послѣднее слово науки, отразившееся на самыхъ разнообразныхъ отрасляхъ знанія, слово авторитетное и вмѣстѣ модное. Ссылаться на него не только лестно, а можетъ быть и выгодно, потому что—magister dixit! А что такое Берклей? Забытый метафизикъ прошлаго столѣтія, именемъ котораго никому рта не зажмешь.

Въ своемъ родѣ не менѣе странно сопоставленіе Лебье съ Раскольниковымъ, хотя Додэ находитъ аналогію не только между ними, какъ личностями, но и между лекціей Лебье о борьбѣ за существованіе и статьей Раскольникова о преступленіи. Начать съ того, что Лебье прочиталъ свою лекцію послѣ убійства, а Раскольниковъ написалъ свою статью до убійства, только еще обдумывая его чисто теоретически. Это, повидимому, мелкая, а въ сущности чрезвычайно важная и характерная разница. Раскольниковъ—настоящій теоретикъ,мыслитель, дошедшій до несчастной мысли объ убійствѣ старухи въ книжномъ уединеніи, мечтающій о благѣ человѣчества, а отнюдь не о собственныхъ какихъ-нибудь наслажденіяхъ. Передъ Достоевскимъ рисовался,—да такимъ онъ и вышелъ,—образъ человѣка съ благороднымъ характеромъ, но теоретически заблуждающагося. Въ этомъ-то столкновеніи благородной души съ теоретическимъ заблужденіемъ и заключается весь интересъ сложной и глубокой фигуры Раскольникова, тогда какъ Астье просто негодяй, никогда о людяхъ не думающій и, конечно, незнакомый съ тѣми мучительными безсонными ночами и можетъ быть еще болѣе мучительными тревожными днями, которые проводилъ Раскольниковъ и до убійства, и послѣ него. Живой первообразъ Поля Астье—Лебье могъ прочитать лекцію о борьбѣ за существованіе послѣ убійства. Раскольниковъ-же, наоборотъ, могъ написать свою статью о преступленіи только до совершенія убійства, а послѣ него онъ лишь угрызается сомнѣніями и совѣстью вплоть до признанія. Въ связи съ этимъ нельзя принять и другую параллель Додэ—между Полемъ Астье и Гамлетомъ. Строго говоря, онъ, пожалуй, такой параллели не проводитъ, но всетаки называетъ всю группу людей, къ которой принадлежитъ Астье, «породой колеблющихся и вопрошающихъ Гамлетовъ». Можетъ быть по сравненію съ Лортигомъ, который еще только развертывается, Астье и окажется колеблющимся, вопрошающимъ, «мало рѣшительнымъ на зло, какъ и на добро». Но нѣсколькихъ минутъ раздумья передъ отравленіемъ жены, при наличности цѣлаго ряда беззастѣнчивыхъ подлостей, немножко мало для сравненія съ благороднымъ и дѣйствительно колеблющимся датскимъ принцемъ. Пріостановившись передъ покушеніемъ на прямое убійство жены, Астье продолжаетъ однако идти къ своей прежней цѣли своими прежними средствами, и Додэ самъ говоритъ, что въ другой разъ его герой, уже не колеблясь, подалъ бы стаканъ съ отравой.

Астье ясенъ, простъ, не обуреваемъ никакими сомнѣніями. Столь-же просты, ясны и несомнѣнны отношенія къ нему автора. Додэ прямо ненавидитъ своего героя и откровенно заявляетъ это въ предисловіи. Онъ говоритъ: «Нѣкоторые хотѣли-бы, чтобы я окончилъ драму торжествомъ Поля Астье. Нѣтъ, я иначе смотрю на вещи. Я безусловно вѣрю, что все оплачивается; я всегда видѣлъ, что люди рано или поздно получали воздаяніе за дѣла свои, добрыя или злыя, и не въ будущей жизни, которой я не знаю, а здѣсь на землѣ. Долженъ признаться, что моя ненависть къ злымъ такъ велика, что я вложилъ, можетъ быть, излишнюю утонченность въ казнь моего Поля Астье. Я настигъ его въ минуту полнаго счастья,такого счастья, что онъ можетъ быть сталъ бы почти добрымъ». Дѣйствительно, заключительная сцена драмы изысканна до художественнаго неприличія. За кулисами происходитъ аукціонная продажа имущества бывшей жены Поля Астье, а на сценѣ онъ милуется со своей новой невѣстой; онъ счастливъ, все идетъ именно такъ, какъ ему нужно. Но какъ разъ въ тотъ моментъ, когда за кулисами слышится возгласъ аукціониста: «присужденъ!» (дѣло идетъ о какомъ-то экипажѣ), раздается выстрѣлъ Вальяна, отца соблазненной Полемъ Астье дѣвушки, Астье падаетъ, и Вальянъ, указывая рукой на небо, повторяетъ слово аукціониста: «да, присужденъ!»

Очень достойно вниманія, что Додэ и самъ понимаетъ «излишнюю утонченность» казни Поля Астье, но измѣнять ничего всетаки не хочетъ. Пусть лучше останется нѣкоторый изъянъ въ художественной правдѣ, ко-

торая вѣдь всегда условна, но потребность нравственнаго суда должна быть насыщена во что бы то ни стало. Авторъ знать не хочетъ никакого «детерминизма явленій», въ которомъ нашлось-бы если не оправданіе, то хоть объясненіе злодѣйскихъ чертъ Поля Астье. Возгласъ «присужденъ!», ставящій послѣднюю точку къ драмѣ, есть торжествующій, радостный возгласъ самого автора. Поль Астье виноватъ и долженъ, по приговору автора, смертью искупить свои вины. Это не приговоръ Ѳемиды, глаза которой, во избѣжаніе пристрастія, завязаны. Ѳемидѣ, охранительницѣ закономъ установленнаго порядка, нечего дѣлать съ Полемъ Астье, ея вѣдѣнію подлежатъ лишь преступившіе область права, формальнаго закона, какъ Вальянъ; а Поль Астье, напротивъ, находится подъ ея охраной, ибо ни одна изъ его подлостей и жестокостей не приняла размѣровъ и формъ, уловимыхъ для такъ называемаго правосудія. Вотъ если бы онъ отравилъ свою жену и былъ уличенъ въ этомъ преступленіи—тогда другое дѣло. Но Додэ не допустилъ его до этого, не предалъ его въ руки уголовной юстиціи, а расправился самъ, руками оскорбленнаго за дочь Вальяна. Нѣчто подобное, только въ гораздо болѣе сложной духовной обстановкѣ, мы увидимъ и въ романѣ Бурже. Тамъ Роберъ Грелу избѣгаетъ—и, съ формальной точки зрѣнія, правильно избѣгаетъ—кары закона, но за то присуждается къ смерти и казнится руками графа Андре, мстящаго за сестру. Повтореніе этого пріема въ двухъ совершенно другъ отъ друга независимо возникшихъ выдающихся произведеніяхъ двухъ, можетъ быть, наиболѣе талантливыхъ современныхъ французскихъ беллетристовъ представляется мнѣ глубокознаменательнымъ. Я вижу тутъ одинъ изъ признаковъ того, что для Франціи пришелъ конецъ равнодушному отношенію къ злодѣйствамъ, не зачисленнымъ въ сферу правонарушеній, не караемымъ закономъ, а иногда даже покровительствуемымъ,—окончательный конецъ, когда глухо и безсистемно бродящіе въ обществѣ запросы получаютъ выраженіе въ литературѣ страны. Вотъ и Зола, какъ мы видѣли, отмѣчаетъ реакцію противъ натурализма съ его безстрастнымъ воспроизведеніемъ «детерминизма явленій». Французское общество, по словамъ Зола, благодарно натуралистамъ за фактическую правду изображенія зла, но оно жаждетъ утѣшенія. Можно-ли утѣшаться тѣмъ, что Ѳемида властвуетъ, какъ и всегда, и все такъ-же держитъ мечъ въ одной рукѣ и вѣсы въ другой, и все такъ же у нея глаза завязаны? Благородный Вильянъ убилъ негодяя Астье и понесетъ за это кару нелицепріятнаго закона, а самъ Астье, если бы не былъ убитъ, и въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, управлялъ бы людьми и событіями. Точно также какой нибудь голодный нищій, укравшій у Поля Астье старыя панталоны или пятифранковикъ, попадетъ въ руки правосудія, а самъ Астье, ограбившій на законномъ основаніи свою жену и разорившій множество другихъ людей, безнаказанно пользуется плодами своего грабежа. Такимъ образомъ зло, причиняемое Полю Астье, карается, а зло, имъ самимъ причиняемое, не карается. Утѣшительно-ли это? Додэ и Бурже, являясь въ этомъ случаѣ, какъ надо думать, представителями разбуженной французской совѣсти, хотятъ иного утѣшенія. Для нихъ дѣло не въ преступникахъ, въ смыслѣ нарушителей законовъ, ограждающихъ жизнь, собственность, установленныя права, а напротивъ, въ томъ морѣ зла, которое ускользаетъ отъ воздѣйствія закона и часто пользуется даже его покровительствомъ. Вотъ въ этомъ-то морѣ зла кто виноватъ? Познавъ зло, какъ фактъ, познавъ его причины и слѣдствія, мы хотимъ еще найти отвѣтственнаго виновника и поступить съ нимъ такъ, какъ подскажутъ намъ возмущенное нравственное чувство и контролирующій разумъ.

Додэ нашелъ виноватаго въ лицѣ struggle-forlifer'а, борца за существованіе, и, съ страстною ненавистью настигнувъ одного изъ представителей этого типа, торжествуетъ, когда тотъ, при возгласѣ «присужденъ!», окровавленный валится на землю. Вотъ поверженный виновникъ зла! Вотъ торжество оскорбленнаго нравственнаго чувства! Какъ-бы мы, однако, ни относились къ руководящимъ мотивамъ Додэ, какъ-бы мы ни цѣнили этотъ страстный протестъ противъ зла, не замаскированный никакими «анатоміями» и «положительными, научными методами» едва-ли всетаки можно принимать очень близко къ сердцу его торжество. Поль Астье,—пусть онъ даже вполнѣ характеренъ и правдивъ, какъ художественное воспроизведеніе распространеннаго въ наше время типа,—не есть тотъ красный цвѣтокъ, который, въ разсказѣ покойнаго Гаршина, впиталъ въ себя всю невинно пролитую кровь, всѣ слезы и всю желчь человѣчества. Да и Додэ не тотъ героическій безумецъ, который отважился вступить въ борьбу съ концентрированнымъ зломъ, если не всего міра, такъ своего времени. А! Еслибы Астье былъ подобіемъ краснаго цвѣтка, то не одинъ Додэ апплодировалъ-бы возгласу «присужденъ!». Но возлѣ Астье стоитъ уже Шемино, который пока еще только присматривается, учится, но въ свое время не уступитъ Полю Астье въ дѣлѣ жестокой подлости, а сзади выглядываетъ еще болѣе безстыжій Лортигъ. Мало того. Драма Додэ получаетъ общественное

значеніе, какое онъ именно и хотѣлъ ей придать, только потому, что рядомъ съ Астье есть еще и Шемино, и Лортигъ, и цѣлая перспектива. Сама по себѣ исторія Поля Астье не выходитъ изъ предѣловъ довольно узкихъ интересовъ и представляетъ собою частный случай, который можетъ эксплоатироваться внѣ какихъ нибудь опредѣленныхъ условій времени и пространства. Сегодня и сто лѣтъ тому назадъ, во Франціи и въ Россіи возможны безсовѣстные негодяи, лѣзущіе на-проломъ по чужимъ спинамъ и по чужимъ душамъ къ почестямъ, богатству, власти. Единственная специфически современная черта—ссылка на Дарвина — теряетъ свое значеніе, въ виду категорическаго заявленія Додэ, что Дарвинъ тутъ не причемъ. Совсѣмъ другое дѣло, когда мы узнаемъ, что Астье не случайный экземпляръ, что struggleforlifer'ы могутъ быть en masse пріурочены къ какимъ-то опредѣленнымъ условіямъ, воспитавшимъ людей вродѣ Астье и Шемино, которымъ теперь отъ 30 до 40 лѣтъ и за которыми слѣдуетъ еще цѣлое поколѣніе еще болѣе разнузданныхъ Лортиговъ.

Эти цифры возраста интересны. Люди, которымъ теперь отъ 30 до 40 лѣтъ, родились около времени краха республики 1848 года и воцаренія Наполеона. Они хоть и не вѣрятъ настоящимъ образомъ въ «старыя учрежденія», но по крайней мѣрѣ смотрятъ на нихъ, по живописному и остроумному уподобленію Шемино, какъ на перила у лѣстницы: постоянной надобности въ этихъ перилахъ нѣтъ, а на всякій случай не вредно знать всетаки, что они тутъ и за нихъ можно ухватиться. «Молодцы конца столѣтія» вродѣ Лортига, люди лѣтъ на десять моложе, уже совсѣмъ не безпокоятся ни о какихъ перилахъ,—имъ все трынъ-трава. «Старыя учрежденія» въ данномъ случаѣ—не совсѣмъ подходящее выраженіе, по крайней мѣрѣ по-русски. Говоря о старыхъ учрежденіяхъ, дѣйствующія лица драмы и самъ Додэ разумѣютъ не только собственно учрежденія, а и вѣрованія, вообще совокупность направляющихъ, руководящихъ началъ, что можно-бы было передать общепринятымъ фигуральнымъ выраженіемъ — старые боги. Много было боговъ у пылко и быстро живущей Франціи. Еще не успѣвали потускнѣть боги феодально-рыцарской чести, какъ воздвигались алтари свободѣ, равенству и братству; богиня разума, хотя и свергнутая, все еще жила рядомъ съ возродившимся богомъ военной славы, а изъ-за него выступалъ уже богъ гуманизма. Какая-бы вражда ни происходила на этомъ Олимпѣ, но онъ содержалъ въ себѣ цѣлый рядъ духовныхъ ферментовъ, способныхъ будить энтузіазмъ, руководить людьми въ жизни и вести ихъ на смерть. Честь, совѣсть, отечество, человѣчество разно, и часто въ совершенно противоположномъ смыслѣ, понимались и толковались, но они не были «забытыми словами». Они стали постепенно забываться съ тѣхъ поръ, какъ горсть бонапартистовъ, пользуясь чужими ошибками, измѣннически захватила власть и затѣмъ въ теченіе двухъ десятилѣтій выбивала изъ Франціи всякій духъ. Именно всякій. Наполеоновскій режимъ нельзя назвать реакціей въ смыслѣ рѣшительнаго и неуклоннаго обращенія къ какому-нибудь изъ старыхъ боговъ, хотя заигрыванія происходили со всѣми ими. Людямъ власти казалось въ ту пору, что для упроченія существующаго порядка нужно, чтобы всякая духовная жизнь замерла, насколько это возможно въ такой странѣ, какъ Франція, чтобы пламя увлеченія какими-бы то ни было идеалами залилось водой повседневной жизни и узкихъ матеріальныхъ интересовъ. Эта злонамѣренная и близорукая политика привела къ Седану, потерѣ двухъ провинцій и милліардамъ контрибуціи. Оказалось, что французы разучились умирать даже въ честь бога военной славы, того единственнаго изъ старыхъ боговъ, культъ котораго всетаки оффиціально поддерживался. А между тѣмъ находились и среди незлонамѣренныхъ глупцы, которые утверждали, что все идетъ къ лучшему, что пора, наконецъ, Франціи отвернуться отъ судорожныхъ порываній къ идеалу и широкимъ задачамъ. Старые боги блѣднѣли, тускнѣли, новыхъ не нарождалось. Въ этой-то страшной пустотѣ и сложились характеры поколѣнія, къ которому принадлежатъ Астье и Шемино, а потомъ и Лортиги. Это — жестокіе и тупые, толстокожіе люди, для которыхъ соприкосновеніе съ міромъ идей и идеаловъ ограничивается платоническимъ уваженіемъ къ наукѣ и философіи, поскольку онѣ, въ лицѣ Дарвина и Берклея, могутъ быть истолкованы или перевраны съ распутною цѣлью.

Не всегда, однако, повидимому, дѣло ограничивается такимъ платоническимъ уваженіемъ. Но мнѣ остается на этотъ разъ слишкомъ мало мѣста, и я закончу выпиской изъ предисловія Бурже къ роману «Le disciple». Это чрезвычайно любопытное предисловіе написано въ видѣ письма или вообще обращенія «къ молодому человѣку».

«Я вижу передъ собой,—говоритъ Бурже,—два типа молодыхъ людей, а для тебя это два искушенія, одинаково страшныхъ и пагубныхъ. Одинъ—жизнерадостный циникъ. Въ двадцать лѣтъ онъ уже сдѣлалъ учетъ жизни, и вся его религія заключается въ одномъ словѣ: наслаждаться, которое можно перевести другимъ: имѣть успѣхъ. Занимается-ли онъ политикой или биржей, литера-

турой или искусствомъ, спортомъ или торговлей, офицеръ-ли онъ или дипломатъ, адвокатъ,—у него только одинъ богъ, одинъ принципъ и одна цѣль: онъ самъ. Онъ заимствовалъ у современной естественной философіи великій законъ жизненной конкуренціи и прилагаетъ его къ дѣлу своей карьеры съ жаромъ позитивиста, который дѣлаетъ изъ него цивилизованнаго варвара. Альфонсъ Додэ, прекрасно понявшій этого современнаго молодого человѣка, окрестилъ его именемъ struggleforlifer, а самъ онъ охотно называетъ себя «концомъ столѣтія». Онъ уважаетъ только успѣхъ, а въ успѣхѣ только деньги. Онъ убѣжденъ, читая эти строки, что я смѣюсь надъ публикой, когда рисую его портретъ, и что я самъ такойже. Онъ до такой степени нигилистъ на свой образецъ, что идеалъ кажется ему комедіей и въ другихъ, каковъ онъ въ немъ самомъ, когда онъ, напримѣръ, лжетъ передъ народомъ, чтобы добиться его голосовъ. Этотъ молодой человѣкъ — чудовище, неправда-ли?.. Потому что надо быть чудовищемъ, чтобы въ двадцать пять лѣтъ превратить свою душу въ числительную машинку и отдать ее въ услуженіе машинѣ наслажденія. Но для тебя онъ всетаки не такъ страшенъ, какъ тотъ другой, который является утонченнымъ умственнымъ эпикурейцемъ. Какъ страшны и какъ часты встрѣчи съ этимъ тонкимъ нигилистомъ! Въ двадцать пять лѣтъ онъ уже пробѣжалъ весь кругъ современныхъ идей. Его рано разбуженный критическій умъ понялъ послѣдніе результаты тончайшихъ философскихъ системъ нашего времени. Не говори ему о нечестіи, о матеріализмѣ. Онъ знаетъ, что слово «матерія» не имѣетъ опредѣленнаго смысла; съ другой стороны онъ достаточно уменъ, чтобы понимать, что всѣ религіи были въ свое время законны. Только самъ-то онъ не вѣритъ и никогда не повѣритъ ни въ какую религію, какъ не повѣритъ вообще ни во что, кромѣ игры собственнаго своего ума, изъ которой дѣлаетъ орудіе утонченнаго разврата. Добро и зло, красота и безобразіе, пороки и добродѣтели,—все это для него только предметы наблюденія. Человѣческая душа въ цѣломъ для него не болѣе, какъ хитрый механизмъ, разборка котораго интересуетъ его съ точки зрѣнія опыта. Для него нѣтъ ничего истиннаго и ложнаго, ничего нравственнаго и безнравственнаго».

Этотъ второй типъ «нигилиста», болѣе страшный, чѣмъ Астье, Шемино, Лортигъ, и изображенъ въ романѣ Бурже. Странная, мимоходомъ сказать, судьба этого слова «нигилистъ». Пустилъ его въ ходъ Тургеневъ. собственно для нашего, русскаго обихода. Пустилъ неудачно, потому что слово привилось, а между тѣмъ оно вовсе не соотвѣтствовало тѣмъ явленіямъ русской жизни, которыя должно было покрывать, и Тургеневу пришлось потомъ горько каяться въ этомъ промахѣ. Но вотъ слово нашло себѣ настоящее мѣсто во Франціи, и мы увидимъ, что такое заправскіе нигилисты, дѣйствительно достойные этого имени. Не поручусь, впрочемъ, что теперь, спустя двадцать лѣтъ послѣ появленія клички, и у насъ не завелись заправскіе нигилисты.

III.

Астье, Шемино и Лортигъ относятся къ наукѣ и философіи съ чисто платоническимъ уваженіемъ. Sacrées elles sont, car nous n'y touchons, — такъ могли-бы передѣлать эти негодяи старинную остроту для характеристики своихъ отношеній къ тѣмъ научнымъ и философскимъ теченіямъ, на которыя они хотятъ опереться въ своихъ мерзостяхъ. Поэтому у Додэ Дарвинъ оказывается совершенно невиновнымъ и неотвѣтственнымъ за позорное примѣненіе его доктринъ къ житейской практикѣ, Совсѣмъ иначе построенъ романъ Поля Бурже. Но прежде чѣмъ погрузиться въ мрачныя глубины этого замѣчательнаго произведенія, мы остановимся мимоходомъ на маленькой, не особенно оригинальной, но всетаки забавной шуткѣ выдающагося тоже современнаго французскаго писателя—Ришпена. Шутка эта называется «Послѣдній изобрѣтатель» и напечатана въ газетѣ «Gil-Blas.

Дѣло происходитъ въ отдаленномъ будущемъ—9—10,000 лѣтъ спустя. Мы находимся въ засѣданіи «политехническаго и верховнаго собранія». Президентъ держитъ рѣчь примѣрно такого содержанія: Вопреки нашему священному закону ничему не удивляться, вы, господа, удивлены тѣмъ, что я васъ созвалъ и говорю съ вами древнимъ членораздѣльнымъ языкомъ, тогда какъ вотъ уже тридцать вѣковъ наши бесѣды происходятъ исключительно по телефону и при помощи алгебраическихъ формулъ. Тридцать вѣковъ тому назадъ закончился періодъ открытій, всѣ тайны упразднены, и въ настоящее время рѣчь можетъ идти только о такихъ подробностяхъ, для которыхъ достаточно телефонно-алгебраическаго сообщенія. Я-бы и не потревожилъ васъ столь необычнымъ способомъ, еслибы дѣло шло о какихъ-нибудь улучшеніяхъ въ составѣ церебральнаго эликсира, въ устройствѣ интерастральнаго фонографоскопа или въ поляризаціи индуктивнаго и ретроверсивнаго эфирнаго тока, питающаго динамо-панспермическій механизмъ дѣторожденія. Но я долженъ представить вашему вниманію нѣчто совер-

шенно изъ ряда вонъ выходящее. Вы знаете, что мы оставили одинъ островъ внѣ прогресса науки, какъ образчикъ древней, варварской земли. И вотъ съ этого острова явился человѣкъ, который утверждаетъ, что можетъ питаться безъ нашего церебральнагоэлексира, сообщаться со звѣздами, не прибѣгая къ помощи интерастральнаго фонографоскопа и производить дѣтей безъ посредства динамопанспермической машины. Я видѣлъ дѣтей этого человѣка, произведенныхъ страннымъ и таинственнымъ способомъ, и долженъ признаться, что они довольно похожи на человѣческія существа. Человѣкъ этотъ не скрываетъ своихъ изобрѣтеній, нагло утверждая, что они совершенно независимы отъ науки, и, на вопросъ о процессахъ его питанія, сообщенія со звѣздами и дѣтопроизводства, отвѣчаетъ: не знаю! Ясно, что во всемъ этомъ есть какая-то тайна, а такъ какъ всѣ тайны безповоротно упразднены уже тридцать вѣковъ тому назадъ, то я предлагаю этого кощунствующаго изобрѣтателя и революціонера казнить смертью.— Члены политехническаго и верховнаго собранія вотируютъ казнь охрипшими отъ долгаго неупотребленія голосами (они привыкли къ телофонно-алгебраическому разговору). Вводятъ преступника. Наружность его составляетъ рѣзкій контрастъ съ внѣшнимъ видомъ членовъ собранія, отличающихся огромными плѣшивыми головами на ничтожномъ сморщенномъ туловищѣ. Мы назвали-бы этого несчастнаго красивымъ, но тогдашнее человѣчество смотритъ на него съ отвращеніемъ и умерщвляетъ его утонченнымъ научнымъ способомъ при помощи электричества. Такъ погибъ послѣдній изобрѣтатель, заново открывшій хлѣбъ, вино, лирическую поэзію и любовь.

Это — шутка, въ оригиналѣ, конечно, гораздо болѣе забавная, чѣмъ въ моемъ сокращенномъ изложеніи, но содержащая въ себѣ зерно серьезнаго опасенія, что дескать поступательный ходъ науки въ концѣ концовъ изсушитъ и обезцвѣтитъ жизнь. По мнѣнію Поля Бурже, опасность эта и гораздо глубже, и гораздо ближе; потому что уже и теперь наука или, точнѣе, философія на научной подкладкѣ даетъ себя знать страшнымъ ущербомъ нравственнаго чувства.

Молодой человѣкъ Роберъ Грелу попадаетъ гувернеромъ въ семью маркиза де-Жюсса и соблазняетъ сестру своего воспитанника сначала разсчитаннымъ ухаживаніемъ, потомъ, въ рѣшительную минуту, угрозой отравиться, наконецъ обѣщаніемъ умереть вмѣстѣ. Однако, опомнившись, послѣ того какъ Шарлотта отдалась ему, онъ отказывается отъ самоубійства, и дѣвушка, оскорбленная вдобавокъ еще его дневникомъ, который ей удалось прочитать, отравляется одна. Передъ смертью она написала своему отсутствующему старшему брату, графу Андре, письмо, въ которомъ изложила всю исторію. Роберъ Грелу арестованъ по подозрѣнію въ убійствѣ Шарлотты, судится, но отказывается давать какія-бы то ни было показанія, и осужденіе его, повидимому, несомнѣнно. Графъ Андре знаетъ изъ письма сестры, что Грелу не виноватъ въ томъ преступленіи, въ которомъ обвиняется, но не хочетъ открывать эту тайну суду, во-первыхъ, чтобы не обнаруживать позора сестры, а во-вторыхъ, потому, что Грелу все-равно заслуживаетъ всякой казни. Въ дѣлѣ Грелу совершено особымъ образомъ заинтересовано еще одно лицо. Это нѣкій Адріанъ Сикстъ, знаменитый ученый и философъ, имѣвшій своими сочиненіями огромное вліяніе на Грелу. У него есть собственноручная исповѣдь Грелу, изъ которой онъ знаетъ все, что знаетъ графъ Андре изъ предсмертнаго письма Шарлотты. Сикстъ пишетъ объ этомъ графу анонимно, и тотъ, пораженный мыслью, что есть кто-то еще, знающій дѣло, объявляетъ передъ судомъ истину. Грелу оправданъ. Но въ тотъ-же день графъ Андре убиваетъ его изъ револьвера, прямо называя это убійство казнью. «Я казнилъ его», — говоритъ онъ присутствующимъ, и это заявленіе послѣ выстрѣла невольно напоминаетъ восклицаніе Вальяна «присужденъ!», которымъ послѣ выстрѣла-же оканчивается драма Додэ.

Такова фабула романа Бурже. Но интересъ совсѣмъ не въ ней, не во внѣшней исторіи Робера Грелу. Можно даже сказать, что дѣйствущими лицами романа являются не люди, а идеи и душевныя состоянія. Большая часть романа занята исповѣдью Грелу, переполненною философскими отвлеченностями и психологическими тонкостями, и затѣмъ характеристикою Адріана Сикста, формула жизни котораго исчерпывается, какъ говоритъ авторъ, однимъ словомъ: мыслить.

Сикстъ еще въ ранней молодости обнаружилъ выдающіяся способности и отсутствіе всякихъ увлеченій, свойственныхъ молодости. Онъ усидчиво работалъ, изучая англійскихъ и нѣмецкихъ философовъ, естественныя науки, въ особенности физіологію мозга, науки математическія. Въ двадцать пять лѣтъ онъ напечаталъ свой первый трудъ, озаглавленный «Психологія Бога» и вызвавшій шумный скандалъ. Давно уже не появлялось ничего подобнаго по широтѣ общихъ взглядовъ, по глубинѣ эрудиціи и по смѣлости отрицанія, «нигилизма». Тѣми-же качествами, но еще въ сильнѣйшей степени, отличались послѣдующія произведенія

Сикста—«Анатомія воли» и «Теорія страстей». Разсказъ застаетъ Сикста человѣкомъ уже знаменитымъ, въ сочиненія котораго,—это очень важно замѣтить, — съ особенною жадностью вчитывается мыслящая молодежь. Живетъ онъ въ высшей степени скромно и аккуратно, холостъ, не имѣетъ никакихъ личныхъ привязанностей, совершенно лишенъ честолюбія. Непосредственныя его сношенія съ людьми ограничиваются тѣмъ, что онъ три раза въ недѣлю принимаетъ въ опредѣленный часъ посѣтителей: студентовъ, обращающихся за совѣтомъ, ученыхъ, работающихъ въ одной съ нимъ области знанія, иностранцевъ, привлеченныхъ его европейскою славой. Въ теченіе пятнадцати лѣтъ онъ занимаетъ одну и ту-же квартиру, ни разу не обѣдалъ внѣ дома, ни разу не заглянулъ въ театръ. Газетъ онъ никакихъ не читаетъ, избирательными своими правами ни разу не воспользовался. Въ предисловіи къ «Анатоміи воли» онъ писалъ: «Кто хочетъ познать и сказать истину въ области явленій душевной жизни, долженъ свести свои общественныя связи къ minimum'у». Что касается содержанія сочиненій Сикста, то Бурже сообщаетъ объ этомъ слѣдующее. Сикстъ признавалъ, что разумъ человѣческій безсиленъ познать конечныя причины и сущность вещей и долженъ ограничиваться координаціей явленій. Тѣ явленія, которыя суммируются въ словѣ «душа», подлежатъ, подобно прочимъ, научному изслѣдованію, Какъ видитъ читатель, и какъ указываетъ самъ Бурже, оба эти положенія не составляютъ исключительной собственности Сикста и входятъ въ кругъ общепринятыхъ нынѣ идей. Да мудрено было-бы и ожидать, чтобы Бурже надѣлилъ своего героя какимъ-нибудь вполнѣ оригинальнымъ философскимъ міросозерцаніемъ, притомъ не фантастическимъ, которое, пожалуй, и романистъ сочинить можетъ, а состоящимъ, въ непосредственной связи съ наукой. Понятно, что Бурже, характеризуя міросозерцаніе Сикста, напираетъ больше на кое-какіе частности и на рѣзкость выраженій. Такъ, онъ приписываетъ Сиксту отрицательный анализъ ученія Спенсера о «Непознаваемомъ». По Сиксту, это ученіе есть «послѣдняя форма метафизической иллюзіи, на которую онъ обрушивается съ энергіей аргументаціи, невиданною со времени Канта». Есть еще у Сикста «очень новый и очень остроумный» трактатъ о животномъ происхожденіи душевной жизни человѣка; здѣсь доказывается, что всѣ наши чувства суть результаты извѣстнаго, долгаго процесса развитія черезъ ряды животныхъ формъ. Между прочимъ, въ этомъ трактатѣ анализу чувства любви посвящено «двѣсти страницъ, смѣлыхъ до забавности подъ перомъ человѣка цѣломудреннаго, если не дѣвственника». «Почти безполезно прибавлять, — замѣчаетъ Бурже,—что сочиненія Сикста проникнуты отъ первой до послѣдней станицы полнѣйшимъ детерминизмомъ». Особенно выразительными въ этомъ смыслѣ кажутся Бурже слѣдующія слова Сикста: «Еслибы мы знали относительное положеніе всѣхъ феноменовъ, составляющихъ въ данную минуту вселенную, мы могли-бы вычислить съ астрономическою точностью день, часъ и минуту, когда напр. англичане очистятъ Индію, или когда Европа сожжетъ послѣдній кусокъ своего каменнаго угля, или когда еще не родившійся теперь преступникъ убьетъ своего отца, а такая-то поэма будетъ сочинена».

При всемъ своемъ умственномъ превосходствѣ Сикстъ въ житейскомъ смыслѣ есть своего рода «цвѣтокъ засохшій, безуханный». Онъ въ сущности очень недалекъ отъ тѣхъ членовъ «политехническаго и верховнаго собранія», которыхъ комическая фантазія Ришпена отнесла къ очень отдаленному будущему. Это не мѣшаетъ однако Сиксту утверждать, что онъ беретъ жизнь съ ея поэтической стороны. И онъ не совсѣмъ не правъ. Вся житейская обстановка и всѣ вопросы обыденной жизни были для Сикста какими-то неинтересными призраками, но за то отвлеченія, идеи были настоящею реальностью, въ кругу которой онъ жилъ настоящею, полною жизнью. Сидя за своимъ письменнымъ столомъ, въ старомъ потертомъ пальтишкѣ, этотъ смѣшной человѣкъ былъ владыкой цѣлаго міра. Контрастъ между его житейскою безпомощностью и умственною выдержанностью хорошо отмѣченъ многими мѣстами романа. Такъ, вызванный къ судебному слѣдователю по дѣлу Грелу, онъ ведетъ себя до смѣшного трусливо, неумѣло, неловко, пока рѣчь не заходитъ объ отвлеченныхъ вопросахъ. Тутъ онъ какъ-бы умственно выпрямляется и смѣло предъявляетъ свои самые рискованные теоретическіе взгляды. Онъ говоритъ, напримѣръ, что воспитаніе есть въ сущности примѣненіе опытнаго метода къ психологіи, но что поле этого опыта, къ сожалѣнію, очень ограничено законами и ходячей моралью. Какъ убѣдить людей, что для науки было бы полезно прививать дѣтямъ, въ видахъ опыта, извѣстные недостатки или пороки? Онъ не возстаетъ противъ потребности всякаго общества имѣть въ своемъ распоряженіи опредѣленную теорію добра и зла, но смотритъ на эту потребность съ нѣсколько презрительною снисходительностью. На замѣчаніе заинтересованнаго судебнаго слѣдователя, что убійство Шарлотты де-Жюсса есть во всякомъ случаѣ преступленіе, Сикстъ спокойно отвѣчаетъ: «Съ соціальной точки зрѣнія, безъ сомнѣнія; но для

философіи нѣтъ ни преступленія, ни добродѣтели, а есть только факты извѣстнаго рода, управляемые извѣстными законами, вотъ и все. Впрочемъ, вы найдете, какъ я смѣю думать, окончательныя доказательства этому въ моей «Анатоміи воли».—Для довершенія характеристики умственнаго склада Сикста надо еще замѣтить, что, не смотря на весь свой «нигилизмъ», онъ вполнѣ признаетъ историческую законность всѣхъ заблужденій или того, что ему кажется заблужденіями. Онъ гордо вѣритъ, что обладаетъ истиной, и во имя ея опровергаетъ, напримѣръ, теологическія заблужденія, но знаетъ въ то-же время, что и они, эти заблужденія, суть или въ свое время были необходимыми продуктами извѣстной эволюціи. Онъ рѣшительно отрицаетъ свободу воли во имя детерминизма, но знаетъ также, что иллюзія свободы, живущая въ людяхъ, есть необходимый результатъ извѣстныхъ психологическихъ и физіологическихъ условій нашего организма.

Адріанъ Сикстъ живетъ исключительно мыслью, гдѣ-то въ надзвѣздныхъ пространствахъ и чувствуетъ себя прекрасно. Ни единое облачко не смущаетъ его тихой, спокойной и полной умственнаго наслажденія жизни, пока дѣло Грелу не спускаетъ его на землю. Мало того, что повѣстка слѣдователя отнимаетъ у него время, нужное для работы, и нарушаетъ порядокъ дня, установившійся годами, а впереди еще явка въ судъ въ качествѣ свидѣтеля. Все это ужасно, но всетаки затрогиваетъ только внѣшній распорядокъ жизни. Есть нѣчто ужаснѣе: на ясномъ небѣ душевной жизни знаменитаго философа появляется неожиданное облако и ростетъ, ростетъ... Роберъ Грелу, этотъ предполагаемый убійца Шарлотты, считаетъ себя ученикомъ Сикста, ученикомъ, слѣдовавшимъ въ жизни абстрактнымъ теоріямъ учителя. Такимъ-же признаютъ его и судебный слѣдователь, и мать преступника. Такимъ-же вынужденъ признать его и самъ Сикстъ, когда ознакомился съ содержаніемъ обширной исповѣди несчастнаго молодого человѣка. Сикстъ убѣдился изъ этой рукописи, что Грелу есть дѣйствительно его ученикъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, и въ знаменитомъ ученомъ постепенно разгорается чувство отвѣтственности. Онъ, лично никому не сдѣлавшій зла, мухи, какъ говорится, не обидѣвшій, сознаетъ себя косвеннымъ виновникомъ драмы, разыгравшейся въ домѣ маркиза де-Жюсса; никто другой, какъ онъ, смирный, спокойный ученый, внушилъ своими сочиненіями Роберу Грелу тотъ складъ мысли, который привелъ молодого человѣка на скамью подсудимыхъ. Онъ разрушилъ въ немъ вѣру въ старыхъ боговъ и не далъ взамѣнъ ничего положительнаго, твердаго. Это чувство отвѣтственности тѣмъ мучительнѣе для Адріана Сикста, что въ принципѣ, теоретически, онъ его совершенно отрицаетъ. Какая отвѣтственность? за что? Вѣдь все совершающееся неизбѣжно, и теоретически возможно вычислить день и часъ, въ который еще не родившійся преступникъ убьетъ своего отца. Но увы! философская теорія не можетъ усмирить бунтующую совѣсть...

Адріанъ Сикстъ интересуетъ Бурже не только какъ оригинальная личность, а и съ точки зрѣнія того вліянія, которое онъ имѣетъ или можетъ имѣть на своихъ молодыхъ читателей и почитателей. Этотъ вопросъ о вліяніи учителя и объ его отвѣтственности, сквозящій уже въ самомъ заглавіи романа—«Le disciple», не въ первый разъ затрогивается Полемъ Бурже. Въ талантливыхъ критическихъ очеркахъ, собранныхъ въ двухъ томикахъ подъ заглавіемъ «Essais de psychologie contemporaine» (1883 и 1886 г.), онъ руководился, между прочимъ, мыслью опредѣлить вліяніе нѣкоторыхъ выдающихся писателей 1850—1870 годовъ на читателей. Нельзя сказать, чтобы это ему вполнѣ удалось. Это естественно, потому что въ лучшихъ изъ своихъ опытовъ онъ самъ является слишкомъ ученикомъ тѣхъ учителей, которыхъ критикуетъ. Наиболѣе для насъ здѣсь интересные общіе выводы, къ которымъ Бурже пришелъ въ своихъ критическихъ или, какъ онъ самъ ихъ называетъ, психологическихъ опытахъ, могутъ быть сведены къ слѣдующему. Въ бурной исторіи Франціи XIX вѣка одна за другой погибали великія надежды и великія попытки осуществленія. Къ половинѣ столѣтія среди всѣхъ этихъ обломковъ непоколебленнымъ сохранился одинъ элементъ—наука. Къ ней-то и прилѣпились лучшіе умы. Мыслить, знать, созерцать познаваемое или познанное—стало для этихъ лучшихъ умовъ высшимъ изъ наслажденій. Вопросы нравственно-политической жизни, волновавшіе когда-то людей непосредственно, своею жизненною сущностью, обратились теперь въ предметы объективнаго изученія, наравнѣ съ явленіями природы. А отсюда пониженіе дѣйственной энергіи нравственнаго чувства. Вольтеръ и прочіе умственные вожди прошлаго столѣтія были увѣрены, что они борются съ заблужденіями, вредными, позорными, ненавистными. Современные вожди тоже ищутъ истины и, слѣдовательно, тоже борются съ заблужденіями, но энергія ихъ борьбы не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ тогдашнею. Всякое заблужденіе представляется имъ не только заблужденіемъ, но и необходимымъ продуктомъ извѣстныхъ условій расы, времени, исторіи, комбинаціи естественныхъ и общественныхъ силъ. И

это сознаніе необходимости, «детерминизма» заблужденій ослабляетъ энергію борьбы, вырабатывая презрительное равнодушіе къ явленіямъ жизни и ироническій скептицизмъ по отношенію къ нравственно-политическимъ идеаламъ, Я встрѣчаюсь съ заблужденіемъ, я знаю, что это заблужденіе, но я знаю также, что оно необходимо при данныхъ условіяхъ; я ищу истины, нашелъ ее; я знаю, что это истина, но я знаю также, что при иныхъ условіяхъ я не призналъ бы ее истиной. Между нравственнымъ чувствомъ, признающимъ данное явленіе зломъ, и наукой, разъясняющей необходимость, неизбѣжность этого зла, возникаетъ конфликтъ, парализующій всякую дѣятельность, кромѣ чисто умственной,—наблюденія и изслѣдованія вѣчной смѣны истины и заблужденія, добра и зла, съ ихъ причинами и слѣдствіями.

Такъ, примѣрно, можно резюмировать нѣкоторыя черты литературныхъ портретовъ, собранныхъ въ «Опытахъ современной психологіи» Поля Бурже. Онъ понимаетъ, что это состояніе нездоровое, но самъ зараженъ этимъ нездоровьемъ. Онъ находитъ конфликтъ между нравственнымъ чувствомъ и наукой неразрѣшимымъ, а къ критикуемымъ учителямъ относится какъ къ необходимымъ продуктамъ извѣстныхъ условій, не занимая воинствующаго положенія ни за нихъ, ни противъ нихъ. Поэтому и вопросъ объ ихъ отвѣтственности за проповѣдуемыя ими ученія отступаетъ въ «Опытахъ» совсѣмъ на задній планъ. Въ романѣ дѣло стоитъ иначе. Набросавъ въ предисловіи предварительный портретъ своего героя, приведенный мною выше, авторъ прибавляетъ: «А! мы слишкомъ хорошо знаемъ этого молодого человѣка; мы сами рисковали быть такими, мы, которыхъ очаровывали парадоксы слишкомъ краснорѣчивыхъ учителей». Сообразно этому задача самаго романа двоится. Это исторія сухого и утонченнаго молодого эгоиста, но вмѣстѣ съ тѣмъ это исторія «ученика», т. е. исторія вліянія и отвѣтственности учителя. Любопытно, что въ изображеніе личности Адріана Сикста внесены цѣликомъ многія черты изъ «Опытовъ современной психологіи», главнымъ образомъ изъ этюдовъ о Тэнѣ и Ренанѣ. Было бы интересно прослѣдить эти самозаимствованія, эти переводы матеріала изъ области критики въ область романа, но это заняло бы слишкомъ много мѣста. Тѣмъ важнѣе для насъ отмѣтить разницу отношеній автора «Опытовъ» и автора романа къ одному и тому же матеріалу. Тамъ, въ «Опытахъ», Ренанъ и Тэнъ разсматривались, во-первыхъ, какъ неизбѣжные и слѣдовательно не отвѣтственные продукты даныхъ условій, а во-вторыхъ, разсматривались они исключительно въ обстановкѣ ихъ работы, внѣ какого бы то ни было непосредственно личнаго столкновенія съ практическою жизнью. Въ романѣ, Адріанъ Сикстъ выброшенъ трагическимъ толчкомъ изъ круга его обычныхъ, исключительно умственныхъ интересовъ въ водоворотъ жизни, и здѣсь, на этой почвѣ житейской борьбы и волненій, проникается чувствомъ отвѣтственности до такой степени напряженнымъ, что оно совершенно выбиваетъ его изъ сѣдла. Въ ночь послѣ убійства Робера Грелу графомъ Андре, около трупа не спятъ два человѣка, мать убитаго и Адріанъ Сикстъ. Мать плачетъ и молится. Иного съ ея стороны, конечно, и ожидать нельзя въ эту трудную ночь. Но также плачетъ и молится дерзкій «нигилистъ», знаменитый авторъ «Психологіи Бога», «Анатоміи воли» и «Теоріи страстей». Онъ мысленно шепчетъ слова единственной молитвы, которую онъ случайно помнитъ съ дѣтства: «Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ»...

Завидна доля художника, въ особенности, если онъ, какъ Бурже, вмѣстѣ съ тѣмъ и критикъ, мыслитель. Создавая образы для иллюстраціи или утвержденія какой-нибудь своей задушевной мысли, онъ можетъ направить эти образы въ ту или другую сторону,—куда захочетъ, казнить ихъ или миловать,—какъ захочетъ, и сдѣлать это съ такою степенью убѣдительности, что читателю остается только покорно слѣдовать за руководящею нитью, предупредительно растянутою передъ нимъ авторомъ. Не мѣшаетъ однако быть на сторожѣ противъ этой покоряющей воли художника; не мѣшаетъ сколько-нибудь самостоятельно разбираться въ томъ матеріалѣ, надъ которымъ онъ оперируетъ. Возьмемъ Адріана Сикста такимъ, какъ онъ изображенъ у Бурже, ничего не прибавляя, не убавляя и не измѣняя, но попробуемъ собственными средствами разложить эту фигуру на составляющіе ее элементы, хотя бы для того, чтобы опредѣлить въ ней случайное, второстепенное, индивидуальное, отъ существеннаго и типическаго. Это сдѣлать не трудно, по крайней мѣрѣ въ предѣлахъ нашихъ цѣлей.

Образъ Сикста полонъ глубокаго интереса и въ художественномъ смыслѣ отличается рѣдкою законченностью и цѣльностью. Мнѣ кажется, что по законченности, цѣльности и яркости ему не очень многаго недостаетъ, чтобы встать рядомъ съ крупнѣйшими художественными созданіями, какими въ нашей литературѣ являются, напримѣръ, гоголевскій Плюшкинъ или щедринскій Іудушка. Но кромѣ художественности исполненія есть еще намѣренія автора, его тенденція, на

этотъ разъ подчеркнутая съ чрезвычайною рѣзкостью. Въ Сикстѣ наука высушила всѣ личныя привязанности, обезцвѣтила всѣ краски личной жизни. Будь его умственная работа направлена не на теоретическую истину, а на технику, мы не удивились бы, еслибы онъ, подобно людямъ отдаленнаго комическаго будущаго, настаивалъ на необходимости всеобщаго примѣненія динамо-панспермической машины. Во всякомъ случаѣ ему лично ничего не надо изъ тѣхъ благъ цивилизаціи, общественной жизни и естественныхъ наслажденій, которыми нынѣ дорожатъ люди. Во главѣ, носящей характеристическое названіе «Tourments d'idées», Сикстъ, взволнованный бунтомъ совѣсти по поводу дѣла Роберта Грелу, оглядывается на свою жизнь и съ гордостью видитъ, что ради интересовъ чистой истины онъ пожертвовалъ рѣшительно всѣмъ. Это— монахъ отъ науки. Само по себѣ такое монашество, какъ касающееся личной жизни Сикста, не представляетъ для насъ особеннаго интереса. Но добытую имъ въ уединенной кельѣ истину этотъ монахъ вѣщаетъ міру. И мы видимъ, что наука отлучила его, во-первыхъ, отъ Бога, ибо бытіе Божіе есть для него лишь «гипотеза», необходимая на извѣстныхъ ступеняхъ развитія, а въ частности христіанство есть ученіе, «наиболѣе проникнутое идеями, противными его идеямъ»; во-вторыхъ, наука отлучила его отъ общественныхъ интересовъ и нравственно-политическаго идеала и довела до полнѣйшаго индифферентизма. Обѣ эти отрицательныя черты отлично уживаются рядомъ лично въ Сикстѣ, нисколько не мѣшая цѣльности его индивидуальнаго портрета, но невольно являются вопросы: насколько онѣ логически связаны другъ съ другомъ? необходимо-ли онѣ другъ другу сопутствуютъ и не было ли бы лучше, въ интересахъ анализа, предпринятаго Полемъ Бурже еще въ «Опытахъ современной психологіи», еслибы религіозный вольнодумецъ и политическій индефферентистъ получили каждый отдѣльное, самостоятельное воплощеніе? Развѣ мы, въ самомъ дѣлѣ, не знаемъ многочисленныхъ примѣровъ того, что самые крайніе вольнодумцы являются вмѣстѣ съ тѣмъ самыми пылкими сторонниками тѣхъ или другихъ нравственно-политическихъ идеаловъ, а наоборотъ, безупречно преданные извѣстнымъ догмамъ относятся къ явленіямъ общественной жизни такъ, что тамъ хоть трава не расти? Что обѣ половины, изъ которыхъ составленъ Сикстъ, могутъ быть отдѣлены одна отъ другой и получить самостоятельное бытіе, это видно отчасти изъ послѣдней страницы романа: потрясенный Сикстъ шепчетъ забытую молитву, но на перерожденіе его въ смыслѣ большаго участія къ людскимъ дѣламъ и отношеніямъ нѣтъ никакого намека. Можетъ быть, это обращеніе къ Богу есть минутная вспышка, послѣ котор й Сикстъ обратится на старый путь невѣрія. Но возможно и такъ, что онъ навсегда, на всю жизнь, поклонится тому, что сжигалъ въ области вѣры, и въ то-же время по прежнему не заглянетъ ни въ одну газету, не воспользуется своими правами избирателя и вообще ничѣмъ не выразитъ своего участія къ жизни ближнихъ, согражданъ, соотечественниковъ, человѣчества. Что же касается чисто личной нравственности, то Адріану Сиксту и теперь не въ чемъ себя упрекнут , такъ что его кухарка, огорченная тѣмъ, что онъ не ходитъ въ церковь, говоритъ всетаки: le bon Dieu ne serait pas le bon Dieu, s'il avait le coeur de le damner.

Эта черта личной нравственной чистоты, художественно дополняя портретъ Сикста, вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ и тенденціи автора. Чуждый слабостей и пороковъ, Сикстъ тѣмъ рѣзче оказывается виноватымъ въ качествѣ представителя и воплощенія современной науки, современной философской мысли. Усвоивая этой наукѣ и этой философской мысли двойную отвѣтственность, обвиняя ее заразъ и въ нарушеніи принятыхъ религіозныхъ догматовъ, и въ распространеніи политическаго индифферентизма, Бурже идетъ и еще дальше. Адріанъ Сикстъ живетъ исключительно въ атмосферѣ мысли, его духовный вскормленникъ Роберъ Грелу вступаетъ, вооруженный его теоріями, въ жизнь и оказывается уже настоящимъ негодяемъ. Онъ виноватъ и несетъ заслуженную кару, сначала въ совѣсти своей, а потомъ просто отъ руки графа Андре. Но внутренній голосъ говоритъ Сиксту, что и онъ виноватъ, виноватъ въ растлѣніи молодой, неустановившейся мысли, а такъ какъ Сикстъ есть не что иное, какъ ходячая наука, воплощенная философская мысль, то вотъ и второй виноватый: наука, мысль. На вышепоставленные вопросы Бурже могъ-бы отвѣтить: Я знаю, что религіозное вольнодумство и нравственно-политическій индифферентизмъ въ дѣйствительности могутъ быть и не быть связанными въ предѣлахъ той или другой личности, того или другого поколѣнія, но мнѣ кажется, что современная философская мысль бьетъ именно въ обѣ эти стороны заразъ; это положеніе вещей я и изобразилъ; мнѣ кажется также, что люди, искренно и глубоко захваченные волной современной философской мысли, какъ Адріанъ Сикстъ и Роберъ Грелу, при столкновеніяхъ съ жизнью становятся въ мучительныя противорѣчія и съ нею, и съ самими собой; это я тоже изобразилъ.

Еслибы это было такъ и только такъ, еслибы романъ Бурже только воспроизводилъ мрачную дѣйствительность современной духовной смуты, то противъ его конструкціи ничего нельзя было бы возразить. Но это не такъ. Романъ ищетъ виноватаго и находитъ его, и казнитъ, — справедливо-ли, это мы увидимъ. Романъ ищетъ, кромѣ того, выхода изъ смуты и не находитъ его, ибо финалъ романа никоимъ образомъ нельзя считать выходомъ. Бурже видитъ въ теоріяхъ Сикста какой-то изъянъ, лучше сказать, чувствуетъ его, но возразить противъ этихъ теорій ничего не можетъ: онѣ съ его точки зрѣнія чудовищны, но истинны. Куда-же податься? Отвергнуть-ли истину, потому что она чудовищна, или обнять чудовище, потому что оно истина? Это все то же противорѣчіе нравственнаго чувства и науки, которое Бурже еще въ «Опытахъ современной психологіи» призналъ «по всей вѣроятности» (vraissemblablement) неразрѣшимымъ. Отсюда глубоко-пессимистическій тонъ романа, рѣзко противорѣчащій съ предисловіемъ, написаннымъ въ видѣ горячаго воззванія «къ молодому человѣку». Въ этомъ предисловіи Бурже зоветъ французскую молодежь къ идеалу, совѣтуетъ ей воспитывать въ себѣ силу любви и силу воли, безъ которыхъ, — говоритъ онъ, — все гниль и агонія. Но откуда-же взять и какъ приложить эти двѣ великія силы, если Сикстъ теоретически правъ? А вѣдь теоретически онъ остается правымъ и разбитъ только въ жизни, когда, по волѣ автора, поклоняется всему, что сжигалъ. Такимъ образомъ смута остается смутой, и той молодежи, которой Бурже хочетъ внѣдрить силу любви и силу воли — не на что опереться...

IV.

Чтобы видѣть, какъ, по мнѣнію Бурже, абстрактныя теоріи Адріана Сикста отражаются въ практической жизни, мы должны довольно подробно ознакомиться съ исповѣдью Робера Грелу, занимающею почти треть романа. Понятно, что мы выберемъ лишь самое необходимое.

«Между вами, пишетъ Грелу Сиксту, — знаменитымъ ученымъ и мною, вашимъ ученикомъ, обвиняемымъ въ подлѣйшемъ преступленіи, существуетъ тѣсная и неразрывная связь, которой люди не поймутъ, которой вы и сами не знаете. Я такъ страстно, такъ полно жилъ вашею мыслью въ самую рѣшительную эпоху моей жизни! Теперь, среди мучительной умственной агоніи, мнѣ не къ кому, кромѣ васъ, обратиться за помощью. Поймите меня, уважаемый учитель, не подумайте, что источникъ моихъ страшныхъ мученій лежитъ во внѣшнихъ условіяхъ моего положенія. Я въ тюрьмѣ, но я не былъ бы достоинъ имени философа, еслибы давно уже не научился видѣть во внѣшнемъ мірѣ только безразличную и фатальную смѣну явленій и признавать свою мысль единственною реальностью, съ которою надо считаться». Хотя Грелу и не убивалъ Шарлотты, въ чемъ его обвиняютъ, но прикосновененъ всетаки къ ея смерти, и его мучатъ угрызенія совѣсти, тогда какъ, говоритъ онъ, «исповѣдуемое мною ученіе, то, что я считаю истиной, самыя существенныя мои убѣжденія — заставляютъ меня смотрѣть на угрызенія совѣсти, какъ на нелѣпѣйшую изъ человѣческихъ иллюзій. Эти убѣжденія безсильны возвратить мнѣ былой покой увѣренности: я сердцемъ сомнѣваюсь въ томъ, что мой разумъ признаетъ истиной. Не думаю, чтобы возможна была болѣе лютая казнь для человѣка, съ молоду отдавшагося наслажденію мысли». Высказаться и получить отъ знаменитаго учителя откликъ, быть можетъ, разрѣшеніе всѣхъ сомнѣній, — такова цѣль исповѣди. Это собственно цѣлая автобіографія.

Съ тѣхъ поръ, какъ Грелу себя помнитъ, онъ знаетъ за собой одну рѣдкую черту — возможность и потребность раздвоенія личности. Въ немъ всегда жили два человѣка: одинъ собственно жилъ, а другой съ любопытствомъ наблюдалъ перваго. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ всегда питалъ инстинктивное отвращеніе къ какому бы то ни было самому ничтожному активному шагу. Напримѣръ при одной мысли, что надо идти въ гости, у него уже билось сердце; самыя легкія физическія упражненія были для него непереносны; открытая борьба въ защиту даже самыхъ дорогихъ своихъ убѣжденій и по-сейчасъ представляется ему чѣмъ-то почти невозможнымъ. «Этотъ страхъ передъ дѣйствіемъ, — говоритъ Грелу, — объясняется излишествомъ мозговой работы, которое уединяетъ человѣка среди окружающихъ его реальностей, и, по непривычкѣ къ общенію съ ними, онъ ихъ трудно переноситъ». Черту эту Грелу, по его словамъ, унаслѣдовалъ отъ отца, человѣка физически слабаго, но обладавшаго недюжинною умственною силой и преданнаго умственнымъ занятіямъ. Грелу отмѣчаетъ въ себѣ еще необыкновенную необузданность желаній. Вообще, говоритъ онъ, «абстрактныя натуры менѣе другихъ способны противостоять страсти, если ужъ она въ нихъ пробудилась, можетъ быть потому, что обыденная связь между мыслью и дѣйствіемъ въ нихъ разрушена. Я видалъ, какъ мой отецъ, обыкновенно терпѣливый и кроткій, предавался безумному гнѣву, доходившему почти до потери сознанія. Въ этомъ отношеніи я также настоящій его сынъ, а черезъ него — потомокъ дѣда, плохо уравновѣшеннаго,

своего рода первобытнаго геніальнаго человѣка, полу-мужика, выдвинувшагося механическими изобрѣтеніями». Отецъ Грелу пользовался всеобщимъ уваженіемъ, и въ мальчикѣ рано зародилась мысль, что люди умственныхъ интересовъ не подлежатъ той-же мѣркѣ, какою мѣрятся люди, не сдѣлавшіе упражненій мысли своею спеціальностью; въ немъ воспиталось презрительное отношеніе къ толпѣ.

Отецъ Грелу рано умеръ, и маленькій Роберъ остался совершенно одинокимъ, потому что мать его была простая женщина, неспособная ни поддержать, ни направить его въ области умственной жизни, куда его тянуло. Это была вмѣстѣ съ тѣмъ очень богомольная женщина, строго подчинявшаяся всѣмъ католическимъ традиціямъ и обрядамъ, что отразилось на мальчикѣ очень оригинально. Всю унаслѣдованную имъ отъ отца и рано разбуженную потребность мышленія онъ направилъ на самоанализъ, дабы съ микроскопическою детальностью разглядывать свои грѣхи и потомъ каяться въ нихъ духовнику. Духовникъ, человѣкъ добрый, но ограниченный, поощрялъ это благочестіе, не подозрѣвая, какъ вредно для мальчика до такой степени анализировать каждый свой шагъ, каждую бѣгло мелькнувшую мысль. Способность психологическаго анализа тѣмъ самымъ изощрялась и направилась затѣмъ на личность самого духовника, а далѣе и на многое другое. Грелу сравниваетъ себя за этотъ періодъ своего развитія съ яблокомъ, въ которое проникъ червь: снаружи есть только маленькое пятнышко, но внутри разрушительная работа червя идетъ все глубже. Разнообразное чтеніе, то разжигающее воображеніе и чувственность, то все болѣе отклоняющее отъ образа мыслей матери и духовника — довершало дѣло. Но довершилъ его Адріанъ Сикстъ своими сочиненіями. «Вы мнѣ доказали,—пишетъ Грелу своему учителю, — съ одинаково неотразимою діалектикой, что всякая гипотеза о первой причинѣ есть нелѣпость, но что тѣмъ не менѣе какая-нибудь этого рода нелѣпость столь же необходима для нашего разума, какъ иллюзія обращенія солнца около земли, хотя мы знаемъ, что солнце неподвижно, а земля вертится... Я понялъ и свое нравственное одиночество, отъ котораго такъ страдалъ возлѣ матери, аббата Мартеля (духовника), товарищей. Вы доказали въ своей «Теоріи страстей», что мы безсильны выдти изъ предѣловъ нашего *я*, и что всякое общеніе между двумя личностями основывается на иллюзіи. Изъ «Анатоміи воли» я узналъ, что тѣ грѣхи чувственности, въ которыя я впадалъ и которые причиняли мнѣ столько угрызеній совѣсти, были неизбѣжны». Кромѣ этого содержанія сочиненій Сикста, юноша восторгался въ нихъ отвлеченностью и неустрашимостью мысли, тонкостью діалектики, широтою обобщеній; во всемъ этомъ онъ находилъ отзвукъ своему собственному настроенію. При такихъ условіяхъ Роберъ получилъ приглашеніе ѣхать въ деревню къ маркизу де Жюсса гувернеромъ. Принимая это предложеніе, онъ мечталъ о наслажденіяхъ мысли, которымъ онъ отдастся въ деревенской тиши, о томъ, что, отложивъ кое-что изъ своего гувернерскаго жалованья, онъ поѣдетъ въ Парижъ еще и еще учиться, поселится недалеко отъ Сикста и будетъ пользоваться его руководствомъ. Случилось иначе.

Первымъ человѣкомъ, обратившимъ на себя вниманіе Робера въ замкѣ Жюсса, былъ старшій сынъ маркиза, графъ Андре, тридцатилѣтній офицеръ, смѣлый, физически сильный и ловкій, энергическій. Это было нѣчто діаметрально противоположное самому Грелу. Насколько послѣдній уважалъ мысль, просто поклонялся ей, настолько же графъ Андре презиралъ ее. Внутренняя раздвоенность молодого мыслителя рѣзко оттѣнялась цѣльностью графа, у котораго всякое чувство, весьма слабо отражаясь въ области идей, быстро и цѣликомъ разрѣшалось въ дѣйствіе. Грелу не могъ не любоваться этою столь недостававшею ему цѣльностью, но вмѣстѣ съ тѣмъ относился къ своему живому контрасту съ антипатіей, принимавшей иногда характеръ даже ненависти. Этотъ грубый варваръ, какимъ графъ представлялся Роберу, частью раздражалъ его, частью вызывалъ презрѣніе, но частью и импонировалъ ему. Ему приходило въ голову, что настоящій великій человѣкъ, какимъ онъ хотѣлъ бы быть, долженъ соединить въ себѣ его, Робера Грелу, силу мысли съ дѣйственною энергіей графа Андре. Эта идея стала все болѣе и болѣе грызть Грелу, а тутъ рядомъ была Шарлотта, молодая, красивая, добрая. Роберъ и самъ не знаетъ хорошенько, какъ совершилось все послѣдующее. Иногда ему кажется, что дѣло очень просто: онъ влюбился въ Шарлотту и не могъ отказаться отъ желанія обладать ею. Иногда же, роясь въ своей душѣ съ свойственнымъ ему излишествомъ анализа, онъ приплетаетъ сюда и свое двойственное отношеніе къ графу Андре. и усвоенную отъ Сикста идею необходимости «психологическихъ опытовъ». Въ самомъ дѣлѣ, если по ученію Сикста въ интересахъ науки было бы полезно прививать дѣтямъ пороки, то почему же его ученику не сдѣлать опыта соблазна дѣвушки и не обогатить науку своими наблюденіями надъ нею? Задержки въ нравственномъ чувствѣ не могло быть, потому что тотъ же Сикстъ убѣдилъ

молодого человѣка, что для философа нѣтъ ни добра, ни зла, а есть только комбинація необходимыхъ явленій. Далѣе, побѣдивъ Шарлотту, Грелу нанесъ бы ударъ гордости ненавистнаго ему графа Андре, а вмѣстѣ съ тѣмъ, добиваясь этой любви, онъ пополнилъ бы односторонность своей исключительно умственной жизни и покончилъ бы съ проистекающею отсюда раздвоенностью, отсутствію которой въ графѣ Андре онъ такъ завидовалъ. По всѣмъ этимъ побужденіямъ, а частью и вслѣдствіе искренняго увлеченія Шарлоттой, Грелу принялся за свой «опытъ», то есть за дѣло систематическаго соблазна. Исторію этото опыта онъ разсказываетъ очень подробно, шагъ за шагомъ, съ полною откровенностью записывая какъ тѣ подлости, къ которымъ онъ считалъ нужнымъ прибѣгать для достиженія своей цѣли, такъ и тѣ взрывы совѣсти и настоящаго увлеченія, съ каторыми онъ не могъ справиться даже при помощи философіи Сикста. Любопытно, что даже въ практикѣ любовнаго соблазна Грелу оказывается ученикомъ Сикста. Мы, впрочемъ, уже упоминали, что въ одномъ изъ сочиненій Сикста есть трактатъ о любви, «смѣлый до забавности подъ перомъ человѣка цѣломудреннаго, если не дѣвственника».

Исповѣдь Грелу оканчивается слѣдующимъ обращеніемъ: «Пишите мнѣ, дорогой учитель, направьте меня. Поддержите меня въ томъ ученіи, которое я всетаки исповѣдую и въ силу котораго все необходимо, даже самые отвратительные наши поступки, даже это холодное предпріятіе соблазнить дѣвушку. Скажите мнѣ, что я не чудовище, что вообще нѣтъ чудовищъ, что если я выйду изъ своего теперешняго положенія цѣлъ, вы не откажете мнѣ въ своемъ руководительствѣ и дружбѣ. Еслибы вы были врачемъ и къ вамъ пришелъ бы раненый, вы перевязали бы его рану. Вы тоже врачъ, великій врачъ душъ, а раны моей души глубоки. Умоляю васъ: хоть одно утѣшительное слово, одно, единственное слово, и я буду вѣчно благословлять васъ!»

Но Сикстъ, какъ мы видѣли, не знаетъ этого утѣшительнаго слова; онъ самъ въ немъ нуждается и находитъ его въ такой области, которая лежитъ за тридевять земель отъ его философіи и состоитъ съ ней въ открыто враждебномъ противорѣчіи. Достойно однако примѣчанія, что это чужое слово еще недавно было совсѣмъ нечужимъ, по крайней мѣрѣ Роберу Грелу, если не Адріану Сиксту. Роберъ усвоилъ себѣ въ ранней молодости отъ матери и отъ аббата Мартеля все то религіозное міросозерцаніе, обломокъ котораго, въ видѣ молитвы, всплылъ въ памяти Сикста въ окончательно трудную минуту. Но эта соломенка, за которую хватается утопающій послѣ крушенія своей философіи Сикстъ, не спасла въ свое время Робера Грелу. Мы видѣли, что, весь охваченный религіей матери и аббата Мартеля, Роберъ ухитрялся даже изъ таинства покаянія сдѣлать предлогъ для нѣкотораго умственнаго сладострастія: онъ анализировалъ свои грѣхи съ тѣмъ же спеціальнымъ, своеобразнымъ наслажденіемъ, съ какимъ впослѣдствіи производилъ «психологическіе опыты». Такимъ образомъ можно думать, что къ какому-бы ученію Грелу ни прилѣпился, онъ остался-бы всетаки тѣмъ-же раздвоеннымъ существомъ, у котораго болѣзненно преувеличенная жажда анализа парализуетъ энергію и если даетъ ей какой-нибудь исходъ, то непремѣнно уродливый. И въ самомъ дѣлѣ, болѣзненный складъ души обнаружился въ Роберѣ Грелу съ тѣхъ поръ, какъ онъ себя помнитъ, то есть задолго до знакомства съ ученіемъ Сикста; мало того: онъ унаслѣдованъ имъ отъ отца и дѣда. Правда, ученіе Сикста оказалось очень подходящимъ для этой нездоровой души, но и безъ него душа эта, очевидно, не могла-бы вынести бремя жизни и такъ или иначе погибла бы. Это обстоятельство еще болѣе усиливаетъ пессимистическій тонъ романа. Бурже выбралъ для разсказа исторію частнаго, случайнаго явленія, притомъ весьма мало зависимаго отъ какихъ-бы то ни было теоретическихъ ученій, а коренящагося просто въ физіологическихъ условіяхъ организма героя. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ желалъ сдѣлать общій выводъ, дать общее поученіе. При этомъ теоріи Сикста, противъ которыхъ направленъ весь замыселъ романа, не только не колеблются, но, напротивъ того—получаютъ даже косвенное подтвержденіе: «детерминизмъ», неизбѣжность несчастій Грелу вытекаетъ изъ физіологическихъ условій наслѣдственности и индивидуальной организаціи съ такою ясностью, что Сиксту трудно было-бы найти болѣе выразительный примѣръ. По ученію Сикста, все существующее и совершающееся фатально необходимо, и жизнь Робера Грелу сложилась дѣйствительно фатально: онъ уже въ утробѣ матери былъ обреченъ на рядъ тѣхъ или другихъ несчастій и уродливыхъ дѣйствій. А такъ какъ Бурже желаетъ обобщить этотъ частный случай, то получеется общій мрачный эффектъ, какъ будто не лично Грелу, а чуть не вся Франція или по крайней мѣрѣ цѣлое поколѣніе французовъ обречено на погибель.

Есть однако, кажется, для Бурже на этомъ мрачномъ небѣ двѣ звѣздочки—одна въ области теоріи, другая въ сферѣ практической жизни. Увы, это звѣздочки маленькія, мер-

цающія слабымъ, двусмысленнымъ свѣтомъ!

Въ предисловіи, говоря о несчастіяхъ Франціи, Бурже поетъ нѣкоторый гимнъ какой-то «молодой буржуазіи», той именно, которая была молода во время послѣдней войны. Только ею, по словамъ Бурже, Франція и держится. Она же съ своей стороны принесла отечеству огромныя жертвы. Она даже «подчинилась всеобщей подачѣ голосовъ, самой чудовищной и несправедливой изъ тираній,—потому что сила большинства есть грубѣйшая изъ силъ, не имѣя за собой даже смѣлости и таланта. Молодая буржуазія покорилась, она все приняла, чтобы только имѣть право служить родинѣ необходимую службу». Такъ какъ Франціей заправляетъ, несомнѣнно, буржуазія, въ томъ числѣ и та, которая была молода во время войны, то совершенно непонятно, какъ, чему и почему подчинились эти заправилы. Бурже говоритъ здѣсь о своемъ поколѣніи, но весь намекъ остается тѣмъ болѣе неяснымъ, что тутъ же прибавляется, что поколѣніе это «не съумѣло ни установить окончательную форму правленія, ни разрѣшить грозныя задачи иностранной политики и соціализма». Такимъ образомъ, эта первая звѣздочка, по малой мѣрѣ, неясно горитъ. Но поколѣніе Бурже, очевидно, не справилось не только съ практическими задачами политики и экономики, а и еще кое съ чѣмъ. Въ «Опытахъ современной психологіи» Бурже утверждалъ, что наука и нравственное чувство находятся въ противорѣчіи другъ съ другомъ,—противорѣчіи, по всей вѣроятности, неразрѣшимомъ; но тамъ онъ говорилъ объ этомъ спокойно, просто констатировалъ факты или то, что ему казалось фактами. Теперь, въ романѣ, тотъ же фактъ его возмущаетъ, мучитъ. Онъ рисуетъ два яркихъ портрета людей, источенныхъ противорѣчіемъ между наукой и нравственнымъ чувствомъ и разбитыхъ этимъ противорѣчіемъ въ конецъ. Онъ заставляетъ ихъ дрожать совѣстью, мучиться жаждой исхода. Мы видѣли, что они этого исхода не получаютъ въ романѣ, и не мудрено, что не получаютъ, потому что его не знаетъ и самъ авторъ, а снабдить ихъ тѣмъ, чего у него самого нѣтъ, онъ, конечно, не могъ. Не смотря на всю свою антипатію къ теоріямъ Сикста, Бурже собственно ничего не имѣетъ возразить противъ нихъ, какъ научно-философскихъ теорій. Онъ знаетъ и говоритъ въ предисловіи «молодому человѣку» одно: «Въ числѣ идей, до тебя достигающихъ, есть такія, которыя дѣлаютъ твою душу менѣе способною къ любви, менѣе способною къ напряженію воли. Считай достовѣрнымъ, что въ этихъ идеяхъ есть нѣчто ложное (que ces idées sont fausses par un point), какъ бы ни были онѣ соблазнительны, какими-бы великими именами и высокими талантами онѣ ни поддерживались. Воспитывай въ себѣ двѣ великія добродѣтели, двѣ силы, внѣ которыхъ все гниль и агонія: любовь и энергію воли».—Прекрасныя слова, подъ которыми охотно подпишутся, конечно, не худшіе изъ людей; но вѣдь истина есть всетаки истина, и какъ быть, если эта истина расходится съ великими силами любви и энергіи воли? Сказать, что она именно поэтому и только поэтому не истина — зазорно, а признать ее истиной и всетаки отвернуться отъ нея—кромѣ того и не выгодно. Очевидно, нужно какое-то особенное сочетаніе истины, науки съ великими силами любви и энергіи воли, которое и укажетъ путь спасенія отъ золъ, изображенныхъ въ романѣ Бурже. Самому Бурже кажется, хотя онъ и не говоритъ этого съ полною ясностью, что подобное сочетаніе, по крайней мѣрѣ въ зародышѣ, уже существуетъ, и именно въ ученіи Спенсера о «непознаваемомъ». На это имѣются намеки и въ текстѣ романа, и въ предисловіи. Это-то и есть вторая, теоретическая звѣздочка на пессимистическомъ небѣ автора «Le disciple». Я не буду распространяться о томъ, насколько эта звѣздочка не надежна...

Каковы-бы ни были недостатки, неясности и недоговоренности романа Бурже, онъ остается всетаки замѣчательнымъ произведеніемъ. Въ художественномъ отношеніи фигуры Робера Грелу, Адріана Сикста и графа Андре отличаются рѣдкою законченностью и яркостью, а нравственный смыслъ романа отмѣчаетъ собою во всякомъ случаѣ настоятельную потребность современнаго французскаго общества, и быть можетъ не одного французскаго, особенно если имѣть въ виду, что, по указанію самого Бурже, его картины и выводы пополняются картинами и выводами Додэ.

Общество, обезсиленное политическими крахами, въ которыхъ такъ или иначе гибнутъ наиболѣе энергическіе представители идеаловъ, усталое отъ смѣны напряженныхъ надеждъ разочарованіями и сдавленное петлей бонапартистскаго режима, непремѣнно должно выдвинуть прежде всего грубо безсовѣстныхъ людей въ родѣ Поля Астье фигурирующаго въ драмѣ Додэ. Этакіе люди существуютъ, конечно, всегда; мало того можетъ быть въ большинствѣ нашихъ современниковъ есть какъ-бы кусочекъ Поля Астье, зародышъ. Но этотъ зародышъ придавленъ продуктами вѣковой преемственной работы человѣческаго духа. На него надѣта узда,—у однихъ страха Божія, у другихъ страха общественнаго мнѣнія, у третьихъ

страха собственной совѣсти; и пока живы тѣ или другіе идеалы,—все равно, въ чемъ-бы они ни состояли, лишь-бы это были идеалы, то есть руководящее представленіе о чемъ-то высокомъ, прекрасномъ, къ чему обязательно приблизиться,—зародышъ звѣря молчитъ. Времена усталаго равнодушія и крушенія идеаловъ разнуздываютъ его. Его плотоядныя стремленія не встрѣчаютъ задержки рѣшительно ни въ чемъ, и въ этомъ смыслѣ Поль Астье настоящій нигилистъ, въ полномъ смыслѣ этого сильнаго слова. Это совсѣмъ не то, что наши молодые люди шестидесятыхъ годовъ, которыхъ съ такою прискорбною опрометчивостью назвалъ нигилистами Тургеневъ. Эти люди дѣйствительно съ бурною страстностью сбрасывали съ себя иго старыхъ идеаловъ, но немедленно же добровольно надѣвали на себя новое. Ихъ идеалы могли казаться съ разныхъ точекъ зрѣнія разными, въ томъ числѣ и странными, смѣшными, дикими, наконецъ опасными, но никто не можетъ отрицать, что они во всякомъ случаѣ были, и имъ приносились обильныя, тяжелыя жертвы. Отличительная же черта Поля Астье въ томъ именно и состоитъ, что онъ никогда, ничѣмъ и ничему не пожертвуетъ, а напротивъ всегда и все принесетъ въ жертву себѣ. Ибо нѣтъ ни существа такого, ни такой идеи, которыя были бы ему дороги. Въ немъ разрушены всѣ старыя вѣрованія и упованія и не замѣнены никакими новыми. И когда онъ овладѣетъ ареной жизни, опустѣлой и безпорядочно заваленной обломками былыхъ, поверженныхъ идеаловъ, ошеломленные предъидущими разочарованіями зрители будутъ ему апплодировать, завидовать или, въ лучшемъ случаѣ, спокойно созерцать его, какъ объектъ научнаго изслѣдованія или художественнаго воспроизведенія. Этимъ спокойнымъ созерцаніемъ занимается, между прочимъ, Адріанъ Сикстъ и хочетъ заниматься Роберъ Грелу.

Нѣтъ, такъ нельзя жить,—говоритъ Додэ; не могу и не хочу я спокойно смотрѣть на торжествующее зло, нельзя предоставить ему поле жизни. Дѣло не въ томъ только, что Поль Астье обидѣлъ или ограбилъ такихъ-то и такихъ-то лицъ, а въ томъ, что онъ и ему подобные заполняютъ всю страну, становятся оффиціальными ея представителями и заправилами, а кромѣ того однихъ, тѣхъ, кто имъ мѣшаетъ, душатъ, а другихъ заражаютъ примѣромъ. Зло страшное, огромное, расползающееся во всѣ стороны, какъ чернильный клаксъ на пропускной бумагѣ. Кто-же виноватъ въ этомъ злѣ, и какъ быть съ его виновникомъ? Додэ не развязываетъ узла, а разрубаетъ, объявляя виновникомъ Поля Астье и предавая его смертной казни. Изъ цѣлой стаи жадныхъ волковъ онъ убиваетъ одного и торжествуетъ побѣду. Бурже идетъ дальше. Казнивъ совершенно подобнымъ же образомъ Робера Грелу, онъ, кромѣ того, наказалъ его и Адріана Сикста угрызеніями совѣсти и чувствомъ отвѣтственности. И, конечно, да здравствуетъ больная совѣсть! Да здравствуетъ эта благодѣтельная мучительница, властно объявляющая своему носителю, что онъ виновенъ и долженъ казниться! Да здравствуетъ, ибо она требуетъ искупленія, жертвы, а жертва или по крайней мѣрѣ хоть искренняя готовность жертвы есть единственный непререкаемый признакъ наличности идеала, то есть въ данномъ случаѣ возрожденія его. Вспышки совѣсти не всегда бываютъ достаточно продолжительны, но что бы ни случилось и съ Роберомъ Грелу, еслибы онъ остался живъ, что бы ни случилось и съ Сикстомъ послѣ кризиса, въ минуты угрызеній совѣсти передъ ними носилось что-то высокое, прекрасное, чему надлежало отдаться и что они оскорбили.

Вопросъ, однако, не только въ продолжительности вспышекъ совѣсти, а и въ томъ, насколько вообще эта усвоенная романистомъ Роберу Грелу и Сиксту черта типична и соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Вотъ Поля Астье совѣсть ни разу не уязвила. Натуры Грелу и Сикста, конечно, гораздо тоньше: они не дорожатъ тѣми низменными наслажденіями, ради которыхъ Астье топчетъ все, они отдались исключительно высокому наслажденію мысли. У нихъ есть, пожалуй, такое задушевное, что заслуживаетъ названія идеала: они хотятъ все знать, все понимать и ради этой цѣли готовы отказаться отъ всѣхъ земныхъ благъ. Весьма поэтому вѣроятно, что имъ доступны и угрызенія совѣсти,—но вѣдь они ничтожное меньшинство. Правда, въ ихъ рукахъ сила проповѣди, пропоганды, и собственно въ виду значенія этой силы Бурже и возлагаетъ столько отвѣтственности на Адріана Сикста, а въ лицѣ его казнитъ еще одного виновника—современную науку и философскую мысль.

Это—огромное и печальное недоразумѣніе, чреватое скверными послѣдствіями. Я очень хорошо понимаю, что жрецы науки далеко не всегда стоятъ на высотѣ своего положенія, что они могутъ быть позорно равнодушны, малодушны и бездушны, могутъ отдавать свои знанія и свою изощренную мысль на службу неправому дѣлу и т. д. Но каковы-бы ни были ихъ личные грѣхи, отвѣтственность за нихъ не можетъ падать на самую науку, на самую философскую мысль. Съ этой стороны тенденція романа Бурже намъ слишкомъ хорошо знакома, потому что у насъ даже очень крупные писа-

тели бываютъ иногда склонны къ дикой агитаціи противъ науки.

Возьмемъ нѣкоторые изъ пунктовъ ученія Сикста въ самой ихъ грубой формѣ. «Человѣкъ безсиленъ выдти изъ предѣловъ своего *я*, и всякое общеніе между двумя личностями основывается на иллюзіи»; то есть: любовь къ женщинѣ, къ дѣтямъ, друзьямъ, соотечественникамъ и т. д.—все это рядъ иллюзій, подъ которыми скрывается одно себялюбіе. Въ частности любовь къ женщинѣ есть не что иное, какъ половое влеченіе, и имѣетъ чисто животное происхожденіе. Всякій нашъ поступокъ зависитъ отъ извѣстной, неопредолимой комбинаціи причинъ и слѣдствій, и если намъ кажется, что мы свободно, по собственному выбору, идемъ направо или налѣво, топимъ человѣка въ рѣкѣ или, напротивъ, спасаемъ утопленника, такъ это иллюзія. Этихъ трехъ положеній съ съ насъ, пожалуй, и достаточно. Въ распространенномъ видѣ, то есть обставленныя тонкой аргументаціей и обильнымъ фактическимъ матеріаломъ, онѣ радуютъ сердца Адріана Сикста и Робера Грелу и пугаютъ Поля Бурже. Пугаютъ тѣмъ сильнѣе, что онъ ничего противъ нихъ возразить не можетъ; онъ считаетъ ихъ истиной, противъ которой, однако возмущается его нравственное чувство. Не умѣя разрѣшить это противорѣчіе, онъ хочетъ изъ него просто выпрыгнуть въ какую-то область невѣдомаго, гдѣ и надѣется укрѣпиться. Но прежде всего три приведенныя положенія не составляютъ какого-нибудь оригинальнаго открытія Адріана Сикста и даже не могутъ быть приписаны, въ качествѣ таковаго, нашему времени вобще. Для извѣстной части общества это въ сущности общія мѣста, популяризированныя еще въ прошломъ столѣтіи. Можетъ быть Сикстъ и въ самомъ дѣлѣ обнаружилъ въ «Анатоміи воли» и «Теоріи страстей» такую рѣдкую логическую силу и такую необыкновенную эрудицію, до которой какому-то Гольбаху или Гельвецію какъ до звѣзды небесной далеко. Но блестящая группа французскихъ писателей прошлаго вѣка такъ популярно и талантливо пропагандировала три приведенныхъ пункта философіи Сикста, что ихъ вредныя послѣдствія должны бы были тогда-же обнаружиться, а между тѣмъ мы этого не видимъ. Существуетъ, правда, мнѣніе, что вліяніе этихъ писателей было вредно, но это во всякомъ случаѣ не тотъ вредъ, который имѣетъ въ виду Бурже. XVIII вѣкъ былъ полонъ страстной борьбы съ старыми идеалыми, но отсутствіемъ идеаловъ и энергіи онъ, конечно, не страдалъ. Это было время кипучей жизни, о которой мы можемъ думать только съ завистью, и въ которую, при всѣхъ усиліяхъ воображенія, трудно вдвинуть такую ничтожную, безвольную, безхарактерную, холодную фигуру, какъ Роберъ Грелу, или такого въ сущности расплывчатаго мыслителя, какъ Адріанъ Сикстъ который не только не умѣетъ ни любить, ни ненавидѣть, но и истины отъ заблужденія отличить не можетъ. Въ самомъ дѣлѣ, для него заблужденіе есть такое же явленіе, какъ и всякое другое,—оно вызвано неопредолимой комбинаціей причинъ и слѣдствій, оно законно, а его собственное убѣжденіе, которое онъ обязанъ признавать истиннымъ, есть опять-таки только необходимый продуктъ необходимыхъ причинъ. Онъ и занимается поэтому скептическимъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее, игрой ума, не разрѣшающейся въ какой-бы то ни было активный шагъ и даже въ какое бы то ни было зажигающее чувство. Умственнымъ вождямъ французскаго общестна прошлаго столѣтія была хорошо извѣстна та истина, что всякое явленіе есть необходимый продуктъ необходимыхъ причинъ; они потратили много остроумія и таланта на распространеніе этой истины въ увлекательной формѣ по всему лицу земли. И, однако, это не мѣшало имъ признавать заблужденіе заблужденіемъ, истину истиной и жить, какъ говорится, всѣми фибрами души, звонить во вся, вторгаясь во всѣ вопросы практической жизни. Значитъ, дѣло не въ пугающей Поля Бурже истинѣ, а въ чемъ-то другомъ.

Человѣкъ есть по самой природѣ своей эгоистъ; любя другихъ, онъ любитъ самого себя, а все остальное есть только иллюзія.— Это тоже стародавняя мысль, тоже не мѣшавшая въ свое время людямъ жить и любить и приносить жертвы любви. И не мудрено. Иллюзія вѣдь тоже фактъ, съ которымъ приходится считаться, потому что мы всю жизнь проводимъ, можно сказать, среди иллюзій. Я смотрю въ окно на залитый солнцемъ садъ. Но въ природѣ есть только различныя колебанія волнъ эфира, а ощущеніе или впечатлѣніе свѣта и цвѣтовъ есть только моя иллюзія, обусловленная строемъ моего организма. Это не мѣшаетъ мнѣ, однако, имѣть разнообразныя отношенія къ свѣту, какъ свѣту, гораздо даже болѣе разнообразныя и близкія, чѣмъ къ свѣту, какъ колебаніямъ волнъ эфира. Иллюзія или нѣтъ моя любовь къ другому человѣку, но я ее чувствую, отличаю отъ себялюбія совершенно для меня ясными, опредѣленными чертами, какъ отличаю цвѣта спектра, хотя всѣ они суть колебанія волнъ эфира. По извѣстнымъ теоретическимъ, а частью и практическимъ соображеніямъ можетъ оказаться надобность доказывать, что любовь къ людямъ и самая

идея этой любви не откуда-нибудь извнѣ въ насъ заложена, а имѣетъ чисто земное происхожденіе. Такова именно и была одна изъ задачъ XVIII вѣка. Въ наше время, пожалуй, что и нѣтъ надобности въ приписываемыхъ Сиксту тонкой діалектикѣ и обширной эрудиціи, чтобы достаточно солидно обставить такой, напримѣръ, тезисъ: отнимая у голоднаго кусокъ, я дѣйствую, какъ себялюбецъ; оставаясь голоднымъ, чтобы отдать кусокъ другому, я дѣйствую опять-же, какъ себялюбецъ; только на этотъ разъ мнѣ пріятнѣе накормить другого, чѣмъ насытиться самому. Исторически дѣло такъ и шло, что грубый эгоизмъ дикаря постепенно расширялся семейными и общественными узами, захватывалъ въ районъ личныхъ интересовъ чужіе интересы, что и называется, въ противоположность эгоизму, альтруизмомъ; на самомъ же дѣлѣ тутъ нѣтъ противоположности, а есть преемство, развитіе. Совершенно справедливо. Но если дубъ выросъ изъ желудя, такъ вѣдь всетаки не значитъ, что дубъ и желудь одно и то же. То же самое можно сказать о сведеніи любви къ женщинѣ на половое влеченіе,—это дубъ и желудь.

Такимъ образомъ нѣтъ резона ужъ очень-то пугаться страшныхъ тезисовъ Адріана Сикста. Поскольку въ нихъ заключается истина, они могутъ и должны быть приняты, а что касается односторонняго ихъ пониманія Сикстомъ и употребленія, которое онъ изъ нихъ дѣлаетъ, частью самъ, частью руками своего ученика, такъ это имъ и надлежитъ поставить на счетъ. Бѣда не въ наукѣ, какъ-бы глубоко она ни спускалась, дорываясь до корня вещей, не въ философской мысли, какъ-бы ни были смѣлы ея полеты, а въ томъ, что въ лицѣ Сикста и Грелу мысль отлучилась отъ жизни. Наглядныиъ образомъ, художественно, эта отлученность выражается тою житейскою безпомощностью, тою трусостью передъ самымъ ничтожнымъ дѣйствіемъ, которою одинаково заражены и знаменитый ученый, и его несчастный ученикъ. Но зараза трусости проникла у этихъ якобы отчаянно смѣлыхъ мыслителей, какими ихъ рекомендуетъ Бурже, и въ самую область мысли. Ибо во многихъ случаяхъ именно только трусость мысли въ сочетаніи съ равнодушіемъ къ жизни заставляетъ ихъ отступать передъ «иллюзіями».

Зло, въ чемъ-бы оно ни состояло и какіе-бы размѣры ни принимало, есть необходимый результатъ извѣстныхъ причинъ. Это положеніе особенно смущаетъ Бурже. Ему кажется, что оно должно парализовать энергію борьбы со зломъ, потому что какъ же бороться съ завѣдомо неизбѣжнымъ? Дѣйствительно-ли, однако, это положеніе такъ страшно? Что за него могутъ прятаться трусость и равнодушіе, это безспорно, но вѣдь онѣ всегда будутъ искать и всегда найдутъ за что спрятаться. А если во мнѣ родилось желаніе борьбы, такъ оно, во-первыхъ, столь же фатально необходимо, какъ и то зло, противъ котораго я хочу бороться. Этого никакой Сикстъ, хоть будь у него семь пядей во лбу, съ своей собственной точки зрѣнія оспорить не можетъ. Далѣе, пусть я, предпринимая борьбу, только исполняю велѣнія извѣстныхъ или неизвѣстныхъ причинъ и мой самостоятельный починъ есть не что иное, какъ иллюзія. Пусть, но въ моемъ сознаніи, рядомъ съ велѣніями причинъ, все съ тою же необходимостью становятся велѣнія цѣлей, каковыя совершенно отсутствуютъ въ якобы всеобъемлющей философіи Сикста. Это понятно. Достиженіе цѣли требуетъ дѣятельности, а онъ боится всякаго дѣйствія и равнодушенъ къ жизни; онъ только мыслитель, и потому довольствуется изслѣдованіемъ причинъ. Вглядываясь, однако, ближе въ этотъ образъ монаха отъ науки, мы найдемъ даже и въ его тусклой жизни цѣль, велѣніямъ которой онъ повинуется. Эта цѣль—все знать, все понимать, и ради нея Сикстъ отказывается отъ всѣхъ другихъ благъ жизни. Такимъ образомъ, напирая исключительно на велѣнія причинъ и совершенно умалчивая о велѣніяхъ цѣли, философія Сикста даже его собственной личности не обнимаетъ. Таковы для самой мысли результаты ея отлученія отъ жизни, но отлученіе можетъ быть и въ другую сторону.

Мнѣ не разъ случалось, въ томъ числѣ, помнится, и на этомъ самомъ мѣстѣ, то есть въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», употреблять слово «религія» въ особенномъ смыслѣ. Позволяю себя повторить сказанное мною въ другомъ мѣстѣ, въ «Запискахъ профана»: «Подъ религіей я разумѣю такое ученіе, которое связываетъ существующія въ данное время понятія о мірѣ съ правилами личной жизни и общественной дѣятельности; связываетъ такъ прочно, что для исповѣдующаго это ученіе поступить противъ своего нравственнаго убѣжденія въ такой же мѣрѣ невозможно, какъ согласиться, что, напримѣръ, дважды-два равняется стеариновой свѣчкѣ...» Такой религіи нѣтъ въ современной Франціи, и не въ ней одной, конечно, но потребность въ ней настоятельна. Отсюда между прочимъ этотъ протестъ противъ «натурализма»; отсюда подчеркиваніе возможности для какого-нибудь Астье ссылаться на теорію Дарвина; отсюда мысль объ изсушающемъ вліяніи науки, о томъ индифферентизмѣ, который она внушаетъ своимъ адептамъ, не давая имъ никакого руководства для жизни. Все это можетъ быть прекрасно

по побужденіямъ и могло бы быть прекраснымъ по послѣдствіямъ, еслибы упреки обращались къ тѣмъ или другимъ отдѣльнымъ представителямъ науки и философіи съ тѣми или другими теоріями. Но, какъ говорятъ нѣмцы, надо остерегаться, чтобы не выплеснуть изъ ванны вмѣстѣ съ водой и ребенка. Надо помнить, что наука не дѣлаетъ и не можетъ дѣлать уступокъ,—она цѣликомъ должна сочетаться съ жизнью...

Ну, а кто-же виноватый-то и что съ нимъ дѣлать? Если Грелу и Сикстъ виноваты, такъ они это сами признали и казнятся собственной совѣстью, а въ дѣла чужой совѣсти никому не слѣдуетъ мѣшаться. Истинный виновникъ есть тотъ порядокъ вещей, который систематически, упорно, въ теченіе длиннаго ряда годовъ не давалъ мысли вкусить жизнь, не давалъ жизни оплодотвориться мыслью.

VII.

О совѣсти г. Минскаго.

I.

Странныя бываютъ иногда впечатлѣнія, странныя и по своей кажущейся безпричинности, и по своей неотвязности. Говоритъ, напримѣръ, передъ вами человѣкъ о серьезномъ и важномъ предметѣ, къ которому, казалось бы, нѣтъ никакого резона приступаться съ ложью въ сердцѣ и на устахъ: можно его совсѣмъ не трогать, и никто за это молчаніе къ отвѣту не притянетъ, а если ужъ понадобилось или захотѣлось тронуть, такъ можно и должно сдѣлать это вполнѣ искренно. Говоритъ тотъ человѣкъ со всѣми признаками глубокаго убѣжденія и горячаго чувства: пылко, краснорѣчиво, бія себя въ грудь, воздѣвая очи къ небу и раздирая отъ волненія ризы свои. А вы не вѣрите. И чѣмъ больше вы проникаетесь важностью и серьезностью предмета и чѣмъ, съ другой стороны, сильнѣе жестикулируетъ и вибрируетъ голосомъ ораторъ, тѣмъ вы все больше и больше укрѣпляетесь въ своемъ невѣріи. Вы наконецъ съ безповоротною ясностью чувствуете, что ораторъ ломается, что, бія себя въ грудь размашистымъ жестомъ, онъ, однако, не наноситъ себя ни ранъ, ни ушибовъ, а ризы свои разрываетъ съ разсчетомъ возможности починить ихъ у ближайшаго портного. И вамъ становится частію обидно, потому что человѣкъ этотъ, очевидно, полагаетъ своихъ слушателей очень ужъ простоватыми, а частію смѣшно, потому что подъ напыщенной формой оказываются пустяки, а такое несоотвѣтствіе всегда комично.

Это сложное чувство мнѣ довелось испытать недавно, при чтеніи книжки г. Минскаго «При свѣтѣ совѣсти». Никакихъ сразу уловимыхъ причинъ сомнѣваться въ искренности г. Минскаго я не имѣю, да и зачѣмъ бы ему, кажется, говорить о совѣсти не по совѣсти? Никто его, съ позволенія сказать, за языкъ не тянетъ. Онъ заговорилъ motu proprio, единственно потому, что у него на душѣ накопилось по этой части столько, что вылилось наконецъ черезъ край на бумагу, въ непривычной ему, поэту, прозаической формѣ. «При свѣтѣ совѣсти» есть свободный голосъ лишь мыслью заинтересованнаго мыслителя. Да и слова-то страшныя, повелительно обязывающія къ искренности. Шутка въ самомъ дѣлѣ сказать, при свѣтѣ совѣсти!.. А между тѣмъ съ первыхъ же страницъ книжки я почувствовалъ себя въ атмосферѣ неискренности, которая, по мѣрѣ дальнѣйшаго чтенія, становилась все гуще и удушливѣе. Эмфазъ, въ волнахъ котораго привольно купается г. Минскій, параболы и гиперболы, тропы и фигуры и прочія риторическія украшенія, которыми онъ уснащаетъ свою рѣчь, не только не убѣдили меня въ горячей искренности чувствъ автора,—а объ ней-то всѣ они и призваны свидѣтельствовать,—но произвели даже совершенно противоположное дѣйствіе. Я не довѣрился, однако, своему непріятному впечатлѣнію, постарался разобраться въ немъ, разыскать его причины и хочу подѣлиться кое-чѣмъ изъ своихъ размышленій съ вами, читатель; тѣмъ болѣе, что книжка г. Минскаго затрогиваетъ предметы глубоко интересные.

Г. Минскій говоритъ въ предисловіи: «Три части, изъ которыхъ книга состоитъ, были задуманы и написаны въ разное время, съ большими промежутками; по внутреннему настроенію, ихъ проникающему, онѣ относятся между собой, какъ полночь, предразсвѣтные сумерки и день. Говорю это съ цѣлью предупредить читателя: пусть онъ не принимаетъ мрачныхъ воззрѣній на жизнь, выраженныхъ въ первой части, за окончательное міросозерцаніе автора, а смотритъ на нихъ, какъ на фундаментъ, который по необходимости складывается въ отдаленіи отъ свѣта... Я не обозрѣваю въ ней (книгѣ) жизнь и людей съ одного возвышеннаго пункта, но снова прохожу тотъ тернистый путь сомнѣній и внутренней борьбы, которымъ совѣсть въ дѣйствительности вела мою душу».—И вотъ первое, чему я не вѣрю въ книжкѣ г. Минскаго: не вѣрю, чтобы ея три части были написаны въ разное время, съ большими промежутками. Казалось бы, зачѣмъ ему говорить въ такомъ дѣлѣ неправду? и не все-ли это равно— написана-ли книга въ одинъ пріемъ или въ три? А вотъ подите-же! Не могу отдѣлаться отъ впечатлѣнія неискренности. Конечно, я не имѣю ни права, ни основанія не вѣрить

фактическому показанію г. Минскаго, и разъ онъ говоритъ, что книжка написана «съ большими промежутками», такъ оно такъ, безъ сомнѣнія, и было. Но вѣдь, собственно говоря, мы даже не знаемъ, чему именно тутъ надо вѣрить, потому что «большой промежутокъ» — выраженіе уже слишкомъ неопредѣленное. Если я горю желаніемъ подѣлиться съ читателемъ своими мыслями и, окончивъ первую часть работы, отвлекаюсь какими-нибудь посторонними дѣлами на недѣлю, на мѣсяцъ, такъ мнѣ это можетъ показаться очень большимъ промежуткомъ, а между тѣмъ въ смыслѣ выработки идей тутъ можетъ быть даже ровно никакого промежутка нѣтъ: мое настроеніе, мое отношеніе къ предмету, можетъ быть, не измѣнилось ни на волосъ. И наоборотъ, можно въ сравнительно ничтожный срокъ столько пережить, что весь сложившійся передъ тѣмъ строй мысли окажется въ конецъ раззореннымъ или преображеннымъ. Савла одно видѣніе на дамасской дорогѣ превратило въ Павла, а у иныхъ на подобное превращеніе уходятъ годы и еще годы. Я не говорю, чтобы указаніе на большіе, въ смыслѣ измѣренія времени, промежутки не имѣло никакой цѣны. Напротивъ, въ данномъ случаѣ оно моглобы быть очень интересно, еслибы, конечно, было поточнѣе и поопредѣленнѣе. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы г. Минскій сдѣлалъ тремя частями своей книги то самое, что онъ сдѣлалъ съ большинствомъ своихъ стихотвореній въ изданіи 1887 г., еслибы онъ означалъ на нихъ годы написанія, мы имѣлибы любопытный матеріалъ для сужденія о томъ, какъ послѣдовательно переживаемыя имъ міросозерцанія отражались на его поэтической дѣятельности. А теперь мы лишены того удовольствія и той пользы, которыя доставило бы подобное сопоставленіе. Мы даже не знаемъ, возможенъ-ли былъ-бы этотъ интересный анализъ, потому что вѣдь вся та эволюція личныхъ взглядовъ г. Минскаго, которая изложена въ книжкѣ «При свѣтѣ совѣсти», совершилась можетъ быть уже послѣ 1887 г., послѣ того, какъ онъ нашелъ нужнымъ собрать свои стихотворенія и такимъ образомъ подвести итогъ своей поэтической дѣятельности. А съ другой стороны нѣкоторыя изъ изложенныхъ въ книжкѣ г. Минскаго сомнѣній переживались передовою частью русскаго общества лѣтъ двадцать-тридцать тому назадъ. Вы видите, что даже при полномъ довѣріи къ фактическому показанію г. Минскаго относительно «большихъ промежутковъ», мы не знаемъ, чему именно тутъ вѣрить надо. Стары-ли, молоды-ли три части его книжки,—кто-же ихъ знаетъ? Само по себѣ это обстоятельство еще не подрывало бы довѣрія къ словамъ г. Минскаго, но бѣда въ томъ, что и по внутреннему своему содержанію, и по формѣ изложенія три части книжки не носятъ на себѣ никакихъ слѣдовъ перерыва работы, хотя изъ нихъ, пожалуй, и можно-бы было сдѣлать три отдѣльныя книжки. Вы сейчасъ увидите, почему пунктъ этотъ представляется мнѣ стоющимъ вниманія.

Всякій писатель, издавая книгу, печатая статью, хочетъ подѣлиться съ читателями тѣмъ, что онъ считаетъ въ данную минуту истиной, до чего онъ окончательно доработался. Съ другой стороны, вообще говоря, и читателю нѣтъ дѣла до того, какъ прежде думалъ или чувствовалъ какой-нибудь X или Z., если онъ тѣ свои думы признаетъ нынѣ неправильными; пусть даетъ истину, какъ онъ ее сейчасъ понимаетъ. Бываютъ однако исключенія. Бываетъ такъ, что у писателя является потребность всенародно исповѣдываться или, какъ выражается г. Минскій, «снова проходить тотъ тернистый путь сомнѣній и внутренней борьбы, которымъ совѣсть въ дѣйствительности вела его душу». И читатели встрѣчаютъ иногда подобныя исповѣди съ живѣйшимъ интересомъ. Такъ было напр., съ извѣстною исповѣдью гр. Л. Толстого. Понятно было желаніе гр. Толстого заявить о совершившемся въ немъ переломѣ; понятенъ былъ и интересъ читающей публики. Толстой есть Толстой, звѣзда первой величины, какъ бы кто ни смотрѣлъ на его теперешнія странности, и каждое его произведеніе представляетъ извѣстный интересъ, если не само по себѣ, то въ смыслѣ освѣщенія личности знаменитаго автора. Даже допуская извѣстную долю неискренности и, если можно такъ выразиться, кокетства, отъ котораго едва-ли могутъ быть совершенно свободны подобныя публично-интимныя произведенія, интересно во всякомъ случаѣ знать и то, какъ кокетничаетъ человѣкъ такого роста, какъ Толстой. Интересно знать, какъ онъ, выступая на новую стезю, кается въ своихъ прошлыхъ грѣхахъ и заблужденіяхъ, казнится за нихъ, изобличаетъ ихъ лживость и несостоятельность. Такое покаяніе и самообличеніе, конечно, неизбѣжны въ произведеніяхъ, предъявляющихъ пройденное и отвергнутое міросозерцаніе. Оставимъ гр. Толстого и припомнимъ, какъ говорилъ о своемъ отвергнутомъ прошломъ одинъ изъ самыхъ искреннихъ русскихъ людей, Бѣлинскій. Онъ никогда не пускался въ публично-интимныя исповѣди, но изъ его біографіи и переписки мы знаемъ нѣкоторыя относящіяся сюда черты. Такъ, напримѣръ, въ одномъ изъ писемъ къ Боткину онъ съ очевидно страшною болью въ сердцѣ негодуетъ: «Боже мой, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатно, со всею искренностью, со всѣмъ фанатизмомъ дикаго

убѣжденія!» Перебравъ нѣкоторые свои критическіе промахи, Бѣлинскій съ ужасомъ спрашиваетъ: «неужели *я* говорилъ *это*?» И затѣмъ опять говоритъ о «дичи, которую изрыгалъ въ неистовствѣ» и т. д. Вотъ типъ настоящей исповѣди, настоящаго повторенія «тернистаго пути сомнѣній и внутренней борьбы, которымъ совѣсть въ дѣйствительности вела душу». Я говорю «типъ», а не образчикъ для буквальнаго подражанія. Страстность тона самообличенія Бѣлинскаго объясняется его темпераментомъ, въ которомъ человѣкъ не воленъ, но въ искреннемъ воспроизведеніи пути сомнѣній и внутренней борьбы неизбѣжно это непріязненное отношеніе къ отвергнутому прошлому. Это прошлое полно не только заблужденій, но еще *моихъ* заблужденій, и тѣмъ они еще для меня ненавистнѣе, если, конечно, я дѣйствительно когда-то въ нихъ вѣрилъ, а теперь дѣйствительно отвергаю. И понятно, что Бѣлинскій имѣлъ бы право занять насъ исторіей своей души.

Имѣетъ-ли такое право г. Минскій? Собственно о правѣ тутъ толковать, пожалуй, нечего: взялъ, да и напечаталъ. Но за нами, читателями, тоже остается право пожать плечами и спросить: зачѣмъ? Г. Минскій держится очень высокаго мнѣнія о поэтахъ. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній онъ выразилъ мысль, что даже «поцѣлуи поэта священны». Въ одной своей прозаической статьѣ онъ утверждалъ, что «публицистика питается крохами со стола поэзіи» и что «образы искусства намъ дороже, нежели истины науки», хотя, казалось бы, совершенно лишнее мѣрить эти двѣ вещи. Вообще, г. Минскій очень гордый поэтъ. Но если позволительно опасаться, что дамы оцѣнятъ поцѣлуи г. Минскаго не съ точки зрѣнія ихъ священности, то столь-же позволительно сомнѣваться, чтобы его поэтическія заслуги оправдывали въ глазахъ читателя его предпріятіе разсказать исторію своей души. Все же вѣдь онъ не Толстой! Вполнѣ допуская, что г. Минскому есть что сказать по тѣмъ вопросамъ философіи, психологіи и этики, которыя затрогиваются въ книжкѣ «При свѣтѣ совѣсти», я готовъ его выслушать, но заблужденія г. Минскаго, то, что онъ самъ уже отвергъ, какъ пройденную ступень,—какое мнѣ до этого дѣло? Вѣдь это пройденное даже для него самого имѣетъ только отрицательную цѣну, только въ качествѣ чего-то завѣдомо ложнаго и несостоятельнаго.

Но допустимъ, что личность г. Минскаго въ самомъ дѣлѣ настолько интересна, что и поцѣлуи его священны, и заблужденія цѣнны. Въ такомъ случаѣ мы естественно желаемъ получить исторію его души полностью, во всемъ живомъ трепетѣ обуревавшихъ его сомнѣній и отрицаній прошлаго. Пусть онъ казнится за прошлыя заблужденія, пусть проклинаетъ ихъ. Въ виду нѣкоторыхъ, чисто, впрочемъ, внѣшнихъ свойствъ г. Минскаго, какъ писателя, можно бы было ожидать даже излишней роскоши въ этомъ отношеніи. Я уже приводилъ въ одномъ изъ предъидущихъ «Писемъ о разныхъ разностяхъ» образчикъ эмфаза г. Минскаго. Человѣкъ, способный съ такою преувеличенною выразительностью говорить о пустякахъ, долженъ, повидимому съ особенно пламенною неукротимостью обрушиваться на свои старые грѣхи и заблужденія. Вотъ, какъ Бѣлинскій: «дичь», молъ. «гнусность», «мерзость», «неужели *я* говорилъ *это*?» Но ничуть не бывало. Горя словеснымъ пламенемъ во всѣхъ прочихъ смыслахъ и отношеніяхъ, г. Минскій съ чрезвычайно спокойною благосклонностью оглядывается на свое умственное прошлое, любуется на него и располагаетъ различныя его ступени (три части книжки) въ красивые узоры. Мы это частью видѣли уже въ предисловіи: три части книжки относятся между собою, какъ полночь, предразсвѣтные сумерки и день»; первая часть, проникнутая мрачными воззрѣніями на жизнь, уподобляется «фундаменту, который по необходимости складывается въ отдаленіи отъ свѣта». Вотъ этимъ-то спокойно благосклоннымъ отношеніемъ г. Минскаго къ тому, что имъ отвергнуто, какъ ошибка и заблужденіе, прежде всего объясняется для меня то впечатлѣніе неискренности, которое производитъ его книжка. Повторяю, я не имѣю резона сомнѣваться въ фактической вѣрности заявленія г. Минскаго, что «При свѣтѣ совѣсти» написано въ разное время, съ большими промежутками, но это ничего не говоритъ моему уму и сердцу, потому что и двѣ недѣли и два года могутъ быть, смотря по обстоятельствамъ, и одинаково большимъ, и одинаково малымъ промежуткомъ. А промежутковъ въ смыслѣ нравственнаго перелома я не вижу: слишкомъ уже благосклоненъ г. Минскій къ тому, что онъ якобы сжегъ, и, значитъ, слишкомъ равнодушенъ къ тому, чему якобы покланяется. Равнодушіе это тѣмъ сильнѣе бьетъ по глазамъ, что облекается въ необычайно цвѣтистую форму риторическаго изложенія. «И чѣмъ громче свисталъ соловей», тѣмъ яснѣе становилось, что писать о совѣсти еще не значитъ писать по совѣсти...

Слишкомъ красивый слогъ, какъ это часто бываетъ, опьяняетъ самого г. Минскаго, и, поднявшись къ риторическимъ небесамъ, онъ думаетъ, что тѣмъ самымъ уже нѣчто доказалъ, и не только думаетъ, а пренаивно заявляетъ это: мы, говоритъ, доказали. На дѣлѣ, однако, изложеніе г. Минскаго не только не заслуживаетъ названія доказательнаго, но сплошь и рядомъ онъ не умѣетъ

даже сколько-нибудь точно формулировать то, что, по его мнѣнію, подлежитъ доказательству.

Я уже ранѣе говорилъ, что въ первой части своего произведенія г. Минскій замаскировывается или гримируется демономъ, безпощадно разрушающимъ всѣ лучшія человѣческія вѣрованія и идеалы. Теперь понятно, надѣюсь, почему я тогда сказалъ, что это маска, гримъ. Еслибы г. Минскій доселѣ оставался при томъ образѣ мыслей, который изложенъ въ первой части, такъ можетъ быть,—хотя и въ этомъ сомнѣваюсь,—его пришлось-бы признать настоящимъ, подлинно страшнымъ демономъ. Но теперь мы знаемъ, что это уже пройденная ступень и г. Минскій только «*снова* проходитъ тотъ тернистый путь сомнѣній и внутренней борьбы, которымъ совѣсть въ дѣйствительности вела его душу», его нынѣшнее міросозерцаніе не совпадаетъ съ мрачнымъ содержаніемъ первой части, онъ только реставрируетъ его, маскируется имъ, дабы наглядно показать, что вотъ, дескать, какой я страшный былъ! Посмотримъ, какой-такой демонъ.

«Безгранична, какъ небесныя пространства, неизмѣрима, какъ вѣчность, сильна, какъ тяготѣніе звѣздъ, любовь каждаго къ самому себѣ». Таково одно изъ основныхъ положеній г. Минскаго и можетъ быть зерно, изъ котораго развертывается даже вся его книга. Изъ этого достаточно неноваго положенія г. Минскій хочетъ сдѣлать страшилище, грозный таранъ, имѣющій разрушить крѣпость какихъ-бы то ни было идеаловъ. Собственно въ этихъ видахъ онъ уже при самомъ приступѣ къ дѣлу снабжаетъ свой таранъ гиперболическими сравненіями: «безгранична, какъ небесныя пространства, неизмѣрима, какъ вѣчность, сильна, какъ тяготѣніе звѣздъ». Но не ново не только это положеніе, а и дальнѣйшее его развитіе у г. Минскаго. Любовь къ себѣ, себялюбіе или «самолюбіе», какъ предпочитаетъ выражаться нашъ авторъ, не только сильно, но и сильнѣе всякой другой струны въ человѣческой душѣ. Къ самолюбію сводятся въ концѣ-концовъ всѣ наши чувства и поступки. «Чувствовать и сознавать жизнь каждый можетъ лишь своею душой, своими нервами, непремѣнно своими собственными, а не душою и нервами ближняго!.. Пусть рядомъ со мною корчится въ предсмертной мукѣ братъ или другъ мой, но прежде чѣмъ я не увижу и не услышу его муку, непосредственно ощущать ее я не могу. А когда увижу и услышу, то мысленно поставлю на его мѣсто себя, на себѣ примѣрю его страданія, и тогда себя-же пожалѣю, и это сажалѣніе къ себѣ самому назову состраданіемъ къ чужому горю... Люди постоянно приходятъ между собою въ столкновенія, дѣлятся радостью и горемъ, но при всемъ этомъ душа каждаго остается герметически замкнутой сама въ себѣ... Самолюбіе было, есть и будетъ не порокомъ, не болѣзнью души, но ея верховнымъ, сокровеннѣйшимъ началомъ, неизмѣннымъ закономъ, управляющимъ всѣми ея движеніями отъ рожденія до кончины, хотя-бы и крестной». Безкорыстная любовь есть «очевидная ложь»; въ человѣческой душѣ нѣтъ ничего, кромѣ жажды бытія и наслажденія и боязливаго отвращенія къ небытію и страданіямъ. Любовь къ ближнему, благодарность, самоотверженіе, безкорыстіе, состраданіе, милосердіе, справедливость,—все это вздоръ, ложь, иллюзія, ибо представляютъ собою лишь осложненныя и отраженныя формы самолюбія...

Weh! weh!
Du hast sie zerstört,
Die schöne Welt,
Mit mächtiger Faust.
Sie stürzt, sie zerfällt!
Ein Halbgott hat sie zerschlagen!

Такъ поетъ невидимый хоръ, пораженный силою заклинаній Фауста. Такъ надлежитъ скорбѣть и ужасаться намъ послѣ того, какъ Halbgott Минскій разрушилъ mit mächtiger Faust всю область любви и справедливости... Weh! weh!..

Я привелъ, конечно, не всю аргументацію г. Минскаго по вопросу о самолюбіи, но, собственно говоря, она всетаки вся тутъ, потому что, за исключеніемъ одного пункта, о которомъ будетъ сказано особо, вся остальная первая часть представляетъ только повтореніе и размазываніе вышеприведеннаго. Мы, впрочемъ, еще въ этомъ убѣдимся. Какъ ни страшна, однако, демонская маска г. Минскаго, какъ ни могущественны его удары, они, повторяю, не новы. Мы еще недавно видѣли ихъ въ ученіи Адріана Сикста, причемъ даже слова употребляются обоими великими мыслителями, мѣстами, одни и тѣ-же. Адріанъ Сикстъ, конечно, менѣе краснорѣчивъ, чѣмъ его русскій единомышленникъ, но и онъ говоритъ, что душа человѣческая не можетъ выйти «изъ предѣловъ своего *я*», предвосхищая такимъ образомъ положеніе г. Минскаго, что «душа каждаго остается герметически замкнутой сама въ себѣ». Но мы видѣли, что и Адріанъ Сикстъ вовсе не оригиналенъ, потому что исповѣдуемыя имъ страшныя истины были пущены во всеобщее обращеніе еще въ XVIII вѣкѣ. У г. Минскаго есть стихотвореніе, оканчивающееся меланхолическимъ восклицаніемъ: «слишкомъ поздно, поэтъ, ты родился!» Да, именно слишкомъ поздно. Дѣло не въ томъ, что г.

Минскій не сказалъ новаго слова. Только незнающій стараго можетъ тѣшиться горделивою мыслью, что онъ нашелъ что-то совершенно новое. Но г. Минскій уже слишкомъ запоздалъ. Оставимъ въ покоѣ Адріана Сикста и XVIII вѣкъ. Весь тотъ кругъ истинъ, въ составъ котораго входитъ представленіе о человѣкѣ, какъ о себялюбцѣ, эгоистѣ по самой сущности своей природы, былъ очень популяренъ и у насъ лѣтъ тридцать тому назадъ. Я хорошо помню тѣ времена, а кто помоложе, тотъ можетъ справиться въ передовыхъ журналахъ того времени, конца пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ. Тогда по русской землѣ дыханіе новой жизни носилось, надламывался вѣковой общественный строй, и всѣ его ближнія и отдаленнѣйшія основы подвергались пересмотру. Въ нашемъ прошломъ оказывалось при этомъ столько лжи, лицемѣрія, всяческой неправды, что не только мы, тогдашняя зеленая молодежь, а и люди постарше насъ, учителя наши, естественно хватали подчасъ черезъ край въ противоположную сторону, въ сторону обнаженной правды. Это мнѣ хорошее слово подъ перо попалось—обнаженная правда. Любопытно было-бы припомнить тѣ времена въ ихъ подробности, но это не къ дѣлу будетъ. Между прочимъ, между очень и очень многимъ прочимъ, въ томъ ненавистномъ умственномъ багажѣ прошлаго, отъ котораго мы такъ страстно хотѣли отдѣлаться, было ученіе о врожденности и сверхчувственномъ происхожденіи нравственныхъ идей. Сообразно этому въ теоріи отводилось необыкновенно высокое мѣсто любви къ ближнему, самоотверженію, состраданію, безкорыстной преданности и проч., которыя, однако, на практикѣ подмѣнивались не только разными простыми нравственными низменностями, но и цѣлыми ихъ группами, освященными всѣмъ общественнымъ строемъ, каковы были рабство милліоновъ и чиновничье взяточничество. Возмущенные этою противорѣчивостью слова и дѣла, мы,—опять-таки между прочимъ, потому что были и другіе пути раздѣлки со старымъ, — мы стали доискиваться правды, обнажая ее отъ тѣхъ лживо-блестящихъ одеждъ, которыми ее облекало лицемѣріе нашихъ отцовъ. Найти эту правду было не трудно, потому что въ Европѣ процессъ обнаженія правды давно уже имѣлъ мѣсто. И вотъ оказалось то самое, что теперь съ такимъ демонскимъ видомъ излагаетъ г. Минскій: человѣкъ есть по самой природѣ своей эгоистъ, себялюбецъ, а самоотверженіе, безкорыстная любовь и т. п., это только отраженныя формы себялюбія. Но вотъ въ чемъ разница. Г. Минскій излагаетъ свою мысль съ дѣланнымъ паѳосомъ и подсказываетъ читателю пугающимъ басомъ: я демонъ! я страшный! А мы дѣлали дѣло обнаженія правды необыкновенно весело, можетъ быть, даже черезчуръ весело. И это совершенно понятно. Во-первыхъ, мы и не хотѣли никого пугать, а хотѣли, напротивъ, влить въ людей бодрость, вѣру въ жизнь, которою и сами были полны. А во-вторыхъ, что-же тутъ въ самомъ дѣлѣ такого страшнаго? Торопливо и весело совлекая съ правды лживо-блестящія одежды, мы знали, что у насъ есть на-готовѣ новыя, гораздо болѣе приличныя, что не оставимъ мы ее гулять въ костюмѣ Адама, не знавшаго стыда. Это опять-таки нетрудная задача, по крайней мѣрѣ, для людей, которые напряженностью жизни гарантированы отъ позорнѣйшаго для мыслящаго человѣка страха,—страха слова. Какъ составная часть извѣстной философской системы, обнимающей все сущее однимъ принципомъ, и какъ одно изъ орудій отрицанія отсталыхъ взглядовъ, положеніе о верховности и незыблемости человѣческаго эгоизма имѣетъ неоспоримую цѣну. Но цѣна эта тѣмъ выше, что оно вовсе не стираетъ разницы между добромъ и зломъ вообще, между любовью въ разныхъ ея формахъ и проявленіяхъ и собственно эгоизмомъ въ частности. Пусть душа моя не можетъ непосредственно жить чужою жизнью и никогда не выбьется изъ предѣловъ моего *я*, но предѣлы-то эти могутъ быть и узки, и широки. Пусть, любя ближняго, я люблю всетаки только самого себя; пусть я ищу собственнаго наслажденія, даже принося, повидимому, жертву, потому что мнѣ, именно мнѣ самому, пріятнѣе принести эту жертву, чѣмъ видѣть чужое страданіе, совершенно такъ-же, какъ въ другомъ случаѣ мнѣ пріятнѣе заставить другого страдать, чѣмъ самому поступиться хотя бы однимъ волосомъ съ головы. Разница между двумя случаями остается непоколебленною и для непосредственнаго живого чувства, и для анализирующаго разума. Называйте, если хотите, любовь отраженнымъ себялюбіемъ, она всетаки не просто себялюбіе; употребляйте, вмѣсто слова «жертва», какое хотите другое, между принесеніемъ въ жертву себя другому и принесеніемъ другого въ жертву себѣ останется рѣзкая демаркаціонная черта. Да, альтруизмъ есть не что иное какъ развѣтвленный и осложненный эгоизмъ, но *я* эгоиста не способно переживать чужія радости и скорби, а *я* альтруиста способно съ большею или меньшею легкостью претворять ихъ въ свои собственныя. Изъ этого слѣдуетъ, что признаніе человѣка эгоистомъ по природѣ, отнюдь не способствуя смѣшенію вещей, подлежащихъ различенію, вмѣстѣ съ тѣмъ не заключаетъ въ себѣ ничего угрожающаго

практической нравственности и теоріи морали; не только не угрожаетъ, а даетъ имъ новую и болѣе прочную опору. Вмѣсто немотивированнаго или фантастически мотивированнаго императива: люби ближняго — оно указываетъ на высокую цѣну личной жизни, расширенной переживаніемъ чужихъ жизней. И вотъ почему мы съ весельемъ обнажали правду. Ахъ, это было частью даже забавное время. Принесетъ, напримѣръ, человѣкъ жертву, и иной разъ немалую, и потомъ говоритъ: жертва, это вздоръ, ерунда, сапоги въ смятку, я дѣйствовалъ просто какъ разумный эгоистъ...

Отчего-же г.-то Минскій, питающійся крохами съ нашего веселаго стола, такъ мраченъ? Это намъ раскроется въ концѣ нашей бесѣды, которую сегодня мы кончить не успѣемъ. Пока можно дѣлать только предварительныя предположенія. Можетъ быть, мракъ автора «При свѣтѣ совѣсти» зависитъ отъ непреклонности его мысли, не сдающейся ни на какіе компромиссы? Едва-ли. Страшныхъ и, повидимому, вполнѣ непреклонныхъ словъ онъ говоритъ много. А всетаки нѣтъ, нѣтъ, да и сдѣлаетъ уступочку и поотодвинетъ свою демонскую маску въ сторону. Такъ, напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ: «Въ наши дни, когда боязнь страданій и жажда удовольствій стали единственными мотивами поступковъ» и т. д. Если они стали таковыми въ наши дни, значитъ были, а можетъ быть, и еще будутъ иные дни, когда мотивами поступковъ служили или будутъ служить не только боязнь страданій и жажда наслажденій. Значитъ, не совсѣмъ правда, что «самолюбіе было, есть и будетъ» и т. д.

Хотя въ общемъ г. Минскій несомнѣнно питается крохами съ чужого стола, но въ ученіи объ эгоизмѣ, какъ о верховномъ принципѣ, онъ сдѣлалъ, кажется, одно нововведеніе. Онъ усматриваетъ слѣдующее противорѣчіе, проникающее всю нашу жизнь: «Я созданъ такъ, что любить долженъ только себя, но эту любовь къ себѣ я могу проявлять не иначе, какъ первенствуя надъ ближнимъ своимъ, — такимъ-же, какъ я, самолюбцемъ, жаждущимъ первенства; поэтому цѣль моей жизни и цѣль жизни моего ближняго одна другую взаимно отрицаютъ и уничтожаютъ». Г. Минскій утверждаетъ, что еслибы кого-бы то ни было изъ людей спросили, чего онъ больше всего желаетъ и о чемъ мечтаетъ, то совѣсть заставила-бы его отвѣтить такъ:

«Я желаю стоять на возвышенномъ средоточіи земли, чтобы всѣ люди, склоненные, толпились кругомъ и славили меня, какъ единственный источникъ бытія и радости, чтобы матери указывали на меня своимъ дѣтямъ, чтобы юноши взирали на меня съ тайной грустью, а женщины — съ тайнымъ восторгомъ. Я желаю, чтобы моему имени воздымалось и курилось столько алтарей, сколько на землѣ холмовъ и горъ. Я желаю дышать огненной атмосферой, раскаленнымъ кислородомъ всеобщей любви, не благодарности за оказанное добро, а чистой любви за то, что я существую, вижу, слышу и люблю себя. Я желаю, — если мнѣ нельзя жить вѣчно, — чтобы въ часъ моей смерти всѣ люди добровольно рѣшились перестать жить, чтобы они сожгли красивыя зданія, изорвали яркія ткани, закопали въ землю драгоцѣнности и, собравшись вокругъ моей могилы, умерли отъ горя».

Если эту чудовищную мечту лелѣютъ всѣ и каждый, если вдобавокъ, какъ и указываетъ г. Минскій, природа, создавъ людей съ подобной жаждой первенства, дала большинству силы пигмеевъ, то понятно, какой дикій кавардакъ долженъ происходить на нашей грѣшной землѣ. Прежде всего рушатся мечты о равенствѣ и мирной жизни. Объ этомъ не стоитъ и распространяться. Затѣмъ, чудовищная мечта не достижима не только для всѣхъ или для большинства, а даже просто ни для одного человѣка. Поэтому въ дѣйствительности люди вынуждены размѣнивать свою мечту на мелочь. И вотъ примѣры. Какъ вы думаете: почему, когда артистъ или пѣвецъ сходитъ со сцены, раздается нѣсколько выкрикивающихъ имя артиста голосовъ, которые покрываютъ всѣ остальные? Вы думаете, можетъ быть, потому, что эти голоса просто сильнѣе другихъ, или что обладатели ихъ особенно взволнованы игрою артиста, или что они моложе другихъ и потому экспансивнѣе? Совсѣмъ нѣтъ: «то, подъ предлогомъ восхищенія пѣвцомъ, вырвалось наружу желаніе чѣмъ-нибудь заявить о самомъ себѣ, если не мелодичнымъ пѣніемъ, то хоть яростнымъ крикомъ». Замѣтили-ли вы, что когда знакомый, придя къ вамъ, разсказываетъ о морозѣ, то дѣлаетъ это непремѣнно «съ непонятнымъ торжествомъ» и притомъ въ девяти случаяхъ изъ десяти преувеличиваетъ число градусовъ? Не замѣчали? Вы видѣли только ежащіяся отъ холода фигуры, красныя лица, потираемыя руки. А демонская натура г. Минскаго замѣтила и подыскала объясненіе: «сообщая о замѣчательномъ морозѣ ваши знакомые хоть на секунду выдвигаются и первенствуютъ надъ вами». Вы, можетъ быть, встрѣчали горбуновъ, которые стыдятся своего уродства и стараются его какъ-нибудь скрыть? Неправда, такихъ не бываетъ: «горбунъ шагаетъ по улицѣ съ сознаніемъ своей замѣчательности». Вы думаете, что когда человѣкъ стоитъ у постели умирающей любимой женщины, онъ такъ-таки вполнѣ безутѣшно горюетъ? Нѣтъ, онъ даже желаетъ ея смерти, и вотъ почему: «Смерть эта будетъ событіемъ, въ центрѣ

котораго будетъ красоваться *онъ*, безутѣшный страдалецъ. *Его* будутъ жалѣть, *его* будутъ утѣшать, *онъ*, шатаясь отъ горя, пойдетъ первый за похоронной колесницей». Вы, можетъ быть, припомните изъ исторіи— древней, новой, вчерашней, случаи «высокихъ подвиговъ и мученическихъ смертей изъ-за любви къ людямъ». Знайте-же, что на самомъ дѣлѣ это происходило «изъ-за того, чтобы хоть на мгновеніе, хоть передъ смертью раздуть огонь своего бытія насчетъ самолюбія другихъ, хоть на собственной могилѣ возростить мистически отрадный цвѣтокъ первенства».

Да, все это, пожалуй, до извѣстной степени оригинально. Но зато же вѣдь это и, вздоръ...

II.

«Чужая душа потемки»,—прекрасная, но слишкомъ часто забываемая пословица. Кто только не лѣзетъ въ чужую душу, кто только не располагается тамъ, какъ у себя дома, и судитъ, и рядитъ! Оно. конечно, дѣло неизбѣжное. Всякому по необходимости приходится составлять себѣ мнѣніе о мотивахъ чужихъ поступковъ и о вѣроятномъ поведеніи. Но надо бы помнить, что это дѣло трудное, а иногда, кромѣ того, и очень отвѣтственное. Изъ числа нашихъ большихъ писателей Достоевскій пользовался особенною славой сердцевѣда, о чемъ много говорили не только литературные критики, а и спеціалисты науки, психіатры. Между тѣмъ у этого прославленнаго сердцевѣда можно найти слѣдующія два діаметрально противоположныя сужденія на одну и ту-же психологическую тему. Въ «Дневникѣ писателя» 1873 г., негодуя, въ тонъ извѣстной части нашей печати, на судъ присяжныхъ за его будто бы чрезмѣрную склонность къ оправдательнымъ вердиктамъ, Достоевскій писалъ: «Прямо скажу, строгимъ наказаніемъ, острогомъ и каторгой вы, можетъ быть, половину спасли бы изъ нихъ (преступниковъ). Облегчили бы ихъ, а не отяготили». А въ 1876 г. въ томъ же «Дневникѣ писателя» Достоевскій, по одному частному поводу, такъ обращался къ присяжнымъ: «Много вынесетъ она изъ каторги? Не ожесточится-ли душа, не развратится ли, не озлобится-ли на-вѣки? Кого когда поправила каторга?... Оправдайте несчастную, и авось не погибнетъ юная душа, у которой можетъ быть столь много еще впереди жизни и столь много добрыхъ для нея зачатковъ. Въ каторгѣ же навѣрное все погибнетъ, ибо развратится душа». Если принять въ соображеніе, что дѣло идетъ ни больше, ни меньше, какъ о каторгѣ, и что голосъ Достоевскаго пользовался извѣстнымъ, весьма значительнымъ авторитетомъ, то сопоставленіе это окажется простодаже страшнымъ въ своей поучительности. Гдѣ-же правда? спасаетъ каторга, или губитъ и никогда никого не поправила? Замѣтьте, что въ обоихъ случаяхъ Достоевскій говоритъ совершенно категорически, какъ будто онъ всѣ рекомендуемые пословицей семь разъ примѣрялъ и, наконецъ, на восьмой отрѣзалъ свое рѣшеніе. Эта манера рѣшать важные вопросы относительно свойствъ человѣческой души категорически, даже не задумываясь о томъ, что надо же предъявить какія-нибудь доказательства, практикуется въ особенности беллетристами. Ее мобно бы было назвать беллетристической психологіей. Беллетристъ даже весьма невеликихъ талантовъ, набившій себѣ руку, можетъ со всѣми признаками вѣроподобія, но въ сущности совершенно произвольно, связать рядомъ посредствующихъ звеньевъ любые два психологическіе момента. Каторжникъ просвѣтленный и каторжникъ загубленный каторгой могутъ быть сдѣланы одинаково вѣроятными при помощи беллетристической психологіи, которая требуетъ только, чтобы между каждыми двумя сосѣдними психологическими подробностями не было явнаго противорѣчія. Для этого требуется весьма нехитрое умѣнье, а между тѣмъ оно часто выдается за глубокое сердцевѣдѣніе и тонкій психологическій анализъ,—до такой степени, что, наконецъ, и сами беллетристы начинаютъ вѣрить въ свое сердцевѣдѣніе. Я отнюдь не говорю, чтобы между беллетристами и поэтами не было тонкихъ наблюдателей душевной жизни, замѣчательныхъ практическихъ психологовъ. Напротивъ, таковые вполнѣ возможны и дѣйствительно существуютъ. Но и замѣчательнѣйшимъ изъ нихъ можно посовѣтовать большую осмотрительность, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда они хотятъ философствовать и притомъ строить философію на своей беллетристической психологіи. Не буду приводить другіе примѣры такихъ построеній и обращусь прямо къ г. Минскому.

Почтенный поэтъ съ рѣшительностью, какъ мы видѣли, утверждаетъ, что жажда первенства есть преобладающая струна въ человѣческой душѣ, ибо этою жаждой наиболѣе полно проявляется основное свойство всякаго живого существа,—себялюбіе или самолюбіе. Доказательствъ г. Минскій не приводитъ никакихъ и даже вовсе не думаетъ о нихъ. Онъ довольствуется беллетристической психологіей. Въ повѣсти, драмѣ, поэмѣ можно занимательно и со всѣми признаками вѣроподобія изобразить человѣка, который лелѣетъ комически-чудовищную мечту г. Минскаго, приведенную мною въ прошлый разъ: какъ онъ стоитъ на высокой горѣ и всѣ курятъ ему ѳиміамы и славословятъ, какъ

послѣ его смерти всѣ люди умираютъ отъ горя и т. п. Можно также, и пожалуй въ томъ же самомъ произведеніи, нарисовать того чудака-горбуна, который ходитъ по улицамъ съ сознаніемъ своей достопримѣчательности, и того плоскодоннаго человѣка, который, горюя о предстоящей смерти друга, въ то же время утѣшается картинностью своего горя, и проч. Существуютъ ли подобные люди или нѣтъ, много ли ихъ, если они существуютъ, или мало, но какъ художественные образы, они теоретически возможны, и въ сознаніи своей силы дать этимъ образамъ художественное бытіе беллетристъ почерпаетъ легкомысленную увѣренность, что онъ знаетъ человѣческое сердце. Къ этому присоединяется еще одно обстоятельство. Вообще говоря, не только чужая душа – потемки, но и въ своей собственной не легко бываетъ разобраться. Однако, при извѣстной добросовѣстности, по крайней мѣрѣ нѣкоторыя, наиболѣе опредѣленныя движенія собственной души могутъ составить предметъ точныхъ и цѣнныхъ наблюденій. Но можетъ быть слѣдовало бы признать общимъ правиломъ, что наблюденія этого рода должны быть именно только наблюденіями, а обобщеніе ихъ, постройка на основаніи ихъ какого бы то ни было теоретическаго зданія должно быть предоставлено другимъ. Искренняя исповѣдь или какая другая форма изложенія ряда самонаблюденій можетъ оказаться очень цѣннымъ психологическимъ матеріаломъ, но лучше будетъ, если группировку и обобщеніе этого матеріала возьметъ на себя не самъ исповѣдующійся и самонаблюдатель, а кто-нибудь другой Возможны, конечно, люди вполнѣ къ себѣ безпристрастные, но въ огромномъ большинствѣ случаевъ даже совершенно искреннему самонаблюдателю, который вздумаетъ обобщать свои наблюденія, грозятъ двѣ противоположныя, но одинаково опасныя ошибки. Либо онъ сочтетъ свою личность чѣмъ то исключительнымъ, рѣзко выдѣляющимся изъ всей массы человѣчества, либо, напротивъ того, распространитъ на все человѣчество свои чисто индивидуальныя черты. Когда я читаю произведенія вродѣ книжки г. Минскаго, меня всегда занимаетъ вопросъ: какъ-же смотритъ авторъ на самого себя? Ну, хорошо, завѣтная мечта всѣхъ людей состоитъ въ томъ, чтобы стоять на возвышенномъ средоточіи земли, пользоваться даровою всеобщею любовью и т. д.; всѣ люди, сообщая о сильномъ морозѣ, изъ тщеславія прибавляютъ нѣсколько градусовъ; всѣ люди, глядя на умирающаго друга, любуются картинностью своего горя и т. д. Стоитъ-ли за этою общею скобкой г. Минскій? Это вопросъ не праздный и можетъ быть заданъ отнюдь не въ видѣ какой-нибудь пикировки. Если г. Минскій составляетъ исключеніе, то этимъ рѣшительно подрывается общее правило или, по крайней мѣрѣ, является надежда на существованіе и другихъ исключеній, ибо не вполнѣ же г. Минскій безподобенъ. Если же г. Минскій, напротивъ, съ самого себя писалъ портретъ человѣчества, то, во-первыхъ, какое онъ на это имѣлъ право и основаніе, остается совершенно неизвѣстнымъ, а во-вторыхъ, столь-же неизвѣстно, какъ же мы должны относиться къ писаніямъ г. Минскаго вообще и къ книжкѣ «При свѣтѣ совѣсти» въ частности? Можетъ быть онъ не въ правду свои мысли излагаетъ, а, такъ сказать, прибавляетъ нѣсколько градусовъ, собственно затѣмъ, чтобы попервенствовать надъ нами. Можетъ быть, и въ стихахъ и въ прозѣ г. Минскаго нѣтъ ни одной искренней фразы, а есть только стремленіе помѣститься на возвышенномъ средоточіи земли. Каково положеніе читателя? Но положеніе это еще осложняется тѣмъ, что, какъ мы видѣли, г. Минскій проситъ не смотрѣть на первую часть его книги, какъ на выраженіе окончательнаго міросозерцанія автора. Дѣло было бы не только не сложно, а, напротивъ того, въ высшей степени просто, еслибы г. Минскій въ самомъ дѣлѣ говорилъ откровенно и притомъ лично за себя: вотъ, молъ, какой я былъ смѣшной, легкомысленный и тщеславный человѣкъ, — лелѣялъ такія-то нелѣпыя мечты, такъ-то и такъ-то притворялся, ломался и проч. Такое откровенное признаніе не только освѣтило бы намъ литературную дѣятельность г. Минскаго, по крайней мѣрѣ, въ извѣстный ея періодъ, но и было бы дѣйствительно цѣннымъ психологическимъ матеріаломъ, подлежащимъ, конечно, дальнѣйшей обработкѣ. Но г. Минскій, во-первыхъ, совершенно произвольно обобщилъ свои личныя черты, покрывъ ими все человѣчество, а во вторыхъ, кокетничаетъ съ своими заблужденіями, какъ будто и признавая ихъ заблужденіями и въ то-же время обращая ихъ въ «фундаментъ, который по необходимости складывается въ отдаленіи отъ свѣта». Разобраться во всемъ этомъ невозможно, и приходится брать обобщенія г. Минскаго просто, какъ они есть, не пытаясь уловить отношенія къ нимъ самого автора. Немножко обидно, конечно, серьезно вглядываться въ произведеніе, въ искренности котораго есть всѣ основанія сомнѣваться, но что-же дѣлать!

Немножко обидно, а немножко и смѣшно. Если оставить въ сторонѣ вопросъ объ искренности г. Минскаго, о томъ, серьезно-ли онъ вѣритъ въ изложенныя имъ якобы истины или только на возвышенное средоточіе земли стремится, то обобщенія его

надо признать просто продуктами беллетристической психологіи. Это не наука, не философія, какъ въ этомъ комически увѣренъ г. Минскій, а беллетристика, которой можетъ быть противопоставлена въ идейномъ смыслѣ совершенно противоположная беллетристика. Г. Минскій ставитъ положеніе: человѣкъ всегда стремится къ первенству надъ своими ближними; положеніе это онъ поддерживаетъ не доказательствами какими-нибудь, а ссылками на примѣры, которые еще сами нуждаются въ доказательствахъ. Придерживаясь этого пріема, весьма легко «доказать» совершенно противоположный тезисъ, а именно: человѣкъ стремится подчинить свою волю чужой волѣ и находитъ въ этомъ подчиненіи величайшее наслажденіе. Я берусь обставить этотъ тезисъ несравненно солиднѣе, чѣмъ г. Минскій обставилъ свой, хотя твердо знаю, что и мой тезисъ отнюдь не покрываетъ всего содержанія человѣческой души во всѣ времена и у всѣхъ народовъ. Я не буду, конечно, этимъ заниматься и такъ, къ слову, напомню только одинъ діалогъ изъ «Наканунѣ» Тургенева, который былъ нѣсколько больше хозяиномъ въ человѣческой душѣ, чѣмъ г. Минскій. Берсеневъ и Шубинъ бесѣдуютъ о словахъ «соединяющихъ» и «разъединяющихъ». Берсеневъ перечисляетъ объединяющія слова: искусство, родина, наука, свобода, справедливость. «А любовь? —спросилъ Шубинъ. — И любовь соединяющее слово: но не та любовь, которой ты теперь жаждешь; не любовь — наслажденіе, а любовь—жертва.—Шубинъ нахмурился.—Это хорошо для нѣмцевъ; я хочу любить для себя; я хочу быть номеромъ первымъ.—Номеромъ первымъ, повторилъ Берсеневъ. А мнѣ кажется, поставить себя номеромъ вторымъ—все назначеніе нашей жизни».

Значитъ, всяко бываетъ, и мы увидимъ, что г. Минскій, въ сущности, самъ такъ полагаетъ. Порѣшивъ на этомъ, пойдемъ далѣе вслѣдъ за г. Минскимъ.

Жизненное противорѣчіе, возникающее изъ всеобщаго стремленія къ первенству, естественно ведетъ къ разрушенію всѣхъ общественныхъ идеаловъ, построенныхъ на иллюзіяхъ любви, равенства, справедливости, и, кромѣ того, дѣлается источникомъ множества душевныхъ страданій. Но для послѣднихъ имѣется еще и другой, пожалуй, даже болѣе страшный источникъ. Дѣло въ томъ, что «любя только себя самого, я больше всего презираю и ненавижу свое самолюбіе». Внутренній голосъ, который велитъ мнѣ презирать свое самолюбіе, называется совѣстью, причемъ предполагается, что совѣсть возстаетъ на самолюбіе во имя нравственнаго идеала или чувства долга. Но это не справедливо. «Совѣсть ополчается на самолюбіе не во имя нравственнаго идеала, а во имя страха смерти». Человѣкъ любитъ бытіе, жизнь и боится небытія, смерти. Эта боязнь уничтоженія заставляетъ его связывать свое имя съ бытіемъ тѣхъ, кто его переживаетъ. Отсюда голосъ совѣсти. Онъ подсказываетъ человѣку, что всѣ его заботы о ѣдѣ, питіи и т. п. составляютъ службу бренному тѣлу, которое, можетъ быть, черезъ день прекратитъ свое существованіе и превратится въ гніющій прахъ. Безцѣльность этихъ заботъ удручаетъ совѣсть и «на первыхъ ступеняхъ развитія» работа совѣсти чрезвычайно плодотворна. Она даетъ мѣрило мыслей и поступковъ, указываетъ цѣль, для которой стоитъ пострадать. «На этой ступени развитія» человѣкъ твердо различаетъ между добромъ и зломъ, самолюбіемъ и любовью къ ближнему, нравственнымъ и безнравственнымъ. Онъ, напримѣръ, твердо знаетъ, почему именно заботы о дѣтяхъ нравственнѣе, чѣмъ заботы о себѣ самомъ: потому что въ дѣтяхъ продлится его бытіе. Онъ твердо знаетъ, почему слѣдуетъ жертвовать семьей ради государства: потому что государство долговѣчнѣе семьи». Но недолго длится эта цѣльность души. «Къ безпечно восторженной совѣсти подкрадывается мудрый змій опыта и разума и начинаетъ ее искушать. Онъ указываетъ ей на бренность всѣхъ цѣлей жизни, ибо вѣчнаго бытія нѣтъ и для семьи, государства, человѣчества, земли. Все умретъ, все прекратитъ свое бытіе и не къ чему человѣку прицѣпить свое личное существованіе. «Разумъ потушилъ свѣточъ безсмертія; человѣчество осталось безъ верховной цѣли; мѣрило добра и зла потеряно; душа раздвоилась, и обѣ ея половины—стремленіе къ правдѣ и стремленіе къ истинѣ—вступили между собою въ междуусобную борьбу. Ибо истина разума и правда совѣсти роковымъ образомъ отрицаютъ, уничтожаютъ одна другую. Правда исповѣдуетъ то, что должно быть; истина признаетъ то, что есть; правда считаетъ самолюбіе ложью міра, истина возводитъ самолюбіе въ непреложный его законъ; правда благовѣствуетъ разумность и цѣлесообразность вселенной, истина съ ликованіемъ объявляетъ о ея случайности и безцѣльности» и т. д. Въ концѣ-концовъ, «разумъ, неистощимый въ доказательствахъ, богатый опытомъ и знаніями, побѣдилъ совѣсть, богатую только мечтами и желаніями, вѣрнѣе, убѣдилъ ее». Убѣдилъ, но примиреніе всетаки невозможно. Совѣсть не можетъ отказаться отъ своей сокровеннѣйшей сущности, отъ стремленія къ безсмертію, равнымъ образомъ какъ разумъ не можетъ отказаться отъ истины и не признать это

стремленіе несбыточнымъ. Противорѣчіе непримиримо и соглашеніе невозможно». Властное вмѣшательство разума лишаетъ совѣсть того руководящаго характера, который она имѣла «на первыхъ ступеняхъ развитія». Источенная червемъ отрицанія безсмертія, тоскующая по верховной цѣли жизни, она всетаки не можетъ примириться съ самолюбіемъ или себялюбіемъ, какъ основою всѣхъ нашихъ мыслей, чувствъ и поступковъ, а между тѣмъ наталкивается на него на каждомъ шагу. Отсюда страшное недовольство жизнью. Какъ прежде совѣсть угрызала душу послѣ совершенія злыхъ поступковъ, такъ теперь она угрызаетъ ее послѣ совершенія добра; ибо «въ добрѣ она видитъ то-же самолюбіе, да еще съ придачей притворства, трупъ, раскрашенный красками жизни». «Больная совѣсть велитъ человѣку презирать себя и поступать такъ, чтобы его презирали другіе. Современный человѣкъ, имѣя выборъ между добромъ и зломъ, часто предпочитаетъ окунуться въ грязь порока, чтобы доставить совѣсти отраду самопрезрѣнія... Послушный совѣсти, я презираю себя не потому, что ничтоженъ въ сравненіи съ другими, а потому, что мое бытіе ничтожно въ сравненіи съ безсмертіемъ. Поэтому, вслѣдъ за самопрезрѣніемъ, больная совѣсть повелѣваетъ мнѣ презирать ближняго, ибо и ближній, и семья, и государство, и человѣчество, обречены какъ и я, на безцѣльное и ничтожное прозябаніе... Такова болѣзнь души, воспринявшей на себя разладъ между любовью къ бытію и невѣріемъ въ безсмертіе, между стремленіемъ къ верховной цѣли жизни и отрицаніемъ цѣлесообразности міра».

Дойдя до этого пункта, г. Минскій засыпаетъ и видитъ сонъ апокалипсическаго характера подъ названіемъ «Послѣдній судъ». Онъ видитъ высокую, дивную женщину. «То была она,—говоритъ онъ,—моя неразгаданная богиня, моя изступленная муза, безумная совѣсть моей больной души, она, такъ часто являвшаяся мнѣ въ послѣдніе годы, связавшая мою волю, спугнувшая мои вдохновенія, изсушившая мое сердце». Позади совѣсти стояли угрюмые люди съ факелами въ рукахъ—«лучшіе, сильнѣйшіе, правдивѣйшіе» изъ людей, и въ числѣ ихъ, конечно, самъ г. Минскій. Совѣсть объявляетъ собравшейся несмѣтной толпѣ народа, что ей надоѣло смотрѣть на презрѣнныхъ людей и что она намѣрена уничтожить землю. Если изъ «лучшихъ, сильнѣйшихъ, правдивѣйшихъ» хоть одинъ броситъ свой факелъ на землю,—земля разрушится. Идутъ разные разговоры, причемъ всѣ изъясняются прекраснѣйшимъ, отборно возвышеннымъ слогомъ; факелы гаснутъ, остается наконецъ одинъ, тотъ самый, который находится въ рукахъ г. Минскаго. Г. Минскій уже готовъ швырнуть его о земь, уже поднимаетъ руку, чтобы уничтожить слѣдующимъ движеніемъ міръ... Weh! weh! Но тутъ вдругъ г. Минскаго, какъ молнія, озаряетъ мысль: «Если все ложь и самолюбіе, если нигдѣ нѣтъ святыни, то откуда взялась ты, порожденіе души моей, скорбная совѣсть? Твой смертный приговоръ надъ лживымъ міромъ не является ли оправданіемъ міра?» И рука г. Минскаго безсильно опустилась... А затѣмъ онъ проснулся и сталъ писать вторую часть своей книжки.

Вторая и третья части книжки посвящены возстановленію того, что г. Минскій разрушилъ въ первой. Мы пройдемъ ихъ очень бѣгло. Оказывается, что любовь, самопожертвованіе, словомъ все, чего въ первой части рѣшительно не было, на самомъ дѣлѣ существуетъ. Но надо различать. Мы убѣдились, что всякая наша дѣятельность, добрая и злая, одинаково ничтожна, безцѣльна и самолюбива. На этомъ надо прочно утвердиться. «Если мы оставимъ нетронутою хоть одну иллюзію, если, напримѣръ, допустимъ, что всѣ поступаютъ самолюбиво, кромѣ героя, умирающаго за счастіе людей, то мы осудимъ себя на дальнѣйшее скитаніе во мракѣ прежнихъ противорѣчій». Однако, внутренній голосъ, совѣсть, самымъ фактомъ своего существованія свидѣтельствуетъ, что гдѣ-то внѣ человѣческой души и внѣ земной жизни есть «истинное добро, конечная цѣль, вѣчное бытіе», словомъ,—«святыня». Страничку, буквально страничку, посвященную изложенію этой мысли, г. Минскій заканчиваетъ такъ: «Существованіе святыни такимъ образомъ является строго доказанной истиной», и далѣе уже вполнѣ свободно говоритъ: «мы доказали» и т. п. Вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживается, что «наша себялюбивая правда не совсѣмъ себялюбива, наши бренныя цѣли не совсѣмъ преходящи». Обнаруживается далѣе, что мы вовсе не исключительно къ первенству стремимся и не только смѣшную мечту о возвышенномъ средоточіи земли лелѣемъ. «Мы, наоборотъ, ищемъ, какъ-бы отречься отъ себя, подчинить себя высшему началу, смириться, уничтожиться передъ чѣмъ-то, лежащимъ внѣ насъ. Но все, совершаемое во имя первенства, и доброе, и злое, и жестокое, и самоотверженное, совѣсть равно отрицаетъ и клеймитъ названіемъ самолюбія, подвиги же самоотреченія для святыни, подчиненіе нашихъ цѣлей вѣчной цѣли—одно это совѣсть признаетъ истинно добрымъ и нравственнымъ».

Такимъ образомъ, гора родила мышь, Никто вѣдь и не сомнѣвается въ томъ, что если, напримѣръ, г. Минскій написалъ свою

книжку собственно затѣмъ, чтобы «первенствовать» подобно человѣку, облыжно увеличивающему число градусовъ мороза, такъ это не хорошо, а если онъ хотѣлъ послужить святынѣ истины, такъ это хорошо. Но зачѣмъ же онъ оклеветалъ человѣчество, приписалъ всѣмъ людямъ, всѣмъ безъ исключѣнія, нелѣпое желаніе стоять на возвышенномъ средоточіи земли въ центрѣ всеобщихъ восторговъ и ѳиміамовъ? Неправда вѣдь это, простая, голая, фактическая неправда. И если г. Минскій когда-нибудь исповѣдывалъ эту неправду, такъ какое намъ до этого дѣло? Мало ли еще какой вздоръ могъ онъ исповѣдывать! Въ его ученическихъ тетрадкахъ навѣрное было много не на мѣстѣ поставленныхъ *ятей* и знаковъ препинанія, но это еще не создаетъ резона публиковать тѣ тетрадки. А вѣдь ошибка г. Минскаго не грамматической ошибкѣ чета. Это больше, чѣмъ ошибка, это клевета, и не на Ивана или Марью клевета, а на весь родъ человѣческій. Публиковать ее, пожалуй, можно, но не иначе, какъ съ краской стыда на щекахъ, съ искреннимъ покаяніемъ въ своемъ легкомысліи. Г-нъ-же Минскій не только не кается, но даже настоящимъ образомъ не отрекается, а съ спокойнымъ самодовольствомъ ставитъ рядомъ два противоположные продукта своей беллетристической психологіи. На собственный чисто фактическій вопросъ объ основныхъ свойствахъ человѣческой души, г. Минскій отвѣчаетъ: основное свойство состоитъ въ самолюбіи и притомъ въ формѣ стремленія къ первенству. А затѣмъ вторично отвѣчаетъ: основное свойство состоитъ въ самоотреченіи, подчиненіи себя чему-то высшему. Правда, г. Минскій старается связать эти два діаметрально противоположныя показанія оговорками: «для людей», «для святыни». «Если вы умрете ради людей, то и на плахѣ не освободитесь отъ упрека совѣсти въ самолюбіи и стремленіи къ первенству. Но все, что-бы вы ни совершили во имя святыни, совѣсть ваша признаетъ необходимымъ и праведнымъ. Но во-первыхъ, это ни мало не измѣняетъ фактическаго положенія вещей: значитъ, есть-же всетаки люди, совершающіе тѣ или другіе поступки «ради святыни», а не то, чтобы непремѣнно всѣ пакостники и тщеславные самолюбцы. А во вторыхъ, оговорки «ради людей» и «во имя святыни» не спасаютъ дѣла г. Минскаго и въ принципіальномъ отношеніи: въ большинствѣ случаевъ святыня человѣка предписываетъ ему дѣйствовать такъ или иначе именно ради людей. Если, напримѣръ, г. Минскій не угрызается совѣстью за свою книгу, такъ онъ написалъ ее во имя святыни, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ написалъ ее, конечно, ради людей, ради того, чтобы просвѣтить насъ темныхъ.

Какъ-бы то ни было, но г. Минскій и въ третьей части какъ ни въ чемъ не бывало, ссылается на первую, не какъ на образчикъ заблужденій, нынѣ имъ отвергнутыхъ, а просто какъ на нѣчто доказанное и непоколебленное, такъ что тѣхъ сомнѣній и колебаній, которыми будто бы вела г. Минскаго совѣсть, на лицо не оказывается, хотя объ нихъ и говорится и хотя исходныя точки въ теченіе разговора осложняются до неузнаваемости. Это, при полной неточности и напыщенности языка автора, при необыкновенной его склонности къ метафорамъ, которыми книга буквально кипитъ, дѣлаетъ не только разборъ ея, а даже изложеніе крайне труднымъ. Въ дальнѣйшемъ изложеніи г. Минскій ищетъ «святыни» и долго не находитъ. Онъ перебираетъ Космосъ, Душу человѣческую, наконецъ, Абсолютъ и поочередно, по разнымъ соображеніямъ, отказывается признать въ нихъ святыню. Онъ находитъ ее лишь въ «мэонѣ», что значитъ «*несуществующій*». И самый терминъ, и кое-что, характеризующее «мэонъ» или «мэоны», г. Минскій заимствовалъ изъ Платонова «Софиста», но мы на этомъ останавливаться не будемъ. Во всякомъ случаѣ, г. Минскій придалъ мэонамъ оригинальное мѣсто въ философіи, хотя можно навѣрное сказать, что эти самые мэоны никому и ни на что не нужны.

Всякое пространство, какъ-бы оно ни было мало или велико, необходимо представляется намъ ограниченнымъ другимъ, большимъ пространствомъ. Понятіе о безпредѣльной, ничѣмъ не ограниченной вселенной нашему разуму совершенно не доступно, какъ противоположное всякому опыту и полное противорѣчій. Это-то немыслимое, невозможное, несуществующее «объемлетъ священнымъ трепетомъ и ужасомъ» г. Минскаго и составляетъ первый пространственный мэонъ. Второй пространственный мэонъ есть атомъ, не тотъ условный атомъ, которымъ орудуетъ химія, а послѣдняя, недѣлимая, невозможная, несуществующая частица матеріи. Такимъ-же образомъ получаются мэоны времени—вѣчность и мгновеніе, мэоны первопричины и верховной цѣли, мэоны познанія—«вещь въ себѣ» и самосознающее я, мэоны нравственной дѣятельности — безкорыстная жертва и свобода отъ вожделѣній. Наконецъ, всѣ эти мэоны сливаются въ единый мэонъ, который можно бы было назвать также Абсолютомъ, безусловнымъ.—Надо только помнить, что это безусловное, такъ сказать, съ отрицательнымъ знакомъ: оно не существуетъ.

Я затрудняюсь, читатель, передать даль-

нѣйшія размышленія г. Минскаго въ сколько-нибудь систематическомъ видѣ. Прочтите сами, или, если хотите послушаться добраго совѣта, не читайте, потому что только даромъ потратите время. Дѣло въ томъ, что ученіе о мэонѣ или мэонахъ, какъ оно набросано въ «Софистѣ» Платона, подъ руками дѣйствительно даровитаго метафизика могло бы сложиться въ стройную систему, въ своемъ родѣ не худшую другихъ метафизическихъ системъ,—не худшую, хотя, конечно, и не лучшую. Но если вы даже большой любитель этихъ попытокъ мысли оторваться отъ опыта и проникнуть въ сокровенную сущность вещей, то не найдете, всетаки, въ книжкѣ г. Минскаго никакого удовлетворенія. Г. Минскій, заявляя о своемъ презрѣніи къ даннымъ опыта и о своемъ намѣреніи перелетѣть за предѣлы того, что человѣческому разуму доступно, даже прямо-таки въ область несуществующаго, на дѣлѣ совершенно безсиленъ въ сферахъ чистой мысли. Безпомощно хватается онъ на каждомъ шагу за метафоры, притчи, образы, словомъ за разныя подобія плоти и крови, хотя на словахъ именно ихъ-то и не хочетъ знать. Идея или идеалъ доступны ему только въ формѣ идола. Онъ не излагаетъ свои идеи и не доказываетъ ихъ, а изображаетъ. Это выходитъ особенно курьезно, когда онъ ведетъ рѣчь о единомъ, безусловномъ, мэонѣ. Какъ изобразить несуществующее? Для этого надо предположить его существующимъ, Г. Минскій и дѣлаетъ это предположеніе. Чтобы понять мэона, несуществующаго, онъ надѣляетъ его «абсолютнымъ бытіемъ», то-есть совершенно извращаетъ смыслъ собственной своей идеи и затѣмъ рисуетъ якобы глубокомысленную, а въ сущности просто забавную картину того, какъ мэонъ изъ какихъ-то странныхъ побужденій погружается въ небытіе. При этомъ мэонъ говоритъ предсмертную рѣчь тѣмъ самымъ напыщеннымъ языкомъ, которымъ выражается и г. Минскій. Какимъ образомъ мэонъ, несуществующій, могъ существовать, и какимъ образомъ абсолютъ могъ умереть и куда онъ дѣвался,—до этого г. Минскому дѣла нѣтъ. Онъ не логическою мыслью руководится, а беллетристику пишетъ, но не потому, что хочетъ ее писать, а потому, что не можетъ оріентироваться въ сферахъ отвлеченной мысли, въ которыхъ, однако, пламенно желаетъ основаться.

Мэонъ, величественный мэонъ, приводящій г. Минскаго «въ священный трепетъ и ужасъ», какъ расписанный невозможными красками клоунъ, кувыркается изъ бытія въ небытіе и обратно. Зачѣмъ онъ все это дѣлаетъ? Или, точнѣе, изъ-за чего г. Минскій продѣлываетъ такія штуки надъ чѣмъ-то, хотя и несуществующимъ, но приводящимъ его, г. Минскаго, въ священный трепетъ и ужасъ? Послѣ еще нѣсколькихъ кувырканій г. Минскій приходитъ къ тому заключенію, что для насъ есть четыре пути постиженія непостижимаго мэона: точное знаніе, то-есть наука, искусство, удовлетвореніе жажды первенства и борьба съ своими желаніями или аскетизмъ. И онъ восклицаетъ: «Да будутъ благословенны страданія несовершеннаго міра! Да будетъ благословенно отсутствіе любви, истины, свободы! Да будутъ благословенны достовѣрныя знанія науки, хрупкіе образы искусства, безцѣльныя дѣла самолюбія и столь же безцѣльные подвиги самоотреченія,—эти четыре рода орудій, которыми человѣкъ высѣкаетъ изъ своей души спящій въ ней мистическій пламень!» Словомъ, да будетъ все на своемъ мѣстѣ, какъ оно сейчасъ есть и какъ будто никакихъ мэоновъ г. Минскій не сочинялъ. «Если,—говоритъ онъ,—ученіе о мэонахъ кажется мнѣ истиной, то, между прочимъ, потому, что оно само въ себѣ не заключаетъ какой-то универсальной, всеисцѣляющей мудрости или святости а наоборотъ *приводитъ къ собственному отрицанію* и, указывая на науку, искусство, самолюбіе и аскетизмъ, какъ на четыре пути достиженія святыни, *само себя устраняетъ и признаетъ ненужнымъ*.

Итакъ, читатель, если вы занимались наукой, продолжайте ею заниматься, не взирая на то презрѣніе къ основѣ науки—опыту, которымъ (презрѣніемъ) полонъ г. Минскій. Если вы стремитесь къ первенству и топчете своихъ ближнихъ ради своего самолюбія,—продолжайте, г. Минскій васъ благославляетъ. Если вы, наоборотъ, обуздывали во имя чего-бы то ни было свои желанія,—опять-таки продолжайте. Помните, что *ненужно* одно—ученіе о мэонахъ и, значитъ, книжка г. Минскаго.

Дѣлать какіе-нибудь общіе выводы относительно книжки, которая противорѣчитъ себѣ на каждомъ шагу и въ концѣ-концовъ оказывается никчемною съ точки зрѣнія самого автора, очевидно, невозможно. Но можно сдѣлать нѣкоторые выводы относительно автора, которые пригодятся и для отрицательной по крайней мѣрѣ характеристики книги.

Ясно, во-первыхъ, что совѣсть не очень безпокоитъ г. Минскаго. Я говорю, разумѣется, о г. Минскомъ, какъ объ авторѣ «При свѣтѣ совѣсти», а до личной его жизни мнѣ никакого дѣла нѣтъ. Совѣсти нѣтъ въ книжкѣ, кощунственно озаглавленной «При свѣтѣ совѣсти». Совѣсть не кокетничаетъ съ отвергнутымъ прошлымъ, а скорбитъ о немъ и проклинаетъ. Совѣсть не говоритъ напыщен-

нымъ языкомъ. Совѣсть не рядится въ костюмы демона или ангела. Совѣсть не удовлетворяется и не ущемляется холодными логическими разсужденіями въ такомъ родѣ: «Абсолютъ единъ и ничѣмъ не ограниченъ; какимъ же образомъ существую я—не Абсолютъ, граница абсолютнаго? Одно изъ двухъ: или разрозненный міръ, или единый Абсолютъ; вмѣстѣ они существовать не могутъ» и т. д. Это вопросы, лежащіе внѣ компетенціи совѣсти, и можетъ быть даже совѣсть признаетъ ихъ праздными и вздорными. Это вопросы не совѣсти, а разума, принявшаго метафизическое пареніе. Но и метафизика г. Минскаго или вообще его философія не выдерживаетъ никакой критики. Въ томъ самомъ «Софистѣ», изъ котораго г. Минскій извлекъ мэоновъ, есть разсужденіе о мудрецахъ или философахъ и о подражающихъ мудрецамъ или софистахъ. Софистъ г. Минскій плохой, но философія его есть не философія, а подражаніе философіи. Онъ ходитъ около философскихъ вопросовъ, но вслѣдствіе полной неспособности къ отвлеченной мысли ежеминутно съѣзжаетъ на беллетристику. Онъ перепутываетъ самые элементарные философскіе термины и изо всей этой путаницы выбирается тѣмъ, что подсовываетъ вмѣсто отвлеченной идеи конкретный образъ, отъ чего путаница, конечно, еще увеличивается.

Если г. Минскій, какъ авторъ книжки, о которой идетъ рѣчь, не есть ни человѣкъ ущемленной или просвѣтленной совѣсти, ни человѣкъ отвлеченной мысли, такъ что-же онъ такое? Онъ—«художественная натура, не основанная на нравственномъ чувствѣ». Ставлю эти слова въ ковычкахъ, потому что они принадлежатъ не мнѣ. Я заимствую ихъ изъ блестящей характеристики Ивана Грознаго, сдѣланной когда-то К. Аксаковымъ. По Аксакову, такая натура не испытываетъ ни одного чувства правдиво. Такой человѣкъ бываетъ посѣщаемъ и добрыми чувствами, но онъ не отдается имъ цѣльно и непосредственно, потому что въ то же время любуется ихъ красотою. Онъ можетъ приходить въ настоящее умиленіе отъ красоты добра, но именно отъ его красоты, а не отъ самаго добра. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ можетъ находить красоту и въ самомъ дикомъ или низкомъ явленіи, потому что его нравственное чувство не принимаетъ никакого участія въ его художественныхъ построеніяхъ. Для него жизнь есть не жизнь, а театральное представленіе или картина, которая можетъ быть художественно прекрасна даже и тогда, когда ея сюжетъ нравственно отвратителенъ. Отъ того-то г. Минскій демономъ замаскировывается и на возвышенномъ средоточіи земли себя видитъ. Отъ того-то онъ не чувствуетъ настоящей боли совѣсти, а только краснорѣчиво и многорѣчиво говоритъ о ней. Отъ того то, наконецъ, ему рѣшительно все равно, существуетъ или не существуетъ мэонъ, лишь-бы на его существованіи или несуществованіи построить картину...

Нелишне можетъ быть замѣтить, что художественная натура не значитъ талантливая натура. Художественная натура имѣетъ извѣстныя склонности, но затѣмъ остается еще вопросъ о природныхъ средствахъ для удовлетворенія тѣхъ склонностей. Какъ поэтъ, г. Минскій не лишенъ дарованія, но задача, предпринятая имъ «При свѣтѣ совѣсти», далеко превышаетъ его художественныя средства. Шутка вѣдь сказать: Абсолютъ собирается погрузиться въ небытіе, и г. Минскій хочетъ художественно изобразить этотъ моментъ... Такое несоотвѣтствіе задачи со средствами всегда порождаетъ крайне непріятную напыщенность. Пыжится человѣкъ до того, что и жалко его, и противно, и смѣшно.

Если есть что въ книжкѣ г. Минскаго искренняго, писаннаго дѣйствительно при свѣтѣ совѣсти, такъ это—страхъ смерти. Страницы, посвященныя этому сюжету, очевидно изъ души льются. Но развивать этого не буду, ибо безъ того слишкомъ долго занимался г. Минскимъ.

VIII.

Объ XVIII передвижной выставкѣ.

Мнѣ разсказывали, что на одномъ изъ костюмированныхъ баловъ въ Петербургѣ, устраиваемыхъ художниками, литература была представлена въ видѣ свиньи, облѣпленной названіями газетъ и журналовъ, а передъ мордой у нея былъ прикрѣпленъ апельсинъ: литература, дескать, понимаетъ въ искусствѣ, какъ свинья въ апельсинахъ... Для художниковъ это, мнѣ кажется, немножко нехудожественно и грубо, а кромѣ того и вполнѣ неосновательно. Литераторы отличаются отъ прочей публики, посѣщающей художественныя выставки, галлереи и мастерскія, только, тѣмъ, что хотятъ и умѣютъ излагать свои мысли на бумагѣ. Бываетъ, конечно, и гораздо большее различіе. Бываетъ такъ, что отзывы о художественныхъ произведеніяхъ пишутъ въ газетахъ и журналахъ люди, спеціально посвятившіе себя изученію искусства и потому обладающіе подготовкой, какой нѣтъ не только у большинства публики, а подчасъ и у самихъ художниковъ. Бываетъ и такъ, что печатные разговоры о выдающихся произведеніяхъ искусства ведутъ талантли-

вые художники слова (покойный Гаршинъ, г. Короленко), которые, надо думать, кое-что въ искусствѣ понимаютъ, потому что и сами къ нему прикосновенны. Но даже оставимъ совсѣмъ въ сторонѣ подобные случаи. Я буду говорить о себѣ. Я никогда спеціально не занимался изученіемъ искусства ни съ теоретической, ни съ исторической, ни съ технической стороны, никакими художественными дарованіями не обладаю, и однако собираюсь посвятить это письмо недавно открытой XVIII передвижной выставкѣ. Быть можетъ я выскажу очень неосновательныя сужденія, быть можетъ столь-же неосновательно выскажутся всѣ тѣ мои собратья по перу, которые займутся выставкой. Но почему же именно къ намъ должна адресоваться оскорбительная аллегорія, фигурировавшая на упомянутомъ костюмированномъ балу? Какъ видно изъ отчета, на прошлогодней выставкѣ въ одномъ Петербургѣ перебывало почти семнадцать тысячъ посѣтителей, изъ которыхъ писателей, и притомъ такихъ, которые что-нибудь о выставкѣ написали, было, много сказать, двадцать человѣкъ. Остальныя семнадцать тысячъ минусъ двадцать человѣкъ ничего о выставкѣ не написали, но отъ словеснаго сужденія, конечно, не отказывались, и нельзя-же думать, чтобы всѣ эти словесныя сужденія были правильны, и именно потому что они словесныя, а не печатныя. Если ужъ подносить оскорбительную аллегорію, такъ либо опредѣленному лицу, провинившемуся передъ искусствомъ и его жрецами, либо всей публикѣ (за исключеніемъ, конечно, поку ателей; это было-бы ужъ и не разсчетливо). Но опредѣленному лицу господа художники не рѣшатся нанести оскорбленіе, по соображеніямъ отвѣтственности, а всей публикѣ... да для кого же они и выставляютъ свои произведенія, какъ не для толпы, отъ кого, какъ не отъ нея, ждутъ хвалы и славы? Ну, а если славы и хвалы, такъ при случаѣ и порицаніе приходится выслушать, хотя бы вполнѣ неосновательное. Не находя такимъ образомъ удобствъ адресоваться съ обидой къ опредѣленному лицу и ко всей публикѣ, господа художники избираютъ козломъ отпущенія литературу. Ахъ, она къ этому такъ привыкла! У насъ за все, про все литература отвѣчаетъ. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы мы должны были трусить остроумія художниковъ, даже еслибы оно было и поядовитѣе того, которое поразило литературу на костюмированномъ балу. Напротивъ, собираясь писать о выставкѣ, я твердо стою на той почвѣ, что я такая же публика, какъ и всѣ прочіе; что я не Молчалинъ, который «не можетъ смѣть свое сужденіе имѣть»; что единственное мое отличіе отъ массы публики—желаніе и умѣніе излагать свои мысли на бумагѣ — еще никому не даетъ права ругать меня скверными словами. А если кто такія слова говоритъ, такъ пусть ему и будетъ стыдно, а не литературѣ. Я такъ твердо стою на этой почвѣ равенства съ остальной публикой, что и не попытаюсь занять другую, болѣе выгодную позицію. А она возможна. Если, по отношенію къ художникамъ и искусству, мы такая же публика, какъ и прочій, не пишущій людъ, то вѣдь и господа художники, по отношенію къ намъ, такая же публика, какъ весь многочисленный персоналъ непишущаго общества. Они можетъ быть кое чему научились у насъ, кое-что уяснили и усвоили себѣ при помощи фактовъ и идей, разрабатываемыхъ, развиваемыхъ и распространяемыхъ литературой. А не уяснили и не усвоили, такъ тѣмъ хуже для нихъ. И если посчитать апельсины...

Нѣтъ, я не увлекусь потокомъ остроумія господъ художниковъ. Я памятую, что и мы, и они призваны дѣлать одно и то же дѣло, только разными средствами. Дѣло это столь велико, что по крайней мѣрѣ понимающіе его величіе должны бы оставить въ сторонѣ всѣ счеты объ апельсинахъ и всякое взаимное сквернословіе. Пусть сквернословятъ непонимающіе, въ числѣ которыхъ безспорно есть и литераторы, и художники, а понимающіе пусть дѣло дѣлаютъ. Мнѣ кажется, что, при условіи этого пониманія, всякій имѣетъ право говорить о художественныхъ произведеніяхъ. Я могу быть совершеннымъ профаномъ въ технической сторонѣ дѣла, но эстетическія впечатлѣнія мнѣ всетаки доступны, и не исключительно же для знатоковъ-спеціалистовъ пишутся и выставляются картины. Но искусство вызываетъ не только эстетическую эмоцію. Вольно или невольно, сознательно или безсознательно, художникъ шевелитъ, по крайней мѣрѣ можетъ шевелить мое нравственное чувство, будитъ и направляетъ, по крайней мѣрѣ можетъ будить и направлять мою мысль... И если я дѣйствительно понимаю великое значеніе искусства, какъ одного изъ факторовъ жизни, то и не сунусь въ чуждую мнѣ область художественной техники. Пусть о ней говорятъ другіе, болѣе компетентные. Я останусь въ предѣлахъ того, что не хуже другихъ способенъ воспринимать и понимать.

Первое, что меня поразило на нынѣшней передвижной выставкѣ, это — скудость, и количественная, и качественная, бытовой живописи, жанра. Я говорю, конечно, сравнительно съ прошлыми годами. Напримѣръ, талантливѣйшій и неутомимый В. Е. Маковскій выставилъ нынче всего шесть нумеровъ, а между тѣмъ бывали годы, когда онъ вы-

ставлялъ до двадцати и даже до сорока картинъ и картинокъ, почти исключительно жанровыхъ. Само по себѣ это можетъ быть простая случайность,—годъ на годъ не приходится. Но въ связи съ другими фактами, поразившими меня на выставкѣ, и съ общимъ впечатлѣніемъ, сначала не совсѣмъ яснымъ, мною оттуда вынесеннымъ, убыль произведеній г. Маковскаго представляется мнѣ имѣющею извѣстное значеніе. Я запишу факты и впечатлѣнія, какъ попало, и потомъ попробую подвести итогъ.

Другой жанристъ, г. Кузнецовъ, выставилъ портретъ г. Л. и картинку подъ названіемъ «Прерванный завтракъ»: свиньи ѣдятъ, собака мѣшаетъ имъ ѣсть. Можетъ быть это какія-нибудь особенныя свиньи, понимающія толкъ даже въ апельсинахъ, но меня занимаетъ тотъ фактъ, что это всетаки свиньи, а не люди, тогда какъ на прежнихъ выставкахъ я помню у г. Кузнецова людей.

Историческая живопись совершенно отсутствуетъ на выставкѣ. Правда, г. Литовченко далъ «Боярыню», но эта фигура относится развѣ къ исторіи костюма, а никакъ не къ исторіи людей. Г. Невревъ, прежде такъ интересовавшійся дѣлами нашихъ предковъ, выступилъ съ видомъ мѣстности въ Москвѣ. И затѣмъ пейзажи, пейзажи, пейзажи... Есть группа крымскихъ этюдовъ г. Васнецова и группа кавказскихъ видовъ г. Киселева; есть превосходная «Осень» г. Волкова, «Осень» г. Дубовскаго, «Осень» г. Мясоѣдова, «Осень» г. Полѣнова, «Осень» г. Бажина, «Къ концу лѣта» г. Сейтгофа. Но не все же осень. Есть и «Весна» г. Ярцева, и «Весна» г. Менка, и «Весна» г. Мясоѣдова, и зима не забыта, и лѣто, и пейзажи г. Шишкина есть, и опять-таки превосходное «Сырое утро» г. Волкова, и «Вечеръ» г. Холодовскаго, и еще «Вечеръ» г. Левитана и проч. Число пейзажей на нынѣшней выставкѣ абсолютно можетъ быть и не больше, чѣмъ на предъидущихъ, но,— я не знаю почему, — ихъ кажется очень много.

Можетъ быть потому, что пейзажъ представляетъ собою въ нѣкоторомъ родѣ символъ и вмѣстѣ съ тѣмъ условіе уединенія, а на выставкѣ есть много картинъ, изображающихъ людей въ полномъ одиночествѣ. Я говорю не о портретахъ, «головкахъ», «боярыняхъ», «арабахъ» и т. п., а о такихъ картинахъ, въ составъ самаго сюжета которыхъ входитъ одиночество. Нѣкоторыя изъ нихъ даже прямо совпадаютъ съ пейзажемъ. Напримѣръ, «Ифигенія въ Тавридѣ» г. Васнецова: жрица Артемиды одиноко стоитъ невдалекѣ отъ морского берега; и такая она маленькая на большомъ полотнѣ, наполненномъ зеленью, моремъ, скалами, что всю картину можно бы было назвать прямо крымскимъ пейзажемъ; а съ другой стороны эта прекрасная, но равнодушная природа такъ подчеркиваетъ одиночество Ифигеніи. что можетъ быть именно его-то и хотѣлъ выразить художникъ. «Ночь» г. Брюллова: чудесно написанный старый паркъ при лунномъ освѣщеніи; по дорожкѣ идетъ, очевидно, гуляя, одинокая женщина; вверху надъ деревьями мерцаютъ двѣ-три звѣзды. Я не знаю, что это такое. Можетъ быть это пейзажъ, лишь по технически-художественнымъ соображеніямъ оживленный одинокой женской фигурой, а можетъ быть житейская драма, разрѣшившаяся или разрѣшающаяся одиночествомъ, и эти мерцающія звѣзды, эта дорожка въ паркъ, эта полоса луннаго свѣта, пущенная по зелени,—все это лишь аксессуары, призванные оттѣнить одиночество гуляющей ночью женщины.

Въ картинѣ г. Мясоѣдова «Вдали отъ міра» мы опять наталкиваемся на совпаденіе пейзажа съ идеей одиночества, хотя картина эта ужъ конечно не пейзажъ. Молодой, изможденный, но благообразный и даже слишкомъ благообразный человѣкъ въ монашескомъ одѣяніи стоитъ одинъ въ лѣсу, опершись на слишкомъ длинный заступъ. Еслибы заступъ не страдалъ этимъ излишествомъ длины, то опираясь на него, отшельникъ долженъ былъ бы согнуться и молодость его фигуры была бы не столь подчеркнута. А художникъ хотѣлъ именно молодого, благообразнаго человѣка отправить въ лѣса и пустыни, «въ даль отъ міра», въ пейзажъ. Да, конечно, въ этой лѣсной глуши одиночество достижимо вполнѣ, но почему именно такого молодого, благообразнаго понадобилось художнику удалить отъ міра?

Другой художникъ пошелъ въ этомъ отношеніи еще дальше и уловилъ задатки стремленія къ одиночеству въ мальчикѣ четырнадцати-пятнадцати лѣтъ. Я говорю о прелестной картинѣ г. Богданова-Бѣльскаго «Будущій инокъ». Дѣйствіе происходитъ въ крестьянской избѣ; крестьянскій мальчикъ въ лаптяхъ и въ рубашкѣ сидитъ, облокотившись на столъ; возлѣ него лежитъ на скамейкѣ книга въ старомъ кожаномъ переплетѣ; онъ слушаетъ, что говорятъ захожій странникъ съ котомкой за плечами и съ палочкой въ рукѣ; а можетъ быть и не слушаетъ, а подъ говоръ старика свою собственную думу думаетъ. Блѣдное, задумчивое личико этого мальчика, отнюдь не красивое, но лучше, чѣмъ красивое, необыкновенно выразительно. Сжатыя губы и устремленные куда то въ неопредѣленную даль глаза свидѣтельствуютъ о напряженной работѣ молодой души, и вся эта работа уйдетъ на одиночество,—это «будущій инокъ».

Такой же будущій инокъ изображенъ на картинѣ г. Нестерова «Видѣніе отрока Варѳоломея». Худенькій крестьянскій мальчикъ съ большими, робкими глазами жалуется старцу-черноризцу, что ему не дается книжное ученіе, и проситъ помочь ему. Отрокъ Варѳоломей сталъ потомъ Сергіемъ Радонежскимъ и удалился въ пустыню. Да и сейчасъ, на картинѣ г. Нестерова, онъ вполнѣ одинокъ. Не такой онъ маленькій, какъ Ифигенія на картинѣ г. Васнецова, но кругомъ него всетаки поля и поля, а рядомъ съ нимъ стоитъ только старецъ-черноризецъ, да и тотъ есть видѣніе, да и видѣнію этому художникъ совсѣмъ закрылъ лицо и голову, такъ что только конецъ сѣдой бороды видѣнъ изъ-подъ каптыря.

Вообще одиночества поразительно много на нынѣшней выставкѣ. Вотъ «Барышня» г. Клодта: барышня въ юбкѣ и спустившейся съ плеча рубашкѣ, съ папильотками въ волосахъ и книгой въ рукѣ, сидитъ у окна; на окнѣ догорѣвшая свѣчка, а на заднемъ планѣ видна совершенно нетронутая постель. Эти детали даже съ излишнею ясностью подчеркиваютъ одиночество барышни. «Къ сумеркамъ» г. Костанда: одинокая женская фигура сидитъ въ полѣ, пригорюнившись. Сюда же относится «Лѣсникъ» г. Малышева, «Лавочникъ» г. Лебедева, «Любитель-садоводъ» г. Холодовскаго, «Музыкантъ» г. Размарицына. Все это люди, случайно или не случайно, намѣренно или не намѣренно взятые въ моментъ одиночества. На первый взглядъ нѣтъ и не можетъ быть ничего общаго между поэтической Ифигеніей и мальчикомъ-лавочникомъ, оставленнымъ родителями или хозяевами для присмотра за мелочной лавченкой, къ которой не подходитъ ни одинъ покупатель («Лавочникъ» г. Лебедева); между «Барышней» г. Клодта и «Любителемъ садоводомъ» г. Холодовскаго, казалось бы, только и общаго, что оба они изображены въ бѣльѣ. Но именно разнообразіе-то путей, которыми художники приходятъ къ одиночеству, мнѣ и представляется достойнымъ примѣчанія. Точно они не сами, по доброй волѣ приходятъ, а какая-то посторонняя сила гонитъ ихъ изъ разныхъ исходныхъ точекъ къ одному и тому же конечному пункту.

Довольно, наконецъ, одиночества. Пойдемъ въ люди, на свадьбу пойдемъ. Вотъ «Вѣнчаніе» г. Матвѣева. Но это вѣнчаніе совсѣмъ особое: женихъ въ арестантскомъ халатѣ, вѣнцы надъ головами жениха и невѣсты держатъ тюремные сторожа, вдали стоитъ, заложивъ обѣ руки въ карманы, единственный свидѣтель,—кто-то изъ тюремнаго начальства. Вѣнчаніе происходитъ въ тюремной церкви, и тотчасъ послѣ вѣнца молодой возвратится въ свое тюремное одиночество. Не ушли мы, значитъ, отъ него даже и на свадьбѣ. Герою и героинѣ картины г. Савицкаго «Не сошлись характерами» можетъ быть не грозитъ тюремное одиночество, но она такъ плачетъ (повисшую на рѣсницѣ слезу просто стереть хочется), а онъ такъ злобно на нее оглядывается (просто скверно смотрѣть), что, конечно, имъ предстоитъ въ самомъ скоромъ времени быть каждому самому по себѣ, т. е. опять-таки въ одиночествѣ...

Есть, однако, на выставкѣ и картины, изображающія цѣлыя массы народа. Таковы «Ночлежники» г. Маковскаго, «Въ ожиданіи найма» г. Зощенко. На картинѣ г. Маковскаго зима, на картинѣ г. Зощенко лѣто. На картинѣ г. Маковскаго множество типичныхъ оборванцевъ толпится, ежась отъ холода, на покрытой снѣгомъ площадкѣ передъ ночлежнымъ домомъ. На картинѣ г. Зощенко лежатъ и сидятъ, изнывая отъ жары, мужики и бабы, ожидающіе наемщиковъ. Людей много, но общества нѣтъ: и тамъ, и тутъ людей нужда согнала въ одно мѣсто, но въ общество ихъ не соединила.

Еще одно замѣчаніе о портретахъ На выставкѣ есть превосходные портреты гг. Рѣпина и Ярошенко, есть и другіе, но только одинъ портретъ, покойнаго Сѣрова, имѣетъ, такъ сказать, общественный интересъ. Можно любоваться необыкновеннымъ мастерствомъ выставленнаго г. Рѣпинымъ портрета баронесы Икскуль или удивительнымъ портретомъ мальчика, сына г. Менделѣева, написаннымъ г. Ярошенко, но зрители обречены при этомъ на исключительно эстетическія впечатлѣнія уму и сердцу большинства зрителей, не имѣющихъ чести знать оригиналы, эти портреты ничего не говорятъ. Не такъ было на предъидущихъ выставкахъ. Вспомните, напримѣръ, выставку 1887—1888 гг. съ портретами поэта Плещева, Салтыкова (г. Ярошенко), Гаршина, Самойлова, Листа, Глинки (г. Рѣпина). На выставкѣ 1886—1887 гг. были два портрета Кавелина (г. Брюллова и г. Ярошенко), портреты астронома Струве, философа Соловьева (Крамского), профессора Мечникова, художника Рѣпина (г. Кузнецова), г. Спасовича, г. Менделѣева (г. Ярошенко). На выставкѣ 1884—1885 гг.—портреты Тургенева, г. Стасова, Крамского (г. Рѣпина), гр. Л. Толстого (г. Ге), поэта Майкова (Крамского), Гл. Успенскаго, г-жи Стрепетовой (г. Ярошенко). Всѣхъ этихъ людей не нужно знать лично, чтобы заинтересоваться ихъ портретами не только отвлеченно-эстетически, не только какъ художественными произведеніями. Огромному большинству посѣтителей выставки они хоть по наслышкѣ

знакомы своею научно-литературною, артистическою или иною какою общественною дѣятельностью. Нынѣ же общественный интересъ представляетъ, повторяю, только портретъ Сѣрова, да и тотъ написанъ В. А. Сѣровымъ, можетъ быть родственникомъ и можетъ быть по чисто личнымъ побужденіямъ.

Мнѣ кажется, что въ убыли жанра, въ полномъ отсутствіи исторической живописи, въ обиліи пейзажей, въ обиліи варіацій на мотивъ одиночества, въ отсутствіи портретовъ, имѣющихъ общественный интересъ—во всемъ этомъ оказывается одна и та же черта. И это тѣмъ любопытнѣе, что это не мѣстная какая-нибудь черта: въ приложенномъ къ иллюстрированному каталогу выставки спискѣ адресовъ художниковъ, участвующихъ въ выставкѣ, находимъ Москву, Петербургъ, Кіевъ Царское Село, станцію Плиски курско-кіевской ж. д., Харьковъ, Одессу, деревню Степановку Херсонской губ., а кромѣ того Парижъ и Римъ. Вѣдь это почти буквально отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды, не считая пребывающихъ за границей. Одно изъ двухъ: либо художники по какимъ-нибудь соображеніямъ сами рѣшили удалиться отъ міра и болѣе или менѣе игнорировать общественную жизнь, либо эта жизнь настолько оскудѣла, что художники не могутъ извлечь изъ нея ничего, кромѣ отрицательнаго возбужденія. Первое предположеніе кажется мнѣ совершенно невѣроятнымъ. Для художниковъ удалиться отъ міра—значитъ уйти въ область чистой красоты, безпредметнаго созерцанія и воспроизведенія линій и красокъ. Этого отнюдь нельзя сказать о нынѣшней передвижной выставкѣ въ цѣломъ. Не безпредметное служеніе чистой красотѣ этотъ отрокъ Варѳоломей съ большими, робкими глазами, молитвенно сложившій ручонки и мучающійся тѣмъ, что ему не дается «книжное ученіе»: онъ слишкомъ напоминаетъ мнѣ нашихъ гимназистиковъ, изнывающихъ надъ «греками и латинами», и даже до самоубійства. Да, по правдѣ сказать, въ картинѣ г. Нестерова, кромѣ этой фигуры мальчика, которому книжное ученіе туго дается, ничего и хорошаго нѣтъ,—никакой красоты и ни въ какомъ смыслѣ. А перлъ выставки—«Будущій инокъ» г. Богданова-Бѣльскаго—и всѣ другія варіаціи на тему прямо одиночества или нескладывающагося общества (картины г. Маковскаго и г. Зощенко) или разлагающагося союза (картина г. Савицкаго)? Или вотъ еще «Бродяга» г. Иванова: старообразный мальчишка въ оборванномъ пальто, изъ бокового кармана котораго торчитъ пачка папиросъ, и въ большихъ, чужихъ, можетъ быть женскихъ ботинкахъ приведенъ огромнымъ городовымъ въ какое-то присутственное мѣсто. Этотъ «бродяга» тоже вѣдь одинокій человѣкъ: нѣтъ общества, нѣтъ союза, въ которомъ онъ чувствовалъ бы себя своимъ, и въ жизни котораго онъ участвовалъ бы своею личною жизнью. Нѣтъ, это не искусство для искусства, не удаленіе искусства въ пустыню чистой эстетики. Еслибы это было такъ, то такому профану, какъ я, нечего было бы и дѣлать на выставкѣ: пришелъ, полюбовался и ушелъ. Но не смотря на относительную скудость нынѣшней передвижной выставки, я не могъ ограничиться однократнымъ посѣщеніемъ ея и передъ нѣкоторыми картинами, даже передъ большинствомъ ихъ, подолгу останавливался, испытывая какое-то грустное удовлетвореніе, въ которомъ эстетическая эмоція играла очень слабую роль. Страннымъ образомъ, убыли жанра и отсутствію исторической живописи я былъ даже радъ. Общее грустное, но отнюдь не непріятное впечатлѣніе было бы не такъ цѣльно, еслибы, напримѣръ, г. Неврезъ далъ по бывшимъ примѣрамъ историческую картину, а не видъ мѣстности въ Москвѣ, вовсе, впрочемъ, не интересный, или еслибы г. Литовченко вставилъ свою одинокую «боярыню» въ какой-нибудь историческій эпизодъ. Такъ лучше. Конечно, еслибы поднялся и оживился тонъ выставки во всѣхъ ея частяхъ; еслибы портреты весьма, вѣроятно, достойныхъ, но никому неизвѣстныхъ лицъ замѣнились портретами общественныхъ дѣятелей, любимыхъ или нелюбимыхъ, но всѣмъ знакомыхъ, еслибы, напр., г. Мясоѣдовъ выставилъ, ну хотя что-нибудь вродѣ своего стараго «Чтенія Положенія 19-го февраля», а не ушелъ «Въ даль отъ міра»; еслибы г. Маковскій развернулся во всю разнообразную ширь своего таланта, а г. Рѣпинъ, не ограничиваясь прекраснымъ портретомъ баронессы Икскуль, выставилъ одну изъ такихъ бытовыхъ или историческихъ картинъ, которыя привлекали къ себѣ на прежнихъ выставкахъ столько вниманія, еслибы г. Суриковъ напомнилъ о себѣ чѣмъ-нибудь вродѣ «Боярыни Морозовой» или «Утра стрѣлецкой казни»; еслибы еще новыя силы явились, съ произведеніями неожиданной силы и значенія, отмѣчающими какія-нибудь явленія общественной жизни въ ея прошломъ и настоящемъ; еслибы все это было,—то выставка была бы, конечно, богаче и интереснѣе. Но была ли бы она въ общемъ столь правдива и искренна, какъ нынѣшняя, этого я не знаю. Столь умѣстная въ свое время идиллія «Чтенія Положенія 19-го февраля» быть можетъ показалась-бы въ настоящее время запоздалою и неискреннею слащавостью. И не только это «Чтеніе», а еще и многое другое въ томъ же родѣ. Нынѣшняя выставка производитъ грустное впечатлѣніе, но оно не непріятно, потому

что выставка въ цѣломъ правдива: она отражаетъ оскудѣніе общественной жизни. При этомъ и обиліе пейзажей способствуетъ тому-же общему впечатлѣнію.

Какъ всякій профанъ въ искусствѣ, интересущійся людскими дѣлами и отношеніями, я, откровенно признаюсь, никогда не понималъ значенія пейзажа, гдѣ люди или совсѣмъ отсутствуютъ, или такъ только, въ качествѣ аксессуара фигурируютъ, а при случаѣ могутъ быть замѣнены летящей галкой или пасущейся коровой: хорошо, очень хорошо, но. и только. Нынѣшняя выставка, благодаря своему общему характеру и нѣкоторымъ своимъ характернымъ подробностямъ, уяснила мнѣ нынѣ значеніе пейзажа, именно какъ символа уединенія, одиночества и, слѣдовательно, отсутствія общественныхъ интересовъ. Безъ сомнѣнія всегда были, есть и будутъ такіе художники и такіе зрители, которые чуютъ и цѣнятъ красоту пейзажа ради нея самой, безъ всякаго отношенія къ какимъ бы то ни было другимъ мотивамъ. Г. Шишкинъ, напр., можно сказать, не выходитъ изъ сосноваго лѣса самъ и не выводитъ изъ него своихъ многочисленныхъ поклонниковъ, любуясь и другихъ заставляя любоваться отвлеченно-художественной красотой пейзажа. Но ни его картины, ни картины другихъ спеціалистовъ пейзажа, какъ таковаго, не могутъ разрушить во мнѣ слѣдующую комбинацію впечатлѣній, полученныхъ на выставкѣ-же. Я спрашиваю себя: вотъ этотъ очевидно даровитый, душой шибко жувущій «будущій инокъ» г. Богданова-Бѣльскаго, за красотой ли онъ пойдетъ въ натуральный пейзажъ лѣсовъ и пустынь? Или этотъ, гораздо менѣе одаренный отрокъ Варѳоломей? Или еще—зачѣмъ ушелъ въ пейзажъ благообразный молодой человѣкъ г. Мясоѣдова? Конечно, затѣмъ, чтобы спасти свою душу и молиться о грѣхахъ міра. Красота пейзажа тутъ не причемъ, хотя можетъ быть они и воспримутъ ее попутно и будутъ, подобно щедринскому Пименычу, находить, что «въ лѣсочкахъ прохладныхъ—столько становится для тебя радостно и незаботно, что даже плакать можно». Но если ясна цѣль ихъ удаленія отъ міра, то не менѣе ясна и причина этого удаленія: они не нашли въ мірѣ ничего такого цѣннаго, къ чему могли бы прилѣпиться душой, никакого союза, который оправдывалъ бы съ ихъ точки зрѣнія Аристотелево опредѣленіе человѣка: животное общественное. Вотъ почему промѣняли они жизнь въ мірѣ на жизнь въ пейзажѣ. И я спрашиваю себя далѣе: не отъ той-же ли самой причины зависитъ и обиліе пейзажей на нынѣшней передвижной выставкѣ? При этомъ я не забываю ни г. Шишкина, который всегда жилъ въ сосновомъ лѣсу, ни гораздо болѣе разнообразнаго, но всетаки спеціалиста-пейзажиста г. Волкова, ни другихъ. Я говорю о впечатлѣніи, производимомъ выставкой въ цѣломъ. Прежде пейзажи, если можно такъ выразиться, не выпячивались впередъ Рядомъ съ ними болѣе или менѣе кипѣла человѣческая, общественная жизнь въ будничныхъ бытовыхъ сценахъ, въ исторической живописи, въ портретахъ общественныхъ дѣятелей. въ живописныхъ комментаріяхъ къ памятникамъ литературы. Теперь все это или совсѣмъ отсутствуетъ, или умалилось количественно и качественно, или свелось къ той темѣ уединенія одиночества, которая такъ родственна пейзажу.

Я назвалъ перломъ выставки «Будущаго инока» г. Богданова-Бѣльскаго, художника, впервые выступающаго на передвижной выставкѣ. Говорю, какъ профанъ, но да не покажется это сужденіе уже слишкомъ профанскимъ. Я очень понимаю, что нельзя сравнивать разные роды живописи и нельзя сказать, что лучше: «Будущій инокъ» г. Богданова-Бѣльскаго, портретъ баронессы Икскуль г. Рѣпина или «Сырое утро» г. Волкова. Какъ художественныя произведенія, всѣ три вещи равно прекрасны, и можетъ быть даже слово «равно» здѣсь не умѣстно, потому что оно всетаки намекаетъ на попытку сравненія вещей несоизмѣримыхъ. Но если представитель чисто художественной критики долженъ чувствовать себя въ данномъ случаѣ въ положеніи Париса передъ тремя богинями, то для меня это затрудненіе рѣшительно не существуетъ. Къ необыкновенной законченности и вмѣстѣ простотѣ художественнаго замысла и къ блеску исполненія, которыми отличаются всѣ три произведенія, въ картинѣ г. Богданова-Бѣльскаго прибавляется еще нѣчто, чего нѣтъ и по самому существу дѣла не можетъ быть ни въ превосходномъ портретѣ, выставленномъ г. Рѣпинымъ, ни въ превосходномъ пейзажѣ г. Волкова. Мало того: это нѣчто даетъ мнѣ ключъ къ значенію и характеру всей нынѣшней выставки и въ частности объясняетъ, чего и почему недостаетъ въ портретѣ г. Рѣпина и въ пейзажѣ г. Волкова, и почему, однако, вмѣстѣ съ тѣмъ хорошо, умѣстно, что имъ чего-то недостаетъ. Имъ недостаетъ общественнаго интереса, и это было бы очень печально, еслибы можно было думать, что интересъ этотъ оскудѣлъ въ самихъ художникахъ. Но чудный, истинно чудный мальчикъ г. Богданова-Бѣльскаго свидѣтельствуетъ, что этотъ интересъ оскудѣлъ въ самой жизни, ибо и онъ, вдумчивый и пылкій, передъ кѣмъ вся жизнь впереди, мечтаетъ объ иночествѣ, одиночествѣ. Для меня

это было центральнымъ впечатлѣніемъ, вѣрнѣе, стало такимъ, когда, посѣтивъ выставку во второй разъ, я попытался сгруппировать разрозненныя впечатлѣнія. Около «Будущаго инока», какъ около центра, располагается все вышеприведенное: сначала отрокъ Варѳоломей г. Нестерова и «Вдали отъ міра» г. Мясоѣдова, потомъ цѣлый рядъ одинокихъ—отъ Ифигеніи г. Васнецова до «Барышни» г. Клодта, потомъ намеки на одиночество въ картинахъ гг. Иванова, Савицкаго, Матвѣева, потомъ цѣлыя группы людей, не складывающихся въ общество, потомъ пейзажи, потомъ отрицательныя черты, въ родѣ отсутствія исторической живописи и портретовъ общественныхъ дѣятелей.

Остается еще сказать о картинѣ г. Ге «Что есть истина?», возбуждающей особенно много толковъ. Ее или непомѣрно хвалятъ, или непомѣрно бранятъ. Одновременность этихъ двухъ непомѣрностей свидѣтельствуетъ, что картина во всякомъ случаѣ замѣчательна. И дѣйствительно, это—большое и смѣлое произведеніе, хотя я долженъ признаться, что для меня она не совсѣмъ ясна. Я именно потому и поставилъ ее отдѣльно отъ прочихъ, что не умѣю ее вдвинуть въ то общее впечатлѣніе, которое вынесъ съ выставки Можетъ быть я и ошибаюсь, конечно, но, по-моему, выставка въ цѣломъ правдиво отражаетъ оскудѣніе нашей общественной жизни, и великое ей спасибо за эту правдивость. Но роль искусства можетъ не ограничиваться такимъ выясненіемъ дѣйствительности, какъ она есть. Искусство можетъ занять руководящее положеніе, и кажется мнѣ, что, по замыслу, картина г. Ге принадлежитъ къ такимъ руководящимъ произведеніямъ; по замыслу но, къ сожалѣнію, не по исполненію. Впрочемъ, тутъ есть, смягчающія обстоятельства. Картина изображаетъ Христа передъ Пилатомъ. Ихъ только двое на большомъ полотнѣ. Христосъ стоитъ со связанными назади руками. Передъ тѣмъ, какъ повѣствуетъ евангеліе, «воины и тысяченачальники и служители іудейскіе взяли Іисуса и связали Его»; у первосвященника одинъ изъ служителей ударилъ Его по щекѣ, Его всю ночь водили отъ одного начальства къ другому и наконецъ привели уже утромъ къ Пилату. Въ концѣ короткаго и отнюдь не строгаго допроса, когда Христосъ сказалъ, что Онъ «на то пришелъ въ міръ. чтобы свидѣтельствовать объ истинѣ», Пилатъ сказалъ Ему: «что есть истина? И, сказавъ сіе, опять вышелъ къ іудеямъ и сказалъ имъ: я никакой вины не нахожу въ немъ». Сцену эту г. Ге понялъ совершенно оригинально и притомъ очень вѣрно. Пилатъ, добродушный, скептическій и мало интересующійся іудейскими дѣлами римлянинъ съ жирнымъ лицомъ и жирной шеей, но съ изнѣженными, худыми, почти женскими руками, задаетъ свой вопросъ совсѣмъ не затѣмъ, чтобы получить отвѣтъ. Это даже не вопросъ, потому что задавъ его, Пилатъ сейчасъ же уходитъ; онъ и стоитъ на картинѣ г. Ге въ полоборота къ выходнымъ дверямъ. Онъ говоритъ: «что есть истина?», добродушно-скептически улыбаясь, съ нѣкоторымъ насмѣшливымъ презрѣніемъ можетъ быть къ этому измученному человѣку, оборванному и нечесанному, которому, дескать, совсѣмъ не къ лицу заниматься вопросомъ объ истинѣ, а можетъ быть и къ самому этому вопросу. Я не помню, чтобы кто-нибудь на полотнѣ или въ печати такъ трактовалъ вопросъ Пилата, и всѣ обычныя наши представленія объ этомъ моментѣ сводятся къ тому, что Пилатъ задалъ свой вопросъ глубокомысленно, философически. Но когда посмотришь на картину г. Ге, то поймешь, что это представленіе отнюдь не вяжется съ образомъ Пилата, какъ онъ рисуется всѣмъ евангельскимъ повѣствованіемъ. Онъ долженъ былъ именно такъ, на ходу, съ насмѣшкой бросить свое «что есть истина?» Но къ этому новому, необычному пониманію не сразу привыкнешь, такъ что нѣкоторое время стоишь передъ Пилатомъ въ недоумѣніи. При томъ же Пилатъ написанъ, повидимому, въ разсчетѣ, что на него надо смотрѣть съ довольно отдаленнаго разстоянія, а нынѣшнее помѣщеніе выставки очень тѣсно и на картину приходится смотрѣть очень близко. Вся фигура Пилата въ бѣлой тогѣ облита яркой полосой свѣта, не задѣвающей Христа, который стоитъ въ полутѣни. При этомъ слишкомъ ослѣпительномъ свѣтѣ и на близкомъ разстояніи, напримѣръ, складка на шеѣ Пилата кажется какимъ-то невозможнымъ рубцомъ, а волосы на затылкѣ невозможно красными. Все это разбиваетъ впечатлѣніе и затемняетъ достоинство оригинальнаго замысла. Іисусъ, напротивъ, написанъ превосходно, но я не понимаю, почему это Іисусъ. Дѣло не въ излишнемъ реализмѣ, за который и прежде укоряли г. Ге, а теперь укоряютъ и будутъ укорять еще больше. Понятно, что у страдальца, измученнаго, избитаго, не можетъ быть той тщательной прически à la Jesus, какую ему придаютъ иногда даже незаурядные художники. Пусть Христосъ будетъ изображенъ еще реальнѣе, если это возможно, но если г. Ге ссылается на евангеліе (Іоан. XVIII, 38), то я, естественно, хочу видѣть въ Христѣ Христа, то есть тѣ черты, которыя Ему усвоиваетъ евангеліе. За Христомъ шли ученики, толпы народа,

а въ Христѣ г. Ге нѣтъ ничего отъ вождя. Христосъ былъ проповѣдникомъ любви, кротости, всепрощенія,— я не вижу этихъ чертъ на картинѣ г. Ге. Можетъ быть, въ лицѣ Іисуса надо читать презрѣніе къ этому веселому и легкомысленному Пилату, и тогда мы имѣемъ столкновеніе двухъ презрѣній, но я отнюдь въ этомъ не убѣжденъ. Можетъ быть, въ остромъ, я бы сказалъ, колючемъ, сосредоточенномъ почти до отсутствія мысли взглядѣ Христа, въ его сжатыхъ губахъ, въ его спокойной позѣ выражается готовность страдать и умереть за правое дѣло; такая готовность, что не объ чемъ и думать. Я не знаю.

IX.

О Крейцеровой сонатѣ.

Мнѣ пришлось недавно слышать слѣдующій разговоръ. Нѣкоторое благотворительное учрежденіе пожелало дать въ пользу своихъ благотворимыхъ концертъ. Дама, взявшая на себя это дѣло, бесѣдовала съ профессіональнымъ коммиссіонеромъ по части устройства концертовъ. Она предоставляла ему, какъ опытному и свѣдущему человѣку, всю организацію концерта, выборъ пьесъ и исполнителей, съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы непремѣнно была сыграна Крейцерова соната и чтобы названіе это было напечатано на афишѣ особо крупными буквами. Нѣмецъ-коммиссіонеръ выразилъ полную готовность исполнить порученіе; aber, gnädige Frau, прибавилъ онъ, почтительно - скептически улыбаясь, я не думаю. чтобы Крейцерова соната привлекла особенно много публики и не совсѣмъ понимаю, зачѣмъ вы хотите печатать на афишѣ ея заглавіе крупнымъ шрифтомъ. Дама разъяснила нѣмцу, что его сомнѣнія сами по себѣ совершенно основательны, но что der berühmte russische Schriftsteller Graf Tolstoi написалъ повѣсть подъ названіемъ «Крейцерова соната», о которой такъ много говорятъ, что соната навѣрное сдѣлаетъ сборъ. Нѣмецъ, очевидно, вполнѣ беззаботный насчетъ русской литературы, сказалъ, что это дѣло другое. Я не знаю, состоялась ли эта спекуляція и имѣла ли успѣхъ, если состоялась. Но говорятъ, что Крейцерова соната, т. е. собственно соната Бетховена, посвященная Крейцеру, усиленно покупается въ Петербургѣ, и это на первыхъ порахъ немало изумляло торговцевъ нотами.

Такова магическая сила таланта и даже можетъ быть одного имени гр. Толстого. Его «Крейцерова соната», еще не напечатанная, ходитъ по рукамъ въ многочисленныхъ спискахъ, усердно читается, вызываетъ нескончаемые толки и споры и неожиданнымъ образомъ отражается даже на торговлѣ нотами. Это въ самомъ дѣлѣ неожиданно. Хотя разсказъ гр. Толстого и озаглавленъ «Крейцерова соната», но самая соната отнюдь не играетъ въ немъ, такъ сказать, заглавной роли. Два человѣка, мужчина и женщина, онъ на скрипкѣ, она на рояли, играли вмѣстѣ, въ числѣ другихъ пьесъ, Крейцерову сонату, и послѣ этого случилось нѣчто такое, что, по самому ходу всего дѣла и по прямымъ указаніямъ разсказа, непремѣнно должно было рано или поздно случиться, хотя бы Крейцеровой сонаты и въ поминѣ не было. Если же и признать, что Крейцерова соната дала, хотя-бы только случайно, толчокъ событіямъ, разсказаннымъ въ повѣсти, то изъ этого обстоятельства отнюдь всетаки не слѣдуетъ, чтобы надо было сейчасъ же бѣжать въ магазинъ за нотами. Даже совсѣмъ напротивъ. Въ разсказѣ есть, правда, очень любопытное и остроумное разсужденіе о музыкѣ вообще и о Крейцеровой сонатѣ въ частности, но практическая, учительная сторона этого разсужденія сводится къ тому, что такія вещи слѣдуетъ играть только при особенныхъ, значительныхъ обстоятельствахъ, а отнюдь не при обыкновенныхъ условіяхъ салоннаго и концертнаго исполненія. И если послѣ этого любители и любительницы музыки стали осаждать музыкальные магазины требованіями Крейцеровой сонаты, то это представляется мнѣ не только неожиданнымъ, а даже какъ будто немножко обиднымъ для нашего знаменитаго писателя. И во всякомъ случаѣ это свидѣтельствуетъ, мнѣ кажется, по крайней мѣрѣ о томъ, что интересъ читателей къ произведеніямъ гр. Толстого далеко превосходитъ ихъ желаніе слѣдовать его совѣтамъ или указаніямъ. Ни для кого, впрочемъ, не тайна, что читателей у гр. Толстого несравненно больше, чѣмъ послѣдователей.

Трудно писать о произведеніи, котораго нѣтъ у читателей подъ руками, и которое, можетъ быть, претерпитъ еще какія-нибудь, хотя, конечно, только второстепенныя измѣненія въ печати. Тѣмъ не менѣе «Крейцерова соната», какъ и нѣкоторыя прежнія произведенія гр. Толстого, стала уже до напечатанія общественнымъ достояніемъ. О ней говорятъ, спорятъ, и въ нѣкоторыхъ газетахъ появились уже отчеты о ней: дескать, мы присутствовали при чтеніи «Крейцеровой сонаты» и вотъ что по этому случаю думаемъ. Я тоже присутствовалъ, тоже думалъ и тоже хочу разсказать, что я думалъ. Полагаю, что имѣю на это право, потому что лишить меня его могъ бы только самъ гр. Толстой, а онъ никогда не протестовалъ

противъ печатнаго обсужденія его произведеній до ихъ напечатанія, какъ не протестуетъ и противъ появленія ихъ въ спискахъ. Конечно, это не будетъ критическая статья, а только отчетъ о впечатлѣніи.

Разсказъ ведется въ «Крейцеровой сонатѣ» отъ имени нѣкоего Позднышева, убившаго жену въ припадкѣ ревности и оправданнаго судомъ въ виду того душевнаго состоянія, въ которомъ онъ находился въ моментъ убійства, и вообще въ виду обстоятельствъ дѣла. Позднышевъ не только разсказываетъ факты, а и развиваетъ извѣстные взгляды на положеніе женщинъ, бракъ, семейную жизнь. Нѣкоторые изъ этихъ взглядовъ напоминаютъ взгляды самого гр. Толстого, имъ раньше высказанные. То-же нужно сказать и о манерѣ изложенія Позднышева. Такъ, напримѣръ, гр. Толстой часто прибѣгаетъ въ своихъ теоретическихъ статьяхъ къ довольно произвольнымъ, но имѣющимъ видъ математической точности показаніямъ такого рода: 99% человѣчества думаютъ такъ-то или такъ-то, 0,01 такого-то расхода удовлетворила бы такую-то общественную потребность, и т. п. Позднышевъ употребляетъ этотъ пріемъ quasi-математическаго разсчета постоянно. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы мы имѣли право такъ-таки прямо всѣ мысли и чувства Позднышева приписывать гр Толстому, хотябы уже потому, что вѣдь Позднышевъ убилъ жену и говоритъ, все время потрясаемый этимъ воспоминаніемъ. Трудно, конечно, будетъ убѣдить публику, что Позднышевъ самъ по себѣ, а гр. Толстой тоже совсѣмъ самъ по себѣ. И въ этомъ, кромѣ нѣкотораго совпаденія мнѣній и пріемовъ, въ значительной степени виновата самая архитектура разсказа. Поневолѣ думается, что еслибы авторъ имѣлъ въ виду только нарисовать художественный образъ Позднышева, не принимая на себя никакой отвѣтственности за его взгляды и теоріи, то онъ не далъ бы ему такъ много говорить объ этихъ своихъ теоріяхъ и взглядахъ. Люди случайно, въ первый и, можетъ быть, въ послѣдній разъ въ жизни сталкиваются на желѣзной дорогѣ и одинъ изъ нихъ, Позднышевъ, разсказываетъ всю свою жизнь; разсказываетъ пространно, подробно, съ разными экскурсіями въ область общественной и нравственной философіи. Конечно, это не художественный пріемъ, и если къ нему прибѣгаетъ не какой-нибудь новичокъ или слабый талантъ, а такой мастеръ, какъ гр. Толстой, то позволительно думать, что художественность для него послѣднее дѣло, а на первомъ мѣстѣ стоитъ публицистика. Съ другой стороны, однако, нельзя же усвоивать гр. Толстому всѣ мнѣнія человѣка, находящагося въ такомъ исключительномъ положеніи, какъ Позднышевъ. Вѣдь Позднышевъ убійца и, по собственному своему показанію, развратникъ! Можно жалѣть, что гр. Толстой поставилъ насъ, читателей, въ такое нерѣшительное, двусмысленное положеніе, но лучше всетаки, во избѣжаніе вящшихъ недоразумѣній, видѣть въ исповѣди Позднышева именно только его исповѣдь, а гр. Толстому не вмѣнять ее ни въ заслугу, ни въ порицаніе. «Крейцерова соната» есть во всякомъ случаѣ художественное произведеніе, а Позднышевъ—художественный образъ. Въ какой мѣрѣ авторъ вложилъ ему въ уста свои собственныя убѣжденія и въ какой мѣрѣ эти убѣжденія видоизмѣняются тѣмъ особеннымъ положеніемъ, въ которое Позднышевъ поставленъ фабулой повѣсти, объ этомъ можно только догадываться. А съ догадками такъ легко попасть впросакъ, что лучше и не покушаться на нихъ. Будемъ смотрѣть на «Крейцерову сонату» не какъ на замаскированную публицистику, хотя это и соблазнительно, а исключительно какъ на художественное произведеніе.

Оно-же и пріятно. Мы такъ давно уже ждемъ, чтобы гр. Толстой отдохнулъ отъ публицистики и вновь возвратился къ тому поприщу, на которомъ онъ во-истину великій мастеръ. Очевидно, творческая сила не изсякла въ нашемъ несравненномъ художникѣ и требуетъ себѣ работы. Можетъ быть, «Крейцерова соната» есть задатокъ возрожденія художественной дѣятельности, чѣмъ и объясняется его двойственный, какъ-бы переходный характеръ. Можетъ быть, намъ предстоитъ получить отъ автора «Войны и мира» еще много истинно прекрасныхъ произведеній Будемъ вѣрить и ждать. Тургеневъ, умирая, писалъ гр. Толстому: «Выздоровѣть я не могу, и думать объ этомъ нечего. Пишу-же я вамъ собственно, чтобы сказать вамъ, какъ я былъ радъ быть вашимъ современникомъ, и чтобы выразить вамъ мою послѣднюю, искреннюю просьбу. Другъ мой, вернитесь къ литературной дѣятельности! Вѣдь этотъ даръ вашъ оттуда, откуда все другое. Ахъ, какъ я былъ бы счастливъ, еслибы могъ подумать, что просьба моя такъ на васъ подѣйствуетъ!.. Другъ мой, великій писатель русской земли,—внемлите моей просьбѣ!» Эти предсмертныя строки, послѣднія, написанныя Тургеневымъ, при всей своей исключительной трогательности, выражаютъ задушевную мысль огромнаго большинства русскихъ писателей.

«Крейцерова соната» начинается маленькой прелюдіей. Двумя-тремя штрихами намѣчаются необыкновенно живые портреты нѣсколькихъ человѣкъ, ѣдущихъ по желѣзной дорогѣ въ одномъ вагонѣ. Тутъ есть адвокатъ, старый купецъ, молодой приказчикъ,

дама, что называется, изъ образованныхъ и какой-то нервный человѣкъ, который оказывается потомъ Позднышевымъ. Въ интересахъ нижеслѣдующаго, мы остановимся на минуту на фигурѣ стараго купца. Онъ разсказываетъ приказчику про свои кутежи на Нижегородской ярмаркѣ, а потомъ, когда, уже въ присутствіи дамы, завязывается общій разговоръ о любви, бракѣ, разводѣ и т. п., выражаетъ самыя суровыя мнѣнія, что, дескать, жена должна быть непреоборимо вѣрна своему супружескому долгу и что ее надо держать въ страхѣ. «А самимъ въ Кунавинѣ съ красотками кутить можно?»—спрашиваетъ адвокатъ. Купецъ строго отвѣчаетъ:—«это статья особая». Тотчасъ послѣ этой краткой отповѣди онъ выходитъ изъ вагона, и приказчикъ выражается о немъ такъ: «стараго завѣта папаша», а дама находитъ, что онъ «живой Домострой». И вслѣдъ за тѣмъ ввязывается въ разговоръ Позднышевъ.

Вся сцена въ вагонѣ очень мила и характерна, но дѣло не въ ней, конечно, не въ этой, сдѣланной рукой мастера, мелочи. Захватывающій интересъ повѣсти развертывается постепенно вмѣстѣ съ разсказомъ Позднышева. Почему-то Позднышевъ пожелалъ разсказать всю свою исторію совершенно незнакомому человѣку и разсказываетъ ее въ теченіе двухъ-трехъ часовъ подъ-рядъ, прерываемый лишь короткими, въ нѣсколько словъ, репликами автора. Но разъ вы примирились съ этою наглядною несообразностью,—а отчего бы съ ней не примириться?—вы попадаете во власть нѣкотораго «мага и волшебника». Сначала вы немножно и даже, можетъ быть, не немножко досадуете на ту смѣсь правды и вздора, которая господствуетъ въ теоретическихъ взглядахъ Позднышева, но затѣмъ, подчиняясь силѣ художественнаго творчества, вы съ неустанно растущимъ интересомъ слѣдите за развертывающеюся передъ вами драмою и подъ конецъ почти забываете свою первоначальную досаду. Все,—и правда, и вздоръ,—укладывается на свое мѣсто въ художественномъ образѣ Позднышева и получается нѣчто цѣльное и яркое. Такъ, такъ, вѣрно,—говорите вы себѣ: Позднышевъ именно такъ долженъ былъ дѣйствовать и разсуждать.

Позднышевъ—убійца. Но это случайность, которой въ его жизни могло и не быть, ибо онъ вовсе не кровожадный человѣкъ. Но онъ развратникъ, и въ этомъ состоитъ его коренная, всеопредѣляющая черта. Онъ прямо самъ себя такъ называетъ, и такимъ именно является онъ въ воспроизведеніи гр. Толстого. Едва ли найдется въ нашей литературѣ такое тонкое и глубокое изображеніе одного изъ типовъ развратной души, какое дано «Крейцеровой сонатой». Это не значитъ, чтобы Позднышевъ совершалъ поступки во вкусѣ французскихъ порнографовъ. Напротивъ, въ вульгарномъ смыслѣ слова онъ, пожалуй, и не очень развратенъ. Но развратникъ, настоящій развратникъ еще не тотъ, кто живетъ развратно, то есть совершаетъ развратные поступки; или по крайней мѣрѣ есть иной, высшій, въ превосходной степени развратъ. Настоящій развратникъ тотъ, кто душу свою въ развратъ кладетъ, и это можетъ быть сдѣлано въ разныхъ формахъ. Нѣкоторыя изъ нихъ, болѣзненно рѣзкія, намѣтилъ мрачный геній Достоевскаго. Форма развратной души (если можно такъ выразиться), выбранная гр. Толстымъ дли Позднышева, гораздо мягче, трезвѣе; поэтому и въ рѣчахъ и поступкахъ его не сплошная извращенность какъ у какого-нибудь Ѳедора Карамазова, а есть, напротивъ, много правды, много такого, съ чѣмъ долженъ согласиться даже самый чистый человѣкъ. Безусловно справедливы, напримѣръ, сѣтованія Позднышева о тѣхъ развращающихъ условіяхъ, при которыхъ въ нашемъ быту, въ большинствѣ случаевъ, происходитъ первое сближеніе молодого человѣка съ женщиной. Столь же справедливы его негодующія указанія на ту сторону положенія нынѣшней дѣвушки, которая дѣлаетъ изъ нея чуть-что не рабу, выводимую на рынокъ для продажи, или по крайней мѣрѣ ловительницу жениховъ. Вообще много вѣрнаго, остроумнаго, справедливаго, а поскольку Позднышевъ разсказываетъ свою личную судьбу, то и высоко-художественнаго.

Позднышевъ никогда не зналъ любви въ человѣческомъ, гуманномъ и гуманизирующемъ смыслѣ этого слова. До брака онъ сближался съ женщинами за деньги, женился, собственно говоря, не любя, а просто подвернулась молодая, красивая, съ красивыми локонами и въ ловко обтянутомъ платьѣ ловительница жениховъ. Она была вовсе не дурная женщина и не то, чтобы сознательно ловила жениха а такъ ужъ ея жизнь сложилась въ этомъ единственно возможномъ для нея направленіи. Любви она тоже не знала. Такъ называемый медовый мѣсяцъ они провели необыкновенно скучно,—имъ на другой же день послѣ свадьбы оказалось буквально не о чемъ говорить.—Жизнь пошла своимъ чередомъ. Онъ занимался своимъ дѣломъ (земецъ онъ былъ), она—своимъ хозяйствомъ, потомъ дѣтьми. Они все оставались чужими другъ другу и даже презирали: онъ—ея занятія, она его дѣло. Ссоры, бурныя сцены, повидимому, безпричинныя, но неизмѣнно слѣдовавшія за пароксизмами

того, что они называли любовью, то-есть за взрывами животнаго чувства. Затѣмъ ревность, опять-таки, повидимому, безпричинная, неосновательная. Тутъ подвернулся смазливый скрипачъ, который сыгралъ съ женой Позднышева Крейцерову сонату, а впрочемъ, и другія музыкальныя пьесы. Ревность въ Позднышевѣ заклокотала еще пуще и въ одинъ изъ припадковъ ея онъ убилъ жену.

Сцена убійства, предшествовавшія ей обстоятельства, сцены ревности и безпричинныхъ ссоръ разсказаны такъ, какъ это можетъ сдѣлать только гр. Толстой. Что же касается Позднышева, то независимо отъ художественности разсказа, вложеннаго въ его уста авторомъ, онъ хорошо понимаетъ истинную причину своихъ несчастій Вся бѣда въ томъ, что его и жену связывало исключительно одно только животное чувство. Всѣ перипетіи драмы, за которою увлеченный художникомъ читатель слѣдитъ съ такимъ напряженнымъ вниманіемъ, вытекаютъ изъ этого основного, простого и увы! столь обыкновеннаго факта. Понятно, что если между людьми нѣтъ иной связи, кромѣ животной, такъ имъ и на другой день послѣ свадьбы говорить не о чемъ. Понятно или по крайней мѣрѣ становится понятнымъ по прочтеніи «Крейцеровой сонаты», что, послѣ утоленія чувственности, люди совершенно другъ другу чужіе, другъ друга непонимающіе и даже презирающіе и, однако, чѣмъ-то неразрывно связанные, должны враждовать между собою даже безъ видимыхъ причинъ. По выраженію Позднышева, это взаимное озлобленіе есть протестъ человѣческой природы противъ животнаго, которое подавляетъ ее. Понятна и фактически неосновательная ревность: люди, цѣнившіе другъ въ другѣ только одно животное наслажденіе, знаютъ, что ни для той, ни для другой стороны нѣтъ никакихъ причинъ воздержаться отъ этого наслажденія и при иной обстановкѣ, и точно также безъ всякаго одухотворенія. Все это, повторяю, Позднышевъ отлично понимаетъ и еслибы этимъ ограничивалась его исповѣдь, то мы имѣли бы не только выдающееся художественное произведеніе, а и глубоко вѣрное поученіе, само собою вытекающее изъ сопоставленія фактовъ и въ нихъ, въ этихъ фактахъ, имѣющее свои ясно обозначенные предѣлы.

Позднышевъ не знаетъ этихъ предѣловъ, потому что онъ развратникъ, настоящій развратникъ, то есть человѣкъ, не столько живущій развратно, сколько душу свою въ развратъ положившій. Правда, онъ тяготился своими семейными отношеніями и вспоминаетъ о нихъ съ отвращеніемъ, справедливо видя въ нихъ развратъ, хотя и происходящій на законно-брачной почвѣ. Но мысль его до такой степени плѣнена этими развратными отношеніями, что иного порядка вещей онъ себѣ и представить не можетъ. Такъ, напримѣръ, ему кажется, что Крейцерова соната и вообще музыка, сблизивъ его жену со скрипачемъ, играла извѣстную роль въ его несчастьи. Допустимъ, что это такъ. Но Позднышевъ по этому случаю вспоминаетъ, что «въ Китаѣ музыка—государственное дѣло и это такъ и должно быть», потому что музыка гипнотизируетъ людей и отдаетъ ихъ во власть музыканта. Развѣ, говоритъ онъ, можно играть Крейцерову сонату въ салонѣ при декольтированныхъ дамахъ? Замѣтьте, что Позднышевъ, повидимому, настояще любитъ музыку, и однако, судя по своей развратной душѣ, видитъ опасность въ сопоставленіи музыки и дамскаго декольте и готовъ даже призвать государство на защиту добрыхъ нравовъ. Самъ онъ безсиленъ противъ соблазна и полагаетъ всѣхъ прочихъ людей таковыми-же. Позднышевъ чрезвычайно презрительно относится къ женскому образованію,—«гимназіямъ, акушерству, медицинскимъ и высшимъ курсамъ». По его мнѣнію, «всякія, какія бы то ни было, женскія воспитанія имѣютъ въ виду только плѣненіе мужчинъ. Однѣ плѣняютъ музыкой и локонами, а другія—ученостью и гражданской доблестью. Цѣль-то одна и не можетъ быть не одна, потому что другой нѣтъ, цѣль—прельсить мужчину, чтобы овладѣть имъ». Всякій, я думаю, знаетъ или по крайней мѣрѣ легко можетъ себѣ представить случаи, когда дѣвушка принимается учиться именно за тѣмъ, чтобы имѣть свой кусокъ хлѣба и не быть вынужденной ловить жениховъ. Далѣе всякій понимаетъ, что знаніе, образованность сами по себѣ достаточно привлекательны, чтобы служить цѣлью, даже безъ всякихъ утилитарныхъ соображеній. Въ самомъ дѣлѣ, это вѣдь, кажется, не Богъ знаетъ какая идеализація человѣческой природы вообще и женской—въ частности. Но Позднышевъ не можетъ и до такой нехитрой штуки возвыситься, его развратная душа вездѣ видитъ только свое собственное отраженіе: знаемъ, дескать, мы эти курсы да акушерства! Курсы курсы, а сама вонъ куда глядитъ...

Самъ Позднышевъ, дѣйствительно, всю свою жизнь вонъ куда глядитъ. Эта складка такимъ страшно тяжелымъ горемъ отозвалась на его личной судьбѣ и столько мученій доставила ему еще до катастрофы, что онъ не можетъ не проклинать ее. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она пустила въ немъ такіе корни, что иначе, какъ подъ ея руководствомъ, онъ не можетъ смотрѣть на весь

Божій міръ. Положеніе трагическое, безвыходное. И не мудрено, что разрываемый проникающимъ его душу внутреннимъ противорѣчіемъ, Позднышевъ совсѣмъ запутывается въ мысляхъ своихъ. Онъ утверждаетъ наконецъ, что плотская любовь «неестественная». Легко, конечно, этакую штуку сказать, но и помыслить, кажется, нельзя подтвердить ее доказательствами. Однако, Позднышевъ подтверждаетъ. Во-первыхъ, «вѣдь не даромъ же природа сдѣлала то, что это мерзко и стыдно; а если мерзко и стыдно, то такъ и надо понимать». Крайняя спутанность мысли бросается здѣсь въ глаза, потому что кто же, какъ не та же природа, устроило «это»? а значитъ, это естественно, а если естественно, то такъ и понимать надо. Но у Позднышева есть и еще доказательство, фактическое. У него была сестра, которая еще очень молодой дѣвушкой вышла замужъ «за человѣка вдвое старше ея и развратника». Въ ночь послѣ свадьбы молодая убѣжала отъ него, блѣдная, въ слезахъ... Отсюда Позднышевъ заключаетъ, что «это» неестественно. Но всякій, у кого логическая способность не отуманена, какъ у Позднышева, долженъ вывести изъ этого эпизода только то заключеніе, что не годится молодымъ дѣвушкамъ выходить за старыхъ развратниковъ.

Убѣдившись этими странными доказательствами, что плотская любовь не естественная, Позднышевъ дѣлаетъ такое заключеніе: «И это убѣдился я, испорченный, развращенный человѣкъ: что же бы было, еслибы я не былъ развращенный человѣкъ?» Странный вопросъ! что-бы было? да то и было бы, что ничего разсказаннаго въ «Крейцеровой сонатѣ» не было бы. По чрезвычайно точному и вѣрному опредѣленію Позднышева, развратъ въ дѣлѣ любви состоитъ въ «освобожденіи себя отъ нравственныхъ отношеній къ женщинѣ, съ которою входишь въ физическое общеніе». Надо бы только распространить это опредѣленіе и на отношенія женщины къ мужчинѣ. И затѣмъ является вопросъ: можно или нельзя, входя въ физическое общеніе, не освобождать себя отъ нравственныхъ отношеній? Неразвращенный человѣкъ, полагаю, скажетъ: можно. Позднышевъ, какъ человѣкъ развратный, говоритъ: нельзя. И, по спутанности своихъ мыслей, предлагаетъ другую невозможность,—отказаться отъ плотской любви совсѣмъ. Онъ не отступаетъ при этомъ и отъ прекращенія рода человѣческаго: эка, говоритъ, штука,—ну и пусть прекратится, лишьбы не было тѣхъ мученій и несчастій, которыя онъ, Позднышевъ, отъ своей развращенности претерпѣлъ. Обжегшись на своемъ молокѣ, Позднышевъ на чужую воду дуетъ, да еще на какую воду то,—на цѣлый океанъ. Предпріятіе это вполнѣ безумно, и Позднышевъ самъ долженъ понимать, что это празднословіе. Кто-то сказалъ, что мы не до такой степени нравственны и не до такой степени безнравственны, чтобы ходить нагишомъ. Положимъ, что многія причины заставляютъ насъ носить платье, но пусть даже всѣ онѣ сводятся къ нашей безнравственности. Изъ этого всетаки нельзя вывести заключеніе, что нехорошо или даже неестественно имѣть тѣло, которое мы прикрываемъ платьемъ. Какъ такъ неестественно, когда эта наша природа, наше естество? Природа, видите ли, неестественна, а г. Позднышевъ, самъ себя справедливо называющій развратникомъ, будетъ учить природу естественности! Еслибы Позднышевъ не былъ настоящимъ, глубокимъ развратникомъ, онъ поставилъ бы свой печальный опытъ въ извѣстные предѣлы и сказалъ бы; мнѣ и моей женѣ не удалось испытать настоящую любовь, мы знали только голую, обнаженную животную любовь; извлеките-же изъ нашей судьбы урокъ, старайтесь, всемѣрно старайтесь не о томъ, чтобы въ корень подкосить естественное чувство животной любви,—это невозможно не ненужно,—а о томъ, чтобы любовь не оставалась на этой низшей ступени, чтобы она не оставалась голою; старайтесь, чтобы мужчины и женщины имѣли какъ можно больше общихъ духовныхъ интересовъ, дабы въ этомъ единеніи освятилось и одухотворилось животное чувство; поэтому, между прочимъ, не слушайте тѣхъ развратниковъ, которые говорятъ: курсы, курсы, а сама вонъ куда глядитъ! Неправда это, ибо хотя человѣкъ есть, несомнѣнно, животное, и противъ этого ничего подѣлать нельзя, но онъ не только животное.

Къ счастію или къ несчастію, Позднышевъ не только развратникъ, а кромѣ того еще и непослѣдовательный человѣкъ. Онъ обобщаетъ свой горькій личный опытъ до того, что вездѣ видитъ отраженіе своей развратной души и, оскорбленный этою картиною всеобщаго разврата, согласенъ даже на прекращеніе рода человѣческаго. Но у него же можно встрѣтить и еще вотъ какое разсужденіе: «Въ старину—вошла въ возрастъ дѣвка, ея родители, знающіе больше жизнь не увлекающіеся влюбленіемъ минутнымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ любящіе ее не меньше себя,—родители устраивали бракъ. Такъ дѣлалось, дѣлается во всемъ человѣчествѣ, у китайцевъ, индѣйцевъ, магометанъ, у насъ въ народѣ, такъ дѣлается въ родѣ человѣческомъ, по крайней мѣрѣ, въ 0,99 его части. Только 0,01 или меньше, насъ, распутниковъ, нашли, что это нехорошо, и выдумали новое». Прекрасно. Значитъ, распутниковъ-то всего 0,01 «или меньше». И

изъ-за этого-то ничтожества всѣмъ отъ любви отказываться? Опомнитесь, гг. Позднышевы, очень вы уже высокую цѣну себѣ даете!—Другой примѣръ. Позднышевъ говоритъ: «Вѣдь, вы поймите, что если женятся по Домострою, какъ говорилъ этотъ старикъ, то пуховики, приданое, постель—все это подробности освященнаго таинства», а нынѣшній, дескать, бракъ лишенъ этого характера и есть просто мерзость. Я отнюдь не буду стоять за нынѣшній бракъ, но вотъ есть-же, стало-быть, и такія формы брака—«по Домострою», которыя удовлетворяютъ Позднышева. Только вотъ въ чемъ бѣда. Я въ самомъ началѣ обратилъ вниманіе читателей на фигуру стараго купца, котораго его случайная спутница назвала «живымъ Домостроемъ». Этотъ Домострой, дѣйствительно, какъ мы видѣли, говорилъ о священномъ характерѣ брака, объ обязательной вѣрности жены супружескому долгу, о необходимости держать ее въ страхѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, онъ разрѣшалъ себѣ кутить съ красотками въ Кунавинѣ, на томъ основаніи, что «это статья особая». Неужели это въ самомъ дѣлѣ удовлетворяетъ нравственное чувство Позднышева, и не есть-ли онъ въ такомъ разѣ не только развратникъ и непослѣдовательный человѣкъ, а кромѣ того еще и лицемѣръ?

Одно, мнѣ кажется, совершенно ясно вытекаетъ изъ предъидущаго, а именно, что никоимъ образомъ нельзя усвоивать гр. Толстому всѣ мнѣнія Позднышева. Если же гр. Толстой, всегда склонный нѣсколько озадачивать читателей, вложилъ Позднышеву нѣкоторыя собственныя мысли, то надо распредѣлить содержаніе «Крейцеровой сонаты» такъ: все доброе и умное принадлежитъ въ ней нашему знаменитому писателю, а все злое, развратное, глупое—Позднышеву. И намъ остается только благодарить гр. Толстого за тонкое и глубокое воспроизведеніе оригинальнаго типа развратника. Будемъ же надѣяться, что «Крейцерова соната» есть задатокъ возрожденія художественной дѣятельности гр. Толстого.

X.

Объ отцахъ и дѣтяхъ и о г. Чеховѣ.

Между Н. В. Шелгуновымъ (въ Русской Мысли») и газетой «Недѣля» все еще тянется полемика, на которую я когда-то обратилъ вниманіе читателей «Русскихъ Вѣдомостей». Изъ мартовской книжки «Русской мысли» я узналъ, что, по мнѣнію «Недѣли», изложенному почтенною газетою въ статьѣ «Отцы и дѣти нашего времени», полемика эта «является только однимъ изъ эпизодовъ въ тѣхъ безконечныхъ пререканіяхъ, которыя всегда ведутъ между собою отцы и дѣти». Дѣти—это «Недѣля»... Отъ «дѣтей» мы привыкли ждать молодости, свѣжести, силы, даже нѣкоторой бурности, а потому встрѣтить въ роли «дитя» почтеннаго редактора «Недѣли», г. Гайдебурова, какъ будто и неожиданно немножко. Приглядываясь, однако, къ «дѣтямъ», представляемымъ «Недѣлей», мы не найдемъ тутъ ничего страннаго или удивительнаго. Въ той-же мартовской книжкѣ «Русской Мысли» приведена слѣдующая выписка изъ статьи «Недѣли», громко озаглавленной («Недѣля» вообще любитъ громкія заглавія) «Новое литературное поколѣніе»: Новое поколѣніе (80-хъ годовъ) родилось скептикомъ, и идеалы отцовъ и дѣдовъ оказались надъ нимъ безсильными. Оно не чувствуетъ ненависти и презрѣнія къ обыденной человѣческой жизни, не признаетъ обязанности быть героемъ, не вѣритъ въ возможность идеальныхъ людей. Всѣ эти идеалы—сухія, логическія произведенія индивидуальной мысли, и для новаго поколѣнія осталась только дѣйствительность, въ которой ему суждено жить и которую оно потому и признало. Оно приняло свою судьбу спокойно и безропотно, оно прониклось сознаніемъ, что все въ жизни вытекаетъ изъ одного и того-же источника—природы, все являетъ собою одну и ту-же тайну бытія, и возращается къ пантеистическому міросозерцанію».

Таковы современныя «дѣти». Немудрено, что г. Гайдебуровъ, «родившійся», можетъ быть, и не «скептикомъ» и фигурирующій въ литературѣ лѣтъ 30 слишкомъ, находитъ себѣ мѣсто среди этихъ старообразныхъ дѣтей. Вообще, дѣло, очевидно, не въ возрастѣ, и это очень удобно. Какъ только вы увидѣли человѣка, для котораго «осталась только дѣйствительность» и который этимъ вполнѣ доволенъ, такъ и знайте что это «дитя», «новое поколѣніе». Странныя дѣти, можно сказать, небывалыя дѣти, но если они сами себя такъ называютъ, такъ и Господь съ ними. И я могу съ чистою совѣстью сказать: «О, дѣти, дѣти, какъ опасны ваши лѣта!» Хотя дѣло и не въ возрастѣ. Нынѣшнія дѣти, или собственно тѣ, которыя такъ сами себя называютъ въ «Недѣлѣ», не щеголяютъ обычными свойствами молодости; нѣтъ, они старше, солиднѣе своихъ отцовъ и дѣдовъ, а потому не стоятъ передъ ними и опасности, обычно грозящія молодости,—опасности страстнаго увлеченія, риска, горячей вѣры и надежды. Но та самоувѣренность, которая въ настоящей молодости является лишь естественнымъ показателемъ избытка силы, не искушенной

опытомъ, въ нихъ, въ этихъ современныхъ «дѣтяхъ», чревата иными опасностями. Полагая, что только и свѣта, что въ окошкѣ, гордо отрѣзывая себя отъ идеаловъ отцовъ и дѣдовъ, даже отъ всякихъ идеаловъ, вполнѣ довольствуясь «дѣйствительностью», эти люди обрекаютъ себя на жизнь тусклую изъ тусклыхъ. Они сознаютъ это и не боятся: имъ какъ разъ по плечу эта жизнь. Но въ прежнее время они въ этомъ не сознались бы публично, потому что, вѣдь, въ самомъ дѣлѣ стыдно, а нынѣ они заявляютъ свою тусклость всенародно. Они считаютъ себя солью земли, которой мѣшаетъ только какая-нибудь горсточка «отцовъ», оберегающихъ былые идеалы, а все остальное, дескать, съ ними, готово признать ихъ своими выразителями и вождями; они—«новое литературное поколѣніе»... По существу дѣла, это только смѣшно. Возражая «Недѣлѣ», г. Шелгуновъ справедливо говоритъ, что ссылка на тургеневскую формулу «отцовъ и дѣтей» не имѣетъ въ данномъ случаѣ никакого смысла. Современныя «дѣти», то есть опять-таки тѣ, которые сами себя такъ называютъ въ «Недѣлѣ», открещиваясь отъ идеаловъ отцовъ и дѣдовъ, не блистаютъ ни талантами, ни знаніями, ни оригинальностью физіономіи, ни даже численностью. Они представляютъ собою нѣчто въ родѣ тусклаго туманнаго пятна, расплывающагося въ общемъ фонѣ той апатіи, безсодержательности, того отсутствія всякаго присутствія, которое характеризуетъ теперешнее трудное время вообще. Они только вторятъ теченію реакціи противъ идеаловъ недавняго прошлаго, ничего новаго и положительнаго имъ не противопоставляя и не обладая двусмысленнымъ мужествомъ и послѣдовательностью открытыхъ реакціонеровъ. Но трудное время пройдетъ, потому что это именно только вопросъ труднаго времени, можетъ быть и долгаго, а можетъ быть совсѣмъ не долгаго; волна реакціи отхлынетъ, и я не поздравляю тѣхъ раковъ, которые останутся на мели. Вообще, эти «дѣти»—явленіе до такой степени мизерное, что, можетъ быть, г. Шелгуновъ дѣлаетъ даже ошибку, удѣляя имъ столько вниманія. Но отмѣтить его всетаки слѣдуетъ, и именно въ его связи съ общимъ настроеніемъ минуты.

«Для насъ существуетъ только дѣйствительность, въ которой намъ суждено жить»; «идеалы отцовъ и дѣдовъ надъ нами безсильны»,—эти подлежащія, сказуемыя, опредѣленія и дополненія можно встрѣтить не въ одной «Недѣлѣ», а и въ такихъ мѣстахъ, гдѣ отнюдь не гоняются за наименованіемъ «дѣтей». Это то-же самое «наше время не время широкихъ задачъ», которое когда-то громилъ и осмѣивалъ Щедринъ, какъ нѣчто постыдное, а нынѣ оно расползлось и осложнилось наклонностью къ оплеванію многаго изъ того, что еще недавно было общепризнано дорогимъ. Чѣмъ-же это дорогое замѣняется нынѣ?

Недавно я прочиталъ въ одной большой газетѣ неоднократное заявленіе, что «Островскій устарѣлъ». Извѣстіе это меня очень заинтересовало. Я полагалъ, что Островскій принадлежитъ къ числу писателей, которые не старѣютъ или по крайней мѣрѣ живутъ такъ долго, что объ ихъ устарѣлости можно говорить только въ томъ случаѣ, если на смѣну имъ явилось что-нибудь особенно яркое и крупное. Должно быть, подумалъ я, наша драматическая литература сдѣлала гигантскіе шаги послѣ Островскаго, и надо мнѣ съ этой литературой познакомиться. Но это оказалось дѣломъ не легкимъ. Драмы Островскаго, равно какъ и нѣкоторыхъ другихъ «отцовъ», какъ напримѣръ, Писемскаго, Потѣхина, печатались въ свое время въ журналахъ. Нынѣ этого нѣтъ совсѣмъ, и когда я, наконецъ, досталъ нѣсколько литографированныхъ драматическихъ произведеній, имѣвшихъ наибольшій успѣхъ въ прошлый театральный сезонъ, я понялъ, почему они литографированы, а не напечатаны въ журналахъ. Какъ ни далеко огошли наши теперешніе журналы отъ недавнихъ преданій, но это всетаки литература, а тѣ драматическія произведенія, которыя я прочиталъ, не имѣютъ ничего общаго съ литературой. Это истинно «дѣтскія» произведенія, и по формѣ, и по содержанію. Время, породившее эти малости, любующееся на нихъ (повторяю, я читалъ пьесы, имѣвшія наибольшій успѣхъ, то-есть чаще всего дававшіяся), можетъ считать себя несчастнымъ временемъ. И къ этому, какъ ко всякому сознанному несчастію, можно, даже должно отнестись съ сочувствіемъ. Какъ въ самомъ дѣлѣ не пожалѣть этихъ бѣдныхъ актеровъ, обреченныхъ изображать не живыхъ людей, а какихъ-то говорящихъ куколъ, и произносить рѣчи, либо совершенно безсмысленныя, либо наполненныя азбучною моралью; какъ не пожалѣть и зрителей и самихъ авторовъ, выступающихъ съ дѣтскими вещами? Но если при этомъ говорятъ, что «Островскій устарѣлъ», такъ ужъ это не сожалѣнія, а смѣха достойно.

Я хотѣлъ-было предложить вамъ пересмотрѣть вмѣстѣ со мной тѣ пять-шесть новѣйшихъ драматическихъ произведеній, съ которыми я познакомился, но откладываю это до другого раза. Фактъ отсутствія драматической литературы во всякомъ случаѣ на-лицо, и никто, я полагаю, съ этимъ спорить не станетъ. А еслибы «Недѣля» или кто другой, довольный ходомъ дѣлъ вообще

и «новымъ литературнымъ поколѣніемъ» въ частности, и пожелалъ спорить, то я спросилъ бы: отчего же вы не печатаете этихъ прекрасныхъ драмъ и комедій? Откладывая на неопредѣленное время бесѣду о новѣйшей драматической quasi литературѣ, я лишаю себя большого развлеченія, потому что тутъ есть надъ чѣмъ посмѣяться, хотя есть и погоревать объ чемъ. Но съ этимъ торопиться нечего, въ виду непререкаемости факта исчезновенія драматической литературы. Ну, и пусть радуются этому факту тѣ, для кого «осталась только дѣйствительность, въ которой имъ суждено жить и которую они потому и признали».

Любопытнѣе, можетъ быть, было бы пересмотрѣть критиковъ, публицистовъ, поэтовъ «дѣйствительности». Но я пока и отъ этого уклонюсь. Передо мной лежитъ маленькая книжка, имѣющая близкое отношеніе къ нашей темѣ, и на ней-то я и сосредоточусь на этотъ разъ. Книжка эта— новый, только что вышедшій сборникъ разсказовъ г. Чехова подъ заглавіемъ «Хмурые люди».

Признаться сказать, я началъ читать книжку съ конца, заинтересовавшись оригинальнымъ заглавіемъ послѣдняго разсказа— «Шампанское», потомъ прочиталъ въ безпорядкѣ остальное, намѣренно откладывая подъ конецъ самый большой разсказъ— «Скучная исторія»; откладывалъ потому, что боялся того непріятнаго впечатлѣнія, которое разсчитывалъ получить отъ этого разсказа, а почему разсчитывалъ получить непріятность, сейчасъ скажу. Въ разсказѣ «Шампанское» я остановился на слѣдующихъ хорошенькихъ строчкахъ: «Два облачка уже отошли отъ луны и стояли поодаль съ такимъ видомъ, какъ будто шептались объ чемъ-то такомъ, чего не должна знать луна. Легкій вѣтерокъ пробѣжалъ по степи, неся глухой шумъ ушедшаго поѣзда». Въ разсказѣ «Почта» опять хорошенькія строки въ томъ же вкусѣ: «Колокольчикъ что-то прозвякалъ бубенчикамъ, бубенчики ласково отвѣтили ему. Тарантасъ взвизгнулъ, тронулся, колокольчикъ заплакалъ, бубенчики засмѣялись». Или вотъ еще, въ разсказѣ «Холодная кровь»: «Старикъ встаетъ и вмѣстѣ съ своей длинной тѣнью осторожно спускается изъ вагона въ потемки». Какъ это въ самомъ дѣлѣ мило, и такихъ милыхъ штришковъ много разбросано въ книжкѣ, какъ, впрочемъ, и всегда въ разсказахъ г. Чехова. Все у него живетъ: облака тайкомъ отъ луны шепчутся, колокольчики плачутъ, бубенчики смѣются, тѣнь вмѣстѣ съ человѣкомъ изъ вагона выходитъ. Эта своего рода, пожалуй, пантеистическая черта очень способствуетъ красотѣ разсказа и свидѣтельствуетъ о поэтическомъ настроеніи автора. Но,—странное дѣло,—не смотря на готовность автора оживить всю природу, все неживое, и одухотворить все неодушевленное, отъ книжки его жизнью всетаки не вѣетъ. И это отнюдь не потому, что онъ взялся изобразить «Хмурыхъ людей». Заглавіе это совсѣмъ не соотвѣтствуетъ содержанію сборника и выбрано совершенно произвольно. Есть въ сборникѣ и дѣйствительно хмурые люди, но есть такіе, которыхъ этотъ эпитетъ вовсе не характеризуетъ. Въ какомъ смыслѣ можетъ быть названъ хмурымъ человѣкомъ, напримѣръ, купецъ Авдѣевъ («Бѣда»), который выпиваетъ, закусываетъ икрой и попадаетъ въ тюрьму, а потомъ въ Сибирь за то, что подписывалъ, не читая, какіе-то банковые отчеты? Нѣтъ, не въ хмурыхъ людяхъ тутъ дѣло, а можетъ быть именно въ томъ, что г. Чехову все едино,—что человѣкъ, что его тѣнь, что колокольчикъ, что самоубійца.

Г. Чеховъ пока единственный, дѣйствительно талантливый беллетристъ изъ того литературнаго поколѣнія, которое можетъ сказать о себѣ, что для него «существуетъ только дѣйствительность, въ которой ему суждено жить», и что «идеалы отцовъ и дѣдовъ надъ ними безсильны». И я не знаю зрѣлища печальнѣе, чѣмъ этотъ даромъ пропадающій талантъ. Богъ съ ними, съ этими старообразными «дѣтьми», упражняющимися въ критикѣ и публицистикѣ: ихъ бездарность равняется ихъ душевной черствости и едва-ли что-нибудь яркое вышло бы изъ нихъ и при лучшихъ условіяхъ. Но г. Чеховъ талантливъ. Онъ могъ бы и свѣтить и грѣть, еслибы не та несчастная «дѣйствительность, въ которой ему суждено жить». Возьмите любого изъ талантливыхъ «отцовъ» и «дѣдовъ», то-есть писателей, сложившихся въ умственной атмосферѣ сороковыхъ или шестидесятыхъ годовъ. Начните съ вершинъ въ родѣ Салтыкова, Островскаго, Достоевскаго, Тургенева и кончите— ну хоть г. Лейкинымъ, тридцатилѣтній юбилей котораго празднуется на-дняхъ. Какія это все опредѣленныя, законченныя физіономіи и какъ опредѣлены ихъ взаимныя отношенія съ читателемъ! Я помянулъ г. Лейкина, талантъ котораго отнюдь не изъ крупныхъ и который вдобавокъ потратилъ свое дарованіе на 7,000 (такъ пишутъ въ газетахъ) пустяковыхъ разсказовъ. Однако, и онъ имѣетъ свой опредѣленный кругъ читателей, которыхъ смѣшитъ или трогаетъ. Немножко надоѣдливы всѣ эти «разделюціи» (вмѣсто «резолюціи»), «насыпь еще лампадочку» (вмѣсто «налей еще рюмку»), «къ подножію ногъ твоихъ» и т. п. Но есть среда, гдѣ все это нужно, гдѣ г. Лейкинъ всегда равно желанный и дорогой гость.

Тѣмъ паче надо это сказать о вершинахъ. «Писатель пописываетъ, а читатель почитываетъ»,—эта горькая фраза Салтыкова вовсе не справедлива по отношенію къ нему и его сверстникамъ. Ихъ произведенія читатель не только почитывалъ,—онъ спорилъ объ нихъ, умилялся или негодовалъ, ловилъ мысль, горѣлъ чувствомъ, словомъ, жилъ ими. Между писателями и читателями была постоянная связь, можетъ быть, не столь прочная, какъ было бы желательно, но несомнѣнная, живая. Повторяю, такая связь существуетъ даже для г. Лейкина, а для неизмѣримо болѣе талантливаго и серьезнаго г. Чехова ея нѣтъ. Онъ, дѣйствительно, пописываетъ, а читатель его почитываетъ. Г. Чеховъ и самъ не живетъ въ своихъ произведеніяхъ, а такъ себѣ, гуляетъ мимо жизни и, гуляючи, ухватитъ то одно, то другое. Почему именно это, а не то? почему то, а не другое?

Выборъ темъ г. Чехова поражаетъ своею случайностью. Везутъ по желѣзной дорогѣ быковъ въ столицу на убой. Г. Чеховъ заинтересовывается этимъ и пишетъ разсказъ подъ названіемъ «Холодная кровь», хотя даже понять трудно, при чемъ тутъ «холодная кровь». Фигурируетъ, правда, въ разсказѣ одинъ очень хладнокровный человѣкъ (сынъ грузоотправителя), но онъ вовсе не составляетъ центра разсказа, да и вообще въ немъ никакого центра нѣтъ, просто не за что ухватиться. Почту везутъ, по дорогѣ тарантасъ встряхиваетъ, почтальонъ вываливается и сердится. Это—разсказъ «Почта». Зачѣмъ онъ мнѣ? Не мнѣ лично, конечно. Мнѣ и «подножіе ногъ» г. Лейкина не нужно, но гдѣ нибудь въ трактирѣ или въ бакалейной лавкѣ это «подножіе ногъ» произведетъ свой эффектъ; а отъ «Почты» никому, рѣшительно никому ни тепла, ни радости, хотя именно въ этомъ разсказѣ бубенчики такъ мило пересмѣиваются съ колокольчиками. И рядомъ, вдругъ, «Спать хочется»,—разсказъ о томъ, какъ тринадцатилѣтняя дѣвчонка Варька, состоящая въ нянькахъ у сапожника и не имѣющая ни минуты покоя, убиваетъ порученнаго ей грудного ребенка потому, что именно онъ мѣшаетъ ей спать. И разсказывается это тѣмъ же тономъ, съ тѣми же милыми колокольчиками и бубенчиками, съ тою же «холодною кровью», какъ и про быковъ или про почту, которая выѣхала съ одной станціи и пріѣхала на другую..

Нѣтъ, не «хмурыхъ людей» надо бы поставить въ заглавіе всего этого сборника, а вотъ развѣ «холодную кровь»: г. Чеховъ съ холодною кровью пописываетъ, а читатель съ холодною кровью почитываетъ.

Такъ думалъ я, пока, наконецъ, не дошелъ до «Скучной исторіи». Этой сравнительно довольно большой вещи я боялся. Дѣло въ томъ, что къ маленькимъ разсказцамъ г. Чехова, занимающимъ одинъ газетный фельетонъ или пять-шесть страничекъ маленькаго формата въ книжкѣ, мы уже привыкли, и этотъ странный переплетъ хорошенькихъ колокольчиковъ съ убійцами и людей съ быками не особенно утомляетъ, когда онъ разбитъ на маленькіе, оборванные клочки. А въ «Степи», первой большой вещи г. Чехова, самая талантливость этого переплета является уже источникомъ непріятнаго утомленія: идешь по этой степи, и, кажется, конца ей нѣтъ... Въ «Ивановѣ», комедіи, не имѣвшей, къ счастью, успѣха и на сценѣ, г. Чеховъ явился пропагандистомъ двухъ вышеприведенныхъ «дѣтскихъ» тезисовъ: «идеалы отцовъ и дѣдовъ надъ нами безсильны»; «для насъ существуетъ только дѣйствительность, въ которой намъ суждено жить и которую мы потому и признали». Эта проповѣдь была уже даже и не талантлива, да и какъ можетъ быть талантлива идеализація отсутствія идеаловъ? Не везетъ г. Чехову на большія вещи. Можетъ быть, и «Скучная исторія» есть дѣйствительно скучный наборъ случайныхъ впечатлѣній, или же опять что-нибудь вродѣ «Иванова», опять пропаганда тусклаго, сѣраго, умѣреннаго и аккуратнаго житія...

Я ошибся самымъ пріятнымъ образомъ. «Скучная исторія»—есть лучшее и значительнѣйшее изъ всего, что до сихъ поръ написалъ г. Чеховъ. Ничего общаго съ распущенностью и случайностью впечатлѣній въ «Степи»; ничего общаго съ идеализаціей сѣрой жизни въ «Ивановѣ». И даже совсѣмъ напротивъ.

«Скучная исторія» имѣетъ подзаглавіе: «изъ записокъ стараго человѣка». Этотъ старый человѣкъ, Николай Степановичъ «такой-то», есть знаменитый профессоръ, ученый, умный, талантливый, честный. Такимъ онъ самъ себя рекомендуетъ и, судя по сообщаемымъ имъ фактамъ, говоритъ правду. Жизнь его, вообще говоря, сложилась недурно, но къ 62-мъ годамъ подобрались разныя облачка: нѣкоторая денежная запутанность, кое-какія семейныя дрязги, хворость, главное хворость. Николай Степановичъ, какъ профессоръ по медицинской части, понимаетъ, что смерть не за горами и что было бы съ его стороны добросовѣстно уступить каѳедру человѣку болѣе молодому и свѣжему, но этого онъ сдѣлать не въ силахъ. «Пусть судитъ меня Богъ,—онъ говоритъ,—у меня не хватаетъ мужества поступить по совѣсти»: онъ слишкомъ привыкъ къ своему профессорскому дѣлу, слишкомъ любитъ его. «Какъ 20—30 лѣтъ назадъ, такъ и теперь,

передъ смертью, меня интересуетъ одна только наука. Испуская послѣдній вздохъ, я всетаки буду вѣрить, что наука — самое важное, самое прекрасное и самое нужное въ жизни человѣка, что она всегда была и будетъ высшимъ проявленіемъ любви и что только ею одною человѣкъ побѣдитъ природу и себя». Это не мѣшаетъ, однако, Николаю Степановичу имѣть и высказывать свои мнѣнія о литературѣ, о театрѣ, о разныхъ житейскихъ дѣлахъ: мнѣнія не Богъ знаетъ какой оригинальности и премудрости, но съ преданнаго своему дѣлу ученаго спеціалиста нельзя въ этомъ отношеніи многаго и спрашивать. И вотъ этого «прекраснаго, рѣдкаго человѣка», какъ его аттестуетъ другой, несомнѣнно тоже хорошій человѣкъ, начинаютъ посѣщать странныя мысли. Ему кажется, что «все гадко, не для чего жить, а тѣ 62 года, которые уже прожиты, слѣдуетъ считать пропащими». Съ особенною силою эти мрачныя мысли возникаютъ въ Николаѣ Степановичѣ при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Понадобилось ему ѣхать въ Харьковъ, чтобы собрать свѣдѣнія о предполагаемомъ женихѣ его дочери. Поѣздка эта не особенно хорошо мотивирована. Предполагаемый женихъ, котораго, мимоходомъ сказать, Николай Степановичъ терпѣть не можетъ, еще не дѣлалъ предложенія; въ Харьковѣ у Николая Степановича есть знакомые, вообще рѣшительно не видно, почему 62-лѣтній знаменитый профессоръ долженъ самъ ѣхать для собиранія свѣдѣній о женихѣ. Но это все равно. Пріѣхалъ больной, слабый старикъ въ Харьковъ и, натурально, загрустилъ. А тутъ еще телеграмма: дочь тайно обвѣнчалась (опять-таки неизвѣстно, почему тайно), и надо ѣхать назадъ. Тяжелая, безсонная ночь... Николай Степановичъ сидитъ въ постели, обнявъ руками колѣна, и думаетъ... между прочимъ такъ: «Чего я хочу? Я хочу, чтобы наши жены, дѣти, друзья, ученики любили въ насъ не имя, не фирму и не ярлыкъ, а обыкновенныхъ людей. Еще что? Я хотѣлъ бы имѣть помощниковъ и наслѣдниковъ... Еще что? Хотѣлось-бы проснуться лѣтъ черезъ сто и хоть однимъ глазомъ взглянуть, что будетъ съ наукой... Хотѣлъ бы пожить еще лѣтъ десять... Дальше что? А дальше ничего... Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думалъ и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что въ моихъ желаніяхъ нѣтъ чего-то главнаго, чего-то очень важнаго. Въ моемъ пристрастіи къ наукѣ, въ моемъ желаніи жить, въ этомъ сидѣніи на чужой кровати и стремленіи познать самого себя, во всѣхъ мысляхъ, чувствахъ и понятіяхъ, какія я составляю обо всемъ, нѣтъ чего-то общаго, что связывало бы все это въ одно цѣлое... Каждое чувство и каждая мысль живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ моихъ сужденіяхъ о наукѣ, театрѣ, литературѣ, ученикахъ, и во всѣхъ картинахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей или богомъ живого человѣка. А коли нѣтъ этого, то, значитъ, нѣтъ и ничего»...

Душевный мракъ все сгущается, какъ вдругъ въ комнату Николая Степановича совершенно неожиданно является нѣкая Катя. Это — его воспитанница, дочь его умершаго друга, молодая женщина, хорошая, умная, живая, но претерпѣвшая много бѣдъ и въ концѣ-концовъ одинокая. На-скоро поздоровавшись съ своимъ воспитателемъ, она, задыхаясь и дрожа всѣмъ тѣломъ, умоляетъ старика помочь ей совѣтомъ, научить ее, какъ ей жить, что дѣлать.

— Помогите!—рыдаетъ она, хватая меня за руку и цѣлуя ее. Вѣдь вы мой отецъ, мой единственный другъ! Вѣдь вы умны, образованы, долго жили! Вы были учителемъ! Говорите-же, что мнѣ дѣлать?

— По совѣсти, Катя, не знаю...

Я растерялся, сконфуженъ, тронутъ рыданіями и едва стою на ногахъ.

— Давай, Катя, завтракать,—говорю я, натянуто улыбаясь.—Будетъ плакать.

И больше ничего бѣдная Катя такъ и не добивается отъ знаменитаго профессора, котораго она не безъ основанія считаетъ «прекраснымъ, рѣдкимъ человѣкомъ». Онъ даже не даетъ ей высказаться, выложить свое горе и уже тѣмъ самымъ облегчить его. Онъ только растерянно и безпомощно повторяетъ: «давай завтракать!», да «будетъ плакать!» Обезкураженная Катя уходитъ. Николай Степановичъ разсказываетъ: «Лицо, грудь и перчатки у нея мокрыя отъ слезъ, но выраженіе лица уже сухо, сурово. Я гляжу на нее и мнѣ стыдно, что я счастливѣе ея. Отсутствіе того, что товарищи-философы называютъ общею идеею, я замѣтилъ въ себѣ только незадолго передъ смертью, на закатѣ своихъ дней а вѣдь душа этой бѣдняжки на знала и не будетъ знать пріюта всю жизнь, всю жизнь!»

Да, это трагедія! И, надо отдать справедливость автору, хорошо поставленная трагедія. Но надо присмотрѣться къ ней нѣсколько ближе.

Николаю Степановичу 62 года, онъ припоминаетъ въ числѣ своихъ друзей Пирогова, Кавелина, Некрасова. Это, конечно, вполнѣ возможно, но едва ли типично. Мало-ли есть несомнѣнныхъ житейскихъ возможностей, которыя, однако, слишкомъ индивидуальны, слишкомъ случайны, чтобы правомѣрно сдѣлаться объектомъ художествен-

наго воспроизведенія, во всѣхъ своихъ конкретныхъ подробностяхъ. Безъ всякаго сомнѣнія, у Пирогова, Кавелина, Некрасова могъ быть современникъ и другъ, который при многихъ отличныхъ качествахъ ума и сердца всю жизнь прожилъ безъ того, «что называется общей идеей или богомъ живого человѣка». Всяко бываетъ. Но если читатель припоминаетъ автобіографію Пирогова, литературную дѣятельность Кавелина, литературную дѣятельность Некрасова, біографіи другихъ знаменитыхъ русскихъ людей, воспитавшихся около того же времени, напр., Бѣлинскаго, Герцена и т. д., то согласится, я думаю, что отсутствіе «общей идеи» отнюдь для этого времени не характерно. Люди всегда люди. Они и въ тѣ времена падали, уклонялись отъ своего бога, становились въ практическое противорѣчіе съ самими собой, но они всегда, по крайней мѣрѣ, искали «общей идеи», и никоимъ образомъ нельзя сказать о нихъ, какъ говоритъ о себѣ Николай Степановичъ,—что они только передъ смертью опомнились. Пусть ихъ общія идеи, эти нынѣ по-дѣтски отвергаемые идеалы отцовъ и дѣдовъ, были на тотъ или другой взглядъ ложны, неосновательны, недостаточно выработаны, все, что хотите, но они были, или же составляли предметъ жадныхъ поисковъ. Для людей, воспитавшихся въ той умственной и нравственной атмосферѣ, какую г. Чеховъ усвоиваетъ Николаю Степановичу, нѣтъ даже ничего характернѣе этой погони за общими идеалами, которые связывали бы всѣ концы съ концами въ нѣчто цѣльное и непрерывное. Мнѣ кажется поэтому, что обсуждая фигуру Николая Степановича и его печальный конецъ, можно совершенно отрѣшиться отъ показаній автора насчетъ его возраста и дружескихъ связей,—дѣло не въ нихъ совсѣмъ; не въ силу условій своей молодости такъ тускло и жалобно доживаетъ свои послѣдніе дни Николай Степановичъ, а напротивъ того—вопреки имъ. Очевидно, передъ г. Чеховымъ рисовался какой то психологическій типъ, который онъ чисто случайно и въ этомъ смыслѣ художественно незаконно обременилъ 62-мя годами и дружбой съ Пироговымъ, Кавелинымъ, Некрасовымъ. Можетъ быть, случайность эта объясняется просто тѣмъ, что автору нужно было именно предсмертное просвѣтленіе, и этою надобностью обусловился выборъ старика, а такъ какъ этотъ старикъ долженъ быть, по замыслу, хорошимъ и выдающимся человѣкомъ, то для сгущенія красокъ авторъ наградилъ его дружбой съ хорошими тоже и выдающимися людьми.

Затѣмъ г. Чеховъ сдѣлалъ изъ Николая Степановича спеціалиста по какой-то отрасли медицинскихъ наукъ, всецѣло преданнаго своей профессіи. Беллетристы — могущественные люди. Они красятъ своихъ героевъ въ любую краску, отдаютъ ихъ куда заблагоразсудится на службу, на комъ хотятъ женятъ, съ кѣмъ хотятъ разжениваютъ. Это ихъ право, и ничего съ ними не подѣлаешь. Но и читатель тоже вправѣ оскорбляться въ эстетическомъ чувствѣ тѣми явными несообразностями, которыя иногда господа беллетристы продѣлываютъ надъ своими безотвѣтными художественными дѣтищами. Г. Чеховъ большимъ несообразностямъ не подвергаетъ своего Николая Степановича, хотя, напр., выше отмѣченная отправка этого почтеннаго ученаго въ Харьковъ за справками—немножко оскорбительна и совершенно не нужна. Но, я думаю, всякій, внимательно прочитавшій прекрасную сцену объясненія Кати съ Николаемъ Степановичемъ, долженъ остановиться надъ вопросомъ: почему Николай Степановичъ медикъ и заслуженный профессоръ? Пожалуй, если хотите, вполнѣ естественно, что именно старый профессоръ медицины, въ теченіе многихъ лѣтъ съ головой погруженный въ свою спеціальность, не умѣетъ откликнуться на вопросъ молодой женщины: какъ жить? что дѣлать? Вотъ еслибы къ нему обратились за врачебнымъ совѣтомъ, за темой для диссертаціи на степень доктора медицины, за указаніемъ литературы того или другого спеціально-медицинскаго вопроса и т. п.,—онъ далъ-бы вполнѣ удовлетворительные отвѣты, а тутъ съ него и спрашивать нечего. Это такъ, конечно. Но сцена объясненія Кати съ Николаемъ Степановичемъ слишкомъ хороша, слишкомъ жизненна и очевидно слишкомъ глубоко задумана, чтобы къ ней могло быть приложено такое плоское объясненіе. Дряхлый ученый спеціалистъ не умѣетъ отвѣтить на вопросъ молодой жизни,—стоитъ ли изъ-за этого огородъ городить? Стоитъ ли изъ-за такого финала довольно большой разсказъ писать? Нѣтъ, и медицинская спеціальность Николая Степановича, и его дряхлость здѣсь опять-таки совершенно случайныя черты, затемняющія суть дѣла. А суть дѣла въ томъ, что у Николая Степановича нѣтъ того, «что называется общей идеей или богомъ живого человѣка». Сцена съ Катей превосходно подчеркиваетъ этотъ коренной изъянъ Николая Степановича, составляющій центральное мѣсто всего разсказа. Снимите съ плечъ Николая Степановича тридцать лѣтъ, передѣлайте его изъ заслуженнаго профессора медицины въ кого угодно, ну хоть въ беллетриста, но оставьте его при его коренномъ душевномъ изъянѣ, и онъ точно такъ-же растерянно и безпомощно отвѣтитъ на вопль Кати: «давай завтракать! будетъ плакать!» Онъ-бы и радъ сказать другое, да словъ

нѣтъ и не откуда имъ взяться. И въ этомъ трагедія. Только совлекая съ нея тѣ чисто внѣшнія случайности, которыми ее обставилъ г. Чеховъ, мы поймемъ ея жизненное значеніе, а затѣмъ оставшемуся отъ такой операціи разоблаченія психологическому мотиву надо найти соотвѣтственную конкретную житейскую обстановку.

Припомните, что говоритъ Николай Степановичъ: «Во всѣхъ картинахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общею идеей или богомъ живого человѣка». Это могутъ сказать о себѣ многіе современные писатели и въ томъ числѣ г. Чеховъ. Его воображеніе рисуетъ ему быковъ, отправляемыхъ по желѣзной дорогѣ, потомъ тринадцатилѣтнюю дѣвочку, убивающую грудного ребенка, потомъ почту, переѣзжающую съ одной станціи на другую, потомъ купца, пьющаго, закусывающаго и неизвѣстно что подписывающаго, потомъ самоубійцу-гимназиста и т. д. И во всемъ этомъ дѣйствительно даже самый искусный аналитикъ не найдетъ общей идеи. Ни общей идеи, ни чутко настороженнаго въ какую-нибудь опредѣленную сторону интереса. При всей своей талантливости, г. Чеховъ не писатель, самостоятельно разбирающійся въ своемъ матеріалѣ и сортирующій его съ точки зрѣнія какой-нибудь общей идеи, а какой-то почти механическій аппаратъ. Кругомъ него «дѣйствительность, въ которой ему суждено жить и которую онъ поэтому призналъ» всю цѣликомъ съ быками и самоубійцами, колокольчиками и бубенчиками. Что попадется на глаза, то онъ и изобразитъ съ одинаково «холодною кровью». Г. Чеховъ не одинъ въ такомъ положеніи. Таковы ужъ общія условія, въ которыхъ находится нынѣ литература, и не одна литература: такова «дѣйствительность», которую, какъ фактъ, и приходится признать. Но отъ признанія факта, какъ факта, еще далеко до его оправданія и восхваленія. Фактъ печальный такъ и долженъ называться печальнымъ, иначе разуму человѣческому и человѣческому чувству нечего дѣлать на бѣломъ свѣтѣ, да и вовсе онъ не бѣлый въ такомъ случаѣ. А между тѣмъ находятся люди, плавающіе въ этой мутной дѣйствительности, какъ рыба въ водѣ, — весело, легко, самоувѣренно. «Они приняли свою судьбу безропотно и спокойно, они прониклись сознаніемъ, что все въ жизни вытекаетъ изъ одного источника—природы, все являетъ собою одну и ту же тайну бытія», — быки и убійцы, колокольчики и самоубійцы...

Этимъ такъ и Богъ велѣлъ, ибо, все равно, не летать курамъ подъ облака. Но г. Чеховъ талантливъ. Талантъ можетъ шалить забавными водевилями въ родѣ «Медвѣдь» и «Предложеніе»; можетъ размѣниваться на «Почту» и «Шампанское»; можетъ, сбитый съ толку, измѣнить самому себѣ, своей стихійной силѣ таланта, попробовавъ въ «Ивановѣ» идеализировать отсутствіе идеаловъ; можетъ, наконецъ, съ теченіемъ времени совсѣмъ погрязнуть; но, пока этотъ печальный конецъ не пришелъ, талантъ долженъ время отъ времени съ ужасомъ ощущать тоску и тусклость «дѣйствительности»; долженъ ущемляться тоской по тому, «что называется общей идеей или богомъ живого человѣка». Порожденіе такой тоски и есть «Скучная исторія». Оттого-то такъ хорошъ и жизненenъ этотъ разсказъ, что въ него вложена авторская боль. Я не знаю, конечно, на долго ли посѣтило это настроеніе г. Чехова и не вернется ли онъ въ непродолжительномъ времени опять къ «холодной крови» и распущенности картинъ, «въ которыхъ даже самый искусный аналитикъ не найдетъ общей идеи». Теперь онъ во всякомъ случаѣ сознаетъ и чувствуетъ что «коли нѣтъ этого, то, значитъ, нѣтъ и ничего». И пусть бы подольше жило въ немъ это сознаніе, не уступая наплыву мутныхъ волнъ дѣйствительности. Если онъ рѣшительно не можетъ признать своими общія идеи отцовъ и дѣдовъ,—о чемъ, однако, слѣдовало бы подумать,—и также не можетъ выработать свою собственную общую идею, — надъ чѣмъ поработать всетаки стоитъ,—то пусть онъ будетъ хоть поэтомъ тоски по общей идеѣ и мучительнаго сознанія ея необходимости. И въ этомъ случаѣ онъ проживетъ не даромъ и оставитъ свой слѣдъ въ литературѣ. А то, что́ хорошаго: читатель, подобно Катѣ, ждетъ отклика на свои боли, а ему говорятъ: «пойдемъ завтракать!» Или даже еще того хуже; вонъ быковъ везутъ, вонъ почта ѣдетъ, колокольчики съ бубенчиками пересмѣиваются, вонъ человѣка задушили, вонъ шампанское пьютъ.

XI.

Объ ошибкахъ исторической перспективы.

Въ приложенныхъ къ 9-му тому сочененій Салтыкова «Матеріалахъ для біографіи» помѣщенъ отрывокъ изъ письма покойнаго къ какому-то неназванному писателю. «Мнѣ кажется,—пишетъ Салтыковъ,—что писатель, имѣющій въ виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иныхъ идеаловъ, кромѣ тѣхъ, которые изстари волнуютъ человѣчество. А именно: свобода, равноправность

и справедливость. Что же касается до практическихъ идеаловъ, то они такъ разнообразны, что останавливаться на этихъ стадіяхъ значитъ добровольно стѣснять себя. Я положительно увѣренъ, что большее или меньшее совершенство этихъ идеаловъ зависитъ отъ большаго или меньшаго усвоенія человѣкомъ тайнъ природы и происходящаго отсюда успѣха прикладныхъ наукъ. Устраиваться въ подробностяхъ, отстаивать однѣ и разрушать другія—дѣло публицистовъ. Читая романъ Чернышевскаго «Что дѣлать?», я пришелъ къ заключенію, что ошибка его заключалась именно въ томъ, что онъ черезчуръ задался практическими идеалами. Кто знаетъ, будетъ ли оно такъ? И можно ли назвать указываемыя въ романѣ формы жизни окончательными? Вѣдь и Фурье былъ великій мыслитель, а вся прикладная часть его теоріи оказывается болѣе или менѣе несостоятельною и остаются только неумирающія общія положенія. Это дало мнѣ поводъ заняться болѣе скромною миссіей, а именно: спасти идеалъ свободнаго изслѣдованія, какъ неотъемлемаго права всякаго человѣка, и обратиться къ тѣмъ современнымъ *основамъ*, во имя которыхъ эта свобода изслѣдованія попирается».

Я переписалъ этотъ отрывокъ не для того, чтобы говорить о Салтыковѣ. Меня интересуетъ здѣсь указаніе на одну соціологическую ошибку, которую я назову ошибкой исторической перспективы. Тотъ частный случай ошибки, который, имѣетъ въ виду Салтыковъ, не разъ трактовался въ «Отечественныхъ Запискахъ». Лично Салтыкова занимаетъ онъ и въ «Мелочахъ жизни«. Тамъ говорится: «Ошибка утопистовъ заключалась въ томъ, что они, такъ сказать, усчитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями. Стоя почти исключительно на почвѣ психологической, они думали, что человѣкъ самъ-собой, независимо отъ внѣшней природы и ея тайнъ, при помощи одной доброй воли, можетъ создать свое конечное благополучіе. Между тѣмъ человѣчество искони связано съ природой неразрывной связью и, сверхъ того, обладаетъ прикладною наукой, которая съ каждымъ днемъ приноситъ новыя открытія. Фурье провидѣлъ ненужныхъ анти-львовъ и анти-акулъ и не провидѣлъ ни желѣзныхъ дорогъ, ни телеграфа, ни телефона, которые несравненно радикальнѣе вліяютъ на ходъ человѣческаго развитія, нежели анти-львы» и т. д. Салтыковъ не скрывалъ, однако, отъ себя, что до сихъ поръ по крайней мѣрѣ новые успѣхи въ области науки и прикладного знанія слишкомъ часто приносили съ собою не «новое благо», а «новый недугъ». Далѣе, Салтыковъ говоритъ, что «человѣчество безсрочно будетъ томиться подъ игомъ мелочей, ежели заблаговременно не получится полной свободы въ обсужденіи идеаловъ будущаго; только одно это средство и можетъ дать ощутительные результаты».

Считаю полезнымъ напомнить эти вообще очень поучительныя страницы «Мелочей жизни» (глава V), дабы вышеприведенное письмо къ неизвѣстному литератору не ввело кого-нибудь въ заблужденіе. Разработку идеаловъ будущаго Салтыковъ не только не считалъ дѣломъ празднымъ или ненужнымъ, но, напротивъ того, относился къ ней даже съ нѣсколько преувеличенными надеждами. Противъ обсужденія идеаловъ будущаго онъ ничего не имѣлъ, а только говорилъ о невозможности уловить детали ихъ. И совершенно справедливо, потому что дѣйствительно однихъ техническихъ изобрѣтеній можетъ быть самаго недалекаго будущаго, но для насъ сейчасъ нежданныхъ и негаданныхъ, достаточно, чтобы кореннымъ образомъ измѣнить картину будущей жизни, какую мы, съ нашими теперешними знаніями, можемъ нарисовать. Попытки уловить подробности картины грядущаго, за вычетомъ развѣ только какой-нибудь счастливой и совершенно исключительной случайности, непремѣнно впадутъ въ ошибки исторической перспективы, то есть внесутъ въ отдаленное будущее нѣчто такое, въ чемъ не будетъ никакой даже надобности гораздо раньше, благодаря успѣхамъ знанія и техники. Съ этой стороны старые утописты открыты для пожалуй резонныхъ, но ужъ очень дешевыхъ насмѣшекъ разныхъ шалопаевъ, и Салтыковъ скорбѣлъ объ этомъ, потому что основныя идеи, напримѣръ, Фурье онъ считалъ «неумирающими». Если, однако, ошибка утопистовъ состояла въ игнорированіи возможныхъ, но намъ неизвѣстныхъ успѣховъ знанія и техники, то не мѣнѣе ошибочно думать, что знаніе и техника, теоретическая и прикладная наука сами собой, единственно своимъ поступательнымъ ходомъ, избавятъ человѣчество отъ угнетающихъ его золъ. И Салтыковъ опять-таки понималъ это. Въ письмѣ къ неизвѣстному литератору сказано: «Я положительно увѣренъ, что большее или меньшее совершенство практическихъ идеаловъ зависитъ отъ большаго или меньшаго усвоенія человѣкомъ тайнъ природы и происходящаго отсюда успѣха прикладныхъ наукъ». Затѣмъ слѣдуетъ пропускъ, обозначенный многоточіемъ. Что здѣсь пропущено составителемъ «Матеріаловъ для біографіи Салтыкова», я, конечно, не знаю. Можетъ быть, какая-нибудь не совсѣмъ цензурная выходка, можетъ быть неудобная для печати рѣзкость по адресу чьей нибудь личности. Но, судя по совпаденію тона и содержанія письма съ концомъ V главы «Мелочей жизни», можно также предполо-

жить, что какъ разъ въ пропущенномъ мѣстѣ находилось нѣчто въ родѣ слѣдующаго: «Что исторія изобрѣтеній, открытій и вообще борьбы человѣка съ природой и донынѣ представляетъ собой сплошной мартирологъ, съ этимъ согласится каждый современный человѣкъ, если въ немъ есть хоть капля правдивости. Желѣзныя дороги уничтожаютъ на протяженіи своемъ цѣлую серію промысловъ, дававшихъ цвѣтеніе и жизнь... Новая ткацкая машина, новый плугъ, сѣнокосилка, жнея, — все это удобжаетъ меньшинство и обездоливаетъ цѣлыя массы рабочихъ силъ». (Отдѣльное изданіе «Мелочей жизни», I, 50). Это, разумѣется, не отрицаніе желѣзныхъ дорогъ, ткацкихъ машинъ, сѣнокосилокъ и пр.; это лишь указаніе на то, что вопросы общественной жизни рѣшаются самою жизнью, соотношеніемъ и взаимодѣйствіемъ соціальныхъ силъ, причемъ открытія и изобрѣтенія могутъ играть, конечно, огромную, но далеко не всегда окончательно рѣшающую роль. Рѣшаютъ дѣло свойства и характеръ общественной среды, та комбинація общественныхъ силъ, въ которой открытія и изобрѣтенія находятъ свое приложеніе.

Великое дѣло наука, и да будетъ благословенъ ея путь. Но люди, вѣрующіе въ прогрессъ науки, впадаютъ иногда въ ошибки исторической перспективы, не менѣе странныя въ своемъ родѣ, чѣмъ тѣ, которыми грѣшили старые утописты. Я приведу образчикъ изъ текущей русской литературы.

Къ русскому переводу книги Реньяра «Умственныя эпидеміи» приложена довольно большая статья г. Португалова «Повальныя чудачества». Статья не оправдываетъ своего заглавія,—о повальныхъ чудачествахъ въ ней, собственно говоря, совсѣмъ и рѣчи нѣтъ. Г. Португаловъ занятъ главнымъ образомъ полемикой съ гр. Л. Толстымъ и съ успѣхомъ отражаетъ его нападки на науку. Однако, среди очень вѣрныхъ замѣчаній г. Португалова попадаются и совершенно удивительныя. Между прочимъ г. Португаловъ говоритъ: «Находятся чудаки, которые хвастаются и чванятся зависимостью русскаго народа отъ земли и считаютъ это его «самобытною особенностью», которою необходимо дорожить и беречь, какъ зеницу ока». Г. Португаловъ имѣетъ здѣсь въ виду уже не одного гр. Толстого, а всѣхъ, кто такъ или иначе дорожитъ крестьянскимъ землевладѣніемъ, причемъ для сущности дѣла довольно безразлично—называть ли его «самобытною особенностью» или продуктомъ извѣстныхъ историческихъ условій. Во всякомъ случаѣ есть не мало людей, нисколько не прельщающихся какими-бы то ни было самобытными особенностями, и, однако, придающихъ великое значеніе крестьянскому землевладѣнію. А потому и къ нимъ относится иронія г. Португалова. Самъ онъ находитъ, что дорожить тутъ рѣшительно нечѣмъ, такъ какъ наука «обѣщаетъ избавить человѣка окончательно отъ тяжести земли». Сдѣлаетъ это именно химія, которая, дескать, находится уже наканунѣ великаго открытія, имѣющаго кореннымъ образомъ измѣнить всю жизнь народовъ всего земного шара. Разъ химія изобрѣтетъ способъ искусственнаго приготовленія бѣлковыхъ веществъ, мы будемъ получать пищу непосредственно изъ земли, воды и воздуха, откуда собственно и теперь ее получаемъ, но только въ посредствующей переработкѣ животныхъ и растительныхъ организмовъ. Растенія добываютъ свой пластическій матеріалъ непосредственно изъ неорганической природы, животныя получаютъ свою плоть и кровь одни изъ растеній, другія изъ животныхъ же, а мы ѣдимъ бифштексъ съ картофелемъ и рябчика съ огурцомъ. Въ будущемъ мы уподобимся растеніямъ, съ тою разницей, что будемъ перерабатывать неорганическую природу предварительно на бѣлковинныхъ заводахъ. Конечно, это будутъ не бифштексы и котлеты, не пироги и макароны, но по питательности нѣчто равнозначительное этимъ вкуснымъ вещамъ. И г. Португаловъ побѣдоносно спрашиваетъ: «что же тогда станетъ съ пресловутымъ общиннымъ, крупнымъ и мелкимъ землевладѣніемъ?».

Да, это вопросъ! Онъ по истинѣ «столь глубокомысленъ, что провалишься въ него». Онъ могъ бы, впрочемъ, стать еще глубокомысленнѣе, еслибы г. Португаловъ принялъ въ соображеніе судьбу не только земледѣлія, а и скотоводства, и рыболовства, и еще многаго другого. Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ ли, напримѣръ, принимать мѣры противъ хищническаго истребленія рыбы, когда вѣдь и ея совсѣмъ не нужно будетъ при существованіи бѣлковинныхъ заводовъ? Можно идти еще дальше. По всей вѣроятности, гораздо раньше, чѣмъ будетъ практиковаться искусственное приготовленіе бѣлка, человѣчество научится получать теплоту непосредственно изъ ея первоисточника—солнца. И что тогда будетъ съ нашими лѣсами и залежами каменнаго угля, о которыхъ нѣкоторые отсталые отъ г. Португалова люди тоже полагаютъ, что ими «необходимо дорожить и беречь, какъ зеницу ока»?

Надежда на искусственное приготовленіе бѣлковыхъ веществъ вполнѣ конечно, основательна, ибо не только въ ней нѣтъ ничего, противорѣчащаго основамъ химіи и ходу развитія техники, но, напротивъ, все къ тому идетъ. Прошли тѣ времена, когда даже такіе химики, какъ Берцеліусъ, а потомъ и Либихъ, считали искусственное вос-

произведеніе органическихъ соединеній рѣшительно невозможнымъ. Съ тѣхъ поръ вопросъ органическаго синтеза въ химіи достаточно подвинулся впередъ, и хотя до искусственнаго образованія бѣлка мы еще не дошли, но это, конечно, только вопросъ времени. Однако, дѣло, вѣдь, не въ томъ только, чтобы произвести въ химической лабораторіи бѣлковину, какъ давно уже произведена, напримѣръ мочевина. Моментъ, когда ученый химикъ добьется у себя въ лабораторіи образованія искусственнаго бѣлка, будетъ въ теоретическомъ смыслѣ очень важнымъ моментомъ, но самъ по себѣ онъ еще не будетъ имѣть того рѣшающаго для судьбы человѣчества значенія, которое провидитъ г. Португаловъ. Искусственный бѣлокъ еще не есть искусственная пища. Чтобы онъ сталъ таковою, нужно, во-первыхъ, чтобы производство его въ обширныхъ размѣрахъ стало достаточно дешево для конкурренціи съ теперешними способами доставленія питательныхъ веществъ, а на это мы пока не имѣемъ никакихъ данныхъ. Правда, углерода, водорода, азота и кислорода, изъ которыхъ состоятъ бѣлковыя вещества, въ природѣ много, но это еще ничего не значитъ. Аллюминій входитъ въ составъ глины, тѣкъ что въ природѣ его сколько угодно; однако до сихъ поръ не найденъ и, можетъ быть, никогда не будетъ найденъ достаточно дешевый способъ производства этого металла, возбуждавшаго своею распространенностью и своими превосходными качествами столько надеждъ въ пятидесятыхъ годахъ. А затѣмъ еще вопросъ, будетъ ли искусственный бѣлокъ столь же питателенъ, удобоваримъ и даже просто съѣдобенъ, какъ хлѣбъ и мясо. Можетъ быть, окажется, что посредствующая переработка неорганическихъ веществъ, совершающаяся въ живыхъ организмахъ, которыми мы питаемся, безусловно необходима для усвоенія пищи нашимъ человѣческимъ организмомъ. Живой организмъ—не химическая лабораторія: химическій процессъ осложняется въ немъ процессомъ физіологическимъ и, можетъ быть, это осложненіе составляетъ необходимое условіе для претворенія пищи въ нашу плоть и кровь. Конечно, все это можетъ выдти и иначе; но ясно, что время полученія пищи непосредственно изъ земли, воды и воздуха довольно-таки отъ насъ отдаленно. Столь отдаленно, что презирать «пресловутое общинное, крупное и мелкое землевладѣніе» съ возвышенной точки зрѣнія искусственнаго бѣлка значитъ впадать въ грубѣйшую ошибку исторической перспективы. И даже до вполнѣ комическаго эффекта. На этотъ разъ ошибка состоитъ въ томъ, что вырывается клокъ изъ весьма отдаленнаго и притомъ проблематическаго будущаго и внѣдряется въ совершенно неподходящія современныя условія.

Въ прошломъ году появился фантастическій разсказъ Жюля Верна «Изъ жизни редактора въ 2889 году», переведенный у насъ въ разныхъ изданіяхъ, въ томъ числѣ и въ «Русск. Вѣд.» Редакторъ газеты «Лѣтопись вселенной» издающейся (черезъ тысячу лѣтъ) въ Центрополисѣ, политическомъ центрѣ Соединенныхъ Штатовъ, не только лично переговаривается съ женой, уѣхавшей въ Парижъ, но и собственными глазами видитъ ее при помощи «телефота», особой системы зеркалъ. Онъ практикуетъ «небесныя объявленія»: тѣ самыя объявленія, которыя ютятся теперь на передней и задней страницахъ газетъ, «Лѣтопись вселенной» отражаетъ особыми приборами на поверхность облаковъ, и такъ эти объявленія велики, что могутъ быть видимы населенію цѣлыхъ городовъ, даже цѣлыхъ странъ. «Лѣтопись вселенной сообщается «фототелеграммами» съ жителями Марса и Юпитера и т. д., и т. д., и много еще разныхъ другихъ, по нынѣшнему нашему времени трудныхъ, невозможныхъ, чудесныхъ вещей объявится черезъ тысячу лѣтъ. Однако, завтракъ и обѣдъ редактора «Лѣтописи вселенной» состоятъ изъ тѣхъ же potages, ragoûts, rotis и légumes, какіе мы и нынѣ вкушаемъ, а не изъ «бѣлка à la Portougaloff». При всей пылкости своей фантазіи, Жюль Вернъ не рѣшился ввести искусственную пищу въ картину даже столь отдаленнаго будущаго. А г. Португалову она кажется столь близкою, что уже и теперь можно чуть-чуть что не «вполнѣ и исключительно наплевать» (по выраженію Гл. Успенскаго) на вопросы землевладѣнія. Правда, г. Португаловъ можетъ возразить, что въ ошибку исторической перспективы впадаетъ въ данномъ случаѣ Жюль Вернъ, потому что, дескать, черезъ тысячу-то лѣтъ ужъ навѣрное меню завтраковъ и обѣдовъ будетъ вполнѣ и исключительно состоять изъ бѣлка à la Portougaloff. Я не стану спорить съ г. Португаловымъ. Въ фантастическомъ разсказѣ плодовитаго французскаго писателя можно найти не мало ошибокъ исторической перспективы. Напримѣръ, жена редактора говоритъ мужу изъ Парижа: «Я была у портнихи. Какъ хороши шляпы въ нынѣшній сезонъ! Я совершенно забыла о времени и поэтому немного замѣшкалась». Нынѣшняя дама, безъ сомнѣнія, именно такъ и именно объ этомъ разговариваетъ. Но вѣдь можно же надѣяться, что хоть черезъ тысячу лѣтъ представительницы прекраснаго пола будутъ ужъ не столь страстно относиться къ

фасонамъ модныхъ шляпокъ. А то что же это такое: фонотелефоты, фототелеграммы, небесныя объявленія, сношенія съ жителями другихъ планетъ и прочее такое, а дама, какъ была дамой, такъ и осталась! Этому трудно повѣрить, равно какъ и многому другому, что разсказываетъ Жюль Вернъ. Но изъ этого только то и слѣдуетъ, что Жюль Вернъ впадаетъ въ ошибки исторической перспективы, а совсѣмъ не то, что г. Португаловъ никакой ошибки не дѣлаетъ. Притомъ же Жюль Вернъ имѣетъ за себя такія оправданія, за который г. Португаловъ не можетъ, а частью и не захочетъ укрыться. Во-первыхъ, Жюль Вернъ просто занимательный разсказчикъ, болѣе или менѣе удачно комбинирующій беллетристическую фантазію съ данными науки, и дальше этого его претензіи не идутъ; ироническое и побѣдоносное глубокомысліе г. Португалова ему совершенно чуждо. А значитъ съ него много и спрашивать нельзя. Кромѣ того, ошибки исторической перспективы имѣютъ у Жюля Верна совершенно опредѣленный характеръ, чисто условный и потому не могущій никого ввести въ заблужденіе. У него вотъ черезъ тысячу лѣтъ женщины о парижскихъ модныхъ шляпкахъ толкуютъ, Россія съ Англіей изъ-за обладанія Индіей соперничаютъ, принципы организаціи газеты совершенно тѣ-же, что и нынѣ и т. д. Только все это снабжено колоссальными силами техническихъ усовершенствованій. Пріемъ этотъ, послѣдовательно проведенный, не только ничего не путаетъ, а имѣетъ даже извѣстныя положительныя достоинства, ибо проводитъ опредѣленную границу между прогрессомъ и идеаломъ техническимъ, съ одной стороны, и прогрессомъ и идеаломъ общественнымъ—съ другой. Всѣмъ своимъ фантастическимъ разсказомъ Жюль Вернъ какъ бы говоритъ, что прогрессъ знанія силъ природы и умѣнія ихъ утилизировать самъ по себѣ не вліяетъ кореннымъ образомъ на соотношеніе, распредѣленіе и перераспредѣленіе общественныхъ элементовъ; что въ этомъ послѣднемъ отношеніи прогрессъ долженъ выработать себѣ особое, прямо житейское русло.

Аристотель мечталъ: «Когда каждый рабочій инструментъ могъ бы исполнять свойственную ему работу по приказанію или по предчувствію, когда челноки ткача ткали бы сами собой, то мастеру не надо бы было помощниковъ и господину рабовъ». Приведя эти слова и еще подобныя же слова поэта Антипароса, Марксъ замѣчаетъ, что мечтаніямъ древнихъ философа и поэта не пришлось осуществиться, хотя челноки ткача и ткутъ сами собой. Древніе не понимали, что машина, это сильнѣйшее средство для сокращенія рабочаго времени, можетъ, попавъ въ извѣстную комбинацію общественныхъ силъ, оказаться «дѣйствительнѣйшимъ средствомъ превращенія всей жизни рабочаго и его семейства въ рабочее время, которымъ располагаетъ капиталъ для увеличенія своей стоимости». Такимъ образомъ техническій идеалъ, рисовавшійся Аристотелю, осуществленъ, но не повелъ за собой осуществленія идеала общественнаго. И кто знаетъ, какъ оно тамъ будетъ на бѣлковинныхъ заводахъ, когда техника до нихъ доработается? Можетъ быть, и въ этомъ случаѣ успѣхи техники произведутъ столь же неожиданные и парадоксальные результаты, извѣстнымъ образомъ преломившись въ соціологической средѣ и, между прочимъ, въ формахъ землевладѣнія. Г. Португаловъ можетъ держаться на этотъ счетъ какого ему угодно мнѣнія, но не годится ему всетаки иронизировать надъ тѣми, кто понимаетъ разницу между техническимъ идеаломъ и идеаломъ общественнымъ, кто, въ ожиданіи искусственнаго производства пищи будущаго, не отказывается думать о распредѣленіи естественной пищи настоящаго.

Изъ всего вышеприведеннаго слѣдуетъ, что конечный общественный идеалъ не можетъ быть выраженъ какими-нибудь конкретными образами. Такъ называемыя утопіи имѣютъ свою условную цѣнность, какъ произведенія литературныя и, въ особенности, сатирическія, ибо въ большинствѣ ихъ сатирическій элементъ играетъ существенную роль. Имѣютъ или могутъ имѣть онѣ еще другую, болѣе высокую, цѣнность въ качествѣ маяковъ, намѣчающихъ желательное направленіе нашей дѣятельности. Но ошибки исторической перспективы составляютъ неизбѣжную ихъ принадлежность, когда онѣ занимаются изображеніемъ практическихъ подробностей будущаго общественнаго строя. Въ этихъ случаяхъ утописты неизбѣжно вводятъ въ свои фантастическія картины будущаго такія детали, заимствованныя изъ настоящаго, которымъ въ будущемъ, по всей вѣроятности, и мѣста не будетъ. Другой типъ ошибокъ исторической перспективы состоитъ, наоборотъ, въ томъ, что отдѣльные моменты отдаленнаго и проблематическаго будущаго незаконно вносятся въ нашу теперешнюю жизнь.

Для примѣра этой послѣдней ошибки я привелъ курьезную выходку г. Португалова. Въ этого рода ошибки могутъ впадать всякіе люди, недостаточно вдумывающіеся въ свои слова, но въ особенности свойственны онѣ излишне самоувѣреннымъ моралистамъ. Вѣруя въ силу своей личной проповѣди, которая бываетъ иногда очень талантлива и имѣетъ шумный, хотя и не глубокій и не серьезный успѣхъ, или въ силу своего лич-

наго примѣра, иногда очень возвышеннаго, эти люди склонны уединять свою мораль отъ всѣхъ условій, благопріятствующихъ или препятствующихъ ея осуществленію. Имъ кажется, что стоитъ только повторять извѣстную моральную истину или то, что имъ представляется истиной, и она разцвѣтетъ и дастъ хорошіе плоды во всякое время и независимо отъ какихъ бы то ни было условій. Отсюда ихъ нелюбовь къ житейской борьбѣ изъ-за этихъ самыхъ условій: объ чемъ толковать? объ чемъ хлопотать? зачѣмъ реформа общественныхъ условій? Стоитъ только послушаться моралиста—и дѣло будетъ въ шляпѣ! Прекраснымъ образчикомъ этого не то что размышленія, а настроенія самоувѣренныхъ моралистовъ можетъ служить извѣстная мысль Достоевскаго, что помѣщица Коробочка и ея крѣпостные могли бы, оставаясь въ тѣхъ же правовыхъ отношеніяхъ, явить собою высокій типъ нравственнаго союза, еслибы прониклись христіанскою моралью. При такомъ образѣ мыслей или, вѣрнѣе, при такомъ складѣ ума ошибки исторической перспективы, очевидно, неизбѣжны.

Въ маленькой книжкѣ г. Рейнгардтъ «Необыкновенная личность» расказывается, къ сожалѣнію, очень кратко, исторія жизни и мысли нѣкоего Гейнса или Фрея. Человѣкъ это былъ (онъ умеръ въ 1888 г.) дѣйствительно недюжинный. Будучи молодымъ офицеромъ съ блестящею будущностью, онъ бросилъ въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ карьеру и уѣхалъ въ Америку съ цѣлью примкнуть къ одному изъ тамошнихъ религіозно-коммунистическихъ обществъ. Шагъ этотъ г. Рейнгардъ приписываетъ вліянію идей Фурье, Овена и проч., но, повидимому, тутъ вліяли и другія причины. Какъ-бы то ни было, Гейнсъ уѣхалъ въ Америку, принялъ американское подданство, сталъ называться Вильямомъ Фреемъ и нѣсколько лѣтъ, очень бѣдствуя, мыкался, то примыкая къ какой-нибудь общинѣ, то основывая свою. Между прочимъ, среди этихъ странствованій и лишеній, Фрей познакомился съ однимъ вегетаріанцемъ и отъ него усвоилъ вегетаріанскую доктрину. Далѣе онъ познакомился съ ученіемъ Огюста Конта и съ позитивистской общиной въ Америкѣ и сталъ страстнымъ позитивистомъ. Переѣхавъ затѣмъ въ Лондонъ, Фрей вступилъ въ число членовъ тамошняго общества позитивистовъ, опять-таки претерпѣвалъ большія лишенія, а въ 1886 г. пріѣхалъ на нѣсколько мѣсяцевъ въ Петербургъ, съ цѣлью пропаганды своихъ идей. Пропоганда эта была, повидимому, совершенно неудачна, и единственнымъ слѣдомъ ея остается обширное письмо Фрея къ гр. Л. Н. Толстому, приложенное къ брошюрѣ г. Рейнгардта, къ сожалѣнію, съ большими пропусками. Не надо, впрочемъ, знакомства съ этимъ письмомъ, чтобы видѣть, что названіе «необыкновенной личности» Фрей заслуживаетъ не обширностью или оригинальностью ума. Человѣкъ безспорно неглупый и хорошо образованный, онъ, однако, слишкомъ легко поддавался всякимъ встрѣчнымъ вліяніямъ. Идеи Фурье, Овена и проч. погнали его въ Америку, встрѣча его съ вегетаріанцемъ, встрѣча съ позитивистами опредѣляютъ дальнѣйшее теченіе его жизни. Все это не свидѣтельствуетъ о «необыкновенныхъ» умственныхъ качествахъ Фрея, но его нравственныя достоинства дѣйствительно выходили изъ ряда вонъ. Онъ всю жизнь искалъ правды и, признавъ, наконецъ нѣчто за правду, отдавался ей цѣликомъ, не отдѣляя слова отъ дѣла и претерпѣвая ради своей идеи всевозможныя лишенія.

Отсылая читателя къ брошюрѣ г. Рейнгардта за фактами, свидѣтельствующими о возвышенности нравственной личности Фрея, я останавлюсь только на томъ, что близко соприкасается съ содержаніемъ настоящаго письма.

Въ письмѣ Фрея къ гр. Толстому есть, между прочимъ, такое замѣчаніе: «Позитивистъ (такъ называетъ Фрей себя и людей, отъ имени которыхъ онъ говоритъ) можетъ имѣть антипатіи къ войнѣ и обязанъ поэтому всѣми силами своей души работать надъ торжествомъ мира, но и въ такомъ случаѣ онъ не смѣетъ сказать, что война абсолютно вредна; онъ всегда долженъ помнить возможность такихъ обстоятельствъ, при которыхъ война становится необходимостью. Потому, когда онъ встрѣчается съ людьми, имѣющими симпатіи къ военной службѣ, онъ не считаетъ ихъ отверженцами». Въ этомъ же смыслѣ поминаетъ Фрей и о судѣ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ онъ имѣетъ въ виду извѣстные параграфы ученія гр. Толстого, отвергающаго военную и судебную функціи, не только въ будущемъ, «когда прекратится въ нихъ надобность», вообще, а и сейчасъ, для отдѣльныхъ личностей, которыя послушаются моралиста. Это—указаніе на ошибки исторической перспективы, и именно на тотъ типъ ихъ, который вырываетъ изъ отдаленнаго будущаго отдѣльные моменты и внѣдряетъ ихъ въ неподходящія условія современной нашей жизни.

Если, однако, Фрей въ этихъ двухъ случаяхъ совершенно правъ, то нельзя того же сказать о другихъ его замѣчаніяхъ. Нельзя этого сказать о нѣкоторыхъ его самыхъ коренныхъ убѣжденіяхъ, высказывая которыя, онъ и самъ впадаетъ въ тяжкія ошибки исторической перспективы. Фрей—

позитивистъ или, точнѣе, контистъ, одинъ изъ тѣхъ, кто признаетъ обѣ половины дѣятельности Огюста Конта, то есть и «Курсъ положительной философіи», и «Систему положительной политики» съ «религіей человѣчества». Въ міровоззрѣніе это онъ вноситъ нѣкотрыя личныя поправки; не совсѣмъ, впрочемъ, личныя, потому что онъ заимствуетъ ихъ частью у Спенсера, частью у старыхъ соціалистовъ, частью у вегетаріанцевъ, частію у вульгарныхъ моралистовъ. Но доктрина Фрея въ цѣломъ насъ здѣсь не интересуетъ, да она и не вполнѣ ясна, такъ какъ его немногочисленныя сочиненія намъ неизвѣстны, а письмо къ гр. Толстому напечатано г. Рейнгардтомъ съ большими и, повидимому, очень существенными пропусками. Для насъ важно отмѣтить, что сквозь все ученіе Фрея, насколько оно выясняется брошюрой г. Рейнгардта, и сквозь всю его жизнь проходитъ весьма опредѣленная аскетическая струя. Г. Рейнгардтъ это отрицаетъ, однако, на основаніи такихъ соображеній которыя едва ли можно принять. Онъ говоритъ: «Аскетъ съ презрѣніемъ относится къ тѣлу, старается умертвить всѣ физическія потребности. Но вслѣдствіе насильственнаго умерщвленія послѣднихъ, у аскета развивается мрачный, злобный характеръ, съ придачей еще необыкновеннаго самомнѣнія; злоба его очень часто проявляется въ строгомъ отношеніи къ людскимъ слабостямъ, а самомнѣніе — въ стремленіи къ возвеличенію собственной личности, въ презрительномъ отношеніи къ людямъ, отношеніи, скрываемомъ подъ маскою смиренія. Фрей ничѣмъ не походилъ на подобныхъ лицъ». Конечно, если подставить въ понятіе аскета тѣ черты, которыя ему усвоиваетъ г. Рейнгардтъ, такъ въ характерѣ Фрея не найдется аскетической струи. Но г. Рейнгардтъ очень уже безцеремонно обращается съ аскетизмомъ. Ни логически, ни психологически, ни исторически нельзя установить причинную связь между аскетизмомъ съ одной стороны и самомнѣніемъ и злобой съ другой. Возможны, конечно, и такіе аскеты, но возможны и вполнѣ добродушные и дѣйствительно смиренные. И если не мудрствуя лукаво, устранить совершенно произвольное толкованіе г. Рейнгардта, то всякій, я полагаю, признаетъ въ ученіи и жизни Фрея извѣстную долю аскетизма. Въ Лондонѣ Фрей съ своей семьей и нѣкоторыми послѣдователями жилъ такъ: «они употребляли два раза въ день самую скудную пищу, не допуская при этомъ никогда мяса, чая, кофе и алкоголя во всевозможныхъ видахъ». Въ Америкѣ Фрей нарочно, во славу вегетаріанизма, «въ теченіе нѣсколькихъ дней тяжелаго физическаго труда питался одними яблоками». Отъ людей, бесѣдовавшихъ съ Фреемъ во время его пребыванія въ Петербургѣ, я знаю, что онъ отрицалъ не только животную пищу, алкоголь, чай, кофе, но даже употребленіе соли. Я слышалъ также (поручиться не могу), что въ Америкѣ его суровая требовательность въ этомъ отношеніи повела къ раздорамъ въ основанной имъ тамъ общинѣ. Наконецъ, самое удаленіе Фрея изъ водоворота жизни въ лѣса и пустыни Америки, для устройства тамъ иноческаго общежитія, носитъ на себѣ явно аскетическую окраску; причемъ я вовсе не вижу надобности дѣлать изъ «аскетизма» ругательное или хвалебное слово, а просто указываю фактъ. Какъ и всякій приверженецъ аскетическаго идеала, Фрей разсчитывалъ, путемъ подавленія требованій плоти, поднять тонъ духовной жизни. А его чрезвычайная вѣра въ силу личной проповѣди и личнаго примѣра опредѣлила его отношенія къ значенію общественной реформы. Онъ считаетъ безусловно ошибочною мысль Роберта Овена (не одного его, конечно), «будто нравственность человѣка зависитъ отъ вліянія внѣшнихъ обстоятельствъ». Онъ съ негодованіемъ говоритъ о людяхъ, которые, «чтобы какъ-нибудь удовлетворить высшимъ стремленіямъ, къ счастью никогда не исчезающимъ совершенно, со всею злобою узкаго фанатизма требуютъ перемѣны политическихъ и экономическихъ формъ; они не видятъ, что причина зла заключается не въ формахъ жизни, а въ нихъ самихъ, въ нравственной негодности людей, составляющихъ общество».

Что ученіе о вліяніи общественной среды на нравственность достигало иногда преувеличенной напряженности и незаконно подавляло значеніе личнаго почина и личной отвѣтственности, это совершенно справедливо. Но противоположная крайность отрицанія вліянія «формъ жизни» не менѣе вредна и еще болѣе ошибочна. И вовсе не нужно «злобы узкаго фанатизма», чтобы ожидать благихъ или печальныхъ послѣдствій для нравственности отъ той или другой перемѣны въ строѣ общественной жизни. Бываютъ, конечно, всякія исключенія, но все, основанное на исключеніяхъ, непремѣнно будетъ зданіемъ, на пескѣ построеннымъ. Какъ ни расширяйте районъ дѣйствія проповѣди и примѣра людей вродѣ Фрея, общій складъ жизни останется ими даже незатронутымъ, если только въ составъ ихъ морали не войдетъ прямое воздѣйствіе на этотъ общій складъ. Это до такой степени ясно, что едва-ли даже нуждается въ пространныхъ доказательствахъ. Я остановлюсь только на одномъ соображеніи.

Если все дѣло въ личной нравственности, которая можетъ процвѣтать и приносить плоды при всевозможныхъ общественныхъ условіяхъ, если причина зла заключается не въ формахъ жизни, то этимъ самымъ произносится рѣзко осуждающій приговоръ надъ всею жизнью Фрея. Пусть онъ былъ далекъ отъ «злобы узкаго фанатизма», но, спрашивается, зачѣмъ же онъ ѣздилъ въ Америку, какъ не ради новыхъ формъ жизни, которыхъ нѣтъ ни въ нашемъ отечествѣ, ни въ Европѣ? Кто ему мѣшалъ являть собою примѣръ высокой личной нравственности у себя на родинѣ?

XII.

О женщинахъ и о донъ-жуанахъ.

Издревле и по сейчасъ женщина составляетъ для мужчины предметъ или крайняго презрѣнія, ненависти, страха, или же, наоборотъ, восторженнаго поклоненія. Женщина есть, по словамъ старинныхъ русскихъ книжниковъ, «святымъ оболгательница, покоище зміино, діаволь увѣтъ, безъ истлѣнія злоба, спасаемымъ соблазненная, гостинница пагубная, торжище бѣсовское» и т. д., и т.д., еще цѣлые десятки самыхъ ухищренныхъ ругательствъ и обвиненій. А вотъ г. Фофановъ полагаетъ, что «женщина—отблескъ мерцанія майскаго, лучъ золотой надъ гробницами тлѣнія, женщина—тѣнь изъ селенія райскаго, женщина—счастье, любовь и прощеніе» и еще многое другое, столь же неудобо-понятное, но и столь же лестное. Дѣло не въ томъ, что г. Фофановъ есть современнѣйшій изъ поэтовъ, а старинные книжники давнымъ-давно покоятся въ «гробницахъ тлѣнія». И теперь можно встрѣтить немало единомышленниковъ этихъ старинныхъ книжниковъ, и въ древнѣйшія времена слагались гимны женщинѣ не хуже тѣхъ, которые поетъ г. Фофановъ. Всегда такъ было и, пожалуй, еще долго такъ будетъ. Можно, однако, надѣяться, что наступитъ когда-нибудь этой вѣковой безсмыслицѣ конецъ, ибо вѣдь это, въ самомъ дѣлѣ, безмыслица. И станетъ, наконецъ, женщина не ангеломъ или демономъ, не божествомъ или животнымъ, а человѣкомъ.

Меня всегда поражала внутренняя противорѣчивость большинства ругательствъ и комплиментовъ, обращенныхъ къ женщинѣ. Старинные книжники дѣлаютъ невольный комплиментъ женщинѣ въ томъ смыслѣ, что признаютъ за ней огромную силу, отъ которой бѣжать нужно. Наоборотъ, любезности, обращенныя къ женщинамъ, сплошь и рядомъ пропитаны оскорбленіемъ. И женщины, къ сожалѣнію, слишкомъ часто преклоняютъ слухъ свой къ этимъ двусмысленнымъ любезностямъ. Поэтъ назоветъ женщину розой или лиліей, и выходитъ, какъ будто очень хорошо и лестно, а между тѣмъ, что же тутъ лестнаго? Вѣдь это во всякомъ случаѣ разжалованіе изъ человѣковъ въ красивыя растенія. Конечно: поэтъ былъ за тридевять земель отъ мысли нанести оскорбленіе и просто вращался, вмѣстѣ съ своей вдохновительницей, въ мірѣ условныхъ отношеній, условныхъ понятій, условнаго языка, и всѣ эти условности могутъ быть сами по себѣ совершенно безвредны и поэтически милы. Но онѣ знаменуютъ собою нѣкоторый общій порядокъ, чреватый, между прочимъ, и не столь невинными двусмысленностями. Такъ, женщина, одурманенная разнымъ вздоромъ въ родѣ «отблеска мерцанія майскаго» и «тѣни изъ селенія райскаго»,—какой въ самомъ дѣлѣ удивительно безсмысленный наборъ словъ!—можетъ чувствовать себя побѣдительницей наканунѣ того, что́ и она сама, и лицемѣрное общественное мнѣніе считаютъ позоромъ и паденіемъ. Въ чемъ побѣда, если она кончается позоромъ? въ чемъ позоръ, если онъ есть результатъ побѣды?

Я, впрочемъ, не непосредственно объ этихъ деликатныхъ житейскихъ дѣлахъ хочу говорить, а о томъ освѣщеніи, которое дается имъ попытками точной систематизаціи фактовъ. Передо мною одна изъ такихъ попытокъ,—брошюра г. Рейнгардта «Женщина передъ судомъ уголовнымъ и судомъ исторіи». Тема интересная; есть объ чемъ подумать и поговорить.

Брошюра г. Рейнгардта открывается самыми, повидимому, непреложными данными и доводами, какіе только имѣются въ распоряженіи человѣческаго ума,—данными числовыми, статистическими: цифра есть нѣчто неумолимо точное, безпристрастное, неподкупное. На самомъ дѣлѣ, однако, цифра весьма часто оказывается орудіемъ слишкомъ грубымъ и мертвымъ, чтобы на нее можно было положиться безъ многихъ и многихъ предварительныхъ логическихъ операцій. Такою именно является цифра въ брошюрѣ г. Рейнгардта. Онъ приводитъ, напримѣръ, тотъ статистическій фактъ, что въ Японіи, Индіи, Южной Америкѣ и нѣкоторыхъ частяхъ Сѣверной Америки на 97 мужчинъ, заключенныхъ въ тюрьму, приходится только 3 женщины; въ значительной части Соединенныхъ Штатовъ процентъ женскаго тюремнаго населенія достигаетъ до 10; въ Китаѣ и Европѣ онъ доходитъ до 20; во Франціи приходится около 16 женщинъ на 84 осужденныхъ мужчинъ; въ Туринской тюрьмѣ въ теченіе 14 лѣтъ пе-

ребывало 56,294 мужчинъ и только 7,442 женщины, то есть въ 7 разъ меньше. Отсюда выводъ г. Рейнгардта: «женщина въ моральномъ отношеніи несравненно выше мужчины». Такимъ образомъ, устами г. Рейнгардта, сама наука или по крайней мѣрѣ статистика свидѣтельствуетъ свое почтеніе женщинамъ и, если не называетъ при этомъ женщину «отблескомъ мерцанія майскаго» и «тѣнью селенія райскаго», такъ только потому, что эти восторженныя выраженія не идутъ къ ея, науки, величаво-холодному облику. Г. Рейнгардтъ притягиваетъ, впрочемъ, на защиту своихъ тезисовъ и поэзію, ровно какъ и практическую текущую жизнь или по крайней мѣрѣ уголовную практику. Но посмотримъ нѣсколько ближе на приведенныя цифры и на сдѣланный изъ нихъ нашимъ авторомъ выводъ. Казалось бы, все здѣсь безупречно; цифры, допустимъ, совершенно вѣрны, выводъ очевидно правиленъ. Правильно ли, однако мѣрить «моральную возвышенность» мужчинъ и женщинъ процентомъ поставляемаго тѣми и другими «тюремнаго населенія»? Прежде всего есть не мало видовъ преступленій, недоступныхъ для женщинъ не по «моральности» ихъ природы, а по условіямъ ихъ общественнаго положенія. Напримѣръ, всѣ преступленія, связанныя съ отправленіемъ государственной, а отчасти и частной службы, минуютъ женщинъ уже просто потому, что онѣ на государственную службу не допускаются совсѣмъ, а на частную лишь въ сравнительно немногихъ случаяхъ. Женщинъ-дерзертировъ, или женщинъ, осужденныхъ за превышеніе или бездѣйствіе власти, дѣйствительно нѣтъ, но, весьма вѣроятно, только потому, что нѣтъ женщинъ-солдатъ и женщинъ-чиновниковъ. Жена, мать, дочь, сестра, любовница дезертира или чиновника, превысившаго власть, оказавшаго бездѣйствіе власти или попавшагося во взяткахъ, казнокрадствѣ, въ многоразличныхъ преступленіяхъ по должности, могутъ быть въ моральномъ отношеніи нисколько не выше своего преступнаго мужа, сына и т. д., могутъ быть даже настоящимъ иниціаторомъ и виновникомъ преступленія и, однако, не увеличатъ собою «тюремнаго населенія». Это разъ. Далѣе, по нѣкоторымъ преступленіямъ малочисленность женскаго контингента объясняется не какими-нибудь моральными качествами женщинъ, а ихъ физическою слабостью; таковъ, напр., грабежъ. Женщина можетъ направить своего мужа или сына на большую дорогу, но сама на нее не выйдетъ, потому что, что же она награбитъ? Уголовная статистика свидѣтельствуетъ, что процентъ женщинъ-убійцъ не великъ, но процентъ спеціально отравительницъ сравнительно очень великъ. И это понятно, въ виду физической слабости женщинъ, которая не позволяетъ имъ дѣйствовать открытымъ насиліемъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда моральное чувство не препятствуетъ подсыпать кому слѣдуетъ мышьяку. Есть, наконецъ, преступленія, участіе въ которыхъ не бросаетъ ни малѣйшей тѣни на моральный характеръ преступника, а иногда даже совсѣмъ напротивъ. Въ бурной европейской жизни часто случается, что то самое, что вчера считалось политическимъ преступленіемъ и, какъ таковое, каралось, сегодня восхваляется, какъ патріотическій или геройскій поступокъ. «Тюремное населеніе» Франціи, напримѣръ, послѣ декабрьскаго переворота и во все время владычества Наполеона III, сильно увеличилось, и если въ этомъ приростѣ женщины не участвовали совсѣмъ или участвовали очень мало, то это вовсе не говоритъ о ихъ «моральной возвышенности». Но даже и помимо этихъ случаевъ, пересчитать обитателей тюремъ еще не значитъ приблизиться къ точнымъ выводамъ относительно чьего бы то ни было моральнаго характера. Есть преступленія несомнѣнныя, признаваемыя таковыми «не токмо за страхъ, но и за совѣсть», и которыя, однако, не всякій признаетъ свидѣтельствомъ низкаго моральнаго характера.

Любопытно, что самъ г. Рейнгардтъ принадлежитъ къ числу этихъ «не всякихъ» и приводитъ нѣсколько примѣровъ преступленій, не только не вызывающихъ съ его стороны негодованія или осужденія, но напротивъ привлекающихъ къ себѣ всѣ его симпатіи. Правда эти примѣры относятся исключительно къ женщинѣ, такъ что, снисходительно относясь къ ихъ преступленіямъ, нашъ авторъ не измѣняетъ своей галантности. Онъ начинаетъ съ миѳической преступницы—Медеи. Дама эта убила, какъ извѣстно, изъ ревности Креузу, убила потомъ своихъ дѣтей отъ Язона, но г. Рейнгардтъ галантно винитъ во всей этой страшной драмѣ Язона, а въ Медеѣ видитъ только «типъ женщины, которая, лишившись семьи, оскорбленная въ самыхъ дорогихъ чувствахъ и потерявъ подъ вліяніемъ страшной ревности моральное равновѣсіе, не знаетъ уже никакого другого чувства, кромѣ мести». О чувствахъ и характерѣ Медеи г. Рейнгардтъ говоритъ съ большою симпатіей и уваженіемъ, хотя, по нынѣшнему времени, непремѣнно бы ей въ тюрьмѣ быть, а, значитъ, пребываніе въ тюрьмѣ даже за убійство еще не говоритъ, съ точки зрѣнія самого г. Рейнгардта, о моральной низости. Но Богъ съ ней, съ миѳической Медеей. Замѣчу только, что если собрать различныя сказанія объ этой женщинѣ, то она окажется кровожаднымъ и жестокимъ созда-

ніемъ и помимо убійствъ, вызванныхъ местью за измѣну Язона. Задолго до этой измѣны, въ медовый мѣсяцъ любви, она предала Язону тайну золотого руна, потомъ убила брата своего Абсирта, изрѣзала его трупъ на куски и съ утонченною жестокостью бросала эти куски братнина трупа въ море, чтобы ихъ доставалъ отецъ, преслѣдовавшій ее и Язона. Нѣтъ, нехорошая это была дама, но, повторяю, Богъ съ ней. Обратимся къ одному изъ реальныхъ житейскихъ случаевъ, приводимыхъ г. Рейнгардтомъ.

Въ 1880 г. нѣкая Марія Бьеръ стрѣляла на улицѣ въ Роберта Жансьена и за это судилась. Оказалось, что Жансьенъ соблазнилъ дѣвушку и потомъ бросилъ. Г. Рейнгардтъ очень бранитъ Жансьена и съ большимъ сочувствіемъ относится къ Маріи Бьеръ. Не зная дѣла, не берусь и судить объ немъ. Очень можетъ быть, что Жансьенъ—распутный негодяй, какихъ очень много, а Марія заслуживаетъ полнаго сочувствія. Но, во-первыхъ, это лишній аргументъ противъ отождествленія преступленія съ моральною низостью, а во-вторыхъ, г. Рейнгардтъ приводитъ одно письмо Маріи, «вполнѣ характеризующее состояніе ея души», которое вызываетъ и во мнѣ искреннѣйшее сожалѣніе къ Маріи, но нѣсколько болѣе сложное, чѣмъ то, какое одушевляетъ г. Рейнгардта. Марія пишетъ Жансьену: «Робертъ! еслибы вы знали всѣ тѣ муки, которыя я испытываю, *не видавши васъ два дня*, вы бы пролили потоки слезъ отъ стыда и раскаянія, потому что вѣдь вы не такъ же злы, какимъ хотите казаться». Далѣе она грозитъ своему возлюбленному самоубійствомъ, «чтобы подвергнуть васъ угрызенію совѣсти и чтобы разстроить васъ среди вашихъ наслажденій». Письмо оканчивается требованіемъ: «вернись ко мнѣ, *люби меня*». Да, эта несчастная дѣвушка, дѣйствительно, достойна глубокаго сожалѣнія. Есть безобразная русская поговорка, по всей вѣроятности сочиненная мужчинами: «Люби не люби, да почаще взглядывай». Безобразіе тутъ въ томъ, что для повторяющаго эту поговорку совершенно наплевать на внутренній, душевный міръ его возлюбленной: пожалуй, молъ, не люби, мнѣ это все равно, мнѣ взглядъ нуженъ, взглядъ, ласка и все прочее, хоть изъ-подъ палки. Я не знаю, кого больше унижаетъ такая любовь: того ли, кто ее требуетъ и беретъ, или ту, кто ее даетъ. Но какъ ни отвратительны подобныя отношенія, а требованіе Маріи Бьеръ—«вернись ко мнѣ, люби меня»—въ своемъ родѣ, пожалуй, еще хуже. Оно не такъ грубо съ внѣшней стороны и на первый взглядъ, потому что Марія къ чувству взываетъ. Но тѣмъ возмутительнѣе, или, въ лучшемъ случаѣ, тѣмъ безумнѣе эта попытка насилія надъ чужой душой, попытка, завѣдомо обреченная на неуспѣхъ и потому способная только мучительно осложнить дѣло. Марія могла требовать, чтобы ея Робертъ являлся къ ней не черезъ два дня, а каждый день. Еслибы онъ это дѣлалъ противъ своего желанія, то хорошаго тутъ ничего бы не вышло, но по крайней мѣрѣ онъ могъ исполнить это требованіе, равно какъ взять на себя всяческую отвѣтственность своего сближенія съ Маріей. Онъ могъ бы даже до гробовой доски донести это ярмо, но любить, когда не любишь... что можетъ быть ужаснѣе и безумнѣе той тираніи, которая заключается въ этомъ, повидимому, столь трогательномъ требованіи? Перенесите это требованіе изъ сферы отношеній между мужчиной и женщиной въ другія рамки, въ другую обстановку, и вы навѣрное возмутитесь, но здѣсь васъ подкупаетъ несчастіе Маріи Бьеръ. Да, она по истинѣ несчастна. Несчастна, во-первыхъ, тѣмъ, что судьба столкнула ее съ распутнымъ негодяемъ, а во-вторыхъ, тѣмъ, что можетъ, угрожая самоубійствомъ или убійствомъ, требовать: люби меня...

Чтобы достойно оцѣнить это послѣднее несчастіе, послѣдуемъ дальше за г. Рейнгардтомъ. «Возвышенные женскіе характеры» нашъ авторъ сводитъ къ тремъ типамъ: Пенелопы, Эгеріи и Сивиллы. Все это возвышенные характеры, но особенною симпатіей автора пользуется, кажется, типъ Пенелопы. Онъ говоритъ: «Дѣятельность Пенелопы, повидимому, ничтожна, неширока, она вся сосредоточилась на интересахъ семьи, на мелкомъ домашнемъ хозяйствѣ, но, однако, это та скромная, муравьиная работа, незамѣтная для простого наблюдателя, но представляющаяся грандіозной по своимъ результатамъ. Женщина типа Пенелопы оказала величайшую услугу человѣчеству: этотъ типъ создалъ семью, создалъ родину, возбудилъ въ непостоянной и безпокойной натурѣ мужчины любовь къ постоянству, сдѣлавъ милымъ домашній очагъ, родную землю». Входя въ подробности, авторъ почему-то совсѣмъ не говоритъ о материнскихъ добродѣтеляхъ и заслугахъ этого типа, но за то высоко цѣнитъ непреоборимую вѣрность Пенелопы мужу своему, Одиссею. Онъ высказываетъ при этомъ мысль о высокомъ нравственномъ значеніи вѣчнаго вдовства, ссылаясь и на слова Огюста Конта и Вовенарга, и на ветхозавѣтный примѣръ Юдифи, которая осталась до конца дней своихъ вѣрною памяти мужа своего Манассіи, хотя жениховъ у нея было можетъ быть не меньше, чѣмъ у Пенелопы. Юдифь, впрочемъ, относится уже къ типу Сивиллы, а не Пенелопы. Закан-

чивая свой очеркъ типа Пенелопы, авторъ говоритъ много любезностей женщинѣ, которая «прежде мужчины съумѣла подчинить самые энергическіе инстинкты животной натуры требованіямъ нравственнаго идеала», которая «прежде мужчины стала проявлять симпатическія чувства» и т. д. Однако, скромною, хотя и великою ролью Пенелопы г. Рейнгардтъ не ограничиваетъ жизненное поприще благородныхъ женскихъ характеровъ. Они могутъ выражаться еще въ типѣ Эгеріи— мудрой совѣтницы, вдохновительницы мужчины на великіе подвиги, и Сивиллы, которая сама совершаетъ благое, иногда великое дѣло на пользу человѣчества, независимо отъ мужчины.

Если имя нимфы Эгеріи, вдохновлявшей нѣкогда Нуму Помпилія, можетъ быть совершенно правомѣрно усвоено всякой совѣтницѣ и вдохновительницѣ мужчины, то едва ли столь же умѣстно названіе Сивиллы для женщины, дѣйствующей за свой собственный страхъ и счетъ. Повидимому, г. Рейнгардтъ совсѣмъ нечаянно обобщилъ имя миѳической прорицательницы, увлекшись Мишле, у котораго онъ заимствовалъ краснорѣчивую страницу, не позаимствовавшись общимъ поэтическимъ колоритомъ, многое оправдывающимъ. Дѣло, впрочемъ, не въ названіи, а въ томъ, что г. Рейнгардтъ склоненъ находить настоящихъ Сивиллъ преимущественно во времена, отъ насъ болѣе или менѣе отдаленныя: Девора, Юдифь, Іоанна д'Аркъ. Сюда же онъ причисляетъ, слѣдуя Мишле, и опять-таки, повидимому, совсѣмъ нечаянно (сейчасъ скажу, почему я такъ думаю), средневѣковыхъ «знахарокъ, колдуній, волшебницъ». Всѣ эти фигуры кажутся г. Рейнгардту изъ своей исторической дали прекрасными, возвышенными. Переходя ко временамъ новѣйшимъ, онъ встрѣчаетъ все больше уже не настоящихъ Сивиллъ, а какъ-бы неудачныя пародіи на Сивиллу. Такими представляются ему женщины французской революціи: г-жа Роланъ, г-жа Сталь, Олимпія де-Гужъ, Теруань де-Мерикуръ «и нѣкоторыя другія». По мнѣнію г. Рейнгардта, «въ бурныя общественныя эпохи женщины иногда стремятся выдвинуться впереди политическаго движенія, но попытки ихъ въ большинствѣ случаевъ оказываются неудачными. Увлекаясь зачастую честолюбивыми стремленіями, погружаясь въ міръ мелкихъ интригъ и низкихъ страстей, онѣ падаютъ подъ ударами событій, не оставивъ прочнаго слѣда своей эфемерной дѣятельности; но въ особенности печальна бываетъ участь тѣхъ, которыя, не соразмѣривъ своихъ силъ, не понявъ хорошенько хода событій и руководствуясь только порывами своего сердца, а не разсудка, бросаются въ общественную дѣятельность, когда въ этомъ нѣтъ никакой надобности». Вышеупомянутыя женщины французской революціи «увлеклись дѣломъ, несоотвѣтствующимъ ни роли, ни характеру женщины». «Несравненно симпатичнѣе представляются тѣ изъ женщинъ этой эпохи, которыя не вмѣшивались въ борьбу политическихъ партій, но, посвящая себя семейной жизни, ограничили свою дѣятельность небольшимъ, скромнымъ кругомъ, гдѣ вліяніе ихъ было чрезвычайно сильно и благотворно». Съ особенною любовью останавливается нашъ авторъ на дѣйствительно прекрасномъ образѣ г-жи Кондорсэ, которая по справедливости заслуживаетъ имени Эгеріи. Въ общемъ итогѣ «существуетъ громадная разница между мужчиной и женщиной не только въ физическомъ и моральномъ отношеніи, но и въ соціальномъ назначеніи того и другого пола. Удѣлъ мужчинъ—тяжелая, физическая работа, борьба съ препятствіями, созданными природой и соціальными условіями; удѣлъ женщинъ, по крайней мѣрѣ, значительнаго большинства — семейная жизнь, колыбель моральныхъ качествъ».

Чувствуя, должно быть, что всѣмъ вышеприведеннымъ еще не исчерпываются различные женскіе типы, г. Рейнгардтъ дополняетъ свою коллекцію еще образомъ леди Макбетъ, тоже своего рода Эгеріи, но вдохновляющей своего мужа на злыя дѣла, затѣмъ предсѣдательницами или хозяйками знаменитыхъ салоновъ XVIII вѣка (маркиза Ламбертъ, маркиза Тенсенъ, г-жи Жофренъ, Дюдефанъ и проч.), въ которыхъ видитъ явленіе значительное и высокое. Наконецъ, къ брошюрѣ приложена статья «Дѣвичій бунтъ на Уралѣ въ 1839 г.», не имѣющая, впрочемъ, органической связи съ остальнымъ содержаніемъ брошюры.

Г. Рейнгардтъ очень не жалуетъ Донъ-Жуана, это для него бранное слово. А понимаетъ онъ Донъ-Жуана исключительно въ предѣлахъ обманныхъ «медовыхъ рѣчей», обращаемыхъ къ женщинамъ. Я не буду говорить о томъ, насколько это вульгарное пониманіе узко и одностороние, насколько имъ не обнимается крупная фигура Донъ-Жуана. Но если ужъ г. Рейнгардтъ упорствуетъ въ такомъ толкованіи, то я скажу, что г. Рейнгардтъ и есть настоящій Донъ-Жуанъ, ибо онъ расточаетъ въ своей *брошюрѣ* «медовыя рѣчи» въ хвалу и славу женщинъ, и рѣчи тѣ обманныя.

Мы видѣли любезности, которыя г. Рейнгардтъ говоритъ женщинамъ при помощи статистики: женщина въ моральномъ отношеніи несравненно выше мужчины, потому что рѣже въ тюрьмѣ сидитъ. Но мы видѣли также, что выводъ этотъ по малой мѣрѣ грубъ, скороспѣлъ и требуетъ нѣкоторыхъ

поправокъ. А вотъ какъ тотъ же авторъ любезничаетъ при помощи этнографіи и исторіи культуры. Онъ утверждаетъ, что женщина прежде мужчины подчинила свою животную натуру требованіямъ нравственнаго идеала и, не довольствуясь этой голой фразой, приводитъ фактическую иллюстрацію: «уничтоженіе, напримѣръ, людоѣдства въ Полинезіи произошло въ новѣйшее время, почти на нашихъ глазахъ, подъ вліяніемъ женщинъ, что даетъ весьма твердое основаніе къ предположенію важной роли ихъ въ прошедшую эпоху относительно прекращенія этого страшнаго обычая, который господствовалъ нѣкогда повсемѣстно». Г. Рейнгардъ ссылается при этомъ на книгу Летурно «L'évolution de la morale», не облегчая, впрочемъ, читателю дѣло справки и провѣрки указаніемъ на страницы цитируемой книги. Летурно, дѣйствительно, говоритъ о вліяніи женщинъ на ослабленіе людоѣдства, но то, что онъ говоритъ, отнюдь не можетъ служить подтвержденіемъ мыслей г. Рейнгардта. Указавъ на то, что въ Новой Зеландіи людоѣдство практикуется прекраснымъ поломъ столь же беззастѣнчиво, какъ и мужчинами, Летурно говоритъ, что въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ людоѣдство строго запрещено женщинамъ, равно какъ и низшимъ классамъ. Путемъ наслѣдственности инстинктовъ и привычекъ это вынужденное воздержаніе отъ человѣческаго мяса перешло у женщинъ въ отвращеніе. Летурно рѣшительно говоритъ и доказываетъ сопоставленіемъ фактовъ, что тутъ нельзя думать о «болѣе высокомъ нравственномъ уровнѣ женщинъ, ихъ чувствительности, гуманности и т. п.». Онъ продолжаетъ: «Жрецы и высшій классъ запретили женщинамъ каннибализмъ. И это не въ виду моральныхъ цѣлей, а просто изъ обжорства (par simple gourmandise). Для женщинъ на человѣческое мясо было наложено *табу*, совершенно такъ же, какъ на свинину, и по той же причинѣ. Отсюда въ женскомъ мозгу сложилась спеціальная повадка, вполнѣ аналогичная той, которая не позволяетъ охотничьей собакѣ бросаться на куропатку. Въ принципѣ опредѣляющіе мотивы были одного и того же рода: для животнаго это былъ страхъ передъ плетью, для полинезійки еще болѣе сильный страхъ, потому что всякое нарушеніе *табу* наказывается въ Полинезіи смертью. Отъ такой строгой дрессировки въ полинезійкѣ сложилось отвращеніе къ человѣческому мясу, а такъ какъ и мужчины наслѣдуютъ въ извѣстной мѣрѣ нравственныя черты матерей», то и т. д. (Летурно, op. cit, 98, 99).

Справедливо разсужденіе Летурно или нѣтъ, но ясно, что г. Рейнгардтъ не имѣлъ никакого права повергать этого почтеннаго ученаго къ ногамъ прекрасныхъ дамъ, потому что, по Летурно, женщина не въ силу своей моральной возвышенности отказалась отъ людоѣдства, а просто ей его, подъ страхомъ смертной казни, запретили. Не только, значитъ, не оправдана ссылка на Летурно, но и общая точка зрѣнія французскаго ученаго стоитъ въ самомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ точкой зрѣнія г. Рейнгардта. Послѣдній полагаетъ, что женщинѣ, какъ таковой, то есть по самой ея природѣ, присущи извѣстныя нравственныя качества, независимо отъ спеціальныхъ общественныхъ условій, въ которыхъ она находится. Этой-то интимной природѣ женщины и поетъ г. Рейнгардтъ гимны въ прозѣ: и такая она, и сякая, отблескъ мерцанія майскаго, лучъ золотой изъ селенія райскаго; попадаются, конечно, исключенія, но и то больше въ такихъ случаяхъ мужчина виноватъ. Летурно, напротивъ того, показываетъ, какъ подъ вліяніемъ условій природы и общественной среды нравственный обликъ женщины измѣняется въ весьма широкихъ предѣлахъ. Онъ до такой степени нелюбезенъ, что благородное отвращеніе полинезійскихъ женщинъ отъ человѣческаго мяса ставитъ за одну скобку съ инстинктомъ охотничьей собаки, дѣлающей стойку, и съ ея отвращеніемъ къ дичи. Конечно, это не «медовыя рѣчи» Донъ Жуана, но въ нихъ, мнѣ кажется, больше не только правды, а и настоящаго уваженія къ женщинамъ, чѣмъ въ медовыхъ рѣчахъ г. Рейнгардта. Съ той точки зрѣнія, на которой стоитъ Летурно въ приведенномъ отрывкѣ, женщина можетъ спускаться въ очень низкіе нравственные омуты, но можетъ и подниматься на такую высоту, какая даже вовсе не желательна Донъ-Жуанамъ съ медовыми рѣчами. Медовую, но и обманную рѣчь ведетъ г. Рейнгардтъ, когда доказываетъ высокій уровень нравственной природы женщинъ сравнительно малой пропорціей женскаго тюремнаго населенія. Медовую, но опять же обманную рѣчь ведетъ онъ и тогда, когда говоритъ двусмысленности о Сивиллахъ. Да, это двусмысленности. Пока дѣло идетъ о Деворѣ, Юдифи, Іоаннѣ д'Аркъ, онъ восторгается. Но вѣдь все это такъ давно было, что даже миѳическимъ быльемъ поросло. Это образы, теряющіеся въ туманной дали вѣковъ, а когда рѣчь заходитъ о новѣйшихъ временахъ, г. Рейнгардтъ находитъ, что женщины этого самаго типа «увлеклись дѣломъ, не соотвѣтствующимъ ни роли, ни характеру женщины». Дѣло не въ томъ только, что г-жи Роланъ, Сталь, Олимпія де-Гужъ, Теруань де-Мерикуръ запутались въ «мірѣ мелкихъ интригъ и низкихъ страстей»,—это вѣдь и

съ мужчинами случается, не правда ли, г. Рейнгардтъ?—нѣтъ, самое дѣло, за которое онѣ взялись, не соотвѣтствуетъ «ни роли, ни характеру женщины». А Девору и Юдифь совсѣмъ не нужно принимать въ серьезъ, это только красивая иллюстрація къ медовой рѣчи, ни къ чему не обязывающая ни оратора, ни его аудиторію,—совершенно такъ же, какъ и медовыя рѣчи Донъ-Жуана. Или вотъ средневѣковыя «знахарки, колдуньи, волшебницы». Я говорилъ, что онѣ попали въ кругъ хвалы г. Рейнгардта нечаянно. Онъ слѣдовалъ въ этомъ отношеніи Мишле. Но Мишле поэтизировалъ колдунью въ сочиненіи, спеціально посвященномъ этому предмету (La sorcière), а нашъ авторъ трактуетъ о «женщинѣ передъ судомъ уголовнымъ и судомъ исторіи» и свободно гуляетъ по всѣмъ временамъ и народамъ отъ гуманнѣйшей полинезійки и миѳической Медеи до какой-нибудь Маріи Бьеръ, которая въ лѣто отъ Р. Х. 1880 приставляетъ человѣку ножъ къ горлу и кротко говоритъ: «люби меня». Неужто же на всемъ этомъ огромномъ пространствѣ нѣтъ уже больше ничего подобнаго воспѣтымъ Мишле знахаркамъ, колдуньямъ и волшебницамъ? La sorcière Мишле есть, съ одной стороны, дѣйственная протестантка противъ феодальнаго строя, такъ что Мишле приводитъ ее въ связь съ страшными крестьянскими возстаніями, а съ другой стороны—это носительница тайныхъ въ ту пору знаній: женщина-врачъ, акушерка, сестра милосердія. Представляютъ ли что-нибудь подобное новѣйшія времена, конечно, въ новыхъ формахъ и въ новой обстановкѣ? Разумѣется; но г. Рейнгартъ въ такихъ случаяхъ восторгается только передъ явленіями, поросшими историческимъ мохомъ. Девора, Юдифь, это превосходно, но еслибы сейчасъ явились подражательницы этихъ героическихъ женщинъ, то нашъ Донъ-Жуанъ сказалъ бы, что онѣ увлеклись дѣломъ, не соотвѣтствующимъ ни роли, ни характеру женщины. О явленіяхъ, составляющихъ продолженіе или возрожденіе того, что Мишле разумѣлъ подъ словомъ sorcière, г. Рейнгардтъ не говоритъ ни единаго слова, и изъ-подъ обманныхъ медовыхъ рѣчей о Сивиллахъ, дѣйствующихъ за свой собственный страхъ и счетъ помимо мужчины, выплываетъ интимная мысль нашего Донъ-Жуана: «существуетъ громадная разница между мужчиной и женщиной... удѣлъ женщинъ—семейная жизнь, колыбель моральныхъ качествъ».

Называя г. Рейнгардта Донъ-Жуаномъ, я, конечно, не думаю приписывать ему тѣ слишкомъ ужъ спеціальныя свойства и цѣли, которыми толпа (въ томъ числѣ и г. Рейнгардтъ) попрекаетъ легендарнаго севильскаго героя. Г. Рейнгардтъ стоитъ, напротивъ, горой за нравственность, за семейный союзъ. Но тѣмъ не менѣе, онъ говоритъ женщинамъ обманныя медовыя рѣчи. Восхваляя сверхъ мѣры и правды нравственную природу женщинъ, онъ, однако, желаетъ, чтобы эта высокая женская нравственность такъ и осталась лежать въ «колыбели моральныхъ качествъ», отнюдь не освѣщаю собою сколько-нибудь широкій районъ. Пусть женщина любитъ, пусть любовью покоитъ и вдохновляетъ мужчину, пусть она будетъ непреоборимо вѣрна своему мужу, даже до вѣчнаго вдовства,—таковъ идеалъ. Онъ, конечно, прекрасенъ, хотя, можетъ быть, съ нашей, мужской, стороны немножко жестоко требовать любви и непреоборимой вѣрности даже изъ-за гроба. Но такіе гимны представляются мнѣ глубоко оскорбительными для женщины. Что это за возвышенная нравственность, которая хороша только въ колыбели, а какъ только высунется изъ нея, такъ и гибнетъ въ водоворотѣ «честолюбивыхъ стремленій, мелкихъ интригъ и низкихъ страстей»? Подъ стекляннымъ колпакомъ мало-ли что можно сохранить, но эта охрана не дѣлаетъ большой чести охраняемому. Я лучшаго мнѣнія о женщинахъ, хотя и не утверждаю, что онѣ — отблескъ мерцанія майскаго, и не дѣлаю заключенія о высокой женской нравственности изъ того факта, что ихъ въ тюрьмахъ сидитъ меньше, чѣмъ мужчинъ. Я думаю, что женщина—человѣкъ, что ничто человѣческое ей не чуждо и что великій грѣхъ лежитъ на душахъ тѣхъ вывороченныхъ на изнанку Донъ-Жуановъ, которые обманными медовыми рѣчами загоняютъ женщину въ клѣтку любви. Хорошее дѣло любовь, но есть и другія хорошія дѣла. Не добро человѣку быти единому, но не добро ему также держаться какой-нибудь единой опоры въ жизни. Несчастная Марія Бьеръ и всѣ ей подобныя, къ печальной судьбѣ которыхъ г. Рейнгардтъ относится съ такимъ горячимъ сочувствіемъ, тѣмъ именно и несчастны, что у нихъ въ жизни нѣтъ ничего цѣннаго, кромѣ любви. Оборвалась эта нитка—и все пошло прахомъ: не за что ухватиться, нечѣмъ жить, элементы жизни спутываются въ какую-то дикую фантасмагорію, среди которой оказывается возможнымъ нацѣлить дуло револьвера на любимаго человѣка и требовать: люби!

Да, г. Рейнгардтъ, говорить обманныя медовыя рѣчи не хорошо, очень не хорошо!..

XIII.

О воспитаніи и наслѣдственности.

По полю знанія проносится иногда дуновеніе моды. Извѣстныя истины или кажущіяся истины, составляющія послѣднее слово науки, заслоняютъ, по крайней мѣрѣ на болѣе или менѣе продолжительное время, всякія попытки иначе истолковать подлежащіе истолкованію факты. Оригинальность забивается куда-то въ темные углы, являются своего рода самоотверженные модники, не хуже тѣхъ, которые терпятъ мученія отъ остроносыхъ сапоговъ, или перетянутыхъ талій, или другой какой утрировки общепринятаго, господствующаго. Такъ было, напримѣръ, съ дарвинизмомъ. Велико и плодотворно было значеніе этого переворота въ наукѣ. Ученіе Дарвина разлилось по самымъ разнообразнымъ отраслямъ знанія, орошая и обогащая ихъ, подобно тому, какъ разливы Нила орошаютъ и обогащаютъ широкую полосу Египта. Но... не знаю хорошенько, но думаю, однако, что разливы великой африканской рѣки несутъ съ собою и коекакія бѣды въ родѣ лихорадокъ и разной ненужной и непріятной твари. Во всякомъ случаѣ нѣчто подобное было однимъ изъ результатовъ разлива дарвинизма. Самоотверженные модники, не справлявшіеся ни съ другими теченіями въ наукѣ, ни съ работой человѣческаго духа въ области идеаловъ, и съ странною радостью возводившіе фактъ неустанной, лютой борьбы за существованіе въ вѣковѣчный принципъ, между прочимъ, и человѣческаго общежитія, носили утрированно-остроносые сапоги. Многимъ изъ нихъ было, вѣроятно, больно, но такова уже сила моды,— ничего не подѣлаешь! Въ нѣкоторыхъ истинно-чудовищныхъ практическихъ выводахъ изъ теоріи борьбы за существованіе сказывалось именно какое-то щегольство или франтовство неудобнымъ, даже до мучительства, моднымъ костюмомъ. Наконецъ, мода эта, какъ и всякая мода, пройдя извѣстный циклъ развитія, изжила сама себя и затихла. Не совсѣмъ однако. Теперь уже рѣдко можно встрѣтить что-нибудь новое въ области безсмысленно-жестокихъ практическихъ выводовъ собственно изъ теоріи борьбы. Но одна изъ теоретическихъ опоръ дарвинизма, не имъ открытая, но имъ систематизированная и прочно обоснованная, еще недавно составляла, да и до сихъ поръ составляетъ источникъ для нѣкотораго мучительства или мученичества моды.

Практическій здравый смыслъ всегда зналъ, что яблочко отъ яблони недалеко падаетъ, что отъ карася не родится порося, что жнется именно то, что сѣется и т. д. Такъ формулировалъ простой здравый смыслъ законъ наслѣдственности, а садоводы, скотоводы, коннозаводчики, псари, голубятники и проч. испоконъ вѣку примѣняли этотъ законъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ и въ самыхъ виртуозныхъ формахъ. Это не мѣшало, однако, существованію иногда смутнаго, а иногда вполнѣ опредѣленнаго убѣжденія, что человѣкъ родится въ видѣ нѣкоторой бѣлой страницы, на которой можно написать все, что угодно. Съ этой точки зрѣнія, воспитаніе и условія среды цѣликомъ создаютъ человѣка. Мнѣніе это имѣло особенно яркихъ представителей въ прошломъ вѣкѣ, что вполнѣ соотвѣтствовало, впрочемъ, бодрому и дѣйственному духу того времени. Казалось, стоило только выработать извѣстный цѣлесообразный планъ воспитанія и общественнаго устройства, чтобы привить людямъ всѣ достоинства. Конечно, и это дѣло нелегкое, но во всякомъ случаѣ это дѣло рукъ человѣческихъ, направляемыхъ сознаніемъ и волею, а не какихъ-нибудь непреоборимыхъ стихійныхъ силъ. Ученіе Дарвина положило, повидимому, конецъ всѣмъ подобнымъ надеждамъ, систематизировавъ всѣмъ извѣстные факты наслѣдственности, дополнивъ ихъ фактами, дотолѣ неизвѣстными или не обращавшими на себя вниманія, и сложивъ всю эту громаду фактовъ въ грозную силу. А затѣмъ объявились мученики моды въ остроносыхъ сапогахъ. Все злое, преступное, больное стали ставить на счетъ наслѣдственности, едва-едва, на второмъ планѣ, упоминая о вліяніи воспитанія и среды. Явились въ огромномъ количествѣ наслѣдственные декаденты, деграданты, атависты, прирожденные преступники, вырождающіеся и проч. И число ихъ должно все рости и рости, говорятъ намъ. «Не слѣдуетъ думать,— говоритъ одинъ французскій ученый, — что приливъ новой крови можетъ поднять вырождающуюся семью: при такихъ скрещиваніяхъ не столько выигрываетъ вырождающаяся раса, сколько теряетъ здоровая. Слабый долженъ погибнуть, таковъ фатальный законъ» (Ch. Féré. Sensation et mouvement). Любопытно слѣдующее замѣчаніе того же автора: «Наслѣдственность вырожденія есть нынѣ фактъ вполнѣ установленный, равно какъ и ея прогрессирующая наращаемость... Но у нѣкоторыхъ вырождающихся нельзя уловить никакихъ слѣдовъ наслѣдственныхъ пороковъ, и въ такихъ случаяхъ надо искать другихъ причинъ... Позволительно думать, что чувственныя возбужденія и сильныя повторныя волненія матери во время беременности опредѣляютъ собою возмущенія въ питаніи плода и въ особенности его нервной системы; эти вырождающіеся не

могутъ отличаться отъ вырождающихся наслѣдственныхъ». Это, конечно, совершенно справедливо, но любопытно, что Фере, отправляясь за поисками «другихъ причинъ» вырожденія, находитъ ихъ всетаки близко отъ наслѣдственности и только тутъ. Близкія къ этому положенія и выводы итальянской, такъ называемой, антропологической, а въ сущности развѣ только антропометрической школы криминалистовъ — достаточно извѣстны. Хотя нѣкоторые представители этой школы и отмѣчаютъ вліяніе воспитанія и соціальныхъ условій на преступность, но центромъ тяжести послѣдней всетаки оказывается наслѣдственная неуравновѣшенность организаціи, съ которою уже ничего не подѣлаешь. Эмиль Зола рисуетъ въ своемъ романѣ человѣка, повидимому, совершенно нормальнаго, въ которомъ, однако, вдругъ просыпается кровожадный инстинктъ, полученный наслѣдственнымъ путемъ отъ отдаленныхъ предковъ-дикарей, и всѣ усилія воли этого несчастнаго разбиваются о непреоборимый элементъ наслѣдственности: онъ— обреченный, прирожденный преступникъ. Enfant terrible итальянскихъ криминалистовъ, Ломброзо, написалъ по этому поводу сочувственное и хвалебное письмо Эмилю Зола, такому же enfant terrible французскихъ романистовъ-натуралистовъ...

Я не буду распространяться, о томъ, что доля истины, и весьма значительная, несомнѣнно, заключается во всѣхъ этихъ безотрадныхъ разсужденіяхъ о грозной мощи стихійнаго элемента наслѣдственности; не буду говорить и о частныхъ преувеличеніяхъ, иногда—просто смѣшныхъ. Вопросъ въ томъ, что же дѣлать съ этимъ лавинообразнымъ, все наростающимъ движеніемъ нервной и нравственной неуравновѣшенности, нейрастеническаго вырожденія, наслѣдственной склонности къ преступленію? Самая огромность этого явленія, казалось бы, обязываетъ насъ не къ созерцанію новоявленной бѣды, а къ изысканію средствъ для борьбы съ ней.

Талантливый французскій писатель Гюйо говоритъ въ недавно вышедшемъ посмертномъ сочиненіи—«Education et hérédité»: «Многіе современные ученые и философы увѣрены, что воспитаніе радикально-безсильно, когда дѣло идетъ о глубокихъ измѣненіяхъ наслѣдственнаго темперамента и характера. По ихъ мнѣнію, преступники родятся, какъ и поэты; судьба ребенка предначертана въ утробѣ матери и затѣмъ непреоборимо развертывается въ жизни. Нѣтъ лекарствъ противъ той общей всѣмъ неуравновѣшеннымъ, сумасшедшимъ, преступникамъ, поэтамъ, визіонерамъ, истерическимъ женщинамъ, болѣзни, которую назвали нейрастеніей; расы спускаются по лѣстницѣ жизни и нравственности, но никогда не поднимаются. Неуравновѣшенные навсегда потеряны для человѣчества; горе ему, если они даютъ потомство болѣе или менѣе продолжительное. Семья Юке, имѣвшая предкомъ пьяницу, выставила въ семьдесятъ пять лѣтъ 200 воровъ и убійцъ, 288 калѣкъ и 90 проститутокъ. Въ древности цѣлыя семьи были объявлемы нечистыми и проклятыми. Древность была права, говорятъ намъ. Еврейскія проклятія имѣли силу до пятаго колѣна; у современной науки есть такія же проклятія». Гюйо не думаетъ, однако, чтобы можно было довольствоваться въ этомъ случаѣ проклятіями. Онъ говоритъ: «Между силою, приписываемою нѣкоторыми мыслителями воспитанію, и тою, которую другіе присвоиваютъ наслѣдственности, существуетъ антиномія, проникающая всю этику и даже политику, потому что политика безсильна, если результаты наслѣдственности неотвратимы. Такимъ образомъ возникаетъ задача, заслуживающая самаго серьезнаго вниманія».

Прежде чѣмъ слѣдовать за Гюйо въ его попыткѣ свести счеты между наслѣдственностью и воспитаніемъ, вернемся на минуту къ Фере.

Не имѣя возможности объяснить нѣкоторыя занимающія его патологическія явленія излюбленною теоріей наслѣдственности, Фере рѣшаетъ, что надо искать «другую причину». Естественно было бы ожидать, что онъ обратится за поисками въ обширную область условій воспитанія и вліяній общественныхъ. Онъ, однако, даже не пытается заглянуть въ эту область. Онъ открываетъ искомую «другую причину» лишь въ чувственныхъ возбужденіяхъ и сильныхъ волненіяхъ беременной женщины, дурно отзывающихся на развитіи нервной системы плода. А отсюда онъ дѣлаетъ единственный и притомъ чисто отрицательный практическій выводъ: беременная женщина должна воздерживаться отъ чувственныхъ возбужденій и сильныхъ волненій, если не хочетъ увеличить своимъ ребенкомъ число декадентовъ, деградантовъ, вырождающихся и т. д. Какова бы ни была степень правильности этого вывода, но его скудость очевидна. Допуская даже, что кромѣ наслѣдственности есть только одинъ источникъ распространенія въ современномъ обществѣ нравственной и умственной неуравновѣшенности и что источникъ этотъ есть именно тотъ, который указалъ Фере, фактъ указанныхъ отношеній между беременной женщиной и утробною жизнью младенца несравненно богаче и значительнѣе, чѣмъ сдѣланный изъ него выводъ. Въ самомъ дѣлѣ, если извѣстныя психо-физическія состоянія, переживаемыя организмомъ беременной жен-

щины, могутъ дурно отзываться на развитіи младенца, то надо полагать, что возможны и такія состоянія, которыя отзываются на младенцѣ, напротивъ того, благотворно. А если такъ, то передъ нами встаетъ задача, практически, можетъ быть, и трудно осуществимая и требующая еще многихъ предварительныхъ изслѣдованій, но всетаки возможная и допускающая вполнѣ сознательное воздѣйствіе на физическій и нравственный обликъ младенца, какъ въ отрицательномъ, такъ и въ положительномъ направленіи.

Въ книгѣ Льебо «Le sommeil provoqué et les états analogues» есть чрезвычайно интересная глава, озаглавленная «Education antérieure», что, въ данномъ случаѣ, по-русски лучше всего было бы перевести словами «утробное воспитаніе». Здѣсь собрано много фактовъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что мысль и душевное настроеніе матери самымъ явственнымъ образомъ отражаются на организмѣ младенца. Многое здѣсь довольно сомнительно и требуетъ дальнѣйшихъ наблюденій и изслѣдованій, что хорошо понимаетъ и самъ Льебо. Но онъ увѣренъ, что, сосредоточивая вниманіе беременной женщины на предметахъ высокихъ и прекрасныхъ,—для чего особенно удобны состояніе гипнотическаго сна и другія подобныя состоянія концентрированнаго вниманія,—«утробное воспитаніе» можно довести до степени настоящаго, планомѣрнаго воспитанія въ полномъ смыслѣ этого слова. Мысль Льебо не нова по существу. Практика жизни и здѣсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, въ зародышевомъ видѣ предвосхитила выводы теоретической мысли. Да и въ этой области Льебо не есть какой-нибудь новаторъ. Ново въ данномъ случаѣ только примѣненіе гипнотизма. Что же касается отношеній «утробнаго воспитанія» къ наслѣдственности, то Льебо различаетъ основныя черты, въ которыхъ наслѣдственность царитъ безусловно, передъ которыми утробное воспитаніе безсильно, и черты измѣнчивыя, каковы: «вкусы, аппетиты, чувства, страсти, инстинкты, способности, размѣръ и форма органовъ и проч.».

Обратимся теперь къ Гюйо. Еще въ 1883 г., въ письмѣ въ редакцію «Revue philosophique», Гюйо обратилъ вниманіе на сходство между результатами гипнотическихъ внушеній и проявленіями инстинкта и на возможность примѣненія внушеній къ воспитанію, съ цѣлью устраненія дурныхъ инстинктовъ и прививки или укрѣпленія добрыхъ. Въ вышеупомянутомъ посмертномъ сочиненіи Гюйо, вышедшемъ въ настоящемъ году, мысль эта является руководящею. Не слѣдуетъ, однако, думать, чтобы Гюйо рекомендовалъ прямо гипнотизировать ребятъ. То, что называется гипнотизмомъ, есть для него только исходная точка.

Маленькое отступленіе. Въ одномъ старомъ русскомъ переводѣ одной старой, но далеко не устарѣвшей французской книги («Сонъ и сновидѣніе» Мори; имени переводчика не помню,—кажется, Пальховскій) слово suggestion, нынѣ всегда переводимое словомъ «внушеніе», передается словомъ «навожденіе». Мнѣ кажется, что терминъ этотъ не заслуживаетъ забвенія. Не говоря о томъ, что онъ напоминаетъ массу темныхъ явленій, давно подмѣченныхъ народомъ, но только теперь получающихъ раціональное разъясненіе, терминъ этотъ прекрасно передаетъ самую сущность гипнотическихъ явленій: гипнотикъ именно «наводится» чужою волею на извѣстныя мысли, чувства, поступки. А въ нѣкоторыхъ случаяхъ слово «внушеніе» едва ли даже умѣстно. Когда гипнотизеръ прямо приказываетъ усыпленному сдѣлать то-то и то-то, онъ пожалуй внушаетъ, но когда онъ, напримѣръ, придаетъ гипнотику угрожающую позу и тотъ уже самъ собой проникается гнѣвнымъ чувствомъ, онъ, несомнѣнно, только «наводитъ». Путемъ такого навожденія загипнотизированному временно, но иногда на довольно значительный срокъ, прививаются извѣстныя мысли и чувства, совершенно ему чужія. Можно честнаго человѣка заставить украсть, онъ будетъ колебаться, бороться самъ съ собой и, въ концѣ концовъ всетаки украдетъ, повинуясь несознаваемому имъ долгу. Можно женщину безупречной нравственности, наслѣдственно, черезъ цѣлый рядъ благородныхъ предковъ усвоившую себѣ инстинкты чести и стыда, навести на мысль, что она кокотка. И т. д. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ все, накопленное путемъ наслѣдственности, рѣшительно пасуетъ предъ вторженіемъ совершенно новаго, чужого, внѣдреннаго со стороны. Правда, эффектъ этотъ достигается временно и притомъ на субъектахъ, болѣе или менѣе исключительныхъ. Но, полагаетъ Гюйо, въ меньшей степени и въ менѣе замѣтныхъ формахъ всѣ люди, даже вполнѣ нормальные, способны поддаваться внушенію или навожденію. Способность эта у нормальныхъ людей и при обыкновенныхъ условіяхъ не такъ рѣзко выражена, какъ, напримѣръ, у истерической женщины, намѣренно обставленной условіями, способствующими наступленію гипнотическихъ эффектовъ. Въ нормальномъ состояніи мы не находимся во власти какого-нибудь опредѣленнаго экспериментатора, но мы окружены цѣлою сѣтью скрещивающихся, иногда другъ другу помогающихъ, иногда взаимно сокращающихся

навожденій, истекающихъ изъ общественной среды. «Общественная жизнь есть балансъ взаимныхъ навожденій». Но способность сопротивленія навожденію бываетъ у разныхъ людей очень различна. Есть люди, для которыхъ такое сопротивленіе просто невозможно и личность которыхъ равняется почти нулю въ суммѣ мотивовъ, опредѣляющихъ ихъ дѣйствія. Разнообразныя формы подражанія, повиновенія, увлеченія примѣромъ, обаянія властной личности, — все это продукты навожденія. И всѣ эти скрещивающіяся и перекрещивающіяся навожденія образуютъ чрезвычайно сложную среду, вліяніе которой не только не всегда совпадаетъ съ вліяніемъ наслѣдственности, но часто прямо ему противоборствуетъ.

Тѣ эффекты внушенія или навожденія, механизмъ которыхъ изучается нынѣ психофизіологами на гипнотическихъ опытахъ, суть только отдѣльные частные случаи вліянія среды на индивидуума. Эти навожденія могутъ нарушить равновѣсіе организма, но могутъ и возстановить его. Такимъ образомъ вліяніе соціальной среды оказывается слишкомъ значительнымъ, чтобы игнорироваться сторонниками исключительнаго вліянія наслѣдственности, толкующими о неизбѣжномъ вырожденіи цѣлыхъ семей, о неизбѣжности наслѣдственныхъ преступленій и пороковъ. Наслѣдственность есть великая сила, но и съ ней считаться можно, и она до извѣстной, повидимому, весьма значительной степени подлежитъ нашему воздѣйствію. Воздѣйствіе это происходитъ и сейчасъ, какъ происходило и вчера, и вѣка тому назадъ, во всякую данную минуту. Но оно должно быть систематизировано и направляться сознательно, въ формѣ планомѣрнаго воспитанія. Гюйо намѣчаетъ въ своей книгѣ нѣкоторыя черты раціональнаго воспитательнаго плана, частію навѣянныя ученіемъ о гипнотизмѣ, а частію совершенно отъ него независимыя. Мы не послѣдуемъ за нимъ и остановимся только на двухъ существенныхъ подробностяхъ.

Нѣтъ ничего легче, какъ упреками, подозрѣніями, бранью, «навести» человѣка не вполнѣ установившагося, а тѣмъ болѣе ребенка, на тѣ именно мысли, чувства и дѣйствія, за которыя его упрекаютъ или бранятъ, въ которыхъ его подозрѣваютъ, первоначально, можетъ быть, совсѣмъ несправедливо. Еще Паскаль сказалъ: «Человѣкъ такъ устроенъ, что если ему постоянно говорить, что онъ глупъ, такъ онъ этому повѣритъ». И не просто только повѣритъ, а какъ-бы и въ самомъ дѣлѣ поглупѣетъ. Утративъ вѣру въ свои умственныя способности, онъ утратитъ и силу проявлять ихъ. Ребенокъ долженъ быть напротивъ «наводимъ» на мысль, что онъ можетъ понять или сдѣлать предлагаемое ему. Съ этой точки зрѣнія теорія неизбѣжной наслѣдственности грѣха и порока, теорія проклятій, тяготѣющихъ надъ потомками до пятаго колѣна, представляется крайне вредною, ибо она отнимаетъ у людей вѣру въ свои силы, а затѣмъ и дѣйствительно парализуетъ эти силы. Скажите гипнотику, что онъ не можетъ поднять свою совершенно здоровую руку, и онъ этому до такой степени повѣритъ, что въ самомъ дѣлѣ окажется безсильнымъ поднять руку. То же самое, только въ менѣе рѣзкой формѣ, происходитъ въ обыденной жизни, при состояніи нормальномъ. Предположеніями о злости, лѣности, неспособности ребенка часто создаются настоящая злость, лѣность и неспособность, которыя потомъ ставятся на счетъ фатализму наслѣдственности.

Цѣль воспитанія состоитъ не въ подавленіи воли ребенка волею воспитателя, а напротивъ, въ такомъ ея укрѣпленіи, чтобы она могла противостоять въ случаѣ надобности даже великой силѣ тяготѣнія наслѣдственности. Спрашивается, какъ же связать это положеніе съ пріемами внушенія или навожденія, аналогичными тѣмъ, которые практикуются гипнотизерами? Гипнотикъ, это вѣдь автоматъ, лишенный собственной воли и покорно поддающійся самой капризной смѣнѣ самыхъ противоположныхъ навожденій. Дѣло, однако, въ томъ, что пріемы гипнотизаціи и раціональнаго воспитанія хотя и аналогичны, но отнюдь не тождественны. Воспитатель не эксперименты производитъ съ цѣлью удовлетворенія своей или чужой любознательности или даже просто любопытства, какъ гипнотизеръ. Онъ не усыпляетъ ребенка для полученія мягкаго податливаго матеріала для опытовъ, а пользуется существующею мя костью и податливостію, и не перескакиваетъ отъ одного внушенія или навожденія къ другому, противоположному. Онъ держится неуклонно опредѣленной линіи, по крайней мѣрѣ, долженъ держаться, потому что, если онъ будетъ колебаться въ системѣ навожденія или скакать отъ одного къ другому, то въ результатѣ, дѣйствительно, можетъ получиться безвольный автоматъ. Конечно, извѣстная доля автоматизма неизбѣжна въ исходной точкѣ воспитанія. Ребенку нельзя, да и не слѣдуетъ объяснить каждое требованіе воспитателя. Ребенокъ управляется примѣромъ, приказаніемъ, навожденіями всякаго рода, но всѣ эти открытыя или замаскированныя формы повелительнаго наклоненія могутъ быть расположены такъ, что воля ребенка не подавится, а укрѣпится. Что-же касается до тео-

ретическаго основанія такъ или иначе внушенной морали, то оно явится само собой, когда извѣстный фондъ привычекъ и склонностей прочно заляжетъ. Въ этомъ отношеніи опять-таки очень поучительны гипнотическіе опыты. Если вы прикажете гипнотику совершить, послѣ пробужденія, когда онъ уже овладѣетъ всѣми своими способностями, какой-нибудь ни съ чѣмъ несообразный поступокъ, онъ его совершитъ, но придумаетъ для этой несообразности какое-нибудь болѣе или менѣе благовидное, иногда чрезвычайно ухищренное объясненіе. Онъ безсознательно повинуется ему самому невѣдомому голосу, а затѣмъ подъискиваетъ мотивы и объясненія своему поступку. Таковы результаты всякаго навожденія, когда наведенный не утратилъ или вновь получилъ способность разсуждать. Не учите правиламъ, которыхъ ребенокъ не пойметъ или не усвоитъ, а учите поступкамъ, дѣлу, и когда извѣстныя, внушенныя ему дѣйствія станутъ привычными, онъ и самъ придумаетъ имъ теоретическое основаніе, какъ моральному долгу. Понятно, однако, что навожденіе воспитателя можетъ враждебно столкнуться съ другими навожденіями, исходящими изъ общественной среды, и тогда неизвѣстно чья возьметъ.

Предоставляя спеціалистамъ-педагогамъ судить о разныхъ подробностяхъ книги Гюйо, я цѣню въ ней главнымъ образомъ благородное возстаніе противъ мучительской моды теоріи наслѣдственности, противъ моднаго стремленія отдать человѣчество во власть слѣпой стихійной силы, которая влечетъ насъ, какъ теченіе рѣки щепку. Да и не насъ собственно, но тѣхъ, кто мѣряетъ носы и уши прирожденныхъ преступниковъ, наслѣдственныхъ алкоголиковъ и проч. и кто пишетъ книжки на ту тему, что «слабый долженъ погибнуть,—таковъ фатальный законъ». Мы-то на берегу сидимъ и спокойно наблюдаемъ, какъ крутится и влечется рѣкой щепка. Безумно не признавать могущество стихійныхъ силъ, но можетъ быть еще безумнѣе не бороться съ ними, ибо, вѣдь, пожалуй, и намъ, на берегу сидящимъ, наконецъ, не сдобровать.

XIV.

О буддизмѣ.

I.

Одинъ разсказъ буддійскаго происхожденія гласитъ, что когда истинная, то есть буддійская, религія распространилась по всей Индіи и за ея предѣлами, такъ что не осталось людей, подлежащихъ обращенію, первосвященникъ рѣшилъ приняться за породу большихъ обезьянъ, называемыхъ «ракча». Къ нимъ были отправлены миссіонеры, которые и обратили множество обезьянъ въ буддизмъ.

Неизвѣстно, какъ идетъ дѣло буддизма у обезьянъ теперь, но оказалось во всякомъ случаѣ, что въ Европѣ есть не мало людей, которые только нынѣ созрѣли для воспринятія буддійской истины. Наивное хвастовство буддійской сказки не совсѣмъ неосновательно. Правда, гордый своимъ просвѣщеніемъ и всей своей цивилизаціей европеецъ можетъ въ волю посмѣяться и надъ почитателями Будды изъ обезьянъ, и надъ невѣжествомъ автора или авторовъ сказки, увѣренныхъ, что буддизмъ давнымъ-давно заполонилъ весь бѣлый свѣтъ. Но буддисты могли-бы отвѣтить французской поговоркой: «Rira bien qui rira le dernier». Пусть, дескать, обезьяны и прочее — вздоръ, но не вздоръ тѣ достоинства и та побѣдительная сила буддизма, которыя иллюстрируются наивной фантазіей сказки; ибо въ Азіи насчитывается нынѣ до 400 милліоновъ буддистовъ, и сама гордая своимъ просвѣщеніемъ и своей цивилизаціей Западная Европа находится наканунѣ обращенія въ буддизмъ. Конечно, и это будетъ немножко черезъ край хвачено, но достовѣрно во всякомъ случаѣ, что есть не мало просвѣщенныхъ европейцевъ, или призывающихъ буддизмъ для обновленія одряхлѣвшей цивилизаціи, или боящихся его грозной силы. Это говорится прямо, въ выраженіяхъ нимало не двусмысленныхъ. Парижскій корреспондентъ «Русскихъ Вѣдомостей» сообщилъ недавно, по поводу лекцій о буддизмѣ Леона де-Рони, кое-какіе интересные факты, свидѣтельствующіе о серьезномъ, повидимому, буддистскомъ движеніи въ веселой столицѣ Франціи. Одному изъ сотрудниковъ газеты «Siècle» Рони говорилъ, что возбужденіе это «приведетъ насъ къ изумительнымъ событіямъ. Вы увидите, что чрезъ нѣсколько лѣтъ, а можетъ быть и черезъ годъ и даже черезъ полгода, Европѣ придется серьезно считаться съ этимъ теченіемъ». По нѣкоторымъ свѣдѣніямъ число буддистовъ въ одномъ Парижѣ достигаетъ десятковъ тысячъ, а движеніе захватываетъ не только Францію, но и Англію, Италію, Австрію, Германію. Буддистскіе катехизисы расходятся въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ въ переводѣ на разные европейскіе языки. По словамъ Рони, католическая церковь уже озабочивается этимъ движеніемъ, а рвеніе новообращенныхъ все ростетъ.

Какъ ни удивительны эти, можетъ быть, нѣсколько преувеличенные, но въ общемъ всетаки достовѣрные факты, они не до такой уже степени внезапны и неожиданны, какъ можетъ показаться. Это дуновеніе

съ дальняго Востока на дальній Западъ началось съ Шопенгауэра, мрачная философія котораго, пропитанная буддійскими началами, не имѣла большого успѣха при его жизни, но самъ онъ былъ увѣренъ, что рано или поздно онъ восторжествуетъ. И онъ не совсѣмъ ошибался. Болѣе позднимъ варіаціямъ на тѣ же занесенныя съ дальняго Востока темы въ «Философіи безсознательнаго» Гартмана выпалъ на долю и болѣе быстрый, и болѣе шумный успѣхъ. Эти отраженія буддизма въ дискредитированныхъ уже глубинахъ нѣмецкой метафизики подняли въ послѣдніе десятка два лѣтъ интересъ къ ней именно потому, что сами имѣли какой-то притягательный интересъ и какую-то особенную цѣну въ глазахъ мыслящаго европейскаго человѣка Даже мы, русскіе, были захвачены этимъ увлеченіемъ и за послѣднее время наполняли свой книжный рынокъ переводами, изложеніями, переизложеніями, сокращеніями Шопенгауэра. Французы, никогда особенно не приглядывавшіеся къ нѣмецкой философіи, тоже занялись Шопенгауэромъ. Затѣмъ буддизму протянулъ руку американскій спиритизмъ. Проповѣдью уже прямо буддизма съ чрезвычайнымъ усердіемъ занялось нью-іоркское «теософическое общество», имѣющее значительныя развѣтвленія въ Европѣ и Индіи. Теософы вѣрятъ, что въ Индіи издревле вырабатывались особые пріемы познаванія, тѣ именно пріемы созерцанія и сосредоточенія воли, которые практикуются и буддистами и при помощи которыхъ индусскими мудрецами накоплено уже много знаній, пока еще невѣдомыхъ остальному міру. Русская публика отчасти знакома съ этимъ страннымъ теченіемъ по произведеніямъ г жи Радда-Бай Блаватской (секретаря теософическаго общества), печатавшимся въ «Русскомъ Вѣстникѣ». У насъ это, кажется, единичное явленіе, но въ Европѣ существуетъ большая литература этого направленія, издаются спеціальные журналы, составляются катехизисы, ведется дѣятельная и небезуспѣшная пропаганда. Сближеніе Европы съ буддизмомъ происходитъ еще и разными другими путями. Недавно вышла въ русскомъ переводѣ поэма англійскаго поэта Эдвина Арнольда «Свѣтъ Азіи». Это -- біографія Будды и изложеніе его ученія, отличающееся не только большими художественными достоинствами, но и полнымъ, такъ сказать, буддійскимъ правовѣріемъ. Посѣтивъ Цейлонъ, одинъ изъ центровъ буддизма, авторъ былъ торжественно встрѣченъ тамошнимъ буддійскимъ духовенствомъ и получилъ отъ него привѣтственный и вмѣстѣ благодарственный адресъ, въ которомъ, между прочимъ, говорится: «вы написали поэму, не только ни въ чемъ не разногласящую, но въ буквальномъ смыслѣ согласную съ народными буддійскими священными книгами, съ каноническимъ писаніемъ и его комментаріями». Сіамскій король наградилъ Эдвина Арнольда орденомъ Бѣлаго Слона, а буддійскій первосвященникъ сказалъ поэту: «вы помогли буддистамъ уразумѣть, чѣмъ они еще должны сдѣлаться и что еще совершить, дабы стать на уровень, достойный ихъ религіи». Такимъ образомъ, въ лицѣ Эдвина Арнольда, Европа хотя частью отплатила за то возбужденіе, которое она нынѣ удивительнымъ образомъ получаетъ отъ буддизма. Мимоходомъ сказать, и нѣкоторые наши молодые поэты не разъ вдохновлялись буддійскими темами и, можетъ быть, вправѣ ожидать себѣ отъ сіамскаго короля ордена Бѣлаго Слона, хоть какой-нибудь не очень высокой степени...

Буддисты немножко поторопились отправлять миссіонеровъ къ обезьянамъ, когда еще и люди не всѣ готовы, или можетъ быть—европейцы немножко поотстали отъ обезьянъ. Но такъ или иначе, а совокупность вышеприведенныхъ фактовъ представляетъ собою явленіе, въ высокой степени интересное. Среди разнородныхъ теченій умственной жизни Европы возникаетъ еще одно, новое, и этому новому ни больше, ни меньше, какъ двѣ съ половиной тысячи лѣтъ, и это столь старое новое, повидимому, рѣшительно не гармонируетъ съ другими, громко звучащими въ жизни Европы струнами. Въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, напримѣръ, что вся Европа, по мѣткому старинному выраженію, ощетинилась штыками; и даже не штыками, потому что, не смотря на всѣ мирныя заявленія и увѣренія государственныхъ людей, очевидно, Европа готовится къ какой-то страшной схваткѣ при помощи небывалыхъ доселѣ орудій взаимнаго истребленія. Умѣстенъ ли тутъ буддизмъ съ своею проповѣдью кротости, всеобщаго благоволенія, непротивленія злу?

Европа гордится и справедливо гордится своей наукой, ея неустаннымъ поступательнымъ движеніемъ, открывающимъ все новые горизонты. Причемъ тутъ буддизмъ, застывшій на истинахъ (если это истины), открытыхъ двѣ съ половиной тысячи лѣтъ тому назадъ, въ странѣ замкнутой, никогда не участвовавшей въ общей жизни человѣчества? Правда, намъ говорятъ о какомъ-то совпаденіи или единеніи буддійскихъ вѣрованій съ послѣдними словами европейской науки. Въ буддійскомъ катехизисѣ, составленномъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ и вліятельнѣйшихъ теософовъ, Олькотомъ, даже съ нѣсколько забавною настойчивостью формулируется, въ видѣ вопросовъ и отвѣтовъ,

связь между буддійскимъ ученіемъ о послѣдовательныхъ возрожденіяхъ и выработанными европейскою наукою теоріями наслѣдственности, трансформизма, эволюціи. Намъ говорятъ съ другой стороны, что такъ занимающія нынѣ нашихъ психо-физіологовъ явленія гипнотизма, сомнамбулизма и проч. были цѣлые вѣка тому назадъ извѣстны индусскимъ мудрецамъ. Послѣднее весьма вѣроятно, но разница въ томъ, что для европейской науки эти явленія представляютъ предметъ изслѣдованія, тогда какъ буддійскіе мудрецы видѣли и видятъ въ нихъ орудіе познанія истины. Европейская наука изучаетъ міръ грезъ при помощи опыта и наблюденія, индусская-же мудрость намѣренно погружается въ этотъ міръ, уединяетъ себя отъ всякаго опыта и наблюденія, съ цѣлью найти истину. Разница эта слишкомъ велика и существенна какъ съ точки зрѣнія науки, такъ и съ точки зрѣнія буддизма. До такой степени велика и существенна, что еслибы вышеупомянутыя совпаденія результатовъ научнаго и буддійскаго мышленія были и не столь натянуты и двусмысленны, каковы они на самомъ дѣлѣ, такъ и то буддизмъ и наука были бы далеко не родня другъ другу.

Европа до утомленія и переутомленія гоняется за наслажденіемъ и богатствомъ, буддизмъ проповѣдуетъ отреченіе отъ всѣхъ благъ міра и нищенство, и видитъ иллюзію, обманъ во всякомъ наслажденіи. Европа колышется разными общественными вопросами,—буддизмъ ихъ не знаетъ. Европа шумитъ, движется; буддизмъ рекомендуетъ сидѣть со скрещенными ногами въ полной неподвижности и въ награду за добрыя дѣла и мудрость обѣщаетъ абсолютный покой Нирваны. Представьте себѣ Гладстона, Либкнехта, Бисмарка или Ротшильда, Круппа или Геккеля, Пастера, Шарко, или Стэнли, Эмина, Джорджа, Эдиссона, вообще любого крупнаго современнаго человѣка, отразившаго въ себѣ болѣе или менѣе полно ту или другую сторону типа европейско-американской цивилизаціи, добивающимся Нирваны! Европейскій типъ, въ своихъ наиболѣе общихъ чертахъ, можетъ быть, лучше всего характеризуется извѣстнымъ изреченіемъ Лессинга: «еслибы Богъ держалъ въ правой рукѣ готовую истину, а въ лѣвой живое стремленіе къ истинѣ и предложилъ мнѣ выборъ, я ухватился бы за лѣвую руку». Стремленіе, борьба, дѣятельность,—такова, повидимому, атмосфера, которою привыкъ и хочетъ дышать человѣкъ европейскаго типа на всѣхъ путяхъ жизни: совершаетъ ли онъ подвиги во имя высокаго идеала или низкое предательство, ищетъ ли онъ счастія въ женской любви или сколачиваетъ копѣйки въ рубли, работаетъ ли онъ въ тиши библіотеки и лабораторіи или носится по усыпанному трупами полю сраженія. Вездѣ и всегда для него важенъ не только извѣстный результатъ, но и вся та сложная цѣпь раздраженій и ощущеній, которою сопровождается процессъ дѣятельности. И вдругъ—буддизмъ!..

Въ одномъ монгольскомъ буддійскомъ сочиненіи говорится, что «человѣкъ, стяжавшій своею дѣятельностью собраніе добродѣтельныхъ поступковъ, пріобрѣтетъ въ будущемъ только высокій родъ (перерожденіе), такъ какъ добродѣтель и плоды ея осуждены всетаки на то, чтобы вращаться въ матеріальномъ мірѣ; но тотъ, кто будетъ совершать созерцанія, стараясь уразумѣть смыслъ основныхъ свойствъ пустоты, несомнѣнно, отрѣшится отъ всего матеріальнаго и пріобрѣтетъ святость Будды» (Позднѣевъ, «Очерки быта буддійскихъ монастырей и буддійскаго духовенства въ Монголіи»). Вотъ одно изъ приводимыхъ г. Позднѣевымъ созерцательныхъ упражненій буддійскихъ отшельниковъ. Удалившись въ уединенное мѣсто, подвижникъ усаживается въ священной позѣ, то есть, загнувъ правую ногу и положивъ ее на колѣно лѣвой, а лѣвую на колѣно правой или, если такое положеніе для него трудно, положивъ лѣвую ногу на колѣно правой, а правую загнувъ просто подъ лѣвую. Затѣмъ онъ въ теченіе семи дней старается представлять себѣ живо и раздѣльно образъ Будды во всемъ его величіи и красотѣ. Потомъ онъ сосредоточиваетъ вниманіе исключительно на своемъ лбу, потомъ столь же исключительно на своемъ сердцѣ, потомъ на пупкѣ, и изо всѣхъ этихъ частей тѣла послѣдовательно выходятъ въ огромномъ числѣ Будды, одинъ за другимъ, точно въ такомъ видѣ, въ какомъ онъ представлялъ себѣ Будду прежде. Я приведу для образца только одно изъ этихъ видѣній. Утвердивъ мысли и взоры на пупкѣ, отшельникъ скоро замѣчаетъ въ немъ какое-то движеніе. Удвоивъ вниманіе, онъ усматриваетъ на пупкѣ какое-то возвышеніе, на подобіе гусинаго яйца, чрезвычайной бѣлизны. Вдругъ это возвышеніе превращается въ великолѣпный лотосъ. На этомъ лотосѣ возсѣдаетъ Будда, изъ пупка котораго тоже выростаетъ лотосъ, а на немъ возсѣдаетъ новый Будда, изъ пупка котораго опять растетъ лотосъ, на немъ опять Будда и т. д. Когда такимъ образомъ лотосы съ Буддами наполнятъ собою даль, представляющуюся въ воображеніи созерцателя, то самый дальнѣйшій Будда входитъ въ пупокъ второго, слѣдующаго за нимъ, и затѣмъ постепенно всѣ они возвращаются одинъ въ другого, пока, наконецъ, и послѣдній изъ нихъ не войдетъ въ пупокъ созерцателя. При дальнѣйшемъ созерцаніи, изо

всѣхъ поръ тѣла подвижника выходятъ лотосы съ Буддами и наполняютъ собою все воздушное пространство въ видѣ безконечной гирлянды и потомъ всѣ они возвращаются къ созерцателю черезъ его пупокъ. При этомъ подвижникъ чувствуетъ въ себѣ необыкновенную легкость и удовольствіе.

Упражненіе на этомъ еще не кончается, но, полагаю, съ насъ и этого довольно, чтобы судить о степени несообразности, представляемой завоеваніемъ Европы буддизмомъ. Правда, монгольскій буддизмъ, повидимому, значительно уклонился отъ первоначальнаго ученія Сакья-Муни, сохранившагося въ полной чистотѣ, главнымъ образомъ, на Цейлонѣ, и можетъ быть южнымъ буддистамъ неизвѣстна собственно эта фантастическая гирлянда Буддъ, лотосовъ и пупковъ. Но подобнаго же рода созерцательныя упражненія практикуются благочестивыми буддистами всѣхъ толковъ и представляются самою сутью ученія. Правда, далѣе, буддизмъ не исчерпывается практикой созерцанія и изученіемъ «смысла основныхъ свойствъ пустоты», но эти вещи играютъ, однако, въ немъ столь важную роль, что безъ нихъ онъ пересталъ бы быть буддизмомъ. И, казалось бы, трудно подъискать двѣ болѣе рѣзко враждебныя противоположности, чѣмъ этотъ типъ удалившагося отъ всѣхъ ощущеній и впечатлѣній, отъ всего внѣшняго міра созерцателя, и безпокойная, лихорадочная дѣятельность европейскаго человѣка. Но фактъ на-лицо, и надо съ нимъ считаться.

Прежде всего надо замѣтить, что различныя, выше бѣгло перечисленныя струны европейской жизни тоже далеко не вполнѣ гармонируютъ между собою. Что въ самомъ дѣлѣ общаго между обуявшимъ нынѣ всю Европу милитаризмомъ и развитіемъ науки и промышленности, по самому существу своему требующихъ мира и спокойствія? И однако, они до поры до времени, хотя и съ большимъ трудомъ, а уживаются всетаки рядомъ. Существуютъ и другія подобныя противорѣчія въ европейской жизни. Почему же бы не утвердиться и еще одному, новому? Затѣмъ надо бы еще поточнѣе знать, какіе именно слои европейскаго общества увлекаются буддизмомъ.

Капитанъ одного французскаго военнаго фрегата, вернувшагося изъ плаванія въ китайскихъ водахъ, разсказывалъ Леону Рони, что по крайней мѣрѣ треть его экипажа приняла буддизмъ. Но это, повидимому, явленіе исключительное, обусловленное именно пребываніемъ матросовъ въ одномъ изъ центровъ буддизма. Вообще же говоря, европейскіе сторонники буддизма вербуются изъ другихъ общественныхъ слоевъ. Что касается собственно Парижа, то Рони говорилъ корреспонденту «Русскихъ Вѣдомостей», что увлеченіе замѣчается «преимущественно въ высшихъ аристократическихъ сферахъ общества, въ той фешенебельной части парижскаго общества, которая увлекается и имѣетъ досугъ увлекаться театромъ, искусствомъ, литературой, хотя къ нему не остаются вполнѣ равнодушными и кружки ученые и литературные, такъ какъ въ числѣ очень горячихъ почитателей буддизма называютъ имена выдающихся представителей науки, литературы, даже одного или двухъ академиковъ».

Соображая разныя обстоятельства, можно думать, что европейскіе адепты буддизма распредѣляются по слѣдующимъ разрядамъ. Во-первыхъ, люди капризной моды, мужчины и женщины. Рони предсказываетъ, что священный цвѣтокъ буддистовъ—лотосъ станетъ въ слѣдующую зиму такимъ-же моднымъ украшеніемъ, какимъ недавно была красная гвоздика. Людей этого сорта, пожалуй, и считать нечего: надѣнутъ на шляпу цвѣтокъ лотоса, поставятъ статуэтку Будды у себя въ кабинетѣ или будуарѣ, да тѣмъ дѣло и кончится въ ожиданіи слѣдующей моды, которая смететъ и лотосы, и статуэтки Будды. Затѣмъ идутъ люди метафизическаго склада ума, жаждущіе познанія внѣ предѣловъ опыта и наблюденія. Далѣе — люди, переутомленные погоней за наслажденіями, извѣдавшіе всѣ крѣпкіе и острые запахи, предоставляемые современнымъ строемъ, и уже не находящіе въ нихъ достаточнаго возбужденія. Потомъ люди, тяготѣющіе ко всему темному, загадочному, бросающіеся и въ спиритизмъ, и во всякую чертовщину. Есть тутъ наконецъ вѣроятно и люди, искренно и добросовѣстно ищущіе утраченной ими въ водоворотѣ цивилизаціи религіи, въ томъ смыслѣ, какой былъ приданъ этому слову въ одномъ изъ первыхъ «Писемъ о разныхъ разностяхъ»: въ смыслѣ ученія, объединяющаго мысль и чувство, науку и мораль въ ихъ современномъ развитіи и вмѣстѣ съ тѣмъ, всегда и вездѣ направляющаго волю въ извѣстную сторону. Особо, конечно, стоятъ люди, просто заинтересованные буддизмомъ, какъ своего рода научнымъ фактомъ изъ исторіи религій, или красивою стройностью его логическаго развитія, или смѣлыми полетами заключенной въ немъ метафизической мысли; вообще заинтересованные или любующіеся буддизмомъ со стороны, безъ отдачи себя въ его власть.

Сердцевинную точку буддійскаго ученія составляетъ страданіе. Какъ гласитъ часто приводимый священный текстъ бенарesской рѣчи Будды, «рожденіе есть страданіе, болѣзнь—страданіе, смерть—страданіе, союзъ съ нелюбимымъ—страданіе, разлука съ лю-

бимымъ—страданіе, недостигнутое желаніе—страданіе, словомъ, все пятеричное стремленіе—страданіе» (пятеричное, сообразно пяти элементамъ, изъ которыхъ, по буддизму, слагается все существованіе человѣка). Если и возможно желаніе, достигнутое при союзѣ съ любимымъ, то въ концѣ-концовъ, тѣмъ или другимъ путемъ—болѣзни, смерти, вскрывается ничтожество и преходящесть наслажденія, на днѣ котораго опять-таки оказывается страданіе. Необходимость, неизбѣжность страданія на всѣхъ путяхъ жизни обусловливается самою «причинною связью» явленій. И страданіямъ этимъ не видно ни начала, ни конца. Каждый изъ насъ, я, пишущій эти строки, вы, читающій ихъ, существовалъ миріады лѣтъ тому назадъ въ той или другой живой формѣ и пилъ чашу страданія, и опять и опять возродится послѣ смерти и, значитъ, опять выпьетъ ту же чашу. Смерть насъ ни отъ чего не избавитъ, потому что она постигаетъ только ту комбинацію элементовъ, которая сейчасъ составляетъ наше существо, но ея нѣтъ для «кармы», — нѣсколько темной сущности или совокупности нашего поведенія во все продолженіе нашей жизни. Этою «кармою» опредѣляются условія нашего послѣдующаго возрожденія: отъ свойствъ нашихъ поступковъ, характера нашего поведенія зависитъ, возродимся ли мы въ видѣ святого человѣка или какой-нибудь ящерицы, брамина, царя или тигра, зайца. Но мы во всякомъ случаѣ возродимся, наша «карма» переселится въ имѣющее вновь возникнуть существо, ибо всему живому присуща неразумная жажда жизни. «Причинная связь» явленій жизни коренится въ незнаніи,—въ незнаніи тщеты жизни и обманчивости всѣхъ ея красокъ; не зная, человѣкъ отдается мечтамъ, затѣмъ вожделѣетъ, обрѣтаетъ страданіе, но и за всѣмъ тѣмъ не знаетъ, и опять вожделѣетъ, возрождается и опять страдаетъ. И такъ вѣчно катилось бы колесо жизни и страданія, если бы его не остановилъ Будда. Добрыя дѣла и благоволеніе ко всему живущему отъ святого человѣка до самой послѣдней мелкой твари, образуя извѣстную карму, могутъ въ слѣдующемъ возрожденіи поднять человѣка на высшую ступень, но сами по себѣ они безсильны изъять насъ изъ-подъ вѣчнаго круговращенія колеса жизни и страданія. Для этого надо познать тщету желаній и обманчивость наслажденій и затѣмъ подавить въ себѣ жажду жизни. Это и сдѣлалъ Будда, достигнувъ такимъ образомъ вожделѣнной нирваны, гдѣ нѣтъ ни болѣзни, ни печали, и за которою уже нѣтъ возрожденій, потому что возрожденія обусловлены жаждою жизни. Нирвана не смерть, потому что можетъ быть достигнута заживо, но и не жизнь, потому что лишена всѣхъ красокъ жизни,— это трудно постигаемое нашимъ умомъ состояніе полнаго, абсолютнаго покоя.

Будда былъ, по преданію, царскій сынъ. Онъ съ ранняго молода познавъ всѣ наслажденія, какія восточный деспотъ могъ доставить любимому сыну: дворцы, приспособленные къ жизни въ разныя времена года, роскошные сады, драгоцѣнныя одежды, благовонія, золототканные ковры, рой прислужниковъ, прелестныя танцовщицы, музыкантши и пѣвицы, наконецъ, влюбленная въ него красавица-жена. Онъ изучилъ въ совершенствѣ всѣ воинскія упражненія и не имѣлъ въ нихъ соперниковъ. Въ добавокъ воспитаніе его было расположено такъ, что не только пріятныя ощущенія и впечатлѣнія сыпались на него, какъ изъ рога изобилія, но тщательно были устранены изъ его кругозора даже самыя общія и элементарныя непріятныя вещи: онъ не видалъ болѣзни, старости, уродства, смерти. Поэма Эдвина Арнольда роскошно рисуетъ эту роскошную жизнь, и фигура Будды выходитъ крайне величественною и самоотверженною, когда онъ удаляется отъ всей этой пестрой, шумной, блистающей роскоши, чтобы посвятить себя великому дѣлу. Онъ началъ его съ прямой противоположности тому, что имѣлъ и видѣлъ вокругъ себя въ своихъ палатахъ и садахъ,—съ самаго строгаго аскетизма, до полнаго изнуренія.

Ничто не ново подъ луною, — не было вполнѣ ново и ученіе Будды въ Индіи. Между прочимъ, въ скитальчествахъ своихъ онъ встрѣтилъ людей, не менѣе его боровшихся съ плотью съ цѣлью достиженія мудрости и святости. Самъ Будда отступалъ передъ жестокими формами этой борьбы и отвергъ ихъ, какъ не достигающія цѣли. Въ Индіи и по-сейчасъ есть аскеты самоистязующіеся, юродивые, продѣлывающіе надъ своей ненавистною плотью самыя ужасныя вещи. Они называются «іогами» или «іогинами». Одни изъ нихъ сидятъ, поджавши ноги, и вѣчно молчатъ; другіе ѣдятъ разъ въ день или черезъ день, или черезъ четыре, шесть до четырнадцати дней; третьи спятъ въ мокрой одеждѣ или на колючей травѣ, на камняхъ, на гвоздяхъ и т. д.; четвертые, ставъ на одной ногѣ или вытянувъ одну руку вверхъ, цѣлыми годами смотрятъ на солнце; иные сидятъ среди пяти костровъ, поджариваясь со всѣхъ сторонъ. Были, а можетъ быть, и по-сейчасъ есть фанатики, подвѣшивающіе себя на острыхъ желѣзныхъ крючьяхъ или стоящіе перпендикулярно, вверхъ ногами, зарывъ голову въ муравьиную кучу. Извѣстны, по вполнѣ достовѣрнымъ свидѣтельствамъ, случаи добровольнаго погребе-

нія іоговъ заживо на нѣсколько недѣль. Чтобы продѣлать этотъ фокусъ, іоги предварительно постепенно, такъ сказать, раздвигаютъ свою способность обходиться безъ пищи, воды, свѣта и воздуха. Кромѣ того, они подвергаются какой-то автогипнотизаціи при помощи полной неподвижности и тысячекратныхъ беззвучныхъ повтореній мистическихъ словъ «омъ», «ламъ», «дамъ» и т. д. Все это производится съ чрезвычайно высокою цѣлью. Слово «іога» значитъ союзъ. Здѣсь разумѣется союзъ личнаго духа съ духомъ вселенной, для достиженія котораго требуется полное отвлеченіе мысли отъ всякаго конкретнаго объекта (припомните изученіе «основныхъ свойствъ пустоты») и полная власть воли надъ плотью. Велики и результаты достигнутаго этимъ путемъ союза личнаго духа съ душой вселенной: во-первыхъ, божественное знаніе, во-вторыхъ, разныя чудесныя силы. Іоги обладаютъ способностью читать чужія мысли, подниматься на воздухъ, уменьшаться и увеличиваться въ вѣсѣ и размѣрѣ, мгновенно переноситься черезъ отдаленныя пространства и т. п. И г-жа Радда-Бай Блаватская, а съ ней вмѣстѣ и другіе «теософы» всему этому вѣрятъ.

Будда примкнулъ первоначально къ этой школѣ. Онъ уже достигъ извѣстныхъ результатовъ въ дѣлѣ отреченія отъ потребностей питанія и дыханія, но изнемогъ, а затѣмъ отвергъ всякія самоистязанія. Но съ тѣмъ большимъ рвеніемъ отдался онъ добровольному удаленія сознанія, спасительному процессу самоуглубленія и отвлеченія отъ всѣхъ впечатлѣній внѣшняго міра. Однажды ночью, сидя неподвижно подъ деревомъ, которое стало съ тѣхъ поръ священнымъ, Будда, наконецъ, прозрѣлъ ту причинную связь, которая начинается незнаніемъ и кончается и опять продолжается страданіемъ. Путь, которымъ Будда дошелъ до познанія истины, путь созерцанія и самоуглубленія, путь отрѣшенія отъ всего внѣшняго міра и вытравленія всякаго конкретнаго содержанія изъ своего сознанія, не только рекомендуется всѣмъ вѣрующимъ, но практиковался самимъ Буддой и послѣ его просвѣтлѣнія. Мы не будемъ слѣдить за тѣми степенями созерцанія и экстаза, которыя установлены буддійскимъ ученіемъ. Приведемъ только одно изъ благочестивыхъ упражненій. Будда говорилъ ученикамъ: «Монахъ, ученикъ, пребывающій въ лѣсу, или у подножія дерева, или же въ пустомъ помѣщеніи, опускается со скрещенными ногами, держа туловище прямо, просвѣтляя лицо бдительнымъ размышленіемъ. Онъ вдыхаетъ сознательно и выдыхаетъ сознательно Когда онъ вдыхаетъ глубоко, онъ знаетъ: «я вдыхаю глубоко». Когда онъ выдыхаетъ глубоко, онъ знаетъ: «я выдыхаю глубоко». Когда онъ вдыхаетъ коротко, онъ знаетъ: «я вдыхаю коротко» и т. д. Будда называетъ это упражненіе превосходнымъ и обильнымъ радостью; оно изгоняетъ зло, поднимающееся въ человѣкѣ. Если учениковъ спросятъ, какъ предписываетъ Будда проводить дождливое время, то они обязаны отвѣчать: «Погруженный въ бдительность за вдыханіемъ и выдыханіемъ, друзья, обыкновенно проводилъ Великій дождливое время года» (Ольденбергъ, «Будда, его жизнь, ученіе и община»). Это упражненіе очень напоминаетъ автогипнотизацію іоговъ и безъ сомнѣнія, состоитъ въ прямомъ родствѣ съ нею. Этимъ путемъ достигаютъ іоги и божественной мудрости, и вышеупомянутыхъ чудодѣйственныхъ силъ. Будда, по самымъ свойствамъ своего ученія, чуждаго всякой активности, а можетъ быть и по свойствамъ своего личнаго характера, не былъ склоненъ къ чудодѣйству; однако и онъ, напримѣръ, поднимался на воздухъ. Кромѣ того, онъ обладалъ даромъ испусканія благоволенія. Онъ говорилъ: «Послѣ трапезы, когда я ворочусь со сбора милостыни, я ухожу въ лѣсъ. Тамъ собираю въ кучу траву и листья, что найду, и опускаюсь на нихъ со скрещенными ногами, съ выпрямленнымъ туловищемъ, окруживъ лицо бдительнымъ размышленіемъ. Въ такомъ положеніи пребываю я, распростирая наполняющую мои помыслы силу благоволенія на извѣстную часть свѣта; точно также дѣйствую я относительно второй, третьей, четвертой, вверхъ, внизъ, поперекъ; во всѣ стороны, по всѣмъ путямъ, на весь существующій міръ распростираю я наполняющую мои помыслы силу благоволенія, широкую, великую, неизмѣримую, которой невѣдома никакая ненависть, которая не посягаетъ ни на какое зло». Эта истекающая изъ Будды сила благоволенія дѣйствуетъ магически на всѣхъ, на кого попадетъ ея теченіе: она укрощаетъ дикихъ звѣрей, обращаетъ невѣрующихъ на путь истинный.

Что касается прославленой морали буддизма, то она прежде всего поражаетъ своимъ чисто личнымъ характеромъ и своею исключительною пассивностью. Въ запасѣ у буддизма есть нѣсколько, такъ сказать, моральныхъ фокусовъ, которые могутъ, пожалуй, ослѣпить. Таковъ, напримѣръ, приписываемый Буддѣ разсказъ о случаѣ его самопожертвованія въ одномъ изъ прошлыхъ его существованій. Онъ былъ тогда зайцемъ и, желая сдѣлать прохожему брамину (то былъ переодѣтый царь боговъ) подаяніе, «какого еще никогда никто не давалъ». велѣлъ зажечь костеръ и бросился въ него. чтобы накормить брамина собственнымъ

жаренымъ мясомъ. Въ другой разъ, въ другомъ воплощеніи, Будда накормилъ своимъ тѣломъ голодную тигрицу. Какіе возвышанные образцы самопожертвованія! Дѣло, можетъ быть, только немного портится на легкомысленный европейскій взглядъ комической фигурой зайца, но это не бѣда, конечно. Бѣда въ томъ, что Буддѣ приписывается желаніе сдѣлать именно моральный фокусъ, нѣчто такое, чего еще никто никогда не дѣлалъ, а непосредственнаго живого чувства любви къ ближнему тутъ нѣтъ и слѣдовъ. Непосредственное живое чувство пробивается совсѣмъ въ другую сторону. Будда разсказываетъ: «какъ свѣжая вода утоляетъ мучительный жаръ погрузившагося въ нее, доставляя ему прохладу и удовольствіе, такъ и пылающій огонь, въ который я погрузился (въ видѣ зайца), утолилъ, подобно прохладной водѣ, всѣ мои мученія» (Ольденбергъ, 250). Это своего рода сладострастіе, сладострастіе мученичества, а не любовь къ ближнему. Въ отношеніяхъ къ ближнимъ буддизмъ рекомендуетъ кротость, благоволеніе, непротивленіе злу, благотворительность, но, какъ уже было упомянуто, добрыя дѣла могутъ только поднять человѣка на лѣстницѣ воплощеній; высшая награда и высшее достоинство предоставляются не добродѣтели, въ настоящемъ смыслѣ этого слова, а личной чистотѣ отъ соприкосновенія съ внѣшнимъ міромъ. Ольденбергъ справедливо говоритъ о «холодѣ, какимъ вѣетъ отъ всѣхъ созданій буддійской нравственности. Мудрецъ стоитъ на такой высотѣ, которая недосягаема никакой человѣческой дѣятельности. Онъ не возмущается обидой, какую ему готова причинить грѣшная страсть, но онъ не страдаетъ отъ этой обиды. Не заботясь о поступкахъ другихъ людей онъ распространяетъ свое благоволеніе на всѣхъ, на злыхъ, какъ и на добрыхъ». Мимоходомъ сказать, мнѣніе о Буддѣ, какъ о нѣкоторомъ общественномъ реформаторѣ, уничтожившемъ касты или мечтавшемъ о такомъ уничтоженіи, рѣшительно ни на чемъ не основано. Кастовый строй, какъ и все существующее, ниже сферы дѣятельности Будды или, вѣрнѣе сказать, сферы его бездѣятельности, потому что единственное дѣло Будды есть проповѣдь открытыхъ имъ «истинъ», да и то онъ долго колебался,—не уйти ли ему въ таинственно блаженную область нирваны одному, не открывъ ближнимъ пути къ ней.

Къ русскому переводу «Свѣта Азіи» приложенъ разсказъ Эдвина Анольда о посѣщеніи имъ цейлонскихъ буддистовъ. Между прочимъ, поэтъ задалъ первосвященнику Сумангалѣ такой вопросъ: «Представьте себѣ буддиста, сидящаго подъ кокосовымъ деревомъ, покрытымъ спѣлыми плодами. Буддистъ находится въ глубокомъ размышленіи и скоро уже долженъ достигнуть состоянія Самма-Саммбудды, то есть состоянія величайшей святости и мудрости, если только его сознаніе пребудетъ въ полномъ покоѣ. Въ это время мимо него проходитъ несчастный человѣкъ, умирающій съ голода и настолько ослабѣвшій, что не можетъ самъ влѣзть на дерево. Долженъ ли буддистъ бросить свое дѣло, отвернуться отъ почти достигнутой имъ мудрости и полѣзть на дерево, чтобы накормить ближняго, или онъ долженъ оставить умирающаго на произволъ судьбы». Сумангала отвѣчалъ: «О, поэтъ, ты неправильно измыслилъ свой разсказъ. Еслибы, дѣйствительно, тотъ буддистъ былъ такъ близокъ къ достиженію Самма-Самбудды, то все земное такъ же мало могло-бы отражаться въ его сознаніи, такъ же мало воздѣйствовать на него къ добру или ко злу, какъ не можетъ повліять на наше мнѣніе карканье сидящихъ тамъ, вдали, на деревѣ воронъ».

Посмотримъ же теперь нѣсколько ближе на тѣхъ европейскихъ людей, которые чего-то ищутъ въ буддизмѣ и что то находитъ въ немъ.

II.

Нетрудно видѣть, что для умовъ метафизическаго склада буддійское ученіе должно представлять нѣчто чрезвычайно привлекательное, и немудрено, что послѣдній метафизикъ дѣйствительно крупнаго роста, Шопергауэръ, прилѣпился къ буддизму, какъ только познакомился съ нимъ. Здѣсь все родственно чистокровному метафизику: и самый методъ познанія, и характеръ добытой истины, и общій колоритъ настроенія, навѣваемаго системой. Завѣтная мечта всякаго метафизика состоитъ въ томъ, чтобы открыть въ своемъ собственномъ духѣ отраженіе той сокровенной сущности вещей, которая лежитъ гдѣ-то по ту сторону міра явленій, то есть міра наблюденія и опыта. Міръ не таковъ, какимъ онъ представляется ограниченнымъ человѣческимъ чувствамъ; чувства эти многаго не воспринимаютъ вовсе, иное искажаютъ, по иному скользятъ лишь поверхностно. Перескочить черезъ эти преграды, поставляемые самою организаціей человѣка, проникнуть до таинственнаго корня вещей, встрѣтить тамъ лицомъ къ лицу истину безусловную, безъ всякихъ помутненій и урѣзокъ, и замереть отъ восторга передъ этой божественной истиной,—такова мечта метафизика. Нѣтъ мечты безумнѣе этой. Какъ бы поэтому ни утѣшался метафизикъ красивою стройностью системы,

возведенной имъ изъ глубины собственнаго духа, его міросозерцаніе, если только онъ не мелюзга въ умственномъ отношеніи или въ смыслѣ характера, непремѣнно хоть слегка подернуто дымкой грусти и пессимизма. Метафизикъ, будь онъ даже семи пядей во лбу, подобно всякому простому смертному, не можетъ разыскать въ глубинахъ своего духа ничего такого, что не было бы заложено туда личнымъ или наслѣдственнымъ, сознательнымъ или безсознательнымъ опытомъ и наблюденіемъ. Онъ можетъ быть очень талантливъ въ дѣлѣ развитія и группировки этого матеріала, но матеріалъ этотъ всетаки исключительно опытно-наблюдательнаго происхожденія, — больше ему не откуда взяться, все равно какъ растенію не откуда, кромѣ земли, добыть свой пластическій матеріалъ. Естественно поэтому, что чѣмъ больше сторонится метафизикъ отъ жизни, тѣмъ сильнѣе диспропорція между его жаждою знанія и достигаемыми имъ результатами, и тѣмъ мрачнѣе, слѣдовательно, должно становиться его міросозерцаніе. Въ буддизмѣ метафизикъ, какъ въ зеркалѣ, видитъ отраженіе этой своей фатальной судьбы. Будда добылъ истину, углубляясь въ самого себя, отрѣшаясь отъ всѣхъ внѣшнихъ впечатлѣній, отъ всякаго опыта и наблюденія, которыя могутъ только мѣшать таинственной работѣ чистаго духа; и когда онъ проникъ такимъ образомъ за предѣлы обманныхъ свидѣтельствъ человѣческой природы и разорвалъ цѣпь «причинной связи», то во истину замеръ въ блаженствѣ познанія. Эта-то удовлетворенность, полученная путемъ чистаго самоуглубленія, и соблазнительна. Но добытая Буддой истина мрачнѣе ночи и потому наложила печать скорби на всю систему; удовлетворенность же Будды или буддиста должна поддерживаться искусственными мѣрами автогипноза и экстаза. Это, конечно, не очень высокая цѣна съ точки зрѣнія метафизическаго паренія, а буддизмъ представляетъ еще то удобство, что въ немъ часто встрѣчается фраза: «этого учитель не открылъ»; такимъ образомъ остается мѣсто и для самостоятельной работы метафизической мысли.

Едва ли, однако, между нарождающимися адептами буддизма въ Европѣ есть много людей самостоятельной мысли,—что-то не слыхать объ нихъ; хотя, вѣроятно, есть люди метафизическаго склада ума, увлекавшіеся Шопенгауэромъ и Гартманомъ, а теперь увлекающіеся индійскимъ первоисточникомъ метафизическаго пессимизма.

Если метафизики мечтаютъ дорыться до недоступнаго человѣку корня вещей и вскрыть тайну безусловной истины, такъ есть, напротивъ, и обожатели тайны, которыхъ хлѣбомъ не корми, только предоставь что-нибудь таинственное. Г-жа Радда-Бай Блаватская обмолвилась однажды прекраснымъ сравненіемъ, которое, какъ и всякое сравненіе, не объясняетъ этого обожанія тайны, но какъ бы даетъ ему всѣмъ знакомые контуры: «все неизвѣстное, таинственное привлекаетъ насъ какъ пустое пространство и, производя головокруженіе, притягиваетъ къ себѣ подобно безднѣ». Есть извѣстный предѣлъ, извѣстная степень тяготѣнія къ тайнѣ, за которою раскрытіе тайны не только не даетъ удовлетворенія, но, напротивъ того, можетъ только огорчить любителя тайны, ибо что же онъ тогда будетъ любить, къ чему тяготѣть? Вотъ почему спириты, теософы и т. п., постоянно толкуя о наукѣ, о научномъ объясненіи фактовъ, еще не изслѣдованныхъ, но несомнѣнно естественныхъ, тѣмъ не менѣе на дѣлѣ отталкиваютъ всякое научное объясненіе таинственныхъ явленій. «Пещеры и дебри Индостана» уже сами по себѣ привлекаютъ ихъ вниманіе своею неизвѣданностью, а когда оказалось, что индусамъ издревле знакомы нѣкоторые пріемы того, что нынѣ называется гипнотизаціей, что іоги позволяютъ себя заживо хоронить и остаются живы, что индійскіе факиры безболѣзненно рѣжутъ, колютъ и жгутъ себя, укрощаютъ змѣй и проч., то вниманіе обожателей тайны сугубо насторожилось. Правда, всѣ эти явленія получаютъ нынѣ вполнѣ научное объясненіе, на что и досадуетъ г-жа Радда-Бай. Но вѣдь еще остаются разсказы о поднятіи индійскихъ подвижниковъ и мудрецовъ на воздухъ, о мгновенномъ перелетаніи ихъ съ мѣста на мѣсто, о необыкновенныхъ ихъ познаніяхъ и столь же необыкновенномъ могуществѣ, добытыхъ упражненіемъ воли и аскетической практикой. А отсюда недалеко уже и до буддизма.

Въ буддійскомъ катехизисѣ, составленномъ Олькотомъ, находимъ, между прочимъ, слѣдующіе вопросы и отвѣты:

В. Могутъ ли наши добрые или худые поступки имѣть непосредственное вліяніе на состояніе, положеніе или форму бытія, ожидающія насъ при нашемъ возрожденіи?

О. Могутъ.

В. Подверждаютъ ли положенія современной науки это буддійское ученіе или противорѣчатъ ему?

О. Истинная наука вполнѣ подтверждаетъ это ученіе причинности. Наука учитъ насъ, что человѣкъ есть результатъ извѣстнаго закона развитія, указывающаго на переходъ отъ несовершеннаго и болѣе низкаго состоянія къ болѣе высокому и совершенному.

В. Какъ называется эта научная доктрина?

О. Эволюція.

В. Можете ли вы указать еще на какое-либо подтвержденіе буддизма наукой?

О. Изъ доктрины Будды мы узнаемъ, что у человѣческаго рода былъ не одинъ прародитель, а также, что нѣкоторые люди обладаютъ больше

нежели другіе, способностью быстро достигать всевѣдѣнія и Нирваны... Точно такимъ образомъ наука учитъ насъ, что изъ милліоновъ существъ, появляющихся на землѣ, иныя достигаютъ быстрѣе другихъ совершенства, другія менѣе быстро и, наконецъ, третьи еще медленнѣе. Буддисты говорятъ, что характеръ возрожденія находится въ прямой зависимости отъ Кармы—преобладанія хорошихъ или дурныхъ поступковъ предшествовавшаго существованія. Ученые говорятъ, что новая особь является результатомъ вліяній, окружавшихъ предшествовавшее поколѣніе. Такимъ образомъ есть совпаденіе въ основной мысли между буддизмомъ и наукой.

Такимъ образомъ, Будда двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, просто сидя подъ священнымъ деревомъ, открылъ тѣ самыя истины, которыя стоили европейской наукѣ вѣковой, упорной преемственной работы, горячей борьбы мнѣній и сомнѣній Въ дѣйствительности, однако, только очень поверхностная или очень предвзятая мысль можетъ находить совпаденіе между буддійскимъ ученіемъ о возрожденіяхъ и доктриною эволюціи, между ученіемъ о Кармѣ, по которому человѣкъ можетъ возродиться послѣ смерти и въ видѣ бога, и въ видѣ ящерицы, съ ученіемъ о наслѣдственности. Но обожателямъ тайны нравится сплетать установленныя или устанавливающіяся научныя доктрины съ гораздо менѣе ясными положеніями буддизма. Такъ выходитъ пикантнѣе въ смыслѣ «головокруженія, поизводимаго таинственнымъ видомъ пустого пространства». Сравнительно недавно кончившаяся эпидемія спиритизма, долго противостоявшая трезвымъ объясненіямъ науки, затѣмъ отношеніе такъ-называемой «большой публики» къ опытамъ чтенія мыслей, гипнотизма, мантевизма и проч., показываютъ, что въ Европѣ еще слишкомъ много обожателей тайны, и нѣтъ мудренаго, что они накидываются на буддизмъ.

Но господа теософы идутъ дальше. Олькотъ говоритъ въ предисловіи къ своему катехизису: «Изобилуютъ признаки, дающіе возможность предвидѣть, что изъ всѣхъ религій міра одна предназначена быть такою, о которой всѣхъ болѣе будутъ говорить, какъ о религіи будущаго, и въ которой откроютъ наименьшій антагонизмъ съ природою и ея законами. Кто дерзнетъ предсказать, что именно это религія не будетъ буддизмъ». («Новѣйшія движенія въ буддизмѣ» В. Лесевича. «Русская Мысль», 1887, № 8). Я полагаю, что это дерзнетъ предсказать всякій непредубѣжденный человѣкъ, знающій цѣну словъ «наука», «религія». Возможно, что нѣкоторые изъ европейцевъ, утратившихъ христіанскія вѣрованія и ищущихъ религіи въ смыслѣ дѣйствительнаго объединенія науки и морали, остановятъ свое вниманіе и на буддизмѣ, столь громко рекламируемомъ. Но останутся при немъ уже, конечно, не лучшіе, не тѣ, кто дѣйствительно жаждетъ ученія, объединяющаго науку и мораль въ ихъ современномъ развитіи и дающаго силу жить и умирать согласно извѣстнымъ принципамъ. Какъ бы ни были искусны (а онѣ даже не искусны) натяжки, при помощи которыхъ извѣстная доля содержанія современной науки втискивается въ рамки буддизма, одного происхожденія буддійской истины достаточно для того, чтобы этотъ lux ex oriente, этотъ «свѣтъ Азіи» померкъ въ глазахъ европейца, дѣйствительно чтущаго науку: наукѣ нечего дѣлать съ истинами, высиженными въ одну прекрасную ночь подъ священнымъ древомъ, «въ кельѣ подъ елью» А просто таки наплевать на науку, какъ предлагаютъ нѣкоторые наши новаторы и реформаторы, европеецъ не можетъ, хотя бы во имя самой высокой морали. Какъ видите, даже обожатели тайны не отрицаютъ науку, а заигрываютъ съ ней. Намъ можно третировать науку, какъ глупость, а европейцу этого нельзя, потому что въ Европѣ наука, во-первыхъ, выстрадана цѣлыми поколѣніями, а во-вторыхъ, своею прикладною частью играетъ слишкомъ важную роль въ практической жизни.

Когда говорятъ о 400 или даже 500 милліонахъ буддистовъ, что составляетъ чуть-ли не половину населенія земного шара, то упускаютъ обыкновенно изъ виду вопросъ— кто эти почитатели Будды? какія страны завоеваны буддизмомъ? Монголія, Тибетъ, Китай, Сіамъ, Аннамъ, Цейлонъ (въ самой Индіи буддизмъ давно уже уступаетъ мѣсто другимъ вѣроученіямъ),—огромное и густо населенное пространство, о которомъ, однако, можно сказать словами поэта: «безглагольна, недвижима, мертвая страна». Гораздо побольше половины населенія земного шара вѣритъ, что солнце ходитъ вокругъ земли, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы будущность принадлежала этому представленію о взаимныхъ отношеніяхъ земли и солнца. Надо еще замѣтить, что буддизмъ дѣлится на толки, и существуетъ мнѣніе, что буддизмъ тибетскій и буддизмъ цейлонскій или вообще сѣверный и южный до такой степени разнствуютъ другъ отъ друга, что только по традиціонному недоразумѣнію могутъ носить одно и то же имя буддизма. Во всякомъ случаѣ весь дѣйствительно огромный контингентъ буддистовъ пріуроченъ къ довольно опредѣленной замершей ступени цивилизаціи. Чтобы хоть сколько-нибудь распространиться за ея предѣлы, онъ самъ долженъ претерпѣть значительныя измѣненія, а въ частности, чтобы соблазнить Европу, онъ долженъ не только приспособиться къ ея наукѣ, но и отказаться отъ своей морали. Но тогда что же отъ него останется?

Буддійская мораль предписываетъ не то что любовь, а благоволеніе не только къ

человѣку, а и ко всему живущему, частью можетъ быть потому, что убьешь зайца, анъ это окажется одно изъ воплощеній Будды! Но любовь любви рознь. Если всякая система морали имѣетъ въ виду личное совершенство и благополучіе адепта, то въ буддизмѣ эта черта выступаетъ уже съ слишкомъ грубою наглядностью, такъ что въ ней тонутъ всѣ предписанія относительно обязанностей къ ближнимъ. Въ «безглагольныхъ, недвижимыхъ, мертвыхъ странахъ», не принимающихъ активнаго участія въ международной жизни, прѣющихъ, если можно такъ выразиться, въ собственномъ соку, всѣ общественныя отношенія, то есть отношенія къ ближнимъ въ отдѣльности и ко всей ихъ совокупности, осѣдаютъ чрезвычайно прочно, почти незыблемо. Не является и мысли поколебать ихъ въ ту или другую сторону. Мысль, какъ критическая, такъ и творческая, устремляется главнымъ образомъ лично на самого носителя мысли, потому что это единственный пунктъ, подлежащій воздѣйствію. Лично съ собой моралистъ этихъ мертвыхъ странъ можетъ продѣлывать самыя жестокія вещи, въ видахъ достиженія совершенства и высшаго духовнаго благополучія; но для ближнихъ у него остается только пассивное благоволеніе, или столь же пассивное непротивленіе злу. Будда, сидя поджавши ноги въ лѣсу, разсылаетъ свое благоволеніе направо, налѣво, вверхъ, внизъ, и этой мысленной разсылки съ него совершенно достаточно: онъ увѣренъ, что помогъ всѣмъ, на кого упалъ лучъ его благоволенія. Что же касается активной помощи ближнимъ, то она тѣмъ менѣе обязательна для буддиста, чѣмъ выше ступень совершенства, на которую онъ поднялся: мы видѣли, что на высшей ступени впечатлѣніе добра и зла одинаково минуетъ сознаніе буддиста, а потому онъ, имѣя возможность накормить умирающаго съ голода, даже не замѣтитъ его. Правда, мы видѣли также, что, движимый любовью, Будда накормилъ своимъ собственнымъ тѣломъ голоднаго тигра и, изжарившись въ видѣ зайца, угостилъ собой брамина. Много и другихъ подобныхъ разсказовъ есть про Будду, но всѣ эти случаи слагаются, во-первыхъ, изъ того же пассивнаго непротивленія злу, а во вторыхъ изъ той же заботы о личномъ благополучіи. Помните: «Какъ свѣжая вода утоляетъ мучительный жаръ погрузившагося въ нее, такъ и пылающій огонь, въ который я (въ видѣ зайца) погрузился, утолилъ всѣ мои мученія». Подобные подвиги, однако, какъ бы ни было велико сопровождающее ихъ наслажденіе страданія, конечно, не по плечу массѣ. Съ точки зрѣнія буддизма, люди, по своимъ нравственнымъ обязанностямъ, могутъ быть раздѣлены на три разряда. Во-первыхъ, достигшіе высшаго совершенства, заживо погрузившіеся въ Нирвану или въ состояніе, близкое къ ней. Для этихъ высшихъ существъ, собственно говоря, не существуетъ никакихъ нравственныхъ обязанностей, ибо съ высоты, до которой они добрались, всякое добро и всякое зло представляется, вульгарно выражаясь, трынъ-травой. Затѣмъ идутъ праведные тоже люди, отшельники, члены монашеской общины, подвизающіеся въ познаніи истины, но еще не достигшіе конца пути. Эти должны сторониться отъ всего житейскаго, жить исключительно подаяніемъ, всемѣрно подавлять всякія свои желанія и потребности, соблюдать, между прочимъ, безусловное цѣломудріе, не противиться злу, кротко переносить обиды и притѣсненія. Все это они могутъ, впрочемъ, продѣлывать въ довольно пріятной обстановкѣ, ибо существуетъ еще третій разрядъ буддистовъ, друзей или почитателей, о которыхъ одинъ священный текстъ выражается такъ: «Дома, жертвуемые общинѣ, мѣста убѣжища и радости, гдѣ можно погрузиться въ самого себя и предаться священному созерцанію,—это превосходный даръ, восхваляемый самимъ Буддою. Поэтому пусть мудрый человѣкъ, разумѣющій свое собственное благо, выстроитъ уютные дома и помѣститъ въ нихъ свѣдущихъ въ ученіи. Да предложитъ онъ радушно имъ, праведнымъ, пищу и питье, одежду и постели». А они за это будутъ поучать «мудраго человѣка» истинамъ о страданіи и избавленіи: можетъ быть, въ одномъ изъ слѣдующихъ воплощеній и ему удастся приблизиться къ Нирванѣ.

Мнѣ кажется, смѣшно даже думать о томъ, чтобы подобная мораль могла войти въ составъ «будущей религіи» Европы, которая, очевидно, съ одной стороны слишкомъ себялюбива и своекорыстна, а съ другой, напротивъ, слишкомъ участлива къ дѣламъ ближняго, чтобы сравняться съ Сіамомъ и Аннамомъ, Китаемъ и Монголіей.

Если, однако, дерзкая мысль Олькота о буддизмѣ, какъ о религіи будущаго, совершенно неосновательна, то найдется всетаки въ Европѣ можетъ быть и не мало людей, которымъ буддизмъ симпатиченъ и помимо тѣхъ моментовъ метафизическаго паренія и обожанія тайны, о которыхъ было говорено выше.

Легенда всегда разукрашиваетъ своего героя, приписывая ему поступки, которыхъ онъ не совершалъ и не могъ совершить, или влагая въ его душу высокіе мотивы, которыхъ онъ можетъ быть и не имѣлъ. Легенда рисуетъ отъѣздъ Будды изъ родительскаго дома яркими красками благород-

ства, великихъ помысловъ, самоотверженія, состраданія ко всему сущему, обреченному на вѣчныя страданія. Все это могло быть и не быть, но по крайней мѣрѣ рядомъ съ этими мотивами не только можно, а, кажется, должно поставить простое пресыщеніе. До двадцати девяти лѣтъ Будда жилъ среди такой роскоши и чувственной нѣги, испыталъ столько наслажденій, что ему на этомъ пути мудрено было встрѣтить новое возбужденіе. А между тѣмъ натура уже привыкла къ этому неустанному и блестящему празднику чувствъ, къ этой безконечной цѣпи наслажденій. Поэма Эдвина Арнольда, согласно легендѣ, изображаетъ Будду задумывающимся среди роскоши и нѣги о переполняющемъ міръ страданіи. До какой степени трудно было поэту справиться съ этимъ пунктомъ, видно изъ слѣдующаго. Въ первой части поэмы Будда, между прочими развлеченіями, ѣздитъ на охоту и хотя «часто» давалъ уходить травимому звѣрю, но все-таки, конечно, видалъ раны и смерть; по одному случаю онъ имѣлъ съ своимъ двоюроднымъ братомъ споръ о томъ, кому должна принадлежать подстрѣленная птица, — тому ли, кто ее хотѣлъ убить и ранилъ, или тому, кто ее спасъ и вылѣчилъ. Но все это были мимолетныя впечатлѣнія, не оставлявшія глубокаго слѣда въ душѣ царевича. Кругомъ его «все говорило о мирѣ и довольствѣ, царевичъ видѣлъ это и былъ доволенъ. Но вотъ, присмотрѣвшись ближе, онъ замѣтилъ шипы на розахъ жизни. Онъ замѣтилъ... что всюду всякій убиваетъ убійцу и самъ становится жертвой убійцы, что жизнь питается смертью. Подъ красивою внѣшностью скрывается всеобщій свирѣпый, мрачный заговоръ взаимнаго убійства, всѣ имъ охвачены, отъ червя до человѣка, который убиваетъ себѣ подобныхъ». Пораженный этимъ открытіемъ, Будда «сѣлъ, скрестивъ ноги такъ, какъ его обыкновенно изображаютъ на священныхъ статуяхъ, и началъ въ первый разъ размышлять о страданіяхъ жизни, объ ихъ источникахъ и о средствахъ помочь имъ». Достигнувъ экстаза, Будда успокоился («Свѣтъ Азіи», стр. 14 и сл.). Во второй книгѣ поэмы Будда женится на красавицѣ Яходсаръ и совершенно утопаетъ въ блаженствѣ. Въ третьей книгѣ онъ выѣзжаетъ въ первый разъ изъ своихъ дворцовъ и садовъ въ городъ и встрѣчаетъ дряхлаго, стараго нищаго. Царевичъ спрашиваетъ своего спутника: «Что это за существо, похожее на человѣка, но конечно только похожее? Развѣ когда-нибудь люди родятся такими? Что значатъ его слова: «я при смерти»? («Свѣтъ Азіи», 45). Оказывается, что царевичу, уже размышлявшему до экстаза о смерти и страданіяхъ, нужно объяснить, что такое смерть, старость, болѣзнь, страданіе. Подобныхъ наглядныхъ несообразностей поэма избѣжала-бы, еслибы задачей ея не было точное воспроизведеніе легенды. Возможна во всякомъ случаѣ другая поэма на ту-же тему, болѣе согласная съ законами человѣческой природы и, надо думать, съ истиной. Она представитъ Будду пресыщеннымъ всѣмъ окружающимъ его великолѣпіемъ. Всѣ дорожки увеселительныхъ садовъ исхожены, всѣ пѣсни красивыми прислужницами перепѣты, всѣ жены («Свѣтъ Азіи» говоритъ объ одной женѣ Будды, но ихъ было, повидимому, нѣсколько) перецѣлованы, и завтра, и послѣ завтра, и до конца дней надо ходить по тѣмъ же дорожкамъ, слушать тѣ же пѣсни, вдыхать тѣ же благовонія, смотрѣть на тѣ же алмазы и жемчуги. Какая тоска! Будда могъ бы сказать своей Яходсарѣ тѣ самыя слова, съ которыми Тангейзеръ обращается у Гейне къ Венерѣ:

> Frau Venus, meine schöne Frau,
> Von süssem Wein und Küssen
> Ist meine Seele worden krank,
> Ich schmachte nach Bitternissen.
> Wir haben zu viel gescherzt und gelacht,
> Ich sehne mich nach Thränen,
> Und statt mit Rosen möcht ich mein Haupt
> Mit spitzigen Dornen krönen.

Тщетно царевичъ ходитъ по своей золотой клѣткѣ, ища чего нибудь новаго, что могло бы порадовать наслажденіемъ его притупившіеся нервы. Можетъ быть, изрѣдка еще вспыхиваетъ чуть тлѣющій огонь, благодаря какой-нибудь комбинаціи наслажденій или искусственной приподнятости ихъ тона, но и эти вспышки наступаютъ все рѣже. Наконецъ вся чаша выпита и, заглядывая въ нее, царевичъ видитъ лишь ея дно, обнаженное отъ искрометной, веселящей влаги. Дальнѣйшія попытки утолить жажду изъ этого опустѣвшаго сосуда могутъ только мучительно дразнить воображеніе, не давая никакого удовлетворенія. Является наконецъ мысль разбить эту ненужную, проклятую, дразнящую чашу. Является хула на жизнь. Въ самомъ дѣлѣ, что она дала царевичу къ двадцати девяти годамъ? Чувственныя наслажденія, если они смѣняютъ другъ друга, какъ день и ночь, исчерпываются сравнительно быстро, въ особенности для натуръ недюжинныхъ, какимъ было несомнѣнно Будда. Отъ нихъ остается лишь неутоленная и неутолимая жажда, да двѣ преспективы: назадъ, въ прошлое, гдѣ видится цѣпь наслажденій, потерявшихъ уже цѣну, и впередъ, въ будущее, гдѣ уже ничего цѣннаго не видится. Мрачный взглядъ на жизнь, хула на нее очень естественны при такихъ обстоятельствахъ. Но нуженъ же какой-нибудь

выходъ. Разные бываютъ выходы изъ этого мучительнаго положенія. Буддѣ выходъ былъ подсказанъ готовыми уже образцами, воспитанными совокупностью географическихъ, климатическихъ, историческихъ и бытовыхъ условій его роскошной и несчастной родины. Наслажденіе стало источникомъ его страданій,—онъ пошелъ искать новыхъ, неизвѣданныхъ наслажденій въ страданіи.

Кромѣ того пути, которымъ Будда пришелъ къ сознанію скорби существованія, есть еще другой путь, ведущій въ тотъ же мракъ, но изъ совершенно противоположной исходной точки. Постоянныя лишенія, скудость жизни и отсутствіе самыхъ элементарныхъ и законныхъ наслажденій тоже могутъ привести къ хулѣ на жизнь. Въ пессимистическій мракъ люди не только спускаются съ волшебныхъ облаковъ нѣги и роскоши, но и поднимаются въ него изъ глубинъ безразсвѣтной бѣдности и лишеній. Если я сегодня голоденъ и вчера былъ голоденъ и завтра и послѣ завтра буду голоденъ; если вдобавокъ я, согласно древнему индійскому вѣрованію, не избавлюсь отъ голода и смертью, потому что въ новомъ возрожденіи мнѣ, можетъ быть, опять придется голодать, то немудрено, что жизнь представится мнѣ нескончаемой вереницей страданій,—она вѣдь и въ самомъ дѣлѣ такова. Единственное средство — пріучиться не ѣсть, вытравить изъ себя чувство голода. Въ «безглагольныхъ, недвижимыхъ, мертвыхъ странахъ», гдѣ всѣ перспективы жизни отличаются мертвенно томительною опредѣленностью, въ частности въ Индіи съ ея кастовымъ строемъ и вѣрою въ вѣчное скитальчество души, задолго до Будды выработался въ народныхъ массахъ самый отчаянный пессимизмъ. Онъ усиленно раздувался и до-буддійской браминской метафизикой. «Пещеры и дебри Индостана» были переполнены бѣглецами отъ жизни, и Будда присталъ къ нимъ. Свою несчастную, отъ кажущаго обилія счастія, вѣнчанную розами голову онъ рѣшилъ mit spitzigen Dornen krönen. Такъ какъ разныя алканія его притупленныхъ нервовъ не находили удовлетворенія, оставаясь однако алканіями, то онъ рѣшилъ ихъ уничтожить, прекратить аскетической практикой или борьбой съ потребностями, даже такими элементарными, какъ дыханіе и питаніе. Въ этихъ страданіяхъ онъ искалъ наслажденія, котораго уже не могъ найти въ своихъ дворцахъ и садахъ. Затѣмъ, онъ отвергъ эту уже слишкомъ безнадежную борьбу и остался при цѣломудріи, нищенствѣ и созерцательной жизни, въ каковой и достигъ искомаго блаженства,—блаженства отсутствія желаній.

Мнѣ остается, на этотъ разъ, слишкомъ мало мѣста, чтобы затѣвать разговоръ о томъ крайне сложномъ и, повидимому, парадоксальномъ явленіи, которое можно назвать наслажденіемъ страданія. Сведемъ пока наши концы съ концами, то есть вернемся къ европейцамъ, увлекающимся буддизмомъ.

Весьма и весьма многіе европейскіе «сыны роскоши, прохладъ и нѣги» отказались бы помѣняться своей судьбой и обстановкой съ царевичемъ Сидартхой (свѣтское имя Будды). Царевичъ носилъ изумрудное ожерелье на шеѣ, жемчужину на шлемѣ и т. п. Нынѣшній европеецъ давно предоставилъ эти украшенія женщинамъ; а что касается, напримѣръ, кулинарныхъ пріятностей, то любой нынѣшній ресторанъ предоставитъ европейцу вещи позанимательнѣе и поразнообразнѣе, чѣмъ «плоды, омоченные росой, шербетъ, замороженный въ снѣгахъ Гималаевъ, тонкія сахарныя печенія, сладкое кокосовое молоко въ бѣлыхъ кокосовыхъ чашахъ» («Свѣтъ Азіи»). Вообще, если отнять у роскоши, окружавшей царевича Сиддартху, ея спеціально азіятскія черты, нисколько не соблазнительныя для европейца, то весьма и весьма многіе европейцы скажутъ объ остальномъ: мнѣ этого мало! Женскія ласки и всѣ эти «прелестныя танцовщицы, кравчія, музыкантши, нѣжныя чернобровыя прислужницы любви»— тоже вѣдь не недоступны современному европейцу.

Дѣло роскоши и всякихъ утѣхъ и само по себѣ далеко подвинулось въ теченіе двухъ тысячелѣтій, а кромѣ того, благодаря обширности международныхъ сношеній, современный европеецъ можетъ имѣть въ своемъ распоряженіи такія пріятности, которымъ царевичъ Сиддартха даже имени не зналъ. Между тѣмъ природа человѣка осталась таже самая, съ тою же способностью переступать за предѣлы нормальныхъ потребностей и съ тою же возможностью пресыщенія. Уголовная и скандальная хроника европейскихъ странъ полна случаями, свидѣтельствующими о тѣхъ ухищреніяхъ, къ которымъ прибѣгаютъ люди, чтобы догнать все убѣгающее отъ нихъ наслажденіе. Но ни возростающая роскошь, ни утонченности разврата, ни какія бы то ни было искусственныя возбужденія не въ состояніи вывести человѣка изъ-подъ дѣйствія «основного психофизическаго закона», по которому ощущеніе ростетъ, какъ логарифмъ впечатлѣнія: впечатлѣнія или раздраженія должны наростать все быстрѣе и быстрѣе, чтобы ощущеніе держалось хотя бы только на одномъ и томъ же уровнѣ. А отсюда тоска неудовлетворенности и хула на жизнь, вѣчно дразнящую. А, если бы можно было вырвать изъ себя съ корнемъ всѣ эти неудовлетворимыя

желанія, всю эту постылую жажду жизни!.. Немудрено, что европейскіе «сыны роскоши, прохладъ и нѣги» симпатично относятся къ буддизму, или хоть интересуются его обѣщаніями освободить людей отъ желаній. Въ настоящихъ буддистовъ они, конечно, не обратятся, но отчего бы имъ не устроить хорошенькую «келью подъ елью» и не размышлять тамъ о суетѣ мірской? или отчего бы имъ, вдоволь насладившись жизнью, не начать проповѣдь отреченія отъ любви? отчего бы наконецъ имъ, нашедшимъ на днѣ наслажденій страданіе, не поискать, если не для себя, такъ для другихъ, наслажденія въ страданіи?

III.

Въ цитированной уже нами книгѣ г. Позднѣева «Очерки быта буддійскихъ монастырей и буддійскаго духовенства въ Монголіи» есть любопытное описаніе буддійскихъ «бурхановъ» то есть изображеній различныхъ божествъ. Одни изъ этихъ бурхановъ изображаются съ покойными и улыбающимися лицами, въ ознаменованіе того идеальнаго спокойствія, которое достигается упражненіями въ буддійскомъ смыслѣ. Другіе, напротивъ, называемые «докшитами», «соединяютъ въ себѣ все, что можетъ представить безобразнаго и уродливаго человѣческая фантазія». Докшиты раздѣляются на три группы: «1) докшиты въ сладострастныхъ формахъ, 2) докшиты въ формахъ, которыя монголы называютъ богатырскими, и 3) докшиты въ формахъ ужасныхъ, съ лицами, полными гнѣва, и окруженные принадлежностями смерти, пытки, мученій. Докшитовъ, изображаемыхъ въ формахъ самаго чувственнаго сладострастія, чрезвычайно много». Г. Позднѣевъ входитъ въ нѣкоторыя подробности описанія этихъ докшитовъ, но хотя онъ дѣлаетъ это въ возможно скромныхъ выраженіяхъ, самый сюжетъ таковъ, что я не нахожу удобнымъ приводить здѣсь эти подробности. Съ нашей, европейской точки зрѣнія, это нѣчто до послѣдней степени безстыдное и доступное лишь вполнѣ разнузданному, въ направленіи самаго дикаго сладострастія, воображенію. Докшиты «богатырскіе» отличаются преувеличенными размѣрами зубовъ, ногтей, толщиною рукъ и ногъ или нѣсколькими головами, множествомъ рукъ и проч.; всѣмъ этимъ свидѣтельствуется ихъ могущество. Докшиты «ужасные» держатъ въ рукахъ человѣческіе черепа или кости, оружіе, змѣй и проч.; брови ихъ нахмурены, лица искажены злобою.

«Страннымъ,—говоритъ г. Позднѣевъ,— и даже просто непонятнымъ могутъ показаться для человѣка, незнакомаго съ буддизмомъ, эти циничныя и ужасныя формы божествъ; но въ глазахъ буддистовъ все это имѣетъ свой великій смыслъ и свое таинственное значеніе. Такимъ образомъ общее для всѣхъ докшитовъ безобразіе и искаженіе злобою лицъ ихъ служитъ прямымъ выраженіемъ ихъ отвращенія отъ предметовъ матеріальнаго міра и постояннаго стремленія ихъ подавить матеріальное, грѣховное начало... Изображеніе докшитовъ въ совершенной наготѣ свидѣтельствуетъ о полнѣйшемъ удаленіи (свободѣ) ихъ отъ всѣхъ препятствій къ спасенію... Объятіямъ женщинъ придается иносказательный смыслъ полнѣйшаго удовлетворенія всѣхъ пожеланій и распространенія великаго блаженства».

Я не думаю, чтобы объясненіе это можно было назвать удовлетворительнымъ. Оно, пожалуй, дѣлаетъ честь умственной изворотливости буддійскихъ начетчиковъ, но оставляетъ явленіе вполнѣ загадочнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ религія, проповѣдующая кротость, непротивленіе злу, всеобщее благоволеніе, не находитъ для изображенія отвращенія отъ матеріальнаго міра ничего болѣе подходящаго, чѣмъ искаженное злобой лицо божества и орудія пытки, мучительства, казни? Вѣдь это вопіющая наглядная несообразность! Почему, далѣе, религія, столь высоко цѣнящая цѣломудріе, символами высшаго блаженства и удовлетворенія всѣхъ желаній выбираетъ грубо циническія сцены сладострастія и разврата? Вѣдь это значитъ, что проповѣдники цѣломудрія и представить себѣ не могутъ ничего выше, въ смыслѣ блаженства, чѣмъ сладострастіе. А между тѣмъ должны же какънибудь укладываться въ одно цѣлое эти странныя психологическія противорѣчія. Это загадка, которую объясненіе, приводимое г. Позднѣевымъ, не только не разрѣшаетъ, а, напротивъ того, ставитъ ребромъ, потому что вскрываетъ внутреннюю противорѣчивость явленія. Я, разумѣется, не возьмусь рѣшить эту загадку спеціально по отношенію къ буддизму (можетъ быть только монгольскому или вообще сѣверному); но припомнивъ кое-какіе факты исторіи и текущей жизни, мы можемъ, кажется, по крайней мѣрѣ приблизиться къ пониманію возможности подобныхъ противорѣчій вообще.

Минуя чудовищные культы древняго Египта, Ассиріи, Вавилона, Финикіи, гдѣ самыя страшныя самоистязанія сочетались съ свирѣпою жестокостью, даже до мучительскихъ человѣческихъ жертвоприношеній, и съ оргіями разврата; минуя греческія и римскія вакханаліи, въ которыхъ встрѣчаемъ сочетаніе тѣхъ же трехъ элементовъ, остановимся на средневѣковыхъ самобичевателяхъ или флагеллантахъ. Они появились

въ Европѣ еще въ VIII вѣкѣ, когда сложилось ученіе, что грѣхи можно выкупать эквивалентомъ физическаго страданія. Въ XI вѣкѣ появляются точные разсчеты: такое-то количество ударовъ, сопровождаемыхъ пѣніемъ такого-то количества такихъ-то псалмовъ, равняется году искупленія. Въ XIII вѣкѣ, именно въ 1260 г., появилась въ Италіи первая процессія бичующихся: огромная толпа полураздѣтыхъ мужчинъ и женщинъ переходила съ мѣста на мѣсто, распѣвая священныя пѣсни и нанося себѣ кровавые удары. Въ XIV столѣтіи каждое крупное общественное несчастіе вызывало эти коллективные взрывы чувства грѣха и покаянія, а такихъ несчастій было много: чума, голодъ, землетрясенія, появленіе монголовъ. Движеніе охватило огромное пространство: Венгрію, Богемію, Польшу, Швецію, Италію, Францію, Германію. Люди, проникнутые жаждой физическаго страданія во искупленіе грѣховъ, цѣлыми толпами жестоко истязали себя ударами узловатыхъ ременныхъ плетей, въ которыя еще вплетались кусочки заостреннаго желѣза. XV, XVI и даже XVII столѣтія были еще свидѣтелями этихъ странныхъ процессій, въ которыхъ люди собственною кровью и добровольнымъ мученичествомъ боролись съ вожделѣніями своей плоти и казнили ее. Нужны ли, возможны ли болѣе яркія выраженія побѣды духа надъ плотью? Флагелланты скорбѣли о томъ нечестіи, въ которомъ погрязъ христіанскій міръ; они видѣли кару Божію въ разныхъ постигавшихъ Европу бѣдахъ и добровольно налагали на себя кровавое наказаніе во искупленіе грѣховъ. Безъ всякаго сомнѣнія, среди этихъ обезумѣвшихъ людей были и простые обманщики. Въ 1260 году было въ ходу письмо, писанное будто-бы самимъ Христомъ и доставленное чрезъ посредство ангела іерусалимскому патріарху; въ письмѣ этомъ Христосъ, гнѣвно отзываясь о царящемъ среди христіанъ безбожіи и нечестіи, рекомендовалъ самобичеваніе, какъ единственный путь спасенія. Было много и другихъ подобныхъ обмановъ и подлоговъ, но большинство совершенно искренно вѣрило въ необходимость и спасительность самобичеванія, ибо явно близился день конца міра и страшнаго суда; надо было его встрѣтить чистыми отъ всякой скверны.

А между прочимъ вотъ что продѣлывалось флагеллантами. Въ Испаніи въ XVII вѣкѣ самобичеваніе стало дѣломъ моды, флагелланты обучались искусству граціозно истязать себя, носили цвѣта любовницъ на плети, бичевались передъ ихъ окнами; при встрѣчѣ съ красивой женщиной наровили ударить себя такъ, чтобы кровь брызнула на нее, и это считалось галантнымъ поступкомъ. Положимъ, что эти дикія любезности продѣлывались только, кажется, въ странѣ мантилій и вѣеровъ, гитаръ и шпагъ, и притомъ уже на ущербѣ флагеллантскаго движенія. Но и здѣсь любопытно всетаки сочетаніе аскетической практики съ земной любовью, а раньше и во всей Европѣ самобичеваніе сопровождалось ужасами, совершенно лишенными дикихъ формъ испанской галантности или галантныхъ формъ испанской дикости. Удивительнымъ образомъ въ флагеллантѣ, побѣдоносно борющемся съ своей грѣшною плотью, оказывался настоящій «человѣкъ-звѣрь», кровожадный и сладострастный. На ночевкахъ, гдѣ флагелланты спали въ повалку, старые и малые, мужчины и женщины, происходили всевозможныя безобразія, а кромѣ того бичующіеся были участниками, а иногда и зачинщиками массовыхъ избіеній евреевъ и другихъ звѣрствъ въ томъ же родѣ. Спеціальный историкъ аскетизма говоритъ о «формальныхъ преступленіяхъ и то утонченныхъ, то скотски грубыхъ ужасахъ разврата въ флагеллантизмѣ, исторіей развитія которыхъ можно бы было наполнить многія страницы, пожалуй цѣлые томы мистическо-уголовной исторіи и статистики» (Zöckler, «Kritische Geshichte der Askese»). Тотъ-же историкъ и по тому же поводу указываетъ на «сладострастно жестокое наслажденіе, испытываемое человѣкомъ отъ собственнаго или чужого физическаго страданія». Это чудовищное наслажденіе, доселѣ не имѣющее раціональнаго объясненія, но эмпирически вполнѣ установленное, хорошо извѣстно психіатрамъ и практическимъ педагогамъ; о немъ, между прочимъ, разсказываетъ по собственному опыту Руссо въ своихъ «Confessions».

О нѣмецкихъ піетистахъ начала сороковыхъ годовъ нашего вѣка Шерръ выражается такъ: «Въ основѣ всѣхъ развѣтвленій піетистическаго направленія, несомнѣнно, лежитъ древняя кровавая теологія поклонниковъ Молоха, дополненная культомъ сладострастія, подобно тому, какъ и у древнихъ финикійцевъ храмъ Астарты стоялъ рядомъ съ храмомъ Молоха. Оттого-то въ ихъ рѣчахъ такъ часто проглядываетъ демонское сладострастіе и кровожадность» («Исторія цивилизаціи въ Германіи»). Шерръ разсказываетъ, между прочимъ, «гнусную трагедію піетизма, разыгравшуюся въ Вильдисбухѣ, въ кантонѣ Цюрихъ, между 1819 и 1843 гг. въ семействѣ зажиточнаго крестьянина Петера и представляющую намъ примѣръ того, какъ религіозность въ умахъ нѣкоторыхъ людей можетъ соединяться съ крайнимъ сластолюбіемъ и жестокостью. Героиня этой трагедіи, Маргарита Петеръ, по-

стоянно металась между крайностями лже-религіознаго энтузіазма и самымъ грязнымъ развратомъ а кончила тѣмъ, что распяла свою родную сестру и потомъ заставила своихъ безумныхъ родственниковъ распять ее самое.

Изъ мыслителей отмѣтимъ Новалиса («Fragmente»), Дюринга («Der Werth des Lebens»), съ настойчивостью указывавшихъ на сродство лже-религіознаго рвенія, сладострастія и жестокости. Обращаясь къ психіатрамъ, найдемъ у нихъ обильныя указанія на связь между мистическимъ чувствомъ, направленнымъ на изможденіе плоти, съ звѣрскими чертами жестокости и сладострастія (см. напр. Крафтъ-Эбингъ—«Учебникъ психіатріи», I, 79 и сл., II, 110 и сл.; его же—«Половая психопатія»; Маудсли — «Физіологія и патологія души», 291; Тарновскій — «Извращеніе полового чувства» и др.). Читатель понимаетъ, почему я избѣгаю приводить фактическія подробности, вполнѣ, конечно, умѣстныя въ спеціальныхъ сочиненіяхъ, но вовсе не нужныя намъ здѣсь и слишкомъ отвратительныя, чтобы пачкаться объ нихъ безъ нужды. Приведу только недавнюю исторію отравительницы Маріи Жаннере (умерла въ 1884 году), свободную отъ скользкихъ, въ смыслѣ изложенія, подробностей и потому не вполнѣ характерную, но всетаки для насъ поучительную. Эта женщина посвятила себя уходу за больными и именно тяжелыми больными, собственно потому, что зрѣлище страданій доставляло ей своеобразное наслажденіе. Она на колѣняхъ просила врачей разрѣшить ей присутствовать при трудныхъ операціяхъ; съ тою же спеціальною цѣлью она отравила одного за другимъ девять человѣкъ. Въ тюрьмѣ она очень желала заболѣть какою-нибудь тяжелою болѣзнью, чтобы любоваться въ зеркалѣ на свое искаженное страданіями лицо. Это ужъ совсѣмъ во вкусѣ маркиза де-Сада, утверждавшаго, что сильныя физическія мученія доставляютъ сладострасное наслажденіе, какъ зрителю, такъ и самому мученику. Если скажутъ, что это явленія патологическія, то я отвѣчу, что вѣдь мы и вообще вращаемся въ данномъ случаѣ въ мірѣ нездоровыхъ явленій.

Путешественники, присутствовавшіе при празднествахъ, на которыхъ люди доходятъ до мистическаго экстаза, сообщаютъ также не мало сюда относящихся чертъ. Любопытны, напримѣръ, слѣдующія слова Вамбери: «Не смотря на все религіозное значеніе благородной Мекки, она, какъ и другіе священные города, отличается распущенностью и испорченностью нравовъ. Пламенныя молитвы чередуются съ безнравственными излишествами всякаго рода, и тутъ же, около самаго храма, происходятъ оргіи, превосходящія всякое описаніе» («Очерки и картины восточныхъ нравовъ»). Русселэ («Индія раджей») разсказываетъ о празднествѣ въ честь богини весны, Вассанти, продолжающемся сорокъ дней; «въ это время во всѣхъ классахъ общества царствуетъ разгулъ, полнѣйшая распущенность и развратъ; это настоящія индійскія сатурналіи». Вмѣстѣ съ тѣмъ еще недавно «въ этотъ день воздвигалось на ярмарочной площади множество висѣлицъ; охмелѣвшіе люди заставляли подвѣшивать себя на крючья, которые вонзались въ ихъ тѣла. Въ такомъ положеніи они описывали круги до тѣхъ поръ, пока не разрывалось, обратившееся въ лоскуты, мясо, и они не падали замертво на землю».

Изъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ беллетристовъ ближе всѣхъ подошелъ къ занимающему насъ явленію и глубже всѣхъ могъ бы въ него проникнуть Достоевскій. Говорю «могъ бы», потому что, къ сожалѣнію, самъ онъ былъ слишкомъ проникнутъ вѣрою въ необходимость, спасительность и именно наслажденіе страданія, чтобы взглянуть на дѣло съ достаточною трезвостью. Припомнимъ хоть Ставрогина въ «Бѣсахъ», который «увѣрялъ, что не знаетъ различія въ красотѣ между какою-нибудь сладострастною звѣрскою шуткой и какимъ угодно подвигомъ, хотя-бы жертвою жизни для человѣчества, что онъ нашелъ въ обоихъ полюсахъ совпаденіе красоты, одинаковость наслажденія». Такъ какъ Ставрогинъ, на ряду съ другими дѣйствующими лицами «Бѣсовъ», одолѣваемъ кромѣ того мистическими идеями, то мы имѣли бы въ его лицѣ полное сочетаніе трехъ вышеотмѣченныхъ элементовъ, еслибы Достоевскій могъ съ нимъ справиться. Но Достоевскій именно не могъ, потому что въ немъ самомъ слишкомъ сросся «жестокій талантъ» съ проповѣдью спасительности страданія.

Послѣ всего сказаннаго (а сказаннаго могло бы быть гораздо больше) не покажутся уже столь странными циническіе и жестокіе облики буддійскихъ божествъ. Въ нихъ, въ этихъ отвратительныхъ образахъ, можетъ быть невѣдомо для самихъ буддистовъ, воплотилась нѣкоторая сложная психологическая черта, весьма мало еще изученная и даже мало обращавшая на себя вниманія, но гораздо болѣе распространенная, чѣмъ можно бы было думать. Не въ томъ дѣло, что кроткіе и цѣломудренные люди молятся кровожаднымъ и сладострастнымъ богамъ,—это было бы не столь удивительно, — а въ томъ, что люди, исповѣдующіе кротость и всеобщее благоволеніе, изображаютъ отвращеніе отъ грѣха въ видѣ злобныхъ лицъ,

кровавыхъ сценъ; люди, исповѣдующіе безусловное цѣломудріе, изображаютъ высшее блаженство въ формахъ разнузданнаго сладострастія. Я не знаю, какимъ образомъ «докшиты» проникли въ буддійскій пантеонъ, но знаю, что выразившееся въ нихъ противорѣчіе встрѣчается въ жизни часто.

Спрашивается, какими путями могло сложиться такое чудовищное сочетаніе психологическихъ элементовъ, столь, повидимому, не подходящихъ и трудно соединимыхъ, сложиться не въ одномъ какомъ-нибудь случайномъ исключительномъ экземплярѣ человѣческой породы,—это былъ бы только курьезъ,—а въ цѣлыхъ массахъ и въ созданныхъ ими культахъ. Повидимому, какъ бы ни были грубы половыя отношенія, но должно же быть въ нихъ что-нибудь мягкое, любовное. Мы такъ привыкли думать, что именно взаимныя отношенія мужчины и женщины, кладущія основаніе семьѣ, способствовали историческому смягченію нравовъ вообще, нарожденію или, по крайней мѣрѣ, развитію поэзіи, и еще многимъ другимъ хорошимъ, добрымъ вещамъ. И однако, въ какой-то таинственной связи съ этимъ зерномъ поэзіи добрыхъ нравовъ, рыцарства находятся кровожадность и мучительство. Противорѣчіе окажется еще ярче и глубже, если мы взглянемъ на дѣло съ той точки зрѣнія, которая называлась въ старые годы натуръ-философской: ласки любви, установленныя природой въ видахъ продолженія рода, ласки любви, начало новой жизни, и убійство, кровавый конецъ жизни, да еще растянутый мучительствомъ, своего рода антиподомъ ласки. Какая же мрачная сила связала эти два полюса воедино? Историки культуры и антропологи дадутъ намъ, пожалуй, нѣкоторое объясненіе. Они скажутъ, — и справедливо скажутъ,—что любовь была не всегда тѣмъ высокимъ «любовнымъ» чувствомъ, какимъ мы признаемъ ее нынѣ, послѣ длиннаго ряда вѣковъ общественнаго развитія; что нѣкогда, какъ и по сейчасъ у нѣкоторыхъ дикарей, женщина была не болѣе какъ самкой, изъ-за обладанія которою у самцовъ происходили кровавыя драки, да и сама она подвергалась насилію, подчасъ столь же жестокому и кровавому. Нашъ отдаленный предокъ добывалъ женщину арканомъ и дубиной, тащилъ ее въ свой шалашъ или пещеру, какъ плѣнницу, выкраденную или отбитую у враждебнаго рода или племени, съ которыми у него имѣлись старые кровавые счеты. Нѣчто подобное мы вѣдь и теперь можемъ наблюдать, когда какая-нибудь турецкая или иная солдатчина хозяйничаетъ въ чужой странѣ. Такимъ образомъ самое удовлетвореніе того чувства, которое мы нынѣ зовемъ любовью, было запятнано мстительной злобой, жестокой ненавистью. И если мы нынѣ встрѣчаемъ столь поразительныя для насъ сочетанія любви и жестокости, то это не болѣе, какъ случаи атавизма, воскрешенія, подъ давленіемъ неизвѣстныхъ намъ условій наслѣдственности, ассоціаціи чувствъ, когда-то вполнѣ естественной. Объясненіе это по всей вѣроятности частью справедливо, но не полно, односторонне и ни въ какомъ случаѣ не обнимаетъ всей интересующей насъ сложной психологической черты. Въ послѣднемъ своемъ романѣ Эмиль Зола приложилъ это объясненіе наглядно. Въ его «человѣкѣ-звѣрѣ» бушуютъ единовременно страстное половое влеченіе и жажда кроваваго убійства: онъ тщетно борется съ самимъ собой; онъ самъ въ полномъ отчаяніи отъ раздирающихъ его явно противорѣчивыхъ чувствъ и не знаетъ, откуда они берутся. Зато авторъ очень хорошо знаетъ откуда: это случай атавизма, внезапнаго пробужденія того древняго сочетанія полового влеченія и кровожадности, которое имѣло въ свое время очень ясныя и опредѣленныя причины, а теперь выскакиваетъ изъ далекаго прошлаго съ неожиданностью водевильнаго дядюшки изъ Америки, только не съ милліоннымъ, а съ кровавымъ наслѣдствомъ.

Это такъ, и что касается собственно героя романа Зола, то любопытство наше относительно его можетъ быть и удовлетворено такимъ объясненіемъ. Однако, едва ли не потому только, что герой этотъ есть ходячій тезисъ объ атавизмѣ или манекенъ, выставленный съ спеціальною цѣлью иллюстрировать этотъ тезисъ. Онъ слишкомъ угловатъ, сухъ, подчеркнутъ, недостаточно сложенъ, чтобы претендовать на живую типичность и возбуждать глубокій психологическій интересъ. Художникъ гораздо болѣе крупный, чѣмъ Зола, Достоевскій неоднократно намѣчалъ ту же черту гораздо шире и искалъ ей объясненія не въ погребенномъ прошломъ, а въ общихъ свойствахъ человѣческаго духа, доселѣ живущихъ. Такъ, напримѣръ, герой разсказа «Игрокъ» не можетъ рѣшить, дѣйствительно ли онъ любитъ любимую женщину или же, напротивъ того, ненавидитъ ее. «Клянусь,—говоритъ онъ, между прочимъ,—еслибы было возможно медленно погрузить въ ея грудь острый ножъ, то я, мнѣ кажется, схватился бы за него съ наслажденіемъ. А между тѣмъ, клянусь всѣмъ, что есть святого, еслибы на Шлангенбергѣ она сказала мнѣ: «бросьтесь внизъ», то я бы тотчасъ же бросился, и даже съ наслажденіемъ». По Достоевскому, душевныя свойства человѣка таковы, что онъ, во-первыхъ, любитъ мучить другихъ людей, а во-вторыхъ— любитъ самъ страдать, и разными комбина-

ціями этихъ двухъ основныхъ свойствъ объясняются для Достоевскаго всѣ парадоксальные случаи въ родѣ любви «игрока» и другіе подобные, которыми онъ такъ сильно интересовался. Объясненіе это никуда не годится и ровно ничего не объясняетъ, потому что само насквозь пропитано тѣмъ самымъ противорѣчіемъ, которое объяснить желаетъ. Но оно хорошо по крайней мѣрѣ тѣмъ, что не отсылаетъ насъ къ давно прошедшему времени, а ставитъ насъ лицомъ къ лицу съ условіями человѣческаго духа, въ предположеніи сейчасъ дѣйствующими. Своими сближеніями такихъ полюсовъ, какъ наслажденіе и страданіе, любовь и ненависть, Достоевскій ставилъ любопытнѣйшую задачу, хотя и не могъ рѣшить ее, будучи самъ ею придавленъ. При всемъ уваженіи къ ученію о наслѣдственности или даже именно вслѣдствіе этого уваженія, пора бросить манеру искать исключительно въ немъ объясненія для всѣхъ сколько-нибудь загадочныхъ явленій современности изъ всѣхъ временъ. Le mort saisit le vif—это вѣрно, но живое, надо думать, живетъ сколько-нибудь и за свой собственный счетъ. Пусть атавизмъ несомнѣнно проявляется въ томъ или другомъ случаѣ, но желательно знать, нѣтъ ли и въ современныхъ условіяхъ или во всегдашнихъ свойствахъ души человѣческой чего-нибудь такого, что дѣйствовало бы рядомъ съ закономъ атавизма и въ томъ же направленіи, но не изъ далекаго прошлаго и не спорадически, а постоянно. Если окажется, что ничего подобнаго найти нельзя, тогда, дѣлать нечего, мы останемся при одномъ атавизмѣ, но надо же всетаки искать.

Искать слѣдуетъ, тѣмъ болѣе, что парадоксальнымъ сочетаніемъ полового влеченія съ кровожадностью еще не исчерпываются намѣченные нами факты. Противоестественность этого сочетанія еще усугубляется тою санкціей, которая дается ему религіознымъ чувствомъ буддистовъ, поскольку оно отразилось въ «докшитахъ», религіознымъ чувствомъ древнихъ служителей Молоха, Астарты и проч., средневѣковыхъ флагеллантовъ, нѣмецкихъ піетистовъ первой половины нашего вѣка, разныхъ психіатрическихъ субъектовъ и т. д., и т. д., и т. д. Особенный интересъ представляетъ для насъ въ данномъ случаѣ то обстоятельство, что и буддизмъ, и вѣрованія флагеллантовъ, піетистовъ и проч. предписываютъ съ одной стороны кротость, любовь къ ближнему, непротивленіе злу, а съ другой—цѣломудріе и вообще отчаянную борьбу съ требованіями грѣховной плоти. И однако, съ этими вѣрованіями чудно сплетаются мысли, чувства и поступки, представляющіе самую рѣзкую противоположность кротости и цѣломудрію. Надо, впрочемъ, оговориться. Въ житейской практикѣ буддизма нѣтъ ничего подобнаго изувѣрствамъ флагеллантовъ или піетистовъ. Г. Позднѣевъ разсказываетъ о нѣкоторыхъ буддійскихъ подвижникахъ, которые оказывались далеко не цѣломудренными, а также и о такихъ, которые были настоящими разбойниками, буквально грабили на большихъ дорогахъ и, надо думать, не отказывались при случаѣ и отъ убійства. Но это возможно всегда и вездѣ, и подобные случаи сами по себѣ не бросаютъ никакой тѣни на ученіе. А мистическихъ взрывовъ разврата и жестокости въ буддизмѣ нѣтъ. Буддисты, какъ мы видѣли, только присвоиваютъ своимъ божествамъ формы кровожадности и сладострастія. Но зато же они отвергаютъ и самоистязанія, ихъ борьба съ грѣховною плотью ограничивается пассивнымъ воздержаніемъ отъ общенія съ внѣшнимъ міромъ; каковое воздержаніе доходитъ иногда, пожалуй, и до пассивной жестокости потому что, какъ бы ни сострадалъ буддистъ страждущему міру но его высшій идеалъ состоитъ въ томъ, чтобы даже не замѣчать этихъ страданій. Такъ что и здѣсь есть какое-то соотвѣтствіе.

Шерръ утверждаетъ, что въ 99-ти случаяхъ изъ 100 мистическое рвеніе, направленное на тиранство естества, есть или задержанная, или разнузданная чувственность. Всѣ подобныя quasi-математическія формулы, разумѣется, совершенно произвольны, но въ основаніи своемъ мысль Шерра очень вѣрна. Она весьма близка къ сказанному нами въ прошлый разъ о двоякомъ происхожденіи пессимизма: сверху, отъ переудовлетворенія потребностей, и снизу, отъ неудовлетворенія ихъ, отъ хроническаго пресыщенія и хроническаго голоданія. Когда человѣкъ тѣмъ или другимъ изъ этихъ двухъ путей приходитъ къ сознанію горечи жизни, онъ естественно долженъ, въ облегченіе этой горечи, начать борьбу съ своими потребностями, ибо въ нихъ-то и заключается корень всего зла. Онъ даже иногда выдѣляетъ изъ себя эту сторону своей собственной природы и ипостазируетъ ее въ видѣ злого духа, нашептывающаго ему соблазнительныя рѣчи, внушающаго грѣшныя, а въ сущности неудовлетворимыя или трудно удовлетворимыя желанія. Наиболѣе послѣдовательные изъ тирановъ человѣческаго естества пытаются, какъ мы видѣли, бороться даже съ такими общими и элементарными потребностями, какъ дыханіе и питаніе. Но побѣда здѣсь, конечно, немыслима, и подобныя попытки могутъ имѣть значеніе развѣ только въ качествѣ упражненій воли. Болѣе успѣха предвидится въ борьбѣ съ половою страстью, на каковую борьбу и направляется главная струя усилій: дѣвство

восхваляется, любовь проклинается, а заодно съ нею иногда и женщина; любовь объявляется въ жару борьбы чѣмъ-то «не естественнымъ», такъ что является даже высокомѣрная претензія учить естествознанію самую природу; дѣло можетъ доходить, какъ у нашихъ сектантовъ и у нѣкоторыхъ древнихъ, до спеціальнаго самоизуродованія. Сюда-же примыкаютъ бичеванія и другія подобныя самоистязанія. Все это дѣлается съ цѣлью усмирить бунтующую плоть, подавить алканія и наказать ее за нихъ. Но чѣмъ туже натянута струна, тѣмъ съ большимъ эффектомъ она лопается, когда, наконецъ, переступаетъ предѣлъ возможнаго сопротивленія. Оскорбленная природа жестоко мститъ за себя, вызывая взрывы необузданнаго сладострастія, какъ-бы въ видѣ компенсаціи за нарушенное равновѣсіе. Собственно говоря, такую же компенсацію представляетъ самое отреченіе отъ любви въ тѣхъ случаяхъ, когда оно слѣдуетъ за излишествомъ, грубостью и извращенностью любовныхъ наслажденій. Уголъ паденія въ точности равенъ углу отраженія не только въ мірѣ физической механики. За взрывами грѣха естественно слѣдуютъ такіе же взрывы вящшаго покаянія, остраго, мучительнаго, а иногда еще осложненнаго злобною ненавистью къ предметамъ и людямъ, соблазнившимъ на грѣхъ. Уже въ тѣхъ неистовыхъ ругательствахъ, которыя издревле сыплются на женщину, какъ на соблазнительницу и грѣху заводчицу, заключается столько гнѣва и злобы, что отъ нихъ совсѣмъ недалеко и до жестокой расправы. Къ этому присоединяется еще темный пока, но несомнѣнно существующій физіологическій законъ, связывающій самоистязанія съ половою страстью. Жестокость доходитъ до кровожадности, отъ которой не спасетъ и минорный тонъ ученій кроткости. При существующихъ условіяхъ всеобщее благоволеніе есть или праздное слово, ни къ чему въ дѣйствительности не обязывающее, либо насиліе надъ природой человѣка. Противленіе злу занимаетъ свое опредѣленное мѣсто въ ряду человѣческихъ потребностей, искусственное подавленіе ея ведетъ къ тому же треску лопающейся тугонатянутой струны. Такъ какъ эти судорожные скачки съ одного ненормальнаго пути жизни на другой, столь же ненормальный, происходятъ стихійно, то есть помимо сознанія и воли, а иногда даже вопреки волѣ, то захваченный такимъ бурнымъ психическимъ процессомъ субъектъ ищетъ ему объясненій въ чьей-то высшей волѣ, въ чьемъ-то могущественномъ стороннемъ вліяніи. А увѣренность въ существованіи этого могучаго давленія даетъ источникъ мистическому чувству, въ волнахъ котораго уже все окончательно спутывается: страданіе и наслажденіе, свое страданіе и чужое, любовь и ненависть, грѣхъ и покаяніе, жажда жизни и боязнь ея, жажда уничтоженія, смерти и боязнь ея.

Нѣсколько словъ въ скобкахъ. Изучая обширную литературу, историческую и художественную, объ Іоаннѣ Грозномъ, я былъ пораженъ тѣмъ, что художники и тѣ изъ историковъ, которые интересовались Грознымъ не только такъ государственнымъ дѣятелемъ, а и какъ характеромъ, нравственною личностью, хотя по необходимости отмѣчали судорожные скачки его больной души отъ жестокости къ смиренію, отъ покаянія къ грѣху, отъ изможденія плоти къ разнузданности и обратно,—но не сдѣлали именно изъ этой игры стихійныхъ противорѣчій центра тяжести своихъ изслѣдованій и изображеній. Этого не сдѣлали и К. Аксаковъ и Островскій, оригинальнѣе и глубже всѣхъ взглянувшіе на нѣкоторыя стороны характера Грознаго. Какое удивительное произведеніе опять-таки могъ бы написать на эту тему Достоевскій! Это-впрочемъ, мимоходомъ.

Ученія, какъ буддизмъ и т. п., систематизирующія разныя формы отреченія отъ жизни, собственно говоря, совсѣмъ не заслуживаютъ названія религій. Истинная религія, давая отвѣты на вопросы о бывшемъ, сущемъ и долженствующемъ быть, вмѣстѣ съ тѣмъ повелительно указываетъ человѣку его личную роль въ вѣчной смѣнѣ явленій, учитъ его жить. Допустимъ, что понятія буддизма о міровомъ порядкѣ, о бывшемъ и сущемъ совершенно правильны, какъ хотятъ насъ увѣрить теософы. Но руководства къ жизни онъ во всякомъ случаѣ не даетъ, потому что учитъ именно не жить, а бѣжать отъ жизни. Въ числѣ разныхъ опредѣленій, какія могутъ быть даны жизни, возможно и такое: жизнь есть возникновеніе и удовлетвореніе потребностей. Сообразно обстоятельствамъ времени и мѣста, потребности измѣняются, какъ въ общей суммѣ, такъ и въ отдѣльныхъ подробностяхъ, и въ напряженности своей. Но въ каждую данную минуту человѣкъ имѣетъ опредѣленную систему потребностей, удовлетвореніемъ которыхъ исчерпывается понятіе жизни, причемъ жизнь можетъ быть, конечно, здоровая и больная, полная и односторонняя, возвышенная и низменная. Въ виду этого человѣкъ можетъ нуждаться въ указаніяхъ авторитетнаго ученія на относительное значеніе и порядокъ удовлетворенія потребностей. Но ученія, предписывающія человѣку такъ или иначе, активно или пассивно, тиранить свое естество отреченіемъ отъ потребностей и карою за ихъ удовлетвореніе, за одни помыслы объ ихъ удовлетвореніи, очевидно сами отказы-

ваются отъ руководящей роли. Немудрено поэтому, что люди, исповѣдующіе подобныя ученія, мечутся по волнамъ жизни «безъ кормила и весла» отъ одного берега къ противоположному. Немудрено также, что они боятся жизни. Страшно встрѣтиться лицомъ къ лицу со зломъ и съ добромъ, страшно любить, страшно смотрѣть и слушать. страшно, наконецъ, даже дышать! Страшно смотрѣть на розу, потому что вдругъ явится желаніе сорвать ее, а на ней шипы! Страшно жить, потому что жить безъ желаній нельзя, а всякое желаніе чревато бѣдой и горемъ. Лучше ужъ сосредоточиться на уразумѣніи «смысла основныхъ свойствъ пустоты», тутъ одна только бѣда грозитъ: мохомъ обростешь. «Уйти отъ грѣха» эти люди могутъ не иначе, какъ уйдя отъ жизни,—слишкомъ ужъ они изуродованы предварительнымъ хроническимъ неудовлетвореніемъ или въ особенности переудовлетвореніемъ потребностей. Они боятся,—и, что касается ихъ лично, справедливо боятся, что если они не будутъ строгими искусственными мѣрами держать на уздѣ, напримѣръ, свою потребность питанія, то объѣдятся до полнаго разстройства пищеварительныхъ органовъ и отвращенія отъ самаго вида пищи. Точно также боятся они, что, отдавшись любви, они тотчасъ-же обратятся въ животныхъ, даже хуже, потому что животное не выбивается изъ предѣловъ своего естества и не знаетъ ни пресыщенія, ни разнузданнаго воображенія. И уже самая эта боязнь свидѣтельствуетъ, что даже подъ самыми елейными формами (иногда, конечно, просто лицемѣрными) тлѣетъ въ нихъ искра, которая можетъ при случаѣ разгорѣться въ цѣлый пожаръ мерзости. Такъ оно и бываетъ въ дѣйствительности.

XV.

О трудномъ положеніи русскаго читателя.

Положеніе нынѣшняго русскаго читателя, не просто пробѣгающаго за утреннимъ стаканомъ чая телеграммы и прочія новости дня, да на сонъ грядущій нѣсколько страницъ переводнаго или оригинальнаго романа, а желающаго сколько-нибудь разобраться въ пестрой массѣ печатнаго матеріала, чрезвычайно затруднительно. Приступая къ чтенію съ цѣлями просвѣщенія своего ума и сердца, онъ вскорѣ замѣчаетъ, что его умъ и сердце не только не просвѣщаются, но обдаются даже вящшимъ туманомъ, ибо попадаютъ въ область какого-то нравственнаго хаоса, гдѣ добро не отдѣлено отъ зла и ложь отъ правды. Гдѣ-то они тутъ должны быть, эта правда и это добро, но какъ ихъ выцарапать изъ облегающихъ ихъ со всѣхъ сторонъ и перемѣшанныхъ съ ними лжи и зла? Самое простое, конечно, разбираться собственными средствами; но вѣдь это легко сказать, а сдѣлать не всегда легко, и натурально, что большинство читателей ищетъ въ печати нѣкотораго руководительства. Ищетъ, но едва ли въ большомъ изобиліи находитъ.

Въ старые годы, говаривалъ Салтыковъ, было въ ходу хорошее слово «понеже», нынѣ почти вышедшее изъ употребленія. Выходитъ оно изъ употребленія и въ печати. Прежде, утверждая или отрицая что-нибудь, восхваляя одно и порицая другое, литература болѣе или менѣе обстоятельно и по возможности убѣдительно развивала свои тезисы: утверждаю или отрицаю, «понеже» имѣю такіе-то и такіе-то факты; восхваляю или порицаю, «понеже» такія-то качества, въ силу такихъ-то соображеній, похвальны, а такія-то достойны порицанія. Это бывало длинно и подчасъ можетъ быть утомительно, но за то читатель вводился въ нѣкоторый логическій процессъ, правильность или неправильность котораго могъ самъ провѣрить. Нынѣ же нѣкоторые писатели, по краткой повелительности своего изложенія и по отсутствію мотивовъ, доходятъ до формы почти декретовъ. Будучи увѣрены въ своей близости къ первоисточнику истины, они требуютъ соотвѣтственнаго довѣрія и отъ читателя. Считая себя обладателями основного фонда нравственно-политическихъ, а при случаѣ и всякихъ другихъ аксіомъ, не требующихъ ни провѣрки, ни даже просто опубликованія въ сколько-нибудь вразумительной формѣ, они не утруждаютъ ни себя, ни читателя скучнымъ процессомъ логическаго и фактическаго обоснованія своихъ рѣшеній. И какихъ рѣшеній! Нѣтъ предѣла смѣлости этихъ людей, нѣтъ мѣры ихъ радикализму. Читатель въ одинъ прекрасный день съ изумленіемъ узнаетъ изъ своей газеты, что, напримѣръ, необходимо уничтожить все. Понимаете: все! Вѣдь это ужасно много, и читатель натурально хотѣлъ бы знать мотивы столь радикальнаго рѣшенія, а ему никакихъ мотивовъ не даютъ или даютъ мотивы столь краткіе и общіе, что ничего разобрать нельзя. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ считать логически и фактически обоснованнымъ такое предложеніе: надо уничтожить все, потому что все никуда не годится или все преступно. Но не успѣетъ ошеломленный читатель собраться съ мыслями, какъ вдругъ—хлопъ!—новый декретъ: а которое умерло, то все воскресить! И опять никакого снисхожденія къ логической способности читателя, никакого «понеже» или такое «по-

неже», что лучше бы его и не было. Иногда эти смѣлые глаголы публицистовъ, обладающихъ основнымъ фондомъ нравственно-политическихъ аксіомъ спрягаются не въ повелительномъ, а въ изъявительномъ наклоненіи, въ томъ родѣ, какъ декретировалъ Наполеонъ I: дескать, династія Бурбоновъ перестала царствовать,—и только. Коротко и ясно. Такъ, напримѣръ, «Гражданинъ» объявилъ недавно, что покойный Данилевскій совершенно уничтожилъ Дарвина. Ни доказательствъ, ни разъясненій, ни ссылки на чье-нибудь авторитетное свидѣтельство. Просто былъ Дарвинъ, дѣйствительно былъ и многихъ ученыхъ и неученыхъ людей соблазнилъ, но теперь ужъ это все кончено,—въ этомъ удостовѣряетъ кн. Мещерскій. Авторитетный тонъ, которымъ излагаются подобныя глупости, и иногда не только глупости, едва ли можетъ способствовать просвѣщенію ума и сердца читателей.

Пріемы эти не новость въ нашей литературѣ—они практиковались давно. Но, во-первыхъ, едва ли они когда-нибудь достигали такого развитія, какъ нынѣ, а во-вторыхъ, прежде они имѣли свой опредѣленный кругъ, такъ сказать, географическаго распространенія, а нынѣ распространились чуть не по всему лицу литературы русской. Еще не такъ давно можно было слышать жалобы на «кружковщину» въ литературѣ, на партійность, которая все мѣряетъ своимъ собственнымъ аршиномъ и подгоняетъ къ своей узкой тенденціи. Теперь на этотъ счетъ, кажется, свободно стало: кто во что гораздъ. Это называется свободою и широтою мысли. Сомнѣваюсь, чтобы именно этому явленію соотвѣтствовало столь пышное названіе, но во всякомъ случаѣ читателю отъ этой широты и свободы не легче стало. Прежде читатель зналъ, что въ такомъ-то органѣ печати онъ встрѣтится съ опредѣленнымъ кругомъ идей и симпатій, а въ другомъ—съ другими. Онъ выбиралъ себѣ въ друзья и руководители любой изъ нихъ и зналъ, что не рискуетъ встрѣтиться съ внезапностью, которая его можетъ сбить съ толку или поставить въ тупикъ: Катковъ, такъ Катковъ, Салтыковъ, такъ Салтыковъ. А теперь пошла широта мысли, способная обнять обоихъ заразъ, и полная свобода «воспѣть Гарибальди, воспѣть и Франческо». Приведу образчикъ.

Издается въ Петербургѣ газета «Недѣля». Скромная и въ общемъ почтенная газета, но ее время отъ времени точно муха какая укусить: «новое слово» ей хочется сказать, совершенно не соображая это новое слово ни съ остальнымъ своимъ содержаніемъ, ни съ прошлыми, тоже «новыми словами» которыя когда-то она говорила, да теперь забыла. Эти недѣльныя новыя слово періодически возникаютъ, потомъ куда-то проваливаются, уступая мѣсто другимъ новымъ словамъ, совершенно на предъидущія не похожимъ и—увы! отнюдь не всегда новымъ. Это у «Недѣли», кажется, прирожденный «родъ недуга». Для характеристики теперешняго недѣльнаго слова приведу слѣдующія слова изъ статьи г. Р. Д. о сочиненіяхъ г. Лѣскова, Г. Р. Д. недоволенъ нашей литературной критикой шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ. Онъ не находитъ въ ней «ничего сколько-нибудь крупнаго, глубокаго, прочнаго», а только «господство минуты, полемическаго задора, наивнаго проповѣдничества и круглаго эстетическаго невѣжества». Авторъ снисходительно прибавляетъ: «Было, правда, и тогда нѣсколько критиковъ, не лишенныхъ таланта, но всѣ они, по какой-то странной случайности, умирали въ ранней молодости, не успѣвъ освободиться отъ повальнаго въ то время увлеченія такъ называемымъ отрицательнымъ направленіемъ, которое наполняло ихъ жаждою поскорѣй высказать свои новые взгляды по разнымъ моднымъ вопросамъ и не внушало имъ никакой любви къ произведеніямъ художественнаго творчества и ни малѣйшаго желанія изучить ихъ и понять свободно, беспристрастно. Высокохудожественныя, полныя глубокаго и самобытнаго содержанія произведенія служили для этихъ критиковъ лишь болѣе или менѣе удобнымъ поводомъ для выраженія ихъ собственныхъ, вообще говоря, мало интересныхъ и незрѣлыхъ мыслей».

Эти свои собственныя высоко интересныя и вполнѣ зрѣлыя мысли г. Р. Д. размазываетъ и еще, но съ меня довольно и приведеннаго. Я иду далѣе г. Р. Д. Я думаю, что со временъ Бѣлинскаго у насъ былъ только одинъ литературный критикъ, Добролюбовъ, но зато, въ противность мнѣнію г. Р, Д., этотъ одинъ дѣйствительно «крупенъ, глубокъ и проченъ». Правда, и Добролюбовъ занимался не исключительно литературной критикой. Тѣмъ не менѣе, снисходительно называть Добролюбова «не лишеннымъ таланта», говорить объ его «круглымъ эстетическомъ невѣжествѣ», объ отсутствіи въ немъ «любви къ произведеніямъ художественнаго творчества», объ его «мало интересныхъ и незрѣлыхъ мысляхъ»,—я не знаю, мнѣ кажется, всего этого не наговорятъ даже «Московскія Вѣдомости», «Гражданинъ» и прочія изданія, у которыхъ г. Р. Д. позаимствовалъ свое самоновѣйшее недѣльное слово. Ибо вѣдь не ново это слово, очень не ново, оно давно оплѣшивѣло и всѣ зубы растеряло. Повторяя чужія слова, г. Р. Д., какъ это часто въ по-

добныхъ случаяхъ бываетъ, еще пересолилъ то, что было и безъ того достаточно солоно. «Круглымъ эстетическимъ невѣждой» Добролюбова никто еще не называлъ. Эта честь принадлежитъ «Недѣлѣ», и да не проститъ ей Аллахъ развязности, съ которою она присоединила эту ругань къ заплесневѣвшимъ толкамъ объ «отрицательномъ направленіи». Да не проститъ, потому что нельзя же въ самомъ дѣлѣ все прощать и прощать. Конечно, по прошествіи нѣкотораго времени, «Недѣля», по бывшимъ примѣрамъ, сдастъ свое новое слово въ архивъ и, какъ ни въ чемъ ни бывало, провозгласитъ опять что-нибудь новое. Но надо же сколько-нибудь пожалѣть читателя, котораго категорическій тонъ г. Р. Д. можетъ и огорошить. Замѣтьте, что «Недѣля» и не подумала подтвердить свое мнѣніе о кругломъ эстетическомъ невѣжествѣ Добролюбова какими-нибудь доказательствами. Она декретировала это невѣжество безъ всякихъ «понеже», предоставляя читателю самому разбираться въ самоновѣйшемъ недѣльномъ словѣ и не удостаивая опубликовать тѣ данныя, на основаніи которыхъ произносится смертный приговоръ знаменитому критику. А вѣдь интересно бы знать! Я съ своей стороны полагаю, что г. Р. Д. просто ничего не понимаетъ, но по укоренившемуся нынѣ обычаю свободно и гордо выноситъ свое непониманіе на улицу. Впрочемъ, даже при условіи полнаго и гордаго непониманія, критика «Недѣли» могли бы выручить въ настоящемъ случаѣ нѣкоторыя побочныя и внѣшнія обстоятельства. Вспомнилъ бы онъ, напримѣръ, что среди массы журнальной работы Добролюбовъ находилъ время съ любовью переводить Гейне, что онъ и самъ писалъ стихи, конечно, не Пушкинскіе, но одно изъ нихъ («Боюсь, чтобъ все, чего желалъ такъ жадно») такой художникъ, какъ Тургеневъ, не усомнился вложить въ уста такой художественной натуры, какъ Неждановъ. Это, можетъ быть, удержало бы развязнаго критика «Недѣли» по крайней мѣрѣ отъ утвержденія, что у Добролюбова не было «никакой любви къ произведеніямъ художественнаго творчества». А отправляясь отсюда, г. Р. Д. усмотрѣлъ бы, можетъ быть, и въ статьяхъ Добролюбова кое-какіе слѣды любви къ искусству и пониманія его. А подвинувшись еще немного впередъ, г. Р. Д. увидалъ бы наконецъ, что ему надо много и много поучиться у Добролюбова прежде, чѣмъ оповѣщать свои мысли читателямъ «Недѣли». Но что вы будете дѣлать: теперь торжествуетъ свобода и широта! Свобода ничего не понимать и повторять зады «Московскихъ Вѣдомостей» и «Гражданина».

Богъ съ нимъ, съ г. Р. Д.! Меня занимаетъ положеніе читателей «Недѣли», которые когда-то встрѣчали въ «Недѣлѣ» не такіе отзывы о Добролюбовѣ, а нынѣшнее ея на этотъ счетъ умоположеніе привыкли находить въ органахъ, имѣющихъ, повидимому, мало общаго съ «Недѣлей». И я спрашиваю: способствуютъ ли подобные курбеты просвѣщенію ума и сердца читателей? Не способны ли они, напротивъ того, повергнуть ихъ во мракъ полнѣйшаго недоумѣнія?

«Недѣля» уже довольно давно находится въ интересномъ положеніи куколки, изъ которой вотъ-вотъ вылетитъ какая-то бабочка; какая, какихъ цвѣтовъ и рисунковъ— неизвѣстно. Этимъ интереснымъ положеніемъ объясняются разныя странности, во всякомъ случаѣ для читателя по малой мѣрѣ неудобныя. Гораздо, повидимому, лучше положеніе читателей открыто ретроградной или, какъ она сама себя вполнѣ неправильно называетъ, консервативной печати. Тутъ-то уже, кажется, все ясно, и всякое слово стоитъ на своемъ мѣстѣ. Однако, увы! Дѣло просвѣщенія умовъ и сердецъ читателей и здѣсь обстоитъ далеко не вполнѣ благополучно. Вы понимаете, что это «увы!» не изъ глубины моего огорченнаго сердца вырвалось, потому что мнѣ нѣтъ никакого дѣла до читателей «консервативной» прессы. Но по человѣчеству можно и ихъ пожалѣть; можно пожелать, чтобы и они не въ потемкахъ бродили, а ясно сознавали, что именно имъ внушается и какія перспективы имъ предстоятъ. Я отнюдь не помышляю о сколько-нибудь полной характеристикѣ «консервативной» печати и хочу обратить ваше вниманіе собственно на одну только, но крайне любопытную сторону дѣла.

Если срубить большое, сильное дерево, то отъ корней его поднимается множество отпрысковъ, которые призваны, такъ сказать, продолжать традиціи покойника, но которымъ это почти никогда не удается, уже просто по одному тому, что ихъ очень много. Они мѣшаютъ другъ другу, каждый изъ нихъ стремится ухватить на свою долю какъ можно больше свѣта, воздуха, влаги изъ того района, которымъ безраздѣльно владѣлъ могущественный покойникъ, и всѣ они слишкомъ слабы, чтобы выдержать эту борьбу за существованіе. Такъ случилось и съ «консервативною» печатью послѣ смерти Каткова. Катковъ былъ талантливый и, главное, исключительно сильный, по обстоятельствамъ, человѣкъ. Онъ давалъ тонъ извѣстной части печати, которая держалась при немъ строжайшей дисциплины. Умеръ онъ, и сразу явилось

нѣсколько претендентовъ на эту руководящую роль, но, кромѣ непріятнаго зрѣлища войны за катковское наслѣдство, ничего изъ этого не произошло. Ничего и не произойдетъ. Второго Каткова не будетъ, по крайней мѣрѣ изъ состава нынѣшнихъ претендентовъ, потому что ни одинъ изъ нихъ не захочетъ подчиниться другому и не съумѣетъ подчинить себѣ другихъ. Такъ всѣ они и останутся до конца дней своихъ въ видѣ мелкой поросли, какъ бы они ни старались перегнать и перекричать другъ друга въ своемъ «консервативномъ», а въ сущности разрушительномъ и совершенно неблагонамѣренномъ направленіи. Уже самый этотъ разбродъ и разладъ, принимающій подчасъ очень рѣзкія формы (они вѣдь другъ друга «юродивыми» и т. п. величаютъ), долженъ отозваться на читателяхъ отнюдь не просвѣщеніемъ ума и сердца. Кому вѣрить? за кѣмъ идти? Имѣлъ ли Катковъ дѣйствительно опредѣленную и ясную программу, это вопросъ, котораго мы теперь касаться не будемъ. Но во всякомъ случаѣ, благодаря его личному подавляющему авторитету, партія имѣла всѣ внѣшніе признаки единства и опредѣленности. Теперь и здѣсь кто во что гораздъ. Но этого мало. Привыкнувъ идти слѣдомъ за Катковымъ и вдругъ очутившись на всей своей вольной волѣ, претенденты на его наслѣдство сплошь и рядомъ сами не знаютъ куда идти, а не то чтобы другихъ вести. А между тѣмъ положеніе претендентовъ обязываетъ ихъ имѣть свободныя и величественныя манеры, ибо надо же имъ чѣмъ-нибудь прикрыть свою скудость. Такимъ прикрытіемъ является обыкновенно фраза приблизительно въ старомъ катковскомъ духѣ, но по возможности болѣе хлесткая и рѣзкая, чѣмъ тѣ, которыя говорятся остальными претендентами, и чѣмъ тѣ, которыя говорились самимъ Катковымъ; вообще усугубленіе пріемовъ Каткова. Разсуждая такъ, что масло каши не испортитъ, они на всякій случай, чтобы не ошибиться, валятъ его столько, сколько у нихъ находится въ распоряженіи. Получаются курьезнѣйшіе результаты.

Въ дѣятельности Каткова, какъ извѣстно, занималъ видное мѣсто розыскъ измѣны и замысловъ противъ существующаго строя, противъ «основъ». Теперь не время говорить о характерѣ и значеніи этого розыска вообще, и я замѣчу только, что Катковъ старался быть всегда точнымъ въ своихъ указаніяхъ на лицъ, по его мнѣнію, зломыслящихъ. Онъ былъ даже через-чуръ точенъ въ этихъ указаніяхъ, и это было тѣмъ опаснѣе, что съ его точки зрѣнія зломыслящими были всѣ несогласно мыслящіе. Онъ чуть не пальцемъ указывалъ на того несогласно мыслящаго Иванова или Сидорова, который, благодаря исключительному практическому значенію московскаго публициста, тѣмъ самымъ попадалъ въ тяжелое положеніе зломыслящаго. Однако, въ острыхъ случаяхъ, въ военное, такъ сказать, время, Катковъ налагалъ опалу на цѣлыя группы населенія, главнымъ образомъ національныя, и тутъ ужъ, конечно, нечего было искать точности указаній. Но это практиковалось имъ именно только въ острыхъ случаяхъ, которые онъ, впрочемъ, слишкомъ часто создавалъ самъ, и по ничтожнѣйшимъ поводамъ. Casus belli или дѣйствительно, съ его точки зрѣнія, былъ на-лицо, или просто сочинялся имъ, но въ этомъ послѣднемъ случаѣ онъ его всетаки указывалъ, и такъ какъ сочиненія свои онъ создавалъ на темы текущей, живой дѣйствительности минуты, то вся работа получала характеръ какой-то чудовищной наглядности. Читателю (читателю-почитателю, конечно) по крайней мѣрѣ казалось, что его просвѣщаютъ на счетъ грозящихъ отечеству опасностей. Эти военные пріемы Каткова претенденты пускаютъ въ ходъ, на всякій случай, и въ мирное время, и при этомъ не сходятъ до предъявленія читателю мотивовъ своихъ походовъ. Да и откуда ихъ взять, мотивы-то: время стоитъ очевидно мирное, а для сочинительства съ характеромъ жизненнаго вѣроподобія претенденты недостаточно талантливы. Они только усердны и вѣрятъ, что масло каши не испортитъ.

Не такъ давно «Гражданинъ», говоря о покойномъ Чернышевскомъ, писалъ: «Сынъ бѣднаго священника, необыкновенно способный и даровитый, молодой Чернышевскій, кромѣ этихъ дарованій, привезъ съ собой въ Петербургъ цѣлый осадокъ въ душѣ той духовной сажи, которая натлилась въ немъ, какъ роковая принадлежность бурсацкаго развитія, и достаточно было перваго соприкосновенія этого осадка съ тогдашнею литературною средой, чтобы эту сажу зажечь и дать его душѣ воспламениться пожаромъ самаго сильнаго либерализма... Оторванный бурсою отъ общенія съ народною почвою и съ исторіей своего народа, онъ»... и т. д. Въ другомъ нумерѣ «Гражданинъ» пишетъ: «Семинаристъ ненавидитъ дворянство въ Россіи. Кровь семинариста удивительно самобытна и не поддается перерожденію при сліяніи съ другой кровью. Она подобна крови негра, цыгана; черезъ нѣсколько поколѣній кровь семинариста сказывается; оттого ненависть семинариста къ дворянству проходитъ иногда отличительною духовною чертою чрезъ нѣсколько поколѣній». Кн. Мещерскій полагаетъ, что «дворянство не по приказу и не за на-

граду, а по дворянскому долгу чести и любви къ родной землѣ предлагало свою службу престолу и отечеству всею вольною и благородною душой, дворянинъ—съ открытою грудью, а семинаристъ—съ доносомъ, клеветою и навѣтомъ».

Въ литературѣ никто, кажется, своевременно не обратилъ вниманія на эти дикія выходки. Всѣ давно привыкли къ смѣлымъ и свободнымъ прыжкамъ «Гражданина» за предѣлы логики и грамматики, правды, приличія и здраваго смысла, и ни удивить, ни огорчить, ни даже насмѣшить они уже никого не могутъ. Внѣ литературы нашлось, однако, лицо, которое приняло къ сердцу безшабашныя рѣчи «Гражданина» и глубоко возмутилось. Лицо это—высокопреосвященный Никаноръ, архіепископъ херсонскій и одесскій, посвятившій на отповѣдь кн. Мещерскому цѣлую краснорѣчивую «бесѣду о значеніи семинарскаго образованія» въ день храмового праздника одесской духовной семинаріи. Высокопреосвященный Никаноръ не привыкъ къ нашимъ литературнымъ нравамъ и потому обратилъ вниманіе на рѣчи «Гражданина», а обративъ вниманіе, не могъ не возмутиться. Дѣйствительно, для свѣжаго человѣка здѣсь все вполнѣ возмутительно и до непонятности дико. Прежде всего, какая цѣль этихъ выходокъ противъ семинаристовъ и столько же обидныхъ, сколько и несправедливыхъ параллелей между ними и дворянами? Гдѣ casus belli? Что случилось? Ничего, кажется, не случилось. Я сдѣлалъ вышеприведенныя выписки не изъ самаго «Гражданина», а изъ бесѣды высокопреосвященнаго Никанора и, какъ видно изъ ссылокъ, «Гражданинъ» не въ одномъ нумерѣ, не одинъ разъ возвращался къ огульной травлѣ семинаристовъ и какой-то ихъ особенной «крови», сохраняющейся, подобно крови «негра и цыгана», въ цѣломъ ряду поколѣній. Дѣло, значитъ, идетъ даже не о семинарскомъ собственно образованіи, которое «отрываетъ отъ общенія съ народною почвою и съ исторіей своего народа». Нѣтъ, и внукъ, и правнукъ, и праправнукъ семинариста, самъ и близко не подходившій къ семинаріи, переродившійся съ другими сословіями, всетаки остается семинаристомъ по крови. Одинъ изъ этихъ походовъ «Гражданина», повидимому, мотивированъ смертью Чернышевскаго. И я прошу васъ замѣтить, что Катковъ никогда не воспользовался бы этой смертью для такого похода. Не по благородству души не сдѣлалъ бы онъ этого, а просто по совершенной ненужности, безцѣльности предпріятія. Во времена «Современника» или во время суда надъ Чернышевскимъ Катковъ, можетъ быть, наговорилъ бы съ разбѣгу и не такихъ еще вещей. Не постѣснился бы и теперь, еслибы это съ его точки зрѣнія оправдывалось какимъ-нибудь острымъ случаемъ и требовалось минутными условіями игры въ политическіе шахматы. Но вѣдь никакого остраго случая нѣтъ, не слыхать, чтобы семинаристы въ чемъ-нибудь провинились, а въ какой мѣрѣ условія политической конъюнктуры требуютъ съ точки зрѣнія самого кн. Мещерскаго похода противъ семинаристовъ, это видно изъ того, что «Гражданинъ» горой стоитъ за церковно-приходскія школы, т. е. за передачу народнаго образованія въ руки людей неисправимо-злостной семинарской крови. Словомъ, ни складу, ни ладу, ни смысла, ни съ «консервативной» и ни съ какой другой точки зрѣнія. А усердіе не по разуму. Немудрено, что высокопреосвященный Никаноръ, въ качествѣ свѣжаго человѣка, недоумѣваетъ и возмущается. Онъ говоритъ:

«Непонятно, почему это, въ какихъ видахъ защитникъ дворянскихъ интересовъ «Гражданинъ» заговорилъ такъ жестоко противъ семинаристовъ именно теперь. Вѣроятно, есть цѣль какая-либо. Не чувствуетъ ли онъ, что семинаристы стали протискиваться уже въ числѣ довольномъ, уже въ первые ряды государственныхъ чиновъ? Да и то еще сказать, протискиваться туда нельзя. Ихъ приглашаетъ высшая власть, какъ благопотребныхъ государственныхъ дѣятелей. Легко сказать, ворочающій достояніемъ Россіи, а частью и Европы, министръ финансовъ Вышнеградскій—семинаристъ. Не самъ толкался на эту высоту—пригласили. И пойдите же, семинаристъ, а справляется съ такимъ дѣломъ. Министръ финансовъ Вронченко также былъ семинаристъ. Во второстепенной сферѣ семинаристовъ пустилъ въ ходъ гр. Д. А. Толстой, не смотря, что самъ же не долюбливалъ старую семинарскую школу. Окружавшіе его въ синодѣ генералы всѣ принадлежали къ старой семинарской школѣ. Попечителей учебныхъ округовъ онъ понаназначилъ также изъ семинаристовъ. Не чувствуетъ ли «Гражданинъ», что семинаристъ, взявъ ходъ, станетъ сильнымъ совмѣстникомъ дворянина на служебномъ поприщѣ? Не мечтаетъ ли онъ воротить насъ ко временамъ Екатерины II, когда баричи записывались въ гвардіи капитаны уже съ колыбели; когда всѣ прочіе, кромѣ баричей, обречены были тянуть лямку только рядовыхъ? Сохрани Богъ! Исторія не дѣлаетъ попятныхъ скачковъ. Пусть «Гражданинъ» помнитъ изреченіе умнаго дворянина же, что у насъ мужицкое царство, т. е. всенародное, опирающееся на весь народъ царство».

Мнѣ кажется, что дѣло проще, чѣмъ оно представляется высокопреосвященному Никанору, что никакой опредѣленной практической цѣли кн. Мещерскій не имѣлъ. Онъ памятуетъ, что дѣло Каткова состояло въ розыскѣ зломыслящихъ людей и, въ качествѣ претендента желаетъ продолжать это дѣло, а въ качествѣ плохого претендента усердствуетъ не въ мѣру, исповѣдуя, что масло каши не испортитъ и что если причислить къ зломысля-

щимъ цѣлую группу населенія, цѣлое сословіе, такъ дѣло-то вѣрнѣе будетъ. И дѣйствительно вѣрнѣе: если есть среди семинаристовъ хоть одинъ зломыслящій человѣкъ, такъ ужъ онъ навѣрное заклейменъ въ числѣ всѣхъ прочихъ. Такъ въ военное время непріятель уничтожаетъ цѣлый домъ, изъ одного окна котораго раздался одинокій выстрѣлъ. Но вѣдь то военное время, а у насъ все мирно и въ вопросѣ о церковно-приходскихъ школахъ кн. Мещерскій, повторяю, стоитъ за семинаристовъ. Каково положеніе тѣхъ «консервативныхъ» читателей, которые ищутъ въ «Гражданинѣ» просвѣщенія ума и сердца? Они и раньше, вѣроятно, не совсѣмъ ясно себѣ представляли, что собственно «консервируетъ» кн. Мещерскій, и раньше была яма глубока, а теперь и дна не видно! Положеніе читателя тѣмъ печальнѣе, что «Гражданинъ», по обыкновенію, не утруждаетъ ни себя, ни его никакими «понеже».

Мы должны быть очень благодарны высокопреосвященному Никанору за урокъ, данный имъ «Гражданину». Можетъ быть, и сей послѣдній, и прочіе протенденты поймутъ изъ этого, что самое усердіе должно быть заключено въ извѣстные предѣлы, перейдя за которые, оно становится способно лишь на медвѣжьи услуги, а потому и одобренія не вызываетъ. Къ сожалѣнію, въ «бесѣдѣ» высокаго оппонента «Гражданина» не все для насъ ясно, что безъ сомнѣнія обусловливается тѣмъ состояніемъ вполнѣ естественнаго негодованія, въ которомъ оппонентъ находится. Высокопреосвященный Никаноръ, отвергая приписываемую кн. Мещерскимъ семинаристамъ ненависть къ дворянству, утверждаетъ обратный фактъ— фактъ ненависти дворянъ къ семинаристамъ; по его мнѣнію, это «историческій, коли угодно, даже физіологическій фактъ». Я полагаю, что развитіемъ этого тезиса высокопреосвященный Никаноръ хотѣлъ только наглядно показать кн. Мещерскому, какъ легко, но зато какъ и рискованно развивать подобныя темы. Между прочимъ, высокопреосвященный говоритъ: «Всегда наша (семинарская) школа выучивала правильному логическому мышленію и писанію. Русское правописаніе лучше Пушкина у насъ знаетъ каждый риторъ, т. е. ученикъ низшаго отдѣленія семинаріи, иначе ему и немыслимо было оставаться ученикомъ семинаріи». Это только одинъ изъ образчиковъ того, какъ всегда высоко стояло образованіе въ духовныхъ школахъ и какъ сравнительно съ нимъ слабо образованіе свѣтское. Въ свѣтскихъ школахъ всегда учили, говоритъ высокопреосвященный Никаноръ, «чему-нибудь и какъ нибудь» и выпускали людей съ блестящею внѣшнею шлифовкой, но съ малыми знаніями и плохимъ умственнымъ развитіемъ, «Обратно здравому смыслу баричъ-дворянинъ получалъ патентъ на образованность отъ самой колыбели... Этотъ патентъ образованности давали хорошія дворянскія манеры, которыя большинству семинаристовъ не даются цѣлый вѣкъ».

Я не берусь судить объ этихъ и о другихъ, сообщаемыхъ высокопреосвященнымъ Никаноромъ, свѣдѣніяхъ о свѣтскомъ и духовномъ образованіи. Затрудняюсь даже рѣшить, серьезно ли онъ, напримѣръ, утверждаетъ, что семинаристъ младшаго отдѣленія, пишущій по русски не лучше Пушкина, не можетъ остаться въ семинаріи. Меня занимаетъ одно недоразумѣніе чисто логическаго свойства.

Въ общемъ итогѣ на сторонѣ свѣтскаго, дворянскаго образованія внѣшній лоскъ и изящныя манеры, а на сторонѣ образованія духовнаго, семинарскаго—серьезныя знанія и высокое умственное развитіе. Я прошу читателя запомнить этотъ общій выводъ.

Высокопреосвященный Никаноръ сообщаетъ въ своей бесѣдѣ нѣкоторыя очень любопытныя свѣдѣнія о Чернышевскомъ. Чернышевскій уже въ самой ранней юности «по своему развитію выдвигался изъ ряда вонъ». 16-ти лѣтъ онъ поступилъ въ семинарію. «Начитанность его и научныя познанія уже тогда до того были обширны, что приводили всѣхъ въ изумленіе... Непонятно, какъ мальчикъ въ 16 лѣтъ могъ имѣть такія обширныя всестороннія познанія» Это показаніе высокопреосвященный Никаноръ беретъ у товарища Чернышевскаго по семинаріи, протоіерея Р. Между прочимъ, Чернышевскій зналъ языки: «латинскій, греческій, еврейскій, сирійскій, французскій, нѣмецкій, англійскій и польскій». Свѣдѣніями своими по иностраннымъ литературамъ онъ поражалъ какъ своихъ сверстниковъ, такъ и профессоровъ. Но «точно таковъ же былъ онъ и по священному писанію: это была живая библія и сборникъ твореній св. отцовъ». Далѣе, «по воспоминаніямъ сверстника протоіерея, какъ и по моимъ (говоритъ высокопреосвященный Никаноръ), основаннымъ на воспоминаніяхъ саратовцевъ, Чернышевскій былъ въ самой высокой степени мальчикъ благовоспитанный, крайне деликатный и сдержанный». Не мѣшаетъ, можетъ быть, замѣтить, что, судя по всему, что намъ извѣстно о Чернышевскомъ, его благовоспитанность и деликатность никогда не имѣли спеціально свѣтскаго, салонно-будуарнаго характера. Соображая все это съ характеристикою, которую высокопреосвященный Никаноръ дѣлаетъ свѣтскому, дворянскому, и духов-

ному, семинарскому образованію, можно бы было ожидать, что онъ сошлется на высокое умственное развитіе и обширныя познанія юнаго Чернышевскаго, какъ на особенно яркое подтвержденіе этой характеристики: вотъ, дескать, какіе семинаристы бываютъ!

Къ удивленію, высокопреосвященный Никаноръ изгоняетъ Чернышевскаго изъ сферы семинарскаго образованія. Изгоняетъ не только за его литературную дѣятельность и не только за то, что онъ въ семинаріи пробылъ всего три года, а въ низшемъ духовномъ училищѣ и совсѣмъ не былъ, но также и за его исключительныя умственныя достоинства. Со стороны человѣка, столь увѣреннаго въ преимуществахъ семинарскаго образованія, это необыкновенно странно, но это такъ. Мы узнаемъ, что Чернышевскій пробылъ въ семинаріи только три года потому, что былъ «развитъ не по лѣтамъ и образованъ далеко выше семинарскаго курса своихъ сверстниковъ». Узнаемъ, что Чернышевскій «весь, кромѣ рожденія отъ своего отца, принадлежитъ свѣтскому міру, особенно же по умственному своему развитію». «Воспитаніе Чернышевскаго было совсѣмъ исключительное, дворянское, въ нашей духовной средѣ неслыханное». «Если между духовнымъ юношествомъ бываютъ люди свѣтскаго образованія и направленія, то Чернышевскій былъ ультра-свѣтскій. По своему развитію онъ выдвигался изъ ряду вонъ».

Попробуйте подвести итоги. Свѣтское или дворянское образованіе сообщаетъ людямъ салонный лоскъ и изящныя манеры, но не даетъ ни солидныхъ познаній, ни высокаго умственнаго развитія. Духовное или семинарское образованіе, напротивъ того, «всегда выучиваетъ правильному логическому мышленію», сообщаетъ и утверждаетъ въ умахъ учениковъ много свѣдѣній (высокопреосвященный Никаноръ особенно напираетъ на знаніе древнихъ языковъ), учитъ писать по русски столь правильно, что Пушкинъ можетъ позавидовать семинаристу младшаго отдѣленія, и т. д. Если, однако, молодой Чернышевскій былъ не по лѣтамъ развитъ и образованъ, если онъ, между прочимъ, зналъ древніе языки и библію съ твореніями св. отцовъ такъ, что приводилъ всѣхъ въ изумленіе, то это результатъ дворянскаго, свѣтскаго, даже ультра-свѣтскаго образованія. Духовное или семинарское образованіе не можетъ дать человѣку того огромнаго умственнаго багажа, съ которымъ Чернышевскій вступилъ въ жизнь. Онъ могъ получить его только отъ дворянскаго или свѣтскаго образованія, того самаго свѣтскаго образованія, которое можетъ дать только хорошія манеры, но никакъ не солидныя знанія и высокое умственное развитіе. Эти солидныя знанія и это умственное развитіе сообщаются только духовнымъ или семинарскимъ образованіемъ, которое, однако, безсильно дать молодому человѣку столько знаній и такое умственное развитіе, какими обладалъ Чернышевскій. Его умственныя преимущества уже сами по себѣ свидѣтельствуютъ о томъ, что онъ получилъ дворянское, свѣтское образованіе, которое, впрочемъ и т. д., и т. д.

Во всемъ этомъ, очевидно, есть какія-то обмолвки и недомолвки, какое-то крупное недоразумѣніе, разъяснить которое я не умѣю. Склоненъ думать, что грубыя и безтактныя выходки «Гражданина» слишкомъ взволновали высокопреосвященнаго Никанора. А мы-то какъ обжились съ подобными грубостями и безтактностями! Мы даже не замѣчаемъ ихъ, не замѣчаемъ, что роль «консерваторовъ», «охранителей» давно свелась къ водворенію въ обществѣ всякаго рода смуты въ родѣ взаимнаго натравливанія другъ на друга цѣлыхъ группъ населенія или такого умственнаго хаоса, въ которомъ не разберешь, гдѣ добро, гдѣ зло, гдѣ ложь гдѣ правда. Мнѣ нѣтъ никакого дѣла до людей, облыжно и самозванно называющихъ себя «консерваторами». Но всетаки и ихъ поминаю я, говоря: бѣдные, бѣдные русскіе читатели, жаждущіе просвѣщенія своего ума и сердца! Которые не жаждутъ, тѣмъ хорошо: занимательно.

XVI.

Кое о чемъ.

«Поколѣніе русскихъ дѣятелей средины текущаго вѣка постепенно сходитъ со сцены и съ грустью всматривается въ приливающія волны новыхъ людей, шумно занимающихъ центры жизни, ея кормила и рычаги. Эти толпы дѣятелей уже дѣйствуютъ и даютъ тонъ жизни; но чѣмъ дальше отодвигается «героическая эпоха» съ ея завѣтами, тѣмъ больнѣе сжимается сердце у стариковъ! Они не видятъ достойныхъ себѣ преемниковъ. Гдѣ въ нынѣшней молодежи тотъ священный пламень, который согрѣвалъ насъ когда-то?—говорятъ они,—гдѣ безкорыстное влеченье къ свѣту и добру?»

Такъ начинаетъ газета «Недѣля» замѣтку о статьѣ г. Обнинскаго «Откуда идетъ деморализація нашей адвокатуры» («Юридическій Вѣстникъ», сентябрь). «Русскія Вѣдомости» своевременно обратили вниманіе своихъ читателей на эту прекрасную статью. Что касается «Недѣли», то, отдавая должное убѣжденному тону г. Обнинскаго и самому

характеру его убѣжденій, почтенная газета не совсѣмъ довольна аргументаціей автора, или, вѣрнѣе, даже не аргументаціей, а маленькими подробностями построенія статьи.

Статья г. Обнинскаго мотивирована подлинными словами извѣстной записки совѣта московскихъ присяжныхъ повѣренныхъ: «Уровень опытности и знаній въ массѣ понижается, и чувство чести и долга, понятіе о порядочности, о границахъ дозволеннаго и недозволеннаго, принципы общественнаго служенія забываются». Этотъ печальный, самою адвокатскою корпораціей констатированный фактъ г. Обнинскій комментируетъ, разъясняетъ его причины и слѣдствія. «Недѣля» желаетъ отмѣтить пробѣлы изложенія г. Обнинскаго относительно причинъ деморализаціи. Почтенная газета говоритъ: «Г. Обнинскій указываетъ на школьную реформу во Франціи и горячо рекомендуетъ ея дѣйствительно гуманные, благородные принципы. Но намъ кажется, что не одна школа виновата въ упадкѣ интелегенціи и не объ одной школѣ должна идти рѣчь». Совершенно справедливо. Но вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно непонятно, почему газетѣ «Недѣля» кажется, что она возражаетъ г. Обнинскому, который не объ одной школѣ и говоритъ. Возлагая надежды на воспитаніе, онъ явственно оговаривается: насъ можетъ выручить «только воспитаніе въ широкомъ значеніи слова, т. е. воспитаніе не только школьное, но и общественное». И этимъ убѣжденіемъ проникнута вся статья.

Между прочимъ, г. Обнинскій замѣчаетъ, что еслибы адвокатское сословіе не обладало такими благами, какъ независимость, самоуправленіе и корпоративная организація, то растлѣніе разлилось-бы еще шире и глубже. Теперь-же «глубоко ошибается тотъ, кто придаетъ совѣтскимъ самообвиненіямъ черезчуръ огульное значеніе: немного, пожалуй, а существуютъ еще уцѣлѣвшіе и противоборствующіе этому теченію пловцы». Но эти «не порвавшіе своей родственной связи съ наукой и литературой, не продавшіе своего таланта толпѣ» «держатся пока особнякомъ, избѣгаютъ центровъ дѣятельности». Этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ «Недѣля» недовольна. Да и кто же имъ можетъ быть доволенъ! Но едва ли многіе согласятся съ «Недѣлей», что выходъ изъ этого положенія очень простъ. «Недѣля» говоритъ: «Нашей дѣйствительной интеллигенціи, сохранившейся отъ растлѣнія, пора дѣйствовать, и это единственный практическій выводъ изъ разговоровъ объ упадкѣ нравовъ. Нѣтъ талантовъ и совѣсти — надо ихъ создать, надо ихъ пробудить въ подростающей молодежи, надо заразить ее вдохновеніемъ и вѣрою... Пусть они (представители «дѣйствительной интеллигенціи, сохранившейся отъ растлѣнія») перемѣнять свою безплодную тактику... Пусть они выходятъ на поверхность жизни и представительствуютъ за свои идеи».

Чего-же-бы лучше! И главное — просто, необыкновенно просто. Но, должно быть, есть же достаточно сильныя причины, которыя однимъ помогаютъ, а другимъ мѣшаютъ выходить на поверхность жизни и представительствовать за свои идеи. Я это заключаю, именно, изъ необыкновенной простоты рецепта «Недѣли»,—онъ такъ простъ, что по всей вѣроятности, и раньше приходилъ людямъ въ голову и по возможности практиковался и по возможности сейчасъ практикуется, такъ что якобы практическій рецептъ «Недѣли» есть въ сущности празднословіе и останется таковымъ впредь до расширенія возможностей.

Однако, надо жить и въ предѣлахъ существующихъ возможностей, жить не изо дня въ день, безъ цѣли и смысла, а какъ подобаетъ «дѣйствительной интеллигенціи». Мнѣ хочется поговорить объ одномъ изъ такихъ необходимыхъ условій этой жизни, которыя болѣе или менѣе достижимы при любомъ уровнѣ возможностей. Я разумѣю правильное отношеніе къ традиціямъ, которое несомнѣнно составляетъ одинъ изъ существенныхъ пунктовъ общественнаго воспитанія. Работа человѣческаго духа преемственна. Какъ-бы ни были велики личныя силы отдѣльнаго человѣка или цѣлой группы людей, но это только проценты съ труда предъидущихъ поколѣній, капитализированнаго исторіей, — проценты иногда ничтожные, иногда высокіе, иногда растрачиваемые зря и даже во вредъ человѣчеству, иногда значительно увеличивающіе накопленный въ теченіе вѣковъ капиталъ. Какъ бы высоко ни поднимались шелестящіе наверху вѣкового дуба листья и какъ-бы ни были они ярки своей молодой зеленью, они живутъ лишь пріумноженной работой тѣхъ же старыхъ корней, передаваемой отъ ствола къ вѣтвямъ, и въ свое время верхнія вѣтви будутъ передавать эту работу еще болѣе молодымъ. И такъ далѣе, доколѣ Богъ дастъ дубу вѣку. Но ростъ человѣческаго сознанія не такъ простъ и прямолинеенъ, какъ ростъ дуба. Я не помню, кто, баронъ Мюнхгаузенъ или Иванушка-дурачекъ, взобравшись на высокій сукъ, вздумалъ его отрубить отъ ствола. Это могло случиться и съ тѣмъ и съ другимъ,—и съ идеаломъ хвастливаго вранья, и съ идеаломъ глупости. Къ одному изъ этихъ разрядовъ непремѣнно должны относиться люди, отрѣзывающіе себя отъ традицій прошлаго. Вопросъ здѣсь можетъ быть только въ степени, да еще, пожалуй, въ

замѣнѣ глупости и хвастливаго вранья ихъ ближайшими родственниками—невѣжествомъ и самомнѣніемъ. Но, во-первыхъ, традиціи традиціямъ рознь, въ традицію стремятся сложиться и доброе и злое, и всякая даже случайная ошибка. Значитъ, надо выбирать. А, во-вторыхъ, уважать традиціи не значитъ долбить старое только потому, что оно старое. Уваженіе къ традиціямъ утверждаетъ лишь преемственность работы и вовсе не отрицаетъ критической мысли. Критическая мысль должна быть, между прочимъ, направлена именно на розысканіе въ наслѣдіи прошлаго корней настоящаго, причемъ, конечно, окажутся и такія традиціи, отъ которыхъ не только можно, а даже должно себя отрѣзать. У насъ на этотъ счетъ существуютъ двѣ крайности, одинаково безсмысленныя и одинаково вносящія смуту въ многотрудное дѣло общественнаго воспитанія: мы или идолопоклонствуемъ передъ традиціей, равняясь усердіемъ тому неумному человѣку, который разбиваетъ себѣ лобъ на молитвѣ, или-же не хотимъ знать никакихъ традицій и изъ кожи лѣземъ, чтобы открыть Америку и выдумать порохъ. Приведу пояснительные примѣры.

Путемъ страннаго переплета чисто случайныхъ причинъ, въ извѣстной части нашей печати сложилась традиція о какой то логической и исторической связи между классическимъ образованіемъ и политическою благонадежностью. Родители попросту скорбятъ о неудобоносимомъ бремени, лежащемъ на плечахъ ихъ дѣтей, само министерство народнаго просвѣщенія до извѣстной степени внимаетъ, наконецъ, голосу отцовъ и матерей. А извѣстная часть печати все поетъ свою скрипучую традиціонную пѣсню: это «либерализмъ», это подкопы подъ «основы» школы и государства. По поводу рѣчи императора Вильгельма о классическомъ образованіи, «Гражданинъ» пришелъ въ ужасъ; онъ увидѣлъ въ этой рѣчи посягательство даже на монархическій принципъ и прочелъ германскому императору комическую лекцію объ уваженіи къ этому принципу. Затѣмъ, полемизируя съ «Новымъ Временемъ», «Гражданинъ» писалъ, что ученикъ классической школы, «никогда ни разумомъ, ни инстинктомъ не будетъ приведенъ жизнью возлюбить нынѣшнія политическія бредни паче преданій. Почему? Потому, повторяю, что его духовная личность развилась, сложилась и окрѣпла подъ вліяніемъ ясныхъ мыслей, опредѣленныхъ идеаловъ и цѣльныхъ характеровъ старины. Тогда какъ воспитанникъ реальной школы ничѣмъ въ себѣ не гарантированъ быть сбитымъ въ своихъ убѣжденіяхъ первою встрѣчною логикою газеты или философіей современной книги».

Я не знаю, какая школа взростила кн. Мещерскаго. Знаю только, что она не научила его ни писать по русски, ни логически мыслить и не дала ему никакихъ знаній, если только онъ не растерялъ ихъ на поприщѣ своей литературной дѣятельности. Дѣло, впрочемъ, не въ редакторѣ «Гражданина», а въ защищаемомъ имъ предразсудкѣ, который очень распространенъ и держится, однако, чисто традиціоннымъ путемъ, не подвергаемымъ ни исторической, ни логической провѣркѣ. Какія именно «преданія» языческой, республиканской и федеративной греческой «старины» желаетъ кн. Мещерскій удержать для христіанской, монархической и централизованной Россіи? Безспорно, что Греція оказала неисчислимыя услуги человѣчеству, и можно благоговѣть передъ ея великими подвигами во всѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, подвигами, доселѣ отзывающимися на мысли и жизни европейскихъ народовъ. Но совершенно въ нравахъ той же греческой «старины» была, напримѣръ, идеализація омерзительнаго противоестественнаго порока, доселѣ носящаго греческое названіе. Объ этихъ, что-ли, «опредѣленныхъ идеалахъ и цѣльныхъ характерахъ старины» говоритъ кн. Мещерскій? А когда рѣчь заходитъ о цѣнности классическаго образованія, какъ нравственно-политическаго оплота противъ «политическихъ бредней», то господа защитники классицизма уже совершенно не вѣдаютъ, что творятъ.

Маленькая историческая справка. Беру первую попавшуюся книгу по исторіи первой французской революціи—Тэна «Les origines de la France contemporaine»—и, послѣ недолгихъ перелистываній, останавливаюсь въ третьемъ томѣ на страницѣ 99 и слѣд. Приводя образчикъ рѣчи, переполненной классическими сравненіями и именами, Тэнъ замѣчаетъ, что даже крупные таланты изъ революціонныхъ дѣятелей безмѣрно уснащали свои рѣчи иллюстраціями изъ греко-римской «старины». Тэнъ прибавляетъ: «они увлекаются своими школьными воспоминаніями, и весь современный міръ представляется имъ сквозь латинскіе отголоски» (á travers des réminiscences latines). Беру другую книгу, «Исторію французской литературы» Юліана Шмидта и читаю: «Тонъ, господствовавшій въ 1792—1794 гг., образовался подъ вліяніемъ школьнаго воспитанія». Затѣмъ Шмидтъ цитируетъ Нодье: «Къ оригинальному языку революціи мы были приготовлены лучше, чѣмъ думаютъ; небольшихъ усилій стоило перейти отъ нашихъ гимназическихъ упражненій къ преніямъ форума. Если бы предстояло рѣшить: кто болѣе содѣйствовалъ паденію на

шихъ старыхъ монархическихъ доктринъ— Вольтеръ или Руссо, то надъ этимъ я еще задумался бы; но что больше всѣхъ виноваты въ этомъ Ливій и Тацитъ, это я сталъ бы утверждать положительно». Беру еще книгу,—сочиненія Вольнея, высоко просвѣщеннаго дѣятеля революціи, отступившаго отъ революціоннаго дѣла, когда оно приняло окончательно террористическій характеръ. Говоря въ своихъ «Leçons d'histoire» о значеніи, такъ сказать, историческихъ внушеній и приводя въ примѣръ время революціоннаго террора, Вольней пишетъ «Я разумѣю ту манію греческихъ и римскихъ цитатъ и имитацій, которая въ послѣднее время вскружила намъ головы. Имена, прозвища, одежды, нравы, законы, — все стремилось принять спартанскій или римскій обликъ... Причина этого явленія лежитъ въ системѣ воспитанія, полтора вѣка господствующей въ Европѣ. Столь восхваляемые классическіе поэты, ораторы, историки напоили юношество своими принципами или своими чувствами».

Я могъ бы еще и еще продолжать цитаты, могъ бы привести подлинныя рѣчи самыхъ выдающихся революціонныхъ дѣятелей, свидѣтельствующія, помимо даже біографическихъ данныхъ, что большинство ихъ получило классическое образованіе. Но и приведеннаго достаточно, чтобы видѣть всю неосновательность разглагольствованій нашихъ удивительныхъ «консерваторовъ» о классицизмѣ, какъ о хранителѣ «преданій». И если люди столь различныхъ убѣжденій, какъ Тэнъ, Юліанъ Шмидтъ, Нодье и Вольней, единогласно указываютъ на связь первой французской революціи съ классическимъ образованіемъ (никто, разумѣется, не видитъ въ немъ причину революціи; дѣлаю эту оговорку въ виду господствующихъ нынѣ полемическихъ пріемовъ), то откуда же взялась у насъ противоположная идея? Откуда бы она ни взялась, но достовѣрно, что она очень быстро приняла характеръ отвердѣлой традиціи и стала повторяться безъ оглядки и провѣрки, какъ одинъ изъ несомнѣнныхъ догматовъ консервативной политической мудрости. Въ таинственную связь классическаго образованія съ политическою благонадежностью въ консервативномъ смыслѣ вѣрятъ многіе, вѣрятъ именно въ голую традицію, не пытаясь прослѣдить ея источники и провѣрить ее путемъ логическихъ операцій, и свидѣтельствъ историческаго опыта. А такъ какъ наши такъ называемые консерваторы въ числѣ своихъ обязанностей полагаютъ полицейскій сыскъ, то вполнѣ благонамѣренные родители, лишь жалѣющіе своихъ дѣтей и желающіе имъ добра, обращаются въ политически-неблагонадежные элементы. И ростетъ въ обществѣ изъ безсмысленной традиціи смута. Таковы послѣдствія слѣпого усвоенія традиціи.

Еслибы я былъ призванъ говорить отъ лица нашихъ консерваторовъ, я былъ бы рѣшительно противъ классическаго образованія, которое не только не помѣшало паденію основъ старой, до-революціонной Франціи, а затѣмъ и принциповъ старой Европы вообще, но даже облегчило это паденіе. Теперь же я скажу лишь, что наши такъ называемые консерваторы совершенно напрасно придаютъ вопросу о классическомъ образованіи политическое освѣщеніе. Жизнью выдвинутъ вопросъ чисто педагогическій, вопросъ объ усвоеніи дѣтьми извѣстныхъ знаній и умственныхъ навыковъ съ возможно меньшимъ обремененіемъ ихъ духа и тѣла. Что же касается соціальныхъ эффектовъ той или другой системы, то они цѣликомъ зависятъ отъ той общественной среды, въ которой эта система практикуется, отъ общаго строя жизни.

Политическая благонадежность въ консервативномъ смыслѣ и классическое образованіе скрутились въ какой-то невозможный Гордіевъ узелъ, благодаря слѣпой вѣрѣ въ традицію. И это дѣло неразумное. Но русская жизнь представляетъ не мало образчиковъ и совершенно противоположнаго неразумія. За ними недалеко ходить. Газета «Недѣля», какъ мы видѣли, съ сочувствіемъ относится къ «старикамъ», у которыхъ «больно сжимается сердце», потому что они «не видятъ достойныхъ себѣ преемниковъ». Почтенная газета горячо убѣждаетъ стариковъ «выходить на поверхность жизни и представительствовать за свои идеи», дабы «создать и пробудить таланты и совѣсть въ подростающей молодежи, заразить ее вдохновеніемъ и вѣрою». Нѣкоторая празднословность этого плана не мѣшаетъ, однако, признавать за почтенной газетой заслугу уваженія къ преемственности мысли. Это важно въ особенности у насъ, гдѣ эта преемственность такъ часто обрывается чисто внѣшними, сторонними обстоятельствами. Ну, а что-же дѣлала газета «Недѣля» въ теченіе послѣднихъ двухъ, если не трехъ лѣтъ, предоставляя свои страницы литературнымъ упражненіямъ «новаго литературнаго поколѣнія», рѣшительно отрѣзывавшаго себя отъ никуда негодныхъ «идеаловъ отцовъ и дѣдовъ»? Судя по замѣткѣ о статьѣ г. Обнинскаго, «Недѣля» теперь знаетъ, что она дѣлала: она дѣлала неразумное дѣло. Лучше поздно, чѣмъ никогда конечно...

Между прочимъ, въ програму недѣльнаго «новаго литературнаго поколѣнія» входило (въ виду вышеизложеннаго, я пишу въ прошедшемъ времени) примиреніе съ дѣйстви-

тельностью, какова бы она ни была, и практическое пользованіе жизнью безъ всякихъ такъ называемыхъ завиральныхъ идей. Вь этомъ состоялъ едва-ли не главный даже пунктъ распри недѣльныхъ «дѣтей», какъ они сами себя величали, съ «отцами», «нашихъ молодыхъ писателей» съ нами, стариками, скорбящими объ отсутствіи въ нихъ молодости. Особенно горько было видѣть именно эту раннюю черствость ума и сердца и плоскость идеаловъ, даже до полнаго ихъ отсутствія. Къ счастью или несчастью,—не знаю ужь какъ разсудить, — приглядываясь къ группѣ людей, обобщаемыхъ критикою «Недѣли» въ формулахъ «дѣти», «новое литературное поколѣніе», «наши молодые писатели», убѣждаешься, что не всѣ они такъ ужь очень молоды и годами. Инымъ лѣтъ по сороку-то вѣрныхъ есть.

Герой повѣсти г. Боборыкина «Поумнѣлъ», напечатанной въ октябрьской и ноябрьской книжкахъ «Русской Мысли», но пока еще не конченной, Александръ Ильичъ Гаяринъ, размышляетъ объ себѣ про себя. «Ему пошелъ сороковой годъ... Но какой это возрастъ для человѣка, такъ хорошо сохранившагося? На видъ онъ въ полномъ смыслѣ молодой мужчина». Дѣйствительно, сорокъ лѣтъ не Богъ знаетъ какіе годы, но всетаки титулъ молодого человѣка, а тѣмъ паче «дитяти» какъ будто ужь и не къ лицу сорокалѣтнему человѣку. Вспомнимъ, что въ тургеневскихъ «Отцахъ и дѣтяхъ» одному изъ «отцовъ», Николаю Кирсанову, «лѣтъ сорокъ съ небольшимъ». Къ сорока годамъ человѣкъ переживаетъ обыкновенно уже многое и многое. Давайте посмотримъ, что пережилъ Александръ Ильичъ Гаяринъ.

Въ началѣ повѣсть г. Боборыкина непріятно дѣйствуетъ свойственною этому писателю искусственностью тона и фотографичностью описаній, которыя именно по своей фотографической подробности не даютъ понятія объ описываемомъ. Вотъ, напримѣръ, портретъ Гаярина: «На его лицѣ, блѣдномъ, очень тонкомъ, съ красиво подстриженной черной бородой, рѣздѣленной на двѣ пряди, и въ темно сѣрыхъ острыхъ глазахъ не выразилось ничего: ни досады, ни безпокойства. Только на бѣломъ, высокомъ, но сдавленномъ лбу, гдѣ плоскіе, лоснящіеся волосы лежали еще густою прядью, чуть замѣтно обозначилась одна линія, надъ самымъ носомъ, крѣпкимъ, нѣсколько хрящеватымъ, породистымъ. Усы онъ поднималъ надъ волосами бороды и концы ихъ немного торчали». Не смотря на тщательность описанія, вы совсѣмъ не видите этого лица, и нѣсколько хрящеватый, породистый носъ нисколько вамъ не помогаетъ. Но по мѣрѣ того, какъ развертывается повѣсть, эти недостатки стушевываются: то-ли ихъ становится меньше, то-ли они не замѣчаются изъ-за общаго интереса повѣсти.

Лѣтъ двадцать тому назадъ Гаяринъ увлекался «завиральными» идеями и даже нѣсколько пострадалъ за нихъ. Около того-же времени онъ женился на дѣвушкѣ, раздѣлявшей его образъ мыслей и смотрѣвшей на него, какъ на героя. Она бы и до сихъ поръ рада смотрѣть на него такъ же, потому что и до сихъ поръ его любитъ. Она не замѣчаетъ, что Гаяринъ уже давно не тотъ, что былъ, а онъ достаточно уменъ и сдержанъ, чтобы проходить, какъ онъ выражается, свою «эволюцію» постепенно, безъ рѣзкихъ скачковъ. Онъ воспитывался въ лицеѣ, но въ періодъ своихъ увлеченій называлъ подобныя заведенія «мѣстами систематической порчи», равнымъ образомъ и къ женскимъ институтамъ относился не иначе, какъ съ насмѣшкой. Тѣмъ не менѣе, когда ихъ дѣти подросли, онъ отдалъ сына въ лицей, дочь въ Смольный, и сдѣлалъ это такъ, что Антонина Сергѣевна (жена) не подчеркнула для себя противорѣчія старыхъ словъ съ новымъ дѣломъ. Она только тогда замѣтила, что мужъ «поумнѣлъ», когда онъ почти завершилъ свою «эволюцію», когда, давно уже заметя слѣды грѣховъ своей юности, онъ рѣшаетъ баллотироваться въ губернскіе предводители дворянства и рекомендуетъ ей, своей женѣ, не принимать нѣкоторыхъ знакомыхъ, которые могутъ компрометтировать его политическую благонадежность и предстоящую карьеру. Между супругами происходитъ сцена, въ которой она, кроткая и любящая, бросаетъ ему въ лицо слова: «отступникъ! ренегатъ! бездушный лицемѣръ!». Но онъ своею холодною и благовоспитанною сдержанностью доводитъ ее до того, что она проситъ у него прощенія за эту выходку и рѣшаетъ молча присутствовать при его дальнѣйшей «эволюціи». Это ей тяжело достается. Ей тяжело слышать и похвалы «эволюціи», и разныя на этотъ счетъ колкости. Самъ Гаяринъ переноситъ все это презрительно холодно. Мало того. Въ Петербургѣ Гаяринъ встрѣчается, между прочимъ, съ другимъ ренегатомъ, Вершининымъ. И въ лицѣ этого человѣка Гаяринъ видитъ лишь «вѣскій примѣръ того, какъ дорожатъ способными людьми, когда они возьмутся за умъ». А между тѣмъ на Вершинина смотрятъ всетаки только «какъ на разночинца, продавшагося за дорогую плату».

Повѣсть г. Боборыкина еще не кончена, и вѣроятно многіе читатели съ нетерпѣніемъ ждутъ ея конца. Фигура Гаярина задумана и до сихъ поръ сдѣлана очень хорошо. Авторъ не усугубляетъ его положенія лишними отрицательными чертами. Гаяринъ

уменъ, энергиченъ, до послѣдней степени приличенъ; онъ, съ точки зрѣнія ходячей морали, безупречный мужъ. И все это еще болѣе оттѣняетъ его «эволюцію» и драму, совершающуюся въ душѣ его жены. Въ чемъ же заключается эта драма и почему Антонинѣ Сергѣевнѣ такъ глубоко оскорбительно, что ея мужъ «поумнѣлъ»?

Покойный Салтыковъ неоднократно печатно утверждалъ, что на могилѣ ренегата непремѣнно долженъ быть водруженъ осиновый колъ. Какъ общее правило, такое посрамленіе могилы ренегата рѣшительно несправедливо. Если ренегатъ отступился отъ лжи и прилѣпился къ истинѣ, такъ за что же его осиновымъ коломъ къ землѣ пригвождать? Хорошо было говорить Салтыкову, сразу выступившему на тотъ путь, который онъ до конца дней своихъ считалъ путемъ истины. Но не всѣмъ же выпадаетъ на долю такое счастіе; потому что это въ самомъ дѣлѣ большое счастіе. Благо всякому, знающему, что въ прошломъ у него нѣтъ ничего такого, отъ чего нужно-бы было теперь со стыдомъ или омерзеніемъ отворачиваться, при воспоминаніи объ чемъ приходилось-бы краснѣть. Но, какъ всему человѣчеству истина дается цѣною многихъ и многихъ заблужденій, изъ-за которыхъ льются иногда цѣлые потоки слезъ и крови, такъ и каждому отдѣльному человѣку, по крайней мѣрѣ, простительно заблуждаться и потомъ, сознавъ свои заблужденія, отступать отъ нихъ. Хуже бы было, еслибы онъ, сознавъ заблужденіе, всетаки остался при немъ, а вѣдь тогда онъ не былъ бы ренегатомъ. Онъ былъ бы лицемѣръ, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ не желающій открывать свои карты, для чего-то носящій маску. И если человѣкъ добросовѣстно искалъ истины и такъ же искренно примкнулъ къ своему новому убѣжденію, какъ искренно держался прежняго,— кто рѣшится прибавить осиновый колъ къ тѣмъ мукамъ стыда за свое прошлое, которыя такой несчастный человѣкъ долженъ испытывать?

А между тѣмъ, большинство читателей навѣрное повторяло за Салтыковымъ: да, осиновый колъ! Такое всеобщее презрѣніе къ ренегатамъ объясняется не самымъ фактомъ отступничества, а той неприглядной обстановкой и тѣми низменными формами, въ которыхъ оно въ большинствѣ случаевъ совершается. Самый обыкновенный случай тотъ, что человѣкъ не измѣняетъ свои убѣжденія, а просто продаетъ ихъ, если не за деньги, такъ за положеніе, за спокойствіе и т. п. Привлекательнаго въ этомъ, конечно, мало, и не мудрено, что сами покупщики презрительно относятся къ такому товару. Но бываетъ еще и такъ, что ренегатъ, вмѣсто того, чтобы откровенно признаться въ своей слабости и затѣмъ стыдливо затеряться въ толпѣ, занимаетъ воинствующее положеніе и цинически оплевываетъ все, чему поклонялся. Цинизмъ состоитъ тутъ опять-таки не въ томъ, что человѣкъ громогласно и горячо отстаиваетъ свои новыя убѣжденія и столь же горячо и громогласно порицаетъ свои прошлыя заблужденія. Это—законнѣйшее право всякаго человѣка, имѣющаго какія бы то ни было убѣжденія, но, во-первыхъ, дѣйствительно имѣющаго, а не торгующаго ими, а во-вторыхъ, тутъ есть одинъ пріемъ, по которому можно почти безошибочно отличить ренегата, въ презрительномъ смыслѣ этого слова, даже въ томъ случаѣ, когда прямыхъ и ясныхъ доказательствъ его нравственной низменности на-лицо нѣтъ.

Исторія русской литературы имѣетъ въ запасѣ истиннаго мученика своихъ убѣжденій, которому случалось измѣнять ихъ, но которому, однако, благодарное потомство воздвигнетъ, вѣроятно, не въ далекомъ будущемъ монументъ, а не осиновый колъ. По поводу книжки г. Минскаго, я уже вспоминалъ этого человѣка, и именно съ этой стороны. Я говорю о Бѣлинскомъ, о «неистовомъ Виссаріонѣ», съ страшною душевною болью вспоминавшемъ о своихъ прошлыхъ заблужденіяхъ. Въ фактахъ этого рода, извѣстныхъ изъ переписки Бѣлинскаго и воспоминаній о немъ, особенно бросается въ глаза слѣдующее обстоятельство. Бѣлинскій говоритъ: «я писалъ мерзости, гнусности, чушь» и т. п., и нигдѣ не подмѣтите вы у него и слѣдовъ жалкой, плаксивой и предательской ноты: меня или насъ соблазнили, увлекли такіе-то и такіе-то преступные люди. Эта черта дорогого стоитъ. Вы видите передъ собой мужественнаго человѣка, который принимаетъ на себя полную отвѣтственность за то, что онъ говорилъ, писалъ или дѣлалъ, а не сваливаетъ ее на другихъ. Цинизмъ настоящихъ, заслуживающихъ презрѣнія ренегатовъ состоитъ именно въ томъ, что они стараются по возможности обѣлить себя лично, представляясь жертвами и умалчивая о томъ, сколько жертвъ они сами создали, скольхихъ людей они сами склонили къ тому, что они нынѣ объявляютъ заблужденіемъ.

Этой послѣдней ступени Гаяринъ еще не достигъ въ своей эволюціи. Дойди онъ до нея, и драма, происходящая въ душѣ Антонины Сергѣевны, можетъ быть, кончилась бы,—она бы просто отвернулась отъ него. Но Гаяринъ, не смотря на весь свой цинизмъ, еще гордо носитъ свою красивую голову, и Антонина Сергѣевна, любящая и помнящая былое, трепетно присматри-

вается—нѣтъ ли, чего-нибудь законнаго въ этой гордости, нѣтъ ли ошибки въ ея діагнозѣ? Бѣдная женщина!—ошибки нѣтъ.

XVII.

О г. Потапенкѣ.

Передо мной лежатъ два только что вышедшіе томика повѣстей и разсказовъ И. Н. Потапенки. По поводу этихъ томиковъ я прежде всего подумалъ, что господа писатели нынѣ немножко слишкомъ торопятся издавать сборники своихъ произведеній. Сборникъ,—это вѣдь нѣкоторый итогъ, а чтобы стоило подводить итоги, нужно достаточное число слагаемыхъ, или же эти слагаемыя должны быть въ какомъ-нибудь отношеніи особенно значительны. Понятно желаніе авторовъ предъявить свое произведеніе публикѣ въ цѣломъ видѣ, если оно предварительно частями печаталось въ журналѣ или газетѣ. Понятно также появленіе въ отдѣльномъ изданіи цѣлой серіи однородныхъ въ какомъ-нибудь отношеніи произведеній; писатель билъ въ нихъ въ одну интересующую его точку и, натурально, разсчитываетъ на усугубленное впечатлѣніе. Если же такого объединяющаго пункта въ сборникѣ нѣтъ, то объединителемъ является личность самого автора, а право занимать читателей своею личностью должно быть заработано.

Передо мной лежатъ еще двѣ беллетристическія новинки: «Записки юнкера» П. Райскаго и второй томикъ «Потревоженныхъ тѣней» Сергѣя Атавы. «Записки юнкера» печатались клочками въ одной петербургской газетѣ, кажется, мало читаемой. Тамъ онѣ совершенно пропадали, не производя въ обрывочномъ видѣ никакого впечатлѣнія. Въ отдѣльномъ же изданіи, собранныя во-едино, онѣ производятъ, напротивъ, чрезвычайно сильное впечатлѣніе. Это—дневникъ молодого человѣка, воспитывавшагося въ одномъ блестящемъ петербургскомъ военномъ училищѣ. Форма дневника, вообще говоря, довольно скучна; авторъ, повидимому, не обладаетъ большою литературною опытностью; образъ героя разсказа, какъ личности, какъ характера, довольно смутенъ. И тѣмъ не менѣе трудно оторваться отъ этой картины нравовъ, постепенно доводящихъ юношу, можетъ быть, вовсе не дурного по природнымъ задаткамъ, до послѣднихъ предѣловъ подлости. И вы ясно видите цѣль автора и понимаете, что цѣль эта не была бы достигнута, еслибы «Записки юнкера» остались погребенными въ разрозненныхъ газетныхъ листахъ.

«Потревоженныя тѣни» г. Атавы посвящены воспоминаніямъ о крѣпостномъ бытѣ. Послѣ «Оскудѣнія», это, безъ сомнѣнія, лучшее, что написалъ г. Атава, не смотря на то, что съ внѣшней стороны «Потревоженныя тѣни» написаны крайне небрежно. Во второй томъ вошли три разсказа, изъ которыхъ особенно удаченъ второй, озаглавленный «Тетенька Клавдія Васильевна» (героиня—нѣчто вродѣ Іудушки Головлева въ юбкѣ). Но дѣло не въ этомъ одномъ или въ какомъ другомъ разсказѣ, а во всей совокупности ихъ, представляющей вполнѣ однородную по содержанію и манерѣ письма серію, въ которой всѣ части восполняютъ другъ друга и способствуютъ общему впечатлѣнію.

Отнюдь нельзя того же сказать о сборникѣ повѣстей и разсказовъ г. Потапенки. Въ него вошли восемь беллетристическихъ вещей, очень различныхъ по содержанію, по замыслу, по формѣ, и на первый взглядъ рѣшительно невозможно сказать, что именно связало ихъ въ эти два хорошенькіе томика. Еслибы такой сборникъ выпустилъ кто-нибудь изъ писателей, къ которымъ читатель уже пригляделся, котораго онъ такъ или иначе оцѣнилъ, то этотъ вопросъ не пришелъ бы намъ въ голову: впечатлѣніе отъ сборника, хотя бы и смутное само по себѣ, естественно примкнуло бы къ тому представленію о литературной физіономіи автора, которое уже у насъ составилось. Но г. Потапенко мы, можно сказать, совсѣмъ не знаемъ. Мнѣ неизвѣстно, когда началъ писать г. Потапенко. Думаю, однако, что не ошибусь, сказавъ, что онъ только въ нынѣшнемъ году привлекъ къ себѣ вниманіе читателей напечатанною въ «Вѣстникѣ Европы» повѣстью «На дѣйствительной службѣ». Вслѣдъ затѣмъ г. Потапенко напечаталъ въ томъ же «Вѣстникѣ Европы» очеркъ «Секретарь его превосходительства» и въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» повѣсть «Здравыя понятія» (собственно не повѣсть, а «записки благоразумнаго человѣка»). Теперь онъ издаетъ сборникъ, въ который, кромѣ упомянутыхъ, вошли еще и другіе разсказы, повидимому, болѣе ранняго происхожденія, но въ свое время мало или вовсе не обратившіе на себя вниманія. Надо еще замѣтить, что «На дѣйствительной службѣ», «Секретарь его превосходительства» и «Здравыя понятія» слѣдовали другъ за другомъ съ необыкновенною быстротою. Можетъ быть, эта быстрота свидѣтельствуетъ о плодовитости автора, какой онъ, однако, прежде не обнаруживалъ, и три упомянутыя, довольно большія произведенія напечатаны въ томъ самомъ хронологическомъ порядкѣ, въ которомъ они написаны. Но возможно и такъ, что успѣхъ повѣсти «На дѣйствительной

службѣ» побудилъ автора вынуть изъ своего портфеля вещи, написанныя гораздо раньше, или по крайней мѣрѣ наскоро написать вещи, давно задуманныя. А это отягчаетъ возможность судить о ходѣ развитія его мысли и таланта, значитъ, и объ томъ, чего отъ него въ будущемъ ждать можно. Не смотря, однако, на эту безпомощность критики въ данномъ случаѣ, г. Потапенко, несомнѣнно, писатель талантливый, и я хотѣлъ бы сдѣлать, что могу, для выясненія его литературной физіономіи. Уже одно то цѣнно, что г. Потапенко избѣгаетъ шаблоновъ и избитыхъ дорогъ. Замыселъ его повѣстей и разсказовъ всегда болѣе или менѣе оригиналенъ и смѣлъ. Его интересуютъ явленія, мимо которыхъ другіе наши беллетристы проходятъ равнодушно, совсѣмъ ихъ не замѣчая, и очень мало интересуютъ вещи, набившія читателю оскомину въ трудахъ нашихъ безчисленныхъ романистовъ и разсказчиковъ. Къ сожалѣнію, однако, г. Потапенко не всегда удачно справляется съ своими сюжетами.

Въ повѣсти «Здравыя понятія» герой, отъ лица котораго ведется разсказъ, «благоразумный человѣкъ», какъ онъ себя называетъ, а въ сущности просто негодяй, задумываютъ слѣдующій хитросплетенный планъ. Онъ любитъ дѣвушку, Надю Турчанинову, она его тоже любитъ; но оба они не богаты (хотя и отнюдь не бѣдны), а негодяй проницателенъ, необыкновенно, невѣроятно проницателенъ. И такъ какъ вокругъ него авторъ расположилъ людей въ такой же мѣрѣ лишенныхъ проницательности, то негодяй и можетъ водить ихъ за носъ, сколько автору угодно. Негодяй отлично понимаетъ Надю Турчанинову. Она начинена «принципами», она, по выраженію ея брата, «горячо стремится къ честному труженическому удѣлу, къ скромному служенію ближнему». Но негодяй знаетъ что это все пустяки, что въ глубинѣ Надиной души заложено страстное желаніе пожить, что называется, хорошо; только она, придавленная своими принципами, не сознаетъ этого. Негодяй предлагаетъ ей выйти замужъ за влюбленнаго въ нее старика-милліонера Масловитаго. Дѣвушка естественно огорчается такимъ проектомъ любимаго человѣка и недоумѣваетъ: какъ такъ продать себя постылому старику?! Но негодяй проницателенъ. Онъ понимаетъ, что «необходимъ сильный эффектъ, необходимо взбѣсить ее, вывести изъ себя, страшно поссорить съ прошлымъ. Это послужитъ для нея извиненіемъ въ ея собственныхъ глазахъ; ей будетъ казаться, что она мститъ за оскорбленное самолюбіе, и такимъ образомъ суровый принципъ будетъ обойденъ, обманутъ». Чтобы достигнуть этого, негодяй самъ внезапно женится на нѣкоей Ольгѣ Олениной, которая его давно любитъ, но къ которой онъ былъ до тѣхъ поръ вполнѣ равнодушенъ. Узнавъ объ этой свадьбѣ, Надя Турчанинова, какъ и ожидалъ негодяй, съ досады и горя выходитъ за старика Масловитаго. Спрашивается, зачѣмъ же все это нужно негодяю? А вотъ зачѣмъ. Такъ какъ онъ очень проницателенъ, то провидитъ близкую смерть старика Масловитаго и чахоточной Ольги, и какъ только они умрутъ, такъ онъ женится на любимой имъ и любящей его Надѣ и получитъ съ ней вмѣстѣ милліоны Масловитаго. По щучьему велѣнью, по негодяеву прошенью, все именно такъ и происходитъ: черезъ два года Масловитый и Ольга единовременно умираютъ, и негодяй соединяется узами брака съ Надей и ея милліонами. Я передаю лишь наиболѣе общія, важнѣйшія очертанія повѣсти, не входя въ подробности, сплошь состоящія изъ проявленій необычайной проницательности негодяя и столь же необычайной глупости окружающихъ. Только въ самомъ концѣ повѣсти Ольга, уже умирающая, повидимому, ни съ того, ни съ сего беретъ съ него клятву, что онъ, послѣ ея и Масловитаго смерти, не женится на Надѣ. Эту предсмертную проницательность негодяй готовъ облечь въ формы почти сверхъестественнаго. Онъ говоритъ: «Неужели она читаетъ въ душѣ моей? Вѣдь, есть въ природѣ тайны, которыхъ я не знаю, и тотъ, чье тѣло испытываетъ послѣднія усилія борьбы, а душа уже на половину въ другомъ мірѣ, быть можетъ, видитъ мои мысли». Негодяй сейчасъ же, впрочемъ, убѣждается, что умирающая жена не читаетъ въ его душѣ. А вотъ онъ такъ всю жизнь читаетъ въ чужихъ душахъ и ни разу не промахивается...

Въ одномъ мѣстѣ негодяй говоритъ Ольгѣ, что «еслибы люди могли всегда составлять строго математическую пропорцію между своими цѣлями и своими силами, то не было бы слезъ на землѣ». Онъ прибавляетъ: «Въ моей жизни, въ самомъ дѣлѣ, математика играла важную роль». Онъ правъ. Математика играетъ въ его жизни столь невѣроятно важную роль, что повѣсть г. Потапенки лишается всякой жизненности и превращается въ геометрическое построеніе, поражающее своею мертвенною симметричностью. Надя Турчанинова, негодяева невѣста, живетъ вдвоемъ съ незначительной старухой-матерью; Ольга Оленина, другая негодяева невѣста живетъ вдвоемъ съ незначительной старухой теткой. У Нади Турчаниновой есть отсутствующій братъ, молодой человѣкъ, начиненный и начиняющій

сестру «идеями» и принципами, и у Ольги Олениной есть такой же отсутствующій братъ, молодой человѣкъ, начиненный и начиняющій сестру идеями и принципами. О единовременной смерти Ольги и Масловитаго я уже упоминалъ. Опоздай кто-нибудь изъ нихъ умереть хоть на одинъ годъ, и негодяй очутился бы въ затруднительномъ положеніи. Но г. Потапенко вводитъ насъ въ область математической симметріи, гдѣ все правильно, все подлежитъ точному измѣренію и гдѣ поэтому не можетъ быть ничего неожиданнаго или непредвидѣннаго. Въ дѣйствительной жизни, въ той, которая кругомъ насъ и въ насъ самихъ кипитъ, есть всевозможныя шероховатости, неправильности, трудности, а въ области параллельныхъ линій, равностороннихъ треугольниковъ, квадратовъ и проч. все идетъ какъ по маслу, ибо эти геометрическія фигуры такъ и предполагаются неосложненными ничѣмъ постороннимъ. Послушайте, напримѣръ, какъ у г. Потапенки люди женятся. Нѣкій Кремчатовъ разсказываетъ:

— Просто, знаете, я вчера часа въ три этакъ случайно зашелъ къ своей невѣстѣ, вижу, она одна; мнѣ и пришла фантазія: дай, думаю, женюсь... Ну и женился!

— То есть, въ какомъ же смыслѣ?

— Въ обыкновенномъ... Пошли въ церковь и обвѣнчались.

Оказалось, положимъ, что это Кремчатовъ навралъ. Но вотъ старуха Турчанинова уже не вретъ, когда разсказываетъ о свадьбѣ своей дочери:

— Въ тотъ же день, какъ она встала съ постели (въ скобкахъ: и на другой день послѣ того, какъ согласилась выдти за Масловитаго), Масловитый пришелъ такъ часовъ въ пять, а она ему: здѣсь, говоритъ, вашъ экипажъ? Ладно. Мама, позовите доктора Аларчина, а вы еще кого-нибудь. Сядемъ въ экипажъ, поѣдемъ въ Акуловку—тутъ въ двѣнадцати верстахъ, и обвѣнчаемся. Иванъ Евсѣичъ потерялся, но возражать не рѣшился. Такъ и поѣхали.

Самъ негодяй-герой женится въ первый разъ такъ. На другой день послѣ объясненія съ Ольгой они вмѣстѣ идутъ къ Кремчатову съ просьбой взять на себя хлопоты по устройству вѣнчальнаго обряда. Въ тотъ же день Кремчатовъ все устраиваетъ, и въ тотъ же день происходитъ вѣнчаніе. У Кремчатова они были въ одиннадцать часовъ утра, а послѣ вѣнца происходилъ еще веселый свадебный обѣдъ. Значитъ, всѣ обязательныя по церковному уставу приготовленія къ браку были кончены въ нѣсколько часовъ. На приготовленія ко второму браку негодяй-герой употребилъ, почему-то, гораздо больше времени: «Мы обвѣнчались черезъ два дня послѣ того, какъ я сдѣлалъ свое шуточное предложеніе». Это, конечно, гораздо дольше, чѣмъ при первомъ бракѣ, но всетаки, сошлюсь на всѣхъ женатыхъ мужчинъ и замужнихъ женщинъ, необыкновенно быстро, столь необыкновенно быстро, что пожалуй такъ и не бываетъ въ дѣйствительной жизни, гдѣ не все и не всегда идетъ, какъ по маслу. А тутъ, что ни свадьба, то галопомъ: сегодня объяснились, завтра или много послѣ завтра повѣнчались...

Въ «Здравыхъ понятіяхъ» нѣтъ ни одного живого лица,—все какія-то маріонетки, механически движущіяся по произволу автора, не представляющія никакого интереса. Произволъ автора есть дѣло, конечно, неизбѣжное, но талантливые беллетристы умѣютъ расположить своихъ дѣйствующихъ лицъ и ихъ взаимныя отношенія такъ, что получается художественное отраженіе подлинной жизни во всей ея на первый взглядъ капризной сложности. При этомъ авторскій произволъ утопаетъ въ художественной правдѣ. Г.-же Потапенко не только не съумѣлъ укрыть свой произволъ, но еще усугубилъ его, такъ сказать, передовѣривъ его своему герою. Г. Потапенко надѣлалъ маріонетокъ, придѣлалъ къ нимъ ниточки и далъ эти ниточки своему герою: дергайте, молъ, Андрей Николаевичъ, сколько хотите и какъ хотите,—маріонетки будутъ прыгать и падать, жить и умирать согласно вашему желанію.

Еслибы г. Потапенко написалъ только «Здравыя понятія», то объ немъ не стоило бы и говорить: это произведеніе по-истинѣ ниже всякой критики. И тѣмъ удивительнѣе мертвенная сухость этой повѣсти, что та же рука написала такую прекрасную вещь, какъ «На дѣйствительной службѣ». Нѣкоторая неукрытость авторскаго произвола есть и здѣсь, какъ, впрочемъ, и во всѣхъ остальныхъ произведеніяхъ г. Потапенки. Но, въ противоположность «Здравымъ понятіямъ», въ повѣсти «На дѣйствительной службѣ» передъ читателемъ проходитъ цѣлый рядъ разнообразныхъ живыхъ лицъ, тонко очерченныхъ, законченныхъ, способныхъ заинтересовать васъ своими печалями и радостями, хотя между этими печалями есть и комическія, между этими радостями есть и ничтожныя. Цѣлая маленькая коллекція настоящихъ живыхъ людей и живыхъ отношеній между ними.

Спрашивается, какъ же связать такую мастерскую, такую тонкую работу, какъ «На дѣйствительной службѣ», съ такой топорной работой, какъ «Здравыя понятія»? Мнѣ лично пріятно бы было разрѣшить этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что «Здравыя понятія» есть очень раннее произведеніе г. Потапенки, которое онъ, въ качествѣ неудачной пробы пера, оставилъ-было въ своемъ письменномъ

столѣ на память о грѣхахъ юности, а теперь по какимъ-нибудь совершенно постороннимъ соображеніямъ напечаталъ. Жаль, конечно, что въ литературное дѣло замѣшиваются постороннія соображенія, но пріятно было бы всетаки думать, что «Здравыя понятія» не предвѣстникъ будущаго, а отголосокъ невозвратнаго прошлаго. Да вѣдь мало ли что пріятно думать! За неимѣніемъ данныхъ, приходится сознаться, что я не умѣю рѣшить поставленный вопросъ. Надо замѣтить, что всѣ остальныя произведенія г. Потапенки (вошедшія въ сборникъ, другихъ я не знаю) по ихъ художественной цѣнности могутъ быть расположены между упомянутыми двумя повѣстями. Нѣтъ ни одного, столь плохого, какъ «Здравыя понятія», но также ни одного такого, которое можно бы было поставить наравнѣ съ «На дѣйствительной службѣ». Такъ что есть, повидимому, для нашего автора какой-то средній уровень, выше котораго онъ разъ поднялся и ниже котораго онъ разъ спустился. Будемъ надѣяться, что спустился онъ случайно и что подниматься ему предстоитъ еще много разъ.

Если я не умѣю связать двѣ крайнія точки творчества г. Потапенки въ ихъ художественномъ значеніи, то можно всетаки попытаться связать ихъ въ другомъ отношеніи,—въ отношеніи нравственныхъ интересовъ автора и идей, имъ руководящихъ. Что преимущественно занимаетъ г. Потапенко? гдѣ, если можно употребить здѣсь этотъ терминъ, его locus minoris resistentiae? наиболѣе чувствительный и отзывчивый пунктъ, къ которому стекаются и около котораго группируются получаемыя имъ впечатлѣнія, чтобы сложиться тамъ въ мысли, чувства, образы, картины? По нынѣшнему времени немножко рискованно задавать себѣ этотъ вопросъ. Нынѣшніе писатели норовятъ обойтись безъ такого центральнаго пункта и съ безразличнымъ спокойствіемъ воспроизводятъ все, что имъ попадается на глаза: Ѳому и Ерему, слона и букашку, благоуханіе розы и безобразіе подлости. Происходитъ это прямо потому, что, въ соотвѣтствіе общему строю нашей нынѣшней жизни, господа беллетристы утратили способность различать важное и неважное и сильно чувствовать разницу между добромъ и зломъ. Хорошаго въ этомъ, конечно, ничего нѣтъ, но, какъ и всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, post factum явилась теорія, оправдывающая эту слабость и возводящая ее въ принципъ. Принципъ этотъ получилъ громкое названіе «пантеизма»; дескать, съ высшей точки зрѣнія, удаленной отъ ничтожныхъ и переходящихъ тревогъ дня, все въ природѣ одинаково цѣнно, и нѣтъ въ ней ни добра, ни зла, и не дѣло художника какъ-нибудь сортировать явленія жизни; онъ не долженъ давать ни одному изъ нихъ предпочтенія. Повторяю, теорія эта только возводитъ въ принципъ фактъ, уже существующій. Дѣйствительность опередила теорію и послѣдняя лишь «реабилитируетъ» первую. Къ счастію, въ этой непріятной дѣйствительности есть пріятныя исключенія. Къ числу ихъ принадлежитъ и г. Потапенко. Какъ ни разнообразно содержаніе его сборника, но это не безразличное воспроизведеніе Ѳомы и Еремы. Далеко не все, что раздражаетъ барабанную перепонку и сѣтчатую оболочку глаза г. Потапенки, становится предметомъ его художественнаго вниманія. Онъ сортируетъ свой матеріалъ ощущеній и впечатлѣній и сознательно комбинируетъ его. Мысль въ каждомъ изъ его произведеній ясна, опредѣленна, сосредоточена иногда даже въ излишествѣ. Но даже нѣкоторое излишество этого рода можно поставить въ заслугу молодому писателю нашего времени, когда всѣ, подобно древнему велерѣчивому Баяну, норовятъ растекаться мыслію по древу, сѣрымъ волкомъ по землѣ, такъ что ихъ и не поймешь. Посмотримъ же, что интересуетъ и волнуетъ г. Потапенко.

«Здравыя понятія» представляютъ собою автобіографію негодяя, который, однако, считаетъ себя отнюдь не негодяемъ, а «благоразумнымъ человѣкомъ», и вполнѣ собою доволенъ. Это та самая задача, которую съ такимъ блескомъ выполнила покойная Заіончковская въ своей лучшей повѣсти «Первая борьба». Задача чрезвычайно трудная, потому что автору приходится все время стоять на завѣдомо чуждой ему точкѣ зрѣнія и не просто оправдывать, а идеализировать мысли, чувства и поступки негодяя. Г. Потапенкѣ не удалось выполнить эту задачу, хотя его негодяй и торжествуетъ во всѣхъ своихъ планахъ и предпріятіяхъ. Въ повѣсти «На дѣйствительной службѣ» нашъ авторъ задался цѣлью, въ нѣкоторомъ смыслѣ противоположною: здѣсь торжествуетъ не негодяй, а напротивъ, честный, добрый и самоотверженный человѣкъ. Эта задача въ своемъ родѣ, пожалуй, еще труднѣе. Если вообще положительный типъ дѣло не легкое, потому что изображеніе его представляетъ много соблазновъ впасть въ слащавость, ходульность и резонерство, то торжествующій положительный типъ вдвойнѣ труднѣе. Увы! дѣла на нашей грѣшной землѣ рѣдко складываются такъ, что воинствующій положительный типъ торжествуетъ. Положительный типъ, это вѣдь тотъ, котораго hat man von je gekreuzigt und verbannt. Бываютъ, конечно, исключенія, иначе бѣлый свѣтъ давно пересталъ бы быть бѣлымъ. Бываютъ времена, когда торжество положительнаго типа сравнительно облегчается... Впрочемъ, положительныхъ типовъ можетъ

быть столько же, сколько существуетъ разныхъ точекъ зрѣнія на вещи. Одно время у насъ развелось много романистовъ (существуютъ они, кажется, и теперь, но я ихъ давно не читаю), которымъ положительный типъ представлялся въ видѣ благороднаго, великодушнаго, умнѣйшаго красавца князя Аполлона Бельведерскаго или графа Антиноя Свѣтозарова-Святогорова. Этотъ графъ Антиной былъ осыпанъ всѣми дарами природы и, сверхъ того, танцовалъ лучше балетмейстера, укрощалъ дикихъ коней и поражалъ направо и налѣво сонмы звѣрообразныхъ людей, наряженныхъ нигилистами. Этакому-то положительному типу немудрено торжествовать: «станетъ на горы—горы трещатъ!» Но герой г. Потапенки совсѣмъ другого пошиба. Это молодой священникъ, отказавшійся отъ блестящей карьеры, чтобы отдаться въ родномъ селѣ дѣятельному служенію ближнему.

Я не буду разсказывать содержаніе «На дѣйствительной службѣ». Во-первыхъ, это заняло бы много мѣста; во-вторыхъ, читатель вѣроятно уже знакомъ съ этою вещью, а незнакомъ—такъ пусть познакомится. Онъ получитъ много художественнаго наслажденія, и не одного художественнаго. Я остановлюсь только на одномъ обстоятельствѣ. Слишкомъ ужъ везетъ герою повѣсти г. Потапенки, отцу Кириллу; до такой степени везетъ, что значительная часть его торжества основана на случайностяхъ, совсѣмъ отъ него независящихъ. О. Кириллъ исполняетъ церковныя требы либо даромъ, либо за то, что дадутъ. Другой священникъ и прочій причтъ недовольны такимъ сокращеніемъ доходовъ, ѣдутъ къ архіерею жаловаться, что имъ и семьямъ прямо голодать приходится. Но архіерей (истинно мастерски написанная фигура, совсѣмъ живой)—горячій покровитель о. Кирилла. Онъ говоритъ одному изъ жалобщиковъ, о. Родіону: «Тебя я понимаю, отецъ Манускриптовъ, понимаю, ибо самъ я грѣшникъ. Но надо и его умѣть понять. Удалились мы съ тобой отъ апостольскаго житія, а онъ, этотъ юный пастырь, приблизиться къ нему хочетъ. Ну, разсуди, съ духовной точки зрѣнія, худо-ли онъ поступаетъ? Нѣтъ, не худо, а хорошо». И т. д. Между прочимъ, архіерей спрашиваетъ жалобщика, не внушаетъ ли о. Кириллъ прихожанамъ «чего-либо такого смутнаго, на примѣръ, противнаго властямъ предержащимъ». — «Нѣтъ, ваше преосвященство, нѣтъ!—поспѣшно и даже съ жаромъ отвѣтилъ о. Родіонъ:—этого грѣха на душу свою не приму. Чего нѣтъ, о томъ прямо и говорю: нѣтъ!»

Уже изъ этого діалога видно, что бабушка ворожила о. Кириллу. У него есть сильный покровитель, что вѣдь не всегда случается съ положительнымъ типомъ. Далѣе, о. Родіонъ, при всей своей злобѣ на о. Кирилла и при всемъ своемъ желаніи спихнуть его съ мѣста, «поспѣшно и даже съ жаромъ» уклоняется отъ возможности сдѣлать ложный доносъ политическаго свойства. Ложный политическій доносъ у насъ вовсе не рѣдкость, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ даже юридическая хроника. У насъ это очень удобное средство если не прямо погубить врага, то хоть насолить ему, бросись на него тѣнь, и торжество о. Кирилла было бы, конечно, очень омрачено, еслибы «поспѣшность и даже жаръ» о. Родіона направились въ эту сторону. Тѣмъ болѣе, что и архіерей, при всемъ своемъ расположеніи къ о. Кириллу, имѣетъ какія-то смутныя основанія подозрѣвать въ немъ присутствіе «духа возмущенія». Безкорыстіе о. Кирилла тяжело отзывается и на его собственномъ бюджетѣ; но онъ этого не замѣчаетъ, не только потому, что онъ весь охваченъ своей идеей, а и потому еще, что изъяны хозяйства наполняются изъ тайнаго для него источника. Жена о. Кирилла женщина простая, глуповатая, не понимаетъ цѣлей и плановъ своего мужа, но вмѣстѣ съ тѣмъ она настолько исключительно хорошій человѣкъ, что, тайкомъ отъ о. Кирилла, растрачиваетъ на хозяйство свое маленькое приданое. Эта высокая черта деликатной преданности встрѣчается, конечно, не часто. Наконецъ, у о. Кирилла есть сосѣдка, бойкая помѣщица, по первому его слову назначающая причту жалованье отъ себя и затѣмъ способствующая торжеству героя и деньгами, и личнымъ участіемъ.

Таковы нѣкоторыя совершенно особыя условія, при которыхъ торжествуетъ о. Кириллъ. Разное можно бы было по этому поводу сказать, но я обращусь къ г. Потапенкѣ. Что общаго между «Здравыми понятіями» и «На дѣйствительной службѣ», столь разнствующими не только въ художественномъ отношеніи, но и по характеру своихъ героевъ? Это общее выражено, мнѣ кажется, словами героя «Здравыхъ понятій»: «еслибы люди могли составлять строго математическую пропорцію между своими цѣлями и своими силами, то не было бы слезъ на землѣ». Пропорціональность или непропорціональность поставленныхъ цѣлей съ имѣющимися силами,—вотъ что, мнѣ кажется, преимущественно занимаетъ г. Потапенко въ житейской трагикомедіи. Мотивъ этотъ проходитъ почти черезъ весь сборникъ. Герой «Здравыхъ понятій» и о. Кириллъ соразмѣрили свои силы съ своими цѣлями и восторжествовали. Въ «Святомъ искусствѣ» нѣкій Степовицкій, случайно написавъ удач-

ную повѣсть, вообразилъ себя призваннымъ литераторомъ, бросилъ службу въ провинціи, переѣхалъ съ семьей въ Петербургъ съ цѣлью блестящей литературной карьеры и провалился,—диспропорція силъ и цѣлей. Въ «Секретарѣ его превосходительства» Николай Алексѣевичъ Поганкинъ, человѣкъ самъ по себѣ не дурной и не глупый, двѣнадцать лѣтъ околачивается около пустого мѣста, чтобы достигнуть «ступени, дающей самостоятельность», и проваливается. Онъ внезапно умираетъ, сраженный непріятными вѣстями, но и безъ нихъ онъ, очевидно, такъ или иначе надорвался бы, потому что, добиваясь самостоятельнаго положенія, онъ именно къ самостоятельности-то и неспособенъ. Въ «Проклятой славѣ» надрывается и кончаетъ самоубійствомъ мальчикъ-скрипачъ, котораго неразумный, хотя и любящій отецъ тянетъ къ непосильной для него «проклятой славѣ». Въ остальныхъ трехъ разсказахъ этотъ мотивъ звучитъ не такъ ярко, но усмотрѣть его всетаки можно. Вездѣ дѣйствующія лица ставятъ себѣ извѣстныя цѣли, крупныя или мелкія, хорошія или дурныя, и вездѣ успѣхъ или неуспѣхъ, по задачѣ автора, зависитъ отъ разсчета пущенныхъ въ ходъ силъ. Говорю «по задачѣ автора», потому что на дѣлѣ, какъ мы уже приводили тому примѣры, на помощь или во вредъ героямъ г. Потапенки слишкомъ часто являются чисто случайныя, постороннія обстоятельства. Куда бы ни обращался г. Потапенко, — къ сѣрой ли сермяжной массѣ или къ міру праздной роскоши, къ средѣ ли духовенства или къ литературной, артистической, чиновничьей средѣ,—всюду его занимаютъ радость и гордость успѣха, ужасъ и горе неудачи. Все остальное—аксессуары, обстановка, иногда набросанная съ поразительною небрежностью, а иногда съ замѣчательною художественною тонкостью. Самыя цѣли, къ которымъ стремятся дѣйствующія лица г. Потапенки, представляютъ для него второй вопросъ. Его занимаетъ торжествующая или гибнущая сила сама по себѣ, процессъ достиженія или недостиженія цѣли.

Успѣхъ или неуспѣхъ въ жизни, какъ результатъ вѣрнаго или невѣрнаго разсчета силъ, есть, конечно, очень большая тема, которой г. Потапенку, пожалуй, на весь его вѣкъ хватитъ. Безчисленныя житейскія драмы, проистекающія изъ того, что люди занимаются непосильными для нихъ цѣлями, и, можетъ быть, вся практическая житейская мудрость сводятся въ концѣ концовъ къ умѣнію согласовать свои цѣли съ своими силами. Какъ бы ни была обширна портретная галлерея удачниковъ и неудачниковъ, она можетъ быть безконечно разнообразна по характеру героевъ, по ихъ средѣ, по трагическимъ, а если угодно, то и комическимъ эффектамъ всѣхъ струнъ человѣческой души. Но не кажется ли вамъ, что такая задача слишкомъ уже абстрактна и формальна? что поставляемыя себѣ человѣкомъ цѣли и сами по себѣ заслуживаютъ вниманія, независимо отъ того, достигнуты онѣ, или нѣтъ? Я не хочу этимъ сказать, что г. Потапенко совсѣмъ не цѣнитъ и не сортируетъ цѣлей и плановъ своихъ героевъ. Нѣтъ, онъ явно сочувствуетъ добрымъ цѣлямъ, но въ кругѣ его умственныхъ интересовъ они стоятъ всетаки на второмъ планѣ, и оттого не совсѣмъ ясны его собственныя цѣли.

Степовицкій (герой повѣсти «Святое искусство») проникнутъ цѣлью добиться славы и матеріальнаго обезпеченія, цѣною пріятнаго и, какъ онъ думаетъ, легкаго литературнаго труда. Г. Потапенко до такой степени заинтересовался этою цѣлью своего героя и его послѣдующимъ крушеніемъ, что ничего не сообщилъ намъ о содержаніи литературныхъ плановъ Степовицкаго, о томъ, что именно хотѣлъ онъ повѣдать міру, чему поучать насъ, читателей, какому Богу поклоняться, и чѣмъ и во имя чего бороться. Для спеціалиста, интересующагося самымъ процессомъ успѣха или неуспѣха, все это вопросы второстепенные, но для насъ, читателей, они-то именно и важны. Что намъ за дѣло до славы и матеріальнаго довольства какого-то Степовицкаго? Господь съ нимъ! Есть чисто личный успѣхъ, есть и такой, который связанъ съ торжествомъ «забытыхъ словъ».

Я искренно, отъ души желаю г. Потапенкѣ этого второго успѣха.

XVIII.

Объ одномъ соціологическомъ вопросѣ.

Г. Южаковъ издалъ книжку подъ заглавіемъ «Соціологическіе этюды». Это—исправленное и дополненное изданіе статей, печатавшихся подъ тѣмъ же общимъ заглавіемъ въ 1872—73 гг. въ журналѣ «Знаніе». Такъ и на оберткѣ напечатано: «изданіе пересмотрѣнное и дополненное». Дополненіе состоитъ изъ двухъ новыхъ главъ и нѣсколькихъ подстрочныхъ примѣчаній. Что же касается пересмотра, то... право, затрудняюсь сказать, есть ли онъ. На стр. 242 читатель найдетъ примѣчаніе, начинающееся словами: «Англійскій писатель Фроудъ недавно доказывалъ» и т. д., и кончающееся ссылкой на «Знаніе» 1873 г. То, что было недавнимъ дѣломъ въ 1873 г.,

можетъ вѣдь перестать быть таковымъ же въ 1891 году. Это, конечно, просто недосмотръ, который можно бы было оставить безъ вниманія, еслибы онъ не былъ характеренъ для всей книги. Съ 1872—73 гг. о предметахъ, затронутыхъ въ «Соціологическихъ этюдахъ», написано разными авторами такъ много, что «изданіе пересмотрѣнное и дополненное» должно быть весьма существенно пересмотрѣно и дополнено. Г. же Южаковъ оставилъ свое изложеніе, можно сказать, безъ всякаго измѣненія, а указаній на позднѣйшую литературу я нашелъ у него всего три, и то просто указаній, даже упоминаній, и притомъ отнюдь не все по вопросамъ первостепенной важности для «соціологическихъ этюдовъ». На стр. 121 г. Южаковъ дополняетъ старое примѣчаніе «указаніемъ на интересныя данныя, заключающіяся въ книгѣ г. Кулишера «Очерки сравнительной этнографіи». На стр. 165, въ примѣчаніи же, г. Южаковъ «указываетъ мимоходомъ на любопытную книжку» г. Ярковскаго «Hypothèse cinetique de la gravitatoin universelle» и т. д. На стр. 167 авторъ замѣчаетъ, что списокъ самостоятельныхъ писателей по вопросу о законахъ народонаселенія «необходимо дополнить Джорджемъ». И только. Я думаю, что для восемнадцати лѣтъ, протекшихъ со времени перваго появленія «Соціологическихъ этюдовъ», это немножко мало. До такой степени мало, что, пожалуй, лучше бы и совсѣмъ не дѣлать этихъ слишкомъ немногихъ указаній и открыто отказаться отъ титула «пересмотрѣннаго и дополненнаго» изданія. Я забылъ, впрочемъ, упомянуть, что г. Южаковъ неоднократно ссылается еще на одно произведеніе новѣйшей литературы, — на свою собственную статью «Нравственное начало въ общественной борьбѣ», напечатанную въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» за 1888 г.

Къ «Соціологическимъ этюдамъ», вообще очень интереснымъ и поучительнымъ, г. Южаковъ счелъ нужнымъ сдѣлать два приложенія. Онъ приложилъ, во-первыхъ, одну свою старую полемическую статью «Субъективный методъ въ соціологіи», во-вторыхъ, алфавитный указатель содержанія книги и встрѣчающихся въ ней собственныхъ именъ. Это послѣднее приложеніе, рѣдко у насъ практикуемое, очень полезно. Не могу того же сказать о первомъ приложеніи, если только позволительно мнѣ имѣть объ этомъ сужденіе. Дѣлаю эту оговорку потому, что статья «Субъективный методъ въ соціологіи» цѣликомъ посвящена полемикѣ со мной и съ г. Миртовымъ. Согласно общей, мало пересмотрѣнной и мало дополненной физіономіи «Соціологическихъ этюдовъ», г. Южаковъ не находитъ нужнымъ просвѣтить своихъ читателей на счетъ своихъ мыслей о томъ, что писалось о субъективномъ методѣ послѣ 1873 г.,—ну, напримѣръ, г. Карѣевымъ или, съ противоположной стороны, г. Слонимскимъ. Мало того, на эту самую полемическую статью г. Южакова были въ свое время сдѣланы возраженія г. П. М. въ «Знаніи» и мною въ «Отечественныхъ Запискахъ». Но г. Южаковъ даже не упоминаетъ объ этихъ возраженіяхъ, очевидно, считая весь полемическій эпизодъ законченнымъ тою точкою, которую онъ поставилъ въ концѣ своей статьи 1873 г. Я бы ничего не могъ сказать противъ этого, если-бы г. Южаковъ просто перепечаталъ свои старыя статьи: такъ какъ онъ на упомянутыя возраженія не отвѣчалъ, то на нѣтъ и суда нѣтъ. Но въ изданіи пересмотрѣнномъ и дополненномъ можно было бы сдѣлать и въ самомъ дѣлѣ какія-нибудь дополненія. А то можно бы было, пожалуй, и совсѣмъ не перепечатывать статью «Субъективный методъ», не имѣющую прямого отношенія къ остальному содержанію книги и потому отнесенную авторомъ въ «приложенія».

Я далекъ отъ мысли возобновлять старую полемику, да и не нужно мнѣ это. Мнѣ достаточно указать на № 1 «Знанія» за 1874 г., гдѣ напечатана статья г. П. М. «О методѣ въ соціологіи», и на 3-й томъ моихъ сочиненій, гдѣ мой отвѣтъ г. Южакову уже давно имѣется. Долженъ однако предупредить читателя, который заинтересуется этою полемикою. И въ стастьѣ г. П. М., и въ моихъ статьяхъ онъ найдетъ нѣкоторыя размышленія о неладности, напримѣръ, слѣдующаго соображенія г. Южакова: «Собственно говоря, нѣтъ ни объективнаго, ни субъективнаго метода, а есть одинъ—истинный», Тщетно будетъ однако искать этой фразы читатель въ дополненномъ изданіи «Соціологическихъ этюдовъ»: ея тамъ нѣтъ. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы мы съ г. П. М. оклеветали г. Южакова, съ наглостью приписали ему слова, которыхъ онъ не говорилъ: они были, но въ дополненномъ изданіи авторъ ихъ вычеркнулъ и хорошо, конечно, сдѣлалъ. Найдутся и еще подобныя исключенія отдѣльныхъ фразъ и цѣлыхъ абзацевъ; не найдется только ключа къ нимъ, то есть какого-нибудь объясненія со стороны автора.

Повторяю, я отнюдь не думаю полемизировать съ г. Южаковымъ. Я хочу только рекомендовать его книжку всѣмъ интересующимся затронутыми въ ней вопросами, и затѣмъ записать нѣсколько мыслей, которыя книжка во мнѣ возбудила, совершенно не-

зависимо отъ того, будутъ ли имѣть эти мысли полемическій обликъ, или нѣтъ.

Въ первомъ своемъ этюдѣ г. Южаковъ возстаетъ, между прочимъ, противъ такъ называемой органической теоріи общества, въ чемъ я ему глубоко сочувствую. Сочувствіе это я выразилъ тотчасъ по появленіи «Соціологическихъ этюдовъ», но тогда же замѣтилъ, что аргументація почтеннаго автора кажется мнѣ не вполнѣ удовлетворительною. Продолжаю думать то же самое и нынѣ. Г. Южаковъ говоритъ: «Въ организмѣ его составныя части, его органы, единицы агрегата лишены всей совокупности жизненныхъ отправленій, дифференцированы физіологически и интегрированы въ одно механически неразрывное цѣлое: разрушеніе этой связи прекращаетъ жизненный процессъ. Въ обществѣ, его слагаемыя, еденицы агрегата, обладаютъ всею полнотою жизненныхъ отправленій, физіологически однородны и не связаны механически; распаденіе агрегата не влечетъ прекращенія жизненнаго процесса въ его единицахъ. Дифференцированію въ обществѣ могутъ подвергнутся только процессы служебные, отправленія, служащія для жизни, но не сами жизненные процессы. Въ этомъ заключается разница между обществомъ и организмомъ: оба принадлежатъ къ категоріи живыхъ агрегатовъ и, какъ таковые, имѣютъ много общаго, отличающаго ихъ отъ агрегатовъ неорганическихъ, но въ предѣлахъ жизни они представляютъ скорѣе двѣ противоположности: въ одномъ отправленія строго дифференцированныхъ частей служатъ развитію цѣлаго, отъ такого соподчиненія зависитъ возростаніе и умноженіе жизни; въ другомъ, напротивъ, отправленія цѣлаго, распредѣленныя между его единицами, служатъ для развитія этихъ единицъ... Общество и организмъ—это два полюса въ цѣпи живыхъ формъ».

Такъ какъ г. Южаковъ игнорируетъ литературу вопроса по сю сторону 1873 г., то я не буду останавливаться на тѣхъ позднѣйшихъ спеціальныхъ изслѣдованіяхъ, которыя можно резюмировать формулою: всякій организмъ есть общество, всякое общество есть организмъ. Имѣя въ виду лишь собственныя мысли г. Южакова, я думаю, что съ той объективной точки зрѣнія, на которой онъ стоитъ, все вышеприведенное можетъ быть подвержено большому сомнѣнію. Невѣрно, что разрушеніе связи между частями организма всегда ведетъ къ прекращенію жизненнаго процесса: есть растительные и животные организмы, которые можно раздробить, разорвать на нѣсколько частей, и результатомъ этой операціи будетъ не прекращеніе жизненнаго процесса, а, напротивъ, возсозданіе нѣсколькихъ жизненныхъ процессовъ. Да и вообще размноженіе, въ особенности въ низшихъ формахъ, можетъ быть разсматриваемо, какъ разрушеніе связи между единицами агрегата. Невѣрно и обратное положеніе автора, по которому распаденіе общества не влечетъ за собою прекращенія жизненнаго процесса въ его единицахъ. Пусть пчелиное общество распадется на матокъ, рабочихъ пчелъ и трутней, и всѣ они перемрутъ. Щедринскіе генералы, вырванные изъ общества, нашли на необитаемомъ островѣ мужика; а если бы не эта счастливая случайность, процессъ генеральской жизни прекратился бы. Наблюденія Губера надъ муравьями предвосхитили эту фантазію сатирика. Невѣрно, что въ обществѣ составляющія его единицы непремѣнно физіологически однородны; это невѣрно даже относительно основныхъ жизненныхъ функцій, каково размноженіе: рабочіе муравьи и пчелы безполы. Въ человѣческомъ обществѣ такой рѣзкой физіологической неоднородности единицъ нѣтъ, но есть ея задатки, въ видѣ мальтузіанской идеи не размножающихся рабочихъ, въ видѣ католическаго духовенства, въ видѣ старыхъ дѣвъ. Невѣрно, наконецъ, что въ обществѣ цѣлое служитъ составляющимъ его индивидуальнымъ единицамъ, тогда какъ въ организмѣ, наоборотъ, отправленія частей служатъ жизни цѣлаго. Объ этомъ сейчасъ нѣсколько подробнѣе.

Все это я говорю отнюдь не въ защиту органической теоріи, а лишь для того, чтобы показать, что критическіе пріемы и точка зрѣнія г. Южакова недостаточны для опроверженія этой теоріи. Противъ окончательныхъ выводовъ и общаго характера книжки г. Южакова я могъ бы, по существу, возразить лишь очень немногое. Поэтому-то, между прочимъ, мнѣ и представляется не особенно нужною приложенная имъ къ книжкѣ старая полемическая статья. А, впрочемъ, это его дѣло. Въ послѣдующихъ этюдахъ г. Южаковъ говоритъ о половомъ, естественномъ, историческомъ и искусственномъ подборѣ въ обществѣ. Я предложу читателямъ нѣкоторыя соображенія на ту же тему, но безъ всякаго отношенія, положительнаго или отрицательнаго, къ воззрѣніямъ г. Южакова.

Недавно вышла книжка любопытнаго нѣмецкаго писателя Карла Дю-Преля «Studien aus dem Gebiete der Geheimwissenschaften». Это уже не первое сочиненіе Дю-Преля въ этомъ родѣ. Направленіе мысли, къ которому принадлежалъ Дю-Прель, можно бы было назвать научно мистическимъ. Оно за послѣднее время получаетъ въ Европѣ довольно значительное развитіе. Задача его состоитъ въ

томъ, чтобы ввести въ сферу научнаго изслѣдованія нѣкоторыя таинственныя, то-есть весьма мало или вовсе не объясненныя психо-физическія явленія. Этому можно бы было, конечно, только радоваться, еслибы упомянутое направленіе не мѣшало былей съ небылицами и не обнаруживало-бы временами легковѣрія, по-истинѣ поразительнаго. Дю-Прель въ своей новой книгѣ проводитъ, между прочимъ, параллель между средневѣковыми вѣдьмами и нынѣшними медіумами. И въ тѣхъ, и въ другихъ онъ находитъ особыя «мистическія» способности. Онъ рѣшительно отвергаетъ то объясненіе, по которому вѣдьмы исчезли, благодаря распространенію просвѣщенія: тутъ, дескать, просто дѣйствовалъ искусственный подборъ. По разсчету Сольдана, за все время преслѣдованія вѣдьмъ, ихъ было сожжено и инымъ образомъ казнено 9½ милліоновъ. А такъ какъ мистическія или медіумическія способности вообще довольно рѣдки, то и немудрено, что таинственныя явленія вѣдовства, наконецъ, прекратились; прекратились не въ качествѣ будто бы субъективнаго заблужденія, разсѣяннаго поступательнымъ ходомъ просвѣщенія, а въ качествѣ несомнѣннаго объективнаго факта. Съ тѣхъ поръ прошло лѣтъ полтораста, и за это время въ человѣчествѣ успѣли вновь народиться и развиться мистическія способности, чѣмъ и объясняется нынѣшнее сравнительное обиліе медіумовъ. Дю-Прель ничего не говоритъ о наслѣдственности мистическихъ способностей. Онъ провидитъ въ будущемъ людей, весьма отличныхъ отъ нынѣшнихъ, но приписываетъ эти грядущія измѣненія воспитанію. Но еслибы мы ввели въ свое разсужденіе еще вліяніе наслѣдственности и еслибы онъ говорилъ притомъ не о мистическихъ способностяхъ, а просто объ извѣстныхъ формахъ нервнаго разстройства, то мы имѣли бы довольно вѣроподобный образчикъ искусственнаго подбора въ обществѣ. Однако, именно только вѣроподобный. Присматриваясь ближе къ разсужденію Дю-Преля даже въ такомъ исправленномъ и дополненномъ видѣ, мы замѣтимъ, что хотя вѣдьмы и истреблялись путемъ прямого насилія, но зрѣлище жестокихъ казней и ужасъ ожиданія преслѣдованій должны были порождать новыя разстройства, которыми съ избыткомъ компенсировалась эта жатва смерти. Далѣе, что бы ни говорилъ Дю-Прель, но поступательный ходъ просвѣщенія и гуманности несомнѣнно способствовалъ прекращенію жестокаго предразсудка, обращавшаго несчастныхъ истеричекъ въ служительницъ сатаны.

Изо всего этого слѣдуетъ, однако, не то, что искусственный подборъ не дѣйствуетъ въ обществѣ, а лишь то, что въ крайне сложной сѣти явленій общественной жизни возможны встрѣчныя и другъ друга уравновѣшивающія теченія. Главнѣйшія изъ этихъ теченій опредѣляются взаимными отношеніями личности и общества, не самаго только принципа общественности или кооперацiи въ обширномъ смыслѣ слова, а и той общественной формы, въ которой волею судебъ приходится жить личности. Невѣрно, какъ я уже сказалъ, что въ обществѣ цѣлое служитъ составляющимъ его единицамъ, то-есть личности. Это—практическая задача, извѣстный общественный идеалъ, признаваемый одними, отвергаемый другими. Въ дѣйствительной же жизни, фактически, общество сплошь и рядомъ не только не служитъ составляющимъ его единицамъ, но, наоборотъ, ихъ заставляетъ играть служебную роль. Напримѣръ, то военно финансовое напряженіе, въ которомъ изнываетъ теперь вся Западная Европа, отнюдь не согласуется съ интересами единицъ, составляющихъ европейскія общества. Напротивъ, эти единицы отрываются отъ производительнаго труда и обременяются налогами единственно ad majorem gloriam извѣстной общественной формы. Случай это весьма обыкновенный. Само собою разумѣется, что во всѣхъ подобныхъ случаяхъ нѣкоторыя единицы или нѣкоторыя группы ихъ извлекаютъ свои выгоды изъ даннаго порядка вещей. Но и они являются, всетаки, подчиненными органами общественнаго цѣлаго, функціонирующаго съ самостоятельными аттрибутами, каковы «національное могущество», «народное просвѣщеніе», «народное богатство» и т. п., изъ которыхъ вовсе не слѣдуетъ, чтобы и входящія въ составъ общества единицы были въ массѣ могущественны. Въ этомъ отношеніи возможны самыя разнообразныя комбинаціи, такъ что даже одна и та же общественная форма можетъ служить личности въ одномъ отношеніи и заставлять ее себѣ служить въ другомъ. Напримѣръ: Англія, какъ политическая организація, до извѣстной, весьма значительной степени, служитъ интересамъ личности и каждый британскій подданный, куда бы его ни забросила судьба, можетъ чувствовать себя могущественнымъ, ибо за нимъ стоитъ могущество всей британской державы. Но не таковъ экономическій строй той-же Англіи: не англійское національное богатство служитъ интересамъ англійскаго рабочаго или земледѣльца, а, напротивъ, весь трудъ этихъ послѣднихъ уходитъ на созданіе колоссальнаго національнаго богатства, отъ котораго имъ перепадаютъ лишь крохи.

Всякая общественная форма борется за существованіе. Борется не только въ каче-

ствѣ общества, но и въ качествѣ извѣстной именно общественной формы; и не только съ другими обществами, но и съ входящими въ ея составъ единицами.

Глава «о развитіи умственныхъ и нравственныхъ способностей въ первобытныя и образованныя времена» въ знаменитой книгѣ Дарвина «Происхожденіе человѣка и половой подборъ» оставляетъ въ читателѣ впечатлѣніе крайней неудовлетворенности. Нужно, впрочемъ, замѣтить, что въ этой главѣ очень мало лично дарвиновскаго. Онъ самъ говоритъ, что большинство его замѣчаній о вліяніи естественнаго подбора на цивилизованныя націи заимствованы имъ у Уоллеса, Гальтона и Грега. Между прочимъ, Дарвинъ утѣшается тѣмъ, что «преступниковъ убиваютъ или заключаютъ въ тюрьмы на долгое время, такъ что они не могутъ свободно передавать по наслѣдству свои дурныя качества». А нѣсколькими страницами дальше читаемъ: «Инквизиція выбирала съ особенною заботливостью наиболѣе свободомыслящихъ и смѣлыхъ людей для того, чтобы сжигать ихъ или бросать въ тюрьмы. Въ одной Испаніи лучшіе изъ людей,—тѣ, которые сомнѣвались и спрашивали,—а безъ сомнѣній не можетъ быть прогресса,—были уничтожаемы втеченіе трехъ столѣтій среднимъ числомъ по тысячѣ въ годъ». Эти двѣ цитаты представляютъ собою непротиворѣчіе, а лишь нѣкоторую неясность мысли. Сложность общественной жизни вполнѣ допускаетъ чередованіе и даже единовременное существованіе явленій противорѣчивыхъ, которыя историку или соціологу и приходится констатировать. Но надо хоть сколько-нибудь оріентироваться въ этихъ житейскихъ противорѣчіяхъ, какъ-нибудь группировать ихъ и объяснять. Въ данномъ случаѣ сдѣлать это не трудно. Прежде всего, въ указанныхъ случаяхъ очевидно нѣтъ никакого естественнаго подбора: здѣсь общество или полномочные его органы поступаютъ совершенно такъ же, какъ сельскій хозяинъ или скотопромышленникъ, искусственно отбирающій экземпляры въ виду своихъ спеціальныхъ цѣлей. Затѣмъ, есть преступленія противъ общества, противъ самыхъ основъ его, безъ которыхъ ни одно общество существовать не можетъ, и есть преступленія противъ данной только формы общества. Очевидна огромная разница между этими двумя разрядами преступленій, а слѣдовательно и между воздѣйствіями на нихъ и между общественными послѣдствіями этихъ воздѣйствій.

Средневѣковая феодально-католическая организація, имѣя своимъ полномочнымъ органомъ инквизицію, казнила и всячески преслѣдовала вѣдьмъ, еретиковъ, евреевъ, мавровъ, вообще всѣхъ съ католическими принципами несогласно мыслящихъ. О вѣдьмахъ или по-просту нервныхъ больныхъ говорено выше. Что же касается остальныхъ, то въ числѣ ихъ, конечно, было не мало тѣхъ лучшихъ людей, о которыхъ говоритъ Дарвинъ. Достаточно вспомнить сожженнаго инквизиціей Джіордано Бруно, на которомъ какъ бы воочію осуществились сказки о феяхъ, принесшихъ къ колыбели младенца всѣ дары природы: умъ, талантъ, красоту, смѣлость, энергію. Все дѣло испортила злая фея, принесшая и свой губительный даръ — неумѣнье приспособиться къ требованіямъ данной общественной формы. Понятно, что не всѣ такіе исключительные баловни природы погибали на кострахъ инквизиціи и задыхались въ ея тюрьмахъ. Однако извѣстныя высокія умственныя и нравственныя качества были для еретика необходимы, чтобы вызвать преслѣдованіе и казнь. Нуженъ былъ умъ, чтобы придти къ самостоятельнымъ выводамъ, нуженъ былъ характеръ, чтобы поддержать выводы ума и не отречься отъ нихъ. И еслибы тысячи этихъ даровитыхъ и стойкихъ людей остались живы и передали свои высокія качества многочисленному потомству, то дальнѣйшая исторія Европы имѣла бы, вѣроятно, совершенно другой обликъ.

Самъ по себѣ, фактъ самозащиты каждой общественной формы, какова бы она ни была, совершенно понятенъ: она борется за свое существованіе, какъ и все на свѣтѣ. Но общественныя формы слишкомъ часто переступаютъ естественные предѣлы самозащиты. Онѣ, напримѣръ, не только всячески гонятъ неприспособленныхъ и не желающихъ или не могущихъ служить имъ, но еще клевещутъ на гонимыхъ, что уже составляетъ излишнюю роскошь. Такъ, древній Римъ не только истреблялъ христіанъ тысячами, но и объявлялъ ихъ врагами человѣчества и основныхъ началъ всякаго общества. На дѣлѣ, однако, распространеніе христіанства несло, какъ извѣстно, новые и болѣе прочные устои общественнаго зданія, хотя римская общественная организація и имѣла свои резоны быть недовольной. Практическіе результаты борьбы, разумѣется, ни мало не измѣняются собственно римскою клеветою. Но, съ точки зрѣнія подбора и его послѣдствій, огромная разница между преслѣдованіемъ враговъ общества и преслѣдованіемъ враговъ данной общественной формы. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ на убой идутъ часто лучшія силы страны, о чемъ иногда очень скоро приходится пожалѣть той самой общественной формѣ, которая ихъ истребила. Преслѣдованіе гугенотовъ стоило Франціи около милліона энергическихъ, тру-

долюбивыхъ, умственно одаренныхъ людей, сожженныхъ, зарѣзанныхъ, изгнанныхъ и бѣжавшихъ въ другія страны. Потеря эта, однако, еще отнюдь не выражается достаточно, кажется, крупною цифрою «милліона». Въ такихъ случаяхъ борьба идетъ уже не только съ идеями, почему-нибудь признаваемыми вредными, а съ людьми, существами, облеченными въ плоть и кровь, способными плодиться и множиться и передавать тѣ или другія свои качества потомству. И еще надо имѣть въ виду, что, истребляя даровитыхъ и стойкихъ, общественная форма уже тѣмъ самымъ косвенно оказываетъ покровительство бездарности и нравственной дряблости. А между тѣмъ общественной формѣ, боровшейся съ гугенотами, достаточно было сдѣлать лишь маленькую уступку въ сторону вѣротерпимости, даже не измѣняя своихъ существенныхъ чертъ, чтобы эти милліоны казненныхъ, изгнанныхъ, бѣжавшихъ и неродившихся, жили на счастіе и славу Франціи. Что касается неродившихся, то въ данномъ случаѣ они унаслѣдовали бы, надо думать, вѣрованія своихъ отцовъ; точнѣе сказать, не унаслѣдовали бы, а воспитались бы въ протестантизмѣ, ибо въ настоящемъ смыслѣ слова, органически наслѣдуются не идеи или вѣрованія, а физическія, умственныя и нравственныя качества. Здоровые же, стойкіе и даровитые люди нужны всякой общественной формѣ, задача которой состоитъ поэтому отнюдь не въ томъ, чтобы глушить извѣстныя качества въ самомъ ихъ корнѣ, а въ томъ чтобы утилизировать ихъ въ нужномъ ей направленіи. Ради этого общественная форма, въ своихъ собственныхъ интересахъ, могла бы поступиться многимъ. Но въ человѣческихъ дѣлахъ разсчетъ выгоды и невыгоды часто затемняется не только чисто логическими ошибками, а и случайностями личнаго темперамента, каприза, слѣпого упрямства, вообще неразуміемъ сердца, если позволительно такъ выразиться. Оттого-то и случается такъ часто въ исторіи, что извѣстная общественная форма, преслѣдуя несогласно мыслящихъ, истребляетъ мыслящихъ вообще и немыслящимъ предоставляетъ все поле дѣйствія и въ минуту опасности сама остается безъ достаточно стойкихъ и надежныхъ защитниковъ,—желая сохранить все, остается ни при чемъ; снявши всѣ сливки, по необходимости должна довольствоваться снятымъ молокомъ. Не всегда, разумѣется, въ подобныхъ случаяхъ пускается въ ходъ искусственный подборъ въ такихъ грандіозныхъ размѣрахъ и кровавыхъ формахъ, какъ при борьбѣ древняго Рима съ христіанами или католической Франціи съ гугенотами. Такъ, Франція Наполеона III, не гнушаясь и этими средствами, хотя по необходимости въ меньшихъ размѣрахъ, разными другими путями, прямо и косвенно покровительствовала бездарности, тупости, низкопоклонству, трусости—и кончила Седаномъ.

Таковы нѣкоторые изъ результатовъ борьбы за существованіе и подбора въ обществѣ. Изъ нихъ явствуетъ, мнѣ кажется, что въ обществѣ не всегда агрегатъ служитъ составляющимъ его единицамъ, а, напротивъ, весьма часто предоставляетъ имъ служебную роль.

XIX.

Памяти Григорія Захаровича Елисеева.

Трудно говорить о человѣкѣ, котораго знаешь хорошо, но котораго твои собесѣдники или слушатели почти не знаютъ. Въ такомъ именно положеніи нахожусь я, собираясь писать о только-что почившемъ Григоріѣ Захаровичѣ Елисеевѣ. Изъ нынѣшнихъ не только читателей, а и писателей его мало кто знаетъ. Да и въ самомъ разгарѣ его литературной дѣятельности, во времена «Современника» и потомъ «Отечественныхъ Записокъ», собственно читающая публика его почти не знала, хотя онъ обладалъ всѣмъ, что требуется для обширной извѣстности: выдающимся умомъ, крупнымъ литературнымъ талантомъ, знаніемъ жизни, опредѣленностью убѣжденій и взглядовъ на жизнь. Не смотря на всѣ эти данныя, Елисеевъ упорно отказывался отъ извѣстности. Статьи его въ «Современникѣ» и въ «Отечественныхъ Запискахъ» составили-бы нѣсколько увѣсистыхъ томовъ, но лишь очень и очень немногія изъ этихъ статей,—быть можетъ, пять или шесть,—подписаны его фамиліей или псевдонимомъ «Грыцько». Остальныя анонимны. Елисеевъ не былъ диллетантомъ литературы, удѣляющимъ ей свои досуги отъ какихъ-нибудь другихъ занятій. Съ 1858 г., когда появилась его первая статья въ «Современникѣ», по 1881 г., когда онъ, вслѣдствіе тяжкой болѣзни, долженъ былъ оставить занятія и уѣхать за-границу, онъ работалъ постоянно, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, и въ качествѣ писателя, и въ качествѣ вліятельнаго члена редакцій двухъ въ свое время наиболѣе распространенныхъ журналовъ. Но и послѣ 1881 г. Елисеевъ духомъ жилъ въ литературѣ и, всетаки, работалъ, какъ только ходъ болѣзни давалъ хоть какую-нибудь возможность работать. До закрытія въ 1884 г. «Отечественныхъ записокъ», онъ еще успѣлъ помѣстить тамъ статью, а въ 1891-мъ году напечатана его статья въ «Вѣстникѣ Европы». Сверхъ того послѣ

него остались рукописи, которыя, какъ можно догадываться, должны представлять высокій интересъ. Во времена «Современника», гдѣ онъ постоянно велъ «внутреннее обозрѣніе», писалъ отдѣльныя статьи и участвовалъ въ редактированіи журнала, Елисеевъ находилъ еще возможнымъ писать въ «Искрѣ», редактировать газету «Вѣкъ» и потомъ «Очерки». Газеты эти, по разнымъ причинамъ, вскорѣ прекратились, но журналы, въ которыхъ Елисеевъ не просто принималъ участіе, а игралъ одну изъ руководящихъ ролей, пользовались обширнымъ и прочнымъ успѣхомъ, и успѣхомъ этимъ они были въ значительной степени обязаны ему. Тѣмъ не менѣе, въ результатѣ этой многолѣтней, многотрудной и успѣшной литературной дѣятельности, Елисеевъ публикѣ почти не извѣстенъ. Многіе черпавшіе изъ его статей свѣтлыя мысли или находившіе въ нихъ отзвукъ своимъ лучшимъ чувствамъ, такъ, можетъ быть, и до конца дней своихъ не узнали имени того, кто имъ свѣтилъ, кто грѣлъ ихъ. Это было бы трагично, еслибы не собственное желаніе Елисеева остаться анонимомъ, растворить свое личное *я* въ общежурнальномъ *мы*.

Но если публика не знала Елисеева, то мы, писатели, знали его очень хорошо. Я думаю, что не ошибусь, сказавъ, что покойный пользовался уваженіемъ рѣшительно всѣхъ литературныхъ кружковъ и партій. Всѣ знали цѣну его спокойному, умному, вѣскому слову; но къ этому уваженію въ однихъ прибавлялось болѣе нѣжное чувство искренней и глубокой любви, въ другихъ— безсильная злоба. Изыскивались разные побочные пути для того, чтобы бросить камнемъ въ этого человѣка, анонимнаго, но вліятельнаго. Не стоитъ поминать эти подкопы, но одинъ изъ нихъ я всетаки помяну, ради біографическаго значенія.

Покойникъ былъ, какъ онъ самъ выражался, «происхожденія клерикальнаго». Какъ и гдѣ протекли его дѣтство и отрочество, я въ точности не знаю. Знаю только, что онъ родился въ Сибири. Въ сороковыхъ годахъ онъ слушалъ лекціи въ московской духовной академіи (его магистерскій дипломъ, выданный этою академіей, помѣченъ 30-мъ января 1846 г.). Затѣмъ онъ былъ профессоромъ казанской духовной академіи, откуда перешелъ на гражданскую службу въ Сибирь, а въ 1858 г. пріѣхалъ въ Петербургъ и весь и навсегда отдался литературѣ. Нѣкто розыскалъ старое сочиненіе Елисеева, церковно-духовнаго содержанія (если не ошибаюсь, это было житіе одного изъ мѣстно-чтимыхъ святыхъ подвижниковъ), съ посвященіемъ какому-то архіепископу или епископу. Розыскалъ и пропечаталъ посвященіе съ глумленіемъ надъ его слогомъ: дескать, вотъ что и какъ радикальный писатель Елисеевъ въ старые годы писалъ. Этотъ дрянной зарядъ пропалъ совершенно даромъ: въ добропорядочныхъ литературныхъ кругахъ, гдѣ Елисеева знали и чтили, онъ возбудилъ лишь презрительную улыбку, въ публикѣ имя Елисеева было неизвѣстно, а самъ онъ могъ съ спокойною совѣстью отвѣтить, что, будучи ученикомъ и затѣмъ профессоромъ духовной академіи, онъ занимался предметами, которыми нынѣ уже болѣе не занимается, и употреблялъ пріемы изложенія, въ то время и въ той средѣ общепринятые. Авторъ вылазки и самъ, конечно, это очень хорошо понималъ,—ему нуженъ былъ лишь извѣстный эффектъ, вполнѣ, впрочемъ, неудавшійся.

Если безспорное и чрезвычайно большое, хотя и анонимное, вліяніе Елисеева въ литературномъ мірѣ было для иныхъ непріятно, то другіе просто признавали его, какъ фактъ, и подчинялись ему тѣмъ охотнѣе, что покойникъ ничѣмъ внѣшнимъ не давалъ чувствовать свое значеніе. А въ насъ, тогда еще молодыхъ сотрудникахъ «Отечественныхъ Записокъ» (о «Современникѣ» я ничего не знаю), Елисеевъ имѣлъ преданнѣйшихъ друзей, почитателей и, я готовъ сказать, сыновей. Было нѣчто именно отцовское въ его ласково-насмѣшливой манерѣ говорить съ нами въ дѣлахъ обыденныхъ и въ той серьезной и любящей заботливости, которую онъ проявлялъ, когда рѣчь шла о нашихъ литературныхъ планахъ. И къ этой роли отца такъ шла его наружность патріарха: эти длинные сѣдые волосы, длинная сѣдая борода, сѣдыя нависшія брови.

Вспоминаю такой случай. Елисеевъ всегда мечталъ о газетѣ, не смотря на несчастную судьбу «Вѣка» и «Очерковъ». Вскорѣ послѣ моего вступленія въ «Отечественныя Записки», у него опять возникла эта мысль. Газета должна была идти параллельно съ журналомъ и отвѣчать, въ его духѣ и направленіи, на текущіе вопросы дня, трудно уловимые въ ежемѣсячномъ толстомъ журналѣ. Представлялся случай на выгодныхъ условіяхъ пріобрѣсти газету; возникъ вопросъ объ отвѣтственномъ редакторѣ. Я предложилъ себя, такъ какъ для утвержденія меня редакторомъ не могло быть тогда никакихъ препятствій. Но скептическій Григорій Захаровичъ отклонилъ мое предложеніе, говоря: «мало ли что можетъ случиться, а вы человѣкъ молодой, пожалуй еще генераломъ будете,—зачѣмъ же закрывать себѣ будущее?» Я очень хорошо зналъ, что мнѣ генераломъ не быть; мнѣ даже обидно было предположеніе Елисеева, что я могу когда-нибудь промѣнять

литературу на другое поприще, гдѣ меня можетъ ждать генеральскій чинъ. Но добродушный и ласково-бережливый тонъ старика смягчалъ обиду...

Третьяго руководителя «Отечественныхъ Записокъ» хороню я: Некрасовъ, потомъ Салтыковъ, теперь Елисеевъ. И каждое изъ этихъ именъ будитъ во мнѣ мои лучшія воспоминанія, и точно часть самого себя хороню я съ ними. Еще недавно я приглашалъ читателей «Русскихъ Вѣдомостей» чтить память незабвеннаго сатирика. Но слава Салтыкова была громка, его имя и само по себѣ ярко горѣло въ сознаніи читающаго люда. Объ Елисеевѣ надо разсказывать. Скажутъ: *своихъ* расхваливаешь! Да, своихъ. Но не потому, что они свои, а напротивъ, потому они и своими стали, что здѣсь именно сосредоточился тотъ свѣтъ, который мнѣ и по сейчасъ во тьмѣ свѣтитъ. Если симпатіи, какъ и антипатіи, часто возникаютъ вполнѣ безотчетно, то крѣпнутъ или слабѣютъ онѣ подъ давленіемъ общаго міросозерцанія съ одной стороны, подъ давленіемъ фактовъ опыта и наблюденія съ другой...

Елисеевъ былъ «происхожденія клерикальнаго». Онъ самъ такъ говорилъ. Но онъ-же говорилъ съ гордостью: «Мой дѣдъ землю пахалъ». Его отецъ былъ священникомъ, а дѣдъ пономаремъ при сельской церкви въ далекомъ углу Сибири и, конечно, самымъ заправскимъ образомъ землю пахалъ. Всяко бываетъ съ людьми, выплывшими со дна житейскаго моря на его сверкающую поверхность, гдѣ столько красивыхъ соблазновъ. Лишь немногіе въ полной мѣрѣ хранятъ память о той всяческой, вещественной и невещественной скудости, изъ которой они вышли. Елисеевъ былъ изъ числа этихъ немногихъ. Я не зналъ человѣка болѣе неуклонныхъ демократическихъ не только принциповъ, но самыхъ инстинктовъ. Это не значитъ, чтобы онъ ходилъ въ грязной рубахѣ или въ какомъ-нибудь якобы народномъ, а въ сущности маскарадномъ костюмѣ. Нѣтъ, ничѣмъ внѣшнимъ онъ не отличался отъ людей среды, въ которой ему довелось жить. Но мысль о сѣрой трудовой народной массѣ никогда не покидала его. Эта мысль окрашивала собою всѣ «Отечественныя Записки»; но то, что въ насъ остальныхъ было плодомъ теоретическихъ выкладокъ ума или порывовъ сердца, или, наконецъ, художественной потребности, быть можетъ, въ одномъ Елисеевѣ истекало непосредственно изъ всего его нравственнаго существа. Мы, остальные, могли отклоняться—кто въ сферу философскихъ отвлеченностей, кто въ область чистой науки или художества или личной морали, и Елисеевъ подозрительно высматривалъ изъ-подъ своихъ нависшихъ бровей,—что-то мы принесемъ изъ этихъ далекихъ экскурсій. И радовался, и гордился «Отечественными Записками», когда мы въ концѣ-концовъ приносили именно то, что нужно было. Предоставляя другимъ попытки философскаго обоснованія, научнаго оправданія, историческаго развитія, художественнаго объективированія демократическаго принципа въ отдаленнѣйшихъ его развѣтвленіяхъ, самъ онъ почти не отходилъ отъ непосредственнаго практическаго корня вопроса. «Когда благоденствовалъ русскій мужикъ и когда начались его бѣдствія?», «Крестьянскій вопросъ», «Крестьянская реформа», «Производительныя силы Россіи»—вотъ заглавія нѣкоторыхъ статей Елисеева, и таково же содержаніе большинства его «внутреннихъ обозрѣній». Я этимъ не хочу сказать, что Елисеевъ ни о чемъ, кромѣ крестьянъ, не писалъ. Напротивъ, какъ настоящій, обреченный журналистъ, зависящій не отъ себя, а отъ требованій минуты, онъ писалъ объ очень разнообразныхъ вещахъ, но всегда и вездѣ чувствовалась въ его писаніяхъ одна и та же подкладка. Писалъ онъ, напримѣръ, о женскомъ образованіи, и, конечно, высоко цѣнилъ его, какъ нѣчто самодовлѣющее, а всетаки выходило при этомъ, что «женщины—самый способный въ настоящее время дѣятель для распространенія и упроченія грамотности въ народѣ» (эта фраза стоитъ въ оглавленіи одного изъ его «внутреннихъ обозрѣній»). Писалъ о послѣдней турецкой войнѣ и выражалъ полное сочувствіе славянамъ, но въ то же время оглавленіе его внутренняго обозрѣнія гласило: «Расхищеніе земскихъ сундуковъ въ пользу славянъ.—Усердіе исправниковъ и становыхъ въ собираніи пожертвованій для славянъ.—Позволительно-ли и даже нужно ли раздавать земскія деньги славянамъ?» и т. д. Писалъ объ общихъ экономическихъ вопросахъ, и всякій, прочтя его статью вродѣ «Плутократія и ея основы» или «Храмъ современнаго счастія», увидитъ въ нихъ все того же неотлучнаго стража интересовъ народа. И никакое красивое опереніе, никакая блистающая либерализмомъ доктрина не могли закрыть несоотвѣтственную сущность отъ его проницательнаго взора, направлявшагося непосредственнымъ чувствомъ человѣка народа. Онъ былъ какъ бы самъ народъ, собственными усиліями пробивавшійся къ свѣту и достигшій верховъ самосознанія. Надо помнить при этомъ, что онъ былъ не только писатель, а и руководитель двухъ журналовъ, что, слѣдовательно, отъ него въ значительной степени зависѣлъ выборъ статей, предлагавшихся публикѣ. И если сѣрый русскій мужикъ до сихъ поръ не совсѣмъ

еще вымеръ въ русской литературѣ, то въ этомъ отношеніи многое должно быть поставлено на счетъ покойнику, съ плюсомъ или съ минусомъ, это какъ кому угодно.

Были, разумѣется, предметы, представлявшіеся Елисееву настолько значительными сами по себѣ, что онъ интересовался ими независимо отъ корня вещей (корень вещей лежалъ для него въ мужикѣ). Къ числу этихъ значительныхъ предметовъ принадлежала литература. Покойникъ легко могъ установить связь между литературой и мужикомъ и дѣйствительно отмѣчалъ ее, но всетаки литература и сама по себѣ представляла для него нѣчто въ высокой степени цѣнное. Онъ часто писалъ объ ея высокомъ назначеніи и прискорбномъ положеніи, о красотѣ ея свободы, о величіи ея роли, о практической неумѣлости ея представителей, о ничтожествѣ ея дѣйствительной роли въ русской жизни. И здѣсь, мнѣ кажется, надо искать причины той безвѣстности, на которую такъ упорно обрекалъ себя покойникъ.

Я всѣмъ рекомендовалъ бы читать и перечитывать статьи Елисеева, отнюдь не минуя его «внутреннихъ обозрѣній», въ которыхъ, повидимому, лишь бѣгло отмѣчались текущія явленія жизни. Но теперь я обращаю особенное вниманіе читателей на «внутреннее обозрѣніе» въ № 5-мъ «Отечественныхъ Записокъ» за 1876 г. Рѣчь здѣсь идетъ о популярности вообще, о томъ, что такое популярность въ Россіи въ частности, о томъ, наконецъ, что иногда заключается въ «надгробномъ рыданіи» и въ рѣчахъ на могилахъ русскихъ общественныхъ дѣятелей. Мотивировано это маленькое разсужденіе посмертными восхваленіями Юрія Самарина, Леонтьева, Погодина и Щапова (Щаповъ былъ ученикомъ Елисеева; ученикъ и учитель были преисполнены взаимнаго уваженія).

Маленькое отступленіе. Похороны Елисеева произвели на меня подавляющее впечатлѣніе. Проводить въ послѣдній земной пріютъ человѣка, такъ много потрудившагося «на пользу и радость пошехонцевъ» (выраженіе Щедрина), собралось человѣкъ полтораста. Вѣнки были лишь отъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ», отъ редакціи «Вѣстника Европы», отъ редакціи «Сѣвернаго Вѣстника», отъ «друзей», отъ «литературнаго фонда», отъ «женщинъ-врачей», отъ трехъ высшихъ учебныхъ заведеній, «отъ женщинъ». Въ маленькой кучкѣ провожающихъ я напрасно искалъ нѣкоторыхъ литераторовъ, которымъ обязательно было бы тутъ быть, и нѣкоторыхъ внѣ-литературныхъ друзей покойнаго. Ни одной рѣчи на могилѣ... И хорошо. Меня побуждали сказать что-нибудь, мнѣ говорили, что это моя обязанность, какъ ближайшаго изъ оставшихся въ живыхъ сотрудниковъ покойнаго. И я хотѣлъ говорить. Мнѣ нечего было бы сказать тѣмъ, кто зналъ Елисеева. Они не хуже меня знали, что мы зарыли въ землю благороднѣйшее сердце и свѣтлую голову, истиннаго «друга народа», какъ было написано на лентахъ вѣнка «отъ друзей». Но немногочисленная молодежь, присутствовавшая на похоронахъ, не знала покойника. Она пришла по довѣрію къ титулу руководителя двухъ давно не существующихъ журналовъ. И благо ей за это довѣріе. Въ благодарность я хотѣлъ разъяснить ей, почему она не знала покойника и почему она должна его знать. Быть можетъ, рѣчь моя оборвалась-бы надгробнымъ рыданіемъ, но кончилъ-бы я ее не въ минорномъ тонѣ. Напротивъ, я сказалъ бы: да здравствуетъ покойникъ! да живетъ его духъ въ душахъ вашихъ многая, многая лѣта! Слова просились на языкъ, но я не сказалъ ихъ, потому что наканунѣ, мысленно, одинъ на одинъ поминая покойника, перечиталъ вышеупомянутое его «внутреннее обозрѣніе». Тамъ напечатаны скептическія слова о надгробныхъ рѣчахъ вообще, и хотя я чувствовалъ, что моя рѣчь не была бы тою шаблонною и лживою хвалою, которая претила покойнику, но всетаки мнѣ точно слышался его голосъ—не говори!

Свои скептическія мысли о надгробныхъ рѣчахъ Елисеевъ иллюстрировалъ извѣстнымъ стихотвореніемъ Добролюбова:

«Пускай умру—печали мало.
Одно страшитъ мой умъ больной;
Чтобы и смерть не разыграла
Печальной шутки надо мной»...

Стихотвореніе кончается такъ:

«....Боюсь,
Чтобъ все, чего желалъ такъ жадно
И такъ напрасно я живой,
Не улыбнулось мнѣ отрадно
Надъ гробовой моей доской».

Елисеевъ примѣнялъ это стихотвореніе къ несчастной судьбѣ Щапова. Къ самому Елисееву оно не примѣнимо. Смерть не разыграла надъ нимъ печальной шутки: полтораста человѣкъ, десять вѣнковъ, ни одной рѣчи, три-четыре мертвыхъ некролога. И хорошо. Зачѣмъ общество, не знающее и не желающее знать своихъ лучшихъ людей, будетъ еще оскорблять ихъ лживо-блистательными похоронами? Хочу вѣрить и вѣрю, что кто былъ на похоронахъ Елисеева, тотъ душой былъ, кто плакалъ—тотъ плакалъ настоящими слезами. Да и какая въ самомъ дѣлѣ корысть проводить въ страну небытія анонимнаго писателя, да еще такого, самое направленіе котораго находится не въ авантажѣ?! Ничего тутъ лестнаго нѣтъ...

Но вѣдь не судьбой же былъ обреченъ Елисеевъ на анонимное существованіе. Не могъ же онъ не понимать, что читающему люду нужно имя, нуженъ извѣстный конкретный образъ, къ которому текли бы его симпатіи. Покойникъ отлично понималъ это. Но онъ выступалъ на литературное поприще не юношей, котораго могутъ манить розовыя мечты о славѣ, какъ таковой, о славѣ для славы. А отъ славы, какъ орудія воздѣйствія на общество, онъ требовалъ, по нашимъ дѣламъ, слишкомъ многаго. То есть онъ ничего не требовалъ, но понималъ «настоящую популярность» единственно вотъ въ какомъ смыслѣ: «стать во главѣ болѣе или менѣе значительной части общества, дѣйствовать вмѣстѣ съ нимъ для извѣстной цѣли, сообща устраняя препятствія, лежащія на пути къ ней, и сообща изобрѣтая и употребляя тѣ или другія средства для достиженія ея» (я цитирую все то же «внутреннее обозрѣніе»). Чувствовалъ ли Елисеевъ въ себѣ достаточныя для такой популярности силы или нѣтъ (я увѣренъ, что нѣтъ: онъ былъ слишкомъ скромнаго мнѣнія о себѣ), но онъ видѣлъ практическую невозможность ея у насъ, гдѣ возможна популярность лишь «мѣстная, сословная и кружковая». А изъ-за этого не стоитъ огородъ городить...

Елисеевъ ошибался: очень стоитъ, какъ показываетъ судьба его собственныхъ писаній. Все въ томъ же «внутреннемъ обозрѣніи» онъ говоритъ о средѣ, которая можетъ утѣшить русскаго писателя въ его скорбяхъ и въ его безпомощности: «это—молодые умы и сердца, разсѣянные по всему лицу огромной русской земли, которые страстно ловятъ каждое его слово, всасываютъ въ себя его идеи, вводятъ въ свою жизнь и дѣятельность проповѣдуемые имъ принципы, приготовляясь быть дѣятелями въ будущемъ». Анонимъ можетъ, конечно, завоевать себѣ эту среду, пока онъ пишетъ. Но продолжительное и прочное воздѣйствіе на читателей для него, по крайней мѣрѣ, затруднительно, если не невозможно. Писанія Елисеева по сейчасъ въ высокой степени цѣнны, благодаря проникающей ихъ основной руководящей идеѣ. Многое и многое могли бы почерпнуть изъ нихъ даже не только молодые умы и сердца, но, вслѣдствіе ихъ анонимности, ихъ трудно даже розыскать. Люди, чтущіе память этого ветерана русской литературы и имѣющіе возможность собрать и издать его сочиненія, должны поправить эту ошибку. Это будетъ дорогое пріобрѣтеніе для русской литературы. Въ изданіе должны войти не только отдѣльныя, законченныя статьи покойника, но непремѣнно и его «внутреннія обозрѣнія», въ своемъ родѣ образцовыя. Не бѣда, что они трактуютъ о вещахъ, уже минувшихъ. Во-первыхъ, отнюдь не всѣ эти вещи такъ ужъ совсѣмъ миновали, а во-вторыхъ, не миновала и не можетъ миновать та точка зрѣнія, на которой неуклонно стоялъ покойникъ. Перепробованная на множествѣ житейскихъ явленій, которыя вѣдь повторяются, хоть и въ новой обстановкѣ, она получаетъ высокое значеніе. Пройтись по исторіи русской жизни за три десятилѣтія съ надежнымъ руководителемъ, который никогда не сбивался съ разъ намѣченной дороги, полезно вообще, а колеблющимся умамъ, какихъ нынѣ много, тѣмъ болѣе. Миръ праху Елисеева, но да не будетъ мира его духу!..

XX

О новыхъ мозговыхъ линіяхъ.

Съ нынѣшняго года ежемѣсячныя приложенія къ газетѣ «Недѣля» или такъ называемыя «Книжки Недѣли» преобразились, расширили свою программу. Изъ объясненія редакціи не вполнѣ ясно видно, въ чемъ именно заключается расширеніе программы, но, кажется, оно будетъ состоять главнымъ образомъ въ томъ, что къ беллетристическому матеріалу, составлявшему до сихъ поръ исключительное содержаніе «Книжекъ Недѣли», будетъ прибавленъ отдѣлъ литературно-критическій. Хорошее дѣло. Къ сожалѣнію, первый нумеръ страдаетъ нѣкоторою случайностью состава.

На первомъ мѣстѣ стоитъ статья г. Янжула «Искусство писательства». Это—сообщеніе о книгѣ подъ тѣмъ же заглавіемъ англійскаго писателя Бентона. Бентонъ обратился къ нѣсколькимъ стамъ литераторовъ и ученыхъ съ вопросами объ «искусствѣ писательства», разумѣя преимущественно выработку стиля. хорошаго языка. 176 литераторовъ и ученыхъ откликнулось; отвѣты ихъ и составляютъ книгу Бентона. Общихъ выводовъ самъ Бентонъ не даетъ, «ограничившись двумя-тремя неважными обобщеніями, брошенными мимоходомъ». Самъ же г. Янжулъ, приведя нѣкоторые изъ отвѣтовъ, дѣлаетъ «слѣдующія заключенія, поучительныя для молодыхъ, начинающихъ авторовъ»: 1) Хорошій стиль есть прежде всего природный даръ. 2) Хорошій стиль вырабатывается упорнымъ и непрестаннымъ трудомъ. 3) Повидимому, образованныя матери въ гораздо большей степени, чѣмъ отцы, имѣютъ вліяніе на выработку литературныхъ талантовъ въ подростающемъ поколѣніи. 4) Молодымъ русскимъ писателямъ слѣдуетъ работать надъ своимъ стилемъ.

Если эти выводы покажутся вамъ нѣсколько скудными, то имѣйте въ виду, что

«искусство писательства» есть для г. Янжула совершенно постороннее вѣдомство. Весьма извѣстный въ качествѣ профессора финансоваго права и фабричнаго инспектора г. Янжулъ никогда не былъ внимателенъ даже къ своему собственному стилю. Очевидно, что онъ такъ же случайно заинтересовался книжкой Бентона, какъ случайно напечатала его статью «Недѣля».

Есть еще въ первомъ нумерѣ обновленной ежемѣсячной «Недѣли» разсказъ Г. И. Успенскаго «Тягота». Но этотъ самый разсказъ былъ уже напечатанъ и затѣмъ перепечатанъ въ третьемъ томѣ сочиненій Успенскаго, вышедшемъ единовременно съ первой книжкой «Недѣли»; только тамъ онъ озаглавленъ «Памятливый». Если не предположить, что «Недѣля» хочетъ перепечатывать у себя всего Успенскаго, то «Тягота» является опять-таки чистою случайностью.

Остальная беллетристика не мало не выразительна, а по стихотворной части я нашелъ, между прочимъ, слѣдующее:

О, нашъ патеръ тихъ и кротокъ!
Лишь порой, кораллы четокъ
Втиснувъ бѣшено въ ладонь,
Онъ бросаетъ на красотокъ
Взоръ горячій какъ огонь.

Затѣмъ идетъ и дальнѣйшее обличеніе католическаго патера, который, давъ обѣтъ безбрачія и цѣломудрія, на дѣлѣ однако пріятно проводитъ время и съ «синьорами въ туманѣ кружевъ», и съ «крестьянскими смуглыми женами». Кончается стихотвореніе такъ:

О, нашъ патеръ тихъ и кротокъ!
Лишь порой изъ-за рѣшетокъ
Сакристіи золотой
Что-то шепчетъ горячо такъ
Итальянкѣ молодой.

Въ Италіи подобныхъ стихотвореній, должно быть, много пишется, и тамъ они не составляютъ, конечно, продуктовъ чисто случайнаго вдохновенія...

Но въ обновленномъ журналѣ интереснѣе всего именно новинка, въ данномъ случаѣ литературно-критическій отдѣлъ. Есть по этой части въ первой книжкѣ «Недѣли» и руководящая статья «Бесѣды о литературѣ». Авторъ, скрывающійся подъ цифрой 1 (единица), какъ сообщаетъ частью онъ самъ, частью редакція, уже велъ въ «Недѣлѣ» литературныя обозрѣнія пять лѣтъ тому назадъ. Въ его первой, по возобновленіи, бесѣдѣ есть чрезвычайно странные и очень рискованные намеки и недомолвки, которыхъ, однако, я теперь касаться не буду. Я отмѣчу только одну черту. За послѣдніе годы «Недѣля», устами своихъ критиковъ и публицистовъ, проповѣдывала «новое слово». Проповѣдь шла отъ имени «дѣтей», «новаго литературнаго поколѣнія» и была очень задорна по формѣ, хотя очень смирна по существу. «Дѣти» внезапно объявили войну «отцамъ», изъ которыхъ добрая половина покоится въ могилахъ, а иные хотя и живы, но находятся не у дѣлъ. Суть проповѣди состоитъ въ «реабилитаціи дѣйствительности»: какова бы она ни была, съ ней надо мириться; художники должны созерцать и воспроизводить явленія жизни безъ всякой ихъ квалификаціи по категоріямъ добра и зла; критика должна созерцать этихъ художниковъ и любоваться красотами ихъ произведеній; публицистика должна опять-таки любоваться «свѣтлыми явленіями», а все «новое литературное поколѣніе» должно быть вполнѣ довольно собой и вѣрить, что все обстоитъ благополучно, ибо маленькія непріятности не мѣшаютъ большимъ удовольствіямъ. А такъ какъ «отцы» не понимали этой здравой философіи, то имъ и была объявлена война, и даже тѣни ихъ вызывались изъ гробовъ для посрамленія, потому что живучи славные покойники и въ истинно молодыхъ сердцахъ доселѣ бьется пульсъ старой жизни. Я былъ увѣренъ, однако, и предсказывалъ въ этихъ же письмахъ, что «новое слово» «Недѣли» въ непродолжительномъ времени лопнетъ, какъ мыльный пузырь, чтобы уступить мѣсто какому нибудь новѣйшему курбету,—безъ этого «Недѣля» не можетъ. Въ чемъ состоитъ этотъ новѣйшій курбетъ, пока еще не видно. Какая-то война продолжается или вновь возникаетъ, но уже не отъ имени дѣтей и новаго литературнаго поколѣнія. О законности самодовольства и реабилитаціи дѣйствительности нѣтъ и помину. Современная беллетристика объявляется крайне слабою, и многимъ «молодымъ талантамъ» предлагается совсѣмъ бросить литературу. Современная критика уличается въ ничтожествѣ, и для своего предшественника, г. Дистерло, главнаго провозвѣстника «новаго слова», г. Единица не дѣлаетъ исключенія. Вся современная русская жизнь для теперешняго критика «Недѣли» «сливается во что-то сѣрое, неопредѣленное и безформенное... люди заняты мелкими заботами о хлѣбѣ насущномъ, о барышахъ, о жалованьѣ и пенсіяхъ». Наше время можетъ быть названо «тридцатыми годами-bis»: «дѣлецкое время, занятое мелочными заботами текущей минуты, не даетъ поводовъ къ поднятію духа, къ паѳосу, къ вдохновенію». Настоящая минута характеризуется «омертвѣніемъ общественной мысли, праздной болтовней, пасквилями и паденіемъ изящной литературы»...

Ну, вотъ и слава Богу! Не за то, конеч-

но, слава Богу, что измельчала русская жизнь и переполнилась разнообразною гадостью русская литература, а за то, что однимъ нехорошимъ и неумнымъ «новымъ словомъ» меньше стало (какъ бы только его не замѣнило новѣйшее!) и «Недѣля» благосклонно согласилась называть черное чернымъ. Можетъ быть, «Недѣля» даже преувеличиваетъ размѣръ и колоритъ «мрачныхъ явленій», какъ недавно (конечно, г. Гайдебуровъ съ тѣхъ поръ не износилъ пары сапогъ) преувеличивала размѣръ и колоритъ явленій «свѣтлыхъ». А впрочемъ, «все образуется», какъ утѣшаетъ себя Облонскій въ романѣ гр. Толстого. Съ теперешней точки зрѣнія «Недѣли» всему даже чрезвычайно легко «образоваться». Почтенный органъ приписываетъ значительную часть нашихъ бѣдъ неумѣнію, лѣности, вообще ничтожеству нашей литературной критики. Если отъ такой явственной и простой причины бѣда происходитъ, то и лѣченіе явственно и просто: нужна хорошая критика и, конечно, г. Единица намъ ее предоставитъ. «Недѣля» знаетъ еще средство, тоже очень простое. Въ концѣ-концовъ г. Единица «и отъ литературы, и отъ жизни впереди ждетъ очень многаго. И это многое можетъ быть сказано въ двухъ строкахъ. *Съ одной стороны* (курсивъ «Недѣли») долженъ появиться человѣкъ, который протянетъ руку. Но и *съ другой стороны*, и въ то же время, долженъ явиться такой же человѣкъ. Иначе все пойдетъ по старому». И только. Откровенно признаюсь, я этого не понимаю, но если все дѣло въ двухъ человѣкахъ, такъ дѣло должно быть очень просто.

Я вообще многаго не понимаю въ нынѣшней литературѣ, въ чемъ, конечно, очень виноватъ. И прежде всего не понимаю того «дѣтскаго» зуда, который одолѣваетъ нѣкоторыхъ нашихъ молодыхъ писателей. Я вспоминаю свои молодые годы. Когда я вступалъ на литературное поприще, я не топорщился противъ «отцовъ» и нашелъ возможнымъ прямо и просто дѣлать свое дѣло вмѣстѣ съ Некрасовымъ, Щедринымъ, Елисеевымъ, людьми лѣтъ на двадцать старше меня. Я не думалъ о *новомъ* словѣ; просто *слово* просилось на бумагу, а тамъ пусть уже другіе разбираютъ, новое оно или старое. Я очень хорошо понималъ, что не всѣ «отцы» могутъ быть довольны моимъ словомъ, но извѣстная ихъ группа, и притомъ, смѣю сказать, лучшая, приняла его. Я знаю, что бываетъ иногда и иначе, что поколѣніе «дѣтей» вынуждено бываетъ рѣзко отграничить себя отъ поколѣнія «отцовъ», и думаю, что дѣти нынѣшнихъ «дѣтей», (увы! и они станутъ въ свое время «отцами») очутятся именно въ такомъ прискорбномъ положеніи. Отчего и не быть «новому слову»,—не на мѣстѣ же вѣчно стоять,—но, во-первыхъ, новое не значитъ еще хорошее, во-вторыхъ, новое только тогда прочно, когда коренится въ старомъ, въ-третьихъ, наконецъ, надо же, чтобы оно въ самомъ дѣлѣ было, это новое слово, а не то, что, какъ «Недѣля», напримѣръ, помахала какимъ-то якобы новымъ флагомъ, да и спрятала его въ карманъ. Но «Недѣля» еще что! Она, по крайней мѣрѣ, ясно изложила свое якобы новое. Нынѣ случается и такъ, что люди изо-всѣхъ силъ тщатся сказать «новое слово» и, можетъ быть, именно по этому самому ничего путнаго сказать не могутъ, ни новаго, ни стараго, а только хитро подмигиваютъ, да таинственно головою помахиваютъ.

Недавно критикъ «Сѣвернаго Вѣстника», г. А. Волынскій, сдѣлалъ мнѣ честь, занявшись моею писательскою физіономіей въ своихъ «Литературныхъ замѣткахъ». Я чрезвычайно польщенъ тѣми многочисленными любезностями, которыя мнѣ говоритъ г. Волынскій, но тѣмъ не менѣе во всемъ этомъ есть нѣчто столь двуличное, что я охотно отказался бы росписаться въ полученіи, еслибы дѣло шло только обо мнѣ. Себя я, конечно, оставлю совсѣмъ въ сторонѣ. Если устранить разныя двусмысленности г. Волынскаго, то суть его замѣтки сведется къ тому, что литературное поколѣніе, къ которому принадлежу я, отжило свой вѣкъ и должно уступить свое мѣсто гг. Волынскимъ, имѣющимъ сказать «новое слово». Ахъ, Боже мой, да вѣдь мы, кажется, и безъ того уступаемъ,—вольно или невольно, это другой вопросъ. Никто вѣдь изъ насъ не препятствуетъ г. Волынскому излагать свое новое слово. Я, по крайней мѣрѣ, даже не безъ интереса жду этого изложенія, только вотъ никакъ дождаться не могу. Г. Волынскій поступаетъ чрезвычайно хитросплетенно. Онъ говоритъ:

«Времена мѣняются. Современная жизнь течетъ подъ инымъ освѣщеніемъ. «Догорѣли огни, облетѣли цвѣты». Силой обстоятельствъ возникъ цѣлый рядъ вопросовъ и запросовъ, на которые нѣтъ отвѣта въ талантливѣйшихъ произведеніяхъ былыхъ авторитетовъ. Время обнажило новый уголъ души, открыло новую мозговую линію, которой нужны жизнь, свѣтъ, яркія впечатлѣнія, свѣжія краски. Лучшіе идеалы прежняго остались во всей своей силѣ, по крайней мѣрѣ, въ сознаніи честныхъ людей; прибавилась только новая черточка, сложилась только новая душевная складка, которую нельзя игнорировать безнаказанно... Впрочемъ, не будемъ увлекаться въ сторону».

Какъ въ сторону, почтеннѣйшій?! Да вѣдь въ этомъ-то и дѣло все, въ этомъ «обна-

женномъ новомъ углѣ души», въ этой «новой мозговой линіи» и какъ вы еще тамъ свою новинку называете, не указывая, однако, въ чемъ она состоитъ. Разъяснивъ намъ эту штуку, вы не только не уклонитесь въ сторону, а, напротивъ, приблизитесь къ существу дѣла. Это вы обязаны сдѣлать по отношенію къ своимъ читателямъ, которыхъ приглашаете незнамо куда, незнамо зачѣмъ. Это вы обязаны сдѣлать и по отношенію къ намъ, которымъ вы опять-таки незнамо за что грозите казнью («нельзя игнорировать безнаказанно»). «Догорѣли огни»,—вы говорите. Пожалуйте же копѣечку на погорѣлое мѣсто, вы, богатый «новымъ словомъ» г. Волынскій! Позвольте намъ, малымъ и прогорѣлымъ, занять хоть послѣднія мѣста въ тѣхъ блестящихъ рядахъ, во главѣ коихъ величественно красуется, потрясая новымъ знаменемъ, г. Волынскій. Это, кажется, не невозможно. Вы находите, что «лучшіе идеалы прежняго остались во всей своей силѣ». Значитъ, потщившись уразумѣть «новую мозговую линію», и мы можемъ на что-нибудь еще пригодиться. Откройте же свой секретъ, иначе можно подумать, что у васъ его вовсе нѣтъ и что васъ просто одолѣваетъ «дѣтскій зудъ»...

Въ другомъ мѣстѣ тѣхъ же «Литературныхъ замѣтокъ» г. Волынскій, сдѣлавъ выписку изъ одной моей старой статьи (сейчасъ скажу какую), пишетъ, что тутъ есть «строчки, съ которыми почти безсознательно, инстинктивно ведетъ какую-то тихую, робкую борьбу что-то внутри читателя, *современнаго* (курсивъ г. Волынскаго) читателя... Вотъ пунктъ, противъ котораго невольно бунтуетъ наша мысль». Было бы можетъ быть лучше, еслибы г. Волынскій изложилъ свой протестъ отъ свего собственнаго имени, предоставивъ современникамъ за нимъ слѣдовать или не слѣдовать. Но если онъ такъ подчеркивающе говоритъ отъ лица *современнаго* читателя, то я спрашиваю: кто помазалъ его? кто уполномочилъ? Конечно, человѣкъ, глубоко изучившій всѣ теченія современной жизни, можетъ *иногда* и самъ взять такое полномочіе. Но изъ нѣкоторыхъ статей г. Волынскаго, которыя мнѣ удалось прочитать, я заключаю о чрезвычайно даже рѣдкомъ въ писателѣ незнакомствѣ его съ теченіями русской жизни. Да это видно, впрочемъ, уже изъ того, что онъ *теперь* берется говорить отъ лица современнаго читателя. Современный читатель въ нѣсколько мѣсяцевъ расхваталъ десять тысячъ экземпляровъ сочиненій Гл. Успенскаго. Тотъ же современный читатель разобралъ по подпискѣ шесть тысячъ экземпляровъ дорогого изданія сочиненій Щедрина, о которыхъ глашатаи «новаго закоулка сердца» или «новой мозговой линіи» молчать, какъ умолчали и о сочиненіяхъ Гл. Успенскаго. Эти тысячи и десятки тысячъ современныхъ читателей навѣрное не уполномочили бы г. Волынскаго говорить отъ ихъ имени. Есть и еще тысячи, читающіе Толстого. Есть и еще десятки тысячъ, глотающіе иллюстрированныя изданія, и свои современные читатели у «Московскихъ Вѣдомостей» и «Гражданина», и опять же десятки тысячъ современниковъ у «Новаго Времени», и еще разные. Но собственныхъ г. Волынскаго современниковъ я не знаю.

Бывшая «Недѣля» тоже представительствовала идеи современныхъ читателей, и я сначала подумалъ, не перекочевало ли недѣльное «новое слово» въ «Литературныя замѣтки» г. Волынскаго. Но нѣтъ. То новое слово рѣшительно изгоняло публицистику изъ области литературной критики, а г. Волынскій столь же рѣшительно утверждаетъ: «Публицистическій элементъ не можетъ и не долженъ отсутствовать ни въ какой критической работѣ». Ахъ, какъ трудно разобраться въ этихъ новыхъ мозговыхъ линіяхъ! Одинъ одно, другой другое, а между тѣмъ и одинъ, и другой требуютъ себѣ титуловъ новаго и современнаго, и оба необыкновенно довольны собой...

Но обратимся къ тому пункту, противъ котораго бунтуетъ мысль современнаго, по г. Волынскому, читателя. Это единственное во всей статьѣ и потому очень для насъ драгоцѣнное указаніе на «новую мозговую линію». Г. Волынскій беретъ одну мою старую замѣтку, по поводу похоронъ В. Курочкина, выписываетъ изъ нея нѣсколько полемическихъ, по адресу нынѣ тоже умершаго Полетики, строкъ, а затѣмъ пишетъ: «Г. Полетика говоритъ: талантъ есть даръ Божій; г. Михайловскій говоритъ: одно дѣло талантъ, другое—даръ Божій. Кто правъ и кто ошибается? Покойный Полетика говорилъ сущую правду». Можетъ быть, но г. Волынскій утверждаетъ сущую неправду, и такъ какъ онъ имѣлъ неосторожность тутъ же привести мои подлинныя слова, то всякій можетъ въ этомъ убѣдиться. Вотъ эти подлинныя слова: «Талантъ отчасти опредѣляетъ родъ дѣятельности человѣка, заставляетъ одного говорить рѣчи, другого пѣть пѣсни, третьяго писать картины. Но не талантомъ опредѣляется *содержаніе* рѣчей, пѣсенъ и картинъ; не онъ толкаетъ людей къ тому или другому идеалу, но онъ ведетъ ихъ по жизненнымъ путямъ, усѣяннымъ то терніемъ, то розами безъ шиповъ. И еслибы къ моей гортани былъ привѣшенъ языкъ г. Полетики, я говорилъ бы на могилѣ Курочкина не о талантѣ покойника, а о той *нравственной искрѣ*

Божіей, которая дѣйствительно толкала его на тернистый путь жизни изо дня въ день и за которую онъ дѣйствительно заплатилъ скорбями». И т. д. Вы видите, что г. Волынскому угодно было вмѣсто «нравственной искры Божіей» подставить «даръ Божій» и затѣмъ оперировать уже надъ этимъ не моимъ, а навязаннымъ мнѣ выраженіемъ. Такая система постройки возраженій очень, конечно, удобна, но я не поздравляю тѣхъ, кто къ ней прибѣгаетъ. Далѣе г. Волынскій говоритъ уже объ «искрѣ Божіей», но вездѣ тщательно вычеркиваетъ эпитетъ «нравственная», тогда какъ въ немъ именно и дѣло. «Искра Божія» не есть какой-нибудь опредѣленный научный терминъ, смыслъ котораго всегда себѣ равенъ. Въ повѣсти г. Потапенки «Святое искусство» рецензентъ Кульчинъ строитъ цѣлое «журнальное обозрѣніе», и очень неглупое, на опредѣленіи разницы между «искрой Божіей» и талантомъ, но это опредѣленіе не имѣетъ ничего общаго съ мыслью, выраженною мною въ цитированной г. Волынскимъ замѣткѣ о похоронахъ Курочкина. Г. Волынскій предлагаетъ опять третье значеніе «искры Божіей», отождествляя ее съ талантомъ. Онъ въ своемъ правѣ, какъ въ своемъ правѣ и Кульчинъ, и я. Но г. Волынскій не вправѣ судить меня судомъ, которому я не подсуденъ. Если я оговорилъ, что́ я разумѣю подъ искрой Божіей, а я оговорилъ эпитетомъ «нравственная», такъ нельзя же мнѣ подсовывать то, что разумѣетъ подъ этимъ словомъ г. Волынскій. Это элементарное правило критики. Нарушеніе его можетъ повести очень далеко. Можно даже себѣ представить, напримѣръ, такую критику, ну, хоть романа г. Гончарова «Обломовъ»: «Наша новая мозговая линія инстинктивно бунтуетъ противъ того освѣщенія, которое авторъ придаетъ характеру героя. Мы знаемъ г. Обломова за чрезвычайно дѣятельнаго офицера; мы еще очень недавно пили съ нимъ чай, причемъ онъ былъ не въ халатѣ, а въ присвоенной его полку уланской формѣ. Мы удивляемся, наконецъ, что авторъ, превосходный талантъ котораго находилъ всегда въ *старыхъ* (но не въ *новыхъ*, не въ *современныхъ*) переулкахъ нашего сердца живѣйшій откликъ, называетъ г. Обломова Ильей Ильичемъ, тогда какъ онъ Иванъ Ивановичъ». Г. Гончаровъ могъ бы на это возразить критику только одно: вашъ знакомый Обломовъ можетъ быть дѣйствительно очень дѣятельный уланскій офицеръ и зовутъ его Иванъ Ивановичъ, но я не про него разсказываю, а про другого, который вамъ незнакомъ.

На этомъ г. Гончаровъ и кончилъ бы. Но я этимъ кончить не могу, потому что чрезвычайно заинтересованъ современниками г. Волынскаго и ихъ новой мозговой линіей.

Если читатель даже не особенно внимательно пробѣжитъ сдѣланную г. Волынскимъ выписку изъ моей замѣтки по поводу похоронъ Курочкина, то увидитъ, что тамъ изложена очень простая мысль: не талантомъ опредѣляется *содержаніе* литературнаго произведенія, какъ и вообще всякаго продукта человѣческой дѣятельности; талантъ можетъ быть направленъ и на доброе, и на безразличное, и на злое дѣло. Современники г. Волынскаго «бунтуютъ» противъ этого элементарнаго тезиса, они не понимаютъ его. Они не знаютъ разницы между талантливымъ адвокатомъ, успѣшно обѣляющимъ завѣдомо неправое дѣло и другимъ талантливымъ адвокатомъ, защищающимъ правое дѣло. А если такъ, то гдѣ же новая мозговая линія? Напротивъ, мнѣ кажется нѣсколько старыхъ мозговыхъ линій изчезли, стерлись...

Эхъ, господа, господа! Литература—огромное и страшно отвѣтственное дѣло. Нѣтъ вещи, требующей болѣе осторожнаго къ себѣ отношенія, чѣмъ печатное слово. Возьмите гр. Л. Толстого. Это—краса и гордость русской литературы, алмазъ многоцѣнный. А посмотрите на результаты его неосторожнаго обращенія со словомъ. Давно ли онъ доказывалъ, что единственное назначеніе женщины—рожать дѣтей, а теперь доказываетъ, что единственное назначеніе женщины—быть дѣвственницей. Ему ничего: подумалъ, потомъ передумалъ, а вѣдь къ его словамъ «современный читатель» прислушивается, прислушивается иногда даже до одуренія. Недавно въ «Смоленскомъ Вѣстникѣ» была описана встрѣча съ «толстовцами» и приведенъ, между прочимъ, слѣдующій разговоръ:

«— Судьба вашей колоніи мнѣ кажется незавидной; кто будетъ продолжать ваше дѣло? Къ продолженію рода вы, кажется, не расположены.

— Цѣль человѣческой жизни—не продолженіе рода, а жизнь въ Богѣ.

— Да вѣдь брака вы не отрицаете?

— Нѣтъ, не отрицаю.

— Но если у васъ будутъ дѣти,—конечно, не бросите же вы ихъ на произволъ судьбы и займетесь ихъ воспитаніемъ?

— Дѣти—люди, ближніе мои; любя ближняго, не можешь не дать ему слова жизни.

— Это такъ. Но поймутъ ли дѣти ваши новое ученіе, если не будутъ такъ же развиты, какъ и вы?

— Разумѣніе жизни доступно каждому человѣку. Если человѣкъ возлюбитъ ближняго своего, какъ самого себя, то все остальное ему приложится.

— Возьмемъ примѣръ. Вы—отецъ семейства, вамъ извѣстны результаты человѣческой мысли, вы не обладаете знаніемъ въ лучшемъ и широкомъ смыслѣ, но вы любите ближняго своего,

любите и дѣтей своихъ; не можетъ ли здѣсь случиться такого казуса: не смотря на то, что любите своихъ дѣтей, вы даете имъ воспитаніе вредное ихъ физическому и нравственному здоровью, потому что не знаете, какъ нужно воспитывать дѣтей?

— Этого не можетъ быть: кто любитъ ближняго своего, тотъ не дастъ ему, вмѣсто хлѣба, камень.

— Если вы найдете лишнимъ объяснять дѣтямъ, что такое, напримѣръ, громъ и молнія, то они дадутъ этимъ явленіямъ свои объясненія; а ихъ объясненія могутъ постепенно привести и къ поклоненію Перуну.

— Только человѣкъ, возлюбившій ближняго своего, можетъ исполнить законъ жизни; вся суть въ этомъ, а не въ томъ, какъ или отчего громъ и молнія».

Когда я прочиталъ эти поразительныя строки, мнѣ стало жутко,—жутко за этихъ «толстовцевъ», жутко за дѣтей ихъ, жутко, наконецъ, за самого гр. Толстого: за толстовцевъ, вытравившихъ у себя всѣ «мозговыя линіи», кромѣ одной, хотя вѣроятно вполнѣ «современной»; за дѣтей ихъ, еще въ утробѣ матери сознательно обреченныхъ своими родителями на невѣжество и кабалу, потому что они, конечно, будутъ въ кабалѣ у тѣхъ, кто знаетъ «какъ и отчего громъ и молнія»; за гр. Толстого, слово котораго отразится на судьбахъ этихъ несчастныхъ дѣтей...

«Недѣля», г. Волынскій и еще какіе есть, это, конечно, не гр. Толстому въ версту; но и на нихъ лежитъ отвѣтственность, пропорціональная ихъ росту. Вѣдь и проповѣдь реабилитаціи дѣйствительности, свѣтлыхъ явленій и безпечальнаго созерцанія могла кое-кого соблазнить. И теперь, когда «Недѣля» вывернула всю свою проповѣдь наизнанку, я, пародируя г. Фета, невольно думаю:

И тебѣ не стыдно?
И тебѣ не страшно?

Не въ томъ дѣло, что «Недѣля» измѣнила теперь свои взгляды и сожгла то, чему поклонялась, поклонилась тому, что̀ сжигала: глупости и слѣдуетъ сжигать, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. А такъ какъ авторитетъ «Недѣли» немножко поменьше авторитета гр. Толстого, то и драма этого переворота, надо думать, не особенно тяжело отразится на читателяхъ. Но велика ли, мала ли принятая каждымъ изъ насъ на себя тягота, а надо ее нести добросовѣстно. Надломъ идеаловъ и вѣрованій есть обыкновенное въ исторіи явленіе. Но онъ не каждыя десять минутъ происходитъ и даже не каждыя десять лѣтъ, какъ у насъ почему-то думаютъ. Это процессъ болѣзненный и трудный, и именно поэтому здѣсь вполнѣ неумѣстенъ дѣтскій зудъ, легкомысленная жажда сказать новое слово, хотя бы за душой ровно ничего не было. Говорите просто свое слово, и если оно новое, такъ не безпокойтесь,—исторія его новымъ и назоветъ.

У г. Волынскаго, онъ говоритъ, есть тоже свои «современные читатели». Можетъ быть. Но въ такомъ случаѣ ему особенно надлежитъ помнить изреченіе Гоголя (старая мозговая линія!): со словомъ надо обращаться честно. Пока г. Волынскій еще не сказалъ ничего удобопонятнаго, потому что всѣ эти вновь открытыя мозговыя линіи и вновь обнаженные углы души, все это только безсодержательныя слова и вдобавокъ неуклюжія. Но это-то и нехорошо. Говорите старое, говорите новое, но говорите такъ, чтобы васъ хоть понять можно было и чтобы видно было, что вы сами понимаете то, что говорите. А то «новая мозговая линія!» Шутка сказать...

XXI.

О живой старинѣ.

Этнографическое отдѣленіе географическаго общества предприняло новое періодическое изданіе по своей спеціальности. Новый журналъ носитъ красивое и характерное названіе: «Живая Старина». Первый выпускъ его уже вышелъ, второй былъ обѣщанъ къ концу ноября или къ началу декабря, но что-то сильно запоздалъ, а всѣхъ ихъ обѣщано четыре въ академическій 1890—91 годъ.

Я не знаю, какъ смотрятъ на содержаніе перваго выпуска «Живой Старины» спеціалисты. Надо замѣтить, что «Записки Императорскаго русскаго географическаго общества по отдѣленію этнографіи»—идутъ и будутъ идти сами собой, а «Живая Старина» желаетъ помѣщать «преимущественно небольшія статьи и записки, доставляемыя или давно уже доставленныя въ географическое общество, а такъ же извлеченія изъ хранящихся въ ученомъ его архивѣ матеріаловъ». Кромѣ того редакція заявляетъ, что въ первомъ выпускѣ она «не успѣла отдѣлы критики, библіографіи и смѣси обставить такъ, какъ бы желала и какъ надѣется повести ихъ въ слѣдующихъ книжкахъ». Все это, вмѣстѣ взятое, заставляетъ думать, что по крайней мѣрѣ первый выпускъ «Живой Старины»—не особенно удовлетворитъ спеціалистовъ. Ну, а на насъ, профановъ, ученый журналъ имѣетъ полное право махнуть рукой.

Читаемъ мы, напримѣръ, очеркъ г. Бондаренка: «Повѣрья крестьянъ Тамбовской губерніи»—и узнаемъ, между прочимъ, слѣдующее: «Кукушка считается оракуломъ: она можетъ предсказать, сколько кому лѣтъ жить. Желающій узнать это нарочно спра-

шиваетъ въ лѣсу: «кукушка, кукушка, сколько мнѣ лѣтъ жить?» Сколько разъ она прокукуетъ, столько лѣтъ остается житья на бѣломъ свѣтѣ». Изъ той же статьи узнаемъ, что въ Тамбовской губ. покровителемъ коровъ считается св. Власій, лошадей — Фролъ и Лавръ, пчелъ — св. Зосима и Савватій. Не берусь судить о цѣнности этихъ сообщеній съ точки зрѣнія ученыхъ спеціалистовъ, но намъ, профанамъ, и предсказывающая кукушка и проч., были вполнѣ извѣстны до 1890 года, когда мы прочитали объ этомъ на страницахъ ученаго журнала; намъ было извѣстно даже, что повѣрья эти существуютъ не въ одной Тамбовской губерніи. Читаемъ далѣе замѣтку г. А. Соболевскаго: «Къ исторіи народныхъ праздниковъ въ Великой Руси». Замѣтка напечатана въ отдѣлѣ «Изслѣдованій, наблюденій, разсужденій». Между тѣмъ, подъ длиннымъ заглавіемъ замѣтки, подписанной именемъ г. Соболевскаго, скрывается коротенькая перепечатка отрывка изъ челобитной XVII вѣка, каковая челобитная напечатана въ книгѣ г. Каптерева «Патріархъ Никонъ и его противники». Можетъ быть, оно такъ и слѣдуетъ въ ученомъ журналѣ, но я, собственно, не вижу надобности перепечатывать въ сыромъ видѣ въ 1890 г. то, что было напечатано въ общедоступной книгѣ въ 1887 г. Вотъ начало довольно, повидимому, большого описанія Якутской области, которое, однако, ничего новаго не прибавляетъ къ нашимъ свѣдѣніямъ объ этомъ далекомъ неприютномъ уголкѣ нашего обширнаго отечества. Вотъ замѣтка объ именахъ «Груша» и «Дуня». Авторъ полагаетъ, что имена эти не всегда были уменьшительными отъ Аграфены и Авдотьи, а представляли нѣкогда самостоятельныя славянскія имена...

Я отнюдь не хочу сказать, что въ «Живой Старинѣ» нѣтъ ничего, кромѣ подобныхъ сообщеній. Но, въ общемъ, это всетаки безпорядочный складъ этнографическаго (и не всегда этнографическаго) сырья, въ которомъ болѣе или менѣе значительное безъ всякаго плана или системы перемѣшано съ неимѣющимъ ровно никакого значенія. Случайность состава перваго выпуска такова, что по отдѣлу славянской этнографіи въ немъ имѣются только старыя (1840 г.) путевыя письма и замѣтки Срезневскаго о сербо-лужичанахъ. Вышеупомянутая перепечатка отрывка изъ челобитной XVII вѣка помѣщена въ отдѣлѣ «Изслѣдованій, наблюденій и разсужденій», а совершенно аналогичная по содержанію перепечатка синодскаго постановленія XVIII вѣка отнесена въ отдѣлъ «Памятниковъ языка и народной словесности». Естественно было-бы искать объяснительнаго ключа ко всему этому во вступительной статьѣ редактора, г. В. Ламанскаго. Но, что касается собственно программы журнала, то вступительная статья дуетъ лишь самыя общія обѣщанія вродѣ научной трезвости и т. п. За то статья много толкуетъ о предметахъ, имѣющихъ весьма отдаленное отношеніе къ цѣлямъ «Живой Старины».

Въ декабрѣ 1889 г. четыре члена географическаго общества внесли, черезъ солидарнаго съ ними предсѣдателя этнографическаго отдѣленія, г. Ламанскаго, предложеніе объ изданіи «Живой Старины». Въ запискѣ этой констатированъ, между прочимъ, печальный фактъ недостатка у географическаго общества средствъ на предположенное изданіе, вслѣдствіе чего оказалось необходимою частная подписка. Къ первому выпуску «Живой Старины» приложенъ списокъ подписчиковъ, изъ котораго видно, что нужная, по опредѣленію четырехъ авторовъ записки, на изданіе сумма покрыта даже съ нѣкоторымъ избыткомъ. Но заботы о средствахъ продолжаютъ волновать редакцію, внушая ей мысли и слова, которыхъ, откровенно говоря, лучше бы не слыхать при возникновеніи научнаго предпріятія. Уже въ запискѣ четырехъ членовъ географическаго общества прозвучала мимоходомъ слѣдующая не совсѣмъ пріятная нота: «У насъ въ Россіи уже довольно много жертвуютъ на цѣли благотворительныя, на школы, на университетскія стипендіи,—на послѣднія въ нѣкоторыхъ университетахъ, напр. въ Петербургѣ, Москвѣ, можетъ быть, даже больше, чѣмъ нужно», а, дескать, на ученыя изданія жертвуютъ мало. Во вступительной статьѣ г. Ламанскаго эта непріятная нота разростается до громкаго и обширнаго разговора о непроизводительности расходовъ на общіе литературно-научно-политическіе журналы энциклопедическаго характера и о необходимости направить эту трату на изданія спеціальныя, въ частности—на «Живую Старину». Г. Ламанскимъ «всегда овладѣваетъ грустное чувство, когда онъ читаетъ объявленіе о какомъ-нибудь новомъ ежемѣсячномъ литературно-научномъ журналѣ съ подписною платою отъ 10 до 12 руб. и болѣе, или о переходѣ стараго прогорѣвшаго журнала съ его долгами къ новому издателю». Г. Ламанскому кажется, что «современныя нужды русской литературы и образованности прежде всего требуютъ освобожденія значительной части капитала, поглощаемаго теперь изданіемъ ежемѣсячныхъ литературно-научныхъ журналовъ, на другія, болѣе нужныя и желательныя изданія». Какъ хотите, а это нехорошо звучитъ, какимъ-то ужъ слишкомъ

откровеннымъ духомъ конкурренціи, едва ли приличествующимъ научному изданію, неприглянымъ и, въ концѣ концовъ, осмѣливаюсь думать, неразумнымъ. Давно и справедливо сказано: «Дай Богъ поболѣе журналовъ, плодятъ читателей они», въ томъ числѣ и читателей спеціальныхъ журналовъ, если, разумѣется, журналы вообще, и спеціальные въ особенности, умѣютъ пріохотить публику къ чтенію.

Г. Ламанскій не совершенно отрицаетъ заслуги нашихъ такъ называемыхъ «толстыхъ журналовъ» въ прошломъ. Главнымъ образомъ, впрочемъ, онъ видитъ эти заслуги въ томъ, что почти всѣ лучшія беллетристическія произведенія за послѣднія пятьдесятъ лѣтъ появлялись первоначально въ журналахъ. Но здѣсь же, по мнѣнію г. Ламанскаго, и Ахиллесова пята журналистики. Такъ какъ, разсуждаетъ почтенный славистъ, разбросанныя по журналамъ произведенія нашихъ любимыхъ беллетристовъ, равно какъ и выдающіяся статьи по части критики, науки, философіи вошли впослѣдствіи въ собранія сочиненій ихъ авторовъ и такъ какъ сочиненія эти имѣются теперь во всѣхъ библіотекахъ, то старые журналы представляютъ собою никому ненужный хламъ, за безцѣнокъ сбываемый букинистамъ. Ну, такъ что-же? можно-бы было спросить г. Ламанскаго. Въ чемъ тутъ аргументъ противъ научно-литературныхъ журналовъ и за изданія спеціальныя, если ужъ нужно противопоставлять эти два нисколько другъ другу не мѣшающіе типа изданій? Во-первыхъ, надо надѣяться, что исторія русской литературы не прекратила своего теченія, и не видно, почему-бы нашимъ будущимъ любимымъ писателямъ не появляться предварительно въ журналахъ. Можетъ быть, это и совсѣмъ не нужно, но если г. Ламанскій ставитъ журналамъ въ заслугу то обстоятельство, что они знакомили публику съ начинающими дарованіями и завоевывали имъ извѣстность, то можно ожидать такой-же заслуги и отъ настоящихъ и будущихъ журналовъ. Во-вторыхъ, печальна, конечно, участь старыхъ журналовъ, сбываемыхъ букинистамъ, но вѣдь эта участь грозитъ и спеціальнымъ изданіямъ, и даже въ гораздо большей степени. Вообще удѣлъ всего земного смерть, и тутъ уже намъ съ г. Ламанскимъ ничего не подѣлать. Недалеко ходить: г. Ламанскій говоритъ, что «прекрасный во многихъ отношеніяхъ» географическій словарь г. Семенова и этнографическая карта Россіи Кеппена уже устарѣли и требуютъ разныхъ поправокъ и обширныхъ дополненій... Когда эти почтенные труды явятся въ новомъ, исправленномъ и дополненномъ видѣ, то старыя изданія отправятся, вѣроятно, къ букинистамъ, но изъ этого ровно ничего не слѣдуетъ, потому что оба труда сдѣлали свое образовательное дѣло.

Вообще логика г. Ламанскаго отличается нѣкоторыми странностями. Такъ, онъ жалуется, что статьи «извѣстныхъ ученыхъ», то-есть спеціалистовъ, плохо читаются въ литературно-политическихъ журналахъ; «въ иныхъ мѣстностяхъ онѣ такъ и называются нечитательными». Я думаю, что это не совсѣмъ вѣрно, но если г. Ламанскій правъ, то указанный имъ фактъ, конечно, очень печаленъ. Однако, поставить его на счетъ литературно-политическимъ журналамъ довольно, кажется, мудрено, и если выдѣлить «нечитательныя» статьи въ особые спеціальные сборники, то собственно отъ этого перемѣщенія онѣ едва ли станутъ «читательными».

Г. Ламанскій утверждаетъ, что наши литературно - научно - политическіе журналы, «обыкновенно наскоро составленные, поглощаютъ слишкомъ много денегъ, труда и времени у капиталистовъ-предпринимателей и у публики, и труда и времени у многихъ иначе полезныхъ литературныхъ работниковъ». Я недоумѣваю—чему удивляться въ этомъ тезисѣ, незнакомству ли г. Ламанскаго съ дѣломъ, о которомъ онъ говоритъ, или нелогичности построенія. Капиталисты, какъ капиталисты, то-есть если они вмѣстѣ съ тѣмъ не редакторы и не сотрудники журнала, времени и труда на это не тратятъ, а если это дѣло поглощаетъ даже слишкомъ много времени и труда «полезныхъ литературныхъ работниковъ», то, значитъ, книжки журналовъ не такъ ужъ наскоро составляются. Промахи и ошибки возможны во всякомъ дѣлѣ, но изъ этого только и слѣдуетъ, что надо стараться ихъ избѣгать. Вѣдь вотъ и первый выпускъ «Живой Старины» составленъ, по собственному признанію г. Ламанскаго, не вполнѣ удовлетворительно, хотя для приготовленія къ нему времени было больше, чѣмъ достаточно. Въ самой вступительной статьѣ г. Ламанскаго имѣются не только странныя разсужденія (это, пожалуй, какъ кому покажется), а и невѣрныя фактическія показанія. Такъ, г. Ламанскій говоритъ, между прочимъ: «Въ Тиролѣ («Ober-und-Unter Ammergau») ежегодно даваемыя представленія религіознаго содержанія, съ участіемъ крестьянъ, приносятъ въ иные годы свыше 300,000 марокъ валового и свыше 150,000 м. чистаго дохода». Сколько мнѣ извѣстно, въ Унтеръ-Аммергау никакихъ представленій религіознаго содержанія не бываетъ; и Унтеръ-и Оберъ-Аммергау находятся не въ Тиролѣ, а въ Баваріи; знаменитыя Оберъ-Аммергаускія Passions-Spiele происходятъ не ежегодно, а разъ въ десять лѣтъ (послѣднія происходили въ истекшемъ

1890 г.). Г. Ламанскій ошибся, вѣроятно, отъ поспѣшности. Конечно, желательно, чтобы такихъ ошибокъ въ спеціально этнографическомъ изданіи не было, но изъ этого еще не можетъ проистечь пожеланіе, чтобы самой «Живой Старины» или другихъ подобныхъ изданій совсѣмъ не было.

Поспѣшность г. Ламанскаго при составленіи перваго выпуска «Живой Старины» была столь велика, что онъ, очевидно, не успѣлъ даже посовѣтоваться съ А. Н. Пыпинымъ, имя котораго значится въ числѣ принимающихъ «ближайшее участіе въ редакціи» новаго періодическаго этнографическаго изданія. А между тѣмъ совѣты г. Пыпина были бы крайне полезны г. Ламанскому. Г. Пыпинъ есть извѣстный ученый и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ принималъ и принимаетъ близкое участіе въ такихъ распространенныхъ энциклопедическихъ журналахъ, какъ «Современникъ» и «Вѣстникъ Европы». Уже самый этотъ фактъ совмѣстительства ученой спеціальности съ дѣятельнымъ участіемъ въ общей журналистикѣ поучителенъ для г. Ламанскаго. А еслибы почтенный редакторъ «Живой Старины», прежде чѣмъ печатать свою вступительную статью, подвергъ ее просмотру г. Пыпина, то въ ней навѣрное не было бы многихъ изъ тѣхъ странностей, которыя отнюдь не способствуютъ ея украшенію. Г. Ламанскій даетъ журналистамъ разныя совѣты и указанія, которыхъ, однако, ни одинъ сколько-нибудь опытный журналистъ не приметъ не только къ исполненію, а и къ свѣдѣнію. Объ нихъ не стоило-бы даже упоминать, еслибы не одна подробность, часто всплывающая наверхъ, когда заходитъ рѣчь о русской журналистикѣ. Говорятъ, что въ Европѣ нѣтъ такихъ руководящихъ энциклопедическихъ журналовъ, какіе играли столь важную роль въ исторіи нашего просвѣщенія, и что поэтому и у насъ они должны съ теченіемъ времени исчезнуть. Г. Ламанскій полагаетъ, что время для этого уже наступило. Немножко можетъ быть странно слышать именно отъ г. Ламанскаго это требованіе, чтобы мы поскорѣе отказались отъ «самобытной» черты и усвоили себѣ европейскій обликъ. Да и вообще ссылка на Европу не имѣетъ въ данномъ случаѣ никакого значенія: пусть бы у нихъ на этотъ счетъ по своему, а у насъ по своему. Но самая ссылка на Европу крайне поверхностна. Г. Ламанскій, рекомендуя нашимъ энциклопедическимъ журналамъ, если не совсѣмъ исчезнуть, то, по крайней мѣрѣ, сократиться въ числѣ и въ объемѣ, указываетъ на то, что европейскіе журналы гораздо тоньше нашихъ. Это характерно для г. Ламанскаго, Беру «Revue des deux mondes» «Nouvelle Revue», «Deutsche Rundschau» и вижу, что книжки этихъ журналовъ дѣйствительно гораздо тоньше «Вѣстника Европы» или «Русской Мысли». Но г. Ламанскій упустилъ изъ виду, что означенные иностранные журналы выходятъ по два раза въ мѣсяцъ, а наши по одному, такъ что въ мѣсяцъ иностранные журналы даютъ своимъ читателямъ не только не меньше, а скорѣе больше матеріала. Повторяю, эта мелочь характерна для той поверхностной легкости, съ которою почтенный редакторъ «Живой Старины» судитъ и рядитъ о желательномъ будущемъ русской журналистики. Но суть дѣла, конечно, не въ подобныхъ мелочахъ. Европейскіе энциклопедическіе журналы, дѣйствительно, не имѣютъ того руководящаго значенія, какое имѣли и имѣютъ или могутъ имѣть наши «толстые» ежемѣсячники. Но это зависитъ отъ разницы въ условіяхъ нашей и европейской жизни, и пока эти условія остаются безъ измѣненій, нельзя ожидать, чтобы измѣнился ихъ прямой продуктъ. Не говоря о колоссальномъ развитіи книжнаго и газетнаго дѣла въ Европѣ, не говоря о томъ, что тамъ могутъ безпрепятственно появляться въ огромномъ количествѣ брошюры въ размѣрѣ нашей средней журнальной статьи,—европейская мысль имѣетъ и кромѣ печати разные пути для своей формировки.

У себя въ кабинетѣ, въ получасовой бесѣдѣ за стаканомъ чаю, г. Пыпинъ растолковалъ бы все это г. Ламанскому гораздо лучше, чѣмъ это могу сдѣлать я. А главное г. Пыпинъ разъяснилъ бы ему неприглядность его предпринимательскихъ пріемовъ. Онъ сказалъ бы ему примѣрно слѣдующее:

«Намъ, людямъ науки, надлежитъ бороться съ тьмой невѣжества, а не съ тѣми, кто, подобно намъ, хотя и нѣсколько иными путями, желаетъ вносить свѣтъ въ эту тьму. Безспорно, что въ нашихъ такъ называемыхъ толстыхъ журналахъ не все обстоитъ вполнѣ благополучно, но вѣдь и спеціальная наша литература не безупречна. Будемъ стараться, чтобы она стала на приличествующую ей высоту и завоевала себѣ читателей. Но высота эта, повѣрьте, не достигнется зазываніемъ покупателей: у насъ, дескать, товаръ лучше, къ намъ пожалуйте! Это не подъемъ науки на высоту, а сверженіе ея съ высоты, и злѣйшій врагъ науки не подсказалъ бы вамъ мысли, болѣе печальной, чѣмъ этотъ гостинодворскій пріемъ. И потомъ, Владиміръ Ивановичъ (я все предполагаю, что съ г. Ламанскимъ говоритъ г. Пыпинъ у себя въ кабинетѣ), вы поступаете просто неразсчетливо. Во-первыхъ, васъ никто не послушается, и не только потому, что вы плохо

аргументируете, а и потому еще, что въ публикѣ, очевидно, есть настоятельная потребность въ толстыхъ журналахъ, хотя, можетъ быть, и дурно удовлетворяемая. Это разъ. А во-вторыхъ, толстые журналы намъ не конкурренты, а пособники. Вотъ вы говорили, что наши статьи называютъ «нечитательными». Такъ вѣдь въ энциклопедическомъ-то журналѣ, среди разнаго другого матеріала, возбуждающаго и удовлетворяющаго любознательность публики, ихъ всетаки можетъ быть многіе прочтутъ, а изданія спеціальныя, сами знаете, идутъ совсѣмъ плохо. Да и помимо нашего участія, сами по себѣ, толстые журналы подготовляютъ намъ читателей и сотрудниковъ. Бойкій народъ попадается между этими журналистами, бойкій и талантливый, умѣющій заинтересовать, увлечь читателя. Въ объявленіи о подпискѣ на «Живую Старину» говорится о сравнительно новыхъ, за послѣднее время объявившихся членахъ-сотрудникахъ географическаго общества. Указываются цѣлыя группы ихъ: «значительно возросло число крестьянъ въ рядахъ членовъ-сотрудниковъ общества. Рядомъ съ этимъ замѣчается и другое отрадное явленіе. Съ возвышеніемъ и распространеніемъ женскаго образованія стали являться все чаще русскія образованныя женщины, съ любовью изучающія этнографію... Наконецъ, усиленіе въ учащейся, особенно въ высшихъ заведеніяхъ, молодежи любви къ народу, стремленія къ сближенію съ нимъ и къ живому его изученію сулятъ и, несомнѣнно, принесутъ въ ближайшемъ будущемъ много добра русской литературѣ по народовѣдѣнію». Все это очень вѣрно, но какъ вы думаете, кто больше всего способствовалъ возникновенію и упроченію этихъ благопріятныхъ для науки теченій? Толстые журналы. И не будь ихъ, мы съ вами еще долго сидѣли бы какъ раки на мели. По вашему разсчету, Россія истратила въ послѣднія пятьдесятъ лѣтъ на ежемѣсячные энциклопедическіе журналы «никакъ не менѣе 6—8 милліоновъ рублей», каковой «капиталъ слишкомъ несоразмѣренъ съ принесенною ими пользою русской литературѣ и образованности». Принимая въ соображеніе траты Россіи вообще за пятьдесятъ лѣтъ, цифра 6 — 8 милліоновъ окажется вовсе не страшною, а пользу, принесенную журналами не только русской литературѣ и образованности, а русской жизни вообще, цифрами не выразить. Припомните гейневское сравненіе поэта съ виноградной лозой: изъ винограда надавили вина, и гдѣ-же усчитать веселыя и грустныя мысли, возникающія въ головахъ, въ которыхъ это вино теперь бродитъ. Такъ же и съ журналистикой. Дѣло отнюдь не только въ тѣхъ произведеніяхъ любимыхъ писателей, которыя перешли изъ журналовъ въ собранія сочиненій и красуются теперь на библіотечныхъ полкахъ самостоятельно. Вы знаете,—дорого яичко въ Христовъ день, и эти самыя произведенія появляясь впервые въ журналѣ и отвѣчая на запросы данной минуты, вызываютъ совсѣмъ не тѣ эффекты, что въ собраніяхъ сочиненій. Одно дѣло собраніе сочиненій, напримѣръ, Щедрина и другое дѣло тѣ же статьи того же Щедрина въ журналѣ, гдѣ онѣ вызывали въ душѣ читателя искры совѣсти и чести по горячимъ слѣдамъ какого-нибудь общественнаго явленія. Не сосчитать этихъ искръ, не учесть ихъ доли въ ходѣ развитія всей русской жизни. Нельзя относиться къ живому дѣлу съ архивной точки зрѣнія: нельзя, по выраженію, кажется, очень уважаемаго вами поэта, все, чего «ни взвѣсить, ни смѣрить» то и «похерить». Бросьте же свою затѣю, почтеннѣйшій Владиміръ Ивановичъ, и напишите другую вступительную статью, безъ этого неосмотрительнаго и ничѣмъ не вызываемаго манифеста объ объявленіи войны съ толстыми журналами. Оно же и по отношенію ко мнѣ какъ будто не совсѣмъ прилично: числюсь я въ составѣ редакціи «Живой Старины», а вѣдь я старый журналистъ и, какъ вамъ извѣстно, по сейчасъ принимаю дѣятельное участіе въ толстомъ журналѣ, который только-что отпраздновалъ свой двадцатипятилѣтній юбилей. Неужто же я всѣ эти двадцать пять лѣтъ и раньше, въ «Современникѣ», около пустого и ненужнаго дѣла околачивался? Оставьте эту незнакомую вамъ матерію и давайте-ка лучше потщательнѣе составлять книжки «Живой Старины». А то право не хорошо: редакторъ—извѣстный славистъ, а для перваго выпуска не нашлось по славянской этнографіи ничего, кромѣ старыхъ путевыхъ замѣтокъ Срезневскаго. Опять же этотъ Оберъ-Аммергау»...

Такъ сказалъ бы г. Ламанскому г. Пыпинъ, въ качествѣ, съ одной стороны, извѣстнаго ученаго, а съ другой — опытнаго журналиста.

Г. Ламанскому не нравятся и форма, и общій характеръ нашихъ энциклопедическихъ журналовъ. Что касается формы, то какъ бы ни былъ краснорѣчивъ и убѣдителенъ почтенный редакторъ «Живой Старины», какъ бы ни были блестящи его проекты реформы,—эти проекты, я увѣренъ, останутся втунѣ. Форма толстаго ежемѣсячнаго журнала слишкомъ вошла въ наши привычки. Другое дѣло характеръ журналовъ. «У насъ въ литературѣ,—говоритъ г. Ламанскій,—къ сожалѣнію, давно принято

обращать вниманіе, при оцѣнкѣ общественныхъ явленій и дѣятелей, не столько на ихъ характеръ, способности и знанія, сколько на такъ называемое ихъ направленіе». Конструкція этой фразы не совсѣмъ удачна и свидѣтельствуетъ все о той же прискорбной поспѣшности, съ которою писалъ г. Ламанскій. Оцѣнивать собственно общественныя явленія по ихъ способностямъ и знаніямъ нельзя, потому что имъ таковыхъ и не полагается. Если-же предположить, что въ приведенной фразѣ аттрибуты способностей и знаній относятся лишь къ «дѣятелямъ», а на долю общественныхъ явленій» остается аттрибутъ «характера», то вѣдь это, кажется, только и можетъ значить что «направленіе». Въ чемъ, въ самомъ дѣлѣ, можетъ состоять характеръ общественнаго явленія, если не въ направленіи его къ добру или худу съ извѣстной точки зрѣнія? Я, впрочемъ, не стану доискиваться смысла логически и грамматически смутной фразы г. Ламанскаго. Я ее привелъ только для того, чтобы читатель видѣлъ, что именно не нравится редактору «Живой Старины» въ общемъ характерѣ нашихъ энциклопедическихъ журналовъ. Не нравится ему именно существованіе въ нихъ характера, направленія, совсѣмъ даже независимо отъ того, хорошо оно или дурно. Въ этомъ смыслѣ весьма возможно, что пѣсенка нашихъ энциклопедическихъ журналовъ будетъ въ непродолжительномъ времени спѣта, что они утратятъ свое былое руководящее значеніе и превратятся въ безхарактерные сборники болѣе или менѣе занимательнаго матеріала для чтенія. Это будетъ смерть журнала. Но смерть можетъ быть естественная и неестественная, преждевременная. Если русская общественная жизнь разовьется до размѣровъ европейской общественной жизни, если руководящее значеніе нашихъ журналовъ упразднится потому, что откроются и разовьются какіе-нибудь иные пути для руководящей мысли, то смерть журнала будетъ, можетъ быть, естественною: онъ не нуженъ станетъ и просто сдастъ свои функціи другимъ органамъ. Но если онъ умретъ теперь, то это будетъ смерть преждевременная и, пожалуй, даже самоубійство.

Я оговорился, что и въ первомъ случаѣ смерть журнала только *можетъ быть* слѣдуетъ признать естественною. И дѣйствительно, еще вопросъ,—почему бы энциклопедическому журналу съ руководящимъ значеніемъ не жить и въ Европѣ съ ея многосложною, многоразвѣтвленною умственною жизнью. Я, по крайней мѣрѣ, нисколько не удивлюсь, если такіе журналы тамъ возникнутъ и будутъ имѣть большой успѣхъ.

Что такое ежемѣсячный энциклопедическій журналъ? Нѣсколько человѣкъ, въ числѣ которыхъ могутъ быть и ученые спеціалисты по разнымъ отраслямъ, группируются для совокупной и разносторонней разработки и распространенія извѣстнаго міросозерцанія. Съ точки зрѣнія этого міросозерцанія они ежемѣсячно освѣщаютъ явленія общественной жизни, явленія въ области науки и искусства, распредѣляя между собою занятія сообразно своимъ способностямъ и знаніямъ, внося при этомъ и собственные вклады въ сокровищницу отечественной науки и искусства, знакомя съ таковыми же иностранными продуктами въ переводахъ, компиляціяхъ или извлеченіяхъ. Что во всемъ этомъ худо и почему главный нервъ такого изданія, его руководящее направленіе подлежитъ уничтоженію? Возьму примѣръ, удобный по прикосновенности г. Ламанскаго къ славянофильству,—«Русскую Бесѣду». Это былъ образцовый въ своемъ родѣ журналъ, правда, не ежемѣсячный, въ которомъ каждая статья была строго выдержана въ славянофильскомъ направленіи. Худо ли это было? Нѣтъ, это было очень хорошо, даже съ точки зрѣнія людей, отрицательно относившихся къ славянофильству.

Разъ извѣстное направленіе существуетъ,—пусть оно высказывается вполнѣ и основательно, пусть оно провѣряетъ себя на текущихъ практическихъ вопросахъ и на высотахъ теоріи, пусть звучитъ въ поэзіи и въ прозѣ. А для этого лучшей формы, чѣмъ энциклопедическій журналъ, пожалуй, и не придумаешь.

XXII.

О гр. Львѣ Толстомъ и о наркотикахъ.

Читая книжку г. Андреевскаго, «Литературныя чтенія» я остановился на одной, вскользь брошенной авторомъ мысли, которая показалась мнѣ очень значительной. Я хотѣлъ съ нея именно начать настоящее письмо. Но, пересматривая для этого книжку вторично я не нашелъ той значительной мысли. Фразу, соблазнившую меня, нашелъ, но въ ней нѣтъ того значительнаго смысла, который я въ ней вычиталъ, оказывается, по ошибкѣ. Говоря о «Братьяхъ Карамазовыхъ» Достоевскаго, г. Андреевскій замѣчаетъ, что слово «карамазовщина» должно было-бы сдѣлаться всемірнымъ терминомъ для нашей эпохи. Подъ нимъ разумѣется высшій животный эгоизмъ, изгоняющій все трогательное, милое, поэтическое, этическое, самоотверженное и возвышенное ради всего

осязательнаго, питательнаго и лакомаго. Вонзившись въ самую суть этой черты времени, Достоевскій отмѣтилъ ее неизгладимой царапиной львинаго когтя. Не съ той ли же въ сущности «карамазовщиной» имѣетъ дѣло Эмиль Зола?.. Не съ той же ли «карамазовщиной» борется Левъ Толстой, отдавшись проповѣди почти невыполнимаго первобытнаго христіанскаго самопожертвованія?»

Вотъ эта послѣдняя фраза, на счетъ гр. Толстого, и соблазнила меня. При первомъ чтеніи мнѣ показалось, что г. Андреевскій утверждаетъ, что гр. Толстой борется съ «карамазовщиной», въ немъ самомъ, въ гр. Толстомъ, сидящей. Это была-бы мысль, можетъ быть, нѣсколько парадоксальная, но защитимая и во всякомъ случаѣ интересная, отмѣчающая трагическую черту жизни великаго писателя. Оказывается, что гр. Толстой борется съ кармазовщиной, вокругъ него разлитой. Это—истина безспорная, но вѣдь такой борьбой занимались всѣ моралисты и проповѣдники испоконъ вѣка, изъ рядовъ которыхъ, слѣдовательно, эта черта ни мало не выдвигаетъ гр. Толстого. Черта эта, какъ указываетъ самъ г. Андреевскій, есть даже въ такомъ ординарномъ характерѣ и заурядномъ мыслителѣ, хотя и талантливомъ беллетристѣ, какъ Эмиль Зола. Да и какой же писатель не борется въ мѣру его силъ и въ свойственныхъ ему формахъ изложенія съ животнымъ эгоизмомъ? Есть, правда, писатели, кладущіе эгоизмъ въ основу всей этики, но они отнюдь не изгоняютъ «все трогательное, этическое, возвышенное» и т. д., а лишь теоретически выводятъ эти категоріи изъ грубаго начала эгоизма. О предпочтеніи же «лакомаго» возвышенному при этомъ нѣтъ и не можетъ быть рѣчи. Есть другіе писатели, полною рукою сыплющіе сѣмена животнаго эгоизма, но и они прикрываютъ свою позорную дѣятельность флагами, если не всегда «самоотверженнаго и возвышеннаго» (а бываетъ и это), то по крайней мѣрѣ «милаго и поэтическаго» или патріотическаго или еще какъ-нибудь. Формально, на словахъ, и они борются съ карамазовщиной, иногда чрезвычайно краснорѣчиво. Такимъ образомъ борьба съ карамазовщиной есть дѣло слишкомъ общее, чтобы имъ можно было характеризовать дѣятельность какого-нибудь писателя. Правда, г. Андреевскій индивидуализируетъ гр. Толстого указаніемъ на его «проповѣдь почти невыполнимаго первобытнаго христіанскаго самопожертвованія». Однако, это совсѣмъ невѣрная характеристика. Собственно самопожертвованія гр. Толстой нигдѣ не проповѣдуетъ. Любовь къ ближнему, непротивленіе злу, трудовой хлѣбъ, простота жизни, вредъ и безнравственность роскоши,—вотъ обычныя темы проповѣдей гр. Толстого. Темы эти не противорѣчатъ идеѣ самопожертвованія, но и отнюдь не необходимо съ нею связаны. Въ общемъ гр. Толстой хочетъ научить насъ вовсе не подвигу самопожертвованія, а, напротивъ того, личному благополучію. Конечно, это рекомендуемое гр. Толстымъ личное благополучіе не имѣетъ ничего общаго съ карамазовщиной въ смыслѣ животнаго эгоизма или предпочтенія питательнаго и лакомаго возвышенному. Но это всетаки не проповѣдь самопожертвованія.

Гр. Толстой не оставляетъ своихъ читателей и почитателей надолго безъ новинокъ. Въ февральской книжкѣ лондонскаго журнала «Contemporary Review» появилась его статья «О винѣ и табакѣ», переводъ которой я нашелъ въ одной петербургской газетѣ. Попробуемъ на этомъ новѣйшемъ произведеніи нашего знаменитаго писателя прослѣдить его отношеніе къ карамазовщинѣ.

Пьянство, куреніе табаку, употребленіе гашиша, опіума, морфія и проч. вредны. Это всѣ знаютъ. Омраченіе сознанія, достигаемое этими разнообразными способами, часто ведетъ за собой поступки легкомысленные или даже безнравственные, или вообще такіе, въ которыхъ приходится потомъ раскаяваться. Это тоже всѣ знаютъ. И, однако, люди продолжаютъ одурять себя. Отчего это зависитъ? Гр. Толстой отказывается признать удовлетворительными обычные отвѣты людей, которыхъ спрашиваютъ, зачѣмъ они пьютъ или курятъ. «Пьемъ или куримъ, потому что всѣ пьютъ и курятъ, потому что это пріятно, потому что вино, опіумъ, табакъ разгоняютъ мрачныя мысли» и т. п. Это все пустяки. Привычка одурять себя наркотиками коренится гораздо глубже. И вотъ какъ разсуждаетъ гр. Толстой для извлеченія этого глубокаго корня.

Человѣкъ состоитъ изъ двухъ совершенно раздѣльныхъ существъ. Одно изъ нихъ «слѣпое и чувственное, другое одаренное зрѣніемъ и духовное». Первое есть не что иное, какъ машина, надлежащимъ образомъ заведенная на извѣстный періодъ времени. Второе же «само ничего не дѣлаетъ, но только взвѣшиваетъ и оцѣниваетъ поведеніе чувственнаго существа, дѣятельно способствуя ему, если одобряетъ его поступки, и оставаясь въ сторонѣ, если не одобряетъ ихъ». Не совсѣмъ, впрочемъ, въ сторонѣ. Проявленіе духовнаго существа называется въ обыденной рѣчи совѣстью. Совѣсть отмѣчаетъ каждое разногласіе между

чувственнымъ и духовнымъ существомъ. И такъ какъ эта отмѣтка непріятна, то люди стремятся или привести свои поступки въ согласіе съ предписаніями совѣсти, или-же утаить отъ самихъ себя отмѣтку совѣсти съ цѣлью продолжать жить, какъ жилось. Утаить отъ себя укоризненную отмѣтку совѣсти можно двояко. Можно просто развлекаться разными заботами и забавами. Такъ и поступаютъ люди «съ грубымъ или ограниченнымъ нравственнымъ чувствомъ». «У людей-же съ чувствительной нравственной организаціей такихъ механическихъ средствъ рѣдко бываетъ достаточно». Этого рода люди прибѣгаютъ къ непосредственному помраченію совѣсти при помощи наркотическихъ веществъ. Извѣстно, что трезвый человѣкъ совѣстится совершать многое изъ того, что легко, безъ зазрѣнія совѣсти продѣлываетъ онъ же въ пьяномъ видѣ. «Девять десятыхъ изъ всего числа преступленій, пятнающихъ человѣчество», совершаются въ пьяномъ видѣ. Люди хорошо знаютъ способность алкоголя заглушать голосъ совѣсти и, задумавъ дурное дѣло, нарочно напиваются, чтобы привести его въ исполненіе. И другихъ напаиваютъ, когда желаютъ «заставить ихъ совершить поступокъ, противный внушеніямъ ихъ совѣсти. На войнѣ солдатъ всегда подпаиваютъ прежде, чѣмъ посылаютъ ихъ въ рукопашный бой. Во время штурма Севастополя всѣ французскіе солдаты были совершенно пьяны». Такимъ образомъ, пьянство, какъ средство для омраченія совѣсти, хорошо знакомо людямъ. Но почему-то думаютъ, что употребленіе алкоголя въ умѣренныхъ дозахъ не производитъ того-же эффекта. Это—заблужденіе. Привычка предаваться возбуждающимъ средствамъ «въ большихъ или малыхъ дозахъ, періодически или же постоянно, въ низшихъ или въ высшихъ слояхъ общества, всегда вызывается одной и той же причиной, а именно необходимостью заглушить голосъ совѣсти, чтобы имѣть возможность не замѣчать разлада между настоящей жизнью и требованіями совѣсти».

Причины и эффекты куренія табаку гр. Толстой совершенно приравниваетъ причинамъ и эффектамъ пьянства. Онъ подтверждаетъ это своимъ опытомъ. Теперь онъ бросилъ курить, но, когда курилъ, то, подобно всѣмъ курильщикамъ, утверждалъ, что куреніе помогаетъ ему излагать свои мысли на бумагѣ. Теперь онъ видитъ, что это пустяки. «Это значитъ,—говоритъ онъ,—вамъ нечего сказать или что мысли, которыя вы пытаетесь выразить, еще не созрѣли въ вашемъ сознаніи, онѣ только смутно зарождаются передъ вами, и живой критикъ внутри васъ самихъ, не отуманенный табачнымъ дымомъ, говоритъ вамъ это». Куреніемъ вы заглушаете голосъ этого внутренняго критика. «То, что казалось мелкимъ, негоднымъ, покуда мозгъ вашъ былъ еще свѣжъ и ясенъ, представляется вамъ великимъ, безподобнымъ; то, что поражало васъ своею неясностью, теперь уже не таково; вы относитесь слегка къ возраженіямъ, которыя могутъ вамъ встрѣтиться, продолжаете писать и къ радости своей убѣждаетесь, что можете писать быстро и много». То же самое замѣчалъ или, вѣрнѣе, теперь замѣчаетъ за собой гр. Толстой относительно разговоровъ и всякихъ житейскихъ дѣлъ: когда онъ курилъ, онъ при помощи папиросы не разрѣшалъ разныя встрѣчавшіяся ему затрудненія, а обходилъ ихъ, одурманивая свою совѣсть. Вообще между привязанностью къ куренію и образомъ жизни есть прямая связь и взаимная зависимость. «Люди, предающіеся куренію, могутъ бросить его въ тотъ моментъ, когда они достигаютъ болѣе высокаго нравственнаго уровня». Наоборотъ, «куртизанки и психопатки курятъ всѣ безъ исключенія», игроки почти всѣ курильщики и т. д.

Я не буду останавливаться на всѣхъ сторонахъ диссертаціи гр. Толстого. Не буду распространяться, напримѣръ, о грубости расчлененія человѣка на два отдѣльныя существа, чувственное и духовное, о рискованности соображеній относительно умѣреннаго и неумѣреннаго употребленія вина, относительно одинаковости дѣйствія табака и алкоголя и проч. Сосредоточимся на главной мысли гр. Толстого—объ омраченіи совѣсти наркотиками.

Доказывая вредъ и безнравственность пьянства, гр. Толстой, конечно, борется съ карамазовщиной. Но борьба эта крайне своеобразна и отличительную черту ея составляетъ отнюдь не призывъ къ самопожертвованію. Объ немъ и помину нѣтъ, вся проповѣдь построена на началѣ личнаго благополучія, достигаемаго умѣреніемъ потребностей и спокойствіемъ совѣсти. Но и въ этомъ отношеніи гр. Толстой сходится съ весьма и весьма многими моралистами и проповѣдниками. Отличительная черта проповѣди гр. Толстого лежитъ не въ ней самой, не въ ея существенномъ содержаніи, а въ кое-какихъ подробностяхъ аргументаціи и въ одномъ любопытномъ пріемѣ. Гр. Толстой есть человѣкъ необыкновенно развитой личной жизни. Еще въ то время, когда онъ занимался исключительно беллетристикой, онъ часто поэтическ ими образами иллюстрировалъ и комментировалъ движенія своей собственной души, состоянія своего собственнаго сознанія. Таковы, не говоря уже о «Дѣтствѣ и отрочествѣ», князь Неклю-

довъ въ «Утрѣ помѣщика», Оленинъ въ «Казакахъ», Левинъ въ «Аннѣ Карениной» и др. Статьи гр. Толстого о народномъ образованіи не оставляютъ мѣста никакимъ сомнѣніямъ въ этомъ отношеніи, такъ какъ въ нихъ прямо отъ лица автора высказывается многое изъ того, что объективировано въ герояхъ его повѣстей. Оглядываясь на эти старыя повѣсти и старыя статьи, мы видимъ, что гр. Толстого давно уже мучитъ мысль объ искусственности жизни такъ называемаго образованнаго общества. Испивъ чашу этой жизни до дна, гр. Толстой пожелалъ наполнить ее новымъ содержаніемъ. Главными условіями этого новаго содержанія должны были быть, во-первыхъ, успокоеніе совѣсти, оскорбленной прошлою грѣховною жизнью, во-вторыхъ, умѣреніе потребностей или пожалуй даже отсѣченіе тѣхъ изъ нихъ, удовлетвореніе которыхъ ведетъ къ грѣху и, слѣдовательно, опять къ ущемленію совѣсти. Значитъ, спокойная совѣсть, какъ цѣль, умѣреніе потребностей, какъ средство; однако не единственное средство. Цѣпью умозаключеній, напоминать которую было бы здѣсь не у мѣста, гр. Толстой пришелъ къ мысли объ обязательности служенія народу и лично для себя выбралъ форму служенія педагогическаго. Все это онъ самъ изложилъ въ своихъ замѣчательныхъ педагогическихъ статьяхъ въ два пріема — сначала въ «Ясной Полянѣ», потомъ въ «Отечественныхъ Запискахъ». Къ подвигу самопожертвованія гр. Толстой и тутъ никого не звалъ. Напротивъ, онъ манилъ людей прелестью счастья, испытаннаго имъ при служеніи народу, въ связи съ здоровою, умѣренною деревенскою жизнью. Манилъ на основаніи своего собственнаго опыта. Съ тѣхъ поръ служеніе народу постепенно отступало на задній планъ, но зато тѣмъ сильнѣе выдвигалось другое средство для достиженія здороваго духа въ здоровомъ тѣлѣ, — умѣреніе потребностей. Сдѣлавъ какой-нибудь шагъ въ этомъ направленіи, гр. Толстой, начиная съ «Исповѣди», немедленно сообщаетъ публикѣ благотворные результаты своего личнаго опыта и подыскиваетъ имъ теоретическія основанія. Такимъ образомъ мы послѣдовательно узнали, какъ онъ не только отрекся отъ роскоши въ обыденномъ смыслѣ слова, но и урѣзалъ или хочетъ урѣзать свою потребность художественнаго творчества и познанія, потребность участія въ общественной жизни противленіемъ злу, потребность физической любви. Теперь узнаемъ про новую побѣду его надъ самимъ собой: «достигнувъ болѣе высокаго нравственнаго уровня», онъ отказался отъ употребленія вина и табаку. Въ статьѣ, посвященной этому предмету, въ числѣ наркотиковъ не поминаются чай и кофе. Это значитъ, что гр. Толстой ихъ еще употребляетъ. Если онъ отъ нихъ когда-нибудь откажется, что будетъ вполнѣ послѣдовательно, то мы получимъ новую статью на этотъ сюжетъ. Такимъ образомъ проповѣдь гр. Толстого есть всегда вмѣстѣ съ тѣмъ его личная исповѣдь; въ этомъ именно состоитъ отличительная черта его борьбы съ карамазовщиной, придающая его писаніямъ такой жизненный характеръ, но и отражающаяся на нихъ нѣкоторою смутностью мысли.

Странная исповѣдь! — скажетъ, можетъ быть, читатель; съ исповѣдью мы привыкли соединять понятіе о покаяніи, а тутъ человѣкъ разсказываетъ лишь о томъ, какъ онъ достигаетъ все высшаго и высшаго «нравственнаго уровня». Но дѣло въ томъ, что, дѣлая шагъ вверхъ по этой лѣстницѣ, гр. Толстой дѣйствительно кается въ своихъ предъидущихъ шагахъ. Такъ, всѣ свои прежнія беллетристическія произведенія, которыя, конечно, навсегда останутся украшеніемъ не только русской, а и всемірной литературы, гр. Толстой въ одинъ прекрасный день объявилъ празднословіемъ и преступнымъ потворствомъ лжи. Такъ, въ другой прекрасный день онъ объявилъ свою дѣятельность на поприщѣ народнаго образованія плодомъ гордости и самомнѣнія. Такъ и теперь, отказавшись отъ табаку, онъ готовъ забраковать все имъ написанное въ то время, когда онъ былъ курильщикомъ. Къ сожалѣнію, автобіографическія показанія гр. Толстого всегда отличаются нѣкоторою неполнотою. Мы знаемъ, что онъ бросилъ курить и нынѣ пишетъ уже съ вполнѣ ясною совѣстью, незатуманенною табачнымъ дымомъ, но когда именно совершился этотъ переворотъ и, слѣдовательно, какія именно свои произведенія онъ признаетъ теперь удовлетворительными, — не знаемъ. Это, впрочемъ, пожалуй, и не особенно важно. Что бы ни говорилъ самъ гр. Толстой, но мы, его читатели, всегда предпочтемъ, напримѣръ, «Войну и миръ» статьѣ о вредѣ табака и вина, хотя тогда онъ курилъ, а теперь бросилъ курить. Мало того: если мы согласимся съ мнѣніемъ гр. Толстого о дѣйствіи табака, то можетъ закрасться сомнѣніе — да, полно, бросилъ ли онъ курить? Писатель-курильщикъ, какъ мы видѣли, «относится слегка къ возраженіямъ, которыя могутъ ему встрѣтиться». Мнѣ, кажется, что именно съ такимъ легкимъ отношеніемъ къ возможнымъ возраженіямъ написана вся статья о винѣ и табакѣ. Но если гр. Толстой говоритъ, что онъ пересталъ курить, значитъ, оно такъ и есть, и бѣда его на этотъ разъ не въ затемненной табачнымъ дымомъ совѣсти.

Бѣда, можетъ быть, все въ томъ же своеобразномъ осложненіи проповѣди исповѣдью. Вся диссертація гр. Толстого поражаетъ своею прямолинейностью и односторонностью. Убѣдившись, что отреченіе отъ куренія связано съ подъемомъ на высшій нравственный уровень, и натурально этимъ обрадованный гр. Толстой даже и представить себѣ не можетъ, чтобы къ употребленію наркотиковъ могъ приводить людей какой нибудь другой психическій процессъ, кромѣ того, который онъ, гр. Толстой, наблюдалъ въ себѣ самомъ (допустимъ, что это самонаблюденіе вполнѣ вѣрно и точно). Между тѣмъ, этихъ процессовъ довольно много.

Извѣстно, что въ древности, да и нынѣ у многихъ народовъ, разные наркотики употребляются съ мистически-религіозными цѣлями. Употребленіе ихъ коренится въ вѣрованіи, раздѣляемомъ и гр. Толстымъ, что въ человѣкѣ сидятъ два отдѣльныхъ существа, чувственное и духовное; а затѣмъ наркотическія вещества, прекращая нормальный ходъ дѣятельности чувственнаго человѣка, освобождаютъ духовный элементъ, который духовными очами видитъ прошедшее и будущее, близкое и далекое. Гр. Толстой скажетъ, пожалуй, что разные лже-пророки и лже-провидцы вообще, прибѣгавшіе и прибѣгающіе для одуренія себя къ наркотикамъ, суть обманщики, которые, дескать, непремѣнно должны предварительно заглушить свою совѣсть. Обманщики, дѣйствительно, были и есть среди лже-пророковъ и лже-провидцевъ, но, во-первыхъ, это, надо полагать, люди безсовѣстные, которымъ стало-быть, нечего и заглушать въ себѣ, а во-вторыхъ, рядомъ съ ними, несомнѣнно, были и есть люди, искреннѣйшимъ образомъ убѣжденные въ томъ, что на нихъ сходитъ или въ нихъ освобождается какой-то духъ. Въ такихъ случаяхъ не только наркотики не для заглушенія совѣсти употребляются, а, напротивъ, совѣсть повелительно приказываетъ при извѣстныхъ условіяхъ наркотизироваться. Это признается священною обязанностью. И не смотря на всю нелѣпость вѣрованія, лежащаго въ основаніи этой религіозной практики, она имѣетъ за себя извѣстныя фактическія оправданія. Есть степень опьяненія при которой относительно подавлены сознаніе и воля, но зато окрылена фантазія и, такъ сказать, открыты кладовыя безсознательнаго опыта, изъ которыхъ фантазія черпаетъ матеріалы для разныхъ, иногда причудливыхъ, а иногда поразительно вѣрныхъ дѣйствительности комбинацій.

Нѣтъ никакого сомнѣнія и въ томъ, что употребленію наркотическихъ веществъ сплошь и рядомъ предаются отнюдь не тѣ «люди съ чувствительной нравственной организаціей», которыхъ особенно имѣетъ въ виду гр. Толстой. Опьяненіе само по себѣ составляетъ извѣстное наслажденіе, преимущественно для грубыхъ натуръ, ни въ какомъ заглушеніи совѣсти не нуждающихся. Объ этомъ даже странно какъ-то говорить. Возьмемъ лучше случай, повидимому, очень подходящій къ толкованію гр. Толстого. Припомните конецъ монолога Мармеладова въ «Преступленіи и наказаніи». Пріидетъ, говоритъ Мармеладовъ, день судный и разсудитъ Господь всѣхъ. «И когда уже кончитъ надъ всѣми, тогда возглаголетъ и намъ: выходите, скажетъ, и вы! выходите пьяненькіе, выходите слабенькіе, выходите соромники! И мы выйдемъ всѣ, не стыдясь, и станемъ. И скажетъ: свиньи вы! образа звѣринаго и печати его; но пріидите и вы! И возглаголятъ премудрые, возглаголятъ разумные: Господи, по что сихъ пріемлеши? И скажетъ: потому ихъ пріемлю, премудрые, потому пріемлю, разумные, что ни единый изъ нихъ самъ не считалъ себя достойнымъ сего. И простретъ къ намъ руцѣ свои, и мы припадемъ... и заплачемъ... и все поймемъ!.. и всѣ поймутъ!..»

Мармеладовъ есть человѣкъ съ очень чувствительной нравственной организаціей и вмѣстѣ съ тѣмъ горькій пьяница, то есть, повидимому, самая подходящая иллюстрація къ разсужденію гр. Толстого. На самомъ дѣлѣ, однако, жестокій талантъ Достоевскаго изобразилъ здѣсь драму чрезвычайно сложную и рѣшительно не вмѣщающуюся въ предлагаемыя гр. Толстымъ рамки. Не одна совѣсть щемитъ Мармеладова, какъ это видно уже изъ его твердой увѣренности, что Господь не отринетъ его въ судный день, не одна совѣсть, а и обида. И не для заглушенія сложной внутренней боли пьянствуетъ онъ, а наоборотъ, для обостренія ея. Онъ говоритъ кабатчику: «Думаешь ли ты, продавецъ, что этотъ полуштофъ твой мнѣ въ сласть пошелъ? Скорби, скорби искалъ я на днѣ его, скорби и слезъ, и вкусилъ, и обрѣлъ».

Но Мармеладовъ, какъ и большинство дѣйствующихъ лицъ въ произведеніяхъ Достоевскаго, можетъ показаться чѣмъ-то искусственнымъ или по крайней мѣрѣ исключительнымъ въ своей мучительной сложности. Обратимся къ примѣру, приводимому самимъ гр. Толстымъ: солдатъ, передъ рукопашной битвой, всегда напаиваютъ; при штурмѣ Севастополя всѣ французскіе солдаты были совершенно пьяны. Спрашивается, съ которой стороны этотъ фактъ можетъ служить подтвержденіемъ тезиса гр. Толстого о пьянствѣ, какъ средствѣ заглушить голосъ совѣсти? Французскіе солдаты, идя на штурмъ

Севастополя, готовились къ дѣлу, за которое имъ нечего было угрызаться совѣстью, они исполняли свой солдатскій долгъ, какъ исполняли его и русскіе солдаты, отбивавшіе приступъ; совѣсть имъ приказывала дѣлать именно то, что они дѣлали, и однако они предварительно напились или ихъ напоили. Судя по нѣкоторымъ прежнимъ писаніямъ гр. Толстого, можно думать, что онъ возразилъ бы на это слѣдующее: солдаты идутъ убивать людей, а совѣсть всегда протестуетъ противъ убійства, какими бы условіями оно ни было обставлено, этого-то червяка и нужно заморить въ солдатахъ опьяненіемъ. Увы! это не совсѣмъ справедливо, даже совсѣмъ несправедливо, какъ видно уже изъ того, что гр. Толстой говоритъ лишь о рукопашной схваткѣ. Стрѣлковъ, должно быть, не напаиваютъ, а вѣдь они тоже людей убиваютъ. Если и дѣйствительно заглушается въ этомъ случаѣ голосъ протестующей противъ убійства совѣсти, то опьяненіе играетъ при этомъ развѣ лишь послѣднюю, грубую роль. Ставъ на точку зрѣнія самого гр. Толстого, пришлось бы признать, что протестующій противъ убійства голосъ совѣсти заглушается въ данномъ случаѣ всѣми тѣми психическими наслоеніями, которыя называются дисциплиной, долгомъ, военною честью патріотизмомъ и т. д. Я знаю, что гр. Толстой не отступилъ бы передъ этимъ выводомъ, не испугался бы его, но долженъ же онъ признать, что кромѣ наркотиковъ, есть множество другихъ, чисто психическихъ вліяній на совѣсть. Кто же не знаетъ объ опьяненіи любви, объ экстазѣ патріотизма, объ увлеченіи примѣромъ, объ опьяненіи славы и т. п. Съ другой стороны, если посмотрѣть на штурмующихъ Севастополь пьяныхъ французскихъ солдатъ просто, безъ излишнихъ изворотовъ мысли, то, кажется, и сомнѣваться нельзя, что они напились или ихъ напоили для временнаго подъема энергіи и для заглушенія страха, а отнюдь не совѣсти.

Существуютъ, конечно, случаи, когда наркотики употребляются дѣйствительно для заглушенія голоса совѣсти. Но сказать, что употребленіе наркотическихъ веществъ «*всегда вызывается одной и той же причиной*», а именно желаніемъ заглушить «вопіющій разладъ между настоящею жизнью и требованіями совѣсти», сказать это—значитъ чрезвычайно легко относиться къ возможнымъ возраженіямъ. Оставимъ въ сторонѣ случаи наркотизаціи съ мистическими цѣлями, ради доставляемаго ею наслажденія и т. п. Съузимъ вопросъ до тѣхъ предѣловъ, которые намѣчаетъ гр. Толстой, сосредоточимся лишь на тѣхъ случаяхъ, когда наркотики употребляются для заглушенія разлада между обстоятельствами жизни и требованіями внутренняго голоса. И все таки этотъ внутренній голосъ нельзя сводить къ одной совѣсти, къ одному чувству виноватости. Въ медицинѣ наркотическія вещества употребляются для достиженія анестезіи и аналгезіи, то-есть притупленія чувствительности вообще или ощущенія боли въ частности. Въ жизни наркозомъ достигается психическая аналгезія. Весьма вѣроятно, что всякая душевная боль, въ концѣ-концовъ, сводится къ мучительному разладу между требованіями сознанія и обстоятельствами жизни. Сюда подходитъ и ущемленная совѣсть, какъ выраженіе разлада между сознаніемъ человѣка и его собственнымъ поступкомъ, сознаніемъ не одобряемымъ. Но это частный случай, рядомъ съ которымъ возможны и дѣйствительно существуютъ другіе частные случаи. Во французскихъ солдатахъ, штурмовавшихъ Севастополь, заглушенію подлежалъ разладъ между чувствомъ самосохраненія, привязанности къ жизни, и предстоящимъ опаснымъ дѣломъ. Въ безчисленномъ множествѣ другихъ случаевъ сознаніе протестуетъ противъ дѣйствительности опять-таки не въ формѣ ущемленной совѣсти, а въ формѣ жгучей обиды, оскорбленной чести. И всякій разъ, какъ сознаніе человѣка становится въ противорѣчіе съ обстоятельствами его жизни, открывается опасность наркоза со всей прелестью даваемаго имъ забвенія и со всѣми его вредными послѣдствіями. А затѣмъ вступаетъ въ свои права привычка.

И такъ, источники пристрастія къ наркотикамъ многообразны и разнообразны. Если гр. Толстой не замѣтилъ этого многообразія и до поразительности опростилъ чрезвычайно сложный вопросъ, то это объясняется его склонностью соединять проповѣдь со своею личною исповѣдью: онъ не хочетъ знать иныхъ путей, кромѣ тѣхъ, которыми самъ прошелъ. Не будь этой его особенности, онъ могъ бы столь же горячо возставать противъ пьянства, которое есть, конечно, порокъ и несчастіе; но онъ увидѣлъ бы, что пьянствуютъ не только сознательно виноватые, а и безъ вины виноватые и совсѣмъ не виноватые, и наконецъ такіе, передъ которыми другіе виноваты.

XXIII.

Объ Іудѣ предателѣ и о XIX передвижной выставкѣ.

Іуда Искаріотъ затмилъ собою всѣхъ предателей, историческихъ и легендарныхъ, дѣйствительно осквернившихъ когда-либо своимъ существованіемъ землю и созданныхъ

или подкрашенныхъ воображеніемъ и стоустою молвою. Это позорное безсмертіе досталось Іудѣ, конечно, не за самый фактъ предательства, который слишкомъ не рѣдокъ, ч обы не найти себѣ многихъ историческихъ или легендарныхъ воплощеній, одинаково выразительныхъ. Предатели всегда были и по-сейчасъ между нами ходятъ. Іуда обезсмертилъ себя прежде всего не самымъ фактомъ предательства, а его объектомъ: онъ предалъ Мессію, надежду и верховнаго учителя милліоновъ исповѣдующихъ христіанское ученіе. Исторія пригвоздила предателя, въ лицѣ Іуды Искаріота, такъ высоко, что онъ видѣнъ всему человѣчеству, даже за предѣлами среды вѣрующихъ христіанъ. Предатели всегда были и по-сейчасъ между нами ходятъ, это вѣрно. Но, во-первыхъ, они не составляютъ всенароднаго позорища, а во-вторыхъ, они ходятъ, а не висятъ. Ученые толкователи св. писанія и историки христіанства задумываются надъ мотивами поступка Іуды, надъ самою обстановкой предательства. Они говорятъ, напримѣръ, что тридцать сребрениковъ,—средняя цѣна одного раба по еврейскому закону,—слишкомъ незначительная цифра, чтобы предатель соблазнился именно деньгами. Они удивляются далѣе, что Іуда долженъ былъ подлымъ поцѣлуемъ указать преслѣдователямъ личность Христа, котораго всѣ и безъ того достаточно знали и который съ справедливымъ и горькимъ упрекомъ сказалъ обступившей его толпѣ: «Какъ будто на разбойника вышли вы съ мечами и кольями взять Меня; каждый день съ вами сидѣлъ Я, уча въ храмѣ, и вы не брали Меня». Но каковы бы ни были эти домыслы относительно мотивовъ и обстановки Іудина дѣла, Іуда безсмертенъ именно въ очертаніяхъ евангельскаго разсказа. Предатель изъ корыстныхъ цѣлей, въ чемъ бы онѣ ни состояли, изгрызенный потомъ совѣстью до самоубійства,—этотъ образъ нуженъ людямъ во всей его полнотѣ. Нѣтъ дѣла гнуснѣе предательства, потому что въ него входятъ многообразныя черты подлости. Предатель одинаково презирается и простыми, и мудрствующими умами, и тѣми, кого онъ предалъ, и тѣми, кому онъ ихъ предалъ. Но обстоятельства всетаки часто складываются такъ, что общее презрѣніе не казнитъ предателя явно, и самъ онъ не сознаетъ своей низости и благоденствуетъ. Такимъ исходомъ человѣческая мысль и человѣческое чувство не могутъ удовлетвориться. Это не исходъ, не конечный пунктъ исторіи предательства, не точка, а развѣ многоточіе, за которымъ должна слѣдовать по крайней мѣрѣ работа воображенія, если ужъ замерла дѣйствительность. Неужели же предатель такъ никогда и не сознаетъ своей гнусности? Очень можетъ быть, и очень часто такъ и бываетъ. Но такая исторія предательства не станетъ популярною, потому что это логически не полная исторія, какой-то отрывокъ, на которомъ возмущенное предательствомъ чувство не можетъ остановиться. Оно подсказываетъ продолженіе исторіи предателя, то именно продолженіе, о которомъ повѣствуетъ евангеліе,—угрызенія совѣсти, мучительныя до того, что и жизнь становится не мила Іудѣ. Вотъ почему образъ Іуды такъ понятенъ и такъ много говоритъ сердцу не только христіанъ. Полуязыческая древность, еще только что испытавшая дуновеніе христіанства, очень быстро сроднилась съ этимъ образомъ и подсунула ему свою осину, о которой уже раньше ходила дурная слава. Уже Добрыня вѣшалъ убитаго имъ Змѣя Горынчища на осину, уже злымъ вѣдьмамъ и колдунамъ вбивали осиновые колья въ спину, и рядомъ съ Змѣемъ Горынчищемъ народная легенда предложила повѣситься Іудѣ, и содрогаются съ тѣхъ поръ листы осины, какъ содрогалась совѣсть предателя.

Были въ разныя времена попытки подставить Іудѣ другой пьедесталъ. Такъ, запутанная мысль гностиковъ создала секту, поклонявшуюся предателю Іудѣ, наравнѣ съ ветхозавѣтнымъ зміемъ-искусителемъ, убійцей Авеля Каиномъ и другими представителями зла въ ветхомъ и новомъ завѣтѣ. Запутанная мысль останавливалась и на томъ обстоятельствѣ, что, не соверши Іуда своего предательства, не пролилъ бы своей драгоцѣнной крови Христосъ для искупленія человѣчества. Переходя къ новѣйшему времени, можно указать романъ одного французскаго писателя (Петручелли де-ла-Гаттина), напечатанный въ формѣ мемуаровъ Іуды, въ которомъ предатель является фанатическимъ политическимъ дѣятелемъ, недовольнымъ тѣмъ, что Христосъ думаетъ лишь о небесномъ, а не о земномъ царствѣ. Но всѣ подобныя созданія ухищренной мысли меркли передъ простотою и законченностью евангельскаго разсказа, который оставался въ общемъ сознаніи непоколебленнымъ. Съ другой стороны, не пускали корней и такія поправки, въ которыхъ негодующая мысль требовала для предателя болѣе сильной казни, чѣмъ какая ему назначена евангеліемъ. Такъ, въ первые вѣка христіанства существовала легенда, что Іудѣ не удалось повѣситься, что его попытку самоубійства во-время замѣтили и спасли его, что онъ потомъ еще довольно долго жилъ, страшно растолстѣлъ и едва могъ двигаться, что, наконецъ, однажды на него наѣхалъ экипажъ и раздавилъ его толстое брюхо. Сал-

тыковъ въ своей удивительной сказкѣ «Христова ночь» тоже надбавилъ казни предателю. Вы помните тѣ страшныя слова проклятія, которыми Христосъ въ этой сказкѣ осудилъ Іуду на безсмертіе въ томъ именно видѣ, въ какомъ онъ цѣловалъ предаваемаго. «О предатель! ты думалъ, что вольною смертью избавился отъ давившей тебя измѣны; ты скоро сознилъ свой позоръ и поспѣшилъ окончить разсчеты съ постыдною жизнью!.. Единый мигъ,—сказалъ ты себѣ,—и душа моя погрузится въ безразсвѣтный мракъ, а сердце перестанетъ быть доступнымъ угрызеніямъ совѣсти. Но да не будетъ такъ. Сойди съ древа, предатель! да возвратятся тебѣ выклеванныя очи твои, да закроются гнойныя раны... Ты будешь жаждать — и тебѣ подадутъ сосудъ, наполненный кровью преданнаго тобою. Ты будешь плакать — и слезы твои превратятся въ потоки огненные, будутъ жечь твои щеки и покрывать ихъ струпьями. Камни, по которымъ ты пойдешь, будутъ вопіять: «предатель, будь проклятъ!» Люди на торжищахъ разступятся передъ тобой и на всѣхъ лицахъ ты прочтешь: «предатель, будь проклятъ!» Ты будешь искать смерти и на сушѣ, и на водахъ—и вездѣ смерть отвратится отъ тебя и прошипитъ: «предатель, будь проклятъ!..»

Это почти музыка, мрачнѣе погребальнаго звона. Но не смотря на то, что сказка Щедрина даетъ, повидимому, большее удовлетвореніе негодующему чувству, не смотря на ея художественную силу и высшую художественную правду, потому что вѣдь Іуда, въ самомъ дѣлѣ, безсмертенъ, — онъ безсмертенъ всетаки въ очертаніяхъ евангельскаго разсказа.

Все это я думалъ по поводу картины г. Ге на передвижной выставкѣ. Подъ картиной написано: «Совѣсть (Іуда)». При лунномъ свѣтѣ «кремнистый путь блеститъ». Вправо отъ зрителя видна группа людей, удаляющихся изъ рамы картины, это — уводятъ Христа. Влѣво стоитъ Іуда и смотритъ вздадъ удаляющимся. Онъ завернулся въ какой-то плащъ, стоитъ къ зрителямъ почти спиной, такъ что еле видна часть его лица, да и то слабо, благодаря полумраку. Почему это «совѣсть»? Угрызенія совѣсти, этотъ драгоцѣннѣйшій для насъ моментъ во всей исторіи Іуды, примиряющій насъ если не съ самимъ предателемъ,—это невозможно,—то съ человѣческой природой, въ достоинствѣ которой мы готовы были усомниться или даже отчаяться,—этотъ моментъ художникъ отваживается изобразить спиной предателя! Благодаря плащу, совсѣмъ окутывающему Іуду, и полумраку, вы развѣ только догадываться можете, что руки предателя, кажется, стиснуты, и если это полусудорожное движеніе, мало замѣтное, принять за выраженіе душевнаго волненія, то имъ и исчерпывается изображеніе совѣсти. Закройте правую сторону картины, сотрите подпись, и иной подумаетъ, что передъ нимъ просто человѣкъ, которому вздумалось выкупаться въ лунную ночь и который теперь дрожитъ отъ холода и кутается въ какую-то хламиду. А между тѣмъ это Іуда, тотъ самый Іуда, страшная исторія котораго занимаетъ умы милліоновъ людей въ продолженіе цѣлаго ряда вѣковъ. Замыселъ картины г. Ге очень смѣлъ, но смѣлость не всегда города беретъ. Чтобы достойно оцѣнить отвагу г. Ге, пройдитесь по выставкѣ немножко дальше и посмотрите на небольшую картинку г. Максимова «Любитель старины». Среди развалинъ, полузаросшихъ зеленью, сидитъ человѣкъ, спиной къ зрителямъ. Можетъ быть это и на самомъ дѣлѣ любитель старины; а можетъ быть просто случайно человѣкъ забрелъ въ развалины и присѣлъ отдохнуть или набросать эскизъ развалинъ въ свою записную книжку, вовсе таки стариной, какъ стариной, не интересуясь. Странная мысль показать намъ этого человѣка съ затылка и скрыть его лицо, на которомъ написанъ восторгъ любителя, сосредоточенное вниманіе, просто усталость, вообще то именно, что можетъ насъ заинтересовать и чего съ затылка никакъ не увидишь. Но такъ какъ неизвѣстный «любитель» самъ по себѣ нисколько не интересенъ, то, пожалуй, и Богъ съ нимъ. Художникъ предлагаетъ намъ всмотрѣться въ затылокъ любителя старины, а мы не внемлемъ предложенію художника, но и не претендуемъ на это. Но, когда тотъ же пріемъ прилагается къ изображенію Іуды Искаріота, мы не можемъ равнодушно пожать плечами и пройти мимо. Слишкомъ ужъ велика претензія, слишкомъ смѣлъ замыселъ и, не говоря о прочемъ, слишкомъ трусливо исполненіе. Я сейчасъ вернусь къ этой трусости, господствующей на нынѣшней выставкѣ вообще.

Допустимъ, что «совѣсть» выражается не спиной Іуды, а всей его позой. Допустимъ, что удаляющаяся вправо толпа свидѣтельствуетъ, что сейчасъ тутъ, на этомъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ Іуда, совершилось что-то значительное. Но и за всѣмъ тѣмъ поза Іуды, особенно въ полумракѣ, настолько не выразительна, что прочитать въ ней спеціальныя угрызенія совѣсти никоимъ образомъ нельзя. Нѣкто замѣтилъ, что это можетъ быть совсѣмъ не Іуда, а, напримѣръ, прокаженный, удаленный, въ силу его болѣзни, отъ людского сообщества и съ ужасомъ думающій, что вотъ уйдетъ сейчасъ эта толпа изъ рамокъ картины, и онъ останется совсѣмъ одинъ. Можетъ быть. Можетъ быть, еще и

разныя другія толкованія можно подвести подъ картину, съ тѣмъ только условіемъ, чтобы въ толкованія эти входилъ мотивъ одиночества. Эта сторона дѣла явственно подчеркнута. Но это не одиночество Іуды.

Говоря о прошлогодней передвижной выставкѣ въ «Письмахъ о разныхъ разностяхъ», я отмѣтилъ преобладаніе мотива одиночества, выразившееся и въ обиліи пейзажей, и въ обиліи картинъ, въ самый сюжетъ которыхъ входитъ одиночество. настоящее или предстоящее въ недалекомъ будущемъ, и въ картинахъ на темы распадающихся или не могущихъ сложиться общественныхъ союзовъ, и въ отсутствіи портретовъ общественныхъ дѣятелей. Въ общихъ чертахъ мы видимъ то же самое и на нынѣшней выставкѣ. Пейзажей очень много и между ними можетъ быть наиболѣе выдающійся представленъ г. Шишкинымъ: написанъ онъ на Лермонтовскую тему: «На сѣверѣ дикомъ стоитъ одиноко на голой вершинѣ сосна». Одинокихъ людей тоже много. Кромѣ вышеупомянутыхъ «Іуды» г. Ге и «Любителя старины» г. Максимова, есть «Лиза» г. Загорскаго, на мотивъ изъ «Дворянскаго гнѣзда» Тургенева: Лиза сидитъ одна въ кельѣ. Есть «Тайная молитва» г. Богданова-Бѣльскаго: тотъ самый чудный мальчикъ, который фигурировалъ на прошлогодней выставкѣ въ картинѣ г. Богданова-Бѣльскаго — «Будущій инокъ», теперь стоитъ колѣнопреклоненный въ лѣсу на «тайной молитвѣ». Того-же художника «Безпріютные»: въ перелѣскѣ, лежа навзничъ, умираетъ или изнываетъ отъ злой лихорадки старикъ-нищій, а возлѣ него сидитъ все тотъ же мальчикъ и съ безпомощной тоской смотритъ на своего спутника. «Въ теплыхъ краяхъ» г. Ярошенко: дама, очевидно, обреченная на курсъ леченія гдѣ-нибудь на водахъ, одиноко сидитъ въ яркой обстановкѣ, рѣзко контрастирующей съ болѣзненнымъ видомъ дамы. Того же художника «Проводилъ»: старикъ стоитъ на платформѣ желѣзнодорожной станціи и смотритъ вслѣдъ удаляющемуся поѣзду,—старикъ остался одинокъ. «Идеа листъ» бар. Клодта: одинокій художникъ трудится надъ картиной въ какой-то мансардѣ съ низкими окнами и потолкомъ. И т. д., и т. д. Я не отчетъ о выставкѣ пишу и не считаю себя призваннымъ не только судить о собранныхъ на ней художественныхъ красотахъ, но даже перечислять все, въ какомъ-нибудь отношеніи выдающееся. Я говорю лишь объ общемъ впечатлѣніи, производимомъ нынѣшнею выставкою, я думаю, не на одного меня. Впечатлѣніе это можно, кажется, передать словомъ скудость. Прежде, всего, какъ и на прошлогодней выставкѣ, скудость самой жизни, отразившейся въ выставленныхъ картинахъ. Но на этотъ разъ бросается въ глаза еще какая-то скудость искусства.

Гербомъ или символомъ для значительной части нынѣшней выставки могла-бы служить «Сосна» г. Шишкина:

На сѣверѣ дикомъ стоитъ одиноко
На голой вершинѣ сосна,
И дремлетъ, качаясь, и снѣгомъ сыпучимъ
Одѣта, какъ ризой, она
И снится ей все, что въ пустынѣ далекой,
Въ томъ краѣ, гдѣ солнца восходъ,
Одна и грустна на утесѣ горючемъ
Прекрасная пальма растетъ.

Одиночество безпросвѣтное, одиночество на яву и даже во снѣ. Насмотрѣвшись на всѣхъ этихъ «проводившихъ», удалившихся отъ міра въ лѣсъ, или отъ шумнаго свѣта въ «теплые края», или отъ собственной совѣсти на осину, на всѣхъ «безпріютныхъ» и одинокихъ, съ нѣкоторымъ удивленіемъ останавливаешься передъ огромнымъ полотномъ г. Сурикова: «Взятіе снѣжнаго городка» (Старинная казачья игра въ Сибири на масляницѣ). Такъ все здѣсь ярко, пестро, шумно, такъ много народу, такой сосредоточенно удалой видъ имѣетъ этотъ конный казакъ, на всемъ скаку разбивающій кулакомъ снѣжную стѣнку. Какъ попала сюда эта ватага веселыхъ, разряженныхъ людей? Зачѣмъ они здѣсь, въ этомъ царствѣ одинокой сосны, которая и во снѣ-то видитъ лишь столь же одинокую пальму? Есть, конечно, на бѣломъ свѣтѣ и шумное веселье, и яркія одежды, но ихъ какъ-то странно видѣть на выставкѣ, какъ-бы посвященной воспроизведенію тоски или ужаса или муки одиночества.

Вотъ еще картина—«Печальная перспектива» г. Бухгольца. На кровати лежитъ исхудалый, явно приговоренный къ смерти человѣкъ. Возлѣ, слегка отъ него отвернувшись, сидитъ тоскующая въ виду явно «печальной перспективы» женщина, и возлѣ нея дѣвочка. Но для двухъ маленькихъ ребатишекъ, играющихъ на полу, печальная перспектива не существуетъ: въ невѣдѣніи своемъ они весело смѣются, тогда какъ завтра же они могутъ очутиться въ положеніи вродѣ тѣхъ «безпріютныхъ», которыхъ нарисовалъ г. Богдановъ-Бѣльскій. Умирающій больной и скорбящая женщина производятъ впечатлѣніе, но дѣти, играющія на полу, и написаны, сколько я могу понимать, плохо, и непріятно поражаютъ утрированностью веселаго выраженія лицъ. Это уже слишкомъ беззаботно, да и едва ли ребятамъ позволятъ такъ шумѣть у постели умирающаго. Г. Бухгольцъ пересолилъ. Но зато это едва-ли не единственный пе-

ресолъ мимики на всей выставкѣ. Напротивъ, въ мимикѣ замѣчается почти вездѣ обильный недосолъ, а отсюда неопредѣленность, неясность, скудость. Скудная, одинокая жизнь вдобавокъ еще скудно или, пожалуй, скупо выражена.

Я не думаю, чтобы это можно было объяснить недостаткомъ талантливости въ художникахъ. Такой, напримѣръ, художникъ, какъ г. Ярошенко, конечно, съумѣлъ бы, еслибы захотѣлъ, подчеркнуть скорбь или раздумье или какое другое душевное состояніе старика, только что кого-то проводившаго. Но онъ не захотѣлъ придать этому образу излишнюю, по его мнѣнію, выразительность, побоялся впасть въ живописную риторику и сосредоточилъ выраженіе драмы разлуки не въ лицѣ или позѣ старика, а во внѣшней обстановкѣ: поѣздъ ушелъ, старикъ остался одинъ, вамъ предоставляется самимъ собразить, что старику тяжело. А старикъ самъ по себѣ, выдѣленный изъ этой подчеркивающей обстановки, слишкомъ не выразителенъ. Можетъ быть, это просто задумчивый отъ природы человѣкъ гуляетъ по платформѣ. Или вотъ, напримѣръ, «Идеалистъ» бар. Клодта. Почему это идеалистъ? Только потому, что онъ живетъ на чердакѣ. Онъ рисуетъ картину, но содержаніе ея намъ неизвѣстно и, значитъ, о какомъ-нибудь идеальномъ направленіи этого художника въ искусствѣ мы судить не можемъ. Лицо у него самое будничное, ординарное, слѣда какихъ-нибудь идеальныхъ восторговъ или помысловъ на немъ нѣтъ. Спора нѣтъ, «идеалистамъ» часто приходится жить на чердакахъ и мыслью витать въ небесахъ среди удручающей скудной обстановки. Но не единственная же это и даже не безусловно необходимая черта «идеализма» въ искусствѣ. Это во-первыхъ, а во-вторыхъ, на чердакахъ живутъ не только художники-идеалисты, а и просто бездарные маляры, произведенія которыхъ не выглядываютъ изъ мастерскихъ и которымъ лучше было-бы попытать свои способности на какомъ-нибудь совсѣмъ иномъ поприщѣ. Можетъ быть, изображенный бар. Клодтомъ художникъ именно и есть такая бездарность. Можетъ быть, онъ совсѣмъ не объ идеалахъ какихъ-нибудь думаетъ, а, напротивъ, о томъ, чтобы попикантнѣе нарисовать голую нимфу и продать ее холостому купеческому сынку; но его и на это не хватаетъ, а потому и съ чердака онъ никакъ не можетъ, при всемъ своемъ желаніи, перебраться въ квартиру получше.

Въ прошломъ году я очень восхищался картинкой г. Богданова-Бѣльскаго «Будущій инокъ». Этотъ вдумчивый мальчикъ, мечтавшій, подъ рѣчи захожаго странника, объ удаленіи отъ грѣховнаго міра, на нынѣшней выставкѣ достигъ своей завѣтной цѣли,— онъ «на тайной молитвѣ» въ лѣсу. Естественно было бы встрѣтить на его лицѣ восторгъ достигнутой цѣли, экстазъ молитвы, слезы умиленія, но—увы!—это все тотъ же прошлогодній мальчикъ, прямо перенесенный изъ избы въ лѣсъ, такъ что онъ и перемѣнить выраженіе своего лица не успѣлъ. О перемѣнѣ въ судьбѣ мальчика и во всей его духовной жизни вы узнаете опять-таки не по лицу его, не по этому, какъ давно и справедливо сказано, «зеркалу души», а по обстановкѣ: былъ въ избѣ, — перешелъ въ лѣсъ. На другой картинѣ г. Богданова-Бѣльскаго, «Безпріютные», все тотъ же мальчикъ сидитъ возлѣ умирающаго старика-нищаго. Взглядъ мальчика, устремленный на умирающаго, такъ же задумчивъ и сосредоточенъ, но на этотъ разъ художникъ внесъ въ лицо своего любимца выразительныя черты спеціальной для даннаго случая безпомощной скорби, а такъ какъ и старикъ очень выразителенъ, то эта картина составляетъ едва ли не самый выдающійся нумеръ на выставкѣ. Мнѣ кажется, что и написана она превосходно, но объ этой сторонѣ дѣла я не берусь судить,—я пишу съ точки зрѣнія профана въ техникѣ.

Я думаю, что въ «Безпріютныхъ» г. Богдановъ-Бѣльскій уловилъ тотъ modus in rebus, отъ котораго одинаково далеки и г. Бухгольцъ съ своими слишкомъ уже громко и выразительно смѣющимися ребятами въ одну сторону, и большинство картинъ нынѣшней выставки въ другую. Перебирая всю выставку въ своей памяти и, за исключеніемъ слегка подернутаго взгляда «безпріютнаго» мальчика на картинѣ г. Богданова-Бѣльскаго, не могу припомнить ни одной слезы. Виноватъ, вспомнилъ. Есть очень миленькая картинка г. Коровина «Отдули»: обиженный товарищами мальчишка реветъ. Но онъ именно реветъ, а не плачетъ и, конечно, черезъ минуту забудетъ свое огорченіе. А между тѣмъ, сколько поводовъ плакать горючими, страшными слезами для всѣхъ этихъ одинокихъ людей. Вотъ старикъ кого-то «проводилъ», можетъ быть, когонибудь дорогого и близкаго и, можетъ быть, на вѣчную разлуку, а что тамъ, вдали ждетъ этого уѣхавшаго, — лишенія, опасности, и старикъ будетъ въ своемъ печальномъ одиночествѣ тревожиться постоянною мыслью объ этихъ опасностяхъ. Вотъ дама, оставившая дома, можетъ быть, много страховъ и сомнѣній и, можетъ быть, пріѣхавшая умирать въ роскошную природу «теплыхъ краевъ». Вотъ «идеалистъ», переживающій въ своемъ убогомъ чердакѣ скорби и радости всего міра. Вотъ «печальная пер-

спектива». Вотъ картина г. Нилуса «Передъ отъѣздомъ на родину»: молодой человѣкъ отпилъ чай, уложилъ свой скудный багажъ и сидитъ въ ожиданіи чего-то, очевидно, очень грустнаго. Что его гонитъ: «судьбы ли рѣшеніе? или на немъ тяготитъ преступленіе»? Вотъ «Старинная пѣсенка» г. Малышева: сѣдой старикъ, опустивъ голову, слушаетъ, какъ играетъ на рояли молодая дѣвушка; можетъ быть, старинная пѣсенка напоминаетъ старику зарытое въ могилѣ счастіе или инымъ путемъ разбитыя золотыя мечты молодости. Вотъ Лиза изъ «Дворянскаго гнѣзда» съ разбитою жизнью. Вотъ, наконецъ, самъ Іуда, только что предавшій своего Христа и чувствующій первую схватку совѣсти. И—ни одной слезы! Согласитесь, что это странно до поразительности. Не сосны же мы въ самомъ дѣлѣ, которымъ, какъ бы онѣ ни были несчастны на яву и во снѣ, нечѣмъ плакать. Осина, за неимѣніемъ слезъ, по крайней мѣрѣ, задрожала, когда на ней повѣсился Іуда, и тѣмъ выразила свою скорбь или негодованіе. А наши художники, выбирая горькіе сюжеты, норовятъ довести выразительность ихъ до минимума. Въ «зеркалѣ души» они хотятъ отразить какъ можно меньше, предпочитая яркой мимикѣ подогнанную къ обстоятельствамъ мертвую обстановку. Мало того, что они скупы на выразительность лица, они норовятъ еще по возможности закрыть, отвернуть въ сторону, закутать лицо. Г. Максимовъ, напримѣръ, прямо и просто отвернулъ отъ насъ «зеркало души» своего любителя старины. Г. Малышевъ такъ низко наклонилъ голову старика, слушающаго старинную пѣсню, что его лица совсѣмъ не видно. Г. Ге закрылъ лицо Іуды и ночнымъ мракомъ, и позой.

Все это вмѣстѣ взятое дѣлаетъ выставку блѣдной, скудной, и невольно задаешься вопросомъ: да отчего же это такъ, таланта что-ли не хватаетъ у гг. художниковъ? Въ такомъ случаѣ имъ бы ужъ лучше и не браться за исполненіе сюжетовъ, которые имъ не подъ-силу, или по крайней мѣрѣ сбавлять тонъ подписей подъ своими картинами. Писать напримѣръ, не «идеалистъ», а «бѣдный художникъ»; не «проводилъ», а «проводилъ до ближайшей станціи»; не «совѣсть (Іуда)», а хоть просто «Іуда». Но бѣда, очевидно, не въ недостаткѣ таланта, потому что мы имѣемъ передъ собою не плохую передачу извѣстныхъ душевныхъ состояній, а намѣренное уклоненіе отъ выразительности. Въ основѣ этого уклоненія есть, я думаю, здравое начало, то самое, которое и всегда болѣе или менѣе заявляло себя, если не на академическихъ выставкахъ, то на передвижныхъ,—простота, трезвость, избѣганіе утрировки и кричащихъ эффектовъ. Это прекрасный принципъ, но вѣдь въ самомъ дѣлѣ est modus in rebus. Нынѣшняя выставка явственно показываетъ, что принципомъ простоты и трезвости можно также злоупотреблять, какъ и противоположнымъ принципомъ риторическаго преувеличенія дѣйствительности. Господа художники ужъ слишкомъ трусятъ сантиментальности, яркаго выраженія страданій, яркой выразительности вообще. Они боятся пересола и впадаютъ въ недосолъ, всячески сглаживая центръ тяжести всей картины, самаго ея смысла, на физіономіяхъ дѣйствующихъ лицъ и перенося его по возможности на обстановку. Если эта манера утвердится окончательно, такъ, конечно, нашимъ художникамъ лучше не браться за трогательные сюжеты. Трогательный сюжетъ, нетрогательно выполненный, — кому это нужно? Спокойными, умѣренными, сдержанными чертами надо и соотвѣтственныя вещи рисовать, и тогда не будетъ разлада между задачей и исполненіемъ. И никто не станетъ съ недоумѣніемъ спрашивать: да почему же это «идеалистъ»? гдѣ же тутъ «совѣсть»?

Я возвращаюсь съ этимъ вопросомъ къ картинѣ г. Ге. Художникъ взялъ темой міровую легенду, страшную, раздирающую. Изо всего евангельскаго разсказа онъ выбралъ самый интересный, но и самый трудный, чисто психологическій моментъ: не поступки Іуды, начинающіе и кончающіе исторію предательства, не полученіе цѣны крови Христа, не подлѣйшій изъ поцѣлуевъ въ исторіи, не самоубійство, — а «совѣсть». Смѣлость огромная, но при исполненіи г. Ге струсилъ и нарисовалъ чуть-что не пустое мѣсто. Не забудьте, что Іуда не нашъ сѣверный предатель, который, можетъ быть, дѣйствительно съ мрачнымъ спокойствіемъ пойдетъ къ осинѣ, когда его изгрызетъ совѣсть. Іуда—еврей, человѣкъ отъ природы склонный къ усиленной жестикуляціи во всѣхъ выходящихъ изъ ряда случаяхъ жизни, радостныхъ и горестныхъ. Мы знаемъ, какъ торжествующій Давидъ скакалъ и игралъ во время богослуженія, знаемъ изъ Библіи, что горе вообще и раскаяніе въ частности выражалось у евреевъ воплями, раздираніемъ одеждъ, посыпаніемъ головы пылью, воздыманіемъ рукъ къ нему и тому подобными яркими штрихами страстнаго чувства. И, конечно, Іуда, сознавъ ужасъ своего преступленія, долженъ былъ продѣлать надъ собой всѣ эти неистовства прежде чѣмъ повѣситься. Онъ долженъ былъ именно рвать на себѣ волосы, драть одежды, проклинать себя, стукаться головой объ землю и, только увидавъ, что все это не можетъ заглушить воплей возмущенной совѣсти, удавиться.

Правда, евангеліе ничего объ этомъ не говоритъ, но уже тотъ фактъ, что Іуда пошелъ къ подкупившимъ его и «бросилъ передъ ними полученныя имъ деньги», свидѣтельствуетъ о бурномъ волненіи чувства, выражавшемся соотвѣтственною жестикуляціей. А г. Ге, при всей смѣлости замысла, побоялся не только нарисовать такую страшную картину, но даже показать намъ «зеркало души» предателя, а самого его сдѣлалъ неподвижнымъ. Одно изъ двухъ: или художникъ не чувствовалъ въ себѣ силы нарисовать лицо раскаявшагося предателя своего Господа,—и мы поняли бы эту скромность, потому что задача въ самомъ дѣлѣ изъ ряду вонъ трудная, но тогда не слѣдовало бы и браться за нее; или-же, изъ боязни пересола, художникъ намѣренно ослабилъ краски, и въ такомъ случаѣ опять-же слѣдовало-бы предоставить смѣлую тему другимъ, менѣе боязливымъ художникамъ. Какъ вы ни всматривайтесь въ картину г. Ге, «совѣсти» вы въ ней не найдете. Если это предатель, то не грызомый совѣстью Іуда, а какой-нибудь другой, чья совѣсть, можетъ быть, очень удобно заглушается даже масляничными блинами, по рецепту гр. Толстого. Конечно, есть и такіе предатели, и даже очень много ихъ, и отчего бы ихъ и не рисовать, но подписывать подъ ними громкія слова вродѣ «совѣсть», «Іуда» не приходится; «мерзавецъ обыкновенный»,—вотъ все, что можно подписать подъ такимъ изображеніемъ. Г. Ге ихъ рисовать не хочетъ, а Іуду, это воплощеніе сознавшей и казнившей себя неизрѣченной подлости,—не можетъ или боится, но всетаки отваживается при помощи художественныхъ уловокъ вродѣ ночного мрака и закутанной фигуры, имѣющихъ цѣлью ослабить выразительность вообще, выразительность «зеркала души» въ особенности.

Недостатокъ этотъ особенно бросается въ глаза въ картинѣ г. Ге, благодаря тому, что контрастъ между огромностью задачи и убавленностью, преуменьшеніемъ исполненія слишкомъ ужъ великъ. Но болѣе или менѣе недостатокъ этотъ проникаетъ всю нынѣшнюю передвижную выставку, составляетъ, за малыми исключеніями, самую ея характеристическую общую черту. Скупы стали господа художники, непомѣрно скупы на выразительность. Избѣгая преувеличеній, они впадаютъ въ преуменьшеніе, и это печально.

XXIV.

Памяти Николая Васильевича Шелгунова.

«Похоронъ много, крестинъ нѣтъ». Такъ съострилъ кто-то на похоронахъ Елисеева. Острота удачная, хорошо характеризующая, по крайней мѣрѣ, одну сторону положенія дѣлъ въ современной нашей литературѣ. Одна за другой, съ трагическою быстротою, убываютъ старыя крупныя литературныя силы, и что-то не видать имъ на смѣну новыхъ. Разумѣется, не вѣчно будетъ такъ тянуться. Гдѣ-нибудь подростаютъ новыя силы и въ свое время яркимъ блескомъ озарятъ сиротѣющую литературу. Но когда-то еще это будетъ, а пока литература только сиротѣетъ,—похоронъ много, крестинъ нѣтъ. И вотъ еще похороны...

Не прошло еще, кажется, и двухъ мѣсяцевъ съ тѣхъ поръ, какъ вышли сочиненія Шелгунова съ моимъ предисловіемъ, въ которомъ я старался выяснить значеніе его, какъ писателя. Мнѣ нечего прибавить къ тому, что тамъ сказано, но при жизни Шелгунова я не могъ говорить о немъ, какъ о человѣкѣ; смерть развязываетъ мнѣ въ этомъ отношеніи руки.

Хорошенько не помню, когда я познакомился съ Шелгуновымъ. Это было, должно быть, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, въ одинъ изъ его пріѣздовъ, кажется, изъ Калуги, гдѣ онъ тогда постоянно жилъ, въ Петербургъ. Насъ познакомили на какомъ-то литературномъ вечерѣ, потомъ онъ былъ у меня, потомъ скоро уѣхалъ. Въ этотъ разъ мы далеко не сошлись. Впослѣдствіи онъ разсказывалъ мнѣ, что я произвелъ на него впечатлѣніе человѣка холоднаго, сухого, «головного», какъ онъ выражался. Онъ же, каюсь, показался мнѣ просто неинтереснымъ, я обратилъ на него мало вниманія. Но когда Шелгуновъ поселился въ Петербургѣ и мы стали чаще встрѣчаться, наши отношенія быстро приняли дружескій характеръ. Въ концѣ 1882 г. намъ пришлось ѣхать вмѣстѣ въ Выборгъ, гдѣ мы вмѣстѣ-же и поселились. Мы прожили на одной квартирѣ, помнится, съ полгода, послѣ чего Шелгуновъ получилъ разрѣшеніе поселиться въ Царскомъ Селѣ, а потомъ и въ Петербургѣ. Скоро ему пришлось уѣхать, на этотъ разъ въ деревню, въ Смоленскую губернію. Оттуда онъ пріѣзжалъ изрѣдка въ Петербургъ по дѣламъ или для совѣщаній съ врачами, потому что уже давно прихварывалъ. Тутъ его и смерть настигла.

Еслибы я и раньше не успѣлъ приглядѣться къ Шелгунову, то одного совмѣстнаго житья въ Выборгѣ было бы достаточно, чтобы проникнуться глубочайшимъ уваженіемъ и любовью къ этому человѣку. Я былъ такъ счастливъ, что встрѣчалъ въ жизни не мало истинно прекрасныхъ людей, но одно изъ первыхъ мѣстъ въ этой дорогой для меня портретной галлереѣ принадлежитъ Шелгунову. Не знаю, съумѣю-ли я выра-

зить словами его удивительную душевную красоту.

Шелгуновъ говаривалъ, что есть особенные люди, совмѣщающіе въ себѣ черты мужского и женскаго характера, и что это-то и есть настоящіе люди. Въ самомъ Шелгуновѣ, дѣйствительно, совмѣщались лучшія стороны мужского и женскаго типа. Судьба не баловала его, и мужественнѣе, чѣмъ онъ, нельзя было, я думаю, переносить ея иногда жесточайшіе удары. Закалился-ли онъ въ житейскихъ буряхъ, которыхъ ему пришлось вынести такъ много и такихъ разнообразныхъ, или ужъ такимъ уродился, но всякую свою личную бѣду онъ встрѣчалъ, не моргнувъ глазомъ. Прибавьте къ этому истинно женскую нѣжность сердца не просто добраго, а ласковаго, участливаго, тонко деликатнаго, и въ цѣломъ получится нѣчто столь же рѣдкое, какъ и привлекательное, настоящій, цѣльный человѣкъ. Сочетаніе мужественной силы и женской нѣжности придавало какое-то особенное изящество всему обиходу Шелгунова, удерживая его отъ уклоненія какъ въ сторону грубости, которая иногда свойственна силѣ, такъ и въ сторону слабости, которая часто сливается съ нѣжностью. Я не былъ при Шелгуновѣ въ 1887 г., когда надъ нимъ стряслась послѣдняя и горшая бѣда, тяжелое семейное горе... Но потомъ мнѣ часто случалось бесѣдовать съ нимъ на эту печальную тему, и прямо говорю: прекраснѣе того зрѣлища, которое представляла собою въ эти минуты его душа, я ничего въ жизни не видалъ. Именно потому, что сочетаніе мужественнаго характера и нѣжнаго сердца особенно ярко выступало въ этомъ случаѣ. Но оно явственно сквозило и въ мелочахъ повседневной жизни. Мужественность и нѣжность въ немъ постоянно точно контролировали другъ друга, и я помню, что въ первое время нашего выборгскаго сожительства это меня даже стѣсняло. Надо сказать, что въ Выборгъ ему пришлось ѣхать собственно изъ-за меня, и мнѣ было передъ нимъ очень стыдно Мнѣ было бы легче, еслибы онъ хоть пожаловался на судьбу, которая послѣ долголѣтнихъ мытарствъ сдѣлала его совершенно безвиннымъ участникомъ моей бѣды. Но не только ни единой такой жалобы не слыхалъ я отъ него хотя бы въ намекѣ, а еще онъ же утѣшалъ меня, придумывалъ отвлеченія и развлеченія. Это было до-нельзя трогательно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и мучительно для меня, пока мы не «притерлись» другъ къ другу, какъ онъ выражался, пока я не понялъ, что это ужъ такой особенный человѣкъ, который не къ одному ко мнѣ такъ относится и котораго надо брать такимъ, какъ онъ есть.

Еще-бы не брать! Еслибы такихъ много было, мы бы въ раю жили. Не умъ и не талантъ Шелгунова были въ немъ особенно характерны, а полнота, многосторонность и уравновѣшенность души, которая зависѣла, можетъ быть, отъ того же сочетанія лучшихъ чертъ мужского и женскаго типа. Это особенно сказалось во время его болѣзни. Умеръ онъ отъ воспаленія въ легкихъ, случайно схваченнаго на прогулкѣ за недѣлю до смерти. Но коренною его болѣзнью, которая все равно скоро доканала бы его, былъ ракъ въ почкахъ. Онъ таялъ, какъ свѣчка, но какъ свѣчка же и горѣлъ и свѣтилъ ровнымъ свѣтомъ вплоть до конца. Прошлымъ лѣтомъ онъ ѣздилъ на Кавказъ, частію лѣчиться, частію повидаться съ сыномъ. На возвратномъ пути въ Смоленскую губернію онъ заѣхалъ ко мнѣ въ Клинскій уѣздъ, гдѣ я жилъ на дачѣ. Увидѣвъ его, я изумился и испугался. Примѣрно за годъ, что мы не видались, онъ страшно исхудалъ и поблѣднѣлъ. Что-то мертвенное уже и тогда лежало на его лицѣ. Но это былъ все тотъ же мужественно-нѣжный Николай Васильевичъ, бодрый духомъ, полный общественныхъ интересовъ, занятый планами литературныхъ работъ. Тогда готовилось изданіе его сочиненій, и это его особенно занимало. Такъ какъ за годъ я успѣлъ немножко отвыкнуть отъ его обращенія, то онъ не замедлилъ меня сконфузить. Все мое участіе въ дѣлѣ изданія его сочиненій состояло въ томъ, что я по его просьбѣ сообщилъ эту мысль издателю, Ф. Ѳ. Павленкову, и затѣмъ передалъ Шелгунову благопріятный отвѣтъ, выраженный въ чрезвычайно симпатичной формѣ, да еще взялся написать предисловіе, что для меня самого составляло удовольствіе. Но Шелгунову всегда казалось, что онъ получаетъ слишкомъ много, а даетъ слишкомъ мало. «Чѣмъ я тебя отблагодарю?» Этотъ вопросъ мнѣ часто случалось отъ него слышать, и всегда онъ меня сначала конфузилъ, а потомъ смѣшилъ, потому что, при всемъ моемъ желаніи, мнѣ въ дѣйствительности ни разу не случалось оказать ему сколько-нибудь серьезную услугу. Бывало, просидишь у него, у больного, вечеръ, просидишь съ истиннымъ удовольствіемъ, а онъ — «чѣмъ я тебя отблагодарю?» Принесешь ему растегай въ 30 копѣекъ, о которомъ онъ наканунѣ говорилъ,—«чѣмъ я тебя отблагодарю?» И это была не фраза, — онъ дѣйствительно чувствовалъ себя обязаннымъ благодарностью и за ваше собственное удовольствіе или за растегай обдавалъ васъ нѣжностью. Въ послѣднее время онъ бывалъ иногда очень раздражителенъ, вслѣдствіе сильнаго истощенія и періодическихъ жестокихъ болей

въ желудкѣ. Разъ, на какое-то мое невѣрное, по его мнѣнію, замѣчаніе о ходѣ его болѣзни, онъ сердито отвѣтилъ, что ему лучше знать, какъ онъ себя чувствуетъ, и что, дескать, коль ты чего не знаешь, такъ не надо и говорить. Черезъ какихъ-нибудь пять минутъ онъ просилъ у меня прощенія. «Да за что, голубчикъ Николай Васильевичъ?»—«Я тебѣ нагрубилъ»...

Написавши это, я подумалъ, что рисую передъ читателемъ что-то слащавое, приторное. Но ничего подобнаго не было въ дѣйствительности. Эта нѣжность и деликатность, которая въ моей передачѣ можетъ показаться утрированною и которая была бы такою въ другомъ, въ Шелгуновѣ умѣрялась и уравновѣшивалась мужественной силой. Болѣзнь его была ужасно мучительна. Съѣвъ что-нибудь, онъ по прошествіи нѣкотораго времени чувствовалъ страшныя боли, которыя прекращались лишь выполаскиваніемъ желудка, то есть выведеніемъ изъ него только-что принятой пищи. Такимъ образомъ онъ постоянно либо былъ голоденъ, либо страдалъ отъ боли, и еслибы не случайное воспаленіе легкихъ, ему грозила бы голодная смерть со всѣми ея ужасами. Недѣли за три до смерти онъ взвѣшивался на вѣсахъ, и оказалось, что за время своего пребыванія въ Петербургѣ, около двухъ мѣсяцевъ, онъ, и безъ того уже исхудалый, потерялъ одинъ пудъ 8 фунтовъ. Тѣмъ не менѣе посторонніе люди находили иногда, что, хоть онъ очень похудалъ и измѣнился, но, повидимому, совсѣмъ здоровъ. Я самъ, бывая у него очень часто, видя его въ хорошія и въ дурныя минуты, зная отъ лѣчившаго его проф. В. А. Манассеина, равно какъ и приглашавшихся иногда другихъ врачей, весь ходъ его болѣзни, подчасъ диву давался. Онъ былъ веселъ, спокоенъ, читалъ, писалъ, а когда не могъ отъ физической слабости писать—диктовалъ, строилъ планы на будущее. Его умственная жизнь сохранилась во всей полнотѣ и силѣ, до самаго конца властно управляя изможденной плотью. Кто повѣритъ, что его статья въ только-что вышедшемъ апрѣльскомъ нумерѣ «Русской Мысли» продиктована (уже не написана) 66-лѣтнимъ старикомъ, умирающимъ голодною смертью?! Это молодой человѣкъ писалъ, полный жизни, полный вѣры въ жизнь. А это еще не послѣдняя его статья. Онъ уже началъ диктовать свои очередные «Очерки русской жизни» для майской книжки журнала и довольно далеко подвинулъ ихъ впередъ.

Много уроковъ преподалъ Шелгуновъ читателямъ за свою долгую литературную дѣятельность. Но цѣннѣе ихъ всѣхъ тотъ, который преподанъ самою его жизнью, всею жизнью, а пожалуй и смертью. Говорятъ, что жаръ души, великодушные идеалы, широкіе горизонты, готовность жертвовать собой, что все это аттрибуты только молодости. Говорятъ, что житейскій опытъ подавляетъ и долженъ подавлять все это, клеймитъ собственные молодые порывы именемъ «завиральныхъ идей», подмѣниваетъ идеальныя стремленія другими, такъ называемыми практическими, которыя въ сущности всѣ сводятся къ наживѣ и карьерѣ. Правду говорятъ: такъ бываетъ. Но неправда, что такъ всегда бываетъ, и вящшая неправда, что такъ должно быть, что это какой-то естественный законъ роста. Гробъ Шелгунова провожала тысячная толпа, состоявшая, главнымъ образомъ, изъ молодежи, восторженно и умилительно настроенной. Глядя на эту толпу, я думалъ: что эти молодыя лица когда-нибудь избороздятся морщинами, что эти русыя и черныя головы когда-нибудь посѣдѣютъ, это вѣрно; но чтобы всѣ эти молодыя сердца очерствѣли и молодые умы заплесневѣли, это по крайней мѣрѣ не обязательно. Вѣдь вотъ умеръ же человѣкъ «со знаменемъ въ рукѣ», какъ значилось на лентахъ одного изъ вѣнковъ, положенныхъ на гробъ Шелгунова. И въ этомъ великій урокъ. Ни годы, ни невзгоды не побѣдили Шелгунова, житейскій опытъ не состарилъ его души... Тысячи народу перебывали на квартирѣ Шелгунова, чтобы поклониться его праху, и всѣ видѣли, гдѣ онъ жилъ и умеръ: въ маленькихъ, низенькихъ комнатахъ на второмъ дворѣ. Онъ самъ очень точно описалъ это помѣщеніе въ апрѣльскихъ «Очеркахъ русской жизни», говоря о «картинѣ первыхъ, вторыхъ и третьихъ дворовъ (въ Петербургѣ); то есть узкихъ, глубокихъ колодцевъ, съ выгребными ямами на днѣ, съ неподвижнымъ, отравленнымъ воздухомъ, съ грязными, холодными, крутыми лѣстницами... Квартиры въ этихъ колодцахъ полусвѣтлыя, небольшія, затхлыя, въ которыя не проникаютъ ни воздухъ, ни солнце». И среди этой жалкой обстановки, среди жестокихъ физическихъ мукъ онъ только и мечталъ о дальнѣйшей литературной дѣятельности. О смерти онъ, можно сказать, до послѣднихъ минутъ не думалъ. Онъ не зналъ, что его точитъ неизлѣчимая болѣзнь, вѣрилъ, что скоро поправится, и если говорилъ о своей смерти, то такъ же мимоходомъ къ слову, какъ всѣмъ и здоровымъ случается говорить. Онъ думалъ, что для него только еще наступаетъ періодъ настоящей старости, и за какую-нибудь недѣлю до смерти говорилъ, что устроитъ свою старость «по-молодому»,—подлинное его выраженіе. Это зна-

чило, что онъ будетъ работать усиленнѣе, чѣмъ когда-нибудь, соединивъ въ работѣ житейскій опытъ старости съ горячностью молодости. Зрѣлый возрастъ нехорошъ,—говорилъ онъ,—много соблазновъ, много чисто личной жизни. Въ старости ничего этого нѣтъ, надо только ее устроить по-молодому. Старый, больной, неимущій, онъ чувствовалъ себя молодымъ, здоровымъ, богатымъ. Да онъ и былъ такимъ, только всѣ эти эпитеты надо перенести въ сферу духовной жизни. По случаю своей тяжкой болѣзни, слухи о которой давно ходили, онъ получилъ множество адресовъ. Ни у одного богача не найдется столько льстецовъ, а это были вдобавокъ и не льстецы. Какого богача провожаютъ тысячи на кладбище? Какому богачу поетъ вѣчную память сто-голосый хоръ добровольныхъ пѣвчихъ? И много-ли найдется молодыхъ и здоровыхъ людей, которые могли бы написать такую статью, какую къ обычному сроку доставилъ умирающій Шелгуновъ для журнала, въ которомъ онъ работалъ? Правда, похоронить его было не на что. Но частныя лица говорили мнѣ, что хорошо бы похоронить Шелгунова на счетъ друзей и почитателей. Редакція «Русской Мысли» прислала деньги на вѣнокъ и на похороны, но такъ какъ честь похоронъ уже принялъ на себя литературный фондъ, то я предложилъ редакціи обратить остатокъ отъ присланной суммы на постановку памятника на могилѣ Шелгунова и получилъ ея согласіе. Конечно, этихъ денегъ мало, но надо думать, что не замедлятъ и другія пожертвованія.

Право, какъ сообразишь все это, то поневолѣ подумаешь, что измѣна идеаламъ добра и правды просто-таки невыгодна, что жить и умереть такъ, какъ жилъ и умеръ Шелгуновъ, даже прямой разсчетъ. И въ писаніяхъ своихъ, и въ разговорѣ Шелгуновъ часто употреблялъ немножно неуклюжее слово «ячество». Это не эгоизмъ самъ по себѣ: какъ и всѣ теоретики шестидесятыхъ годовъ, Шелгуновъ,—впрочемъ, менѣе послѣдовательно, чѣмъ другіе,—стоялъ за эгоизмъ, какъ за единственный принципъ, къ которому въ послѣднемъ счетѣ сводятся всѣ основанія нравственности, подъ условіемъ извѣстной широты личныхъ горизонтовъ, способныхъ обнять и чужіе интересы, какъ свои собственные. «Ячество» есть эгоизмъ узкаго и односторонняго человѣка, который дальше своего носа ничего не видитъ, которому этотъ непомѣрно длинный носъ заслоняетъ собою весь міръ. Значительная часть всей литературной дѣятельности Шелгунова можетъ быть сведена къ борьбѣ съ этимъ «ячествомъ». Его-же подавлялъ онъ и въ себѣ, если только ему нужно было что-нибудь въ этомъ родѣ подавлять въ себѣ. И вотъ плоды..

Многочисленные сочувственные адресы,—естественные цвѣты и плоды, выросшіе изъ сѣмянъ, имъ самимъ посѣянныхъ,—чрезвычайно поднимали духъ Шелгунова и много помогали ему бороться съ недугомъ и самою смертью. Я не фразу пишу, а записываю мнѣніе врачей. Не надо было, впрочемъ, быть спеціалистомъ, чтобы понимать что въ маленькой, темной комнатѣ на заднемъ дворѣ огромнаго дома на Воскресенскомъ проспектѣ сильный духъ борется съ изможденною плотью, борется и побѣждаетъ, потому что Николай Васильевичъ и умеръ непобѣжденнымъ. Не смотря, однако, на бодрящее впечатлѣніе, которое производили на него сочувственные адресы и письма, онъ зорко слѣдилъ за тѣмъ, чтобы не «возгордиться». «Вижу,—говорилъ онъ,—что прожилъ не даромъ и еще хочу жить не даромъ, много жить; одного боюсь: какъ бы не возгордиться. Я ужъ и теперь замѣчаю, что сталъ что-то больно увѣренно и властно говорить». Скромность его была поразительна, доходя даже до наивности. Сначала онъ былъ изумленъ и сконфуженъ адресами и письмами, а между тѣмъ читатели уже давно привыкли съ нетерпѣніемъ ждать его статей въ «Русской Мысли» и искать въ нихъ руководящаго отклика на свои сомнѣнія. Исключительно блестящіе таланты, рядомъ съ которыми Шелгунову приходилось работать въ старые годы,—Чернышевскій Добролюбовъ, потомъ Писаревъ,—заслоняли его. И едва-ли много найдется людей, которые принимали бы выпавшую имъ на долю вторую роль съ такимъ спокойнымъ достоинствомъ, съ такимъ искреннимъ и открытымъ уваженіемъ къ первымъ нумерамъ, какъ Шелгуновъ. Однако и тогда его имя было однимъ изъ самыхъ замѣтныхъ и почтенныхъ въ литературѣ. А съ тѣхъ поръ и обликъ литературы значительно измѣнился, да и самъ Шелгуновъ выросъ. Онъ совсѣмъ бросилъ компилятивную популяризирующую работу, которая у него отнимала прежде много времени, и сосредоточился на руководящей публицистикѣ. Для него наступила вторая молодость. Его «Очерки русской жизни», полные свѣта и тепла, читались съ жадностью. Въ нихъ онъ, въ необыкновенно живой формѣ, боролся на старости лѣтъ за идеалы своей молодости. Эта борьба составляетъ одну изъ лучшихъ страницъ во всей современной русской литературѣ. Въ ней уже сказалась та «старость по-молодому», о которой Шелгуновъ мечталъ лишь какъ о будущемъ: молодая вѣра, молодая надежда, молодая любовь, умудренныя житейскимъ опытомъ, или пожалуй наоборотъ—

житейскій опытъ, согрѣтый молодымъ энтузіазмомъ и энергіей.

Необыкновенная душевная красота Шелгунова окружала его какимъ-то сіяніемъ даже въ такихъ случаяхъ, которые, казалось бы, ничѣмъ нельзя скрасить. Возьмите, напримѣръ, положеніе хронически голоднаго человѣка, въ которомъ находился Шелгуновъ въ послѣднее время. Ѣсть хочется, а съѣсть что-нибудь — начинаются боли; для прекращенія боли выполощетъ желудокъ и опять голоденъ. Казалось бы, воркотня, стоны, жалобы — вотъ чего надо исключительно ждать отъ человѣка, осужденнаго вертѣться въ этомъ страшномъ колесѣ. Бѣдному Николаю Васильевичу и приходилось иногда ворчать, стонать и жаловаться. Но его изящная, тонкая нервная организація и тутъ находила выходы или обходы. Первый обходъ состоялъ въ томъ, чтобы заглушать боль или голодъ работой или разговоромъ на тему, способную сильно заинтересовать. Мнѣ не разъ случалось заставать Шелгунова въ трудномъ положеніи: лежитъ пластомъ, боится пошевелиться, чтобы не начались боли, еле говорить можетъ. Слабымъ голосомъ объявляетъ: «говори сегодня ты, я не могу, я слушать буду». Такъ какъ я хорошо зналъ, чѣмъ можно его заинтересовать, то мнѣ не трудно было выбрать подходящую тему. Смотришь, Николай Васильевичъ понемножку говорить начинаетъ, поворачивается, садится и черезъ какую-нибудь четверть часа совсѣмъ другой человѣкъ сталъ. Это было поразительно. Другой обходъ состоялъ въ томъ, чтобы «ѣсть нервами». Когда онъ былъ настолько крѣпокъ, что могъ выходить, онъ просилъ иногда сводить его въ трактиръ. Не всегда онъ чувствовалъ себя хорошо въ такихъ случаяхъ, но иногда приходилось удивляться и его аппетиту, и его бодрому расположенію духа. Сказалъ я ему однажды, что дома ему лучше обѣдать, потому что дома и провизія и приготовленіе достовѣрнѣе, чѣмъ въ трактирѣ, а у него желудокъ плохъ. «Въ томъ-то и дѣло, что желудокъ плохъ,—отвѣчалъ онъ,—и желудокъ, и кишки, какъ безсильныя тряпки. Я теперь не желудкомъ ѣмъ, а глазами, ушами, нервами, воображеніемъ,—мнѣ нужно, чтобы кругомъ оживленіе было, чтобы людей много было, чтобы музыка играла». И затѣмъ пошли нѣжныя, ласковыя слова, какъ только онъ умѣлъ ихъ говорить, въ благодарность за то, что пообѣдалъ съ нимъ въ трактирѣ.

Такъ боролся Шелгуновъ съ недугомъ и смертью... Вѣчная тебѣ память, милый, дорогой Николай Васильевичъ! Вѣчная память мужественному, вѣчная память нѣжному, вѣчная память человѣку!

XXV.

Опять объ отцахъ и дѣтяхъ.

«Обломки разбитаго корабля. Сцены у мировыхъ судей шестидесятыхъ годовъ»,— какъ понимать это заглавіе недавно вышедшей книжки г. Никитина? Считаетъ ли г. Никитинъ разбитымъ кораблемъ судебную реформу 1864 г., въ частности институтъ мировыхъ судей, а можетъ быть всю эпоху шестидесятыхъ годовъ? Или же, напротивъ того, «разбитый корабль» есть въ данномъ случаѣ символическое обозначеніе тѣхъ формъ жизни, которыя были упразднены эпохою реформъ? Можно толковать и такъ, и этакъ, потому что г. Никитинъ не объясняетъ своего заглавія, а содержаніе книжки, да и логика жизни допускаютъ оба толкованія. И эта возможность двойственнаго толкованія очень характерна для переживаемаго нами времени. Мы находимся на нѣкоторомъ распутіи и не только въ заглавіи книжки г. Никитина, а и въ самой жизни едва ли можемъ съ безповоротною рѣшительностью указать, что именно заслуживаетъ названія разбитаго корабля. Прислушайтесь къ рѣчамъ нашихъ рыцарей попятнаго движенія. Среди звуковъ торжества и ликованія, вы часто услышите минорныя ноты, вздохи по невозвратно прошедшему, скорби о настоящемъ, опасенія за будущее. Они какъ будто очень довольны положеніемъ вещей, а какъ будто и совсѣмъ недовольны. И они съ своей точки зрѣнія правы и въ томъ, и въ другомъ случаѣ. Они могутъ, конечно, найти не мало поводовъ для ликованія, если имѣть въ виду судьбу того или другого учрежденія, получившаго свое начало въ шестидесятыхъ годахъ; но если «посмотрѣть да посравнить вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій» въ цѣломъ и за болѣе продолжительный періодъ, то окажутся умѣстными и минорныя ноты.

Въ книжкѣ г. Никитина напечатаны 82 «сцены у мировыхъ судей» изъ двухъ слишкомъ тысячъ, записанныхъ и большею частію напечатанныхъ составителемъ въ разныхъ газетахъ четверть вѣка тому назадъ. Какая-нибудь не полная сотня сценъ — не Богъ знаетъ какой матеріалъ для характеристики «разбитаго корабля», что бы мы подъ разбитымъ кораблемъ не разумѣли. Можно найти много и много книгъ, безъ сравненія болѣе значительныхъ въ этомъ отношеніи. Но эти сценки, снятыя живьемъ съ натуры, безъ всякой системы и задней мысли, изображающія разныя повседневные житейскіе случаи, имѣютъ тоже свою цѣну. Онѣ наглядно показываютъ, съ

какимъ матеріаломъ приходилось имѣть на первыхъ порахъ дѣло мировому суду и какое воспитательное значеніе онъ могъ имѣть въ ряду другихъ факторовъ жизни. Въ предисловіи г. Никитинъ напоминаетъ тотъ необыкновенно живой интересъ, съ которымъ самая разнообразная публика посѣщала камеры мировыхъ судей и затѣмъ читала и обсуждала «сцены у мировыхъ судей», почти ежедневно печатавшіяся въ газетахъ. Немудрено: и сущность, и самыя формы новаго суда открывали невиданные горизонты, которыми, какъ это и всегда бываетъ съ новыми горизонтами, одни были довольны, другіе недовольны. Остановимся на недовольныхъ. Они любопытны, какъ предшественники нынѣшнихъ хулителей судебной реформы и вообще начинаній шестидесятыхъ годовъ.

Контръ-адмиралъ Арбузовъ заказывалъ дважды платье портному Соколову. Во второй разъ Соколовъ послалъ ему, по недосугу, брюки съ другимъ портнымъ, не подмастерьемъ своимъ (онъ работалъ одинъ), а штучникомъ, Волковымъ. Адмиралъ Арбузовъ, узнавъ такимъ образомъ Волкова, сталъ заказывать платье уже непосредственно ему, а не Соколову, а когда Волковъ его надулъ на 18 руб. съ копѣйками и скрылся, онъ пожелалъ взыскать эти деньги съ Соколова. Мировой судья постановилъ въ искѣ адмиралу Арбузову съ Соколова отказать. Дѣло само по себѣ очень простое, но оно любопытно по обстановкѣ. Адмиралъ остался недоволенъ не только рѣшеніемъ судьи, но и его поведеніемъ во время суда. Онъ подалъ въ мировой съѣздъ жалобу, которая начиналась такъ:

«По прошенію моему въ 16-й участокъ мировому судьѣ, 24-го мая приглашенъ былъ въ судъ, куда придя, взошелъ за перегородку, видя дверцы отворенными, заднія банки всѣ полныя, переднюю банку занятой, подошелъ къ судьѣ, чтобы спросить поближе у письмоводителя, здѣсь ли отвѣтчикъ, но, еще не получивъ отвѣта, былъ пораженъ грознымъ возгласомъ: „Ваше превосходительство, садитесь за *рѣшетку*“. Подобная фраза въ народѣ имѣетъ значеніе мѣста для арестантовъ, что и произвело улыбку удовольствія на отвѣтчикѣ и другихъ ему подобныхъ. Эта дерзость, грубость, невѣжество до того поразили меня, что я, шатаясь отъ неожиданности оскорбленія, вышелъ за перегородку, а не рѣшетку, свойственную тюрьмамъ и острогамъ; по выходѣ сидящія лица, сочувствуя моему положенію, вѣжливо предложили мѣсто, гдѣ, опомнясь, спросилъ, обращаясь къ обществу, что значитъ посадить за рѣшетку, тогда судья напомнилъ молчаніе. Услыша по очереди призывы г. судьи: „г. Арбузовъ и г. Соколовъ“, конечно, по идеѣ соціализма или непонятнаго *эгелизма*, часто повторяемой отъ многихъ неучей мышленія, какъ будто ведущихъ къ прогрессивности, что, къ сожалѣнію, отъ непониманія сущности ведетъ наше должное развитіе къ ущербу съ понятіемъ о ложномъ, мнимомъ равенствѣ состояній или закона, часто слышанныхъ, къ сожалѣнію, отъ многихъ мировыхъ судей, при народномъ собраніи разбирательства исковъ, въ чемъ мое опредѣленіе подвергаю рѣшенію судей, какъ здраво мыслящихъ по непреложнымъ законамъ природы».

И т. д., и т. д. еще много подобнаго же краснорѣчія, въ которомъ даже кн. Мещерскій долженъ, кажется, уступить пальму первенства адмиралу Арбузову. Мировой съѣздъ постановилъ прошеніе Арбузова по дѣлу его съ Соколовымъ оставить безъ послѣдствій, а за оскорбительныя выраженія, употребленныя какъ противъ мирового судьи 16-го участка, такъ и противъ всего мирового института,—передать прошеніе прокурорскому надзору для преслѣдованія Арбузова уголовнымъ порядкомъ.

Аналогично дѣло генералъ-лейтенанта Симборскаго съ мѣщаниномъ Лопатинымъ, надѣлавшее въ свое время много шума. Пересказывать его не стоитъ. Отмѣтимъ только, что рѣшеніе мирового судьи было встрѣчено аплодисментами и одобрительными возгласами многочисленной публики, такъ что судья долженъ былъ остановить эти знаки одобренія звонкомъ и пояснить, что въ судѣ не допускаются выраженія одобренія или порицанія. Тѣмъ не менѣе, генералъ Симборскій, оскорбительными выраженіями о мировомъ судьѣ, довелъ мировой съѣздъ до постановленія о передачѣ его апелляціоннаго отзыва прокурорскому надзору для уголовнаго преслѣдованія.

Купецъ Екимовъ тоже недоволенъ мировымъ судомъ. Онъ, вмѣстѣ съ сыномъ, ни за что, ни про что избилъ двухъ служившихъ у него въ лавкѣ деревенскихъ мальчиковъ. Купецъ Екимовъ во время разбирательства держитъ себя чрезвычайно развязно, ругаетъ мальчиковъ-истцовъ «поганцами», «ворами». Судья его останавливаетъ, онъ не унимается. Наконецъ, происходитъ такой діалогъ между судьей и Екимовымъ: «Повторяю, не смѣйте такъ выражаться, не то я васъ оштрафую.—Кого? меня-то? Я самъ членъ Думы и такожде знаю, что можно и что нѣтъ. Пугать насъ нечего, сами все разумѣемъ.—Штрафую васъ 2-мя рублями и, если вы еще станете такъ вести себя, я васъ удалю изъ присутствія.—Штрафуйте себѣ, коли охота, а только этимъ ворамъ не слѣдъ потачку давать: вы, гг. судьи, и то ужь весь народъ избаловали за годъ-то.—Извольте выйти изъ присутствія.—И выйдемъ, благо и стоять-то тутъ понапрасну намъ некогда: въ Думу надо. Прощайте, ухожу.—Совсѣмъ уходить не смѣйте: вы обвиняемый, должны быть на лицо въ судѣ. Въ другой комнатѣ подождите, пока я васъ позову». Судья присуждаетъ отца и сына Екимовыхъ къ уплатѣ избитымъ мальчикамъ

по 35 р. каждому. «Екимовъ-отецъ злобно сверкаетъ глазами и весь дрожитъ отъ ярости».

Недоволенъ неизвѣстный, то есть не названный по фамиліи статскій совѣтникъ. Онъ явился въ камеру мирового судьи единственно затѣмъ, чтобы возвратить повѣстку, которою вызывался въ судъ его сынъ, и объяснить, что сынъ его не явится; потому что, говоритъ онъ, «благовоспитанному молодому человѣку, только что вступающему въ жизнь, ходить по судамъ не подобаетъ, да-съ. не подоб-баетъ... мало прилично»... Дальнѣйшее изложеніе мыслей статскаго совѣтника идетъ все crescendo, такъ что судья велитъ, наконецъ, его вывести и штрафуетъ.

Недовольна барыня, привлеченная своей горничной къ суду за оскорбленіе. Она уже тѣмъ недовольна, что ей, «принадлежащей къ высшему кругу, гдѣ привыкли понимать и выражаться по-французски такъ же легко, какъ и по-русски», судья рекомендуетъ оставить французскій языкъ. А въ концѣ судоговоренія она «предпочитаетъ жаловаться на униженіе насъ ради нихъ... на попраніе нашего дворянскаго достоинства въ угоду черни».

Недоволенъ сапожный мастеръ Филипскій, который по недѣлямъ держалъ своего одиннадцатилѣтняго ученика *на цѣпи*. Не отрицая факта, онъ находилъ, что имѣетъ право держать своихъ учениковъ на цѣпи въ видахъ ихъ исправленія, а потому жаловался въ съѣздъ на приговоръ судьи (арестъ на мѣсяцъ). Съѣздъ посмотрѣлъ, однако, на дѣло строже, чѣмъ судья, и передалъ дѣло Филипскаго прокурорскому надзору.

Недоволенъ купеческій сынъ Михѣевъ. Онъ шутку сшутилъ съ пьянымъ крестьяниномъ Бородинымъ: науськалъ его пробѣжаться по улицѣ, въ 25-ти градусный морозъ, нагишомъ, а самъ тѣмъ временемъ спряталъ его платье, такъ что Бородинъ отморозилъ себѣ ноги и проболѣлъ пять недѣль. Мировой судья приговорилъ Бородина къ аресту за безобразіе, а Михѣева за подстрекательство къ аресту же и къ уплатѣ Бородину 15 рублей. Михѣевъ остался недоволенъ, но удовлетворенія не получилъ.

Недоволенъ купецъ Денисовъ, который только всего и сдѣлалъ, что насыпалъ ремесленнику Федулову нюхательнаго табаку и въ носъ, и въ глаза, всю физіономію, словомъ, обсыпалъ, а его за это судья приговорилъ къ уплатѣ 50 рублей въ пользу потерпѣвшаго. Впрочемъ, купецъ Денисовъ только поторговался, а не подавалъ жалобы на рѣшеніе мирового судьи.

Фигурируютъ въ книжкѣ г. Никитина еще разные другіе недовольные, но это все варіаціи на одну и ту же тему. Если подвести итогъ всѣмъ недовольствамъ, то окажется слѣдующее. По мнѣнію недовольныхъ есть особая порода людей, надъ которыми можно всячески издѣваться: бить, нюхательнымъ табакомъ обсыпать, морозить, сажать на цѣпь и проч. И есть другая порода людей, къ которымъ слѣдуетъ относиться съ утонченнѣйшею деликатностью. Такъ, кромѣ вышеприведенныхъ примѣровъ, отставной полковникъ Л—въ, судившійся за избіеніе человѣка, требовалъ, чтобы этотъ человѣкъ говорилъ ему не «нѣтъ», а «никакъ нѣтъ-съ», «точно такъ-съ» и т. п. Такъ штабсъ-капитанъ Тр—скій, судившійся за избіеніе дѣвушки, негодовалъ на самомъ судѣ за то, что свидѣтель-дворникъ называетъ его въ третьемъ лицѣ «онъ»: «онъ долженъ говорить *они*, а не *онъ*, я это за дерзость считаю», объяснилъ Тр—скій. И т. д.

Не совсѣмъ, впрочемъ. вѣрно, что это двѣ разныя породы людей, или, по крайней мѣрѣ, трудно установить между ними границы. Тотъ самый сапожникъ Филипскій, который считалъ себя въ правѣ держать мальчика на цѣпи, какъ волчонка или собаку, будучи помѣщенъ за одну «рѣшетку» или перегородку съ адмираломъ Арбузовымъ, вызвалъ бы вѣроятно со стороны послѣдняго потокъ краснорѣчія на тему объ «энгелизмѣ». А неизвѣстный статскій совѣтникъ посмотрѣлъ бы какъ на позоръ для своего сына, еслибы ему пришлось стоять рядомъ съ великолѣпнымъ купцомъ Екимовымъ, который, въ свою очередь, не можетъ даже на судѣ обойтись безъ сквернословія по адресу избитыхъ имъ «поганцевъ», «мужлаковъ», «мошенниковъ». Очень великолѣпенъ этотъ купецъ Екимовъ и очень презираетъ «мужлаковъ», но и его, въ свой чередъ. презираетъ неизвѣстный статскій совѣтникъ, а надъ статскимъ совѣтникомъ опять адмиралъ Арбузовъ или генералъ Симборскій высится.

Спрашивается, разбитъ ли этотъ корабль, одна половина груза котораго состоитъ изъ рублевой амбиціи при грошовой амуниціи, а другая—изъ жесточайшаго издѣвательства надъ человѣческой личностью? Думаю, что во всякомъ случаѣ въ немъ пробиты такія бреши, которыя починить невозможно. И еще спрашивается: неужели же амбиція Екимова или Арбузова и жестокое издѣвательство надъ всѣми, кто по своей слабости не можетъ оказать сопротивленія, неужели это и есть тотъ перлъ многоцѣнный, объ утратѣ котораго скорбятъ и старики, злобно брюзжащіе на эпоху реформъ, и молодые люди, торжественно отказывающіеся отъ «наслѣдства шестидесятыхъ годовъ»? И да, и нѣтъ, хотя на вопросъ, поставленный столь обна-

женно, конечно, никто не откликнется въ положительномъ смыслѣ: всетаки стыдно. Книжка г. Никитина, по самой задачѣ своей, то есть въ виду предѣловъ компетенціи мирового суда, рисуетъ только одну сторону нашего дореформеннаго быта. Въ немъ, въ этомъ быту, не одинъ только этотъ перлъ сохранялся вѣками, о! далеко не одинъ. Но несомнѣнно, что сторона жизни, такъ безобразно выглядывающая изъ книжки г. Никитина, играла въ свое время существенную и многоопредѣляющую роль. Несомнѣнно также, что усилія брюзжащихъ и отказывающихся клонятся къ возстановленію именно этой стороны жизни. Клонятся, но въ конпѣ-концовъ потерпятъ, я полагаю, фіаско, не смотря на временные успѣхи. Спора нѣтъ, и теперь, какъ и всегда, возможны всякія безобразія, но та наивность, съ которою выступали на сцену Арбузовы и Екимовы, полагать надо, утрачена навсегда. Что ужъ, кажется, можетъ быть наивнѣе «Гражданина»? Онъ, повидимому вполнѣ усвоилъ програму мандарина Самъ-пьючая въ опереткѣ «Чайный цвѣтокъ»: «бить и драть». Однако и онъ, подобно Адаму, вкусившему отъ плода древа познанія добра и зла, до извѣстной степени стыдится своей наготы. Онъ долженъ облекать свою программу,—если только можно серьезно говорить о его программѣ,—въ полуграмотныя риторическія украшенія, болѣе или менѣе газирующія суть дѣла. Стыдливость его, конечно, относительна и на иной взглядъ можетъ показаться полнымъ безстыдствомъ. Но куда же, всетаки, ему до хрустальной ясности и простоты Екимова: «поганцевъ мужлаковъ надо бить», или во-истину барственнаго презрѣнія Арбузова къ грамматикѣ: «по идеѣ непонятнаго энгелизма, часто повторяемой отъ многихъ неучей мышленія, какъ будто ведущихъ къ прогрессивности». А вѣдь еще «Гражданинъ» больше всѣхъ старается.

Къ этимъ старателямъ изъ стариковъ присоединяются молодые люди, «отказывающіеся отъ наслѣдства». Началась эта унія въ «Недѣлѣ», но распространяется и далѣе. Недавно въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» были напечатаны двѣ статьи г. Розанова: «Почему мы отказываемся отъ наслѣдства?» и «Въ чемъ главный недостатокъ наслѣдства 60—70 годовъ?» Какъ отвѣчаетъ на поставленные имъ вопросы г. Розановъ, этого я въ подробностяхъ, по многимъ соображеніямъ, касаться не буду. Но меня поразила неумѣстность еще одного вопроса, съ которымъ авторъ обращается къ своимъ противникамъ. Онъ спрашиваетъ: «Въ сферѣ нравственной—относиться ко всѣмъ равно, ни въ какомъ человѣкѣ не переставать видѣть человѣка—не есть ли для насъ долгъ»? Да, долгъ, но откуда, какъ не изъ наслѣдства шестидесятыхъ годовъ, вы это узнали? Вы видите, что Екимовы и Арбузовы такого долга не знали. Мировымъ судьямъ шестидесятыхъ годовъ приходилось быть не только судьями, а и проповѣдниками элементарныхъ моральныхъ истинъ, общая черта которыхъ въ томъ именно и состоитъ, что нужно относиться ко всѣмъ равно и ни въ какомъ человѣкѣ не переставать видѣть человѣка. Разумѣется, эти истины не въ шестидесятыхъ годахъ открыты, но только въ шестидесятыхъ годахъ онѣ могли войти въ нашъ повседневный обиходъ, и это совершилось не безъ борьбы, какъ видно даже изъ книжки г. Никитина, не говоря о другихъ свидѣтельствахъ борьбы. Неумѣстность вопроса г. Розанова наводитъ на мысль, что гг. уніаты сами хорошенько не знаютъ, противъ чего они протестуютъ и отъ какого наслѣдства отказываются. Въ первой своей статьѣ г. Розановъ затрогиваетъ событія огромнаго трагизма и огромной важности, о которыхъ надо говорить много и на чистоту или совсѣмъ не говорить, и тутъ же рядомъ разсказываетъ не совсѣмъ ясные анекдоты о какихъ-то глупо-либеральничающихъ профессорахъ, которыхъ ему и его товарищамъ пришлось слушать Это и есть отвѣтъ на вопросъ: отчего «мы» (то-есть гг. уніаты) отказываемся отъ наслѣдства? Если авторъ дѣйствительно былъ такъ несчастливъ на профессоровъ, такъ это всетаки не имѣетъ никакого отношенія къ наслѣдству шестидесятыхъ годовъ: глупые люди всегда и вездѣ возможны; я имѣю дерзость думать, что они есть даже въ рядахъ уніатовъ. Во второй статьѣ, очень туманной, г. Розановъ развиваетъ ту мысль, что мы, старшее поколѣніе, поняли такое сложное существо, какъ человѣкъ, «плоско, бѣдно, грубо». Онъ не подкрѣпляетъ, однако, эту свою мысль ни единымъ фактическимъ доказательствомъ, ни единой цитатой, ни единымъ даже анекдотомъ. Такъ писать очень легко, но убѣдить кого-нибудь и въ чемъ нибудь подобнымъ писаніемъ трудновато. Я могу и сейчасъ, пожалуй, написать о какой-нибудь, напримѣръ, лондонской картинной галлереѣ, которой я никогда не видалъ, что тамъ искусство представлено бѣдно, плоско, грубо, и затѣмъ перейти къ доказательствамъ, что сама по-себѣ область искусства богата и возвышенна. То же самое я могу продѣлать съ датской литературой, съ испанской промышленностью, словомъ, съ любою группою явленій, мнѣ мало извѣстною. И я склоненъ думать, что г. Розанову весьма мало извѣстно то наслѣдство, отъ котораго онъ столь торжественно отказывается. Было

бы неумѣстно распространяться объ этомъ по поводу такой книжки, какъ «Сцены у мировыхъ судей шестидесятыхъ годовъ», однако, и она можетъ указать забывшимъ и никогда не знавшимъ, «отжившимъ и нежившимъ»—гдѣ слѣдуетъ искать наслѣдства шестидесятыхъ годовъ. Голословному же мнѣнію г. Розанова я могу противопоставить столь же голословное: Никогда у насъ человѣкъ не понимался такъ возвышенно и тонко, какъ въ тѣ приснопамятные годы. Были, разумѣется, увлеченія и ошибки. Но если принять въ соображеніе непроглядность той тьмы, въ которую тогда вносился свѣтъ, и упорство того сопротивленія, которое естественно оказывала тьма, то, право, можно бы черезъ двадцать-то или тридцать лѣтъ быть поснисходительнѣе.

Поснисходительнѣе... Разъ это словно сорвалось съ пера, такъ пусть оно и остается. Но собственно о снисхожденіи не должно бы быть и рѣчи. Если брюзжащіе старики имѣютъ резоны ликовать, то молодые уніаты, отказывающіеся отъ наслѣдства, совершенно напрасно считаютъ себя господами положенія. Это чистѣйшая иллюзія, основанная на смѣшеніи разныхъ сторонъ жизни и на необыкновенномъ самодовольствѣ маленькой кучки уніатовъ, которые дальше своего носа ничего не видятъ. Напримѣръ г. Дистерло въ «Недѣлѣ» разразилъ Добролюбова, обличивъ незрѣлость его мысли и его эстетическое невѣжество. Г. Дистерло, вѣроятно, очень доволенъ по этому случаю собою, а можетъ быть, и около него есть горсточка людей, внимающихъ, разиня ротъ, его глаголамъ: дескать, «новое слово» сказано. Но вѣдь никто же, ни даже, я думаю, самъ г. Дистерло не рѣшится утверждать, что онъ замѣнилъ собою Добролюбова, что его, г. Дистерло, критическія упражненія читаются съ такою же алчностью, съ какою не только въ свое время, а и теперь читаются статьи Добролюбова. Не разбитъ въ сущности этотъ корабль и что-то не видать ничего на смѣну ему. Или вотъ г. Розановъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», разсказавъ подозрительные анекдоты о своихъ профессорахъ, спрашиваетъ: «какъ же, сознавая униженіе науки ея служителями, не попытаться вырвать у нихъ по землѣ волокущееся знамя и понести его хоть какъ-нибудь самому?» Вырвать знамя науки изъ недостойныхъ рукъ и понести его самому, это—подвигъ, столь же благородный, какъ и картинный. Но я что-то не слыхалъ о такомъ подвигѣ и впервые узнаю, что г. Розановъ несетъ знамя науки съ тѣмъ достоинствомъ, какое подобаетъ знаменосцу. Я готовъ, конечно, признать что это зависитъ лишь отъ моего невѣжества и что лично г. Розановъ оказалъ дѣйствительно большія услуги наукѣ,—расширилъ ея предѣлы, очистилъ ее отъ постороннихъ примѣсей, внесъ ея свѣтъ въ самые мрачные закоулки мысли и жизни. Но, вѣдь, одна ласточка весны не дѣлаетъ, а вообще говоря, тѣ «мы», которые гордо и презрительно отказываются отъ наслѣдства не очень яркими звѣздами горятъ на небосклонѣ науки. Вообще, на какомъ поприщѣ блистаютъ эти «мы», отказывающіеся отъ наслѣдства? гдѣ они проявляютъ свои силы и таланты? Я вижу только людей съ большими претензіями и жалкими рессурсами, которые кричатъ: побѣдихомъ! посрамихомъ! Но я не вижу, чтобы они дѣйствительно кого-нибудь побѣдили и посрамили.

Г. Розановъ отмѣчаетъ тотъ фактъ, что выдающіеся люди старшихъ поколѣній отходятъ въ міръ небытія со скорбными думами о результатахъ своей дѣятельности. Онъ говоритъ: «Старики, которые такъ много трудились на нивѣ въ знойные и холодные дни, руки которыхъ устали и болѣе неспособны къ труду, видятъ, что свою жатву, надежду стольких лѣтъ, имъ остается только унести съ собою въ могилу». Да, въ горькія минуты старые работники такъ думаютъ, и вотъ почему, напримѣръ, Салтыковъ уже мертвѣющею рукою писалъ «Забытыя слова». И есть резоны для такихъ скорбныхъ думъ. Но, глядя на вещи со стороны, можно и не преувеличивать поводовъ для скорби. Умеръ Салтыковъ, и гдѣ, въ какомъ уголкѣ Россіи не отозвалась эта смерть сердечною болью? гдѣ, въ какомъ уголкѣ Россіи не стали читать и перечитывать его сочиненія съ большею еще внимательностью, чѣмъ читали при его жизни, и уже конечно съ большею, чѣмъ когда-нибудь читали или будутъ читать произведенія «молодыхъ силъ» вродѣ гг. Дистерло или Розанова. Нѣтъ, не разбитъ этотъ корабль. Если, по обстоятельствамъ, гг. Дистерло или Розановъ могутъ излагать свои мысли съ большею ясностью, чѣмъ тѣ, кто отъ наслѣдства не отказывается, то вѣдь это не побѣда, это только обстоятельство времени. Устройте такъ, чтобы смерть Салтыкова прошла незамѣтно, чтобы сочиненія его не раскупались десятками тысячъ экземпляровъ, это будетъ побѣда настоящая, а не бахвальство. И замѣчательно, что господа уніаты не идутъ дальше отказа отъ наслѣдства, а своего добра, родового или благопріобрѣтеннаго, не обнаруживаютъ, хотя имѣютъ полную возможность это сдѣлать. Покойный Шелгуновъ привелъ въ одной изъ послѣднихъ своихъ статей отрывки изъ письма какого-то необыкновенно наглаго человѣка, который писалъ ему: «шире дорогу!—восьмидесятникъ идетъ!» Да идите же, наконецъ,

господа, идите такъ, чтобы видно было, что вы несете. А то вѣдь это только одни разговоры, будто, идете, знамя вырвали и сами понесли и разное прочее славословіе по собственному адресу, безъ всякаго, однако, практическаго подтвержденія. Пожалуйте,— дорога вамъ и въ самомъ дѣлѣ широка. Дайте посмотрѣть на васъ, сосчитать васъ, дайте оцѣнить ваши таланты и силы, столь тщательно вами скрываемые, что можно подумать, что у васъ ихъ совсѣмъ нѣтъ.

Возвращаясь къ книжкѣ г. Никитина, повторяю, что, при всей простотѣ и непритязательности своего содержанія, она заслуживаетъ всякаго вниманія. Въ ней нѣтъ никакихъ отвлеченныхъ разсужденій, въ которыхъ можно бы было запутаться, нѣтъ вымысла, который можетъ быть заподозрѣнъ въ произвольности или тенденціозности. Это просто рядъ маленькихъ подлинныхъ житейскихъ картинокъ, наглядно освѣжающихъ въ памяти читателя наше недавнее прошлое. Пересматривая эти картинки, можетъ быть, и кто-нибудь изъ великолѣпныхъ «мы» призадумается—отказываться ли отъ наслѣдства и даже возможно ли отъ него въ самомъ-то дѣлѣ, а не только на словахъ, отказаться.

XXVI.

Фальсификація художественности.

У насъ нынѣ часто говорятъ объ оскудѣніи художественности въ литературѣ. И справедливо говорятъ. Уже одно то характерно, что исчезла цѣлая группа литературныхъ произведеній — драма. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ произведенія современныхъ драматурговъ стоятъ внѣ литературы и разсчитаны исключительно на сцену съ ея спеціальными условіями и съ сотрудничествомъ актеровъ, декорацій, приподнятаго настроенія зрителей, взаимно заражающихся извѣстнымъ чувствомъ или волненіемъ. Читать эти произведенія у себя въ кабинетѣ нельзя или по крайней мѣрѣ совершенно не стоитъ, хотя на сценѣ многія изъ нихъ имѣютъ большой успѣхъ. Можетъ быть, такъ и слѣдуетъ. Можетъ быть, естественный ростъ литературы требуетъ изчезновенія драмы, какъ литературной формы, и перенесенія ея вполнѣ и исключительно на театральные подмостки. А потомъ—кто знаетъ?—можетъ быть и лирика, вслѣдъ за драмой, уйдетъ изъ литературы въ вѣдѣніе пѣвцовъ и пѣвицъ, и тѣ голосомъ и выразительностью пѣнія восполнятъ недостатокъ смысла въ произведеніяхъ многихъ современныхъ поэтовъ. Можетъ быть, но этакъ въ концѣ концовъ на долю литературы пожалуй ничего не останется. Во всякомъ случаѣ, я не могу отдѣлаться отъ слѣдующимъ двухъ соображеній. Во-первыхъ, Шекспиръ, Мольеръ, Островскій писали собственно для сцены, но это не мѣшало ихъ трагедіямъ и комедіямъ быть въ то же время высоко-художественными литературными произведеніями. Во-вторыхъ, если это пройденная ступень, и мы поднялись на новую, высшую, то я не умѣю связать этотъ подъемъ съ тѣмъ общимъ оскудѣніемъ художественности, которое бьетъ въ глаза и составляетъ нѣчто общепризнанное. Дѣйствительно, на этотъ счетъ никакихъ пререканій нѣтъ, — разногласятъ не о фактѣ оскудѣнія, а объ его причинахъ. Кто говоритъ, что художественность съѣдена «тенденціей»; кто, напротивъ того, утверждаетъ, что отсутствіе идеи, захватывающей всего человѣка, мѣшаетъ развернуться дремлящимъ художественнымъ силамъ; кто склоненъ объяснять дѣло случайнымъ неурожаемъ художниковъ. Какъ бы то ни было, а романы, повѣсти, разсказы, независимо отъ ихъ художественной цѣнности, ни мало не оскудѣваютъ, а попрежнему наполняютъ собою журналы и даже, такъ сказать, переливаются черезъ край, потому что въ значительномъ количествѣ являются и въ отдѣльныхъ изданіяхъ. И большинство ихъ пробавляется фальсификаціей художественности, поддѣлкой подъ нее. Для подобныхъ поддѣлокъ есть нѣсколько рецептовъ, пересмотрѣть которые было бы очень интересно, но я не возьму на себя эту задачу во всей ея обширности.

Есть у насъ писатель необычайной плодовитости и не лишенный таланта, который однако онъ растратилъ, какъ говорится, совершенно зря. Разумѣю г. Лейкина. Жестокіе и грубые нравы самодовольной и невѣжественной среды, изображаемой въ большинствѣ разсказовъ г. Лейкина, конечно, вполнѣ заслуживаютъ того посмѣянія, которому онъ предаетъ ихъ въ теченіе многихъ лѣтъ буквально чуть не ежедневно. Я боюсь, однако, что эти обличительные глаголы ничьихъ сердецъ не жгутъ, что никому не стыдно, не больно и даже не обидно смотрѣться въ литературное зеркало г. Лейкина. Когда-то г. Лейкинъ умѣлъ трогать сердце читателей, но это было уже очень давно, теперь онъ только смѣшитъ, притомъ такъ однообразно, что даже наконецъ нисколько не смѣшно выходитъ, а немножко надоѣдливо и немножко стыдно за автора. Г. Лейкина погубилъ (кромѣ, конечно, непомѣрнаго многописанія) одинъ фактъ, самъ по себѣ ничтожный, но бѣда въ томъ, что г. Лейкинъ очень ужъ прилѣпился къ нему. Онъ замѣтилъ, что въ изображаемой имъ средѣ глав-

нымъ образомъ малокультурнаго купечества, любятъ кстати и не кстати употреблять исковерканныя иностранныя слова, а также уродовать и русскія. Тамъ говорятъ, напр., «солидарный» вмѣсто «солидный», «раздѣлюція» вмѣсто «резолюція», «инкогнитнымъ манеромъ» и проч., затѣмъ другія смѣшныя, по несообразности, сочетанія словъ вродѣ «подножіе ногъ», «червь червящій», «головное воображеніе, «амурное воспаленіе» и проч. Въ умѣренномъ количествѣ эти забавности были дѣйствительно забавны; притомъ же ими до извѣстной степени. характеризовалось самодовольное невѣжество среды. Но г. Лейкинъ осыпаетъ ими читателя «до безчувствія», какъ нѣкогда кто-то билъ «до безчувствія» Расплюева. Именно до безчувствія, до того, наконецъ, что читатель не трогается трогательнымъ, и даже не смѣется смѣшному, ибо во всѣхъ этихъ «солидарностяхъ и «раздѣлюціяхъ» тонетъ наконецъ весь смыслъ разсказовъ г. Лейкина.

У г. Лейкина давно уже завелись свои подражатели, которые, однако, подобно большинству копій, далеко отставали отъ оригинала въ изобрѣтательности по части разныхъ смѣшно - исковерканныхъ словечекъ. Но теперь и г. Лейкинъ превзойденъ.. Онъ долженъ уступить пальму первенства г. Лѣскову, — писателю, и во многихъ другихъ отношеніяхъ болѣе значительному.

Вотъ нѣсколько словечекъ изъ разсказа г. Лѣскова «Полунощники» (ноябрьская и декабрьская книжки «Вѣст. Евр.» 1891 г.): «глазурныя очи» (то есть лазурныя). «междоусобныя нѣжности», «долбица умноженія», «пять изъ *семьи*—сколько *въ отставкѣ*?», «миліатюрное личико», «выдающійся животь а-ла пузе», «мимоноски» (миноноски), «голованеры» (гальванеры), «гонка» (конка), «подземельный банкъ», «одѣтъ а-ла-морда», «пупоны» (купоны), «инпузоріи», «плотецъ Скопицынъ», опера «Губиноты», «поверхностная коммисія и политическій *компотъ*» (верховная коммисія и, вѣроятно, комплотъ), «блеярдиый шаръ», «просить *прощады*», «фиміазмы», «монументальная фотографія» (моментальная), «популярный совѣтникъ», «хабензи гевидѣлъ?» (это по-нѣмецки) и т. д., и т. д. Много еще. Куда же г. Лейкину до такой роскоши! Кто-то назвалъ г. Лѣскова русскимъ Бокаччіо. Признаюсь, я не вижу для этого рѣшительно никакихъ основаній; но долженъ согласиться съ замѣчаніемъ одного моего остроумнаго друга, что въ такомъ случаѣ самъ себя г. Лѣсковъ назвалъ бы, вѣроятно, «Брыкаччіо».

Хотя г. Лѣсковъ еще въ первый разъ обдаетъ читателей такимъ обильнымъ запасомъ частью остроумно, а частью совсѣмъ неостроумно исковерканныхъ словечекъ, но нельзя сказать, чтобы выступленіе его на этотъ путь было вполнѣ неожиданно. Онъ всегда былъ склоненъ къ нѣкоторой вычурности. То въ формѣ, то въ содержаніи онъ былъ вычуренъ и тогда,когда изображалъ необыкновенно злыя души и дѣла «нигилистовъ», и тогда, когда рисовалъ разныхъ праведныхъ людей, и въ своихъ пересказахъ старинныхъ легендъ и прологовъ, и въ воспроизведеніяхъ, будто бы, подлинной, исторически засвидѣтельствованной дѣйствительности. Свободны отъ этой разнообразной, но всегда равно непріятной вычурности только нѣкоторые его разсказы изъ жизни нашего духовенства, представляющіе значительную цѣнность и въ художественномъ, и въ бытовомъ отношеніи. Иногда пробивались у него и тѣ болѣе или менѣе остроумно-смѣшно составленныя словечки, которыми онъ такъ неумѣренно блистаетъ въ «Полунощникахъ». Вспоминаю, напримѣръ, «*мелкоскопическія* изслѣдованія», то есть микроспопическія, въ «Запечатлѣнномъ ангелѣ»; картофель и «*маркофель*» въ «Трехъ праведникахъ и одномъ Шерамурѣ» и т. п. Но нынѣ г. Лѣсковъ возвелъ эту спеціально комическую вычурность къ систему, обратилъ ее въ художественный пріемъ.

Г. Лѣсковъ случайно слышитъ непомѣрно длинный разговоръ молодой купчихи-вдовы Аички съ приживалкой Марьей Мартыновной. Собственно это даже не разговоръ, а длиннѣйшій разсказъ Марьи Мартыновны, изрѣдка перебиваемый короткими репликами и вопросами Аички. Аичка говоритъ, что она любитъ слушать, какъ разсказываетъ Марья Мартыновна, потому что «сейчасъ смѣшно и сейчасъ жалостно». Дѣйствительно, въ разсказѣ болтливой приживалки есть и смѣшное, и жалостное, но едва ли съ точки зрѣнія Аички. Капризная, грубая, невѣжественная вдовушка нисколько не трогается жалостной стороной разсказа приживалки, а «пупоны» и «инпузоріи», «подземельныя банки» и «монументальныя фотографіи», «блеярдные шары» и «глазурныя очи», ее не смѣшать,—можетъ быть она и сама такъ выражается. Не Марья Мартыновна Аичку, а г. Лѣсковъ своихъ читателей желаетъ смѣшить и жалобить; «сейчасъ смѣшно и сейчасъ жалостно», — это девизъ или художественная программа самого г. Лѣскова. Но чередованіе смѣшного и жалостнаго, смѣха и слезъ, не составляетъ, конечно, исключительной собственности или изобрѣтенія г. Лѣскова. Многіе великіе, какъ и многіе мелкіе писатели практиковали и практикуютъ его. Личная особенность г. Лѣскова, какимъ онъ является въ «Полунощникахъ», состоитъ въ преизобиліи остроумно и неостроумно иско-

верканныхъ словечекъ. Нѣкоторыя изъ этихъ словечекъ въ самомъ дѣлѣ смѣшны, такъ что нельзя не улыбнуться, встрѣтившись съ ними. Г. Лѣсковъ значительно развилъ и систематизировалъ смѣхотворную манеру г. Лейкина. Правда, онъ не отказывается и отъ прямыхъ позаимствованій у своего предшественника. Такъ, у г. Лейкина необразованные купцы давно уже говорили «тре журавле», полагая, что это нѣчто въ родѣ «très joli», и у г. Лѣскова фигурируетъ это самое «тре журавле». Но внѣ подобныхъ заимствованій г. Лѣсковъ гораздо замысловатѣе и систематичнѣе г. Лейкина, который однако за то, мнѣ кажется, не столь удаляется отъ дѣйствительности. Марья Мартыновна, по щучьему велѣнію, по г. Лѣскова прошенію, даже слово «конка» или «пощада» не можетъ правильно произнести, а ужъ кажется довольно-таки простыя русскія слова, — она говоритъ: «гонка», «прощада», своеобразно производя эти слова отъ «гонять» и «прощать». Это не простое перевираніе, а какъ будто оправдываемое нѣкоторой оригинальной логикой: изъ «просить» и «пощада» составляется «прощада», изъ «фиміамовъ» и «міазмовъ»—«фиміазмы», изъ «милый» и «миніатюрный»—«миліатюрный», изъ «толпа» и «толкучка»—«толпучка», изъ «долбить» и «таблица»—«долбица» и т. д. Въ своей виртуозности г. Лѣсковъ доходитъ даже до сочиненія такой якобы ариѳметической задачи, какъ «пять изъ семьи—сколько въ отставкѣ?» Подобныя, очевидно, не подслушанныя гдѣ-нибудь, а самимъ авторомъ искусно и съ нѣкоторымъ напряженіемъ мысли составленныя каламбурныя словечки найдутся и у г. Лейкина; наоборотъ, у г. Лѣскова можно встрѣтиться съ вполнѣ безхитростными «инпузоріями» и «блеярдными шарами», которые во множествѣ пестрятъ страницы произведеній г. Лейкина. Но дѣло въ пропорціи, и ужъ, конечно, г. Лѣсковъ несравненно хитрѣе г. Лейкина. Его можно считать установителемъ новаго художественнаго пріема въ предѣлахъ старинной формулы «сейчасъ смѣшно и сейчасъ жалостно». Въ эту старинную формулу онъ ввелъ «пупоны»...

Признаюсь, читатель, я смѣялся надъ этими «пупонами», но въ то же время они меня жестоко оскорбляли, какъ художественный пріемъ. Мало того: какъ бы ни расхваливалъ г. Лѣсковъ, устами Аички, разсказъ Марьи Мартыновны, я эти «пупоны» признать художественнымъ пріемомъ не могу, а развѣ балаганной поддѣлкой подъ художество. И, конечно, не потому, что «пупоны» смѣшны. Смѣшное столь же законно въ искусствѣ, какъ и жалостное, законны и смѣшныя слова, но не тогда, когда они, какъ у г. Лѣскова, заслоняютъ собою и смѣшное, и жалостное въ жизни.

Извѣстенъ ходячій разсказъ о томъ, что будто бы на Никейскомъ соборѣ Николай Чудотворецъ, пылая религіознымъ рвеніемъ, ударилъ еретика Арія. Въ числѣ многихъ прочихъ разсказу этому вѣритъ и дѣйствующій въ «Полунощникахъ» добродушный, но безпутный и распутный купецъ Степеневъ. Вдругъ Степеневъ узнаетъ, что никогда этого не было, что Николай Чудотворецъ не только не давалъ пощечины Арію, но и на соборѣ не присутствовалъ. Степеневъ не сразу сдается; онъ освѣдомляется у свѣдущаго человѣка, «профессора», и потомъ, пьяный, разсказываетъ: «Представьте, я вчера съ профессоромъ на блеярдѣ игралъ и сдѣлалъ ему постановъ вопроса объ Аріѣ, а онъ дѣйствительно подтверждаетъ, что наша ученая правду говоритъ—угодника на этомъ соборѣ, дѣйствительно, совсѣмъ не было. Мнѣ это большая непріятность, со мной черезъ это страшный переломъ религіи долженъ выйти, потому что я этотъ фактъ больше всего обожалъ и такъ этого забыть не могу. Я вчера профессору блеярдный шаръ въ лобъ пустилъ; теперь или онъ на меня жалобу подастъ, и я долженъ въ тюрьмѣ сидѣть, или надо ѣхать къ нему прощады просить».

Въ такомъ видѣ, хотя и подкрашенное блеярдными шарами и прощадами, но все-таки выдѣленное изо всей массы инпузорій, пупоновъ, костюмовъ «а-ла морда» и животовъ «а-ла пузе»—въ такомъ, говорю, видѣ огорченіе Степенева представляетъ собой благодарнѣйшій мотивъ для настоящаго комизма,—того комизма, къ которому всегда примѣшивается извѣстная доля горечи. Вглядитесь въ самомъ дѣлѣ въ эту достойную всякаго вниманія фигуру. Человѣкъ «больше всего обожалъ тотъ фактъ», что Св. Угодникъ прибилъ еретика, и когда узналъ, что этого факта не было, то почувствовалъ, что съ нимъ «долженъ выйти страшный переломъ религіи». Какая глубоко-комическая и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко-жалостная психологія. Разработка ея могла бы сдѣлать большую честь г. Лѣскову, но онъ предпочелъ, какъ снѣгомъ въ полѣ, засыпать ее пупонами, такъ что изъ-подъ нихъ не видны очертанія засыпаннаго.

Кое-что и еще погребено въ «Полунощникахъ» подъ разными «губинотами» и «блеярдами». И кое объ чемъ изъ погребеннаго можно пожалѣть. Мнѣ жаль, напримѣръ, двухъ хорошо задуманныхъ фигуръ духовныхъ лицъ, но, признаюсь, нисколько не жаль главнаго дѣйствующаго лица разсказа Марьи Мартыновны—Клавдіи Степеневой.

Эта праведная Клавдія задумана по образцу другихъ, легендарныхъ и будто бы историческихъ, праведниковъ, которыхъ уже не разъ рисовала вычурная кисть г. Лѣскова. Клавдія желаетъ устроить свою жизнь во всемъ блескѣ нравственной чистоты, которую понимаетъ въ смыслѣ любви къ ближнему и непротивленія злу. Вслѣдствіе этого она молча, съ ангельскою кротостью претерпѣваетъ клевету, побои, всякія несправедливости, но въ концѣ концовъ всѣхъ посрамляетъ. Все это выходитъ такъ слащаво и такъ далеко отъ житейской и художественной правды, что и пусть себѣ жалостная вычурность Клавдіи погибаетъ подъ смѣшною вычурностью а-ла пузе и а-ла морда.

Вышеупомянутый Степеневъ, дядя праведной Клавдіи, загулялъ въ трактирѣ. Съ него потребовали деньги за ѣду и питье. А онъ «высунулъ впередъ кукишъ и по-нѣмецки спрашиваетъ:—Это хабензи гевидѣлъ?—То есть, значитъ, вы не хотите платить?—Нѣтъ, подавай мнѣ счетъ.— А когда подали счетъ, такъ онъ не принимаетъ: тутъ, говоритъ, все присчитано. Провѣряетъ: что это писано «салатъ съ агмарами», я это не требовалъ... «огурцы капишоны»—не было ихъ..—Помилуйте, какъ же не было! Вѣдь этакъ можно сказать, что и ничего не было подано.—Нѣтъ, говоритъ, этакъ со мной не разговаривать! Я что видѣлъ на столѣ, за то плачу. Вотъ я вижу, что на столѣ лежитъ рыба-фишъ и изволь, бери за нее шишъ, я за нее плачу, а супъ братаньеръ здѣсь не былъ и ты его приписалъ, и я не плачу».

Поучительный, мнѣ кажется, эпизодъ. Можетъ быть Степеневъ много питательнаго и вкуснаго съѣлъ, но не замѣтилъ этого и желаетъ платить только за то, что видѣлъ или помнитъ, за рыбу-фишъ.

Боюсь, что и читатель замѣтитъ въ «Полунощникахъ» только такую же рыбу-фишъ, хотя и съ обильнымъ гарниромъ инпузорій, пупоновъ и проч., и едва ли высоко оцѣнитъ эту фальсификацію художественности...

Едва ли также можно высоко цѣнить художественные пріемы г. Эртеля въ длинномъ романѣ «Смѣна», окончившемся въ ноябрьской книжкѣ *Русской Мысли*. Для меня осталось не совсѣмъ яснымъ, въ чемъ именно состоитъ «Смѣна» въ романѣ г. Эртеля, что именно и чѣмъ смѣняется, въ которую сторону смѣна направляется, къ добру или къ худу ведетъ. Частью это зависитъ, конечно, отъ моей несообразительности, но немножко виноватъ и романъ. Сначала я какъ будто понималъ въ чемъ дѣло и не безъ интереса слѣдилъ за оригинально намѣченными фигурами двухъ кулаковъ. Но затѣмъ г. Эртель нагналъ на свою арену безчисленное множество лицъ,—тутъ и кулаки, и знаменитые адвокаты, и раскольники, и земцы, и курсистки, и статистики, и мужики, и студенты, и чиновники, и либералы, и ретрограды, и вѣрующіе, и невѣрующіе. И надъ всей этой огромной и пестрой картиной русской жизни высоко царитъ самъ г. Эртель, нѣсколько презрительно и скептически вглядываясь въ сутолоку своихъ собственныхъ созданій. Ему, какъ автору, конечно, лучше знать, онъ имѣетъ право относиться къ своимъ созданіямъ такъ или иначе, но намъ, со стороны, разобраться въ нихъ чрезвычайно трудно: слишкомъ ужъ многолюдно и пестро. Мнѣ кажется, что г. Эртель самъ понималъ эту трудность нашего читательскаго положенія и старался облегчить намъ чтеніе особыми пріемами, которые однако я вынужденъ признать тоже особаго рода поддѣлкою подъ художественность.

Къ сожалѣнію, дѣло опять въ словечкахъ.

Одно изъ дѣйствующихъ лицъ «Смѣны», нѣкая Авдотья Лукьяновна Прыткова, выражается такъ: «Вотъ бѣда мнѣ съ антипатіей-то моей, съ чертушкой-то этимъ, Колодкинымъ! Ну, видѣть, видѣть его не могу и тому подобное! Илюша стѣсняетъ себя, потому что пайщикъ, мнѣ тоже физической нѣтъ возможности вмѣшиваться. Ну, просто положительная бѣда и тому подобное. Такой мерзавецъ, надъ всѣмъ святымъ глумится. И извольте съ этакой прелестью въ одномъ экипажѣ къ обѣднѣ ѣхать... Безъ всякаго сомнѣнія, онъ усерденъ къ внѣшней формальности и тому подобное. Но ежели упомянуть при немъ о какомъ-нибудь геройскомъ поступкѣ, напримѣръ, недавно знакомый мнѣ молодой господинъ пожертвовалъ для школъ триста рублей и заказалъ парты, такъ этотъ антипатичный господинъ буквально разинетъ пасть и тому подобное».

Конечно, вполнѣ возможна глупая женщина, которая притомъ чуть не къ каждому слову прибавляетъ «и тому подобное». Мало ли какіе бываютъ у людей присловья и поговорки, но злоупотребленіе ими для индивидуализаціи дѣйствующихъ лицъ романа или повѣсти отнюдь не есть правильный художественный пріемъ. Нѣкоторые большіе художники впадаютъ иногда въ противоположную крайность. Такъ, напримѣръ, у Достоевскаго сплошь и рядомъ дѣйствующія лица говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ безъ отмѣтины, и именно языкомъ самого Достоевскаго. И тѣмъ не менѣе, многіе образы Достоевскаго стоятъ передъ вами, какъ живые, въ своей вполнѣ опредѣленной психологической, внутренней индиви-

дуальности,—вы ихъ не смѣшаете, хотя ихъ въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ покойнаго романиста пожалуй и не меньше, чѣмъ въ «Смѣнѣ» г. Эртеля. Г.-же Эртель старается припечатать индивидуальность своихъ персонажей чисто внѣшними чертами, и главнымъ образомъ разными неправильностями языка. Но чрезмѣрное стараніе нерѣдко приводитъ къ результатамъ, какъ разъ противоположнымъ тѣмъ, которые имѣются въ виду старателями. Отмѣтить особыми неправильностями рѣчи такую уйму лицъ, какая фигурируетъ въ «Смѣнѣ», нѣтъ никакой возможности. И выходитъ, наконецъ, столько особенностей, что онѣ перепутываются, повторяются и другъ друга стираютъ. Такъ, напримѣръ, деревенскій кулакъ Колодкинъ—говоритъ вмѣсто «это»—«эфто» и имѣетъ привычку перебивать свою собственную рѣчь выраженіемъ «ась?» Богатый городской купецъ Алферовъ тоже говоритъ «эфто» и тоже перебиваетъ себя междометіемъ «ась?». Наконецъ, даже бывшій губернаторъ Гнѣвышевъ говоритъ «эфто» и постоянно перебиваетъ самъ себя вопросомъ «какъ-съ?» А ужъ собственно объ «эфтомъ» и говорить нечего. «Эфто» влагается г. Эртелемъ въ уста поголовно всѣхъ мужиковъ, а кромѣ того и купца, читающаго газеты, интересующагося политикой, разсуждающаго о Парнеллѣ, «парламентарномъ образѣ правленія» и проч., и въ уста молодого самороднаго мыслителя изъ крестьянъ, посрамляющаго своимъ знаніемъ св. писанія и своей діалектикой какъ православныхъ, такъ и раскольниковъ. Да просто не перечесть всѣхъ, кого авторъ желаетъ отмѣтить «эфтимъ», такъ что наконецъ, оно даже и отмѣтины никакой не составляетъ. Немножко надоѣдливое «эфто» не мѣшаетъ дѣйствующимъ лицамъ «Смѣны» комбинировать его то съ церковно-славянскими оборотами рѣчи, то съ иностранными словами, болѣе или менѣе исковерканными, или несообразно расположенными, то, наконецъ съ странными своего собственнаго сочиненія словами. Такъ, упомянутый бывшій губернаторъ Гнѣвышевъ говоритъ вмѣсто «глупость»—«глупство», совершенно неизвѣстно зачѣмъ и почему. И вообще, читая «Смѣну», можно подумать, что правильная русская разговорная рѣчь не сегодня—завтра совсѣмъ изчезнетъ. Столь велики жертвы, приносимыя авторомъ на алтарь художественности. И однако всѣ эти жертвы ни къ чему.

Ни «эфти», ни «эсти», ни «глупства», ни «тому подобное» не помогаютъ г. Эртелю справиться съ массой образовъ, вызванныхъ имъ изо всѣхъ слоевъ русскаго общества. Они остаются въ состояніи «толпучки», выражаясь языкомъ г. Лѣскова, и такъ же неизвѣстно почему являются, какъ неизвѣстно почему исчезаютъ изъ поля зрѣнія читателя. Особенно любопытно въ этомъ отношеніи исчезновеніе нѣкоего Мансурова. Мансуровъ этотъ занимаетъ одно изъ центральныхъ мѣстъ романа. Авторъ слѣдитъ за нимъ съ особеннымъ интересомъ, но вдругъ, на порогѣ можетъ быть интереснѣйшаго момента жизни Мансурова, предаетъ его смерти. И смерть отнюдь не вытекаетъ изъ естественнаго хода событій, излагаемыхъ въ «Смѣнѣ». Купеческій сынъ Алферовъ поссорился въ пьяной компаніи съ оставнымъ штабсъ-капитаномъ Маринымъ. Маринъ въ гнѣвѣ удалился и затѣмъ вернулся въ сопровожденіи ссыльнаго черкеса, которому велѣлъ стрѣлять въ Алферова; но черкесъ промахнулся и убилъ по ошибкѣ Мансурова. Видите, какая сложная махинація для того, чтобы убить человѣка, который только тѣмъ и виноватъ, что авторъ, зачѣмъ-то вызвавшій его изъ небытія, не зналъ потомъ, куда его дѣвать.

Смерть Мансурова — опять-таки фальсификація художественности. Всѣмъ людямъ свой предѣлъ положенъ; всѣмъ въ свое время умирать приходится. Въ числѣ прочихъ формъ и видовъ смерти не рѣдкость и смерть шальная, нечаянная, не вытекающая изъ жизни. Могло такъ съ Мансуровымъ случиться. Но въ романѣ, и особенно съ претензіей обнять всю русскую жизнь отъ верхняго края до нижняго, не годится умерщвлять такимъ способомъ одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Дѣло не въ томъ, что Мансуровъ умираетъ насильственной смертью. Рудинъ вѣдь тоже умираетъ насильственной смертью, Андрей Болконскій, Верещагинъ, Платонъ Каратаевъ и проч.—тоже, и Ленскій у Пушкина, и Грушницкій и другіе у Лермонтова. Но настоящіе художники приводятъ своихъ героевъ къ насильственной смерти путемъ жизни, смерть является логическимъ концомъ извѣстной нити, а не грубымъ обрѣзомъ или обрывомъ ея. Вмѣсто той тонкой работы, которая требуется въ этомъ случаѣ, чтобы свести концы съ концами въ трагическомъ финалѣ, художественность фальсифицированная сгоняетъ толпу разношерстнаго народа—штабсъ-капитановъ, купеческихъ сыновей, черкесовъ, кутящихъ дворянъ, устраиваетъ между ними глупую, пьяную ссору и нелѣпою случайностью разсѣкаетъ узелъ, котораго не можетъ развязать. Но въ такомъ случаѣ зачѣмъ же было его и завязывать?..

Есть еще и разные другіе рецепты для фальсификаціи художественности, но о нихъ когда-нибудь въ другой разъ.

XXVII.
Руссифицированный Лассаль.

6-го февраля (1892 г.) въ бенефисъ г. Давыдова на сценѣ Александринскаго театра шла новая пьеса—драма въ пяти дѣйствіяхъ «Арсеній Гуровъ» г. Михеева. Бенефиціанта, давно и заслуженно пользующагося любовью публики, много вызывали, много ему поднесли вѣнковъ и какихъ-то серебряныхъ вещей. Автора тоже вызывали. Изъ исполнителей выдалась г-жа Мичурина, особенно во второмъ дѣйствіи. Остальные дѣлали что могли. Сдѣлалъ что могъ и авторъ. Но вопросъ въ томъ, слѣдовало ли ему предпринимать это дѣло, и можетъ быть еще въ томъ, слѣдовало ли высокоталантливому г. Давыдову брать на себя исполненіе заглавной роли.

Фабула драмы г. Михеева заимствована изъ жизни Лассаля, а именно это перелицованная и переложенная на русскіе нравы исторія послѣдней, роковой любви Лассаля, окончившейся дуэлью и безславною смертью знаменитаго агитатора. Должность Лассаля исправляетъ въ драмѣ Арсеній Гуровъ, «адвокатъ и писатель, бывшій профессоръ, подъ 40 лѣтъ». Онъ страстно влюбленъ въ молодую дѣвушку Елену Торбѣеву (Елена Дённигесъ). Елена была нѣкогда невѣстой своего друга дѣтства Станицына (Янка Раковица), но теперь ослѣплена талантами, умомъ, энергіей, славой Лассаля-Гурова. Родители Елены Торбѣевой не соглашаются на бракъ ея съ Гуровымъ, какъ не соглашались и родители Елены Дённигесъ на ея бракъ съ Лассалемъ. У Гурова есть пріятельница Лучинина, немолодая уже женщина, привязанная къ нему узами дружбы и благодарности, словомъ своя графиня Гацфельдъ. У Гурова есть другъ, отставной гвардейскій полковникъ Полеваевъ, играющій въ фабулѣ драмы такую же роль, какую въ предсмертной трагедіи Лассаля игралъ полковникъ Рюстовъ. Елена Торбѣева бѣжитъ къ Гурову, какъ бѣжала Елена Дённигесъ къ Лассалю, но Гуровъ, имѣя свой собственный планъ дѣйствія, возвращаетъ ее родителямъ, какъ при подобныхъ же обстоятельствахъ возвратилъ родителямъ свою возлюбленную Лассаль. Переговоры между Гуровымъ и его друзьями съ одной стороны и Еленой Торбѣевой и ея родственниками съ другой—представляютъ однако нѣкоторыя существенныя отличія отъ такихъ же переговоровъ въ исторіи Лассаля. Драма г. Михеева оканчивается дуэлью между Гуровымъ и Станицынымъ и смертью Гурова. Какъ видите, г. Михеевъ не только не скрываетъ житейскихъ источниковъ своей драмы, но нѣкоторыми подробностями (Елена тутъ, Елена тамъ, полковникъ тутъ, полковникъ тамъ) даже усиленно подчеркиваетъ свое заимствованіе. Да и что же тутъ скрывать? Во-первыхъ, все равно не скроешь, а во-вторыхъ, чѣмъ выдумывать фабулу и рисковать неправдоподобіемъ, слишкомъ обыкновеннымъ въ нашей драматургіи, можетъ быть и лучше взять ее цѣликомъ изъ жизни,—тутъ ужъ навѣрное все будетъ на своемъ естественномъ мѣстѣ.

Тѣмъ не менѣе, я не могу назвать произведеніе г. Михеева иначе, какъ пятиактной ошибкой,—ошибкой по самому замыслу, отразившейся чуть не на всѣхъ подробностяхъ драмы.

Оставимъ пока въ сторонѣ Лассаля-Гурова и возьмемъ хоть двухъ полковниковъ. Полковникъ Рюстовъ, подлинный другъ подлиннаго Лассаля, былъ извѣстнымъ военнымъ писателемъ и дѣятелемъ. За свой либеральный образъ мыслей онъ подвергся въ Пруссіи аресту, бѣжалъ, натурализовался въ Швейцаріи, игралъ видную роль въ штабѣ Гарибальди и кончилъ жизнь самоубійствомъ, оставивъ въ высокой степени интересную и прочувствованную предсмертную записку о борьбѣ за существованіе въ современномъ обществѣ. Другъ Арсенія Гурова полковникъ Полеваевъ... Я, впрочемъ, затрудняюсь сказать, что такое полковникъ Полеваевъ. По сценѣ ходилъ высокій, видный, красивый человѣкъ, съ большими полусѣдыми усами и утрированно-молодецки выпяченными грудью и животомъ,—вѣроятно, это настоящая полковницкая осанка. Онъ былъ чрезвычайно изящно одѣтъ, квартира его являла всѣ признаки довольства и даже роскоши, конечно, бутафорской, но никакихъ талантовъ и ничего родственнаго къ Лассалю или даже Гурову въ образѣ мыслей онъ не обнаружилъ, да и рѣчи объ этомъ между дѣйствующими лицами нѣтъ. Въ исторіи Лассаля участіе Рюстова любопытно, конечно, не потому, что онъ полковникъ, а потому, что онъ выдающійся человѣкъ, родня Лассалю по духу, одинъ изъ тѣхъ крупныхъ людей, какихъ не мало было около Лассаля. Въ исторіи Арсенія Гурова отъ всего этого остался только чинъ полковника, и натурально, что исполнитель подчеркнулъ, даже до пересола, это единственное достояніе гримомъ и осанкой: кромѣ груди и живота полковнику Полеваеву нечѣмъ выдвинуться.

Уже изъ одного этого видно, какъ обезцвѣчена исторія Лассаля въ драмѣ г. Михеева, какъ она спущена куда-то внизъ съ тѣхъ высотъ, на которыхъ она происходила въ жизни. Это бы еще не бѣда. На нѣтъ и суда нѣтъ. Если въ современной русской жизни не хватаетъ яркихъ красокъ, придающихъ любовной исторіи Лассаля исклю-

чительный интересъ, то ея психологическая основа можетъ разыгрываться жизнью и при обстоятельствахъ, такъ сказать, второго сорта. Основа эта состоитъ вѣдь просто въ томъ, что не молодой уже человѣкъ большихъ достоинствъ и большой самоувѣренности влюбился въ пустую, безхарактерную дѣвочку и погибъ изъ-за нея. Этакое можетъ случиться и не съ Лассалемъ, для этого не нужно быть человѣкомъ, отмѣченнымъ перстомъ исторіи, человѣкомъ, общественная дѣятельность котораго гремитъ на весь образованный міръ. Но въ такомъ случаѣ надо совсѣмъ отказаться отъ копированія единственной въ своемъ родѣ исторической обстановки событія. Только утративъ свой спеціальный историческій колоритъ, фабула такой драмы можетъ сохранить свою общую психологическую правду. Или Лассаль, какъ есть во весь ростъ и при подлинныхъ условіяхъ его жизни, дѣятельности и смерти, или русскій адвокатъ и писатель Арсеній Гуровъ, но Гуровъ-Лассаль непремѣнно будетъ переполненъ фальшью. Съ Арсеніемъ Гуровымъ можетъ случиться то же самое, что случилось съ Фердинандомъ Лассалемъ, но оно не можетъ *такъ* случиться. И несообразность предпріятія г. Михеева еще подчеркнулась сценическою случайностью — составомъ исполнителей на первомъ представленіи, въ особенности игрою г. Давыдова.

Г. Михеевъ сдѣлалъ все возможное, чтобы приблизить образъ Арсенія Гурова къ образу Лассаля, но всего этого оказалось слишкомъ мало въ силу предѣловъ русской возможности. У насъ невозможенъ агитаторъ рабочихъ массъ, открыто защищающій свое дѣло въ судѣ и въ печати, свободно разъѣзжающій изъ города въ городъ для произнесенія волнующихъ рѣчей, на виду у всѣхъ организующій рабочую армію. Но обстоятельство это имѣетъ большое значеніе и въ любовной исторіи Лассаля: ореолъ крупнаго политическаго дѣятеля и вождя народныхъ массъ былъ однимъ изъ соблазновъ для легкомысленной Елены Дённигесъ и однимъ изъ мотивовъ упорнаго отказа со стороны ея родителей. Поэтому и г. Михеевъ, разъ задавшись копированіемъ, долженъ былъ ввести хоть что-нибудь подобное въ свою драму. Въ видахъ ореола популярности, г. Михеевъ сдѣлалъ Гурова адвокатомъ, писателемъ и профессоромъ, но какъ бы ни былъ герой драмы популяренъ на всѣхъ этихъ трехъ поприщахъ, Лассаля изъ этого всетаки не выкроишь. Образъ мыслей Арсенія Гурова въ сущности неизвѣстенъ, то есть нигдѣ въ драмѣ не высказывается. Но автору и въ этомъ отношеніи нужно было приближеніе къ Лассалю, а потому мы узнаемъ отъ старика Торбѣева, что Гуровъ былъ лишенъ каѳедры и долженъ былъ жить нѣкоторое время внѣ столицы. Однако взысканія эти полагаются у насъ за проступки, не имѣющіе никакого сходства съ дѣятельностью Лассаля, которая у насъ просто немыслима. И если понятно упорство Дённигеса по отношенію къ Лассалю, то гораздо труднѣе понять упорство старика и старухи Торбѣевыхъ. Добро бы еще Гуровъ представлялъ собою что-нибудь въ родѣ гончаровскаго Марка Волохова, но ничего подобнаго нѣтъ: Гуровъ говоритъ, что матеріальное его положеніе «завидно», свѣтскія приличія онъ, повидимому, соблюдаетъ, какъ слѣдуетъ, родственникамъ Елены Торбѣевой онъ говоритъ, что «по воспитанію онъ человѣкъ ихъ круга и позорнаго пятна на его чести нѣтъ». О какомъ-нибудь низменномъ, плебейскомъ или вообще неодобряемомъ предразсудками происхожденіи Гурова (какъ о еврействѣ Лассаля) въ драмѣ нѣтъ и помину. Правда, въ одномъ мѣстѣ старикъ Торбѣевъ, возмущенный наглостью Гурова, говоритъ: «въ первый разъ я видѣлъ эту новую породу людей», но это восклицаніе рѣшительно ничѣмъ фактически не оправдано, какъ не оправдано и выраженіе Елены Торбѣевой: «Въ виду слишкомъ большой разницы нашихъ положеній и взглядовъ, я возвращаю вамъ ваше слово». Взглядовъ у Елены нѣтъ ровно никакихъ, а положеніе ея отца въ росписи дѣйствующихъ лицъ опредѣляется такъ: «богатый, родовитый помѣщикъ». Не Богъ уже знаетъ какое положеніе.

Такимъ образомъ самый узелъ драмы не имѣетъ за себя тѣхъ оправданій, какія существовали въ ея житейскомъ или историческомъ оригиналѣ. А это ведетъ ко многимъ даже комическимъ подробностямъ на сценѣ. Самъ Торбѣевъ (г. Писаревъ) простъ и натураленъ, можетъ быть потому, что ему «подъ 60 лѣтъ», и какъ ночью всѣ кошки сѣры, такъ и всѣ шестидесятилѣтніе старики, хотя бы весьма богатые и родовитые, не гонятся уже за свѣтскими манерами и довольствуются солидностью и важностью. Но его братъ и зять (гг. Черновъ и Новинскій) не имѣютъ этого преимущества. Они не могутъ подавлять Гурова своею сановитостью, а подавлять должны, чтобы выразить разницу «положеній». Они и стараются подавить его не только безукоризненностью костюма и свѣжестью перчатокъ (онъ и самъ прекрасно фракъ носитъ и въ свѣжихъ перчаткахъ ходитъ), а главнымъ образомъ изысканностью манеръ. А изысканность эту они, въ противоположность размашистой жестикуляціи Гурова, полагаютъ въ томъ, чтобы ходить, точно аршинъ проглотили, и не пу-

скать рукъ дальше полуаршина отъ туловища. По извѣстной французской поговоркѣ, «положеніе» обязываетъ, но если въ этомъ положеніи нѣтъ того, что ему желаютъ приписать, то оно руки-ноги связываетъ и аршинъ въ спину вставляетъ.

Сведя Лассаля въ предѣлы русской возможности, но сохранивъ при этомъ ходъ и подробности его подлинной любовной исторіи, г. Михеевъ совершилъ надъ своимъ героемъ жестокую операцію. Слишкомъ извѣстны непріятныя стороны личнаго характера Лассаля. На фонѣ грандіозной политической роли, о которой Лассаль мечталъ и которую въ извѣстной степени уже игралъ, эти недостатки отчасти не то что сглаживались, но по крайней мѣрѣ уравновѣшивались другими сторонами. Притомъ же крайнее самомнѣніе и чрезмѣрное честолюбіе Лассаля объяснялись тѣми дѣйствительно исключительными дарованіями, которыя за нимъ всѣми признавались и которыя были фактически засвидѣтельствованы на широкой аренѣ дѣятельности. Оставьте Лассалю воспитанныя успѣхами на этой аренѣ самомнѣніе, честолюбіе, самоувѣренность, упрямство, но отнимите самую эту арену, представьте себѣ, что его силы испробованы въ несравненно болѣе узкой сферѣ, и этотъ урѣзанный и обезцвѣченный, лишенный почвы Лассаль естественно окажется хвастуномъ, наглецомъ и самодуромъ. Таковъ онъ и есть въ драмѣ г. Михеева. Я отнюдь не думаю, что почтенный авторъ этого добивался. Напротивъ, онъ, повидимому, хотѣлъ усвоить своему герою много силы и блеска. Но это не вышло. Окружающіе называютъ Гурова «блестящей натурой», «ураганомъ», «орломъ» и т. п., самъ онъ много говоритъ о своемъ умѣ, энергіи, мощи, но всему этому приходится либо вѣрить на слово, либо совсѣмъ не вѣрить. Но этого мало. Разъ вступивъ на путь невольнаго приниженія Лассаля, г. Михеевъ разрѣшилъ себѣ кое-какія отступленія отъ подлинной исторіи и собственныя вставки въ нее, недостаточныя для того, чтобы сдѣлать ее неузнаваемою, но достаточныя для того, чтобы еще болѣе опошлить фигуру Лассаля.

Исторія Лассаля и Елены Деннигесъ извѣстна во всѣхъ подробностяхъ. Она разсказана, между прочимъ, и въ мемуарахъ самой Елены И несмотря на всѣ пятна личнаго характера, Лассаль привлекаетъ къ себѣ симпатію и участіе. Во-первыхъ, онъ всетаки и тутъ дѣйствительно «орелъ» и «блестящая натура». Во-вторыхъ, очень ужъ дрянна противная сторона. Не говоря уже о самой Еленѣ, чего стоитъ ея отецъ, не допускавшій къ ней писемъ Лассаля, запиравшій ее и прямо-таки дравшій ее за волосы! Въ драмѣ г. Михеева Торбѣевъ, замѣщающій Деннигеса,—благороднѣйшій старикъ, а сама Елена много лучше и привлекательнѣе Гурова. Когда Гуровъ возвращаетъ бѣжавшую къ нему Елену родителямъ, въ ней совершается крутой и окончательный переломъ: она дѣйствительно возмущена поведеніемъ Гурова и тутъ же, хотя и съ болью, вычеркиваетъ его изъ своего сердца или по крайней мѣрѣ изъ круга своихъ соображеній о будущей судьбѣ. Она обнаруживаетъ при этомъ достоинство, невольно подкупающее зрителей въ ея пользу и въ ущербъ Гурову. Совсѣмъ не такъ было въ той дѣйствительности, которую копировалъ г. Михеевъ, и трудно понять, зачѣмъ именно на этомъ пунктѣ отступилъ онъ отъ выбраннаго имъ оригинала. Зачѣмъ же было въ такомъ случаѣ вообще тревожить исторію крупнаго человѣка, погибшаго изъ-за несчастной страсти къ пустой и безсердечной женщинѣ? Далѣе, Гуровъ въ присутствіи своихъ друзей и родственниковъ Елены бросаетъ ей кольцо и говоритъ слѣдующія возмутительно наглыя слова: «Не болѣе двухъ мѣсяцевъ тому назадъ, въ тѣни водопада Учанъ-су, подъ Ялтой, подъ шумъ низвергающихся струй этого водопада, обмѣниваясь со мной стыдливымъ поцѣлуемъ... нѣкая молодая особа, вручая мнѣ это кольцо, клялась, что никогда никого не любила и не полюбитъ такъ, какъ меня!.. Госпожа Торбѣева, вы знаете это кольцо и эту особу... Возвращаю ей ея слово и кольцо, я *самъ*, ибо едва ли найдется уважающій самъ себя человѣкъ, который бы рѣшился дать свое имя особѣ, столь легко переходящей...»

Еслибы Лассаль дѣйствительно продѣлалъ эту сцену, она не стала бы менѣе возмутительна. Но дѣло въ томъ, что сцена эта есть одинъ изъ немногихъ плодовъ оригинальнаго творчества г. Михеева. Лассаль не продѣлывалъ ее и не могъ продѣлать, потому что хотя и добивался личнаго свиданія съ Еленой, но не добился, и всѣ переговоры велись безъ его непосредственнаго участія. Бурная и эффектная сцена съ бросаемымъ кольцомъ есть просто одинъ изъ суррогатовъ той мощи, блеска, орлинаго полета, которые присущи Гурову по словамъ окружающихъ, но которыхъ на самомъ дѣлѣ мы не видимъ. По этому суррогату можете судить объ остальныхъ.

Странность замысла г. Михеева очень своеобразно отражалась игрою г. Давыдова. Я рѣшительно не понимаю, какъ могъ этотъ тонкій и опытный артистъ взяться за роль Арсенія Гурова. Первый выходъ Гурова сопровождается восклицаніемъ одного изъ при-

сутствующихъ: «Эффектная голова!» Такъ стоитъ въ текстѣ драмы (она напечатана въ «Артистѣ»), но въ театрѣ я этого восклицанія не слыхалъ,—можетъ быть просто не дослышалъ, а можетъ быть оно выпущено. И хорошо, если выпущено. Голова, да и вся фигура г. Давыдова была отнюдь не эффектна. Густая черная борода, которою украсилъ себя бенефиціантъ, должна была вѣроятно намекать на энергію и страстный темпераментъ, но эффектной головы всетаки не создавала. А невысокая, слишкомъ плотная, тяжеловѣсная фигура г. Давыдова, такъ хорошо подходящая къ его лучшимъ ролямъ вродѣ городничаго въ «Ревизорѣ», разбивала всякую иллюзію, когда рѣчь шла объ «орлѣ», «орлиномъ полетѣ», «ураганѣ» и т. д. Но и помимо внѣшности, имѣющей столь важное значеніе на сценѣ, г. Давыдову совершенно не удалась страстная и «блестящая» натура, какъ отзываются о Гуровѣ его друзья и какъ задумалъ авторъ. Конечно, мудрено внести страсть и блескъ въ роль, въ которой ни того, ни другого нѣтъ, да и неизвѣстно еще, хорошо ли было бы, еслибы артисту удались всѣ подсказываемые авторомъ эффекты, — вѣдь тогда еще ярче выступали бы безпричинное самохвальство и наглость Гурова, и онъ былъ бы еще непріятнѣе, хотя авторъ этого вовсе не хотѣлъ. Въ нѣкоторыхъ сценахъ Гуровъ въ исполненіи г. Давыдова (сцена возвращенія Елены родителямъ, сцена съ кольцомъ) дѣйствительно возмущалъ нравственное чувство зрителей, такъ что хотѣлось сказать: «экій нахалъ!» Но за то въ другихъ получался комическій эффектъ. Плотный, кругленькій человѣкъ съ добродушнымъ, не смотря на гримъ, лицомъ довольно медленно двигается по сценѣ и довольно слабо изображаетъ изволнованность чувствъ, а про него говорятъ: «это ураганъ какой-то, а не человѣкъ!» Какой уже тутъ ураганъ!..

Припомните гордаго красавца Лассаля, избалованнаго необыкновенными успѣхами всякаго рода, поклоненіемъ тысячной толпы, женщинъ, образованнѣйшихъ людей своего времени, этого «царственнаго орла», какъ его называла Елена Деннигесъ. И потомъ пожалуйте въ Александринскій театръ смотрѣть драму г. Михеева. Елена Торбѣева тоже называетъ Гурова «орломъ». Она въ восторженномъ состояніи цѣлуетъ его руку и говоритъ: «Милый мой! орелъ мой! Возьми меня, научи меня быть такой же, какъ ты... Слушай, Арсеній... Дорогой мой, я сама не знаю, что со мною дѣлается... Близъ тебя я чувствую что-то новое, точно и я, и все вокругъ меня измѣняется... Слушай, и я знала много умныхъ, образованныхъ людей... Папа, дядя и другіе... они начитаны, умны... Но когда я съ тобой, они мнѣ кажутся такими слабыми, мелкими, точно ты раздвигаешь вокругъ меня какія-то преграды, которыхъ и не подозрѣвала»... И т. д.

На это Гуровъ, «гордо улыбаясь», говоритъ: «Бѣдная голубка, которую до сихъ поръ водили на золотой цѣпочкѣ... Ты сравниваешь меня съ другими, съ твоими родными. Они умны, образованы... Охотно вѣрю. Но знали ли они, что такое борьба? Испытывали ли они чувство побѣдителя? А я воспитанъ борьбой. Я дышу этимъ чувствомъ!».

О, какой же вы нахалъ, хвастунъ и самохвалъ, Арсеній Ѳедоровичъ! Зачѣмъ вы рядитесь въ чужія перья и, какъ попугай, повторяете слова Лассаля, который въ самомъ дѣлѣ зналъ, что такое борьба и въ самомъ дѣлѣ испытывалъ чувства побѣдителя. А вы знаете? Вы испытывали? гдѣ? когда? Мы очень хорошо знаемъ все, что ждетъ нашихъ профессоровъ, писателей и адвокатовъ на избранныхъ ими поприщахъ. Мы знаемъ, что порядочные люди изъ нихъ дѣйствительно борются по мѣрѣ силъ со зломъ, какъ его каждый изъ нихъ по своему понимаетъ. Но изъ уваженія къ нимъ и простой правды ради, мы не мѣряемъ ихъ дѣятельности неподходящими мѣрками. Сходите на Волково кладбище и разыщите тамъ такъ называемые «литераторскіе мостки». Тамъ лежатъ кости писателей нѣсколькихъ поколѣній; ихъ счеты съ жизнью покончены, итоги ихъ дѣятельности подведены, и ничто уже не прибавится къ ихъ заслугамъ, и ничто изъ нихъ не убавится. Перечтите могильныя надписи. Вы найдете тамъ Бѣлинскаго, чистаго душой, какъ хрусталь, страстно преданнаго правдѣ и всю жизнь жаждавшаго борьбы за правду. Въ чемъ другомъ, а въ этихъ качествахъ онъ Лассалю не уступаетъ и даже оставляетъ его далеко за собой. Идите дальше, къ могилѣ Добролюбова, Салтыкова, выбирайте наиболѣе популярныхъ. И что же, можете вы себѣ представить на ихъ лицахъ торжествующую, самодовольную улыбку людей, «испытывавшихъ чувство побѣдителей»? Нѣтъ, иное написано на этихъ лицахъ, и можетъ быть даже вамъ, при всей вашей развязности, вспомнятся при видѣ ихъ слова Гамлета: «о, успокойся, страждущая тѣнь!» Вы бахвалъ, Арсеній Ѳедоровичъ! Васъ скоро постигнетъ тяжелое горе: та самая дѣвица, которая сейчасъ въ восторгѣ цѣловала ваши руки и называла васъ орломъ, измѣнитъ вамъ. Это будетъ ваше личное горе, и, знаете ли, — мнѣ не жаль васъ будетъ, хотя вашъ прототипъ, Фердинандъ Лассаль, погибшій при условіяхъ, сходныхъ съ вашими, возбуж-

даетъ во мнѣ глубокую жалость. Простите мнѣ, но не сочувствіе возбуждаете вы во мнѣ, а отвращеніе... Вы скажете, что вы не виноваты, что это г. Михеевъ все такъ устроилъ и сочинилъ. Это вѣрно. Но поблагодарите же г. Давыдова: онъ сдобрилъ мое непріязненное къ вамъ чувство комическимъ оттѣнкомъ. Когда Елена Павловна въ восторгѣ умиленія цѣловала ваши руки и величала васъ орломъ, а вы принимали это какъ должное и «гордо улыбались» и хвастались, вы—кругленькій, толстенькій и ни въ какомъ случаѣ не орелъ—вы были немножко смѣшны...

Въ антрактѣ я слышалъ, какъ одинъ изъ зрителей, очевидно, незнакомый съ житейскимъ оригиналомъ драмы г. Михеева, говорилъ: Первыя три дѣйствія я понимаю,—мало ли какъ можетъ увлечься неопытная дѣвушка! Но когда она опомнилась и родителямъ удалось отказаться отъ этого непріятнаго человѣка, такъ зачѣмъ же еще это собраніе друзей и родственниковъ, какое-то слѣдствіе, какой-то судъ? такъ не бываетъ!— Такъ было,—пояснилъ болѣе свѣдующій собесѣдникъ и разсказалъ про Лассаля. Но въ дѣйствительности такъ не было: Лассаль не былъ такъ дуренъ, а семья Дённигесовъ не была такъ хороша. А между тѣмъ теперь можетъ быть у многихъ представленіе объ Лассалѣ ассоціируется съ представленіемъ объ Арсеніѣ Гуровѣ. Чужой намъ человѣкъ Лассаль, но всетаки за что же съ нимъ такъ жестоко поступать? А съ другой стороны, авторъ и своихъ не пожалѣлъ. «Двойною фабулой играя», онъ «въ двойную цѣль попалъ», и обѣ эти цѣли не хороши, хотя, я увѣренъ, г. Михеевъ не въ нихъ мѣтилъ. Онъ просто заинтересовался эффектною романическою исторіей и не разсчиталъ послѣдствій ея перенесенія на русскую почву.

XXVIII.

Въ голодный годъ.

I.

Въ № 43 «Русскихъ Вѣдомостей» (1892 г.) напечатанъ некрологъ доктора С. М. Виноградова. Авторъ некролога, докторъ Окороковъ, сообщаетъ, что покойный два мѣсяца тому назадъ прибылъ во главѣ санитарнаго отряда въ одинъ изъ центровъ эпидеміи сыпного тифа въ Казанской губерніи,—въ Цивильскій уѣздъ. Онъ засталъ здѣсь голодъ, сыпной типъ, дифтеритъ, брюшной тифъ, коклюшъ и цынгу. «Не жалѣя своихъ силъ, подавая геройскій примѣръ самоотверженія своему отряду, Стахій Михайловичъ всего себя, всѣ свои силы отдалъ на служеніе высокому дѣлу спасенія ближнихъ. Днемъ и ночью онъ былъ около своихъ больныхъ. Его нѣсколько разъ при разъѣздѣ по деревнямъ чуть не засыпали снѣжные бураны. Наканунѣ новаго года, послѣ ночи, проведенной въ бреду, не обращая вниманія на сильный жаръ и начинающуюся болѣзнь горла, Стахій Михайловичъ, получивъ извѣстіе о томъ, что въ одномъ изъ мѣстныхъ селеній появилось сразу много заболѣваній, немедленно поѣхалъ туда на помощь страждущимъ. Здѣсь его ослабленный организмъ не выдержалъ: Стахій Михайловичъ заразился сыпнымъ тифомъ и умеръ 28-го января».

Въ № 51 «Семипалатинскихъ Областныхъ Вѣдомостей» напечатано извѣстіе о смерти Н. Ѳ. Радецкой, дочери прославившагося въ послѣднюю турецкую войну генерала Радецкаго: «Съ прибытіемъ въ Омскъ переселенцевъ изъ голодающихъ мѣстностей, тамъ были устроены пріюты для бѣднѣйшихъ изъ нихъ и безплатныя столовыя».. Н. Ѳ. Радецкая приняла на себя, въ числѣ другихъ омскихъ дамъ, попеченіе о пріютахъ и столовыхъ. «Во время посѣщенія порученныхъ ея попеченію пришельцевъ, Н. Ѳ. заразилась брюшнымъ тифомъ и, не смотря на всѣ заботы родныхъ и старанія врачей, злая болѣзнь унесла ее въ могилу».

Въ № 44 «Русской Жизни» напечатана корреспонденція изъ Шадринскаго уѣзда. Крестьянинъ Саватѣевъ взбудоражилъ Далматовскую волость извѣстіемъ, что онъ имѣетъ полномочіе даромъ раздавать хлѣбъ. Всѣ знали кто такой Саватѣевъ, знали также, что «въ общественныхъ магазинахъ и складахъ хлѣба нѣтъ, что мѣстный благотворительный комитетъ выбивается изъ силъ, чтобы удовлетворить настоятельнѣйшую нужду не одной сотни голодающихъ въ Далматовской волости». Тѣмъ не менѣе на призывъ Саватѣева откликнулось нѣсколько сотъ человѣкъ, которые и собрались у волостного правленія, неся съ собой мѣшки разныхъ размѣровъ для полученія дарового хлѣба. Саватѣевъ, войдя въ волостное правленіе, велѣлъ сотскому и десятскому привести на сходъ врача Тимофѣева, председателя мѣстнаго благотворительнаго комитета. Врачъ Тимофѣевъ, не зная, зачѣмъ его зовутъ, явился. Саватѣевъ схватилъ его за плечи и, отбрасывая его съ силою въ возбужденную толпу, крикнулъ: «раздѣлывайся съ нимъ, ребята!» Нѣсколько рукъ уже протянулось къ Тимофѣеву, но ему удалось убѣжать. «На улицѣ толпа продолжала шумѣть и волноваться. Саватѣевъ, не обращая уже вниманія на ускользнувшую изъ рукъ его жертву, распоряжался приводомъ мирового судьи и другихъ членовъ благотворительнаго комитета, отъ которыхъ, по мнѣнію этого фанатика, происходило все зло—задержка въ

выдачѣ населенію дарового хлѣба на продовольствіе». Безпорядки кончились съ прибытіемъ властей, которымъ однако собственно сельскія власти, десятскіе и сотскіе, отказались помогать. Виновники безпорядковъ были арестованы, назначено слѣдствіе. «Но,— заключаетъ корреспондентъ, — какъ думаетъ объ инцидентѣ та самая толпа народа, которая готова была за нѣсколько часовъ назадъ, по распоряженію Саватѣева, произвести насиліе надъ людьми, съ замѣчательною энергіей и безкорыстіемъ отдавшихся служенію общественнымъ интересамъ,—мнѣ не удалось узнать. Не будетъ, впрочемъ, преувеличеніемъ сказать: симпатіи народа на сторонѣ Саватѣева».

Если читатель уже знакомъ съ приведенными тремя сообщеніями, пусть онъ всетаки въ нихъ вдумается. Это—слагаемыя какой-то ужасающей своимъ значеніемъ суммы. Вѣчная память М. С. Виноградову и Н. Ѳ. Радецкой, погибшимъ на поприщѣ дѣятельной любви. Вѣчная память этимъ самоотверженнымъ и скромнымъ людямъ, о которыхъ мы узнаемъ только тогда, когда ихъ уже не стало. Передъ ихъ подвигомъ совершенно блѣднѣетъ ходячее сравненіе съ солдатомъ, умершимъ на своемъ посту, потому что этотъ подвигъ есть дѣло вполнѣ свободнаго выбора и чистой, безпримѣсной любви. Какъ умирали эти самоотверженные люди, мы не знаемъ. Но сами они, и въ особенности Виноградовъ, въ качествѣ врача, не могли не знать, на что они идутъ. Можно однако сомнѣваться, чтобы въ составѣ того риска, на который они себя обрекали, было нѣчто подобное тому, что пришлось испытать врачу Тимофѣеву въ Далматовскомъ волостномъ правленіи. Одна мысль объ этомъ должна бы была наполнить ихъ сердца горьчайшею изъ отравъ. Дѣло не въ физической опасности,—ей Виноградовъ сознательно подвергался и подъ снѣжными буранами, и у постели заразныхъ больныхъ. Дѣло въ нравственномъ ужасѣ насилія и можетъ быть смерти отъ руки тѣмъ самыхъ людей, ради которыхъ предпринятъ подвигъ самоотверженія. За что?! за что?! Нѣтъ словъ для выраженія тѣхъ нравственныхъ мукъ, которыя могутъ уложиться въ этотъ короткій вопросъ. Нѣтъ мѣрки той скорби, которая изгрызла бы сердца Виноградова и Радецкой при мысли объ этой чудовищной перспективѣ.

Скажутъ: das ist eine alte Geschichte; темная народная масса не вѣдаетъ, что творитъ, когда она возбуждена, и уже не разъ и не два случалось въ исторіи, что она смѣшивала преданнѣйшихъ друзей съ врагами. Да, это — alte Geschichte, но она bleibt immer neu для тѣхъ, кому ее переживать приходится, и привыкнуть къ ней нельзя. Плохое это утѣшеніе: не вѣдаютъ, что творятъ. Это — оправданіе для невѣдующихъ, но въ этомъ же заключается вящшая горечь для жертвъ невѣдѣнія. Въ томъ-то и дѣло, что не вѣдаютъ. Это не отогрѣтая на груди змѣя, скорая на месть и не знающая благодарности, подлая тварь, которую и отогрѣвать не стоило и которой можно безъ зазрѣнія совѣсти размозжить голову, защищаясь отъ ея укуса. Съ такими имѣть дѣло еще полгоря. А вотъ горе, когда языкъ не повертывается обвинять тѣхъ, кто васъ бьетъ за вашу готовность претерпѣть ради нихъ. Надо надѣяться, что г. Тимофѣевъ, едва ускользнувшій отъ разъяренной толпы никому не уступитъ въ преданности взятому на себя дѣлу. Но я предпочитаю остановиться на С. М. Виноградовѣ, представившемъ послѣднее возможное для смертнаго доказательство этой преданности. Представьте себѣ его въ Далматовскомъ волостномъ правленіи. Подумайте, какими трудными душевными процессами должно было осложняться въ немъ естественное чувство самосохраненія. Его, всю душу свою положившаго въ дѣло избавленія людей отъ страданій, они обвиняютъ именно въ этихъ своихъ страданіяхъ; его, избавителя, бьютъ и можетъ быть сейчасъ въ клочки изорвутъ. И онъ, не знающій за собой вины, по совѣсти не можетъ обвинять ни этого во тьмѣ ходящаго Саватѣева, ни этой, столь же темной толпы, вѣрящей невѣроятному и не вѣрящей очевидности. Мнѣ кажется, что въ такомъ положеніи иа человѣка можетъ просто столбнякъ напасть, такъ что у него и ноги не побѣгутъ отъ опасности, и рука не поднимется, чтобы заслониться отъ удара. И во всякомъ случаѣ едва ли можно придумать что-нибудь болѣе страшное, чѣмъ это положеніе среди толпы разъяренныхъ нуждою людей, находящихся во власти рокового недоразумѣнія.

Боже меня сохрани отъ мысли удерживать кого-нибудь отъ того пути дѣйственной любви, на которомъ сложили свои головы Виноградовъ и Радецкая и едва избѣгъ большой опасности г. Тимофѣевъ. Умирать когда-нибудь всѣмъ надо, да и не всѣмъ же, вступившимъ на этотъ трудный путь, грозитъ смерть. Но не слѣдуетъ всетаки скрывать отъ себя, что дѣло помощи голодающимъ обставлено чрезвычайными трудностями и добрымъ чувствамъ людей, желающимъ себя посвятить ей, предстоятъ жестокія испытанія.

Въ газетѣ «Недѣля» недавно были напечатаны слѣдующія сатирическія строки:

Сидишь гдѣ-нибудь въ концертѣ, на лекціи или на „Дузе" и вдругъ среди публики видишь характерную голову какого-нибудь Ивана Пет-

ровича, земскаго дѣятеля или врача голодной губернія, человѣка, котораго считалъ цѣликомъ ушедшимъ въ борьбу съ голодомъ, рыскающимъ по уѣзду, не вылѣзающимъ изъ саней. Какими судьбами? Въ антрактѣ дѣло объясняется. Завидѣвъ васъ, интеллигентъ нѣсколько конфузится и спѣшитъ заговорить съ вами о Дузе:

— Какова, батенька, игра! Сколько нервовъ, сколько благородства, породы. Какая естественность движеній, какая правда въ смѣхѣ и рыданіи!.. Помните, какъ это она произнесла: „Mai signor, mai... impossibile“...

— Позвольте, синьоръ—прерываешь его,— прежде всего „impossibile“ понять, какъ вы попали сюда изъ вашихъ голодныхъ мѣстъ. Призракъ это вашъ, или вы сами?..

Интеллигентъ конфузливо и горячо начинаетъ разсказывать, что у нихъ творится.

— Просто человѣческихъ силъ нѣтъ, чтобы вынести все это! Я не могу, я слишкомъ отзывчивъ. Видишь воочію—и помочь ничѣмъ не можешь. До того одурь возьметъ, что готовъ бѣжать хоть на край свѣта...

И такихъ интеллигентовъ, не выдержавшихъ голодныхъ зрѣлищъ, много.

Легко писать такія сценки, въ особенности сидя у себя въ кабинетѣ въ Петербургѣ и еще въ особенности, когда укоризненныя слова направлены по вѣрному адресу, т. е. когда «Иванъ Петровичъ» дѣйствительно заслуживаетъ укора. Но не всегда такъ, я думаю, бываетъ. По крайней мѣрѣ я могу представить себѣ безукоризненно честнаго человѣка, искренно и нелицемѣрно повторяющаго послѣднюю реплику Ивана Петровича. Мнѣ случалось слышать чтеніе писемъ отъ людей, работающихъ въ даровыхъ столовыхъ. Впечатлѣніе получалось вообще, конечно, невеселое, но особенно поразила меня одна подробность. Авторъ письма сообщаетъ о тѣхъ нравственныхъ мученіяхъ, которыя онъ испытываетъ при вынужденныхъ отказахъ въ пищѣ. Столовая разсчитана, положимъ, на сто человѣкъ; является сто первый, сто второй— и имъ приходится отказывать, въ виду необходимости строго опредѣленнаго бюджета, хотя они не менѣе нуждаются, чѣмъ первая счастливая сотня; или приходится выбирать между двумя равно голодными ребятами и накормить лишь одного изъ нихъ. Каково смотрѣть на второго, забракованнаго? Поистинѣ ужасно! Честь и хвала тѣмъ мужественнымъ людямъ, которые стойко выносятъ эти нравственныя муки, но и въ тѣхъ, кто бѣжитъ отъ нихъ, я не рѣшился бы бросить камнемъ. Мнѣ, признаюсь, они даже какъ-то ближе, роднѣе, чѣмъ тѣ, которые, хотя бы и съ болью въ сердцѣ, но могутъ и сегодня, и завтра, и въ теченіе мѣсяца выбирать: ѣшь Ваня!—Богъ подастъ, Вася! — хотя у Васи такъ же подводитъ животъ, какъ и у Вани. Что дѣлать, конечно, предѣлы помощи поневолѣ указываются средствами, имѣющимися въ распоряженіи, и изъ ничего ничего и сдѣлать нельзя. Я говорю только, что нравственныя муки людей, искренно желающихъ помочь бѣдствующимъ, столь велики, что бѣгство: ихъ не постыдно, если, разумѣется, нравственныя муки въ самомъ дѣлѣ ихъ одолѣваютъ, а не служатъ только предлогомъ для того, чтобы насладиться игрою Дузе. О такихъ говорить не стоитъ. Но и слѣдуетъ, какъ говоритъ довольно, впрочемъ, неуклюжая нѣмецкая пословица, выплескивать изъ ванны вмѣстѣ съ водой и ребенка. Не слѣдуетъ изъ-за людей неискреннихъ и придирающихся къ случаю увильнуть отъ дѣла упускать изъ виду настоящія нравственныя муки, отъ которыхъ бѣжать, право, не постыдно. Не слѣдуетъ попрекать бѣглецовъ въ особенности тѣмъ, кто и самъ «сидитъ гдѣ-нибудь въ концертѣ, на лекціи или на Дузе» и лично не видалъ того зрѣлища, отъ котораго бѣгутъ осуждаемые имъ.

Дѣло въ томъ, что какъ ни велика сила любви, а одной ея мало при нынѣшнихъ обстоятельствахъ. Нужны еще, какъ говорилъ Монтекукули про войну, во-первыхъ деньги, во-вторыхъ деньги и въ-третьихъ деньги. Это —азбука, но пока она находится въ состояніи отвлеченности, мы должны быть готовы къ печальнымъ событіямъ въ родѣ Далматовской исторіи. Исторія эта показываетъ, однако, что нужно и еще нѣчто, кромѣ любви и средствъ для ея осязательнаго проявленія. Нужно устраненіе того рокового недоразумѣнія, которое побудило толпу наброситься на людей, не только ни въ чемъ неповинныхъ, но взявшихъ на себя трудъ помощи ей. Недоразумѣніе это не сегодня и не вчера народилось. Оно висѣло и надъ Виноградовымъ, и надъ Радецкой, хотя они смертью засвидѣтельствовали свою преданность нуждающимся и обремененнымъ. Для устраненія этого недоразумѣнія очевидно мало тѣхъ мѣръ, при помощи которыхъ были прекращены Далматовскіе безпорядки. Саватѣевъ и другіе виновники безпорядковъ арестованы, наряжено слѣдствіе, послѣдуютъ судъ и наказаніе виновныхъ. Все это въ порядкѣ вещей. Но, какъ говоритъ корреспондентъ *Русской Жизни*, «не будетъ преувеличеніемъ сказать: симпатіи народа на сторонѣ Саватѣева». Я думаю, что никто, мало-мальски знакомый съ психологіей массъ, постигнутыхъ тяжелымъ бѣдствіемъ, не станетъ оспаривать это слишкомъ робко выраженное предположеніе корреспондента. А если такъ, то при первомъ удобномъ случаѣ начнется сказка про бѣлаго бычка, и опять найдется Саватѣевъ, и опять его, вопреки всякому здравому смыслу и оче-

видности, послушаютъ. Есть близорукіе люди, полагающіе, что народная темнота вообще, народное предубѣжденіе и недовѣріе къ интеллигентнымъ людямъ въ частности—представляютъ собою какую-то гарантію порядка. И когда изъ этого проистекаетъ напротивъ безпорядокъ, они съ легкимъ сердцемъ требуютъ кары виновныхъ, видя въ ней предѣлъ, его же не прейдешь. Благоустроенное государство, разумѣется, не можетъ быть безсуднымъ государствомъ, но легкое сердце въ данномъ случаѣ неумѣстно до возмутительности. Кара виновныхъ сама по себѣ не въ силахъ обратить тьму въ свѣтъ. Ну, а въ темнотѣ фантастическіе призраки бродятъ, свои своихъ не узнаютъ и сшибаются лбами и другъ другу страшную боль причиняютъ, какую пришлось вытерпѣть г. Тимофѣеву, какая могла при подобныхъ же обстоятельствахъ угрожать и Виноградову, и Радецкой, и всѣмъ «погибающимъ за великое дѣло любви».

II.

Вѣсти о положеніи населенія въ мѣстностяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая, такъ сбивчивы и противорѣчивы, что у всякаго можетъ явиться желаніе провѣрить или дополнить ихъ личнымъ наблюденіемъ. Воспользовался и я первымъ представившимся мнѣ удобнымъ случаемъ, чтобы взглянуть на одинъ изъ постигнутыхъ бѣдой уголковъ. Уголокъ этотъ—часть Новосильскаго уѣзда Тульской губерніи. Районъ моихъ наблюденій былъ очень маленькій, да и времени въ моемъ распоряженіи было меньше малаго. Въ виду начавшейся распутицы я могъ пробыть на мѣстѣ всего три дня, а потому о какомъ-нибудь изученіи положенія вещей не можетъ быть и рѣчи. Я могу говорить только о полученныхъ мною впечатлѣніяхъ, о томъ, что слышалъ на мѣстѣ отъ людей, непосредственно соприкасающихся съ бѣдой, и что видѣлъ собственными глазами въ теченіе трехъ дней. Не хуже кого бы то ни было понимаю я, какъ это мало, хотя нѣкоторыя особенныя обстоятельства и благопріятствовали мнѣ. Но если мнѣ скажутъ, что не стоило и ѣздить на такой срокъ, не стоитъ и писать о поѣздкѣ, то я не соглашусь. Напротивъ, и другимъ скажу: поѣзжайте хоть на три дня, хотя бы за тѣмъ только, чтобы, подобно Ѳомѣ невѣрному, вложить персты свои въ язвы гвоздяныя.

Подъѣзжая по Орловско-Грязской желѣзной дорогѣ къ мѣсту своего назначенія, я купилъ свѣжій номеръ *Орловскаго Вѣстника*. Купилъ безъ всякой задней мысли, просто потому, что разносчикъ предложилъ газету. Но по пословицѣ—на ловца, и звѣрь бѣжитъ, какъ разъ напалъ на корреспонденцію изъ Новосильскаго уѣзда. Понятенъ интересъ, съ которымъ я ее прочиталъ. Сообщенія корреспондента (анонимнаго) не совпадали съ тѣми свѣдѣніями, которыя я лично имѣлъ изъ Новосильскаго уѣзда. Я слышалъ именно, что дѣла въ Новосильскомъ уѣздѣ плохи, а сообщенія корреспондента напротивъ очень утѣшительны: была гроза и, повидимому, большая, но уже миновала. «Почти все населеніе уѣзда» получаетъ по 30 ф. ржи на человѣка. «Хотя,—прибавляетъ корреспондентъ,—выдаваемыхъ 30 ф. и не хватаетъ на мѣсяцъ, но съ этою бѣдою крестьяне легко справляются, подбавляя къ хлѣбу незначительное число лебеды или пополняя недостатокъ покупнымъ хлѣбомъ». Запасъ земскаго хлѣба, предназначеннаго въ ссуду, достигаетъ, «говорятъ», 500 вагоновъ; а эта цифра «вполнѣ гарантируетъ населеніе». Выдаетъ пособія и Красный Крестъ, безземельнымъ, тоже по 30 ф. ржаной и частью кукурузной муки. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ уѣзда открыты кромѣ того Краснымъ Крестомъ пекарни, откуда нуждающееся населеніе пріобрѣтаетъ хлѣбъ изъ смѣси ржаной и кукурузной муки по $1\frac{1}{2}$ коп. фунтъ. «Предстоящее обсѣмененіе яровыхъ полей у насъ можно считать обезпеченнымъ,—сообщаетъ далѣе корреспондентъ,—такъ какъ овесъ для этого повсемѣстно засыпанъ сельскими обществами въ магазины, и земство очень заботится о томъ, чтобы этотъ овесъ не расходовался крестьянами на другія потребности, предупреждая, что въ противномъ случаѣ никакихъ ссудъ больше не будетъ».

Но ни въ какихъ дальнѣйшихъ ссудахъ и надобности нѣтъ, если картина, нарисованная корреспондентомъ *Орловскаго Вѣстника*, соотвѣтствуетъ дѣйствительности: настоящее «гарантировано», будущее «обезпечено». Бѣда, значитъ, вся въ прошломъ, въ воспоминаніи, и чего же больше нужно? А корреспондентъ еще забылъ упомянуть о даровыхъ столовыхъ для дѣтей и стариковъ, которыя, какъ я навѣрное зналъ, въ Новосильскомъ уѣздѣ существуютъ...

Скажу прямо: эти забытыя корреспондентомъ или неизвѣстныя ему столовыя составляютъ во всемъ видѣнномъ мною единственную свѣтлую точку, да и то условно. Спрашивается, что же мнѣ дѣлать, если мои впечатлѣнія такъ рѣзко расходятся съ сообщеніями мѣстнаго корреспондента? Неужели молчать? Трехъ дней, проведенныхъ мною въ деревнѣ, слишкомъ мало вообще, но ихъ совершенно достаточно для того, чтобы убѣдиться въ томъ, что мѣстныя из-

вѣстія не всегда заслуживаютъ довѣрія. Для этого они должны быть надлежащимъ образомъ обставлены, Я не позволилъ бы себѣ усомниться въ вѣрности показаній корреспондента *Орловскаго Вѣстника*, еслибы это были въ самомъ дѣлѣ показанія, еслибы корреспондентъ разсказывалъ про то, что самъ, собственными глазами, видѣлъ или дѣйствительно на мѣстѣ слышалъ. Ничего подобнаго въ корреспонденціи нѣтъ. Свѣдѣнія, сообщаемыя ею, можно получить, не выѣзжая изъ гор. Новосиля, а пожалуй и Тулы, Орла, даже Москвы или Петербурга. Это канцелярскія свѣдѣнія, а не живое свидѣтельство, и потому ихъ мѣстное происхожденіе нисколько не гарантируетъ ихъ достовѣрности. Я не то видѣлъ въ Новосильскомъ уѣздѣ, что разсказываетъ корреспондентъ *Орловскаго Вѣстника*, и не считаю чрезмѣрною смѣлостью противопоставить свои наблюденія его сообщеніямъ, хотя онъ—мѣстный житель, а я—наѣзжій петербуржецъ. Само собою разумѣется, что я не считалъ бы себя обязаннымъ молчать и въ томъ случаѣ, еслибы сообщеніе корреспондента отличалось несравненно большею точностью и жизненностью: онъ вибѣлъ одно, я видѣлъ другое. И изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы кто-нибудь изъ насъ былъ непремѣнно недобросовѣстенъ, намѣренно искажалъ по какимъ-нибудь стороннимъ соображеніямъ истину. Нужда окрасила собою огромныя пространства, но на этихъ огромныхъ пространствахъ есть своего рода оазисы. Не вездѣ, но во многихъ мѣстностяхъ картина бѣдствія, повидимому, очень пестра. Въ зависимости отъ капризовъ природы и степени расшатанности хозяйства предшествовавшими обстоятельствами, даже сосѣднія волости могутъ являть большую или меньшую разницу. Заглянувъ въ одну, двѣ деревни хотя бы того же Новосильскаго уѣзда, корреспондентъ можетъ только о нихъ и говорить; распространить же свои заключенія на весь уѣздъ онъ можетъ лишь въ томъ случаѣ, если дѣйствительно со всѣмъ уѣздомъ познакомился. Мало того: даже въ одной и той же деревнѣ наблюдатель можетъ увидать разное, побывавъ въ ней въ разное время. Корреспондентъ *Орловскаго Вѣстника* утверждаетъ, что хотя земской ссуды и не хватаетъ на мѣсяцъ, «но съ этою бѣдою крестьяне легко справляются, подбавляя къ хлѣбу незначительное число лебеды или пополняя недостатокъ покупнымъ хлѣбомъ». Во-первыхъ, было бы на что покупать, а во-вторыхъ, что это значитъ: «незначительное число лебеды»? Я не о грамматической нескладицѣ этихъ словъ говорю, а объ ихъ внутреннемъ смыслѣ. Я видѣлъ и пробовалъ хлѣбъ, отъ котораго нашего брата тошнитъ, отъ котораго и крестьянъ «блюетъ»,—по ихъ неделикатному выраженію. Можетъ быть, на взглядъ корреспондента «число лебеды» въ этомъ хлѣбѣ и незначительно, хотя самъ онъ навѣрное его ѣсть не станетъ, но дѣло то въ томъ, что и этотъ, видѣнный мною хлѣбъ, далеко не составляетъ предѣла, его же не преходитъ мужицкая нужда. Такъ какъ земской ссуды на мѣсяцъ не хватаетъ, то крестьяне подбавляютъ къ хлѣбу лебеду въ возростающей прогрессіи постепенно: сначала кладутъ ее можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ «незначительное число», а потомъ все усиливаютъ и усиливаютъ подмѣсь и къ концу мѣсяца ѣдятъ чуть не чистую лебеду. Значитъ, два наблюдателя, бывшіе въ одной и той же деревнѣ: одинъ тотчасъ послѣ полученія ссуды, а другой три недѣли спустя, увидятъ разный хлѣбъ. Конечно, до истины въ этомъ случаѣ добраться очень легко, но надо желать до нея добраться.

Иногда, впрочемъ, желаніе добраться до истины осложняется нѣкоторой необыкновенно странною чертою. «Нужда безспорно есть,—говорилъ мнѣ дорогой случайный сосѣдъ по вагону,—но все это преувеличено, раздуто: я не видалъ ни умирающихъ отъ голода людей, ни лошадиныхъ скелетовъ по дорогамъ». Меня поразила въ этихъ словахъ не только самоувѣренная незаконность обобщенія видѣннаго и невиданнаго, а и тонъ, которымъ они были сказаны. Это былъ тонъ какъ бы даже сожалѣнія, что не пришлось получить своеобразнаго эстетическаго впечатлѣнія, обѣщаннаго слухами. Мнѣ разсказывали, что уѣздный предводитель дворянства въ одной изъ пострадавшихъ губерній (не Тульской) лично водилъ одного своего знакомаго по дворамъ бѣднѣйшихъ крестьянъ. Нѣсколько избъ они прошли, но на путешественника это зрѣлище не произвело сильнаго впечатлѣнія. «C'est la misère, mon cher, mais non la disette; montrez moi la vraie disette!»—говорилъ путешественникъ. Наконецъ пришли въ избу, которая даже такого требовательнаго путешественника удовлетворила. Между нимъ и хозяиномъ произошелъ слѣдующій разговоръ: «Если ты теперь, получая ссуду, такъ живешь, то какъ же ты жилъ до ссуды, пока ея совсѣмъ не выдавали?» — «Какъ жилъ? вѣстимо какъ: овецъ продалъ — проѣлъ» — «Ну?» — «Корову продалъ — проѣлъ».—«Ну?»—«Лошадь продалъ—проѣлъ». «Ну?» — «Землю сдалъ—проѣлъ».—«Ну?» — «Вотъ-те и ну! и сказывать больше нечего».

Требовательный путешественникъ, мнѣ кажется, очень типиченъ. Не мало наблюдателей, ищущихъ такой истины, чтобы уже ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать,

и когда они такой не находятъ, то ими овладѣваетъ разочарованіе. Сѣни и навѣсы, изрубленные на отопленіе, хлѣбъ чуть не изъ чистой лебеды,—это еще только misère, потому всетаки хлѣбъ, а наблюдателю нужна la vraie disette, онъ почти тоскуетъ по особенно ужаснымъ формамъ бѣдствія и когда наконецъ находитъ нѣчто приближающееся къ его идеалу, то любознательно допытывается: отчего же ты, братецъ, всетаки живъ? Отчего не умеръ? Положимъ, что вопросъ дѣйствительно любопытный и иногда трудно разрѣшимый. Но изъ того, что такая-то деревня не вымерла pour les beaux yeux любознательнаго путешественника и тѣмъ самымъ, обманувъ его ожиданія, разочаровала его, еще отнюдь не слѣдуетъ, что бѣдствіе «преувеличено» или «раздуто».

Первое, съ чѣмъ я познакомился по пріѣздѣ на мѣсто, было именно то, что пропущено корреспондентомъ *Орловскаго Вѣстника*,—даровыя столовыя, Ихъ въ томъ углу Новосильскаго уѣзда, гдѣ я былъ – 14 и кормится въ нихъ 800 съ чѣмъ-то человѣкъ. Цифры эти, впрочемъ, можетъ быть, уже невѣрны теперь, такъ какъ потребность въ столовыхъ очень велика и ей, повидимому, предстоитъ еще рости. Теперь кормятся малые и старые, а съ началомъ полевыхъ работъ, по мнѣнію свѣдущихъ людей, необходимо придется кормить и людей рабочаго возраста, потому что съ лебеднаго хлѣба много не наработаешь. Столовыя устроены стараніями мѣстной землевладѣлицы Л. Н. Бобрищевой-Пушкиной, не имѣющей положенія оффиціальной благотворительницы, но получившей въ свое распоряженіе, кромѣ частныхъ пожертвованій, 1,000 руб. изъ Особаго комитета, затѣмъ еще 1,000 р. собственно на прокормъ лошадей и 500 руб. изъ Московскаго комитета. Во всѣхъ столовыхъ выдается по фунту хлѣба на человѣка и горячее варево изъ пшена, гороха, картофеля или кукурузы. Обходится эта ѣда по 1 р. въ мѣсяцъ на человѣка. Но самыя столовыя устраиваются разнообразно, примѣнительно къ обстановкѣ. Такъ, одна изъ видѣнныхъ мною устроена въ чертѣ помѣщичьей усадьбы, въ приспособленномъ для для этой цѣли старомъ маленькомъ строеніи, и готовитъ здѣсь нанятая стряпуха. Въ другой деревнѣ подъ столовую занята крайне неприглядная изба одного изъ бѣднѣйшихъ крестьянъ, семья котораго за свои труды кормится и отопляется отъ столовой. Третья, для учениковъ сельской школы, устроена въ довольно просторной и свѣтлой избѣ, выбранной частью за эти ея свойства, частью за качества хозяина, умнаго и бывалаго мужика изъ солдатъ.

Ребята, обѣдающіе въ столовыхъ, производятъ необыкновенно пріятное впечатлѣніе. Глядя на ихъ веселыя, довольныя лица, съ нѣкоторымъ усиліемъ вспоминаешь, что ихъ сюда загнали нужда и горе. Точно какой свѣтъ исходитъ отъ этихъ оживленныхъ дѣтскихъ лицъ, и свѣтъ этотъ скрашиваетъ и дырявую одеженку ребятъ, и полутемную, тѣсную избу съ липкимъ земляным поломъ. Если кто хочетъ получить исключительно пріятное впечатлѣніе, пусть ѣдетъ въ голодную деревню смотрѣть, какъ въ даровыхъ столовыхъ ребята ѣдятъ. Но пусть только на ребятъ и смотритъ, и именно только въ тѣ минуты, когда они въ столовой, пусть даже о недавнемъ прошломъ этихъ самыхъ ребятъ не задумывается. Свѣтлое впечатлѣніе будетъ отравлено каждымъ взглядомъ въ сторону.

Не смотря на кратковременность моего пребыванія въ деревнѣ, я получилъ много гнетущихъ, оскорбительныхъ впечатлѣній. Но все это блѣднѣетъ въ сравненіи съ тѣмъ, что было и можетъ опять быть. Земскую ссуду начали выдавать съ декабря, между тѣмъ какъ нужда стала давать себя знать уже съ первыхъ чиселъ іюля. Въ теченіе почти полугода народъ перебивался собственными силами, распродавая овесъ, лошадей, коровъ, подмѣшивая лебеду въ хлѣбъ съ самаго новаго урожая и постепенно усиливая эту подмѣсь, уходя побираться цѣлыми семьями не только по ближайшимъ окрестностямъ, но и въ сосѣднія губерніи. Это и теперь не прекратилось. Я видѣлъ на станціи Хомутово мужика, отправлявшагося съ тремя дѣтьми побираться въ Воронежскую губернію. Такимъ образомъ ссуда, и сама по себѣ скудная, досталась населенію, уже въ конецъ оскудѣлому. Особенно тяжело приходилось, разумѣется, слабымъ изъ слабыхъ — старикамъ и дѣтямъ, «Не то, что ихъ, — говорилъ мнѣ подростокъ лѣтъ четырнадцати, указывая на обѣдающихъ въ столовой малышей,— а и насъ вѣтромъ качало». По свидѣтельству очевидцевъ, хлѣбъ, которымъ питались эти несчастные, превосходитъ всякое описаніе: его приходилось кочергой выгребать изъ печки, потому что при значительной примѣси лебеды хлѣбъ разсыпается комьями. Какъ ни выносливъ мужицкій желудокъ, но такое питаніе не могло не отозваться усиленною болѣзненностью и смертностью. Земская ссуда и столовыя нѣсколько поправили дѣло. Но не слѣдуетъ преувеличивать значенія этой поправки. Ссуда далеко не достаточна, прикупать хлѣба не на что, потому что платежныя средства давно истощены, да и не однимъ хлѣбомъ исчерпывается нужда. Вдобавокъ по какимъ-то соображеніямъ завѣдомо недостаточная 30-фунтовая ссуда иногда

сокращается. По словамъ крестьянъ нѣкоторыхъ деревень Судбищенской волости, ссуда спускается до 12, 10 и даже 8 фунтовъ въ мѣсяцъ! Когда я спрашивалъ о причинахъ или мотивахъ такого уменьшенія ссуды, крестьяне или не умѣли мнѣ отвѣтить, или говорили такое, что я затрудняюсь передавать, такъ какъ показанія ихъ требовали бы провѣрки, которой я не могъ сдѣлать. Что касается столовыхъ, то польза ихъ несомнѣнна, но ихъ очень мало и возникновеніе ихъ зависитъ отъ разныхъ случайностей: найдется ли добрый человѣкъ, найдется ли у этого добраго человѣка энергія, найдутся ли деньги.

Деревни Любовша, имѣніе г-жи Бобрищевой-Пушкиной, представляетъ собою, какъ я сейчасъ разскажу нѣсколько подробнѣе, нѣкоторый центръ для довольно большой округи, куда обращаются за разными надобностями, въ томъ числѣ и за медицинскою помощью. Это не значитъ, чтобы въ Любовшѣ жилъ врачъ. Врачъ живетъ верстъ за 20, и лѣченіе въ Любовшѣ ведется элементарными способами, по лѣчебнику и съ помощью домашней аптеки. Приходящимъ разнаго рода больнымъ ведется запись. Такихъ больныхъ въ самой Любовшѣ, при населеніи въ 309 душъ, было въ теченіе января 175 человѣкъ. 23-го января была открыта столовая на 140 человѣкъ, и въ февралѣ число больныхъ упало до 109, а съ 1-го по 16-е марта ихъ было уже только 28 человѣкъ. Между тѣмъ число больныхъ изъ окрестныхъ деревень, гдѣ не вездѣ есть столовыя, постоянно ростетъ. Въ сентябрѣ всѣхъ больныхъ было 80, въ октябрѣ 103, въ ноябрѣ 182, въ декабрѣ 165 (убыль объясняется метелями, мѣшавшими больнымъ приходить издалека), въ январѣ 242, въ февралѣ 245, въ мартѣ съ 1-го по 16-е, т. е. за полмѣсяца,—169. Это, конечно, не статистика, а своего рода суррогатъ статистики, но вѣдь мы теперь вообще живемъ въ сферѣ суррогатовъ, и самая медицина въ данномъ случаѣ, за отсутствіемъ врача, есть лишь суррогатъ медицины. Да и не въ лѣченіи дѣло, а въ питаніи. Формируемые теперь санитарные отряды ничего не сдѣлаютъ, если въ ихъ распоряженіи не будетъ средствъ для открытія столовыхъ или иныхъ способовъ поднять питаніе, или если не будетъ принято какихъ-нибудь общихъ мѣръ въ этомъ направленіи.

Я видѣлъ въ одной деревнѣ сцену, которая и сейчасъ стоитъ передъ моими глазами во всѣхъ подробностяхъ. Въ темной нетопленной избѣ, съ низкимъ земляннымъ поломъ, лежала больная женщина; возлѣ нея стоялъ сынъ, мальчикъ лѣтъ 5, съ выраженіемъ застывшаго испуга на худенькомъ личикѣ, другой, грудной, лежалъ закутанный на печкѣ. У больной опухли ноги, руки корчитъ, у нея «подъ сердце подкатываетъ». Она уже причащалась, но совершенно спокойна, до апатіи, хотя баба молодая и, какъ мнѣ говорили, бойкая. Она оживилась только тогда, когда заговорили объ ѣдѣ, и настойчиво потребовала, чтобы мы заглянули въ печку, — что, дескать, тамъ есть: тамъ ничего не было, кромѣ котелка или горшка съ водой; печка была холодная. Хотя я вовсе не хотѣлъ осматривать печь и сдѣлалъ это только по настоянію больной хозяйки, но, заглянувъ, почувствовалъ, что краснѣю отъ стыда...

Вообще, по привычкѣ ли къ недовѣрію или по какой другой причинѣ, крестьяне съ чрезвычайною торопливостью стараются подтвердить чѣмъ-нибудь фактическимъ свои жалобы на нужду: суютъ вамъ въ руки свой лебедный хлѣбъ, выводятъ на показъ лошадей, еле передвигающихъ ноги. Да есть что и показать! Для изображенія нѣкоторыхъ видѣнныхъ мною человѣческихъ и лошадиныхъ фигуръ нужна бы была фотографія: рисунку съ натуры пожалуй и не повѣрили бы, нашли бы намѣренное преувеличеніе и въ этой роскоши лохмотьевъ, и въ этой странной наружности шершавыхъ клячъ,—вздутое отъ слежавшейся, полусгнившей соломы брюхо и затѣмъ скелетъ, по которому хоть сейчасъ, не вскрывая и не снимая шкуры, остеологію изучай. А между тѣмъ эти полуживыя клячи не только должны выручить своихъ хозяевъ на предстоящихъ полевыхъ работахъ, а и сейчасъ несутъ оригинальную общественнную службу. Настоящихъ общественныхъ работъ въ Новосильскомъ уѣздѣ никакихъ нѣтъ, но есть общественная подводная повинность, небывалая въ урожайные годы. Крестьяне безъ всякаго вознагражденія обязаны развозить хлѣбъ съ желѣзнодорожныхъ станцій въ земскіе и благотворительные склады, отстоящіе отъ станцій на десятки верстъ. Истощенныя лошади падаютъ, на кормъ тратится сѣмянной овесъ. Онъ составляетъ въ настоящую минуту драгоцѣнность; но вѣдь нельзя же везти десятки верстъ десятки пудовъ на лошадяхъ, набитыхъ, какъ чучело, соломой, да и соломы нѣтъ: крыши разбирать приходится.

Какъ ни тяжело настоящее положеніе, но крестьяне, повидимому, гораздо больше озабочены будущимъ,—предстоящею страдною порой: что сѣять? на чемъ пахать? Если не будутъ приняты энергическія мѣры теперь же для снабженія крестьянъ сѣменнымъ овсомъ и кормомъ для лошадей, то поля можетъ быть и будутъ засѣяны, и урожай можетъ быть будетъ, но радости отъ

этого мало будетъ. Это будетъ значить, что земля сдана за гроши кулакамъ и слѣдовательно крестьянское хозяйство разстроено на долго впередъ. Я видѣлъ составленный крестьянами одной деревни Паньковской волости списокъ домохозяевъ, «нуждающихся въ сѣмянахъ ярового поля, а равно и корма скота и для отопленія». Списокъ составленъ самимъ обществомъ и очевидно вполнѣ добросовѣстно,съ указаніемъ minimum'а нужды. Изъ 43 собственниковъ 10 не просятъ ничего; остальные желаютъ получить кто одну, кто двѣ четверти овса, 1 — 2 четверти картофеля, 1 — 2 мѣры конопли, нѣкоторые довольствуются пособіемъ только по одной или двумъ изъ этихъ рубрикъ, а подъ рубриками «количество корма» (для скота) и «отопленіе» — у всѣхъ поголовно стоитъ неопредѣленное, но выразительное слово «нуждается». Поголовное требованіе топлива объясняется безлѣсностью этой полосы и убылью скота, а слѣдовательно и кизяка. А затѣмъ списокъ этотъ представляется мнѣ чрезвычайно характернымъ въ томъ отношеніи, что онъ весь подсказанъ заботой о будущемъ. Какъ ни недостаточенъ размѣръ ссуды хлѣбомъ на пропитаніе, крестьяне, сколько я замѣтилъ, недовольны главнымъ образомъ тогда, когда она, по ихъ мнѣнію, неправильно развёрстывается или спускается до цифры 15, 10, 8 фунтовъ въ мѣсяцъ. Во всемъ, что я слышалъ и видѣлъ, звучала преимущественно такая нота: поголодать отчего не поголодать, не въ первой, но нынѣшняя бѣда грозитъ разорвать связь мужика съ землей, создать новый экономическій порядокъ, еще не ясно обрисовавшійся, но страшный для мужика. Поэтому-то и хлопочетъ онъ не столько о пропитаніи, разъ это пропитаніе хотя бы въ самомъ даже скудномъ размѣрѣ есть, сколько о кормѣ для лошадей и сѣмянахъ, словомъ о матеріалѣ для работы на своемъ скудномъ надѣлѣ. Я не утверждаю, конечно, что такова ясно сознанная мысль мужика, но таковъ, мнѣ кажется, его инстинктъ.

Я сказалъ: «желаютъ получить», «просятъ», «хлопочутъ». Это и вѣрно, и не вѣрно. Съ одной стороны, крестьяне составляли свой списокъ нуждающихся, конечно, не отъ нечего дѣлать и не съ какими нибудь отвлеченными цѣлями, а съ намѣреніемъ получить столько-то и столько-то овса, картофеля и проч. Съ другой стороны однако просьба, желаніе получить предполагаютъ кого-то, къ кому просьба обращена и отъ кого разсчитываютъ получить. И на этотъ то счетъ замѣчается полная растерянность, составляющая въ настоящую минуту быть можетъ самую разительную черту деревенскаго быта. Не надо обладать чрезмѣрно чувствительнымъ сердцемъ, чтобы ощущать въ деревнѣ щемящую душевную боль на каждомъ шагу. Но я ѣхалъ въ деревню, очень хорошо зная, что если мужикъ и въ обыкновенное время живетъ скудно и трудно, то ужъ, разумѣется, не розовыя картинки придется мнѣ увидѣть теперь. О настроеніи же народа я не имѣлъ никакого понятія. Поэтому, какъ ни тягостно было то, что я видѣлъ по крестьянскимъ избамъ, но еще тягостнѣе было видѣнное и слышанное мною въ домѣ г-жи Бобрищевой-Пушкиной, составляющемъ, какъ я уже сказалъ, нѣкоторый центръ для довольно значительной округи. Съ ранняго утра и до вечера тутъ толпится народъ изъ ближнихъ и дальнихъ деревень съ самыми разнообразными своими нуждами и горями. Кто больного привезъ показать, кто соломы попросить, вотъ цѣлая депутація съ просьбой открыть у нихъ въ деревнѣ столовую, вотъ другая депутація съ просьбой о совѣтѣ, даже съ простымъ разсказомъ о своихъ нуждахъ, безъ разсчета получить какое-нибудь немедленное и непосредственное удовлетвореніе. Эти просящіе совѣта или просто отводящіе душу разсказомъ меня особенно занимали. Надо замѣтить, что г-жа Бобрищева-Пушкина не занимаетъ никакого оффиціальнаго положенія и помогаютъ ей въ цѣлой системѣ ея благотворительной дѣятельности только три ея сестры. Она—просто человѣкъ, участливо относящійся къ народной бѣдѣ, обращавшійся съ указаніями на эту бѣду и къ мѣстнымъ властямъ, и къ печати, и въ Особый комитетъ. Въ результатѣ всѣхъ этихъ обращеній получились нѣкоторыя средства, давшія возможность открыть рядъ столовыхъ, а теперь еще и учрежденій (не знаю въ какой формѣ) для прокорма лошадей. Неудивительно поэтому, что крестьяне обращаются къ г-жѣ Бобрищевой-Пушкиной за непосредственной помощью. Но, напримѣръ, и вышеупомянутый списокъ нуждающихся крестьяне принесли къ ней безъ малѣйшей надежды получить именно отъ нея нужный имъ овесъ, картофель и проч. Они просто не знаютъ, куда сунуться. Институтъ земскихъ начальниковъ, только что передъ самымъ бѣдствіемъ введенный, еще недостаточно опредѣлился въ глазахъ не только крестьянъ, но и самихъ земскихъ начальниковъ. Ни предѣлы власти, ни обязанности земскихъ начальниковъ не успѣли еще выясниться практикою, какъ грянула бѣда, страшно осложнившая деревенскую жизнь. Учрежденныя ad hoc волостныя попечительства—тоже дѣло новое и не провѣренное. Основательно или нѣтъ, но крестьяне мѣстами жалуются на неправильность разверстки земской ссуды и выдачи пособій

отъ Краснаго Креста, на произволъ и недоступность «опекуновъ», какъ они называютъ попечителей. Что такое сама г-жа Бобрищева-Пушкина въ глазахъ окружающаго населенія,—я такъ и не могъ понять. Собственно къ самой Любовшѣ ея заботливость объясняютъ, кажется, еще смутно сохранившимися крѣпостными традиціями: свои господа помогаютъ. Въ одномъ однодворческомъ поселкѣ, гдѣ открыта небольшая столовая и куда я ѣздилъ съ одною изъ сестеръ г-жи Бобрищевой-Пушкиной, мнѣ послышалась требовательная нота,свидѣтельствующая о смутномъ убѣжденіи, что кѣмъ-то на нее возложена обязанность благотворенія. Но въ большинствѣ случаевъ, и въ особенности, когда дѣло идетъ не о непосредственной матеріальной помощи, а о совѣтѣ или указаніи, въ Любовшу идутъ просто потому что за непосредственной помощью некуда сунуться, а тамъ живетъ добрый человѣкъ, который выслушаетъ, посмотритъ, можетъ быть что-нибудь присовѣтуетъ, можетъ быть кому-то, неизвѣстно кому, что - нибудь напишетъ или скажетъ про мужицкую бѣду. И необыкновенно тяжело было слушать эти разсказы кучки мужиковъ иногда человѣкъ въ 10—12...

III.

11-го октября (1892 г.), въ церкви военно-медицинской академіи, была отслужена панихида по умершимъ въ только что минувшія эпидеміи тифа и холеры студентамъ: Владимірѣ Павловичѣ Потаповѣ, Иванѣ Лавровичѣ Карновичѣ и Константинѣ Ивановичѣ Тарасовѣ. Кромѣ этихъ трехъ молодыхъ людей, за помощь тифознымъ и холернымъ больнымъ поплатились жизнью двѣ слушательницы рождественскихъ курсовъ въ Петербургѣ, сорокъ восемь врачей и много другихъ людей разнаго званія и положенія. Записываю цифры, мнѣ случайно извѣстныя.Всѣхъ погибшихъ,разумѣется, гораздо больше, но еслибы мы и знали точную ихъ цифру, она не выразила бы того риска, которому подвергались многіе заболѣвшіе и бывшіе на волоскѣ отъ смерти. Потеря во всякомъ случаѣ не малая для нашего скуднаго силами общества, тѣмъ болѣе, что погибли ужъ, конечно, не худшіе, не слабѣйшіе изъ насъ. Газета *Недѣля*, поминая доктора Вербицкаго, умершаго въ Персіи и оставившаго вдову и четверыхъ дѣтей, и лѣкарскую помощницу Олонкину, ставшую жертвой эпидеміи въ Курской губерніи и оставившую сироту-сына, спрашиваетъ: «Неужели такъ-таки и забудутся навѣки эти святыя имена? Неужели въ нашемъ, какомъ ни на есть, обществѣ безслѣдно можетъ погибнуть хорошій человѣкъ, какъ въ дремучемъ лѣсу?» Затѣмъ газета перебираетъ разныя средства, которыми мы можемъ выразить свою благодарность и уваженіе къ погибшимъ. Авторъ доходитъ до проекта памятника «героямъ голода и холеры» гдѣ-нибудь въ Москвѣ, «гдѣ циркулируютъ народныя массы, гдѣ имена погибшихъ заучивались бы рядами поколѣній». Проектъ этотъ авторъ оговариваетъ, впрочемъ, словами: «позвольте пофантазировать». Не заходя такъ далеко, можно однако ожидать, что общество такъ или иначе, хотя въ какой-нибудь скромной формѣ, выразитъ свою благодарность памяти усопшихъ. Ближайшимъ поводомъ для этого могла бы послужить панихида по тремъ медицинскимъ студентамъ, объявленіе о которой было напечатано въ газетахъ отъ имени товарищей погибшихъ молодыхъ людей.

Когда я пришелъ въ церковь военно-медицинской академіи, тамъ шла еще обѣдня. Молящихся было очень мало. Тутъ были, повидимому, родственники усопшихъ, потому что потомъ, во время панихиды, изъ того угла, гдѣ они стояли, слышалось женское рыданіе; нѣсколько человѣкъ студентовъ-медиковъ, нѣсколько очевидно обычныхъ прихожанъ академической церкви, часть которыхъ тотчасъ по окончаніи обѣдни, не дожидаясь панихиды, ушла. Уже это послѣднее обстоятельство нѣсколько кольнуло меня: день былъ воскресный, и отчего бы этимъ богомольнымъ людямъ не остаться въ церкви еще какую-нибудь четверть часа, чтобы помолиться объ упокоеніи души рабовъ Божіихъ Владиміра, Іоанна и Константина? Стали набираться студенты-медики, но набралось ихъ человѣкъ двѣсти, двѣсти пятьдесятъ; пришло еще десятка полтора студентовъ другихъ учебныхъ заведеній; пришелъ начальникъ академіи, еще три-четыре начальствующихъ, нѣсколько врачей, нѣсколько, никакъ не больше десятка, постороннихъ... Что это такое?! Откуда это поразительное, смѣю сказать, позорное равнодушіе общества къ свѣжей памяти людей, за насъ умершихъ? Говорю «за насъ», чтобы подчеркнуть непосредственную сторону благодарности, которою мы обязаны умершимъ. Оставимъ размышленія о красотѣ самоотверженнаго подвига, на что бы онъ ни былъ направленъ, о красотѣ подвига вообще. Оставимъ мысль, о «народѣ», на добровольной службѣ которому разстались съ своей молодой жизнью студенты Потаповъ, Карновичъ и Тарасовъ. Все это можетъ быть слишкомъ возвышенно и отвлеченно по нашему сѣрому времени, слишкомъ «сантиментально». Но вѣдь еслибъ не всѣ эти врачи, студенты-

медики академіи и университетовъ и не примкнувшіе къ нимъ добровольцы-санитары, сидѣлки и проч., тифъ и холера добрались бы можетъ быть и до насъ. Неужели же намъ чуждо даже такое элементарное побужденіе къ благодарности?

Я слыхалъ, правда, по другому поводу, замѣчаніе, что люди, вѣрующіе въ силу молитвы или желающіе помянуть близкаго имъ въ какомъ-нибудь отношеніи покойника, могутъ это сдѣлать и дома. Безъ сомнѣнія, могутъ. Но къ данному случаю, я полагаю, это разсужденіе неприложимо. Независимо отъ религіозныхъ убѣжденій, есть извѣстныя условныя формы публичнаго оказательства чувствъ, до такой степени общепринятыя, что отсутствіе формы свидѣтельствуетъ и объ отсутствіи чувствъ. Снимая шапку при встрѣчѣ съ знакомымъ на улицѣ и протягивая ему руку, мы исполняемъ условную формальность, но она въ такой степени срослась съ чувствами почтенія и пріязни, что знакомый не ошибется относительно моихъ чувствъ къ нему, если я ему руки не протяну. Признаюсь, меня особенно ущемило отсутствіе литературы на панихидѣ. И не потому только, что мнѣ, какъ литератору, было конфузно за равнодушіе или небрежность собратовъ по профессіи. Это само собой. Но кромѣ того литература есть по преимуществу выразительница настроенія общества.

Того же 11-го октября происходила панихида по только что скончавшемся талантливомъ актерѣ П. М. Свободинѣ, и литература имѣла довольно много своихъ представителей на этой панихидѣ, какъ видно изъ газетныхъ отчетовъ. Это очень естественно. Свободинъ, будучи самъ немножко писателемъ, имѣлъ литературныя связи и знакомства. Онъ былъ, говорятъ, добрый человѣкъ и хорошій товарищъ. Въ качествѣ талантливаго актера, онъ былъ какъ бы помощникомъ и толкователемъ литературы въ ея драматической вѣтви. Онъ и умеръ въ роли Оброшенова, слѣдовательно, въ видѣ помощника и толкователя Островскаго, и его гримированный и костюмированный трупъ долженъ былъ производить особенное впечатлѣніе на драматурговъ. Но кромѣ этихъ спеціальныхъ мотивовъ, гримированный и костюмированный трупъ актера, умершаго въ моментъ служенія своему искусству и обществу, долженъ былъ вызвать чувство почтительной благодарности и у всякаго, кто извлекалъ изъ его игры эстетическое наслажденіе или моральное поученіе, насколько они допускаются театральной дирекціей и поставщиками драматическихъ произведеній. Все это такъ, но... Я отнюдь не хочу какъ-нибудь мѣрять Свободина съ тѣми тремя покойниками, которые поминались 11-го октября въ церкви военно-медицинской академіи: ихъ заслуги и права на нашу благодарность несоизмѣримы. Но вѣдь людямъ, собравшимся отдать послѣдній долгъ актеру Свободину, не предстояло и выбора между нимъ и студентами Потаповымъ, Карновичемъ и Тарасовымъ. Останки Свободина, какъ и всякаго еще не похороненнаго покойника, были для всѣхъ доступны въ теченіе трехъ дней, тогда какъ останки Потапова, Карновича и Тарасова давно покоятся неизвѣстно гдѣ, и въ 11 часовъ 11-го октября былъ единственный случай для публичнаго оказательства нашихъ чувствъ къ этимъ безвременно погибшимъ за насъ молодымъ людямъ...

Мнѣ припоминаются проводы одного медицинскаго студента, отправлявшагося изъ Петербурга въ санитарный отрядъ, въ Саратовскую, кажется, губернію. Товарищи пили за его здоровье, предлагали и ему пить. Выпивъ рюмку, другую, онъ отказался отъ продолженія, говоря: «зачѣмъ я буду пить? мнѣ и такъ хорошо!» Вообще медики, да и другіе молодые люди, которыхъ мнѣ случалось видѣть передъ отъѣздомъ на борьбу съ голодомъ, тифомъ, цынгой, холерой, производили чрезвычайно пріятное впечатлѣніе своею, какъ сказалъ бы Достоевскій, «проникновенностью». Но приведенное выраженіе особенно запало мнѣ въ душу. Зачѣмъ ему въ самомъ дѣлѣ пить, увеселять себя, когда ему и безъ того хорошо, когда онъ и такъ пьянъ сознаніемъ счастія дѣятельной любви къ нуждающимся и обремененнымъ? Эти люди какъ на праздникъ ѣхали; не на какой нибудь шумный и веселый праздникъ, гдѣ ихъ ждутъ «игры, пляски, смѣхи»,— они знали ожидающія ихъ возможности болѣзни, печали, воздыханія и наконецъ переселенія въ страну, гдѣ нѣтъ ни болѣзни, ни печали, ни воздыханія. Но все это скрашивалось горѣвшимъ въ ихъ собственной душѣ свѣтомъ. Я не видалъ и тѣни рисовки, позы. Я видѣлъ, напротивъ, скорѣе нѣкоторую смущенность, сознаніе неподготовленности къ тому большому, сложному и трудному дѣлу, на которое они добровольно, по велѣнію своей совѣсти, ѣхали. Въ ихъ представленіи это было не совсѣмъ можетъ быть ясное, но дѣйствительно большое сложное и трудное дѣло, потому что они ѣхали не какъ ремесленники медицины или прикащики по части продовольствія, а всю душу свою клали. Я говорю только про то, что самъ видѣлъ, и вполнѣ допускаю возможность всякихъ исключеній. Однако самоотверженная дѣятельность по крайней мѣрѣ медицинскихъ студентовъ засвидѣ-

тельствована и оффиціально. Та «проникновенность», съ которою они направлялись въ очаги голода и заразныхъ болѣзней, обусловливалась, кромѣ общей идеи подвига, еще идеей «народа». Для многихъ это былъ первый и можетъ быть единственный въ жизни случай встать въ непосредственныя отношенія къ сѣрой массѣ и принести ей несомнѣнную, осязательную пользу. Глядя на ихъ сосредоточенность и серьезную озабоченность предстоящимъ дѣломъ, я съ радостью убѣждался, какъ еще живъ духъ той литературы, которая ставила народъ во главу угла всѣхъ своихъ настроеній. Печать этого духа явственно лежала, если не на всѣхъ, взятыхъ въ отдѣльности, участникахъ движенія, то на всей его совокупности.

Что же ждало этихъ молодыхъ людей на мѣстѣ? Что они тамъ пережили, что оттуда вынесли? Пусть они объ этомъ сами разскажутъ, когда вернутся къ своимъ мѣстамъ и мы возможно осмотримся и успокоимся. Тяжелыя бѣдствія, постигающія насъ въ послѣднее время одно за другимъ, должны привести и несомнѣнно приведутъ къ пересмотру значительной части нашего умственнаго багажа. Многое доброе, надо надѣяться, всплыветъ наверхъ, многое темное освѣтится, многое злое замолкнетъ. Да не покажется читателю этотъ взглядъ слишкомъ оптимистическимъ. Я отнюдь не думаю, чтобы завтра же водворилась у насъ Аркадія и теченіе нашей жизни приняло характеръ пріятной пасторали. Я говорю лишь о вѣроятномъ просвѣтленіи общественнаго сознанія. И, конечно, непосредственныя наблюденія на мѣстѣ бѣдствій сослужатъ большую службу въ этомъ отношеніи. Коечто мы уже теперь знаемъ.

Когда *Московскія Вѣдомости* пустили слухъ, что гр. Толстого гдѣ-то въ народѣ считаютъ и называютъ антихристомъ, я не вѣрилъ этому. Теперь вѣрю, хотя, разумѣется, укоризненные выводы московской газеты по адресу гр. Толстого остаются цѣликомъ на ея совѣсти. Въ Самарской губерніи, еще до холеры, одинъ изъ медицинскихъ студентовъ, завѣдывавшихъ санитарными отрядами, организованными для борьбы съ тифомъ и цынгой, купилъ себѣ въ городѣ фуражку, на внутренней сторонѣ которой было золотое клеймо: «Христензенъ въ Самарѣ». Крестьяне были вполнѣ довольны молодымъ врачомъ, охотно обращались къ нему, никакихъ недоразумѣній между ними не было. Тѣмъ не менѣе золотая печать «Христензенъ въ Самарѣ» навела на смутные толки объ антихристѣ. Это фактъ. Фактъ глубоко поучительный, хотя, должно покаяться, въ первую минуту онъ заставилъ меня смѣяться. Онъ освѣтился для меня во всемъ своемъ трагическомъ значеніи только страшною смертью доктора Молчанова въ Хвалынскѣ и другими послѣдующими событіями. Полуграмотный человѣкъ съ трудомъ по складамъ читаетъ: «Христензенъ въ Самарѣ». Онъ сообщаетъ это открытіе уже вполнѣ безграмотнымъ односельцамъ, возбуждается любопытство и мало по малу, въ силу поговорки fama eundo crescit, а большею частью даже не только crescit, слагаются въ одно цѣлое соображенія, не лишенныя, пожалуй, остроумія: печать, да еще золотая—значитъ, что-нибудь значительное, особенное; налѣплена она на внутренней сторонѣ фуражки, — значитъ, что-то скрываемое, тайное. И скромный самарскій шапочный фабрикантъ принимаетъ грозные размѣры, благодаря созвучію; онъ уже въ Самарѣ, близко, молодой врачъ носитъ его печать... Дѣло, однако, не только въ крестьянскомъ невѣжествѣ, смущенномъ извѣстіемъ о пребываніи Христензена въ Самарѣ. Оно огромно, это невѣжество. Но надо еще прибавить сюда дикое недовѣріе мужика ко всему, что приходитъ къ нему на помощь. Антихристъ, какъ извѣстно, долженъ, по народному сказанію, начать свое поприще съ добрыхъ дѣлъ, чтобы ими уловить сердца и вѣрнѣе достигнуть своей окончательной злой цѣли. И вотъ въ тѣхъ случаяхъ, когда въ добрыхъ дѣлахъ и помощи не можетъ быть никакихъ сомнѣній, робкая подозрительная мужицкая мысль выдвигаетъ антихриста. Чего же ожидать въ тѣхъ случаяхъ, когда помощь не очевидна, когда невѣжественный умъ находитъ возможность перетолковать ее въ прямо противоположномъ смыслѣ и увидать въ карболовой кислотѣ распространительницу холеры? Дико, ужасно, но таковъ фактъ, съ которымъ надо считаться. Это даже больше, чѣмъ фактъ, если можно такъ выразиться; потому больше, что надо отличать какимъ-нибудь плюсомъ факты, глубоко коренящіеся въ жизни, вызванные цѣлымъ рядомъ длящихся условій, отъ фактовъ случайныхъ, корни которыхъ не идутъ далеко вширь и вглубь.

Какъ избавиться отъ всетормозящаго факта, какъ покончить съ нимъ, это вопросъ особый. Теперь я прошу только читателя вдуматься въ положеніе Потапова, Карновичу и Тарасова, когда они еще были Потаповымъ, Карновичемъ и Тарасовымъ, а не разложившимися трупами. Не видящій и не слышащій трупъ можетъ спокойно лежать во всякой обстановкѣ. Но они были живые люди и, какъ люди подвига, дважды живые. Сколько горя они видѣли и сами приняли, сколько мучительныхъ думъ пере-

думали, сколько безвыходныхъ положеній испытали,—они ужъ намъ не разскажутъ, но мы можемъ себѣ представить, немножко напрягши воображеніе. Не разъ, можетъ быть, опускались у нихъ руки, не разъ колебалась молодая, не вполнѣ установившаяся мысль. Но они не ушли; ушли не они, а только ихъ бездыханные трупы. И за всю эту муку, за весь физическій и нравственный рискъ, доведенный до послѣдняго конца всякой муки и радости, всякаго риска и торжества—фантастическій проектъ памятника въ Москвѣ, а на дѣлѣ—панихида въ присутствіи двухъ сотенъ товарищей и нѣсколькихъ десятковъ постороннихъ... Скупо, позорно скупо!... Тѣмъ болѣе позорно, что Потаповъ, Карновичъ и Тарасовъ, не нуждаясь уже ни въ чемъ, не нуждаются и въ нашемъ почтеніи и благодарности. Не имъ, мертвымъ, а намъ, живымъ, нужны эти чувства и публичное ихъ оказательство, какъ свидѣтельство и залогъ жизни, достойной человѣка. Изъ стада барановъ судьба, въ лицѣ волка, пастуха, мясника, прохожаго вора, можетъ выдернуть овцу, и остальныя, всполошившись на минуту, продолжаютъ, какъ ни въ чемъ не бывало, щипать траву, потому что опасность уже миновала. Но вѣдь мы не стадо барановъ, а человѣческое общество. Да и бараны относились бы иначе къ своимъ погибающимъ собратамъ, еслибы между ними были экземпляры, способные на подвигъ.

Равнодушіе общества, такъ ярко сказавшееся 11-го сентября, гораздо даже огорчительнѣе тѣхъ нелѣпостей, которыя налагались извѣстной частью печати по поводу недавнихъ печальныхъ событій. Что эти событія имѣли своимъ непосредственнымъ источникомъ народную темноту, это слишкомъ ясно и, кажется, общепризнанно. Однако извѣстный фрондеръ противъ здраваго смысла, кн. Мещерскій, остался при особомъ мнѣніи. Не легко однако уловить это особое мнѣніе. Князь не отрицалъ глубокаго невѣжества и легковѣрія толпы, разбивавшей больницы, убивавшей и увѣчившей врачей и фельдшеровъ. Но онъ всетаки протестовалъ противъ мысли о необходимости внести свѣтъ въ этотъ страшный мракъ. Образованныхъ людей онъ, «не разбираючи лица», обдавалъ потокомъ площадной брани, называлъ ихъ «скверными, злыми, подлыми и трусливыми» (текстуально) и желалъ бы найти среди нихъ подстрекателей безпорядковъ. Въ томъ же *Гражданинѣ* я, помню, вычиталъ еще одну удивительную вещь. Столбцы объявленій въ газетахъ были переполнены приглашеніями врачей, медицинскихъ студентовъ, фельдшеровъ и фельдшерицъ на борьбу съ холерой. Приглашенія шли отъ разныхъ земствъ, городовъ, народныхъ Обществъ, фабрикъ и представляли собою въ цѣломъ явленіе, наводившее на самыя серьезныя размышленія. *Гражданинъ* выудилъ изъ него фельдшерицъ и сестеръ милосердія и наговорилъ невозможно пошлыхъ и беззубозлобныхъ остротъ на ту тему, что вотъ, дескать, барышни теперь въ ходъ пойдутъ и брачныя карьеры свои устроятъ. Надъ чѣмъ смѣется и на что злится авторъ замѣтки,—понять нельзя, потому что что же тутъ въ самомъ дѣлѣ смѣшного или вызывающаго озлобленіе? И мнѣ случалось слышать выраженія негодованія по этому поводу. Я иначе смотрю на эти пошлыя выходки. Мнѣ онѣ даже нѣкоторое особаго рода удовольствіе доставляютъ. Хорошо, что кн. Мещерскій, хоть и сбивчиво, и недостаточно ясно, но всетаки тянетъ свою старую, единственную, перенятую имъ у волка пѣсню. Прошлогоднія и нынѣшнія печальныя событія съ математическою ясностью показали, до какой степени мы скудны интеллигенціей и до какой степени она намъ нужна. Ясно, что цѣлыя сотни новыхъ разсадниковъ просвѣщенія не создадутъ у насъ перепроизводства интеллигенціи, и что не годится кормить собаку только въ ту минуту, когда надо на охоту ѣхать. Это ясно, но у насъ даже самые тяжелые уроки исторіи забываются съ чрезвычайною быстротой. Напримѣръ, въ нашу послѣднюю войну женщины-врачи, фельдшерицы, сестры милосердія, по всѣмъ отзывамъ, оказались на высотѣ своего многотруднаго положенія и принесли много пользы и много жертвъ. Но все это забыто, и вотъ органъ кн. Мещерскаго издѣвается надъ фельдшерицами и сестрами милосердія, отправляющимися на борьбу съ холерой. И, повторяю, хорошо, что онъ издѣвается. Хорошо, что эти пошлыя и нелѣпыя рѣчи раздаются именно теперь, когда ихъ пошлость и нелѣпость слишкомъ очевидны. Было бы, конечно, лучше, еслибы пошлостей и нелѣпостей совсѣмъ не было; но разъ онѣ есть, пусть же онѣ высказываются въ такія минуты, когда ихъ истинныя свойства обнаруживаются съ особенною яркостью. Хорошо поэтому и то, что кн. Мещерскій желалъ бы найти подстрекателей безпорядковъ среди интеллигенціи именно тогда, когда, по роковому недоразумѣнію, жертвами безпорядковъ являются представители интеллигенціи. Своего рода фатумъ требуетъ, кажется, чтобы нелѣпость достигала колоссальныхъ размѣровъ наканунѣ своего окончательнаго упраздненія. И потому, подобно Эразму, я готовъ пѣть «похвалу глупостямъ». Что дѣлать? Есть разные, иногда совершенно парадоксальные пути обнаруженія истины...

Мнѣ думается, что примѣрно такъ же смотрѣли на пошлыя выходки и Потаповъ, Карновичъ и Тарасовъ, и лѣкарская помощница Олонкина, и рождественская курсистка Нагорская, и другіе, смертью засвидѣтельствовавшіе чистоту своихъ намѣреній. Волчья пѣсня о вредѣ просвѣщенія, о необходимости задержать его потокъ или по крайности отвести ему возможно узкое русло, сдѣлать изъ него лишь немногимъ доступную привилегію, разныя варіаци этой пѣсни въ родѣ издѣвательства надъ дѣвушками, ищущими знанія и труда,—всему этому въ настоящую минуту сама жизнь противопоставила такіе страшные аргументы, сильнѣе которыхъ никто, будь онъ семи пядей во лбу, не придумаетъ. Какая-нибудь Нагорская умирать отправляется, а ей вслѣдъ кричатъ, что она за кавалерами поѣхала, брачную свою карьеру устраивать. Это возмутительно, но это идетъ изъ такого угла, на который, послѣ всего происшедшаго, можно рукой махнуть: пусть договариваются до конца! Конечно, Потаповъ, Карновичъ, Тарасовъ, Нагорская, Олонкина и др. сложили свои головы и за кн. Мещерскаго въ числѣ прочихъ. Но его благодарности они и не пожелали бы, за отсутствіемъ какой бы то ни было духовной связи съ нимъ. Они—сами по себѣ, онъ—самъ по себѣ. Но кромѣ мнѣній кн. Мещерскаго и иныхъ, существуетъ еще общественное мнѣніе. Оно, я полагаю, было дорого для покойниковъ, какъ и для всякаго дѣятеля, по необходимости нуждающагося къ общественной опорѣ. Это общественное мнѣніе настроено, разумѣется, вполнѣ сочувственно по отношенію къ погибающимъ. Но къ нему можетъ быть приложено то, что въ Апокалипсисѣ велѣно сказать ангелу Сардійской церкви: «знаю твои дѣла; ты носишь имя, будто живъ, но ты мертвъ». Или ангелу Лаодикійской церкви: «знаю твои дѣла; ты ни холоденъ, ни горячъ. О, еслибы ты былъ холоденъ или горячъ!..»

XXIX.

Декамеронъ.

Давно извѣстно, что habent sua fata libelli. Но едва ли благоразумно на этомъ успокоиваться и едва ли справедливо предоставлять все дѣло литературы судьбѣ. Сослуживъ службу своему времени, литературное произведеніе либо тотчасъ же сдается въ архивъ, въ который заглянетъ ли, нѣтъ ли когда нибудь будущій историкъ, либо даетъ живую пищу уму и сердцу многихъ поколѣній и даже многихъ народовъ.

Нѣтъ! Весь я не умру! Душа въ завѣтной лирѣ
Мой прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжитъ,
И славенъ буду я, доколь въ подлунномъ мірѣ
Живъ будетъ хоть одинъ піитъ.
Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой,
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ...

Очень и очень немногимъ дано счастіе, выраженное въ этихъ гордыхъ словахъ, и допустимъ, что въ этомъ отношеніи судьба есть синонимъ справедливости, что истинно великія произведенія живутъ вѣка и составляютъ достояніе «всякаго языка», а на быстрое забвеніе осуждены лишь ничтожества. Миръ праху ихъ! Но, останавливаясь лишь на судьбахъ звѣздъ первой величины литературнаго неба и принимая, во избѣжаніе пререканій, мѣриломъ или признакомъ ихъ величія ихъ живучесть, нельзя всетаки не изумляться разнообразію этихъ судебъ.

Есть во всемірной и вѣковѣчной литературѣ «Гамлетъ» и есть «Декамеронъ». Произведенія эти слишкомъ разнородны во всѣхъ отношеніяхъ, чтобы кому-нибудь могло придти въ голову заняться сравненіемъ ихъ: трагическія перипетіи жизни мрачнаго датскаго принца и скабрезно-веселыя, хотя переплетенныя печалью, арабески Боккачіо—несоизмѣримы. Но сопоставленіе ихъ возможно. Сопоставленіе это уже сдѣлано всеобщимъ голосованіемъ потомства, фактически признавшаго оба произведенія безсмертными и всемірными: оба живутъ вѣка, оба переводятся на всѣ языки. Ежели кто-нибудь изъ традиціоннаго уваженія къ интересному датскому принцу оскорбится даже сопоставленіемъ его съ «Декамерономъ» въ смыслѣ безсмертія и всемірности, то я напомню, что «Декамеронъ» уже съ честью выдержалъ пробу: онъ почти на два съ половиною вѣка старше Гамлета; онъ не утонулъ въ водѣ благочестивыхъ исправленій и не сгорѣлъ въ огнѣ костровъ Савонароллы. Во всякомъ случаѣ, десятки и сотни поколѣній, сотни тысячъ и милліоны людей «всякаго языка» не устаютъ читать какъ трагедію англичанина XVI вѣка, такъ и сборникъ разсказовъ итальянца XIV вѣка. Въ этомъ смыслѣ судьба, повидимому, уравняла ихъ. Но какая вмѣстѣ съ тѣмъ огромная разница!

Остановимся на насъ русскихъ: Гамлетъ есть одинъ изъ нашихъ любимцевъ. Въ литературѣ нашей имѣется множество частію оригинальныхъ, частію переводныхъ статей, замѣтокъ, объясненій, комментаріевъ, относящихся къ Гамлету, сопоставленій его интересной фигуры съ героями произведеній

нашихъ собственныхъ беллетристовъ и т. д. Мысли о меланхолическомъ датскомъ принцѣ часто переплетаются съ размышленіями и о непосредственныхъ явленіяхъ русской жизни, и хотя имя его при этомъ очень часто призывается совершенно всуе, но такъ или иначе, а Гамлетъ постоянно вливается въ составъ нашей духовной пищи. Интересъ, возбужденный имъ, не есть интересъ фабулы, сказки. Средній образованный русскій человѣкъ не просто читаетъ «Гамлета», а думаетъ объ немъ и можетъ дать себѣ болѣе или менѣе удовлетворительный отвѣтъ на вопросъ, почему это произведеніе безсмертно и всемірно. А «Декамеронъ»?.

Хотя въ силу совершенно постороннихъ обстоятельствъ полный переводъ «Декамерона» мы получаемъ только въ текущемъ 1891 году, но отдѣльные разсказы изъ него печатались у насъ уже давно; во всѣхъ изложеніяхъ исторіи всемірной литературы имѣются болѣе или менѣе обстоятельныя свѣдѣнія объ его содержаніи и характерѣ; наконецъ, при значительномъ распространеніи у насъ знанія, если не итальянскаго, то французскаго и нѣмецкаго языковъ, на которыхъ существуетъ нѣсколько переводовъ «Декамерона», онъ извѣстенъ или долженъ бы быть извѣстенъ большинству образованныхъ русскихъ людей. Между тѣмъ, я едва ли ошибусь, если скажу, что убѣжденія средняго русскаго образованнаго человѣка относительно «Декамерона» исчерпываются двумя пунктами: 1) это—классическое произведеніе, произведеніе всемірнаго значенія, 2) это—сборникъ занимательныхъ и, главнымъ образомъ, непристойныхъ разсказовъ. Но вѣдь не непристойность же вѣнчается лаврами безсмертія, иначе нашъ Барковъ былъ бы безсмертнѣйшимъ изъ писателей, а слава Лермонтова основывалась бы на «Уланшѣ» и «Петергофскомъ праздникѣ». Ясно, что между безсмертіемъ «Декамерона» и его непристойностью долженъ быть построенъ какой-то мостъ, который соединилъ бы эти два, на первый взглядъ трудно соединимыя или совсѣмъ несоединимыя его стороны. Какія же права Боккачіо и въ частности «Декамерона» на присутствіе въ числѣ безсмертныхъ и всемірныхъ? Если мы обратимся за отвѣтомъ на этотъ вопросъ къ свѣдущимъ людямъ, къ историкамъ литературы, то получимъ слѣдующія указанія. Прежде всего «Декамеронъ» отнюдь не сплошь скарбезенъ. На ряду съ легкомысленно-веселыми разсказами въ извѣстномъ вкусѣ въ немъ есть новеллы, изображающія идеально-чистую, самоотверженную любовь и скорбную сторону жизни. Въ этомъ, пожалуй, всякій самъ можетъ убѣдиться, не ожидая спеціальныхъ указаній свѣдущихъ лицъ. Затѣмъ, свѣдущіе люди объяснятъ, что Боккачіо своимъ «Декамерономъ» поднялъ средневѣковую беллетристику на новую, высшую ступень, и что онъ, въ смыслѣ стиля, ввелъ новую, оригинальную струю въ итальянскую прозу. Далѣе намъ разскажутъ о роли Боккачіо, какъ одного изъ самыхъ видныхъ предшественниковъ эпохи Возрожденія, и укажутъ, какъ на одну изъ страницъ борьбы съ средневѣковымъ мракомъ, рядомъ съ его интересомъ къ классикамъ, на его насмѣшки надъ католическимъ духовенствомъ, облекающіяся подчасъ въ дѣйствительно непристойную форму, но вмѣстѣ съ тѣмъ вѣрно отражающія нравы этой среды. Какъ бы однако обстоятельно и доказательно ни были изложены всѣ эти заслуги Боккачіо историками литературы, это изложеніе не превратитъ «Декамерона» въ такой же живой и животворящій источникъ мыслей и чувствъ, какимъ является для насъ «Гамлетъ». Вышеупомянутыя заслуги Боккачіо, при всей своей значительности, особенно очевидной для спеціалистовъ-историковъ, не приближаютъ его къ намъ, не устанавливаютъ непосредственнаго нашего съ нимъ общенія. Благо тому, конечно, кто можетъ наслаждаться и поучаться видѣніями далекой исторической преспективы, но для огромнаго большинства читателей не существуютъ красоты итальянскаго стиля XIV вѣка, мало интересны первые шаги европейской «новеллистики», а эпоха Возрожденія представляетъ нѣчто, можетъ быть, прекрасное, но слишкомъ ужъ далекое. Какъ бы ни было все это прискорбно съ точки зрѣнія спеціалистовъ исторіи литературы, но таковы факты, съ которыми приходиться считаться. Историческія справки сами по себѣ могутъ объяснить только историческую заслугу извѣстнаго писателя или произведенія,—заслугу, если позволительно такъ выразиться, удобренія почвы для послѣдующихъ ростковъ жизни. Такихъ удобрителей почвы, часто очень почтенныхъ и обладающихъ весьма значительными достоинствами, потомство либо совсѣмъ забываетъ, либо питаетъ къ нимъ холодное, абстрактное уваженіе, совмѣстимое даже съ извѣстною насмѣшливою фразою: sacrés ils sont, car personne n'y touche. Но «Декамеронъ» находится очевидно въ иномъ положеніи. Его пять съ половиной вѣковъ читаетъ «всякъ языкъ». Неужели же онъ читается только ради его внѣшней занимательности вообще и занимательности непристойной въ частности? Неужели онъ только въ этомъ смыслѣ способенъ быть живымъ собесѣдникомъ своихъ безчисленныхъ читателей и въ томъ числѣ русскихъ читателей 1891 года? Весьма вѣроятно, что

большинство читателей думаетъ именно такъ, вслѣдствіе чего всемірная слава «Декамерона» является чѣмъ-то двусмысленнымъ. Кое-кого изъ лицемѣровъ, какихъ много всегда и вездѣ, а у насъ въ настоящее время тѣмъ паче, полный переводъ «Декамерона» вѣроятно даже смутилъ. Съ одной стороны во всѣхъ элементарныхъ курсахъ исторіи европейской литературы и во всѣхъ спеціальныхъ изслѣдованіяхъ, относящихся къ итальянской ли литературѣ, къ эпохѣ ли Возрожденія, репутація «Декамерона», какъ произведенія классическаго, установлена безповоротно, а съ другой стороны—неприлично, хотя и забавно. До такой степени явно неприлично, что никто, конечно, не дастъ «Декамерона» своему несовершеннолѣтнему сыну или знакомой молодой дѣвушкѣ, но ни у кого также не найдется узкой и послѣдовательной смѣлости Савонароллы, жегшаго «Декамерона» вмѣстѣ съ другими произведеніями нечестиваго искусства. Я думаю однако что для искренняго и вдумчиваго читателя слава «Декамерона» можетъ найти себѣ оправданіе въ немъ самомъ, независимо отъ историческихъ заслугъ Боккачіо съ одной стороны и отъ скабрезно-сказочной занимательности съ другой.

Въ 1348 г. Флоренцію постигло страшное народное бѣдствіе—чума. Чума свирѣпствовала и въ окрестностяхъ. Но,—говоритъ Боккачіо,—«оставляя подгородную область, можно ли сказать больше того, что, по суровости неба, а быть можетъ и по людскому жестокосердію, между мартомъ и іюлемъ, частію отъ силы чумнаго недуга, частію потому, что вслѣдствіе страха, обуявшаго здоровыхъ, уходъ за больными былъ дурной и ихъ нужды не удовлетворялись, въ стѣнахъ города Флоренціи умерло, какъ полагаютъ, около ста тысячъ человѣкъ». Въ виду ужаса столькихъ смертей и страданій, семь молодыхъ дамъ и три молодые человѣка порѣшили удалиться за городъ въ безопасное мѣсто и тамъ переждать чуму, проводя время въ невинныхъ удовольствіяхъ: танцахъ, пѣніи и занимательныхъ бесѣдахъ. Сказано-сдѣлано, причемъ главнымъ развлеченіемъ этого маленькаго общества послужили «новеллы», поочередно разсказанныя каждымъ изъ членовъ кружка. Въ десять дней было разсказано сто новеллъ, по десяти на каждый день.

Таковы рамки «Декамерона». Сообразно этому «Декамеронъ» рѣзко распадается на двѣ, очень впрочемъ неравныя части: описаніе чумы, имѣющее характеръ настоящаго историческаго документа, какимъ оно и признается, и описаніе пріятнаго времяпровожденія маленькаго общества, удалившагося отъ чумы. Смѣлая фантазія соединить эти двѣ группы столь противоположныхъ картинъ имѣетъ въ глазахъ Боккачіо эстетическое оправданіе. Онъ начинаетъ свое повѣствованіе такъ: «Всякій разъ, прелестныя дамы, какъ я, размысливъ, подумаю, насколько вы отъ природы сострадательны, я прихожу къ убѣжденію, что вступленіе къ этому труду покажется вамъ тягостнымъ и грустнымъ, ибо такимъ именно является начертанное въ челѣ его печальное воспоминаніе о прошлой чумной смертности, скорбной для всѣхъ, кто ее видѣлъ или иначе позналъ. Я не хочу этимъ отвратить васъ отъ дальнѣйшаго чтенія, какъ будто и далѣе вамъ придется идти среди стенаній и слезъ: ужасное начало будетъ вамъ тѣмъ же, чѣмъ для путниковъ неприступная крутая гора, за которой лежитъ прекрасная, чудная поляна, тѣмъ болѣе нравящаяся имъ, чѣмъ болѣе было труда при восхожденіи и спускѣ. Какъ за крайнею радостью слѣдуетъ печаль, такъ бѣдствія кончаются съ наступленіемъ веселья: за краткой грустью (говорю: краткой, ибо она содержится въ немногихъ словахъ) послѣдуютъ вскорѣ утѣха и удовольствіе, которыя я вамъ напередъ обѣщаю и которыхъ послѣ такого начала никто бы и не ожидалъ, еслибы его не предупредили». Дѣйствительно, во всемірной литературѣ найдется немного такихъ поразительныхъ художественныхъ эффектовъ, какъ этотъ переходъ отъ ужасовъ народнаго бѣдствія къ пріятному времяпровожденію маленькой кучки въ десять человѣкъ. Мрачныя краски вдругъ смѣняются яркими, и этотъ обрывъ тѣмъ поразительнѣе, что Боккачіо отнюдь не имѣетъ въ виду укорить горсточку счастливцевъ. Всѣ семь дамъ «разумны и родовиты, красивы, добрыхъ нравовъ и сдержанно-привѣтливы». Трое спутниковъ ихъ «благоразумные и достойные юноши» и «годные для гораздо большаго дѣла, чѣмъ это». Въ описаніи чумы упоминается, между прочимъ, что «въ ходу были смѣхъ и шутка и общее веселье,—обычай, отлично усвоенный, въ видахъ здоровья, женщинами, отложившими большею частію приличное имъ чувство состраданія». Но этотъ упрекъ не относится къ маленькому обществу «Декамерона». Старшая изъ удалившихся за городъ дамъ, Пампинея, та именно, которая является иниціаторшей предпріятія, мотивируетъ свое предложеніе частію физическими опасностями, а частію нравственными. Она говоритъ, о «людяхъ, когда-то осужденныхъ властью общественныхъ законовъ на изгнаніе за ихъ проступки, которые неистово мечутся по городу, точно издѣваясь надъ законами, ибо

они знаютъ, что ихъ искоренители умерли, либо больны»; о «подонкахъ нашего города, подъ названіемъ беккиновъ, которые упиваются нашею кровью, ѣздятъ и бродятъ повсюду на мученіе насъ, въ безстыдныхъ пѣсняхъ укоряя насъ въ нашей бѣдѣ». «Иные», продолжаетъ она, «не разбирая между приличнымъ и недозволеннымъ, руководясь лишь вожделѣніемъ, одни или въ обществѣ, днемъ и ночью, совершаютъ то, что приноситъ имъ наибольшее удовольствіе. И не только свободные люди, но и монастырскіе заключенники, убѣдивъ себя, что имъ прилично и пристало то же, что и другимъ, нарушивъ обѣтъ послушанія и отдавшись плотскимъ удовольствіямъ, сдѣлались распущенными и безнравственными, надѣясь такимъ образомъ избѣжать смерти». Пампинея рекомендуетъ избѣгать паче смерти недостойныхъ примѣровъ и заключаетъ свою рѣчь такъ: «Намъ не менѣе пристало достойно отсюда удалиться, чѣмъ многимъ другимъ оставаться здѣсь, недостойнымъ образомъ проводя время»...

Такимъ образомъ, сохраненіе нравственнаго достоинства является однимъ изъ главныхъ мотивовъ удаленія кружка «Декамерона» отъ арены всеобщаго бѣдствія. Времяпровожденіе его не имѣетъ ничего общаго съ «пиромъ во время чумы», изображеннымъ въ Пушкинскомъ отрывкѣ. Напротивъ, именно отъ соблазнительнаго и возмутительнаго зрѣлища подобныхъ пировъ и удалились участники «Декамерона». Боккачіо частію самъ, частію устами дѣйствующихъ лицъ особенно подчеркиваетъ благоразуміе и благонравіе кружка. Можно, разумѣется, утверждать, что въ этомъ вполнѣ благоразумномъ и благонравномъ поведеніи, среди аромата цвѣтовъ, звуковъ музыки и пріятныхъ разговоровъ, по крайней мѣрѣ не меньше, если не больше эгоизма, чѣмъ въ отчаянномъ безпутствѣ оставшихся во Флоренціи. Но ясно, что не это имѣлъ въ виду Боккачіо.

Говорятъ иногда, что въ своемъ описаніи флорентинской чумы 1348 г. Боккачіо подражалъ Ѳукидидову описанію аттической моровой язвы 430—425 гг. Не берусь судить объ этомъ, но во всякомъ случаѣ, въ обоихъ описаніяхъ бросается въ глаза одна общая черта или, вѣрнѣе, отсутствіе одной черты, весьма характерной для психологіи массъ во время подобныхъ бѣдствій. Ѳукидидъ говоритъ между прочимъ: «Что казалось пріятнымъ и во всѣхъ отношеніяхъ выгоднымъ, то слыло прекраснымъ и полезнымъ. Страхъ передъ богами или передъ закономъ человѣческимъ не удерживалъ никого, потому что людямъ казалось все равно: чтить ли боговъ или нѣтъ, такъ какъ они видѣли, что всѣ гибли одинаковымъ образомъ». Боккачіо, съ своей стороны, разсказываетъ, какъ мы видѣли, о людяхъ, которые «руководясь лишь вожделѣніемъ, одни или въ обществѣ, днемъ и ночью, совершали то, что приносило имъ наибольшее удовольствіе». И въ другомъ мѣстѣ: «При такомъ удрученномъ и бѣдственномъ состояніи нашего города почтенный авторитетъ какъ божескихъ, такъ и человѣческихъ законовъ почти упалъ и исчезъ».

И Ѳукидидъ, и Боккачіо почти одними и тѣми же словами говорятъ объ отчаянной разнузданности плоти, грубѣйшія требованія которой вытѣснили собою всѣ нормы добра и зла, всѣ «божескіе и человѣческіе законы». Быть можетъ, въ Аѳинахъ 500-хъ годовъ до Р. Х. и во Флоренціи 1348 г. психологія смятенныхъ бѣдствіемъ массъ, дѣйствительно, исчерпывалась этою чертою, или она была настолько преобладающею, что Ѳукидидъ и Боккачіо не замѣтили, либо не сочли нужнымъ записать факты иного рода. Но въ другихъ подобныхъ случаяхъ, рядомъ съ разнузданностью, мы видимъ, напротивъ, изможденіе плоти. Въ XV и XVI столѣтіяхъ значительная часть тогдашней Руси, а именно обширныя области Псковская и Новгородская не разъ подвергались тяжелымъ бѣдствіямъ: неурожаю, голоду, повальному мору, истреблявшему десятки тысячъ людей, такъ что трупы валялись не погребенными. А такъ какъ къ этимъ физическимъ бѣдствіямъ прибавлялись еще всякаго рода гражданскія неурядицы, то доходило дѣло и до ожиданія конца міра. Обезумѣвшій отъ бѣдъ народъ, какъ и въ случаяхъ Ѳукидида и Боккачіо, предавался пьянству, всякому распутству и грабежу, но также бѣжалъ въ монастыри и пустыни спасать душу изможденіемъ плоти и покаяніемъ во грѣхахъ.

Какъ ни рѣзко-противоположны эти два настроенія, но они имѣютъ одинъ и тотъ же источникъ въ отчаяніи и растерянности массъ и нерѣдко сливаются въ одно страшное теченіе. Чума, описанная Боккачіо, посѣтила не одну Флоренцію; она обошла тогда почти всю Западную Европу, вездѣ разсѣевая смерть и отчаяніе и вызывая многія необыкновенныя явленія общественнаго характера. Гезеръ въ своей «Исторіи повальныхъ болѣзней», указавъ на недостаточность мѣръ, принимавшихся противъ бѣдствія, продолжаетъ: «Народъ, оставленный такимъ образомъ безъ помощи своими властями, при безсиліи врачебнаго искусства, естественно долженъ былъ самъ придумать средство, чтобы помочь себѣ. И то, къ чему онъ прибѣгнулъ, вполнѣ соотвѣт-

ствовало духу XIV столѣтія: съ одной стороны, толпы кающихся грѣшниковъ подвергали себя кровавымъ бичеваніямъ, а съ другой стороны, началось кровавое преслѣдованіе мнимыхъ виновниковъ бѣды—евреевъ». Въ процессіяхъ самобичевателей, какъ и въ тяготѣніи къ монастырю и пустынѣ у насъ, мы видимъ струю, не указанную или не замѣченную Боккачіо, или случайно отсутствовавшую въ районѣ его наблюденія. Эта струя, столь же непріатная для Боккачіо, какъ и описанная имъ разнузданность, пробилась въ «Декамеронѣ» инымъ путемъ и въ иной формѣ. Мы это сейчасъ увидимъ, а теперь постараемся пополнить пробѣлъ въ исторіи общественныхъ послѣдствій чумы.

Всякое крупное общественное бѣдствіе вызываетъ не только извѣстную работу чувства, въ формѣ ли сочувствія къ бѣдствующимъ или эгоистическаго страха за себя, и не только напряженіе воли въ направленіи помощи бѣдствующимъ или бѣгства отъ опасности, но и работу мысли. Знаменитое лиссабонское землетрясеніе 1775 г., въ пять минутъ погубившее 20,000 человѣкъ подъ развалинами цвѣтущаго города, многихъ заставило призадуматься. Между прочимъ, для потомства сохранились думы Гёте (тогда шестилѣтняго ребенка), Канта и Вольтера. Шестилѣтній Гёте, какъ онъ самъ впослѣдствіи разсказывалъ, былъ одолѣваемъ скептическими мыслями по тому поводу, что «подвергались гибели безъ разбора добрые и злые». Зрѣлый философскій умъ Канта вывелъ изъ этой гибели, что нельзя «смотрѣть на подобные случаи, какъ на божественную кару, а на несчастныхъ страдальцевъ, какъ на цѣль божьей мести за грѣхи», и что вообще «если въ природѣ совершается нѣчто невыгодное для человѣка, то это не должно быть объясняемо карою, местью, угрозой». Вольтеръ написалъ извѣстную «Poème sur le desastre de Lisbonne», въ которой, между прочимъ, спрашивалъ:

> Lisbonne qui n'est plus, eut elle plus de vices
> Que Londres, que Paris, plongés dans les délices?
> Lisbonne est abimée et l'on danse à Paris.

Но работа мысли, доступная такимъ людямъ, какъ Гёте, Кантъ и Вольтеръ, недоступна взволнованнымъ бѣдствіями массамъ, духовную пищу которыхъ въ обыкновенное, спокойное время составляетъ суевѣріе. Даже чисто стихійныя бѣдствія, каковы землетрясенія, губительныя бури, грозы и т. п., въ которыхъ ни прямо, ни косвенно не участвуетъ человѣческая дѣятельность, пріурочиваются смятенными массами къ идеямъ грѣха и наказанія или угрозы. Такъ, въ русскихъ народныхъ пѣсняхъ бурный разгулъ Волги-матушки указываетъ на присутствіе тяжкаго грѣшника среди добрыхъ молодцевъ, плывущихъ по рѣкѣ. Тѣмъ болѣе при бѣдствіяхъ, которыя могли бы быть предотвращены или смягчены руками человѣка. Таковы—неурожаи, голодовки, повальныя болѣзни, пожары, смуты отъ нашествія иноплеменниковъ или отъ внутреннихъ непорядковъ. Здѣсь взволнованныя массы по праву ищутъ виновниковъ, грѣшниковъ, но отнюдь не всегда тамъ, гдѣ они дѣйствительно находятся. Если бѣдствіе очень велико и захватываетъ большой районъ, не встрѣчая удовлетворительныхъ мѣръ противодѣйствія, то, по прошествіи извѣстнаго времени, разрозненныя и разнообразныя проявленія отчаянія сливаются въ одно бурное, чрезвычайно сложное море мыслей, чувствъ и поступковъ. Возникаетъ самообвиненіе и сокрушеніе о грѣхахъ, вызвавшихъ бѣдствіе, какъ кару или угрозу; и хотя это самообвиненіе, повидимому, столь искренно и глубоко, что можетъ доходить, какъ мы видѣли, до самобичеванія въ буквальномъ смыслѣ слова, но это не мѣшаетъ въ то же время страстно обвинять другихъ, отдѣльныхъ ли лицъ, или цѣлыя группы, національныя, сословныя, вѣроисповѣдныя. При этомъ легковѣріе массъ, доведенныхъ до отчаянія, не имѣетъ, кажется, предѣловъ.

Въ началѣ XI вѣка, когда Ростовскую область посѣтилъ страшный голодъ, явились какіе-то два ярославца, которые, переходя съ мѣста на мѣсто, распускали слухъ, что въ голодѣ виноваты бабы: онѣ, дескать, въ снопахъ себѣ прячутъ съѣстные припасы. Какъ ни дика была эта выдумка, даже для XI вѣка, но она имѣла успѣхъ. Обезумѣвшіе отъ горя и нужды люди приводили къ плутамъ-ярославцамъ своихъ женъ, матерей, дочерей. Плуты надрѣзывали у женщинъ плечи и, ловко высыпая при этомъ изъ рукавовъ рожь, утверждали, что получили ее изъ-подъ женской кожи. Грубый фокусъ подтверждалъ фантастически нелѣпую выдумку, и отсюда происходили большія смуты, которыми злоумышленники пользовались даже для открытаго грабежа. Знаменитая сцена убійства Верещагина въ «Войнѣ и мирѣ», превосходная въ другихъ отношеніяхъ, даетъ лишь слабое понятіе о томъ, что значитъ указать взволнованной бѣдствіемъ толпѣ виновника бѣдствія. Что же касается евреевъ, избіеніе которыхъ сплеталось съ процессіями самобичевателей, то они издревле были козлищами отпущенія въ минуты всеобщихъ бѣдствій. Много страницъ средневѣковой исторіи забрызгано еврейскою кровью, въ большинствѣ случаевъ, конечно, совершенно невинною. Чума XIV столѣтія, описанная Боккачіо, но потрясшая не только Флоренцію, а всю За-

падную Европу, была тѣмъ губительнѣе, что обрушилась на населеніе, въ конецъ обезсиленное гражданскимъ безправіемъ, невѣжествомъ и бѣдностью. Въ числѣ факторовъ этой бѣдности извѣстную роль играло и еврейское ростовщичество, но, не говоря уже о томъ, что не всѣ же евреи занимались ростовщичествомъ, самое обращеніе бѣдноты къ ростовщикамъ свидѣтельствуетъ о глубокомъ хозяйственномъ разстройствѣ. Весь средневѣковый строй, помимо евреевъ, держалъ народъ въ мракѣ нищеты, рабства и невѣжества. Но еврей былъ замѣтнѣе, въ качествѣ инородца и иновѣрца, чужого по облику и по всему складу жизни; на него издревле угрожающе указывали исторически воспитанные предразсудки и религіозная нетерпимость, этотъ естественный продуктъ невѣжества. Не разъ поэтому случалось, что самобичеватели, проникнутые религіознымъ энтузіазмомъ, переходили отъ своей кровавой покаянной практики непосредственно къ столь же кровавымъ насиліямъ надъ евреями, видя въ этомъ даже богоугодное дѣло.

Было бы, однако, большою ошибкою думать, что во всѣхъ этихъ явленіяхъ дѣйствуетъ лишь безкорыстная sancta simplicitas. Темные люди, напуганные бѣдствіемъ, искренно каются въ грѣхахъ и казнятъ себя за нихъ; они же напряженно ищутъ другихъ грѣшниковъ или виновниковъ и казнятъ ихъ. Какъ ни ужасны бываютъ удары, появляющіеся на этомъ общемъ фонѣ, самый этотъ фонъ могъ бы быть чистъ и безупреченъ. Не такъ бываетъ въ дѣйствительности. Крупное общественное бѣдствіе естественно вызываетъ потоки дѣятельной любви къ ближнему и самоотверженія, но въ то же время разнуздываетъ и злыя страсти, болѣе или менѣе сдерживаемыя при нормальномъ состояніи общества. Корыстолюбіе, властолюбіе, сластолюбіе никогда не отказываются ловить рыбу въ мутной водѣ. Къ тому же часто бываетъ, что въ то самое время, какъ благородный Прометей, прикованный къ скалѣ, терзается коршунами, его глупый братъ Эпиметей вскрываетъ ящикъ Пандоры, изъ котораго разомъ разлетаются на волю всѣ бѣды. Горе устаетъ плакать, жизнь устаетъ бороться со смертью, источники любви и самоотверженія изсякаютъ, неудовлетворенныя потребности и разнузданныя страсти разрываютъ установленныя вѣками границы добра и зла. Эту то страшную картину и рисуетъ Боккачіо во вступленіи къ «Декамерону».

Какъ ни рѣзка разница между описаніемъ флорентинской чумы и остальною большею частію «Декамерона», она объединяется не только художественнымъ эффектомъ контраста, а и внутреннимъ содержаніемъ.

Распространенное мнѣніе о непристойности «Декамерона» имѣетъ, конечно, свои основанія, но требуетъ большихъ поправокъ и оговорокъ. Прежде всего, даже не всѣ новеллы «Декамерона» имѣютъ сюжетами взаимныя отношенія мужчинъ и женщинъ. Достаточно обратить вниманіе на третью новеллу перваго дня, послужившую толчкомъ для «Натана Мудраго» Лессинга. На коварный вопросъ султана Саладина о томъ, которая изъ трехъ религій—мусульманской, іудейской и христіанской — есть истинная, еврей Мельхиседекъ отвѣчаетъ притчей. Въ нѣкоторомъ семействѣ изъ рода въ родъ переходило драгоцѣнное кольцо, владѣлецъ котораго считался вмѣстѣ съ тѣмъ старшимъ изъ наличныхъ членовъ семейства. Кольцо попало, наконецъ, къ человѣку, у котораго было три сына, равно любимыхъ и равно достойныхъ. Не желая отдать предпочтеніе одному изъ нихъ и тѣмъ самымъ обидѣть остальныхъ двухъ, отецъ тайно заказалъ еще два точно такія же кольца и оставилъ такимъ образомъ въ наслѣдство каждому по кольцу, среди которыхъ невозможно было узнать первоначальное, истинное: каждый изъ сыновей считалъ себя обладателемъ истиннаго.

Притча Мельхиседека отстаиваетъ въ остроумной формѣ серьезную и, къ сожалѣнію, отнюдь не устарѣлую мысль о необходимости свободы совѣсти и терпимости. Эта серьезность вовсе не неумѣстна среди другихъ новеллъ «Декамерона», хотя большинство ихъ дѣйствительно занято любовными исторіями, а нѣкоторыя сверхъ того совершенно неудобны для чтенія вслухъ въ дамскомъ обществѣ. Если читатель вдумается даже въ наиболѣе выразительныя въ этомъ неудобномъ смыслѣ новеллы, то увидитъ, въ связи съ остальнымъ содержаніемъ «Декамерона», серьезную и опять таки отнюдь не устарѣлую мысль. Что касается излишней, по понятіямъ нынѣшняго времени, вольности разсказовъ, то русскій переводчикъ «Декамерона» справедливо говоритъ: Въ торжественной оправѣ стиля, рядомъ съ новеллами героическаго характера, откровенныя картинки быта выглядываютъ наивно, вызывая веселье и смѣхъ заявленіемъ извѣстнаго, иногда нескромнаго факта, не пряча его, но и не анализируя любовно, всего менѣе зазывая воображеніе за тотъ флеръ, который предательски набрасываетъ на него неумѣстный протоколизмъ современнаго французскаго романа. Сравненіе съ нимъ снимаетъ съ «Декамерона» роковую репутацію безнравственности, ре-

путацію, сложившуюся отчасти вслѣдствіе смѣшенія нравственнаго съ пристойнымъ. Въ первомъ отношеніи мы недалеко ушли отъ «Декамерона»: тѣ же необойденные вопросы и та же неясность рѣшеній волнуютъ и насъ, только усиленные накопившимся матеріаломъ рефлексіи. Въ смыслѣ пристойности мы усовершенствовали декорумъ до ханжества, все окутывающаго и все позволяющаго разглядывать. Въ этомъ Боккачіо неповиненъ, онъ не бередитъ воображенія: здоровый протоколистъ жизни, онъ даетъ одинаковое мѣсто на солнцѣ и движеніямъ чувственности, и проявленіямъ той человѣчности, въ которой полагалъ источникъ истиннаго благородства.

Сравненіе «Декамерона» съ современнымъ французскимъ романомъ съ точки зрѣнія морали, конечно, окажется въ пользу перваго, именно въ силу его откровенности и простоты. Въ «Декамеронѣ» нѣтъ и слѣдовъ того своеобразнаго раздражающаго аромата, которымъ щеголяютъ Зола, Мопассанъ и проч. Онъ именно наивенъ и, если хотите, грубъ. На трехъ, пяти страницахъ, а то и меньше, онъ начинаетъ и кончаетъ разсказъ, пикантныя подробности котораго французскій романистъ заставилъ бы своихъ читателей смаковать на протяженіи цѣлаго тома. Правда, онъ, ни мало не смущаясь, разсказываетъ при этомъ такія вещи, которыя французскій романистъ искусно газируетъ, предоставляя работу воспроизведенія собственной фантазіи читателя. Но въ этомъ-то и состоитъ преимущество Боккачіо. Можно съ увѣренностью сказать, что самая пряная изъ новеллъ «Декамерона» возбудитъ въ читателѣ съ эмоціальной стороны только смѣхъ, ни мало не задѣвъ его чувственности, чего отнюдь нельзя сказать о соблазнительно серьезномъ, прямолинейномъ тонѣ современнаго французскаго романа. Самыя фабулы новеллъ Боккачіо, иногда очень замысловатыя во внѣшнихъ подробностяхъ, очень просты въ своей психологической сущности. О такихъ грязно-пикантныхъ осложненіяхъ, какъ связь отца съ дочерью, мачихи съ пасынкомъ и т. п., или противоестественные пороки, достаточно явно сквозящіе изъ-подъ газовой накидки современнаго французскаго романа, въ «Декамеронѣ» нѣтъ и помину. Что же касается пищи для ума, то «Декамеронъ» ее несомнѣнно даетъ всѣмъ желающимъ получить, притомъ пищу, опять-таки гораздо болѣе ясную, здоровую и осязательную, чѣмъ двусмысленная тенденціозность будто бы обличительнаго французскаго романа. И, какъ ни страннымъ можетъ показаться такое утвержденіе съ перваго взгляда, пища эта находится въ тѣсной идейной связи съ тою, которая дается описаніемъ флорентинской чумы.

Тѣ два противоположныя, но имѣющія одинъ общій источникъ, теченія, о которыхъ было говорено выше,—разнузданность и изможденіе плоти,—получая особенно рѣзкое выраженіе въ массахъ, взволнованныхъ общественнымъ бѣдствіемъ, существуютъ и въ обыкновенное, спокойное время. Это двѣ крайнія точки, среди которыхъ люди, болѣе или менѣе приближаясь то къ одной изъ нихъ, то къ другой, будутъ биться до тѣхъ поръ, пока не исчезнетъ непорядокъ въ удовлетвореніи потребностей.

Повидимому, человѣческія потребности могутъ быть расположены въ извѣстную систему, которая должна установить, во-первыхъ, ихъ взаимную связь, а во-вторыхъ,—степень ихъ неотложности. Нельзя думать, чтобы система эта представила прямолинейный порядокъ. Графически ее скорѣе можно изобразить въ видѣ дерева съ чрезвычайно сложными, запутанными развѣтвленіями и сплетеніями вѣтвей. Но нѣкоторыя общія положенія можно всетаки уловить въ этой крайне сложной сѣти.

Первая, самая общая и самая элементарная потребность есть потребность дыханія, безъ удовлетворенія которой жизнь возможна лишь самое короткое время. Процессъ дыханія, процессъ удовлетворенія этой первой потребности вызываетъ новую потребность—питанія, безъ удовлетворенія которой человѣкъ можетъ существовать уже несравненно дольше, но она всетаки обща всѣмъ людямъ всѣхъ возрастовъ. Потребность половой любви, зачатки которой въ низшихъ животныхъ непосредственно примыкаютъ къ удовлетворенію потребности питанія, и, можетъ быть, заканчиваютъ собою всю гамму потребностей, въ высшихъ и особенно въ человѣкѣ даетъ себя знать лишь въ извѣстномъ возрастѣ; въ извѣстномъ же возрастѣ она потухаетъ, а въ сравнительно длинный періодъ ея существованія удовлетвореніе ея можетъ быть отложено на весьма значительные сроки. Животная половая страсть даетъ толчокъ потребности духовнаго общенія, каковая однако у многихъ не пробуждается всю жизнь. Есть и другія высшія потребности, которыя фактически могутъ въ отдѣльныхъ личностяхъ, въ теченіе всей ихъ жизни, оставаться въ зачаточномъ состояніи, но которыя тѣмъ не менѣе составляютъ неоспоримое достояніе человѣческаго типа. Таковы, напримѣръ, потребности художественнаго наслажденія, теоретическаго знанія, нравственнаго суда.

Жизнь можно разсматривать, какъ въ высшей степени сложный процессъ возник-

новенія и удовлетворенія потребностей. Но жизнь можетъ быть нормальная и ненормальная. Нормальная жизнь состоитъ въ возникновеніи и удовлетвореніи потребностей въ порядкѣ ихъ естественной неотложности. Во всѣхъ подробностяхъ порядокъ этотъ намъ неизвѣстенъ или, вѣрнѣе сказать, пока не изслѣдованъ, потому что задача эта не труднѣе многихъ, уже разрѣшенныхъ человѣческимъ умомъ. Можно однако и теперь, представляя себѣ лишь общій обликъ этой неустанной работы жизни, сказать, что для правильнаго удовлетворенія высшихъ потребностей должны быть предварительно удовлетворены низшія, наиболѣе элементарныя и общія. Кажущіяся исключенія, какъ это и всегда бываетъ, лишь подтверждаютъ общее правило. Египетскіе или халдейскіе пастухи могли удовлетворять свою потребность теоретическаго знанія и изучать расположеніе небесныхъ свѣтилъ, ночуя чуть не подъ открытымъ небомъ. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы и мы могли заниматься астрономіей, минуя или еле удовлетворяя потребности одежды и крова. Египтянъ и халдеевъ природа сама позаботилась до извѣстной степени оградить отъ этихъ потребностей: онѣ для нихъ, можно сказать, не существовали, такъ что подобные примѣры не колеблютъ общаго правила. Если же мнѣ укажутъ примѣры людей, живущихъ, положимъ, впроголодь и, тѣмъ не менѣе, удовлетворяющихъ высшимъ потребностямъ знанія или любви къ ближнему, то я скажу, что, при всей ихъ моральной возвышенности, это явленія ненормальныя. Это выше нормы, но не норма. Мы можемъ сами стремиться на эту высоту, но не смѣемъ требовать ея отъ другихъ. Притомъ же отъ проголоди до настоящаго голода всетаки еще далеко, и было бы во всякомъ случаѣ безуміемъ не только требовать, а и ожидать, чтобы терзаемый голодомъ человѣкъ стремился къ удовлетворенію высшей потребности знанія или нравственнаго суда и твердо помнилъ границы добра и зла. Моралисты всѣхъ временъ и народовъ очень часто предлагаютъ человѣчеству оборвать естественную гамму потребностей и, подавивъ въ себѣ низшія, культивировать лишь высшія. Это все равно, какъ еслибы мы ожидали, что растеніе принесетъ цвѣты и плоды, когда у него подрѣзаны корни. Дѣло не въ томъ, чтобы человѣкъ пересталъ быть животнымъ,—это невозможно, а въ томъ, чтобы онъ не останавливался на ступени животнаго,—это должно. Низшая потребность, будучи удовлетворена, сама собой стремится вызвать новую, высшую, но разныя обстоятельства часто пріостанавливаютъ этотъ свободный подъемъ вверхъ, отъ земли къ небу, отъ животнаго къ человѣчному, гуманному. И какъ запруженная рѣка на далекія пространства затопляетъ окрестности около мѣста запруды, такъ низшая потребность, которой загороженъ свободный переходъ въ высшую, затопляетъ собою всего человѣка. Получается или чисто животное существованіе или нѣчто еще худшее, чего и въ животномъ мірѣ не бываетъ,—переудовлетвореніе потребности, пресыщеніе. Отсюда муки Тантала, который видитъ кругомъ себя воду и не можетъ утолить жажду. Отсюда мрачный взглядъ на жизнь и проклятія ей, хотя она ни въ чемъ не виновата. Отсюда, далѣе, усилія отдѣлаться отъ потребности, не приносящей ничего, кромѣ мученій, и наказать аскетической практикой бунтующую плоть, изсушить, избить ее. Но это далеко не всегда удается; изъ-подъ погасшаго, повидимому, пепла нерѣдко съ тѣмъ большею силою вспыхиваетъ пламя. Исторія и психіатрія знаютъ эти бурные переходы отъ крайняго изможденія плоти къ столь же крайней разнузданности ея и опять обратно. Къ тому же двусмысленному результату другіе люди приходятъ другимъ путемъ, болѣе простымъ. Чего, въ самомъ дѣлѣ, проще, если даже элементарныя низшія потребности не удовлетворяются или плохо удовлетворяются, не смотря на всѣ усилія. Натурально желаніе заглушить эти элементарныя потребности, и къ этому рѣшенію въ особенности легко придти при мистическомъ освѣщеніи, очень въ подобныхъ случаяхъ обыкновенномъ. Но натурально также, что эти заглушенныя потребности вновь вспыхиваютъ при первомъ удобномъ случаѣ и удовлетворяютъ себя уже безъ всякаго удержу и нормы.

Самые послѣдовательные изъ тирановъ своей плоти, индусскіе, доходятъ до попытокъ отречься даже отъ дыханія. Но обыкновенно дѣло не идетъ такъ далеко. Главнымъ и наиболѣе частымъ нападкамъ моралистовъ этого направленія подвергается потребность любви или «половая страсть». Самое радикальное рѣшеніе вопроса принадлежитъ, какъ извѣстно, скопцамъ, а затѣмъ мы знаемъ много ученій, не столь послѣдовательныхъ, но такъ или иначе предлагающихъ мужчинамъ и женщинамъ отказаться отъ дурной привычки любить другъ друга. Отрицается бракъ въ самой его строгой формѣ, а такъ какъ учителя обыкновенно мужчины, то женщины объявляются источникомъ соблазна, «сосудомъ діавольскимъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ жизни изгоняется все свѣтлое, яркое, всякій широкій размахъ мысли и чувства. Таково именно было время, въ которое привелось

жить Боккачіо, и онъ, одинъ изъ провозвѣстниковъ эпохи возрожденія, возсталъ противъ этого тѣлеснаго и духовнаго траура.

Надо имѣть въ виду, что трауръ этотъ налагался господствовавшими тогда ученіями на человѣчество отнюдь не ради обездоленныхъ, отнюдь не во имя любви къ ближнему. Правда, любовь къ ближнему была у всѣхъ на устахъ, но это былъ лишь мертвенно-холодный догматъ, который въ дѣйствительной жизни очень часто либо ничего не обуздывалъ, либо искусно подмѣнивался такъ называемымъ самосовершенствованіемъ. Оффиціально любовь къ ближнему провозглашалась высшею добродѣтелью, но на самомъ дѣлѣ настоящею добродѣтелью признавалась борьба съ плотью, съ низшими потребностями, во имя будто бы высшихъ. Все плотское, земное представлялось грѣховнымъ, отъ котораго надлежало оторваться, чтобы духъ свободно воспарилъ къ небу. Но это именно и было ожиданіемъ цвѣтовъ и плодовъ отъ растенія съ подрѣзанными корнями. Религія омертвѣла въ колебаніяхъ между суевѣріемъ и лицемѣріемъ; научная и философская мысль на каждомъ шагу упиралась, какъ въ глухой переулокъ, въ текстъ, не подлежавшій критикѣ; искусство зачахло въ мертвыхъ сюжетахъ и мертвыхъ формахъ; нравственность свелась къ аскетической практикѣ; общественная жизнь вдоль и поперекъ перегородилась заборами національными, сословными, профессіональными. И мрачные люди ходили по этому сырому, тусклому, странно пересѣченному полю и могильнымъ голосомъ говорили: убивайте плоть,—въ ней грѣхи!

«Декамеронъ» имѣетъ цѣлью не то, чтобы логически доказать заблужденіе или лживость и лицемѣріе этихъ мрачныхъ людей, а оппонировать имъ образами и картинами, и во всякомъ случаѣ вступиться за униженное и поруганное человѣческое естество. Дѣлаетъ онъ это главнымъ образомъ на той же почвѣ любовныхъ отношеній, которыя составляли особенный предметъ проклятій мрачныхъ тирановъ естества. Вчитываясь въ самыя откровенныя и грубыя новеллы «Декамерона», вы увидите, что онѣ написаны отнюдь не только для забавы, хотя авторъ вовсе не скрываетъ своего намѣренія забавляться и забавлять. Но рядомъ съ забавой или подъ ея прикрытіемъ вы увидите серьезную мысль. Главная тема забавныхъ и не совсѣмъ пристойныхъ новеллъ состоитъ въ непреоборимости естества и, слѣдовательно, въ тщетѣ усилій мрачныхъ людей изсушить самый источникъ жизни. При этомъ особенное удовольствіе доставляетъ Боккачіо разсказывать про веселые грѣхи самыхъ оффиціальныхъ представителей мрачнаго взгляда. Онъ очень не любитъ этотъ сортъ людей, не безъ основанія заподозривая ихъ въ лживости и лицемѣріи. Изъ той реабилитаціи естества, которой посвященъ «Декамеронъ», совсѣмъ однако не слѣдуетъ, чтобы онъ проповѣдывалъ или какъ-нибудь разукрашивалъ распущенность нравовъ. Выше было уже сказано, что его фабулы чрезвычайно просты и, не смотря на слишкомъ откровенную форму, могутъ служить образцами цѣломудрія, по сравненію съ тѣмъ смакованіемъ и съ тѣми ухищреніями, которыя присущи современному роману. Было также сказано, что рядомъ съ новеллами рискованнаго характера въ «Декамеронѣ» есть совершенно иныя, которыя русскій переводчикъ называетъ «ироическими» и которыя, можетъ быть, правильнѣе было бы назвать трогательными. Это—разсказы о высокой, идеальной любви, ради которой приносятся всякаго рода жертвы. Если первая изъ этихъ группъ разсказовъ имѣетъ въ виду показать непреоборимость элементарныхъ требованій природы, то вторая указываетъ, что человѣкъ можетъ и долженъ, не отказываясь отъ этихъ требованій, одухотворить и облагородить ихъ. Я не хочу удлинять эту замѣтку пересказомъ образчиковъ новеллъ того и другого характера. Читатель ихъ самъ безъ труда найдетъ, если будетъ читать «Декамеронъ» такъ же, какъ его писалъ Боккачіо, то есть пожалуй и для веселаго времяпровожденія, но не только для него. Боккачіо не могъ бы сказать подобно Рабле:

> Amis lecteurs, qui ce livre lisez,
> Despouillez vous de toute affection...
> . . . .
> Mieux est de ris que de larmes escrire,
> Pour ce que rire est le propre de l'homme.

Боккачіо сильно стоялъ за то, что смѣхъ, веселье, наслажденіе свойственны человѣку и сами по себѣ ни мало его не унижаютъ. Но въ «Декамеронѣ» не только есть надъ чѣмъ посмѣяться, а есть и чѣмъ растрогаться. Сверхъ того, и это самое важное, въ немъ есть серьезная мысль, которая собственно и дѣлаетъ его достойнымъ собесѣдникомъ даже отдаленнаго потомства.

Но Боккачіо есть всетаки человѣкъ своего времени, пятисотлѣтній старикъ, для котораго, понятно, не существуетъ многое, что волнуетъ нашу мысль и наше чувство даже въ предѣлахъ вопросовъ, имъ затронутыхъ. Теоріямъ мрачныхъ тирановъ естества онъ противопоставляетъ сначала картину всеобщаго бѣдствія. Всякое такое бѣдствіе либо сопровождается неудовлетвореніемъ коренныхъ потребностей человѣческой природы, либо именно въ немъ и состоитъ; и вотъ результатъ: полная разнузданность. Затѣмъ Боккачіо уводитъ семь прекрасныхъ во всѣхъ отношеніяхъ дамъ и троихъ столь же пре-

красныхъ молодыхъ людей въ прекрасныя загородныя мѣста и тамъ заставляетъ ихъ вести спокойныя, забавныя или трогательныя бесѣды на ту же тему объ неудовлетворенныхъ потребностяхъ. Въ противоположность мрачнымъ теоріямъ, онъ думаетъ, что человѣкъ состоитъ не изъ двухъ половинъ, находящихся въ постоянной борьбѣ между собой, а что онъ есть нѣчто единое и цѣльное; что, не удовлетворивъ законныхъ требованій тѣла, нельзя думать о правильномъ удовлетвореніи требованій духа; что наоборотъ, жизнь человѣческая только тогда расцвѣтетъ всею возможною для нея полнотою и блескомъ, когда низшія потребности, получивъ удовлетвореніе, будутъ свободно переходить въ высшія. Не смотря на очевидную и полную противоположность этого жизнерадостнаго взгляда мрачнымъ теоріямъ, провозглашающимъ плоть источникомъ и вмѣстилищемъ грѣха, Боккачіо стоитъ, такъ сказать, на одной плоскости съ ними. Какъ тиранъ естества удаляется куда-нибудь въ дебри и пустыни, въ какую нибудь келью подъ елью, и тамъ, вдали отъ міра съ его зломъ, занимается самосовершенствованіемъ, путемъ изможденія плоти,—такъ и маленькое общество «Декамерона» удаляется отъ зла, порожденнаго общимъ бѣдствіемъ, въ своего рода пустыню и тамъ занимается самосовершенствованіемъ по другому образцу. И та, и другая сторона рекомендуютъ слѣдовать ихъ личному примѣру. И для той, и для другой не существуетъ общественное рѣшеніе вопроса о неудовлетворенныхъ потребностяхъ. А между тѣмъ, можно съ увѣренностью сказать, что этотъ сложный и грозный вопросъ индивидуальными усиліями не рѣшится.

XXX.

«Современная наука».

«Современная наука»—такъ озаглавлены только что вышедшія три тоненькія, въ 2—3 печатныхъ листа, брошюрки г. Коропчевскаго. Брошюрки эти, не смотря на свой маленькій размѣръ, возбуждаютъ цѣлый рядъ недоумѣній.

Недоумѣніе возбуждается уже нумераціей брошюръ. Полное заглавіе первой брошюрки гласитъ: «Современная наука. Выпускъ I. Психологія войны. Очеркъ Д. А. Коропчевскаго». Второй: «Современная наука. Вып. II. Народное предубѣжденіе противъ портрета. Вып. III. Волшебное значеніе маски. Очерки Д. А. Коропчевскаго». Третьей: «Современная наука. Вып. IV. Древнѣйшій спортъ. Очеркъ Д. А. Коропчевскаго». Такимъ образомъ, какъ видите, «выпусковъ» не четыре, а только три, но второй изъ нихъ совмѣщаетъ въ себѣ два «очерка», которые почему-то названы «выпусками». Это, впрочемъ, не Богъ знаетъ какая бѣда и можетъ повести только къ маленькимъ препирательствамъ между книгопродавцами и покупателями: послѣдніе будутъ спрашивать четыре выпуска, а первые могутъ предложить только три. Но когда покупатель всмотрится въ длинныя заглавія тоненькихъ брошюръ, недоумѣніе разъяснится *). Не то съ другими недоумѣніями, естественно возникающими въ виду отсутствія заявленія о какомъ бы то ни было планѣ или программѣ изданія: «современная наука»—и баста!

«Современная наука» — excusez du peu! Еслибы это было заглавіе журнала, въ которомъ, въ теченіе многихъ лѣтъ и совокупными усиліями многихъ сотрудниковъ, предполагалось бы развертывать передъ читателемъ всю необозримую перспективу «современной науки»,—удивительнаго ничего не было бы. Еслибы тотъ или другой ученый задумалъ рядъ очерковъ по своей спеціальности и назвалъ бы все изданіе «Современная химія», «Современная біологія» и т. п.,—это тоже было бы вполнѣ понятно. Но «Современная наука», излагаемая г. Коропчевскимъ, это нѣчто въ родѣ небеснаго свода, покоющагося на могучихъ плечахъ титана Атласа, съ тою разницей, что титанъ Атласъ есть миѳъ, а Д. А. Коропчевскій лицо вполнѣ реальное и даже не homo novus въ литературѣ. Размѣры его силъ намъ очень хорошо извѣстны. Онъ былъ когда-то однимъ изъ редакторовъ-издателей популярно-научнаго журнала *Знаніе*, написалъ нѣсколько компиляцій по вопросамъ сравнительной этнографіи и исторіи культуры, былъ редакторомъ журнала *Слово*, въ которомъ, между прочимъ, практиковалась «публицистическая критика», и наконецъ написалъ нѣсколько тусклыхъ критическихъ статей въ *Русскомъ Обозрѣніи*, въ которыхъ «публицистическая критика» подвергается строгому осужденію. Для титана Атласа это немножко мало. По крайней мѣрѣ въ европейской литературѣ мы видимъ людей нѣсколько болѣе значительныхъ, которые однако ни въ одиночку, ни цѣлыми скопищами не рѣшаются поднять бремя «современной науки». Вирховъ и Гольцендорфъ издали множество «выпусковъ», представляющихъ собою коротенькія популярно-научныя монографіи разныхъ авторовъ и по разнообразнѣйшимъ вопросамъ,

*) Строки эти были уже набраны, когда я прочиталъ въ *Новомъ Времени* объявленіе: «Современная наука. Вып. V. Открытіе Америки норманнами. Г. Реттингера».

но всему этому обширнѣйшему собранію они дали несравненно болѣе скромное заглавіе: «Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herausgegeben von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff». Во Франціи издается «Bibliothèque anthropologique», въ составъ которой входятъ слѣдующія сочиненія разныхъ авторовъ: Тюлье «Женщина. Опытъ физіологической соціологіи», Дюваля «Дарвинизмъ», Летурно «Эволюція нравственности» и др., Говелака и Эрве «Основанія антропологіи», Венсона «Современныя религіи», Мортилье «Происхожденіе охоты, рыболовства и земледѣлія» и т. д. Не смотря на многочисленность авторовъ и разнообразіе темъ, общее заглавіе всей коллекціи гораздо уже того, которое избралъ для своихъ брошюрокъ г. Коропчевскій. И пропорціи не измѣнятся, если впослѣдствіи къ г. Коропчевскому присоединятся другіе столь же славные въ наукѣ дѣятели.

Но можетъ быть г. Коропчевскій имѣетъ въ виду только высшія обобщенія современной науки, ея, такъ сказать, философію: вопросы о предѣлахъ науки, ея методахъ, классификаціи ея частей, объ основныхъ вопросахъ бытія въ формѣ матеріи и силы и т. п., а детальную разработку безконечно разнообразнаго научнаго матеріала предоставляетъ спеціалистамъ.

Вглядываясь однако уже только въ заглавія «выпусковъ» г. Коропчевскаго, мы немедленно убѣждаемся въ несостоятельности нашего предположенія. «Психологія войны» представляетъ, разумѣется, глубокій интересъ и заслуживаетъ самаго пристальнаго изученія. Но ни она, ни тѣмъ паче «народное предубѣжденіе противъ портрета» или «волшебное значеніе маски» или «древнѣйшій спортъ» (охота на звѣрей) никоимъ образомъ не могутъ занимать первенствующее мѣсто въ колоссальномъ зданіи «современной науки» и непосредственно лечь въ основаніе ея высшихъ обобщеній, ея философіи. Просматривая же самые «очерки», читатель убѣждается, что сюжеты ихъ выбраны совершенно случайно, а изложеніе переполнено такими деталями, которыя неумѣстны въ сочиненіяхъ даже гораздо менѣе общаго характера, чѣмъ «Современная наука».

Сдѣлаемъ еще предположеніе, послѣднее. Допустимъ, что г. Коропчевскій выбиралъ свои темы совершенно случайно, даже намѣренно случайно, если это возможно: какъ-нибудь зажмуря глаза закидывалъ неводъ въ океанъ явленій, съ цѣлью показать, какъ освѣщается «современною наукою» любая частность и мелочь. Дѣло, значитъ, не въ явленіи, выбранномъ для изслѣдованія, а въ научномъ духѣ самаго изслѣдованія. «Современная наука»,—это не заглавіе, а девизъ г. Коропчевскаго, нѣчто въ родѣ тѣхъ буквъ A. M D., которыя пушкинскій рыцарь написалъ своею кровью на щитѣ,—символъ клятвы въ неизмѣнной вѣрности и чистой любви. Посмотримъ съ этой точки зрѣнія на очерки г. Коропчевскаго.

«Психологія войны» есть ничтожная частность въ сферѣ «современной науки», границы которой полагаются лишь безконечно большимъ въ одну сторону и безконечно малымъ въ другую. Она есть частность въ человѣческой жизни и исторіи, но ужъ конечно не мелочь. Г. Коропчевскій справедливо говоритъ, что «громадное, непреходящее значеніе войны, первенствующая роль ея въ исторіи народовъ, не ослабѣвающее вниманіе, какое вызываетъ къ себѣ вѣчное подготовленіе къ ней и ожиданіе ея, среди которыхъ мы живемъ, обращаютъ ее въ весьма крупный факторъ въ исторіи культуры и отводятъ ей видное мѣсто въ исторіи психологіи человѣчества». На иной взглядъ это можетъ показаться даже слишкомъ справедливо, такъ какъ вторая часть предложенія лишь повторяетъ первую: первенствующая роль отводитъ видное мѣсто. Но это все равно,—мысль понятна и справедлива. Понятенъ и интересъ, съ которымъ читатель возьмется за сочиненіе, посвященное психологіи войны подъ флагомъ «современной науки». Въ особенности теперь, когда ощетинившійся штыками цивилизованный міръ изнемогаетъ подъ бременемъ ожиданія войны и когда надѣлалъ столько шума «Разгромъ» Эмиля Зола, напомнившій потрясающія картины войны. Самоувѣренность и честолюбіе или искренняя вѣра въ идею тѣхъ, кто мановеніемъ руки отправляетъ сотни тысячъ людей на бойню; покорность и дисциплина «пушечнаго мяса» то разростающійся въ геройски самоотверженный энтузіазмъ, то разлагающіяся въ паническомъ ужасѣ; магическое значеніе военнаго крика и примѣра храбрости или трусости; лютое озлобленіе, охватывающее людей, не имѣющихъ никакихъ личныхъ счетовъ между собой; торжество побѣды и позоръ пораженія; разгулъ самыхъ низменныхъ страстей, грабежа, разврата, пьянства, чередующійся съ проявленіями высокаго самоотверженія; воспѣтыя нашимъ поэтомъ «слезы бѣдныхъ матерей», которымъ «не забыть своихъ дѣтей, погибшихъ на кровавой нивѣ какъ не поднять плакучей ивѣ своихъ поникнувшихъ вѣтвей»; многочисленные большіе и малые коршуны, въ родѣ биржевыхъ дѣльцовъ, поставщиковъ и проч., выклевывающіе свою долю добычи изъ чужого имъ кроваваго дѣла,—все это «психологія войны», ослож-

няющаяся еще иногда, какъ въ войнѣ гражданской, закончившей франко-прусскую войну, борьбой соціальныхъ идей, непосредственными экономическими факторами и классовой ненавистью. До сихъ поръ наука лишь по частямъ, съ той или другой спеціальной стороны, касалась этой громадной и пестрой картины. Искусство сдѣлало гораздо больше. Въ томъ же «Разгромѣ» Эмиля Зола, въ безсмертной эпопеѣ гр. Л. Толстого «Война и миръ» и его мелкихъ военныхъ разсказахъ, въ произведеніяхъ меньшихъ художниковъ слова, какъ, напримѣръ, покойнаго Гаршина, въ картинахъ Верещагина и другихъ, мы имѣемъ настоящую психологію войны, широко захваченную, тонко и правдиво разработанную. Нельзя, конечно, ожидать, чтобы г. Коропчевскій далъ что-нибудь равноцѣнное отъ лица «современной науки», но въ области науки трудолюбію и вдумчивости дается гораздо больше, чѣмъ въ сферѣ искусства, гдѣ такъ многое зависитъ отъ капризныхъ откровеній таланта и безотчетнаго проникновенія въ потемки чужой души. Я не то, конечно, хочу сказать, что человѣку науки не нужны талантъ или свободный полетъ воображенія, или великая сила любви, обыкновенно усвоиваемые только поэтическому творчеству. Напротивъ, очень нужны, но несомнѣнно, что въ области науки среднихъ дарованій трудолюбецъ можетъ достигнуть большаго, чѣмъ въ области искусства. Послушаемъ же г. Коропчевскаго.

Г. Коропчевскій начинаетъ съ обзора военныхъ инстинктовъ и дѣйствій у дикарей. Онъ сообщаетъ, что «войско меланезійцевъ рѣдко насчитываетъ въ себѣ болѣе 1,000 человѣкъ» и что «кровожадность ихъ выражается по преимуществу въ отношеніи къ побѣжденнымъ», что «на Таити существовала грубая, раздирающая военная музыка, которой инструментами служили деревянные барабаны и трубы изъ раковинъ»; что «полинезійскіе воины сражались обнаженными, имѣя на себѣ только головныя украшенія изъ перьевъ, которыми вожди отличались отъ простыхъ воиновъ»; что «въ войнахъ индѣйцевъ почти не было рѣчи о пощадѣ побѣжденныхъ» и т. д., и т. д. Набросавъ достаточное количество подобныхъ разношерстныхъ и отрывочныхъ фактовъ изъ жизни дикарей, авторъ переходитъ къ Мексикѣ, Перу и государствамъ древняго міра, а затѣмъ и къ исторіи Европы. Но, говоритъ, «вступая въ область европейскихъ народовъ, мы можемъ ограничиться немногими бѣглыми указаніями», и дѣйствительно ограничивается весьма бѣглыми указаніями, укладывая на пространствѣ одной странички и воинственность скиѳовъ и древнихъ германцевъ, и Спарту, и истребительность римскихъ войнъ, и усмиреніе Нидерландовъ испанскими войсками, и тридцатилѣтнюю войну съ ужасами взятія Магдебурга. Для цѣлей г. Коропчевскаго всему этому пожалуй и странички много, такъ какъ цѣль эта состоитъ въ доказательствѣ той истины, что «предки нынѣшнихъ народовъ Европы повсюду отличались большою воинственностью». И, наконецъ, мы приходимъ къ общему выводу: «Мы сдѣлали бы крупную ошибку и пришли бы къ совершенно невѣрнымъ заключеніямъ, еслибы стали игнорировать это воинственное прошлое нашей расы. Мы не должны обольщать себя утѣшеніями въ великомъ гуманизирующемъ значеніи религіозной и философской морали и въ усиленіи раціональнаго мышленія, благодаря развитію положительнаго знанія Въ дѣйствительности эта мораль все еще остается для насъ недостижимымъ идеаломъ, и научное міросозерцаніе кажется намъ абстракціей, имѣющей мало общаго съ жизнью. Предки передаютъ намъ уже готовую мозговую организацію, опредѣляющую наши стремленія и наклонности. Если неисчислимый рядъ предшествующихъ намъ поколѣній считалъ войну самымъ достойнымъ дѣломъ, привыкъ имѣть при себѣ оружіе и обнажать его при первомъ узаконенномъ поводѣ, мы напрасно стали бы увѣрять себя, что мы, дѣти этихъ вооруженныхъ и покрытыхъ кровью людей, можемъ совершенно иначе смотрѣть на вещи... По всей вѣроятности, пройдетъ еще много вѣковъ, прежде чѣмъ мы сдѣлаемся дѣйствительно мирными людьми, согласно ученію Христа, и истинными сторонниками прогресса въ области науки, искусства и промышленности».

Неужели это «психологія войны»? неужели это «современная наука»?

Но мы упустили одну черту произведенія г. Коропчевскаго. Факты изъ военной жизни дикарей и древнихъ народовъ авторъ набрасываетъ совершенно безпорядочно. Напримѣръ, неизвѣстно, зачѣмъ говоритъ о головномъ уборѣ меланезійцевъ во время войны и неизвѣстно, почему умалчиваетъ о головныхъ уборахъ другихъ народовъ. Казалось бы, вѣдь одно изъ двухъ: или это важно и объ этомъ надо говорить, или это для «психологіи войны» совсѣмъ не важно и тогда можно пропустить эту деталь и относительно меланезійцевъ. Тѣмъ не менѣе, самому автору кажется, что онъ зачѣмъ-то слѣдитъ въ этой безпорядочной массѣ фактовъ. Упомянувъ въ самомъ началѣ своего очерка о существованіи народовъ мирныхъ, войны не знающихъ, онъ замѣчаетъ, что это явленіе исключительное. «На всемъ остальномъ пространствѣ земного шара воинственность болѣе или менѣе свойственна

всѣмъ племенамъ и народамъ и проходитъ правильный и опредѣленный путь развитія». Какой же это путь развитія? Авторъ нигдѣ его не формулируетъ и лишь отдѣльныя, вскользь брошенныя замѣчанія даютъ читателю нѣкоторыя указанія въ этомъ смыслѣ. Такъ, въ войнахъ австралійцевъ г. Коропчевскій видитъ «нѣчто переходное между боязливостью первоначальныхъ человѣческихъ группъ и дальнѣйшею свирѣпостью и кровожадностью дикихъ воиновъ. У австралійцевъ почти не замѣчается того, что мы называемъ военнымъ мужествомъ и храбростью Ихъ битвы бываютъ непродолжительны и не кровопролитны... Очевидно, у нихъ мы находимъ зачаточную стадію военнаго дѣла какъ относительно способа веденія войны, такъ и относительно проявляемой при этомъ жестокости» (стр. 7—8). Изъ этого слѣдуетъ, повидимому, заключить, что воинственность и жестокость (оставляя въ сторонѣ способы веденія войны, какъ дѣло слишкомъ спеціальное) возростаютъ въ историческомъ процессѣ. Подтвержденіе этому находимъ на стр. 10. «Хотя меланезійцы въ войнѣ отдаютъ предпочтеніе скрытому или прикрытому способу веденія ея, *но* между ними, въ особенности на Новой Гвинеѣ, встрѣчаются *уже* настоящіе «головорѣзы», воины, ставящіе себѣ цѣлью добыть какъ можно болѣе непріятельскихъ головъ». Союзъ *но* и нарѣчіе *уже* въ этой фразѣ указываютъ на выходъ изъ «зачаточной стадіи» войны. Съ этимъ вполнѣ гармонируетъ и заявленіе на стр. 23: «мы задались цѣлью прослѣдить постепенное усиленіе воинственности въ человѣчествѣ и связанной съ нею жестокости». А на стр. 17 читаемъ: «*Несмотря* на различные признаки военнаго прогресса, какіе мы отмѣтили у негровъ, войны ихъ *всетаки* отличаются большою жестокостью». Или на стр. 29: «Надо сожалѣть, что Европа оскорбленіями и насиліями развиваетъ въ Китаѣ духъ воинственности, т. е. отодвигаетъ его назадъ». Что же, наконецъ, усиливаются или ослабляются въ человѣчествѣ воинственность и жестокость? Впередъ или назадъ идетъ человѣчество, выдвигая «головорѣзовъ»? Можетъ быть, надо понимать дѣло такъ, что до извѣстнаго момента воинственность и жестокость наростаетъ, а потомъ кривая этого процесса перегибается внизъ къ миру и гуманности. Но не только г. Коропчевскій не старается установить это точку перегиба, а и совсѣмъ не упоминаетъ о ней. Неизвѣстно даже, наступитъ ли когда-нибудь такой моментъ, развѣ черезъ «много вѣковъ». Надо замѣтить, что хотя европейцы «развиваютъ въ Китаѣ духъ воинственности, т. е. отодвигаютъ его назадъ», но пока «китайскіе философы и всѣ образованные китайцы смотрятъ на войну съ правильной и гуманной точки зрѣнія», а именно считаютъ миръ благодѣяніемъ, а войну—варварствомъ. Но для насъ, европейцевъ кануна XX вѣка, эта «правильная» точка зрѣнія не подходитъ: «мы напрасно стали бы увѣрять себя, что мы, дѣти вооруженныхъ и покрытыхъ кровью людей, можемъ совершенно иначе смотрѣть на вещи»...

Повторяю: неужто это «психологія войны» и «современная наука»? Неужто многоводная, вѣрнѣе многокровная и многослезная, рѣка войны должна затеряться въ пустынѣ «современной науки», какъ ее разумѣетъ и практикуетъ г. Коропчевскій, не давъ намъ ни понять себя, ни извлечь изъ нея хоть какое-нибудь поученіе? Конечно, нѣтъ. Психологія войны совершенно не при чемъ въ очеркѣ г. Коропчевскаго, а современная наука при очень маломъ. Вотъ именно при чемъ.

Дарвинизмъ, перетряхнувшій весь нашъ умственный багажъ, отразился, между прочимъ, и на исторіи культуры, въ видѣ ученія о «переживаніяхъ». Въ свое время это было цѣлое откровеніе, объяснившее многія, иногда весьма важныя черты современной жизни, которыя оказались заглохшими или глохнущими остатками далекаго прошлаго, достаточно живучими, чтобы, при извѣстныхъ условіяхъ, вновь ярко расцвѣсть. Ученіе о переживаніяхъ и до сихъ поръ, конечно, не утратило своего значенія и остается однимъ изъ самыхъ цѣнныхъ вкладовъ въ науку объ обществѣ. И еслибы г. Коропчевскій взялъ на себя трудъ изложить это ученіе въ связи съ его біологическими источниками и параллелями въ другихъ областяхъ знанія, онъ имѣлъ бы право назвать свое произведеніе не «современной наукой», конечно, а хоть страничкой изъ современной науки. Но г. Коропчевскій предпочитаетъ поступать совершенно иначе. Онъ не только не излагаетъ теоріи переживанія, какъ она установилась въ наукѣ, но даже не упоминаетъ о ней. Тотъ, напримѣръ, выводъ, что наша нынѣшняя воинственность и жестокость составляютъ вѣковое наслѣдіе далекаго прошлаго, является какъ бы плодомъ собственныхъ размышленій автора. Между тѣмъ, въ «очеркѣ» г. Коропчевскаго этотъ выводъ построенъ на чрезвычайно шаткомъ основаніи или, вѣрнѣе будетъ сказать, безъ всякаго основанія. Надо вѣдь именно доказать, что воинственность нами унаслѣдована отъ первобытныхъ дикарей. А простое нагроможденіе фактовъ изъ какого-нибудь этнографическаго сборника,—фактовъ жестокости полинезійцевъ, воинственности зулусовъ и

проч.,—еще ровно ничего не доказываетъ. Сами по себѣ эти факты только за себя и говорятъ: полинезійцы жестоки, зулусы воинственны. Нынѣ въ европейской литературѣ издается многое множество книгъ, представляющихъ собою собранія фактовъ изъ жизни дикарей, собранія иногда простыхъ сырыхъ матеріаловъ, иногда извѣстнымъ образомъ сгруппированныхъ и освѣщенныхъ какою-нибудь общею идеею. Набрать оттуда фактовъ воинственности и жестокости дикарей даже въ гораздо большемъ количествѣ, чѣмъ это сдѣлалъ г. Коропчевскій, ничего не стоитъ, но это только и будетъ новый сборникъ матеріаловъ. Относительно европейскихъ народовъ г. Коропчевскій довольствуется «бѣглыми указаніями». Напрасно. Въ любомъ учебникѣ исторіи онъ могъ бы почерпнуть обильныя свѣдѣнія, не болѣе, но и не менѣе поучительныя, чѣмъ жестокость зулусовъ. Но все это ни мало не подвинуло бы его къ выводу: «Предки передаютъ намъ уже готовую мозговую организацію, опредѣляющую наши стремленія и наклонности... Мы напрасно стали бы увѣрять себя, что мы, дѣти этихъ вооруженныхъ и покрытыхъ кровью людей, можемъ совершенно иначе смотрѣть на вещи». Это тезисъ, который пріемами г. Коропчевскаго отнюдь не доказывается и который, впрочемъ, въ такомъ видѣ никакими пріемами доказать нельзя.

Всякая новая идея порождаетъ своихъ фанатиковъ, которые, какъ лошади въ наглазникахъ, ничего по сторонамъ не видятъ. Дарвинизмъ въ различныхъ своихъ примѣненіяхъ породилъ много такихъ фанатиковъ. Чтобы привести примѣръ, близкій къ нашей темѣ, укажемъ на Ломброзо съ его породой прирожденныхъ преступниковъ-атавистовъ, которую теперь, уже, кажется, можно считать совсѣмъ похороненною. Самъ Дарвинъ, наряду съ наслѣдственностью и ея частнымъ случаемъ—атавизмомъ, указалъ другой могучій факторъ исторіи жизни—измѣнчивость подъ вліяніемъ активнаго или пассивнаго приспособленія. Далѣе, наслѣдуемъ мы не только первоначальные признаки, а и послѣдующіе, вновь пріобрѣтенные, значитъ, не только звѣрство, а и гуманность. Это съ одной стороны. Съ другой—какъ бы ни была велика доля наслѣдственной воинственности и жестокости, ею никоимъ образомъ не исчерпываются мотивы войнъ. Не потому же вѣдь произошла война за освобожденіе Америки отъ англійскаго ига, что англичане и американцы были жестоки и воинственны. Здѣсь дѣйствовала сложная сѣть экономическихъ, политическихъ и нравственныхъ факторовъ, которая лишь разбудила дремавшій духъ воинственности и съ устраненіемъ которой ему не предстоитъ больше пробуждаться. Съ той точки зрѣнія, на которой стоитъ г. Коропчевскій, «психологіи войны» даже не видать. Не мудрено, что это пышное заглавіе только заглавіемъ и осталось. Всѣ вышеперечисленные психологическіе моменты кровавой военной драмы стерты положеніемъ: зулусы воинственны, ну и мы воинственны. Какая же это психологія войны?!

Остальные очерки г. Коропчевскаго имѣютъ тотъ же характеръ и ту же цѣль: наборъ этнографическихъ фактовъ и якобы выводъ изъ нихъ ad majorem gloriam «переживанія». Но мы остановимся всетаки еще на одной сторонѣ произведеній г. Коропчевскаго, для чего возьмемъ очеркъ «Волшебное значеніе маски».

Есть очень почтенный нѣмецкій географъ и этнографъ Рихардъ Андре (Andree), издавшій, между прочимъ, въ 1878 и 1889 гг. два сборника подъ скромнымъ заглавіемъ «Ethnographische Parallelen und Vergleiche». Во второмъ изъ этихъ сборниковъ есть статья «Die Masken». Здѣсь Андре, съ свойственными многимъ нѣмецкимъ ученымъ трудолюбіемъ и добросовѣстностью, собралъ множество фактовъ, касающихся употребленія маски у разныхъ древнихъ и современныхъ, дикихъ и цивилизованныхъ народовъ, со множествомъ ссылокъ на источники Г. Коропчевскій взялъ эту статью и, совершивъ надъ ней нѣкоторую удивительную и едва ли достойную «современной науки» операцію, написалъ сверху вмѣсто «Die Masken»—«Волшебное значеніе маски», а внизу вмѣсто «Р. Андре»—«Д. А. Коропчевскій». Операція же состоитъ въ томъ, что русскій авторъ придѣлалъ нѣсколько строкъ введенія и нѣсколько строкъ заключенія (во славу все того же переживанія), а середину наполнилъ частью сокращеннымъ, частью искаженнымъ переводомъ работы нѣмецкаго этнографа, нигдѣ, ни единымъ словомъ не помянувъ, что это работа Андре, Переводъ не вездѣ точенъ. Такъ, напримѣръ, Андре говоритъ. «Извѣстны маски мумій древнихъ египтянъ, *также принадлежащія къ этому отдѣлу.* Сынъ Рамзеса II, Хамусъ, былъ похороненъ въ толстой золотой маскѣ, которую нашелъ Маріеттъ, а въ Саккарѣ были найдены маски мумій хорошей работы изъ сикомороваго дерева» (стр. 130). У г. Коропчевскаго читаемъ: «Маски мумій древнихъ египтянъ достаточно извѣстны. Сынъ Рамзеса II былъ похороненъ въ золотой маскѣ, которая была найдена Маріеттомъ. Всего чаще маски для мумій приготовлялись изъ сикомороваго дерева» (стр. 26). Какъ видите, Андре вовсе не

говоритъ, что маски египетскихъ мумій дѣлались «всего чаще» изъ сикомороваго дерева; онъ говоритъ только, что таковыя были найдены въ Саккарѣ (мѣстечко близъ Мемфиса). Что касается сокращеній, то не важенъ, разумѣется, пропускъ названій этого мѣстечка и имени сына Рамзеса, но изчезновеніе подчеркнутыхъ мною словъ о принадлежности масокъ мумій къ какому-то «этому отдѣлу» — очень характерно для произведенія (?) г. Коропчевскаго. Дѣло вотъ въ чемъ. Андре собиралъ свои факты съ нѣсколько неопредѣленною цѣлью, выраженною въ заглавіи его труда: «Этнографическія параллели и сравненія». О какихъ - нибудь широкихъ обобщеніяхъ онъ не думалъ, но, удовлетворяя своей ученой любознательности, постарался исчерпать свой предметъ вполнѣ и прежде всего классифицировать маски. Онъ разноситъ маски по отдѣламъ, хотя и замѣчаетъ, что границы этихъ отдѣловъ установить не легко: маски въ религіозномъ культѣ, маски военныя, погребальныя, маски въ области уголовной юстиціи, маски театральныя и увеселительныя. Въ отдѣлѣ погребальныхъ масокъ онъ и замѣчаетъ, что сюда же относятся маски египетскихъ мумій. Г. Коропчевскій не озабочивается классификаціей, точнѣе сказать, игнорируетъ озабоченность на этотъ счетъ нѣмецкаго этнографа и, какъ можно бы было думать по заглавію «Волшебное значеніе маски», интересуется лишь однимъ изъ отдѣловъ, устанавливаемыхъ Андре, — отдѣломъ религіознаго культа. Но съ разбѣгу или изъ желанія набрать какъ можно больше фактовъ, хотя бы и не относящихся къ дѣлу, онъ прихватываетъ и маски, не имѣющія никакого волшебнаго значенія — военныя, увеселительныя. Заглавіе и здѣсь выходитъ само по себѣ, а содержаніе статьи опять-таки само-по себѣ.

Понятно, значитъ, почему въ переводѣ г. Коропчевскаго исчезли слова: «также принадлежатъ къ этому отдѣлу». Но этого нельзя сказать о другихъ сокращеніяхъ. Совершенно неизвѣстно, почему беретъ онъ у Андре такіе-то факты и откидываетъ такіе-то. Или, напримѣръ, начнетъ переводить детальное описаніе какой-нибудь маски, но, можетъ быть, запнувшись о трудности перевода или просто надоѣстъ переводить, — онъ и оборветъ. Вѣрно во всякомъ случаѣ, что своего г. Коропчевскій ничего не вложилъ въ статью о маскахъ. И не только своего въ настоящемъ смыслѣ этого слова: онъ даже ни въ какую другую книжку не заглянулъ, чтобы чѣмъ-нибудь пополнить или провѣрить Андре. А поводы для этого были. Напримѣръ, при описаніи религіозныхъ маскарадовъ въ буддійскихъ монастыряхъ г. Коропчевскій могъ бы заимствовать кое что у русскихъ путешественниковъ, очевидно неизвѣстныхъ нѣмецкому ученому. Но г. Коропчевскій этимъ не соблазнился. Въ одномъ мѣстѣ я было обрадовался за нашего автора, а именно на стр. 27, гдѣ онъ говоритъ о гипсовыхъ маскахъ, найденныхъ въ Сибири, близъ Минусинска. Но и это свѣдѣніе оказалось сокращеннымъ переводомъ изъ Андре, который, въ противоположность своему переводчику, указываетъ и источники, откуда онъ добылъ фактъ.

Курьезны тѣ случаи, когда г. Коропчевскій въ своемъ переводѣ наталкивается на трудности, имъ самимъ созданныя. Въ отдѣлѣ военныхъ масокъ Андре замѣчаетъ, что слово «маска», по итальянски maschera, происходитъ отъ глагола masticare — жевать и заключаетъ въ себѣ грозный смыслъ пожиранія, истребленія. Андре ссылается при этомъ на Гримма. Г. Коропчевскій не ссылается, конечно, ни на Гримма, ни на Андре, но маску отъ masticare производитъ. Но такъ какъ онъ спуталъ всѣ отдѣлы Андре и говоритъ будто бы только о «волшебномъ значеніи маски», то усматриваетъ въ происхожденіи слова «маска» не военно устрашающій, а «первоначальный демоническій смыслъ». Мимоходомъ сказать, существуетъ другое, гораздо болѣе правдоподобное словопроизводство, а именно итальянское maschera производится отъ арабскаго maschara h, что значитъ смѣшной предметъ. Но такъ какъ объ этой этимологіи Андре не упоминаетъ, то нѣтъ ея, конечно, и у г. Коропчевскаго.

Любопытно, что въ очеркѣ «Древнѣйшій спортъ» г. Коропчевскій уже ссылается на книгу Андре, хотя заимствуетъ изъ нея сравнительно немногое, а подъ очеркомъ «Волшебное значеніе маски», представляющемъ исключительно переводъ, хотя и сокращенный и искаженный, подписываетъ «Д. А. Коропчевскій» безъ единаго упоминанія о бѣдномъ нѣмецкомъ трудолюбцѣ. Обильно пользуется г. Коропчевскій все тою же книгою Андре и въ очеркѣ «Народное предубѣжденіе противъ портрета», и тоже безъ упоминанія о настоящемъ авторѣ, но я думаю, что и приведеннаго достаточно. Вы видите, что недоумѣній, возбуждаемыхъ произведеніями г. Коропчевскаго, дѣйствительно много. Почему «современная наука», когда въ лучшемъ случаѣ, это ничтожный уголокъ современной науки? Почему «психологія войны», когда ея совсѣмъ нѣтъ, и «Волшебное значеніе маски», когда тутъ много всякой всячины и кромѣ волшебства? Почему наконецъ Д. А. Коропчевскій, когда это Рихардъ Андре, хотя и искалѣченный? Это маскарадъ какой-то, гдѣ подъ маскою пышныхъ заглавій скрывается совсѣмъ непод-

ходящее содержаніе, а переводчикъ надѣваетъ маску автора. Пожалуй, что тутъ не безъ волшебства...

XXXI.

«Палата № 6».

Въ ноябрьской книжкѣ *Русской Мысли* (1892 г.) напечатанъ разсказъ г. Чехова «Палата № 6», — разсказъ мастерской въ своемъ родѣ и производящій сильное впечатлѣніе. Дѣйствіе разсказа происходитъ въ сумасшедшемъ домѣ, и, читая его, я невольно припоминалъ другое произведеніе въ этомъ же родѣ, — разсказъ покойнаго Гаршина «Красный цвѣтокъ», тоже мастерской и тоже производящій сильное впечатлѣніе. Невольно припоминалъ и невольно сравнивалъ.

Извѣстно, что «Красный цвѣтокъ» высоко цѣнится не только нами, читателями-профанами, а и спеціалистами психіатріи. Проф. Сикорскій находитъ въ немъ «правдивое, чуждое аффектаціи и субъективизма описаніе маніакальнаго состоянія, сдѣланное въ художественной формѣ». «Изображеніе общаго маніакальнаго состоянія... съ полнымъ правомъ можно назвать классическимъ». Говоря о борьбѣ двухъ сознаній въ героѣ «Краснаго цвѣтка», г. Сикорскій замѣчаетъ, что «безсиліе здороваго сознанія съ неподражаемымъ искусствомъ передано авторомъ». «Ассоціаціи болѣзненныхъ идей подмѣчены и прослѣжены авторомъ съ поразительною тонкостью». И т. д. Насъ, читателей-профановъ, плѣняетъ въ «Красномъ цвѣткѣ», конечно, не эта спеціальная сторона, хотя можетъ быть «клиническая», по выраженію г. Сикорскаго, правда разсказа, очевидная для спеціалистовъ, дѣйствуетъ и на насъ, помимо нашего сознанія. Мы ея не понимаемъ, но чувствуемъ, — чувствуемъ, что авторъ ведетъ насъ по твердой дорогѣ. Во всякомъ случаѣ, это только одинъ изъ элементовъ того высокаго и полнаго наслажденія, которое мы получаемъ отъ «Краснаго цвѣтка». Г. Сикорскій отмѣчаетъ, между прочимъ, и конецъ разсказа. «Не касаясь художественнаго значенія» этого конца, онъ находитъ въ немъ «одну любопытную черту, знакомую только психіатрамъ». Это немножко сильно сказано; немножко сильно и немножко неосмотрительно, потому что собственно та черта, о которой здѣсь говоритъ почтенный профессоръ, не имѣетъ такого рѣзко спеціальнаго характера.

Вотъ послѣднія строки «Краснаго цвѣтка»: «Утромъ его нашли мертвымъ. Лицо его было спокойно и свѣтло; истощенныя черты съ тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цвѣтокъ. Но рука закоченѣла, и онъ унесъ свой трофей въ могилу».

Вы помните этотъ удивительный разсказъ. Душевно больной человѣкъ, цѣпью остроумныхъ въ своемъ родѣ соображеній, убѣдился, что случайно увиданный имъ цвѣтокъ краснаго мака осуществляетъ собою все зло міра, «онъ впиталъ въ себя всю невинно пролитую кровь (оттого онъ и былъ такъ красенъ), всѣ слезы, всю жизнь человѣчества». Герой беретъ на себя великую задачу сразиться съ этимъ концентрированнымъ зломъ, сорвать ненавистный красный цвѣтокъ, убить его, растерзать, побѣдить хотя бы цѣною собственной жизни. «Онъ погибнетъ, умретъ, но умретъ, какъ честный боецъ и какъ первый боецъ человѣчества, потому что до сихъ поръ никто не осмѣливался бороться разомъ со всѣмъ зломъ міра». Герой, проникнутый великою мыслью, идетъ въ битву и побѣждаетъ, хотя въ ту же ночь и умираетъ. Оттого-то и свѣтится его лицо «какимъ-то горделивымъ счастьемъ». Г. Сикорскій видитъ здѣсь знакомую будто бы *только* психіатрамъ мысль, что «душевная болѣзнь не обезличиваетъ человѣка», что высшая интеллигенція и благородныя черты характера остаются и среди болѣзни, что высшія и низшія натуры между больными отличаются такъ же, какъ и между здоровыми». Я не думаю, чтобы эта мысль составляла исключительное достояніе психіатровъ. Да вѣдь и не хитрая это штука — отличить, напримѣръ, «звѣря-человѣка» Эмиля Зола отъ благороднаго героя «Краснаго цвѣтка». И именно поэтому, помимо «клинической правды» изображенія, о которой судить не беремся, мы склонны воздавать должное «звѣрю-человѣку» и мученику-побѣдителю краснаго цвѣтка, какъ нравственнымъ личностямъ. Пусть этотъ мученикъ-побѣдитель есть душевно больной, но силою своего таланта художникъ заставилъ насъ полюбить его, потому что открылъ для насъ въ немъ такія стороны, которыя доступны лишь человѣку великой души. Мысль о борьбѣ съ краснымъ цвѣткомъ, впитавшимъ въ себя все зло, всю невинно пролитую кровь, всѣ муки и всю желчь человѣчества, — безумна, но больной вѣрилъ въ нее, и та великодушная отвага, которую онъ при этомъ обнаружилъ, привлекаетъ къ себѣ всѣ наши симпатіи. Мы не знаемъ исторіи этого человѣка, авторъ не разсказалъ намъ объ его прошлой жизни и о тѣхъ событіяхъ, которыя довели его до безумной схватки съ краснымъ цвѣткомъ. Но еще до этой роковой встрѣчи съ невиннымъ цвѣткомъ, хотя уже больной, онъ былъ занятъ смутною мыслью о какомъ-то «гигантскомъ

предпріятіи, направленномъ къ уничтоженію зла на землѣ». Надо думать, что и еще раньше, здоровый, онъ съ особенною чуткостью воспринималъ впечатлѣнія зла, что они долго причиняли ему мучительную боль, прежде чѣмъ довести его до болѣзни. Такимъ образомъ, не смотря на отсутствіе исторіи жизни героя, мы его хорошо знаемъ. Все здѣсь ясно, точно, опредѣленно,— цѣль автора, личность героя, наши отношенія къ нему. Мучительныя картины, разыгрывающіяся въ больницѣ, больно бьютъ читателя по нервамъ, но процессъ чтенія не исчерпывается сильными впечатлѣніями, ибо впечатлѣнія эти слагаются въ совершенно опредѣленныя мысли и чувства. Отсюда полнота художественнаго наслажденія, даваемаго «Краснымъ цвѣткомъ».

Я не знаю, что скажутъ и скажутъ ли что-нибудь спеціалисты психіатріи о «Палатѣ № 6» г. Чехова, но знаю, что, не смотря на производимое этимъ разсказомъ сильное впечатлѣніе, онъ не даетъ той полноты художественнаго наслажденія, какая достигается разсказомъ, написаннымъ на близкую тему Гаршинымъ. Я это не въ укоръ г. Чехову говорю,—всякій даетъ, что можетъ,—но маленькая параллель между двумя названными разсказами кажется мнѣ поучительною, совсѣмъ независимо отъ сравненія талантовъ или заслугъ ихъ авторовъ. О такомъ сравненіи я вовсе не думаю.

Мы въ сумасшедшемъ домѣ. Съ свойственнымъ г. Чехову мастерствомъ набросаны фигуры пяти несчастныхъ больныхъ, изъ которыхъ одному, нѣкоему Ивану Дмитричу Громову, авторъ удѣляетъ особенное вниманіе. Иванъ Дмитричъ всегда былъ болѣзненнымъ, слабымъ неудачникомъ, и психическое разстройство настигло его какъ-то незамѣтно. Между прочимъ, еще здоровый— «о чемъ, бывало, ни заговоришь съ нимъ, онъ все сводитъ къ одному: въ городѣ душно и скучно жить, у общества нѣтъ высшихъ интересовъ, оно ведетъ тусклую, безсмысленную жизнь, разнообразя ее насиліемъ, грубымъ развратомъ и лицемѣріемъ; подлецы сыты и одѣты, а честные питаются крохами; нужны школы, мѣстная газета съ честнымъ направленіемъ, театръ, публичныя чтенія, сплоченность интеллигентныхъ силъ; нужно, чтобы общество сознало себя и ужаснулось». Когда Иванъ Дмитричъ началъ свихиваться, къ нему пригласили доктора, завѣдывавшаго больницей. Докторъ, Андрей Ефимычъ Рагинъ, прописалъ холодные компрессы и лавровишневыя капли, но заявилъ при этомъ, что больше не придетъ, «потому что не слѣдуетъ мѣшать людямъ сходить съ ума». Докторъ этотъ, какъ и авторъ его рекомендуетъ, замѣчательный въ своемъ родѣ человѣкъ. Подобно сумасшедшему Ивану Дмитричу, онъ очень цѣнитъ умъ, просвѣщеніе, наслажденіе обмѣномъ мыслей и скорбитъ о томъ, что въ ихъ городѣ все это въ загонѣ. Онъ бесѣдуетъ на эту тему и съ пріятелемъ своимъ, почтмейстеромъ, который тоже цѣнитъ просвѣщеніе и скорбитъ о скудости ихъ города въ этомъ отношеніи, и съ сумасшедшимъ Иваномъ Дмитричемъ. Почтмейстеръ — лицо вводное, и разсказъ могъ бы даже совершенно безъ него обойтись. Но бесѣды доктора Андрея Ефимыча съ сумасшедшимъ Иваномъ Дмитричемъ крайне интересны. Первое знакомство ихъ, какъ мы видѣли, ознаменовалось заявленіемъ доктора, что «не слѣдуетъ мѣшать людямъ сходить съ ума». Это безразличное отношеніе къ людямъ и людскимъ дѣламъ очень характерно вообще для Андрея Ефимыча. Будучи человѣкомъ не только не злымъ, а даже очень мягкимъ и добрымъ, онъ разсуждаетъ, напримѣръ, такъ: «къ чему мѣшать людямъ умирать, если смерть есть нормальный и законный конецъ каждаго? Что изъ того, если какой-нибудь торгашъ или чиновникъ проживетъ лишнихъ пять, десять лѣтъ? Если же видѣть цѣль медицины въ томъ, что лѣкарства облегчаютъ страданія, то невольно напрашивается вопросъ: зачѣмъ ихъ облегчать? Во-первыхъ, говорятъ, что страданія ведутъ человѣка къ совершенству, и во-вторыхъ, если человѣчество въ самомъ дѣлѣ научится облегчать свои страданія пилюлями и каплями, то оно совершенно забросить религію и философію, въ которыхъ до сихъ поръ находило не только защиту отъ всякихъ бѣдъ, но даже счастіе». Андрей Ефимычъ отлично знаетъ, что его больница очень плоха и порядки въ ней никуда не годятся, и что есть на свѣтѣ подобныя же заведенія, поставленныя гораздо лучше. Но,— утѣшаетъ онъ себя: «сумасшедшимъ устраиваютъ балы и спектакли, а на волю ихъ всетаки не выпускаютъ. Значитъ, все вздоръ и суета, и разницы между лучшею вѣнскою клиникой и моей больницей, въ сущности, нѣтъ никакой».

Эту свою философію, случайно разговорившись съ сумасшедшимъ Иваномъ Дмитричемъ, докторъ развиваетъ и ему. Иванъ Дмитричъ говоритъ: «Десятки, сотни сумасшедшихъ гуляютъ на свободѣ, потому что ваше невѣжество не способно отличить ихъ отъ здоровыхъ; почему же я и вотъ эти несчастные должны сидѣть тутъ за всѣхъ, какъ козлы отпущенія?» Докторъ отвѣчаетъ: «кого посадили, тотъ сидитъ, а кого не посадили, тотъ гуляетъ,—вотъ и все. Въ томъ, что я докторъ, а вы душевный больной, нѣтъ ни нравственности, ни логики, а одна

только пустая случайность». И, дѣйствительно, слушая разговоры этого доктора съ этимъ больнымъ, поневолѣ приходится думать, что они могли бы помѣняться своими ролями. Правда, Иванъ Дмитричъ говоритъ раздражительно и съ внезапною быстротой беретъ иногда гнѣвныя ноты, а Андрей Ефимычъ спокойно резонерствуетъ. Но бываютъ вѣдь и раздражительные здоровые люди и спокойно резонерствующіе сумасшедшіе. Докторъ Андрей Ефимычъ такъ уговариваетъ больного: «между теплымъ, уютнымъ кабинетомъ и этой палатой нѣтъ никакой разницы,—покой и довольство человѣка не внѣ его, а въ немъ самомъ». И еще: «при всякой обстановкѣ вы можете находить успокоеніе въ самомъ себѣ. Свободное и глубокое мышленіе, которое стремится къ уразумѣнію жизни, и полное презрѣніе къ глупой суетѣ міра,—вотъ два блага, выше которыхъ никогда не зналъ человѣкъ. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя рѣшетками». А сумасшедшій Иванъ Дмитричъ рипостируетъ доктору такъ: «Я знаю только, что Богъ создалъ меня изъ теплой крови и нервовъ, да-съ! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздраженіе. И я реагирую! На боль я отвѣчаю крикомъ и слезами, на подлость—негодованіемъ, на мерзость—отвращеніемъ. По моему, это собственно и называется жизнью. Чѣмъ ниже организмъ, тѣмъ онъ менѣе чувствителенъ и тѣмъ слабѣе отвѣчаетъ на раздраженіе, и чѣмъ выше, тѣмъ онъ воспріимчивѣе и энергичнѣе реагируетъ на дѣйствительность».

Можно спорить о томъ, кто изъ этихъ двухъ философовъ правъ и кто ошибается, но сказать—который изъ нихъ докторъ и который сумасшедшій—довольно, мнѣ кажется, трудно. Неудивительно поэтому, что окружающіе заподозрѣваютъ въ докторѣ психическое разстройство и что послѣ одного совершенно побочнаго приключенія онъ попадаетъ въ ту самую палату № 6, гдѣ онъ философствовалъ съ Иваномъ Дмитричемъ. Бывшій докторъ сначала кротко недоумѣваетъ, утѣшая себя тѣмъ, что между домомъ, въ которомъ онъ жилъ, и палатой № 6 нѣтъ никакой разницы, что все на этомъ свѣтѣ вздоръ и суета суетъ, но быстро утрачиваетъ свою философію, раздражается, требуетъ, чтобы его выпустили, ломится въ дверь. Сторожъ Никита, убѣжденный въ необходимости расправляться съ больными кулаками, бьетъ его; происходитъ отвратительная, душу раздирающая сцена, въ концѣ которой бывшій докторъ падаетъ безъ чувствъ, а на другой день умираетъ отъ апоплексическаго удара. «Сначала онъ почувствовалъ потрясающій ознобъ и тошноту; что-то отвратительное, какъ казалось, похожее на гніющую кислую капусту и тухлыя яйца, проникая во все тѣло, даже въ пальцы, потянуло отъ желудка къ головѣ и залило глаза и уши. Позеленѣло въ глазахъ. Андрей Ефимычъ понялъ, что ему пришелъ конецъ, и вспомнилъ, что Иванъ Дмитричъ, Михаилъ Аверьяновичъ (почтмейстеръ) и милліоны людей вѣрятъ въ безсмертіе. А вдругъ оно есть? Но безсмертія ему не хотѣлось, и онъ думалъ о немъ только мгновеніе. Стадо антилопъ, необыкновенно красивыхъ и граціозныхъ, пробѣжало мимо него; потомъ баба протянула къ нему руку съ заказнымъ письмомъ.. Сказалъ что-то Михаилъ Аверьянычъ. Потомъ все исчезло, и Андрей Ефимычъ забылся на вѣки».

Я выписалъ эти строки, чтобы читатель сравнилъ ихъ съ вышеприведеннымъ концомъ «Краснаго цвѣтка». Гаршинъ не покусился на изображеніе того, чего никто не знаетъ и знать не можетъ,—послѣдняго бреда умирающаго отъ апоплексіи человѣка. Онъ удовольствовался видѣннымъ выраженіемъ горделиваго счастія на лицѣ покойника. Г. Чеховъ смѣлѣе. Онъ пропустилъ передъ глазами умирающаго стадо граціозныхъ антилопъ и бабу съ заказнымъ письмомъ... Такъ ли оно бываетъ,—живые не знаютъ, а мертвые не разскажутъ. Но не только этотъ произволъ, слишкомъ реальный для поэзіи и слишкомъ поэтическій для реализма, невыгодно отличаетъ разсказъ г. Чехова отъ разсказа Гаршина. Тамъ, повторяю, все ясно, опредѣленно, все вылито, высѣчено изъ цѣльнаго куска, и ни одной строчки ни прибавить, ни убавить нельзя. Совсѣмъ не то у г. Чехова. Начать съ того, что если не личность почтмейстера, то по крайней мѣрѣ все то побочное предсмертное приключеніе, которое связано съ этой личностью (поѣздка въ Москву и Варшаву), можно бы было выкинуть съ прямою выгодою для сжатости и яркости разсказа. Мысль читателя и безъ того разбѣгается по разнымъ подчеркиваемымъ авторомъ пунктамъ, съ усиліемъ ища центра разсказа. Впечатлѣнія отъ множества художественныхъ, иногда очень тонкихъ подробностей съ трудомъ комбинируются въ опредѣленныя мысли и чувства. Что мы получили? Возмутительную картину порядковъ провинціальнаго сумасшедшаго дома? Да. И за это мы, конечно, должны быть благодарны автору: надо знать все это и прочувствовать весь этотъ ужасъ небрежнаго и безчеловѣчнаго обращенія, грязи, вони. Получили мы еще, въ діалогической формѣ, два параллельные философскіе трактата о цѣнности жизни. Спасибо, пожалуй,

и за это, хотя они много выиграли бы, еслибы такъ въ видѣ философскихъ трактатовъ и объявились, тѣмъ болѣе, что они могутъ вполнѣ хорошо развиваться внѣ спеціальной атмосферы палаты № 6. Во всякомъ случаѣ очевидно, что авторъ не хотѣлъ удовольствоваться простымъ изображеніемъ этой атмосферы. Онъ имѣлъ намѣреніе еще что-то сказать намъ. Что именно?

И докторъ Андрей Ефимычъ, и сумасшедшій Иванъ Дмитричъ и почтмейстеръ Михаилъ Аверьянычъ въ одинъ голосъ говорятъ о наслажденіи умственной дѣятельностью и объ отсутствіи таковой въ томъ глухомъ городишкѣ, куда ихъ забросила судьба. Докторъ утверждаетъ даже, что «болѣзнь его только въ томъ, что за двадцать лѣтъ онъ нашелъ во всемъ городѣ одного только умнаго человѣка, да и тотъ сумасшедшій». Въ свою очередь и нелѣпый почтмейстеръ говоритъ со вздохомъ: «Однако, въ какую глушь занесла насъ судьба! Досаднѣе всего, что здѣсь и умирать придется. Эхъ!..» И въ самомъ дѣлѣ это ужасно: люди, выше всего на свѣтѣ цѣнящіе умственныя наслажденія, поставлены въ такое положеніе, что могутъ найти себѣ собесѣдника только въ сумасшедшемъ домѣ, а кругомъ вездѣ мракъ, пошлость, развратъ, грубость. И такъ двадцать лѣтъ подъ рядъ, да еще и впереди можетъ быть столько же предстоитъ! Это настоящіе страдальцы, и читатель готовъ бы былъ обнять ихъ душой, отдать имъ все свое сочувствіе, не смотря на ироническія нотки, пробивающіяся мѣстами у автора, какъ по адресу самыхъ этихъ страдальцевъ, такъ и по отношенію къ исключительной цѣнности умственнаго наслажденія. Эти отнюдь не добрыя ироническія нотки сами по себѣ еще ничему бы не мѣшали. Но, рядомъ съ задачей изображенія этихъ хотя бы и нѣсколько смѣшныхъ страдальцевъ (если таковая была у автора), можно усмотрѣть въ «Палатѣ № 6» и другія.

Неизвѣстно, когда именно сходитъ съ ума Андрей Ефимычъ. Неизвѣстно даже, сходитъ ли онъ съ ума, потому что почти съ самаго своего появленія въ городишкѣ и вплоть до послѣдней, предсмертной вспышки, онъ одинаково спокойно исповѣдуетъ одну и ту же философію и не совершаетъ никакихъ безумныхъ поступковъ. Правда, ему прописываютъ бромистый калій, но изъ этого еще ничего не слѣдуетъ. Правда, нелѣпый почтмейстеръ чуть не силкомъ везетъ его съ собой въ Москву и Варшаву, чтобы предоставить ему, въ качествѣ больного, отдыхъ и развлеченіе. Но почтмейстеръ вообще нелѣпый человѣкъ, и несчастный докторъ не безъ основанія размышляетъ о немъ дорогой въ вагонѣ: «Кто изъ насъ обоихъ сумасшедшій? Я ли, который стараюсь ничѣмъ не обезпокоить пассажировъ, или этотъ эгоистъ, который думаетъ, что онъ здѣсь умнѣе и интереснѣе всѣхъ, и оттого никому не даетъ покоя?» Можетъ быть, значитъ, сумасшедшій Иванъ Дмитричъ правъ, когда изумляется, почему онъ въ больницѣ, а другіе, въ томъ числѣ и докторъ, гуляютъ на свободѣ? Можетъ быть и докторъ правъ, отвѣчая, что тутъ нѣтъ логики, а одна только пустая случайность? Можетъ быть, здѣсь именно лежитъ центръ всего разсказа г. Чехова.

Можетъ быть. За многое разное можно уцѣпиться въ разсказѣ г. Чехова, и именно поэтому ни за что нельзя ухватиться съ увѣренностью. Каждому читателю предоставляется комбинировать отдѣльныя, полученныя при чтеніи впечатлѣнія на свой собственный страхъ и съ рискомъ ошибиться относительно цѣлей и намѣреній самого автора, относительно того—въ чемъ самъ онъ видитъ интересъ разсказа. Рискну и я.

Г. Чеховъ большой талантъ. Это фактъ общепризнанный. Но почитатели таланта г. Чехова рѣзко раздѣляются на двѣ группы. Одни возводятъ своеобразную манеру его писанія въ принципъ. Въ томъ безразличіи и безучастіи, съ которымъ г. Чеховъ направляетъ свой превосходный художественный аппаратъ на ласточку и самоубійцу, на муху и слона, на слезы и воду, на красные и всякіе другіе цвѣтки, они видятъ новое откровеніе, которое величаютъ «реабилитаціей дѣйствительности» и «пантеизмомъ». Все въ природѣ равноцѣнно, говорятъ они, все одинаково достойно художественнаго воспроизведенія, все можетъ дать одинаковое художественное наслажденіе, а сортировку сюжетовъ съ точки зрѣнія какихъ бы то ни было принциповъ надо бросить, что и дѣлаетъ г. Чеховъ. Другіе, напротивъ, скорбятъ объ этой неразборчивой растратѣ большого таланта. Я принадлежу къ числу этихъ послѣднихъ. Высоко цѣня большой талантъ г. Чехова, я думаю, что если бы онъ разстался съ своимъ безразличіемъ и безучастіемъ, русская литература имѣла бы въ его лицѣ не только большой талантъ, а и большого писателя. Я боюсь, что въ одинъ прескверный для него день онъ скажетъ самому себѣ: «Каждая мысль и каждое чувство живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ картинахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей или богомъ живого человѣка; а коли нѣтъ этого, то, значитъ, нѣтъ и ничего». Этотъ скверный день, я думаю, г. Чеховъ однажды уже пережилъ. Поставленныя въ ковычки слова вложены имъ

самимъ въ уста героя повѣсти «Скучная исторія», прекрасной повѣсти, о которой я въ свое время бесѣдовалъ съ читателями «Русскихъ Вѣдомостей». Слова эти говоритъ 62-лѣтній ученый Николай Степановичъ, но я думаю, что они приличествуютъ и молодому беллетристу Чехову и что поэтому именно такъ хороша своимъ задушевно грустнымъ тономъ повѣсть «Скучная исторія». Вмѣстѣ съ тѣмъ это едва ли не единственное сравнительно большое произведеніе г. Чехова, которое представляетъ собою не рядъ прекрасно ограненныхъ бусъ, механически нанизанныхъ на нитку, а цѣльный самородокъ. Въ «Палатѣ № 6» мы опять имѣемъ бусы, да еще перепутанныя, но мнѣ и здѣсь чудится безсознательный протестъ большого таланта прстивъ употребленія, которое изъ него дѣлаетъ авторъ.

Когда сторожъ Никита грубо отпихнулъ Андрея Ефимыча отъ двери, потомъ съ размаха и до крови ударилъ его по лицу и еще два раза въ спину, несчастный упалъ безъ чувствъ. Но передъ этимъ обморокомъ былъ моментъ особенно яркаго сознанія. «Отъ боли онъ укусилъ подушку и стиснулъ зубы, и вдругъ въ головѣ его среди хаоса ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами изо дня въ день эти люди, казавшіеся теперь при лунномъ свѣтѣ черными тѣнями. Какъ могло случиться, что въ продолженіе больше, чѣмъ двадцати лѣтъ, онъ не зналъ и не хотѣлъ знать этого? Онъ не зналъ, не имѣлъ понятія о боли, значитъ, онъ не виноватъ, но совѣсть, такая же несговорчивая и грубая, какъ Никита, заставила его похолодѣть отъ затылка до пятъ».

Такъ вдребезги разбилась спокойная философія Андрея Ефимыча. А вѣдь эта философія очень сродни той «реабилитаціи дѣйствительности» и тому «пантеизму», пророкомъ которыхъ хотѣли бы сдѣлать г. Чехова нѣкоторые изъ его почитателей, — не безъ поводовъ съ его стороны. Въ самомъ дѣлѣ, логически продолжая идею реабилитаціи дѣйствительности, пантеизма, равноцѣнности всего сущаго, можно, подобно Андрею Ефимычу, придти къ заключенію, что нѣтъ разницы между теплымъ, уютнымъ кабинетомъ и грязной, вонючей палатой № 6. Герой «Краснаго цвѣтка» тоже утверждаетъ, что ему все—все равно: «все равно гдѣ жить, что чувствовать, даже жить и не жить... все равно, держите ли вы меня здѣсь (въ сумасшедшемъ домѣ) или отпустите на волю, свободенъ я или связанъ». Но это онъ говоритъ лично о себѣ, и именно потому ему все равно, что у него «есть великая мысль, общая мысль», ради которой онъ готовъ принять всяческое страданіе, а другимъ—онъ это знаетъ—совсѣмъ не все равно «страдать иль наслаждаться». У Андрея же Ефимыча теорія равноцѣнности всякихъ положеній есть просто отвлеченная философія; она и разсыпается въ прахъ, какъ только ему самому приходится встать въ положеніе, въ которомъ двадцать лѣтъ подрядъ находились его паціенты. Въ сущности, такъ именно поступаетъ всякій теоретикъ реабилитаціи дѣйствительности: онъ держится своей безпечальной теоріи лишь до тѣхъ поръ, пока эта самая дѣйствительность не треснетъ его кулакомъ Никиты или, какъ справедливо говоритъ г. Чеховъ, не ущемитъ «такою же несговорчивою, какъ Никита», совѣстью. Правъ, значитъ, сумасшедшій Иванъ Дмитричъ: «Органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздраженіе: на боль я отвѣчаю крикомъ и слезами, на подлость—негодованіемъ, на мерзость—отвращеніемъ». А то выдумали на все сущее отвѣчать однимъ художественнымъ созерцаніемъ и воспроизведеніемъ!..

Такъ хотѣлось бы мнѣ истолковать новый разсказъ г. Чехова. Такъ хотѣлось бы, но я отнюдь не увѣренъ, что такова именно мысль самого автора. До нея добраться не легко. Возвращаясь на минуту къ «Красному цвѣтку», напомню, что тамъ нѣтъ біографіи героя, и однако мы его понимаемъ, понимаемъ его душу, великую въ своемъ безуміи. Въ «Палатѣ № 6» съ подробностью разсказаны біографіи всѣхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, а мы даже не можемъ хорошенько разобрать, кто изъ нихъ сумасшедшій, кто въ здравомъ умѣ. Андрей Ефимычъ, будучи добрымъ человѣкомъ, всю жизнь не замѣчаетъ чужихъ мученій и проповѣдуетъ успокоительную философію. Въ моментъ остраго припадка, когда онъ начинаетъ буйствовать, въ немъ просыпается совѣсть и подсказываетъ тѣ самыя слова, которымъ онъ давно могъ бы научиться у сумасшедшаго Ивана Дмитрича. Кто же наконецъ здѣсь сумасшедшій? Все это сильно бьетъ по нервамъ читателя, но, не слагаясь въ опредѣленныя мысли и чувства, не дастъ и художественнаго удовлетворенія.

